



Ю. В. ГЕРОНИМУС

В МОЛОДЫЕ ГОДЫ

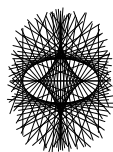
автобиографические
записки



Ю. В. ГЕРОНИМУС

В МОЛОДЫЕ ГОДЫ

(автобиографические записки)



ИЗДАТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОГО ЦЕНТРА
НЕПРЕРЫВНОГО МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МОСКВА 2004

ISBN 5-94057-172-7

© Ю. В. Геронимус, 2004.

© МЦНМО, 2004.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Я собрался написать о прошедшем. Главный стимул — сам процесс: сидишь за компьютером, листаешь жизнь, проверяешь, не отшибло ли память, варит ли ещё голова. Признаюсь, что результаты таких проверок не всегда оказывались положительными (всё-таки возраст нешуточный). Исправив замеченные первыми читателями рукописи неточности, я двинулся дальше. Какие-то огрехи, скорее всего, остались.

Я хочу описать мои встречи с людьми и с обстоятельствами. При этом прежде всего описать то, что я видел сам, но иногда, всё же, и то, о чём только слышал. Желание вспомнить о многих людях привело Записки к перенаселённости, досадной, возможно, для моих потенциальных читателей: некоторые имена появляются и больше не возникают, лишая текст сюжетной логики. Я писал не без оглядки на таких читателей, но не исключаю, что так и не смог удовлетворить их полностью. В этом контексте приходит на ум анекдот. В иерусалимский автобус входит мамаша с семьёю детьми. Посадка этой не слишком дисциплинированной и шумной компании задерживает автобус, водитель нервничает и говорит матери: «Ты бы хоть половину детей дома оставила!». На что мать отвечает: «Я так и сделала». Так вот если утомлённый обилием моих персонажей читатель скажет в сердцах: «Включил бы ты в твои Записки ну четверть, ну половину тех, кого ты звал и помнишь», то я отвечу, как та израильтянка: «Я так и сделал».

Впрочем, мне довелось встречаться (и я о некоторых таких встречах пишу) с людьми, память о которых сохранена без моей помощи — их делами, их собственными сочинениями, а также другими мемуаристами.

О себе самом я пишу в той мере, в какой я в описываемых событиях участвовал или которым был явным свидетелем. Кроме того, моя личность проявляется в том, что иногда я происходившему или высказывавшемуся даю оценку или рассуждаю по поводу. Важные (с моей точки зрения) темы и рассуждения соседствуют в тексте с чепуховиной. Если отвлечься от глубины и качества изложения как важных, так и несерьёзных тем (а они ограничены моими умственными и литературными возможностями), такая смесь серьёзного и ерунды отражает одну из реалий нашей жизни.

Есть темы или эпизоды, которые не нашли себе в тексте места по простой причине: всего не упомянешь и всего описать не успеешь. Эта причина была мною осознана не сразу. Лишь написав несколько первых глав, я понял, что при выбранном мною темпе повествования я в моих Записках далеко не уйду. Возможно, я стал входить во многие детали, которые увеличили объём сочинения и время, затрачиваемое на писание. Но я выбранного стиля менять не захотел, а ограничил описываемый период: от момента появления на свет в 1923 году до конца 1957-го года.

Мой текст естественно разделится на три части. Первая часть — Вступление — соображения о моей жизни вообще. Потом следуют 20 глав. В них события моей и рядом текущей жизни излагаются, в основном, в хронологическом порядке. Попутно говорю я и о прошлом — когда рассказываю об истории моей семьи и семей моих близких. Иногда — в естественном контексте с темами систематического изложения —

я затрагивал также и темы, выходящие за тот временной период, к которому относится главный ствол моего повествования. Такие ответвления посвящаются последующей судьбе некоторых персонажей или будущему развитию описываемых событий. Эти экскурсы выделены отточиями. Но некоторые экскурсы оказались слишком длинными, и при последующей правке рукописи я посчитал, что их следует поместить отдельно. Возникли Добавления. Туда же я поместил воспоминания о моей профессиональной жизни с конца 1957-го года до конца марта 1965-го, т. е. от начала работы в фирме Челомея до момента поступления в Центральный Экономико-Математический Институт.

Эти записки — не исповедь, не интимный дневник. Воздерживаюсь я от излишних откровенностей и при описании фрагментов жизни других людей. Поэтому не всё, о чём я помню, попало в предлагаемый текст.

И последнее. В конце предисловия к научной работе или к учебнику воспитанный автор выражает благодарность разным лицам: тем, чьи идеи подтолкнули его к написанию работы, тем, чьи замечания оказались полезными и были им учтены, тем, кто способствовал выходу работы в свет и т. д.

Я начал писать свои воспоминания, уже имея некоторый опыт в работе над научными и учебными книгами. Эскиз предисловия я набросал после того, как моя работа над основным текстом уже довольно далеко продвинулась. Тут я увидел, что в моём случае привычная структура предисловия не вполне годится. Я увидел, что сосредоточить все мои благодарности в конце предисловия невозможно. Я понял, что благодарность является не концовкой предисловия, а стержнем того, о чём я хотел бы сказать в моём сочинении.

Поэтому мои многочисленные благодарности, подкреплённые рассказами и суждениями, я перенёс в основной текст. В предисловии же я ограничусь выражением благодарности только тем, кто помогал мне в подготовке рукописи. Я благодарен моей жене Марии Александровне Калмановской, первой прочитавшей весь текст. Обладая прекрасной памятью и хорошим вкусом, она уберегла меня от многих ошибок, неточностей и стилистических промахов. Я благодарен опытному профессиональному редактору Светлане Прокофьевне Колмановской, внёсшей свою правку в первые несколько глав и давшей мне ряд общих ценных советов. Наконец, я благодарю моего сына Александра Юрьевича Геронимуса и его жену Лидию Васильевну Гончарову. Они были участниками, действующими лицами или свидетелями многих описанных мною событий и встреч, что наряду с их редакторским и литературным даром и опытом, а также прекрасным знанием научной жизни, некоторых сторон которой я коснулся, позволило им дать мне множество уникальных ценных советов, большинство которых я принял.

ВСТУПЛЕНИЕ

Блажен, кто посетил сей мир
В его минуты роковые.
Его призвали всеблагие,
Как собеседника на пир;
Он их высоких зрелищ зритель,
Он в их совет допущен был —
И заживо, как небожитель,
Из чаши их бессмертье пил!

Итак, я начинаю с благодарности. Я имею в виду благодарность многим людям и многим Обстоятельствам. Последнее слово я, в отличие от первого, написал с заглавной буквы, чтобы подчеркнуть его очень широкий и таинственный смысл. А смысл слова «люди», несмотря на все связанные с ним сложности, нам всё же более ни менее ясен.

На протяжении текста Записок я благодарно вспоминаю многих людей, сыгравших в моей жизни благую роль. Благодарен я и тем, кто добра мне не желал, но и слишком большого зла не причинил, хоть, может, и хотел; и, в целом, вольно или невольно обогатил мой жизненный опыт. Конечно, тем людям, которые меня притесняли и преследовали или явно выражали свою неприязнь ко мне, я не благодарен. Но у меня никогда не было потребности тратить мои душевные силы, время и прочие ресурсы на месть им.

Точно также я благодарен благим Обстоятельствам. Но при этом я благодарен и скверным Обстоятельствам — за то, что причинённое мне ими зло было не роковым (я не погиб, по-настоящему не голодал, в старости не бедствую и не одинок), но при этом чему-то меня научило.

О многих (не обо всех) людях и обстоятельствах, которые будут упомянуты в этом Вступлении, я расскажу в нижеследующих главах подробнее. И наоборот: во Вступлении упомянуты далеко не все лица и события, описанные ниже. А теперь, как говорят телеведущие программы новостей, — всё по порядку...

Я начинаю, естественно, с моих родителей. Я благодарен им за то, что они дали жизнь младенцу, оказавшемуся мною. Они — мать Полина Самойловна и отец Вениамин Михайлович — в мои детские и в мои школьные годы заботились о моём здоровье, умственном, душевном и физическом развитии. Я, как это было в те годы принято, остался их единственным сыном. Они любили меня — каждый в течение всей своей жизни. И, если коротко (а подробнее — в тексте), они приложили немало сил к тому, чтоб я стал приличным человеком — по их вполне цивилизованным понятиям.

Об эпиграфе. Эти восемь строчек составляют вторую половину стихотворения Тютчева «Цицерон», сочинённого поэтом в 1830 г. Сейчас на календаре стоит 2003. Они производят на меня (как, очевидно, и на других читателей Тютчева) сильное впечатление. Особенно теперь, на исходе моей жизни. Дело в том, что я как раз из тех, кто посетил сей мир в его минуты роковые. Вместе со мной — миллионы.

Собственно, почти каждый мемуарист имеет основание такой эпиграф впереди своих записок поместить, и я, сделавший это, не оригинал. Возможно, впрочем, что многие этого не сделали, сочтя такой ход банальным. Другие — поставили. За некоторых мемуаристов эти строки использовали рецензенты и комментаторы их мемуаров. Однако каждая биография входит с этим эпиграфом в разные отношения, что и делает его использование не таким уж тривиальным. Итак, примеряю этот эпиграф на мои фигуру и жизнь.

Всеблагие ли призвали меня, или кто другой — ведать мне не дано. Но, как бы то ни было, продолжаю тютчевский образ. Пир, на который мне довелось явиться, был диковинным. Всеблагие располагались на этом пиру весьма далеко от меня, и я узнавал об их мнениях косвенно — по поведению других гостей пира и многочисленных слуг, управлявших пиром по поручению всеблагих. Случалось мне за прожитые восемь десятков лет пировать по-настоящему и по-настоящему беседовать, но не со всеблагими. Я беседовал и пировал (болтал, спорил, выпивал и закусывал) с себе подобными призывниками, явившимися сюда по повестке всеблагих, из которых, может, кто позначительней меня, кто поничтожней; всеблагих между ними, вроде, не было.

Одновременно со мной всеблагие призвали в этот мир и многочисленных своих помощников — правителей, которые вмешивались в мою судьбу непосредственно. Многих из них, по счастью, всеблагие отослали с пира куда-то обратно ещё при моей жизни. Знали ли всеблагие о том, что одна часть их гостей помыкала другими гостями? За столами правителей я не бывал. Они обходились своей компанией, а если в неё кого и звали, так это актёров, которые их потешали, боясь от этой роли отказаться.

Стихотворение, последние восемь строк которого я сделал эпиграфом, называется, повторяю, «Цицерон» и, можно подумать, выражает мысли этого римлянина (или мысли автора по этому поводу), который мнил, что явился на пир всеблагих по их приглашению, и как раз в роковые минуты мира. Теперь-то мы понимаем, что тогдашние роковые минуты в сравнение с нашими не идут: теперешние — покруче...

Возможно, что все утверждения и вся философия этого стихотворения, если её педантично применить только к его адресату, т. е. к Цицерону, совершенно справедливы (если ещё и бессмертие толковать исключительно индифферентно). Но обратившись к творчеству Тютчева в целом, понимаешь: этот поэт смотрел в корень вещей и переводил увиденное, а скорее — свои мысли и чувства, возникавшие по поводу этого увиденного — в прекрасные и точные стихотворные отливки из серебра и золота. И, читая стихи Тютчева, обычно чувствуешь: «Это — и про меня, это — и мой голос».

Поэтому и строки «Цицерона» тянет примерять к себе лично, к своему времени, к своей биографии и судьбе. Тянет, да как-то, как говорит Жванецкий, не идёт. Пока — не идёт. Хотя, казалось бы, стихи — про меня, ибо посетил я сей мир и пока продолжаю опиваться в нём в минуты несомненно для этого мира роковые... Но ведь это — про всех, ибо разве были когда-нибудь у этого мира дни без роковых минут? Боюсь, нет. Наверное, лучше сказать, что одни роковые минуты были совсем кошмарные, а другие — ещё можно было пережить и вспоминать потом не без удовольствия — от того, что пережить удалось... Или: были роковые минуты театральные, сохранившиеся в истории, как говорится, «отдельной строкой», а были тьмы и тьмы минут, слившиеся в одно: годы средневековой инквизиции, или германской оккупации десятков стран, или сталинского

беспредела, когда судьбы сотен тысяч не могли быть различимы в свете искринок судеб сотен, замеченных Историей.

Вернусь к началу эпитафии. «Блажен». Был ли я блажен? В некоторой степени — да. Прежде всего потому что уцелел в течение крутых роковых минут, растягивавшихся на месяцы и годы. Я остался жив и даже не был ранен в Отечественной войне. А ещё — мог, но не попал в плен, что мне почти неизбежно грозило лагерем уничтожения. Уцелел, не попал, хотя утром 3-го июля 1941 г., через час после знаменитого «К вам обращаюсь я, друзья мои», побежал, к ужасу моих родителей, к пятидесят девятой школе в Староконюшенном переулке и вступил в Народное Ополчение — вместе со многими, окончившими, как и я, за несколько дней до того среднюю школу или перешедшими лишь в десятый класс. Было среди нас и несколько наших сорока- и пятидесятилетних учителей. В тот момент мой белый билет (уже тогда я был болезненно близорук) моему намерению помешать не мог.

Я избежал лап ГУЛАГа, хотя много раз щупальца Органов шуршали совсем рядом со мной. Один раз Органы вздумали привлечь меня в осведомители. Но я довольно ловко от их предложения отвернулся.

В известной степени я «блажен» ещё и потому, что до сих пор не умер мучительной смертью от одной из болезней, которые приводят человека к его концу самыми негуманными средствами. Конечно, всё это ещё может случиться, но это будет справедливой платой за восемьдесят сравнительно благополучных лет. И не потеряна ещё надежда на более лёгкую смерть — от сердечного приступа или от рук араба-террориста. Но всё же признать, что я «блажен» так уж безоговорочно, было бы преувеличением.

Во-первых, я опасался за свою свободу и жизнь в течение восемнадцати лет кряду — с 1938-го, когда стал ясно понимать, что меня могут арестовать совершенно безотнositельно к моим поступкам, до 1956-го, когда Хрущёв, расправившись с мёртвым Сталиным, милостиво дал всем нам понять, что убивать без причин больше не будут. Правители заставляли меня переживать периоды страха и позже этого столь важного для нашего Отечества года, но уже — не смертельного.

Во-вторых, были жертвы войны среди моих друзей, которые я переживал остро.

В-третьих, очень многие люди — близкие мне лично или жившие одновременно со мной старшие или даже великие братья по разуму, которых я боготворил, погибали от рук режима всерьёз, и быть зрителем этого было ужасно. Всё удовольствие от принятого мной в 1923 г. приглашения всеблагодарно посетить сей мир портилось начисто и сменялось страхом за собственную судьбу и стыдом за то, что я не осмеливался ничего сделать ни в защиту схваченных, ни в преодоление своей трусости. Позже выяснилось, что, скорбя об исчезнувших в пасти ЧК, мы не представляли себе подлинную меру мучений, выпавших на их долю и которые для многих завершились страшной гибелью.

Итак, очень многие люди не пришли с войны, другие — надолго исчезали или погибали, а мы оставались, и — хотя в вечном страхе за канувших в преисподнюю и в вечном ожидании того, что и тебе может достаться та же судьба — всё же жили: учились, обзаводились семьями, рожали детей, ездили отдыхать на курорты или в турпоходы, ходили в театры и на концерты, болели и лечились, переживали любовные истории и семейные драмы, потери близких, умиравших по-человечески — от болезней или от несчастных случаев.

И вот дожили до развала коммунистического лагеря, в котором, казалось, суждено жить каждому из нас до естественной или насильственной — как повезёт — смерти. Уцелели. Можно сказать — теперь уже с большой уверенностью — выжили, умрём в постели, предварительно почитав газеты с бранью в адрес правительства и сказав соседу в троллейбусе всё, что считаешь нужным.

Многие из нас по разным причинам уехали из страны, в которой родились. Одни, вроде меня и моей жены, для того, чтобы остаток жизни провести с детьми, которые уехали из России раньше, ибо не поверили, что здесь когда-нибудь станет можно жить достойно. Другие — в поисках хорошей работы. Третьи — в поисках приключений.

Прошли годы. Многих всеблагое отпустили со своего пира, не заметив, что ушли эти гости не по своей воле, а были выхвачены злодеями и замучены. Или — ушли на войну и погибли там. А я — жив, хоть всеблагое как-то специально меня и не защищало. Просто дьяволы разных сортов меня не заметили и оставили на пиру. Иногда усмехнёшься: «Жив курилка!». Но чаще — теребит сердце короткое стихотворение Твардовского:

Я знаю — никакой моей вины
В том что другие не пришли с войны,
В том, что они — кто старше, кто моложе,
Остались там, и не о том здесь речь
Что я их мог, но не сумел сберечь.
Речь не о том. Но всё, всё же, всё же...

А я добавлю: не только с войны, а ещё из немецкого лагеря уничтожения, из советских застенков... Я остался жив, но блажен — из-за вышесказанного — не полностью.

Продолжаю читать Тютчева. К эпитету «высоких» присоединиться не готов. Лучше бы просто «зрелищ». А ещё лучше — «захватывающих». Вот это — оказаться зрителем (а иногда — и участником, хоть и незаметным) немаловажного фрагмента русской и мировой истории — это, действительно, имеет самостоятельную ценность, хотя, как известно, некоторые наблюдательные позиции были очень даже опасны, и зрителя в любой момент подстерегала катастрофа.

Вот за зрелища я всеблагим искренно благодарен. Их было от пуза. И зритель моего поколения оказался удачливей зрителей прошлых веков, ибо в нашем распоряжении, помимо собственных органов чувств, оказались сотни газет и книг, радио и телевидение, кинофильмы и спектакли, которые доводили до нас почти всё, что происходило в мире. Хотя иногда мы были вынуждены пользоваться информацией тайно, иной раз она доходила до нас в искажённом виде, и мы должны были её дешифровать, часто она приходила с опозданием.

Но вот что совершенно достоверно: мне довелось видеть и слышать, хоть и издали, нескольких великих музыкантов — Рихтера, Ростроповича, Ойстраха, Нейгауза, Шостаковича и стать непосредственным получателем исходившего от них излучения.

Я был на двух выступлениях Пастернака, читавшего свои стихи в Университете: один раз в Большой Коммунистической аудитории, а другой — в небольшом конференц-зале Зоологического музея. Это было в конце сороковых годов. В день похорон поэта в Переделькино я стал статистом в ритуальном действе, прозорливым сценаристом и режиссёром которого оказался, написав свой «Август», сам покойный.

С детских лет я дружил, а потом и породнился, женившись на его сестре Маше, с композитором Э. С. Колмановским. Он умер в 1994-м, обогнав меня. Это был человек высокой культуры и интеллигентности и глубоких душевных качеств. Близость к нему в течение почти всей моей жизни эту жизнь чрезвычайно обогатила. В доме Колмановского я встречался с поэтами — мельком с Е. А. Евтушенко, и чуть ближе — с К. Я. Ваншенкиным.

Женитьба на Маше привела меня к знакомству с замечательным историком и литературоведом Натаном Эйдельманом. Через Натана я познакомился с его отцом Яковом Наумовичем — журналистом, большим знатоком литературы и истории, убеждённым сионистом, отсидевшим годы в советском концлагере.

Я благодарен моей подруге Майе Левидовой за дружбу, которой она меня одаривала, начиная с ранних юных лет. Уже тогда она вольно или невольно дала мне возможность прикоснуться к новому для меня уровню гуманитарной культуры. Майе этот уровень был привычен с детства, ибо она была дочерью известного писателя и журналиста Михаила Левидова. А её собственный природный ум давал ей возможность впитывать многое из того, что в их доме носилось в воздухе. От отца Майе достались многие связи с выдающимися интеллигентами эпохи. Например, с семьёй Соломона Михоэлса.

Уже в детстве в Майе обнаружился талант к изобразительным искусствам. Живопись стала её профессией и многое определила в её судьбе. Дружба с Майей дала мне возможность встретиться с художником Митуричем, а через него — реально ощутить личность поэта Велемира Хлебникова, творчество которого я очень ценил, но был знаком с ним только по книгам.

Со школьных лет Майя старалась ввести меня в мир живописи, и поначалу ей это удавалось плохо. Но она не отступала, и когда мне было уже за тридцать, плотина прорвалась. Я стал кое-что смыслить. Более того, Майя на средневековый манер взяла меня в ученики и в течение трёх лет регулярно учила рисовать карандашом, углём, сангиной и писать маслом.

Через Майю я познакомился с очень значительным русским художником Фальком, и это знакомство длилось в течение почти десяти лет — вплоть до кончины Роберта Рафаиловича. В шестидесятые годы Майя познакомила меня со своим мужем, выдающимся литературоведом Эдуардом Бабаевым. Его личность и сочинения произвели на меня сильное и благое впечатление...

Я был (не всегда достаточно прилежным) студентом мехмата МГУ, и мне довелось соприкоснуться с многими выдающимися русскими математиками. Назову нескольких.

А. Я. Хинчин читал курс математического анализа, П. С. Александров читал курс аналитической геометрии, А. Н. Колмогоров читал проективную геометрию, И. М. Гельфанд — линейную алгебру и интегральные уравнения, Л. А. Люстерник — функциональный анализ, вариационное исчисление, А. И. Плеснер — курс по почти периодическим функциям.

Среди профессоров мехмата в годы моего студенчества был известный полярный исследователь О. Ю. Шмидт. Нам он читал курс высшей алгебры. Фигура, спору нет, противоречивая. Но — интересно...

Курс дифференциальной геометрии нам читал Я. С. Дубнов, сын известного историка еврейского народа. Его я знал и в домашней обстановке. Я был знаком с братьями А. М. и И. М. Ягломами, первый из которых был ведущим специалистом в теории случайных процессов, а второй — в дифференциальной геометрии.

Я слушал лекции по физике у С. Э. Хайкина и Г. С. Ландсберга. В 1947 г. опальный академик Н. Н. Лузин объявил спецкурс «Почти периодические функции». Но этот курс ему разрешили прочитать только на физфаке, да и то лишь студентам не престижной тогда специальности «Геофизика». Я, в числе ещё трёх-четырёх студентов, на этот курс ходил.

Одно время, будучи студентом, я был в приятельских отношениях со ставшим впоследствии весьма известным астрофизиком И. С. Шкловским. В начале 80-х наше знакомство возобновилось — случайно и не надолго: в 1985-м он умер.

С первого курса мехмата я дружил Ю. А. Гастевым, ставшим впоследствии известным диссидентом. Эта дружба обогащалась периодами совместной литературной работы и продолжалась вплоть до его вынужденной эмиграции в начале восьмидесятых. Знал я остроумного вольнодумца, поэта и очень серьёзного математика А. С. Есенина-Вольпина, сына поэта Сергея Есенина.

В мир кибернетики и ЭВМ я вошёл благодаря Алексею Андреевичу Ляпунову. В 1956 году я слушал его лекции по программированию и посещал его семинар по кибернетике в МГУ. На этом семинаре мне посчастливилось быть очевидцем блистательных выступлений и реплик Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского.

Я долгое время занимался теоретическими разработками, проектированием и испытаниями образцов управляемых и самонаводящихся авиабомб. На эту тему я защитил кандидатскую диссертацию. Эта защита прошла в Военно-Воздушной Инженерной Академии, ибо стала возможной в результате моего многолетнего сотрудничества с сотрудниками кафедры бомбометания, руководимой академиком Н. Г. Бруевичем. Я сохранил о генерал-лейтенанте Бруевиче и о сотруднике его кафедры полковнике Борисе Григорьевиче Доступове тёплые и благодарные воспоминания.

Обстоятельства привели меня на несколько лет в ракетную фирму В. Н. Челомея. Этот человек чисто советской судьбы: он вдруг превратился из скромного руководителя небольшого подмосковного КБ во всемогущего в данной отрасли Генерального Конструктора, академика, главу огромной ракетной империи, постоянного соперника С. П. Королёва. Причина возгонки (термин Паркинсона) Челомея заключалась в том, что ему каким-то способом удалось заполучить на работу в своё КБ незаурядного выпускника Бауманского Института, а именно — Сергея Никитовича Хрущёва, сына Генерального Секретаря.

И с Челомеем, и особенно с Хрущёвым-сыном я имел профессиональные и служебные контакты и вынес о них известные впечатления. Кратко сказать, впечатления от личности Челомея были отрицательными, а от личности Сергея Хрущёва — положительными. После падения Хрущёва-отца Челомей своих позиций не утратил, а с Хрущёвым-сыном легко расстался под давлением властей.

Почти тридцать последних лет моей профессиональной деятельности я специализировался на применении математики и компьютерного и игрового моделирования к экономике и работал в Центральном Экономико-Математическом Институте Академии Наук (ЦЭМИ АН СССР). Этому долгому и счастливому периоду моей жизни я обязан покойному Евгению Ивановичу Яковлеву. В момент, когда я начал переговоры с дирекцией ЦЭМИ о поступлении на работу, Евгений Иванович был в этом институте заведующим лабораторией, в которую я бы попал, и именно в результате его положительного решения дирекция института в конце марта 1965 г. приняла меня на должность старшего научного сотрудника.

Долгие годы моими шефами или коллегами в ЦЭМИ были учёные, которые сыграли роль в подготовке к модернизации советской экономики, а после начала перестройки стали — кто надолго, кто нет — довольно видными фигурами в научной, правительственной и деловой сферах. Упомяну троих: С. С. Шаталин, В. И. Данилов-Данильян, Е. Г. Ясин. С двумя последними я много лет (в разное время) тесно сотрудничал при выполнении научных работ.

Я был свидетелем героической правозащитной деятельности А. Д. Сахарова, восхищаясь им, правда, только лишь издали. И хотя мне нечего сказать о Сахарове такого, чего не знали бы другие, я не могу обойти молчанием эту слабую связь. Жизнь и личность Андрея Дмитриевича были столь примечательны, что влияние на меня этого соседства (даже только лишь во времени) было вполне ощутимо.

Эти же мотивы побуждают меня особо отметить, что я был современником А. И. Солженицына и восхищался литературной и гуманитарной деятельностью Александра Исаевича и её результатами в тот отрезок времени, когда эта деятельность проходила подпольно, но звучала набатом.

Судьба близко свела меня с несколькими людьми высокой души и большого ума, оказавшими на меня прямое — в меру моих скромных возможностей его воспринимать — влияние.

Первым среди них был Александр Маркович Колмановский, отец моей второй жены Маши. Его я знал с раннего детства до момента его безвременной кончины в 1956 г. Мы всегда жили недалеко друг от друга, и поэтому я виделся с ним часто. У него был ясный ум — и в житейских делах, и в понимании политической реальности, и в своей профессии. Его культурный диапазон был очень обширен. Он подталкивал меня к расширению круга моего чтения русской и иностранной литературы. Я систематически советовался с ним по самым разным поводам. Моё отрицательное отношение к режиму в значительной степени сложилось под воздействием бесед с Александром Марковичем.

В студенческие годы я женился. Отцом моей первой жены Гали Шестопап был Абрам Миронович Лопшиц. Он был видным математиком и вдохновенным учителем. Он неустанно старался повышать мой математический кругозор. Этот человек был умён и образован не только в математике и в теоретической механике, но и в широкой гуманитарной сфере, был страстным и активным любителем и знатоком литературы и музыки. Но главное — он был исключительно доброжелателен к людям, самоотверженно и бесстрашно бросался на помощь родным и друзьям (а судьба часто ставила его в положения, которые давали повод этим качествам проявиться). Наконец, он был блестящим полемистом.

Абраму Мироновичу я обязан ещё и тем, что он приобщил меня к научно-литературной работе. Сперва он перепоручал мне переводы (обычно с английского) математических статей и книг, которые предполагали публиковать московские научные журналы и издательства. Договоры на эти публикации заключались, естественно, не со мной, а с ним — авторитетным специалистом. Мои тексты, которые шли в редакции за подписью Абрама Мироновича, он тщательно контролировал, и в процессе такой совместной работы я научился очень многому: математическому английскому сленгу (я в детстве учил немецкий и французский, а английский выучил только когда мне было за сорок), элементарным литературным навыкам, технологии авторской правки, взаимоотношениям с редакторами и пр.

Постепенно я стал заниматься литературной работой самостоятельно. Сначала как переводчик, редактор и рецензент, а потом и как автор статей

и книг. Получив стартовый толчок от Абрама Мироновича, я за свою жизнь опубликовал четыре книги (две выходили несколькими изданиями, а одна — переводилась на разные иностранные языки) и несколько десятков научных статей.

Когда мне было уже за пятьдесят, жизнь одарила меня дружбой с выдающимся врачом — профессором Виктором Юльевичем Островским. Он стал тестем нашего с Машей племянника Саши Колмановского. Мы с Машей сдружились с Витей и с его женой Ритой Ушеровой Островской, прекрасной и учёной женщиной, фармакологом. Сдружились сразу и очень близко — так, как в этом возрасте люди обычно уже не сходятся. Нашим другом стала и дочка Риты и Вити, Ирочка Островская. Она тоже врач. Её специальность — нефрология; она много лет работает в Институте Трансплантологии.

Витя был необыкновенно отзывчивым и добрым человеком, высококвалифицированным и невероятно ответственным врачом. Он руководил отделением реанимации в Московском Областном Научно-исследовательском Клиническом Институте (МОНИКИ) и был Главным Реаниматором Московской области. Вечная тревога за пациентов при высочайшем уровне Витиной ответственности внесла свой недобрый вклад в Витину наследственную склонность к сердечным заболеваниям. Много раз объектом его медицинских и иных забот становились и мы с Машей, и наши дети. Витя погиб от четвёртого инфаркта в 1979-м году. Мы с Машей были его друзьями всего четыре года, а помнится, как если б — всю жизнь...

Несмотря на то, что Саша и Ира вскоре после кончины Вити развелись и образовали новые семьи, наша с Машей нежная дружественная связь с Ритой и Ирой не ослабла. И они, как и Витя, бросаются нам и нашим близким на помощь при любом аврале, в котором, по их представлениям — как правило, верным — они смогли бы оказаться нам полезными своими знаниями или связями.

Врачи, вообще, играли в нашей с Машей жизни особую роль. Судьба сводила нас с ними по-разному. С некоторыми из них нас сблизил обычные житейские ситуации, безотносительно к их профессии. С другими нас знакомила беда — острые случаи, в которых до того момента незнакомые или едва знакомые нам врачи становились нашими благодетелями, спасая от тяжёлых или даже смертельных заболеваний наших детей, наших близких или нас самих.

Некоторые из этих благодетелей относились к нам как к большинству своих пациентов: помнили о нас ровно столько времени, сколько требовалось в меру их профессиональных обязанностей. Но между некоторыми из них и нами с Машей возникала взаимная симпатия и даже любовь, и эти чувства продолжались и после того, как они своё врачебное дело сделали. И независимо от того, по какой причине наша дружба с врачами рождалась, друзья этой категории всегда оказывали (и ещё, я уверен, окажут) нам и нашим близким бесценную медицинскую помощь, используя либо собственные профессиональные возможности, либо свои связи в медицинском мире. Причём, если сперва слово «мир» следовало понимать фигурально, то с начала 90-х годов оно приобрело буквальное значение, потому что наши друзья врачи или те, кого они в помощь нам вовлекают, живут в самых разных странах...

Вскоре после нашей женитьбы Маша провела осенний месяц в Хосте без меня. На пляже Маша на почве любви к карточной игре «Кинг» познакомилась с двумя молодыми женщинами — Сашей (Александрой Александровной) Мазо и Лилей (Рахилью Лазаревной) Наги. Оказалось,

что эти две любительницы карт — москвички, двоюродные сёстры и врачи-педиатры. Обе они работали в Морозовской больнице. Саша была гематологом, а Лиля — терапевтом. Знакомство продолжилось и в Москве, и в него были вовлечены я и мужья кузин.

Сперва медицинская природа кузин была лишь негромким фоном нашей дружбы. Но год 67-й принёс нам такие беды, что их медицинские возможности стали для нашей семьи спасительными. В октябре возник приступ аппендицита у нашей дочки — восьмилетней Кати. Маша в это время ждала второго ребёнка. Саша и Лиля велели немедленно везти ребёнка в хирургическое отделение их больницы. По счастью, Катя попала в руки Анны Абрамовны Вайнштейн, заведующей хирургическим отделением. Она сочла, что операция неизбежна, и нашу дочку оперировала сама. Операция прошла успешно. В те дни выяснилось, что Анна Абрамовна естественным образом была в доброжелательных отношениях со своими коллегами докторами Мазо и Наги...

Так произошло наше первое, окрашенное тревогой, знакомство с Анной Абрамовной. Мы были благодарны ей за то, что она вылечила Катеньку. Кроме того, на нас произвела впечатление её личность, её спокойные и уверенные манеры, её благожелательные и чуть ироничные речи. Она находила верный стиль общения с больными детьми и с их родителями. Паникующего родителя её слова успокаивали, а слишком легкомысленного — настраивали на тщательное выполнение предписаний врачей. Анна Абрамовна была (и остаётся!) старше кузин и ближе по возрасту ко мне.

В ночь на 26-е ноября, т. е. примерно через полтора месяца после успешной операции аппендицита, у Катеньки начались острые боли в животе, что на фоне успешно удалённого аппендикса было непонятным. Катя в этот момент была больна свинкой, и первые пару часов мы и соседка врач приписывали боли этой болезни. Но они не проходили, и мы, позвонив Лиле Наги, повезли девочку на такси в Морозовскую.

В приёмном отделении диагноз поставили не сразу. Только дежуривший по больнице доктор Валентин Иванович Лебедев догадался поставить ребёнка под рентген и увидел, что у неё кишечная непроходимость, требовавшая срочной — и уже почти безнадежной — операции. Было раннее воскресное утро. Лебедев позвонил доктору Вайнштейн и попросил её приехать и оперировать Катю. Приехала Лиля и присутствовала на операции, которая началась часов в девять утра. В те годы (подумать только!) в больнице не было дежурного реаниматора-анестезиолога (профессия Вити Островского, с которым мы познакомились несколькими годами позже). Был выходной, и анестезиолог отделения была у себя дома, а дом был под Москвой. Тогда врачи Морозовской упросили приехать на операцию анестезиолога Русаковской больницы Валерия Михайловича Балагина. У него тоже был выходной.

Я помчался за ним на удачно пойманном у ворот Морозовской такси. Балагин жил в коммунальной квартире старого дома на Неглинной. На том же такси я привёз доктора Балагина в Морозовскую. Анна Абрамовна уже готовилась к операции. Операция длилась несколько часов, и Катя была спасена. Я отвёз Валерия Михайловича на такси домой. По дороге я без успеха пытался вручить ему деньги, лепеча, что он работал в свой выходной и что Морозовская платит за разовый вызов гроши. Впрочем, и те деньги, которые я умолял его взять, были и по тогдашним меркам не Бог весть что, а по теперешним — совсем ничтожны. Позже мы узнали, что Катя была близка к клинической смерти, но доктор Балагин девочку из этого состояния вывел.

Катиных спасителей — Лебедева и Балагина мы больше ни разу с тех пор не видели. Только вот Балагина, адрес которого я в тот день запомнил, мы с тех пор регулярно поздравляем по почте с Новым Годом. Пару раз он нам ответил (тут мы узнали его новый адрес и поняли, что он, наконец, живёт в отдельной квартире), как-то мы поговорили по телефону (годов тридцать с лишним после того 26-го ноября). И всё. Благодарны докторам Лебедеву и Балагину вечно.

А вот с Анной Абрамовной у нас постепенно окрепли дружеские отношения. Они получили развитие в первые же дни после операции. Маше разрешили оставаться с Катей в отделении. Это разрешение было дано потому, что из-за заразной свинки Катю положили не в палату, а в перевязочную, а перевязки детей перенесли в палаты. Таким образом, перевязочная с Катей из привычного поля зрения персонала временно вышла, а Маша должна была следить за капельницей и звать, если надо, медиков.

Маша оказалась вовлечённой в круглосуточную жизнь отделения. Свинка прошла, Катю положили в общую палату, но разрешение оставаться при дочке Маше продлили: Катин случай требовал неустанный внимания, кроме того, Маша весьма эффективно помогала санитаркам ухаживать за другими больными детьми. Находясь в отделении, Маша познакомилась с Анной Абрамовной поближе, наблюдая её в течение многих часов в деле, а иногда и беседуя с ней.

Сперва эти беседы только иногда и только чуть выходили за рамки разговоров матери с лечащим врачом её ребёнка. Но постепенно они становились более тесными, превратились в прочный взаимный интерес и продолжились после того, как Катю из больницы выписали.

Мы увидели великолепные качества Анны Абрамовны: глубокий и трезвый ум во всех, а не только в медицинской, сферах, ответственность, доброжелательность. Наша дружба с Анной Абрамовной продолжается и до сих пор. За пару лет до нас с Машей вышедшая на пенсию Анна Абрамовна с семьёй переехала в Израиль и живёт в Нетании.

За многие годы Анна Абрамовна оказала нам и нашим близким миллион медицинских услуг, не получая от нас ничего — не только адекватного, но и близко лежащего. Это же относится и к Саше с Лилей. Мы продолжаем во всех сколько-нибудь серьёзных случаях звонить Анне Абрамовне и Саше Мазо. Саше мы звонили в Москву, а с недавних пор — в Штаты.

В начале семидесятых Катя заболела пиелонефритом. Саша, Лиля и Анна Абрамовна организовали консультацию у доктора Арнольда Леонидовича Ческиса. Он тогда работал младшим (!) научным сотрудником в Институте педиатрии. Хотя и оставаясь младшим, он к этому времени уже стал самым авторитетным детским нефрологом в Москве. Доктор Ческис стал лечить нашу Катю, а лечение этой болезни — затяжное. После того, как Ческис перешёл работать в Морозовскую больницу (в которой, к слову, он работает и до сих пор), он продолжал лечить Катю и довёл её до вполне приемлемого состояния. Это заболевание проявлялось у Кати и позже, особенно в период вынашивания и рождения её первых детей. Но работа Ческиса сделала эти рецидивы не столь опасными и продолжительными.

Ческис стал заведовать отделением в Морозовской, доктором наук. Близкого знакомства с ним у нас не завязалось. Но недавно мы — из Израиля — поздравили доктора Ческиса по почте и по телефону по случаю его семидесятилетия. И снова поблагодарили его.

В шестидесятых Маша случайно познакомилась с доктором Кирией Львовной Майоровой. Профессия у неё — нарасхват: гинеколог. Почти

всю свою карьеру Кира проработала в роддоме Грауэрмана (где, кстати, за несколько лет до знакомства с Кирой родилась Катя). Как и в случае с Сашей и Лилей, знакомство с Кирой прямого отношения к её специальности не имело. Но не выстрелить это ружьё не могло. Оно и начало стрелять лет через двадцать — двадцать пять, когда стали появляться дети у наших дочерей. А этому — как чаще всего бывает — сопутствовали сложности, и Кирины квалификация и связи свою положительную роль сыграли. Дочери продолжали рожать в Израиле, а Машина — а следовательно, и моя — дружба с Кирой не ослабела до сих пор.

Перехожу к следующим строкам стихотворения Тютчева. В совет всеблагих я допущен не был. Пил ли из чаши бессмертия? Сомневаюсь. Бессмертных поступков не совершил. Бессмертных книг не написал, хотя, конечно, то, что издано, будет храниться в библиотеках вечно — такое их, невидимых рыцарей библиотечного фронта (т. е. фонда), дело. Но будут ли эти книги заказывать читатели? Не думаю... Разве что, большой математический справочник, соавтором которого я был. Именно он выдержал несколько изданий в России и за рубежом и, возможно, будет ещё некоторое время использоваться математиками и физиками-теоретиками.

Могу предъявить и ещё один символ-заменитель бессмертия. Я пришёл в этот мир голым и нищим, а уйду, сделав своё демографическое дело: родил сына и двух дочерей, а от них, вижу, пошло. К настоящему моменту есть у меня пятнадцать внуков, четыре правнучки и двое правнуков. Именно эти Николенька и Тимошенька продлят существование переданной мне моим отцом фамилии.

Тут самый раз поблагодарить мою первую жену Галю, теперь, увы, покойную. Я прожил с ней прекрасные тринадцать лет. Она превосходно относилась ко мне, стала матерью моего старшего сына, которому уже под шестьдесят. На четырнадцатом году нашего брака я оставил Галю и вступил в новый брак, причинив ей боль. Я благодарен ей за то, что она, тем не менее, сохранила со мной человеческие, как принято говорить, отношения, сознавая, возможно, что в первую очередь это необходимо для подраставшего тогда нашего сына Саши.

Я благодарен моей второй и последней жене Маше, с которой я живу вот уже более сорока шести лет. Мы с ней душевно близки во всём — начиная от проблем воспитания дочерей (а потом и внуков) и кончая взглядами на друзей, на мир, на культуру, на политику и на то, что мы будем готовить на завтрашний обед...

Я благодарен троим моим детям за то, что, став взрослыми, они не утратили интереса ко мне, считают со мной, заботятся обо мне, помогают советами в тех сферах, в которых они стали осведомлённее меня. Хотя, конечно, такого совпадения понятий и взглядов, как у меня с Машей, тут не наблюдается. Но я знаю, что я им всем не безразличен, и что если придёт надобность, то на помощь они — примчатся. Такое на дороге не валяется...

Хорошо относятся ко мне и внуки. В полной мере я могу это утверждать относительно девяти внуков, детей наших с Машей дочерей, которые живут в Израиле и видятся с нами регулярно. А тут дело устроено так: чем старше внук, тем наша интеллектуальная связь теснее, потому что этот внук лучше младших знает русский, и мы, общаясь, можем войти в более тонкие материи. Ну, а моего иврита для серьёзного разговора с десятилетними или с ещё более молодыми внуками не хватает... Дальнейшее в этом плане неясно.

С шестью московскими внуками (среди которых четверо — взрослые) связи ослабли. Видимся мы редко, писем писать они не любят. Но презумпция доброжелательности с их стороны всегда наготове... Правнуки обо мне если и знают, то столь абстрактно, что рассуждать на эту тему нет повода. Итог: и этому поколению я благодарен — кому за реальную ласку, кому за потенциальную.

С двумя из моих троих детей связана важная тема. Мой старший сын Саша стал в своём зрелом возрасте православным христианином и даже священником, а моя дочка Катя тоже уже во взрослых годах стала ортодоксальной последовательницей иудаизма. В соответственных направлениях воспитывались и воспитываются их дети. Я отстаю от Иерусалима по всем пунктам: он — город, а я лишь отец, он — трёх религий, а я — только двух. В моей душе никакая конфессия корней не пустила...

Используя привычное мне научное мышление, я пришёл к тому (излагать эти мои соображения здесь было бы неуместно), что человеческие возможности познать возникновение Мира и законов его развития ограничены. Это эквивалентно признанию некоей Трансцендентной Сущности, непостижной уму. Я готов именовать её Богом. Но я не готов следовать за адептами разных конфессий и верить в то, что человек может проникнуть в природу, в цели и в волю Бога. Я не верю, что Богу есть дело до индивида и до человечества в целом.

Разное понимание категории «Бог» создало известную границу в моих взаимоотношениях с религиозными детьми и внуками, но, по счастью, граница эта соблюдается вполне цивилизованным образом и к конфликтам нас не приводит.

Абстракции и конкретные проблемы жизни соседствуют бок о бок, и, сталкиваясь с последними, невольно начинаешь задумываться о первых. Вот, к примеру, такое. Загробную жизнь я считаю более чем проблематичной, но образ моей будущей могилы (холмик и его окружение) меня занимает. Живя с Москве, я довольно часто бывал на двух московских кладбищах — Донском, около старого московского крематория и на Введенском («Немецком»). На Донском в одной могиле похоронены мои отец и мать, тётки Соня, Циля и Зина и другие родственники. В другой могиле похоронены родители Гали — Абрам Миронович и Мария Григорьевна — и их многочисленная родня. На Немецком похоронены родители Маши — Александр Маркович и Раиса Наумовна, первая жена Эди Колмановского Тамара и многие, многие другие близкие — родственники и друзья.

Мой первый приезд из Израиля в Москву в августе девяносто четвёртого был вроде как печальной командировкой на Немецкое: приезжали мы с Машей в Москву на похороны Эди. И его похоронили тоже на Немецком кладбище среди своих. Побывал я в тот приезд и на Донском...

После похорон Эди мы приезжали в Москву два раза — в 1998-м и в 2001-м. И оба раза приходили на близкие могилы, в которых и нам с Машей было бы место, не покинь мы Москву при жизни.

Витя Островский похоронен на Востряковском. Кое-кто из родных похоронен на Ваганьковском и на Кунцевском. Но на этих кладбищах я бывал меньше и самостоятельно там не ориентируюсь. А вот Донское и Немецкое знаю как свои пять пальцев. И, бродя там с Машей в наши приезды, я увидел ещё одно — вдобавок ко многим другим — отличие моей жизни в Израиле от прошлой жизни.

Живя в Москве, я отчётливо представлял себе место, где буду лежать после смерти. Безошибочно воображал путь, который проделает от

входа в кладбище мой потомок, буде захочет выполнить старый ритуал и положить на мою могилу цветы. Милости просим!.. Я понимал, чьим соседом я окажусь, какие там деревья, и из какого крана мой потомок будет набирать воду в баночку, чтоб полить только что посаженные им на мою могилу цветы. Собственно, только этими мысленными сценами поддерживалось моё скромное бессмертие...

А вот в Израиле я ещё ни на одном кладбище не побывал: не успел ещё, слава Богу, никто из близких умереть, да и, скорее всего, быть первым покойником (так сказать, пионером) в нашей здешней колонии участлилюсь именно я. Но: я не видел и, надо думать, не увижу места, где буду похоронен. Эта невозможность предвидеть мой будущий антураж делает моё бессмертие совсем худосочным. Более того. Я даже не знаю названий здешних кладбищ (кроме двух-трёх исторических и государственных мемориалов, которые явно не для меня). Не знаю и дорог к ним. Я знаю только полдела: названия и местоположения четырёх Иерусалимских больниц, в которых мне доводилось лежать или бывать. Не исключаю, что по дороге на кладбище я на некоторое время остановлюсь в одной из них. Как браться за вторые полдела, я и ума не приложу...

Высказанные выше мысли побудили меня обратить внимание на то, что темы, касающиеся собственной смерти, места упокоения занимали многих русских поэтов.

Незадолго до дуэли весьма точно предсказал картину своей смерти Лермонтов:

В полдневный жар, в долине Дагестана...

И свинец предвидел, и полдневный жар: дуэль была в июле. После дуэли Лермонтов был похоронен в земле Пятигорска, близ места его гибели. Только почти через год прах Лермонтова был перевезён его родными в Тарханы.

Могилы Пушкина в Святогорском монастыре выполнена, говоря современным языком, по его собственному проекту. Сперва, задолго до смерти, ещё в 1829-м году, на бумаге:

Но ближе к милому пределу мне всё б хотелось почивать...

А позже Александр Сергеевич этот проект и финансировал: откупил у Святогорского монастыря участок для своей будущей могилы. Эта покупка, кажется, относится к 1836 г., когда Пушкин хоронил в Святогорском монастыре мать. Вовремя подсуетился...

Пастернак в стихотворении «Август» выступил чуть ли не церемониймейстером своих собственных похорон, и всё вышло по его программе.

Маяковский сперва пророчески сказал:

Всё чаще думаю, не поставить ли лучше
Точку пули в своём конце

Потом, правда, заколебался, и это колебание отражает его душевное смятение и потерю ориентира:

Где бы не умер, умру, поя.
В какой трущобе не лягу,
Знаю: достоин лежать я
С лёгшими под красным флагом.

Вышло по-первому...

А вот Иосиф Бродский, наречённый при жизни чуть ли не лучшим русским поэтом последних тридцати лет, пробросался, предвидел неверно. Он не пришёл умирать на Васильевский остров, как собирался в своём стихотворении, а предпочёл (сам!) Венецию... Я поэзию Бродского значительной не считаю, и в этой его ошибке вижу ещё одно подтверждение моей оценки. Великие от невеликих отличаются тем, что умели предвидеть кое-что касательно собственной смерти. Слов на ветер не бросали...

Подытоживая соображения о применимости стихотворения «Цицерон» к моей биографии, я хочу сказать, что несмотря на мою любовь к Тютчевской поэзии, я отношусь к этому стихотворению неоднозначно (если употребить утвердившийся с недавних времён штамп). Что-то очень верно, а что-то — скорее риторично. Хотя тема, безусловно, важная.

Есть ли у меня основания для того, чтобы взяться за мемуары? Мне кажется, что основания для такой затеи есть у большинства людей. Жизнь индивида проходит на фоне истории с географией. Крупные исторические события влияют на частные жизни не только их активных участников, но и тех, кто не занимал видных мест в политике или культуре. Простые люди — одни размышляя о процессах, в которые их втягивала история, другие относясь к ним бездумно — оказывались прямыми жертвами войн и тоталитарных режимов или близкими к прямым жертвам. Многие совестливые и порядочные люди страдали от трагических поворотов истории, даже если ни их, ни их близких эти события не затрагивали, страдали только лишь от созерцания творившихся вокруг жестокостей. Но были и сильные радости, которые иногда потом оказывались недостаточно обоснованными.

В моей жизни первой такой радостью была победа моей родины в Отечественной войне. В этой радости смешивались облегчение от сознания, что мой народ выстоял, что гибель людей и городов — в прошлом, что многие мои близкие выжили. Другим, очень существенным компонентом этой радости была надежда на то, что наша жестокая коммунистическая власть, пережившая страх краха, поймёт, что народ, победив в войне, защитил не только страну, но и эту власть, несмотря на все её предвоенные жестокости. Хотя к её греху уничтожения собственного народа в жерновах ГУЛАГа добавились чудовищные просчёты в руководстве страной и армией в годы войны.

Мы надеялись, что власть из благодарности народу и в целях продолжения плодотворного сотрудничества с союзными государствами, смягчит диктатуру, откажется от бессмысленных репрессий, приоткроет железный занавес. Вот этим надеждам на либерализацию сбыться не довелось. Репрессии возобновились и усилились, приобретаая новые фантазмагорические образы, наступила холодная война.

Но, несмотря на то, что надежды не сбылись, и мы продолжали жить под гнётом тоталитарного изощённо жестокого режима, 9-е мая оставался днём ликования. Таким же радостным он продолжал оставаться при всех последующих режимах, которые мне довелось пережить.

Вторая радость — смерть Сталина, возвращение из лагерей и реабилитация, оттепель. И в этот раз мы надеялись на более радикальные изменения к лучшему. И в этот раз было своё «несмотря». Мы высоко оцениваем роль Хрущёва в движении нашего общества к лучшему будущему. Несмотря на то, что и Хрущёв был из банды Сталина, и на нём висит вина за гибель миллионов репрессированных, несмотря на то, что и после либеральных изменений он неоднократно выступал как дикта-

тор-самодур, несмотря на то, что не захотел или не смог ввести Россию в цивилизованное мировое сообщество.

Третья радость — реформы, начатые Горбачёвым. Горбачёв стал первым коммунистическим диктатором, который добровольно отказался от тоталитарной неограниченной власти и решил круто переложить руль корабля истории России. Это был, конечно, подвиг, несмотря на то, что Горбачёв не смог или не захотел быстро и полностью изменить свой менталитет партийного чиновника и несмотря на свершённые или допущенные им зверства в Тбилиси, Нагорном Карабахе, Баку, Прибалтике.

И хотя случился распад страны, хотя русские демократические силы, попытавшиеся воспользоваться новыми историческими возможностями, оказались к этому не готовы, наделали много ошибок и продолжают их совершать — несмотря на всё это, я надеюсь, что эта третья радость не станет ошибкой.

Я постарался в моих записках рассказать, как крупные исторические события, случившиеся в охватываемый записками период, повлияли на мою жизнь и на жизнь людей, находившихся в поле моего зрения. Я надеюсь, что эти мотивы дают возможность взглянуть на исторические процессы изнутри и услышать существенные обертоны звучания Истории.

Я недвусмысленно ощущаю, что прежде всего, моя любовь — Россия, моя Родина. Я могу такое сказать не только про себя, но и про многих людей, в первую очередь, про Машу. Это чувство было при нас всю жизнь — и тогда, когда мы там жили, и теперь, когда последовали за дочерьми и переселились в Израиль. Мы по России тоскуем, и её состояние, судьба, тамошние события занимают значительную часть наших с Машей разговоров.

Нюансы этой тревожной заинтересованности связаны и с тем, что в России (в основном, в Москве) живёт множество близких нам людей. Но мы отчётливо понимаем, что близость проблем этой страны к нашим сердцам связана со свойствами наших собственных натур и не уменьшилась бы и в том случае, если б все три-четыре десятка наших оттуда поужезжали.

Мы любим Россию и благодаря, и несмотря. Мы любимся высокими качествами русской культуры и преклоняемся перед теми, кто эту культуру своими делами возвеличивал или возвеличивает, и презираем тех, которые эту культуру тянул или продолжает тянуть вниз. Мы любим жителей этой страны — и аристократов духа, и простолюдинов — несмотря на то, что этому народу свойственны и низкие черты, которые, в частности, позволили в какой-то момент группе преступников овладеть им и вовлечь его в свои преступления.

Наша любовь и осознана, и безрассудна. И уж точно — она сильна. Довольно часто, видя по телевизору те или иные сцены, те или иные лица, я не могу сдерживать слёз умиления или сострадания (у Маши слёзы возникают реже по понятным биологическим причинам: я — старый пёс, глазам которого слезиться позволено) или удержать в себе знаки презрения и ярости.

История сделала так, что огромное количество евреев стали «двупатрийными». Русские, украинские, грузинские, американские, французские и пр. евреи являются носителями соответственных культур и менталитетов, но замешанных на особой еврейской закваске, которая далеко не всегда ощущается осмысленно. Это еврейство я ощущаю в себе тогда, например, когда вспоминаю с удовольствием или даже с гордостью, что евреями (т. е. немножко, как и я) были Мендельсон, Кафка, Модильяни, Марсель Пруст, Шагал, Фальк, Ойстрах, Коган, Гиллельс, Эйнштейн,

Ферми, Гердт, Пастернак, Мандельштам, Райкин... Всех не перечислить, и не к чему. Мне неприятно знать, что евреями были изверги Троцкий, Свердлов, Ягода...И этих не перечесть. Но признаюсь в необъективности: я сильнее рад тому, что евреем вместе со мной записаны Гейне и Ландау, чем сокрушаюсь от того, что к одной нации вместе со мной относятся Карл Маркс и Зиновьев.

Так вышло, что русские, европейцы и американцы и евреи в русской, европейской и американской диаспорах мне роднее и понятнее, чем коренные евреи Израиля. Ближе мне и соответственные культуры. Это связано, в первую очередь, с невозможностью выучить иврит так, как я владею русским, во вторую — с ощутимыми различиями менталитетов. Да и я для здешних — русский. И отношение здешних евреев к нам, приезжим (особенно, из России) иногда напоминает отношение к нам русских антисемитов...

Географические места являются, как и исторические события, фоном жизни человека, и тоже могут стать объектом его привязанности или антипатии. Я любовался многими ландшафтами, но сердцем не прикипел ни к какому. Я человек городской. А из городов я всем сердцем люблю три города. На первом месте — Москва. Я провёл в этом городе большую часть жизни и ощущаю себя его частью. Московские атрибуты — улицы, архитектуру, музеи, театры, публику и то, что называется духом города, — знаю лучше, чем атрибуты всех других городов. Для меня очень важны мелочи. Возможно, потакая этой своей привязанности к топонимике и к плану Города, я в нижеследующих главах часто увлекаюсь излишними подробностями.

Второе и третье места в моём сердце делят Санкт-Петербург и Одесса. В этих городах я бывал наездами по неделе, по месяцу. Поводами для этих наездов (командировок за государственный счёт!) бывали изобретённые часто мною самим совместные работы с местными научными, учебными и промышленными учреждениями. В Одессе мы с Машей и с дочерьми провели (на этот раз за собственный счёт) несколько отпусков. Все остальные города Мира, в которых мне довелось побывать и пожить, от этих трёх — на очень больших дистанциях.

Любовь к трём названным городам имеет культурную подоплёку. Я вижу здесь на каждом шагу декорации, в которых разыгрывались исторические события, биографии великих людей, явления искусства и науки, а так же события и поступки героев литературных произведений и сюжеты, запечатлённые русской живописью: здесь стоял Наполеон, здесь стояло карре Декабристов, здесь жил Достоевский, здесь — Булгаков, здесь — Ойстрах. Здесь жили графы Ростовы, здесь ходили Воланд и Мастер с Маргаритой, здесь прогуливался Бенья Крик. И этого не перечесть.

Благодаря судьбу, давшую мне радость соприкосновения с Москвой, Санкт-Петербургом и Одессой, я должен покаяться в неблагодарности к Иерусалиму. Я поселился под конец жизни в этом Городе, исторический и религиозный магнетизм которого влиял и влияет на сотни миллионов человеческих душ. Но на фоне давней любви к тем трём городам новая любовь оказалась для меня уже невозможной...

Заканчивая это Вступление, я возвращаюсь к теме, с которой это Вступление началось. Да, я был блажен, посетив сей мир в его минуты роковые. Но невольно встаёт вопрос: не был бы я блажен ещё больше, если б с минутами роковыми разминулся? На глазок на этот вопрос не ответишь, а контрольный опыт невозможен.

ГЛАВА 1

Начало. Происхождение родителей. Бабки, деды, родня. Тётя Броня и Дядя Гриша. Мои тёзки: Юра Оксман и Юра Барштейн. Встреча и брак родителей. О родителях. Дом на Арбате. Наша квартира. Благая роль дома 35 во всей моей жизни. Коммунальная квартира. Домработницы. Первые летние месяцы. Проказы. Мебель в комнате. Кружочки. Книжный базар в Лубянском проезде. Гуляние в окрестностях дома. Уличные игры. Китайцы и цыгане на Гоголевском бульваре. Храм Христа Спасителя.

Я родился 15 июля 1923 г. в Москве, на Солянке, дом 3, квартира 12. Именно так: квартира, а не роддом. Для тех времён я был уникал. В роддоме рождались все мои сверстники — друзья и близкие, потом — дети, внуки и правнуки и, как мне думается, рождалось большинство людей в те и в многие последующие годы. Не знаю, почему мама рожала дома. Это был не наш дом. К моменту моего рождения у родителей была уже своя комната на Арбате, в доме 35, в квартире 24. А я родился в доме на Солянке.

Позже я много раз слышал, как мама напевает шутливую песенку, сочинённую ею самой: «На Арбатике, тридцать-пятике...». Пела она на мотив популярного романа «Кирпичики», в котором были странные (или мне так запомнилось?) предлоги и падежи:

На окраине где-то города
Я в рабочей семье родилась.

Мама была очень склонна к сочинению юмористических куплетов или стишков на всякие семейные события.

В доме на Солянке, где я родился, жила моя бабушка Мария Яковлевна Константиновская с тремя своими незамужними дочерьми, моими тётками, которых я помню только взрослыми, а между тем младшей из них — Циле — в момент моего рождения было двенадцать лет, а старшей — Соне — двадцать два. Маме в этот момент было двадцать пять, и она была, как ясно из предыдущего, к моменту начала моего повествования уже замужем. На самом деле у моей бабушки было пятеро детей, но старший из них, сын Яша, умер от скарлатины в юности, ещё до революции.

Мне неизвестно, каким образом эти четыре сестры и их мать переехали в начале двадцатых годов в Москву из Умани, где они жили последние перед революцией годы. Лишь в тумане вертится в моей голове обрывочная романическая история, возникшая из позднейших намёков моей старшей тётки Сони. Будто, в Москву эта дамская еврейская семья потянулась, ведомая Полиной, моей будущей матерью, у которой был роман с человеком, увлечшим её в столицу. А в Москве, будто, намечавшийся брак расстроился.

Каковы бы ни были причины и способы переезда этих женщин в столицу, они попали в некое общее течение: в конце Гражданской войны и в первые послевоенные годы в Москву устремился поток евреев, которым до революции въезд в этот город был заказан. Так появился в Москве

мой отец и одна из его сестёр, так приехали в Москву родители моей первой и моей второй жены. А также — родители многих знакомых мне людей.

В те поры в Москве было много свободных комнат в квартирах, сделавшихся вдруг коммунальными. И, пообивав пороги в разных Горкомхозах, можно было получить воделенный ордер. Большая семья могла получить даже не одну комнату, а больше. Так, моя бабушка и её четыре дочери получили в огромной коммунальной квартире две очень большие смежные комнаты. Они называли их «столовая» и «спальня», сохраняя привычный лексикон применительно к новым реалиям, хотя в столовой жила (и спала) Соня. Я родился на диване в спальне.

Маминого отца, моего деда Самуила, к моменту переезда семьи в Москву уже не было в живых. Мама позже рассказывала мне, что его убили белые. Тогда я в эту версию бездумно верил, но теперь я не исключаю, что — не белые, а красные, а мама (сама или по наущению бабушки и сестёр) лишь редактировала историю в духе режима, ибо быть семьёй жертвы белых было почётно, а семьёй жертвы красных — опасно.

Судя по образу жизни семьи маминых родителей, дед Самуил был человеком состоятельным. В ответ на мои вопросы о его профессии, мама отвечала мне немного туманно: «строитель». На единственной, сохранившейся у мамы фотографии её отца (теперь она находится в моём архиве) — старинной, на твёрдом паспарту, с фамилией фотографа, относящейся к первым годам второго десятилетия двадцатого века, дед изображён в тёмном костюме-тройке и при карманных часах с серебряной цепочкой. Этот портрет наводит на мысль о принадлежности деда к благополучному сословию. У него, еврея, на фотографии вполне светский вид. Ни пейсов, ни бороды, ни кипы. Только небольшие усы. Значит, он не был религиозным ортодоксом ещё в те дореволюционные времена.

Яша и две старшие дочери обучались в гимназии. Это говорит одновременно и о способностях детей, и о влиянии их отца в тех краях, где они жили. Если б не эти качества, пятипроцентная норма, установленная в дореволюционной России для евреев-гимназистов, возможно, преодолена не была бы. Подвожу итог: я думаю, мой дед был преуспевающим строительным подрядчиком. Больше о нём я не знаю ничего. Впрочем, на задней стороне упомянутой фотографии маминой рукой красным карандашом — очевидно в начале двадцатых — написано: «Мой отец Самуил Афанасьевич». Ясно, что «Афанасьевич» — это заменитель какого-то весьма еврейского отчества. Из-за простого «Ароновича» или «Абрамовича» превращаться в Афанасьевичи резона по тогдашним нормам не было бы. Я ломал себе голову в попытках реконструировать имя моего прадеда, но так ничего и не придумал. Может, Авель?

В начале тридцатых Советская власть ввела паспорта, и в стране проходила кампания по их выдаче. На получение паспорта имели право не все. Были «лишенцы», т. е. граждане, лишённые избирательных прав. Сами права никакой реальной роли не играли. Важно было их иметь. Лишенцами, как правило, были бывшие дворяне, чиновники, офицеры, священники и пр. В общем, это было в молодые годы новой власти, которая держала за врагов те слои общества, которые можно было не без основания считать приверженными старым порядкам. Массовое гонение на своих началось через пару лет.

Лишенцам жилось несладко. Дело было, наверное, не в том, что было заманчиво участвовать в выборах каких-нибудь «Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов». Категория «лишенец»

была клеймом, высвечивающим плохое прошлое и — по логике властей — нелояльность гражданина к новому строю. Это клеймо давало государству основание для дискриминации таких граждан. Тогда никому и в голову не приходило, что такое основание — незаконно.

В паспортную кампанию некоторых лишенцев «процали» и паспорт им давали; но многие паспорт не получили и остались изгоями. В результате получение паспорта становилось лакмусовой бумажкой на отношение власти к гражданину: признаёт она его право на нормальную (по установленным ею понятиям) жизнь, или нет, не признаёт. Я помню, что в тот год мои тётки и родители часто ходили к знакомым на вечеринки, устраивавшиеся по случаю получения паспортов.

Я не думаю, что мои ближайшие родные были лишенцами. Евреи считались тогда надёжной прослойкой советского общества. Они не были, как правило, дворянами, чиновниками, офицерами — об этом позаботилась монархия. Не были они и священниками, о чём надёжно позаботилась вера их отцов. В столичные города устремлялась атеистическая еврейская молодёжь. Раввины обычно оставались в родных привычных местах. Так что, по-видимому, взрослые члены нашей семьи получили паспорта без нервотрёпки.

Заинтересованный бесконечными разговорами о паспортах я сразу заглянул в один из них, как только их торжественно внесли в дом. Это был бабушкин паспорт. Он, собственно, и является причиной моего длинного отступления, в котором и лишенцам место нашлось. В качестве фамилии моей бабушки значилось знакомое мне «Константиновская». Эту фамилию носили до конца своих дней и мои тётки, и я знал, что это девичья фамилия моей матери. Но вот, вместо знакомого мне «Мария Яковлевна» значилось: «Мириам Янкелевна».

На мои недоумения бабушка отвечала немного сконфуженно, что в паспорте написано правильно, но для простоты она выбрала русские варианты своего имени и имени отца. Для меня было новостью, что существуют необычные — еврейские — имена и их эквиваленты на русском, и что существует стремление от еврейских оригиналов избавляться. С бытовым антисемитизмом я был к этому времени хорошо знаком, но был уверен в положительном отношении к евреям со стороны государства и общественности. Из бабушкиного паспорта я узнал о существовании негласной капитуляции евреев перед юдофобами.

В паспортах моих родителей и тёток стояли уже русские заменители имён и отчеств, но я узнал, что «раньше» моя мать была не Полина Самойловна, а Паулина Самуиловна (почему Паулина ближе к Торе чем Полина, я не знаю и до сих пор), а отец — не Вениамин Михайлович, а Беньямин Моисеевич. Моя средняя тётя Зина была названа при рождении Зелдой. Имена младшей и старшей тёток Цили и Сони в те времена изменениям, по-моему, не подверглись. Изменились эти имена позже — как следствия романических причин.

Мой отец приехал общим манером в Москву из Ашхабада (который тогда именовался Асхабадом). Это было в начале двадцатых. Примерно в это же время в Москву приехала его ближайшая по возрасту старшая сестра Анна Михайловна (Тётя Нюра). Она вышла замуж за русского Александра Ивановича Стеслицкого, и у них были две дочки, мои двоюродные сёстры: Ирина, моложе меня на год и Милочка — моложе лет на пять.

Самая старшая папина сестра Зина вышла замуж и (это было ещё до эпохи переселения евреев в столицы) переехала жить к мужу, Влади-

миру Рубецкому, в Махачкалу по адресу Таркинская, 13. В Москве Зина стала бывать только во второй части тридцатых. Она с мужем разошлась до этих приездов, и я его никогда не видел. У них была дочь, моложе меня на семь лет. Эту кузину зовут Наташа.

В детстве и в очень молодые годы мы с Наташей кое-какие, не очень близкие отношения поддерживали, но потом они загасли. Наташа получила профессию журналистки и редактировала малоформатные газеты, связанные с кино: что-нибудь вроде «Спутник кинозрителя». Она пробыла недолго замужем: её муж умер в молодые годы. Детей у них не было. С годами мы отдалялись друг от друга всё больше, и теперь я узнаю о ней только через цепочки знакомых и родственников...

Папины родители оставались жить в Ашхабаде в собственном доме (Крымская, 34), сохранившемся у них с дореволюционных времён. Впоследствии мне удалось соприкоснуться только с бабушкой Ниной Иосифовной (Бабой Ниной), которая в довоенные годы, начиная с моего совсем раннего детства, иногда приезжала в Москву — в гости к своей сестре Берте, своему сыну — моему отцу, — и ко второй своей дочери Нюре, моей тёте.

Деда с отцовской стороны звали Моисей. Его отчество до меня не дошло. Дед родился и в молодые годы жил в Могилёве. Окончил (не знаю, где) медицинский факультет и по каким-то причинам переехал жить в Ашхабад. Там он женился на местной еврейской девушке, дочери известного в тех краях купца Иосифа Пейроса. Она и сделалась впоследствии Бабой Ниной.

Её отец, мой прадед Иосиф, жил в Ташкенте, был дружен с генерал-губернатором и удивлял город своими выходками. Об этом мне рассказывала тётя Нюра. Она рассказывала, что прадед нанимал всех извозчиков города и цугом из пустых экипажей ездил по улицам, наслаждаясь яростью зажиточных горожан, которых он лишал на пару часов возможности пользоваться этим видом транспорта.

В Москве из потомков Пейроса оказалась ещё родная сестра Бабы Нины по имени Берта. С ней и с её сыном, папиным двоюродным братом, мы виделись очень редко. В Центральной России после революции очутился ещё один папин двоюродный брат Яша Пейрос.

В начале тридцатых Яша поехал строить автозавод в Горьком, а потом стал инженером на этом же заводе. Он, как я понимаю, был испытателем, и поэтому часто гонял новые образцы автомобилей в Москву. Он любил нашу семью и во время приездов в Москву много времени проводил у нас. Его считали непутёвым, но я его очень любил: за то, что его появление сопровождалось катанием на автомобиле, и, вообще, за его внимание к моей личности, а позже — потому что увидел, что он очень умён.

Итак, я знаю только имена отцов двух моих бабок, а имена остальных моих прадедов и прабабок мне неизвестны. О большинстве из них я не знаю ровным счётом ничего. Не знаю ничего и об их родителях.

Начиная уже с семи—восьмилетнего возраста я пытался что-то у моих родителей и бабушек выяснить. Может, я мог бы порасспросить моих родителей, тёток, бабушек понастырнее и как-то осветить ещё, по крайней мере, одно поколение моих предков. Да не сделал. Но и все мои старшие — родители, тётки и бабки — совершенно не старались поделиться со мной генеалогической информацией. Или считали это ненужным, или сами многое позабывали, или в этой информации было нечто политически неблагоприятное.

...Позору натерпелся я несколько лет назад. Учительница моего, тогда десятилетнего, внука Гриши поручила своим ученикам (Гриша учился в нестандартной 57-й Московской школе) нарисовать своё генеалогическое дерево. Мой Гриша принёс длинный свиток, но только — за счёт предков с материнской стороны. Моя невестка, Гришина мать, урождённая Гончарова (возможно, из тех самых). Был момент, когда её дядя (с материнской стороны) занялся вопросами рода серьёзно. Он просидел несколько лет в Ленинской Библиотеке и сумел проследить всё дерево Лидиной матери М. К. Брушлинской от наших дней до какой-то княжны, сестры князя Олега Рязанского. Ну, а от этой княжны до Рюрика всё дерево можно было обнаружить в любом солидном учебнике истории. Что касается ветвей с отцовской стороны, то информированности Гриши и его родителей хватило только до меня и до моих родителей.

Жаль, конечно. Ведь на биографию каждого предка, как бы ни бедна была она сама по себе, налипают исторические реалии, которые в контексте с биографией отдельного человека приобретают новые нюансы, правдоподобность и осязательность. Эта забывчивость по отношению к роду своему была характерной для всего круга, к которому я принадлежал, да и остаётся характерной для следующего поколения. Мои дети совершенно не заинтересовались историей своих бабок и дедов. Даже тех, которых они ещё застали. А про прадедов и говорить нечего. Некоторым исключением стала младшая Тамара, попросившая у меня недавно фотографии моих родителей и бабок с дедами для устройства генеалогической витрины...

Мои родители — одногодки. Их год рождения 1898. Дата их рождения рядом: папина 3-го октября, мамина 27-го ноября. Оба они закончили классические гимназии. Папа — в Асхабаде, мама — в Ельце, хотя её родители жили в Умани. В Ельце жила с мужем бездетная старшая сестра моей бабушки. Её звали Бронислава Яковлевна («тётя Броня»), а её мужа — Григорий Игнатьевич Барштейн («дядя Гриша»). Очевидно, что эти имена — русифицированные варианты еврейских оригиналов.

Все свои гимназические годы (за исключением, быть может, самых первых) мама жила у этой четы, которая маму обожала и баловала. Бабушка же с мужем и с остальными детьми продолжала жить в Умани. Чета Барштейнов были по отношению ко мне двоюродными бабушкой и дедом, но я вслед за мамой называл их «тётя Броня» и «дядя Гриша». Родству с дядей Гришей я обязан моим именем. История такая.

Как известно, мужское имя «Юрий» — это классическое русское имя, считающееся вариантом Георгия и Егория. В истории русской культуры, вплоть до революции, этот вариант встречается довольно редко — даже если привлечь к рассмотрению не только собственно имена людей, но и названия городов и монастырей, имена святых, отчества, фамилии и другие косвенные следы этого имени. Вот что я наскрёб.

Был святой: отмечается Юрьев день (в честь Георгия Победоносца), оставшийся в сознании народа весьма употребительным восклицанием «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!». Были князья: Юрий Долгорукий (Московский) и менее известные Юрий Всеволодович (Владимирский), Юрий Данилович (Московский тож), Юрий Дмитриевич (Звенигородский). Юрьевичем был Лермонтов. Были Юрии попроще: артист Юрий Юрьев, поэт Юрий Балтрушайтис. Известны хоть и не Юрии, но Юрьевы: певица Изабелла, учёные Борис и Василий. Город Тарту много веков был Юрьевым, есть города Юрьев-Польский и Юрьевец; есть Юрьев монастырь в Новгороде. С героем романа Загоскина неясность: бояре Милославские реально

существовали, но в энциклопедии я среди известных в истории этого рода Юриев не нашёл, а там упоминаются реальные лица, участвовавшие в менее значительных событиях, чем то, в котором чуть ли не главную роль сыграл Юрий Загоскина. Вымысел романиста?

В начале двадцатых годов имя Юрий стало очень популярным. В моём классе было несколько Юриев, да и потом я встречал несчётное количество моих тёзок — и среди моих знакомых, и среди знаменитых людей. Надо полагать, что Юрии, мои современники, были тёзками русских Юриев, названных вариантом имени православного святого. Но я всем этим тёзкам — вовсе не тёзка, хоть и звучу схоже. Происхождение моего имени совсем другое.

У дяди Гриши была сестра («тётя Катя») и брат («дядя Костя»). После революции Гриша с Броней из Ельца переехали: сперва в Таганрог, а потом в Ростов. Дядя Костя с семьёй обосновался в Киеве, а тётя Катя — в Ленинграде. Тётя Катя носила, естественно, фамилию своего мужа — Оксман. С её мужем Фёдором мне познакомиться не довелось. Он умер сравнительно рано.

У матери Гриши, Кати и Кости было странное, звучащее как мужское, имя: «Юра». Возможно, это искажённый «идишский» вариант имени Урия, которое упоминается в Ветхом Завете. Правда, там это имя носили только мужчины. Но в дальнейшем, возможно, такое имя давали при рождении и девочкам. Строя предположения по поводу происхождения имени матери дяди Гриши, я могу лишь добавить, что это еврейское «Юра» вряд ли, несмотря на русское звучание, имеет общее с именами русских князей и святых. А впрочем...

В память именно этой еврейской Юры были названы дочка тёти Кати и сын Кости. Они были почти одногодками. Когда через несколько лет после рождения первых двух Юр родился я, то мама, которая хотела угодить любимому ею бездетному дяде Грише, назвала Юрой и меня. Так возникли ленинградская Юра Оксман, киевский Юра Барштейн и московский Юра (я).

Юры Оксман и Барштейн были моими двоюродными тёткой и дядькой, но мы были близки по возрасту. Юра Оксман была старше меня на шесть лет. Она была «Ровесницей Октября». Эта когорта людей, родившихся в 1917 г., была в почёте. Юра Барштейн был старше меня на пять лет. Из-за не слишком большой разницы в возрасте мы держали друг друга за двоюродных братьев и сестру. Вот мы трое и были-то настоящими тёзками.

Мою первую встречу с Юрой Оксман я помню смутно. Это было на даче в подмосковном Пушкино. Мне было три года, я был болен и лежал в кровати. Ко мне подвели большую шуструю девочку, которая около меня попрыгала и убежала. Возможно, тётя Катя приезжала в Москву на встречу со своим братом Гришей, который к нам из своего сперва Таганрога, а потом Ростова приезжал часто.

Второй раз я встретился с Юрой Оксман и познакомился с ней по-настоящему только летом 1939-го года, когда мне было шестнадцать лет, а ей — двадцать два. Тогда же я познакомился и с Юрой Барштейном. Это произошло во время летнего отдыха в Святошине под Киевом, и я о нём расскажу подробнее в одной из следующих глав. А сейчас вернусь к биографиям моих родителей.

Я толком не знаю (опять таки, к сожалению, которое мне здесь приходится высказывать слишком часто), как прожили мои родители в период между годом окончания гимназии (это произошло в 1915-м) до 20-го или 21-го года. К этому моменту они оба были уже в Москве, куда каждый из них, подхваченный общим потоком, прибыл своим путём.

Вот обрывки моих сведений. Мама была способна к иностранным языкам, охоча до их изучения и преподавания. После окончания гимназии она, используя свои возможности, занималась репетиторством. Как пережила она гражданскую войну, не знаю. Отец после окончания гимназии поехал в другую восточную губернию Российской империи — на Кавказ. Там он (вроде, это было в Тифлисе), поучился курс-другой в каком-то высшем учебном заведении, потом был призван — ещё в царскую — армию в качестве юнкера или вольноопределяющегося. Там его застала февральская революция. От тех революционных реалий сохранилась у него песенка, которую он иногда фальшиво (музыкального слуха у него не было совсем) пел с комическим грузинским акцентом:

Раньше был извошник,
Звался я Володья,
А теперь я прапорчик,
Ваша благородия!

Потом (может, уже шла гражданская) он вернулся в Асхабад и участвовал в боях между красными и белыми. Белых поддерживал английский экспедиционный корпус, размещавшийся в Афганистане. Папа, конечно, говорил, что воевал на стороне красных. Похоже, что это действительно было так: красным он мог быть скорее, чем белым из-за своего еврейства. А ещё вероятнее, что он не воевал ни на одной из сторон. Тем не менее (я помню это с детства), среди наших вещей находились два предмета военного обмундирования: чёрные краги и широкий коричневый военный ремень.

Теперь мало кто знает, что такое краги. Это были съёмные (для чего были не сплошными, а разрезанными вдоль и скрепляющиеся кнопками) кожаные голенища, которые вместе с военными ботинками образовывали сапоги. Но ботинок у папы не сохранилось. Относительно ремня отец скромно говорил, что он снял его с убитого сипая. Сипаями называли солдат-индусов из английского контингента.

...Краги и ремень сохранялись у нас до самой войны, и я надел их, когда в июле 1941-го вступил в Народное Ополчение. Потом эти аксессуары незаметно исчезли...

Итак, в начале двадцатых оба мои родителя оказались в Москве, и оба — служащими совучреждения под названием «Туркмануфактура». Папу в это учреждение привели, очевидно, какие-то его асхабадские связи. Он был там кем-то вроде бухгалтера, счетовода или экономиста. Как в это учреждение попала мама, я не знаю. Она был простой пишбарышней. Так в те времена называли машинисток и секретарш. 18 августа 1922-го года они расписались, и я родился через 11 месяцев.

И папа, и мама были людьми довольно красивыми. Ни в папиной, ни в маминой внешности не было ничего специфически еврейского. Папа был скорее высокого роста, худощав; у него были густые зачёсанные назад волосы тёмного цвета и голубые глаза. Мама была очень миловидной стройной брюнеткой среднего роста.

По тогдашним понятиям они могли считаться образованными людьми. Дореволюционная классическая гимназия давала очень неплохие знания. Мама вынесла из гимназии французский и немецкий языки. Папа почему-то этих языков почти не знал, но зато декламировал наизусть длинные латинские тексты из записок Юлия Цезаря «Галльская война».

Папа примерно в это время поступил на заочное или вечернее, отделенное плехановского института, окончил его в двадцать седьмом и всю свою

последующую жизнь работал экономистом-плановиком (эту должность породила советская государственная экономика) в разных рангах и в разных учреждениях.

Мама поступила несколько позже в Институт иностранных языков и окончила его по немецкому отделению весной 1932-го года. Сначала она в разных местах преподавала этот язык, а в последние годы жизни взялась и за преподавание французского. Может, это был её второй язык в институте (английского она никогда не учила и уж точно — не знала), а может, ей хватало знаний, полученных в елецкой гимназии. В отличие от папы, у мамы был хороший музыкальный слух и небольшой голос и кое-какое знание классической вокальной музыки.

Вскоре после моего рождения меня перевезли в родительскую комнату на Арбате. Но всякий раз, когда моим родителям надо было иметь развязанные руки, они отвозили меня на Солянку под полный уход и присмотр Марии Яковлевны («Бабуси»), и я жил там неделями, включаясь в жизнь тамошнего района и тамошней коммунальной квартиры. Но всё же, несмотря на то, что я много времени провёл и на Солянке, моей родиной я числю «Арбатик-тридцать пятак»...

Дом 35 по Арбату — знаменит. Прежде всего тем, что это образец архитектуры позднего модерна. В этом качестве он был много раз описан в архитектурных монографиях и справочниках. Дом был построен в 1913 году архитектором В. Е. Дубовским и инженером Н. А. Архиповым по заказу владелицы А. Т. Филатовой, и звался арбатской публикой «филатовским» ещё очень долго после революции. Не исключаю, что и сейчас арбатского вида старенький прохожий на вопрос: «Где здесь филатовский дом?» покажет дорогу без лишних уточнений вопроса.

«Арбатского вида...». Этот тип внешности трудно определить, но он существовал и, что удивительно, существует поныне. Особенно характерны «арбатские старушки». Росту они обычно небольшого. Не соображу сейчас, чем они примечательны зимой, но в относительно тёплое время года такая старушка носит белую панамку и стоптанные туфли с перепонкой на низком каблучке. Если её остановить и заговорить с ней по-французски, то не исключено, что ответит на том же языке. Я этих старушек заметил с детства и, что уж вовсе удивительно, встречал их на Арбате и во время последнего приезда из Иерусалима в Москву в 2001-м году.

Тут есть загадка. В самом деле: такая старушка начала двадцать первого века была в дни моего детства, когда я этот тип заметил в первый раз, т. е. в двадцатых—тридцатых, совсем не старушкой, а девочкой моего возраста или, в крайнем случае, очень молодой (тех, что были постарше, в живых уже нет) дамой, обгоняющей на своих высоких каблучках тогдашних старушек в панамках, родившихся в семидесятых годах 19-го века. Так когда и почему девочка или изящная молоденька дама тридцатых превратилась в современную типичную арбатскую старушку в панамке? Где, для начала, взяла она эту панамку? Неужели она сохранила эту материнскую или бабкину вещь, понимая, что с неизбежностью наденет её сама, когда время придёт?

Со строителем нашего, филатовского, дома Николаем Александровичем Архиповым судьба свела моего отца в начале тридцатых годов. Познакомился, будучи одиннадцатилетним мальчиком, с ним и я. Наш дом даёт известное представление о достатке и о положении в дореволюционном обществе образованных и преуспевающих людей. До революции в нашем доме жили добившиеся некоего уровня лица интеллигентных

профессий: врачи, адвокаты, профессора, артисты. В доме было 90 квартир. После революции все они, за исключением одной, двух или трёх были сделаны коммунальными, и дом вместил в себя 2000 жильцов, т. е. в среднем более двадцати в каждой квартире, в которой раньше жила одна семья...

В одной из квартир второго подъезда по Кривоарбатскому жильцов не было, а всю эту квартиру занимала татарская школа. В подвале дома было домоуправление и детская библиотека для детей близлежащих домов. Потом этой библиотеке предоставили две или три комнаты в квартире 13 нашего подъезда. В других же комнатах этой квартиры жили жильцы в режиме обычной коммуналки. Библиотекой (когда она была ещё в подвале) пользовался я, а лет через десять после меня — моя жена Маша. Но она помнит только эпоху квартиры 13.

Дом выходит на четыре стороны и образует замкнутый четырёхугольник, внутри которого разместился двор (я пишу о доме, каким он был до середины семидесятых; потом дом был радикально перестроен, и многое, о чём я пишу, после этого, возможно, изменилось).

Центральный фасад дома выходит на Арбат, два боковых фасада — в Кривоарбатский и в Калошин переулки. В центральном фасаде — только двери магазинов, кафе и сберкассы. В фасаде Кривоарбатского — два, а в фасаде Калошина — три подъезда, ведущие (с некоторой оговоркой, которая — чуть ниже) в жилые квартиры. Четвёртая часть дома соединяла два боковых фасада и простиралась в запад между Кривоарбатским и Калошинным. Окна этой части выходили только во двор, а подъездов в ней не было.

На каждой лестничной площадке располагалось по две квартиры разной планировки, ни одна из которых в других подъездах не повторялась. Таким образом, в доме было десять типов квартир, отличающихся друг от друга количеством комнат (от пяти и больше), их расположением и размерами, а также размерами и расположением кухонь, уборных и ванн комнат. Некоторые типы включали ещё и кладовки при кухне. В некоторых было по комнате с балконом. За сорок три года жизни в этом доме я успел узнать детально три типа планировки. В квартирах ещё двух типов я бывал в гостях, но либо в слишком детском возрасте, либо очень редко и поэтому их планировку я представляю себе туманно. Остальные типы планировки остались для меня неизвестными. Чего ж удивляться? Старожил даже маленького города на некоторых его улицах никогда в течение своей жизни мог так и не побывать...

В нашей квартире было шесть комнат. Входная дверь в квартиру вела с площадки парадной лестницы в прихожую. Это помещение называли ещё и «передней». Во входную дверь со старых времён был вделан механический звонок. На наружной части двери была приделана круглая медная пластинка с надписью по окружности: «Прошу повернуть». В центре этой пластинки торчало кольцо, к которому эта надпись и относилась. Поворот кольца вызывал через шестерёнки вращение молоточков, которые ударялись о колокольчик и производили непрерывный звонок. Кольцо было на уровне груди взрослого человека, и я не скоро смог доставать до него. За каждой из пяти семей, проживавших в нашей квартире, было закреплено её кодовое число звонков. Кодом нашей семьи был один звонок. Когда в дверь звонили, во всех комнатах прислушивались к тому, сколько раз звонок прозвенит, и открывать дверь шёл тот, кто узнавал свой код.

К тому времени, когда я вырос настолько, что смог дотянуться до звонка, шестерёнки разболтались, кольцо вяло болталось, и для извлечения звука, имеющего шанс дойти до слуха обитателей квартиры, надо было по

нему особым образом ударить пальцем. В противном случае звонок был слабым коротким треньканьем. Это свойство звонка давало возможность обитателям квартиры всегда знать, звонит ли свой или посторонний человек. Старый механический звонок прослужил до середины тридцатых, и только тогда был заменён обычным электрическим.

В прихожей находилась дверь в первую, довольно большую, комнату. В ней было 22 кв. м. В этой комнате, напротив двери, ведущей из передней было огромное, почти во всю стену, окно, выходящее на Арбат. Оно смотрело прямо в Б. Николопесковский переулок, который позже стал называться улицей Вахтангова. В этой комнате жили папа, мама и я.

У нас почти всегда была домработница. Домработницы, вообще, были у многих. Большею частью на эту работу нанимались женщины, бежавшие от голода из деревень. Поэтому зарплату им платили маленькую; практически они работали за еду и жильё. Так называемые «приходящие» работницы попадались реже, это были женщины с московской жилплощадью, и им платили больше.

Зачастую в семье, владевшей только одной комнатой, домработница жила в той же комнате, что и её «хозяева». Наша комната выходила в прихожую, и на этом основании соседи молчаливо признавали за нами на эту общую площадь чуть больше прав, чем у них самих, ибо их комнаты выходили в коридор. В прихожей хранились в чемоданах и узлах кое-какие наши вещи, но главное, там на ночь раскладывалась кровать, в которой спала наша работница. Тот факт, что в этой же прихожей была дверь из квартиры на лестничную площадку и, следовательно, с утра до вечера через прихожую ходили все жильцы квартиры, наших бедных домработниц не смущал. Это было в порядке вещей.

От входной двери вправо из прихожей вёл длинный коридор. В левую стенку коридора выходили двери трёх больших — по 25—30 кв. м. — комнат, окна которых, также, как и из нашей комнаты смотрели на Арбат. В первой из этих комнат окно было одно целое с выходом на балкон. В этой комнате жила бездетная пара — тётя Клара и дядя Вася Смирновы. В двух других больших комнатах (они сообщались не только с коридором, но и между собой) жила большая семья Шелагуровых, которая состояла из трёх взрослых сестёр и взрослого брата. Коридор упирался в дверь, ведущую в большую, по нынешним меркам, ванную.

В правой стенке коридора было две двери. Одна вела в сравнительно небольшую, примерно в 15 кв. м., комнату с окном во двор. Архитектор, возможно, предназначал эту комнату для гувернантки. В ней жил холостяк Борис Фёдорович Ерыкалов. Вторая дверь вела в отходивший вправо короткий коридорчик, который выходил в кухню. В левой стенке коридорчика была дверь в просторную уборную, верхнее оконце которой выходило в кухню.

Кухня была большая. Её окно смотрело во двор. Из неё вело четыре двери. Первая — в упомянутый коридорчик с уборной, который соединял кухню с главным коридором. Вторая была выходом на «чёрный ход». Третья вела в кладовку. Так называлась маленькая комнатка, где обычно бывало открыто выходящее во двор окно. Летом и зимой там было прохладно, и там хранились и почему-то сохранялись портящиеся продукты. До революции в кладовке какие то ёмкости заполнялись льдом, который развозили мужики в телегах. Лёд можно было купить и в аптеке.

Четвёртая дверь вела из кухни в небольшую, метров в 12, комнату — шестую в квартире. Окно этой комнаты тоже выходило во двор. Эта

комната до революции предназначалась, очевидно, для кухарки. А теперь в ней жила как полноправный член коллектива жильцов Александра Матвеевна Тихонова.

В кухне было метров 20. Вдоль одной из стен стояла большая предназначенная для топки дровами плита. Она была облицована с боков кафелем, а сверху была чугунная доска с несколькими конфорками разных размеров, закрытыми чугунными плоскими крышками. В плиту были встроены духовой шкаф и бак для кипячения воды. У бака был выходящий наружу краник, который привлекал моё детское внимание своим доступным мне низким положением и изящной формой.

На моей памяти эту плиту по её прямому назначению не использовали. На её чугунной поверхности стояли примусы и керосинки жильцов нашей квартиры. В духовом шкафу хранилась всякая хозяйственная всячина. Краник я мог вертеть сколько угодно: воду в бак не наливали. Я не уверен сейчас, что в порядке был дымоход. В тридцатом, примерно, году в дом провели газ. Газовые плитки поставили на старую плиту. Духовок в газовых плитах не было, только конфорки.

Чёрным ходом называлась хозяйственная лестница, ведущая во двор. На каждую площадку чёрного хода (как и на каждую площадку парадного хода) выходили двери из двух квартир. На парадной лестнице, ведущей в первый подъезд по Кривоарбатскому переулку, наше 24-я квартира соседствовала с 23-й, а на чёрном ходу — с 35-й, парадная лестница которой вела к подъезду, выходящему в Калошин. И в 23-й, и в 35-й квартирах у меня было по другу. На площадках полуэтажей чёрного хода размещались по две кладовки и балкон, выходящий на двор. До революции в кладовках хранились дрова и хозяйственные вещи. Революция вселила в них жильцов. Поначалу это были дворники, а потом — и другие сословия.

На каждой площадке чёрного хода была дверь в грузовой лифт, который до революции поднимал дрова для кухонь и для дровяных колонок ванн. Наверное, им пользовались кухарки, завозившие в квартиры продукты. При мне этот лифт не работал ни на одной из пяти чёрных лестниц нашего дома. Как использовались советской властью шахты этих лифтов, не знаю. Рядом с дверью в лифт была дверь в уборную для прислуги. При советской власти эти двери во всём доме были наглухо закрыты.

...В квартире 24 я проживу — сначала ребёнком с папой и мамой, а потом (с некоторыми, правда, перерывами) и взрослым — до 1959-го года. Потом я нашу комнату в этой квартире выменяю на комнату в шестьдесят шестой квартире этого же дома и перееду туда с моей собственной — уже второй — семьёй. Мамы к этому моменту уже не будет в живых, а папа женится снова и будет жить с со своей женой в других местах. И только в шестьдесят шестом году я, сдавши в Исполком комнату в шестьдесят шестой (какова магия чисел!?) квартире, смогу приобрести кооперативную (не коммунальную — отдельную!) квартиру на Новоалексеевской улице. А несколькими годами позже, кажется, в семьдесят пятом, дом тридцать пять отдадут под Министерство культуры и радикально его перестроят. Так что, от описанной выше его внутренней планировки и следа не останется. А ещё через десяток лет этот дом передадут Дому Актёра — взамен сгоревшего помещения на углу Тверской и площади Пушкина.

От передачи дома 35 министерству культуры всем его оставшимся к тому времени жильцам досталась большая перемена жизни: им стали давать отдельные квартиры в не слишком отдалённых новых районах Москвы. Вышел от этого прибыток и моей семье. Дело в том, что к моменту,

когда расселяли жильцов дома 35, в 20-й квартире оставалась жить моя тёща Раиса Наумовна Колмановская и оставалась прописанной (советские дела!) Маша с нашими дочками. Раисе Наумовне досталась однокомнатная квартира около станции метро «Водный стадион», а Маше с дочками — двухкомнатная в Тёплом Стане.

Мы эту, неожиданно свалившуюся в наши руки квартиру пустили в большой обмен. В результате мы получили однокомнатную квартиру для взрослевшей тогда нашей старшей дочери и прекрасную трёхкомнатную квартиру в кооперативном доме в Б. Афанасьевском с окнами на Кремль, через которые в летние тихие ночи (когда окна были открыты, а шум от транспорта снижался) до нас доносился бой курантов Спасской башни. В ней мы прожили с 1977 года почти шестнадцать лет, а перед отъездом в Израиль мы её продали и на вырученные деньги купили вполне приличную трёхкомнатную квартиру в Иерусалиме. Правда, в этой квартире окон на Кремль уже нет, и время от времени мы вместо боя кремлёвских курантов слышим то крики муэдзина, то колокола христианской арабской церкви, вызывающие «Аве Мария»...

Подытоживая, я могу сказать, что дом тридцать пять дал мне не только крышу над головой в детские годы, но и помог мне найти друга и жену, получить кооперативную квартиру на Новоалексеевской, приобрести квартиру в Б. Афанасьевском и купить квартиру в Иерусалиме. Спасибо этому Дому! Вот какая крепкая связь времён! Гамлет тосковал о её распаде, а мы не только времена, но и дома, и страны связали...

Вернусь, однако, по цепочке, связывающей времена, в те давние поры. С нашими соседями моя родительская семья жила, в основном, мирно, хотя родители должны были делить с ними ванную, уборную, кладовку, место на кухне, мусорное ведро, а чуть позже — конфорки газовой плиты и телефон.

На кухне было выделено постоянное место, на котором стояла табуретка специального назначения. На неё ставилось корыто или таз для стирки белья. Я не помню споров из-за пользования этой табуреткой, хотя обычно стирка продолжалась два—три часа. Вода для стирки грелась в баке — оцинкованной посуде объёмом в два или три ведра. В баке же бельё кипятили. Стиравшие женщины манипулировали с этими тяжелыми баками самостоятельно. Корыто, бак, таз у каждой семьи были свои и висели или стояли на определённом месте в ванной или в коридоре.

В кухне часто и гладили бельё, так как для этого использовались литые чугунные утюги, которые разогревались в первые годы на примусе, а позже на газовой конфорке. Чтобы в глажке не было перерывов из-за остывания утюга, пользовались двумя: пока одним гладили, другой раскалялся на огне. Кое-кто и кое-когда пользовался полым чугунным утюгом, в котором разжигали угли. Такой утюг называли «паровой».

Вдоль стен кухни, на свободных от плиты и дверей местах, стояли хозяйственные столики, по одному на семью. Над некоторыми столиками висели шкафчики. Столик Смирновых стоял — не повезло! — около окна, и над ним шкафчик повесить было некуда.

Составлялся и поддерживался график поочерёдных дежурств семей. Уж не помню, была ли продолжительность дежурства пропорциональна числу людей в семье или количеству занимаемых семьёй квадратных метров. Дежурные выбрасывали — по мере его накопления — стоявшее в кухне мусорное ведро в большой мусорный ящик («помойку»), стоявший во дворе; подметали и мыли «места общего пользования», т. е. переднюю, коридор, кухню, ванную, уборную и кладовку.

Один из жильцов избирался в качестве квартирного «уполномоченного». Всех его функций я не помню, но полагаю, что он ходил оплачивать счета за «общее пользование» — газом, водой, электрическим освещением в кухне, коридоре, ванной и уборной, а позже — телефоном. Уполномоченный собирал для этой цели деньги среди жильцов, причём время от времени жильцы возвращались к обсуждению принципа — как собирать: «по комнатам» или «по людям». Я помню, что обычно уполномоченным в нашей квартире был кто-то из Шелагуровых: они были толковые и доброжелательные люди.

Не исключаю, что в некоторых квартирах уполномоченные иногда привлекались Органами для передачи им информации об образе жизни и высказываниях намеченной жертвы.

Моё дошкольное детство протекало ни слишком весело, ни слишком скучно. У меня не было братьев и сестёр. Такая малодетность была характерна для интеллигентных семей, возникавших при советской власти. Вплоть до моих шести лет меня не отдавали ни в какие детские учреждения. По этим причинам я много времени проводил вне детского общества — с родителями и с родственниками (а среди последних особую роль играли солянки, о чём — ниже).

Значительное время я находился в обществе домработниц, на которых из воспитательных функций возлагалась только одна: раз в день часа два со мной гулять. Занимались домработницы, в основном, не мной, а хозяйством: приготовлением еды, уборкой комнаты и квартиры (когда наступало наше дежурство) и стиркой. Да, гувернантками эти малограмотные девушки и старушки совсем не были. Я быстро, по счастью, стал отличать их не слишком правильный, а зачастую и грубый, украшенный разными диалектами простонародный язык, от культурного языка моих родителей и моего основного окружения и не усваивал его. Домработницы менялись довольно часто, и я их быстро забывал.

Одну безымянную девушку я помню из-за довольно неприятного эпизода. Как-то в морозный вечер она гуляла со мной, четырёхлетним, около нашего подъезда. Находившиеся близко от угла с Арбатом окна полуподвальных этажей выходили в облицованные бетоном (или чем-то вроде) метровые углубления в виде параллелепипедов. Эти углубления были отделены от тротуара металлическими заграждениями. По верхнему периметру заграждения проходила (и сейчас, я уверен, проходит!) чугунная труба, образующая перила. Между вертикальными металлическими прутьями заграждения были проёмы, которые позволяли не слишком взрослому ребёнку (к каковому тогда принадлежал и я) обхватывать руками перила и, поджав ноги, раскачиваться с приличной амплитудой. В тот вечер я, покачившись в своё удовольствие, встал на ноги, положив руки в варежках на перила, а лицо — на варежки. Моя няня сказала, что перила — сладкие, и я, если не верю, могу лизнуть и убедиться. Я лизнул, и мой язык тут же примёрз к морозному металлу. С помощью испуганной няньки я его отодрал, но с него была содрана кожа, он невыносимо болел и кровоточил. Выздоровливал я недели две или три.

У меня было несколько постоянных друзей в нашем доме и на Солянке и разные случайные знакомства, возникавшие во время гуляния. Лет до пяти я гулял со взрослыми — родными и домработницами, а лет с шести стал часто выходить без взрослого надзора. Сперва я гулял только в Кривоарбатском переулке около нашего подъезда, а потом — сначала тайно, а потом и легально — стал уходить в разные приарбатские скверики, и даже на Гоголевский бульвар и ещё дальше.

От самых первых лет жизни в памяти сохранились только некоторые эпизоды — по большей части из летних месяцев. Обычно люди того круга, к которым принадлежали мои родители, снимали под Москвой дачи. Те, что побогаче, имели собственные или снимали одну и ту же из сезона в сезон. Мама не любила жить под Москвой и, начиная с моих четырёх лет, наши поездки далеко от Москвы участились. Но первые три лета мы всё же жили под Москвой.

Летом 1923-го я родился, и в тот год меня никуда из Москвы не увезли. Летом следующего года либо повторилось то же самое, либо то лето в семейные истории не попало, а я, годовалый, о нём ничего не запомнил. А вот из лета 1925-го года две сцены я помню. На это лето или на его часть нас с мамой пригласила жить к себе папина сестра тётя Нюра. «К себе» означало следующее. Тётя Нюра на всей моей памяти (а скорее, с ещё более ранних времён) до конца своей жизни (а она скончалась в конце восьмидесятых, будучи сильно за девяносто) занималась трудно-воспитуемыми детьми. В то лето она была заведующей детским домом, а этот детский дом выезжал на лето в Малаховку.

В детских домах жили беспризорники и иные жертвы режима или трудных социальных и семейных случаев. Тётя Нюра справлялась со своей работой блестяще. Она была маленькая, щуплая, но очень волевая и энергичная. Она пользовалась всю жизнь колоссальным уважением коллег, начальства, воспитанников и их родителей. Её всю жизнь почитали её дети. Но со своими собственными родителями и прочими родственниками она бывала в ссоре годами. Возможно, это свойство тётя Нюра, так же, как её сестра Зина, унаследовала от матери, т. е. упоминавшейся Бабы Нины.

Две сцены из того лета были такие. Мы с мамой стоим во дворе этой детской колонии около колодца. У колодца была обычная для тех лет и тех мест конструкция: вырытый в земле колодец огорожен кубической оградой; её боковые стенки из коротких брёвен, а верхняя крышка — дощатая. На одной из бревенчатых стенок укреплён насос; воду качают длинной оглоблей, и вода, поднимаясь, стекает по жёлобу в подставляемые вёдра. Одни дети качают, сменяя друг друга, а другие по очереди подставляют вёдра; наполненные куда-то уносят и вскоре возвращаются с пустыми. Дети одеты в казённое серое, крикливы, но не агрессивны. Мы с мамой на всё это смотрим.

Другой эпизод. Мы в помещении вроде врачебного кабинета. Там тётя Нюра. На медицинских весах сидит годовалая моя кузина Ирочка, а меня, старшего её на год и уже стоящего на собственных ногах, мама одевает: очевидно, я на весах уже побывал или меня сейчас на них поставят.

Конечно, эпизоды с колодцем и с весами — совершенно маловажные. Но ведь это — мои самые первые воспоминания. Может, у кого-нибудь первые воспоминания связаны со стихотворением Пастернака «Гамлет». Но тогда, я думаю, они относятся не к двухлетнему возрасту, как в моём случае, а не ранее, чем к десятилетнему, да и элемент приукрашивания этот мой гипотетический конкурент в свои интеллигентные воспоминания мог привнести. А мои бесхитростные — давние и достоверные! Найдёт археолог в самом древнем слое неолита кремниевый наконечник стрелы — вещь пустяковую и выброшенную за износом или из-за трещины, а ведь как радуется этот археолог и какой ему от всех членов сегодняшнего его племени почёт за то, что нашёл самую древнюю, хоть и не пригодную ни для охоты, ни для покорения соседней державы штуковину!..

После этого лета в Малаховке мы с тётёй Нюрой никогда нигде вместе не жили. Да и встречались редко и, в основном, на улице. Эти встречи были неизбежны, потому что мы жили рядом: тётя Нюра жила в Малом Николопесковском. Встречаясь на улице, тётя Нюра маме едва кивала. К нам в дом Нюра приходила раз в несколько лет по случаю приезда в Москву Бабы Нины из Ашхабада или тётки Зины из Махачкалы. А отчуждённость эта была из-за того, что тётя Нюра по забытым ныне причинам с мамой на годы ссорилась и видеть её не желала, потом ненадолго мирилась, а потом опять ссорилась. Отношения между нашими семьями стали налаживаться только в послевоенные годы.

Следующее лето мы жили на даче в Пушкино по Северной железной дороге. Из того лета я, кроме уже описанного знакомства с Юрой Оксман, запомнил ещё два эпизода. Я стою в какой-то каморке на табуретке перед умывальником с соском. Под умывальником тазик, в который стекает грязная вода. Мама учит меня чистить зубы порошком. Эта наука пригодилась мне на последующие лет тридцать, ибо зубная паста начала входить в употребление и вытеснять порошок только в пятидесятых. А тогда на табуретке в Пушкино мне чистка зубов давалась с трудом. Я сдуру начал порошок со щётки слизывать и глотать, в результате чего сильно поперхнулся, расплакался и наотрез отказался продолжать неприятное занятие. Судя по результату, мама своих попыток в течение ближайших дней не оставила и превратила меня в цивилизованного виртуоза обращения с порошком и со щёткой.

В Пушкино приехала в гости Баба Нина. Возможно, это была её первая встреча с мамой и со мной. Она привезла мне — наверное по случаю дня моего рождения — замечательный подарок: большую, в три четверти моего роста, деревянную лошадку. Лошадь была сделана очень добротнo. Она вся была покрыта толстой ворсистой тканью коричневого с белыми проталинами цвета: это была её шкура. У лошадки были пышные хвост и грива из натурального конского волоса и глаза из подходящих круглых красивых коричневых стекляшек. На морде лошадки была уздечка, а на спине — седло со стремями. Ноги лошади изображали движение шагом и кончались тёмными деревянными копытами со шпеньками, вставленными в доску, по бокам которой были приделаны четыре деревянных колеса, так что лошадь можно было катать. Я либо сам вёл её под уздцы — пустую или посадив в седло игрушечного мишку — либо взрослые сажали в седло меня самого и катали по комнате.

Лошадь называли «Красавчиком». В первые месяцы я самостоятельно на Красавчика не взбирался, но потом догадался: вставлял одну ногу в стремя, подтягивался и перекидывал через круп лошади другую. Вскоре стал залезать на лошадь прямо с земли.

Ну а тогда, в Пушкино, Баба Нина посадила меня на Красавчика, слегка меня поддерживала, наклонясь надо мной. Я держал в руке конец свисавшего с Бабы Нины шарфа и, пользуясь этим шарфом, как кнутиком, Красавчика стегал. Шарф был мамин. Он был тонкий шерстяной, и его узор составляли крупные серые и бордовые квадраты. Он продержался у нас чуть ли не до войны.

В своём первоначальном виде Красавчик прожил у меня недолго, а в конечном — как и тот шарф: до самой войны. А метаморфозы с Красавчиком пошли вот какие. Естественное старение было не так заметно. Но уже в первый год владения Красавчиком я захотел общаться с ним поактивнее. Сперва я причёсывал его гриву и хвост. От этой операции я

естественно перешёл к стрижке. Я отстригал каждый раз очень маленькие кончики и взрослые результаты моей работы обнаружили только через несколько месяцев, когда в один прекрасный день Красавчик предстал перед ними бесхвостым и совершенно лысым. Подурневшего Красавчика перевели из комнаты в прихожую — к постели домработницы. Далее — я был тогда уже четырёх- или пятилетним мальчиком — ослабили шпеньки, соединявшие ноги лошадки с доской, с которой к тому времени соскочили (и укатились, Бог весть куда) кое-какие колёса. Наверное, шпеньки можно было снова вклеить в их гнёзда, просверлённые в доске, а к доске приделать другие колёса, но этого делать никто не стал. Безволосый Красавчик оказался стоящим на собственных ногах (со шпёнками). Стремена к тому времени тоже пообрывались. Получился Конь без всяких ненужных излишеств — в том самом конечном виде, который я упоминал выше. Мне было к моменту превращения коня в его мумию более пяти лет. Я без труда садился на его спину и легко раскачивал его в продольном направлении — так, что от пола отрывались то передние, то задние ноги Красавчика. Конечно, такой галоп (а я умудрялся даже перемещаться при этом немного вперёд) нравился мне гораздо больше, чем пассивное катание на его спине или таскание его за собой под уздцы. Но под таким топотом Красавчика слабели и выскакивали из своих гнёзд плитки шикарного дореволюционного паркета в комнате и в коридоре, что вызывало неудовольствие родителей и соседей. Впрочем, плитки выскакивали и от других причин, а вклеить их обратно было нетрудно.

Лето двадцать седьмого мы с мамой провели в какой-то станице на берегу Азовского моря. Этот отдых устроил нам дядя Гриша. Он в это время жил и работал в Таганроге, а может, уже переселился с тётёй Броней в Ростов. Дядя Гриша был заготовителем куриных яиц, и у него были связи с крестьянскими хозяйствами и местными властями. От этого лета я помню только низменный степной берег и мелкое море, в котором мы часто купались. Про ту нашу поездку мама сочинила юмористическую поэму, из которой я запомнил только несколько строк:

Эта чудная станица
День и ночь Полине снится.
Снится масло и творог
И с начинкою пирог.

Других строк поэмы я не помню. Помню только, что юмор поэмы базировался на сопоставлении мечтаний с действительностью. Я позволю себе реконструировать ситуацию. Видимо, дядя Гриша посулил маме дешёвую, вольготную и сытную жизнь в одной из курируемых им станиц. Этот посул звучал привлекательно на фоне ухудшавшегося продовольственного положения в Москве. Возможно, что дядя Гриша чего-то не предвидел, и жизнь в станице оказалась не столь изобильной и дешёвой, как она рисовалась маме до отъезда.

Я помню ещё, как к нам в станицу в гости наезжал иногда дядя Гриша. В один из его приездов меня решили сфотографировать. В широкой народной среде, к которой принадлежали и мы, любительские камеры были в редкость. Снял меня уличный фотограф. Где это было — в самой станице или в ближайшем городке, не знаю. Процесс же съёмки помню. Фотограф выдал мне черкесский костюмчик с газырями, сапожки и папаху, подходящие мне по размеру. Мама напялила на меня эту маскарадную одежду, и меня поставили на фоне каких-то кустиков перед

большим фотоаппаратом на штативе. Фотограф закрывался чёрным платком и заставлял меня смотреть то левее, то правее, говорил классическое «Спокойно, снимаю», и в результате этого до сей поры у меня сохранилась эта выцветшая фотография четырёхлетнего мальчика в черкесском костюме.

...Вспоминая о занятиях дяди Гриши, приведших нас к Азовскому морю, я вспомнил об одной истории, бытовавшей в семье Колмановских. Эдин дядя Давид был видным руководителем советской хозяйственной системы и знал кое-какие сплетни из высших сфер. Он, в частности, рассказывал родителям Эди и Маши историю, которая позже дошла и до нас, детей.

Лазарь Каганович, один из приближённых к Сталину функционеров, был родом, как и Колмановские, из Белоруссии. Лазарь, по мере своего партийно-государственного возвышения, перетаскивал в Москву на хорошие должности своих братьев. Моисей стал в начале тридцатых замнаркома тяжёлой промышленности, а потом и наркомом авиационной промышленности. Юрий стал первым секретарём Горьковского обкома ВКП(б). А третий брат (имя его забылось), тоже приглашённый в Москву, от предлагавшихся ему завидных должностей отказывался и говорил: «Ну, зачем мне всё это? Я понимаю только у маслу и у яичку». Так, вроде, он все заманчивые предложения отклонил и уехал обратно в Белоруссию, сохранив себе, быть может, жизнь. Моисей и Юрий были в тридцать седьмом—восьмом году расстреляны. Так вот, дядя Гриша был специалист у маслу и у яичку...

Лето 1928-го года мы оставались в городе. Причин этого я не знаю. Из всего этого лета я помню два эпизода. От того, что мой день рождения приходится на лето, он всегда отмечался без моих близких московских друзей. На этом праздновании детей либо не бывало совсем, либо приглашались случайные летние знакомые. Из-за этого я считал себя неудачником и завидовал тем детям, у которых день рождения был между осенью и весной. Летние месяцы 1928-го года я жил на Солянке, у бабушки. Но моих друзей по солянской квартире на лето увозили, как выражались они, «в деревню»: их родители были не евреями, а русскими с деревенскими корнями. Они дач не снимали, а переезжали жить всей семьёй или сплавляли детей к деревенской родне.

Из-за летней нехватки детей в солянской квартире ко мне на день рождения пригласили моего друга Юру Смирнова, который жил в соседней квартире дома на Арбате. Я об этом Юре напишу подробнее в следующей главе. Не исключаю, что в семье Смирновых вообще не было в заводе покидать город на летний сезон: в деревне родни не осталось или никогда не было, а съём дачи был им не в привычку, а может, и не по карману. Юра с его мамой Полиной Ивановой должны были прийти часа в три дня. В это время я улёгся животом на подоконник открытого окна и выглядывал гостей: окна были на втором этаже над подъездом, и пропустить гостей я не мог.

Я стал советоваться с Бабусей, что мне закричать сверху гостям, когда я их увижу. Мой план был такой: увидев их, я закричу: «Ну, что же вы мне принесли?!». Такой вопрос интересовал меня по существу, а придуманная мной форма казалась мне в меру игривой, а поэтому и не грубо нахальной. Но Бабуся отговорила меня и от такого непринуждённого, смягчённого юмором, выражения моего интереса к подарку.

Наконец, я их увидел. Я послушался Бабусю и только прокричал гостям какое-то приветствие, насладившись их удивлением от его неожиданности: они не знали, что мы живём здесь на втором этаже. Через

минуту гости были в квартире, и я увидел подарок: жестяное игрушечное ведёрко с разрисованными боками, а в ведёрке — плитка шоколада.

Хоть мне было всего пять лет, но я, как и многие мои сверстники, уже ощущал, что между семьями существует материальное неравенство. Дети в своих отношениях материальное положение своих родителей как-то учитывали. Уже в первые дни знакомства новые друзья обычно спрашивали друг у друга сколько «получают» его родители. Я знал, что отец Юры получает меньше, чем мой и чувствовал некоторое своё превосходство над другом. Вот и в тот раз я, ещё лёжа на подоконнике, отметил, что подарок этот — недорогой и легкодоступный. В то время, как для Полины Ивановны он был, возможно, причиной внепланового нештучного расхода.

Другой эпизод из того лета. В Москву в очередной раз приехал дядя Гриша. И мы большой компанией — мои родители со мной, дядя Гриша, Бабуся с моими тётками Соней и Зиной — провели день на Воробьёвых Горах. Как мы туда добрались, не помню. Теперь я понимаю, что тогда — без метро и без троллейбусов — это было, наверное, непросто. Мы там гуляли и пили ситро. В какой-то момент мы нашей большой компанией сфотографировались, и эта фотография хранится у меня до сих пор. Я на ней стою впереди взрослых в белом матросском костюмчике. Тогда светлые и синие — в зависимости от времени года — матросские костюмчики были самым популярным видом нарядной одежды для мальчиков. Я и на некоторых других моих детских фотографиях одет в матросский костюм.

На эту прогулку на меня надели новые туфли. Они оказались не совсем подходящими, и я натёр себе пятку. С меня неудобную туфельку сняли, папа взял меня на руки, и всю оставшуюся часть нашей экскурсии я провёл на его руках.

Теперь я прерву рассказ о летних месяцах и вернусь к будничной жизни в мои ранние детские годы. Большое место в ней занимали игры с моими друзьями, жившими в соседних квартирах. В соседних, потому что в нашей я до моих шести лет был единственным ребёнком. Но всё же много времени я проводил вне детского общества. Мама была дома до моих пяти лет; потом она училась в институте, потом работала. Папа работал и учился на вечернем отделении института. Родителей я видел по вечерам и в выходные дни.

С этими выходными власть делала разные эксперименты. То была пятидневка: четыре рабочих дня, а пятый — выходной. Потом спохватились и сделали шестидневку. Внутри этих систем были свои нюансы. Сперва власти любили «непрерывку». Этот термин означал, что каждое предприятие и учреждение функционирует без выходных — непрерывно, а каждый его сотрудник имеет свою индивидуальную сетку выходных с периодом пять (пятидневка) или шесть (шестидневка) дней. Потом выявились (понятные с самого начала) неудобства этой системы: осложнялась связь между сотрудниками, делавшими общую работу, создавались трудности для посетителей, дело которых требовало обращения к нескольким чиновникам, а оказывалось, что некоторые из них — выходные, и что для встречи с ними надо посещать учреждение лишней раз, и многое в этом же роде. Тогда ввели в качестве замечательного изобретения «общий выходной». При шестидневке, которая просуществовала особенно долго, это были числа месяца, кратные шести. Как справлялись с тем, что в некоторых месяцах 31 день, а в феврале — совсем не порядок, не помню. Не помню и когда перешли на старую добрую неделю с выходным в воскресенье.

Я был сравнительно послушным ребёнком. По крайней мере лет до восьми. Да и потом мои проступки особо опасными не были. Я довольно скоро сообразил, как с кем следует себя вести, и всю мою детскую потребность в дерзостях по отношению ко взрослым я сосредоточил на бедной моей бабушке — Бабусе. Она меня любила, баловала и совершенно не была способна давать мне отпор, когда я ей грубил. Только маме жаловалась. Более молодым взрослым, имевшим надо мною власть — папе, маме, тёткам я «грубить» не осмеливался.

Впрочем, и грубость, которую я допускал по отношению к Бабусе, выражалась не в непочтительных словах или, упаси Боже, ругательствах, а в непозволительном тоне или в непослушании. Бывало, позовёт меня бабушка к столу, а я мерзким тоном отвечаю: «Не пойду!». Или, гуляя со мной, крикнет: «Юрочка, пора домой!», а я делаю вид, что не слышу и продолжаю мои игры с другими ребятами, которым домой ещё не пора.

Впрочем, иногда я разрешал себе непозволительное и с мамой. Вот, например, такой случай. Мама подметала нашу комнату, двигая половой щёткой всё увеличивающуюся кучку мусора, а я распалился и вертелся перед щёткой, норовя маме помешать. Наконец, мама строго прикрикнула на меня и велела мне сесть на тахту, подобрать ноги и сидеть там смиренно до тех пор, пока она не кончит. Я испугался и пошёл к тахте, но по дороге сказал маме: «Ты паршивая». Через секунду я уже вопил от стремительного и неожиданного шлепка. Мне было тогда три года.

А вот более скверный поступок, совершённый мною примерно в пятилетнем возрасте. Самым крупным предметом в нашей комнате был высокий, в полтора взрослых роста, дубовый зеркальный шкаф, соединённый в одно целое с менее высоким комодом. Так что этот агрегат (у нас он назывался гардеробом) в длину занимал метра два с половиной. Как-то в весенний день, я находился в комнате один. Мама была в кухне. Мне пришла в голову мысль над мамой подшутить. Я открыл массивную зеркальную дверь нашего гардероба, залез в него, раздвинул полы висевших там пальто и платьев, сел на кучу лежавшей на дне шкафа одежды и закрыл плотно, как мог, дверь гардероба изнутри. Но маленькая щель, неприметная снаружи, оставалась.

Скоро вернулась в комнату мама, окликнула меня и, не услышав ответа, поняла, что я, играючи, спрятался и стала искать меня под кроватью, под столом, под тахтой — сначала спокойно, а потом встревожено. Я услышал через щель в дверце гардероба, как открылась наша парадная дверь и догадался, что мама пошла в двадцать третью квартиру — узнать, не пошёл ли я в гости к уже упоминавшемуся моему приятелю Юре Смирнову. Потом мама вернулась и бросилась к чёрному ходу — в квартиру тридцать пять, где жил другой мой приятель и сверстник Кирилл Раменский. Маму уже сопровождали тётя Клара и прибежавшая из двадцать третьей мать Юры Полина Ивановна.

Из доносившихся до меня истерических переговоров мамы с соседками я понял, что мама подбежала к окну и свесилась, чтоб посмотреть, нет ли под окном толпы, окружившей упавшего с седьмого этажа мальчика. Потом мама легла на тахту, а соседки бегали на кухню, чтобы смачивать полотенце — компресс, чтобы прикладывать маме к сердцу, которое после перенесённого ею в двадцать пятом году ревмокардита часто давало о себе знать.

И тут лежавшая на тахте мама попросила слабым голосом тётю Клару заглянуть в гардероб и проверить совершенно невероятное предположение: а на месте ли моё пальтишко? Вдруг я просто без спроса побежал на улицу,

хотя такого в заводе не было. Тётя Клара заглянула, и всем представилась картина из финала гоголевской «Коляски». Мама проворно соскочила с тахты и дала мне два или три основательных шлёпка. Кроме описанных двух случаев я не помню, чтобы мать меня шлёпала.

Папа шлёпнул меня один раз, но основательно. Мне было лет шесть. Как-то утром выходного дня папа стал садиться к письменному столу. Я наблюдал за этим стоя неподалёку сзади. Стул был обычный, из тех, что стояли вокруг обеденного стола. Решение моё созрело безотчётно и мгновенно. Увидев папино намерение и начало его движения, я неслышно подошёл и успел вытащить стул из под садящегося папы. Не встретив сиденья стула в привычной фазе усаживания, папин корпус сделал судорожную попытку движение прекратить. Но было уже поздно, и папин зад стремительно двигался к полу. Я наблюдал всё это, корчась от сдерживаемого хохота. Через мгновение одновременно произошли такие события. Папин зад достиг пола, я больше не смог сдерживаться и хохотал в голос, папин зад отскочил от пола, как мячик, папа выпрямился, обернулся, всё понял и дал мне увесистого шлепка. Помнится, я даже от полученного болевого шока не расплакался: так меня развеселило устроенное мною зрелище...

...И один раз папа очень сильно на меня накричал. Но это было весной тридцать девятого года, когда я вернулся домой за полночь, загулявшись с моей подружкой Майей Левидовой, с которой у меня был короткий школьный роман, а потом — дружба на долгие годы. Да и рассердился на меня папа не по существу, а видя, что мама была из-за моей задержки в полубморочном от страха за меня состоянии — похожем, наверное, на то, что она испытала во время моего пребывания в гардеробе...

Пожалуй, самый момент рассказать о нашей, как тогда говорили, «обстановке», т. е. о мебели в нашей комнате. Она была довольно скудной, но нашу небольшую комнату загромождала. То, что я назвал «тахтой», было полуторжественным пружинным матрацем, поставленным с двух концов на кустарные «козелки». Днём этот матрац был покрыт каким-то покрывалом и был диваном, а вечером из гардероба вынимали постельное бельё и подушки, и матрац становился родительской кроватью.

До появления «тахты» роль родительской постели играл ночью предмет мебели, который днём был мягким диваном с мягкой спинкой. Но, наверное, он достался моим родителям не в новом виде и к моему трёх- или четырёхлетнему возрасту превратился в полную рухлядь. Я помню торчавшие из него пружины, которых я боялся, потому что они могли и прищемить и поцарапать. С другой стороны, я одряхлению дивана способствовал, потому что очень любил на его пружинной поверхности прыгать, держась за спинку.

Наконец, диван выбросили во двор, и его место заняла крепкая и целая тахта. Впрочем, через два—три года и из неё время от времени начинали выпирать пружины. Тогда родители звали мастера, который раскладывал своё ремонтное дело в передней — клал матрац на два стула и «перетягивал» его. Это умел делать один из наших дворников.

Далее, в комнате был двусторчатый буфет для посуды и продуктов. Верхняя часть с зеркальными стёклами служила для посуды и продуктов, относящихся к чаепитию: чашки, сахар, чай, сладости. Нижняя часть с деревянными дверцами хранила обеденную посуду, хлеб, соль, крупы и т. п. Картошка и другие овощи хранились в кухонной кладовке.

Около стены стояла ещё моя кровать — сперва детская, но после моих лет десяти — взрослая, односпальная. Тогда же родители купили ширму —

предмет мебели, который некоторое время был в моде, но скоро из неё вышел. Это были соединённые шарнирами три или четыре деревянные вертикальные рамы с натянутой непрозрачной материей. Высота рам была примерно в рост человека. Шарниры позволяли либо складывать рамы, как книжку, либо вытягивать в одну линию. Оба эти положения были нерабочими. В первом ширму хранили, когда она не была нужна. Во втором ширма не стояла вертикально, а падала. Чтобы ширма могла сама стоять на полу, надо было растягивать её не полностью, а так, чтобы её рамы находились друг к другу под тупым углом и образовывали таким образом пилообразную линию. Материя, которой обтягивались рамы, бывала разных цветов с разными рисунками. На нашей ширме был простой тёмно-синий сатин. Ширму ставили то к родительской тахте, то к моей кровати — если были гости, а меня клали спать.

Посреди комнаты стоял большой раздвижной старый крепкий стол и четыре хороших стула с кожаным верхом, прибитым золотыми гвоздиками. Именно такой стул я вытащил из под папы. С какого-то момента стулья начали время от времени расклеиваться. Склеивал стулья папа сам и меня научил. В нефтелавке можно было купить пластины столярного клея, отломить от пластины подходящий кусок, бросить его в консервную банку с водой и разогреть. Клей растапливался, и в этом его состоянии его намазывали на склеиваемые поверхности, вставляли отклеившиеся ножки или перекладыны в их гнёзда и связывали стул на время высыхания шпагатом. Я и сейчас так время от времени склеиваю купленные в Израиле табуретки — с той лишь разницей, что пользуюсь синтетическим клеем из тюбика и к шпагату не прибегаю.

В комнате стоял ещё небольшой дамский (тот самый, за который не удалось из-за моей шутки сесть папе) письменный стол. Его столешница была закрыта приклеенным к ней зелёным сукном, которое оставляло видимыми красивые деревянные полированные коричневые поля. В столе было пять ящичков — средний и по два в боковых тумбочках. Когда я пошёл в школу, хозяином этого стола стал естественным образом я. Мои родители тоже были людьми письменными. Мама готовилась к занятиям, папа иногда, но очень редко, брал какие-то бумаги с работы домой. Но родители для своих работ пользовались обеденным столом. Наконец, в комнате стояла небольшая этажерка с двусторчатым шкафчиком внизу.

Мне странно, что мой отец, вечно читавший беллетристику и всегда достававший свежие толстые журналы и самые разные книги, в довоенные годы не стремился собрать свою собственную библиотеку. Вряд ли из-за денег: дорогие могли быть только книги в букинистических магазинах, а современные издания были очень недороги, причём русская и иностранная классика издавалась весьма обильно. Но у нас в доме и классиков не было. Может, папа смирился с тем, что в нашей комнате для сколько-нибудь значительного количества книг места не было. Потребность завести собственную библиотеку возникла у папы гораздо позже — когда ему стало лет за шестьдесят. А тогда папа для себя и для мамы книг почему-то не покупал.

Прочитанные книги отец куда-то и кому-то возвращал, а на нашей этажерке было десятка полтора моих книжек и масса всякого барахла (хорошо, что этажерка была маленькой!). Две полки занимало полное собрание сочинений Ленина, изданное сразу после его смерти; редактором, кажется, был Л. Б. Каменев. Стоял том Плеханова, один том «Капитала», несколько маминых словарей, книжка немецкого писателя Эгона Эрвина Киша, тяготевшего, кажется, к коммунистам, и ещё что-то в этом роде.

На этой же этажерке солидное место занимала толстая книга произведений Демьяна Бедного. Этот поэт был настолько официозен, что жил вместе с другими вождями в Кремле. Книга была большого формата, в бумажной обложке, выдержанной в трёх цветах: охра, тёмно-красный и чёрный. На обложке был изображён стилизованный красноармеец в шлеме с пикаком и в гимнастёрке с «разговорами» — поперечными планками, соединяющими пуговицы на обоих бортах. Я не знаю, отражал ли этот фолиант поэтические вкусы родителей или он попал к ним случайно. Но я, научившись читать, эту книгу проштудировал и почти всё из неё знал наизусть... Теперь я не помню почти ничего. Стихотворение «Главная улица» я потом проходил в школе. Этому поэту принадлежит, кажется, известная тогда частушка, агитирующая за вступление в Красную Армию:

Как родная меня мать провожала,
Тут и вся моя родня набежала.

Вот такое качество было у этой чтимой властями поэзии.

И по вечерам, и в выходные родители, особенно папа, много мне читали вслух. Во-первых, тогдашнюю классическую детскую литературу, часть которой пришла ещё из дореволюционных времён. В это время мне прочитали «Мойдодыра», «Крокодила», «Муху-Цокотуху», «Бармалея», «Таракана», «Телефон» Корнея Чуковского, «Почту» и «Человека рассеянного» Маршака, и я всё это знал (да и сейчас, небось, знаю) наизусть.

Была среди моих книжек целая поэма. Её автора я не помню. Каждая главка поэмы была написана в форме колыбельной песенки, которую мать напевает своему младенцу. В нескольких первых главках пели мамы разных угнетённых рас. Например: «Сыну чёрненькому мать/ Стала песню напевать». Или: «Спи мой сын,/ Спи, Лю-Цзын». Матери рассказывали своим ещё несмышлёным младенцам об ужасах жизни («Ох, устала до чего!/ Больше нету сил,/ А хозяин ничего/ Мне не заплатил»). Каждая главка сопровождалась иллюстрирующей её цветной (по необходимости) картинкой. Свою песенку, содержащую социально-этнические реалии, мать завершала наказом своему младенцу: начать, как только позволит возраст, борьбу с угнетателями. В последней главке колыбельную пела советская мать. Она объясняла своему понятливому бело-розовому младенцу, в какой счастливой стране он родился, а завершала тем, что ему скоро предстоит приятная обязанность — освободить своих разноцветных угнетённых братьев, воспетых и нарисованных на предыдущих страницах.

Папа прочитал мне «Белого пуделя» Куприна и его же рассказ про большую девочку, для излечения которой её отец не оставил перед тем, чтобы привести к ней домой живого слона из цирка или зоопарка. Я сейчас не соображу, были ли рассказы белоэмигранта Куприна помещены в книжке дореволюционного издания или их продолжали издавать в первые советские годы.

Папа любил Пушкина и кое-что подходящее читал и мне. Но своего издания Пушкина у нас не было. Откуда папа брал книгу, из которой он мне в моём начальном возрасте прочёл все сказки Пушкина, его стихотворение «Мертвец» и даже «Гусар», мне неизвестно. Сколькие места последнего сочинения остались тогда мною незамеченными. Прочитал мне папа и кое-что из Гоголя: «Как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем», «Майскую ночь», «Колыску». Папа прочитал мне рассказы Чехова «Каштанка», «Белолобый», «Сирена» и ещё что-то, доступное моему тогдашнему уму. Знал я и классические басни Крылова.

По выходным дням одно из наших занятий с папой состояло в покупке новых книг. Для этого мы ездили на трамвае в Лубянский проезд, в котором вдоль позже разрушенного отрезка Китайской Стены размещался длинный книжный развал. Так, в результате наших поездок к Китайской стене, в мою детскую, довольно бедную, несмотря на сравнительно частые пополнения, библиотеку попали книжки Маршака и Бориса Житкова. Там же была куплена книжка Анатолия Дурова о его работе с животными и цирковых выступлениях (названия не помню) и книжка французского писателя Рони-Старшего «Приключения доисторического мальчика».

Кроме Лубянского проезда источником новых книг были книгоноши. Они, обычно по вечерам, звонили в дверь квартиры, и если папа был дома, то книгоношу впускали. Он вываливал в передней на пол ту часть своего товара, которая, по его понятиям, могла заинтересовать меня и папу. Для меня папа иногда выбирал одну—две книжки. Для взрослых папа ничего не покупал и у книгонош.

Я научился читать незадолго до того, как мне исполнилось пять лет. И хотя папа продолжал читать мне вслух до моих лет десяти, большую часть книг я после того, как стал грамотным, читал сам. Начав читать самостоятельно, я стал обмениваться книгами с приятелями. У одного из них — Кирюши Раменского — были осколки дореволюционной детской серии, которая, кажется, называлась «Золотая библиотека». Я прочитал несколько книг из этой серии: «Маленький лорд Фаунтлерой», «Леди Джейн», какие-то книжки Чарской. Могу, к моей чести, сказать, что несмотря на то, что Кирилл и его взрослые родственники относились к этим книжкам с крайним пиететом, мне они привлекательными не показались, хоть и были роскошно изданы.

Каждый день я «гулял», т. е. на пару часов меня выводили из дому на улицу. Сперва я выходил с мамой, а после того, как она пошла учиться, то с няньками. Мы гуляли около дома в Кривоарбатском и в близлежащих скверах. Их было несколько.

Один назывался «церковный садик»: он был разбит при церкви св. Николы на Песках, стоявшей внутри квартала между Большим и Малым Николопесковскими переулками, получившими свои названия от церкви. В скверике стояли скамейки и была огорожена песочница. С одной из сторон церковный садик был отграничен естественным образом глухой стеной примыкавшего к садику дома или церкви. Эта стена была очень удобна для игр в мяч, около неё было хорошо водить при игре в прятки.

Церковь в начале тридцатых разрушили, ликвидировали и садик, и, возможно, ещё какие-то маленькие домики. На месте возникшего пустыря построили два больших дома. В одном помещается Щукинское театральное училище, а другой — ведомственный жилой. Если принять во внимание некоторые приведённые в романе Булгакова приметы маршрута, по которому Маргарита летела на бал Воланда, то квартира критика Латунского, в окно которой Маргарита влетела и учинила там разгром, находилась в верхних этажах одного из этих двух зданий.

Другой популярный скверик назывался Собачьей площадкой — по имени небольшой площади, в центре которой он находился. Площадь эта теперь поглощена Новым Арбатом. Она была образована перекрёстком нескольких переулков: Большим Николопесковским, Дурновским, Борисоглебским. На площади был разбит круглый скверик диаметром метров в двадцать, обнесённый чугунной оградой. В центре скверика стоял каменный безводный фонтан, облицованный гранитной многоугольной оградой

высотой чуть больше метра. Гранит был шириной сантиметров в двадцать, на него можно было вскарабкаться и бегать по этой сравнительно узкой кромке вокруг фонтана. Риск упасть на землю придавал этой беготне особую прелесть. Говорили, что фонтан — памятник любимой собачке какой-то барыни, откуда и название площади. В скверике стояли скамейки, на которых располагались мамы и няни гуляющих детей. А дети бегали по гранитному бордюру фонтана, играли в свои детские резиновые мячики и гоняли обручи.

Обручи бывали побольше и поменьше. Обруч — это свёрнутый в правильный круг диаметром в несколько десятков сантиметров кусок выкрашенной фанерной ленты шириной три—четыре сантиметра. Круг мог быть вертикальным только в движении — как двухколёсный велосипед. Основная игра с обручем состояла в том, что его надо было катить, подгоняя ударами специальной палочки — вроде барабанной. Если ударять ритмично и без перекосов, то обруч резво катился и оставался вертикальным. Опытные дети могли заставить обруч выполнять повороты. Чем изощрённей мастер, тем меньшие радиусы поворотов ему давались. Почему-то никто не додумывался использовать обруч в качестве хула-хупа.

Играли ещё и в серсо: двое игроков становились метрах в восьми друг от друга (чем дальше, тем больше шика) и перебрасывались сделанными из деревянных прутьев кольцами сантиметров по двадцать в диаметре. Один игрок бросал кольцо в сторону партнёра, кольцо летело, а когда долетало, партнёр должен был его поймать специальной тростью, похожей на рапиру. Бросали кольца руками или тоже с помощью рапиры. Обручи и серсо были играми летними. Они явно пришли из дореволюционных барских времён. Они продавались в игрушечных магазинах. У очень немногих детей были трёхколёсные велосипеды или двухколёсные самокаты. Двухколёсных детских велосипедов практически не было. Их привозили только из-за границы. Они водились у детей из привилегированных семей, а эти дети в общих сквериках не играли.

Во многие из упомянутых игр играли не только в сквериках, но и в Кривоарбатском переулке — около дома или напротив — около высокой каменной стены. Она огораживала со стороны переулка особняк Ревтрибунала, фасадом выходившего на Арбат. Стена была длиной метров в семьдесят и завершалась воротами, через которые в Ревтрибунал въезжали воронки с арестованными. Теперь эта стена превращена фанатами покойного рок-певца Виктора Цоя в его импровизированный мемориал. А в особняке и до сих пор находится военный трибунал Московского военного округа.

Свободы в переулке было меньше, чем в сквериках. Обруч или мяч мог выкатиться на мостовую (проезжую часть). И хотя в переулке движение автомашин, извозчиков и подвод интенсивным не было, родители всячески препятствовали детям играть в переулке с предметами, которые могли выходить из-под контроля и укатываться или улетать с тротуара.

Около стены играли обычно в лапту или в серсо. А около дома играли больше в классы, в салочки (догонялки) и в прятки. В начале игры в прятки водящий определялся считалкой. Например, такой:

На золотом крыльце сидели
Царь, царевич,
Король, королевич,
Сапожник, портной. Кто ты такой?

В следующих турах водил тот, кого в предыдущем туре нашли первым. Водящий становился лицом к стене и закрывался так, что не мог видеть ничего. За то время, что он громко произносил:

Раз-два-три-четыре-пять!

Я иду искать!

Раз-два-три-четыре-пять-шесть-семь!

Я иду искать совсем!

остальные разбежались и прятались — за выступами стен, в ямках около подвальных окон, в подъездах и т. п. Прокричав ритуальный стих, водящий начинал искать. Если он видел кого-то из игроков и громко и верно называл его имя, то найденный становился пленным и стоял около «выручалки», т. е. того места, где водящий начинал водить. Задача водящего состояла в том, чтобы найти и поставить к «выручалке» всех игроков. Но если какой-нибудь игрок из ещё не найденных подбежал к «выручалке» незаметно для водящего, то криком «Палочка-выручалочка, выручи меня!», он освобождал из плена всех найденных ранее: они разбежались, снова прятались и так могло быть до полного отчаяния водящего.

В нашем доме 35 второй подъезд по Кривоарбатскому был проходным: у него был выход во внутренний «чёрный» двор. Из двора ворота выходили в Калошин переулок. А из Калошина можно было выбежать на Арбат, вернуться в Кривоарбатский и добежать до «выручалки» с неожиданной для водящего стороны. В эту игру могли вноситься разные осложнения, в которые я углубляться здесь не буду. Водящий попадал в особо неприятное положение, если игру надо было заканчивать по внешним причинам (например: конец прогулке — детей начинают постепенно выдёргивать из игры, чтобы идти обедать), а он ещё всех найти и поставить к «выручалке» не успел. Тогда ему кричали: «Неотвожа — Красна роза!».

В классы играли так. Расчерчивалась фигура. Если около дома — то мелом на асфальте, а если в скверике, то щепкой по земле. Это был прямоугольник или нечто более сложное. Фигура подразделялась на внутренние смежные области — классы (чаще всего — на прямоугольники же, а в более сложном появлялись и полукруги). Надо было, прыгая на одной ноге (основной вариант), подшибать камушек (у каждого игрока был свой) — так, чтобы он перемещался в следующий класс. Если получалось, то игрок прыгал вслед за камушком и продолжал процесс, пока не будут пройдены все классы: это был выигрыш кона. Если нет (камушек выскакивал за пределы нужного класса), то камушек возвращался на место, а двигать свой камушек начинал другой игрок — с первого класса или с того, где игрока постигла последняя неудача.

По выходным дням со мной обычно гулял папа, и во время этих прогулок я с другими детьми играл редко, потому что стремился к общению с папой. Кроме поездок к Китайской стене за книгами, мы совершали визиты в игрушечные магазины — мячики, обручи, серсо, заводные игрушки. Зверюшки, тем более, куклы меня не привлекали. Обычно папа мне что-нибудь покупал. Часто мы шли на Гоголевский бульвар. Летом и зимой там — между и перед вытянутыми в две линии скамейками с обеих сторон бульвара — от Арбатской площади до Пречистенских ворот — стояли китайцы. Они продавали китайские игрушки, громко, со смешным акцентом рекламируя свой товар. Китайцы продавали игрушки не только на бульваре, но и ходили с ними по улицам. Китайца за глаза называли

«Ходя». Это была пренебрежительная кличка, возможно, с расистским происхождением. Я помню четыре вида китайских игрушек.

Первый — бумажные веера. Это были конструкции из раскрашенной бумаги, сложенной и склеенной так, что манипулируя двумя плоскими палочками (вроде тех, на которые через много лет после того стали называть эскимо), к которым бумажная конструкция была приклеена, можно было образовывать разнообразные и причудливые пространственные тела — шары, кубы, пирамиды и всякие их комбинации. Размер и разнообразие множества тел, которые можно было получить из одного веера, определяли его цену.

Второй вид — трещотки в виде палочки и привязанной к ней с помощью длинной волосяной нити корзиночке. Этой палочкой надо было манипулировать так, чтобы корзиночка под действием центробежной силы вращалась по окружности с радиусом, равным длине нити. При этом почему-то она издавала зудящий звук — тем более тонкий, чем быстрее было вращение.

Третий вид китайских игрушек — бумажные шарики диаметром сантиметров в пять, набитые опилками. Шарики были разноцветными, с блёстками, опутанные тонкой резинкой, как Земной Шар меридианами. К шарiku была привязан ещё одна такая же тонкая, как меридианы, резинка в полметра или чуть меньше длиной. На противоположном от шарика конце в резинке делали петлю, с помощью которой резинка с шариком на конце надевалась на кисть руки. С висающим на резинке шариком можно было делать всякие хитрые штуки, после каждой из которых резинка возвращала шарик владельцу. Самое милое было: послать резким движением шарик в спину идущего впереди тебя друга или (ещё лучше!) жеманной девчонки. Шарик ударял жертву иногда довольно чувствительно и за то короткое время, которое ошеломлённая жертва тратила на то, чтобы обернуться и понять, кто обидчик, успевал, влекомый упругостью резинки, возвратиться к своему хозяину. А обидчик успевал не только поймать вернувшийся шарик, но и спрятать руку с верным шариком за спину или в карман, в результате чего неопытная жертва только хлопала глазами, пытаясь понять, что же её стукнуло. Но опытная — могла в том же темпе надавать по физиономии хозяину верного шарика. Из всех видов китайских игрушек отечественная игрушечная промышленность унаследовала только эти мячики из опилок. Я помню, как покупал их кому-то из моих детей, а может, и внуков. Но уже стало таких мячиков — не вволю. Чтоб купить — надо было, чтобы повезло.

В четвёртых, китайцы продавали свистульки под названием «Уйди-уйди». Воздух шёл в свистульку не непосредственно изо рта. Сперва через деревянную трубочку надувался цветастый шарик из тонкой резиновой плёнки, потом трубочку вынимали из рта, затыкали её отверстие, только что побывавшее во рту, пальцем, а потом, манипулируя пальцем, то давали воздуху из надутого шарика выходить, то выход воздуха оставляли. В трубочку была вделана свистулька, которая при вдувании воздуха в шарик не звучала, а звучала только при выходе воздуха из шарика обратно. Таким образом, надув шарик, а потом действуя пальцем, можно было добиться разных модулирующих звука. Одна из них, которую в рекламный целях использовали сами продавцы, и напоминала мольбу «Уйди-уйди». На шарике часто была нарисована рожица чёртика с рожками, и поэтому эти свистульки называли чёртиками.

Китайцы не только продавали игрушки. В Москве было много китайских прачечных — последних могикан частного энпманского бизнеса. Какую-то часть нашего белья мама отдавала в одну из таких прачечных на Арбате. Качество китайской стирки и глажки было притчей во языцех. Эти прачечные размещались в подвалах, и в некоторые из них можно было через низкие окна заглядывать с улицы. Зрелище копошащихся там двух-трёх китайцев притягивало. Вспоминая эти сцены, я не могу понять, как китайцы, не обладавшие, естественно, современными стиральными машинами и моющими средствами, брали заказы и выполняли их в срок. На рубеже двадцатых и тридцатых годов китайцев из Москвы убрали. Может, выселили, может, арестовывали... Кажется, эти меры были следствием конфликта с КВЖД.

По бульвару ходили ещё продавцы воздушных шаров. Разноцветные шарики, сделанные из того же материала, что и китайские чёртики, были надуты и привязаны ниточками к палке, которую продавец держал вертикально. Эта палка с шариками была очень похожа на виноградную гроздь, но — с разными сортами виноградин: шарики отличались друг от друга не только цветом, но и формой. Одни шарики были действительно шариками, а другие были овальными, вытянутыми в высоту... Продавец отрезал ниточку, привязанную (и затягивающую выход газа) к выбранному покупателем шарiku и вручал шарик счастливому новому владельцу. Шариками торговали не китайцы, а русские. Шариками были наполнены не воздухом или водородом, как во времена детства моих детей и внуков, а светильным газом. Поэтому они в воздушной среде взлетали вверх, а не лениво плавали во взвешенном состоянии на той высоте, где их освобождали. В результате небо над бульварами и площадями, где торговали воздушными шариками, было усеяно улетающими вверх шариками, которые нерасторопные дети неосторожно выпускали, разжимая пальчики, державшие нитку. Если такое происходило в доме, куда шарик удавалось донести, то он взлетал к потолку и висел там, прижавшись к белой поверхности. Потолки в нашем доме были высокие, и даже взрослый, встав на стул, не мог дотянуться до висевшего нитяного хвостика, привязанного к шарiku. Папа вставал на стул, брал в руку половую щётку и старался, переставляя стул, подтолкнуть шарик сперва к стене, а потом вдоль стены вниз. Это было интересно.

В том конце бульвара, который примыкал к Пречистенским воротам (станции метро там ещё не было), часто появлялись цыгане, водившие дрессированных медведей. Набор номеров был невелик. Я помню, как медведь — в фартуке и с повязанной женским платком головой — притоптывал на задних лапах под звуки бубна, в который бил цыган, а потом в этом же виде обходил собравшихся кругом зрителей с чем-то вроде шапки, в которую зрители приглашались — кто сколько может — бросать деньги.

Я помню впечатляющий корпус Храма Христа Спасителя и нищих около входа в него. Помню я и руины разрушенного храма. Потом — огороженный высоким дощатым забором котлован для строительства Дворца Советов, потом — бассейн «Москва», для которого этот котлован использовали, потом — во время нашего с Машей приезда в Москву летом 98-го — вновь воздвигнутый Храм Христа Спасителя. Оставался храм на месте и в приезд в 2001-м году. Что будет потом? И при ком?

ГЛАВА 2

Соседи. Смирновы и их животные. Щеночек Дэвик. Матрёна. Шелагуровы. Ерыкаловы. Замужество Матрёны. Юра Смирнов. Кирилл Раменский. Губернаторша Сарра. Колмановские. Залманзоны. Частная немецкая детская группа. Преступная филателия. Шофёры дяди Давида. Музыка и театр в детстве Эди. Чтение. Раиса Наумовна и её родня. Дядя Яша. Даня. Миша и Лиза. Трайнины-Певзнеры. Лиза из Германии. «Wie ist Hitler!?!». Анна Любошиц. Шерешевский. Эсер Блюмкин, оппозиционер Зиновьев и оправдом Агрест.

Среди соседей не было стариков. Все они для меня были просто «взрослые». Почти все они относились ко мне ласково: много лет ребёнком в квартире был один я. Ещё две девочки появились только в 1929-м и в 1933-м годах. Меня зазывали в гости, болтали со мной и угощали. Все взрослые были примерно ровесниками моих родителей, т. е. было им тогда, в двадцатые—тридцатые, лет по двадцать пять—тридцать пять. Но все они обращались друг к другу на «Вы» и по имени-отчеству. Теперь переходят на «ты» и перестают употреблять отчества гораздо легче, преодолевая не только возрастные, но иногда и социальные границы.

А социальных границ и тогда было много. Была безусловная граница между явно привилегированным слоем «партийных» и сомнительными «беспартийными». Были люди состоятельные и бедные. Я ощущал тогда в детстве только одну границу. Мама в своих оценках сохранила следы дореволюционного деления людей на простых и благородных, но вместо последнего термина употребляла ставшее модным слово «интеллигентные». Бабушка, её мать, такого политеса не соблюдала и про женщину из народа, про которую мама сказала бы «простая», говорила, переходя на идиш, «а шиксе», т. е. (подразумевалось — русская) девка.

Тётя Клара — Клара Степановна Смирнова — была миловидной художавой невысокой женщиной. Я начал её помнить с самого раннего детства. Ей тогда, в середине двадцатых, было, как я теперь понимаю, лет двадцать. Она красиво одевалась и причёсывалась, подкрашивала, как и моя мама и мои тётки, губы и была похожа на «интеллигентную». Впоследствии, когда я стал постарше, то обнаружил, что образования у тёти Клары не было, и что она даже едва умела писать и читать и этого своего недостатка не ощущала. Тётя Клара считалась портнихой, у неё была ножная швейная машинка, которая меня очень всегда занимала.

К ней ходили заказчицы. Мама довольно часто заказывала ей вещи для себя и для меня. Вообще, тогда к портным обращались гораздо чаще, чем теперь: нужда в них стала падать с появлением государственных пошивочных ателье и по мере появления недорогой готовой одежды. Постепенно большинство слоёв населения стало покупать готовые вещи. Многие женщины из образованных классов научились и приохотились шить самостоятельно. А тогда бывало, что шить (или переделать из старого) было проще и дешевле, чем покупать вещь в магазине, где её ещё надо было поискать: дефицит был всегда.

Муж тётки Клары, Василий Иванович (дядя Вася) Смирнов был, возможно, постарше своей жены. Он был брандмейстером, приходил с работы в ремнях и сапогах. Иногда, гуляя вечером около подъезда в Кривоарбатском переулке, я видел эффектный момент возвращения дяди Васи с работы: его подвозили к дому в открытой красной пожарной пассажирской машине. Если при этом он замечал меня и здоровался со мной, то я бывал преисполнен гордости. Особенно если нашу с дядей Васей встречу видели другие дети.

Я много времени проводил в гостях в комнате этой четы. Вместо детей у них были беленький фокстерьер Томка и кот, имени которого я уже не помню. Привлекал меня и их балкон, выходящий на Арбат. Такие балконы имелись только в одной из комнат тех квартир, которые были на седьмом этаже и которые выходили окнами барских комнат на Арбат. В тёплое время года на балконе можно было находиться вместо прогулки. А какую-то норму моего пребывания «на свежем воздухе» мама всегда имела в виду.

Бетонные барьеры балкона были раза в два выше моего тогдашнего роста, а толщиной — сантиметров в тридцать. Как-то кот вскочил на этот барьер неудачно. Он это делал частенько: вспрыгивал, сидел, грелся на солнышке и наблюдал за жизнью внизу. Но тут что-то произошло: может, порыв ветра, может, не рассчитал прыжок. Кот свалился вниз и погиб.

Мне очень хотелось иметь собачку, но это желание оставалось совершенно бесплотным: родители на этот счёт сохраняли полную сдержанность. И вдруг мне подфартило: у Томки появились щенки. Тогда мне казалось это естественным, а теперь я это появление объяснить не могу: Томку, помнится, никогда не выводили гулять, а уж о бесконтрольных эскападах и речи не было. Клара стала раздавать щенков, и тут, зная о моей мечте, родители устоять не могли.

Нам достался маленький белый щеночек с чёрными пятнами. Его называли Дэвиком. Он сперва ползал по нашей комнате, потом стал на ножки и перебегал из-под одного предмета мебели под другой. Мне доставляло удовольствие возиться с ним, наливать ему в блюдечко водички и класть еду. Но Дэвик безудержно пачкал в комнате, и приучить его к порядку не удавалось никак. А тут поступило предложение от других наших соседей (о которых ниже), отдать Дэвика их родственникам, которые жили где-то в Филях. Видя гору неудобств, доставляемых Дэвиком родителям, я на переезд Дэвика в Фили согласился.

...Следующая собачка — по имени Тиль — появилась в нашем доме, когда мне было пятьдесят пять лет. А мою младшую дочь, ставшую главной хозяйкой Тиля, звали, наоборот, Томка...

Через некоторое время исчезла — не знаю куда — и собака Томка. А в двадцать седьмом или двадцать восьмом году умер или погиб дядя Вася. Клара осталась одна. Через некоторое время она взяла себе свою девичью фамилию: Усанович. А может, эта фамилия у неё была всегда, но при жизни Дяди Васи Клару звали по фамилии мужа. Все Клару очень жалели. Все — кроме Александры Матвеевны Тихоновой, одинокой женщины, жившей в комнате при кухне. Она была с Klarой в вечной ссоре.

Александра Матвеевна бывала часто в ссоре и с моей мамой. Она была «простая». Как и Клара, она была малограмотной, но, в отличие от Клары, никакого лоска у неё не было. Она была в точности такой, как подобало быть простой: некрасивая, скандальная, грубая и ходила в платке. Мама за глаза называла её Матрёной. Если в какой-нибудь период мира с Матрёной (а нарушиться он мог в любую минуту из-за взбалмошного

её характера и скверного нрава) у нашей семьи образовывался промежуток без домработницы, то мама отдавала Матрёне в стирку бельё, а если подходила наша очередь дежурить, то и убирать квартиру. Для этой же цели нанимали Матрёну и Шелагуровы. Александра Матвеевна была ещё и портнихой, как и Клара. В мирное время мама и ей давала шить кое-что для меня.

Иногда, будучи в состоянии ссоры с мамой, Матрёна шипела что-то антисемитское. Но один раз очередной длительный (года в два) период ссоры Александры Матвеевны с мамой закончился очень странно: Александра Матвеевна попросила у мамы прощения и, получив его, маму поцеловала. С тех пор (это было в самом начале тридцатых годов) ссоры между ними прекратились.

Следующими по коридору за комнатой тётки Клары располагались две большие комнаты семьи Шелагуровых: трёх сестёр — Ольги, Александры и Нины и их брата Василия Ивановича. Все они были высокими, худощавыми, хорошо сложенными и красивыми людьми. Я думаю, что старшей из них, Александрой Ивановне, было в конце двадцатых годов под или чуть за тридцать, а младшей Нине Ивановне — под двадцать. Ольга и Василий были по возрасту между ними.

Александра Ивановна была врачом и всю жизнь работала в Снегирёвской поликлинике на Собачьей площадке, сделав нехитрую и естественную для хорошего и стареющего врача карьеру: в пятидесятых она заведовала терапевтическим отделением этой больницы. Она была чуть суровой внешности, сдержанно любезной, но со мной, маленьким мальчиком, не заигрывала. Она всегда была и так и осталась незамужней. Хотя ни в её внешности, ни в её характере, ни в её уме я ни тогда, в моём детстве, ни в моём взрослом возрасте не мог бы назвать никаких недостатков.

Ольга Ивановна была в молодости, как и все Шелагуровы, недурна, хотя её уместнее было называть не худощавой, а тощей, а про рост говорить не «высокая», а «верста коломенская»: Ольга была самой длинной из сестёр. Она вела себя несколько кокетливо, следила за собой и считала себя, вероятно, интересной женщиной. Внешне она и была ничего себе, но ум у неё был совершенно куриный. Ольга часто грела на примусе (а позже — на газовой плите) щипцы для завивки волос и улучшала с их помощью свою причёску. По вечерам, бегая из кухни в комнату с чайником или со щипцами для завивки волос в руках, она всегда громко распевала своим пронзительным и не очень приятным, хотя и не фальшивым сопрано романсы и арии. Её голос почти всегда звучал и из-за закрытой двери их комнат. Ольга работала счетоводом или бухгалтером, и, забегая вперёд, скажу сразу, что профессионального роста в её жизни так и не произошло.

Над Ольгой в квартире посмеивались: очень уж велика была дистанция между её хоть и недурной, но заурядной внешностью, скромной служебной карьерой и статусом перезрелой девицы с одной стороны и маэрами кинозвезды — с другой. За страсть Ольги к пению, публичному, правда, только в рамках нашего коридора и кухни, моя мама называла Ольгу за глаза «Гюль-Гюль». Я и про Ольгу не понимаю, почему она так и не вышла замуж.

Александра и Ольга, так и оставшиеся старыми девами, жили в нашей квартире гораздо дольше, чем я, покинувший её в конце пятидесятых годов. Сначала я о них временами что-то слышал, но с середины семидесятых, после расселения нашего дома, след их в моей памяти потерялся. Вряд ли они живы сейчас, в начале нового века.

Младшая из сестёр Шелагуровых Нина была весёлой и открытой девушкой. У неё были русые курчавящиеся волосы, она была красива естественной красотой, и её внешность не нуждалась в постоянном уходе. Она много болтала со мной на мои детские темы — об играх, о собачке Томке, о моих приятелях, и я её среди сестёр выделял, хотя и её я называл «тётя Нина». Она часто звала меня в их комнату (из принадлежащий Шелагуровым двух комнат брат Василий Иванович жил в первой, а сёстры — во второй) и угощала меня чем-нибудь приятным. Её старшие сёстры редко принимали участие в наших беседах: Нина почему-то часто бывала дома днём, а старшие сёстры в это время были на работе.

Пользуясь тем, что дверь комнаты сестёр соседствовала с дверью в ванную, Нина часто, окончив купанье, шмыгала к себе в комнату, лишь кое-как накинув на себя халатик (тогда говорили — «капот»), и только тогда начинала одеваться как следует. Нина сбрасывала с себя халатик и затем не спеша, расхаживая голая по комнате и роясь в шкафу и ящиках, надевала предметы тогдашнего дамского туалета: уродливые панталоны почти до колена, корсет, широкий бюстгальтер. Моё присутствие (мне в описываемый период было от трёх до восьми) её не смущало.

Я в том возрасте уже знал, что стыдно показываться голым перед чужими персонами другого пола, но сам по себе вид голого женского тела мне был привычен и меня не волновал. Мне в те детские годы доводилось видеть раздетых женщин во множестве, например, на женских пляжах, куда летом меня водила с собой бабушка. Меня не стеснялись мои молодые тётки. Из-за привычности тех мизансцен их интимность совершенно стиралась. Так что голая Нина была, вроде, зрелищем будничным.

Но я понимал, что ситуация с Ниной отличается от мне привычных. Вбегая полуодетая в комнату из ванной, Нина дверь за собой запирала, и я расценивал это как готовность Нины продемонстрировать мне себя в таком виде, в каком другим она себя видеть не позволила бы. Мы с голой Ниной продолжали как ни в чём не бывало болтать, шутить, и она часто провоцировала меня на то, чтобы я пытался пощекотать её. И если мне это удавалось, то она звонко визжала, а я был счастлив. Я осознавал, что в Нининой непринуждённости по отношению ко мне есть нечто, о чём маме говорить не надо. Я и не говорил.

Василий Иванович Шелагуров был инженером-электриком. Это был весёлый шумный красивый человек. Не исключая теперь, что он попивал, ибо часто бывал весёлым и шумным чрезмерно. Я не помню, чтобы он когда-нибудь хмурился или был необщителен со мной. По вечерам, когда Василий Иванович приходил с работы, я с ним виделся часто в нашем длинном коридоре: он выходил туда курить.

Обычно он стоял с папиросой около двери в свою комнату, а я стоял около него, и мы разговаривали. Разговор строился обычно на том, что он меня поддразнивал, задавал коварные вопросы, ловил на слове, делал нелепые и нелестные для меня предположения и пр. Несмотря на то, что я всегда бывал объектом шуток Василия Ивановича, я на него не обижался, но радовался, когда мне удавалось от его смехотворных предположений отбиться.

В небольшой комнате справа по коридору жил электромонтёр Борис Фёдорович Ерыкалов. Это был очень высокий тощий человек с длинным носом и белёсыми редкими волосами. На вид он был старше других соседей, ему, я думаю, было за сорок. С ним мы виделись крайне редко. Он рано уходил на работу, а придя вечером домой, из своей комнаты почти не выходил. Разве что пройдёт в кухню и обратно с чайником.

Борис Фёдорович был крайне молчалив. Со мной он не заговаривал. Но тем не менее, чувствовалось, что он человек не вредный, а скорее, доброжелательный. Я никогда не видел его хоть сколько-нибудь нетрезвым. Но из дверей его комнаты всегда несло папиросным дымом.

Смерть Василия Ивановича Смирнова, мужа тётки Клары, положила начало изменениям количества и качества жильцов нашей квартиры. В один прекрасный день 1928-го года совершенно неожиданно выяснилось, что некрасивый, неразговорчивый, нескладный, немолодой Борис Фёдорович женился и привёл в свою маленькую комнату милостивую, сильно моложе себя, жену Глафиру Николаевну и её мать, маленькую старушку (теперь, став восьмидесятилетним, я допускаю, что не такую уж старушку, а так — женщину лет пятидесяти) Елизавету Александровну.

Глафира Николаевна была невысокой, чуть полноватой, с круглым добрым лицом. Мне она тогда казалась не первой молодости. Думаю, что ей не было тридцати. Она работала телефонисткой. Девичья фамилия Глафиры Николаевны — помнится, она её в замужестве сохранила — была Канардова. Я такой фамилии больше никогда не встречал. Да ведь и то — по-французски *canard* — утка или селезень. Можно навертеть тысячу версий происхождения такой диковинной, с французским налётом, фамилии русской семьи.

Елизавета Александровна была очень тихой, политичной, деятельной, хозяйственной женщиной. Она со всеми соседями была в хороших отношениях. В периоды, когда у нас не было домработницы, мама за небольшие, по-видимому, деньги пользовалась услугами этой новой аккуратной и шустрой соседки. Елизавета Александровна мыла нашу посуду, разогревала, а иногда и готовила мне еду (мама училась и работала) и чуть-чуть присматривала за тем, чтобы я вёл себя прилично.

Она смотрела на мир оптимистично, всё её радовало. Начиная всякое дело, она была уверена в успехе. Она почти всё время проводила между своим, т. е. Бориса Фёдоровича, кухонным столиком и плитой, на которой стояли примусы и керосинки, а затем — и газовые конфорки.

Когда я вертелся в кухне (а я часто искал там общества), то слышал, как Елизавета Александровна почти всё время что-то приговаривает, одобрительно комментируя собственные действия. Например: «Вот посуду вымою — и будет у меня всё в порядке вещей».

Слушая рассказы соседок, она их ненавязчиво комментировала, стараясь, по возможности, всегда оставаться на стороне рассказчицы. Например, в подходящем месте она вставляла: «Хороший человек плохо никогда не поступит». Или, когда речь шла о неблагоприятном поступке недруга рассказчицы: «Правду люди говорят — не пей, если не можешь». Позднее, когда я читал Горького, я обнаружил, что Елизавета Александровна обладала кое-какими чертам Луки из «На дне». Но круг тем моей соседки был значительно уже, чем у героя знаменитой пьесы.

Именно у Глафиры Николаевны и Елизаветы Александровны была родня в Филях, которая приютила нашего Дэвика. Но вскоре из Филей пришла печальная весть: Дэвик наглотался отравы для мух и погиб...

В 1929 году у супругов родилась девочка Валя. Через пару-другую лет она, несмотря на разницу наших возрастов, стала моей подружкой, и мы много времени проводили вместе — то в нашей, то в их комнате, как это принято среди детей. Большую роль в наших играх занимал сильно покалеченный к тому времени мой деревянный конь Красавчик, подаренный мне за несколько лет до того Бабой Ниной. Другой хорошей игрушкой бы-

ли конторские счёты. Они у нас имелись, но папа ими пользовался редко и разрешал мне с ними играть. Счёты, перевернув их костяшками вниз, можно было катать по коридору, таща их за привязанную к деревянной раме верёвочку. Можно было, нагнувшись и взявшись за деревянную раму руками разогнаться, плюхнуться на счёты животом и прокатиться метра три. Но для такого варианта надо было счёты чуть дооборудовать, ибо живот, соприкоснувшись с костяшками-колёсиками, тормозил их вращение во вред затее. Я клал на раму счётов фанерку или дощечку, так что костяшки оказывались под ней и вращались свободно и после того, как я на фанерку падал животом. Для надёжности я фанерку к раме ещё и прикручивал бечёвкой.

Когда Валя Ерыкалова чуть подросла, я стал класть на фанерку подушечку, сажал на неё Валю и катал её по нашему замечательному коридору. А ещё чуть позже я сидел на подушечку сам, а в счёты запрягал Валю и заставлял её катать себя. Она делала это с большим трудом и с огромным удовольствием.

После рождения дочки Борис Фёдорович в комнате курить перестал, а выходил, как и другие мужчины, в коридор и курил молча, сидя на корточках около закрытой створки их двери. Появление Вали подтолкнуло Ерыкаловых на обмен комнатами с тётей Кларой. Она стала жить в их маленькой, а семья Бориса Фёдоровича из четырёх человек переселилась в большую комнату с балконом. Я не знаю в точности, почему тётя Клара пошла на этот обмен. Скорее всего дело было в тогдашних правилах: одинокая Клара не имела права на такую большую площадь, которую она раньше занимала с мужем. Она либо должна была много платить за лишние или, вообще, опасалась выселения. Не исключаю, что Ерыкаловы кое-какие деньги тёте Кларе под полый заплатили. Может, просто Клара сочла, что наводит порядок в большой комнате затруднительно.

...Впрочем, ещё года через три Клара снова вышла замуж — за тихого добродушного дядю Женю — военного с тремя кубиками. Он был явно моложе Клары, и поговаривали, что он женился ради жилплощади и прописки. Незадолго до войны дядя Женя из нашей квартиры исчез — так же тихо, как появился. Причины мы не знали...

В начале тридцатых годов большие изменения произошли в семье Шелагуровых. Сначала вышла замуж тётя Нина. Году в тридцать третьем женился дядя Вася. Мужем Нины оказался толстый, высокий военный с седым ёжиком волос. В его петлицах был ромб. Я уже тогда знал, что ромб — знак высокой военной должности. Он был старше Нины не меньше чем лет на двадцать. Он тоже стал курить в коридоре. При этом он молча и важно похаживал. Мной он не интересовался. Один раз я чем-то его в коридоре раздражил, и он на меня грубо накричал. Нина увела его в комнату. Несколько месяцев Нина с мужем жили в одной комнате с сёстрами, а потом куда-то съехали. В последующие годы Нина заходила к сёстрам очень редко. Иногда входную дверь открывал ей я. Нина толстела, старела и решительно перестала мне нравиться.

Вася привёл в дом хорошенькую долгоносенькую худоцавую Надежду Павловну. Они прожили в Васиной комнате недолго, а потом переехали в Саратов. Свою комнату в нашей квартире они как-то при этом переезде выменяли...

До шестилетнего возраста я дружил только с детьми, жившими, как и я, в доме тридцать пять. География моих знакомств стала медленно расширяться позже. По парадной лестничной площадке с нашей квартирой

соседей квартира двадцать три. Она была гораздо больше нашей, и её планировка сильно отличалась от планировки нашей квартиры. Это означало, что до революции её снимала семья, более богатая, чем семья, снимавшая нашу квартиру. После революции это привело к тому, что в этой коммунальной квартире жило на несколько семей больше, чем в нашей, и что им теснее было в кухне, что очереди в уборную и ванную были ещё более томительными, чем в нашей квартире.

В прихожую там выходила не одна, а три двери. Одна из них вела в комнату, вмещавшую семью, очень похожую на нашу. Она состояла из мамы, папы и сына, моего сверстника и тётки. Маму по удивительной случайности звали, как и мою, Полиной. Но, в отличие от моей, она была не Самойловна, а Ивановна. Фамилия их была Смирновы. Полина Ивановна была домашней хозяйкой, а Юрин папа, имени которого я не запомнил, был бухгалтером или счетоводом.

Впоследствии, почитав Гоголя, я увидел сходство Смирнова с Акакием Акакиевичем. Это был очень тихий невысокий человек, в очках и шляпе, в нечистой сорочке и небрежно повязанном галстуке. В наши с Юрой игры он не вмешивался и вообще нами не интересовался. Он был весь день на работе, с работы приносил с собой какие-то бумаги и вечером с ними возился, сидя за единственным — обеденным — столом и щёлкая на счётах. Часть бумаг он, очевидно, потом уносил обратно на работу, но значительная их часть почему-то оставалась дома, загромождая один из углов их комнаты. Нам с Юрой разрешалось делать из них кораблики и шлемы. А один раз...

Комната Смирновых (по площади она была такой же, как наша) и наша комната имели, хоть они и находились в разных квартирах, общую стену. Через эту стену мы с Юрой перестукивались, используя для ударов разные предметы, в том числе и молоток, отчего обоим на этой стенке (с обеих её сторон) были вечно изодраны. Впрочем, смысл перестука был один: призыв в гости. В тёплое время года я бывал у Юры чаще, чем он у меня, потому что у Смирновых был балкон — такой же, как в нашей квартире был у тётки Клары (а потом у Ерыкаловых).

И вот один раз мы с Юрой — нам было лет по пять — выдумали игру. Мы притащили на балкон несколько пачек бумаг из хранилища в углу и начали подбрасывать их по десять—двадцать листов около наружной стенки балкона. Мы развлекались тем, что резвый ветер подхватывал листы, уносил их вверх и куда-то вдаль. Это было тёплым весенним вечером, погода стояла ясная, и устроенное нами зрелище казалось нам очень красивым.

Полина Ивановна находилась в кухне и о нашем занятии не знала. Наша забава была в разгаре, как вдруг раздался один длинный звонок в квартиру. Т. е. как раз к Смирновым. От кухни до передней было не близко. Поэтому мы с Юрой, бросившись на звонок (мы думали, что это вернулся с работы Юрин папа), Полину Ивановну опередили. Мы открыли входную дверь и увидели, что это был не Юрин папа, а милиционер. Он спросил подоспевшую Полину Ивановну: «Это от вас бросают бумагу на улицу?». Полина Ивановна естественно, не поняла, о чём речь. Возникла пауза.

Я прошмыгнул в ещё не закрытую дверь на площадку, лихорадочно зазвонил в наш звонок и, как только мама мне открыла, бросился в нашу комнату и стал бегать вокруг стола, всё время крича: «Мама, спаси меня!». Я бегал так, к недоумению и испугу мамы до тех пор, пока

не раздался один звонок (к нам!) в дверь нашей квартиры. Я решил, что всё, что это за мной и удвоил громкость моего крика. Но это была лишь Полина Ивановна. Она к этому моменту во всём разобралась и успела уплатить милиционеру штраф. Пришла же она затем, чтобы рассказать о происшествии моей маме и взять с неё половину уплаченного штрафа.

Нам с Юрой и в голову не приходило, что так красиво летевшие листы вскоре упадут, и упадут на людный Арбат. Я думаю, случись такая история несколькими годами позже, когда Арбат стал самозабвенно охраняемой правительственной трассой, по которой Сталин ездил из Кремля на дачу, нашим родителям штрафом бы не отделаться. Да и наша судьба могла быть иной.

В двадцать третьей я никого, кроме Смирновых, не знал. Но в той квартире — в комнате при кухне (аналогичной комнате Александры Матвеевны в нашей квартире) — жил ещё один мальчик чуть нас постарше. Его звали Толька Турунтаев. Он считался хулиганом, играл не в Кривоарбатском переулке, как мы, а с ребятами в нашем дворе-колодце. Я Тольку и его друзей боялся. Если мне доводилось встречаться с кем-нибудь из них в лифте или на улице, когда я был без взрослых, то эти мальчики меня задевали: дразнили («Сколько время? — Два еврея, третий жид, по верёвочке бежит») или угрожали побоями, употребляя бранные слова.

Один раз мы с моей бабушкой вышли из нашего подъезда в Кривоарбатский переулок, и я увидел на противоположной его стороне, около стенки Ревтрибунала, к которой были приделаны щиты, заклеенные афишами, Тольку. Он сидел на корточках один и что-то сосредоточенно ладил. Возможно, это была палочка для игры в чижика. Толька был не на своей территории. Почувствовав себя в своём праве и будучи под надёжной защитой, я перебежал к сидящему Тольке, хлопнул его ладошкой по голове и мгновенно вернулся к бабушке. Толька был ошарашен и не пошевелился. Вот такой я был храбрец.

...Годам к семи я от дружбы с Юрой отошёл. Я стал ходить в немецкую группу и сблизился с другими моими сверстниками. Где-то в тридцатых мама сказала мне, что Юриного папу сослали, и что его жена и сын последовали за ним куда-то в Киргизию...

С чёрного хода наша двадцать четвёртая квартира граничила с тридцать пятой. Парадная дверь этой квартиры выходила к лестнице и лифту первого подъезда в Калошином переулке. Лифт в этом подъезде действовал почему-то исправнее нашего, и при поломке нашего лифта моя страдавшая ревмокардитом мама пользовалась лифтом первого подъезда, и потом через тридцать пятую и через площадку чёрного хода проходила в нашу двадцать четвёртую. Это было не совсем удобно, так как при этом маме надо было побеспокоить кого-либо из знакомых ей жильцов 35-й, а потом — кого-либо из наших соседей, открывавших на её стук дверь из чёрного хода в нашу кухню. Впрочем, все они эту услугу оказывали маме охотно.

Тридцать пятая квартира была на одну комнату больше нашей, но всё же не такой огромной, как двадцать третья. В ней жил мой другой приятель — Кирилл Раменский. Он и его родители — Владимир Владимирович и Мария Константиновна — занимали большую комнату. Она была разгорожена поперёк перегородкой со стеклянным верхом, так что светлой была только часть комнаты, примыкающая к окну, а часть, куда вела дверь из коридора, оставалась полутёмной.

Про Раменских было известно, да они и не скрывали этого, что они — бывшие дворяне, а Владимир Владимирович служил в царской армии

в офицерском чине. Это был очень высокий полноватый мужчина с прямой осанкой и красивым лицом. Он был болен сердечной недостаточностью, и поэтому часто на работу не ходил и оставался дома. Кем он работал, я не знал. Сына Кирилла он воспитывал в большой строгости, и сын его очень боялся. «Нельзя: папа выпорет» — эту фразу Кирилл произносил довольно часто. На меня Владимир Владимирович внимания не обращал и с моими родителями даже не был знаком и никакого интереса к ним не проявлял. Он утратил желание умереть от своей болезни в начале тридцатых, чудом избежав уготованную ему лютую участь. Мария Константиновна была красивой высокой дамой. В отличие от мужа, она была со мной очень ласкова и дружила с моей мамой.

Наверное, до революции Раменские занимали всю тридцать пятую квартиру. Я стал так думать потому, что в этой квартире жили ещё, каждая в своей комнате, тётка Владимира Владимировича Елена Николаевна (тётя Лёля) и его мать Зинаида Николаевна. Баба Зина, будучи матерью рослого и величественного сына, была на удивление щуплой и очень доброй старушкой, а тётя Лёля, хоть была, как и сестра, невысокого роста, но, тем не менее, — весьма представительной и резкой в манерах дамой. Мы с Кириллом часто играли в их комнатах. Кирилл унаследовал породистую внешность своих родителей. У него был смуглый цвет лица, тёмные глаза и нос с горбинкой. Бунинский персонаж.

В отличие от двадцать третьей квартиры, в которой я знал только семью Юры Смирнова, в тридцать пятой я знал всех. Если войти в эту квартиру через кухню (так почти всегда делал я, ибо, естественно, пользовался чёрным ходом), то первым знакомым был маленький еврей Хаим. Он жил в комнате при кухне, как у нас Александра Матвеевна и — забавное дело — был, как и она, портным, но специализированным — мужским. Один раз — это было исключительным событием — папа шил у него новый костюм.

Дверь из кухни в коридор выходила в его правую стенку почти у его торца, в котором была расположена ванная. Первой по левой стене коридора, почти впритык к ванной, была большая комната, в которой жила Баба Зина. Окно этой комнаты, как и всех комнат, располагавшихся вдоль левой стены коридора, выходило на Арбат, в ту часть фасада нашего дома, которая примыкала к Калошину переулку. Все комнаты по эту сторону коридора были большими, вроде Шелагуровских в нашей квартире. Следующей была комната Раменских, которую я уже описал.

Далее со своими родителями жила наша с Кириллом подружка Катя, которая была года на три старше нас. Она хвалилась тем, что была гречанкой. И действительно, её фамилия была Клирис, а её отец был полноватым, низкорослым всегда оживлённым брюнетом. Где бы он меня не завидел, он весело вопил: «Юрка!».

Катя довольно часто играла со мной и с Кирюшей. Чаще всего это были карты (бывшие у нас в ходу карточные игры я опишу в другой главе). Но иногда Катя принималась нам рассказывать истории. Откуда она их брала, я не знаю, а сейчас я их позабыл. Помню только, что Катя тяготела к тому, что сейчас назвали бы триллером. Её истории содержали страшные и неприличные сюжеты. Иногда она рассказывала неприличные анекдоты про Пушкина.

В последней комнате слева — она выходила уже в переднюю с дверью на лестничную площадку — жила бездетная супружеская пара Иван Михайлович и Любовь Августиневна. Мать Любви Августиновны, Софья

Николаевна Успенская, жила в этой же квартире в своей маленькой комнате. В нашем же доме, в квартире шестьдесят шесть, жила вторая дочь Софьи Николаевны — Евгения Августиновна.

Вдоль противоположной комнатам Раменских стороны коридора располагались две небольшие комнаты с окнами во двор. В одной из них жила Кирюшина тётка Елена Николаевна, а в другой — упомянутая Софья Николаевна. Эта мелкая старушка (впрочем, в описываемое время ей было всего лишь под или чуть за шестьдесят, а она казалась мне стоящей одной ногой в могиле) была еврейкой, и, видимо, на этой почве, дружила с моей, гораздо более молодой мамой.

Она часто совершала путь, прямо противоположный тому, который делал я, отправляясь в гости к Кириллу. Она стучалась в дверь чёрного хода нашей квартиры, проходила через нашу кухню под злым взглядом Александры Матвеевны, бесшумно проскальзывала по коридору, робко стучалась в нашу дверь, и, если мама была дома, тихо усаживалась и полупёпотом вела с мамой длинные беседы, употребляя французские фразы. Иногда она принималась беззвучно плакать. Для своих визитов Софья Николаевна всегда выбирала дневное время, чтобы не заставить дома моего отца.

Когда я стал постарше, мама рассказала мне историю Софьи Николаевны и предмет её разговоров и жалоб. Софья выросла в ортодоксальной зажиточной еврейской семье в маленьком Белорусском городке. Имя, которое она получила при рождении, было Сарра. Её ждала обыкновенная судьба еврейской девушки, которой родители, отдавая дань зарождавшейся моде, дали домашнее образование, водили в театр и в другие увеселительные места. Так бы и пронесла она своё образование втуне до старости лет.

Но вдруг судьба Сарры стала необыкновенной. Её красотой был поражён поручик гусарского полка, вставшего на постой в этом городке. Его звали Августин Успенский. Августин увидел Сарру в театре или в ином публичном месте, а может, полковой квартирмейстер разместил поручика в доме родителей Сарры.

Молодые люди могли свободно общаться и скоро поняли, что они — пара. Поручик формально и открыто попросил у родителей Сарры её руки, но получил категорический отказ. Старозаветные родители не могли допустить, чтобы их дочь вышла замуж за гоя. У поручика было два способа достичь своей цели. Принимать иудаизм и проходить обрезание он не жаждал. Поэтому он пошёл другим путём, воспетым в русской литературе, которая плохому не научит: он девушку похитил и тайно с ней обвенчался. Сарра, естественно, крестилась и стала Софьей. Откуда-то ей сбылось и отчество.

Родители Софьи её прокляли. Как отнеслись к браку сына его родители, я не знаю. Но по-видимому, без особой драмы. После того, как Августин вышел в отставку, он сделал хорошую карьеру. Какое-то время он был даже губернатором одной из недалёких губерний, а Софья Николаевна — первой дамой губернии, которой на балах всё приглашённое дворянство целовало ручку.

Августин Успенский погиб или в мировую или в гражданскую войну. Его семья каким-то образом уцелела. Может, благодать сыграло выставленное вперёд еврейство матери, которое в те годы считалось отметиной лояльности по отношению к революционной власти. Дочь Люба вышла замуж за антисемита Ивана Михайловича, который свою тещу третировал и даже оскорблял. Эта ситуация и была постоянным предметом жалоб Софьи Николаевны в разговорах с моей мамой.

...Прошли годы, прошла Отечественная война. Успенские уезжали в эвакуацию и вернулись на прежнее место. Иван Михайлович продолжал обижать свою тещу, а та продолжала жаловаться моей маме, которую пережила. Она любила поговорить со мной, повстречавшись на улице. Главный разговор её был такой: «Юрочка! Мне девяносто пять лет!». На этом фигура и имя Софьи Николаевны из моей жизни не исчезли, и мой рассказ я завершу в Добавлении 4 — в ином неожиданном контексте...

Вернусь, однако, в детские годы. До нашего с Кириллом шестилетнего возраста мы часто вместе гуляли в арбатских переулках и сквериках под надзором моей очередной няни: родители Кирилла, в отличие от моих, домработниц никогда не держали. Потом мы подросли и стали гулять одни. Наши прогулки с Кирюшей приобрели другой характер: мы стали самостоятельно бродить вдоль Арбата, разглядывая витрины и совместно мечтая о некоторых выставленных в них предметах.

Для приобретения этих предметов были нужны деньги, и Кирилл приобщил меня к идее деньги копить. У меня, как и у него, появилась копилка в виде глиняной глазурованной свиношки с прорезью в спине. Родители относились к моему стремлению копить со снисходительной иронией и время от времени вносили в мой фонд несколько монеток. Так что в скорости в моей свиношке стало звякать. А один раз по какому-то случаю мне дали жёлтый бумажный рубль, и я, ликуя, затолкал в щель и его, предварительно сложив в несколько раз. В свинке рубль расправился и стал шуршать.

В начале Арбата, около Арбатской площади, в следующем после ресторана «Прага» доме находился магазин, где продавались агитплакаты, портреты и бюсты вождей, политические брошюры и ещё что-то в этом же роде. Там и теперь, кажется, продают предметы полиграфического производства, но в восьмидесятых годах агитпроп стал систематически вытесняться изданиями по искусству: альбомами, монографиями и открытками.

Непонятно, как это случилось в аристократической семье Раменских, но Кирилл очень тянулся к советским политическим аксессуарам. Он объяснил мне, что значит «красный уголок». По его, очевидно правильной, версии, этот «уголок» был чем-то вроде алтаря, где следовало собрать различные коммунистические предметы: бюст Ленина, портреты вождей, брошюры и пр. Так вот, одно наше намерение было накопить деньги для оборудования домашнего красного уголка. Тут уместно сказать, что в комнате Раменских и в комнатах их старых дам на виду икон не было.

Напротив полиграфического магазина был невысокий дом (теперь его нет), в котором была фотография и музыкальный магазин. В его витрине были выставлены балалайки, гитары, скрипки, медные и деревянные духовые инструменты, пионерские горны и разного размера барабаны. Вывешенные на них цены были очень высокими, и мы были достаточно разумными, чтобы понимать, что подобных денег нам в реальное время не накопить. Но среди музыкальных предметов в витрине был небольшой деревянный полированный брусок с лежащими рядом маленькими палочками. Мы с Кирюшей ласково называли этот брусок «гробиком» и догадывались, что это какой-то ударный инструмент. Он стоил несколько рублей, и мы разочли, что на него мы деньги накопить можем.

Третья наша мечта была совсем фантастической. Кирилл считал и меня убедил в том, что можно купить пулемёт и что накопить нужные для этого деньги — дело достижимое. Пулемёт Кирилл собирался исполь-

звать летом для борьбы с деревенскими мальчишками. Они были вечным предметом кирюшиных забот в дачные сезоны, которые семья Раменских проводила всегда в Краскове.

Из всех наших проектов осуществился только первый, самый дешёвый. В какой-то момент мы поняли, что ждать больше не можем и разбили наших свинок. Родители подкинули ещё немного, и мы с Кириллом пошли в политический магазин. Бюста Ленина в тот день не оказалось (всех распродали, а новых не завезли). Нам было невтерпёж, и мы купили гипсовый, покрытый бронзовой краской, бюстик Калинина сантиметров в пятнадцать размером. Мы приобрели также плакат с портретом Ворошилова и несколько тонких книжечек, одна из которых была биография Ленина. В магазине были ещё портреты других тогдашних вождей: Рыкова, Каменева, Зиновьева и малоизвестного в то время Сталина. Но в отличие от них, будничных, Ворошилов был героем, про него пели:

Братишка Ворошилов! С нами весь народ!
Приказ голов не вешать, а идти вперёд!

В нашем сознании он и Будённый были гораздо ближе к Ленину, чем все остальные.

Красный уголок мы создали в нашей комнате. Споров о месте размещения святынь не было. По-видимому, Кирюшины родители сумели как-то отговорить сына устраивать красный уголок у них. Мои родители против красного уголка нисколько не возражали. Более того, они пошли на серьёзную перестановку мебели. А именно, для размещения нашего красного уголка был выделен действительно один угол из четырёх. Этот угол был около окна, а от остальной комнаты его отгородили кося поставленным нашим огромным гардеробом — тем самым, в котором я когда-то прятался. Одной своей стороной гардероб плотно примыкал к стене, а другой — чуть не доходил до перпендикулярной стены (с окном), что позволяло нам с Кирюшей проникать в нашу пагоду и уединяться в ней.

Наше помещение имело в плане, таким образом, форму прямоугольного треугольника, в котором катетами были стены, а гипотенузой — гардероб. На одной из стен я смастерил полочку из одной дощечки, опиравшейся на два вбитых в стену больших гвоздя, и поддерживаемой в горизонтальном положении двумя верёвочными тяжами. Одним концом каждый тяж был привязан к гвоздю, вбитому в стенку, сантиметров на 30 выше полки, а другим — к гвоздику, вбитому в боковой торец самой полки.

На полочку мы поставили бюстик Калинина и положили купленную стопку брошюр. К обоям на стене булавками мы прикрепили портрет Ворошилова. Теперь мы с Кириллом часто забивались в наш красный уголок и сидели в нём (втащив туда два детских стульчика) в течение длительного времени, болтая о разных разностях, к Ленину, другим вождям и к революции отношения не имевших.

Осенью двадцать девятого меня отдали в немецкую детскую группу, в которой я проводил весь день. Кирюшу его родители никуда не отдавали. Возможно, из-за бедности. Наши сидения в красном уголке стали редкими. А в зиму тридцатого/тридцать первого года красный уголок был совершенно разрушен при следующих обстоятельствах.

С момента возникновения Филатовского дома и вплоть до упомянутой зимы его кровля выдерживала дождь, лёд и снег вполне исправно, и жильцы верхнего этажа чувствовали себя не менее защищёнными от этих стихий, чем жильцы других этажей. Однако в ту упомянутую выше зиму что-то

надломилось. Возможно, Филатова проводила регулярные профилактические работы с крышей, которые советская власть прекратила из-за обилия более важных дел. Может, кровля стала ржаветь, может, ещё что, но, продолжая выдерживать летние дожди, против льда и снега кровля стала совсем слаба.

При первом же небольшом подъёме температуры после мороза в декабре тридцатого, штукатурка нашего потолка стала в районе окна мокнуть. Сначала она просто отсырела и превратилась из белоснежной в грязно-серую. Потом с потолка начало капать, и мои родители подставляли под капли тазик, предназначенный для омовений частей тела и постирушек. Такой тазик водился в каждой семье, и вся ванная комната была уставлена весьма похожими друг на друга тазиками всех жильцов квартиры.

Стоявший на полу под капелью таз надо было раз в час—два выливать. А чтобы капли воды, падая в таз, не звенели (мрачнейшими были эти звуки, раздававшиеся с правильным интервалом в секунду), в таз клали половую тряпку: она заглушала невыносимые удары той клепсидры. Потом эту тряпку выжимали. Этот процесс продолжался несколько дней, мокрое пятно на потолке расползлось, нависая над всё большей и большей частью нашей комнаты. Кончился этот процесс драматично.

Я был дома один и играл в сырой комнате, стараясь не слушать капели. В какой-то момент я из комнаты выбежал — то ли в гости к тёте Кларе, то ли на кухню — поболтать со старушкой Елизаветой Александровной. И тут из нашей комнаты раздался грохот. Вбежав, я увидел, что треть комнаты под сырым пятном завалена обломками штукатурки, и что на всей части потолка над руинами штукатурки нет и обнажена дранка.

Возвратившиеся с работы родители были в ужасе — не столько от предстоящих работ по приведению комнаты и мебели в порядок, сколько от мысли, что я чуть было не оказался под глыбами штукатурки. Наш красный уголок погиб. Это был конец нашей материализованной любви к коммунистической идеологии: красный уголок мы восстанавливать не стали. Во-первых, катастрофа могла повториться, во-вторых, страсть к алтарю была вытеснена другими делами.

...С той поры течь в комнате не прекращалась вплоть до середины семидесятых годов, когда Филатовский дом был передан Министерству культуры и радикально перестроен...

Вскоре после смерти мужа Мария Константиновна Раменская выменяла свою комнату на какое-то — вероятно, более для неё подходящее — жильё в Садовниках. Наши регулярные встречи с Кириллом прекратились. Иногда он заходил ко мне, когда навещал своих бабушек, которые в Садовники не поехали и оставались в тридцать пятой.

За год до войны Елена Николаевна выиграла по госзайму 25 000 рублей и стала богатой и знаменитой. Как старухи прожили — и пережили ли — войну, я не знаю. Но в Москве их с конца сорок первого не было. Я это знаю точно. Об этом я расскажу в главе 10.

Как-то мы встретились с Кириллом года за два до войны. Нам было лет по шестнадцать. Я увлекался поэзией. Кирилл учился в военном артиллерийском училище, и его разговоры вертелись только около речений его командиров, нрава старшины и пр. Мы оказались друг к другу холодны. Летом сорок пятого мы столкнулись с Кириллом на улице. Он был уже полковником. «Самым молодым полковником во всей нашей армии» — с шутилой гордостью поведал он мне. Я же был богемно ориентированным и антисоветски настроенным студентом. Мы распрощались без сожаления, новых встреч не назначили, и их больше не было...

Самыми моими лучшими друзьями в нашем доме были мои сверстники из квартиры 20 — Эдя Колмановский и Лена Залманзон. Их семьи были гораздо более близкими — по разным параметрам — к нашей, чем семьи Смирновых и Раменских.

...С Эдей и Леной я впоследствии не терял тесной связи в течение всей жизни. О них, их родителях и родственниках я собираюсь рассказать подробно — и в этой, и в других главах Записок...

Эдины родители — Савелий Колмановский и Раиса Павловская — уроженцы Могилёва. Они познакомились ещё в родном городе в гимназические годы. Но поженились они значительно позже, когда каждый из них Могилёв покинул. В конце 1921 года Савелий поехал на некоторое время в Петроград. Там он встретился с молодыми людьми и девушками из Могилёва, которые, в отличие от большинства, поехали делать карьеру не в Москву, а в старую столицу.

Возможно, Рая и была причиной поездки Савелия в Петроград. Между Савелием и Раисой возник роман, который привёл к их браку. Отцом Раи был известный могилёвский доктор Наум Давыдович Павловский-Павловицкий. Вскоре доктор и члены его семьи свою фамилию слегка упростили и стали Павловскими.

Можно сказать, что Савелий и Рая, как и многие другие их родственники и друзья, как и мои родители, попали в общее течение евреев, устремившихся из провинции в города центральной России, особенно в столицу. Там был шанс получить работу, положение, жилище. На маленькую семью давали, как правило, одну комнату в коммунальной квартире, а на большую могли дать и больше.

Савелий и Раиса из Петрограда переехали в Москву и получили приглашение жить в родственной по Могилёву семье. Эта большая семья Колмановских получила четыре комнаты из шести в квартире 20 на пятом этаже нашего дома 35. В обосновавшуюся в Москве семью входили братья Давид и Александр, их сестра Маня и их отец Марк. Теперь к ним присоединялись Савелий и Рая. Жена Марка Этта скончалась в 1919 г. в Могилёве — ещё до переезда семьи в Москву.

Бабушка Этта была внучатой племянницей известного немецкого композитора Мендельсона, и в девичестве носила именно эту фамилию. Была у Марка ещё одна дочь — Соня. Но она в двадцатой квартире не жила.

Давид был большевиком с дореволюционным стажем подпольщика, и после установления советской власти занимал видные посты. Может, именно из-за видного положения Давида семья Колмановских получила в своё распоряжение сравнительно большую жилплощадь. В момент, когда Могилёв был под властью белых, Давида искали. По ошибке арестовали Александра и приговорили его к смерти. Несколько дней он просидел в камере смертников, и его спас только переход власти от белых к красным.

Семья Колмановских была очень разветвлённой, и с течением времени людям, носившим эту фамилию, не всегда удавалось точно установить степень своего родства. Но родство редко вызывало сомнение: прежде всего, в лицах даже незнакомых между собой Колмановских были общие черты, в частности, монголоподобные глаза с эпикантом; иногда выяснялось, что в семье одного и другого только что познакомившихся Колмановских есть общая легенда о каком-либо экстравагантном родственнике.

В Москву переехали многие из большевистских друзей Давида. Среди них был Лев Марьясин, который впоследствии одно время занимал пост Председателя Госбанка СССР. Другим могилёвским большевиком и другом

Давида был Яков Агрест. После установления в Могилёве советской власти Агрест стал крупным деятелем — председателем местной ВЧК.

Находясь в этой должности, Агрест конфисковал дом, принадлежавший доктору Павловицкому — отцу Раи. Этот большой дом доктор использовал в качестве доходного, и был конфискован Агрестом в порядке борьбы с нетрудовыми доходами и ещё потому, что в этом доме было сподручно разместить Горсовет или что-то в этом роде.

Доктор бросился в суд, но не найдя, естественно, правды в Могилёве, приехал с кассационной жалобой в Москву. По этому делу в Москву вызвали и Агреста, и конфликтующие стороны жили бок о бок в двадцатой квартире. Дом, конечно, доктору отсудить не удалось.

Через небольшое время после этого эпизода Агрест оставил свой пост в Могилёве и окончательно переехал в Москву, чтобы поступить на рабфак. Одновременно он, как и Марьясин, стал председателем — но не Госбанка, а всего лишь домкома, и как раз в доме 35 по Арбату.

Александр и Савелий были беспартийными, но, подобно многим молодым еврейским интеллигентам той поры, революции и советской власти сочувствовали — хотя бы потому, что новая власть уравнила евреев в гражданских правах с остальным населением страны.

Например, была ликвидирована черта оседлости, и они в числе других евреев смогли переехать в столицу и поступить в высшие учебные заведения. Савелий учился в Горном институте, Александр — на электротехническом факультете Московского высшего технического училища. Симпатии молодых Колмановских к советской власти подкреплялись давними большевистскими убеждениями их любимого и авторитетного брата Давида.

Но как ни старались дети Марка внушить отцу уважение к новой власти, как ни уличали, вслед за Марксом, капитализм в присвоении прибавочной стоимости, старик упрямо повторял на родном идиш, в котором сосуществуют немецкие и немного переиначенные древнееврейские слова: «Гановим унд газлоним!», что означает «Воры и разбойники!». Молодое поколение семьи и их друзья посмеивались над упрямым консерватором, не желавшим разглядеть в бурных революционных событиях высшую историческую истину. Они не подозревали, что к исторической истине Марк Колмановский был гораздо ближе, чем они.

Точнее, Марк выкрикивал более длинную фразу: «Гановим унд газлоним! Что им сделал старик Разинкин!?!». Разинкин был видным еврейским общественным деятелем, очень уважаемым еврейской общиной Могилёва. Вслед за своими детьми он тоже переехал в Москву. Но вскоре его арестовала ВЧК. Сыновья Разинкина тут же кинулись к братьям Колмановским искать путей спасения отца. Александр бросился к Марьясину, занимавшему высокое положение во власти. Марьясин, разумеется, Разинкина знал по Могилёву.

Уже наступала ночь, но Марьясин тут же позвонил другу Держинскому, сказал ему об аресте Разинкина и что он за благонадёжность арестованного ручается. Этого было достаточно, и Держинский пообещал, что Разинкина на утро выпустят. Однако Марьясин нравы своих дружков знал и боялся, что этой же ночью ещё до обещанного вмешательства Держинского Разинкина могут успеть расстрелять. Не мешкая, Марьясин поехал к Железному Феликсу домой и выцарапал из его чистых рук бумагу на освобождение несчастного земляка. С этой бумагой Марьясин на своей персональной машине въехал во двор ВЧК на Лу-

бянке (видимо, его удостоверение это позволяло). Он посадил в машину выданного ему под бумагу Дзержинского Разинкина и привёз его домой.

...Через много лет, осенью 1956-го года одному из сыновей Разинкина довелось странным образом отблагодарить Александра Колмановского, участвовавшего в спасении его отца. В эту осень Александр Маркович временно скончался, и возникли сложности с местом для могилы на Немецком кладбище. Сын старого Разинкина был гранильщиком, имел отношение к могильным плитам и другим кладбищенским делам. С его помощью место на кладбище для скончавшегося Александра было найдено...

Всё население двадцатой квартиры приняло Савелия и особенно Раю радушно. Больше всех, похоже, был рад появлению в доме молодой женщины старый Марк. Он надеялся, что она возьмёт в свои руки управление хозяйством, которое носило весьма богемный характер — в частности, из-за того, что у Колмановских постоянно останавливались, и порой надолго, многие земляки. Одни приезжали по конфликтным делам, другим хотелось нюхнуть столичной жизни, третьим хотелось в Москве зацепиться.

Марку нравилось, что Рая — из хорошей могилёвской еврейской семьи. Эта семья была довольно зажиточной, в отличие от семьи Колмановских, которая была тоже хорошей и всеми уважаемой, но бедной. Наум Павловский был врачом от Бога, хотя и со скромным образованием фельдшера. У него сформировалась в Могилёве обширная клиентура, которая его предпочитала дипломированным врачам. Пациенты и их семьи, всегда называвшие фельдшера «доктором Павловицким», неплохо и регулярно оплачивали его медицинскую деятельность.

...Память о нём сохранялась в городе долгое время после его переезда в тридцатые годы в Москву, на Арбат, в двадцатую квартиру. Во всяком случае, когда в шестидесятые годы Эдя ездил на гастроли в Могилёв, взяв с собой пожилую Раису Наумовну, выяснилось, что доктора Павловского кое-кто ещё помнил...

Рожать Рая уехала в родной Могилёв — под крыло отца и известных ему акушеров. Именно там родился 9 января 1923-го года Эдя. Вскоре молодые родители с младенцем вернулись в Москву. А ещё через два года Савелий умер от скарлатины. Он умер через несколько дней после шумного празднования дня рождения двухлетнего сына. Взяв на руки маленького Эдю, Савелий продемонстрировал гостям, как мальчик точно повторяет вслед за отцом несколько музыкальных фраз из «Интернационала». Довольный эффектом, Савелий сказал: «Увидите — он будет музыкантом». Другие, действительно, увидели. Он — нет...

Эдя лишился отца. Вся семья и, в первую очередь, Давид и Александр взяли на себя все материальные и бытовые заботы о вдове и сироте. Рая осталась жить в семье Колмановских. Давид и Александр («дядя Давид» и «дядя Саша») обеспечили Эде прекрасное воспитание и образование. Делали они это совершенно естественно, потому что и Раю, и Эдю очень любили. Любовь к Эде усугублялась ещё и тем, что собственных детей ни у одного из братьев не было.

...Давид и Александр сделали всё для того, чтобы заменить ребёнку отца. Опека над Раей и племянником, которую братья взяли на себя, косвенно сыграла и отрицательную роль: Рая, поглощённая целиком здоровьем и образованием сына и в молодые годы избавленная родными от забот о хлебе насущном, так и не удосужилась получить хоть какое-нибудь профессиональное образование. И часто, в непредвиденном тогда нелёгком будущем, этот пробел оборачивался серьёзными жизненными проблемами.

Впрочем, гимназия дала Раисе неплохое знание французского, и это помогло ей в трудные послевоенные моменты находить скромные временные частные заработки...

В Москву тянулись не только люди с образованием, дававшим перспективу сделать карьеру. Ехали по каким-то своим причинам и простолудины. Вслед за Колмановскими в Москву из Могилёва приехал упоминавшийся мной портной Хаим. Он был ровесником, соседом и товарищем детских игр Давида Колмановского. Некоторое время он прожил (вместе с со своим отцом) в неотапливаемой кладовке при кухне 20-й квартиры, шил на заказ и прилично зарабатывал. Потом он получил ту комнатку при кухне в 35-й квартире, в которой знал его я, и в которой он шил моему папе парадный костюм. В ответ на вопрос, сколько ему лет, Хаим неизменно отвечал: «Сколько Давидке», которого бесконечно уважал.

Хаим был со мной, маленьким мальчиком, очень приветлив, приглашал к себе и показывал мне, как он работает. Он был холост и, видимо, одинок. Его отца на моей памяти уже не было. Раиса Наумовна, смеясь, рассказывала своим, как она встретила Хаима на улице и стала расспрашивать его о его жизни. Она спросила, как он, одинокий мужчина, питается. «Да так, — отвечал Хаим, — ем что-нибудь молочное». А на вопрос Раисы Наумовны, что именно он ест, разъяснял: «Ну, как что? Хлеб, чай».

...Всю войну Хаим, которому было сорок с плюсом, провёл на фронте, взял Берлин и вернулся в свою комнатку при кухне...

В начале двадцатых женился Давид. Его женой стала Валентина Вагрина («Вава»), молодая актриса театра Вахтангова. Она в числе первых его актёров начинала там работать в те времена, когда театр был ещё студией. Вава была любимицей самого Евгения Вагратионовича. В двадцатых и тридцатых годах она играла главные молодые женские роли в знаменитых постановках театра: в «Принцессе Турандот», «Человеческой комедии», «На крови», «Гамлете», «Коварстве и Любви», «Много шума из ничего». Некоторые из этих ролей она делила с Цецилией Мансуровой.

Рая и Вава частенько, в отсутствие Давида, устраивались у окна первой большой комнаты квартиры, в которой жили Давид и Вава. Эта комната в 20-й была расположена точно так же, как наша в 24-й. Из её окна было удобно наблюдать за тем, что происходило в Большом Николопесковском переулке, куда выходил (и до сих пор выходит) боковой фасад театра со служебным подъездом. Любознательные молодые дамы фиксировали своё внимание на том, кто с кем из труппы выходит из этого подъезда вместе, куда кто направляется и пр. Эти события живо дамами обсуждались.

Давид, иногда заставлявший жену и Раю за непостижимым для его менталитета занятием, бывал недоволен и пугал их скорой высылкой из Москвы — за сплетни. Между прочим, мрачноватая шутка Давида была не беспочвенна: административная высылка из Москвы милицией практиковалась. Могли выслать за спекуляцию, за нарушение тишины в коммунальных квартирах и за многое подобное.

Я родился через полгода после рождения Эди. Наши матери, жившие друг от друга через этаж и растившие сходных младенцев, естественным образом познакомились. Момент начала нашего с Эдей во многом совместного жизненного пути ни в моей, ни в его памяти не отложился. Из высказываний старших принято считать, что в первый раз мы заинтересовались друг другом в двухлетнем плюс-минус возрасте, поднимаясь домой с мамами в лифте. Раиса Наумовна с Эдей вышли на пятом этаже, а мы с мамой поднялись до нашего седьмого.

К моменту, с которого моя память начала сохранять детали жизни Эди и его окружения, деда Марка в живых уже не было, а Маня вышла замуж и из двадцатой квартиры выехала. Первую большую комнату, выходящую в переднюю, занимали, как я уже сказал, Давид и Вава, во второй жила большая семья Залманзонов, состоявшая с Колмановскими в некотором родстве. В третьей и четвёртой комнатах (между ними была дверь, которой то пользовались, то нет) жили Раиса Наумовна и Эдя. В пятой комнате (по правой стороне коридора) жил Александр Маркович («дядя Саша»), а в комнате при кухне жила соседка Мария Абрамовна, никакой связи с семьёй Колмановских не имевшая.

...В начале тридцатых годов произошло событие, которому естественно было бы произойти раньше: Александр и Раиса поженились. Раиса была уже несколько лет вдовой, а Александр недавно развёлся. Для Эди этот брак его матери ничего особенно нового не принёс. Александр обожал Эдю всегда, заменял ему отца после смерти Савелия, и став Эдиным отчимом, оставался для мальчика, как и раньше, «дядей Сашей»...

Залманзоны тоже происходили из Могилёва. Глава семьи, Семён Наумович (дядя Сима), был врачом. Его жена — Дора Давыдовна («тётя Доля») — корректором в газетах. Их дочь Лена была нашей с Эдей ровесницей и подружкой. С Залманзонами жили ещё двое: Поля — незамужняя сестра тёти Доли и престарелая мать Семёна Наумовича. Это была крохотная старушечка, которая своего необычайно грузного, лысого, очкастого и длинноносого сына считала красавцем и часто говаривала: «Сима красив: у него английская головка». Никто не понимал смысла второй части этого панегирика, но такое крайнее выражение материнской любви всех забавляло и трогало. Эта старушка скончалась в конце двадцатых или в начале тридцатых.

У тёти Доли была ещё одна сестра — Слава, зубной врач. Она была замужем за Яковом, братом Раисы Наумовны, тоже врачом — прекрасным специалистом-кожником. Таким образом, Даня, сын Славы и Якова, приходился двоюродным братом и Эде, и Лене. Даня (Давид) был на год старше нас троих. Но ни эта разница в возрасте, ни то, что семья Якова Наумовича жила не в Москве, а в Лосинке под Москвой, не мешали нашей дружбе ни в ранние детские, ни в более поздние годы.

Когда нам было по шесть лет, Эдю, Лену и меня отдали в частный детский сад, или, как тогда говорили, в детскую группу. В группе было не более десяти детей. Мы проводили там целый день, ели, спали днём. Мы гуляли, играли и в этом процессе учились немецкому языку. Родители забирали нас часов в пять-шесть вечера. Я не помню, готовили ли для нас общую пищу или каждый ребёнок ел то, что приносил с собой. Я, разумеется, не знал, сколько за меня платили родители. Теперь я понимаю, что для них, людей не слишком достаточных, плата была посильной.

Группа обычно занималась в двух больших комнатах её руководительницы Ирины Фёдоровны, находившихся в коммунальной квартире большого серого дома номер 43 в Староконюшенном переулке. Дом этот находится напротив известного деревянного особняка Пороховщикова — недалеко от угла с Арбатом.

Иногда занятия переносились в квартиры родителей детей. Такими подходящими по размеру квартирами с достаточным количеством диванов и кроватей, чтобы разместить детей во время их дневного сна, владели родители лишь двоих — троих детей из группы. Я вспоминаю, что как-то день мы провели в двадцатой квартире у Эди. Возможно, это было не единожды.

Часто мы проводили день в очень богатой (отдельной!) квартире в особняке в Большом Афанасьевском переулке, которую занимала семья довольно бесцветного воспитанника нашей группы по имени Фред. Отдельная квартира, да ещё в особняке, была для нас непривычной роскошью. Возможно, отец Фреда был профессором-медиком. Меня поразил тогда парадный зал в доме Фреда, который представлялся нашей группе для занятий. В этом зале была настоящая сцена — небольшое возвышение в торце против окна — которая задёргивалась театральным занавесом! Ирина Фёдоровна использовала эту особенность богатой квартиры и разыгрывала с нами какие-то сценки из сказок братьев Гримм.

Мы гуляли до обеда в одном из малых садов, прилегающих к Арбату. Это был либо упомянутые Церковный садик или Собачья площадка, либо Пятачок. Этот скверик, обнесённый, как и Собачья Площадка, круглой оградой, находится до сих пор в Спасопесковском переулке на площади, образованной перекрёстком с Карманицким и Трубниковским переулками. На него выходит «Спасохауз» — резиденция посла США в России. А тогда говорили, что в этом доме живут большевистские чиновники-дипломаты Красин и (или) Карахан. Иногда Ирина Фёдоровна выбирала для прогулки скверик при одном из больших домов в арбатских переулках.

Немецкий дух реял над группой. Как я уже сказал, мы читали и разыгрывали сказки братьев Гримм. Во время прогулок мы под руководством Ирины Фёдоровны играли в подвижные игры. Одна называлась «Eile mit Weile» (потом я встречался с этой игрой под русским именем «Тише едешь — дальше будешь»). Другая — «Штандер».

Каждый день после дневного сна к нам приходила специальная учительница немецкого языка Эльза Мартыновна. В эту вторую, двух- или трёхчасовую часть дня все игры и разговоры допускались только на немецком. Я особенно отчётливо запомнил лото с изображениями зверей на немецких цифр на карточках и с немецкими подписями на них. Писать мы ничего не писали, но немного читали, причём попадались истории, написанные готическим шрифтом, который в дальнейших моих занятиях немецким не употреблялся никогда. Разве только в названиях газет и на вывесках в немецких городах.

В те годы детей в детских группах и в школе учили преимущественно немецкому. Французский и английский были совсем не в моде. Возможно, это объясняется ориентацией тогдашней коминтерновской идеологии и политики на немецкий пролетариат как на самый перспективный в смысле пробивания новых брешей в капиталистическом мире. Национал-социализм, как определяющее политическое движение, возник (а лучше сказать, был распознан) позже. А тогда, в конце двадцатых и в самом начале тридцатых, наци советскими властями в серьёзный расчёт не принимались.

...Полтора-два года в немецкой группе дали Эде, Лене и мне хорошую языковую базу. Эдя никогда языками специально не интересовался, но полученные в раннем детстве основы немецкого, дополненные в шестом—восьмом классе школы превосходной учительницей Е. М. Шаховской, и уж совсем немного — в консерватории, позволяли ему ориентироваться в этом языке и употреблять его при случае с успехом в течение всей жизни...

Давид Колмановский был советским ответработником высокого полёта. Он руководил «Союзпромэкспортом» — крупным учреждением в системе государственной экспортной торговли. Думаю, он отличался от большин-

ства высших советских начальников уровнем культуры. Он часто по долгу службы бывал за границей и привозил для всех членов семьи хорошие вещи, в Советском Союзе бывшие тогда в редкость.

Году в тридцатом правительство щедро одарило Давида второй комнатой. Эта комната была в другом доме. В результате каких-то сложных обменов семья Залманзонов переехала в очень большую комнату в квартире 29, а Давид получил их комнату в двадцатой. Таким образом, у Давида с Вавой образовались в двадцатой две соседние комнаты, вполне, по тогдашним понятиям, соответствовавшие высокому положению Давида и артистической популярности Вавы.

Квартира 20 соседствовала по чёрному ходу с 31-й. В ней знакомых не было, но зато под ней, на четвёртом этаже, был чёрный ход той самой квартиры 29, в которой поселились Залманзоны. Между 29-й квартирой с одной стороны и квартирами 20 и 24 — с другой шло почти непрерывающееся общение.

Давид привозил Эде из заграницы красивую одежду и разные вещички. Например, коллекционные почтовые марки и альбомы для их расклеивания. Эти марки сыграли в моей жизни роль первого — и очень сильного — соблазна. Я в мои шесть—семь лет безумно полюбил (возможно, из зависти к Эде) филателию. Мои родители эту мою любовь поддержали, купили мне альбом и тетрадки для наклейки марок, а папа время от времени ездил со мной в филателистический магазинчик в Охотном ряду и позволял мне купить очередную (скромную!) порцию марок.

Филателистический магазин был расположен в одном из маленьких домов, находившихся на том отрезке улицы, которую впоследствии занял «Дом Совнаркома». В нём размещался Госплан СССР, а теперь — Государственная Дума России. От нашего дома на Арбате до этого магазина можно было без пересадки доехать за несколько минут на трамваях маршрутов 4, 31, 15 и, 17.

Страсть к маркам и простота пути до вожделенного магазина подтолкнули меня на преступление. Семейные деньги хранились у нас в одном из ящичков комода. Если я, тайком заглянув в это хранилище обнаруживал, что среди денег были мелкие купюры в один, три или пять рублей, то я похищал несколько таких и отправлялся самостоятельно в Охотный ряд, где все украденные деньги тратил.

Система продажи марок в этом магазинчике была такая. Один продавец обслуживал одновременно двух—трёх покупателей. Очередей на моей памяти там не было. Для каждого покупателя продавец выделял конверт и исконный русский нехитрый калькулятор — счёты.

Продавец подавал покупателю товар — марки, расклеенные по альбому. Покупатель листал альбомы и указывал продавцу на марку, которую хочет купить. Продавец отцеплял указанную марку специальным пинцетом и перекладывал её в конверт покупателя. Одновременно на счётах к уже накопленной стоимости покупки добавлялась цена купленной марки. Покупатель мог просить всё новые альбомы, но наконец говорил, что — всё. Он уплачивал сумму, накопившуюся на счётах, и получал свой конвертик.

Я положение костяшек на моих счётах из вида не выпускал и, отбирая марки, мог всё время сопоставлять стоимость марок, положенных продавцом в мой конверт, с моими сегодняшними деньгами. Хотя мне было всего лет семь—восемь, — я в суть дела быстро входил и уже был довольно грамотным филателистом. Продавцы обращались со мною вполне уважительно. Только как-то раз, когда на счётах возникла довольно боль-

шая сумма, а я, будучи в тот раз при деньгах, продолжал просматривать альбомы и наращивать свою покупку, продавец довольно громко, не обращая ни к кому, сказал: «И откуда они только деньги берут?». Я помертвел от страха, превозмог себя и сдавленным голосом пробормотал: «Копим». Несмотря на появившееся чувство опасности, я и после неприятного эпизода свой промысел продолжал.

Поначалу родители не замечали наносимого мной урона, но моя наглость росла, и родители её последствия заметили и забеспокоились. Они стали подозревать домработниц и полотёров. Эти разговоры я слышал, и они меня беспокоили, однако таиться и воровать я продолжал. Но как-то я вошёл в комнату в момент, когда мама сидела перед открытым ящиком комода, снова и снова пересчитывая деньги. У неё был очень печальный вид. Я не выдержал и рассказал ей всё.

Мама была потрясена. Но она оценила моё раскаяние, меня никак не наказала и только взяла с меня обещание больше не красть.

В тот же период, когда я таскал у мамы деньги, я совершал ещё и другое преступление, на которое меня толкнула та же страсть. Иногда, просматривая альбомы с Эдиной коллекцией, я тайком сдирал оттуда ту или иную марку и прятал её за пазуху. Это воровство я прекратил одновременно с концом моих краж родительских денег. Эде о моих неблагоприятных поступках я рассказал только по прошествии многих лет.

Давид Колмановский имел право на персональную машину. Она часто дежурила у нашего подъезда в Кривоарбатском и поджидала своего хозяина. Эти дежурства начались задолго до появления отечественных «Эмок». Поэтому за Давидом закреплялся то «Паккард», то «Бьюик», то «Штейер», то «Мерседес-Бенц». После одной из удачных внешнеторговых операции его премировал сам Сталин. Премия состояла в том, что персональный автомобиль закреплялся за Давидом навечно. Сталин велел прислать Давиду каталог машин, из которого тот мог выбрать машину по вкусу. Давид выбрал «Линкольн» — шикарный длинный лимузин с серебристой фигуркой летящей вперёд собаки на радиаторе. Сталинское «навечно» оказалось весьма кратковременным...

На моей памяти все эти машины обслуживались двумя персональными шофёрами. Дети из Кривоарбатского переулка называли их «дядя Егоров» и «дядя Быстров». Эти шофёры были с нами, детьми, в дружбе, позволяли нам набиваться в машину, посидеть за рулём, гуднуть, а иногда — если понимали, что в ближайшие пятнадцать минут выход хозяина невозможен — то и катали нас по близлежащим переулкам.

Александр Колмановский работал не на столь высоких постах, как Давид, но и он был «ответственным работником» Госплана.

У Эди были прекрасные заграничные игрушки. Я помню немецкие металлические конструкторы «Мекано» с разноцветными — синими, красными, зелёными, жёлтыми — пластинами, плоскими и угловыми полосками и кронштейнами. В этих металлических деталях были правильными рядами просверлены дырочки для болтов с гайками, которыми эти детали скреплялись, и для пропускания через них стальных осей разной длины, на которые можно было надевать и закреплять колёса. Оси были светлого серебристого цвета, а болтики с гайками и колёса были золотыми. Колёсики были нескольких размеров. Мы часами собирали тележки, дома, подъёмные краны и прочие прелести.

Как-то — это было в один из солнечных дней конца апреля 1933-го года — мы сидели с Эдей на полу в одной из их комнат и собирали из

Мекано что-то очень замысловатое. По комнате иногда молча проходила домработница Васса. Раздался звонок во входную дверь. Эдя (он, может, знал, кто звонил) опрометью бросился открывать. Побежал в переднюю и я. Открылась дверь, и вошли Раиса Наумовна и Александр Маркович. На руках одного из них был конверт с младенцем. Эдя кинулся к матери.

Когда дуэта приветствий немного стихла, Эдя торопливо шепнул мне, что это из роддома принесли его новорождённую сестричку. Я тогда мало понимал в вопросе, и для меня рождение у Раисы Наумовны этого ребёнка было совершенной неожиданностью. Кто-то из взрослых мягко сказал мне, чтоб сейчас я шёл домой, а приходил завтра. Так я и поступил.

...Эта девочка Маша стала расти, хорошеть и умнеть на моих глазах. Через двадцать четыре года мы стали с ней мужем и женой...

Закончу, однако, тему о конструкторах. Тогда же, в начале тридцатых, начали появляться аналогичные конструкторы советского производства. Но, как и следовало из их пролетарского происхождения, они были гораздо беднее немецких образцов, и детали в них были мрачного чёрного цвета. Да и назывались они вовсе не так, как волшебный Мекано, а буднично: «Металлический конструктор номер 2 (или 3)». Я помню, как мама покупала мне эти тусклые, в шероховатой упаковке, но всё равно привлекательные конструкторы.

В те времена представления о материальном достатке и о социальном положении семьи базировались, в первую очередь, на её жилищном положении, а именно на том, сколько занимала семья комнат в коммунальной квартире, и какого они были размера. Мы сызмалства разбирались в квадратных метрах. В отдельных квартирах жили только какие-то уникальные семьи. Тогда среди знакомых мне семей таких не было вообще. Но в школьные годы в поле моего зрения они стали в очень малых количествах появляться, оставаясь по-прежнему исключением.

В этой квартирной иерархии моя семья занимала невысокое место: у нас была всего одна комната, площадью 22 кв. м на троих. И всё же, это было сравнительно неплохо. Семья Ерыкаловых, жившая через стенку в чуть большей комнате, состояла из четырёх человек... Несмотря на скромное жилищное положение, бедняками, по тогдашним меркам, мы вовсе не были.

Эдина семья с её пятью комнатами (хоть и в коммунальной квартире) на пятерых, а с рождением Маши — на шестерых, занимала в той иерархии значительно более высокое место, чем наша. Да и по другим меркам эта семья была гораздо богаче нашей. Их домработница Васса, в отличие от наших, менявшихся весьма часто, была фактически постоянным членом семьи. Раиса Наумовна привезла её с собой из Могилёва вместе с новорождённым Эдей, и Васса ему была как Арина Родионовна Пушкину. В каком месте квартиры она спала, я сейчас не соображу, но уж не в прихожей, как наши домработницы. В какой-то момент она получила комнату в 18-й квартире и зажила там собственной жизнью.

У Колмановских была собачка — карликовый пинчер Рикки. Она была крошечная — гораздо ниже моего колена, с острой мордочкой, чёрного цвета с тёмно-жёлтыми подпалинами. Постоянное место Рикки было в кухне. Характер у неё был очень злобный. Когда я звонил с площадки в дверь двадцатой квартиры, то немедленно раздавался отчаянный визгливый лай Рикки, бросавшейся из кухни в переднюю. Неизбежной встречи с этим маленьким злобным дьяволом я ждал без всякого удовольствия. Рикки продолжала заливать до хрипоты пока не открывали дверь. Но и после

этого собачонка не унималась: прыгала около меня, приседала и продолжала оглушительно и неумолимо лаять. Отпрыгав и отшумев минуту, Рикки вдруг затихала и трусцой возвращалась в кухню, изредка оглядываясь на меня и издавая негромкое ворчание. Меня она, правда, ни разу не укусила.

Один раз даже вышел такой случай. На кухне раздался лай и визг Рикки, маленькая Маша прибежала из кухни в комнаты с криком: «Укусила! Укусила!». Взрослые, помертвев, стали спрашивать: «Что, Машенька, Рикки тебя укусила?!», на что Машенька, успокаиваясь, отвечала: «Нет — я её». На вопрос озадаченных взрослых: «За что!» Маша деловито и спокойно ответила: «За шпину». Оказалось — за то, что Рикки выхватила из Машенькиных рук шоколадку.

Значительность поста Давида, персональная машина перед подъездом, слава тёти Вавы как блистательной актрисы театра Вахтангова и замечательной красавицы, преданная Васса, красивые костюмчики, прекрасные заграничные игрушки — всё это делало Эдю чем-то вроде маленького лорда Фаунтлероя. Из всех его разговоров было понятно, что текущие жизненные трудности ему неизвестны. Тем не менее, он располагал к себе не столько своей выдающейся коллекцией почтовых марок и наборами немецких конструкторов «Мекано», сколько весёлым шаловливым характером, молодцеватой внешностью и неизменным дружелюбием. Я не помню ни одной ссоры с ним.

Эдя рано проник во внутреннюю театральную жизнь, бывал на репетициях и многократно посещал спектакли. Особенно часто он бывал на «Принцессе Турандот», в которой заглавную роль Вава играла в очередь с Ц. Мансуровой. Знаменитые маски заметили Эдю в зрительном зале (очевидно, они знали, что это Вавин племянник) и в ходе импровизаций, вставявшихся в те годы в спектакль, вызывали его на сцену (впрочем, конечно, не всегда его). Выдернутого из зрительного зала мальчика персонажи пьесы вовлекали в свою игру. Происходило это, к примеру, так.

Тарталья встречает (всё это — на фоне закрытого занавеса, между картинами спектакля) нагруженного авоськами Панталоне.

— Панталоне, откуда ты идёшь?

— Я, Тарталья, иду с колхозного рынка.

— А что ты там купил?

— Я там купил лук и апельсины (последнее неизменно вызывало веселье публики, ибо в те годы купить апельсины на рынке было совершенно невероятно, и странно, что чуткие и суровые власти такие двусмысленные хиханьки да хаханьки над колхозным рынком допускали).

— А что ты будешь с этими апельсинами делать?

— Да вот я вижу — там в пятом ряду сидит очень хороший мальчик, который очень любит апельсины.

После этого Панталоне шёл в зал за мальчиком, вёл его на сцену, и дурашливая реприза продолжалась уже с участием обалделого или уже подготовленного к роли мальчика.

Часто по вечерам Эдя из окна своей комнаты выжидал момента, когда в окнах фойе театра Вахтангова зажигались люстры. Это означало, что начался антракт. Эдя без пальто сбегал вниз и вместе со зрителями, выходящими к подъезду театра покурить и подышать свежим воздухом и возвращавшимися назад, проходил в театр. Поэтому содержание

и особенности постановки второго и третьего актов многих спектаклей он знал лучше, чем первого. Эдины рассказы о театре и о его участии в театральном процессе делали знакомство с ним интересным и лестным.

Эдина музыкальная одарённость нами, малыши детьми, тогда не могла быть оценена. Он «занимался музыкой», как многие дети. Мне казалось, что необходимость играть на пианино настигает тех и только тех детей, в доме которых этот инструмент имеется, и был очень рад, что у нас его не было. Но кое-что Эдю от других детей, которых родители учили музыке, отличало: он на свои занятия не жаловался, объектом родительского самодурства себя не считал, и, наоборот, отказывался от многих игр и прогулок из-за того, что ему ещё надо несколько часов просидеть за инструментом или над нотной тетрадкой.

Его первой учительницей музыки была Михалина Захаровна, фамилии которой я не знаю. Она подготовила его к последующему поступлению в Гнесинскую детскую музыкальную школу, находившуюся на Собачьей площадке. Эдя попал в ученики к Ольге Фабиановне Гнесиной.

В семье к Эдиным музыкальным занятиям относились очень внимательно. Его серьёзность и добросовестность вызвали уважение, — иногда окрашенное в юмористический преувеличенно-почтительный тон. Так, для сочинённого шестилетним Эдей вальса Давид и Саша предложили превосходное звучное название «Вальс-плагиат», которое Эдей было с удовольствием принято. Чуть позже Яша — Эдин дядя с материнской стороны — купил у Эди за старый будильник и три рубля право на использование всех его будущих сочинений.

Книги играли в нашей жизни огромную роль. Кое-какие книжки, которые мне в мои ранние поры по большей части читали вслух взрослые, я упоминал в предыдущей главе. Потом я и мои друзья стали читать сами, и круг нашего чтения расширялся. Ещё до школы мы успели прочитать некоторый комплект детской переводной литературы, почти стандартный в русской интеллигентной среде.

Мы знали сказки Братьев Grimm (многие — по-немецки), сказки Шарля Перро и многие сказки Андерсена. Читали мы превосходную повесть «Приключения доисторического мальчика» французского писателя Рони-старшего и «Маленький оборвыш» англичанина Гринвуда. Мы упивались Марком Твенем. «Том Сойер», «Геккельбери Финн» и «Принц и Нищий» приблизили к нам детей других стран и эпох. В эти дошкольные времена мы уже начали читать Диккенса — «Большие ожидания» и «Оливер Твист».

Читали мы в те годы и немного позже изрядную русскую советскую детскую прозу: Житков, Колбасев, Виталий Бианки, Пришвин, Гайдар. Тут стоит сказать, что каждый период жизни моих сверстников отмечался небольшим количеством «знаковых», как теперь говорят, книг.

Незадолго до поступления в школу знаковой книгой в нашей компании стала «Школа» Гайдара. Эта повесть восхищала нас революционной героикой, связывающей наше глубинное сознание с ежедневной пропагандой. Мы испытывали гордость от того, что мы живём в самой счастливой стране в самое счастливое время.

Другой знаковой книгой были «Три толстяка» Ю. Олеши. Эта феерическая история тоже культивировала в нас ненависть к богачам и толстякам и любовь к простому народу и к стоявшим за него революционерам. Но Олеша, в отличие от Гайдара, выводил нас за пределы нашей страны и эпохи и провозглашал родные нам идеи вечными, вездесущими и всемогущими. Мы понимали, что книга написана в жанре сказки.

Имена некоторых персонажей — Лапитуп, Раздватрис, Суок — были явно гротескными или фантастическими. Но в других — Гаспар Арнери, Просперо, Тутти, тётушка Ганимед — звучали корни европейских языков, и это делало всю историю не совсем эфемерной.

Мы, шести—семилетние дети, прекрасно чувствовали блистательную образность и юмор автора, его мастерство в описании характеров и ситуаций. В нашем повседневном общении друг с другом мы то и дело вставляли в разговор реплики героев («Мыши любят мармелад, а негры любят яичницу» или «Запомните этот день, запомните этот час!»), поправляли собеседника, если он допускал отсебятину. В общем, сюжет книги мы воспринимали как библейский, но ещё — мы его смаковали. Моя следующая встреча с Олешей состоялась, когда мне было лет четырнадцать. Но того чудесного ощущения безапелляционной правды взрослый Олеша мне уже не принёс.

Теперь — некоторые дополнительные сведения об Эдиной маме — «тёте Рае» — и о родне с её стороны. Эта родня занимала много места в Эдиной жизни. Каким-то образом — и тогда, и особенно, позже — соприкасался с ней и я. У Раи было три старших брата: уже упомянутый Яков (дядя Яша), Ефим и Михаил. Братья были погодками, а Рая была моложе их на десять лет.

Яков Наумович был врачом и, кажется, успел принять участие в первой мировой войне. Первые годы после Гражданской войны он жил со своей женой Славой и сыном Давидом (Даней) в Нижнем Новгороде, а потом переехал в Лосинку под Москвой и обосновался в довольно жалкой квартирке в дряхлом деревянном доме. Там эта семья жила вплоть до шестидесятых.

Эдя очень дружил с Даней. Они часто встречались — и в Москве, и в Лосинке. Став постарше, Эдя ездил в Лосинку самостоятельно. Дружил с Даней и я. Судьба этой семьи из Лосинки, тесно переплетавшаяся с Эдиной жизнью, очень примечательна, и я к ней буду ещё возвращаться...

Дядя Яша имел аристократическую интеллигентную еврейскую внешность. Он был высок, худощав, немногословен, и с его носом срослись очки или пенсне. У дяди Яши было несколько хобби, что по тем временам выглядело экстравагантно. Всё вертелось вокруг коллекционирования всякой всячины. Он собирал и восстанавливал старинные часы, фарфоровую посуду, фотоаппараты. В его доме круглые сутки и почти без перерыва раздавался бой то одних, то других часов, ходивших не совсем точно. Фотоаппараты дядя Яша собирал не только как коллекционер, но и как очень активный фотограф-любитель, что так же встречалось тогда не часто. Любил он и животных. В доме всегда жили собаки и кошки. В условиях почти сельской местности это последнее увлечение было вполне уместным.

...Двое других братьев Раисы — Ефим и Михаил — к началу двадцатых годов оказались за рубежом.

Ефим — потому что жил в Литве, получившей после революции самостоятельность. В молодые годы, вскоре после женитьбы и рождения сына, он заболел прогрессирующим заболеванием мозга. Его жена Рита увезла больного мужа в Европу и помещала в разные клиники, а сама снимала для себя квартиру поблизости.

В одной из таких клиник, во Франции, Риту и Ефима застала вторая мировая война. Персонал не только сумел скрыть еврейское происхождение Ефима, но и дал тайное прибежище его жене. Ефим умер вскоре после

войны от своей болезни, а его жена Рита долгое время продолжала жить в Париже.

Двоюродный брат Эди Эдгар, сын Ефима и Риты, после отъезда в Европу больного отца и сопровождавшей его матери оставался в Литве. Со своими родственниками в Москве он познакомился в тридцатые годы, приехав в Москву в качестве интуриста. После окончания гимназии, Эдгар поступил в медицинский колледж в Англии. Весной сорокового года он получил от литовских властей повестку с вызовом на прохождение краткосрочных военных сборов и вернулся в Литву лишь (так он думал) на время этих сборов.

Но тут Литва оказалась оккупированной советской армией и вскоре присоединённой к СССР. Путь в Англию оказался отрезанным. Потом началась война. Отца Эдгар больше не увидел, а с матерью оказался разлучённым. Тогда казалось — навсегда. Но оказалось, что лишь на долгие годы.

По счастью, Эдгар не попал в число литовцев, депортированных советской властью в Сибирь. Военная часть литовской армии, в которой Эдгар проходил сборы, была включена в состав Красной армии в качестве «Литовской дивизии». С началом Отечественной войны Эдгар стал служить в медсанчасти этой дивизии, воевавшей на одном из Белорусских фронтов. Он прошёл войну, вернулся в Вильнюс и вскоре женился на Фире Амстердамской, перенёсшей еврейское гетто и лагерь уничтожения евреев. Её освободила Красная Армия в 1945 г.

Эдя был моложе Эдгара на пять лет. До войны он видется с иностранцем Эдгаром не мог и только знал о его существовании. Взрослые это заграничное родство тщательно скрывали. Обнаружив после войны, что он и его кузен — граждане одного государства и имеют теперь возможность видаться, Эдя стал поддерживать с Эдгаром, его женой и сыном близкие родственные отношения. Уже будучи известным композитором и находясь в приятельских отношениях с тогдашним командующим прибалтийским военным округом генералом Алтуниным, Эдя всегда искал повод побывать в Литве, встречаясь с генералом и с Эдгаром. Побывал в гостях у Эдгара с Фирой в Вильнюсе в конце шестидесятых и я — воспользовавшись проходившей в Тракае научной конференцией.

К Эдгару в Литву Эдя убежал, когда в хрущёвские и брежневские времена возникала угроза, что его собираются привлечь к подписанию очередного публичного заявления против неугодного властям деятеля науки или культуры. Такие заявления организовывали сами власти, стараясь заполучить под отвратительные тексты подписи популярных людей.

В шестидесятые годы получила возможность наезжать в Москву Рита. Для встречи с ней Эдгар с Фирой и их сыном приезжали из Вильнюса. Они останавливались у Раисы Наумовны в 20-й квартире, и главные встречи проходили там. В них участвовали и мы с Машей.

Эдгар мечтал уехать из Советского Союза. В начале семидесятых возник тонкий ручеёк евреев, который выпускали в Израиль. Но получить разрешение было в те годы очень трудно. Чтобы увеличить шансы Эдгара на разрешение эмигрировать, жившая во Франции его мать Рита самоотверженно — уже в преклонном возрасте — покинула обожаемую ею Францию и переехала в Израиль.

В 1972-м году Эдгар и его семья эмигрировали. Сначала они жили в Израиле и соединились с Ритой. Она прожила до глубокой старости и умерла в конце семидесятых годов. Сын Эдгара и Фиры Боря делал хорошую карьеру врача в Израиле, потом поехал на стажировку в Штаты

и там остался. Он стал очень известным хирургом. Эдгар и Фира переехали к сыну. Оказавшись в Штатах, Боря свою фамилию сменил. Он перестал быть Павловским (на русский манер) и Paulauskas (на литовский). Вместо всего этого он стал «Пол» (Paul) — на американский. Года за четыре до своей кончины Эдя побывал в гостях у Эдгара в маленьком городе Страудсбурге в штате Пенсильвания. Именно там расположена клиника, руководимая Борей... Бывали (по очереди) в начале девяностых в гостях у Эдгара Маша и я. В середине девяностых Эдгар и Фира бывали в гостях и у нас с Машей в Израиле. Мы поддерживаем с ним регулярную родственную связь по телефону.

Третий брат Раисы Наумовны Михаил был, как и Давид, революционером, но не большевиком, а эсером. В какой-то момент (это было, очевидно, вскоре после революции девятьсот пятого года) он и его невеста Лиза были арестованы, осуждены и сосланы в Сибирь, где и поженились. В 1911-м году молодая чета из Сибири бежала. В те времена побег политического ссыльного организовать было не очень сложно. Конечно, это стоило немалых денег. Отец Миши — «доктор Павловицкий» — достал в Могилёве чужие заграничные паспорта, как-то приспособив их на имя Миши и Лизы (а может, они и выехали из России под чужими именами; ведь тогда фотографий в паспорта не вклеивали), позвал к себе знакомого переплётчика, который вплёл эти паспорта вместе с крупной суммой денег в подкладку скрипичного футляра. Скрипка была послана Мише. Кстати, Миша был недурным скрипачом.

Лиза в момент побега была беременна. Однако молодые супруги-беглецы сумели проделать, в соответствии с планом побега, часть пути в несколько сот вёрст верхом на лошадях. Затем (нелегально!) они проехали через всю Россию в западные губернии, где им была оказана родными и друзьями дополнительная поддержка. Побывав немного с родными, они воспользовались своими подложными документами и настоящими деньгами и уехали через Швецию во Францию. Там вскоре родилась их дочь Елена, а через три—четыре года — сын Гриша. Во Франции Миша завершил своё высшее инженерное образование и стал крупным специалистом в области телефонной техники, а Лиза получила диплом врача.

После Февральской революции Миша, оставив жену и детей во Франции, ринулся в Россию. После Октябрьской он понял, что с новой властью ему не уживаться. Он оказался в армии Колчака и после её поражения снова бежал из Сибири — на этот раз через Манчжурию. Возможно, именно тогда началось увлечение Миши китаистикой. Впоследствии он стал известным коллекционером и автором трудов в этой области. Затем Миша вернулся во Францию. В этой стране и в Китае, к которому его всегда тянуло, он (до второй мировой) осуществил ряд прибыльных технических проектов, разбогател и переселился в Швейцарию.

Тем временем, в начале двадцатых, у них с Лизой пошли нелады, и Лиза вернулась в Россию с Еленой и Гришей — двоюродными Эдиными сестрой и братом. Несмотря на сомнительное (с точки зрения официальной коммунистической идеологии) революционное прошлое Лизы, репрессии её миновали. Она активно работала в своей медицинской профессии и дожила до глубокой старости.

Жизнь Гриши закончилась на фронтах Великой Отечественной. Дети Елены и Гриши — очень близкие нам с Машей люди.

Регулярной связи Миши с его московской сестрой Раей не было по естественным причинам. Во время войны, когда Раиса Наумовна жила

в Свердловске, и вся семья голодала, им неоценимую помощь оказали продуктовые посылки, которые Миша, живший в годы войны в Штатах, переправлял сестре через Красный Крест.

У Миши появилась вторая жена Таисия. Если первая, Лиза, возникла, разделяя его судьбу революционера, то вторая — разделила его судьбу эмигранта. Она была из русских дворян, унёсших ноги из России после Октября.

В шестидесятые «свободные» годы переписка между Раисой Наумовой и Мишей возобновилась. Кстати, в этой переписки выяснилось, что из полусотни посылок, организованных Мишей в годы войны, до Раи дошло только шесть. В Москве и в Вильнюсе у Эдгара в те годы побывала его мать Рита. Но Миша от поездки в Россию уклонялся, боясь, несмотря на своё швейцарское гражданство, репрессий за прошлые свои связи с эсерами и с белым движением. Так что ни свою дочь Лену, ни внучек — дочерей Лены и Гриши, ни уже появившихся правнуков Миша не увидел.

После смерти Миши (в семидесятых) в Москву в гости приезжала Таисия, и вся семья опасалась её возможной встречи с Лизой. Этого избежать удалось. Впрочем, прошло ещё несколько лет, и обе они умерли...

После столь длинного отступления продолжу рассказ о нашем доме номер 35 в годы моего детства. В двенадцатой квартире, находившейся на первом этаже нашего подъезда, жила большая семья Трайниных и Певзнеров. Там было трое мальчиков, примерно моего возраста: родные братья Изя и «Дуся-маленький» Певзнеры и их двоюродный брат «Дуся-большой» Трайнин. Именно с ними я проводил время в Кривоарбатском переулке и с ними забирался в машину дяди Давида.

И вот весной тридцать второго года к ним приехали их родственники, жившие в Германии и уехавшие оттуда из-за страха перед возможным приходом Гитлера к власти. В этой семье была наша сверстница Лиза. Она по-русски не говорила, но нашего с Эдей немецкого хватало, чтобы разговаривать и играть с ней. Она рассказывала про бесчинства, творившиеся гитлеровцами. Конечно, в меру своего собственного понимания происходивших в Германии событий и в меру нашего знания языка.

Мы к этому времени знали, что наша страна — лучшая в мире, что ею управлял великий вождь Ленин, а теперь — такие хорошие люди, как Рыков, Ворошилов и знакомый с ними дядя Давид. Мы знали, что спекулянтов и кулаков ссылают в Соловки, и что это — очень хорошо. Мы знали, что в капиталистических странах детям, а особенно негритятам и маленьким китайцам, живётся плохо, что они расклеивают листовки, и за это их сажают в тюрьму.

Как-то Лиза была в гостях у меня, и мы с ней во что-то играли в прихожей нашей коммунальной квартиры. В квартиру вошёл Василий Иванович Шелагуров. Я сказал ему, кто такая Лиза, и в ответ на это Василий Иванович громко и весело закричал: «Wie ist Hitler!?!». Западная Лиза, услышав, что к ней обращается взрослый, сразу перестала играть, встала и серьёзно ответила на заданный вопрос: «Hitler ist Schweinhund», вежливо не обратив внимания на ошибку, которую Вася допустил в вопросительном местоимении. Василий Иванович, довольный, захохотал ещё громче.

Мама взяла меня и Лизу на первомайскую демонстрацию. Мы шли с остановками, пением и танцами в колонне Института Иностранных языков, который мама в тот год оканчивала. Лиза купалась в тёплых волнах внимания студентов и преподавателей немецкого факультета. Вволнован-

ная, она сказала мне, что такой Первомай в Германии был бы невозможен: напали бы национал-социалисты, разогнала бы полиция. Я был преисполнен гордости за наш Первомай и рассказал на другой день Эде об этих впечатлениях. И этот эпизод уложился в ставшую привычной и неизбежной схеме: там плохо, здесь хорошо. Скоро эмигрантская семья куда-то уехала, и её дальнейшая — подозреваю, трагическая — судьба мне неизвестна.

Несколько слов о примечательных жильцах нашего дома. В двадцать второй квартире, которая (по вертикали) была в точности под нами и над Колмановскими, жила семья профессора Николая Адольфовича Шерешевского, известного эндокринолога, ставшего впоследствии одним из арестованных по делу врачей. Эта квартира была отдельной. На то была особая причина. Иммуниетет на вселение в эту квартиру посторонних — «Охранная грамота», подписанная (или выхлопотанная) Луначарским, была выдана жене Шерешевского Анне Сауловне Любошиц. Она была выдающейся виолончелисткой, участницей очень известного в дореволюционные годы семейного трио Любошиц. Двое участников этого трио Пётр и Лея Любошиц — брат и сестра Анны Сауловны — после революции при первой возможности эмигрировали в Штаты, а Анна осталась в Советской России и в разговорах со своей приятельницей Раисой Колмановской сетовала на то, что упустила шанс.

...В шестидесятых годах наши артисты стали ездить с гастрольями за рубеж. В одну из гастрольных поездок в Штаты ансамбля «Берёзка» Лея Любошиц передала через руководительницу ансамбля Надеждину посылочку Анне Сауловне. Среди прочего там была фотография Леи на фоне её дома. Анна Сауловна узнала, что Лея ещё продолжает преподавать и даже иногда концертирует. Когда находившаяся давно не у дел Анна Сауловна всё это рассказывала Раисе Наумовне, та воскликнула: «Но ведь Лея старше Вас!». На что Анна Сауловна отвечала: «Раиса Наумовна! О чём Вы говорите?! Сравните особняк Леи под Нью-Йорком и мои порес».

Как я уже говорил, лифт в нашем доме, как и в других многоэтажных московских домах, часто бывал неисправен, и жильцы поднимались по лестнице пешком. Впрочем, спускались они пешком всегда: лифт работал только на подъём. Проходя по лестнице мимо двадцатой квартиры, в которой жила семья Эди, Анна Сауловна почти всегда слышала звуки Эдиных фортепианных экзерсисов. Она останавливалась отдохнуть и послушать. И всем своим знакомым сообщала, что у Колмановских растёт музыкант. После войны лифты модернизировали, и на них стало можно не только подниматься, но и спускаться. Анна Сауловна шутливо огорчалась от того, что это техническое достижение лишило её возможности знать, что делается в квартирах её соседей. В последние годы жизни Анны Сауловны её время от времени навещал ставший тогда уже известным Мстислав Ростропович...

Шерешевский был человеком замкнутым и надменным, на нас, соседских детей, он внимания не обращал. Думаю, что и на взрослых своих соседей по дому — тоже. Впрочем, я помню эпизод, показывающий, что, независимо от своих душевных качеств, клятву Гиппократу он иногда выполнял. Дело было в году 26-м или в 27-м, когда в доме были отремонтированы и запущены — впервые после гражданской войны — газовые колонки, греющие воду для ванн.

С колонками нередко случались неприятности. Пламя по тем или иным причинам иногда загасало, а газ продолжал выходить. Если такого беспорядка не замечал жилец, пользующийся в данный момент ванной, то

его рассеянность могла привести к его отравлению газом и даже к взрыву дома. Про взрывы я не слышал, а отравления время от времени случались.

Как-то вечером я прыгал перед сном в моей кровати — мне было года три—четыре. Вдруг Василий Иванович Шелагуров и Борис Фёдорович Ерыкалов с трудом внесли в нашу комнату моего папу. Они положили его на диван. Папа был завёрнут в полотенце и не шевелился. Вокруг была паника. Я не успел понять, в чём дело, как в комнату вошёл насупленный Шерешевский. Он наклонился над папой, стал производить какие-то манипуляции, требовать, чтоб ему подали то воду, то полотенце, и папа, наконец, приподнял голову и заговорил. Шерешевский ушёл. Мне объяснили, что папа принимал ванну и отравился газом, что бросились к Шерешевскому, и он папу спас. К сожалению, мне придётся в своём месте рассказать, как надменность и чёрствость Шерешевского перевесили его обязательства, принятые им на себя клятвой Гиппократ.

Довольно длительное время в каких-то комнатах коммунальной квартиры 23, расположенной с нашей на одной площадке, жила семья известного руководителя Октябрьского переворота Подвойского. В это время он в правительственно-партийную элиту уже, очевидно, не входил. Впрочем, в начале тридцатых ему предоставили более престижное жильё, но какие-то его дети продолжали жить в 23-й. Во всяком случае, Маша в детстве дружила со своей сверстницей Искрой Подвойской, жившей в той коммуналке.

В нашем доме жил Я. Блюмкин, убийца германского посла Мирбаха. За это убийство советская власть Блюмкина не покарала. Когда у Блюмкина возникали какие-нибудь проблемы в сфере коммунальных услуг, он шёл к управдому Агресту. Встречи этих двух людей бывали окрашены их революционными темпераментами. Блюмкин раздражался бурными негодующими претензиями, на которые Агрест обычно отвечал: «Блюмкин! Ты на меня не кричи! Я тебе не Мирбах!».

В конце двадцатых или в начале тридцатых — после решительной победы Сталина над оппозиционерами (но ещё до их физического истребления) в наш дом (в отдельную квартиру!) отселили из Кремля Зиновьева. В процессе вселения нового жильца, ещё недавнего вождя и кумира, не потерявшего ещё своего величия и обаяния, к нему обратился, набравшись духу и не в силах побороть собственной самоуверенности, управдом Агрест. Он сказал: «Товарищ Зиновьев! Я хочу сказать, как член партии с большим стажем, что я с Вашей позицией на последнем Пленуме не согласен!». На что недавний вождь ответил: «Товарищ управдом! Не могли ли бы Вы порекомендовать мне хорошую домработницу?».

Через не очень долгое время были арестованы и расстреляны и Блюмкин, и Агрест, и Зиновьев.

ГЛАВА 3

Гоголевский бульвар. Самоволка. Торгсин. Трамваи. Извозчики. Ломовики. Автомобили. Беспризорники. Молочницы. Старьёвщики. Угольщики. Утюги. Стекольщики. Точильщики. Смоленский рынок. Полотёры. Маляры. Клопы и др. Чистильщик сапог дядя Ваня. По одежке... Спектр услуг дяди Вани. Фонарщики. Дворники. Коньки. Мечты о профессии. Лето в Краскове: велосипед, купанье в Пехорке, хозяева дачи. Московский зоопарк. Радиоточка. Дошкольное чтение. Газовая колонка. Железная дорога. Ростов и станция Славянская. Середняки и кулаки. Дангауровка. Салтыковка.

Большую роль в моём детстве всегда играл Гоголевский бульвар. В конце, примыкающем к Арбатской площади, бульвар, как и сейчас, замыкался сквером, к которому с бульвара надо подняться по короткой, в ширину средней пешеходной части бульвара, гранитной лестнице. Сквер выглядел почти так же, как теперь. «За исключением пустыка», как вскоре из всех репродукторов и патефонов запоёт Утёсов. Пустык был тот, что на месте теперешнего стоящего бодрого Гоголя работы бодрого Томского сидел погружённый в грустную думу Гоголь работы дореволюционного сумрачного скульптора Андреева.

Папа, как я уже говорил, регулярно, с самых малых моих лет, читал мне вслух русскую классику. К моим годам семи он прочёл мне «Как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем», «Майскую ночь», «Коляску», «Шинель» и «Тараса Бульбу». Поэтому, во-первых, я — не походя, а с большим вниманием и интересом и с некоторым знанием дела — разглядывал на опоясывающем постамент памятника барельефе изображения гоголевских персонажей, соединённых скульптором в фантастические группы и хороводы. Некоторых героев я узнавал сам, некоторых — с помощью папы, а сонм неизвестных мне фигур стимулировал к дальнейшему самостоятельному знакомству с творчеством гения. Облик самой бронзовой фигуры писателя дал повод папе приобщить меня к драгоценным словесным слиткам, намертво сросшимся с именем Гоголя: «Смех сквозь слёзы» и «Горьким смехом моим посмеюся». Папа это сделал, а я — понял.

Но, кроме Гоголя, давшему прежнему Пречистенскому бульвару новое имя, на сквере были (и они, по-прежнему! — там, там, там!) чудесные фонари с бронзовыми львами внизу. Конечно, я ценил тогда в этих львах не их художественные достоинства, а возможность вскарабкиваться на их гривастые головы, удерживаться там и соскальзывать вниз по желобам, разделявшим вытянутые львиные передние лапы. Особенно трудно взбираться и приятно соскальзывать было зимой, когда львиная бронза обледенела и становилась скользкой.

...Около львов я гулял и забавлялся их свойствами не только в детском возрасте. К ним я водил и моего маленького старшего сына Сашеньку — в конце сороковых и в начале пятидесятых, и мою старшую дочь Катеньку — в начале шестидесятых, и моих внуков Давидика и Ханочку в конце восьмидесятых. Моя младшая дочка Томочка с Гоголевскими львами

не встретила, потому что подходящие для такой встречи годы она провела не на Арбате, а на Новоалексеевской. Но и ей для вскарабкивания, лазания и других удовольствий львы нашлись. Они лежали (и продолжают лежать — как те — около Гоголя!) у одного из входов на заднем фасаде Шереметевского дворца в Останкине, куда я возил маленькую Томочку на прогулки. Каждому льву своё время...

Зимой Гоголевский бульвар был очень хорош для катания на санках. Там можно было не только возить друг друга или, разогнавшись ногами с опёртыми на санки руками плюхаться на них животом и проезжать по инерции несколько метров. Это можно было делать и на других скверах, а родители могли везти ребёнка, сидящего на санках, и по улице. На Гоголевском бульваре есть особенность. Если смотреть в спину Гоголя, встав у Пречистенских Ворот, то справа на отрезке бульвара до Сивцева Вражка есть склон. Так что с бульвара к проезжей части улицы ведут лестницы вверх. Примерно посередине упомянутого отрезка бульвара этот склон весьма высок и крут. И вот с этой горы зимой можно было съезжать на санках.

Предварительно, конечно, надо было с санками вскарабкаться наверх. В бесснежные дни, в морозец после небольшой оттепели съезды с горы становились особенно скользкими. И, выбрав самую высокую и крутую часть склона и начав движение с самого его верха, т. е. у ограды бульвара, можно было промчаться через боковую аллею бульвара, проходившую под склоном, вылететь на главную широкую аллею (к испугу и неудовольствию гуляющей или проходящей здесь публики), пересечь и её, и, если повезёт, то и противоположную боковую аллею.

Боковые аллеи отделены от главной линиями мощных деревьев, отстоящих друг от друга метра на два. Кроны этих двух линий деревьев образуют зелёный массив бульвара. Был щекочущий сердце риск не успеть затормозить или отвернуть санки и ткнуться в одно из этих деревьев. Думаю, что описанные ситуации и проблемы знакомы и теперешним поклонникам Гоголевского бульвара — детям и их родителям.

Приятно писать о всеобщем и вечном, каковым является Гоголевский бульвар. Но у меня с ним и с санками связано не только всеобщее, но и моё нечто совершенно индивидуальное. Годам к шести я уже часто выходил гулять к подъезду дома один, а вскоре — легально или нет — от дома отдалялся. После моих семи лет мама разрешала мне ходить на Гоголевский бульвар одному. Агрессия взрослых против одинокого ребёнка была в то время почти невероятна. От агрессии детей защититься или уклониться имел шанс я сам. Маму несколько пугало, что выйдя из Сивцева Вражка, я должен был, чтобы подняться на бульвар, перейти трамвайные пути. Правда, перед переходом была трамвайная остановка, и это риск снижало.

Зимой я ходил на бульвар с санками. Обычно это бывало после наступления темноты: днём я посещал немецкую группу, а позже — школу. Первое время я в таких самостоятельных походах на бульвар вёз пустые санки за собой. А потом придумал: свернув с Арбата в Калошин, я ложился животом на сани (когда я был совсем маленьким, у меня были санки со спинкой, но потом их сменили плоские с верхом из деревянных продольных планок), спускал руки вниз и, действуя руками, как ногами, мчал экипаж вперёд. На руках у меня были, конечно, толстые варежки. Двигался я таким манером по пешеходному тротуару, заросшему снежным настом, который дворники, к моему удовольствию, соскребали редко,

а если и соскребали, то московская погода заботилась о том, чтобы наст, достаточный для моих целей, быстро воскресал.

Я научился лавировать между прохожими, которые моего экипажа пугались. Я мчался, лёжа на животе, лицом вниз, и изредка приподнимал голову (это из-за громоздкой зимней шапки-ушанки давалось не без труда), чтобы сверить маршрут. Из Калошина я поворачивал налево и продолжал мчаться — уже по Сивцеву — до самого бульвара. Те три раза, что мне надо было пересечь проезжие части переулков (при повороте на Сивцев и при переезде через Староконюшенный и Б.Афанасьевский), я с санок слезал и делался на короткое время обычным пешеходом. По счастью, эти досадные перерывы были недолгими. Мама не знала, каким способом я добирался до бульвара. Думала, что как все люди.

Нелегальные отлучки от дома — это результаты стремления познать мир и подчинения зову в путь. Прежде всего, начиная с шестилетнего возраста, я осмелился один выходить на Арбат и проходить его до Арбатской площади в один конец и до Смоленской — в другой. Второе направление было привлекательнее по такой причине. Примерно в это время, т. е. в самом конце двадцатых или в самом начале тридцатых в последнем на чётной стороне Арбата доме № 52, стоящем на углу со Смоленской площадью, был устроен торгсин. По неизвестным мне причинам торговое помещение, в котором был устроен торгсин, старые арбатцы называли «сотый магазин» — как до, так и во время, так и после торгсина. В середине тридцатых торгсин упразднили, и в том помещении был устроен «Гастроном № 2» («Гастрономом № 1» официально назывался бывший Елисеевский на Тверской. Но москвичи предпочитали его старое название). Теперь в том помещении на Арбате — шикарный супермаркет.

В одной из витрин торгсина стоял взрослый двухколёсный велосипед. Что велосипед — чудо, я к тому времени знал из собственного опыта, о чём речь будет ниже. Велосипед стоял со слегка повернутым рулём, т. е. в естественной позе, как если б он был прислонён к дереву или к забору или к крыльцу. Велосипед был тогдашним дизайнером витрины умело окружён разными предметами спортивного и туристского обихода, тоже заграничными и для московского мальчика диковинными и привлекательными. Эти детали сейчас уже в тумане... Всё в целом образовывало чарующую картину, которую я мог разглядывать часами. Отогнать меня от неё могла непогода или страх, что меня хватят.

К каждому предмету, в частности, к велосипеду были прикреплены таблички с ценами (в торгсиновских бонах). Велосипед, помнится, стоил недостижимые 40. Я масштабы цен себе представлял. У мамы боны водились, потому что она систематически сдавала в торгсин кое-какое столовое серебро и золотые и серебряные украшения, сохранившиеся с дореволюционных времён. Но все эти боны тратились только на еду: начинались голодные годы.

Именно в этом торгсине булгаковские дьяволические персонажи устроили пожар незадолго до того, как покинуть Москву. Мне кажется, кстати, что Булгаков допустил неточность. С одной стороны — пожар в торгсине, а с другой — в романе упомянут троллейбус на Арбате. Мне помнится, что когда по Арбату пошёл троллейбус (это было в конце 34-го или в 35-м году), торгсины были уже ликвидированы, а когда они ещё были, то по Арбату троллейбусы ещё не ходили. Ходили трамваи, или Арбат был разворочен в результате снятия трамвайных путей для перехода на троллейбусный транспорт. Может, ошибаюсь я, и несколько месяцев два Т —

торгсин и троллейбус — на Арбате сосуществовали. Второе Т оказалось долговечнее: продержалось до середины восьмидесятых...

Другим притягательным объектом на Арбате был Зоомагазин, находившийся с незапамятных времён в доме 30. В витринах среди декораций размещались чучела животных, стояли клетки с живыми причудливыми птицами, по каменистой земле искусственно созданного сада ползали черепахи, ящерицы и ужи. Конечно, в моей памяти смешались впечатления ранних и более поздних детских лет, и я не могу в точности сказать, в самом ли начале тридцатых или ближе к их середине в одной из витрин Зоомагазина стояло вертикальное беличье колесо, а в нём — неумолимая белка, выполнявшая свою нехитрую работу. Зрителю казалось, что белка свершает свой вечный и бессмысленный бег с колоссальным удовольствием. В чём теперь я, набравшись жизненного опыта, сомневаюсь.

Чтобы дойти от нашего дома и до торгсина, и до зоомагазина, надо было переходить на другую сторону Арбата. Лет с шести мне стали разрешать одному спускаться вниз к подъезду и играть, ни в коем случае не выходя из Кривоарбатского. Много времени я проводил на улице, не нарушая этого правила. Но случалось, что нарушал. Сперва — во время игры в прятки, которая стимулировала к перебеганию в Калошин и на отрезок Арбата перед довольно длинным передним фасадом нашего дома. Вскоре я уже начал без спроса переходить Арбат, чтобы добраться до интересных мест на той стороне. Когда мне стало под семь, переход улицы мне разрешили. Но только около нашего переулка: там были трамвайные остановки, так что можно было выбрать момент, когда трамваи (а с ними и остальные экипажи) останавливались и давали возможность пешеходам безопасно перейти на другую сторону улицы. Но светофоров и зебр тогда ещё не было.

...В мои дошкольные и первые школьные годы по Арбату двигался интенсивный и разнообразный транспорт. К середине тридцатых его структура изменилась. Ну а с 87-го, когда мне стало за шестьдесят, и мне было разрешено переходить улицы с любым движением, с Арбата, вообще, транспорт сняли, и я гулял с моими внуками по пешеходному Арбату без помех...

До эпохи троллейбусов по Арбату ходили трамваи. Трамвайных маршрутов было много; все они проходили через Арбатскую площадь и через Центр. Два или три из них проходили по Солянке, где жила моя бабушка и тётки. Двигаясь в противоположную от Центра сторону, любой трамвай проезжал через Смоленскую площадь. Один (или более) из них шёл к Филям. На Арбатской можно было пересечь на трамвай «А», шедший по кольцевому маршруту, включавшему все бульвары — от Гоголевского до Яузского; часть этого маршрута приходилась на Замоскворечье. На Смоленской площади можно было сесть на «Б», объезжавший Садовое Кольцо.

Трамваи были не только легальным средством передвижения. Отчаянные — «уличные», как называла их мама, мальчишки ухитрялись вскакивать на «колбасу». Так в просторечье именовался торчащий в нижней части трамвайного вагона буфер — толстый чугунный стержень с перпендикулярным диском на конце. Эта чугунная конструкция служила для сцепки вагонов. Задние буфера в одновагонных трамваях или во втором вагоне двухвагонных, естественно, для сцепок не использовались, а использовались мальчишками. Я на буфере кататься не рисковал. Но вот на подножках ездить любил.

В тогдашних трамваях с улицы на площадки вагонов, входы в которые не закрывались, вели три-четыре ступеньки с поручнями по бокам. Можно было остаться на нижней ступеньке и ехать, держась за поручень. Это и называлось «ехать на подножке». Иногда в вагон набивалось так много народа, что уехать можно было только на подножке, да и то стоя на ней только носком одной ноги: для двух или даже одной целой ступени места не было. Да и на поручне нужно было выискать свободный — чтоб ухватиться рукой — участок сантиметров в пять. Во втором вагоне двухвагонного трамвая пассажиры могли стоять (или висеть) на обеих площадках, а в первом вагоне (или в одновагонном трамвае) — только на задней: на передней сидел вагоновожатый.

Вагоновожатый сигнализировал с помощью звонка. Звук извлекался им нажатием или ударом ноги по педали, торчащей в виде маленького стального столбика из пола площадки — между высоким табуретом вагоновожатого и тумбой, на которой был укреплен «контроллер» — горизонтальная рукоять, поворачивая которую можно было трогать вагон с места, увеличивать и уменьшать скорость его движения, останавливать трамвай и менять направление его хода с «вперёд» на «назад».

Когда я, семи-восьмилетний, ездил на Солянку или по другим (часто нелегальным) делам, то я на площадку или в вагон не входил, даже если там было место, а оставался на подножке — так было интереснее. Иногда же, если на площадке было свободно, я предпочитал другое удовольствие. На площадке было тормозное колесо с рукояткой. Оно использовалось, если трамвай шёл вверх или вниз по крутой горе — как например, от Трубной площади до Сретенских Ворот. Тогда на заднюю площадку выходил кондуктор, продававший билеты (отрывать билеты самостоятельно и бросать деньги в кассу пассажирам доверили только лет через тридцать), подключал тормозное колесо и, держа его рукоятку, был готов, вращая его, дополнительно тормозить вагон, если электрические тормоза и механический тормоз вагоновожатого окажутся недостаточными, и вагон начнёт либо скатываться назад, когда надо вперёд, либо бесконтрольно разогнаться при движении вперёд. Когда опасный участок оказывался позади, кондуктор отключал колесо от тормоза и возвращался в вагон продавать билеты.

Вот с этим-то выключенным тормозным колесом было интересно играть. Его можно было вертеть сколько угодно, воображая, что активно правишь трамваем.

Кроме трамваев по Арбату ездили извозчики: лошадь, кучер и пролётка стандартного вида (спицы колёс бывали обычно красные). Над задним — для седоков — сидением извозчик подымал или опускал, в зависимости от погоды, клеёнчатый верх. Зимой пролётку заменяли сани. Свои стоянки — в ожидании случайного пассажира — извозчики устраивали в переулках, стараясь расположиться недалеко от угла с Арбатом. На такой стоянке (тогда городские власти не додумались до платы за парковку) скапливалось до трёх-четырёх извозчиков.

Для маленького ребёнка было интереснейшим занятием смотреть, как лошадь мерно, с приятным хрупом, жуёт овёс или сено из мешка, подвешенного к её морде, наблюдать за колоритным извозчиком, который, скучая или от холода, бьёт ладошей о ладошу, перебрасывая руки так, что хлопок получался по очереди то перед его животом, то за его спиной. Кое-кто из извозчиков милостиво перекидывался со мной парой слов. Мои родители ездили на извозчиках редко. Я помню только одну поездку зимой, снежным вечером, в санях с пологом.

Ещё по Арбату двигался гужевой транспорт: одна или две лошади, запряжённые в телегу или в дровни — в зависимости от времени года. Гужевых кучеров называли ломовыми возчиками или ломовиками. Этот транспорт двигался медленно. Экономя силы лошади, возчик редко пускал её в бег. Разве что ехал порожняком. Если же груз был велик, или если дорога шла вверх, то возчик с телеги или с саней слезал и шёл рядом. Не исключаю, что в начале тридцатых гужевому транспорту по Арбату уже ездить было нельзя, а можно было только его пересекать или только подъезжать к месту назначения, выехав из ближайшего переулка.

Мальчишки цеплялись и к извозчикам, используя заднюю рессору пролётки или торчащие сзади на несколько сантиметров полозья саней, и к телегам и дровням. Ехать на рессоре извозчика было рискованней: скорость большая. Но зато корпус пролётки скрывал незваного пассажира от взора и кнута извозчика, даже обернувшегося назад. Момент вскакивания мальчика на рессору извозчик мог ощутить, но часто не тратил сил на то, чтобы согнать его.

На телеге мальчишка мог ехать, вскочив на ходу на полку и опершись на него грудью — так что ноги висели. А если телега была гружена высоким грузом — мешками или ящиками, закрывавшим заднюю часть телеги от взгляда и кнута кучера, то можно было устроиться с комфортом и на самом полке. Я не был столь отчаянным, чтобы усаживаться на рессоры пролёток и становиться на концы полозьев саней. Но к телегам и дровням цеплялся и проезжал иногда большие расстояния, не замеченный и не согнанный возчиком. Один раз я еле нашёл дорогу домой после того, как меня в конце концов возница заметил, замахнулся на меня кнутом, и я с телеги спрыгнул. Потом, повзрослев и обдумывая тот маршрут, я заключил, что доехал, вися животом на телеге, от Кривоарбатского до какого-то места на Пречистенке.

Зимой спорт цепляния к подводам и извозчикам расцветался новыми возможностями, даруемые коньками. Длинными проволочными крючками мальчишки цеплялись за сани или дровни и ехали на коньках, подпрыгивая на покрытой неровным толстым снежным настом мостовой.

По московским улицам и переулкам ездило довольно много автомобилей. В те времена это были или начальственные машины или такси. Собственный автомобиль был редкостью. Машина, купленная Маяковским в Париже и привезённая им в Москву, вошла в историю советской литературы. Машины были разных зарубежных марок: своих тогда не производили. Все такси (их называли ещё и «таксомоторы») всегда были одной марки — «Рено». Как это вышло, я не знаю: ведь это были годы НЭПа, такси находились в частном владении, и единообразия марки, вроде бы, никем не диктовалось. Я с родителями на такси не ездил, думаю, ни разу. Были в городе и грузовики. К ним тоже цеплялись уличные мальчишки. Были, наконец, редкие автобусы — довольно разбитые тёмнокрасные с жёлтыми полосами колымаги английской фирмы «Лейланд».

Гудки у всех видов автотранспорта были пневматические: резиновая груша и рожок, торчавший наружу. С дореволюционных времён осталось небольшое количество гудков, наигрывающих при нажатии груши несколько нот известных мелодий, например, лихое «Матчиш — весёлый танец». Большинство же гудков издавало гораздо более примитивные, но главное, громкие звуковые композиции, состоявшие обычно из трёх нот. Делом чести для меня и для моих товарищей было, играя в автомобиль, хорошо подражать автомобильным гудкам своим голосом: не простым и слишком

условным «ду-ду», а чем-то более правдоподобным и изощрённым — вроде «а-и-ја» (здесь использовано звучание букв немецкого алфавита; русскими буквами типичные звуки тогдашнего автомобильного гудка не передать).

Неизменной принадлежностью столицы тех лет была огромная армия почти или абсолютно безнадзорных детей. Среди них попадались и совсем маленькие — пяти-шестилетние. Мальчиков среди этих «уличных» было больше чем девочек. В сколько-нибудь тёплую погоду уличные дети ходили по Москве босиком.

Часть уличных крышу над головой и минимальные еду и одежду имела. Это были те, кто принадлежал к пролетарским или люмпенским семьям, где на детей внимания почти не обращали, и дети тянулись к разным срезам преступного мира.

Другая часть была бездомной. У таких детей не было родителей — или вовсе, или в Москве. Они назывались «беспризорники». Их первая волна возникла в годы гражданской войны. Причин тому было немало: разорение населённых мест, гибель родителей, миграция в большие города в попытке выжить — в первую очередь мелким воровством. Не успели власти справиться с первой волной детской бездомности, как накатила вторая — порождение коллективизации и борьбы с кулачеством. По-видимому, в те годы, когда зрелище беспризорных детей было для меня будничным, обе волны смешались.

В холодное время года беспризорники ночевали в «асфальтовых» котлах. Их устанавливали в тех частях города, где надо было менять асфальтовое покрытие пешеходных тротуаров. Проезжие части улиц — «мостовые» — стали покрывать асфальтом только в середине тридцатых, а до того их мостили (отсюда и слово) булыжником или брусчаткой. Асфальт варили на месте его использования в этих самых котлах, извлекали чёрную расплавленную массу большими ковшами на длинных палках, тут же выкладывали её на покрываемую поверхность и сразу её разравнивали, раскатывали и разглаживали ручными инструментами. Это был, действительно, котёл — железный цилиндр высотой метра в полтора и диаметром метра в три. В котёл была вмонтирована дровяная топка, в которой разжигали огонь для расплавки асфальта. Когда после рабочего дня дорожные рабочие уходили, в сперва тёплый, но постепенно остывавший котёл набивались беспризорники, и это был для них домашний уют.

Один асфальтовый котёл некоторое время стоял около нашего дома со стороны Калошина на углу Арбата, и я этих беспризорников, шмыгающих в своё жилище и обратно, видел в непосредственной близости — к явному смущению моей мамы, с которой я шёл, как послушный мальчик, за ручку. Маме не хотелось так прямо знакомить своего пятилетнего сына с жестокими штрихами окружающей жизни. Объясняя мне увиденное, мама преподносила мне сентиментальную диетическую версию и называла грязных и сквернословящих детей «беспризорушками». Я хорошо помню, как я ощутил фальшь и маминой версии, и маминой терминологии.

Через три-четыре года после виденных мной котлов и слышанных разговоров взрослых о засилье безнадзорных дерзких хулиганов и воришек, эта общественная проблема нашла некоторое отражение в фильме «Путёвка в жизнь» и в книгах «Республика Шкид» Пантелеева и Белых и «Педагогическая поэма» Макаренко. Но я видел массы этих оборвышей до того, как породившая их власть взялась за их перевоспитание и социализацию, мобилизовав решимость, педагогические ресурсы и материальные средства.

Книгоноши, упомянутые мной выше, были малой частью армии торговцев товарами и услугами разных — порой диковинных — видов, доставлявшихся прямо в квартиры или во двор дома.

Регулярно — каждый день или через день — утром в квартиру звонила молочница. Это была крестьянка из Подмосковья. Обычно в каждую квартиру ходила одна и та же женщина; смены молочниц были редки. Позвонив в двери сразу обеих квартир, расположенных на площадке одного этажа, молочница стаскивала перекинутую через плечо связку из двух холщовых мешков. В каждом мешке был большой бидон с молоком.

На звонок выбегали хозяйки с кастрюлями и банками. Хозяйка подставляла свою посуду и говорила, сколько «кружек» ей налить. Молочница, держа свой огромный бидон подмышкой, придерживала его одной рукой и наполняла свою мерную кружку, которую держала в другой. Потом она выливала кружку в посуду покупательницы. Счёт шел на эти кружки, которые вмещали какую-то долю ходившей тогда бытовой меры объёма (вёдра, четверти или чего-то подобного).

Десятичная система мер входила в тогдашний обиход очень постепенно. Первые годы моей жизни я всё больше слышал: «пуд», «фунт», «золотник», «верста», «аршин», «сажень», «десятина», а не «килограмм», «километр» и пр. Мешки с бидонами на груди и на спине, всегда что-то сильно навороченное из одежды, валенки с калошами зимой делали молочниц в моих глазах какими-то бесполоыми существами, хотя у них были женские имена, хорошо известные обитателям наших квартир.

Дом посещали «старьёвщики». Обычно этим промыслом занимались татары. Уличные мальчишки их легко узнавали и среди толпы на улице, и когда они появлялись во дворах домов: у них были типичные косоватые глаза, а главное — мешок за спиной. Если компания мальчишек видела старьёвщика, то они прыгали около него или бежали за ним и кричали «Шурум-бурум, казанский мыло!». В лицо — и это считалось уважительным — старьёвщика обычно называли «князь».

Старьёвщик, входя во двор дома, например в такой колодец, каким был наш двор, громко кричал речитативом со стандартной мелодикой: «Старьё берём! Старьё берём!». На этот крик с этажей спускались жильцы со старой одеждой. Именно её старьёвщик по дешёвке скупал. Хозяйке было вдвойне хорошо — и кое-какие деньги за свой хлам получала, и немного освобождала переполненные шкафы и сундуки, стоявшие в её комнатухе. Часто старьёвщики, вместо того, чтобы скликать клиентуру во двор, отправлялись по лестничным клеткам, и торги происходили на площадках или в передних квартирах.

Во дворы заезжали телеги с древесным углём, который жильцы покупали для растопки самоваров и больших паровых утюгов. Угли, кажется, можно было покупать и в керосиновых лавках. Паровой утюг загружался углём, уголь как-то поджигали, закрывали тяжёлую крышку утюга на защёлку, брали утюг за держалку, прикреплённую к его крышке, и начинали утюг на вытянутой руке в воздухе раскачивать. Края крышки были зубчатые, и поэтому между ней и корпусом утюга возникали треугольные дыры. Когда хозяйка утюгом взмахивала, в эти дыры врвался воздух, угли разгорались, через дыры светился красный жар, как из печки, корпус утюга раскалялся. Хозяйка гладила раскалённым утюгом постельное и столовое бельё, а также другие вещи, угли постепенно загасали, и утюг остывал. Тогда, если глажка ещё не была окончена, хозяйка делала несколько новых взмахов утюгом, и угли разгорались с прежней силой.

Некоторые хозяйки в нашей квартире держали свои утюги на кухне, и — раскрытыми. Так что зубья крышек были ощерены прямо на меня. В самые ранние детские годы меня эти разверстые зубастые крышки безумно пугали, а в более поздние — остались мне несимпатичны. Потом паровые утюги постепенно — как птеродактили — исчезли, и их заменили сперва чугунные литые, которые раскаляли на газовых конфорках, а потом и современные электрические.

Заходили во двор или в квартиры стекольщики и точильщики. Стекольщики носили с собой большие специальные плоские деревянные ящики: их толщина была всего сантиметров в 20, а высота и ширина — около метра. Стекольщик, двигаясь, либо ставил ящик своей нижней узкой стороной вертикально на плечо и придерживал его рукой, либо вешал его себе на плечо с помощью лямки. Остановившись для серьезного разговора с заказчиком, стекольщик с виду резким, но на самом деле осторожным, движением спускал свой тяжеленный ящик на землю: стекольщик старался не расходовать своих сил зря. Эти ящики были приспособлены к хранению листов оконного стекла разных размеров. Передняя стенка ящика кончалась примерно на половине его высоты и была неплотной: она была набрана из нескольких планок. Поэтому находившиеся в ящике стекла были хорошо видны, и когда в солнечный день по улице шёл стекольщик, то находившееся в его ящике стекло колебалось и поворачивалось в соответствии с движениями его хозяина, то обгонявшего прохожих, то сторонившегося их, то сходявшего с тротуара на мостовую, то вступавшего с мостовой на тротуар. В результате стекло сияло, отбрасывало самые причудливые блики, и всё зрелище было волшебным — особенно на фоне тогдашнего серого облика уличной жизни.

К моему сожалению, оконные стекла разбивались редко. Но если такое случалось, то неприятное для родителей событие мне сулило большое развлечение. Мама либо дожидалась, когда очередной стекольщик появится в доме сам, либо — в срочном случае — приводила первого попавшегося (впрочем, может, у мамы и были какие-то внешние критерии доброкачественности и честности мастера) стекольщика с улицы: их там ходило много. И уж наверняка можно было найти мастера на Смоленском рынке, который располагался в той части Садового Кольца, которая называется сейчас Смоленской-Сенной.

Рынок был открытый. Он начинался с места, где сейчас стоит высотка МИДа, занимал всю ширину кольца и сколько-то тянулся в сторону Зубовской.

Стекольщик устраивал своё рабочее место на нашем большом обеденном столе. Работая в кухне или у тех соседей, у которых большого стола не было, стекольщик организовывал рабочее место с помощью двух одинаковых табуреток. Он измерял размер того куска стекла, которое ему предстояло вставить. Далее, он соскребал засохшую замазку и вынимал разбитое стекло из оконной рамы. Потом он доставал из своего запаса подходящий стекольный лист-заготовку и отрезал от заготовки две перпендикулярные полосы стекла так, чтобы оставался лист нужного размера.

Этот на первый взгляд простой процесс на самом деле был сложным. Заготовка укладывалась на стол или на две отставленные друг от друга табуретки, мастер отмерял и отмечал мелком с двух сторон заготовки точки, через которые должна была проходить линия отрезания стекла, затем брал бечёвку и натирал её мелом. Один конец бечёвки он зажимал

в одной из двух отмеченных точек, а второй конец — совмещал с другой точкой и придерживал бечёвку в этой точке рукой. В результате бечёвка ложилась по линии будущего разреза. Стекольщик оттягивал бечёвку, как тетиву лука, отпускал её, и на стекле оставался меловой след — прямая линия, обозначающая предстоящий разрез.

Потом стекольщик брал инструмент под названием «алмаз», хотя ничего общего с камешком в кольцах или серёжках, называвшийся таким именем, этот инструмент не имел, а был вроде маленького молоточка, и стекольщик, держа его за ручку, быстрым точным движением проводил головкой молоточка по меловой прямой линии, оставленной на стекле бечёвкой. При этом проходе молоточка по стеклу возникал особый звук — скрип или визг.

Далее стекольщик пододвигал надрезанную алмазом меловую линию к краю стола, брался за лишнюю часть заготовки и резким движением обламывал её. Стекло не растрескивалось, а отламывалось точно по меловой линии, по которой только что с визгом проехал алмаз. Длина линии отреза могла быть и больше метра...

Потом таким же манером стекольщик отламывал и вторую лишнюю часть заготовки. Возникший лист он вставлял в раму, фиксировал несколькими гвоздиками и, манипулируя чем-то вроде ножа или стамески (потом я узнал, что этот инструмент называется шпателем), замазывал края стекла замазкой, так что возникший узкий, шириной в сантиметр, слой замазки образовывал в сечении треугольник, который одним катетом приклеивался к раме, а другим — к вставленному в раму листу стекла.

Захватывающее впечатление от образа и работы стекольщика жило во мне долго после этих детских лет, даже когда эти стекольщики перестали быть одной из реалий жизни. Хотя, очевидно, я впрямую этого дремавшего во мне впечатления не сознавал.

...Лет через десять после описываемых детских времён, когда мне было примерно пятнадцать, я впервые начал читать Пастернака. Одно из первых стихотворений, привлёкших меня, было «Ландыши», которое начинается с двух таких строф:

С утра жара. Но отведи
Кусты, и грузный полдень разом
Всей массой хряснет позади,
Обламываясь под алмазом.
Он рухнет в рёбрах и лучах,
В разгранке зайчиков дрожащих,
Как наземь с потного плеча
Опущенный стекольный ящик.

Старые впечатления ожили во мне, и я ощутил особую связь с поэтом, которого, видимо, образ стекольщика поразил, как и меня...

Очень интересными персонами были точильщики. Их можно было видеть на рынках и около дверей продуктовых магазинов. Там они точили ножи, которыми пользовались продавцы. За эту работу продавцы, видимо, платили свои собственные деньги. Точильщики ходили и по домам. Обычно точильщик заходил во двор и многократно выкрикивал свой стереотипный призывный речитатив: «Точить ножи-ножницы, бритвы править!».

Жильцы спускались к нему через чёрный ход со своими ножами-ножницами. Иногда точильщик оставлял свой тяжеленный точильный станок

внизу около подъезда — чаще чёрного, но иногда и парадного — и обходил квартиры, собирая у жильцов «ножи-ножницы» (бритвы давали редко; заказы на правку бритв точильщики получали и выполняли, останавливаясь у дверей парикмахерских).

Спустившись к своему станку, точильщик точил всё собранное, а потом разносил выполненные заказы по квартирам и получал деньги. Меня всегда удивляло, как это точильщик не путал, какой отточенный им острый предмет в какую квартиру вернуть. Не мог же он полностью полагаться на указание заказчика: ведь кто-то мог вместо своего плохонького ножа потребовать великолепный... Прознав, что внизу работает точильщик, я старался поскорее спуститься и не пропустить феерическое зрелище.

На оси деревянного станка размещалось несколько точил — колёс разного диаметра, сделанных, как я стал позже понимать, из разных абразивов. На эту же ось был насажен небольшой шкив; он её и вращал. Ременной передачей этот шкив был соединён с нижним, диаметр которого был больше диаметра верхнего в несколько раз. Нижний вращался кривошипом, соединённым с педалью — деревянной дощечкой в самом низу станка.

На педаль ритмично — с нужной частотой — нажимал ногой точильщик. Из-за разницы диаметров маленький верхний шкив вертелся очень быстро. От соприкосновения лезвия точимого инструмента с быстро вращающимся точилом возникал сноп летящих вперёд искр. Меня занимало, но толком я в эту тайну проникнуть не мог, по какому принципу точильщик выбирает точило для очередного объекта своего труда. Иногда он применял последовательно несколько точил. Иногда в заключение он правил нож или бритву на ремне, который свисал со станины. Какие-то точила были обёрнуты кожаной лентой, игравшей роль абразива. Остановившись я и около точильщиков, работавших у двери магазина или парикмахерской — в тех случаях, когда я был один или пока взрослый, которого я сопровождал, делал свои дела в этом учреждении.

В нашем барском филатовском доме почти во всех комнатах были паркетные полы, составленные из плотно пригнанных друг к другу квадратных деревянных пластин. Только в комнате при кухне, предназначавшейся архитектором для кухарки, пол был выстлан линолеумом. Кухня, ванная, уборная и кладовка были вымощены кафельными шестиугольными серыми плитками.

Полы из линолеума и кафеля мыли водой, а паркетные полы надо было натирать воском. В первые годы моего детства для этой работы существовала особая рабочая профессия: «полотёр». Полотёры, как и стекольщики, ходили по дворам и предлагали громкими голосами свои услуги. Полотёра можно было нанять на Смоленском рынке или просто остановить на улице.

В отличие от стекольщиков, чьи услуги становились нужными в случайные моменты времени, полы надо было натирать периодически. Поэтому люди, пользующиеся услугами полотёров регулярно, обычно договаривались с кем-нибудь из них надолго, и такой полотёр приходил в условленные дни и часы — примерно раз в месяц. Но многие жильцы полы либо натирали сами, либо не натирали их вовсе. Вместо этого такие жильцы их мыли водой и этим портили: деревянные полы темнели и подгнивали.

В нашей квартире полотёров приглашали мои родители и Шелагуровы. Полотёр приходил со своими инструментами и материалами. На улице полотёра можно было легко опознать. Он нёс на плече, как ружьё, поло-

вую щётку, поддерживая её рукой. На щётку было надето ведро. Иногда полотёр держал ведро в другой руке. В ведре были тряпки, специальная щётка, большая кисть, кульки с сухой мастикой (краской для пола) разных оттенков коричневого цвета, куски воска и, возможно, другие инструменты и материалы, которые я не заметил или не запомнил.

Приступая к работе, полотёр вынимал из ведра все вещи, всыпал в пустое ведро известную ему дозу мастики нужного оттенка и шёл на кухню, чтобы развести эту мастику водой. Потом он тщательно подметал пол в комнате. Иногда он двигал часть предметов мебели. Потом кистью разбрызгивал жидкую мастику по полу по части комнаты, начиная от окна, и растирал её на этой части равномерно половой щёткой. Когда весь пол был покрыт мастикой, в процессе надо было делать примерно получасовой перерыв, чтоб мастика высохла.

Обычно у нас с Шелагуровыми был общий полотёр и общие дни натирки полов. Это давало возможность полотёру не терять времени. Намазав мастикой наш пол, он оставлял его сохнуть, а сам шёл намазывать пол к Шелагуровым. Через полчаса он возвращался к нам и начиналось самое интересное. Полотёр разувался и продевал правую ногу в ремешок, закреплённый на плоской прямоугольной, в размер ступни, тыльной деревянной части жёсткой щётки. Время от времени полотёр натирал щётку куском воска. С надетой на правую босую ногу щёткой полотёр начинал изощрённый танец, управляя своим перемещением левой ногой, для чего выделял сложные па с поворотами левых бедра и стопы вокруг вертикальной оси. В этом перемещении частично участвовала и правая нога, но главная задача этой ноги была в другом: тереть пол надетой на неё щёткой, то усиливая, то ослабляя нажим.

Меня движения полотёра восхищали. Когда я был совсем маленьким, я двигался по комнате за ним, стараясь повторять его шаркающий танец, и обычно мастер на мои глупости смотрел снисходительно. Достигнув пяти-шести лет, я за полотёром след вслед двигаться стеснялся, но когда он уходил, то отрежиссированный им балет повторял с возможной точностью. Хорошее представление о красоте танца полотёра даёт известная картина Кончаловского.

Раз в три—четыре года родители затевали в комнате ремонт. Для этого нанимали маляров. Они работали чаще парами — это диктовалось технологией. Маляров приискивали так же, как стекольщиков и точильщиков. Иногда маляров приводил дворник нашего дома. Ремонт в коридоре и в прочих местах общего пользования я не помню. Возможно, они приходились на летнее время, когда меня из города увозили.

Договорённость с малярами об объёме работы, её качестве, сроках и стоимости была сугубо неформальной, и возникавшие коллизии разрешались исключительно с помощью скандалов. Особенно часто нарушались сроки работ: то маляры пьянствовали, то не удавалось вовремя достать нужные для очередной фазы материалы.

Ремонт состоял в побелке потолков, в окраске оконных рам и батарей центрального отопления масляной краской и в окраске или в оклейке обоями стен. Для окраски стен применяли масляную или клеевую краску. Первый вариант предпочитали те, которые ценили возможность стены мыть. Второй — те, которые ценили свойство клеевой краски пропускать воздух, что превращало её недостаток: выкрашенные ею стены водой мыть было нельзя, ибо появлялись подтёки. Сторонники клеевой говорили, что стены, покрытые масляной краской, имеют казённый вид.

Обои продавались в магазинах рулонами. На нашу комнату требовалось около двадцати рулонов. Обои покупал заказчик — по своему вкусу и деньгам. Орнамент, напечатанный на обоях, бывал, как правило, весьма многоцветным и витиеватым — геометрическим или растительным. С другой стороны, ассортимент продававшихся в государственных магазинах обоев был не очень богат. Поэтому иногда случалось видеть, что комната твоего знакомого оклеена точно такими же изошрёнными обоями, как и твоя собственная.

Маляры устраивали себе мостки из двух лестниц-стремянки и перекинутой между ними доски. С этой доски, а иногда и просто с лестниц, они своими кистями с длинными палками доставали до наших высоких, более чем четырёхметровых потолков. Но чтоб соскрести с потолков старую грязь, без мостков было не обойтись. Потом потолок штукатурили свежей штукатуркой, потом красили рамы окна (обычно — белой краской). Для батареи выбирали бежевый или голубоватый тон. Иногда лакировали массивную дубовую коричневую дверь в комнату.

Впрочем, некоторые жильцы торопились перекрашивать шикарные дореволюционные двери тривиальной масляной краской белого или коричневого цвета. Когда краска на рамах и батареях высыхала, начинали клеить обои. Оклейке стен обоями предшествовали их оклейка газетами. Считалось, что обои при такой подложке не будут при наклейке образовывать складок. Несколько кип старых газет приносил откуда-то папа.

Ремонт был бедствием. Он, включая подготовку к нему и уборку после него, занимал несколько дней. Надо было выстилать пол газетами, чтобы его не запачкать. С той же целью надо было закрывать газетами или ненужными кусками материи мебель. Но, несмотря на эти предосторожности, всё пачкалось, и пол надо было особенно тщательно натирать, а мебель — отмывать от штукатурки. Во время ремонта невозможно было нормально жить днём и спать ночью. Иногда в предварительный договор с малярами входило и ежедневное угощение их обедом.

...В послевоенные годы вольные маляры и полотёры стали постепенно исчезать. Появилась государственная фирма «Заря», взявшая на себя многие услуги по ремонту квартир и поддержанию их в порядке. Появилась новая техника: электрополотёры и новые моющие средства. Но я вырос, у меня появилась собственная профессия, и я перестал замечать детали тех работ, которые в детстве меня занимали так глубоко...

Я написал, что оклейка стен обоями практиковалась чаще, чем окраска. Это предпочтение обоев краске довольно удивительно, потому что обои были более благоприятной средой для клопов, чем краска. Клопы были бичом тогдашней жизни. Они селились колониями на стенах под потолком. Их присутствие обнаруживалось в первую очередь по мерзким коричневым пятнышкам на простынях, которые замечались утром, когда застилала постель. Каждое пятнышко было следом от клопа, напитавшегося кровью спящего владельца постели и, к несчастью насекомого, раздавленного телом этого самого владельца.

Видеть живых клопов можно было редко. С наступлением дня они уползали в свои гнёзда под потолком. Иногда глаз человека замечал их при внезапном включении света ночью. Иногда на рассвете можно было видеть замешкавшееся насекомое. Локальная защита от клопов состояла в том, что кровать отодвигали от стены, по которой двигались ночью клопы, а ножки кровати ставили в консервные банки, наполненные водой. Этими банками надеялись защититься от клопов, ползущих в кровать

с пола — вдоль её ножек. Некоторые наполняли эти банки керосином: они надеялись, что керосин защитит их от коричневых гадов надёжнее воды и готовы были сносить испарения нефтепродукта. Но природа научила клопов ползти из гнезда по потолку и падать в кровать сверху — без промаха, как современная управляемая бомба.

Более эффективная борьба с клопами состояла в том, что хозяева комнаты лазали по лестнице к верхним частям стен и обливали вражеские гнёзда кипятком из носика чайника. Но эта мера уменьшала количество насекомых не на долгое время: всех особей и личинок таким способом уничтожить было невозможно, и уцелевшие быстро размножались вновь. Продававшиеся в керосиновых лавках бутылки с жидкостью для дезинфекции тоже не давали стопроцентного результата. А главное, все меры были впустую, если не удавалось договориться об их применении одновременно всеми жильцами квартиры: клопы из комнат несговорчивых жильцов мгновенно переползали в комнаты тех, кто труд и другие ресурсы в борьбу с клопами вложил.

...Насколько мне помнится, борьба с клопами стала успешной только в шестидесятых, когда появились отдельные квартиры и специальные дезинфекционные бюро, в распоряжении которых оказались квалифицированные специалисты и сильные средства. И то, и другое можно было вызвать для очищения своей квартиры. Специалисты надевали маски и с помощью ручной помпы распыляли что-то вредное для клопов. Кроме того, они обхлопывали какими-то мешочками с ядовитым порошком все стены.

Последний раз я виделся с клопами и с такой дезинфекционной командой зимой 1966-го. Мы въехали в новёхонькую отдельную квартиру только что построенного дома и — к ужасу и к полной неожиданности — увидели там сонмы клопов. Оказалось, что в нашей квартире был склад одежды строительных рабочих. В том числе ватников, в которых клопы обожали селиться: иногда рабочие в нашей квартире отдыхали и даже спали. Клопам этого было достаточно...

Таким же бедствием, как и клопы, но не в комнатах, а на кухне, были тараканы. Победы и поражения в борьбе с ними в технологической и социальных сферах вполне аналогичны одноимённым явлениям, относящимся к клопам, и я повторяться не буду.

Постоянной притягательной точкой был для меня открытый киоск или, лучше сказать, шкафчик, стоявший на Арбате на самом углу с нашим Кривоарбатским. Киоском владел армянин дядя Ваня. Его профессия называлась «чистильщик». Он был частником, как и точильщик или полотёр. Дядя Ваня обычно сидел на низком стульчике около своего киоска, дверцы которого были распахнуты. На полочках и в ящичках были видны товары, которыми дядя Ваня торговал, и разные нужные ему для работы предметы. Уходя домой, дядя Ваня всё убирал в свой киоск и все дверцы запирали. Сидя на стульчике, дядя Ваня либо обслуживал клиента непосредственно — чистил ему ботинки, либо выполнял оставленные ему заказы.

Внешность дяди Вани была типичной: большой нос, чёрные густые усы, летом кепка с большим козырьком и высывающиеся из-под фартука сапоги, зимой — шапка-ушанка и валенки с калошами. Роста дядя Ваня был небольшого, говорил с акцентом и охотно разговаривал со мной и с другими приходившими поглазеть на его работу детьми.

В Москве все чистильщики были армянами — как все продавцы вееров и свистулук — китайцами. Но, в отличие от китайцев, армяне оставались

на улицах Москвы до гораздо более поздних времён. Я момента их полного исчезновения и не заметил. Точнее, чистильщики были не совсем армянами, а какой-то разновидностью этого народа. Москвичи называли их айсорами, а они себя — ассирийцами. Был ли дядя Ваня действительно потомком воспетого Брюсовым царя Ассаргадона, сказать не умею.

Интересно было наблюдать за всеми видами работы дяди Вани. Той работой, которая дала название его профессии — чисткой обуви — дядя Ваня занимался не очень часто: поток клиентов, желавших воспользоваться этой услугой, был не больно интенсивен, граждане чаще чистили свою обувь дома сами.

Небольшое отступление. В те времена сословные различия в одежде очень чувствовались. Люди физического труда носили кепки и сапоги. А стекольщики и точильщики, появлявшиеся на улицах в момент перехода от одного места работы к другому, носили ещё и фартуки. Сапоги, фуражки и френчи или гимнастёрки носили военные. Шляпа, сорочка, галстук и ботинки были атрибутами человека, который в анкете в графе «социальное положение» писал «служащий». На Западе таких называют «белые воротнички». Впрочем некоторые служащие, стоявшие на низших ступенях этого сословия — счетоводы, конторщики — часто рядились под рабочих: носили кепки или фуражки, сапоги и — вместо рубашек с воротничком и галстуком — косоворотки.

К людям, одетым не так, как они, простолюдины относились с некоторым почтением. С другой стороны советский быт часто смешивал сословия — в магазинной или в трамвайной давке, в очереди за железнодорожными билетами и т. п. В таком смешанном обществе «чисто одетые» люди чувствовали себе порой неуютно. То и дело можно было слышать: «А ещё в шляпе!», «Очки сыми!» или что-нибудь в этом роде. Женщины из простого сословия ходили в сапогах и платках, с хозяйственными соломенными сумками, не пудрились и не красили губы, а женщины из «интеллигенции» — в туфлях на высоком каблучке и в шляпке, с подкрашенными губами и подпудренным носом, да ещё и с ридикюлями.

Мои родители не были богатыми людьми, но были одеты по интеллигентской форме. Об этом свидетельствуют старые фотографии. На упоминавшейся фотографии, сделанной на Воробьёвых горах, стоящая на первом плане мама держит в руках ридикюль, а на голове у неё — кокетливая шляпка. Как-то весной 28-го года, в выходной день, к нам пришёл в гости дядя Яша — папин двоюродный брат Яков Климентьевич Пейрос. У него был фотоаппарат — ситуация по тогдашним временам редчайшая. Это была коробка довольно большого размера. Мы пошли втроём гулять. В Большом Николопесковском на углу с Собачьей площадкой Яша нас с папой снял. Эта фотография и сейчас у меня. Папа — в шляпе, в демисезонном пальто, в ботинках — стоя просматривает газету. Через открытый ворот пальто видно, что папа в галстук. Я — рядом с ним, в пальтишке, в матросской шапочке, коротких штанишках и туфельках с перепонкой (мальчик из простой семьи уже с этого возраста носил кепочку, длинные брючки и ботинки со шнурками). Слева — Снегирёвская больница, а справа — двухэтажный дом с вывеской «Фруктовая и овощная лавка». Видимо, эта вывеска осталась от старых времён. Скоро возник другой стереотип «Фрукты, овощи». В том фасаде этого дома, который был уже за углом, на Собачьей площадке, помещалась часть музыкальной Гнесинской школы.

Итак, у дяди Вани чистили мужские ботинки. Ботинки были двух цветов — чёрные и коричневые (которые почему-то назывались «жёлтые»).

Правда, оттенков коричневого было несколько — от тёмно-бордового до светлого какао. Клиент ставил ногу на низкий ящичек перед скамеечкой дяди Вани. Точнее, на прибитую к ящичку колодку в форме подошвы ботинка. В ящике и на нём помещались сапожные щётки разного вида и многочисленные коробочки с гуталином.

Дальше начинался ритуал. Дядя Ваня отворачивал брюки клиента, и ботинок становился полностью открыт. В пространство между ботинком и ногой клиента, одетой в носок, дядя Ваня вставлял картонные прокладки — чтобы в процессе чистки не мазануть гуталином по носку. Потом дядя Ваня большой пушистой щёткой смахивал с ботинка пыль, а если надо, то соскребал с него специальным скребком засохшую грязь. Затем Дядя Ваня открывал коробку с гуталином подходящего цвета и тщательно намазывал небольшой жёсткой щёткой (для каждого цвета гуталина была своя щётка) ботинок клиента. Сделав это, дядя Ваня стучал по ящичку щёткой: это была команда клиенту снять эту ногу с ящичка и поставить другую. Операция повторялась со второй ногой. На этот раз стук щётки означал, что дяде Ване теперь снова нужна первая нога. Клиент менял ногу, и дядя Ваня начинал начищать ботинок, намазанный гуталином, который успевал чуть подсохнуть, двумя большими пушистыми щётками. Эта фаза была и на публику: щётки в руках дяди Вани выполняли сложные балетные номера. Эта фаза работы чистильщика напоминала работу полотёра, надраивающего паркет. Доведя ботинок до блеска, дядя Ваня вынимал из ящичка бархатную широкую ленту в полметра длиной и, растянув бархотку двумя руками за её концы, шлифовал ею уже начищенный — казалось бы, до полного совершенства — ботинок. Но нет! Сразу же становилось видно, как бархотка усилила сияние изделия. После очередного стука щёткой клиент подставлял под обработку последнюю свою ногу. Когда всё было окончено, дядя Ваня небрежным жестом забрасывал полученные от клиента деньги в тот же ящик, в котором хранилась бархотка и иные принадлежности.

Иногда перед походом в театр или в ответственные гости мама давала мне денег, я спускался к дяде Ване и превращался из ротозея в клиента. К восторгам ротозея в таких случаях добавлялись приятные щекочущие ощущения, вызываемые засовыванием прокладок между ботинком и ногой и прикосновениями щёток, которые через кожу ботинка доходили и до моей собственной кожи.

Дядя Ваня чинил (это называлось «заливал») калоши. Тогда этот вид верхней обуви был очень употребителен. Резиновые калоши надевали в сырую погоду поверх валенок, и в любую холодную дождливую — на ботинки и на дамские туфли. Калоши были чёрные и (если новые или только что вымытые водой) блестящие. Внутренняя часть калош была выложена красной подкладкой из тонкого войлока. По истечении пары сезонов новые калоши дырявились и начинали пропускать воду и снег. Починить калоши было дешевле и проще, чем купить новые. Для починки калош у дяди Вани были листы резины и резиновый клей.

Дядя Ваня вырезал заплату, не всегда заботясь об изяществе результата, тем более, что цвет заплат был преимущественно оранжевым. Затем начинался многофазный процесс. Напильником зачищалось прохудившееся место на калошине. Потом следовала зачистка напильником самой заплаты. Далее — намазывание резиновым клеем рваного места на калоше и поверхности заплаты. После этого намазанный клей должен был высохнуть. Следующая операция — намазывание склеиваемых поверхностей

вторым слоем резинового клея. И, наконец, соединение и сжимание склеиваемых поверхностей и высыхание всего, что получилось. Так дядя Ваня возрождал калошу — не очень красивую, но водонепроницаемую.

Примерно такой же была технология починки прохудившихся мячей. Но в этом случае сперва надо было выяснить, в каком месте мяча расположена обычно невидимая глазу дырка, через которую из мяча вышла часть воздуха (именно выход этой части уравнивал давление воздуха внутри мяча с наружным атмосферным давлением, что и делало мяч негодным к употреблению). Для обнаружения дырки дядя Ваня опускал мяч в тазик с водой, вращал его, выдавливая остававшийся в мяче воздух, и делал это до тех пор, пока в воде не становились видны пузырьки, выдававшие притаившуюся дырочку.

Потом Дядя Ваня, как и при заливке калош, приготавливал заплату и склеиваемые поверхности и заклеивал дырку. Но часть заплаты оставалась не приклеенной к мячу. Перед окончательной склейкой дядя Ваня надувал мяч (в котором дырка уже была под приклеенной частью заплаты и воздуха из мяча не выпускала) ручным насосом, вроде велосипедного. Шланг этого насоса оканчивался трубчатой иглой. Иголку дядя Ваня вкалывал в мяч рядом с бывшей дыркой — так, чтобы дырка от иглы насоса оказалась под заплатой, когда она будет приклеена к мячу целиком. Надув мяч до нужной упругости, дядя Ваня иглу выдёргивал и быстро наклеивал оставшуюся часть заплаты на дырку от иглы. Старый заслуженный мяч пестрел от рыжих и серых заплат, которые появлялись на его поверхности от многократных починков.

Ещё одно ремесло дяди Вани касалось коньков. Коньки, приклёпаные к ботинкам намертво, были тогда редкостью. Дети лет до 12 катались на коньках, которые прикреплялись к валенкам или к обычным ботинкам. К валенкам коньки — обычно это были простые «снегурки» — привязывались сложным сплетением бечёвок, которое стягивали, вращая вставленную в одну из петель этого сплетения палочку. Часто этой палочкой была половинка от бельевой прищепки. Этой системой пользовались обычно мальчики из простых семей.

Дети из более высокого сословия прикрепляли съёмные коньки к ботинкам. В передней части конька была пластина, на которую ставился носок ботинка. Рант ботинка оказывался между двумя скобами, которые можно было стягивать и раздвигать, вращая барашек. Пяточная часть конька соединялась со специальным отверстием на каблуке ботинка. Вот это-то отверстие (оно называлось «пластинка») отдавали делать дяде Ване. Он просверливал в каблуке небольшое углубление и навинчивал на него специальную металлическую пластинку с отверстием для крепления конька. Смотреть за тем, как дядя Ваня вделявал в каблуки такие пластинки, было тоже интересно.

Дети, играя, принимают разные позы, и часто в процессе игры или беготни было видно, есть ли у того или иного ребёнка пластинки на каблуках. Если нет — значит, ребёнок рохля: на коньках не катается. Мысль том, что у этого ребёнка есть настоящие коньки с ботинками, и в голову не приходила. Съёмные коньки были трёх видов: «снегурки» с загнутыми полукругом носками, «нурмесы» — вроде снегурок, но с носками, идущими к лезвию конька под острым углом, и «английский спорт» с массивными лезвиями, не имевшими в передней части никаких загонглин. Все эти коньки были «детскими». Старшие дети и взрослые катались на «гагах» (хоккейные коньки) и на «норвегах» (беговые коньки). Такие

коньки были только намертво приклёпанными — к специальным, с тёплой подкладкой, ботинкам. Я свои первые гаги получил в третьем классе. На гагах и норвегах можно было кататься только на ледяных катках. Ну а в более молодом возрасте мы телепались на своих снегурках и нур-месах по снежному насту в переулках или на сквериках и на бульваре.

Я застал ещё фонарщиков — представителей чуть ли не средневековой профессии. Они выходили на работу в сумерки и зажигали уличные фонари. До конца двадцатых годов фонари в Москве были газовые, а ещё раньше, наверное, керосиновые. У каждого фонарщика, как я теперь понимаю, был свой участок. Он с лестницей в руках обходил уличные фонари своего участка, приставлял к каждому фонарному столбу свою лестницу и поднимался по ней к стеклянному фонарю, имевшему форму четырёхгранной усечённой пирамиды, установленной на столбе меньшим основанием. Так что фонарь кверху расширялся. Фонарщик открывал одну из граней фонаря, отвёртывал газовый краник и зажигал газовый светильник, находившийся в фонаре. Потом он фонарь закрывал и спускался вниз. Для нас, детей, фонарщики своих лиц не имели: слишком быстро они своё дело около нас делали и уходили дальше, в контакт с нами не вступая. Потом фонари оборудовали электрическими лампочками, и фонарщики исчезли.

Интерес вызывала у нас работа дворников. Они носили поверх одежды белый (обычно грязноватый) фартук. Их главной обязанностью было содержать в порядке летом и зимой улицы, дворы, бульвары и скверы. В те времена не было поливальных, подметальных, снегоуборочных и пр. машин, и всю свою работу дворники делали вручную. Дворники входили в штат домоуправлений. Каким-то боком они были подчинены и милиции. А позже, во времена сталинского террора выяснилось, что их использовали в качестве понятых при обысках и арестах.

Зимой после каждого снегопада дворники широкими лопатами сдвигали выпавший снег с проезжей части улиц и переулков к кромкам тротуаров. Сюда же сметался и соскребался (это делалось специальными скребками) снег с тротуаров. В результате вдоль тротуаров возникали валы снежных сугробов. Их периодически убирали. По городу ездили грузовики с рабочими, которые накопленный вдоль тротуаров снег лопатами забрасывали в кузов и куда-то увозили. В некоторых местах на улицах зимой устанавливали снеготаялки — большие котлы с подтопкой. Часть собранного снега сбрасывали в эти снеготаялки.

Снег с улиц убирали недостаточно быстро, и вдоль тротуаров успевали вырастать линии сугробов в метр—полтора высотой. Через каждые несколько метров в этой длинной снежной гряде оставляли проходы: они давали возможность пешеходам без больших затруднений переходить с одной стороны улицы или переулка на другую.

После оттепелей наступали морозы, и около водосточных труб возникали пласты льда. Лёд дворники разбивали специальными стальными тяжёлыми палками длиной в метр с небольшим, а диаметром сантиметра в три. Один из концов палки был заострён. Этот инструмент назывался ломом. Разбитый ломом лёд сгребался в сугробы вместе со снегом.

Видя, с какой лёгкостью дворник манипулирует своими приспособлениями, у детей возникала охота тоже позабавиться ими, и они просили у дворника лопату, скребок или лом. Иногда дворник, желавший немного отдохнуть, такие просьбы удовлетворял. Я понял, как тяжело работать дворнику. Я мог более ни менее успешно только сгребать снег. Скребок

в моих руках лишь безрезультатно скользил по поверхности снежного наста, а лом я мог разве что только приподнять...

В тёплое время года дворники подметали улицы и мыли их, поливая струями воды. Для подметания дворники использовали мётлы из тонких деревянных прутьев. Сметённый в кучку мусор дворник подбирал большим жестяным совком и сносил в мусорные ящики, расставленные по дворам.

Поливали улицы с помощью длинных — метров в двадцать — специальных шлангов из толстой резины. В просторечии такой шланг назывался кишкой. В поперечнике кишка была сантиметра четыре. Один конец кишки завершался металлическим наконечником с отверстием, диаметр которого был раза в четыре меньше диаметра кишки. На другом конце кишки была металлическая втулка с внутренней резьбой. Эта втулка навинчивалась на специальный кран. Такие краны торчали из проложенных на тротуаре вблизи стен домов водопроводных труб. Теперь те краны исчезли, а их аналоги для пожарных шлангов называются гидрантами и прячутся в колодцах, металлические крышки которых можно часто видеть на асфальтовых покрытиях улиц современных городов.

Открывать или закрывать такие кран для поливки мог только дворник. Для этого у него была металлическая круглая диаметром в несколько сантиметров рукоятка с небольшим квадратным отверстием в центре. Дворник этим отверстием надевал рукоятку на штырёк с квадратным сечением, торчавший из крана. Без заветной рукоятки штырёк повернуть было невозможно, и шалун, вознамерившийся использовать поток воды из крана для неблагоприятных целей, сделать этого не мог. Но если ему очень хотелось, то он ценой небольших хлопот подобрать подходящий гаечный ключ мог.

Собравшийся поливать улицу, дворник приносил с собой свёрнутый в круг шланг, навинчивал его втулку на кран и развёртывал шланг, отходя при этом от крана примерно на длину шланга. Теперь дворнику надо было вернуться к крану, надеть на него круглую рукоятку и повернуть её, чтобы пустить воду. Обычно перед этим дворник давал наконечник шланга в руки кого-либо из гулявших поблизости знакомых ему детей лет восьми или старше. Вода доходила до наконечника раньше дворника, и счастливый избраннык, которому был вручён наконечник, мог несколько секунд самостоятельно поливать улицу сильной струёй воды.

Несколько раз и я был удостоен чести помочь таким способом дворнику. Я помню, какими неожиданными в первый раз были мои ощущения. Одно — от немалой реактивной силы, создаваемой струёй, вырывающейся из наконечника под сильным давлением, а второе — от неожиданного почти непосильного для меня утяжеления отрезка шланга от моих рук, державших наконечник, до земли: эта часть шланга тяжелела, когда до неё доходила вода.

Если получивший в свои руки наконечник кишки мальчик использовал его для шалости: обливал кого-нибудь из прохожих или направлял струю вверх, и брызги этого импровизированного фонтана обрушивались на окна нижних этажей соседних домов или на людей, то дворник такому шутнику больше наконечника не доверял. И наоборот, добросовестным помощникам дворник доверял струю не только на полминуты в начале процесса, но время от времени на несколько минут для настоящего дела — смывания пыли и грязи с тротуаров и с мостовых. Возникавшие от дворничьей струи потоки грязной воды стекали в прикрытые железными решётками коллекторы, вырытые в мостовой через каждые сто—двести метров.

Наблюдение за работой людей простых профессий (а с некоторыми из них у меня возникало и лестное для меня общение) побуждало меня к мечтам о моей будущей профессии, которые шли решительно вразрез с теми представлениями об этом предмете, которые были у взрослых. Я хотел быть дрессировщиком медведей, выступавших на бульваре, полотёром, стекольщиком, шофёром, продавцом воздушных шаров или мороженого и дворником. Профессия врача, с которой я сталкивался сравнительно с другими интеллигентными профессиями довольно часто, меня не привлекала совсем, хотя игра в доктора в нашем детском обществе была популярной. Сути профессий моих родителей и тёток я себе не представлял совсем, этим незнанием не тяготился, и быть знатоком немецкого языка, или плановиком, или юристом не стремился.

На лето 29-го родители сняли дачу в Краскове. Рано утром в весенний день папа отправился на Смоленский рынок и привёл оттуда подводу (телегу, запряжённую лошадей), вместе с возницей, её владельцем. Подвода стала около нашего подъезда в Кривооарбатском. Папа и возница перетаскали за несколько ходок из нашей квартиры к подводе вещи, предназначенные к перевозке на дачу. Не помню, работал ли в тот момент лифт или был на ремонте. Впрочем, и в работающем состоянии возить на нём вещи, да ещё и вниз, запрещалось. Возчик умело перевязал погруженные на телегу вещи толстой верёвкой, и подвода с вещами, папой и возчиком двинулась на дачу в Красково. А мы с мамой и Бабусей с лёгкими вещами в руках взяли извозчика (они обычно стояли у нашего подъезда) и поехали на Казанский вокзал. Там мы сели в дачный поезд и поехали в Красково. Поезд был паровой. Конечно, вся эта дорога меня очень развлекала. От станции Красково до нашей дачи было недалеко пешком. Когда мы пришли туда, то папы с вещами ещё не было. Подвода появилась через два или три часа.

Постоянными жителями снятой нами части дачи были Бабуся, домработница Шура и я. Дача была не совсем деревенской избой. Например, к ней была пристроена открытая терраса. Папа работал, мама этим летом сперва кончала учебный год в Институте иностранных языков, а в июле или в августе съездила в сердечный санаторий в Кисловодск, от какой поездки осталась фотография: элегантно одетая по тогдашней моде мама сидит в парке на скамейке с каким-то незнакомым улыбающимся мужчиной.

Роль папы в моей дачной жизни я помню значительно отчётливей, чем роль мамы. Раз в два-три дня мы ходили с Бабусей на станцию встречать папу. Он приезжал на паровом дачном поезде с зелёными вагонами и всегда привозил мне игрушки и гостинцы. Апофеоз этого удовольствия случился 15-го июля — в день моего рождения. Папа сошёл с поезда с трёхколёсным велосипедом в руках. Я о таком мечтал давно. Велосипед был тяжёлый, я поднимал его с трудом. Тогда в отечественном производстве детских велосипедов металлические трубки не применялись. Вся конструкция, включая ободья колёс, была изготовлена из довольно толстой стальной ленты. Спицы тоже были металлические. Я много на этом велосипедике катался по дачному участку, а потом ещё много лет — по коридору нашей московской квартиры.

Было ещё одно любимое развлечение, доставляемое мне (да и себе самому) папой. Он обнаружил, что в Краскове, на одной из соседних улиц снимает дачу его гимназический товарищ Саня Литвин. Я о нём ничего не знаю; запомнился мне только серьёзный мужчина в очках.

У Сани был взрослый двухколёсный велосипед, и он давал его моему папе покататься. Папа велосипедом владел прекрасно. Получив в своё пользование велосипед, папа привязывал бечёвкой к его горизонтальной раме маленькую подушечку, сажал меня на неё, разгонялся, вскакивал в седло, и мы пускались в длинные прогулки по дачным улицам и лесным тропинкам Краскова и его окрестностей.

Я сидел на раме боком, как дама в седле на лошади, и держался руками за среднюю часть руля — но не слишком крепко, чтобы не мешать папе маневрировать. Я держался вполне уверенно. Только когда я видел, что тропинку пересекает толстый корень дерева, моё сердце замирало, потому что даже если этот корень замечал и папа и старался смягчить подскок велосипеда при переезде через это утолщение дороги, удар рамы по моему собравшемуся в комок задку всё равно был весьма ощутимым. Папа рассказывал мне — и я эти рассказы обожаю — что когда он перешёл в старший класс гимназии, то родители купили ему настоящий двухколёсный велосипед, и он ездил на нём по всему Асхабаду. Куда этот велосипед девался, папа толком ничего мне не рассказал.

Тогда, в конце двадцатых, в Союзе отечественной велостроительной промышленности не было — из-за отсутствия собственного производства шарикоподшипников. Велосипеды были в редкость — только те, что сохранились от дореволюционных времён, и те, которые привозили элитные чиновники из зарубежных командировок. Все эти редкие велосипеды были, таким образом, только иностранных марок. Папа объяснил мне, что Санин велосипед — латвийский, а его собственный в Асхабаде был английский. Папа научил меня распознавать национальную принадлежность велосипедов (помнится, только два упомянутых варианта и было) по форме узорчатых спиц ведущего зубчатого колеса, которое приводилось во вращение педалями, и от которого шла цепная передача к втулке заднего колеса велосипеда.

Папа ввёл меня и во всю велосипедную техническую терминологию. Иногда во время нашей прогулки спускала шина или случалась иная мелкая поломка. Тогда папа доставал из висевшей на велосипедной раме сумки, приятно похожей на кобуру нагана, кусочки резины, резиновый клей, рашпиль, переворачивал велосипед, поставив его на руль и седло, и принимался за починку. Папина уместность меня восхищала.

Мне помнится, что в начале тридцатых, когда руководители страны стали думать о создании велосипедной промышленности, то они придумали и особую форму привлечения средств населения к этому процессу: стали выпускать специальные облигации, которые назвались «велообязательствами». Владельцу выплаченного велообязательства гарантировалось первоочерёдное — после пуска первого велосипедного завода в эксплуатацию — приобретение велосипеда: дефицит велосипедов предвиделся заранее. Следы этой шумной кампании остались в названиях московских улиц: Шарикоподшипниковская и Велозаводская. Это вам не Арбат с Солянкой...

Потом стали выпускать «фотообязательства» — с правом приобретения первенцов советской фотопромышленности — аппаратов «Фотокор» и «ФЭД». Насколько я помню, обе эти кампании были без обмана: кто подписывался и выплатил, тот и получил — в отличие от их потомков, прельстившихся посулами жульнических финансовых пирамид, возникших и лопавшихся в начальный период перехода к свободной рыночной экономике в начале 90-х. Мои родители этими облигациями не воспользовались.

Может, просто потому что не было лишних денег. И ни у папы, ни у меня собственного велосипеда так никогда и не появилось.

...Но в семье моей первой жены Гали велосипеды были, и летом сорок восьмого, когда моему сыну Сашеньке было три года, я его сажал на раму, как папа меня, и ездил с ним по делам и просто так — по дачному посёлку Валентиновка по Ярославской дороге, в котором наша семья снимала дачу.

Моя старшая дочка Катя, рождённая в браке с Машей, провела часть первых летних сезонов в её жизни в дачных местностях по Казанке — в Кратове и на 42-м километре. Так как собственного велосипеда у меня не было, мы приспособились брать велосипед напрокат на всё лето. Была такая услуга — прокат вещей. Там и раскладушку можно было взять, и самовар.

Я много километров проделал на велосипеде с маленькой Катенькой, но я сажал её не на раму, а на багажник. На багажник я клал маленькую подушечку и крепко её привязывал: чем не седло! Через пружины настоящего седла я просовывал (перпендикулярно раме велосипеда) и закреплял тесьмой палочку с гладко обструганными концами. Эта палочка была для седока на багажнике рулём, за который он держался. По-моему, Кате на багажнике было лучше, чем мне на раме.

Потом несколько сезонов подряд мы с Машей дачу под Москвой не снимали — либо увозили дочь на юг, либо Катя проводила лето на даче с детским садом. Но после рождения младшей Томочки мы снова два лета (в 69-м и 71-м) прожили на даче. Тоже по Казанке, но — в Быкове. Теперь я брал напрокат уже два велосипеда: Катя подросла и стала ездить сама, да так виртуозно, что ни мне, ни моему папе никогда и не снилось. А место на раме или на багажнике заняла Томочка, подхватывая связь времён ещё на какой-то срок. Едучи на велосипеде с кем-нибудь из моих детей, я всегда старался замечать все корни деревьев, пересекавшие наш путь, и либо объезжал их, либо переезжал с максимальной осторожностью...

На даче в Краскове в то лето 29-го мы занимали одну или две комнаты и делили открытую террасу с другими дачниками — тоже с ребёнком, моей сверстницей Таней. Никаких воспоминаний о наших с Таней играх у меня не осталось.

Хозяева дачи ютились в одном из флигелей дома, и я их встречал редко. Их семья состояла из мужа с женой и нескольких детей разных возрастов. Они занимались настоящим крестьянским трудом: работали в своём огороде, который был в задах нашего дома, и ездили, запрягши свою лошадь в телегу, на свой участок поля. Поле было где-то в отдалении, и я там не бывал никогда.

Только один эпизод остался в моей памяти. Я почему-то всё же очутился на половине хозяев, и как раз в тот момент, когда большая семья садилась за стол. Хозяйка посадила и меня, дала мне, как и другим, деревянную ложку. Но в добавок — особую тарелку, в которую она налила мне половник похлёбки из стоявшего на столе большого чугуна. Все остальные едоки молча опускали свои деревянные ложки в чугунок.

Я зачерпнул из моей тарелки ложку похлёбки с большим куском разваренной картошки и взял картошку губами. Картошка оказалась очень горячей, и я, ойкнув от испуга, тут же вывалил её изо рта обратно в ложку и принялся на неё дуть. Маленькая хозяйская дочка моих примерно лет, наблюдавшая, очевидно, за действиями городского мальчика, сказала мне сочувственно: «Горячая картошка?». Эти слова были мне очень приятны. Я с нужными предосторожностями доел похлёбку, и у меня на много лет

осталось явственное впечатление и убеждение, что это — самое вкусное из того, что я когда-нибудь ел.

Мы иногда ходили купаться на речку Пехорку. Мы располагались на очень крутом песчаном берегу, спускавшемся к неширокой реке. В те годы купальные костюмы, позволяющие обоям полам купаться совместно, распространены не были. На берегах даже небольших подмосковных речек и прудов выделялись специальные мужские и женские пляжи. Бабушка, естественно, брала меня с собой на женский пляж, занимавший участок на том песчаном откосе. С него был виден (мне тогда казалось что — вдалеке) низменный луговой берег. Он был вроде уже в другом мире. Бабушка выбирала подходящее место, расстилала одеяло или простыню, раздевала меня, раздевалась сама, и мы включались в шумную жизнь местного общества.

Я к разворачивавшемуся передо мной зрелищу в стиле полотен Рубенса относился вполне просто. Тем более, что кроме меня, там было много других мальчиков и девочек. Голые женщины относились к обилию голой детворы обоим пола, шумно носящейся по крутому песчаному берегу, как к явлению природы. И даже не только детвора не мешала женщинам чувствовать себя свободно. Они расхаживали, загорали и купались, не делая ни малейшей попытки как-то прикрывать свою наготу, хотя любой мужчина, проходя по противоположному луговому берегу узкой речки, мог, надо думать, видеть обитательниц женского пляжа простым глазом и совершенно во всех деталях. Из описанной картины выходит, что несмотря на то, что тогдашние понятия о приличиях были в целом, по сравнению с теперешними временами (мини, топлес, стриптиз, порнофильмы и пр.) весьма пуританскими, понятия об их соблюдении были на Пехорке (и не только) не слишком педантичными.

Бабушка иногда брала с нами на речку и нашу тогдашнюю домработницу Шуру — крепкую деревенскую девушку. Она, не чинясь, играла со мной, будучи в костюме Шуры (сделанному по тому же фасону, что и костюм её праматери Евы). Одна из игр состояла в том, что я пытался засыпать тамошним мелким и сухим песком её живот и грудь, а она после нескольких минут моих тяжких трудов неуловимо двигала мышцами, и весь песок с неё соскальзывал. Шура хохотала, ибо ей, наверное, эти шалости и скольжение струек песка по телу доставляли удовольствие.

...Через Пехорку между Томилиным и Красковым перекинут железнодорожный мост. Мне, взрослому, много раз приходилось ездить в электричках и переезжать через Пехорку. Под мостом и около него оба берега речки — низменные, луговые. Но левый (если смотреть на реку из окна электрички, идущей из Москвы) берег чем дальше от моста, тем выше. Из окна электрички было видно, что вдали его высокий склон покрыт песком. Вот, наверное, именно туда мы и ходили в 29-м с бабушкой и Шурой купаться...

Дачная жизнь пролетала быстро, и я снова возвращался в городские условия. Иногда в тёплое время года папа водил меня в Зоопарк. Тогда говорили: «Зоологический сад». Смотреть на зверей было мне неинтересно, но большой тяги туда у меня не было. Примерно в это время открыли и «новую территорию», на которой животные содержались не в клетках и закрытых павильонах, а на открытом воздухе в каньонах, защищавших посетителей от возможных атак со стороны львов, тигров и медведей. Мне больше всего нравилось кататься на пони. Кажется, там был ещё и верблюд, запряжённый в тележку.

...Много лет спустя я водил туда и моих детей, и моих внуков. У меня осталось впечатление, что это заведение за прошедшие годы не изменилось. Возможно такое представление явилось следствием моего дилетантизма и малым интересом к животному миру...

Моя домашняя жизнь состояла, главным образом, из чтения. Радио у моих родителей не было. Приёмники, особенно ламповые, с громкими динамиками были в те поры совершенной редкостью. Водились детекторные приёмники, которые звучали тихо через наушники. Но уже стали распространяться радиотрансляционные «точки» — висевшие на стенах чёрные «тарелки» динамиков. Шнур от тарелки втыкался в особую розетку, установку которой надо было заказать в специальной конторе. Тарелки звучали довольно громко и передавали две программы: «Радиостанция им. Коминтерна» и «Радиостанция ВЦСПС». Чем эти программы отличались друг от друга, я не знаю. Но даже тарелки у нас не было вплоть до конца 35-го года, и я ходил слушать радио к соседям.

Вообще, я продолжал таскаться по соседям, и большинство из них были со мной ласковы, заводили со мной разговоры и, как я теперь понимаю, весьма щедро тратили на меня своё время. В те годы было мало игр, которыми ребёнок мог забавляться в одиночку. Кроме лошадки у меня появлялись и лопались мячики разных размеров. Они служили не подолгу и начинали пропускать воздух. Тогда я их нёс к дяде Ване.

Играть с мячиком в комнате мне не позволяли. Мячик можно было катать по полу вдоль длинного коридора. Он попадал под ноги и причинял неудобства взрослым соседям, но они на меня не сердились. В передней можно было бросать мячик в стену и ловить его. Когда после лета в Краскове у меня появился трёхколёсный велосипед, то я гонял на нём по нашему длинному коридору с заездами на кухню и в гости в соседские комнаты.

Ближе к семилетнему возрасту мне стали попадаться книги потолще. Я сам читал «Робинзона Крузо», «Дон Кихота», «Путешествия Гулливера», «Гаргантюа и Пантагрюель». Причём в мои руки попадали не адаптированные издания (я не уверен, что тогда такие были), а полные варианты подобных сочинений. Так что я знал о путешествии Гулливера не только к лилипутам, но и в другие точки Света. Конечно, оруэловские обертонны, вложенные Свифтом в его истории, до меня не доходили, но интересно — было.

В самом конце двадцатых или в начале тридцатых — вскоре после пуска газа и установки газовых конфорок в кухнях — стала действовать и газовая колонка, греющая воду в ванной. Эта большая колонка висела над кранами ванной всегда (возможно, что в первое после постройки дома время она была не газовой, а дровяной), но в первые послереволюционные годы она бездействовала, и ванна служила только для замочки белья перед стиркой. Теперь ванну стало можно использовать по прямому назначению. Конечно, обилие жильцов на одну ванну создавало некоторые сложности для каждой семьи, но какие-либо конфликты, связанные с этой техникой, мне не запомнились. По утрам, вообще, колонкой не пользовались. Тому были причины.

Во-первых, все привыкли совершать своё утреннее омовение над раковиной с одним лишь холодным краном. Руки, зубы, лицо и шею — пяти минут хватало, и я не помню утренних очередей в ванную. В крайнем случае эти руки, зубы и пр. можно было вымыть и в кухне.

Во-вторых, по утрам напор воды в водопроводной трубе был недостаточным для нормального и безопасного горения газовой колонки: её бак

при открытом выходном кране мог, наполняясь недостаточно интенсивно, опустеть и тогда — распаяться от газового пламени. Так что горячую ванну принимали по вечерам.

Помнится, и для этой процедуры какие бы то ни были графики, расписания и иные формы договорённостей не практиковались. Если ванная комната была свободна, то её можно было занять и пользоваться ею разумное время. Это было обычно меньше часа: минут двадцать уходило на наполнение ванны и столько же — на собственно мытьё.

На стенках ванной комнаты висели шкафчики и полочки, и на них каждая семья хранила свои мыльницы, зубные порошки и зубные щётки. Но полотенца приносили с собой.

Хотя по вечерам напор воды был лучше, за процессом наполнения ванны надо было следить: если струя нагретой воды из крана ослабевала, нужно было уменьшать, а то и совсем гасить газовую горелку.

Я процесс наполнения ванны очень любил, и мне его доверяли — не только тогда, когда ванна наполнялась для меня самого, но и для папы или для мамы. Кто-нибудь из взрослых мыл ванную. Эту процедуру надо было делать тщательно, ибо до тебя ванну принимал чужой человек. Для мытья ванной употребляли стиральное — «простое» — мыло, стиральную соду и жидкое вещество, которое называлось «каустик». Потом взрослый зажигал спичкой маленький газовый фитилёк, пускал воду и, если вода энергично текла, включал газ на полную мощность. От фитилька горелка вспыхивала и озаряла волшебным светом ванную комнату. С этого момента я управлял системой самостоятельно. После того, как мне исполнилось лет восемь, я выполнял и начальные процедуры.

Вспыхнувший газ гудел, и этот звук смешивался с шумом воды из крана. Я садился на край ванны и читал свою книжку. Иногда я даже выключал электрическую лампочку на потолке ванной комнаты: мне хватало (как утверждал я в ответ на недоумение взрослых) света от газовой горелки. На самом деле я наслаждался всей таинственной обстановкой, в которой оказывался. Мне нравились шум и горящего газа, и льющейся из крана воды, и тепло, исходившее от горячей воды, и непосредственно от открытого пламени газовой конфорки.

Если напор воды уменьшался, я принимал должные меры, пламя горелки тускнело или исчезало совсем, читать при газовом свете становилось невозможно, я включал верхний электрический свет, и всё становилось будничным и неприятным. Я терпеливо ждал: газовый фитилёк оставался горящим, и когда, наконец, вода — холодная! — начинала вырываться из крана с нужным напором, я возвращал рычаг подачи газа в прежнее положение, и любимое мною пламя вспыхивало снова. Позже — в начале или середине тридцатых — колонки оборудовали автоматическими устройствами, которые при ослаблении напора воды сами уменьшали или прерывали подачу газа. Пользоваться ванной стало безопаснее, но скучнее. Душем пользоваться не рисковали ни до, ни после автоматизации: внезапное ослабление или исчезновение напора и следовавший за этим перерыв в процессе мытья действовали на стоявшего под душем намылившегося жильца отрицательно.

В лето тридцатого года мамина тяга к нестандартному способу отдыхать снова получила поддержку дяди Гриши. В это время он и тётя Броня жили уже в Ростове-на-Дону. Деятельность дяди Гриши как заготовителя сельскохозяйственной продукции, распространялась на станции, расположенные на Дону и на Кубани. Занимаясь этой работой, дядя Гри-

ша не забывал об их с тётей Броней любимой племяннице Полюночке и об её сынишке. Дядя Гриша, как теперь говорят, «организовал» наш с мамой отдых в большой станице Славянской. Т. е. он снял там для нас помещение и наладил какую-то схему нашего питания.

В Славянскую и обратно мы ехали через Ростов и оба раза на несколько дней останавливались у гостеприимных родных. Сама поездка по железной дороге была для ребёнка (а может, и не только для ребёнка) большим развлечением. Более впечатляющим, мне кажется, чем теперь в самолёте.

Чтобы сесть в вагон, мы входили на платформу вокзала. Справа и слева от платформы шли рельсовые пути. На одном из них стоял наш поезд, паровоз которого был далеко — в голове состава, и мы до него не доходили. Другой путь был обычно пуст, но если везло, то на нём стоял недавно прибывший поезд. Так что мы проходили в непосредственной близости мимо паровоза, который этот поезд только что притащил. Это было зрелище! Паровоз шипел, из каких-то отверстий вырывались струйки пара, у него были огромные красные колёса. Было и страшновато и завлекательно...

Вокзальная жизнь оживлялась гудками паровозов, снованием многолюдной толпы (ну это, слава Богу, осталось) и наличием огромного количества носильщиков в белых передниках. Тележки тогда почему-то не употреблялись (на них возили только вещи, сданные в багаж, но мало кто это практиковал: обычно вещи брали с собой в вагон), и носильщик шёл обвешанный чемоданами и тюками, связанными специальными ремнями. Носильщик, помимо висевших на нём четырёх вещей (тогда говорили: «мест»), нёс в обеих руках ещё по месту. Иногда это были вещи разных клиентов, и носильщик выгружал их по мере прохождения от площадки перед вокзалом, куда на трамваях или на извозчиках или на такси подъезжали клиенты и где носильщика нанимали, до вагонов, в которых клиенты ехали. Конечно, носильщик подбирал разных клиентов из одного поезда. Некоторые пассажиры договаривались с носильщиком, что он не только донесёт вещи до вагона, но войдёт в вагон и уложит их на третью полку или сунет их под лавку. В таких случаях носильщик сгружал с себя вещи оставшихся клиентов, делал свои дела в вагоне, выходил и продолжал обслуживание оставшихся.

Позже я узнал (и стал свидетелем и соучастником) об ещё одной функции носильщиков. Она, вроде, была побочной по отношению к главной, давшей этой профессии имя — носить вещи (места!). Но в течение многих лет эта побочная функция была фактически главной. Она была порождена тем, что билеты на дальние поезда были при советской власти, как правило, дефицитными. Особенно — билеты в жёсткие купированные вагоны. Они были не намного дороже билетов в плацкартные, но ехать в купе было гораздо комфортабельнее, чем в общем вагоне. Так вот носильщики брались — за особую плату — купить пассажиру билет. Другая — более дешёвая — форма билетной услуги — занять пассажиру хорошее место в очереди в кассу.

Администрация вокзала или станции с этим бизнесом фактически примирялась. Носильщики вступали в корыстный договор с кассирами и с самой администрацией, и это явление поутихло только со снижением дефицита, которое произошло после того, как ощутимую долю потока пассажиров взяла на себя дальняя пассажирская авиация...

Во время пути, глядячи в окно — а в этом занятии проходило в основном всё путешествие — ребёнок видел страну. Перед его глазами проноси-

лись или медленно проходили меняющиеся пейзажи и события — леса, поля, стада домашних животных, мосты и текущие под ними реки. При подъезде к промежуточным станциям перед моим взором возникали станционные постройки, ветвящиеся вспомогательные рельсовые пути, по которым двигались или на которых стояли многочисленные паровозы, тянущие за собой составы пассажирских или товарных вагонов или в свободном состоянии, без вагонов, спешащие по своим делам, и делающие разные манёвры задним ходом.

Из Ростова в Славянскую и обратно нас отвозил дядя Гриша. Жизнь в Ростове мне очень понравилась, и несколько эпизодов и впечатлений мне запомнилось. Дядя Гриша и тётя Броня жили в самом центре города, на Садовой. Это был серый пятиэтажный дом с коммунальными, естественно, квартирами. У наших гостеприимных хозяев была одна большая комната. У кого-то из многочисленных соседей был ёжик, который беспрепятственно передвигался по всей квартире. Как-то раз я был дома, а мама ушла по каким-то делам. Раздался звонок во входную дверь. Я понял, что это вернулась мама, и выбежал открывать. Дверь из комнаты дяди и тётки выходила в очень большую тёмную переднюю, и я должен был пересечь её, чтобы достичь входной двери. Я бежал быстро и с размаху ударил босой ногой (в южных городах летом дети обычно бегали по дому босиком; много позже я встретился с этой традицией и в Израиле) попавшегося на моём пути ёжика. Боль была очень сильная, и я, открывая маме дверь, громко, к её крайнему испугу, всхлипывал. До отъезда в Славянскую эта травма прошла.

Как-то мы пошли с тётёй Броней гулять на бульвар, и тётя показала мне на местную достопримечательность: по бульвару ходила дама, ведя привязанную тесёмкой за ногу курицу — вместо привычной болонки.

Тётя, надо думать, хорошо готовила и всячески изощрялась, чтобы повкуснее угостить любимую племянницу и меня. Но я запомнил моё впечатление только от одного, весьма нехитрого, блюда. Им всегда завершался утренний завтрак, и было это блюдо стаканом кофе с молоком, к которому придавалась тёплая булочка с маслом. В Москве такие булочки назывались «французскими», а в Ростове — «франзолями». Вкус этой булочки с маслом, запиваемой кофе, и вкус самого кофе оставил у меня переживание неповторимого наслаждения.

...В начале войны Ростов попал в руки немцев, а через пару месяцев в результате локальной успешной операции Красная Армия его отбила. Мама получила от тётки Брони письмо с описанием пережитых ими ужасов немецкой оккупации. Они с дядей пострадали сверх меры и выжили чудом. Мы были счастливы. Но через пару месяцев немцы Ростов захватили снова. Когда в 43-м его отобрали у немцев окончательно, мы стали писать дяде и тётке письмо за письмом. Но ответа не было. Во время второй оккупации чуда, видать, не случилось, и немцы своё дело сумели выполнить как следует...

Дядя Гриша отвёз нас в Славянскую, побыл там день-два и уехал. Мы с мамой стали жить вдвоём в крестьянской семье, состоявшей из двух пожилых людей. Их имён я не знал и называл их просто Дедушка и Бабушка. Уже тогда в воздухе носилась политика партии в деревне, и моего детского уха достигали слова «бедняк», «середняк» и «кулак». Из каких-то разговоров мамы с дядей Гришей или с нашими хозяевами я узнал, что наши хозяева — середняки. У них была корова, куры и лошадь.

Меня интересовала только лошадь. Я не знаю, для каких работ использовал её Дедушка, но довольно много времени лошадь проводила просто во дворе перед деревянным корытообразным ящиком, в который клали сено, а в сено из мешка сыпали что-то белое, что Дедушка называл отрубями. Лошадь с хрупанием ела своё бесконечное угощение, а я бесконечно мог за этим процессом наблюдать.

От калитки до дома и стоявших рядом с домом хозяйственных построек — амбара, колодца и курятника — было небольшое расстояние. Но в глубину участок тянулся довольно (как мне казалось) далеко. И там, в конце было несколько плодовых деревьев — яблони, груши и сливы. Когда лошади не было дома, я любил уходить в тот сад и залезал на яблоню. Ветки этого кривоватого дерева были толстые и отходили от ствола через небольшие расстояния, так что я без труда мог взбираться по ним до вершины. Позже я завидовал мальчикам, которые могли, обхватывая ногами и руками ствол дерева, вскарабкаться по стволу вверх, даже если первый ряд ветвей начинался очень высоко над землёй, что характерно, например, для сосны. Эти мальчики и на гладкий телеграфный столб могли вскарабкаться. Я этого делать так и не научился до сегодняшнего дня и, боюсь, теперь уж и не выучусь.

Усевшись на одну из верхних веток яблони, я чувствовал себя большим молодцом, самостоятельным человеком, не зависящим от взрослых. И действительно, мама была убеждена, что я за пределы, ограждённые плетнём, не выйду, а где именно я в данный момент нахожусь, её не волновало. Присущее мне чувство времени, позволяющее мне, не глядя на часы, знать с точностью до нескольких минут, который сейчас час, жило во мне с ранних лет. Поэтому, сидя в моём ветвистом и близком к природе убежище, я всегда понимал, наступает ли час очередной еды, и являлся к столу вовремя, так что мама не успевала начать волноваться по поводу моего отсутствия.

Хотя Славянская стояла на Кубани, купаться мы с мамой не ходили. Да и вообще никаких прогулок за пределы нашего участка не совершали.

Я не могу сейчас оценить, долго ли мы прожили в этом середнячком доме. Что-нибудь вроде половины нашего трёхмесячного пребывания в станице. В какой-то момент приехал дядя Гриша и перевёз нас с мамой в другой дом. Мама, возможно, знала о предстоявшем переезде и о его причинах заранее. Я ни того, ни другого не знал, да и узнав, что мы переезжаем, не интересовался, почему.

Дом, в который мы переехали, был довольно далеко от прежнего дома. Во всяком случае, мы никогда прежних хозяев не навещали. Мне запомнилась фамилия нового хозяина — Баранов. У меня создалось впечатление, что у Баранова есть какие-то общие дела с дядей Гришей. Кроме того, мне запомнились слова дяди Гриши о том, что Баранов — кулак. Это наименование в тот момент и в том месте отрицательного смысла не несло: кто-то середняк, кто-то — кулак. С моих несмышлёных позиций жизнь у Баранова отличалась от прежней жизни только двумя особенностями.

Первая из них состояла в том, что в задах очень длинного участка была калитка, которая выходила на высокий берег реки. Несмотря на то, что на всех географических картах Славянская стоит на Кубани, эта — довольно широкая — река называлась Протока. Может, это был один из рукавов Кубани, протекавший именно через эту часть большой станицы. Может, это было местное название Кубани. Но теперь мы через эту заднюю калитку выходили к реке и проводили там кое-какое время. После

перенесённого в середине двадцатых годов ревмокардита (тогда эта болезнь называлась «эндокардит») мама никогда в естественных водоёмах не купалась. Только я плескался на её глазах у самого берега. Других купавшихся людей не помню. Наверное, такого занятия среди бела дня в этой натуральной, а не дачной деревне и в заводе не было.

Второй особенностью жизни у Баранова были свиньи. Их было две или три, и проживали они в небольшом щелястом сарае недалеко от жилого дома. Свиней помню, а членов семьи Баранова — нет... При первой возможности я бежал к свинарнику и через щель глядел на животных. Моим любимым, но не одобряемым хозяином занятием было кормление свиней сливами-паданцами. Ими были усыпаны большие пространства участка. Я развлекался тем, что набрав в горсть несколько слив, швырял их одна за другой свиньям, норовя делать это так, чтобы брошенная мной слива попала в ту часть свинарника, которая была как можно удаленнее от места, где свиньи лежали в данный момент. Даже если свиньи спали, они слышали стук упавшей на пол сливы и мчались к ней, обгоняя и отпихивая друг друга. Победительница съедала сливу с похрюкиванием и приятным чавканьем. Хозяин объяснял мне, что от устраиваемой мной беготни свиньи жиреют медленнее, чем если бы лежали недвижно. Он говорил это не слишком строго, но после полученных разъяснений я предавался моему спорту лишь когда Баранова поблизости не было.

По-видимому, драматичный период коллективизации набирал обороты и втягивал в свою орбиту всё новые регионы и хозяйства. Помню, как один раз к Баранову пришло человек десять мужиков. Они (или им) расстелили скатерть на траве под деревом, поставили на неё большую бутылку водки (про которую оказавшийся почему-то в этой компании дядя Гриша потом объяснил мне, что такая бутылка называется «четверть») и стали о чём-то говорить. Я всякий раз вспоминаю об этом совещании, происходившем на траве вокруг четверти с водкой, когда смотрю на картину Перова «Охотники на привале». Коль скоро хозяин Баранов был кулак, то и гости были, наверное, кулаками, и обсуждали положение вещей. Придумали ли мужики и затесавшийся меж ними еврей дядя Гриша что-нибудь спасительное в тех зловещих условиях? И каковы были судьбы этих мужиков?

...А когда мне захотелось про всё это узнать, то уж не было в живых дяди Гриши. Его судьба — погибнуть в немецкой оккупации. Впрочем, из истории коллективизации в СССР не слишком точные, но вполне зловещие догадки — в том смысле, что вряд ли мужики что-нибудь обезопасившее их придумали — сделать можно: погибли, скорее всего, и они. Не от немцев, как дядя Гриша с его женой, а от своих расстрельщиков и в своих концлагерях в своей Мордовии и в своей Сибири...

Мы вернулись от дяди и тётки в Москву ещё в августе, хотя маме, продолжавшей тогда учиться в институте, можно было вернуться к первому сентября. Возможно, что дядя Гриша счёл необходимым вывезти нас из охваченной бедой кубанской станицы раньше предполагавшегося срока. Оставшиеся две—три недели лета мы провели на даче в посёлке Дангауровка, названном так потому, что ещё до революции в тех краях построил и сдавал дачные дома богач Дангауров. Там был вырыт большой пруд, оборудованный прокатными лодками. И пруд, и лодки сохранились до тридцатых и даже сороковых годов, а может, и до сих пор.

Ближайшей железнодорожной станцией к этому посёлку была станция Лось по Ярославской железной дороге. На даче в Лоси проводила

лето Бабуся, которая с нами на Кубань не ездила. А к ней приезжали её дочки, мои тётки. Эта дача была снята на каких-то льготных условиях, предоставленных работникам только что организованного Метростроя. Тётя Циля поступила туда на работу счетоводом или вроде того. Я плохо помню жизнь на той даче. Запомнились мне катания на лодках по Дангауровскому большому пруду: меня брали с собой тётки, чьи поклонники были не прочь показать, какие они молодцы в гребле и в обхождении.

Помню ещё, что в том году по Ярославской дороге — первой среди других дорог Московского железнодорожного узла — на некотором участке пригородных линий пустили вместо паровых поездов электрички. Это новшество было предметом многих разговоров. Мама пользовалась любым случаем, чтобы вернуть в разговор фразу, которая казалась мне несколько жеманной, и её частое употребление меня тайно сердило. Мама говорила: «Мне нравится, что как только стоящий поезд гуднёт, он тут же трогается с места. Меня этот момент просто забавляет».

Следующее лето мы жили на даче в Никольском, около Салтыковки, по Курской дороге. Эту дачу тоже дал Циле Метрострой. На даче в выходные собиралась взрослая компания: тётки и их ухажёры. Они распевали модные тогда частушки, объединённые тем, что последняя строка во всех частушках была одной и той же: «А потом привыкнете». Я помню одну:

Если Вы утонете
И ко дну прилипнете,
Полежите года два,
А потом привыкнете

В Салтыковке тоже было купанье и катание на лодках в Салтыковском пруду. Где-то неподалёку папа нашёл знакомых, у которых ему было сподручно брать велосипед, и мои красковские удовольствия повторились.

ГЛАВА 4

Солянка. Путь с Арбата на Солянку на трамвае. Бабуся, тётки, квартирант Лёва. Соседи. Майечка и Витуська. Карточные игры. Коммунальная жизнь. Печка. Лёвины баяны и патефон. Вечеринки под патефон. «О, Донна Клара!», «Румба», «Риорита», Утёсов. Классическая музыка. Прогулки с папой. Тёткины ухажёры. Сладости. Гоголь-моголь и его продолжение. Эммануил Казакевич. Чтение. Има Левин. Судьбы солянских родных.

Значительную часть времени — как в те годы, которых я коснулся в предыдущих главах, так и в последовавшие за ними годы отрочества — я проводил в доме моей Бабуся на Солянке. Я не вникал в ласкательный оттенок слова Бабуся, и употреблял его и при выражении любви к ней, и в самых неподходящих обстоятельствах. Например, когда грубил ей и портил нервы разными другими способами. Став постарше, я называл её по-прежнему, но, оценив её высокие душевные качества, приблизил моё поведение по отношению к ней к изначальному смыслу этого доброго слова.

Мои родители отдавали меня Бабусе всякий раз, когда я не вписывался в обстоятельства их жизни: уходила очередная домработница, у мамы наступала экзаменационная сессия и т. п. Сразу свезли меня «на Солянку» и после того, как у нас обрушился потолок, и в комнате начался затажной капитальный ремонт.

Вообще «Солянка» была обобщённым названием компании, состоявшей из Бабуся и трёх её дочерей, моих тёток, уже мной упоминавшихся. Иногда я жил на Солянке пару дней, иногда по несколько недель и даже месяцев. Такие мои частые и длительные отселения на Солянку продолжались от совсем малых лет вплоть до моего тринадцатилетнего возраста. Поэтому солянская коммунальная квартира номер 12 стала для меня столь же привычной, что и 24-я на Арбате.

Дом, в котором жила Бабуся, стоял в самом начале развилки, которая образуется Солянкой и выходящим из неё под острым углом Подколокольным переулком, фактически — узкой улицей, по которой ходили трамваи. На развилке стояла и, наверное, продолжает стоять церковь, в годы моего детства уже мёртвая. Возможно, теперь её отремонтировали и поставили в строй для возрождения богобоязненного духа россиян.

Бабусин дом числился по адресу Солянка, 3. Дом был четырёхэтажный, со многими флигелями, образующими два двора. С улицы вели ворота в первый двор, а из него можно было через арку в доме пройти во второй. Около ворот на Солянке сохранились каменные столбики, служившие когда-то для привязи лошадей. Бабушкин подъезд был в первом дворе. Её квартира — на втором этаже. Лифта в доме не было.

Путь от солянского дома до нашего был прост, и, начиная лет с восьми, я совершал его самостоятельно: с Арбата на Солянку шёл трамвай номер 31. Он шёл по Подколокольному и останавливался прямо около дома 3. Когда я стал чуть постарше, и переходы через улицы стали мне

разрешены, я мог пользоваться ещё и маршрутами 15 и 17, которые шли по самой Солянке и тоже довозили до Арбата.

В те времена номер маршрута трамвая был обозначен большими чёрными цифрами на белом, величиной с тарелку, круге, укрепленном на крыше фронтальной стены первого вагона. Этот номер вечером подсвечивался. Но, кроме подсветки номера, по обе его стороны на краях крыши вагона, горели две помещённые за цветными стёклами лампочки. Каждая цифра изображалась своим цветом. Я помню, что ноль обозначался прозрачным стеклом, тройка, кажется, фиолетовым, единица — красным. Так что пара (слева направо) лампочек «фиолетовая-красная» означала номер 31, а пара «красная-фиолетовая» — 13.

Все трамваи ехали с Солянки на Арбат через площадь «Варварские Ворота» (ставшую потом надолго площадью Ногина, а недавно получившую прежнее имя), Ильинские Ворота, Театральную площадь, Охотный Ряд, мимо Манежа, по Воздвиженке (которая потом, следуя политическим установкам власти, побывала и улицей Коминтерна, и проспектом Калинина), потом через Арбатскую площадь. Проехав половину Арбата, трамвай останавливался у театра Вахтангова, т. е. недалеко от нашего дома, а потом устремлялся к Смоленской площади и далее. 31-й шёл в Дорогомилово. В сторону Солянки трамвайная остановка была около тогдашнего кино «Карнавал».

На Солянке я получил многие жизненные впечатления. В первую очередь от чтения и от соприкосновения с жизнью молодых незамужних тёток. Дети и соседи занимали меня меньше, хотя я и в их среде недурно ориентировался. С них, пожалуй, и начну.

Солянская квартира была похожа на нашу арбатскую. Но по многим статьям было видно, что изначально она, как и другие квартиры этого дома, была рассчитана на жильцов победнее арбатских. Ни в одной из её семи комнат балкона не было. От входной парадной двери (в кухне был и чёрный ход) сразу — без особой передней — начинался длинный коридор. В его удалённом противоположном торце была ванная, никогда на моей памяти не использовавшаяся по прямому назначению. В ней жильцы хранили баки и корыта для стирки и стирали бельё.

Сразу после входа, слева по коридору, располагалась дверь в две смежные большие «наши» комнаты, в которых жила Бабуся с дочерьми. Первая комната — широкая и длинная, с двумя окнами во двор — называлась «столовая». Вторая была параллельна первой — такая же длинная, но поуже, с одним окном, глядевшим тоже во двор. Она называлась «спальня». Дверь между комнатами была около окон — в противоположном от входа из коридора в столовую конце. Голландская печка, выходившая на две комнаты, находилась около двери в коридор и топилась из столовой. Центральное отопление было в этом доме оборудовано только после войны.

В этих двух комнатах размещались четыре женщины. В течение нескольких лет там жил ещё и квартирант (!) Лёва Поляков. А потом, последовательно — ещё два квартиранта, Юзя и Жора, но каждый из них квартировал недолго. Старшая сестра Соня спала на большом клеёнчатом диване в столовой. Бабушка, Циля, Зина и я спали на железных кроватях с железными пружинными сетками и ватными тюфяками. Кровати размещались (по две вдоль каждой стены) в темноватой, дальней от окна части спальни. Эта часть была отгорожена от передней части довольно широким платяным шкафом, поставленным перпендикулярно к стене. Шкаф делил

спальню в отношении примерно 2:1 в пользу женского отделения, куда и я был причислен, и делал его ещё более тёмным.

В передней части спальни, светлой от имевшегося в ней окна, напротив двери, соединявшей спальню и столовую, располагалась кушетка. За кушеткой к стене был прибит большой золотистый восточный ковёр. Его верхняя часть украшала большой кусок стены, а нижняя часть служила покрывалом кушетки, спускавшимся с кушетки до полу. На этой кушетке и спал квартирант.

Основной квартирант Лёва был студентом консерватории по классу баяна. В Лёвиной части спальни стояло ещё его пианино и его шкаф (спиной к тому нашему большому платяному, делившему спальню). В своём шкафу Лёва держал одежду, а в нижнем этаже шкафа находились ещё два Лёвиных баяна — побольше и поменьше. В консерваторию он брал с собой третий. Лёва ещё и столовался у Бабуся: завтракал и ужинал.

Как я впоследствии понял, на Лёву были виды как на жениха для Цици. Но они не оправдались, и вскоре после окончания консерватории, в начале тридцатых, Лёва начал очень активную и успешную концертную деятельность. Он стал работать в известном тогда джаз-оркестре Бориса Ренского, разбогател, женился, с квартиры съехал и купил себе автомобиль, хилый газик, что считалось тогда редкостной роскошью. Свою необычную покупку Лёва, продолжавший изредка приходить на Солянку в гости, объяснял тем, что очень тяжело таскать баян. Хоть Лёва и съехал, но его пианино на Солянке стояло ещё долго..

Я до сих пор не могу понять, как это жили так рядом женщины и чужой мужчина. Особенно учитывая тогдашние бытовые реалии. Уборная была в конце коридора, и ночью женщинам приходилось, очевидно (это мои теперешние предположения; тогда я спал ночь напролёт и ничего из ночных событий не видел), пользоваться ночной посудой. А если уборной, то тогда набрасывать халат и проходить мимо квартиранта, через столовую и через коридор в дальний конец квартиры. А квартиранту — через столовую мимо спящей Сони.

С мытьём тоже были сложности: ванну принимать было негде, а баню Бабуся и тётки почему-то не жаловали. Каждая из моих родственниц раз в несколько дней мылась в тазике, который ставили то на пол, то на табуретку, пользуясь при этом двумя большими кувшинами с холодной водой и с горячей — согретой на примусе. Это мытьё происходило обычно в столовой, когда дома не было посторонних, или когда Лёва занимался в своём помещении в спальне. Меня не стеснялись. Продолжу, однако, описание квартиры.

Следующей за нашей парой смежных комнат была сравнительно небольшая комната, в которой жила бездетная супружеская пара. Муж по фамилии Раковский был лысым коренастым тучным евреем и носил роговые очки. Он много стучал на пишущей машинке. Жена Раковского Ната была, как и наша тётя Клара Смирнова, портнихой. Она была туга на ухо, но, тем не менее, мы с ней оживлённо общались.

Иногда Ната давала мне покрутить её швейную машинку. Часто, когда к моим тёткам приходили неинтересные мне шумные гости, я отправлялся к Нате поиграть в карты или в домино — с ней самой или с кем-нибудь из других детей квартиры, которых Ната к себе охотно пускала. Присутствие в комнатке строгого и молчаливого мужа детей не смущало, да и он относился к нашей ватаге хоть и без приветливости, но не враждебно. У супругов Раковских жил друг всех квартирных детей — крупный кот.

Супружеская пара Раковских была бы полным аналогом пары Смирновых, если б не та разница, что муж Клары был брендмейстером, а Натин — пишущим человеком. Про него мои родные говорили, что он троцкист. В те годы, когда мне было чуть больше четырёх, этот статус уже означал исключительность положения, а чуть позже — и судьбы. В начале тридцатых Раковский исчез навсегда.

В следующей довольно большой комнате жила семья Шебловинских. И опять сходство с Арбатом: там — громкая фамилия Шелагуровы, здесь — похожая. Главу семьи звали Виктор Петрович. Он был высоким и красивым мужчиной в гимнастёрке, ибо был он военный — комполка или комбриг. Он бывал ласков со мной, болтал о всякой всячине и позволял мне смотреть, как он разбирает и чистит свой наган, попутно объясняя мне устройство и способ употребления этого оружия. От него я узнал, в чём разница между револьвером и пистолетом.

Его жену звали Мария Сергеевна. Она была деловой покуривавшей дамой. Как и её муж, она была высокого роста и обладала весьма хорошей внешностью. Весь день она пропадала на работе, да и дома время от времени что-то писала. Кто кормил дочку, я не знаю. Их дочь Майя — моя ровесница, живая миловидная голубоглазая девочка — была мне постоянной партнёршей в настольных и иных комнатных играх.

В последней комнате, рядом с ванной, жила женщина, которую звали — снова по странной аналогии с арбатской квартирой — Александрой Матвеевной. Наша ведь тоже жила в последней комнате — при кухне! Фамилия солянской звучала совершенно по-княжески: Северская. Но она была (как и наша!) прачкой, и вечно стирала в ванной комнате чужое бельё.

У неё было двое сыновей. Один, намного старше нас, звался Юра. Он учился в ФЗУ и работал на заводе. Он курил, что в моих глазах делало его личностью совершенно опустившейся. Но нас, меньших, он не обижал. Просто не обращал на нас никакого внимания. Младшего сына (он был немного моложе меня) звали Витуська. Это имя к нему очень шло. Он был коренастый, пухлый с золотистыми волосиками.

Вот с Майечкой и с Витуськой я и дружил. Надо сказать, что в духовном плане эта дружба давала мне немного. Мои товарищи мало читали и мало знали. Зато они самозабвенно любили играть в домино и особенно в карты. В эти игры они вовлекли и меня, а когда этих моих партнёров под рукой не было, то я пытался (обычно с успехом) затеять партию с Натой или умолял сыграть со мной Бабусю или кого-нибудь из тёток. Играли мы в разные игры.

Первая из них называлась «Пьяница». В эту игру дети играют до сих пор и в разных странах. Израильские дети называют её «Мельхома» («Война»). Её особенность в том, что результат каждого кона несколько не зависит от решений игроков, а исключительно от случая. Всю партию выигрывает тот, к кому после серии конов переходят карты остальных игроков. Вероятность этого события ничтожно мала. Поэтому на практике игра кончалась только если кого-нибудь из нас звали есть или когда нам самим эта бесконечная бессмыслица осточертевала.

Вторая игра называлась «Акулина». Ходы состояли в обмене вслепую картами друг с другом. Собственные карты можно было видеть и некоторые комбинации карт — сбрасывать. Но дама пик — Акулина — ни в какую комбинацию не входила, и избавиться от неё, буде она к тебе попадала, можно было только случайно — если её у тебя вытягивал в ходе очередного обмена невезучий партнёр. Проигрывал тот, кто в конце игры

оказывался с Акулиной на руках. И в этой игре большого ума не требовалось. Надо было только не зевать и не упускать возможности сбрасывать подходящие комбинации карт.

Третья игра называлась «Верись-не-верись». Колода раздавалась участникам, и игрок свои карты видел. Первый игрок клал на кон лицом вниз карту и объявлял её достоинство, например: «Семёрка! (валет, туз и пр.)». Это могло быть и правдой, и блефом. Следующий за ним игрок мог либо выбрать карту из своей колоды, положить её лицом вниз на предыдущую, объявив то же достоинство, что и предыдущий игрок, либо сказать: «Не верю!».

В первом случае в лежавшей на кону колоде становилось на одну карту больше, и ход переходил к следующему игроку. И так далее. Если игрок, до которого доходил ход, говорил: «Не верю!», то карта, положенная предыдущим игроком, открывалась. Если выяснялось, что предыдущий игрок блефовал, то он должен был забрать всю лежавшую на кону колоду. Если же подозрение оказывалось не основательным, то кон забирал Фома Неверующий. Принимаемая в случае своей неудачи колода, которая вроде должна была состоять из карт одного достоинства, незадачливый игрок часто обнаруживал, что правдивая карта на кону только одна, а именно — сверху, т. е. та, из-за напрасного недоверия к которой ему весь кон пришлось взять. Обычно такой новостью он с восхищённой досадой делился с партнёрами. Выигрывал тот, кто первый избавлялся от всех своих карт.

В этой игре успех участника зависел от того, насколько хорошим он был наблюдателем и психологом: надо было оценивать, учитывая личные качества игроков, вероятность того, блефовал ли предыдущий игрок, захочет ли проверить положенную карту последующий, да и, вообще, держать в голове все предшествующие события в игре.

Если в солянской квартире возвращаться от ванной ко входной двери по противоположной стороне коридора, то сперва был проход влево — короткий коридорчик, через который, как и у нас на Арбате, можно было попасть, миновав расположенную в этом коридорчике дверь в уборную, в большую кухню. Из кухни был выход на чёрный ход. В кухне, как и на Арбате, стояли кухонные столы жильцов квартиры, а на них — примусы и керосинки.

Так как ванная ни для какого мытья не годилась, то раковина в кухне наряду с прямой хозяйственной ролью играла также и роль умывальника, в очередь к которому по утрам толпились жильцы обоёго пола в сугубо домашнем виде. Позже, читая рассказ А. Н. Толстого «Гадюка», я видел перед глазами солянскую кухню. Тёплой воды, разумеется, не было и в заводе. Пол около раковины не просыхал. Из-за того, что в этой кухне умывались, а также из-за того, что окно здесь было меньше окна арбатской кухни, а пол был дощатый, а не кафельный, солянская кухня выглядела по сравнению с арбатской очень грязной, мрачной и обшарпанной.

Далее по движению вдоль стены коридора от кухни к входной двери располагалась небольшая комната, в которой жили немолодая женщина и ее сын лет десяти-двенадцати, которого звали Толька. Бабуся называла их «Берилки». Была ли это, действительно, фамилия или произведённая от неё кличка — не знаю. Для Бабуся все русские женщины простого сословия были «шиксами». Мать-Берилка была дворничиха, а Толька — типичным дворовым мальчишкой, к нашей компании не принадлежавшим. Странно, что и в этом обнаружилась некая параллель с арбатской квартирой: там в соседней 23-й квартире жил уже упоминавшийся отпетый хулиган Толька Турунтаев.

Последнюю комнату занимала семья Балашовых, находившихся в каком-то родстве с Шебловинскими. Их было троё: отец, мать и сын Витя. Витя был чуть постарше нас, и чтобы отличать его от Витуськи Северского, его называли Витя-Большой. Мы — Витуська, Майечка и я, все вместе или частями — забредали и в комнату Балашовых со своими картами или домино или с болтовнёй. И когда Витя-Большой был дома, и в его отсутствие.

Свободная миграция детей по комнатам коммунальных квартир была характерной чертой того времени. Как видно хотя бы из моих блужданий по комнатам нашей арбатской квартиры (а я практиковал это ещё и до рождения Вали Ерыкаловой), дети зачастую были вхожи в комнату соседей, даже если там не было детей. Мы, конечно, спрашивали разрешения войти — обычно, приоткрыв дверь и просунув голову. Нам, наверное, иногда говорили, чтобы мы зашли попозже, но я таких эпизодов не помню. Из чего я заключаю, что отказы были необходимыми и редкими.

У жителей коммунальных квартир, не имевших в целом ряде случаев возможности быть по своему желанию в одиночестве (как избежать встреч с соседями, неизбежно выходя в коридор, кухню, уборную?), атрофировалась и потребность в нём. Человек всегда, независимо от настроения и обстоятельств, был в окружении людей — по крайней мере, членов своей семьи, живших с ним в одной комнате. А к каждому из этих членов ходили вразброд их собственные гости.

Иногда в комнате собиралась на несколько часов совсем разношёрстная компания. Такая перманентная жизнь на людях особенно типичной была для взрослых, которые, проведя день на работе или в учебном заведении, вечером все сходились в свою комнату и заставляли там пришедших ещё до этого своих детей и друзей детей. Шанс побыть одному оставался, скорее, у ребёнка — днём, пока взрослых дома не было.

Из-за привычки жить на виду жильцы многонаселённой комнаты были не так уж чувствительны к тому, что к постоянному населению время от времени добавлялись и чужие дети, которые крутились под ногами, шумели и либо не обращали на взрослых обитателей комнаты внимания, либо, наоборот, лезли к ним со своими вопросами и болтовнёй.

Но больше всего времени на Солянке я проводил в упомянутых двух больших смежных комнатах моей бабушки и тёток. Часто у меня были мои гости — Майечка и Витуська, но я любил оставаться там и в одиночестве. У меня в этих комнатах было несколько любимых занятий.

Зимой каждый день кто-нибудь из тёток или квартирант приносил со двора вязанку дров и складывал её на металлический лист, прибитый к полу около печной дверцы. Во дворе, наверное, были дровяные сараи, в которых каждый жилец имел своё отделение. Дрова, помнится, развозили по дворам на телегах и продавали выходявшим на зазывные крики жильцам дома.

Бабушка растапливала печку, а я садился рядом на пол и смотрел на пламя. Меня очень огорчало, что через несколько минут, когда дрова разгорались, Бабуся дверцу закрывала, возникала мощная тяга воздуха, пламя становилось мощным и начинало реветь, но о том, какое захватывающее действие происходило в топке, я мог судить только по доносившемуся оттуда звуку и по горизонтальному ряду светящихся небольших прорезей в дверце печки. Потом, когда дрова прогорали и дверцу открывали, я смотрел на мерцающие красные, постепенно гаснущие угли, по которым пробегали язычки синего пламени.

Другое моё занятие состояло в брэнчании на Лёвином пианино и в растягивании его баянов, приводившем к нелепым звукам. Я этому отдавался с охотой (впрочем, чем я становился старше, тем реже). Лёвиными инструментами я забавлялся в его отсутствие, и никто из взрослых мне этого шума не запрещал. Но и никакого толка ни Бабуся, ни тётки в этом моём интересе не увидели. Они были весьма мало музыкальны, и им в голову не приходило, что этот мой интерес можно было бы оборотить во что-то путное.

У моей мамы, напротив, был хороший слух, она пела популярные песенки и романсы вполне чисто. Например, мама (а иногда и тётки) часто напевала песенку про торговку бубликами:

Горячи бублики, горячи бублики
Горячи бублики я продаю.

.....
Купите бублики, купите бублики,
Купите бублики погорячей!
Гоните рублики, гоните рублики,
Гоните рублики, да поскорей!
И в ночь ненастную меня несчастную
Торговку частную ты пожалей!

Или:

Стаканчики гранёные
Упали со стола.
Упали и разбились,
Разбилась жизнь моя!

Но к классической музыке мама настоящего интереса не испытывала. В концерты в залах Консерватории она не ходила никогда, а музыки по радио тогда ещё не было, ибо в домах не было, за редким исключением, и самого радио. Этим же равнодушием к классической музыке отличались папа и все солянские женщины.

Мама говорила, что неспособность верно воспроизвести мелодию я унаследовал от моего отца. Убеждённая в моей музыкальной тупости, мама ни разу не сделала попытки мой музыкальный слух развить, хотя мой интерес к музыке мог бы её настроить и на другое отношение к моему музыкальному образованию. Между тем, заметить мой интерес к музыке было нетрудно.

Кроме пианино и баянов, Лёва внёс в дом и патефон. По-видимому, он его своим хозяйкам подарил, потому что патефон оставался в солянском доме и после того как Лёва съехал — вплоть до самой войны. Набор пластинок при патефоне был почти неизменным. Разбивались они, каким-то чудом, очень редко, хотя они были гуттаперчевые, ломкие. Новые при мне не появлялись. Скорее всего, весь набор как-то раз купил сам Лёва.

На каждой стороне патефонной пластинки (а она вращалась тогда со скоростью 78 оборотов в минуту) было записано одно сочинение, а иногда только его часть. Для проигрывания одной стороны надо было с помощью рукоятки завести пружину до отказа. Иногда по неосторожности пружину «перекручивали», и она лопалась. Такая поломка в течение нескольких дней устранялась в мастерской.

Три пластинки использовались взрослыми во время «вечеринок». Так назывались приёмы на несколько человек, которые устраивались время от

времени молодыми тётками или моими родителями. Иногда — по поводу дней рождения, иногда — по моим понятиям — без повода.

На вечеринках пили чай и вино (солидных ужинов с крепкими напитками я не помню), танцевали — обычно под патефон — модные тогда танго, фокстрот и вальс-бостон. Иногда на своём баяне подыгрывал танцам Лёва.

На двух пластинках из упомянутых трёх была записана танцевальная музыка. С одной стороны первой пластинки звучало танго «О, донна Клара», которое впоследствии, во время нацистского нашествия, получило зловещее значение: под его звуки немцы гнали людей на расстрел и в газовые камеры. А тогда это будущее было в неизвестности, и приятный немецкий голос пел:

O, Donna Klara, ich hab' dich tanzen gesehen.
O, Donna Klara, du bist wunderschön!

На другой стороне этой пластинки было тоже танго (и тоже немецкое), которое, кажется, так и называлось: «Танго». Я помню его мелодию (как, разумеется, и мелодию «Донны Клары»), но слова забыл. Помню только, что какая-то из строк неожиданно кончалась словом «Балалайка», произносившемся с немецким акцентом. На двух сторонах другой пластинки были известная «Риорита» и какой-то исполняемый на гавайской гитаре вальс-бостон.

Под патефонные звуки мои молодые тётки и их кавалеры, а часто и мои молодые родители самозабвенно двигались взад и вперёд, кружились и откидывались назад. Впрочем, папа музыку слышал плохо, танцевать не любил, а если и танцевал, то в шутовском пародийном стиле. Иногда мама или кто-нибудь из тёток брали в кавалеры меня, и мне это, в отличие от папы, очень нравилось.

Третья пластинка, которую заводили на вечеринках, играла песни из репертуара джаза Утёсова. Он пел блатным одесским говорком. На одной стороне была «С Одесского кичмана сбежали два уркана», а на другой:

Жил был на Подоле Гоп Со Смыком,
Славился своим басистым рыком.
Глотка была прездорова,
И ревел он, как корова.
Гоп Со Смыком — это буду я! Да-да!
Граждане, послушайте меня! Да-да!
Ремеслом избрал я кражу,
Из тюрьмы я не вылажу,
И тюрьма скучает без меня!

Иногда гости приносили с собой, а потом уносили пластинки и с другими танцевальными мелодиями.

Три пластинки, крутившиеся на вечеринках, я часто заводил и днём, без гостей, так что знал их назубок. Но в солянской «фонотеке» было ещё несколько пластинок, которые слушал только я, когда был один. Взрослых они не интересовали. Это были пластинки с классической музыкой.

Первая такая пластинка звучала колорагурным сопрано певицы Валерии Барсовой. На одной стороне пластинки — «Соловей» Алябьева, а на другой — «Гавот». Автора этой пьесы (не знаю, как правильной определить её жанр — песенка или романс) я не помню, помню только слова первой строки: «Слышишь, ненаглядный, шёпот непонятный» и — где-то дальше: «та-та-та томительный, медленный гавот». Я, хоть мне и было лет шесть-семь, очень хорошо улавливал разницу стилей в исполнении

певицей этих двух пьес. «Соловья» Барсова пела искренним и проникновенным голосом, а при исполнении «Гавота» голос её становился нарочито жеманным, и вся отточенная техника исполнения была кокетливо выставлена напоказ. Конечно, тогда я это своё впечатление не формулировал, но помню его до сих пор очень ясно.

На второй пластинке был Шопен. На одной стороне — мазурка, на другой — ноктюрн. На одной стороне третьей пластинки какой-то тенор пел по-русски арию Каварадосси из «Тоски»; что было на другой — забыл. Была ещё пластинка с арией Марфы из «Царской Невесты» Римского Корсакова и с арией Вани из «Ивана Сусанина». Кажется, эти арии исполняла Максакова. Наконец, на двух сторонах пятой пластинки было записано *Andante Cantabile* из трио Чайковского «Памяти великого артиста».

Все эти классические сочинения я выучил очень хорошо в том смысле, что, слушая каждое, я в каждый момент его звучания точно представлял себе развитие темы. Но спеть эти весьма знакомые мне мелодии без фальши я не мог. С другой стороны, я сразу замечал фальшь, проскальзывавшую в любом чужом исполнении.

Классические пластинки при солянском патефоне я слушал регулярно — и мне это не надоедало — в течение нескольких лет. Новые мелодии прибавлялись к моему музыкальному багажу очень медленно — по мере того, как меня водили в популярные сборные концерты.

...Новый и сильный толчок моей привязанности к классической музыке дала радиотрансляционная тарелка, которую повесили в нашей комнате на Арбате только в конце 1935-го года, когда мне было двенадцать. Ну, а в Консерваторию я стал регулярно ходить с пятнадцати лет — под влиянием моего друга Эди Колмановского.

С тех пор прошло много лет. Я слышал и запомнил средствами моего внутреннего слуха много сочинений. Услышав классическую музыку, я почти всегда могу сказать, кто её автор и обычно помню, как она называется. Я могу мысленно следить за продвижением произведения, верно предвидя, что последует за текущим эпизодом в ближайшие секунды, и ошибаюсь очень редко. Я чувствую фальшь в чужом исполнении. Но, как и в самом начале моей увлечённости музыкой, я не научился верно воспроизводить собственным голосом даже досконально известные мне мелодии. Я так и не знаю нотной грамоты, и лишён удовольствия читать с листа. Этих пробелов моего образования могло бы, быть может, и не быть, если б мама в своё время хоть какие-нибудь попытки развить мой слух сделала...

Когда, будучи в дошкольном возрасте, я оказывался отселённым на Солянку, папа уделял мне гораздо больше внимания, чем в периоды моей жизни в отчем доме на Арбате. Там, дома, придя с работы или в выходной, папа много времени проводил, лёжа на диване с книгой или с газетой. А в солянский дом он приходил ко мне после работы на несколько часов два-три раза в неделю, и тратил их почти полностью на одного меня. Он читал мне книжки, что-нибудь рассказывал и ходил со мной гулять.

Особенно сподручно ему было меня навещать в те последние двадцатые годы, когда он работал (по-видимому, скромным экономистом) в ВСНХ — Высшем Совете Народного Хозяйства. Это правительственное учреждение вскоре было преобразовано в Госплан. Я долгое время, слушая взрослые разговоры и не всё в них понимая, но кое-что всё же в них улавливая, аббревиатуру ВСНХ уверенно расшифровывал так: «В Высшей Степени Народного Хозяйства». Этим я немало взрослых забавлял, и они много раз просили меня произнести название папиной службы.

ВСНХ располагался на площади Варварские Ворота в большом многофлигельном здании, выходящем на площадь и на Китайгородский проезд. До революции это был «Деловой двор», а после оно вмещало разнообразные советские правительственные учреждения: ВСНХ, разные наркоматы — тяжёлой промышленности и пр. Потом там были министерства, сейчас, я думаю, тоже.

Итак, в моём детстве папа работал близко к солянскому дому. Он приходил ко мне ранним вечером. Бабуся угощала его обедом, съев который, папа отдавался общению со мной. В весенние и осенние ясные дни папа вёл меня гулять. Мы часто начинали прогулку с посещения игрушечного магазинчика, располагавшегося напротив наискосок от ворот солянского дома. Магазинчик, как я понял из взрослых разговоров, принадлежал нэпману.

Чаще всего в этом магазинчике папа покупал мне пистонные пистолеты. Были ещё и пробочные, но таких я боялся: уж очень оглушительно они палили. Кроме того, эти пробочные изготавливались из какого-то мягкого серого металла; дети называли его «свиное», но теперь я думаю, что — вранд ли. Но считалось, что эти мягкие изделия от выстрела могли взрываться. На втором месте были заводные паровозики. Из обода одного из задних колёс паровозика торчал маленький шпиндель, держась за который, можно было это колёсико крутить, и, таким образом, заводить пружину, надетую на его ось.

Купив новую игрушку, мы шли в Воспитательный садик. Теперешняя Артиллерийская Академия находится в Воспитательном Доме — дворце, построенном Екатериной Великой для детей-сирот (видимо, отсюда и название дворца). При советской власти это здание стало называться Дворцом Труда, и, как я понимаю, там был ВЦСПС (Всесоюзный Центральный Совет Профессиональных Союзов). К Дворцу Труда можно было пройти с Солянки через красивые ворота (они — как раз напротив нашего дома 3) по Воспитательному проезду — широкой аллее из мощных деревьев, ограниченной с боков высокими стенами светлого довольно выщербленного кирпича. Когда власть превратила Дворец Труда в военную академию, то вход с Солянки в Воспитательный проезд был закрыт. Теперь его открыли снова.

Около самого Дворца был большой сквер. Он и назывался «Воспитательный садик». Мы испытывали новые пистолеты или садились с двух краёв одной из садовых скамеек и пускали друг к другу новый заводной паровозик. Завода как раз и хватало на длину садовой скамейки.

Была ещё одна забава. Папа делал луки со стрелами. Не опасаясь штрафа (может, тогда за такое не штрафовали?), он выскивал и отрезал от дерева перочинным ножом подходящую ветвь длиной около метра и сантиметра в два толщиной, и делал по краям насечки для тетивы. Тетивой служил шпагат, взятый из дому. Папа, пользуясь насечками, привязывал к ветке тетиву, сгибая при этом ветку так, что она принимала форму дуги. Эта дуга с тетивой и была луком. Его держали в вертикальном положении левой рукой, а тетиву натягивали правой. На середине правой стороны лука папа вырезал ножиком неглубокий желобок, который предназначался для того, чтобы при натягивании тетивы фиксировать перпендикулярное ей направление стрелы. После появления этого желобка лук был готов.

Стрела изготавливалась тоже из свежесрезанной ветки. Выбиралась прямая ветка диаметром около сантиметра и длиной в тридцать—сорок сантиметров. С неё обдиралась кора. Чтобы стрела летела устойчиво, не кувыркалась в воздухе, её передняя часть утяжелялась: обматывалась шпагатом. В торце конца стрелы делалась прорезь, и стрела с тетивы не соскакивала.

Иногда нам везло, мы находили на земле два голубиных пера, папа призывал их к заднему концу стрелы, и она оказывалась оперённой! Такая была не только красивее, чем неоперённая, но и летела по приданному направлению. Если я хорошо натягивал тетиву, то стрела летела метров на 10—15. Но если я, в погоне за рекордом дальности полёта стрелы, натягивал тетиву слишком сильно, то лук можно было и сломать: его слабым местом был направляющий желобок для стрелы. Иногда мы с папой стреляли в цель — ствол какого-нибудь стоящего поодаль дерева. А иногда — просто вверх. При хорошем натяге тетивы стрела могла взлететь так высоко, что становилась невидимой, и было очень приятно ждать и фиксировать момент, когда на пути обратно вниз стрелу снова становилось видно. А через секунду стрела падала поодаль и была готова к новым упражнениям.

...Любовь к самодельным лукам я сохранил на долгие годы. Став чуть старше, я в летние месяцы делал луки сам и учил делать их моих временных летних друзей. Лет в тринадцать я к лукам охладел. Но когда моему сыну Саше исполнилось лет пять (это было в 50-м), то в летние времена я часто делал для него — как когда-то папа для меня — луки и учил его стрелять в цель и вверх, а иногда и сам брал лук в руки. Саша, в свою очередь, мастерил луки своим старшим детям. Делал луки я и для моей старшей дочки Кати. Эта пора пришлась на вторую часть шестидесятых. Я учил стрелять её и сам стрелял. Летние месяцы моей младшей дочки Тамары, относящиеся к тому отрезку времени, когда её стоило к лукам приобщать, прошли либо без меня — в детских учреждениях, либо со мной, но в Одессе или под Одессой, где луки было делать и употреблять несподручно. Так что её эта моя любовь к лукам не коснулась...

В выходные дни папа тоже иногда приезжал ко мне на Солянку. В такой день мы ко Дворцу Труда не ходили, а папа устраивал мне (а может, и себе) праздник. Он вёз меня всегда в одно и то же кафе, которое находилось, как я теперь понимаю, в начале Пятницкой или Большой Ордынки. Возможно, кафе было нэпманское: очень уж оно было чистое и немногочисленное, очень уж тщательно одетыми и вежливыми были официантки. Папа всегда заказывал мне стакан кофе с молоком и пирожное. Что он заказывал себе, я не знаю. Этим я не интересовался.

Я жил на Солянке, несколько отчуждённо наблюдая жизнь моих молодых тёток. Время от времени у них появлялись, а потом отваливали поклонники. Почему поклонники долго не удерживались, я и до сих пор не понимаю. Тётки мои были миловидные и, как тогда говорили, интересные. Могли и потанцевать, и на анекдот рассмеяться, и сами анекдот рассказать. Например, Соня задавала шёпотом некоторым гостям такую шарадю-хохму (это был конец двадцатых или начало тридцатых): первое — это птица, второе — слово, употребляемое в телефонном разговоре, целое — как живётся при советской власти? Ответ: чижало. Впрочем, к политике тётки были, скорее, равнодушны, и лояльны к власти без глубокого чувства.

С какого-то отдыха на курорте младшая Циля (ей было тогда лет под двадцать) привезла знакомого, который сделался и квартирантом — вместо съехавшего к тому времени Лёвы Полякова. Звали нового квартиранта и Цилиного знакомого Юзик Мачерет. Это был красивый черноволосый плотный молодой человек в белой капитанской фуражке с блестящим чёрным козырьком. Служил ли он, действительно, во флоте, или пользовался фуражкой с той же целью, что и Остап Бендер, я не знаю. На меня он внимания не обращал. Скоро он исчез. Подоплёка всех этих событий мне неизвестна.

Через некоторое время средняя Зина привезла (тоже с курорта) своего знакомого, тоже ставшего квартирантом. Его звали Жора. Он был военным, с кубиками в петлице. Это был типичный светлый русский молодец, хоть и рябоватый. Речи у него были простые. Он тоже не обращал на меня внимания, и тоже скоро исчез в неизвестность и навсегда. Больше, насколько я знаю, никто и никогда к моей Зине интереса не проявил.

В доме иногда появлялись сладости. Некоторые были покупными. Шоколад продавался плитками, очень похожими на теперешние и вкусом, и размером, и тем, что плитка была разделена канавками на прямоугольные дольки. Из конфет у нас и на Солянке чаще всего покупали леденцы «Прозрачные» — небольшие стекловидные кисло-сладкие параллелепипеды разных (зависящих от вида сиропа, из которых их изготавливали) цветов. Их продавали в скромных сереньких бумажных обёртках. Мы их называли «прозрачки». В жестяных коробках продавались леденцы того же рода, что и «прозрачки», но без бумажных обёрток, более мелкие и каплевидной формы. Они назывались «монпансье». Продавалась — в виде прямоугольных мягких палочек — бело-розовая пастила, не изменившая своего вкуса и вида до сих пор. Продавалась давно исчезнувшие из ассортимента кондитерских магазинов крупные вафли пралине треугольной формы под названием «микадо». От теперешних прямоугольных вафель микадо отличались не только формой, но неуловимо и вкусом.

Сласти домашнего приготовления занимали тогда весьма значительное место. Варенье из разных фруктов и ягод мама и Бабуся делали летом и хранили их просто в буфете в очень больших банках, закрытых плотной бумагой и тряпками. Очень часто у нас и на Солянке мама и Бабуся делали пирожки, начинённые вареньем (а иногда рисом, или мясом, или рыбой). Моим любимым самодельным блюдом был очень модный тогда гоголь-моголь. Когда мне было лет шесть, меня выучили делать его самостоятельно. Надо было разбить два сырых яйца, слить белок (его потом тоже можно было использовать), а в стакан положить выделенные желтки и несколько ложек сахарного песка. Ложкой эту смесь взбивали до полной однородности. Иногда в стакан перед взбиванием сыпали какао, и получалось нечто шоколадное. Гоголь-моголь, взбитый собственными руками, был особенно сладок: я ценил ощущение возросшей независимости от взрослых.

...От гоголя-моголя ведут начало мои кулинарные и иные хозяйственные умения, которые я с удовольствием использую до сих пор. Вслед за приготовлением гоголь-моголя Бабуся увлекла меня мясорубкой. Мясо, лук и белый хлеб для котлет прокручивали в комнате, здесь же, добавив к прокрученным продуктам сырые яйца и соль, месили фарш и лепили котлеты, а в кухне оставалось их только пожарить. Конечно, по началу я только вертел рукоятку мясорубки и научился эту машину собирать и разбирать, но со временем освоил и остальные фазы изготовления котлет.

Далее, когда я пошёл в школу, мама перестала держать домработниц, и я выучился разогревать себе оставленный обед, кипятить молоко, заваривать чай, варить яйца, кое-какие каши, макароны, картошку, жарить яичницу и котлеты, а также мыть посуду. К этим делам я относился без интереса и без отвращения.

Когда же пришла пора мятежной юности, я стал наглаживать себе рубашки и брюки. Тогда очень следили за тем, чтобы спереди на брюках была несминаемая складка («стрелка»). Я и наяривал, пользуясь бывшими в ходу чугунными утюгами. Теперь в моём распоряжении электрический

утюг с кучей режимов, но интерес к выутюженным брюкам у меня сильно поубавился. Кое-какое участие я принимал в каждодневной уборке комнаты: подметал пол и стирал пыль с мебели.

Во время войны я долгие периоды жил один. Тогда я должен был ещё и стирать в таике. В пятидесятых в продаже появилось много мясных и овошных полуфабрикатов. Приготовливать вторые блюда из них ничего не стоило. Во время летних отпусков я научился жарить шашлыки.

Готовить по-настоящему я стал в трудный момент нашей жизни. 26 ноября 1967 г. Катю прооперировали в Морозовской больнице по поводу кишечной непроходимости. Сперва Маша была при Кате неотлучно. Но через несколько дней Маша стала решаться на то, чтобы её на несколько часов подменял я или Раиса Наумовна. Маша приезжала в такси домой пообедать, принять душ и поспать и на такси уезжала обратно в больницу — до обеденного перерыва на следующий день.

Маша тогда была беременна Томой, и все боялись, что если она полноценно не поспит, то рискует пропустить момент, когда надо перезарядить капельницу. Катя поступила в больницу со свинкой, и её держали в перевязочной, вдали от других детей. Сёстры не всегда вовремя в перевязочную заглядывали, и на Машу или на подменявшую её персону фактически ложилась ответственность за капельницу.

Я к Машиному приезду старался приготовить что-нибудь полноценное и вкусное и легко делал это с помощью поваренной книги. Эта ситуация усовершенствовала мои кулинарные умения и усилила интерес к этому занятию. Люблю я и мыть посуду, ибо за этим делом приятно размышлять о том и о сём. К стирке я, несмотря на хорошую стиральную машину, не пристрастился, и Маша обходится без меня...

Одно время моя старшая тётка Соня водила знакомство с начинавшим тогда писателем и общественным деятелем Эмой (Эммануилом, как я узнал через много лет) Казакевичем. Он был высокий, густоволосый, курчавый, оживлённый. Со мною он время от времени обсуждал прочитанные мной книги. А один раз затеял разговор о национальной еврейской идее. Это был момент, когда советская власть отказалась от своего первоначального намерения учредить еврейскую республику в Крыму. Я помню след этого намерения: выпущенную тогда, хотя, видимо, скоро исчезнувшую из прямого почтового употребления марку. Марка была с многозначительной картинкой: на фоне Крымского пейзажа за рулём трактора сидит еврейской внешности человек, а внизу надпись: «еврей-земледелец»). Не отдав евреям Крым, власть от идеи не отказалась и решила учредить еврейскую автономию в Биробиджане.

Эма был энтузиастом этой идеи. Он ездил в Биробиджан и обратно в Москву и что-то организовывал и подготавливал. Как-то раз он приобнял меня за плечи, притянул к себе и стал мягко, но безапелляционно меня семилетнего корить за то, что я не знаю своего родного языка идиш. Действительно, я знал на идиш только те немногочисленные обороты, которые в виде восклицаний употребляли мои родители и солянские родные: «азохенвей», «абигерет», «шиксе» и ещё что-то. Вести связную речь на идиш могла только Бабуся и только иногда, и только на примитивные бытовые темы, да и то обращала она эти речи только к моей маме в тех случаях, когда хотела, чтобы я её слов не понял. Мама Бабусины речи на идиш понимала прекрасно, но отвечала ей всё равно по-русски, и я о смысле их разговора догадывался.

Эма пылко уговаривал меня учиться родному языку, поддерживать и развивать национальную культуру и готовить себя для того, чтобы

уехать в Биробиджан и приносить пользу своему народу. Фактически Эма был сионистом и свою сионистскую идею страстно и открыто пропагандировал. От Герцля его отличали выбор места сбора (Биробиджан вместо Палестины) и полное дистанцирование от религиозно-традиционной идеи. От еврейского менталитета у Эмы, собиравшегося в Биробиджан, оставался только акцент, проступавший при произнесении марксистско-ленинских советских заклинаний. Сам Эма, кажется, на пару лет в Биробиджан уезжал. Возможно, поэтому не состоялся его вроде намечавшийся брачный или более свободный союз с Соней.

...Э. Казакевич во время и после войны стал знаменитостью, и бедная Соня, так и не вышедшая ни за кого замуж, любовалась им издали. Эма, действительно, сделался видным советским писателем, цель которого, как я понимаю, состояла в том, чтобы убедить читателей в человечности лица рядовых коммунистов и их вождей и, вообще, идеи. Что-то вроде Шатрова.

Пробыв всю войну военным корреспондентом, Э. Казакевич знал фронт без прикрас. Он старался писать о войне правдиво. Ему принадлежат «Звезда», «Двое в степи», «Весна на Одере». В повести «Синяя тетрадь» Казакевич попытался нарисовать рефлексирующего интеллигентного Ленина. Его старания облагородить лицо власти и дух идеи часто вызывали огонь партийных критиков, которым власть и идея были любы такими как есть, а усилия Казакевича представлялись ересью.

Поразительно, что Казакевич уцелел в тридцать седьмом и в антисемитские годы на границе сороковых и пятидесятых. Не погиб, например, вместе с членами ЕАК. Да, было среди членов Союза писателей много евреев, проживших жизнь как на вулкане, но умерших в своей постели: Светлов, Антокольский, Кирсанов, Эренбург, Гроссман. Эма был очень небесталанным прозаиком, и стоит в одном ряду с Казаковым, Трифионовым, Тендряковым, Антоновым...

Главное моё занятие на Солянке состояло в чтении. Книги, которые покупал для меня папа, и которые он поначалу читал мне вслух, а я уже потом перечитывал их сам, скапливались в небольшую библиотеку на Арбате. Это были детские книги: стихи Веры Инбер и Маршака, детские рассказы Куприна, Чехова, Бориса Житкова, «Маленький оборвыш» Гринвуда, «История доисторического мальчика» Рони-Старшего.

На Солянке же были только взрослые книги, которые читал я сам. Я научился читать в пятилетнем возрасте, и сразу самостоятельным чтением очень увлёкся. Сколько-нибудь порядочной библиотеки на Солянке не было. Был небольшой книжный шкафчик, заполненный, в основном, юридической литературой, принадлежавшей тётке Соне. Она училась на юридическом факультете Университета, а с конца двадцатых стала профессиональным адвокатом.

Но в доме было несколько книг, которые находились по разным случайным местам обеих комнат. Чаще всего они валялись на широких подоконниках всех трёх окон. Лет с шести—семи моими любимыми книгами были два однотомника большого формата с твёрдыми тёмно-синими переплётами и иллюстрациями на отдельных плотных страницах (видимо, из одной дореволюционной серии): первый — Лермонтова, а второй — Жуковского.

Самое сильное впечатление из Лермонтова на меня производило стихотворение «Сон» («В полдневный жар, в долине Дагестана»). Возможно, из-за того, что к этому стихотворению была вложенная иллюстрация: лежащий в окружении кавказского пейзажа мёртвый воин. Я просил

взрослых объяснять непонятные мне слова (например, Дагестан), и до меня доходила не только музыка, но и смысл стихотворения. Тогда же я прочитал и выучил наизусть «На Севере диком», «Горные вершины», «Парус», «Бородино», «Утёс» и ещё несколько, в смысле которых я мог разобраться сам. Поэм я тогда не читал: меня отпугивали слишком длинные тексты.

Жуковского я читал меньше, или, по крайней мере, хуже сохранил в памяти, ибо ни тогда, ни после того как стал взрослым, этим поэтом я не увлекался. Помню только впечатление от переводов: «Лесной Царь» Гёте и «Перчатка» Шиллера. Поэма «Ундина» показалась мне занудной.

В общем, мой интерес к поэзии, сохранившийся на всю жизнь, а в некоторые её периоды принимавший и гипертрофированные формы (о чём — позже), начался с Лермонтова и Пушкина, причём Лермонтов главенствовал. Потому, наверное, что я копался в нём сам и прикоснулся в процессе листания книги к лирическим стихам, в то время, как с Пушкиным я знакомился из папиных рук, а он, естественно, выбирал сочинения, подходящие для моего малого возраста (хоть я и был «развитой» мальчик: таким термином обозначали тогда начитанных и эрудированных детей). Чтение мне «Гусара» — случайный сбой в папиной отборочной деятельности.

Кроме Лермонтова и Жуковского, на Солянке были ещё два или три толстых тома из собрания сочинений Чехова, в одинаковых твёрдых переплётах в косую чёрно-серую полоску. На титульном листе каждого тома было обозначено, что это собрание сочинений издано в 1918 году по решению какой-то комиссии под председательством Луначарского.

Я прочитал там — в шести-восьмилетнем возрасте — не только рассказы про детей и животных («Каштанка», «Белолобый», «Ванька Жуков» и т.д.), но и кое-какие юмористические рассказы для взрослых («Сирена», «Хирургия», «Хамелеон», «Свадьба», водевили...). Ближе к девяти годам я уже читал и некоторые не очень длинные вполне серьёзные рассказы, например, «Цветы запоздалые», «Ариадна».

По странной случайности в томах Чехова, разбросанных на подоконниках Солянки, были и две длинные повести, которые к удачным сочинениям Чехова относить не принято: «Драма на охоте» и «Ненужная победа». Последняя — из венгерской жизни, и Чехов написал её вроде бы на пари. Я обе эти повести прочёл лет в восемь с большим интересом.

...Наконец, были на Солянке несколько томов из собрания сочинения Льва Толстого с «Войной и миром». Этот роман я прочёл лет в двенадцать. Это было моё первое знакомство со «взрослым» Толстым. До этого папа читал мне, шестилетнему, детские назидательные рассказы Толстого, а поближе к школе я сам прочитал «Детство». Так что, к «Войне и миру» я другими «взрослыми», но не столь многосторонними сочинениями Толстого, например, «Севастопольскими рассказами», или «Казаками», подготовлен не был. И — ничего! Мальчик и в двенадцать лет может извлечь из «Войны и мира» очень много ценного для себя. Причём, главная ценность такого раннего чтения взрослой литературы (я имею в виду не только Толстого, но и других классиков) состоит в том, что, находя в персонажах произведений свои собственные мысли и переживания, ребёнок реально ощущает себя причастным к духовной жизни, мыслям и чувствам сынов человеческих. Он начинает вдумываться в различные классификации людей: по их образу мыслей, по уровню нравственности, по интеллекту, по поведению, по успеху в жизни — и невольно примеривает классификации, сформированные в его сознании, к себе. Из этих сопоставлений и из взаимоотношений литературных персонажей

друг к другу юный читатель постепенно растит в себе идею о том, чего стоит он сам, на какое отношение человеческой среды он может рассчитывать. Он пробует свои силы в сфере самосовершенствования, а также начинает совершенствовать свои оценки окружающих его людей, явлений и событий...

Под бабушкиной квартирой находилась точно такая же большая коммунальная квартира номер 10. В этой квартире жила (уж не знаю, одна или с кем-нибудь) пожилая еврейка, бабусина знакомая. Бабуся за глаза называла её на местечковый манер Левиншей. Откуда это знакомство — с давних ли провинциальных времён или новое в силу солянского соседства, я не знаю. Как звали эту пожилую женщину на самом деле, я тоже не знаю: её имя заменялось в разговорах Бабусиным прозвищем, а в прямые контакты я с ней не вступал.

Как-то Бабуся сказала мне, что к Левинше привезли её внука. Он оказался моего возраста (обоим тогда было лет по семь). Мальчика звали Има. При знакомстве мы выяснили, что оба живём на Арбате. Има жил в доме 30, расположенном на противоположной стороне улицы, почти напротив нашего дома. Этот дом был хорошо известен не только арбатским, а всем московским жителям: в нём находился Зоомагазин, о котором я уже рассказывал. Начавши знакомство у наших бабок на Солянке, мы с Имой продолжали интенсивно встречаться и на Арбате. Иму отдали в ту же школу, что и меня, и Эдю, и Лену. Рассказ о дружбе с Имой Левиным и о судьбе этого моего друга я завершу в одной из следующих глав.

...Мне осталось в этой главке написать немного о судьбе Бабуси и моих тёток. Бабуся всегда оставалась верной помощницей своим дочерям, в первую очередь, моей маме, от которой у неё был — долгое время единственный — внук, и которая, по Бабусиным понятиям, нуждалась в её помощи больше, чем другие дочери. Она почти всегда проводила лето или его часть с нами и вела в это время главное хозяйство. Эти приоритеты изменились в сороковом году, когда у неё родилась вторая внучка.

В середине тридцатых, когда Бабусе было чуть за пятьдесят, у неё возник диабет и сопутствовавшее ему (как я теперь предполагаю) отслоение сетчатки. Она ослепла на один глаз, да и второй был очень близоруким. По поводу отслоения сетчатки её успешно прооперировал профессор Виктор Петрович Одинцов. Бабушка стала снова видеть. Примерно в это же время начала расти близорукость у меня, и мои родители, поверив в Одинцова, решили меня показать ему на частном приёме. Он нашёл у меня астигматизм, выписал очки, и с тех пор я несколько лет наблюдался у него в домашнем кабинете: профессор жил в отдельной квартире хорошего многоэтажного из красного кирпича доме на Б. Молчановке. Приём больных у Одинцова был обставлен на манер доживавшей последние годы частной практики русского врача. Предварительной записи на приём не было. Я не знаю, бывали ли коллизии. Видимо, профессор принимал всякого, кто приходил в часы приёма, и, если было нужно, заканчивал приём позже, чем предполагалось.

На звонок пациента дверь в квартиру открывала приветливая немолодая горничная. Пациент ожидал в передней, освещённой верхним светом и бра. Там стояли мягкие стулья и круглый стол с газетами, журналами и, помнится, литературой по офтальмологии.

Профессор был пожилой, худощавый, очень стройный, седой, доброжелательный и внимательный. Обычно он халата не надевал и оставался в тёмно-синем элегантном костюме с белой сорочкой и тёмным галстуком. Не знаю, все ли посетители, но папа политес знал и вручал профессору

гонорар при прощальном рукопожатии каким-то особым приёмом — из ладони в ладонь.

Написав предыдущий абзац, я решил заглянуть в БЭС. Там я статью об Одинцове обнаружил. Из неё я узнал о его выдающейся роли в отечественной офтальмологии и о том, что мне было узнать особенно интересно: во времена моих встреч с профессором ему было всего около шестидесяти лет.

Бабусин диабет её сильно ограничивал: надо было соблюдать диету и систематически делать инъекции инсулина. Диабет Бабусин организм ослабил, и наверное, из-за него она быстро сдала, когда на всех нас обрушились военные невзгоды. Она умерла осенью сорок первого в Ашхабаде, куда её и Соню занесла злая судьба по пути в Красноводск, куда их эвакуировали.

Из трёх моих тёток высшее образование получила одна Соня, которая со времён знакомства с Казакевичем велела именовать себя Софой, чему все повиновались. Софа окончила юридический факультет Московского Университета и стала членом Коллегии защитников. Она активно практиковала — выступала в уголовных процессах. Больших доходов ей её профессия не приносила. Наверное, она от частных гонораров отказывалась.

Замуж Софа так и не вышла. Она очень большое внимание уделяла мне, а после войны — и детям Цили, о которых чуть ниже. Во-первых, когда я немного подрос, она стала рассказывать мне о делах, которые она вела. Эти рассказы расширяли мои представления о реальной жизни. Она водила меня в сборные концерты, в которых выступали тогдашние звёзды эстрады и оперетты: Смирнов-Сокольский, Регина Лазарева, Ярон, Ляля Чёрная, Антон Шварц, Эммануил Каминка. Позже она водила меня и в театр. Я помню, что был с ней во МХАТе на «Мёртвых Душах» Булгакова (оригинал Гоголя я к этому времени уже прочёл). Чичикова играл Топорков, Ноздрёва — Ливанов, Губернатора — Станицын. Марию Антоновну играла, кажется, Андровская.

В конце лета 41-го Софа с матерью из Москвы уехала в эвакуацию. После смерти Бабуся в Ашхабаде Софа добралась до Красноводска и прожила там почти полтора года, пребывая в крайней бедности. В начале сорок третьего она переехала в Башкирию, в Белебей, присоединившись таким образом к маме, эвакуированной туда со своей работой. Некоторое время довелось жить в Белебее и мне. Подробнее об этом времени я рассказываю в подходящем месте.

Вернувшись осенью сорок третьего в Москву, Софа снова вступила в Коллегию защитников, стала работать по своей специальности и жить всё на той же Солянке — вместе с младшей сестрой и её семьёй. Софа продолжала уделять своё основное внимание племянникам. Но теперь это уже был не я... Интересовалась она и моим маленьким сыном. К моменту, когда у меня во втором моём браке родилась (это было уже в пятьдесят девятом) дочка Катя, предыдущее поколение Софиных племянников подросло, и Софа всю свою любовь к детской поросли семьи перенесла на неё: звонила по телефону, интересовалась, приходила к нам в гости, возилась с девочкой и водила её гулять с Арбата в Александровский сад.

Примитивность политических взглядов Софы совершенно не вязалась с её успешной адвокатской деятельностью, вроде, требовавшей от неё гибкости ума и умения трезво смотреть правде в глаза. Софа безоговорочно принимала все акции советской власти, и совершенно отказывалась видеть и признавать их очевидные отрицательные стороны, не говоря уж об их кошмарных последствиях.

Впрочем, будучи ортодоксом, Софа осталась беспартийной. Она позволяла себе в изъявлении своих послушно ортодоксальных чувств некоторые маленькие милые женские вольности, выходявшие за привычные рамки, очерченные официальными средствами информации и пропаганды.

Например, после договора с Гитлером Софа объявила, что она без ума от Молотова и повесила у себя над кушеткой его небольшую кабинетную фотографию. Уж не знаю, где она её взяла — этот портрет не был вырезкой из газеты или журнала, а был изображением на обычной фотобумаге, что носило на себе в данном контексте оттенок некоторой интимности.

Вскоре после смерти Сталина она обнародовала перед всеми нами имя своего нового обже. Это был, естественно, Хрущёв, и его фотография (уж не помню, в какой технике выполненная) была повешена на место прежней, а Молотов был снят. До падения Хрущёва бедная Софа не дождала: она умерла от инсульта в начале 1964-го года в своей постели на Солянке.

Зина и Цилия высшего образования не получили. Обе после семилетки пооканчивали какие-то краткосрочные курсы. Зина стала бухгалтером, а Цилия — чем то вроде статистика. С этими профессиями они и прожили свои жизни.

Зина за несколько лет до войны стала работать на каком-то важном оборонном заводе и была там на хорошем счёту. В конце тридцатых ей дали комнату — по тем временам событие редкостное. Эта комната была в новом четырёхэтажном кирпичном доме на Миллионной улице в Богородском за Сокольниками.

К тому времени, когда Зина с Солянки съехала, я был уже вполне взрослым, и в гости ездил к ней независимо от других членов семьи. Я это делать очень любил: мне и общество Зины было приятно, и дорога до неё меня развлекала. Сперва надо было ехать на метро до «Сокольников», а потом на трамвае номер 4 — вдоль ограды парка до конечной остановки в Богородском, около которой стоял дом Зины.

Коммунальные квартиры в новостройках были не столь перенаселёнными, как старые. Кроме Зины в её квартире жила всего одна семья, с которой, впрочем, я за те годы, что ездил к Зине в гости, так и не познакомился.

Думаю, что из всех моих тёток Зина была самая умная. Она трезво судила о событиях и об отношениях между людьми. Глупостей не говорила никогда. Она не была красавицей, но обладала вполне приятной наружностью — роста выше среднего, с хорошей фигурой и несколько курносым и скуластым лицом с русыми волосами. Почему она осталась одинокой — для меня совершенная загадка.

Войну Зина провела в эвакуации с своим родным заводом. Это было не помню где, но вдалеке от мест, где в войну жили другие члены нашей семьи. Переписывались мы редко.

О своих личных проблемах она никогда со мной не говорила, моими делами интересовалась, но — в меру. Эта индифферентность выглядела естественной, и в отношениях между мной и Зиной всегда была полная гармония. Отдалённость её нового местожительства от Солянки и от Арбата автоматически отдаляли и её самоё от повседневных событий нашей семейной жизни. Не помню, бывала ли она когда-нибудь в Староконюшенном, где я после 44-го года стал жить с моей женой Галей, а вскорости и с маленьким сыном Сашенькой у Галиных родителей. В начале пятидесятых она стала болеть стенокардией, вышла на инвалидность и осенью 1953-го скончалась, успев испытать радость от реабилитации врачей. Не уверен, что на её долю выпадали другие радости.

Сознаюсь, я мою младшую тётю Цилю, которая была всего на двенадцать лет старше меня, любил гораздо меньше, чем Софу и Зину. Она почти не интересовалась мной, редко со мной разговаривала и поэтому казалась мне холодной. Кроме того, я очень невысоко ставил суждения, которые ей доводилось высказывать в моём присутствии — какого бы предмета они не касались.

Вся её жизнь, почти целиком прошедшая на моих глазах, показала мне, что какие-то главные характеристики её личности я тогда, будучи ребёнком, ухватил верно. Только вот её интерес ко мне возрастал — по мере того, как уходили из жизни другие люди, поддержкой которых она пользовалась. Настал момент, когда я и моя жена Маша стали её единственной опорой. Тогда же наступила кульминация её родственной привязанности.

В начале тридцатых, когда Циле сделалось за двадцать, стало возникать опасение, что и она, как Софа и Зина, останется незамужней. Это опасение продолжалось и нарастало до тридцать шестого года. И тут двадцатипятилетняя Циля вышла замуж за своего сослуживца Андрея Константиновича Шиляева, занимавшего гораздо более высокий пост, чем она сама. Общим местом их работы был Наркомат угольной промышленности или (не помню точно тогдашней структуры Совнаркома) соответствующее Главное Управление в Наркомате тяжёлой промышленности.

Андрей поселился на Солянке же. Для супругов было выгорожено ширмой и шкафом место около окна в первой (большой) комнате, а Софа стала владелицей лишь одного дивана у противоположной длинной стены.

Андрей был родом из Донбасса. Возможно, отсюда произошёл и угольный акцент в его должности. Я употребляю этот невнятный оборот, потому что профессия у него была, так сказать, бесполоя: он был начальником отдела кадров своего ведомства. Наверное, не оплошал бы, руководя кадрами автомобильного главка или Большого Театра, или Черноморского пароходства.

Андрей был на несколько лет старше Циля, был уже единожды неудачно женат, разведён, и от этого брака у него была дочь Нетта, жившая в Москве. Она была года на три моложе меня. Андрей свои денежные обязанности перед дочерью выполнял и даже принимал какое-то участие в её учебных проблемах. Помню, как через несколько лет после того, как он стал нашим близким родственником, он попросил меня позаниматься с Неттой по литературе, в которой у неё пошли в школе плохие отметки. Но в целом и сам Андрей, и члены его новой семьи, в том числе и я, с Неттой общались мало.

Андрей был внешне очень спокойным человеком, говорил медленно и внушительно, никогда не раздражался. Со своей тётцей, Бабусей, он разговаривал исключительно почтительно, называя её по имени-отчеству. К Софе, Зине и моим родителям, с которыми он был в прекрасных отношениях, он обращался по имени, но на «Вы». С мной был очень хорош, и я скоро его зауважал и полюбил. Это моё тёплое чувство к Андрею сохранилось на всю его жизнь, несмотря на то, что он (как я это ясно увидел, чуть повзрослев) телом и душой принадлежал к ненавистному мне слою партсовбюрократии.

Со стороны Циля, я полагаю, это был брак по расчёту. Внешность у Андрея была самая заурядная. Росту он был среднего, лицо серьёзных неправильностей не содержало, но красивым его было назвать нельзя. Глаза у него были чуть подслеповатыми — он всегда носил очки в светлой

металлической оправе, волосы были жидковатые и приплюснутые. Человеком речистым, брызжущим юмором или высказывающим парадоксальные или мудрые суждения Андрей тоже не был. Но были серьёзность и основательность, за которыми ощущалась уверенность в себе и в правильности исповедуемых им взглядов — взглядов ортодоксального коммуниста и служаки.

Андрей Цилю обожал. Причины этого обожания остались для меня вечной загадкой. Цилия была довольно хорошенькой миниатюрной женщиной, с миловидным лицом. Однако это лицо украшалось улыбкой крайне редко, да и улыбка часто была ненатуральной. За ней, скорее, скрывалась скука жизни. В силу своей недалёкости она даже не понимала, что следует скрывать то обстоятельство, что её единственный интерес — это её собственная персона. В её речах ничего умного или пикантного не было. К Андрею Цилия относилась уважительно и сразу стала разделять его взгляды на жизнь и на политику.

Хотя вся большая и разнородная компания — и Бабуся с двумя другими дочерьми, и Андрей с Цилей — все жили в двух смежных комнатах, ссор между ними не замечалось. Разумеется, полностью принимала политическую позицию Андрея и без того ортодоксальная Софа. Когда Андрей важно и медленно что-нибудь вещал на политические темы, Софа преданно глядела ему в рот. Вещать Андрей любил и делал это часто и помногу. Каждый вечер после возвращения Андрея работы домой (как правило, это было поздно) в комнатах не умолкала его медленная и размеренная речь со слегка слышимой южной распевной интонацией и мягким «г»: Андрей родился и вырос в Шахтах, сразу стал работником угольной промышленности, и его переезд в Москву был, видимо, следствием его служебных успехов в двадцатых — начале тридцатых.

С появлением в семье Андрея выяснилось, что он называет Цилю по-своему — Люсей. Из чувства лояльности к Андрею так стали называть Цилю и все члены нашей семьи. Так и я буду называть её в последующих строках. Первые годы брака детей у Люси и Андрея не было. Весной сорокового у них родилась девочка Танечка, и лето этого года Бабуся провела с внучкой на даче, которую Андрей с Люсей сняли или получили от ведомства в Дангауровке — той самой дачной местности, где лет за десять до того Бабуся с дочерьми тоже снимали дачу, на которой я последние недели того лета прожил.

Тогда, в тридцатом, их дача была расположена довольно близко к станции, но зато удалена от пруда, и мы купаться ходили редко. В сороковом году дача, где жили Бабуся с Танечкой, наоборот, была от пруда недалеко, а от станции — весьма далеко, и на эту дачу удобнее было ездить из Москвы на автобусе, на который можно было сесть где-то в Центре. В двадцатых числах августа я часто ездил в Дангауровку — выполнял те или иные хозяйственные поручения, виделся с Танечкой и с Бабусей и ходил на пруд.

Началась война. В августе — октябре сорок первого вся Солянка разъехалась. Люся и Андрей с маленькой дочкой были эвакуированы с частью их Наркомата на Дальний Восток в Сучан, где был угледобывающий бассейн. Я в это время был уже в Ополчении (об этом — дальше), и поэтому не знаю, почему они уехали именно туда. Возможно, в этот посёлок вблизи Владивостока после потери Донбаса и Шахт было переведено всё управление угольной промышленности Союза. Впрочем, логичнее предположить, что управление было сосредоточено в Кузбассе, а отъезд на Дальний Во-

сток стал следствием каких-то перемен в служебном положении Андрея. Он, конечно, руководящим номенклатурным работником остался, но теперь уже не на уровне центрального аппарата, а в руководстве крупным комбинатом.

Эвакуационные невзгоды оказались роковыми не только для самого старшего члена семьи — Бабуси, но и для самого младшего. Попав на Дальний Восток, заболела пневмонией маленькая Танечка. От этой болезни в те годы ещё не было радикальных средств, да и условия жизни на новом месте были суровые. Танечка умерла в начале сорок второго, не дожив до двух лет.

В декабре 43-го года у Люси и Андрея родился их второй ребёнок. Это был мальчик, названный Женей. К этому моменту Шиляевы вернулись из эвакуации в Москву, на Солянку, и стали жить вместе с Софой. Ей была выгорожена в столовой у правого окна, небольшая комната. Андрей вернулся работать в Министерство на примерно те же должности, что и до войны. Люся пару лет нянчила Женю, потом поработала на своей не слишком ответственной работе где-то под сенью того же ведомства, что и её муж. В декабре сорок девятого года у Шиляевых родился ещё один мальчик — Серёжа.

В начале шестидесятых Андрей заболел тяжёлым сердечным недугом. Он, очевидно, какой-то иерархической планки не достиг, и поэтому, выйдя на инвалидность, стал получать ничтожную пенсию и жалкие льготы. Люся работала, но её заработки были совсем маленькими. Семья держалась, в основном, на адвокатских заработках Софы, которая работала до самой своей смерти, наступившей в 1964 г. от инсульта. Больной Андрей ухаживал за Софой гораздо более толково и заботливо, чем это делала её сестра Люся.

Мы с Машей тоже старались этой семье помочь. Эта часть моей семьи была Маше до нашего с ней брака (в 1957 г.) совершенно незнакома. Тем не менее, она со свойственной ей добротой и родственностью полностью мои заботы о солянских разделила. Например, мы делали весомые подарки (одежда, спортивные принадлежности) мальчикам в дни их рождений, посылали посылки Жене в армию и пр. Андрей по нашему приглашению жил на дачах, которые мы с Машей снимали в первые годы жизни нашей старшей дочки Катеньки.

Андрей активно работал в парторганизации при ЖЭКе, вёл с жильцами политбеседы. Он безоговорочно одобрил и разоблачение культа личности Сталина, апологетом которого он был почти всю свою сознательную жизнь, и войну Хрущёва с интеллигенцией, и смещение Хрущёва. В марте шестьдесят пятого он скончался. Были устроены поминки. Кроме родных там были и теперешние, и некоторые бывшие их соседи по квартире. Среди них я в последний раз в жизни увидел Майю Шебловинскую. Она оказалась полной, очень разбитной дамой.

Сыновья Андрея и Люси оказались существами весьма несовершенными. Они плохо учились. Женя обожал власть. В армии он норовил стать комсоргом части, а в гражданской жизни тяготел к работе в милиции. Сперва он на каких-то общественных началах работал в детской комнате отделения милиции на ВДНХ. Он вечно выуживал деньги из Софы и (правда, реже, потому что я был не столь доверчив) из меня с Машей. Потом он уехал в Красноярск и стал там штатным работником милиции. Серёжа прошёл срочную воинскую службу десантником, и в августе 1968-го вошёл в Чехословакию.

Вернувшись из армии, Серёжа некоторое время лоботрясничал, а потом стал шофёром такси. Он много раз женился, завёл от разных жён много детей, о которых, надо отдать ему должное, довольно хорошо заботился, что приятным образом не вязалось с его авантюрным и легкомысленным характером.

Люся скончалась от гипертонического криза в октябре 1971 г. А в 1991 г., не достигнув пятидесяти, умер Жёня — от сердечной болезни, унаследованной, видимо, от отца. Он болел много лет в Красноярске и приехал с незнакомой мне до того женой в Москву для сложной операции на сердце, которую не перенёс. Хоронил Жёню Серёжа. Приехал на похороны и на поминки и я. Тут я познакомился с Жёниной женой и с многочисленными жёнами Серёжи. После смерти Жёни мы с Серёжей несколько сблизились. Он со своей очередной — простоватой, но симпатичной — женой Таней стал бывать у нас с Машей. Наши дочери Катя и Тома были в это время уже в Израиле. В мае 1993 г. двинулись туда и мы с Машей. Серёжа на своём таксомоторе принял участие в наших проводах в Шереметьево. Но на моё письмо из Израиля Серёжа не ответил, и наша связь прекратилась. Видимо, навсегда...

ГЛАВА 5

Первые школьные годы. Лидия Викторовна. Методика обучения. Пост старосты класса. Октябрята. Подписка на журналы. Олег Микк. Пионерский лагерь Интуриста. Вступление в пионеры. Переход в класс «А». Надежда Касьяновна. Тамара Майзель. Боря Кулес. Дядя Коля. Курорт Ермоловское и австрийцы. Тайнинка. Третий класс. Тамара Корнильевна. Александр Михайлович Астафьев. Има Левин. Викторина Самсона Глязера. Варвара Васильевна. Вика Левин. Майя Туровлина. Политехнический музей. Тётя Нюра и её дочки.

Первого сентября 1931 года наши мамы отвели нас — Эдю, меня и Лёну Залманзон — в 41-ю школу, находившуюся в Плотниковом переулке. Эта школа была филиалом школы № 7, расположенной рядом — в Кривоарбатском, д. 15. До революции эта школа была женской гимназией Хвостовой. Зимой, в середине учебного года, наш класс перевели в 7-ю школу, и мы стали учиться ближе к нашему дому. К номеру школы добавляли аббревиатуру «ХОНО», что означало «Хамовнический Отдел Народного Образования»: Арбат и его переулки принадлежали к Хамовническому району Москвы.

...Немного позже 7-й школе переменили номер, а району переменили название. Он стал Фрунзенским, а школа — 58-й ФОНО. После ещё одного изменения в административном делении Москвы наш район стал Киевским, а школа — 58-й КиОНО. 41-я школа, в которой мы начинали, вскоре стала 20-й и от 7-й независимой.

...Эдя проучится в 58-й девять классов, а потом перейдёт в Гнесинское училище. Мы с Лёной после девятого класса школьное обучение продолжили, но десятые классы перевели в другую школу, потому что 58-ю закрыли. Обо всех этих событиях я ещё расскажу. В здании 58-й после её закрытия сперва устроили школу киномехаников, а после войны — общежитие. Что там было в последние перед нашим отъездом в Израиль годы, я не знаю — не обращал уже внимания на это когда-то очень значимое для меня здание...

Весь первый класс мы были почему-то разлучены: меня поместили в класс «Б», а Эдю и Лёну — в «А». Класс «Б» вела Лидия Викторовна Синицына. Она была типичная учительница: высокая, стройная, сухощавая, малодоступная, строгая. Она одна обучала нас письму, чтению и арифметике. Она же была классной руководительницей. В классе было примерно сорок детей. Программа была рассчитана на то, что приходившие в первый класс дети читать не умели, и уроки начались с ликвидации безграмотности.

Но большинство детей — как ни как детей Арбата! — читать умело, и Лидия Викторовна все свои усилия направила на то, чтобы выучить нас писать приличным почерком. Первые недели мы писали карандашом. Начали не с букв. Несчётное количество тетрадных страниц мы исписывали палочками, потом — крючками с хвостиками вверху, потом — с хвостиками внизу, потом — вытянутыми вверх кружками, в виде буквы «о». Всё это были элементы будущих букв.

Потом пару месяцев мы карандашом исписывали тетрадные строки одной какой-нибудь буквой. Но первая строка на каждой странице всегда состояла из старых добрых палочек. Только через два или три месяца мы перешли к чернилам. В верхней части каждой парты, посередине, была открытая чернильница: чашечка, вставленная в углубление. Нянечки-уборщицы ходили по утрам по классам с большой бутылкой фиолетовых чернил и следили за тем, чтобы к началу учебного дня все чернильницы были наполнены.

Школ в Москве — в результате перехода на всеобщее обязательное семилетнее образование — не хватало, и в их подавляющем большинстве занятия велись в две смены. Я учился во второй смене в первом, пятом и восьмом классах. Только во второй части тридцатых годов в Москве началось массовое строительство стереотипных школьных зданий, и количество школ пришло, наконец, в некоторое соответствие с прогрессивным законом о всеобщем школьном образовании, которым Советская власть справедливо гордилась.

Лидия Викторовна, перед тем, как приступить на уроке к письму, проводила с нами многофазное упражнение: мы должны были поднимать правую руку, затем по команде учительницы специальным образом расставлять пальцы, всовывать между ними ручку и сжимать пальцы. В результате правая рука держала ручку как следует. С этого упражнения занятия письмом начинались в течение нескольких месяцев. Имел ли такой тренаж методическую ценность, судить не могу. У каждого из нас сложился свой почерк — у кого поразборчивей, у кого поневнятней, и что было бы без этой писарской физкультуры, я не знаю. Ручки и перья должны были быть стандартными. А их в магазинах и было-то два—три вида. Чернилами мы перемазывались донельзя, а отмыть их бывало трудно.

Каждый ученик должен был выделить одну тетрадку в клетку для ведения «Календаря природы». Разворот в этой тетрадке отводился одному месяцу; две тетрадные странички разворота надо было разграфить на тридцать одну клетку — по клетке на день. Учебный день начинался с того, что все должны были вытащить из ранца свой «Календарь», написать в сегодняшней клетке дату и изобразить цветными карандашами в этой клетке знак, символизирующий сегодняшнюю погоду: оранжевое солнышко на синем небе, белые облачка, косые линейки дождя и пр.

Для меня школьная программа труда не составляла, если не считать специфических ритуальных требований Лидии Викторовны. Я бегло читал и без ошибок писал. Довольно скоро серая классная масса выбрала меня по рекомендации Лидии Викторовны старостой класса. Реальных обязанностей у меня не было, но я чувствовал себя лицом значительным. Я должен в этом месте выразить благодарность папе. Он имел обыкновение рассказывать мне истории из своих гимназических лет, и лейтмотивом этих историй было презрение к ябедам. Это презрение я усвоил очень хорошо и до ябедничества не опускался никогда: рискуя потерять высокий и привлекательный пост старосты, делавший меня своего рода начальником над моими соучениками, я на вопросы Лидии Викторовны о том, кто из ребят плохо себя утром вёл в раздевалке, а кто — забыл тапочки на урок физкультуры, никаких имён не называл.

Став школьниками, мы автоматически становились и «октябрятами». Так назывался младший отряд ленинской молодой гвардии. Следующим по возрасту — вождленным для нас — уровнем были пионеры. В двадцатые годы пионерские дружины создавались по месту жительства, при

домоуправлениях и ЖЭКах. В те времена нередко можно было увидеть на улице марширующий пионерский отряд числом в несколько десятков ребят. Дети были в красных галстуках, впереди шли барабанщик и горнист. Барабанщик беспрерывно колотил своими палочками, задавая ритм маршу. Горнист свои дисгармоничные звуки издавал эпизодически, без видимой закономерности.

Для шагающего пионерского отряда освобождалась проезжая часть улицы. Автомобили, извозчики и подводы притормаживали и прижимались к тротуарам или сворачивали в боковые улицы. Маленькие дети смотрели на это великолепие с восхищением и завистью, а большинство взрослых — с умилением и одобрением. К тому моменту, когда мы пошли в школу, пионерские отряды были прикреплены к школьной структуре: класс — отряд. По улицам пионеры маршировать перестали, и все их действия, включая маршировку, барабаны и горн, были локализованы в школьных помещениях и дворах.

Мы, октябрята, тоже раз или два в неделю маршировали в зале школы. Но галстуков мы не носили. Более поздние поколения октябрят прикалывали к рубашке небольшие красные звёздочки с белым кружком в центре, а в кружке было изображение трёхлетнего кудрявого Ленина. Маршировали мы вроде без барабана, но пели маршеобразные молодецкие песни. Например:

Есть у нас красный флаг,
Он на палке белой.
Понесёт его в руках
Тот, кто самый смелый.
Есть у нас красный флаг,
Он на палке синей.
Понесёт его в руках
Тот, кто самый сильный.
Барабанщиком пойдёт
Тот, кто самый ловкий.
Он нам чётко отобьёт
Шаг на маршировке.

Или:

Мы — весёлые ребята!
Раз, два, раз, два!
Наше имя — октябрята!
Раз, два, раз, два!
Мы не любим лишних слов!
Будь готов, всегда готов!

Мы были разбиты на «звёздочки». Обычно один ряд парт образовывал одну звёздочку. Выбирался командир звёздочки. Впрочем, никаких реальных функций, кроме периодической маршировки по школьному залу, у всей этой октябрятской структуры не было. Я думаю, что большинство октябрят и не знало, с чем связано наименование их организации.

В ноябре 31-го года — через два с небольшим месяца после начала занятий в нашем первом классе — Лидия Викторовна, поверив в мои интеллектуальные и технологические возможности, поручила мне довольно сложную работу: подписать желающих детей на детские журналы на 1932 г.

Я приготовил листы с вертикальными графами «номера по порядку», «Фамилия и имя», «Адрес», «Название журнала», «Срок подписки» и «Сданная сумма». В течение нескольких дней ко мне на переменах и после уроков подходили дети из нашего класса, обозначали свою подписку и сдавали деньги. Подписаться можно было на журналы «Ёж», «Искорка», «Мурзилка» и «Пионер». Заполненные подписные листы и деньги я отнёс почтовой барышне. Она выписала для каждого подписчика квитанцию, дала их все мне и подсчитала общую сумму, которая сошлась с той, что я ей принёс. По-моему, она была моей толковостью восхищена. Я раздал ребятам их квитанции, и через положенное время все мы стали получать журналы, на которые подписались.

Других примечательных событий в первом классе я не припомню. Впрочем, вот одно. Была какая-то эпидемия, и всех детей в кабинете школьного врача стригли наголо машинкой — не различая их пола и не спрашивая согласия родителей на эту имиджмейкерскую процедуру. Может, так решительно действовали только в отношении учеников самых младших классов. Многие девочки пришли на другой день в платочках и беретиках, а многие — наоборот, своей новой внешностью бравировали и дразнили тех девочек, которые прикрыли не соответствующую их полу стрижку «под ноль» каким-нибудь головным убором. Передовые девочки, гордо носившие свои облысевшие головы открытыми, презрительно называли головные уборы своих более женственных подруг «абажурами».

В нашем классе учился толстый, высокий, голубоглазый блондин по имени Олег Микк. Учился он ни шатко, ни валко, дети его поддразнивали за его внешность. Но я его не дразнил и даже, по возможности, его от разных грубых шуток защищал. Одна из популярных шуток состояла в том, что на перемене с обеих сторон коридора выстраивались друг против друга две шеренги мальчиков — по несколько человек — в каждой шеренге. Опытный и внимательный школьник знал, что вступать в этот живой коридор не следует. Если же школьник (в первую очередь это относилось к школьницам) был рассеян и особого характера некоторого отрезка коридора не замечал и в этот отрезок вступал, то его начинали швырять от одной живой стенки к другой. Если суммарный вектор трёх сил (жертвы и двух шеренг) был направлен в сторону выхода из живого коридора, то экзекуция кончалась: жертва из пыточного коридора после нескольких бросков выскакивала. В противном случае игра жертвой, как мячиком, длилась до звонка на урок. Если по коридору прогуливались и бегали бдительные школьники, которые к ловушке не приближались, и ловушка простаивала, то бандиты выделяли двух своих, и они затаскивали жертву к себе, преодолевая её сопротивление. Олег очень часто попадался в такую переделку, а я, увидев это, его из переделки вызволял. Он за это был мне благодарен и старался со мной сдружиться.

Внимание Олега, как плата за мои услуги, льстило моему молодечеству, и когда он предложил мне как-то вечером погулять, я это предложение принял. Была зима. Мы покатались на ногах по ледяным тропинкам, спускавшимся с горок Гоголевского бульвара. Потом мы шатались по переулкам, и Олег незаметно для меня направлял наш маршрут к своему дому. Когда мы очутились около его дома, стоявшего на углу Плотникова и Глазовского переулков, Олег позвал меня к себе. Вечер только начинался, и я пошёл.

Это был большой серый дом, и Олег жил на одном из верхних этажей. Лифт, как и в большинстве московских многоэтажных домов, не работал.

Микки — папа, мама и Олег — жили в одной комнате коммунальной квартиры. Мама была полная, белокожая, рыжеволосая, улыбочивая эстонка. Именно на неё был похож мой однокашник. Отец — полноватый в меру, высокий, лысоватый и молчаливый эстонец. Они, видимо, были рады, что у Олега появился товарищ. Как эти эстонцы застряли в Москве после отделения их страны от России, я не знаю.

Мама Олега угостила меня какой-то булочкой и расспросила меня о моих родителях. Булочка давала разгадку того, почему Олег такой полный и розовый. Отец Олега позвал меня в другой конец комнаты и вынул из шкафа три фотоаппарата. Это были редкостные заграничные предметы. Советская промышленность стала производить фотоаппараты позже, и их качество ещё долго отставало от заграничных. Аппараты, вынутые из шкафа, принадлежали к высшему, в моих глазах, классу: они были портативные, складные и являли собой сравнительно плоские коробки. Но если нажать кнопку, то коробка раскрывалась, крышка становилась перпендикулярно корпусу, на ней были рельсики, и по ним выдвигалась вперёд передняя стенка с объективом и растягивались меха аппарата («гармошка»). Передо мною возникало чудо красоты и технического совершенства.

Три аппарата различались размерами изготавливаемых снимков: 6×9, 9×12 и 13×18. Разными были и некоторые детали их механизмов. Микк-старший стал мне демонстрировать аппараты и пояснять названия и назначение механизмов и терминов: затвор «Компур», экспозиция, видоискатель, объектив, светосила, диафрагма, кассета и пр. Эти предметы и слова меня заворожили. После этого вечера я уже сам набивался в гости к Олегу, и каждый раз моим главным развлечением была беседа с его отцом вокруг тех трёх фотоаппаратов.

...Позже в тех краях возникла новая школа, и многие ученики, жившие в соответствующем микрорайоне, были переведены туда. Среди них был и Олег. Наша дружба, базировавшаяся на слишком слабой основе, прекратилась. Дальнейшая судьба Олега и его родителей мне неизвестна...

Моя мама после окончания немецкого отделения Московского института иностранных языков в 1932-м году недолгое время проработала в Интуристе переводчицей. По-моему, эта работа была чем-то вроде производственной практики, предшествовавшей получению диплома. Эта краткосрочная работа дала маме возможность устроить меня на всё лето 32-го года — после окончания первого класса — в очень привилегированный пионерлагерь Интуриста. Он находился в Болшеве, на речке Клязьма.

Я не знаю толком, чем занималось знаменитое ведомство, которому принадлежал лагерь. Похоже, что интуристами были сплошь деятели Коминтерна, ибо на каждый выходной день к нам в лагерь приезжало несколько иностранных коммунистов или профсоюзных деятелей. Их просоветская ориентация не вызывала сомнений. Они рассказывали нам на разных языках с переводчиком или на ломаном русском об ужасах капиталистической и колониальной действительности, и для убедительности (надо сказать, что своей цели они достигали) пели и разучивали с нами западные революционные песни. Например (тексты песен я привожу по памяти, которая, возможно, меня подводит):

We hang Mr. Hoover on the saur apple tree,
We hang Mr. Hoover on the saur apple tree,
We hang Mr. Hoover on the saur apple tree
When the Revolution comes!

Далее следовало ещё несколько куплетов, которые отличались от первого только фамилией персоны, которую надо будет повесить. Это были: Черчилль, Гитлер и Муссолини. Последний, чтоб не нарушался размер, шёл без «мистера».

Или:

Avanti popolo! A la riscossa! Bandera rossa, Bandera rossa!
Avanti popolo! A la riscossa! Bandera rossa triumphera!
Bandera rossa la triumphera! Bandera rossa la triumphera!
Bandera rossa la triumphera! Eviva comunisma e liberta!
Eviva Lenin, a basso re! И т. д.

Пели мы ещё песню немецких коммунистов «Красный Веддинг»:

Links, Links, Links und Links!
Die Trommeln werden gerührt.
Links, Links, Links und Links!
Der Rote Wedding marschiert!
Hier ist nicht gemächlich,
Hier gibt es Dampf,
Und was wir spielen ist Klassenkampf
In blutiger Melodie.
Wir zeigen dem Feind unser kräftigen Schritt,
Und was wir spielen ist Dinamit
Am Hinten der Bourgeoisie!
Drohend stehen die Faschisten
Drüben am Horizont.
Proletarier! Ihr müßt rüsten!
Rot Front! Rot Front!

И конечно:

Заводы, вставайте! Шеренги смыкайте!
На битву, на битву шагайте, шагайте!
Проверьте прицел, заряжайте ружьё!
На бой, пролетарий, за дело своё (2 раза)
Товарищи в тюрьмах, в застенках холодных!
Вы с нами, вы с нами, хоть нет вас в колоннах! И т. д.

Причём разные куплеты пелись на разных языках.

Родители некоторых детей живали за границей в каких-то таинственных статусах, о которых их дети не говорили: или им было велено молчать, или дети о работе своих родителей и сами ничего не знали. В результате тема Интернационала в жизнь нашего пионерлагеря входила зримо и незримо. А в остальном наш лагерь не отличался, видно, от других пионерских лагерей.

Лагерь размещался в домах дачного типа. Их было десятка два, разбросанных на большом никак не огороженном лесном участке. В комнате, в которой жил я, стояли четыре обычные кровати. Все мои три товарища оказались старше меня. Самым старшим был Коля Прохоров: он переходил в седьмой класс. Далее шёл Жорж (Жора) Лев, переходивший в четвёртый класс. Ближе других по возрасту был ко мне Боря Кулес: он переходил в третий класс. Быстро выяснилось, что Боря и в Москве мой сосед: их семья жила в многоэтажном бледно-грязно-жёлтом доме,

стоявшем на углу Спасопесковского и Карманицкого переулков. Более того, Боря, оказывается, учился в той же школе, что и я! Но дети разных возрастных групп общаются в школе не очень интенсивно, и мы познакомились с Борей только в Болшеве. Потом наши отношения продолжились вплоть до начала войны... Итак, я, переходивший только во второй класс, был в этой комнате самым младшим.

Я был долговязым мальчиком, и всякий раз, когда какой-нибудь мой новый знакомый интересовался, в каком я классе, у меня возникал комплекс неполноценности: услышав мой ответ, собеседник обычно удивлялся, ибо из-за моей долговязости он думал, что я на класс-два старше. А я угадывал в мыслях моего собеседника подозрение, не закоренелый ли я второгодник. Поэтому, отвечая на вопрос о том, в каком я классе, я старался ввернуть в ответ и правду о моём возрасте, хотя о нём меня не спрашивали. В Болшеве я придумал: в ответ на трудный вопрос я вместо привычной формулы «перехожу во второй» стал говорить: «во втором» — надеясь, что такой ответ будет воспринят, как то, что я во втором уже был, а не буду.

В этом же лагере была и Борина старшая четырнадцатилетняя сестра Белла. Она была приземистой толстой девочкой с бараньими глазами. Эти качества и слишком большая разница в возрасте делали Беллу совершенно для меня неинтересной.

Боря Кулес был типичный еврейский очкарик. Он хорошо учился и много читал. Этим он был сродни мне, тоже еврейскому очкарику. Но разница всё же была. В те годы я носил очки только при чтении с классной доски и в кино. Кроме того, я больше, чем Боря, был склонен к спорту и к спортивным играм.

Из вышеизложенного видно, что из четырёх мальчиков нашей комнаты трое были евреи. Отражало ли это национальный состав сотрудников Интуриста? Не исключаю, что да. Коля и Жорж — в противоположность умеренно законопослушным Боре и мне — были заядлыми нарушителями порядка. То и дело кто-нибудь из них опаздывал в столовую, то и дело на Жору или на Колю поступали жалобы: то он (или оба) побили кого-нибудь из пионеров, то дёргали за косу какую-нибудь пионерку.

Один раз эти мальчики вовлекли меня в крупную проказу. В отрезок времени длительностью часа в четыре — между концом завтрака и началом обеда — в лагерном расписании были «трудовые часы». Некоторых пионеров постарше оставляли при кухне, и они помогали персоналу мыть посуду, убирать помещение и колоть дрова. Некоторые мастерили — змеев, лодки из сосновой коры и другие игрушки. Моё умение делать луки очень ценилось. Создавались временные бригады, которые под управлением вожатых уходили в лес — за хворостом, за грибами и за ягодами.

Так вот, Коля и Жора придумали использовать этот интервал для того, чтобы съездить в Москву. Они пригласили принять участие в этой авантюре меня и Бору Кулеса. Я согласился, а Боря сбобел. Каждый из нас троих скрытно убежал из той бригады, в которую был включён на «трудовые часы», и мы встретились в задах лагерной территории. Затем мы дошли тропинками через лес до станции. Жорж и Коля дорогу уверенно знали. Электричка на Москву пришла скоро. Мы сели в неё — без всяких билетов. Народу было много, мы стояли на площадке, прижатые к передней стенке, и хотя пейзажи, мимо который мчался поезд, оставались для нас невидимыми, мы были счастливы. После, примерно, часа езды мы очутились на шумном и многолюдном вокзале. Было очень жарко. Мы

посмотрели на вокзальные часы и поняли, что времени на пребывание в Москве у нас нет совсем: мы опаздывали к обеду. Так что мы, даже не выходя в город, вернулись из центрального зала вокзала на перрон, сели в обратную электричку и проехали до Болшева примерно в таких же условиях, как час назад. Сойдя с поезда в Болшеве, мы помчались по знакомым тропинкам в обратном направлении и поспели как раз к началу обеда. Никто нашего отсутствия не заметил... Мы себе казались героями.

После дневного сна и полдника наступало спортивное время. Нас водили на речку Клязьму. Мальчики купались под руководством старшего вожатого Рудика — красивого еврейского молодого человека с печальными глазами и властными наклонностями. Девочек на соседний участок берега, отделённый от нашего густым кустарником, водила вожатая Сима — крепкая типичная комсомолка в красной косынке и курносый носом — и тоже с властными наклонностями.

После купания, а в не жаркую погоду вместо него, пионеры играли в разные спортивные игры. Играли в городки, в волейбол, в деревенского «чижика». Но одна игра была не из общепринятых. Её внедрил Володя Барский, рыхлый полный мальчик лет двенадцати. Он был сыном крупного интуристовского деятеля, который много времени проводил с семьёй за границей. Настолько много, что Вова часть времени учился в немецких школах, очень хорошо знал немецкий язык и привёз из заморских стран заморские игры. Игра, которой он нас научил, называлась «Феркерваль». Думаю, что это было русифицированное Verkehrball.

...Написав предыдущий абзац, я заглянул в имеющийся у меня немецко-русский словарь. Там я нашёл из подходящего только прилагательное *Verkehrt* — обратный, оборотный. Наверное, оригинальное название той игры немного отличалось от того, которое мне тогда слышалось и запомнилось, и было таким: «*Verkehrt Ball*»...

Площадка для игры в «Феркерваль» была вроде волейбольной. Она была разделёна на два равных поля, но — без сетки. Каждая из двух команд — на своём поле. Игрок, владевший мячом, подбегал к границе, разделявшей команды. В это время команда противника отбегала к задней стороне своего поля. Подбежав к разделительной границе, игрок мяч прицельно бросал, стараясь, чтобы мяч на лету задел («осалил») кого-нибудь из противников. Если это удавалось, то осаленный шёл «в плен» — за заднюю границу поля противника. Если мяч никого не салил, то было две возможности: 1) мяч — пойманный на лету или подобранный с земли — оказывался в руках одного из противников, и тогда тот бежал к разделительной линии — салить своих противников; 2) мяч, никого не задев, перелетал за заднюю границу поля противника, и тогда, если там были пленные, то один из пленников хватал мяч и старался осалить с тыла (но не переступая задней границы, за которой толпились пленные) игрока противной команды, а эта команда стремительно отбегала к граничной линии, разделявшей поле. Если пленному это удавалось, то он возвращался в свою команду, а осаленный — шёл в плен к противнику; если нет, то мяч попадал к игроку противной команды или долетал до своих. Неудачно бросивший оставался в плену, а с мячом манипулировал описанным выше способом тот, кому он достался.

Побеждала команда, захватившая в плен всех игроков противника. Количество членов команд не регламентировалось, но было одинаковым и устанавливалось по договорённости. Обычно это было человек по пять — семь. Произвольным был и тип, и размер мяча.

Я потом игру под таким названием никогда больше не встречал. Не слышал я и об игре, похожей по описанию на «феркерваль». Мои попытки обучить этой игре моих товарищей по дачам и домам отдыха и вживить её в летнюю жизнь никогда результатов не давали. Поэтому для меня «феркерваль» остался Болшевской игрой.

Советская реальность проникала в жизнь пионерлагеря не только в процессе контактов с коминтерновской и профинтерновской публикой. Время от времени вожатые устраивали военную игру, в которой ничего нельзя было понять: кто-то где-то прятался, кто-то куда-то бежал. Позже я стал думать, что в этих играх невольно отражалась та неподготовленность страны к настоящей войне, которая выявилась в финской кампании и в первом периоде Отечественной.

Маршировали мы редко и только на территории лагеря. Но всякие построения, пионерские линейки, рапорты практиковались. Запомнились две торжественные линейки. Одна — в середине лета в «родительский день», когда к нам приехали в гости родители. Мы к этой линейке готовили целую программу. Я участвовал в большом литературном монтаже. Пионеры были выстроены на спортивной площадке в ломаную трёхзвенную линию, и читали — один за другим, каждый по кусочку — какую-то поэму, прославлявшую экономические успехи советской власти и призывавшую к их умножению. Мне было доверено декламировать два раза. В первый раз я выкрикивал:

Чугун и сахар,
Соль и спички!

А во второй раз я голосил:

Поднимай на неслыханную высоту
Рабочую инициативу!

Мои родители были в полном восторге.

Другая большая линейка была по поводу закрытия лагеря. На этой последней торжественной линейке был устроен приём в пионеры тех детей, которые достигли девяти лет. Мой день рождения приходится на 15 июля, я подпадал под условие и был принят. Т. е. я произнёс перед строем слова торжественного обещания: «Я, юный пионер Союза Советских Социалистических Республик, перед лицом моих товарищей торжественно обещаю...», после чего старшая пионервожатая Сима повязала мне на шею красный галстук, и я стал пионером.

После практики в Интуристе мама с этим учреждением рассталась. По своей ли, по их ли воле — не знаю. Она стала где-то преподавать немецкий, но не очень долго. А потом в течение нескольких лет она повернула свою профессию на сто восемьдесят градусов: вместо того, чтобы преподавать немецкий язык русским людям, она стала преподавать русский язык немцам. Это были коммунисты, которые либо эмигрировали из своих стран насовсем (например, из всё сильнее окрашивавшейся в коричневый цвет, а после 34-го года ставшей нацистской Германии и из Дольфусовской Австрии), либо приезжали сюда по делам на время. Возможно, что на эту работу её вывели связи, которые она завязала, работая в Интуристе.

Система обучения русскому языку немецких, австрийских и других иностранных говоривших по-немецки коммунистов, в которой работала мама, была организована, оплачивалась и управлялась одним из отделов Коминтерна. Это были индивидуальные занятия или кружки для двух—

трёх учеников. Несмотря на высокий ранг учреждения, шефствовавшего над системой, занятия часто проходили у нас дома, и я с маминими учениками знакомился и немного разговаривал по-немецки и по-русски.

Я вернулся из лагеря в статусе пионера, а мои однокашники оставались октябрятами. Школьный вожатый в моих правах не сомневался. Но возникла проблема: вернувшись в школу, я оказался пионером, не состоявшим ни в какой пионерской организации. Пионерское начальство такого уродства потерпеть не могло, и для исправления дела меня приписали к пионерскому отряду 3-го «А». Именно в этом классе учился мой летний друг Боря Кулес. Иногда после уроков я важно шёл в тот класс на пионерские сборы, лишний раз подчёркивая моё особое положение среди сверстников-второклашек.

В моей биографии произошёл важный поворот: начиная со второго класса меня перевели из «Б» в «А», и мы стали учиться вместе с Эдей и Леной. Арифметику, чтение и письмо у нас вела классная руководительница Надежда Касьяновна Логинова. Уж не помню, хорошо ли она преподавала свои предметы. Главным в её личности была выдающаяся толщина фигуры и лица. Лицо было огромное, розовощёкое, с многочисленными жировыми складками, маленькими заплывшими голубыми глазками и уложенными вокруг головы светлыми неопрятными косами. Оно было совершенно свиноподобным. Внешность Надежды Касьяновны отвлекала её учеников и их родителей ото всех других качеств этой учительницы — и как педагога-предметника, и как классного руководителя. Но общее впечатление от её характера, пожалуй, сохранилось: она была клуша.

Школьная пора прошла быстро, и если вспоминать, то в некоторые годы ничего примечательного вроде и не происходило. Хотя тогда каждый день нам казался уникальным. Один из таких дней, ставший в судьбе Эди действительно особым, почему-то запомнился и мне, хотя его важность для Эди, и, в значительной степени, и для меня, выяснилась много позже. В третьем классе, через несколько дней после начала нового учебного года, в середине урока завуч ввёл в класс новую девочку. Она была высокой, полноватой и красивой. У неё были очень длинные тёмные косы и тубетейка на голове, что вполне соответствовало тогдашней моде. Её звали Тамара Майзель. Между Эдей и ней завязалась дружба — в школе и вне школы.

...В шестом классе — Эде было тринадцать, ей двенадцать — они осознали неразрывность связи между ними, в сорок третьем поженились и прожили счастливые двадцать пять лет — вплоть до трагической гибели Тамары в автомобильной катастрофе в январе 1968 года...

Моя дружба с Борей Кулесом продолжилась и после Болшева. Мы стали встречаться на переменах в школе, звонили друг другу по телефону, ходили друг другу в гости и гуляли по Арбату от Смоленской до Арбатской с заходом в Арбатские переулки.

Отец Бори был чем-то вроде бухгалтера в Интуристе, никакой притягательной для меня образованностью и культурой не обладал. Борины мама и сестра Белла тоже были мне неинтересны. Но сам Боря был очень начитанным мальчиком. Особенно по части детской научно-популярной литературы. И хотя Боря был несколько скучноват, но мне с ним было несколько не скучно, тем более, что кроме наук мы обсуждали с ним наших школьных учителей и некоторых выдающихся теми или иными качествами учеников.

В школе был сторож дядя Коля. Говорили, что он работал ещё в до-революционной предшественнице нашей школы — в гимназии Хвостовой. Дядя Коля был низкорослым усатеньким пожилым человеком, всегда носившим головной убор по сезону — кепку или ушанку. Он стоял в дверях, когда ученики устремлялись по утрам в школу; он подметал школьный двор. И у него была ещё одна — важная для нас — обязанность: он давал звонки, возвещавшие о начале и конце каждого урока. На большинстве уроков Надежды Касьяновны мы томились и с тоской ждали звонка на перемену. Среди школьников (и не только младших классов) было поверье: когда станет совсем невыносимо, надо обмакнуть ручку в чернильницу и написать на крашеной чёрной крышке парты заклинание «Дядя Коля, дай звонок!». Когда заклинание полностью высохло, раздавался вождь-деленный звонок. При первом звуке мы вскакивали, но Надежда Касьяновна говорила (позже мы убедились, что так говорило большинство учителей): «Куда это вы? Урок ещё не кончен. Звонок — для учителя, а не для учеников. Пойдѐте на перемену, когда я скажу». Мы её, вообще, не очень-то слушались, а в данном случае — просто не обращали на неё никакого внимания.

Коснусь моего тогдашнего чтения. Тогда была популярна книжка Якова Ильина «Рассказ о великом плане». В доступной, как говорится, форме десяти-двенадцатилетним детям излагалась марксистская полит-экономика. Самым занимательным образом, в живом и остроумном стиле доказывалась нелепость рыночной капиталистической и превосходство целесообразной плановой социалистической экономики. Конечно, на меня все доводы автора и все его насмешки над близорукими капиталистами действовали безотказно.

...Через несколько лет вышла в свет книга этого же автора под названием «Большой конвейер» — о строительстве Сталинградского Тракторного Завода. Подталкиваемый радостными воспоминаниями о предыдущей книге Ильина, я кинулся читать эту новую. Но она оказалась полной тягомотиной...

Я читал и перечитывал книжку Н. Константинова «Карта рассказывает» о великих путешественниках и великих географических открытиях. Точно также, я почти наизусть знал книгу Плавильщикова на биологические темы. Из этой книжки я узнал о биологических занятиях Гёте, о Линнее, Бюффоне, Ламарке, Кювье, Карле Бэре, Дарвине.

Мой отец, окончивший в 1927 году заочный Плехановский институт, продолжал работать в планово-финансовой сфере. Собственно говоря, это было продолжением того, с чего он начинал в «Туркмануфактуре». После окончания института папа, как работник с практическим опытом и с высшим образованием, стал получать приглашения на начальственные должности. Одно время он работал в МОГЭСе (тогда чуть ли не единственная московская городская электростанция), затем — несколько лет — экономистом в ВСНХ, и с этим были связаны наши прогулки в окрестностях солянского дома, о которых я рассказывал.

В начале тридцатых ему предложили должность начальника планового отдела строительства Сталиногорской ГРЭС. Папа это предложение принял и несколько лет прожил вне семьи в городе Сталиногорске, недалеко от Тулы. Этот городок до начала тридцатых назывался Бобрики, а с тех пор, как географические имена, включающие буквосочетание «Сталин», стали резать властям слух, стал называться Новомосковск. Впрочем, уехав в Сталиногорск, папа бывал в Москве в командировках очень часто.

И вот после примерно года работы на строительстве ГРЭС, весной тридцать третьего года (я только что окончил второй класс), мой отец получил две путёвки на юг, в дом отдыха в посёлке Ермоловское, недалеко от Сочи. Позже этот посёлок стал называться Леселидзе.

Наш поезд шёл через голодные края. Зная, очевидно, о продовольственных трудностях в стране, папа взял в почти трёхдневное железнодорожное путешествие два или три больших караваев белого хлеба и большой кусок ветчины. Думаю, что и в Москве этот запас собрать было непросто. Почему не испортилась ветчина, я сейчас не понимаю. Вагона-ресторана в поезде не было, или он был нам недоступен. Проводники чаем пассажиров в те годы ещё не потчевали. Но поезд стоял на многих станциях минут по пятнадцать и дольше, и папа выбегал, чтобы набрать кипятку из специального крана, имевшегося на каждой станции. Мы три раза в день пили чай (чай и сахар папа тоже вёз с собой) с хлебом и ветчиной.

Особенно ясно я увидел кошмарное состояние населения, когда нам надо было выйти из дальнего поезда и пересест в местный. Так тогда ездили. Это было или в Сочи, или в Туапсе, или в Армавире. Мы расположились в привокзальном скверике в ожидании поезда, и папа счёл, что пора подкрепиться. Он достал полкараваев хлеба и ещё довольно большой кусок ветчины, завернутый в белый платок. Папа вынул нож и стал отрезать хлеб. Но тут нас обступила толпа оборванных детей, умолявших дать им поесть. Папа не отвечал им ни словом, еды никому не подал, но есть в присутствии этих несчастных ни он, ни я не могли. Через несколько минут голодные дети, увидев безнадежность своей мольбы, от нас отошли. Я спросил у папы, почему он никому не дал поесть. Папа был смущён и отвечал, что он боялся, что нам самим до приезда в дом отдыха еды может не хватить. Мне было — может, первый раз в жизни — за папу стыдно, а на душе — скверно.

Дома отдыха были островками, в которых люди не голодали. Но я помню, что ещё пару дней после приезда папа добавлял к нашему рациону оставшийся дорожный запас. Наш дом отдыха так и назывался: «Ермоловское». Папу и меня поместили в большую «мужскую» комнату вместе с ещё десятком мужчин. Супружеские пары разъединяли: мужа селили в «мужской», а жену в «женской» комнате. Это считалось в порядке вещей.

Наших соседей — ни по комнате, ни по столу — я не помню. Почти каждый вечер приезжала кинопередвижка, и отдыхающим показывали кинофильм. Это происходило около садовой эстрады. Там стояли ряды лавок, и впереди натягивали полотно экрана. Электричество для кинопроектора поступало не из центральной сети (хоть дом отдыха был электрифицирован), а вырабатывалось динамо-машиной, которую надо было крутить вручную. На эту работу у кинемеханика помощников было много: всем мальчикам, и мне в том числе, было интересно покрутить. Я много крутил и поэтому совсем не помню, какие картины нам показывали.

В общей «мужской» комнате мы прожили с папой дней десять. А потом у папы случился конфликт с директором дома отдыха. Повода не помню. Директор был темпераментный еврей. На какую-то панину претензию он ответил грубо, папа вспылел и дал директору пощёчину. В результате на доске объявлений появился приказ директора об отчислении отдыхающего Геронимуса В. М. из дома отдыха за хулиганство. Я не понимал правовой и финансовой стороны дела. Но оно (возможно, не без участия потерпевшего директора) было улажено так. Папу перевели в соседний дом отдыха, который назывался «Авиетка» (этим термином тогда обозначали небольшие спортивные самолёты).

И вот я продолжал жить в мужской комнате «Ермоловского», а папа переехал в «Авиетку». Всё время, кроме ночного и дневного сна и трапез, мы проводили вместе, а спали и ели врозь. Я уже был достаточно взрослым, чтобы с выпавшими мне бытовыми делами справляться. Перевести в «Авиетку» вместе с сыльным папой и его сына, не достигшего десяти лет, было, очевидно, невозможно. Дома отдыха, в которых мы жили, были друг от друга минутах в десяти ходьбы, и больших проблем в поддержании наших регулярных связей не возникло.

Впечатления об Азовском море, полученные за шесть лет до того, стёрлись. Можно считать, я осмысленно видел море в первый раз, и можно представить себе, какое удовольствие я получал от пляжа. Папа плавал свободно, сажёнками, но почему-то не старался выучить плавать меня. Поэтому я плескался у берега, разглядывал медуз, загорал и играл с камушками. Там, на морском пляже, я в первый раз увидел, что женщины и мужчины купаются вместе. Что для женщин есть специальные купальные костюмы, а для мужчин — плавки: чёрные трусы, отличающиеся от нижнего белья. До этого я бывал только на отдельных речных пляжах, на которых купальщики пребывали либо в том, в чём их родила мать, либо в предметах нижнего белья.

Папа взял в библиотеке дома отдыха Гоголя и читал мне на пляже «Тараса Бульбу» и — уже во второй раз — «Как поссорились...». Я заметил сходство бессмертного сюжета с приключившейся с папой историей, но сказать папе о моём открытии не рискнул. Через несколько дней папа и директор «Ермоловского» помирились. Наверное, помогли посредники, которым дикость ситуации — десятилетний сын и его отец живут в разных домах отдыха — казалась очевидной. В результате папу вернули в «Ермоловское». Более того, при этом возвращении нас с папой поселили в двухместной комнате!

Она находилась не в известном нам корпусе с большими комнатами на десяток однополых людей, а в другом — маленьком и стоявшем на отлёте. Мы раньше даже не подозревали, что такие комнаты есть. Очевидно, что привилегированное помещение нам предоставили только из-за того, что оставалось нам жить в доме отдыха уже немного дней, и этот люкс случайно между приездами важных отдыхающих в то время пустовал. Недоступный рядовому отдыхающему номер был всего-то маленькой комнатухой, в которой едва умещались две кровати с тумбочками и маленький столик. Вещи, помнится, оставались в чемоданах под кроватями. В общий тамбур с умывальником и уборной выходила ещё одна комната, чуть побольше нашей. Горячей воды в кранах тогда в заводе не было, и как было организовано в этом доме отдыха мытьё отдыхающих, я не помню.

В соседней комнате стояли три кровати. Там жила семья иностранцев, что было полной диковиной. Это были австрийский инженер по имени Герберт с женой и с сыном Фредди. Герберт работал по контракту в Тульском угольном бассейне. Фредди был моим сверстником. Папа не чурался контактов с иностранцами, и мы проводили с ними много времени. Моего немецкого хватало на игры и болтовню с Фредди. Немцы говорили немного по-русски, делая смешные ошибки. Например, про найденный Фредди в гальке на берегу моря маленький с загнутым концом скелет морского конька, вызвавший наше с Фредди недоумение, господин Герберт пояснил: «Морная лошка». Он говорил по-русски плохо и сделал двойную ошибку: сказал вместо «морской конёк» «морская лошадка», да и то на обоих словах оступился.

Папины разговоры с австрийскими друзьями велись или на их русском или с моей помощью по-немецки. Папа окончил дореволюционную гимназию. Но, в отличие от мамы, он ни немецкого, ни французского (про них тогда говорили «новые языки») не усвоил. Но зато, тоже в отличие от мамы, помнил довольно много из латыни. Ещё задолго до поездки в Ермоловское папа научил меня студенческому гимну, зародившемуся в Европе в средние века и воспринятому российским студенчеством:

Gaudeamus igitur
Juvenes dum sumus.
Post jucundam juventutem,
Post molestam senectutem,
Nos habebit humus
Nos habebit humus. И т. д.

Я мог бы и продолжать цитировать, хоть, не исключая, с ошибками. Когда-то этот текст был редкостью. Но с шестидесятых годов он снова вошёл в моду у студентов советских университетов, и я могу спокойно на этих нескольких строчках остановиться.

И вдруг выяснилось, что и господин Герберт учился в классической — но в австрийской — гимназии, и тоже до Первой Мировой. Папа и Герберт стали иногда развлекаться тем, что хором декламировали целые страницы из «Галльской войны» Цезаря, иногда подправляя друг друга или подсказывая друг другу. Кроме латыни у мужчин была ещё одна общая тема: тульские бурые угли, осваивать которые помогал Герберт, а использовать должна была Сталиногорская ГРЭС, на строительстве которой работал папа.

Ели наши австрийские друзья не в той столовой, где мы, а где — я так и не понял. Их жилище, которое нам казалось царским, они, видимо, считали нищенским. Но они восхищались морем, Кавказским хребтом, прекрасной растительностью и кое-какими фруктами. Кроме того, кто-то довёл до ушей австрийцев историю и детали ссоры между папой и директором, и они дали папе понять, что восхищаются также и им.

Так вышло, что мы уезжали в один день. Мы вместе доехали до Сочи и провели там несколько часов в ожидании поезда на Москву. Эти несколько часов мы гуляли в Худяковском парке среди платанов и пальм. Но перед посадкой в московский поезд мы расстались: у нас с папой были билеты в жёсткий, а у австрийской семьи — в мягкий или даже в международный вагон. Я не помню, продолжали ли мы встречаться за два дня пути. Они сошли в Туле.

В Ермоловском мы прожили май, а оставшиеся три летних месяца я провёл на даче, снятой родителями. На этот раз — в Тайнинке по Ярославской дороге. Ничего особо примечательного на этой даче не происходило. Сверстников поблизости не нашлось, ходить было некуда, я оставался преимущественно на участке и читал. Запомнился мне подарок, который я получил в этот мой день рождения от моих тёток. Это был очень большой глобус, и я много времени потратил на разглядывание и изучение мировой географической карты. Правда, покупая это выдающееся учебное пособие, тётки не заметили серьёзного брака: шар надевался на вертикальную ось, торчавшую непосредственно из подставки глобуса. Не было дополнительной металлической дуги, к которой должна крепиться ось, чтобы оказаться наклонённой и моделировать угол между осью Земного Шара и плоскостью его орбиты. Но несмотря на этот дефект, глобус прослужил мне много лет.

Свиноподобная Надежда Касьяновна продолжала быть у нас классным руководителем и в третьем классе. Она была детям несимпатична. Самые

активные из класса (и я в их числе) довольно умело её изводили. Вставая при её появлении в классе в начале урока, мы ухитрялись откидывать крышки парт с необычайным грохотом, который каждый раз нашу жертву пугал. То мы начинали во время урока шуметь. То с серьёзным видом задавали Надежде Касьяновне вопросы по литературе, которые должны были поставить (и ставили!) её в тупик. После каждой нашей выходки лицо Надежды Касьяновны покрывалось багровыми пятнами и капельками пота. Нам такой результат наших издёвок нравился и толкал на новые подвиги.

Но как-то после очередной стрелы, пущенной в Надежду Касьяновну, и её очередной болезненной реакции мне стало вдруг эту огромную и беспомощную женщину очень жаль. Я подговорил на перемене группу из нашей банды, и после конца следующего урока мы подошли к Надежде Касьяновне и попросили у неё прощения. Она была ошарашена и даже прослезилась. Это было незадолго до окончания учебного года. До его конца мы продержались и не хамили, а после каникул Надежды Касьяновны среди наших учителей уже не было.

Вообще, толстых учителей у нас был явный перебор. Феноменально толстой была учительница рисования Тамара Корнильевна (именно так, а не «Корнелиевна», что было бы понятнее). Тамара Корнильевна была гораздо выше и толще блондинки Надежды Касьяновны, и у неё была маленькая черноволосая птичья головка. Она неплохо вела свой предмет: давала нам то тему для рисунков, то даже ставила на учительском столике натюрморт. С какого-то момента она стала учить нас пользоваться акварельными красками.

Я очень любил рисовать, и среди детей и родственных взрослых этот мой интерес и успехи находили полное признание. Я интересовался и историко-литературной стороной предмета. В мои руки попала книга о крепостном художнике Тропинине. Я собирал открытки с репродукциями известных картин этого и других русских художников, разглядывал «Бурлаков» Репина, «Тройку» Перова, «Незнакомку» Крамского.

Но, видимо, я не удовлетворял каким-то критериям Тамары Корнильевны — то ли её собственным, то ли установленным методическими правилами. Она ставила мне за мои работы «хорошо», а не «отлично», в объяснения не пускалась, и я не мог понять, почему рисунками Васи Булкина она всегда громко восхищалась и удостаивала их высших отметок, а к моим относилась сдержанно. В то же время Васе мои рисунки очень нравились, как и его рисунки — мне. Вася был сыном дворника в доме 51. У него было простое скуластое лицо. Эрудицией он не отличался, с работами известных художников знаком не был, но сам рисовал очень хорошо.

Кислое отношение Тамары Корнильевны к моим результатам своё дело сделало. Я забросил домашнее рисование и рисовал только в классе то, что требовалось по программе. А в четвёртом классе этот предмет вообще прекратился, а с ним — и мои какие бы то ни было попытки в этом виде деятельности чего-либо достигнуть. Не знаю, кем стал Вася Булкин во взрослые годы. Он ушёл из нашей школы задолго до последнего класса.

...Моя любовь к рисованию неожиданно возродилась, когда мне было уже тридцать лет. Об этом — позже...

Третьим толстяком был наш любимый учитель пения Александр Михайлович Астафьев. Его я заметил раньше: он преподавал и во вторых классах. Александр Михайлович был низенький, лысоватый, очень оживлённый и говорливый. Но у него был педагогический дар, и его ни разу никто из детей не осмелился послушаться, и никогда Александру Михайловичу не приходилось прибегать к окрику для установления порядка.

Уроки пения проходили в одном из двух залов, имевшихся в школе. На урок сводили два—три параллельных класса. Свои наставления по существу своего предмета Александр Михайлович разбавлял болтовнёй, которую мы слушали с большим удовольствием, хотя многое повторялось не единожды. Так, почти на каждом уроке мы узнавали, что нашего учителя в детстве называли за его внешность «арбузиком».

На уроках пения дети стояли не по классам, а по характеру голоса: все девочки по одну сторону рояля, а все мальчики — по другую. Александр Михайлович разучивал с нами разные сочинения для хоровой музыки, раскладывая их на два голоса. Во время разучивания и исполнения он рукой показывал, какой группе вступать или замолкать, а иногда этот жест дополнял словесной командой. Девочек он приглашал вступать, восклицая: «Кисоньки!», а мальчиков — «Котики!».

Александр Михайлович учил нас совершенно бескорыстно в том смысле, что тогда не были в заводе показательные выступления, так что учителю негде было блеснуть перед сколько-нибудь влиятельным начальством и добавить какие-то плюсы в свою карьеру. Не помню я и того, чтобы начальство жаловало на уроки пения в школу. Александр Михайлович оставался всё тем же простым школьным учителем в течение многих лет после того, как он уже нас учить перестал, и мы, будучи уже в старших классах, почтительно здоровались с ним, повстречав на школьных лестницах и в коридорах.

Репертуар наш был насквозь советским и коммунистическим. Во-первых, мы пели старые революционные песни: «Вихри враждебные», «Смело, товарищи, в ногу!», «Ты умер, товарищ, в борьбе роковой» и пр. Далее, мы пели песни, рождённые тематикой гражданской войны и других подвигов Красной Армии: «Там, вдали за рекой», «Полюшко-поле», «Конноармейская тачанка». Или:

С неба полудённого жара не подступи!
Конная Будённого раскинулась в степи!

А также:

Белая армия, Чёрный барон
Снова готовят нам царский трон.
Но от тайги до Британский морей
Красная Армия всех сильней!
Так пусть же Красная
Сжимает властно
Свой штык мозолистой рукой,
И все должны мы,
Непобедимы,
Идти в последний смертный бой! И т. д.

Эдя, пользуясь тем, что мощный хор заглушал его голос, всегда пел: «мозолистой ногой». Была ещё такая песня, прямо адресованная юношеству и детям:

Мы шли под грохот канонады,
Мы смерти смотрели в лицо.
Вперёд пробивались отряды
Спартаконцев смелых бойцов.
Средь нас был юный барабанщик,
В атаку он шёл впереди
С весёлым другом барабаном,
С огнём большевистским в груди. И т. д.

Мы пели о героизме настоящего:

Наш паровоз, вперёд лети!
В коммуне остановка.
Иного нет у нас пути.
В руках у нас — винтовка!

Пели:

«Всё выше и выше, и выше»,

а также

Крепи, пилот, дозор боевой!
Враги труда нам грозят штыками армий.
Не сдаст советский строй
Темпов ударных!

Или:

Прицелом точным врагу в упор
Дальневосточная, даёшь отпор!

Была у нас и интернациональная тематика. Перво-наперво мы разучили государственный и партийный гимн «Интернационал». Потом пошли более современные коминтерновские песни: «Заводы, вставайте!», «Сакко и Ванцетти»... Песни этой группы я хорошо знал по Болшевскому лагерю.

Когда мы занимались с Александром Михайловичем, ещё не было «Песни о встречном», «Каховки», «Легко на сердце от песни весёлой». Ничего из русской хоровой классики Александр Михайлович в наш репертуар — очевидно, в полном соответствии с официальной программой — не включал. Меня задним числом удивляет, как при своей любви к музыке и к детям Александр Михайлович по своей инициативе не вышел хоть чуть-чуть за рамки программы и не познакомил нас хотя бы с «Калинкой», «Вдоль по Питерской», «Что стоишь, качаясь?».

Александр Михайлович учил нас музыкальным размерам и азам нотной грамоты. На стенах висели большие листы с нотным станом и с несколькими гаммами. Небольшую часть урока Александр Михайлович посвящал теории. Он вызывал к себе по очереди нескольких учеников и каждому давал задание. Задания были двух типов. Либо Александр Михайлович начинал играть мелодию на рояле, а ученик должен был подстроиться и начать дирижировать, правильно определив размер, на две, три или четыре четверти. Либо Александр Михайлович водил указкой по нотам, а ученик должен был голосом выводить то, что велела указка. При успешном выполнении задания ученик возвращался на место под звуки красивого и мощного марша, звучавшего под пальцами Александра Михайловича, а при неудачном — семенял на место под глумливую какофонию в том же исполнении.

Я всю жизнь любил и хорошо запоминал музыку, но голос у меня фальшивый, и я далеко не всегда могу верно напеть мелодию, которую знаю хорошо, и фальшь в исполнении которой, допущенную кем-нибудь другим, замечаю мгновенно. Так вот мне либо фартило, либо Александр Михайлович не хотел травмировать мою старательность и преданность музыке, но я всегда возвращался на место под звуки триумфального марша.

Эдя был очень способным учеником и неплохо успевал по всем предметам, хотя, естественно, гуманитарные предметы и география привлекали его больше, чем математика, биология, черчение, рисование и физкультура.

В нашем же классе учился и Има Левин, с которым, напомним, меня познакомила моя бабушка: Имина бабушка — Левинша — жила на Солянке, в том же доме и в том же подъезде, что и моя. Отец Имы, сын Левинши, был политическим журналистом. Его звали Илья Давидович, а публиковался он под псевдонимом Эльвин, полученным из его настоящей фамилии небольшой инверсией.

Специальностью Ильи Давидовича была антирелигиозная пропаганда, а более узко — идеологические нападки на папский престол. Печатался ли он регулярно в периодической печати, я не знаю, но у него вышли одна или две брошюры с оскорбительными в адрес папы заголовками. Има этими брошюрами очень гордился. Имина мама Елизавета Яковлевна была невысокой, миловидной и симпатичной женщиной. Кажется, она нигде не работала.

Жилищные условия Левиных были гораздо лучше наших. Они занимали две смежные комнаты (разумеется, в большой коммунальной квартире) на последнем, пятом, этаже дома 30 — в ближайшем к зоомагазину подъезде. Лифта в подъезде даже предусмотрено не было. Первая комната Левиных была кабинетом отца, там стоял его большой письменный стол и книжные шкафы. Там же находилось и пианино, на котором некоторое время учили играть несчастного Иму. Я тогда «Старинную французскую песенку» Чайковского, входившую в традиционный репертуар обучающихся музыке детей, слышал то в исполнении Эди, то в исполнении Имы. Отличить эти два исполнения я тогда (а может, и теперь) не взялся бы. Когда Име было лет десять, от него с музыкой отступились. А от Эди — нет...

Има при каждом удобном случае подчёркивал, что его полное имя — не Эммануил, как можно было бы подумать, а Иммануил, и что он назван так в честь философа Иммануила Канта. Почему Илья Давидович так чтит Канта, ума не приложу. Может, это была инициатива Левинши? Как долго Има и его родители афишировали, в чью память он был назван этим несколько экстравагантным именем? Думаю, что это хвастовство прекратилось ещё до середины тридцатых — с приходом немецких нацистов к власти в Германии. Хоть Кант предтечей Гитлера не был, но, не исключаю, что родители стали жалеть, что нарекли сына Имой, а не более надёжным Володей.

Има много читал, и иногда выяснялось, что он читал книжки, о которых я даже не слыхивал. Например, в их доме был русский перевод детской книжки итальянского писателя Де Амичиса «Дневник итальянского школьника». Илья Давидович очень рекомендовал и мне эту книжку прочитать, и я это сделал с удовольствием.

Мы с Имой участвовали (каждый за себя) в продолжительной викторине, которую вёл в «Пионерской правде» некто Самсон Глязер. Мы с нетерпением ждали номера газеты с очередным туром: Это была таблица на полстранички с десятком картинок, под каждой из которых был подписан вопрос. Вопросы были из разных наук и искусств, из биографий выдающихся людей и пр. Ответы надо было до назначенного срока отсылать по почте в редакцию газеты на имя Глязера. На каждого участника в редакции заводилась карточка, в которой суммировались очки за каждый тур. Через некоторое время после получения от участника его ответов на вопросы очередного тура редакция отсылала ему открытку, на которой было проставлено количество очков, полученных им в последнем туре и сумму очков за все туры с начала игры.

Отослав свои запечатанные в конверты ответы, мы с Имой нервно ждали открыток с результатами, а получив их, ревниво сравнивали наши баллы и с нетерпением ждали номера газеты с новым туром. Чем окончилась тогда эта викторина для каждого из нас, я не помню.

...Более чем через тридцать лет после этих забав я как-то повёз мою старшую дочку, тогда шести- или семилетнюю Катеньку, на очередное занятие по фигурному катанию. В тот сезон она занималась в группе при Дворце Спорта в Сокольниках. Занятия проводились на закрытом стадионе, залитом льдом. Катя надела спортивной костюм и коньки и пошла на лёд, а я, скучая, то сидел на зрительских трибунах и наблюдал за занятиями, то прохаживался по коридорам Дворца Спорта. Прохаживаясь, я бросил взгляд на доску объявлений, а на ней, натурально, были приклеены объявления и приказы. Я увидел, что под приказами стоит подпись: «Директор Дворца Спорта С. Глязер». В этот или в другой раз человека, от звука имени которого в детстве вздрагивало моё сердце, человека, которого я считал самым знающим на свете и одобрения которого мне так хотелось заслужить, я увидел воочию. Во время проведения занятий кто-то вышел откуда-то из заднего плана на лёд, чтобы что-то сказать проводившему занятию инструктору. Сидевшие на трибуне родители увидели, что занятия приостановились, и стали спрашивать, кто это вышел и мешает. Кто-то разъяснил, что это сам директор. Глязер был полноватый, лысоватый, энергичный...

В третьем классе нас учила географии Варвара Васильевна, Она, возможно, была неплохим преподавателем, рассказывала нам про путешествия Колумба, Магеллана и Кука, про полюса, меридианы, широты и тропики Рака и Козерога. Я, правда, знал о многом до её рассказов — из книжки Константинова. У Варвары Васильевны была странность речи. После каждой сказанной ею фразы (во время рассказа по теме урока или во время распекания нерадивого ученика) она произносила либо слово «Вот!», утверждавшее истинность сказанного, либо восклицание «И только!», означавшее бесспорность сказанного. Выбор между этими штампами она делала, исходя, видимо, из только ей понятного различия в оттенках смысла её речи. Нам же эти слова-паразиты казались совершенно бессмысленными, и мы развлекались (а следовательно, отвлекались от географии) тем, что подсчитывали, сколько раз во время урока Варвара Васильевна скажет «Вот», а сколько — «И только!». Потом мы наши подсчёты сверяли и обсуждали.

Многие мальчики из нашего класса, и я был в их числе, тянулись к одному из учеников, которого звали Вика Левин. Потому, не исключая, что жил в соседнем со школой доме 17. И школьное здание, и Викин дом фасадами выходили на Кривоарбатский, но за каждым из них был большой двор. Школьный двор был отделён от двора Викиного дома высоким деревянным забором. Дом 17 был двухэтажным, деревянным и большим. Для входа и выхода использовалось заднее крыльцо во дворе.

Входя в этот двор из переулка, мы попадали в некоторое изолированное от внешнего мира пространство. Семья Вики жила на первом этаже, крыльцо было в пять—шесть ступенек, и поэтому двор был естественным — особенно в тёплое время года — продолжением квартиры. На первом этаже было шесть или семь комнат. Несколько комнат занимала семья Викиных родителей: папа, мама, Вика и его старшая сестра Мэри, которая училась в одном из старших классов нашей же школы. Левины жили просторно даже по теперешним меркам, а по тогдашним — роскошно.

Я помню, что и у Вики, и у Мэри было по комнате, и что была общая столовая. Даже если у родителей Вики была одна общая комната (в ней я никогда не бывал), то уже выходит четыре.

В других комнатах квартиры жили: домработница (а лучше сказать, экономка) тётя Варя, Викин старший двоюродный брат Боря Левин, сверстник Мэри и, очевидно, Борины родители, которые в нашей жизни роли не играли.

Викин отец Яков был малорослый, лысый, живой и любезный человек. Вика ростом пошёл в него. В выстроенном на линейке классе он был среди стоявших впереди. Викино лицо было пухловатым. В отличие от своего оживлённого отца, Вика был несколько флегматичен. Вдобавок он слегка шепелявил. Викины родители были каким-то боком знакомы с семьёй Тамары Майзель, и Вика знал Тамару ещё до её появления в нашем классе. Вика ожидал (он с горечью рассказывал мне тогда об этом), что Тамара, придя в наш класс, станет его подружкой. Но вышло по-другому: ближайшим другом Тамары стал Эдя Колмановский.

...Вика этой горечи долго — до весьма взрослых лет — забыть не мог. Время от времени он звонил по телефону уже замужней и детной Тамаре, и они могли полчаса поболтать о том и о сём. Впрочем, и Тамара, отвечая как то на мой вопрос, о чём это она умудряется полчаса говорить по телефону с Викой, с которым её и Эдю, вроде, уже мало что связывало, призналась, что в его шепелявом выговоре есть известное обаяние и симпатичная ей человечность...

Мать Вики была высокой красивой женщиной. Она была очень любезна с Викиными товарищами, всегда зазывала нас в дом. Несколько раз меня приглашали к большим семейным обедам в выходные дни. Сервировка (например, суп подавался тётей Варей в фарфоровой супнице) и разнообразие блюд были мне удивительны. Не знаю, работала ли Викина мама и была ли у неё профессия. Отец Вики, дотягивающий до плеча жены, был крупным чиновником или хозяйственником в промышленности фотокиноматериалов, ездил, как и Давид Колмановский, в заграничные командировки и привозил семье массу хороших вещей.

У Вики среди прочих прелестей (марки, карандаши, краски) были подростковый детский двухколёсный велосипед и пневматическое ружьё «Монте-Кристо». Эти две вещи были особенно притягательны в глазах Викиных друзей, потому что двор позволял использовать их на все сто. В тёплое время года мы проводили часы в этом дворе, катались по очереди на велосипеде и устраивали соревнования в стрельбе из «Монте-Кристо». Мишень — лист бумаги с нарисованными концентрическими кругами — прикреплялся к стене, отгораживающей Викин двор от школьного.

Мы стреляли метров с десяти, и энергии пули хватало, чтобы впитаться в деревянную стену, на которой висела мишень. У Вики был большой запас специальных оперённых пуль для «Монте-Кристо». Но мы, тем не менее, вытаскивали воткнувшиеся в стенку пули и берегли их для новых употреблений. Вика совсем не был жадным и никогда никому из своих гостей не показывал, что именно он — хозяин привлекавших их богатств.

Во дворе одновременно проводили время две компании: одна наша, а другая — старшая, вившаяся вокруг Мэри и Бори. У них были свои разговоры; иногда они танцевали под патефон. Мэри, в отличие от невзрачного Вики, была красавица — в мать. Соединялись мы только во время состязаний по стрельбе.

Весь второй этаж дома занимал профессор Щуровский, который, как говорили, лечил Ленина. Время от времени этот высокий старик с тростью

проходил молча и отрешённо (нам казалось — надменно) по двору. Семья Вики и её гости профессора не любили и называли его «Щука».

В отличие от нас с Эдей и Леной, знавших немецкий, Вика учил французский. Тогда это было редкостью. К нему ходила учительница, которую он называл Жюлькой. На самом деле учительницу звали Жюли-Анриет, и она была, несмотря на своё подлинно французское происхождение, очень некрасивой советской гражданкой по имени Генриета Селестеновна. Через два года она стала и моей учительницей, о чём я расскажу позже.

...Пик нашей дружбы с Викой пришёлся на третий—четвёртый классы. В старших классах мы друг к другу остыли. Потом, в начале войны, нас ненадолго соединило Ополчение (об этом подробнее — ниже). После войны Вика окончил МАИ и стал работать в авиаконструкторском бюро Мясищева. В начале шестидесятых после смерти Мясищева его фирму присоединил к своей империи Генеральный конструктор Челомей, у которого я тогда работал. Таким образом, мы с Викой оказались в одной фирме. Правда, он в Москве, а я в Реутове. Вика занимал хорошие инженерные посты. Но он в ещё не старом возрасте перенёс инсульт и потерял работоспособность. Он вынужден был уйти на инвалидность и через какое-то время умер...

У нас в классе было троё учеников, чьи родители или близкие родные занимали привилегированное положение в советском обществе. Даже если это положение не выпячивалось, оно не могло не чувствоваться в детской среде. Первые двое непростых учеников были Эдя и Вика. Третьей была Майя Туровлина. Она пришла к нам в середине третьего класса и сразу дала понять, что она птица не нашего полёта. Она была высоконькая полноватая брюнетка с сияющими выпуклыми глазками, с горбатеньким, но высоко задранным вверх носиком. Не в пример Эде и Вике, одежда которых редко выдавала особые возможности семьи, Майя была одета в очень добротные и необычные для советского ребёнка тридцатых годов одежды: яркие шерстяные свитеры, пёстрые чулки зимой и пёстрые гольфы летом. Она неплохо училась, с простым человеком не смешивалась. Но к интеллигентным мальчикам из еврейских семей относилась благосклонно.

Я бывал у неё дома часто. Майин отец Залман Ильич занимал в течение нескольких лет, предшествовавших появлению Майи в нашем классе, важный дипломатический или торгпредский пост в советском представительстве в Иране, а вот теперь вернулся, стал работать и жить в Москве. Он получил большую отдельную квартиру в новом доме (что само по себе было в редкость) в Малом Лёвшинском.

Однажды мы, сидя в Майиной комнате, болтали с ней и разглядывали какие-то диковинки, привезённые их семьёй из Ирана. У Майи была сестра Клара, на пару лет моложе Майи. Майя сестру из своей выпроводила. Но вдруг на какой-то мой вопрос ответила не замешкавшись на момент Майя, а Клара — из соседней комнаты за стеклянной дверью.

В возрасте, в котором мы пребывали, превосходство старших над младшими — даже при незначительной разнице лет — ощущается обеими сторонами как вполне законное. Услышав неожиданную фразу невидимой Клары, Майя сразу дерзкую девчонку припечатала, сказав выразительно: «Голос из провинции». Мне этот приговор показался остроумным и справедливым. Мы не сочли нужным подхватить реплику Клары и тем самым разговор с малявкой поддерживать. Клара осознала своё место и в интересную для неё беседу, которую вели мы, старшие, больше не вмешивалась.

Во время моих визитов родителей Майи дома не было, и всей домашней жизнью решительно управляла Майя. Только раз Залман Ильич вернулся домой, когда я ещё там ошивался. Он приветливо, но рассеянно поздоровался со мной и прошёл к себе. Я успел заметить, что они с Майей были очень похожи: тоже носик с горбинкой, тоже выпуклые глазки. Только Залман Ильич был лысым и весьма невысокого мужского роста, а Майя тянула на высокую женщину, и волосы у неё были превосходные. С Майиной матерью мне познакомиться так и не довелось.

...В пятом классе детей, живших в краях, тяготеющих к Кропоткинской (до и после она — Пречистенка) стали переводить из нашей школы в другую, возможно, в 29-ю. Перевели и Майю Туровлину. Знакомство наше прекратилось. В 37-м или 38-м году до нас дошла весть, что отец Майи расстрелян.

Как-то в мае сорок первого под вечер я встретил Майю случайно на улице. Это было где-то в центре города. Мы обрадовались друг другу и пошли в кинотеатр «Центральный», который стоял рядом с домом «Известий» (теперь это здание снесено).

Мы до, во время и после этого фильма оживлённо разговаривали. По-видимому, следы страшной потери и страшных событий из детского ума и детского сердца отступили. Майя была весела, интересовалась моими и Эдиными делами.

В следующий и последний раз в жизни я встретил Майю в конце сороковых или в начале пятидесятых годов. Дело было в тех же родных Арбатских краях. Меня весело окликнула полная женщина. На одной руке у неё сидел ребёнок, в другой она держала тяжёлую сумку. Это была Майя Туровлина. Я взял у неё из рук сумку и пошёл её проводить. Она жила рядом, в одном из Могильцевских. Она быстро рассказала мне о себе, о замужестве, о маме и о Кларе и о том, как они разменяли квартиры, в результате чего у неё с мужем есть комната или две вот в этом доме. Перед лифтом мы остановились. Майя взяла у меня из рук кошелёк, чмокнула меня в щёку, и мы расстались навсегда...

Итак, в нашем классе было трое, чьи родители принадлежали к хозяйственной и дипломатической или внешнеторговой элите. Все трое мужчин, приближённых к высшей власти, были евреями. Двое из них были расстреляны. Выборка недостаточно большая, чтобы делать выводы. Но, всё же...

С довольно ранних лет я стал регулярно ходить в Политехнический музей. Нет, не в знаменитый зал, который бывал свидетелем литературных баталей и стартов знаменательных литературных карьер: в двадцатые — Маяковского, в шестидесятые — Окуджавы, Евтушенко, Ахмадулиной. Я ходил в залы, в которых размещалась неплохая экспозиция, иллюстрирующая технический прогресс человечества. Я, признаться, эту постоянную экспозицию почти не помню, а помню некоторые временные выставки на злободневные темы. В начале тридцатых печать подняла большой шум по поводу двух изобретений: аэропоезда Вальдмана и шаропоезда Ярмольчука. В Политехническом были установлены их действующие модели.

Аэропоезд был чем-то вроде аэросаней: это был вагон обтекаемой, как фюзеляж самолёта, формы с авиационным винтом сзади. Вагон двигался по рельсам, поднятым на эстакаду. Через рельсы подавался электрический ток, вращавший винт. Поезд должен был, по расчётам изобретателя, развивать неслыханно большую скорость и быть экономичным. Первый поезд проектировалось пустить по трассе Москва—Ленинград.

Шаропоезд состоял из нескольких вагонов, соединённых шарнирами без зазоров между ними. Что-то вроде змеи. Поезд двигался в деревянном жёлобе, а вместо колёс внизу вагонов были большие шары, которые приводились в движение электромоторами. Этому виду транспорта тоже сулили роль завоевателя железнодорожной сети страны. Первую экспериментальную линию проектировали построить (и, кажется, какие-то работы начали производить) на подмосковном отрезке Ярославской железной дороги.

Так вот, в одном из залов Политехнического наверху вдоль стен была установлена замкнутая линия с моделью аэропоезда Вальдмана, в в другом — замкнутый деревянный жёлоб с моделью шаропоезда Ярмольчука. Экскурсовод мог эти модели включать, и поезда с шумом эффектно носились по своим путям. Эти два скоро поглощённые летой изобретения стали на время символом того высокого уровня технического прогресса, который может рождаться и осуществляться только при социализме, в то время, как капитализму такое не по зубам.

Ещё в одном из залов Политехнического был бассейн с прозрачной водой, а в ней на глубине десятка сантиметров плавала подводная лодка с винтами на электрическом приводе. Этой лодкой можно было управлять по радио. Небольшой ящичек с антенной был в руках экскурсовода, и он мог пускать в ход и останавливать лодку, изменять её скорость и направление движения. Годам к тринадцати мой интерес к выставочным залам Политехнического музея остыл.

...По мере последовательного взросления всех моих троих детей и некоторых внуков я водил их в Зоопарк, Третьяковку, Музей Изобразительных искусств, Храм Василия Блаженного, Пушкинский музей и т. д. Но мне ни разу не пришло желание познакомить их с (несомненно разросшейся и улучшенной) экспозицией Политехнического. Я о таком московском музее забыл. Думаю, что обыденный мир вокруг наполнялся необычной техникой во всё большей мере, и будущее технического прогресса стало само входить в дом к любому обывателю.

Но судьба чуть было не свела меня с Политехническим летом 1998-го года. Мы с Машей приезжали из Иерусалима в Москву. На обратный путь нам надавали много поручений. Среди прочих было такое. Родители Миши — одного из наших зятьёв (а обе наши дочери с семьями живут в Израиле) — попросили отвезти их сыну барометр. Это был крупный круглый тяжёлый прибор из массивного дерева, стекла и металла, изготовленный в Германии в конце XIX или в начале XX века. Этот барометр был в семье с самого раннего Мишиного детства, и Мише, говорили нам его родители, будет приятно его иметь в своём теперешнем доме, расположенном в поселении Эли в Самарии. Барометр не функционировал вот уж много десятков лет, и никто не думал о его починке, потому что функции этого прибора неплохо стал выполнять метеоцентр и его сводки погоды по радио и телевизору. Мы реликтовый барометр, конечно, взяли, но в затылках заскребли. Мало того, что тяжёлый, но ведь таможня его не пропустит без разрешения.

Мы помнили, как свирепствовала таможня в годы нашего отъезда и — чуть раньше — при отъезде наших дочерей. Я в 1993 году таскал живопись в одну комиссию, керамику — в другую, справочные издания — в Ленинку. Я вспомнил, что предметы техники, выпущенные до какого-то года (барометр был старше!), надо предъявлять комиссии в Политехническом музее и получать от неё разрешение на вывоз. Я позвонил в Политехнический. Там мне дали телефон нужного отдела, а там — другого. Наконец,

я выяснил, что да, такая комиссия есть, что мой барометр — подлежит, что комиссия заседает раз в неделю по два часа и что надо заручиться письмом из Министерства Культуры, в котором будет написано, что Министерство просит комиссию Политехнического принять гражданина имярёк и рассмотреть барометр на предмет вывоза. Мы решили плюнуть и проходить таможенный контроль так. Выяснилось что таможня 98-го — совсем не то, что таможня 93-го. Она не заинтересовалась ни барометром, посланным одними нашими сватами, ни тремя килограммами столового серебра, посланного другими сватами. Так что мне не довелось побывать в Политехническом и в тот мой приезд в Москву...

Вернусь в начало тридцатых, чтоб сказать несколько слов о семье тётки Нюры. У неё и её мужа Александра Ивановича, который, по слухам, выпивал, было две дочери — Ира (её я уже упоминал) и младшая Милочка, года на три или четыре моложе Иры. Несмотря на то, что эта семья жила в Малом Николопесковском переулке, т. е. в трёх минутах ходьбы от нас, мы практически не виделись из-за несносного характера тётки Нюры. Она постоянно находилась с моими родителями в ссоре. Технология ссоры была такая. Когда в какой-нибудь короткий мирный интервал между Нюрой и кем-нибудь из моих родителей возникал разговор, то он был минным полем, независимо от его содержания. Даже если он касался способа варить картошку. В любой момент любая фраза, сказанная собеседником, могла показаться Нюре оскорбительной, и она объявляла состояние ссоры. Не всегда было даже понятно, что именно её обидело. Ссора означала полный разрыв контактов.

С другой стороны, тётка Нюра была порядочнейшим человеком и безукоризненно владела своей нелёгкой профессией (напомню: она была специалистом по работе с трудными детьми и подростками). Родители этих детей её боготворили. Обожали её и её собственные дочери.

И вот, примерно в те годы, о которых речь, т. е. когда мне было лет десять—одиннадцать, от скарлатины скончалась Милочка. Может, это был недосмотр персонала, может недостаточный уровень тогдашней медицины. Мы ездили хоронить Милочку на Ваганьковское кладбище. Это были первые похороны в моей жизни.

ГЛАВА 6

Первые взрослые коньки. Парк Горького зимой и летом. Учительницы: Александра Николаевна (Гусыня) и Евгения Александровна. Врач Анна Ивановна. Библиотекарь Елизавета Борисовна. Кассиль и Гашек. Общественная жизнь. Линейка. Шура Завадьё. Политические взгляды. Лето в Истре. Убийство Кирова. Политические сомнения. Женя Агранович. Весенние каникулы у папы в Сталиногорске. Лето в Алексине. Потапов. Лошадь. Чехи. «Колёса». Роковой град.

Зимой 33/34 года мне в первый раз купили вожделенные взрослые коньки «английский спорт» и — специально для них — пару ботинок. Это были обычные ботинки (другие и не продавались), но эту пару мне купили для того, чтобы я пошёл к дяде Ване — привинтить коньки к ботинкам навсегда. Уже тогда в Москве было много катков. Один — дорогой — был в центре, на Петровке. Он назывался «Динамо». Там я не бывал никогда. Даже став взрослым. Был каток в Сокольниках. Там я несколько раз бывал. Но самое замечательное катание было в Парке культуры Горького. Льдом заливались многочисленные аллеи и площадки. Из динамиков, установленных на высоких столбах, гремела музыка. А после наступления темноты зажигалась иллюминация, казавшаяся по тем временам волшебной.

На катках можно было пользоваться тёплыми раздевалками. Там можно было свою верхнюю партикулярную одежду и обувь снять, надеть ботинки с коньками, надеть, если были, спортивные свитера и шапочки, а если не было, то остаться в обычной ушанке и шубейке и прошествовать на коньках по деревянному полу, чтобы сдать в гардероб всё ненужное и через противоположные двери вылететь на лёд! У меня специальной спортивной одежды не было. Я катался в своей шапке-ушанке и в той же лыжной байковой куртке, в которой зимой ходил в школу. Только поддевал под неё какую-нибудь дополнительную рубашку или фуфайку.

Замёрзнув или устав кататься, можно было зайти в раздевалку погреться и отдохнуть. В буфете там продавались чай и булочки. Первые два—три раза, пока я на льду ковылял, мама ездила со мной, чтоб помочь переодеться и посмотреть, как я прогрессирую в катании. Когда она убедилась, что я уже езжу по льду достаточно уверенно и могу самостоятельно манипулировать с вещами в раздевалке, она стала отпускать меня одного или с кем-нибудь из моих друзей. Ездить самостоятельно в трамвае и в автобусе я к этому времени уже вполне научился.

Как-то раз, когда я ещё ездил с мамой, был очень морозный день — градусов в сорок. Во всех школах города занятия отменили. Я упрашивал маму везти меня на каток, несмотря на мороз. Я уверял её, что не замёрзну, а замёрзну — погрееусь в раздевалке. Мама сомневалась, открыт ли каток в такой мороз, но я канючил, и мама сдалась. В трамвае «Б», который вёз нас от Смоленской до Парка, никого, кроме нас с мамой, не было. Приблизившись к помпёзному входу в Парк, мы увидели объявление о том, что по случаю...

Из всей моей интеллигентной компании (Эдя, Лена, Има, Боря Кулес) никто, кроме меня, на каток не ездил. Кроме того, класса до шестого не принято было ездить мальчику с девочкой. В результате, моим главным товарищем в поездках на каток был Вася Булкин, мой соперник по славе рисовальщика. Напротив Парка культуры располагался стадион автозавода. Теперь на той территории выстроены выставочные залы Третьяковской галереи и Союза художников. На этом стадионе зимой тоже заливали каток. Мы с Васей как-то раз из любознательности туда сходили и увидели, что каток в Парке культуры и этот — небо и земля...

Вообще, Парк культуры имени Горького был хорошим местом. Летом там действовало много аттракционов. Самым привлекательным был «Спиральный спуск». Так называлась довольно высокая, метров в 20, круглая башня, внешнюю стену которой обвивал, спускаясь сверху вниз, жёлоб, выложенный полированными досками. Заплативший за билет (обычно, но не всегда, это был ребёнок) получал коврик и шёл с ним наверх по внутренней винтовой лестнице. Дойдя до верхней площадки, он становился в очередь к двери, ведущей к началу жёлоба. Через каждые полминуты дежурный брал из очереди и подводил к жёлобу следующего. Тот клал свой коврик на пол у самого начала жёлоба и садился на него ногам вперёд. Дежурный давал ему последний толчок в спину, после чего клиент, сидя на коврике, мчался вниз по спирали вокруг башни. Сделав несколько витков, он через пару десятков секунд стремительной и головокружительной езды оказывался у финиша. Стоявший там служащий его подхватывал, помогал встать на ноги и выталкивал за ограду аттракциона, отобрав предварительно коврик, который тут же шёл новому клиенту.

Я этот спуск очень любил. И не я один. Там всегда была очередь. Несколько позже функции аттракциона были расширены. На вершине башни, на площадке, с которой начинался спуск на коврике, установили длинную консоль, к которой был привязан парашют. Пожелавший прыгнуть, тоже всходил по внутренней лестнице наверх, на него надевали лямки парашюта и сталкивали вниз. Парашют раскрывался, но оставался привязанным к штанге с помощью разматывавшегося страховочного каната. Полёт продолжался несколько секунд и завершался вполне мягким приземлением.

Успехом пользовалась «Комната смеха». Это был зал, на стенах которого были развешаны зеркала с разнообразными слегка волнообразными поверхностями. Эти зеркала искажали лица и фигуры посетителей весьма забавным образом. Особенно веселились парочки. Они подходили к каждому зеркалу, взявшись за руки, и находили в уродливых фантастических отражениях друг друга повод для добродушного и любовного подтрунивания.

Было ещё «Колесо обозрения» — большое вертикальное колесо с подвесными кабинами. Сначала шла фаза загрузки «Колеса». Клиента, предъявившего купленный в находившейся тут же кассе билет, усаживали в нижнюю свободную кабину. Кабины, помнится, были двухместные. Потом колесо поворачивалось на несколько градусов и останавливалось, загруженная кабина отъезжала несколько наверх, а внизу оказывалась новая пустая кабина. Её загружали, и колесо снова поворачивалось, подставляя для посадки новую пустую кабину. После одного оборота все кабины оказывались загруженными, и начиналась вторая фаза. Впрочем, в холодные дни или в дождь или в иное неподходящее время клиентов хватало не на все кабины, но вторая фаза начиналась независимо от того, сколько кабин оказывалось загруженными. Она состояла в том, что

колесо непрерывно в течение нескольких минут вращалось, и подвешенные кабины оказывались то наверху, то внизу, оставаясь в вертикальном положении. Когда кабина оказывалась наверху, то взору сидящих в ней открывался неплохой вид с птичьего полёта на Парк и на прилегающую часть города. Потом колесо останавливалось и делало оборот с остановками для выгрузки кабин.

Но больше всего я любил кататься на байдарке на Пионерских прудах. Так называется система из двух или трёх прудов, соединённых друг с другом узкими проливами, над которыми были перекинuty мостики. Купив билет, я получал весло с двумя лопастями, и меня пускали в свободную байдарку. Байдарки были одноместные, рассчитанные на детей лет до двенадцати. Байдарка была накрыта фанерной крышкой с отверстием посередине. Я влезал в это отверстие и садился на пол, причём ноги уходили под крышку — вперёд вдоль корпуса судёнышка. Оно было плоскостонным, устойчивым, а для увеличения устойчивости из дна росли вбок — справа и слева — два деревянных крылышка.

Грести и управлять байдаркой было очень просто и совершенно безопасно. Приятно было просто плыть по глади пруда, приятно было делать манёвры, чтобы разминуться с встречной байдаркой или обогнать ту, которая путалась перед тобой. Особенно приятно было переплывать по проливам из пруда в пруд...

В четвёртом классе нашей классной руководительницей стала Александра Николаевна Полякова. Она же была учительницей географии. Она, как и Варвара Васильевна, учила нас очень хорошо. Александра Николаевна проходила с нами географию СССР и капиталистических стран. И в учебнике, и в рассказах нашей учительницы некоторая доза советской идеологии, неизбежная в те годы при изложении любой темы, присутствовала. Но это не мешало Александре Николаевне познакомить нас с политической и физической картой Советского Союза и остального мира по существу.

Нам все учительницы и учителя казались пожилыми, но по моим теперешним расчётам им было лет по тридцать—сорок. Александре Николаевне было, быть может, сорок с небольшим. Она была дамой высокой и статной. Свою небольшую головку с седоватым пучком и длинноватым носом она держала всегда гордо приподнятой. За это все школьники (а преподавала она во всех параллельных классах) называли её за глаза Гусыней. Гусыня-то гусыня, а о том, что в Руре добывают уголь, я узнал впервые от неё...

В четвёртом и пятом классах нас учила русскому языку и литературе Евгения Александровна Полтанова. Это была очень симпатичная учительница — худощавая, среднего роста, очень тронутая сединой, очень доброжелательная, хоть и внешне суховатая. Мы её и её предмет — на благо себе — полюбили и старались в нём успевать.

Как-то Евгения Александровна задала нам домашнее сочинение на тему Некрасовского «Выдь на Волгу...». Надо было обнаружить связь картины Репина «Бурлаки на Волге» с этим стихотворением, выявить идейное содержание этих произведений, т. е. в принятом тогда духе установить, что Некрасов — революционный демократ.

Я выбрал жанр беллетристики и написал рассказ о бурлаке — центральной фигуре картины Репина. Я дал ему имя и имена его жене и детям, оставшимся в деревне, которую поразил неурожай, что и побудило моего героя наняться в бурлаки. Я придумал и другие трогательные

подробности и обстоятельства. Это сочинение — на три или четыре тетрадные страницы в линейку — было удостоено Евгенией Александровной отметки «отлично» (цифровые баллы ввели позже) и дополнительно одобрено в её устном комментарии к выставленным отметкам. С тех пор я больше беллетристических произведений ни о бурлаках, ни о ком бы то ни было другом не писал. Но к другим литературным жанрам обращался. Возможно, доброе слово Евгенией Александровны о том моём сочинении дало толчок моим литературным занятиям.

Кроме учителей, в нашей жизни играли вполне положительную роль две женщины: школьный врач Анна Ивановна и заведующая школьной библиотекой (и, по-моему, единственная её сотрудница) Елизавета Борисовна. Не будучи, в отличие от учителей, с нами в строго определённых отношениях начальника и подчинённого, эти две женщины и не стремились создать их де-факто. В противоположность тому, как это делали, например, школьные нянечки, покрикивая на нас в раздевалке, когда мы устраивали там беспорядок и путаницу в одежде, а то и норовя мазнуть нас щёткой, если мы своей беготнёй и вознёй мешали им (действительно!) выполнять их нелёгкую работу — убирать в классах и в коридорах, Анна Ивановна и Елизавета Борисовна стремились, скорее, создать между нами и собой тёплую дружескую атмосферу. Что им в высшей степени удавалось.

Анна Ивановна была невысокой пожилой женщиной с немного мартышечьим, но очень милым и добрым очкастеньким лицом. Мы должны были после болезни и пребывания дома нести ей справку от врача детской поликлиники, и она выдавала разрешение идти на занятия. К ней можно было — иногда симулируя — явиться и пожаловаться на головную боль. И она давала справку, получив которую, больной или симулянт мог, сунув бумажку учителю, уйти с урока гулять или прямёхонько домой!

В библиотеку нас водили раз в неделю строго или, но те, кто хотел, мог пойти туда на любой перемене или после уроков. Елизавета Борисовна была очкастой длинноносой еврейкой среднего учительского возраста. Она очень хорошо знала каждого из нескольких сот своих абонентов. Активных искущённых читателей, вроде нас с Эдей и Леной, она привечала, старалась найти книгу, которая могла бы их заинтересовать, а на детей, не имевших привычки и склонности читать, не сердилась, а терпеливо старалась изменить ситуацию в пользу книги.

Знаковой книжкой в те начальные школьные годы была диалогия Л. Кассиля «Конduit» и «Швамбрания». Нас привлекало одобрительное отношение автора к гимназическому вольнолюбию, которое мы, естественно, примеряли к нашему поведению в передовой советской школе. Нам было по сердцу юмористическое и доброжелательное отношение к детской психологии, нравились забавные детали жизни вымышленной страны. Мы в повседневных разговорах щеголяли знанием текстов этих библий и употребляли вычитанные в них речевые кальки.

Ещё мы очень любили, постоянно цитировали — к месту и не очень — книжку Ярослава Гашека «Похождения бравого солдата Швейка». Её главный персонаж, не слишком молодой резервист Йозеф Швейк, симулируя слабоумие, высмеивал и обдуривал туповатое военное начальство. По этой книжке была сделана и многосерийная радиопередача. Среди персонажей книги и, соответственно, радиопередачи был полковой священник — фельдкурат Отто Кац. Не знаю, заключала ли эта фамилия какой-то элемент абсурдистской издёвки или для чеха такая фамилия

не обязательно воспринималась как еврейская. Фельдкурат строго учил солдат нравственности и долгу, но он попивал, а выпив, становился вольнодумным. В радиопередаче он, находясь в подпитии, распевал частушки, одну из которых я запомнил:

К моей милке на поклон
Люди прут со всех сторон.
Прут и справа, прут и слева —
Звать её Мария Дева!

Советская идеология внедрялась в нас через предметы гуманитарного цикла и через различные виды «общественной работы», организованной в форме постоянно действующей модели советского общества. Эта модель хорошо подготавливала детей к взрослой жизни.

«Пионерская работа» моделировала структуру и некоторые стороны функционирования ВКП(б) и Комсомола. Многие школьники участвовали в этой детской партийной иерархии активно и с удовольствием, занимая «выборные» должности. Они были «звеньевыми» в октябрятских звёздочках и в пионерских «звеньях». Переходя в старшие классы, они становились вожатыми в младших классах, председателями советов отряда, членами совета пионерской дружины и т. п. Дети, остававшиеся без титулов по доброй воле или по воле учителей или вожатых, составляли массу, роль которой сводилась к участию в пионерских сборах, слётах и в военизированных играх.

«Учебная работа» моделировала карьеру «по советской линии». В этой сфере можно было при желании стать старостой класса, членом или даже председателем Ученического Комитета — «Учкома», который ведал делами всех классов школы (кажется, кроме трёх старших; там царил комсомол). Простолюдины ограничивались ролью простых членов профсоюза, заполнявших зал на разных собраниях.

Учебный день всегда начинался с «линейки». Дети приходили в зал и выстраивались по классам. (старшие классы в этом действии уже не участвовали). Каждый класс выстраивался в затылок друг другу в порядке роста: маленькие впереди, долговязые — сзади. Последним в нашем классе был всегда Женья Буробин, к сожалению, теперь уже давно покойный. Я делил два предпоследних места с Вовой Кяо, сыном эстонского коммуниста, оставшегося по своей воле или оставленного руководством Коминтерна в Москве. Мы росли и время от времени менялись местами.

...После захвата Эстонии в 1940-м году родителей Вовы направили на руководящие посты в Эстонию. Сделал там карьеру и Вова. В шестидесятом году он был там Председателем Совнархоза, в семидесятых — министром местной или лёгкой промышленности. Какое-то время он ходил во вторых секретарях Эстонского ЦК. Что с ним теперь, я не знаю...

Среди долговязых, стоявших на линейке рядом с мной в хвосте нашей колонны, был и еврейский мальчик Шура Завадьё. Его отец был адвокатом. Откуда французское звучание фамилии я так и не удосужился узнать, хотя жизнь свела меня с Шурой ещё один раз в начале семидесятых.

...Шура стал очень видным учителем истории. Он работал в разных московских школах, был признанным мэтром во всём клане московских учителей истории и автором многочисленных методических пособий. Кажется, он занимал и официальный общественный пост председателя методического объединения историков при ГОРОНО.

Моя старшая дочка Катя первые шесть классов училась в 21-й (английской) спецшколе на проспекте Мира, напротив Новоалексеевской, где мы тогда жили. В седьмом классе у неё возникли многочисленные осложнения в отношениях с преподавателями школы. К этому добавлялась и другая проблема. Катя была уже слишком взрослой для того, чтобы её всякий раз провожать в школу и встречать после уроков, но её самостоятельный переход через широкий и шумный проспект Мира нас тревожить продолжал.

По совокупности причин мы предложили ей перейти в 6-ю английскую спецшколу, находившуюся на ул. Павла Корчагина. Туда, правда, надо было ездить на автобусе или на маршрутном такси, но переход через опасный проспект Мира исключался. Эта идея стала для нас особенно привлекательной после того, как я узнал, что в тот момент в этой школе работает Шура Завадьё. Я чувствовал, что Катини репутация и дневник будут мешать её переводу, и что без протекции не обойтись. Кроме того, мне хотелось посоветоваться с опытным педагогом Шурой по существу. Мы сердечно встретились (в возрасте под пятьдесят), Шура рекомендовал переводить и активно помог этот перевод осуществить...

В 8.30 начиналась официальная часть линейки. Перед шеренгой каждого класса становился, независимо от своего роста, староста или председатель совета пионерского отряда. Лицом к шеренгам стояли директор, завуч, старший пионервожатый, некоторые учителя. На стул, лицом к массе учеников, взгромозждался председатель учкома, и ему по очереди отдавали рапорт старосты классов (сколько учеников в классе, сколько пришло). То и дело звучали команды «смирно!», «вольно!». Иногда делал объявления директор или завуч. Потом классные руководители или учителя, чей урок был первым, разводили детей строем по классам.

Стенгазеты моделировали послушную прессу. Должность «член редколлегии» была неплохим укрытием для тех, кто в фальшивых публичных пионерских и учкомовских затеях участвовать брезговал, но всё же опасался остаться с плохой оценкой в рубрике «общественная работа», обязательно присутствовавшей в постоянно выдаваемых по разным поводам и для разных надобностей бумажках под названием «Характеристика».

Мне общественная работа первое время нравилась: она давала выход моим (увы, непохвальным) желаниям применить мою толковость, а главное — выделиться среди других. Во втором классе я побывал старостой, потом — в третьем классе — председателем совета отряда, потом даже был членом учкома школы и время от времени важно принимал рапорты на линейках. Впрочем, моя увлечённость общественной работой скоро прошла.

Эдя любой общественной работы чурался с младых ногтей. С пионерских сборов и с классных собраний он, как правило, старался сбежать и обычно делал это молча. Если же обстоятельства вынуждали объясняться, то он мотивировал (до или после побега) невозможность присутствовать на мероприятии своими обязательствами в Гнесинской школе. Эти объяснения большею частью учителями и вожатыми принимались.

...Эдя и позже старался предьявить в качестве своей общественной работы (её продолжали требовать и от взрослых людей) что-нибудь приемлемое для его психики. Например, давал бесчисленные «шефские», т. е. бесплатные, концерты на заводах, в школах, в военных частях.

Он был уже известным композитором, но каждое первое апреля попадался на нехитрый розыгрыш, в котором использовалась его нелюбовь к политической показухе. В подходящий момент этого дня Эдин старший

сын Серёжа сообщал отцу, что в его отсутствие звонили из парторганизации Союза композиторов и просили зайти для объяснений причин его пренебрежительного отношения к занятиям в кружке по изучению истории КПСС. Эдя взрывался проклятиями по адресу партийных чиновников, которые не хотят засчитывать ему в общественную работу шефские концерты — его прибежище от чего-то более лицемерного и унижительного. Он нервно ходил по квартире и готовил аргументы, которые должны были избавить его от нелепой обязаловки. Перед самым уходом Эди в партком для тщательно отрепетированной им встречи Серёжа раскалывался, и разражались новые взрывы, направленные против парткома и Серёжи...

Но был один раз в нашем четвёртом классе всплеск общественной деятельности не по указке ни школьного, ни комсомольского, ни пионерского начальства. В нашем классе был очень озорной мальчик Володя Сидоров. Он учился плохо, но не потому что был тупой, а потому что школьные науки его не интересовали. Его занимали коньки и лыжи, он не прочь был сразиться (с хорошим результатом) в любительских (без правил!) боксёрских турнирах, спонтанно возникавших на переменах или после уроков. Классная руководительница, подводя итоги четверти, составляла список класса, расставив в нём учеников по некоему рейтингу, который исчислялся ею из трёх основных показателей: учёба, дисциплина и чистота внешнего вида. Она отдавала этот лист лучшему рисовальщику класса Васе Булкину, и он представлял эти рейтинги в виде строки из нескольких прямоугольных полей. В самом левом поле был изображён самолёт и были написаны фамилии нескольких первых учеников. Во втором поле был паровоз, и фамилии тех, кто заслужил право ехать в этом довольно быстром виде транспорта. Далее следовало поле с автомобилем, потом — с пароходом, потом с лошадью, потом с верблюдом и т. д. В предпоследнем поле была нарисована черепаха, а в последнем — рак.

Так вот, Володя Сидоров всегда ехал на черепахе или на раке: он не только учился из рук вон плохо, но и шалил и дерзил учителям, но и был всегда крайне небрежно одет. Родители либо были успехами своего сына удовлетворены, либо не имели на сына влияния. Рейтинг Сидорова в среде школьников был совершенно отличен от его рейтинга в глазах педагогов и пионервожатых. Если б рейтинговое панно школьники компоновали без указки классной руководительницы, то Сидорову предоставляли бы самолёт.

Как-то раз Володя особенно сильно проштрафился, и классная руководительница объявила нам, что директор исключил его из школы. Не знаю, было ли это исключение истинным или только демонстрацией гнева педагогов, но тогда мы приняли известие за чистую монету, взволновались и возмутились. Не помню сути проступка, но помню главное: мы точно знали, что проступок на этот раз совершён не Володей, а Софкой Тимофеевой, довольно неотёсанной и несимпатичной девочкой. Мы решили идти после уроков к директору защищать Володю.

Директором школы был очень волевой и строгий еврей Манулевич. Он был грозой всех — и учителей, и учеников, и родителей. Его имя и отчество я не забыл, потому что не знал их никогда. Все, в том числе и учителя, упоминая директора, называли его только по фамилии. Защищать Володю нас собралось человек двадцать пять — почти весь класс. К кабинету директора мы шли строем, как это было заведено школьными правилами для передвижения по школе (независимо от его цели) больших групп учеников.

Манулевича в его кабинете не оказалось. Мы знали, что он в школе и решили ждать. Мы выстроились вдоль стенки, ведущей к кабинету директора. Скоро директор появился. Узнав, что мы по поводу Сидорова, он хмуро пригласил всех в свой кабинет. На всех нас стульев не хватило, и большинство осталось стоять. Нам с Володей Кяо достались стулья около самого стола Манулевича. Так что рассказывать выпало нам. Выслушав нас, Манулевич сказал, что он нас понял и подумает, как быть. Назавтра мы узнали, что Манулевич свой приказ об исключении Володи отменил. Наказали ли как-нибудь Софу, я не помню. Во всяком случае, не исключили.

...Вскоре после этого случая Володю Сидорова перевели в другую школу. Я надолго потерял его из виду. В течение многих лет после войны мы регулярно, хоть и случайно встречались с ним — то в троллейбусе, то на улице, а один раз встретились даже в Одессе: мы оба были там в командировке. Хулиган Володя Сидоров прошёл через войну, окончил Юридический и стал адвокатом...

Поступив в первом или втором классе в Гнесинскую музыкальную школу, Эдя стал очень занятым человеком: первая часть дня проходила в общеобразовательной школе, а во вторую он либо ходил в музыкальную школу, либо нескончаемо играл на пианино или делал уроки дома. Поэтому, начиная примерно с восьмилетнего возраста, я почти никогда с Эдей не гулял, а гулял с другими моими товарищами. Между тем, эти прогулки по Арбагу были для местных детей непременным и заманчивым ритуалом — вплоть до окончания школы. Редкие прогулки с Эдей связаны для меня с прогулами школы, ибо только такой ценой (которую платили довольно охотно) Эдя мог выкроить время для удовольствия.

Как-то весной, будучи в четвёртом классе, мы с Эдей решили школу прогулять и пойти вместо неё в Музей изящных искусств (так назывался в те годы Музей им. Пушкина на Волхонке). Мы вышли из дому с нашими школьными портфелями в обычное время, но направились не по Кривоарбатскому к школе, а на Арбат и — переулками — к Волхонке. Когда мы приблизились к музею, то увидели, что он ещё закрыт и откроется только через два часа. Мы стали бродить по переулкам, расположенным между Арбатом и Кропоткинской, и в какой-то момент в Сивцевом Вражке увидели со страхом, что наш прогул обнаружен, ибо нам навстречу шёл Эдин дядя Александр Маркович. У нас не было возможности ни юркнуть куда-нибудь, ни сговориться, как будем выкручиваться. Но через мгновение выяснилось, что опасности нет. Завидев нас, как всегда вежливый, доброжелательный и уважительный к нашему возрасту Александр Маркович приподнял шляпу, молча раскланялся с нами и пошёл дальше своей дорогой, не заметив или не сочтя нужным заметить, что мы в школьное время прохаживаемся с неясными целями по переулкам.

Мы (Эдя, Лена, я) продолжали, конечно, запоем читать. Мы прочитали, в частности, книжку «Республика Шкид» Пантелеева и Белых. Она сделалась нашей настольной и поминутно цитируемой — как раньше такими книгами были «Три толстяка», «Кондуит» и «Швамбрания», а несколько позже стали «Двенадцать стульев» и «Золотой телёнок» Ильфа и Петрова. Мы прочитали «Детство», «В людях» и «Мои Университеты» Горького.

У меня была ещё тяга (Эдя и Лена её не разделяли) к советской литературе «интеллигентного направления», к которому принадлежал Катаев. Я читал и перечитывал его «Время, вперёд!», восхищаясь главным

персонажем инженером Маргулисом, ставящим мировой рекорд по количеству уложенного за смену бетона (речь шла о строительстве Магнитки) и одновременно любившим чистой любовью девушку Клаву из рабочих.

В четвёртом классе я был увлечён романом «Юноша» Бориса Левина. Эту книгу, как она мне запомнилась, я и до сих пор считаю очень интересной и талантливой. Но конечно, не исключаю, что прочитав роман сейчас, я расценил бы его не столь высоко. К сожалению, впоследствии я никогда больше имени этого писателя не встречал. Героем «Юноши» был рефлексирующий интеллигентный художник Миша Колче. Действие разворачивалось в конце двадцатых в провинциальном белорусском городке. В основной сюжет вкрапливались воспоминания персонажей о последних предреволюционных годах. Всё повествование ненавязчиво внушало необходимость для интеллигенции верить в советскую коммунистическую идею и ей служить. Через роман проходила Мишина сложная любовь, приведшая его к переезду в Москву. Скептический и рафинированный Миша Колче в конце концов оказывался в числе участников боёв за КВЖД и погибал со знаменем в руках.

Читали мы и поэтов. Уже годам к восьми мы не только знали наизусть образцы превосходной русской детской поэзии Чуковского, Маршака, Веры Инбер, но и с раннего дошкольного детства мы были знакомы со многими произведениями поэтической классики — Жуковского, Пушкина, Лермонтова, Крылова — доступными детскому уму. В школьные годы доступный нам и любимый нами круг русской поэтической классики стремительно расширялся. Мы не только читали и знали наизусть всё новые и новые произведения уже знакомых поэтов, но и добавляли к этому кругу новые имена. Например, Некрасова и Тютчева.

Александр Маркович рано начал активно приобщать Эдю к взрослой художественной литературе. Мы с Эдей были восьмилетними детьми, а дядя Саша читал нам «Двенадцать» Блока и обращал наше внимание на художественные особенности этой поэмы. И эти семена в наших душах прорастали. Аналогичную роль в моей жизни сыграл мой отец. Мы с Эдей интенсивно рассказывали друг другу о прочитанном, и каждый из нас старался прочесть то, что его друг прочитать уже успел.

Уже с девяти-десятилетнего возраста к прочитанным раньше Сервантесу, Свифту, Твену, Дефо добавились сочинения Рабле, Шекспира, Шиллера, Ростана, Дюма, Диккенса, Виктора Гюго, Жюль Верна, Ф. Купера, Джека Лондона, Альфонса Додэ, Джерома К. Джерома, О'Генри, Р. Киплинга, Джованьоли, Г. Уэллса. Расширялся список и русского чтения: мы читали всё больше и больше Пушкина, Гоголя, познакомились с А. К. и Л. Н. Толстыми, с Гаршиным, Тургеневым, стали читать взрослого Чехова, Лескова, Куприна. Бунин, видимо, был под строгим запретом властей, и его сочинений мы тогда не читали. Я думаю, что если бы телевидение стало неотъемлемой частью цивилизации годами тридцатью раньше, и мы воспользовались его благами в детстве, то наше литературное образование сильно пострадало бы.

Интерес Эди к литературе и его начитанность получали дополнительный стимул от его вовлечённости — через Ваву — в театральную жизнь. Отсюда — раннее знакомство с Шекспиром, с Бальзаком, с Шиллером. Их пьесы или инсценировки по их произведениям шли в театре Вахтангова, и Вава исполняла главные женские роли. Знакомо нам было и имя Карло Гоцци, автора любимой и родной «Принцессы Турандот», и фамилия композитора Сизова, сочинившего к этому спектаклю бесхитростный

и бессмертный вальс, ставший гимном театра. О других музыкальных пьесах этого композитора я не слышал.

Александр Маркович, сам будучи большим знатоком оперы (он мог пропеть наизусть всю «Кармен»), очень основательно знакомил Эдю с оперными спектаклями, которыми и тогда была богата Москва. Частично знакомство с оперной музыкой и интерес к ней через Эдю передавались и мне. Помню, как Эдя рассказал мне либретто «Кармен» и «Пиковой дамы», представлял сцены из этих опер, стараясь голосом передать вокальные партии, их оркестровое сопровождение, антракты и увертюры. Меня самого родители стали водить в оперу много позже. Но ещё до этих посещений я услышал много оперных спектаклей из их трансляций по радио. К более подробному рассказу об этих впечатлениях я подойду позже.

...От живописи мы были дальше, хотя в Музей на Волхонке и в Третьяковку хаживали. Некоторую дистанцию от этого вида искусства Эдя сохранял всю жизнь. Впрочем, несколько работ известных художников на стенах его московской квартиры в доме композиторов на улице Огарёва висело...

О нашем политическом сознании тех ранних детских лет. Мы ненавидели фашизм. Эта ненависть поддерживалась официальной пропагандой, которая ложилась на благоприятную почву. Прежде всего потому, что фашисты — антисемиты. Любовь же к евреям со стороны Советской власти была несомненной. Артистический, литературный, медицинский, научный и чиновный миры были густо населены евреями. Еврейские фамилии пестрели и среди наркомов, и среди высших военачальников, и среди писателей, артистов и прочих интеллигентов.

А что такое антисемитизм, мы знали, и весьма недурно. Время от времени нас задевали на улице мальчишки; время от времени антисемитскую выходку позволяла себе соседка Александра Матвеевна. Но, страдая от атак с антисемитской подоплёкой, мы — еврейские мальчики — чувствовали, что задиравшие нас антисемиты действуют наперекор советской морали, что они нарушители, что если их поймать и привести в милицию, то они будут очень строго наказаны. Правда, осуществить такой привод на практике нам как-то не доводилось.

В самом начале тридцатых ещё не начались публично рекламировавшиеся или столь массовые, что они коснулись чуть не каждой семьи, репрессии. Слова «Соловки», «Шахтинское дело», «Промпартия» были нам известны. Но они никак не связывались с теми жизненными обстоятельствами, в которых мы повседневно находились и которые казались нам благополучными и вечными. Хотя отзвуки великого голода, вызванного массовой и жестокой коллективизацией, уже доходили и до Москвы. В городе появились бежавшие с Украины и юга России нищие дети, женщины и старики. Александр Маркович часто не мог удержаться от того, чтобы привести в дом то одного, то другого несчастного. Его кормили. Если это был ребёнок, то иногда давали что-нибудь из одежды и — увы! — снова отпускали в мрачную неизвестность.

Гораздо более сильное впечатление, укреплявшее нашу веру в силу и неколебимость режима, производили праздничные демонстрации. Два—три раза меня брали с собой то папа, то мама. Но обычно я выходил в праздничный день на Арбат один и радостно смотрел на весёлые колонны, то двигавшиеся, то останавливающиеся. В моменты остановок демонстранты затевали игры и танцы под баян. Во главе колонн крупных

предприятий шли духовые оркестры. Когда колонна двигалась, оркестр играл марши и революционные мелодии, а когда останавливалась — танцевальную музыку.

Танцевали парочками вальс или отплясывали что-нибудь народное. Наибольшим успехом пользовалась такая игра. Водивший загибал руку за спину, ладонью наружу. Другие по очереди подходили к водившему сзади, так что он их не видел. Подошедший что есть силы ударял кулаком по ладони водившего. Водивший должен был угадать, кто его стукнул. Если водивший ошибался, то продолжал водить. Если угадывал, то на его место становился разоблачённый. Так продолжалось до тех пор, пока колонна не возобновляла движение.

Как-то раз, первого мая — мне было лет девять — я включился в такую игру и в пляски на Арбате на углу Староконюшенного, а когда колонна двинулась, упросил демонстрантов включить меня в свои ряды. Так я прошёл через Красную площадь, увидел Сталина, был вынесен с потоком людей на Кремлёвскую набережную и оттуда нашёл обратную дорогу до дома.

В праздничные вечера папа брал меня в большую прогулку по иллиминированному Центру. Самой интересной считалась иллиминация на здании главной московской электростанции МОГЭС. Мы любовались ею с противоположной стороны реки — с того места, где сейчас Концертный зал «Россия». На фронте МОГЭСа система цветных и белых гаснувших и зажигающихся электролампочек образовывала движущуюся разноцветную картину на тему злободневного героического строительства. Например, на тему строительства Днепрогэса: во всю стену МОГЭСа протягивалась фиолетовая плотина, потоки бело-голубой воды обрушивались на красные лопасти вращавшейся турбины, лиловые мачты и провода, по которым куда-то мчался выработанный розовый пульсирующий электрический ток.

Итак, мы с Эдей видели многие минусы нашей социальной жизни, например, голод и его следы в столице. Но детский ум до какого-то момента отталкивает от себя неприятные мысли, нарушающие его покой. Мы с Эдей мало говорили друг с другом о делах политических, но молчаливо предполагалось, что всё в этой области идёт хорошо, и что мы живём в самом счастливом, гармоничном и передовом государстве. Одни праздничные демонстрации и иллиминация чего стоили! Эдю высокое положение дяди Давида убеждало в том, что в нашем обществе царят справедливость, целесообразность и адекватное возвышение способных и выдающихся личностей.

В том, что наша страна — праведница в области политической справедливости и интернационализма, нас убеждали со всех сторон. Об этом твердили пьеса «Негритёнок и обезьяна» в театре Наталии Сац, стихи Маршака про Мистера Твистера, истории про американского пионера Гарри Айзмана, совершившего не помню какие подвиги против проклятых капиталистов, за которые его как-то наказали.

На уроках пения в школе — немного повторюсь — мы разучивали песню про мучеников Сакко и Ванцетти, пели героическое «Народы, вставайте, Шеренги смыкайте!». Хотелось вставать и смыкать. Чуть позже к звучащим по радио советским и революционным песням добавились антифашистские песни Эрнста Буша.

Очень интересным было для меня лето 34-го. Я переходил из третьего класса в четвёртый. Мама сняла дачу в Новом Иерусалиме, стоящем на реке Истра. Да и городок — райцентр — назывался Истрой. По тогдаш-

ним временам Истра была от Москвы довольно далеко. Туда ходил только паровой поезд, в то время как во многие другие дачные места уже ходили электрички. Родители, наверное, решили снять дачу не по удобной железной дороге потому, что папа был в Сталиногорске, проблема с его приездами после работы по вечерам на дачу не стояла, у мамы были, как у преподавательницы, длинные каникулы, и ей в город слишком часто ездить было не надо. А снять дачу в Истре было гораздо дешевле, чем в традиционных подмосковных дачных местах.

Я был буквально в переходном возрасте. С одной стороны, в глазах родителей, родственников и многих чужих людей я был ещё совершенно маленьким мальчиком. Настолько, например, что Бабуся продолжала водить меня с собой на женский пляж, каковым считался ближайший к нам берег узенькой речки. Очевидно я, хоть и был долговяз, имел столь детский облик, что моё присутствие в запретном для моего пола месте протестов женщин никогда не вызывало: маленькие мальчики на женском пляже были тогда в порядке вещей.

Впрочем, на берегу Истры женщины вели себя не так свободно, как в то давнее лето в Краскове на песчаном береговом откосе, спускавшемся к речке Пехорке. Может, устье Истры, протекавшей между низменными зелёными берегами, и постоянное снование людей на другом берегу побуждали купальщиц быть более сдержанными. В воду лезли в белье — в трикотажных панталонах блёклых цветов и в обширных белых лифчиках. Очевидно уже стала проявляться смена нравов: в обиход входили общие пляжи и купальные костюмы. Но у посетительниц Истринского женского пляжа настоящих купальников, видать, не было, и они следовали общим тенденциям робко и неумело. Было забавно видеть, как почила дачница или местная жительница входила по колено в мелкую речку и, повизгивая, обливала себя из ладошек водой, лжесвидетельствуя своими вскрикиваниями, что вода очень холодная. Загорали женщины тоже хоть как-то, но прикрывшись. Переодевались же по-прежнему — без оглядки на посторонние взоры.

За лето до того, побывав в Ермоловском на Чёрном море и увидев и общие пляжи, и настоящие купальные костюмы, я на привычные с детства сцены, разворачивающиеся на Истре, глядел более любопытными глазами. Открывавшиеся мне картины уже далеко не всегда казались мне будничными, как это бывало раньше. Я стал видеть различие между телами немолодых грузных женщин и ладно сложенными молодыми телами. Но эти впечатления были лишь из области эстетики.

Итак, на воде я шёл за ребёнком. Но на суше я был настолько взрослым, что мог один ходить в центр городка. Я любил это занятие — и как знак моей самостоятельности, и потому что там, в центре, был интересный для меня книжный магазин. Как-то я купил в этом магазине изданный в 1933 или 1934 году очень дешёвый томик Пушкина. Он представлял собой довольно полное собрание стихотворений и ранних поэм. Прозы и пьес там не было. Эта книжка в унылом тёмно-коричневом переплёте, напечатанная на очень плохой шершавой бумаге, привлекла меня тем, что составителем, редактором и автором комментариев был Бер Хаимович Черняк, отец моего однокашника — очень толстого и флегматичного мальчика Химы (Хаима) Черняка по прозвищу «Бегемот».

...В результате последующего многолетнего употребления скромной книжки, купленной в Истре, я выучил комментарии почти наизусть. Комментарии эти, несмотря на их краткость, оказались очень содер-

жательными и толковыми, и я вынес из них очень много интересного и совершенно правдивого — о чём позже узнавал из фундаментальных сочинений Щёголева, Фейнберга, Лотмана, Эйдельмана.

Моя старшая дочка Катя в детстве и в юности очень интересовалась русской поэзией. В одиннадцать лет она выучила наизусть всю первую главу «Евгения Онегина». Позже она много знала и из современных поэтов (Евтушенко и вся та плеяда). В годы, когда книжки М. Волошина были редкостью, она составила рукописный том этого поэта. Когда Кате было лет двенадцать, я ей того старого Истринского Пушкина (в доме был академический десяти томник) подарил со значительной надписью.

А ещё лет через десять Катя увлеклась иудаизмом, религией, и к русской поэзии интерес потеряла осмысленно и полностью. Даже к Пушкину.

Недавно я, имея сантименты по отношению к купленному мною в детстве в Истре томику и понимая, насколько теперь он Кате ни к чему, робко предложил ей вернуть мне этого ветерана обратно на нашу родительскую книжную полку. Но Катя сказала, что нет, эту книжку она ценит и хотела бы оставить её у себя. Так что стоит потрёпанный купленный в Истре в лето 34-го Пушкин в не вымолвить каком библиоокружении...

В Истре, недалеко от снятой родителями дачи, был расположен знаменитый Ново-Иерусалимский монастырь. Часть построек была разрушена, живопись на стенах главного собора — повреждена. Храм посещали редкие экскурсии. Я любил ходить на территорию монастыря. Если удавалось, я с большим интересом слушал из уст экскурсоводов историю Патриарха Никона, узнал о его церковно-реформаторской роли, о его опале и о жизни в этом монастыре. Я узнал, что во времена Никона речку Истру, а может, только её живописный фрагмент, проходивший по территории монастыря, называли Иордан.

...Как мне было не вспомнить о фрагменте речки Истры, протекавшей под стенами Ново-Иерусалимского храма и о связанном с теми местами фрагменте русской истории, когда я в 90-м году увидел настоящий Иордан, вытекающий из Тевриадского озера. Эта знаменитая река оказалась узенькой чахлой речушкой. По моим воспоминаниям подмосковный тёзка был импозантней. Хоть и к нему слово «речка» шло больше, чем «река».

Во время Отечественной войны по территории Нового Иерусалима прошли военные действия, и монастырь был в руинах. Большой музейный комплекс был организован там после очень сложных и обширных восстановительных работ через тридцать с лишним лет. Часть или весь восстановительный период директором или заместителем директора Ново-Иерусалимского музея был тогда скромный, а потом знаменитый историк и литературовед Натан Яковлевич Эйдельман...

1-го декабря 1934 года убили Кирова. Мы учились в четвёртом классе. Каждодневная утренняя линейка, проводившаяся в большом физкультурном зале, была превращена в истерический митинг с выступлением директора Манулевича и каких-то пионер- и комсомольских вождей. Потом нас развели по классам.

В тот день по расписанию первым у нас был урок обществоведения. Так назывался туманный предмет, что-то вроде истории классовой борьбы и революции. Вёл его человек лет тридцати по фамилии Сталинок. Этим созвучием наш преподаватель скромно гордился. Одновременно Сталинок был то ли комсоргом школы, то ли старшим пионервожатым.

С самого начала урока Сталинок, естественно, повёл речь об убийстве дорогого Мироныча. Он снова заклеил врагов народа, стоящих за спиной

убийцы, поговорил об обострении классовой борьбы в период победы социалистического строя и пр. Кончив свой монолог, он спросил, есть ли вопросы. Руку поднял один Эдя. Он спросил: «Почему фамилию убийцы товарища Кирова, злодея Николаева, пишут с большой буквы, как и фамилию товарища Кирова и фамилии других порядочных людей, а не с маленькой? Давайте предложим, чтобы отныне её писали с маленькой!».

Мальчик, которому до двенадцати не хватало месяца, чувствовал театральность события и выразил свои ощущения с присущим ему парадоксальным юмором. Сталинков был в замешательстве. Он понимал абсурдность Эдиной идеи, но не понимал, как эту идею отклонить. С одной стороны, нельзя было не признать, вместе с Эдей и всем советским народом, что Николаев — злодей. С другой стороны, подхватишь радикальное предложение о лишении фамилии Николаева заглавной буквы, обратишься с ним в вышестоящие органы — глядишь, и посадить могут за нестандартную инициативу. Эдя промучил несчастного преподавателя несколько минут, а потом милостиво его отпустил. Сталинков с облегчением вернулся к программе и стал нам что-то толковать о Стеньке Разине.

К моменту убийства Кирова наша вера в непогрешимость Сталина успела как-то потускнеть. Толчок сомнениям, я помню, дал случайно прочитанный мною заголовок, шедший через шапку всего газетного разворота: «Под мудрым водительством товарища Сталина — вперёд к новым победам!». Я прочитал этот заголовок, сидя на диване рядом с папой, который эту газету держал в руках и читал. Я увидел в этом тексте безвкусную лесть. Меня покорило, что Сталин её допускает. Возможно, панегирики Сталину начали появляться в печати и на радио раньше, но этот заголовок впервые обратил моё внимание на выпренный стиль восхваления вождя.

Я поделился с папой своим отрицательным впечатлением. Отец не поспешил согласиться со мной полностью. Но и поддержать истинность лозунга, в котором я засомневался, у него рука не поднялась. Он высказал туманное предположение, что этот стиль — просчёт редакции. Но с этого момента я стал тщательнее присматриваться к газетным оборотам, текстам уличных плакатов и лозунгов на демонстрациях. Я с огорчением увидел, что шокировавший меня стиль — не случайность, а быстро укореняющаяся фразеология политической жизни.

С этих пор мы часто толковали с Эдей о безвкусной славословице Сталину, заполнявшей тогдашнюю журналистскую продукцию, и о том, что имя глубоко чтимого нами Ленина появляется в политических текстах всё реже. Но сомнений в том, что в главном всё идёт как надо, у нас не было. Давид преуспевал и даже получил орден за какую-то удачно проведённую внешнеторговую операцию. А в те годы «орденоносец» значило много. Сомнения, затрагивающие основы, появились у нас через два года, когда пошли, начиная с тридцать шестого, страшные политические процессы и массовый террор.

Мы с Эдей, разделённые этажом, договаривались обычно о встрече по телефону. Я часто заходил к Эде немного раньше обусловленного момента (или он припозднялся) и заставлял его кончающим очередную порцию своих музыкальных упражнений. Я усаживался и ждал конца его занятий, чтобы либо начать валять дурака, либо совместно выучить какой-нибудь школьный урок, либо чтобы поговорить о жизни.

Едино музицирование было мне порой — когда он разыгрывал гаммы — скучноватым, но чаще — интересным. Ведь некоторое представление

о классической музыке я получил раньше — слушая патефонные пластинки на Солянке. Теперь старый интерес получил новую пищу. Я стал запоминать звучавшие из под Эдиных пальцев мелодии: мне часто приходилось слушать одну и ту же пьесу по нескольку раз. Эдя разучивал пьесы Чайковского, Шопена, Мендельсона и других композиторов, входившие в программу младших классов гнесинской школы.

Благодаря солянскому патефону и Эдиным упражнениям я стал прислушиваться и к классической музыке, щедро передававшейся тогда по радиотрансляционной сети и худо-бедно звучавшей из знаменитых чёрных тарелочек-репродукторов, висевших на стенах в комнатах соседей по квартире и — очень мощных — на уличных столбах. У нас в комнате такая тарелочка появилась в конце 1935 года.

Мои родители и тётки водили меня на модные в те годы сборные концерты. В программе такого концерта могли под руководством смешливого конференсье соединиться Сергей Образцов со своей куклой Тяпой, исполнительница песен народов мира Ирма Яунзем, артист Художественного Театра Москвин с монологом капитана Мочалки из «Братьев Карамазовых», король оперетты Ярон, Владимир Хенкин — виртуозный исполнитель рассказов Зощенко, скрипач Мирон Полякин, сопрано Большого театра Валерия Барсова, певшая оперные арии и неизменного «Соловья» Алябьева, пианист Гольденвейзер, чтец рассказов Мопассана Эммануил Каминка и цирковой артист Виталий Лазаренко. Иногда вместо Каминки выступал Антон Шварц, вместо Ярона — Регина Лазарева, вместо Москвина — Качалов (с монологом Барона из «На дне» Горького), вместо Барсовой — Рейзен или Шпиллер.

В особо фешенебельных сборных концертах выступала весьма популярная тогда молодая и эффектная Наталия Сац. Главная её роль в жизни состояла в том, что она была основательницей и художественным руководителем Центрального Детского Театра. Это был один из трёх театров, находившихся на Театральной площади, уже ставшей к тому времени площадью Свердлова. Первые два — это Большой и Малый. А в здании Детского Театра раньше была 2-я студия МХАТ. Репертуар Наталии Сац как эстрадной актрисы был не гибок: она всегда декламировала своим красивым контральто романтические сочинения М. Горького «Над седой равниной моря...» и «Высоко в горы вполз уж и лёг там...» Теперь такие сборные концерты устраиваются, по-моему, только в День Милиции в ноябре каждого года или по случаю юбилея какого-нибудь рода войск.

Попадая в сборный концерт, я нетерпением ждал выступлений исполнителей классической инструментальной и вокальной музыки и слушал их с огромным удовольствием. А несколькими годами позже я под непосредственным влиянием Эди стал завсегдатаем обоих залов Московской Консерватории. Насколько я помню, сборные концерты прошли мимо Эди.

Особое и очень значительное место в нашем этическом и нравственном воспитании играли драмкружки («драмкружок, кружок по фото...»). Кружки, которые увлекли Эдю и меня, напоминали своим духом театральные студии и коллективы. Мы это чувствовали, и это нас к этим кружкам притягивало. Я собираюсь рассказать о двух кружках. Руководителем первого из них был Евгений Данилович Агранович, второго — Надежда Всеволодовна Дмитриева.

Мы были в четвёртом классе, а Женя Агранович — в девятом нашей же школы. В качестве своей (обязательной для него, как для комсомольца) общественной работы он взялся быть пионервожатым нашего четвёртого «А».

А главной деятельностью на этом посту он почёл организацию и руководство драмкружком.

Сначала в драмкружок записались чуть ли не все ученики класса. Но довольно быстро большинство отсеялось, и нас оставалось человек семь. Кроме Эди и меня, в кружок ходили Тамара Майзель, Лена Залманзон, Ира Зборовская и кто-то ещё. Занятия кружка в устоявшемся составе стали проходить — раза два в неделю — в квартире Иры. Там у неё была (или выделялась на эти часы) отдельная комната. Квартира находилась на первом этаже дома 43 на Арбате. Подъезд был во дворе. В том самом, надо полагать, который пожаловал сан дворянина Булату Окуджаве. Смею нескромно думать, что не только один этот двор присваивал титул арбатского дворянина, и не только Булат был им удостоен.

В драмкружке мы ставили «Слугу двух господ» Гольдони. Женя репетировал по системе Станиславского. Параллельно с репетициями он объяснял нам основы актёрского мастерства. Он предлагал нам — с неистощимой фантазией — разыгрывать этюды, разбирал их, критиковал наше исполнение, повторял и пр.

Женя воспитывал наш художественный вкус. Он часто излагал нам режиссёрское решение какой-нибудь сцены из существующей или несуществующей пьесы (делал он это захватывающе интересно) и просил нас оценивать это решение в двухбалльной системе «Дёшево-дорого». Например, он излагал следующую сцену. Заседает английский суд (задним числом подозреваю, что он описывал эпизод из постановки Художественного театра «Пиквикский клуб»). Судья в парике и мантии вынимает из ушей ватку, кричит на публику: «Тише!» — и снова затыкает уши ваткой. После своего рассказа Женя спрашивал у нас: «Это дёшево или дорого?». До сих пор помню огорчения от неудачных моих ответов и радость от удачных. Нам было тогда по двенадцать лет.

Старший брат Жени Лёня был актёром какого-то неброского Московского театра. Он был для Жени непререкаемым авторитетом, и Женя, очевидно, многое от своего брата получил. Возможно, и свой интерес к театру и к поэзии, и свой багаж сюжетов для этюдов. Мама Жени работала кассиршей в продуктовом магазине. Женя жил с ней вдвоём в крохотной тёмной комнате в большом доме на Поварской.

Репетиции «Слуги двух господ» тоже были источником радости. Эде досталась заглавная роль, очень для него — кудрявого оживлённого, остроумного и не чуждого актёрскому делу мальчика — подходящая. Постановка не состоялась. За год мы продвинулись с нашим требовательным и дотошным руководителем едва-едва, а в десятый класс нашей школы Женя Агранович не пошёл, а перешёл во что-то вроде вечерней школы. Наш драмкружок распался, но пользу он нам принёс замечательную. Думаю, что наряду с жизнью рядом с Валентиной Вагриной, актрисой театра Вахтангова, занятия с Женей сыграли благую роль в творчестве Эди, всегда тяготевшего к сочинению театральной музыки.

...После окончания вечерней школы Женя стал студентом ИФЛИ — сокурсником известных поэтов Багрицкого, Когана, Кульчицкого, Гудзенко. Он не терял связи с нами и даже возобновил драмкружок в восьмом уже классе той школы, куда к этому моменту перешла Тамара Майзель, где-то на Малой Бронной. Эдя в этот кружок хаживал, а я уж — нет. Впрочем, когда я был в девятом классе, то опять стал встречался с Женей, но на другой почве. Подробнее об этих и более поздних контактах с Женей я напишу в соответствующих местах этих моих Записок...

Весенние (мартовские) каникулы я в тот год провёл у папы в Сталиногорске. Папа днём, естественно, работал, а я был полностью предоставлен самому себе. Я читал, болтался около дома и бездельничал. У папы была хорошая комната в небольшой коммунальной квартире одноэтажного дома барачного типа. Из нескольких десятков таких домов состоял посёлок ИТР, выстроенный для инженеров и служащих работавших на стройке ГРЭС.

Как-то в выходной я днём уснул на кушетке, а когда проснулся, то увидел, что папа пьёт чай с незнакомой мне женщиной. Она ласково поздоровалась со мной, задала мне какие-то вопросы и скоро ушла. Папа сказал: «Сослуживица».

...Через несколько лет после маминой смерти в 1949-м году (т. е. через лет двадцать после того выходного) увиденная мной единожды в детстве женщина стала папиной второй женой. Её звали Елена Сергеевна Ломоносова. Она была очень расположена ко мне и к моим семьям...

Бывали у папы в гостях и мужчины. Они играли в преферанс, большим знатоком и любителем которого был папа. Такие компании собирались у нас и в Москве. Позже я понял, что отец привержен карточной игре в гораздо большей степени, чем я тогда мог думать.

Главным инженером строительства ГРЭС был Николай Александрович Архипов, известный с ещё дореволюционных времён специалист. Его охотно приглашали подрядчики. В Москве есть несколько домов (большинство из них — в стиле модерн), строительством которых руководил Николай Александрович. И в числе этих домов — по многозначительной случайности — и дом 35 по Арбату, в котором я прожил мои первые сорок три года.

Николай Александрович был высоким худощавым мужчиной лет под пятьдесят, с лысой головой, без усов, но с длинной крепкой лопатобразной бородой, из-за которой он среди сослуживцев получил ласковое прозвище «Николай-Борода». Архипов жил в Москве недалеко от нас — в одном из переулков в районе Поварской. Я ходил к нему, когда он приезжал в командировки в Москву: то он привезёт от папы письмо и гостинец, то мы с мамой посылали папе — тоже письмо и тоже гостинец. Была эпоха продовольственных карточек, и отправителю было нелегко собрать самые незамысловатые гостинцы, а получателем они ценились.

В Сталиногорске, кроме ГРЭС, строился Химкомбинат и добывался подмосковный бурый уголь (на котором и должна была работать ГРЭС). Городок разрастался, и его новые кварталы носили гордое название «Соцгород». В общем, вся обстановка воспринималась как символ великих побед ВКП(б) и Советской власти.

Между тем, строительство промышленных и бытовых объектов велось, в основном, силами заключённых (зеков), и эти шагающие в строю под конвоем группы безликих людей не видеть было невозможно. Я их видел, но и это явление я горделиво воспринимал как успех советской власти («У нас в Сталиногорске, не хуже чем на Беломорканале: преступники перековываются в честных людей!»).

Гостя у папы в Сталиногорске, я много читал — как обычно и в Москве. Помню, я прочёл там научно-популярную книжку о строящемся Химкомбинате, которая называлась «Рассказы атома азота», и уже не первую для меня книжку Поля де Крюи под названием «Борцы с голодом». Интенсивное чтение давало мне возможность поражать папиных товарищей, собиравшихся у него за карточным столом, эрудицией, выходящей, по их представлениям, за границы моего возраста.

Насколько мне помнится, обычая ходить в кино не было. Может, не было кинотеатра. Но изредка в тамошнем клубе устраивались сборные концерты с участием гастролирующих артистов — не первого, правда, ранга. Один раз папа повёл меня на лекцию «Восточная тема в русской классической музыке». Пианист-иллюстратор показывал «Половецкие танцы» Бородина, отрывки из «Шехерезады» Римского-Корсакова и — в полном объёме — «Исламей» Балакирева. Эту пьесу я там услышал в первый раз, и она мне запомнилась.

Папина должность порождала полезные связи. В частности, летом 1935-го года папа с помощью директора каменоломен в городке Алексин-Бор на Оке устроил маму, Бабусю и меня в тамошний дом отдыха, а потом, когда срок путёвок кончился — на частную квартиру там же в Алексине. Мы поехали туда в один из первых дней июня.

Папа посадил нас в поезд, отправлявшийся из Москвы. Через несколько часов езды мы были в Туле. Носильщик подхватил наш немалый багаж, купил нам билеты на местный поезд, шедший в направлении Калуги, и посадил нас в почти пустой вагон. Это обстоятельство я запомнил, потому что в те времена поезда были, как правило, переполнены. Наш поезд неспешно шёл по однопутной дороге среди лесов. Встав на планку, проходившую на высоте сантиметров в двадцать вдоль всей боковой части вагона, я неотрывно глядел через одно из окон на разворачивавшиеся картины русской природы. Ехали мы в этом допотопном поезде часа три — четыре. Став взрослым, я по-прежнему любил во время железнодорожных поездок проводить много времени перед вагонным окном. Правда, довольно скоро после того переезда из Тулы в Алексин я настолько вырос, что мне уже можно было на планку не становиться. Мы выехали из Москвы утром, а вышли из поезда в Алексине часов в семь вечера.

Нас встречал упомянутый директор каменоломни по фамилии Потапов. Что-то побуждало его быть с нами крайне приветливым. Он погрузил наш багаж в бричку, туда же посадил нас, стеганул свою лошадку и отвёз нас в какой-то дом вроде конторы или общежития. Нам для ночлега предоставили комнату. Потапов выпряг лошадь и завёл её в конюшню, которая располагалась рядом с домом. Я за действиями Потапова следил с большим интересом. Я не помню, как и чем мы поужинали, как переночевали и не помню никого, кроме Потапова. На другое утро мы должны были ехать в дом отдыха.

Я встал раньше мамы и Бабуси и вышел во двор. Вчерашние лошадь и Потапов были уже на ногах. Лошадь ела что-то из мешка и пила из ведра. Потом Потапов сказал, что пока мои старшие будут собираться, лошадь может попасться на лужайке за плетнём. Он предложил мне сесть на лошадь и доехать на ней до той лужайки. Потапов посадил меня, и я оказался верхом на лошади. Седла не было, и я ощутил сильную боль между ног от толстого лошадиного хребта. Лошадь моего появления на своей спине не заметила. Потапов взял лошадь под уздцы и отвёл на лужайку. Таким образом я проехал метров сорок и с большим удовольствием с лошадиной спины слез. Это была моя первая и последняя в жизни поездка верхом.

Взрослые проснулись. Вскоре Потапов запряг лошадь в бричку, и мы поехали. Через полчаса неторопкой рысцы мы доехали до опушки густого соснового бора. Там располагался комплекс построек дома отдыха. Потапов представил нас директору или кому-то ещё из начальства и не покидал нас до тех пор, пока все формальности и платежи не свершились и пока

он не убедился, что мы хорошо устроены. Большинство отдыхающих сели в нескольких трёх- или четырёхэтажных корпусах, а некоторых — в небольших дачах. Мы получили комнату в одной из дач.

Стоявшие в бору корпуса и дачи выходили на большой прямоугольный — длинной метров в пятьсот, а шириной метров в сто — пустырь. Напротив строений дома отдыха вдоль пустыря стояли деревянные домики окраины Алексина. На пустыре на стороне дома отдыха были оборудованы принадлежавшие ему спортивные сооружения: несколько площадок для волейбола, до которого было много охотников среди отдыхающих; футбольное поле, площадки для игры в городки. Баскетбол и теннис тогда в стандарт не входили. На нескольких столбах висели мощные репродукторы, всегда и весьма громко передававшие программы центрального вещания.

На первом этаже одного из корпусов была столовая и клубный зрительный зал со сценой. Наша комната была обставлена тремя кроватями и тумбочками — стандартное убранство для домов отдыха «общего типа». Да и нам идея о большем комфорте даже в голову не приходила: мы тоже были «общего типа». В столовой подавали вполне хорошую и достаточную еду.

В штат дома отдыха входило несколько «массовиков». Массовиками назывались работники Дома, занимавшиеся организацией времяпрепровождения отдыхающих в периоды между завтраком и обедом и после ужина до сна. Они водили нас на лесные прогулки, устраивали вечера самодеятельности в конце смены, побуждали играть в спортивные игры, устраивая волейбольные и городошные соревнования с призами. Я пристрастился к городкам, но призов не получал из-за очень квалифицированной конкуренции.

Среди отдыхающих были дети, и несколько из них — примерно моего возраста. Мы образовали компанию, играли в волейбол и в городки, но к феркербалю я моих временных друзей приохотить не сумел. В нашей даче на первом этаже была ещё одна комната, выходившая на ту же террасу, что и наша. В этой комнате жили две еврейские бабушки и их внуки, пятилетние братцы-близнецы Арик и Оскаррик. И бабушки, и внуки были очень картавые, а внуки ещё и очень озорные, даже, я бы сказал, шkodливые. Бабушки вечно одёргивали внуков громкими голосами, а братцы между собой всё время крикливо объяснялись, употребляя, естественно, в этих объяснениях собственные имена. Поэтому имена «Арик» и «Оскаррик», выкрикиваемые четырьмя картавыми голосами, густо висели в воздухе, создавая незабываемый фон нашей тогдашней жизни.

Иногда жившие в ветвях подступавших к даче деревьев вороны не могли удержаться от призывов этих специфических отдыхающих и добавляли к их перебранке свои профессиональные «кар-р». Зная нрав своих внуков, бабушки в столовую с ними не ходили, а брали еду в кастрюльках и на террасе разогревали её на керосинке. Как многие дети из более или менее благополучных еврейских семей, братцы во время каждой еды капризничали и воротили нос, демонстрируя свой мерзкий нрав в полной мере. Поэтому все трапезы сопровождалось особенно громкими криками и истериками на букву «р».

Мне казалось, что бабушки ведут себя по отношению к их нервическим внукам неверно: ругают их и уступают им невольно, выходят бесконтрольно из себя, настаивают на чепухе и сносят прямые оскорбления в свой адрес. Я стал с этими мальчиками проводить какое-то время,

гулял с ними, рассказывал разные истории и даже брался их покормить. Это получалось у меня, ко всеобщему удивлению, вполне успешно. Бабушки и мои родные мою педагогику хвалили. Но стоило мне от близнецов отвлечься, как в дело вступали картавые бабушки, и моего благотворного влияния как и не бывало. Подошёл срок, компания четырёх уехала, оставаясь в прежних отношениях и выказывая прежние образцы поведения. Думаю, что то, чего не сумело сделать пространство, сделало время: надеюсь, что мальчики подросли и своё отношение к бабушкам изменили на более мягкое.

Два или три раза нас навещал Потапов. Он проводил у нас полчаса вежливости и на это время давал мне свою бричку. Он обучил меня нехитрому делу управления лошадью с помощью вожжей, кнута и возгласов «но!» и «тпру!». Я этому выучился легко и за время визита Потапова успевал несколько раз объехать упомянутый пустырь. Верхом ездить мне больше не случалось, а вот управлять лошадью, запряжённой в телегу или в сани, мне впоследствии доводилось не раз.

Как-то Потапов привёз к нам папу, который приехал из Сталиногорска к Потапову по делам. Потапов оставил его с нами, уехал и вернулся за папой к вечеру. От этой встречи сохранилась и до сих пор стоит за стеклом нашей книжной полки фотография, сделанная фотографом дома отдыха. Он расположил нас четверых группой по своему вкусу: мы сидим на толстом стволе поваленной сосны на фоне дремучего бора. Папе с мамой по 37, мне — 12, а Бабусе нет шестидесяти. Папа привёз мне в подарок коричневые полуботинки, и я постарался, чтобы они на фотографии вышли хорошо.

Мы прожили на даче смену, а потом перешли на курсовочное положение. Мы ходили по-прежнему в столовую дома отдыха, но жили в комнате, снятой для нас Потаповым. Теперь до дома отдыха нам надо было идти нескольких минут по улочкам Алексина.

Двухэтажный дом, в котором мы стали жить, принадлежал чеху-инженеру, работавшему в предприятии Потапова. Возможно, у этого инженера был статус, аналогичный статусу господина Герберта, с которым мы с папой отдыхали в Ермоловском. Звали этого чеха Антонин. У него была жена Мария, дочка Ирина моих лет и сын Людик (уменьшительное от Людвик), который был года на три меня моложе. Все эти чехи говорили по-русски. Взрослые с акцентом, а дети — без. Причём родители говорили по-русски и с детьми, и иногда друг с другом, а дети говорили по-русски и с родителями и друг с другом. И Ира, и Людик ходили в местную школу. Ира сказала мне, что её папа — коммунист.

Чешские дети своих родителей боялись, обращались к ним крайне почтительно и слушались их беспрекословно. Моей маме и бабушке такая вымуштрованность детей импонировала: они считали её — и были, возможно, в этом правы — знаком западного воспитания. Мне же Людик как-то простодушно сказал, что папа детей иногда бьёт ремнём, и мне характер отношений между детьми и родителями в чешской семье не нравился.

Один раз я присутствовал при такой сцене. В выходной день, а он был дождливым, хозяева собрались в гости. Отец крикнул: «Людик, помой маме калоши!». Худенький, рыжеватенький и веснушчатый Людик бросился выполнять отцовский приказ. Он помыл калоши и поставил их перед вышедшей в переднюю Марией, которая сказала: «Спасибо, Антонин!».

Мария и её дети пели чешские песни. В моей памяти остались обрывки песенки про парня, который по мосткам через речку — дело было около водяной мельницы — шёл за красивой девушкой:

Пошла Марына
Окола млына
За ней шугайе
С бечечком вина.
Ой-я, Ой-я, Ой-я-я,
Тече вода кальна,
Ой-я, Ой-я, Ой-я-я,
Тече водичка.

Занимавшая большой двухэтажный дом чешская семья сдавала две комнаты внизу. В одной жили мы, а в другой — московская еврейская семья из трёх человек: папа, мама, дочка. Папа был писатель по фамилии Долинин. Наверное, это был псевдоним. Писатель был красивым высоким худым человеком — смуглым, черноволосым и черноглазым. Мать я не запомнил совсем. Дочке было девять лет. Её звали Лалой, и она говорила, что тоже будет писательницей. А пока она фантазировала и всё время сочиняла и рассказывала сказочные истории, казавшиеся мне крайне заманчивыми. Через несколько лет я встретил в каком-то детском журнале — в рубрике, где помещалось творчество читателей, — небольшую сказку за подписью «Наташа Долинина». Может, это была она (Наташа — Наталка — Лалка — Лала?).

Была такая детская летняя игра. Один зажимал в кулаке пучок колосистой травы. Колоски и противоположные концы стеблей высовывались наружу. Зажавший спрашивал у другого: «Петух или курица?». Дав ответ, партнёр тянул за стебли, и колоски опускались вниз. Если все колоски опустились до кулака, образовывали шарообразную кисточку, то это значило: «курица». А если из этой кисточки что-то торчало, то — «петух». Угадал — выиграл, нет — проиграл. Лала слегка заикалась — но только на первом слоге слова. Так вот, зажав пучок травы в кулачке, она спрашивала у меня: «Пе-петух или ку-курица?». Это было очень забавно, и я до сих пор, употребляя, когда жизнь требует, слова «курица» или «петух», часто, в шутку, произношу их на манер Лалы. К этой моей странной шутке домашние привыкли, но её исторический источник известен не всем.

Писателя с фамилией нашего соседа по даче ни я, ни мама не знали, и я никогда его имени в печати после лета в Алексине не встречал... Писатель Долинин очень увлёкся моей мамой и проводил около неё много времени. Внешней причиной для такой дружбы Долинин объявил общую любовь к французской литературе. Долинин привёз из Москвы несколько французских романов, активно читал их, и у него под рукой всегда находилась французская книжка.

Выяснив, что мама французский знает, писатель и читатель-энтузиаст организовал дело так, что стал читать маме по-французски вслух. Маме ни Долинин, ни французская литература неприятны не были, и в хорошую погоду два любителя французской беллетристики уединялись в лесочке за домом. Они располагались на подстилке на траве в тени деревьев, и было слышно неумолчное французское журчание и рокотание Долинина. В плохую погоду чтение продолжалось в нашей комнате или в комнате Долининых. Я не знаю точно, но мне кажется, что этот лёгкий роман

продолжения в Москве не имел. Впрочем, тогда меня эти темы совершенно не интересовали.

В это лето я безумно пристрастился к катанию колеса. Двухколёсные детские и подростковые велосипеды в наш обиход не входили. И вот, не имея возможности кататься, мы пользовались возможностью катать. Когда мне было лет пять—шесть, мне покупали деревянные обручи. Такой обруч надо было непрерывно погонять палочкой, не давая ему остановиться и упасть. Даже при моём нешуточном опыте, который я приобрёл, таким манером можно было катить обруч не более чем метров 15. Обруч я гонял, как уже писал, в арбатских сквериках и около дома. Теперь я войду в технические подробности. Обязательно возникали или изъязнены трамбовки почвы в скверах, или уличного асфальта, или какая-нибудь другая случайная помеха, из-за которой не удавалось наддать палочкой по обручу вовремя. То ли, другое ли, но обруч замедлял своё движение и падал. Манёвры с деревянным обручем были ограничены, реальными были лишь повороты с большим радиусом. В сквере с широкими дорожками деревянным обручём ещё кое-как пользоваться было можно, но катить его по тротуару было трудно — из-за сновавших прохожих и малой ширины тротуара.

Поэтому мальчики постарше предпочитали обручу так называемый «колёс». Таким словом называли металлический обруч, который катили с помощью прута из толстой жёсткой стальной проволоки. Этот прут должен был быть длиной примерно в полроста владельца колёса. Найдя подходящую проволоку и отломив от неё, если надо, лишнее, мальчик (девочки колёс не гоняли) готовил прут к делу. Один конец прута надо было изогнуть в виде петли, имевшей форму эллипса. Оси эллипса должны были быть такими, чтобы петля служила рукояткой, т. е. удобно ложилась в руку катящего: за неё он прут во время катания колеса держал. На другом конце надо было сделать загогулину в виде скобы, которая могла объять — как вилка-двузубец — металлический обруч.

Изготовленный таким образом прут играл роль палочки, но он был гораздо лучше, ибо вилка подталкивала обруч почти непрерывно. Искусный мальчик мог управлять обручем весьма разнообразно: уменьшать и увеличивать скорость движения и делать крутые повороты. Трение проволоки об обруч порождало очень приятный и громкий металлический звенящий звук — такой, что о приближении мальчика, катящего колёс, можно было слышать издали.

Почему-то в те годы всегда можно было найти во дворах, на обочинах деревенских и дачных улиц и в других местах подходящие металлические обручи. Это были обручи от бочек разного размера, металлические шины от деревянных колес телег, тележек, тачек и пр. Точно также, в противоречие с поговоркой, «на дороге валялись» и толстые проволочные пруты.

Я научился и полюбил катать колёс за пару летних сезонов до Алексина, но как-то не очень этим спортом увлекался. Здесь же, в Алексине, я вдруг ценность этого предмета и этого занятия ощутил сполна, и просто не выходил из дому без моего колёса и прута. С этим предметом я приходил в столовую дома отдыха, и пока я ел, он послушно лежал на полу рядом с моим стулом — как собачка. Я только присматривал за тем, чтобы его никто не взял.

Мы прожили в Алексине в общей сложности всё лето. В доме отдыха за это время прошло несколько смен. Каждая смена завершалась большим концертом самодеятельности, в котором охотно участвовали отдыхающие.

Номера к этому концерту массовик начинал готовить с первых же дней заезда. Это были пляски и песни под баян и исполнение рассказов Зощенко. Я с такими номерами не высывался. Но в каждом концерте возникал момент, когда массовик проводил со зрителями викторину. Вот в викторинах я всегда активно участвовал и обычно завоёвывал призы — флакон тройного одеколона, косынку, коробку пудры или зубного порошка. Моему успеху способствовал опыт, приобретённый мной в процессе участия в играх Самсона Глязера в «Пионерской правде».

Как-то в середине августа над Алексиным прошёл сильный град. Градины были больше грецкого ореха. Это случилось после завтрака, и мы ещё не ушли из столовой. Когда град кончился, мама и Бабуся вернулись домой, а я остался со сверстниками на пустыре со спортплощадками. Площадки превратились в озёра глубиной в несколько сантиметров. Вода была ледяной. Но я и другие мальчики разулись и стали по этим ледяным лужам с удовольствием бродить. За это удовольствие мне предстояло вскорости хорошо расплатиться, о чём чуть ниже.

ГЛАВА 7

Пятый класс. Цитовский. Моя болезнь. Доктор Боссэ. Смерть Цитовского. Радиоточка. Детские передачи. Трансляции опер и концертов. Чтение. Юровецкие. Модель подводной лодки. Возвращение папы к работе в Москве. Теплоцентрали. Удаление гланд. Лето в Краскове. Процесс над Зиновьевым и Каменевым. Смерть Горького. Солнечное затмение. Ёлка у Тамары Майзель. Возвращение в школу — в шестой класс. Анна Дмитриевна Соколова. Пушкинские дни. Княжна Шаховская. Мадмуазель Жюли Монтаньяр. Надежда Всеволодовна Дмитриева. История Искры Голенищевой-Кутузовой. Лето в Звенигороде. Пароходное путешествие в Уфу. Седьмой класс. Учителя: Наталья Арсеньевна, Александр Михайлович, Анна Николаевна. «У Синего фиорда». Разговоры с норвежцами в шестидесятых. Арест Давида. Судьба Вавы. Натан Агрест. Моя аспирантка Ира Ульрих. «Над всей Испанией безоблачное небо». Майя Левидова. Прогулки с Майей. Её родители. Писатель Михаил Левидов. Мама поступает на работу в Военно-Политическую академию, а папа — в ГУЛАГ НКВД СССР. Пароходное путешествие в Астрахань. Елатьма.

После лета в Алексине начинался пятый класс. Мы учились в этот год во второй смене. Через пару недель после начала занятий мои друзья Има Левин и Боря Кулес были переведены в новую 71-ю школу. Она была одной из многих школ, построенных в эти годы в разных районах Москвы по типовым архитектурным проектам. Школа находилась около «Пятачка» на небольшой уютной Спасопесковской площади. Эта школа соседствует с особняком, в котором после революции размещались советские учреждения и жилали советские вельможи. После установления в 1933-м году дипломатических отношений с США этот особняк стал и остаётся до сих пор резиденцией американского посла.

...Когда при Горбачёве отношения с Америкой потеплели, мы узнали из газет, радио и телевидения, что американцы называют этот особняк «Спасо-хауз». Теперь его так называют и москвичи...

71-я школа сразу стала очень хорошей и сохранила свою репутацию до сих пор.

С Борей Кулесом я дружить продолжал, а вот моя дружба с Имой Левиным ослабла и вскоре совсем заглохла. Всё чаще и чаще до меня доходили мнения знакомых, оказавшихся в 71-й школе вместе с Имой. Они говорили, что Имка — невозможно заносчив и хвастлив, что дружить с ним невозможно.

...Забегу вперёд. Началась война. Има использовал неплохое знание немецкого, полученное им в его школе, попал в армию на краткосрочные курсы переводчиков, окончил их и делал неплохую карьеру во всё более и более высокоуровневых штабах. Он вернулся из армии в Москву капитаном и пребывал в необычайно приподнятом состоянии. Има особенно любил рассказывать, как при его решающем содействии какой-то город в Восточной Пруссии близ Кенигсберга был сдан его комендантом

без боя командиру той воинской части, в штабе которой служил Има. Именно Има своим искусством и превосходным немецким языком убедил коменданта не лить кровь с обеих сторон.

Этот рассказ я впоследствии, когда Има стал журналистом, встречал в Иминых газетных публикациях, появившихся в кануны памятных военных дат. Замечу, что недалеко от города, жителей которого Има уберёг от лишних ненужных страданий, находится могила Иминого знаменитого патрона Иммануила Канта.

Демобилизовавшись, Има журналистом стал не сразу. Он поступил на юридический факультет, но когда ему пришло время распределяться — это было в начале пятидесятых — антисемитская компания уже раскручивалась. Несмотря на партийность и преданность режиму, Име предложили уехать далеко от Москвы — следователем в Петрозаводскую милицию. Име пришлось подчиниться. Примерно в это время он женился, и у него родилась дочь.

После смерти Сталина Има сумел вернуться в Москву и постепенно, но довольно быстро, превратился из следователя в журналиста. В это время мы встречались с ним уж совсем редко. С нашими общими друзьями он тоже мало общался. Имина последняя публикация — вполне доброкачественная книга под названием «Арбат. Один километр России». Он пишет там и о людях, и об архитектуре. Кое-что написал он и доме 35, в котором вырос я. К сожалению, о некоторых живших в нём известных людях, которые стали мне очень дороги, Има упомянул лишь вскользь. В начале девяностых Има скончался...

После перехода нескольких моих знакомых из нашей школы в 71-ю и в другие школы в моём дружеском окружении образовался известный вакуум. Но тут у меня неожиданно возникли очень приятные отношения с одноклассником Иосифом Цитовским. Это был очень красивый смуглый высокий мальчик, отличавшийся крайней склонностью к разным выходкам — на уроках и на переменах. Он прогуливал, водился с явными хулиганами, и я всегда видел в нём только источник опасности. В раздевалке от него можно было получить удар ранцем по голове или по спине, а в коридоре он мог неожиданно подставить тебе на бегу ногу и громко хохотать над растянувшейся на полу жертвой. Из-за закрепившейся за ним среди и учителей, и школьников репутации отпетого бесшабашного безобразника я никогда не предполагал, что Цитовский — еврей. Евреи редко бывали столь буйными.

Всё же один раз мы с Цитовским почему-то разговорились, и я неожиданно понял, что он очень начитанный и остроумный собеседник. Да и для него, видать, беседа эта была приятной. После этой случайной болтовни мы очень сошлись. Иосиф скоро дал мне почитать толстенную книжку сказок «Тысячи и одной ночи», каковых раньше я не читал. А какие-то книжки ему рекомендовал или дал я. Мы стали ходить друг к другу в гости. У Цитовского были очень приятные родители, которые к сыну претензий не имели, несмотря на сыпавшиеся из недр школы (а может, и из домоуправления) жалобы на его поведение.

И вдруг Иосиф заболел. Скоро выяснилось, что болезнь его не заразная, и я могу ходить к нему в гости. И я часто перед школой заходил к нему на час-другой. Цитовские жили на Арбате в двух смежных комнатах коммунальной квартиры дома 43, в другой квартире которого собирался памятный мне и многим моим друзьями драмкружок, руководимый Женей Аграновичем, а в ещё какой-то жил незнакомый нам тогда наш сверстник Булат Окуджава.

Обычно во время моих приходов родителей Цитовского дома не было. После нескольких минут чинной беседы мой больной, но не утративший своего темперамента хозяин начинал возню с помощью подручных предметов: мы кидали друг в друга его подушку, он, сбросив одеяло, прыгал, как обезьяна, по своей постели и норовил облить меня водой из стоявшего рядом с его постелью стакана — вода предназначалась для запивания лекарств.

Как-то раз за этой вознёй нас застала мама Иосифа. Она пришла в ужас. Она объяснила мне, что у её сына — серьёзная болезнь сердца, и что такие игры ему совершенно запрещены врачами. После этого я старался на провокации Иосифа не поддаваться, и в затеваемые им подвижные игры и шалости не вовлекался.

Я с интересом и успехом учился по всем предметам. Литературу и русский у нас продолжала вести Евгения Александровна Полтанова. Надежда Касьяновна в пятый класс с нами не перешла, а взяла новый первый. Новая учительница арифметики Елизавета Васильевна Воронова не только решала с нами задачки про количество ящиков для партии яиц, про потребное для переезда из пункта А в пункт Б время и пр., но и пользовалась каждым случаем, чтобы продемонстрировать нам красоту логики, присущей её предмету. Она же учила нас и основам геометрии. Мы её уважали и побаивались.

Конечно, образованию в советской школе мешала его однобокая и ложная политизированность. Но идеология проникала в разные школьные предметы на неодинаковую глубину. В тот год на уроках истории мы проходили доисторический период и рабовладельческое общество. Этот предмет вёл выше упоминавшийся Сталинков. Какая тут политика? Неандерталец — он и в рамках коммунистического воспитания неандерталец, и Сталинков не осуждал беднягу за то, что тот не боролся с капитализмом, ибо бороться против капитализма неандерталец не мог за неимением противника.

Конечно, Спартак восхвалялся больше, чем Гней Помпей. Но подача материала о восстании гладиаторов в школьном учебнике и на уроке не отличалась от того, что я к этому времени успел прочесть в романе Джованьоли «Спартак». Борьба за свободу против рабства импонирует всем и всегда...

Точные и естественные науки были от политики свободны совсем или почти. В уроки биологии входили ботаника и зоология, которые тогда не были ещё поражены лысенковским токсикозом. Нам этот предмет преподавала очень знающая, интеллигентная, мягкая и симпатичная учительница Елена Васильевна.

В конце ноября или в начале декабря 35-го я заболел. У меня распухли и стали болеть лодыжки. Настолько, что я не мог ходить. Поднялась температура. Ко мне домой пришёл районный врач из детской поликлиники, находившейся на Б. Молчановке. Он расспросил маму о событиях, предшествующих заболеванию, и когда разговор зашёл о прогулках босиком по лужам после града в Алексине, высказал предположение, что у меня — суставный ревматизм.

На другой день ко мне пришла работавшая в этой поликлинике специалист по детскому ревмокардиту доктор Елена Николаевна Боссэ. Я и раньше видывал её в поликлинике, когда приходил туда по разным поводам, и всякий раз от неё шархался из-за её внешности. Рот этой немолодой женщины в белом халате был совершенно свёрнут набок.

Когда доктор Боссэ заговорила, выяснилось, что дефект её внешности имеет прямое отношение к её дикции: она говорила ужасно — так, как будто её рот набит пищей. Доктор Боссэ осмотрела и ощупала мои лодыжки, потом прослушала моё сердце докторской трубкой и установила, что в нём есть шумы. Всё это означало, что у меня действительно ревмокардит. Она согласилась с тем, что его причиной могло стать о то самое шлёпанье по ледяным лужам, но, узнав про эндокардит, которым мама переболела в начале 20-х, не исключила и наследственности. Елена Николаевна выражала надежду, что строгое соблюдение постельного режима и регулярный приём лекарства (это был, помнится, пирамидон) поможет мне достичь компенсации и вернуться через несколько месяцев к более или менее нормальной жизни.

Покончив с лечебными делами, касавшимися меня, Елена Николаевна рассказала, что у неё на этой стороне Арбата есть ещё один такой больной по фамилии Цитовский, очень шаловливый мальчик. Она сказала, что и после трёх месяцев постельного режима ревмокардит Цитовского всё никак не придёт к компенсированной форме. Назидательно обращаясь ко мне, доктор объясняла плохой ход выздоровления Цитовского недостаточно точным выполнением им предписанного постельного режима.

После ухода доктора Боссэ, мы стали с мамой обсуждать её лицо. Мама предположила, что когда-то в результате неизвестного нам заболевания у неё возник паралич лицевого нерва. Впоследствии это предположение в разговорах мамы с доктором Боссэ подтвердилось. Паралич изуродовал лицо Елены Николаевны, когда она была уже врачом, причём — педиатром. Болезнь излечить не удалось, и доктору пришлось сменить специальность: маленькие дети пугались её. Так она стала кардиологом: среди её пациентов, страдавших сердечными заболеваниями, совсем маленькие дети встречались реже, чем дети постарше, которые к её внешности относились с удивлением, но без паники.

У меня долго держалась температура, лодыжки продолжали болеть и отёк с них не спадал. Наблюдавшая меня Елена Владимировна явно была встревожена. Как-то меня пришли навестить школьные друзья. Они побыли недолго, а после их ухода я вдруг увидел, что мама тихо плачет. Я спросил почему? Мама, наверное, хотела скрыть от меня причину, но не смогла и сказала, что мои друзья, прощаясь с ней в передней, сказали ей, что умер Цитовский. Я стал маму успокаивать, но на самом деле очень разволновался сам. Меня потрясла смерть друга — первая смерть близкого человека в моей жизни — и, конечно, я не мог не проводить параллелей.

Но через несколько недель после начала моей болезни температура стала нормальной, лодыжки перестали болеть и приняли обычную форму. Доктор Боссэ, которая навещала меня каждые полторы—две недели, сказала, что острый период моей болезни кончился, но что теперь, несмотря на улучшение, мне надо оставаться в постели, не делать резких движений и только — самое большее — садиться, прислонившись спиной к поднятой подушке.

По заказу родителей у нас в комнате — только теперь, в связи с моей болезнью — была установлена радиотрансляционная точка. Эта была знаменитая «чёрная тарелка», которую повесили на стену невысоко над изголовьем моей кровати. Я доставал до неё, чуть повернувшись и протянув руки, почти не меняя моего положения в постели. Это надо было, чтобы включать и выключать тарелку и регулировать громкость звука. Кажется, ещё можно было с помощью вращающейся головки или тумблера выбирать одну из тогдашних двух вещающих станций.

Хотя я и раньше — заходя к соседям или в гостях у знакомых — слушал кое-какие радиопередачи, но то было эпизодическое, бессистемное и неполное приобщение к эфиру. Теперь же, в постели, я слушал радио почти непрерывно: и последние известия, и передачи для работников сельского хозяйства, и «Пионерскую зорьку», и обзоры газет. Конечно, на радиослушателя обрушивались потоки политики и пропаганды, и двенадцатилетнему мальчику было трудно не поддаться её влиянию. Всё казалось обоснованным и логичным.

Но было много передач, не имевших прямой политической направленности. В часы детской передачи — по утрам — звучал сериал О. Н. Абдулова на темы «Пиквикского клуба». Авторы не скрывали своего любования диковинным типичным английским характером, английским юмором и английской порядочностью. Была ещё многосерийная художественная музыкальная передача про Робина Гуда. Робин Гуд побеждал злого шерифа и вероломного прелата. Из чёрной тарелки неслась молодецкая песня, написанная (я так теперь думаю) в духе старых английских баллад. Она проходила через все серии этой постановки Я помню только один куплет:

Жил Робин Гуд в густом лесу,
Где зелена листва.
С ним сотня добрых молодцов,
Весёлых, как весна.

В общем, утверждалась интернациональная природа добра, благородства и справедливости.

...Через девять лет, женившись на Гале Шестопал, я узнал, что автором передачи про Робина Гуда был давний друг Галиных родителей, детский писатель Михаил Гершензон. Когда началась Отечественная война, он ушёл на фронт и скоро погиб. Его вдова Вера и сын Женя жили в известном кооперативном доме писателей в Нащокинском (тогда — Фурмановском) переулке. Это было совсем рядом с домом, где жила семья, в которую я вошёл, и Женя очень часто приходил туда. Бывала там и Вера. Иногда и мы всей семьёй ходили к Гершензонам. Женя Гершензон был на несколько лет моложе меня и Гали. Он окончил физмат Ленинского педагогического института и стал учёным в этой области — доктором наук и профессором. Он скончался от тяжёлой болезни в начале 2000-х...

Часто передавались фортепианные и скрипичные музыкальные пьесы. По вечерам транслировались оперы, концерты и спектакли. Например, я много раз слушал целиком «Пиковую Даму» из Ленинградского Малого оперного театра в постановке (видимо, речь шла о режиссуре сценического решения) Мейерхольда. Он несколько изменил либретто, а именно, перенёс действие из восемнадцатого века в девятнадцатый.

То и дело транслировали только что сочинённую оперу Держинского «Тихий Дон» в постановке Большого Театра. Либретто этой оперы вобрало в себя, главным образом, пробольшевицкую линию романа. Сложных черт персонажей романа Шолохова — казаков, мечущихся между Красными и Белыми — в характерах героев оперы не было. Заключительным апофеозом был хор ставших поголовно за Советскую власть казаков:

За землю, за волю,
За лучшую долю...

...Отвлекусь, чтоб изложить композиторскую байку, которая относится к этим годам, но которую Эдя узнал (и рассказывал её своим друзьям

и родным) позже, когда очутился в композиторской среде. Дзержинский в те времена, когда разные оперные театры страны ставили его оперу, получал большие гонорары и слыл среди композиторов человеком богатым. Как-то к Дзержинскому обратился Хренников с просьбой дать его приятельно-земляку взаймы на короткий срок некую довольно крупную сумму. Приятель тоже был композитором и подружился с Хренниковым ещё со времён их учёбы в музыкальной школе.

Приятель этот (назовём его Я.) был человеком ущербным: он был гермафродитом. На этой или на другой почве, но Я. много пил, мало работал и мало зарабатывал. Хренников часто ссужал его деньгами сам, но в этот раз у него были какие-то трудности, что и заставило его обратиться за деньгами к старшему состоятельному товарищу. Дзержинский деньги дал. Время шло, а Я. свой долг всё не отдавал и даже никак о нём не упоминал. Сперва Дзержинский задержку терпеливо сносил, но с какого-то момента надежду на возврат долга утратил.

В качестве компенсации денежной потери Дзержинский устроил себе такую потеху. В течение нескольких лет, завидев Хренникова издали в каком либо собрании — в концертном зале, в театре, на заседании союза композиторов, он кричал через весь зал: «Тихон! Где твой гермафродит?!». Особенно Дзержинский любил устраивать такой спектакль, когда видел, что Хренников — с дамой. Чем кончилась эта история в финансовом плане, осталось неизвестным...

Периодически транслировались украинские оперы, привозимые на гастроли, или, как тогда было принято говорить, «декады» украинского искусства. Шли две оперы, написанные ещё в девятнадцатом веке. Одна — комическая опера Гулак-Артёмовского «Запорожец за Дунаем». Мне о ней задолго до того рассказывала мама, видевшая её в годы детства на сцене в Умани или в Ельце. Центральная сцена состояла в том, что напившегося и заснувшего героя шутники переодели в турецкий кафтан. Проснувшись, он верил, что стал настоящим турком (а Турция в те далёкие годы начиналась за Дунаем) и пел главную арию украинского оперного искусства:

Теперь я турок, не козак.
Сдаётся, добро одягнувся!
Но як же це случилось так,
Що в турка я перевернувся?!

Тут его обнаруживала сварливая жена Одарка и пела свою арию, состоявшую из жалоб на судьбу жены пьяницы и крепких забавных, но вполне цензурных поношений, выкрикиваемых темпераментной скороговоркой. Второй оперой, которую Украина привозила на декаду, была лирическая «Наталка Полтавка» композитора Лысенко. Но из неё я не запомнил ничего.

Транслировали «Тоску» Пуччини, «Риголетто» Верди, «Кармен» Бизе. Передачи опер сопровождалась чтением перед спектаклем и в антрактах либретто и комментариев.

Тогда, как я уже писал, практиковались сборные концерты — просто так и по случаю государственных праздников. Концерты часто транслировались по радио, и я слышал Козловского, Лемешева, Хенкина, Наталию Сац и прочих несменяемых столпов советского искусства.

Я думаю, что тогдашняя техника не позволяла пускать эти часто повторяющиеся оперы и концерты в записи, и они каждый раз шли «живьём». Во всяком случае, в программе радиопередач часто попадались «концерты грамзаписей», т. е. всё остальное было прямым эфиром.

...Чёрная Тарелка оставалась на месте и после моего выздоровления. Время от времени мама затевала перестановку нашей нехитрой мебели, но тарелка места не меняла, ибо была привязана к радио-розетке. Была она на том же крючке и 22-го июня 1941го года, хотя моя кровать к этому моменту успела несколько раз поменять углы комнаты, и в тот памятный день стояла от тарелки далеко...

Лёжа в постели я стал читать особенно много. Для того, чтобы я не напрыгался, держа на весу в руках тяжёлые книги, мама заказала у столяра, который жил в нашем доме, специальный пюпитр, конструкцию которого разработали мы с мамой. Это устройство было похоже на уменьшенную стремянку, но вместо ступенек лестницы на ножки был наклеен лист фанеры с горизонтальной планкой, игравшей роль подставки для нот на крышке пианино, внизу. На эту фанеру можно было прикреплять кнопками лист бумаги для рисования, а на планку ставить книгу или тетрадь. Ножки стремянки упирались в постель, охватывая мою лежащую под одеялом фигуру, а фанера оказывалась перед моими глазами. Её наклон регулировался. Пюпитр можно было складывать и ставить на пол, прислонив к моей постели, и я мог его брать и устанавливать без посторонней помощи. Пюпитр (я называл его ласково «Пюпа») давал возможность моим рукам выполнять не требовавшую физических усилий работу: перелистывать страницы или писать или рисовать.

Располагая этим пюпитром, я прочитал немало. Роман «Война и Мир» я прочёл в первый раз ещё на Солянке. Теперь я прочёл «Анну Каренину», «Казаки», «Севастопольские рассказы», пьесы. Родители и знакомые приносили мне книги и уносили их, потому что собственной библиотеки у нас не было. Читал я и барахло, которое тогда таковым мне не казалось. Например, толстую повесть «Джек Восьмёркин, американец» — о победе коллективистского мышления в советской деревне над единоличным и капиталистическим.

Я проглатывал Зоценко и Ильфа и Петрова. В частности, «Двенадцать стульев» и «Золотой телёнок», которые сделались моими любимыми книгами. С Солянки мне привезли два толстенных тома Ранке «Человек», которые я с удовольствием читал в прежние годы и продолжил это чтение теперь, возвращаясь много раз к одним и тем же страницам: пюпитр делал это занятие вовсе не обременительным. Фундаментальная книга Ранке была посвящена анатомическим и этническим темам. Она содержала массу прелюбопытных иллюстраций: и про пропорции человеческого тела, и про внутренние органы, и про сиамских близнецов, и про волосатого человека, и описание черт представителей разных человеческих рас и диких племён, и ещё много другого. Перевод и издание этого труда относилось к дореволюционному времени.

Я продолжал читать научно-популярные книги Поля де-Крюи. Мечтая о фотоаппарате, я покамест, в ожидании воплощения моей мечты, читал и перечитывал книжку по фотоделу, смакуя замечательные термины «фокус», «апланат» и «анастигмат». Зачитывался я ещё и книжкой Сергея Колбасьева, который, оказывается, написал не только «Солёный ветер», но и очень хорошую книжку о радиотехнике. В ней, кроме рассказов об открытии радиоволн, о Маркони и о Попове, рассказывалось и о схемах детекторных и ламповых приёмников. И делалось это так подробно, что впоследствии, когда я после выздоровления стал мастерить детекторный приёмник самостоятельно, я этой книгой пользовался, как инструкцией.

...Только недавно я узнал из газетной статьи о том, что С. Колбасьев стал жертвой сталинского режима...

К моменту моего заболевания в нашей квартире в результате обменов появились новые жильцы. Василий Иванович Шелагуров с молодой женой Надеждой Михайловной из квартиры уехали, причём радикально — в Саратов, а в их комнату вселилась семья из трёх человек. Её главой был Юрий Маркович Юровецкий, мужчина лет за сорок, скрипач и дирижёр оркестра драматического театра им. Моссовета. Кроме того, Юрий Маркович преподавал по классу скрипки или искусство дирижирования в Гнесинском училище. У его жены Марии Петровны (она была моложе мужа лет на десять) имелся сын от предыдущего брака Игорь — мальчик лет четырнадцати. Взрослые вели себя по отношению к соседям отчуждённо, в разговоры не вступали, Юрий Маркович и здоровался-то неразборчивой скороговоркой. Впрочем, с моей мамой Мария Петровна в отношения вошла, иногда к нам заходила и приглушённым голосом с мамой подолгу беседовала.

Возможно, учение Игорю не давалось; он оставил школу после четвёртого или пятого класса, окончил ФЗУ (Фабрично-Заводское Училище), получив профессию токаря, и работал по этой специальности на каком-то заводе. Игорь, несмотря на его возрастное превосходство надо мной, был склонен со мной дружить. Когда я заболел, то он каждый день, вернувшись с работы (как подросток он работал не полную смену), наскоро поев, приходил в нашу комнату, подсаживался к моей постели и болтал со мной по несколько часов.

Род занятий Игоря подтолкнул меня к идее сконструировать и сделать действующую модель подводной лодки — вроде той, какую я видел в Политехническом музее. Радиоуправление я с помощью книжки С. Колбасьева располагал осилить. Электромоторчики для винта и для рулей глубины и направления были реальны: в игрушечных магазинах продавались электроконструктор — картонная коробка с деталями, из которых можно было собирать кое-какие действующие электрические устройства, в частности, маленький электромоторчик, питающийся от батарейки. Мне такой конструктор купили, я моторчик собрал, и он действительно вращался. Я, конечно, не задумывался тогда над тем, хватит ли у моторчика, предназначенного в моём проекте для вращения винта подлодки, мощности для того, чтобы винт и корпус лодки преодолевали сопротивление воды, и судно двигалось вперёд. Не задумывался я над аналогичными вопросами, относящимися к моторчикам, отклоняющим в водной среде рули.

Игорь моей идеей зажгётся. Месяца через два после начала проектирования и составления эскизов Игорь в один прекрасный день приволок с завода металлический корпус лодки. Он имел, к моему восторгу, сигарообразную форму и серебристый металлический отблеск. Корпус был длиной сантиметров в шестьдесят, а в поперечнике — сантиметров пятнадцать. Не все листы корпуса были пока приварены к каркасу из жёсткой стальной проволоки: через пустоты предполагалось монтировать внутренние механизмы. Игорь отправился в ванную (я следовать за ним не мог) и, вернувшись, сказал мне, что корпус на воде держится. Мама разрешила, и Игорь принёс в комнату корыто, поставил его на два стула, наполнил водой и опустил в него нашу подлодку. Она, действительно, подрагивая, держалась на воде. Дойдя до этой фазы нашего проекта, Игорь к нему остыл, и всё постепенно прекратилось.

Доктор Боссэ была мною довольна и в конце марта разрешила мне встать и делать сперва по несколько шагов в день, постепенно эту норму увеличивая. Мне эта постепенность показалась смехотворной, и я решил,

что соблюдать её не буду. Наступил торжественный миг. В присутствии мамы я спустил с постели ноги, встал и тут же закричал от острой боли в лодыжках и в стопе: весь мой двигательльно-опорный аппарат от долгого неупотребления атрофировался.

Несколько дней ушло на то, чтобы привыкнуть стоять: боль уходила медленно. О выполнении графика доктора Боссэ не могло быть и речи: ноги были такие тяжёлые, что я не мог сделать и шага. Потом я начал передвигаться на несколько шагов, волоча ноги по полу, держась за спинку стула, который я двигал перед собой, прибавляя в день по шагу-другому. Короче, моё обычное умение ходить я восстанавливал примерно месяц. На улицу я без сопровождения не выходил ещё долго после того, как по квартире стал ходить свободно. Но даже в этом небольшом пространстве обнаружили новости.

На кухне появилось новое лицо: приходящая домработница Юровецких — пожилая очень полная надменная женщина. Последнее качество сочеталось со словоохотливостью. При каждом казавшемся ей подходящим случае она рассказывала, что до Юровецких работала у Ворошилова. Она говорила, что иногда, устав от кремлёвской еды, знаменитый нарком приходил к ней на кухню и просил: «А сварите-ка мне, уважаемая, гречневой каши». Когда позже я стал о рассказах этой женщины вспоминать, мне показалось сомнительным, что ей так просто разрешили уйти с номенклатурной работы в Кремле в мир простых людей. Может, её отпустили под условием, что она на заслуженного артиста Юровецкого будет стучать? Нет, и эта гипотеза — слабенькая.

Весной 36-го года папа работу в Сталиногорске оставил и вернулся в Москву. К перемене места работы его побудили две причины. Во-первых, моя затянувшаяся болезнь. Во-вторых, его пригласили на должность начальника планового отдела строительства Фрунзенской теплоэлектростанции (ТЭЦ). Москве стало не хватать МОГЭСа, и в разных районах города начали сооружать несколько ТЭЦ. Такое название эти станции получили оттого что должны были вырабатывать одновременно и электричество, и горячую воду для технических и бытовых нужд. Горячую воду подавали промышленным предприятиям и в жилые дома по проложенным под землёй трубам.

С горячими батареями («центральным отоплением») жители многих многоэтажных московских домов были знакомы и раньше. Воду для домовой системы центрального отопления нагревали и гнали по батареям специальные расположенные в подвале дома котельные. Стоявшие там котлы топились углём или дровами. Насосы подавали горячую воду по квартирам дома, вода нагревала батареи. В домах без центрального отопления, а такими были почти все дома ниже пяти этажей, квартиры отапливались голландскими печами — как, например, на Солянке. Для подачи горячей воды в краны кухонь и ванн мощностей домашних котельных не хватало.

Горячая вода, вырабатываемая ТЭЦ, стала довольно быстро вытеснять домовые котельные. Более того, горячую воду дали и многим домам, которые отапливались печками. Жители таких домов переходили на центральное отопление, минуя важную в истории техники фазу домовых котельных — подобно тому, как некоторые республики Советского Союза переходили к развитому социализму прямо от феодализма, минуя стадию капитализма. К батареям, нагретым водой из ТЭЦ, привыкали быстро. Но горячая вода из крана стала в Москве течь только в пятидесятых годах.

Доктор Боссэ настаивала на том, чтобы мне удалили из горла гланды (теперь говорят — миндалины). В апреле или в мае эта операция состоялась. Родители поместили меня в хозрасчётную клинику «ухо-горла-носа», руководимую профессором Борисом Яковлевичем Тёмкиным. Это учреждение находилось в Большом Кисловском переулке.

Я должен был провести в клинике четыре или пять дней. Я лежал в палате с несколькими взрослыми мужчинами. На соседней кровати я увидел высокого и болезненно полного человека лет тридцати пяти. Он приветливо поздоровался со мной. Его звали Павел Иванович Семечкин, профессия его была инженер. Он поступил в клинику за час до меня. Павел Иванович поспешил объяснить мне, что его полнота — следствие его некомпенсированного порока сердца, оставшегося после ревмокардита. В клинику его положили тоже для удаления миндалин.

Павел Иванович расположил меня к себе тем, что он был, во-первых, очень смешлив и остроумен, а во-вторых, обращался со мной совершенно на равных. На его тумбочке я увидел принесённую им с собой книгу Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев». Павел Иванович, в отличие от меня, читал это сочинение впервые. Он предложил мне читать эту книгу друг другу по очереди вслух. Кровати стояли тесно, и мы своим чтением соседям по палате не мешали. Я наслаждался не только самой книгой, но и шумной реакцией неопита. Он хохотал взахлёб, как безумный.

На другой день нас обоих оперировали. Операция шла под местным обезболиванием, но всё равно было довольно больно. Я до сих пор помню напряжённое лицо профессора Тёмкина с зеркальцем на лбу. В руках он держал ложечку с острыми краями; ручка ложечки была длинной: это и был хирургический инструмент, специально предназначенный для такого рода операций.

Первые сутки после операции нам разрешалось только пить и есть немного очень мягкой пищи — кашу, которую готовили в клинике и кисели и мороженное, которые нам приносили из дому. Разговаривать было нельзя, и чтение любимой книги было прекращено. Но мы сразу научились жестами напоминать друг другу разные эпизоды из уже прочитанной её части и старались удержаться от распивавшего нас хохота, ибо смеяться нам тоже было запрещено.

Нам подвалило: в какой-то момент пришла медсестра ставить Павлу Ивановичу клизму, и больной исхитрился успеть стукнуть наконецником по кружке. Эта игра соотносилась с имеющимся в славном романе сатирическим описанием спектакля «Женитьба» в модернистском театре. В театральном оркестре играют Галкин, Малкин, Палкин и Залкинд на разных экстравагантных ударных инструментах, и кто-то из них — на кружке Эсмарха. Медсестра была поведением Павла Ивановича и моей бурной реакцией озадачена. До того момента, видимо, ей не приходилось ставить клизму пациенту, корчившемуся от смеха. Вся эта ситуация тоже была для нас источником веселья. Так что мои воспоминания от операции и от пребывания в клинике — самые радужные. Мы попрощались с Павлом Ивановичем очень дружески, и казалось — навсегда. Меня только огорчала мысль, что Павел Ивановиче болен очень и очень серьёзно. Я не мог не проводить параллели с покойным Цитовским. Но через два года случай свёл меня с этим приятным человеком снова, о чём — ниже.

Мои здоровые сверстники кончали, между тем, пятый класс. Чтобы я от них не отстал, мама пригласила ко мне двух домашних учителей. Они были супругами — лет по сорок пять. Мария Николаевна занималась со

мною русским и литературой, а Николай Николаевич — биологией и математикой. Каждый занимался со мной раз в неделю по часу и задавал кучу уроков.

Николай Николаевич охотно выходил за рамки школьной программы. Например, в связи с темой «классификация растений» он принёс мне «Определитель растений» Жадова (а я и слыхом не слыхивал о существовании книг такого рода) и научил этим справочником, снабжённым изображением всех упоминаемых там растений, пользоваться. Кроме того, выяснилось, что Николай Николаевич может преподавать и физику. Этому предмету в программе пятого класса не было, но он, видя мой интерес к этой науке, затрагивал кое-что и из неё. В частности, я рассказал ему, что хочу сделать детекторный приёмник, пользуясь схемами и пояснениями из книги С. Колбасьева. Он проверил мои расчёты и даже подарил мне тонкие картонки, из которых я вырезал, сворачивал и склеивал цилиндрические корпуса катушек самоиндукции. Я всё сделал и собрал, присоединил к моей схеме батарейку, пьезоэлектрический кристалл и наушники, но ни на какую радиостанцию настроиться не смог.

В начале июня мы уехали на дачу. Это было опять Красково. Но я никак не мог сопоставить теперешнее место с тем, где была расположена наша дача в 29-м году. Я был на положении полубольного. Сколько-нибудь долгие прогулки доктор Боссэ мне запретила. Я проводил время либо на участке, либо в небольшой сосновой рощице перед домом. Там для меня каждое утро между двумя соснами вешали гамак, и я до обеда лежал в нём и читал книги и газеты. В непогоду я оставался на террасе и там тоже читал.

Было у меня ещё одно занятие. Перед отъездом на дачу родители купили мне фотоаппарат «Фотокор № 1». Это было последним словом тогдашней советской фотоиндустрии. Мой аппарат даже смахивал на аппарат отца Олега Микка. Правда, в затворе моего сокровища было всего три моментальные выдержки: 1/25, 1/50 и 1/100 секунды. В аппарат вставлялась кассета со стеклянной пластинкой, покрытой светочувствительной эмульсией размером в 9×12 см. Пластинки можно было купить, но вставлять их в кассеты надо было самому. Сам фотолюбитель осуществлял и остальные фазы процесса: отснятые пластинки надо было проявлять и фиксировать, а потом — с полученных в результате вышеописанного процесса негативов — печатать чёрно-белые или коричнево-белые фотографии. Для этих фаз нужны были растворы. Химикалии продавались, но растворять их в воде надо было самому. Заряжать кассеты пластинками, проявлять пластинки и печатать фотографии надо было в тёмном помещении, освещаемом красным фонарём. Поэтому эти работы начинали после наступления темноты: легче было затемнить помещение. У меня были ванночки для проявителя и фиксажа, рамки для сжимания негатива с фотобумагой, красный фонарь.

Я лежал в гамаке в роще, а вокруг меня бурлила жизнь здоровых детей — местных и дачников. Они бегали, играли в мяч и в прятки, уходили на речку, возвращались оттуда, ссорились, мирились, горланили и смеялись. Я был для них фигурой непонятной и, следовательно, чуждой.

Как-то вечером мама решила, что я могу немного погулять. Было ещё светло. Я пошёл по дорожке, пролежавшей по опушке нашей рощи и ведущей к станции. Навстречу мне двигалась группа местных мальчишек. Я их всех прекрасно изучил из моего гамака. Они меня тоже издали знали. Я съёжился, ожидая столкновения. Но они дружелюбно заговорили

со мной, беседа показалась обоим сторонам интересной, и с тех пор я каждый вечер фланировал в компании местных мальчиков вдоль этой дачной дорожки.

Путь к сердцу мальчиков я закрепил, рассказывая им разные истории, смонтированные из произведений Жюль Верна, Стивенсона, этюдов Жени Аграновича и других фрагментов моего интеллектуального багажа. Всё, что я рассказывал, было для мальчиков в новизну, и они слушали меня, разинув рты.

...Я вспомнил эти прогулки через десять с лишним лет, услышав рассказ профессора Иосифа Львовича Миркина, вышедшего из тюрьмы, где он провёл по ложному обвинению в убийстве года два. Он сидел с уголовниками, и выжил в той среде только потому, что каждый вечер рассказывал этим сентиментальным преступникам сериалы из сокровищницы мировой литературы и драматургии. В общем — эффект Шехерезады на разные лады и в разных условиях...

Девочки-дачники — а их всех я тоже хорошо изучил из своего убежища в гамаке — такой консолидацией мальчиков вокруг странного дачника были, видимо, увлечены. В те полчаса, что я совершал челночные рейсы с преданной мне свитой, девочки тоже собирались группкой и тоже фланировали по той же дорожке. Встречаясь с нами, они начинали напевать насмешливую (в мой адрес) песенку, из которой я помню только две строки:

Ходит, ходит великан
Среди лилипутов.

Я, действительно, был долговязым и возвышался на голову над остальными членами нашей компании, которая провокационных выходов девочек высокомерно не замечала.

В это лето тридцать шестого года в жизни страны произошло два важных события: открытый процесс над группой Зиновьева и Каменева и смерть Горького. Папа привозил из города каждый день свежую газету, и я, лёжа в моём гамаке, жадно читал очередную часть стенограммы процесса. Я не понимал фальши этого действия, не сомневался в виновности обвиняемых, но был поражён суровостью приговора.

Как большое горе я воспринял смерть Максима Горького. А тут ещё в тот же или на другой день было полное солнечное затмение. Я коптил на керосинке испорченные фотопластинки, с которых предварительно смывал эмульсию, и наблюдал (первый и последний раз в жизни) примечательное космическое событие.

Первое полугодие шестого класса я в школу не ходил и жил преимущественно на Солянке. Я читал, ходил в Политехнический и раз в неделю совершал интересное и долгое путешествие на 31-м трамвае от Солянки до Филей, где жили мои учителя Мария Николаевна и Николай Николаевич: они продолжали давать мне уроки, но теперь уже не в моём, а в их доме.

Иногда я приезжал домой на Арбат, и если оставался там на пару дней, то встречался с моими друзьями — Эдей, Леной, Имой Левиным, Борей Кулесом. Один раз я пошёл с девочкой из нашего класса Арой Смирновой в Музей Изящных искусств на Волхонке: там по случаю юбилейных дней была открыта выставка картин Рембрандта, составленная из коллекций этого музея и Эрмитажа.

Наконец, наступил Новый Год — 1937-й. После зимних каникул я должен был — после более чем годового перерыва — начать ходить в школу. Но переехал я с Солянки домой раньше — в самом конце декабря.

Встреча Нового Года проходила в стране уже по-новому. Советская пропаганда возродила традицию ёлки. Но из Рождественской её преобразовали в Новогоднюю. Проклятия в адрес традиции, которая из религиозного фанатизма толкает население на массовую вырубку молодых деревьев, прекратились. Вырубка молодых деревьев была полностью легализована. А Ёлка из символа религиозного превратилась в почти государственный. Косметика понадобилась минимальная: На верхушку праздничной ёлки стали надевать не рождественскую звезду, а золочёный шпиль, который должен был ассоциироваться со шпильями Кремлёвских башен. Была учреждена Главная ёлка страны — огромное дерево на Манежной площади. Возникли многочисленные ёлочные базары. Но в интеллигентных семьях новая традиция была принята не сразу и не всюду.

В тот Новый год из всего нашего круга ёлку устроила только мать Тамары Майзель Эсфирь Моисеевна. При этом было известно, что она сама вечером из дому уйдёт, и мы, тринадцати—четырёхнадцатилетние дети, останемся одни. На этот домашний праздник был приглашён, естественно, Эдя. Был приглашён Эдин двоюродный брат Даня, живший постоянно в Лосинке, но проводивший те новогодние дни в Москве. Был приглашён и я — тоже, возможно, только из-за Эди. Были и какие-то ещё дети.

Я зашёл за Эдей и Даней, и мы отправились к Тамаре втроём. Мы вышли из дому немного раньше, чем было надо, и кружили по Арбатским переулкам. Тамара с матерью жила тогда в доме 21 в Плотниковом переулке. Было не слишком морозно, но как всегда зимой в те времена, вдоль тротуаров тянулась цепь рукотворных сугробов снега. Наша прогулка продолжалась минут сорок, и пока мы так гуляли — то держась в один ряд, то выстраиваясь друг за другом в узких местах тротуара — Эдя сообщил нам, что их с Тamarой будущее решено: они пожениются при первой возможности. Так оно через несколько лет и вышло.

Ёлка у Тамары была пышной и щедро украшенной. Мы болтали, дурачились, угощались, дождались полночи и поздравляли друг друга с Новым 1937-м годом.

Наступило второе учебное полугодие, и я после годового перерыва пришёл в школу. В шестом классе русскому и литературе нас превосходно учила Александра Дмитриевна Соколова. С самого начала этого 37-го года в стране с размахом отмечалось столетие со дня гибели Пушкина. Во всех концертных и театральных залах устраивались вечера, на которых с чтением стихов Пушкина выступали знаменитые чтецы и драматические артисты. Организовывались художественные выставки с картинами и рисунками, изображавшими Пушкина, его окружение и персонажей его произведений, выходили фильмы и книги, приуроченные к юбилейным дням.

Годовщину гибели великого поэта Партия и Правительство постановили проводить как государственное мероприятие, и это решение осуществлялось на таком высоком уровне и столь всеохватно, что в голову приходила странная мысль, что нет для властей светлее праздника, чем удачный выстрел Дантеса. Ибо почему же торжества проводились в годовщину смерти, а не рождения поэта? Позже я стал подозревать, что дело тут не в том, что отмечать — смерть или рождение, а в том, когда: пушкинскую кампанию властям надо было начать при первой возможности, чтобы надёжней отвлекать советских людей от готовящихся властью иных — дьявольских — кампаний. Круглая годовщина смерти Пушкина приходится на близкий январь 37-го, а подходящий — стопятидесятилетний — день рождения поэта на невозможно отдалённый июнь 49-го. Так долго ждать было нельзя.

Возможно, власть рассчитывала использовать Пушкинский юбилей и для того, чтобы без шумихи начать поворот от обветшавшей интернационально-коммунистической идеи к свежей национально-патриотической. Но какими бы ни были причины развёртывания пушкинских торжеств, для читающих жителей страны они стали чредой настоящих искренних духовных праздников.

Пушкинская годовщина дала повод Александре Дмитриевне сильно выйти за рамки школьной программы. По её совету ученики читали и учили наизусть многие лирические стихи Пушкина. Она советовала прочитать кое-какие книги о Пушкине. Например, вышедшие к этому времени романы Тынянова «Кюхля», «Смерть Вазир-Мухтара» и первые части неоконченной эпопеи «Пушкин». Хотя первые два названных романа впрямую посвящены не Пушкину, а Кюхельбеккеру и Грибоедову, пушкинская эпоха и личность самого Пушкина увлекательно отражены и в них.

Я и Эдя почти всего Пушкина и книги Тынянова к тому времени — заботами наших родителей прочли. Читали мы и Леонида Гроссмана «Записки д'Аршиака», литературную мистификацию, написанную в форме дневника реального лица — секретаря французского посольства при дворе Николая, которого Дантес пригласил быть его секундантом. Конечно, исторические сочинения и письма Пушкина нам предстояло прочесть позже.

Мы с Эдей, Тамара, Лена Залманзон были захвачены громким звучанием Пушкинской темы. Хотя Эдя, я и некоторые другие наши сверстники любили и неплохо знали поэзию и прозу Пушкина и раньше, юбилейные торжества дали нашей увлечённости поэтом новую силу. Каждый из нас старался отпить из возможно большего количества забивших тогда и долго не иссякавших источников пушкинской темы во всём многообразии её проявлений.

В залах Исторического музея была развёрнута огромная выставка, посвящённая жизни и творчеству Пушкина. В одном из них была вывешена большая картина Кончаловского «Пушкин с Натали на балу». Яхонтов читал по радио в течение нескольких передач «Евгения Онегина» и «Графа Нулина». В кино шёл фильм «Юность поэта». Я помню, что мы смотрели его вместе с Эдей и Тамарой в кинотеатре «Центральный», который стоял в те времена на углу Тверской (улицы Горького) и Пушкинской площади, примыкая к зданию «Известий».

Сеанс был вечерний, и Тамарина мать отпустила свою дочь с нами только потому, что об этом её попросил дядя Давид. Он приехал за Тамарой, надев для убедительности свой орден, который он, в виду важности случая, бесстыдно показывал, распахнув зимнее пальто — как персонаж известного рассказа Чехова. Перед таким ходатаем Эсфирь Моисеевна устоять не могла, Она настаивала лишь на том, чтобы после фильма нас встретил кто-нибудь из взрослых и проводил Тамару до дому. Встречавшим был Александр Маркович, которому Давид для этой цели предоставил свою машину.

В те зимние недели у меня возникло ощущение, что Эдин интерес к Пушкину — особый. Эдя, казалось мне, был на юного Пушкина похож. Он тоже был очень живым и остроумным мальчиком, любил поэзию, имел отношение к художественному творчеству, и даже в его облике и поведении было что-то от поэта. Его волосы курчавились, он был то задумчивым, то шаловливым. Мне казалось, что Эдя больше других способен проникнуть в духовный мир гения. Это предчувствие оказалось верным: близость к Пушкинской натуре характеризовала Эдю всю его жизнь.

В шестом, седьмом и восьмом классах немецкий язык нам преподавала Елена Михайловна Шаховская. В каких-то других классах она вела французский. Все знали, что по происхождению она княжна. Мы её видели уже пожилой женщиной. Замужем она, похоже, не была никогда.

У неё был весьма странный вид: приземистая, очень некрасивая, с лицом как у сердитой мартышки. Слегка выпученные глаза Елены Михайловны выглядели из роговых очков, едва державшихся на её приплюснутом носу. Эта деталь тоже её не красила. Княжна ходила в каком-то допотопном тёмно-фиолетовом длинном, до пола, платье с несколькими серебряными цепочками или камеей на шее. На голове у неё всегда сидела тёмная шапочка, из под которой выбивались седые пряди волос. Короче, она гляделась чучелом, и вполне могла бы стать мишенью выходок и насмешек школьных вольнодумцев. Но наоборот, она держала класс в ежовых рукавицах, и ей никто никогда слова поперёк не сказал. Даже за глаза мы с ней не фамильярничали, прозвищ не давали, а называли её не иначе, как «Шаховская».

Учила языку она жёстко и блестяще. Она заставляла нас заучивать наизусть, и притом на немецком, грамматические правила. Начав формулировать какое-нибудь правило, Шаховская сильно откидывалась назад, вставая на каблуки (как только ей удавалось не упасть при таком наклоне навзничь?!), торжественно произносила подлежащую заучиванию формулу и, победно дойдя до последнего её слова, снова опускалась на всю ступню и возвращалась в вертикальное положение. Этим балетом она подтверждала незыблемость только что сообщённого нам правила и жизненную необходимость знать его вечно. Вечно — не вышло, но я до сих пор помню, как она, стоя на пятках, запечатлевала в наших мозгах какое-то правило, относящееся к изменению корней глаголов неправильного спряжения по временам, и наконец, опуская носки своих башмаков на пол, торжествующе завершала: «...verändern den Stammvokal!».

Учили мы наизусть не только грамматические красоты, но и стихотворения классиков. Например, на уроках Шаховской мы выучили «Die Lorelei» Гейне. Как-то перед началом урока немецкого ко мне обратилась Софка Тимофеева (та самая, из-за которой мы выучили чуть было не исключили из школы Володю Сидорова) и сказала, что она, наконец, заданное свирепой Шаховской стихотворение выучила и даже может его перевести на русский. Единственное, чего она никак не может понять, так это что такое Heine.

Я помню, что в нашем учебнике был (на немецком, разумеется) рассказ Сталина о его первой встрече с Лениным, состоявшейся в Таммерфорсе. Уж не знаю, откуда был взят оригинал. Можно догадываться, какие истинные чувства испытывала княжна к персонажам этого параграфа, но знания всех слов (zusammen zu treffen и пр.) она от нас требовала неукоснительно.

Основа, полученная в немецкой дошкольной группе, позволяла нам с Эдей и Леной Залманзон довольно хорошо успевать по предмету княжны. Кроме того, Шаховская была, по-видимому, любительницей музыки и знала об Эдиных занятиях. Как бы то ни было, к Эде, к Лене и ко мне она относилась неплохо, и я не помню, чтоб на кого-нибудь из нас она обрушивала брань, привычную для неё при обращении к нерадивым ученикам. Да, не очень-то порой церемонилась княжна. Бывая, к примеру, недовольной нашим однокашником Додиком Фердинандом, щуплым мальчиком очень маленького росточка и небольшим поклонником немецкого, Шаховская называла его не иначе, как «шибздик».

...Это прозвище, столь удачно найденное для Додика княжной Шаховской, не помешало ему, впрочем, пройти во вскоре наступившем будущем всю войну, вернуться с неё героем, немного подрасти, окончить техникум и стать преподавателем в ремесленном училище. Скорее всего, уроки Шаховской по немецкому языку он позабыл, но методику преподавания усвоил. Я время от времени встречал его на Арбате. Он жил в доме 51, а я из этих мест уехал в 66-м. К старости Додик изрядно пополнил. В этом мы с Эдей убедились весной 91-го года, когда у Лены Залманзон собрался наш постаревший класс по случаю пятидесятилетия окончания школы...

...После восьмого класса Шаховская у нас уже почему-то не преподавала, другие учителя немецкого сменялись часто, и я их толком не помню. С Шаховской мы только почтительно здоровались в школьных коридорах и в буфете. Княжна жила одиноко в коммунальной квартире двух- или трёхэтажного старого дома в Калошином переулке на углу с Сивцевом Вражкем. В нём ещё жил один ученик нашей школы, с которым после войны я иногда встречался в арбатских переулках. Он рассказал мне, что в первые же дни войны Шаховскую арестовали. О её судьбе он не знал. И никто из нас с тех пор не знает...

У нас была симпатичная учительница истории по имени Елена (её отчества и фамилии я, к сожалению, не запомнил). Темы в шестом и седьмом классах были пристойные, не провоцировавшие хождения на цирлах перед официальной идеологией. Мы проходили средние века: Пипин Короткий, Карл Великий, Людовик IX, Киевская Русь и Крещение Руси. Исторический фон «Слова о полку Игореве». Мы учили крестовые походы и Реконквисту в Испании, историю викингов, битву при Гастингсе, Иоанна Безземельного и Великую Хартию Вольностей (тут, конечно, не обходилось без разъяснений, что простым английским людям никаких вольностей не было). Сейчас этому учат?

Я уже говорил, что Вика Левин учился французскому языку у приходившей к нему домой учительницы по прозвищу Жюлька. Когда моя болезнь осталась позади, и я стал снова ходить в школу, мама решила учить французскому и меня. Она пригласила для этого Викину Жюльку. Её настоящее имя Mademoiselle Julie Montagnard звучало на аристократический манер, но Жюлькин отец был простым садовником. Всё же некоторое впечатление фамилия на нашу семью произвела: родители французенку за глаза называли «мадмуазель Жюли». Я употреблял более простое «Жюля».

Жюля ходила ко мне раз в неделю. Мы узнали некоторые подробности её биографии. Первые годы жизни Жюля провела в доме своих родителей, который находился в одном из пригородов Парижа. Окончив школу, Жюли уехала в Россию и стала гувернанткой в какой-то богатой семье. Это было в десятых годах. После мировой войны и русской революции Жюли не смогла или почему-то не захотела вернуться на родину. Замуж она не вышла. Возможно, потому что была очень нехороша собой: долго-вязая, сухопарая и с лошадиным лицом. Когда она начала меня учить, ей было за сорок. Она неплохо говорила по-русски, но с сильным акцентом. Жила она в коммунальной квартире в Садовниках (т. е. на Садовнической улице, которая несколько десятков лет побывала улицей Осипенко).

Мадмуазель Жюли учила меня по старинке: к каждому уроку я готовил чтение нового параграфа из принесённого и данного ею мне в пользование старого потрёпанного учебника. В частности, я должен был выучивать все слова из этого параграфа, которые я не знал. Так

что каждую неделю я запоминал десятка полтора новых слов. Мы учили последовательно грамматические правила, и я писал на уроках диктанты. Через каждые несколько уроков мадмуазель Жюли задавала мне тему для домашнего сочинения — на две или три тетрадные страницы.

За выполнение каждого задания мадмуазель Жюли торжественно ставила мне отметку. В результате я неплохо успевал, и через полтора года после начала занятий я уже читал в оригинале «Человек, который смеётся» Гюго, которого мне рекомендовала моя учительница.

...А ещё немного позже я стал увлекаться французской поэзией и читать в оригиналах стихи Эредиа, Леконта де Лиля, Верлена и Рембо, которых я постепенно узнавал и по русским переводам. Имен этих французских поэтов моя учительница не знала...

В феврале или в марте шестого класса заполнился вакуум, образовавшийся после того, как в конце четвёртого класса прекратил своё существование драмкружок Жени Аграновича. Нами заинтересовалась детская писательница Надежда Всеволодовна Арсеньева — мать нашей однокашницы Ары Смирновой. Она стала приглашать нашу компанию в свой дом и подолгу разговаривать с нами о жизни и об искусстве..

Мы очень потянулись к Надежде Всеволодовне. Ей тогда было лет сорок пять, у неё была приятная внешность и уважительная манера разговаривать с детьми, которая часто контрастировала с более привычными для нас назидательными, укоризненными и требовательными родительскими речами. Надежда Всеволодовна ничего от нас не требовала, не сердилась на нас, в разговорах с нами чаще всего одобряла нашу позицию и поведение в конфликтах с учителями (а иногда и с родителями), о которых мы ей рассказывали. Она была широко литературно образованной женщиной, и это нас тоже очень привлекало. Нам встречи с Надеждой Всеволодовной были очень интересны, и мы почувствовали, что и мы интересны нашему новому взрослому другу.

Мы узнали, что до того, как стать писательницей, Надежда Всеволодовна была актрисой. Ещё мы знали, что в молодости, пришедшейся на дореволюционное время, Надежда Всеволодовна провела некоторое время в Норвегии. Тогда по малости лет я не поинтересовался, что её в Норвегию привело.

...Только в середине девяностых я многое из того, что мог бы знать о Надежде Всеволодовне раньше, узнал из биографических записок Ары, которые она написала по моему совету.

В дореволюционные годы Надежда Всеволодовна была артисткой Художественного Театра, и пробыла в этом качестве довольно долго. В одном из томов «Летописи жизни К. С. Станиславского» Ара нашла изображение своей матери на общей большой фотографии всей труппы. Надежда Всеволодовна сидит там между С. Бирман и Л. Леонидовым.

Надежда Всеволодовна сыграла в МХТ ряд ролей: боярышню в «Царе Фёдоре», что-то (видимо, не первостепенное) в «Мнимом больном» и в «Синей Птице», графиню-внучку в «Горе от ума», участвовала в ряде народных сцен. Однако её творческая жизнь в этом театре не сложилась.

Будучи очень молоденькой, она вышла замуж за коллегу — актёра Базилевского, элегантного героя-любownika. В театре она и значилась под этой фамилией. Базилевский также играл не первые роли. Брак этот был по обоюдной любви, но оказался коротким. Надежда Всеволодовна происходила из обедневшей дворянской семьи. Семья мужа была более состоятельной и родовитой. Молодая женщина стала объектом ненависти

свекрови — Кабанихи в аристократическом варианте. Свекровь не переставала искать для сына более престижную и выгодную жену, и в конце концов добилась развода. Базилевский стал впоследствии лётчиком-испытателем, попал в несколько авиакатастроф, после которых оставался жив.

Через некоторое время после развода с Базилевским Надежда Всеволодовна вышла замуж за Петра Клодта, сына известного скульптора и художника. Оказавшись баронессой, она во время ежегодных гастролей МХТ в Петербурге бывала на званых придворных обедах. Однако и этот брак был по каким-то причинам сравнительно недолгим.

Именно в период службы в Художественном Театре Надежда Всеволодовна вместе со многими другими членами труппы несколько раз ездила отдыхать в Норвегию. В эти же годы она побывала в летний перерыв в Италии и участвовала в гастролях Художественного Театра в Финляндии. Бывала она и в Швеции, и очень полюбила северные страны, в особенности Норвегию.

После нескольких лет работы в Художественном Театре Надежда Всеволодовна была, наконец, назначена на роль Дездемоны в первом составе и начала эту роль репетировать. Спектакль ставился для Леонидова, исполнившего роль Отелло. Но сыграть ей эту роль не довелось. У неё возник резкий конфликт с одним из руководителей театра, который дал ей понять, что она может рассчитывать на роль лишь в том случае, если ответит на его домогательства. Такой приём с другими актрисами он успешно практиковал, а от Надежды Всеволодовны получил решительный отказ и был разъярён.

Надежда Всеволодовна поняла, что роли Дездемоны ей не видать, что теперь в театре у неё никаких перспектив нет, и что ей надо искать новое место. Её взял в Малый театр один из его режиссёров Слонов. Вскоре по каким-то причинам Слонов перешёл на работу в Саратовский Драматический Театр, где тогда была очень сильная труппа, и Надежда Всеволодовна последовала за ним. В Саратове она служила два или три сезона и играла главные роли — Софью в «Горе от ума», Маргариту Наваррскую в одноимённой пьесе. После возвращения в Москву Надежда Всеволодовна прослужила ещё несколько лет в разных театрах, выходила замуж и разводилась, родила двух дочек, одна из которых в раннем детстве умерла от какой-то опасной болезни, а другая — Ариадна (Ара) стала моей однокашницей. К моменту моего знакомства с Надеждой Всеволодовной она жила вдвоём с Арой.

От актёрской профессии Надежда Всеволодовна отошла и стала детской писательницей. Основной (а может, и единственной) темой литературных произведений Надежды Всеволодовны была Норвегия. Она издала (её литературный псевдоним был Н. Дмитриева) книжку под названием «Гой Дальбак» о норвежской озорной девчонке, дочери рыбака. Эта книжка была довольно талантливым вкладом в пропаганду идеи о вечной необходимости конфронтации между трудягами рыбаками и норвежскими богатеями. Мы этой книжкой, естественно, увлекались. Была у Надежды Всеволодовны ещё и пьеса «У синего фиорда», которую ей не удалось ни напечатать, ни пристроить в какой-нибудь профессиональный детский театр...

Надежда Всеволодовна и Ара жили в скромных двух смежных комнатах в коммунальной квартире на втором этаже дома № 21 в Плотниковом переулке, дома довольно ветхого, но известного: там жили многие наши однокашники, и именно в этом доме жила Тамара Майзель, устроившая ту запомнившуюся нам Новогоднюю ёлку. Здесь у Надежды Всеволодовны мы околачивались всё свободное время. У Эди, впрочем, свободного

времени было меньше, чем у остальных членов нашей компании, и он появлялся тут реже других.

...Теперь, с высоты моего родительского опыта, я понимаю, что такие «островки доверия», вроде того, каким стала для многих из нас Надежда Всеволодовна, далеко не всегда способствуют правильному развитию нравственного здоровья ребёнка, его нормальным и добрым взаимоотношениям с родителями, воспитанию в нём критического чувства по отношению к самому себе. Желание понравиться симпатичному, но всё же не своему ребёнку и завоевать его доверие превалируют порой у внешнего конфидента над ответственностью за будущее ребёнка, его здоровье, за его взаимоотношения с собственными настоящими родителями...

Не знаю, как родители других детей, прилепившихся к Надежде Всеволодовне, но моя мама к моему стремлению проводить как можно больше времени вне дома в компании, в которой главенствовала незнакомая ей взрослая женщина, относилась с плохо скрываемым неудовольствием. Я считал, что мама ревнует к тому, что Надежда Всеволодовна была мне в духовном плане гораздо ближе мамы.

К чести Надежды Всеволодовны я должен сказать, что она знала край: трезво оценивала важность ситуации, и в острых случаях уклонялась от прямой поддержки жалобщика, мягко советуя ему наладить отношения с обидчиками самостоятельно.

Скоро компания детей около Надежды Всеволодовны сложилась и стала постоянной. В неё входили Ара, Лена Залманзон, Эдя и ещё три девочки. Об одной из них, Искре Мурштейн, хочу рассказать подробнее. Своим именем Искра была обязана родителям — большевикам старой закалки. Она училась в нашей же школе, но на один класс моложе.

...В годы войны Искра окончила филологический факультет МГУ. Её направили на работу в Ярославль. Там её и арестовали. Вышла из лагеря она в пятьдесят пятом. Сначала её взяли на работу лишь корректором, а потом она стала редактором в одном из московских издательств.

Между тем, после смерти Сталина и замирения новых советских руководителей с Тито, в Москву вернулся Илья Николаевич Голенищев-Кутузов, потомок полководца, князь по происхождению. В юные годы он, следуя за своими родителями, укрылся от революции в Югославии. Там Илья Николаевич стал специалистом по западнославянским литературам, профессором одного из университетов.

С приходом немцев он стал активным участником партизанской борьбы против оккупантов. Когда война была окончена, он вернулся к своей профессорской деятельности. После разрыва между Сталиным и Тито югославские коммунистические власти стали подозревать профессора в сочувствии к Советскому Союзу и посадили его. Когда умер Сталин, курс изменился, Илья Николаевич был выпущен и решил вернуться на родину. Он получил соответствующие разрешения от советских и югославских властей. Ему даже дали квартиру в Москве.

Илья Николаевич занял подобающее положение в советской науке, стал интенсивно издаваться, и на этой почве познакомился с Искрой. Через некоторое время они поженились. Наша Искра сделалась княгиней Голенищевой-Кутузовой, и это немало развлекало нас. Разница в возрасте у них была солидной, но не помешала их браку быть счастливым. В 1958 году у них, родилась дочь Маша. Через несколько лет после рождения дочери князь Илья Николаевич скончался. Он похоронен на кладбище в Переделкино недалеко от могил Чуковского и Пастернака...

Кончался шестой класс, наступали летние каникулы. Маме удалось организовать моё и своё лето вполне оригинально. На июнь и июль тётя Софа достала мне курсовку в дом отдыха Московской коллегии адвокатов в подмосковном Звенигороде. «Курсовка» означала возможность пользоваться всем, кроме жилья. Именно по курсовке мы жили второй срок в Алексине. Родители сняли мне комнатку в доме на той улице, на которую выходила территория дома отдыха.

А на август мама достала для нас с ней две путёвки на двадцатидневное путешествие на пароходе по маршруту «Москва—Уфа». Папин отдых почему-то не обсуждался, и как он проводил свой отпуск в этот, а также в прошлые и в будущие годы я не запомнил.

Лето в Звенигороде стало для меня исключительным — я в первый раз был предоставлен самому себе в течение целых двух месяцев. Родители, помнится, навестили меня только один раз. Разговаривать по телефону с Московским абонентом из области было практически невозможно, о переписке мы не договаривались, и её не было.

Я попал в компанию подростков, юношей и девушек, которые все были старше меня, но, благодарение Богу, меня в своё общество приняли. В столовой я сидел за одним столом с семнадцатилетним Мишей Брауде (он только что окончил школу), студентом исторического факультета Львом Фридбергом и студенткой юридического института красавицей Миррой, фамилии которой я и не знал. Все члены упомянутой молодой компании были детьми (как Миша Брауде) или близкими родственниками (как я) московских адвокатов.

Мишин отец был личностью знаменитой. Он защищал многих обвиняемых в публичных процессах над оппозицией, прошедших к тому времени. Другими защитниками, участвовавшими в этих процессах были Казначеев и Коммодов, но ни они сами, ни их дети в то лето в Звенигороде не отдыхали. Конечно, Илья Давидович Брауде играл в этих страшных процессах совершенно номинальную роль, и приговоры диктовались Сталиным без всякой связи с материалами процессов. Да и материалы эти фабриковались так, что не оставляли места для обоснованной защиты обвиняемых. Единственное, что могли говорить в своих выступлениях адвокаты, — это просить суд о снисхождении, чего суд, за редким исключением, делать не желал, и приговаривал почти всех обвиняемых к высшей мере.

Илья Давидович приезжал в Звенигород раза три — на выходные. Обычно он проводил своё время не с сыном, а прогуливался по территории дома отдыха и близлежащим лесочкам вдвоём с кем-нибудь из коллег и что-то тихо с ним обсуждал.

За Мишей была закреплена репутация хулигана. Его несколько раз выгоняли из школы. Учился он в своём девятом классе плохо и говорил, что поступать в высшее учебное заведение не будет, а пойдёт поскорее в Армию. Здесь, в доме отдыха он постоянно дерзил директору — грубой, противной и вульгарной толстой пожилой еврейке Фаине. Но внутри нашей компании он держался вполне лояльно ко всем, никого не терроризировал, хотя фамильярничать с ним никто не решался. ...В Отечественную войну он погиб...

Я продолжал находиться на положении не вполне здорового мальчика: не играл ни в волейбол, ни в другие подвижные спортивные игры, не ходил со всеми на Москва-реку купаться. Но в других затеях нашей компании я принимал активное участие. Нашим любимым занятием

в промежуток от завтрака до обеда были прогулки в Савиновский монастырь. Монахов там тогда уже давно не было, да и нас не интересовали ни история, ни религия, ни архитектура построек на территории монастыря и окружавших её стен.

Нас привлекала речка Разводня, которая впадала в Москву-реку под монастырскими стенами. Разводня протекала среди заросших высоким кустарником берегов, а так как эта речка была узкой, то тени от растительности на обоих берегах всегда охраняли русло от солнечных лучей. В устье Разводни была лодочная станция. Мы брали две—три лодки и подымались вверх по течению. Глубины речки едва хватало для того, чтобы наши лодки плыли, не цепляясь днищами за речное дно. Мы продвигались на расстояние одного—двух километров, а потом речка сужалась настолько, что кусты и деревья, росшие на противоположных берегах, сплетали свои ветви низко над водой, и путь перекрывался напрочь. Я был на положении инвалида, и на право грести не посягал — к большой радости моих товарищей по прогулкам, для которых гребля была главным смыслом экспедиции.

Я много читал: в доме отдыха была хорошая библиотека. Я перечитал «Войну и мир» и был поражён, насколько по-другому я теперь это сочинение воспринимал. Я понял, что душевно взрослею. Кроме моих уже упомянутых троих соседей по столу, в нашу компанию входили Игорь Жилинский и Коля Хохлов.

Мать Игоря Анна Ивановна была адвокатом, а отец — пианистом. Борис Жилинский было широко известен, потому что он постоянно звучал по радио. Главным образом, в качестве аккомпаниатора. Фраза «Партию фортепиано исполняет Борис Жилинский» или «Аккомпанирует пианист Жилинский» была на слуху у всех радиослушателей. Игорю было лет семнадцать. Он был очень очень насмешлив и скептичен. Его речь была пересыпана язвительными замечаниями и мексиканским хохотом.

Четырнадцатилетний Коля Хохлов обладал музыкальным слухом, вкусом и памятью. Он часто высвистывал арии из классических опер — «Лючии ди Ламмермур» Доницетти, «Травиаты» Верди, «Тоски» Пуччини и «Кармен». Бизе. Многие из его богатого репертуара было мне известно из радиопередач, которых я наслушался во время болезни. Поэтому я слушал Колю с особым удовольствием.

Наше молодое общество продолжало свою жизнь и по вечерам. Главным занятием были разговоры весьма культурного содержания: театр, литература, кино. О политике не говорили: уже были, наверное, учёные насчёт возможных последствий обсуждения тем этого рода. Часто мы разыгрывали шарады. Мне запомнилась одна. Представляли слово «Три-ум-фат-ор». Представляли слоги члены нашей молодой компании, а отгадывали взрослые отдыхающие. Как мы разыгрывали отдельные слоги, рассказывать не стану, но вот целое было представлено впечатляюще.

Лев Фридберг был божественно красив, причём не еврейской (как Мирра), а вполне арийской красотой. Он был довольно высоким, прекрасно сложенным, голубоглазым блондином с правильными чертами лица. Мирра сплела венок на Лёвину голову, его обнажённый торс мы обернули тогой, сделанной из подвёрнутой простыни. Мальчики и юноши наделали связки прутьев из очищенных от листьев веток и изображали ликторов, а девочки и девушки — толпу, приветствующую героя.

К сожалению, судьба больше не сводила меня с членами той звенигородской юной компании. Только разок-другой я в довоенные годы

встречался кое с кем из них на улице. В те времена такие случайные уличные встречи были очень вероятны. Генеральный план реконструкции Москвы только начал осуществляться. Расширение города предстояло в не слишком близком будущем. Слов «Новые Черёмушки», «Мневники», «Октябрьское поле» ещё никто не знал. Суцёвский вал считался далёкой окраиной Москвы. Мы все жили в центре. Вообще, большинство порядочных людей жило, по нашим представлениям, на Арбате и в его переулках.

В августе мы с мамой, как и планировалось, отправились в длительное пароходное путешествие. Оно началось в Москве, в Южном порту. Химкинского водохранилища и, соответственно, Химкинского речного вокзала тогда ещё не было. Наш большой колёсный пароход «Максим Горький» поплыл по узкой Москва-реке, на которой он развернуться не смог бы. Пароход прошёл через Перервинские шлюзы и вышел у Коломны в Оку. Мы жили с мамой в каюте второго класса, напомилавшей железнодорожное купе: там были две спальные клеёнчатые в два этажа полки, столик у выходившего на палубу окошка и больше ничего.

Всё было очень интересно — и работа пароходной команды, и швартовка, и отправление, и суета на пристанях. В больших городах пароход стоял по несколько часов, и мы могли самостоятельно походить и поездить по городу. Гидов и экскурсионных автобусов не было в заводе. Не было даже путеводителей, планов городов и транспортных схем. В Горьком я успел сходить в кино на центральной улице на не помню какой фильм. Бог мой! На что, будучи молодым дураком, два часа из отведённых мне четырёх потратил! В кино меня удивило, что нумерация рядов была не такой, как в Москве: последний ряд имел номер один, а самый большой номер был у ряда, расположенного непосредственно перед экраном.

Большинство городов, мимо которых мы проплывали и в которые мы заглядывали на несколько часов, я в жизни посетил ещё только один раз — следующим летом во время аналогичной пароходной прогулки по маршруту «Москва—Астрахань». Исключением оказалась Уфа. Во-первых, наш пароход простоял в этом городе примерно сутки, и мы неплохо город осмотрели. А во-вторых, через шесть лет судьба снова завела меня в Уфу дважды за отрезок в три месяца, но не как туриста. Подробности ниже.

Каникулы кончились, и начался седьмой класс. В следующих трёх (7—9) классах нам преподавала русский и литературу Наталия Арсеньевна Арбенина. Она чётко знала предмет, была справедливой, педантичной и строгой. В её объяснениях нового материала и в манере спрашивать учеников и комментировать их сочинения было что-то командирское. Мы относились к Наталье Арсеньевне неплохо, но тёплых чувств она у нас не вызывала.

...В 46-м году моя будущая жена Маша перешла в 79-ю школу, что на углу Арбата и Калошина переулка. В войну и в первое послевоенное время в этой школе был размещён госпиталь. Директором школы была наша Наталья Арсеньевна. В некоторых классах она, будучи директором, продолжала учить детей литературу...

С седьмого по девятый класс у нас был превосходный преподаватель физики — Александр Михайлович Никитин. Он держал класс в руках. Но не строгостью и окриками, а силой своего обаяния, чувства юмора и авторитета. Александр Михайлович был очень привлекательным мужчиной лет сорока, и нас очень раздражали слухи (мы так и не узнали,

правдивые или нет), что он ухаживает за учительницей химии Клавдией Порфирьевной, дамой лет тридцати, которую мы терпеть не могли за её холодную и презрительную манеру разговаривать с учениками. Одно лишь предположение, что эта мумия может нравиться чудесному Александру Михайловичу, казалось нам полным и оскорбительным нонсенсом.

Я не могу вспомнить, кто в седьмом классе был у нас учителем математики. Наверное, это было что-то бледное. Или побледнела моя память. Зато учительницу истории Анну Николаевну я запомнил — из-за крайней её нелепости. Ей было под пятьдесят, и она поражала нас своей редкой безграмотностью. Её «ардабалетчики» (вместо «арбалетчики») долго бытовали в нашей среде, как символ невежества.

Авторитет у Анны Николаевны был никакой. Внешность — предикая: всегда неряшливо одетая и с всклокоченными космами. В довершение её глаза сильно косили. Ученики её не слушали и хамили ей, как могли. Один раз на уроке Анны Николаевны наш заводила в шалостях и дерзостях Юра Белявский стал довольно громко обсуждать что-то смешное с девочкой, которая сидела на парте через проход. Анна Николаевна долго терпела этот беспорядок. Потом она прервала свою безграмотную речь на тему урока и, замолчав, уставилась на Юру, рассчитывая, видимо, на то, что внезапно прекратившийся и не возобновлявшийся монолог учительницы привлечёт внимание и встревожит Белявского. А он на этот демарш никакого внимания не обратил. Наконец, Анна Николаевна грозно сказала: «Белявский! Ты что, не замечаешь? — Я на тебя уже пять минут смотрю!». Белявский вежливо вскочил, шумно откинув крышку парты, и сказал, тонко намекая на косину глаз педагога: «Извините, Анна Николаевна, я думал, что Вы на Левина смотрите».

Надежда Всеволодовна, которая объединила вокруг себя нашу компанию, входила в родительский актив нашей школы, и под Новый (тридцать восьмой) Год предложила дирекции дополнить новогодний праздник костюмированным карнавалом. Эта идея была принята. О костюмах нашей компании позаботилась сама Надежда Всеволодовна. Она научила нас всех — и мальчиков, и девочек — как приготовить костюмы и маски Пьеро. Научила она нас и подходящему танцу. И вообще познакомила нас с элементами карнавальной культуры Италии, с традиционными персонажами и масками. Это было добавлением к тому, что мы уже знали из «Принцессы Турандот» и из пьес Гольдони. В итальянском виде и кружилась по школьному залу наша, выделявшаяся среди других детей, группа прихожан Надежды Всеволодовны.

В те годы коммунистическая власть ещё и не подумывала о своей будущей кампании против низкопоклонства перед западом. Книги иностранных классиков и современных писателей издавались большими тиражами. В театрах шли пьесы иностранных авторов. Дети нашего круга имели полную возможность расширять своё знакомство с писателями, которых я уже перечислял. В течение двух—трёх последующих лет к ним добавлялись Боккаччо, Данте, Г. Мопассан, Анатолий Франс, Э. Золя, Гонкуры, Р. Роллан, М. Пруст, Бернард Шоу, Г. К. Честертон, Конан Дойль, Т. Манн, Г. Манн, Г. Гейне, Э.-М. Ремарк, Г. Фаллада, Р. Бёрнс, Л. Фейхтвангер, Б. Келлерман, К. Гамсун, Г. Ибсен, Э. Синклер, А. Кронин, Р. Олдингтон, О. Хаксли и т. д.

При этом русские переводы современных иностранных писателей появлялись очень быстро — через год-два после публикации оригинала. Кстати сказать, за эти переводы авторам ничего не платили, ибо СССР

не входил в международную конвенцию по авторскому праву. Но переводчикам платили. Ставились фильмы по иностранным сюжетам: «Гулливер у лилипутов», «Дети капитана Гранта», «Таинственный остров», «Семья Оппенгейм».

«Западные танцы», впоследствии ущемлённые, царили на танцплощадках. Из патефонов и репродукторов неслись попеременно то разухабистая «Риорита», то соблазнительная «Румба», то немецкое танго

O, Donna Klara,
Ich hab' dich tanzen gesehen,

которые я знал ещё с детских соляных времён. Так что наши танцы в костюмах Пьеро никаких нареканий не навлекли.

Вскоре после этого запомнившегося на всю жизнь бала-маскарада Надежда Всеволодовна решила поставить свою пьесу «У синего фиорда» силами нашей детской компании и начала её с нами репетировать. Сюжетная схема пьесы была привычной: расторопные и насмешливые представители народа (на этот раз норвежского) и глуповатые и жадные богачи.

Эде досталась (видимо, в наследство от Жени Аграновича, который дал ему играть слугу двух господ) роль язвчатого посыльного или слуги пансиона, куда приезжал глупый консул со своей капризной женой. В этой роли легко узнавались черты Сэма Уэллера Диккенса, Фигаро Бомарше, и ещё роты им подобных.

До спектакля дело так и не дошло. Но, как сформулировал в наши дни Жванецкий, главное — процесс. Спектакля не вышло, но мы заинтересовались норвежской литературой, стали читать Гамсуна и Ибсена, а чуть позднее Эдя и я прочитали — уже по совету Александра Марковича — превосходный роман Сигурда Хуля «Октябрьский день».

...Лет через тридцать после этих времён (вскоре после моего поступления в ЦЭМИ, о чём я подробно рассказываю в Добавлении 4), тематика отдела, в котором я работал, свела меня и некоторых моих коллег с видными норвежскими программистами — Кристеном Нигардом и Улафом Далом. Они во второй половине шестидесятых приезжали по приглашению Академии в Москву и провели в нашем институте несколько недель с целью познакомить нас с разработанным ими языком программирования СИМУЛА, содержащем средства для моделирования процессов и взаимодействий между ними. Потом этот язык был в нашем коллективе реализован на ЭВМ «Урал-14», и мы с его помощью сделали несколько моделей на экономические темы.

А тогда мы с норвежцами очень сдружились. То были времена политического потепления, страх ушёл, и мы с приятными нам интеллигентными иностранцами охотно и много общались — и не только на работе. Помню, как один раз мы с Машей показали Кристену и его жене Марии наш Музей изобразительных искусств на Волхонке. Гости были ошеломлены богатством коллекции французских импрессионистов в этом музее.

Много раз мы беседовали за столом в академической столовой, во время коротких прогулок по Нескучному Саду, где тогда находился наш институт.

Накануне возвращения Нигарда на родину (Дал уехал на несколько дней раньше) дирекция института устроила в его честь ужин в «Арагви», после которого мы — мой шеф, заведующий отделом Евгений Иванович Яковлев, мой коллега завлаб Кирилл Сергеевич Кузьмин и я — пешком проводили Кристена и его жену до гостиницы «Пекин», в которой они

были поселены. Норвежцы пригласили нас подняться к ним, и мы провели полночи у них в номере. Наши советские языки развязались, и мы очень откровенно разговаривали с ними о положении дел в Советском Союзе, отбросив страх перед подслушивающими устройствами. Были эти устройства установлены и включены или нет, но нас потом не тронули.

Самолёт норвежцев вылетал на другой день под вечер, а днём Яковлев, Кузьмин и я дали Кристену и Марии прощальный обед в ресторане «Пекин». Речь за столом зашла о литературе и смежных материях. Норвежцев очень удивляло, что мы читали Гамсуна и Ибсена, что пьесы Ибсена ставят в российских театрах, что в Консерватории время от времени исполняют музыку Грига к «Пер Гюнту». Приятной неожиданностью для них было узнать, что по радио и в концертных залах очень часто звучит фортепианный концерт Грига. А когда они узнали, что на русский переведён «Октябрьский день» Сигурда Хуля, и что я этот роман читал, они, что называется, обалдели. Кристен сказал, что никакие другие его знакомые иностранцы так много, как русские, из норвежской литературы и музыки не знают. Я уже не говорю о том, что выпивавшие с нами за столом в ресторане норвежцы из русской литературы знали лишь два—три имени и два—три названия, а по существу — ничего. Правда, с музыкой Чайковского знакомы были...

Вернусь в школьные времена. Интенсивное чтение советских авторов продолжалось. Я прочитал некоторые «взрослые» сочинения Олеши: «Зависть», «Список благоденний». Моя политическая идеология испытывала воздействие двух сил: советской пропаганды и советской жизни. Эти силы были разнонаправлены. Высокое качество писательского мастерства Олеши, его изощрённые попытки облагородить скверный режим своим блестящим стилем и усложнённой — по сравнению с официальной пропагандой — была направлена в пользу происходящего.

Олеша принадлежал к плеяде весьма талантливых советских писателей, которые хотели сотрудничать с властью, но пытались заработать себе право делать это по-своему. К этой группе принадлежали покончивший жизнь самоубийством Маяковский, Асеев, Багрицкий, Катаев, Паустовский, Кассиль... Эти авторы надеялись на то, что их высококачественный и оригинальный слог, парадоксальность мышления, ирония должны были импонировать интеллигентным читателям и побуждать их к признанию целей и методов режима, на самом деле эфемерных и варварских.

Художественный расчёт этих авторов был верен: их сочинения камуфлировались под порядочность весьма успешно, и многих — в частности, тогдашнего меня — склоняли к тому, чтобы игнорировать устрашающие факты реальной жизни и возвеличивать самые малые успехи, причём технические успехи (полёты в стратосферу, переход через Каракумы, строительство метро, гигантских автозаводов в Москве и в Горьком и т. п.) интерпретировались как идеологические и нравственные.

Силу своего литературного таланта эти авторы отдавали даже для того, чтобы возводить в нравственный подвиг строительство Беломорканала силами заключённых. Но главную свою задачу они видели в воспевании декларируемых грандиозных и благородных, востребованных Историей человечества намерений власти. Тогда я к этим писателям-гипнотизёрам причислял и Зоценко. Только позже я увидел, что Зоценко принадлежит к другой, тогда мне неведомой и невидимой группе литераторов, в которую входили Ахматова, Пастернак, Мандельштам, Булгаков, Замятин.

Итак, в начале 38-го мы репетировали «У Синего фиорда», наслаждались богатствами творений Пушкина и расширяли наши знания о нём;

упивались антифашистом Фейхтвангером. А в стране набирал обороты сталинский террор. Давид пока продолжал быть преуспевающим руководителем. Теперь я могу только догадываться, что творилось в душе у этого весёлого, остроумного и уверенного в себе человека, на глазах которого гибли его коллеги и начальники.

Давиду даже дали квартиру в новом доме в Плотниковом переулке. Как-то раз, когда дом ещё строился, Давид повёз Ваву, Эдю и меня посмотреть свои будущие владения. Путь из Кривоарбатского в Плотников мы совершили, естественно, в машине Давида. Мы поднялись по временным дощатым трапам на нужный этаж и ходили с осторожностью по металлическим и бетонным конструкциям, а Давид прекрасно в этом строительном хаосе ориентировался и объяснял нам, где будет столовая, где спальня, где кабинет.

После переезда Давида и Вавы в их новую квартиру в одну из их бывших комнат в двадцатой въехали новые жильцы, а в другую (наверное, Давид как-то об этом хлопотал) был помещён Эдя с его фортепиано. Эта комната была расположена точно там же, где наша комната, в квартире двумя этажами выше. Эдя жил в этой комнате вместе с дедом Наумом Давыдовичем, отцом Раисы Наумовны, который к этому времени состарился, стал неспособен жить самостоятельно в Могилёве и переехал в семью дочери.

В Испании уже шла гражданская война, растянувшаяся на три года. Мы были, конечно, на стороне республиканцев — в первую очередь потому, что они были против фашистов. Этого было достаточно. По радио звучали песни республиканцев, в театре Моссовета шла под овации зала пьеса «Салют, Испания!». Наша ненависть к фашизму после прихода к власти Гитлера с каждым годом усиливалась, подогреваемая газетной пропагандой и романами Фейхтвангера и Анны Зегерс.

В эпоху главных сталинских судебных процессов нам с Эдей было 13—15 лет. Мы были в замешательстве. Подсудимых обвиняли в связях с ненавистным фашизмом, и это обвинение делало их в наших глазах личностями одиозными. Но одновременно трудно было отделаться от ощущения, что эти подсудимые — жертвы каких-то непонятных политических целей высших руководителей страны.

Появилась срочно написанная и тут же переведённая на русский язык книжка уважавшегося нами Л. Фейхтвангера, которая называлась «Москва, 1937». Мы к этому времени прочли десяток его романов на исторические и современные темы. Через все его сочинения проходила гуманистическая идея, во многих он рассуждал о судьбах еврейства, а в романах «Успех» и «Семья Оппенгейм» выступил как борец с фашизмом и антисемитизмом. И вот Фейхтвангер выпустил книжку, которая оправдывала смертные приговоры оппозиционерам и из которой выходило, что сами осуждённые считали постигшую их участь справедливой.

Голова шла у нас кругом. Я от моих родителей никакой помощи в попытках осмыслить происходящее не получал. Не знаю вполне точно, но думаю, что и Эдя от своей матери и дядьёв тоже ничего вразумительного не услышал. Мои родители, возможно, к действиям властей относились либо апатично, либо одобрительно. Но я не сомневаюсь, что братья Колмановские Давид и Александр понимали всю преступность действий властей, но, видимо, не решались делиться с четырнадцатилетним Эдей своими мыслями и оценками. Впрочем, не исключаю и того, что Эдя был в событиях ориентирован своими взрослыми членами семьи правильно, но, получив на этот счёт строгие инструкции, своим пониманием ни с кем и со мной, в частности, не делился.

В тридцать восьмом году всё сплелось в непостижимый и трагический узел. Арестовали Давида и Ваву. С этого момента мы с Эдей уже перестали сомневаться в фальши официальных объяснений массового террора. Преданность Давида режиму была совершенно очевидной, и поверить в то, что он — враг народа и арестован справедливо, было абсолютно невозможно.

Борис Щукин, ставший после фильмов «Ленин в октябре» и «Ленин в 1918 году» баловнем властей, решился за свою коллегу Валентину Вагрину похлопотать. После получения очередных наград Щукин совсем уж собрался просить аудиенцию у Сталина. Но этого своего намерения он осуществить не сумел, ибо скоропостижно умер.

Потерпели и сёстры Колмановские. Арестовали и расстреляли мужей Мани и Сони. Маня осталась на свободе с двумя девочками, а Соню вскоре арестовали тоже. Александр как мог заботился об её дочери Лене, Эдиной сверстнице.

...Через много лет Эдя получил возможность ознакомиться с делом Давида, хранившимся в архиве адского ведомства. Он узнал, что Давид был расстрелян через несколько дней после ареста.

Вава провела восемь лет в лагере. После отбытия срока Ваве поначалу разрешили жить в Москве. Её даже взяли обратно в театр Вахтангова. Именно в этот период с Вавой познакомился и полюбил её известный советский художник Николай Иванович Осенев, брат которого Владимир был очень видным вахтанговским актёром. Николай Иванович прошёл всю войну в сапёрной роте, а потом занимал высокий пост председателя Московского отделения Союза художников (МОСХ).

...Как художник Николай Осенев имел два лица. Первое — официальное. Он был автором хрестоматийной просоветской картины «Первый декрет Советской власти». На ней был изображён закуривающий цыгарку солдат Красной Гвардии, который делал это, стоя у афишной тумбы с приклеенным манифестом о мире. Второе творческое лицо Осенева — портретная бытовая живопись и пейзажи. Сначала — только русские, а позже, в 60-х, когда он свои официальные посты с почётом покинул и остался выездным, он отдался пейзажам Франции и, вообще, французской теме.

Высокое официальное положение не уничтожило в Николае Ивановиче интеллигентности и мужества. Они с Вавой поженились. Но вскоре после этого Ваву из театра под давлением «органов» уволили. Хлопотать за неё пошли к тогдашнему шефу госбезопасности Абакумову артисты-вахтанговцы Горюнов и Абрикосов. Выискивая аргументы в пользу восстановления Вавы в театре, они неосторожно сказали Абакумову: «Вагриной жить в Москве разрешили. Значит, она должна где-нибудь работать», на что Абакумов сказал: «Это легко исправить» — и тут же отдал распоряжение Ваву из Москвы выслать.

Вава срочно уехала в Завидово Рязанской области, где жила вышедшая к тому времени из лагеря, но оставшаяся на положении ссыльной, Соня — сестра Давида и Александра Колмановских. Николай Иванович в конце концов нашёл Ваве какое-то жильё в Тарусе и жил с ней там, часто совершая — для исполнения своих профессиональных и общественных дел — трудный по тем временам путь в Москву и обратно.

В 1955 году Вава была реабилитирована и стала жить в Москве на законных основаниях. Она снова вернулась в театр и проработала там до пенсии. Вава и Коля до конца их жизни считали Эдю родным человеком. Он платил им полной взаимностью, заботился о них (особенно —

после смерти Коли — о Ваве) и тесно с ними дружил. Памяти Давида Эдя впоследствии посвятил один из своих сборников...

Расстреляли в тридцать восьмом и близкого друга братьев Колмановских Марьясина, занимавшего, как и Давид, крупные государственные посты. Был репрессирован грозный управдом Агрест, ему не зачлось его несогласие с линией Зиновьева. Сын Агреста от первого брака Натан приехал из Могилёва и стал жить вместе со своей пожилой дальней родственницей в комнате отца, помещавшейся в той же 29-й квартире, в которой жили Залманзоны.

Эдя и я очень подружились с Натаном. Хоть он и был на пару лет старше нас, но нас привечал. Так что мы много времени проводили в 29-й, переходя из комнаты Залманзонов в комнату Натана и обратно. Натан ещё за год или два до войны стал студентом МИИТа.

Александр Маркович от ареста и гибели уцелел, хотя его брат и многие родственники и ближайшие друзья по Могилёву, коллеги по Госплану тоже были арестованы. Но из Госплана он был изгнан. Он искал разные способы заработать на жизнь. Главным его занятием стало преподавание высшей математики в различных технических вузах. Какое-то время подрабатывала и Раиса Наумовна.

Ещё недавно благополучной семье Колмановских был нанесён страшный удар. В частности, из семьи имущей она превратилась в семью с ненадёжным и весьма скромным достатком. Надо сказать, что все оставшиеся на свободе члены этой семьи вели себя достойно и никому, кроме самых близких людей, в голову не могло прийти, что это семья, потерпевшая неслыханное бедствие.

Эти годы террора и процессов, в течение которых со страниц газет и журналов не исчезали зловещие слова «враги народа», «предатели», «двурушники», а также и ставшие позорными фамилии Ягоды и Ежова, превратившихся по очереди из руководителей НКВД в таких же врагов народа, каких они только что яростно уничтожали. Подобные анафемы неслись из радиорепродукторов и с экранов кинотеатров. Все знали главных дирижёров публичных судов: Генерального прокурора Вышинского и Председателя суда Ульриха. Эти имена остались в моей памяти очень отчётливо. Осталось и память о душевном и умственном смятении тех лет.

...После смерти Сталина журналисты и историки начали писать об этих временах в осудительных тонах. При этом допускались естественные искажения истины в другом направлении: тогдашних жертв сталинского террора стали, как правило, выставлять в светлых тонах. Особенно розовым получился образ Бухарина: он и интеллигент, и покровитель Пастернака, и верный ленинец, и художник-любитель. Забывалось, что многие жертвы террора, особенно из правящих верхов, сами были, как и Ленин, приверженцами — теоретиками и практиками — аморальной коммунистической идеологии и такими же злодеями, как их палачи. Только теперь начинает пробивать себе дорогу объективный взгляд на личности и на позиции.

Конечно, в эмоциональном плане эти времена отходили в прошлое и становились предметом истории. Но вот однажды — уже в начале семидесятых — мне вдруг довелось снова весьма близко ощутить дух годов тридцатых. Я был заведующим лабораторией в ЦЭМИ. Как-то весной, когда в институтах Академии объявляют приём в аспирантуру, ко мне обратилась моя коллега, работавшая в другом отделе, доктор экономических наук Ирина Павловна Шубкина. Она спросила, есть ли в моей лаборатории вакансии для новых аспирантов, и узнав, что да, попросила

меня поговорить с дочерью её близкой знакомой — на предмет выяснения целесообразности и возможности поступления этой молодой женщины ко мне в аспирантуру. Основанием для обращения ко мне служили Шубкиной образование и род занятий её протеже. Я запомнил имя кандидатки: её, как и Шубкину, звали Ириной.

Через несколько дней рекомендованная Шубкиной Ирина мне позвонила и ко мне приехала, и мы беседовали с ней, прохаживаясь взад и вперёд по коридору института. Кандидатка в аспирантки производила хорошее впечатление. Она обнаружила добротную теоретическую и профессиональную подготовку, быстро поняла суть проблемы, решение которой я предложил ей в качестве темы будущей диссертации, у неё была приятная внешность и манеры, в разговоре были повороты, которые дали Ирине проявить и общую культуру: мелькнули имена писателей и композиторов. В общем, она показалась мне подходящим человеком, и я предложил ей тут же написать заявление в аспирантуру на имя директора института.

Стандартная форма заявления состояла в том, что заявитель просил допустить его до экзаменов в аспирантуру по такой-то специальности (одной из списка, приведённого в объявлении института о приёме в аспирантуру) и просил назначить его научным руководителем такого-то сотрудника института (в данном случае следовало назвать меня). Я на этом заявлении должен был написать, что в случае приёма заявителя в аспирантуру, я стать его научным руководителем согласен.

Мы зашли ко мне в комнату, и Ирина под моим направляющим её по нужному канцелярскому руслу руководством написала заявление. Я стал просматривать написанный текст, приготовясь наложить требовавшуюся от меня резолюцию. И тут в первый раз я увидел фамилию Иры. Фамилия эта была: Ульрих.

Я мысленно осёкся, перестал читать и не смог не спросить Иру: «Скажите, пожалуйста...». Ира не дала мне закончить вопрос и истерически закричала: «Да! Это — мой дед. Что я могу с этим поделаться? Он — изверг, но чем виновата я?!». Я стал успокаивать её, разговор принял менее напряжённый тон, и я узнал, что Великий Инквизитор приходится ей дедом с отцовской стороны. Она его видела раз или два в раннем детстве, потому что родители давно развелись. Ира Ульрих стала говорить мне, что ощущает свою фамилию как проклятие и боится называть её новым людям, особенно пожилым. Больше мы с Ирой к этой теме не возвращались.

Ира стала моей аспиранткой и двигалась вполне успешно. За ней водились некоторые странности. Она была склонна к тибетской медицине или к чему-то в этом роде. Ей было под тридцать, но замужем она не была, и — как можно было понять из доступных моему глазу обстоятельств её жизни — не имела ни подруг женского, ни друзей мужского пола. Жила она с матерью.

Время от времени, встречаясь со мной в институтской столовой, интерес к Ире проявляла рекомендовавшая её мне Ирина Павловна Шубкина. Она тоже замечала за Ирой странности, и они иногда становились предметом наших застольных разговоров.

К нужному сроку Ира сдала все кандидатские экзамены, написала диссертационную работу и прошла предзащиту. Но после успешной предзащиты Ира неожиданно отказалась от завершения работы над диссертацией и от её защиты. Она исчезла, и больше я с ней никогда не встречался и ни разу о ней не слышал — ни в научном мире, ни в свете. Где ты, Ира Ульрих?

Банальный вопросительный вскрик Иры: «Он — изверг, но чем виновата я?!» не имеет обоснованного ответа. С одной стороны — действительно, чем была виновата Ира? С другой — есть издавна в человеческом обиходе пришедшее из священных книг проклятие на все будущие поколения извергов. В той или иной степени проклятие за преступления изверга Сталина лежало и на его трёх детях, но на внуках стало утихать и даже перестало быть проклятием. Сын Хрущёва, с которым я одно время общался (об этом — позже) — человек интеллигентный и достойный; ныне покойный сын Берии Сергей — идиот и проходимец.

Сходные нравственные проблемы встают перед нами не только в масштабах отдельных личностей, но и в масштабах наций. Лежит ли вина на немцах, шумно и, возможно, искренне, раскаивающихся в причастности к звериной нацистской идеологии? В ещё большей степени это неясно по отношению к немцам, родившимся после 45-го.

Многих из нас (и меня в том числе) к дружбе с немцами не тянет. Но коль доведётся с немцем, особенно молодым, войти по тем или иным обстоятельствам в контакт, то видишь — человек мягкий, приличный. Иногда он понимает, какие чувства к немцам потенциально могу испытывать я, и начинает объясняться с оттенком мольбы о прощении, а чаще вводит такой оттенок в наши отношения ему и в голову не приходит...

Вернусь к седьмому классу, т. е. к зиме и весне 38-го. Абсурд и ужас тех лет состоял ещё и в том, что обыденная жизнь, как говорится, продолжалась. Эдя учился в гнесинской школе. Надежда Всеволодовна затеяла новое театральное мероприятие. Оно было навеяно тогдашней гражданской войной в Испании. Под влиянием Надежды Всеволодовны и с её, наверное, помощью, ученица девятого класса нашей школы Нора Суджаева сочинила пьесу «Над всей Испанией безоблачное небо». Именно таким было условное кодовое радиосообщение, оповещавшее все военизированные организации франкистских мятежников в разных регионах страны о том, что момент начала мятежа наступил. Пьеса воспевала героизм республиканцев.

Нора жила в доме 51, в котором вырос главный герой романа А. Рыбакова «Дети Арбата», да и сам автор романа. Там жили многие наши однокашники. Зрительный зал и место репетиций находились в клубе домоуправления в подвале этого же дома. Мы с восторгом приступили к нашему любимому занятию тех лет — начали репетировать.

Эде опять досталась роль, вполне адекватная его собственной личности. Он играл героического, остроумного и бесшабашного испанского мальчишку, прообраз которого легко просматривался в Гавроше из «Отверженных» Гюго и в тех шаловливых слугах, которых Эде доводилось репетировать раньше. На этот раз дело было доведено до спектакля, с успехом показанного один раз в уже упомянутом подвальном зрительном зале. Зал был переполнен жильцами этого дома и родителями и знакомыми артистов. От этого события в архивах его участников (Эдя, Ара, Лена, Искра, я) остались памятные фотографии.

Я продолжал дружить, встречаться и гулять по Арбату и переулкам с Борей Кулесом, хоть жизнь и развела нас по разным школам. Я почти никого из его теперешнего класса не знал. Как то Боря с гордостью рассказывал мне, что он теперь дружит с самой красивой девочкой из их класса Майей Левидовой. Сам Боря был не больно красивым мальчиком. Росту он был среднего, волосы у него были жидкие, нос — несколько приплюснутый, еврейский, голубые глазки — близорукие, и он всегда носил очки. Но он был

начитанным, был на прекрасном счету у учительницы математики, которую называл Сарра, и первую девочку класса Боря покорила своими незаурядными интеллектуальными достоинствами, перевесившими изъяны внешности.

Боря, как водится, рассказывал мне при каждой нашей встрече о разных коллизиях, возникавших между ним и Майей. При этом он всегда называл её (таков был выбранный им шутливый стиль) Майей Михайловной. Подобная дружба, но гораздо менее регулярная и столь официально не зарегистрированная, как дружба Бори Кулеса и Майи Левидовой, была и у меня — с Арой Смирновой, дочерью Надежды Всеволодовны.

Один раз в конце апреля — уже стояли тёплые дни — Боря пригласил меня составить на другой день ему с Майей компанию и пойти вместе с ними в Парк культуры Горького. Мне было интересно посмотреть на Майю, и я с удовольствием согласился. Мы встретились на Арбате. Майя, к некоторому моему разочарованию, оказалась весьма невысокой, в то время как я был долговязым. Её лицо было очень красиво. Главное же, она оказалась весьма острой на язык интересной собеседницей. Я в этом плане тоже был не лыком шит, и между нами возникла оживлённая болтовня, в которую Боря едва мог изредка вставить слово.

Мы стали гулять по обширному, сложно спланированному и многолюдному парку. Наступила темнота, которую богатая по тем временам иллюминация парка преодолеть полностью не могла. В какой-то момент мы с Майей молчаливо сообразили, что мы можем вполне обойтись без Бори. Многолюдность и темнота сыграли нам на руку, и мы, не сговариваясь, инсценировали естественное явление: толпа нашу компанию разметала на две неравные части; в одной оказался Боря, а в другой — мы с Майей.

Оставшись вдвоём, отделёнными от Бори многотысячной толпой, мы с Майей расхохотались и признались друг другу в том, что происшедшее — дело не совсем случайное. Мы погуляли ещё некоторое время в парке, а когда я проводил Майю до её подъезда, мы обменялись телефонами. Майя жила в доме 20 на Арбате.

...Живёт она в том же доме и в той же квартире до сих пор (написано в 2004 г.)...

Наступил первомайский праздник. Мне очень хотелось пригласить Майю погулять по вечерней празднично иллюминированной Москве, но я оробел и пошёл бродить по городу один. (Потом Майя рассказала мне, что тот вечер она провела дома, скучая и прислушиваясь к телефонным звонкам). Я робел ещё пару дней, потом решился, позвонил, и между нами с Майей началась дружба.

...Тогда мы, конечно, предвидеть не могли, но оказалось, что дружба эта действительно полноценная и — до глубокой старости. В течение прошедших немалых лет наши с Майей отношения становились то ближе, то дальше, сфера наших общих интересов то расширялась, то сужалась, моя и Майина жизни состояли из множества событий, более важных для каждого из нас, чем то, что оставалось между нами двумя, но из вида мы друг друга не теряли, и эта, иногда казавшаяся эфемерной, связь растянулась, меняя свои формы и суть, на всю мою жизнь...

Майя объявила Боре о его отставке, к чему он отнёсся на удивление беззлобно и не рассердился ни на Майю, ни на меня. Даже наше бегство от него в Парке, в котором мы ему через некоторое время признались, не вызвало его осуждения. Боря, естественно, каждый день виделся с Майей в школе, а со мной — по-прежнему время от времени гулял по Арбату и окрестностям.

В отличие от джентльменского и флегматичного поведения Бори, Майя пылко и неутомимо насмеялась над моей тоже отставленной подружкой Арой, выискивая у неё всё новые и новые — действительные и мнимые — недостатки и нелепые черты. Вообще ничего благонаправленного в Майе не было. Она вела себя и говорила необычайно искренне и свободно, совершенно не задумываясь (так, по крайней мере, казалось) над тем впечатлением, которое она производит на собеседников.

С первых же дней после нашего объяснения мы стали проводить с Майей все вечера и все выходные дни. Весна была в разгаре. Мы ездили гулять в Сокольники или в Парк Горького. Очень часто мы садились на пристани у Киевского вокзала в речной трамвайчик и доплывали — минуя на правом берегу Потылиху и на левом — Лужники, которые тогда были большим пустырем — до Парка Горького и продолжали прогулку там. Мы позволяли себе неслыханные по тем временам вольности: на улице или в парке я брал Майю под руку, а сидя рядом с ней на скамье речного трамвайчика, обнимал её за плечи. Почти одновременно с началом наших встреч Майя позвала меня к себе домой и познакомила со своими родителями. После этого к нашим прогулкам добавились встречи в её доме.

Отец Майи Михаил Юльевич Левидов был писателем, журналистом и драматургом. В 20-е годы он работал корреспондентом ТАСС в Лондоне и жил там с семьёй. В этом городе и родилась Майя, заполучив запись в паспорте, мешавшую ей многие годы. В 30-е Левидов вернулся в Москву, от политической публицистики отошёл, написал пьесу «Азорские острова», которую поставил Таиров. В предвоенные годы он написал и издал в серии «Жизнь замечательных людей» книгу о первых шахматных чемпионах мира Стейнице и Ласкере. Несколько лет он занимался творчеством Д. Свифта, и результатом этих занятий стала книга-эссе о жизни и творчестве этого классика.

Майина мать Белла Владимировна была мягкой и доброжелательной женщиной. Мне она ни разу не сказала ни одного недовольного слова. Она не работала, и её жизнь была полностью посвящена мужу и дочери. Как и Майя, Белла Владимировна была ниже среднего роста. Глядя на пожилую Беллу Владимировну (а ей было едва за сорок), я думал, что вот — наглядный будущий облик моей подруги в старости.

...Летом 2001-го года я виделся с Майей в Москве. Ей было уже под восемьдесят, но мне казалось, что Майя выглядит гораздо моложе, чем выглядела её мать в те наши детские годы. Я думаю, что то свидание было у нас последним...

Левидов был (трудно предположить иное) в оппозиции к власти. Эта оппозиция, разумеется, ограничивалась разговорами с очень узким кругом друзей, среди которых были Соломон Михоэлс, Александр Тышлер и другие деятели Еврейского театра. Дружил он с художником Робертом Фальком, вернувшимся в середине 30-х в Москву после долгого пребывания в Париже, . Было у него и ещё несколько друзей — в том же духе. Левидов проводил много времени в кафе гостиницы «Националь» и в кафе «Коктейль-холл» на Тверской (улице Горького). Встречаясь с друзьями в этих заведениях, он, человек саркастического и острого ума, возможно, иногда бдительность терял, забывая о стукачах и подслушивающих устройствах. Любви Майиной семьи к советской власти не существовало и то, что оба брата Михаила Юльевича — Александр и Рафаил — были арестованы. Фамилия братьев была Левит. «Левидов» был литературным псевдонимом

Михаила, превратившимся и в его гражданскую фамилию. Левидовыми стали его дочери: Инна от первого брака, и Майя — от второго.

...Александр, видимо, был уже тогда расстрелян, а Рафа своего возвращения дождался. В 55-м или 56-м году Майя меня с ним познакомила, и беседы с ним успели принести много приятных минут и мне, и моей первой жене Гале, и второй — Маше. Он, несмотря на то, что был болен тяжёлой формой туберкулёза, был оживлённым, увлекающимся и весёлым человеком. Он скончался весной 58-го...

Досье Михаила, несомненно, в органах имелось и развивалось. Но волна репрессий в какой-то момент поутихла, арест его миновал, власти держали его на свободе.

Я тоже познакомил Майю с моими родителями. Все друг другу понравились, но ко мне Майя приходила очень редко и, как правило, в моменты, когда моих родителей дома не было. Причина была в том, что вся наша семья жила в одной комнате. Когда приходила Майя, то общего разговора хватало на несколько минут, а потом нам оставалось шushукаться друг с дружкой в каком-нибудь углу комнаты. Майе это справедливо казалось странным и неловким. Она привыкла к другому: Левидовы жили в отдельной трёхкомнатной квартире, и у Майи была своя собственная комната. Когда я бывал у Майи, мы проводили большую часть времени в этой комнате вдвоём. Белла Владимировна заходила к нам очень редко, всегда давая знать о своём появлении, а Михаил Юльевич за всё то время, что я к Майе регулярно навещался, прервал нашу беседу один или два раза.

Мамина работа по обучению иностранных эмигрантов русскому языку продолжалась примерно до 36-го года, а потом мама снова повернула свои занятия на сто восемьдесят: она стала преподавать немецкий на каких-то курсах, а в 38-м поступила на кафедру иностранных языков Военно-политической Академии (ВПА) им. Ленина и стала обучать немецкому политкомиссаров Красной Армии.

...В ВПА мама работала до самой своей кончины в 1949 году и была, по-видимому, самой уважаемой преподавательницей на кафедре. Она не вступала ни в какие интриги и ни в какие коалиции. Слушатели, адъютанты и высшее начальство Академии очень её ценили, а правильной сказать — любили. Во время войны мне довелось пробыть несколько месяцев вместе с мамой, находившейся со своей родной Академией в эвакуации в городе Белебее. Там я мог со всей очевидностью убедиться в подлинности уважения и горячих чувств, которые испытывали к ней ученики, начальники и коллеги. После войны мама стала преподавать ещё и французский язык, извлечённый из гимназических запасов, хранившихся в глубине её памяти с юных лет. Их оказалось вполне достаточно, чтобы обучать военных политработников всех уровней...

В 1938-м году папа поступил на новую, хорошо оплачиваемую работу. Ему предложили заманчивую должность: заместитель начальника планового отдела Хозяйственного Управления ГУЛАГа НКВД! Эта должность была гораздо выше тех, которые он занимал до тех пор. Место его работы было на Кузнецком мосту — в том же здании, где была одиозная приёмная мрачного ведомства, в которой многочисленные родственники арестованных пытались узнать что-нибудь о судьбе их близких, порой уже погибших людей. Только в другом подъезде.

Ещё с ранних моих лет папа имел обыкновенное время от времени рассказывать мне истории, связанные с его работой. Обычно речь шла

не о существовании его профессиональной деятельности, а о взаимоотношениях с сослуживцами, начальниками и работниками других учреждений. Но всё же какие-то технические термины в его рассказах иногда по необходимости фигурировали, и папа по возможности их мне объяснял. Перейдя на работу в наводящее ужас секретное учреждение, папа эту практику продолжал.

Не знаю, был ли папа засекречен формально (как позже был засекречен я, попав после окончания университета на работу в «почтовый ящик») и не нарушал ли он свою подписку о неразглашении, рассказывая мне о текущих своих взаимоотношениях с людьми, с которыми сталкивалась его работа. По существу его сюжеты были безусловно несекретными. Хотя мрачная специфика была.

В большинстве папиных рассказов, относившихся и к прежним местам его работы, в качестве трудового ресурса, потребность в котором рассчитывалась по официальным методикам, выступали работники двух категорий. Первая — заключённые, которые на канцелярском служебном языке обозначались как «З/к» (произносилось — «зеки»); работники второй категории на канцелярском же языке назывались «вольнонаёмные», т. е. лица, пребывавшие на свободе и работавшие за деньги по найму. Наверное, в плановых процедурах ГУЛАГа процент З/к по отношению к проценту вольнонаёмных был гораздо выше, чем на стройках электростанций. Кроме трудовых ресурсов, плановый отдел ГУЛАГа планировал ещё денежные и материальные ресурсы на содержание охранников и других кадровых работников лагерей.

Папа, насколько мне помнится, ни разу не ездил в командировки непосредственно в места заключения. Ему и, возможно, другим служащим планового отдела ГУЛАГа, не приходило в голову, что их манипулирование даже просто на бумаге этими тысячами и десятками тысяч З/к является неотъемлемым атрибутом преступного режима и, следовательно, соучастием в его преступлениях.

Слушая папины производственные истории, я воспринимал мерзкую терминологию как чисто техническую. Мне, молодому дураку, не приходило в голову, что папины производственные термины неразрывно связаны с понятиями: «арест», «обыск», «тюрьма», «лагерь», «приёмная НКВД». А ведь об этих понятиях я стал узнавать до папиного поступления в плановый отдел ГУЛАГа — от моих друзей, чьи ближайшие родственники были репрессированы. В том не «производственном», а жизненном контексте я правильно воспринимал эти понятия как атрибуты тоталитарной власти, вызывавшей у меня уже тогда отвращение и страх.

Но после поступления папы в ГУЛАГ я стал молчаливо предполагать, что З/к, которые учитывались плановым отделом ГУЛАГа, были не политические, а уголовники, перевоспитывающиеся и благодарные своему лагерному начальству. Я думал, что политических держат в тюрьмах, и что их не так много, чтобы имело смысл использовать их на важных для государства тяжёлых работах вроде строительства Беломорканала. Я не знал тогда, что политических едва ли не больше уголовников, что их держат в трудовых лагерях, что там все З/к — и уголовники, и политические — перемешаны, и что среди папиных плановых З/к были, быть может, родители или близкие родственники моих друзей.

В папиных рассказах часто фигурировал начальник планового отдела ГУЛАГа Берензон (именно его заместителем был папа). Папа цитировал разумные и остроумные высказывания Берензона на их производственные

темы, его иронические ответы недалёким или недостаточно осведомлённым начальникам и коллегам, работавшим в других отделах и управлениях ГУЛАГа. Берензон был вхож к самому Берии.

Папина зарплата в ГУЛАГе была существенно выше предыдущей, были кое-какие довольно ощутительные льготы, но всё же до улучшения жилищных условий дело не дошло. Начальство ГУЛАГа не заботилось (или не имело таких возможностей) о том, чтобы вытаскивать своих достаточно ответственных работников, хранителей тайн из среды простых ненадёжных граждан, населявших коммуналки.

Как-то выходным днём в мае 38-го года для сотрудников планового отдела и членов их семей была устроена экскурсия на канал «Москва—Волга», строительство которого подходило тогда к концу. Поехал и папа, взяв меня. Экскурсантов было человек двадцать. Выехали мы утром. Для нас был подан грузовик, кузов которого был оборудован поперечными досками-скамьями. Других способов транспортировки групп людей тогда практически не было. Автобусы использовались только на городских линиях.

Нас повезли в район Икшинского водохранилища. Грузовик ехал быстро, нас качало и обдувало ветром. Те, кто сидели рядом с бортами грузовика, рисковали при толчках вывалиться наружу и поэтому время от времени хватались за соседей и вцеплялись в борта. Раздавался визг, но всем было весело и вольготно.

Руководитель нашей экскурсии был человек бывалый. Он стоял лицом к своей команде, упёршись спиной в кабину грузовика, и стимулировал нас петь песни. Большинство песен мы знали: «Утро красит нежным светом...», «Там вдали за рекой...», «Легко на сердце...». Затейник разучил с нами и новую для меня песню. Я из неё помню немного:

На газонах центрального парка
Днём и ночью цветёт резеда.
Можно галстук носить очень яркий
И быть в шахте героем труда.
Как же так? — Резеда,
И — героем труда?
Почему? — Объясните вы мне!
Потому что сейчас
Каждый молод у нас
В нашей юной прекрасной стране!

Все другие куплеты строились по этой же схеме: кратко излагается якобы парадоксальная ситуация; далее, вопрос — чем объяснить? И — стандартное и горделивое объяснение: ситуация вовсе не парадоксальная, а — с учётом законов нового прекрасного общества — очень даже логичная. Например, вот заключительная часть другого куплета (его начала я не запомнил):

.
Можно быть знаменитым учёным
И играть с пионером в лапту.
Как же так? (ту-ту-ту)
С пионером — в лапту?
Почему? — Объясните вы мне!
Потому что сейчас каждый молод у нас
В нашей юной прекрасной стране!

Вот в какой замечательной стране мы живём: только в ней на каждом шагу встречаются несоединимые — но лишь на устарелый взгляд, а на самом деле — полные истинной логики и красоты соединения. В какой-нибудь Англии шахтёр галстук не наденет никогда, да и учёный с мальчиком бойскаутом играть в лапту побрезгует.

Так с песнями мы доехали до сооружений канала, постояли над шлюзом и выслушали технические комментарии. Мы только издали видели немногочисленные группы работавших. Надо полагать — заключённых. Внимание экскурсантов на них не фиксировалось. Потом на какой-то лужайке мы съели взятые из дому завтраки и двинулись — так же с песнями — в обратный путь.

Наступил дачный сезон, и надо было нам с Майей расставаться. Майя уезжала в писательский дом творчества в Коктебеле, а мы с мамой отправились снова в пароходное путешествие. На этот раз — по маршруту «Москва—Астрахань». Новыми в этот раз были Саратов, Сталинград и Астрахань. Мы их посмотрели мельком, и сильного следа в памяти они не оставили.

Но осталась в памяти неожиданная и приятная встреча. Наш пароход прибыл в один из волжских городов. Тогдашние причалы не были приспособлены к швартовке сразу двух больших речных пароходов. Когда мы подходили к причалу, выяснилось (возможно, это было предусмотрено и расписанием), что один пароход уже пришвартован. Поэтому мы пришвартовались к нему. Между судами были переброшены мостки, и мы стали выходить на берег через нижнюю палубу судна, к борту которого мы пристали. И вот в этом другом пароходе я столкнулся с Павлом Ивановичем Семечкиным — моим соседом по койке в клинике Тёмкина. Я узнал его сразу по его размерам и громкому хохоту, который был обращён к его собеседникам.

Я бросился к нему. Он радушно со мной поздоровался, но разговора не поддержал, а тут же вернулся к своим спутникам. Возможно, он наши тогдашние общие радости запомнил. Я был рад, что мои плохие опасения не оправдались, что Павел Иванович жив и оживлён. Больше меня судьба с этим милым человеком не сводила.

На обратном пути мы, не доезжая до Москвы, покинули пароход на пристани Елатьма — это в тех краях, где Касимов и Муром. Там мама сняла комнату, к нам присоединилась приехавшая из Москвы Бабуся, и таким манером мы завершили лето, прожив в Елатьме более месяца. Там была городская библиотека, и я много читал — классиков и научно-популярной литературы. В частности, я прочитал книгу о Циолковском и о его идеях и прикоснулся таким образом к проблемам космических полётов.

...Не было тогда мне дано знать, что через четверть века судьба придвинет меня к этим проблемам совсем близко, сделав меня сотрудником Генерального Конструктора Челомея...

ГЛАВА 8

Восьмой класс. Гуманитарные позиции Майи Левидовой. Герман Карлович. Мои обеды. Майя приобщает меня к искусству. Конкурс дирижёров. Залманзоны. Несколько свидетельств очевидцев: о лучах его превосходительства Рентгена, о незаметной Октябрьской революции, о дебюте Сталина в роли генсека. Женя Веллер. Новый 1939 г. Футбол. Лето в Святошине. Юра и Юра. Бригада Маяковского. Новый 1940 г. Зимние каникулы в Звенигороде. Эдино письмо. О поэзии Маяковского. Зигзаги вкусов Майи. Жизнь Бригады. Лёня Большаков. Н. Асеев. Вечер в Политехническом. Клуб НКВД. Его члены соглашались, что человек звучит гордо. Асеев в клубе НКВД. В. Перцов. В. Яхонтов. Французская поэзия. Снова Женя Агранович.

Кончилось лето и начались занятия в школе. Это был уже мой восьмой класс, а Майин — девятый. Наши встречи у неё дома и прогулки по паркам и улицам Москвы продолжились. Майя с присущей ей живостью речи рассказывала мне о привилегированном писательском обществе в Коктебеле. В частности, она рассказывала о том, как насмешливо тамошняя компания отзывалась о творчестве становящегося известным поэта Сергея Острового. Дети из кустов пели проходившему мимо поэту песню, написанную на его слова, но слова несколько переиначивали, и получалось так:

Встань казачка на карачки у плетня,
Проводи меня до солнышка в поход.

Чрезвычайно независимый ум Майи освещал многие привычные для меня представления с новой стороны. Она решительно отрицала какой-либо смысл в политэкономических и философских марксистских догмах. А я тогда считал их научными истинами и не возлагал на них ответственности за преступления одиозного сталинского режима. Возможно, Майя понабралась вольнодумства у отца, хотя на мои высказывавшиеся вслух предположения такого рода, Майя отвечала уклончиво и говорила, что её отец положения марксизма, конечно, разделяет.

Героев романа Чернышевского «Что делать», которые я, увлечённый личностью автора и его судьбой и подталкиваемый официальным литературоведением, считал идеальными людьми новой формации, Майя считала ненатуральными лицемерами. Прошло два—три года, и я понял, что права была Майя, а не я. Майя была начитаннее меня. Именно под влиянием Майи я прочитал Бокаччо. Предварительно она пересказала мне несколько весьма фривольных новелл, не слишком удаляясь от оригинала. Делая это, Майя легко преодолевала некоторые нормы скромности речи, которых вроде должна была придерживаться юная девушка тех времён в разговорах со своим сверстником противоположного пола.

Майя очень любила Фейхтвангера. Ей нравились слегка циничные, умные, чувственные, жизнелюбивые — доброжелательные или злонамеренные — персонажи. Позже я увидел их некоторое однообразие: автор переносил их из романа в роман и из эпохи в эпоху. Но тогда я этого

однообразия не замечал и стал вслед за Майей упиваться «Иудейской войной», «Безобразной герцогиней», «Евреем Зюссом», «Семьёй Оппенгейм», «Успехом».

Стремясь сократить дистанцию между мной и Майей, я стал читать Анатоля Франса, Бернарда Шоу, Оскара Уайльда, Марселя Пруста и Кнута Гамсуна. По счастью, моё тогдашнее относительное литературное невежество не оттолкнуло Майю от меня, и наша дружба не ослабевала.

Совершенно исключительную роль в моей жизни сыграл появившийся у нас в восьмом классе учитель математики Герман Карлович Гилле. Хотя мой друг Эдя был к точным наукам равнодушен, обаяние этого преподавателя покорило и его. Герман Карлович вёл наш класс дважды — в восьмом классе 58-й школы и в десятом, когда мы с Леной уже учились в 73-й школе, а Эдя — в Гнесинском училище.

С моим взрослением мама постепенно от услуг домработниц отказывалась. Сперва у нас не стало живущих домработниц. Лет с двенадцати я покупал многие продукты. Обед, приготовленный мамой, мне долгое время разогревала соседка Елизавета Александровна. Посуду я научился мыть сам. После того, как я перевалил пятнадцатилетний возраст, мама от посторонней помощи отказалась. Впрочем, для стирки приглашались Александра Матвеевна или другие женщины из нашего же дома. Многие мои вещи я гладил утюгом сам.

Бывали периоды, когда маме было невозможно обеспечивать меня ежедневным обедом. Она и папа могли обедать на работе, и затевать кухонную возню ради одного меня смысла явно не было. Проблему решили так. Мама давала мне деньги, и я должен был пообедать до школы (в восьмом классе мы занимались во второй смене) в какой-нибудь столовой на Арбате. Денег, которые давала мне мама, хватало на вполне приличный обед, включающий, скажем, суп, ромштекс, компот. Обычно я обедал в скромном кафе (но с официантами), находившемся напротив диететического магазина, рядом с фотографией Нипельбаума. Позже оно стало называться «Ленинградское». Часто я ходил в весьма простую столовую, которая находилась на чётной стороне Арбата рядом с букинистическим магазином.

Случалось, однако, что я от привычной схемы отходил. Я отправлялся в кафе, находившееся в нашем доме на углу Арбата и Калошина переулка. Дверь с улицы вела в кондитерский магазинчик, а из него можно было попасть в находившееся за занавеской заднее помещение с тремя или четырьмя столиками. Это и было кафе. Там можно было заказать чай или кофе с теми сладостями, которые продавались в магазинчике. Но — не только чай и сладости подавали в кафе. На имевшиеся у меня деньги я заказывал себе сосиски и бутылку пива. Один раз мама зашла в это кафе купить пирожные в дом и через случайно отёрнувшуюся занавеску увидела своего пятнадцатилетнего сына, получавшего кайф неадекватным его возрасту и её представлениям о добропорядочном поведении мальчиков моих лет способом. Был неприятный разговор, но схема моих обедов не изменилась: других возможностей обеспечивать меня обедом у мамы не было. Не было у неё и возможностей контролировать мои зигзаги.

Бывало и так, что у меня скапливалась такая сумма, что я мог пойти в грузинский ресторан «Риони», который находился и находится в доме 43 на Арбате (опять этот дом!). Официант приносил мне харчо или бозбаш, чахохбили и стакан сухого или полусухого вина. Пообедав таким манером, я шёл в школу.

Папа покупал вино и в дом. Поэтому в сортах вин я разбирался. Один раз в этой арбатской пашлыгчной обедал за соседними сдвинутыми столиками тогдашний герой-полярник Иван Папанин с большой компанией собутыльников.

Майя была способной к рисованию девочкой и приватно училась у крупного графика А. Кравченко. Два раза в неделю я провожал Майю по вечерам в Чистый переулок, где располагалась мастерская её учителя. Там же, кажется, была и его квартира. Майя старалась развивать мой вкус не только в области литературы, но и в области изобразительного искусства. Она под влиянием своего учителя и, возможно, родителей, была поклонницей новой французской школы. Поэтому она стала регулярно водить меня в Музей Нового Западного Искусства, который находился на Пречистенке (Кропоткинской). Там она объясняла мне прямо около картин, чем хороши Ренуар, Сезанн, Ван-Гог, Гоген.

Остановившись около «Обнажённой» Ренуара, Майя в течение нескольких минут, тыча пальцем в разные части спины изображённой на этой картине сидящей модели, растолковывала мне, почему для того или иного пятна выбран именно этот цвет, как гармонично целое и как прекрасна картина. Один раз мы были на временно организованной выставке графического творчества Мазереля.

...Несколько лет спустя, на развалинах борьбы с космополитизмом и преклонением перед Западом, в помещениях этого музея устроили выставочные залы Академии Художеств СССР, а экспозицию Музея Западного Искусства упрятали в запасники. Вскоре после смерти Сталина новую французскую живопись реабилитировали, но Музей Нового Западного Искусства, к сожалению, не восстановили. Его фонды были распределены между Музеем Изобразительных Искусств в Москве и Ленинградским Эрмитажем, но эти музеи не могли выставить всего, чем располагал когда-то тот замечательный музей на Кропоткинской...

Под влиянием Майи и её наглядных уроков во мне стали просыпаться интерес к задачам живописи и к качеству их выполнения. Я стал разборчивее относиться к русской живописи и стал — вслед за Майей — делать разницу между Айвазовским и Куинджи с одной стороны, которых Майя поносила на все корки, и Федотовым, Ге, Васильевым, Коровинными и Серовым, которых Майя считала настоящими художниками. Сперва, вырабатывая свой вкус, я просто слепо поверил в авторитет Майи, но позже стал понимать её взгляды более осмысленно.

Таким образом, Майя не только оказалась одним из нескольких людей, формировавших моё мировоззрение и мои литературные вкусы. Она была главным человеком, повлиявшим в мои юношеские годы на мои вкусы в области изобразительных искусств.

Когда мы с Эдей учились в восьмом классе (думаю, что это было осенью 38-го), в Москве проходил конкурс дирижёров. Эдя в этот год был учеником последнего класса гнесинской школы. Конкурс был для него исключительным событием. Эдя, пока длился первый тур конкурса, фактически перестал ходить в школу и просиживал часами в полупустом Большом Зале Московской Консерватории, где этот тур проходил, и куда можно было войти свободно.

Эдя позвал меня с собой, и я стал ходить с ним туда ежедневно. Обычно мы ходили вместе. Но иногда Эдя бывал занят в музыкальной школе, и тогда я ходил один. Выступления конкурсантов проходили с утра до вечера. Поначалу мне понравился такой интеллигентный повод прогуливать школу, но потом я увлёкся самим этим не известным мне до тех пор процессом. Эдя, конечно, воспринимал всё происходившее совершенно профессионально.

А происходило вот что. Каждый конкурент должен был в первом туре репетировать с оркестром на глазах у жюри в течение заданного времени — что-то вроде полутора часов. Среди разучиваемых сочинений было

по крайней мере два, как мне это помнится, обязательных: увертюра Чайковского «Ромео и Джульетта» и первая часть его же скрипичного концерта. Таким образом, эти два сочинения за те несколько дней, отведённых на первый тур, прозвучали в Большом зале в процессе работы разных дирижёров с оркестром много раз подряд. А тут ещё каждый дирижёр проходил каждый фрагмент до тех пор, пока не добивался от оркестра выполнения своего замысла.

Для меня открылся новый мир человеческой деятельности. Наблюдение за общением дирижёра с оркестром в репетиционный период меня завораживало. В музыкальном существе разворачивавшихся передо мной сцен я мало чего понимал. К тому моменту я — ещё со времён прослушивания классических пластинок на солянском патефоне — уже успел полюбить классическую музыку и даже многие сочинения помнил. Но я был музыкально абсолютно безграмотен, и меня очаровывала загадочность тех задач, которые ставил перед оркестром дирижёр, и настойчивость, с которой он старался передать оркестрантам свою цель и способы её достижения. Эдя чувствовал себя полностью в своей тарелке, следил за действиями очередного дирижёра по партитуре и, разумеется, проникал в смысл этих действий глубоко.

Я уже забыл, как проводился второй тур конкурса. Кажется, это были уже «чистовые» выступления перед жюри и публикой дирижёров, прошедших на этот тур. На втором туре исполнялись симфонические произведения, которые конкуренты выбирали по своему усмотрению. Третий тур, участники которого — Мравинский, Мелик-Пашаев, Иванов, Рахлин и Элиасберг — уже были лауреатами конкурса, проходил в форме платных вечерних концертов. В этом туре определялись места, занятые лауреатами. Эдя на какие-то из этих концертов попал, а я — нет.

Наши с Эдей прогулы обнаружили не сразу. Я думаю, что их истинную причину знали только Лена Залманзон и Ара Смирнова. Дней десять учителя нашему отсутствию значения не придавали, считая, наверное, что мы больны. Такие многодневные пропуски учебных дней были им привычны. Но когда каким-то образом выяснилось, что мы во всё время нашей неявки в школу были здоровехоньки, скандал был грандиозным — с вызовом родителей к директору и со снижением четвертной отметки «по дисциплине» (прежнее «по поведению» вернулось в школьный лексикон лишь спустя несколько лет).

Много времени и я, и Эдя проводили в 29-й квартире у Лены Залманзон. В эти годы — последние тридцатые и первые полтора сороковых — отец Лены Семён Наумович занимал довольно крупный пост. Он был главным санитарным врачом архитектурного управления Моссовета, и через его инспекцию проходили все архитектурные проекты, относящиеся к Москве.

А тогда было много помпёзныхстроек: осуществлялся «Генеральный план реконструкции Москвы». Началось жилищное строительство в промышленных районах города — вокруг Автозавода им. Сталина, Шарикоподшипника, Велозавода. В Центре началось строительство домов «сталинского» стиля (на ул. Горького, на Можайском и на Ленинградском шоссе), павильонов ВСХВ, станций метро.

Несмотря на свой пост — прямо в эпицентре процессов городского строительства — Заслуженный Врач Республики Залманзон отдельной квартиры всё никак заслужить не мог и по-прежнему проживал с женой, свояченицей и взрослеющей дочерью в одной, правда большой, комнате коммунальной квартиры.

Семён Наумович завершил своё медицинское образование в Мюнхене ещё до первой мировой войны. Вот один из его рассказов, слышанных мною от него в описываемый период моей жизни. Ему как-то пришлось сдавать экзамен по физике профессору тамошнего университета. А этим профессором был знаменитый Рентген. За открытие X-лучей (как их называли в первые после их открытия годы) Рентген получил от Кайзера какой-то высокий титул. Что-то вроде тайного советника. Этим титулом Рентген дорожил, и служащие факультета предупреждали студентов, что они в своих обращениях к нему не должны забывать его титула. Более того. Если на экзамене студенту достанется вопрос по теме «X-лучи», то в своём ответе профессору он должен называть их лишь так: «Die Strahlen Ihrer Exzellenz», т. е. «Лучи Вашего Превосходительства».

...Вспоминая о том, как знакомство с Семёном Наумовичем сблизило меня (хоть и не непосредственно, но всё же через только одного моего живого знакомого) с легендарным Рентгеном, я хочу присоединить к этому воспоминанию два других, объединённых с предыдущим лишь ощутительностью связи (тоже не непосредственной, но тоже через только одного живого человека) с довольно далёкими и значимыми событиями.

В 1979 г. я после тяжёлого воспаления лёгких проходил реабилитацию в загородном отделении больницы Академии Наук в Успенском под Москвой. Я жил в одной комнате с восьмидесятилетним профессором-геологом из Новочеркасска, по фамилии (как мне запомнилось) Гак. Профессор много чего мне порассказал о себе. Ограничусь одним его воспоминанием.

Гак был из немецкой семьи, испокон веков осевшей в России. Детство и юность его прошли в Санкт-Петербурге. Он окончил немецкую гимназию Peter-Paul Schule. Февральскую Революцию Гак встретил семнадцатилетним юношей. Политические события его занимали мало. Он жил на Петроградской стороне. Вечером 24-го октября 1917-го он с приятелем вышел пройтись — захотелось погулять на Дворцовой площади. Они дошли до Биржи. Но через Дворцовый мост им пройти не разрешили матросские патрули. Без объяснения причин. Смеркалось. Прохожие, остановленные матросами, расходились не сразу. Некоторые приближались к перилам и глядели в сторону Николаевского моста. Их внимание привлекал еле видневшийся в сумерках силуэт корабля, который из залива вошёл в Неву.

Гак вернулся домой. Всю ночь он проспал спокойно и только на следующий день услышал о большевистском перевороте. Гак утверждал, что в таком же неведении относительно ночных событий пребывало утром исторического дня большинство жителей Петрограда. Исключение составляли участники событий и близкие к ним люди — т. е. от силы несколько десятков тысяч. Даже легендарный выстрел из орудия «Авроры» никого в Петрограде не разбудил. Потом многие годы десяткам миллионов спать не давал.

А вот ещё одно прикосновение к истории через одного. Машин отец был знаком с врачом фтизиатром Фридой Максимовной Мандельштам. Знакомство это возникло ещё в Могилёве и продолжалось в Москве, куда Фрида переехала вскоре после установления советской власти. Она стала женой видного большевика Льва Марьясина, о котором я упоминал выше.

Фрида прожила с Марьясиным совсем мало. В начале двадцатых она с ним развелась. До и некоторое время после брака с Марьясиным Фрида работала в высших партийных учреждениях. Правда, лишь на скромных канцелярских должностях. Одно время она служила в Московском Городском комитете ВКП(б), к которому была приписана партийная верхушка.

В её обязанности входило получать партвзносы. Получала она их и от Ленина. Он платил взносы аккуратно и был с Фридой, по её словам, вполне любезен.

Потом Фриду перевели в аппарат Генерального секретаря партии. Она начала эту работу при предшественнике Сталина на этом посту. Этот пост тогда не считался слишком важным; кажется, его по совместительству с более ответственной должностью занимал кто-то из будущих оппозиционеров. В имеющихся у меня энциклопедиях я фамилии того ничем не отметившего себя генсека не нашёл.

Сотрудники аппарата обычно входили в кабинет генсека с подготовленными документами и лично ему их передавали. В какой-то момент был избран новый генсек — Сталин. Барышням из аппарата не терпелось узнать, каковы манеры нового начальника. Утром первого дня его появления они подобрали пачку бумаг, и одна из барышень двинулась в качестве разведчицы в кабинет. Другие столпились у дверей. Первая неожиданность состояла в том, что дверь была заперта изнутри. Разведчица растерянно постучалась. Через мгновение дверь приоткрылась. За ней стоял мужчина, но это был не Сталин, которого им приходилось видеть и раньше. Разобравшись, в чём дело, он взял бумаги, ушёл, заперев за собой дверь, а через некоторое время вернул бумаги с резолюциями Сталина.

Вскоре Фрида ушла с партийной работы и поступила учиться на медицинский факультет. Она вышла замуж вторично — тоже за видного партийного работника члена ЦК Александра Николаевича Соколова. В 1926-м году у них родилась дочка Сашенька, а через год муж Фриды умер от туберкулёза. Вот таким страшным образом судьба уберегла его от ещё более страшной гибели. С этого момента доктор Мандельштам посвятила свою врачебную деятельность лечению туберкулёзных больных.

Маша дружила с Сашей Соколовой с детства, дружила, естественно, и с её матерью Фридой Мандельштам. После моей женитьбы на Маше и особенно после рождения нашей дочери Кати, которая была чуть моложе дочки Саши Соколовой Оли, сблизился с Фридой и с Сашей и я. Таким манером и узнал рассказанное выше...

У Лены в этой комнате — сразу за дверью, слева — был маленький закуток, отделённый от остального пространства комнаты ширмой, и в этом закутке собирались Ленины друзья — Ара Смирнова, Рита Добкина, Искра Мурштейн, Нина Гольдберг и мы с Эдей. Иногда частями, а иногда — и все вместе сразу. Мы продолжали нашу болтовню и после того, как с работы возвращались взрослые, и начиналась вечерняя семейная жизнь. На столе возникала какая-то еда (на том же столе могли лежать газеты, журналы и книжки). Мы не чувствовали себя лишними, а взрослые никогда не давали нам понять, что присутствие нескольких чужих детей в одной с ними комнате мешает им нормально отдыхать и жить своей жизнью.

Не исключаю, что взрослые не намекали нам на то, что пора и честь знать, не только из деликатности, но и потому, что у них самих чувство всей неуместности нашего затянувшегося присутствия было притуплено. Взрослые не только нас терпели, но и охотно вступали с нами в разговоры. Когда я стал постарше, Семён Наумович рассказывал мне или нам о сущности и о ходе его профессиональных или ведомственных конфликтов с архитекторами или строителями на каких-то очередных заседаниях и о победе отстаиваемых им позиций. В одном из таких разговоров Семён Наумович и рассказал мне о своей встрече с Рентгеном.

Но не только наша детская компания ошивалась в комнате у Залманзонов. К концу тридцатых в 29-ю квартиру — самостоятельно или с кем-

нибудь из старших — спускалась по чёрной лестнице из своей 20-й маленькая Эдина сестра Машенька. У неё в 29-й была своя подружка и сверстница Женя Веллер. Женя жила в крохотной комнате со своей мамой Еленой Лазаревой. Часто этим маленьким девочкам надоедало играть в маленькой Жениной комнате, и они забредали в ту же гостеприимную Залманзоновскую комнату — особенно, если знали, что у Лены находится кто-нибудь из нас, старших, которые почти всегда были снисходительно готовы с малышками поболтать и поиграть.

Я с Женей познакомился раньше, чем с ней познакомилась Маша, потому что Женя, живя в одной квартире с Залманзонами, заползала к ним ещё до того, как в эту квартиру начала спускаться Маша. И я, двенадцати- или тринадцатилетний мальчик, играл с Женей в лошадки, сажая её верхом к себе на колени и подбрасывая с прицокиваниями.

...Маша и Женя проучились вместе с третьего по десятый в одном классе одной школы (первые два класса каждая девочка училась, будучи в эвакуации) и остались близкими подругами на всю жизнь. Мы с Машей много лет тесно дружили с Женей семьями. Теперь Женя и её взрослая дочь живут в Штатах, мы с Машей интенсивно переписываемся с ней и иногда говорим по телефону. По разу и Маша, и я (по отдельности) ездили к Жене в Штаты, а летом девяносто восьмого все встретились в Москве. Напрактиковавшись игре в лошадки с Женей, я играл в лошадки, внося в эту игру небольшие усовершенствования, со всеми моими постепенно рождавшимися и подраставшими детьми и почти со всеми внуками. Почти — потому что некоторые мои внуки от первого брака выросли уже далеко от меня. Это же полностью относится ко всем моим правнукам...

В годы работы в ГУЛАГе папа пристрастился к футбольным матчам на тогда ещё новом, бывшем в диковинку, стадионе «Динамо». Билеты на футбольные матчи и другие спортивные встречи и праздники, проходившие на этом стадионе, купить в кассах стадиона было очень трудно. Но этот стадион (как и само спортивное общество «Динамо») числился за НКВД, и поэтому в клубе и в учреждениях этого ведомства билеты на зрелища, проводимые на «Динамо», можно было покупать вполне свободно.

Из многочисленных видов шоу, практиковавшихся в капстранах, Советская власть отбирала для употребления в социалистическом мире далеко не всё, а с большой оглядкой. Зрелища, уместные для кабаре — например, легкомысленные, с сексуальными намёками танцы (не говоря уже о стриптизе!), были режимом отвергнуты с порога. Непонятно, впрочем, почему именно жанр кабаре власть сразу объявила враждебным марксизму-ленинизму и мешающим построению социализма в одной стране? Жанр этот на марксизм, вроде, не покушался.

С другой стороны, надо было как-то развлекать те девяносто процентов населения, которые не интересовались ни театром, ни живописью, ни классической музыкой. Надо было придумывать или выбирать те способы развлечения, которые потреблялись бы коллективно, стирая индивидуальные восприятия. Ипподром требовал для полноценного участия денег и был доступен сравнительно немногим. Кино содержало в себе некоторые необходимые атрибуты развлекателя масс и запудривания их мозгов, и власти, следуя знаменитому высказыванию Ленина о «наиважнейшем для нас» искусстве, развитию кинематографии способствовали.

Но всё таки, из западного арсенала был выбран ещё более «наиважнейший для нас» тип зрелищ: спортивные зрелища, и в первую очередь — футбол. Футбол не несёт никакой идеологии, и эту пустоту легко заполняют общие чувства толпы: жажда удачи своей команды, гордость при

её победе (а если матч международный, то и гордость за Родину), сопереживание при поражениях, нехитрые и доступные всем эстетические удовольствия от удачных пасовок и забитых голов. Многочисленные моменты игры дают зрителям и материал для самовыражения, и полную свободу в его способах: можно бить в ладоши, орать «Судью на мыло!», «Лёха, не тяни, бей по воротам!», сквернословить. И это — на фоне ограничений на возможности самовыражения в других сферах, которые диктаторская власть наложила категорически и сурово.

На рыночном западе спортивные зрелища заняли своё место в жизни толпы по рыночным законам: небольшое стихийное предложение нашло спрос; спрос родил уже лучше подготовленное и лучше поданное предложение и т. д. А советская власть действовала в её духе — целеустремлённо и по плану.. Она очень верно рассчитала, что ведь без возможности самовыражения личность чувствует себя в дискомфорте, и надо всеми силами отвлечь её от поисков возможности самовыражаться где ни попадая, в неподконтрольных властям сферах. Пусть шумят и беснуются без затей — на трибунах стадионов и у пивных ларьков.

Есть и другая сторона. Футбол и другие спортивные зрелища приняты во всех странах. Развитие футбола в СССР дало властям, как им казалось, возможность парировать упреки за установление железного занавеса. Нету железного занавеса. Советская власть демонстрировала, что она и не собиралась отвергать всё капиталистическое. Да, для неё, действительно, неприемлемы стриптиз или вседозволенность высказываний и критиканства, расцветающая под предлогом свободы слова, но всё полезное властью приемлется. На примере спорта можно убедиться, что никакого железного занавеса вовсе нет. Пожалуйста: новое общество хочет и может стать равноправным участником мирового спортивного процесса — и с помощью своих первоклассных спортсменов, и с помощью своих болельщиков, которые неистовствуют не хуже западных и в выражении своих чувств — совершенно свободно. Где ж пресловутая несвобода советского общества?! Несколько раз папа увлекал меня на стадион, но я болельщиком не стал — ни тогда, ни позже.

...Уже во взрослом возрасте мне трудно бывало даже в моей собственной научной среде отстаивать своё равнодушие к спортивным зрелищам. Было широко известно, что страстным болельщиком футбола является Шостакович, а почитателем хоккея — уважаемый всеми академик-секретарь Отделения Экономики Академии Наук Шаталин. Я их понять не мог, и червячок недоверия к искренности их увлечения меня гложет. Много лет назад Леонид Иваненко, мой друг по учёной части из Института Кибернетики Украины, демонстративный обожатель футбола, аргументировал своё пристрастие тем, что за тайм игры футболисты своими ногами создают больше информации, чем имеется в «Войне и Мире» Толстого. Мой собеседник имел в виду формулу, переносящую понятие и способ измерения энтропии на методы измерения количества информации, успешно используемую в теории и в технике связи. Я озадачил этого обожателя информации вопросом о сравнении качества возникающей во время матча информации с ценностью информации, которую человечество извлекло из «Войны и мира». Даже если предположить, что значение функции Шеннона для количества информации, применённой для футбола, выше, чем для романа Толстого, то надо взять во внимание, что фигурирующие в этой функции Шеннона вероятности имеют разный смысл. Для футбола это вероятности кренделей ногами в течение матча, а для романа — вероятности появлений слов, мыслей и образов в тексте...

Несмотря, на то, что мои родители работали в эпицентрах сфер власти: коммунистической диктатуры (ГУЛАГ) и коммунистической доктрины (ВПА им. Ленина), ни один из них членом партии не был, и предложений вступить в неё (во всяком случае, настоячивых) не получал. Беспартийность родителей объяснялась не их оппозиционностью к власти и к идеологии. Отношение родителей к этим предметам уместнее было бы обозначить как уважение к порядку, наряду с нежеланием заниматься его устройством. По существу, к этой материи родители были равнодушны. Да и передо мной они на идеологические темы не распинаялись, а скорее — помалкивали. Мама осталась беспартийной до конца жизни, а папа вступил в партию только на фронте, когда получил офицерский чин.

Наступала встреча Нового 1939-го года. Мои родители уходили встречать его на Солянку, а мне разрешили пригласить компанию к себе. Ёлки мы, конечно, не устраивали. Я позвал Эдю, Натана и Майю. Почему не было Тамары, я не помню. Скорее всего, мать увезла её на зимние каникулы куда-нибудь из Москвы.

Я купил бутылку коньяку и бутылку кахетинского. Тогда это были посильные деньги. Мама перед уходом приготовила что-то вдобавок к шпротам, сыру и колбасе. Мы сидели, болтали, немного выпили за Новый Год (оказавшийся проклятым годом пакта Молотова—Риббентропа), молодые люди отправились по своим квартирам на разные этажи нашего дома, а я проводил мою даму в её дом 20.

В конце восьмого класса занятия с мадмуазель Жюли стали мне неинтересны. Я пытался разобраться во французской литературе, знания Жюли в этой области были очень ограничены. Мама отнеслась к моим запросам с пониманием и нашла мне другую учительницу — пожилую русскую и очень культурную даму. Я ходил на уроки к ней домой в Чистый переулок. О занятиях с ней я расскажу чуть ниже.

Девятый класс, в котором училась Майя, стал для неё последними школьным годом. Она решила поступать в Московское Государственное Училище им. 1905-го года. Кто толкнул её на этот странный (в свете её художественных вкусов) шаг, я не знаю. Может, ей самой надоела школа с её математикой, и она захотела стать студенткой художественного учебного заведения любой ценой: для поступления в Суриковский институт ей надо было бы окончить десять классов.

Я сейчас не помню всей технологии поступления. Но почему-то Майя уехала на летний отдых, не закончив всех формальностей. В частности, она попросила меня, чтобы я — уже после её отъезда — свёз в приёмную комиссии её живописные работы, которые она оставила у себя дома, связав холсты на подрамниках в весьма объёмистую пачку. Я добросовестно отвёз всё, что было надо в Училище на Сретенку.

У мамы появился план: провести лето 1939-го года — я переходил из восьмого в девятый — в Святошине под Киевом. В этом плане главным было — встреча и длительное совместное проживание двух ветвей маминой семьи: одна ветвь — мама со мной, а вторая — Оксманы: Тётя Катя с Юрой и её двухлетней дочкой. Да, к этому моменту Юра успела побывать — очень недолго — замужем, и у неё от этого брака появилась дочка Машенька.

Очень вероятно, что инициатором совместного отдыха был Дядя Гриша. Он и его жена Тётя Броня были очень родственными людьми, входили в дела семьи, продолжали очень любить мою маму, любили меня. А план предполагал не только наше тесное общение с Оксманами, но и свидания и сближение Московской и Ленинградской ветвей с Киевской ветвью

Барштейнов. Родственный летний план был реализован, и мы с мамой прожили лето в Святошине вместе с Тётёй Катей, Юрой и Машенькой. Мы жили в довольно удобном доме, среди симпатичной украинской природы. Купанья, впрочем, там не было. Тогда от Киева до Святошина ходил городской трамвай № 5. Он начинал свой путь с какого-то центрального места Киева, проезжал мимо Еврейского Базара («Евбаза»), потом — мимо завода «Большевик» и — устремлялся через дачные места к Святошину.

Я очень полюбил Тётю Катю — мудрую и добрую еврейскую женщину. Прилепился я и к Юре — не очень мудрой, но доброй, весьма красивой и языкатой. Она за год до того кончила исторический факультет ЛГУ, и преподавала историю в оптико-механическом техникуме. Недолго мужа Юры звали Сергей Эйзенштейн. Он был племянником известного режиссёра и Юриным сокурсником. По словам Юры, она рассталась с Сергеем по причине его непрекращающихся измен.

Надо сказать, что за те несколько месяцев, что Сергей прожил с Юрой, Тётя Катя зятя полюбила и зауважала. Особенную симпатию у неё вызывала его необычная манера: он ел один раз в день. Очень много, но один раз. Тётя Катя трактовала эту привычку как проявление мужественности, а кроме того, эта привычка облегчала Тётю Кате технологию прокормления зятя, что в те времена было немаловажно.

Юра, будучи старше меня на шесть лет, держала меня за равного, была со мной очень откровенна на темы её личной жизни и вникала в подробности моей. Это уважительное отношение Юры ко мне только увеличивало мою симпатию и привязанность к ней. Сближали нас и общие культурные интересы и политические взгляды. В последние дни нашего пребывания в Святошине мир узнал о пакте с Гитлером. Мы с Юрой оба были от этого известия в отчаянии...

В те же времена я познакомился с Юрой Барштейном. Он был студентом последнего курса Киевского медицинского института, и на лето устроился врачом в пионерлагерь, который располагался тоже в Святошине, на той же линии трамвая 5, но на пару остановок ближе к Киеву. Мы жили около последней.

Мы езживали также большой молодой компанией погулять в Киев. В компанию входили медики — сокурсники Юры Барштейна плюс мы с Юрой. Юра была там единственной дамой и в этом мужском обществе царил. Я был недолётышем и сознавал, что меня принимали в эту компанию взрослых молодых людей только потому, что я был при Юре.

Почему Юра таскала меня с собой? Ведь я же ей мешал. Юра была молодой разведённой женщиной. Ей было бы естественным стремление выйти замуж, и в этой киевской компании было несколько очень приятных подходящих молодых интеллигентных мужчин. Хотя моё присутствие не мешало Юре кокетничать со всем коллективом, но оно обязывало Юру вернуться вечером со мной в Святошино. Мама эти мои поездки не любила, но терпела.

Обычно мы выходили из нашего 5-го трамвая на остановке, ближайшей к центру города, и от Крещатика поднимались шумной ватагой по ул. Энгельса (Фундуклеевской). Там на площади, напротив театра, было довольно пустынное летнее кафе. Наша компания сдвигала несколько столиков. Можно было заказать сладости, кофе, мороженое и вино. Вино там было очень хорошее. Я к тому времени в винах уже разобрался: пивал и дома, и в гостях, и во время незаконных обедов в арбатских кафе и ресторанах. Вино, которое нам подавали в том киевском кафе, называлось Шато Икем. Это было полусухое светлое вино.

Иногда мы с Юрой заходили в дом Барштейнов. Они жили на Житомирской улице. Так я познакомился с Дядей Костей и с его женой. В квартире на Житомирской мы провели два или три последних дня лета: из Святошина мы уехали, но не сразу могли достать билеты на поезда до Москвы и до Ленинграда. Тогда эти трудности были в порядке вещей.

Кроватей и диванов в большой комнате Киевских Барштейнов для всех не хватало, и мы трое — молодые Юры — спали рядом на полу, что для тех времён тоже было делом обычным.

В 1939/40-м учебном году я пребывал в очень подходящем периоде моей жизни. Мне было семнадцать лет, и я чувствовал себя совершенно взрослым. Мои мысли и чувства, считал я, были зрелыми, нравственные принципы — определившимися. Я почти окончательно выбрал мою будущую профессию: я собирался после десятого класса подавать заявление на мехмат МГУ. Правда, я ещё не знал, как я буду специализироваться после второго курса: что я выберу — чистую математику или механику (от которой рукой подать до авиа- и кораблестроения и до автоматического управления; всё это тоже казалось мне достойным моего внимания). Одновременно я очень увлекался поэзией, и это увлечение получило даже некие организационные формы (об этом чуть ниже), придававшие моей любви к стихам черты профессиональности и наполнявшие жизнь особым смыслом.

Майя стала студенткой художественного училища им. 1905-го года. Она попала в класс к художнику Ф. Невежину, ортодоксальному последователю передвижников, школа которых естественным образом была использована соцреализмом. Реализм в живописи, к которому Майя до сих пор относилась скептически, неожиданно стал её увлекать.

В моей жизни произошли тоже важные события. Вскоре после начала учебного года (напоминаю, это был девятый класс) у нас в школе возник кружок по изучению поэзии Маяковского. Несколько старшеклассников, и я в их числе, стали в нём участвовать. Мы собирались раз в неделю вечером. Кружком руководил человек со стороны по имени Лёня Берков. Он был студентом химфака Педагогического института, а Маяковским занимался по личной склонности.

Лёня объяснил нам, что вести наш кружок его командировала Бригада Маяковского, членом которой он является. Я об этой Бригаде слышал от Жени Аграновича. Теперь я узнал подробности. Бригадой Маяковского называлось добровольное молодёжное литературное объединение при Союзе Писателей и одновременно при Государственном Литературном музее. Музей размещался тогда в особняке на Моховой, напротив Дома Пашкова. Лёня говорил о Бригаде восторженно: там работают энтузиасты. Этот энтузиазм был присущ и самому Лёне.

Лёня рассказал, что кружки от Бригады, вроде того, что вёл он у нас, есть и в нескольких других школах, и их количество определяется тем, сколько есть бригадников, имеющих склонность к работе со школьниками и толику свободного времени. Ну а какие именно школы окажутся очастливленными, зависело от случая: знаком кто-нибудь из учителей или учеников с подходящим бригадником, и дело может завертеться. По какой траектории к нам залетел Лёня, я так и не удосужился узнать.

На кружке мы, в основном, читали и толковали стихи Маяковского, выясняли их связи с событиями из жизни поэта, знакомились в контексте главной темы и с сочинениями и биографиями советских поэтов, близких к Маяковскому. Мы знали только одного члена Бригады — Лёню. Мы очень его полюбили и зауважали.

Постепенно выяснилось, что существуют не только школьные — они были чем-то вроде филиалов Бригады — но и центральные кружки Бригады, и что члены школьных кружков могут посещать и те взрослые. Я стал это делать и понял: Бригада состоит, в сущности, не из небожителей, и нет никаких реальных препятствий для того, чтобы посещать и их.

Но была некоторая бригадная иерархия. Было понятие «член Бригады». Участники школьных кружков, даже посещающие центральные кружки, членами Бригады стать автоматически не могли. Для возведения в ранг «члена» существовала процедура. Уже месяца через три после моего прихода в Лёнин кружок я от него получил письменную рекомендацию. Документ был сперва обсуждён в моём присутствии на заседании Бюро Бригады, состоявшем из пяти—шести человек, а потом на ближайшем общем собрании членов Бригады. Их было несколько десятков. Бюро меня представило, и я был рукоположён членом Бригады открытым голосованием.

Скоре я стал активным и заметным членом Бригады, и даже был в какой-то момент выбран в Бюро, которое когда-то виделось мне в горней высоте. А главное — я совершенно естественным образом сдружился с некоторыми лидерами Бригады.

Вот немного истории. Бригада образовалась в последний год жизни Маяковского — из добровольных комсомольских активистов, главным образом, студентов гуманитарных факультетов московских вузов, которые были приверженцами творчества Маяковского и взялись способствовать проведению выставки поэта «XX лет работы». После смерти Маяковского его молодые помощники организационно оформились. Возник особый коллектив — Бригада Маяковского — с членством, структурой, уставом и другими атрибутами корпоративности.

В те времена (тридцатый год) существование такого рода сообщества слуха не резало. Ведь были РАПП, ЛЕФ, КУЗНИЦА, ПРОЛЕТКУЛЬТ и прочие литобъединения. Впрочем, это разнообразие творческих союзов в советской литературе было несколько показным — все они были за Советскую власть и коммунизм. Изобилие групп давало волю не идеологиям, а только межгрупповым интригам.

Как известно, вскоре все эти литобъединения были властью ликвидированы и заменены единым Союзом Советских Писателей — без всяких сучков и задоринки. Но вот одна задоринка — Бригада Маяковского — осталась. Она не была, впрочем, творческим союзом писателей, а состояла из любителей и декларировала лишь одну цель своей деятельности: пропаганда творчества Маяковского. Возможно, неожиданной защитой для Бригады послужили культовые слова Сталина о лучшем и талантливейшем поэте нашей советской эпохи.

Быть независимой Бригада, всё же, не могла, и её прицепили к госдепартаментам: Союзу Писателей и Литмузею. Союз Писателей этим своим мелким детищем не интересовался, да и Бригада этого своего патрона не теребила: незачем было. Бригада была на бюджете Литмузея. Кроме денег, дирекция музея должна была давать Бригаде помещение для работы кружков. Музею это было сделать нетрудно. В вечернее время, когда музей закрывался, и в его залах ни редких одиночных посетителей, ни обязательных школьных групповых экскурсий по темам учебной программы в музее уже не было, Бригаде предоставляли для её собраний и кружков один из экспозиционных залов, в который при необходимости затаскивались стулья из других помещений, а иногда и конференц-зал музея.

Деньги Бригаде нужны были небольшие, и для бюджета музея необременительные. Во-первых, это были почтовые расходы: каждый бригадник получал открытки с извещением о занятиях кружков и — иногда — с напоминанием о том, когда и в каком выступлении он занят. Выступления с чтением стихов Маяковского в разных аудиториях были основной формой пропагандистской деятельности Бригады. Во-вторых, оплачивались педагоги, обучавшие желающих бригадников технике речи и художественному чтению.

Члены Бригады, которые были явно постарше других — Виктор Дувакин, Артемий Бромберг, Александр Гринберг — составляли первое поколение со времён выставки Маяковского и принадлежали к числу основателей. Они были знакомы с самим Маяковским. В Бригаду систематически, хоть и тоненьким потоком, приходили молодые люди, которые любили современную русскую поэзию. Они приходили либо как я, через дочерний кружок, либо они становились обожателями Бригады на её выступлениях и со временем, после искусов и процедур вступали в её полноправные члены.

Думаю, что все бригадники в изначальную доброкачественность коммунистической идеи верили. Но часть бригадников (и я в их числе) относились к тому, как действовал сталинский режим на практике, скептически. Разумеется, скепсис выражался лишь в мысленной или почти молчаливой форме. Мы находили в творчестве Маяковского поддержку нашим моральным, политическим и поэтическим позициям. Некоторые бригадники были ортодоксальными приверженцами режима. Они были не только адептами господствующей идеологии, но не сомневались в правильности практики её реализации. Они, как правило, приветствовали все шаги власти, одобряли все репрессии против политических противников режима. Многие из этой категории бригадников были членами партии.

Явного антагонизма между скептиками и ортодоксами не было. Тем более, что даже ортодоксы, одобряя политику репрессий в принципе, не могли не видеть политической патологии её практики — массовых арестов и переселения миллионов людей в лагеря ГУЛАГа. Правда, в отличие от скептиков, видевших в ГУЛАГе суть режима, ортодоксы такие «перегибы» объясняли неизбежностью ошибок в борьбе с мириадами врагов. В ходу у них была идея, что Сталин не всё знает о беспределе его подчинённых. К особо вопиющим нелепостям, исходившим от, быть может, не самого высшего круга (что-нибудь, вроде неоправданного деления или слияния наркоматов или излишних цензурных строгостей), в смешанных компаниях бригадников, в которых оказывались и скептики и ортодоксы, было принято относиться с юмором.

Мы чувствовали, что Маяковский уйти из жизни утративший, и что не погибни он в тридцатом году сомнительным с точки зрения коммунистической власти способом, он, скорее всего, разделит бы участь Кирشنا, Третьякова, Бабеля, Мейерхольда, Мандельштама и сотен других.

...Тут стоит сказать о завораживающей силе поэзии Маяковского. Он написал много замечательных стихов, лежащих совершенно вне политики и идеологии. Но он был одним из тех, кто дал право сказать Евгению Евтушенко: «Поэт в России — больше чем поэт». Маяковский остановил свой глаз на большевистской идее, поверил в её истинность и святость, поверил в чистоту помыслов и мудрость её вождей, и всю свою звонкую силу поэта отдал на то, чтобы приобщить к своей вере миллионы читателей. И в значительной мере он в достижении этой своей литературно-общественной художественной задачи преуспел.

Старший мудрый литературный собрат Маяковского эту человеческую слабость заметил и сформулировал точно и правдиво:

Тьмы низких истин нам дороже
Нас возвышающий обман...

Но сам Пушкин никогда этим свойством психики своего читателя не пользовался. А Маяковский сделал эту Пушкинскую формулу своей фомкой. И оказался этот преступный инструмент в искуснейших руках...

Я видел несправедливость и ужас арестов и расстрелов. Я видел необоснованность страшных приговоров. Правда, тогда я не понимал, что на скамьях подсудимых в неправедных процессах сидят такие же преступники, ввергнувшие страну в пучину хаоса и несчастий, как их обвинители и судьи.

Но вот я читал или слышал с эстрады:

Мы живём, зажатые железной клятвой,
За неё — на смерть, и пулю чешите!...

— и холодок восторга пробежал по загривку, я ощущал, что за то, чтобы жить в Мире без России, без Латвий — ничего не жалко, что за это можно и убивать, и умирать. Что вот это — главное. Да, НКВД похватал почти весь Дом Правительства, хотя ведь столько врагов среди верхушки быть не могло, и значит, хватали, мучили и уничтожали друзей... Но эти аресты и расстрелы своих, невинных — это где-то сбоку, и, наверное, скоро прекратятся. Я чувствовал, как под натиском поэзии Маяковского мой скептицизм отступает. Но это отступление через двадцать минут прекращалось, и мой обоснованный прозой скептицизм возвращался на прежние позиции. Проходило немного времени, и я снова подвергался атаке стихов Маяковского, и снова на риторический вопрос поэта:

Разве не лучше, как Феликс Эдмундович,
Сердце отдать временам на разрыв?!

всем сердцем отвечал: «Да, конечно! — Лучше, лучше, конечно, лучше!». А понимание того, что именно Дзержинский стоял у истоков изуверской и незаконной системы, убивавшей и мучившей членов близких мне семей, отходило на задний план. В голову лезло, что необходимость «сердце отдать временам на разрыв» — истина, а все другие, обнаруженные мной в этом мире истины — настолько низкие, что уж, может, они и не истины, а наоборот, как раз, они — нас принижающий обман? Проходило небольшое время, и мой скептицизм возвращался.

Когда я читал в стихотворении «Юбилейное» обращённые к Пушкину дружеские и сочувственные строки:

Сукин сын Дантес. Великосветский шкода.
Мы б его спросили: «А Ваши кто родители?
Чем Вы занимались до семнадцатого года?» —
Только этого Дантеса бы и видели,

я всей душой был на стороне Маяковского. Я не думал о том, что такой суд над ненавистным мне Дантесом был бы неправым, был бы не судом, а совершенно недопустимым в цивилизованном и гуманном обществе самосудом. Я не понимал, что сам Пушкин — хоть и был с свинцом в груди и с жаждой мести — был бы в ужасе от той сцены расправы с его обидчиком, которую нарисовала развеселившаяся муза Маяковского.

У Пушкина, невольника чести, были другие понятия о допустимых способах мести врагу. Тут для противостояния коммунистическому правовому сознанию любимого поэта моего скепсиса тогда решительно не хватало.

Увы, Маяковского есть основания отнести к тому множеству поэтов, которые дали повод Анатолию Якобсону написать очень глубокую статью «О романтической идеологии» (Первоначально содержание этой статьи было доведено автором до публики в виде лекции, прочитанной им в 1967 г. во 2-й Московской спецшколе, где Якобсон преподавал историю и вёл литературный кружок.

Тогда мысли Якобсона были совсем не для печати. Статья была опубликована только в перестроечные годы уже после кончины Анатолия Якобсона. В своей статье Якобсон убедительно продемонстрировал, что многие талантливые русские поэты, вступавшие в литературу в годы революции (Э. Багрицкий, Д. Алтаузен, М. Голодный, М. Светлов, П. Антокольский, Н. Тихонов) пошли в двадцатых—тридцатых годах в услужение к коммунистической власти, талантливо возвеличивая её преступные и постыдные беззакония и жёсткость, определившие атмосферу, царившую в обществе.

Могу добавить, что в замеченном Якобсоном неблагоприятном звучании советской поэзии заключался некоторый элемент диссидентства, но не по отношению к власти, как у диссидентов, начавших в пятидесятых, и не на той идеологической базе. Советские поэты двадцатых—тридцатых были диссидентами по отношению к классической российской интеллигенции (притом, что многие советские поэты-диссиденты той поры из этой среды и происходили) с её сложившимся представлением о нравственности и порядочности. Эти представления побуждали интеллигентов старой закалки не одобрять жестокостей новой власти, презирать власть, дистанцироваться от неё.

А поэты новой закалки всем своим творчеством вещали, что они — не белоручки, что они не хлюпики, что они делают большое дело, и ради этого готовы отринуть устаревшие представления о морали и готовы участвовать в становлении новой истинной морали. Надо ли говорить, что моё сравнение очень приблизительное, хотя бы потому, что против современных диссидентов, восставших против власти, были направлены репрессивные силы могущественного и преступного государства, а те диссиденты — борцы со старой моралью — могли опасаться только отрицательного отношения к себе или к своему творчеству лишь со стороны противников, сильных лишь духом. Конечно, от той власти можно было ждать чего угодно. Она могла и Бабеля уничтожить.

Я не отшатывался от Маяковского, потому что не сомневался в искренности его веры в истинность всех «за» и «против», которые выражала его поэзия. Тем более, что идеологические основы веры Маяковского с моими совпадали. А когда я наталкивался на неприемлемые для меня фрагменты, я не сердился на автора. У меня было к нему другое чувство: я жалел его, как человека обманутого.

Кроме того, несправедливо мерить Маяковского только тем, как успешно его таланту удавалось дурить людям головы. Маяковский написал много истинного и прекрасного без оговорок — никого не охмуря, не выдавая искусно рупь за двадцать, без греха на душе.

Да, увы: многие его строки — обман с претензией на эпитет возвышающий, чего Пушкин себе не позволял. Но есть у Маяковского огромные поэтические массивы, которые истинны, как у Пушкина, касаются ли они низких или высоких тем.

...Через три—четыре года после описываемых времён возвышающий обман Маяковского меня завораживать перестал совершенно. Я из этого плена выбрался. Я увидел, что от возвышающего обмана рукой подать до оглуляющего, а значит — унижающего. Но этот феномен — гипнотизирующее свойство поэзии — продолжает меня поражать.

Я давно (уже лет в двадцать пять) стал совершенно уверен в том, что не надо пальцем о палец ударять для того, чтобы в Мире можно было жить без России, без Латвий (даже просто пальцем, а не то, чтоб за это — на смерть и чесать пулю!). И всё же я уверен, что Маяковский был поэт милостью Божией и одновременно был Божией же немилостью наказан.

Завершая мысль, хочу провести параллель. Лауреат Нобелевской премии Иосиф Бродский. Его скромная интонация, его политические и, не исключая, философские и нравственные позиции к моим позициям гораздо ближе, чем наглая самоуверенность и оголтелые коммунистические симпатии Маяковского. Судьба Бродского — жертвы советского хамства и произвола, его судьба изгнанника вызывает во мне сочувствие и понимание. А Маяковский с удовлетворением (и долгое время с полным на то основанием) считал себя заслуженным любимчиком советской власти (ибо всю свою звонкую силу поэта этому атакующему классу отдавал). И этим он в моих глазах ниже, чем Бродский. Душевный дискомфорт, возникший у Маяковского под конец его жизни, когда неуверенность в том, всё ли ещё он любимчик, стала нарастать, моего сочувствия не вызывает. Тем не менее, на фоне этих параллелей я ясно понимаю: Маяковский — великий поэт, а Бродский — нет. Он — автор нескольких удачных стихов. Не более того.

Бродский не мог по одной только своей поэтической воле делать для нас дорогим возвышающий обман. По мне строки:

Мой Телемак, Троянская война
окончена. Кто победил — не помню.

или (не поленюсь выписывать):

Постоянство суть эволюция принципа помещенья
в сторону мысли. Продолженье квадрата или
параллелепипеда средствами, как сказал бы
тот же Клаузевиц, голоса или извилин.

— хоть их сахаром облепи, а всё равно это и не истина, и не возвышающий обман, а просто обман: неправда, что речи эти — о важном и истинном, что они — гармоничны, что они — лучше не скажешь. Нет — эти строки Бродского — не пресловочнейшая штукавина. Не тянут на это...

Наступал Новый сороковой год. Тётя Софа раздобыла мне, как когда-то летом 37-го, путёвку на зимние каникулы в Звенигородский дом отдыха адвокатов. Я снова попал в общество адвокатских детей, но — очень поднявшись по возрастной иерархической лестнице. Взрослых отдыхающих в эти две недели в Доме не было совсем. Я никогда не был привержен к занятиям спортом. В эти две недели я выбрал самое камерное: катался на санках с очень высокой горы, входившей в угодьё Дома, и играл на большом бильярде. Эти две недели тогда примечательными для меня не были, но позже примечательными стали.

...Несколько лет назад, вскоре после кончины Эди в 1995-м году, состарившаяся, как и мы, Ара Смирнова, дочь Надежды Всеволодовны, подруга наших детских лет, обнаружила в одной из своих старых книг писанное Эдей в начале января 40-го и адресованное мне письмо. По-види-

мому, когда-то, в те давние годы, я брал у Ары эту книгу почитать, взял её с собой в Звенигород, сунул в неё полученное от Эди и прочитанное письмо и, возвращая книгу Аре, забыл письмо из неё вынуть. С тех пор книгу, наверное, не раскрывали, и письмо пролежало в ней пятьдесят с лишком лет: «Цветок засохший, безуханный...». Летом 95-го Ара мне это письмо переслала. Вот это это письмо, живописующее Эдину личность в её тогдашнем облике. Орфография и разбиение на строки сохранены.

6/1 — 40 г.

Завидуй мне, завидуй!

Сегодня в МГУ лекция о Бетховене (на неё я не пойду), а после неё играют всякие сонаты Оборин и Ойстрах, а Доливо поёт ирландские и шотландские песни. Это в 2 ч. Вечером в Большом Зале играют пятую симфонию Шостаковича, концерт для ф-н (2-ой) Рахманинова (Я. Зак) и увертюру «Гамлет» Чайковского. 4-го я был в том же МГУ на концерте из произв. Рахманинова. Интересно, хорошо. 8/1 вероятно пойду на 2-ю симфонию, скрипичный концерт и 1-ю сюиту Чайковского. (9-го у меня ымыныны, должен сидеть дома (такая досада: в МГУ Гольденвейзер играет сонаты Бетховена, те же, что 12-го). 11-го прекрасный концерт, есть уже билеты, I-ая и VI-ая симфонии Чайковского. 12-го (тоже уже есть билеты) — Реквием Моцарта 14-го (» » ») Вертер, 18-го (» » »)

Доливо, затем (ты к тому времени уже приедешь) будет масса дивных концертов: IX симф. Бетховена, VI Шостаковича и др.

Дорогой мой, ты потерял счёт дням, это очень хорошо, но всё же... скоро надо приезжать домой. Я тебе или пришлю календарь или дам телеграмму, чтобы ты в точности знал, когда нужно приехать.

Юрка, как не хочу я в школу!

Я бездельник, тряпка, дурак. После подробности.

На катке я не был до сих пор. Завтра обязательно.

А вчера у Машки [сестрѐнка — Ю. Г.] ёлка-палка была.

Было много детей, их кормили вкусными конфетами (мне не дали), потом детишки пели: «Сказал кочегар кочегару...».

Мне вообще не скучно, но неважно. По тебе скучаю очень.

[Подписи нет — Ю. Г.]

Только это письмо моего друга сделало значительными те Звенигородские две недели...

Продолжу про Бригаду. Её Бюро было выборным органом. Оно заседало часто — обычно в квартире председателя Бюро Лёни Большакова или Елизаветы Доброчаевой, члена Бюро. Поводы для заседаний были вполне конкретными. Чаще всего мы анализировали заявки на выступления Бригады в школах, вузах и учреждениях и обсуждали планы нашей пропагандистской деятельности на очередной период. Бывали и другие проблемы, касающиеся взаимоотношений Бригады с Литмузеем, с ССП и отдельными личностями.

Я вскоре стал членом этого Бюро. Время от времени созывались общие собрания Бригады, на которых вполне демократично — после порой очень бурных дискуссий — принимались пусть нехитрые и не касающиеся большой политики, но, всё же, наши собственные решения относительно конкретных казавшихся нам важными тем. У нас, в отличие от принятой в стране стандартной схемы проведения профсоюзных, комсомольских и партийных собраний, вовсе не было в заводе безмолвное и послушное единогласие. Как правило, всегда были и несколько «за», и несколько «против».

Для меня до сих пор остаётся загадкой, почему замечшая случай уничтожить самого Маяковского, не уничтожила его Бригаду и бригадников. Бригада была странным существом. Мы ощущали себя братством. Бригада существовала легально, но очень уж напоминала маонскую ложу. Поклоняясь Маяковскому, свободные камешки читали вслух и Есенина, и Багрицкого, и Пастернака. Бригадник бригадника изначально и искренне принимал как друга. Нас скрепляло общее дело, мы гордились своей принадлежностью к Бригаде. Я не помню никаких противоречий, которые нас бы серьёзно разъединяли. Возможно, между старыми и заслуженными членам Бригады какие-нибудь серьёзные раздоры и возникали, но меня, как младшего в Бюро и не посвящённого во многое из истории Бригады, в них не вовлекали, а я их не замечал по наивности.

Регулярно, раз в неделю собирался кружок «Техника речи». Такой кружок возник естественным путём из-за того, что основная деятельность Бригады состояла в организации и в проведении вечеров пропаганды творчества Маяковского. Каждый вечер длился часа два—три. В нём участвовало несколько бригадников, которые читали перед аудиторией стихи Маяковского. А в традициях Бригады было делать это квалифицированно.

Иногда вечера Бригады носили абстрактный литературный характер, иногда — иллюстрировали фрагменты творческого пути поэта, иногда — посвящались политической дате (День смерти Ленина, День Красной Армии, Октябрьская годовщина и пр.), на тему которой у Маяковского было много стихотворного материала. Вечера мы проводили в школах, в вузах, в госучреждениях и даже на фабриках и в военных частях. Иногда зал был оборудован эстрадой, иногда слушатели сидели за своими канцелярскими столами, а чтец стоял в углу служебного помещения.

Как я уже говорил, обо всех мероприятиях бригадники извещались персональными почтовыми открытками. Их рассылал я, будучи секретарём Бюро Бригады. Тексты и адреса я писал, ограниченный тогдашними техническими возможностями, вручную. Так что каждую неделю я писал десятка два открыток. Столь любезно тогда не обслуживались даже члены партии. Они извещались о партсобраниях не персональными (тем более, почтовыми!) повестками, а объявлениями, которые вывешивались на доске.

Штатным оплачиваемым руководителем кружка Техники речи была Надежда Игнатьевна Калынь-Гандольфи, дородная красивая дама лет пятидесяти. Она происходила из итальянской обрусевшей семьи и преподавала

бельканто в Московской Консерватории. Первая часть её фамилии принадлежала её покойному мужу, латышу. Он тоже, кажется, был специалистом в области вокального искусства. Надежда Игнатъевна занималась с кружковцами постановкой голоса и искусством публичной декламации стихов.

Не знаю, была ли работа в Бригаде привлекательной для Надежды Игнатъевны по существу с самого начала, или в первое время она занималась ею только для заработка. Но к тому времени, когда в её кружок стал ходить и я, Надежда Игнатъевна Бригаду, безусловно, очень ценила и отдавала ей много времени и сил, часть которых, возможно, фактически уже и не оплачивалась.

Мы — человек десять постоянных членов её кружка — собирались в музее раз в неделю. Занятие продолжалось часа два. Оно начиналось с того, что под управлением Надежды Игнатъевны, сидевшей за роялем, мы пели хором (но она слышала каждого) специально подобранные гаммы. На этом музыкальном материале педагог объясняла нам технику дыхания и произнесения звуков («опереть голос на диафрагму», «говорить в маску», «убрать белое «А» и пр.). Мы учились говорить всегда разборчиво — и тогда, когда смысл стиха требовал громкой речи, и тогда, когда — тихой. Качество речи всегда должно было быть высоким: и в том случае, если надо было говорить быстро, и если — медленно и внушительно. Надежда Игнатъевна учила нас приёмам, цель которых состояла в том, чтобы чтеца было приятно слушать в любой точке зрительного зала, а также в том, чтобы и он сам не уставал и не срывал голоса, даже читая без перерыва в течение длительного времени.

После получаса обязательных технических упражнений Надежда Игнатъевна из преподавателя техники речи превращалась в театрального режиссёра. Каждый из нас мог прочесть приготовленные дома стихи (стихи мы выбирали сами), а Надежда Игнатъевна и коллеги-кружковцы делали замечания, затрагивая весь спектр технических и художественных проблем. Работа с одним стихотворением иногда переносилась с занятия на занятие. После тщательной обкатки стихотворение становилось частью репертуара члена кружка и могло включаться им в программу его выступления при выездах Бригады с концертами.

Довольно часто Надежда Игнатъевна приглашала члена кружка к себе домой — для продолжения работы над стихотворением в середине недели между занятиями в музее. Я таким манером провёл у неё очень много времени. Она занимала одну чрезвычайно большую комнату в коммунальной, как водится, квартире на третьем этаже четырёхэтажного дома в Б. Афанасьевском переулке недалеко от угла с Малым.

Надежда Игнатъевна жила одна. Её комната была типичной артистической: посредине большой рояль, по стенам зеркала и картины, старинная мебель, подсвечники и люстры. Я, хоть не стал чтецом или актёром, вспоминаю занятия с Надеждой Игнатъевной с огромным удовольствием — и от самого содержания её уроков, и от присутствия при мастерском исполнении своего дела педагогом-профессионалом, и от той атмосферы достоинства ученика и учителя, которую она умела создавать и поддерживать. К сожалению, после войны я её в знакомом доме не нашёл и больше с ней не виделся.

Встречаясь на занятиях кружков, на общих собраниях Бригады, на заседаниях Бюро мы постоянно говорили не только о Маяковском, но и о более общих феноменах русской, и не только русской поэзии. Правда, на эту обширную тему мы смотрели, как правило, глазами Ма-

яковского. Мы были ему верны, может, даже слишком верны. Но ведь Маяковский успел высказать такие взгляды, вкусы и оценки, которые в последующие годы официальная идеология или замалчивала, или принимала сквозь зубы, не понимая, как вертеться, когда с одной стороны — лучший и талантливейший, а с другой — друг и высокий ценитель «Ромки Яacobсона», жившего в эмиграции?

Мои занятия в Бригаде, а Майины — в училище нас как-то стали разводить. Ежедневная потребность друг в друге стали исчезать, да и технически частые встречи стали затруднительными. Зимой Майя поведала мне, что очень увлечена своим педагогом Фёдором Ивановичем Невежиным — и как личностью, и как мужчиной. Он вроде отвечал своей ученице адекватными чувствами. Невежин, которому было за сорок, был женат, а Майя — слишком уж молода. По совокупности этих причин его роман с Майей носил платонический характер. О ходе этого непростого романа Майя информировала меня при каждой нашей встрече. Мои собственные романтические отношения с Майей к моменту этих разговоров как-то отошли в историю и переросли в спокойную и уважительную дружбу с ней. Майины повествования о её увлечении Невежиным я выслушивал без страданий.

От своих прежних пристрастий к французам Майя, в силу сложившихся влияний на неё иных школ, стала освобождаться. Знакомство Михаила Левидова в те предвоенные с Фальком — художником, ориентированным на французскую школу, подводило Майю к тому, чтобы стать его ученицей, и это ученичество было бы естественным, не пояись в её жизни реалистическая школа и её адепт Невежин.

Чтобы показать мне, насколько замечательным был художник Невежин, Майя повела меня на художественную выставку «За индустриализацию», развёрнутую в залах Строительной выставки где-то на Фрунзенской набережной. Там была выставлена всего одна картина её нового кумира. Её сюжета я не помню. Что-то идеологически выдержанное в духе соцреализма. На этой же выставке висела картина Иогансона — довольно большое полотно, которое называлось как-то вроде «Допрос комиссара». Среди фигур картины был белый полковник в папахе, и Майя — с той же убеждённостью, с какой она приглашала меня восхититься спиной «Обнажённой» Ренуара — показывала мне, с каким искусством были выписаны мерлушки на папахе полковника.

Меня стали интересовать литературоведческие сочинения Тынянова и других авторов. Мне хотелось посмотреть первые дореволюционные издания футуристов. Папа сделал мне хороший подарок: он записался в общий зал Ленинской библиотеки, а читательский билет отдал мне. Тогда на билет фотографию читателя не клеили, и я по этому билету свободно проходил в библиотеку, заказывал и получал книги.

Конечно, я мог стать читателем юношеского зала, и вряд ли мне там в чём-нибудь, что я мог получить в общем зале, отказали. Но мне так хотелось ходить во взрослый! Странно, что меня не разоблачили. После цифровой части номера читательского билета, через дробь, был написан код, которому я тогда значения не придал. Впоследствии, когда я стал легальным читателем Библиотеки, я смысл шифра узнал: он кодировал категорию читателя. В частности, на том, папином было зашифровано, что у владельца билета высшее образование. Неужели я в мои семнадцать лет выглядел как человек, окончивший высшее учебное заведение?

Я наслаждался не только возможностью получать редкие дореволюционные издания футуристов, но и всем антуражем библиотеки. Зал был

в старом здании — в Доме Пашкова. Вход был со стороны заднего фасада здания в Староваганьковском переулке, который тогда назывался ул. Маркса и Энгельса. Сверху вдоль стен главного читального зала шла галерея, на которую можно было подняться по лестницам и посмотреть с птичьего полёта на читающую публику, чёрные столы и зелёные абажуры настольных ламп. Там было великолепно, и я ещё очень много лет пользовался этим залом, а когда построили Новое здание библиотеки, то и другими залами замечательного учреждения.

Вместе с Маяковским мы, бригадники, высоко ставили Пастернака. Его стихотворение «Марбург» Маяковский, к счастью, высоко оценил в своей статье «Как делать стихи». Ореолом был окружён Хлебников. Мы с лёгкой иронией («Вы ушли, как говорится, в мир иной»), но со справедливой высокой оценкой творчества («Вы ж такое погибать умели») относились к Есенину, в то время всё более и более преследуемого официальной критикой.

Мы презирали Северянина (он «чирикал как перепел»), но были рады той снисходительной симпатии к заблудшему Блоку, которая звучала у Маяковского. Правда, наши чувства к Блоку были теплее тех, которые позволял себе мэтр. Нам было приятно, что Маяковский насмешничал над неугодным нам Безыменским и уважительно писал об Асееве.

Маяковский был апологетом современности. И этот его лейтмотив, и мой тогдашний пиетет к вкусам нетерпимого Маяковского надолго отодвинули от меня знакомство с многими первостепенными русскими поэтами. Прочитав: «Между нами, вот беда, позатесался Надсон», я счёл, что позатесались и никчёмные Тютчев с Боратынским, и А. К. Толстой. Я долго ещё находился под гнётом капризного и ревнивого гения Маяковского, и лишь позже, под влиянием более изысканных литературных советчиков и вследствие расширения круга поэтического чтения стал вернее оценивать поэтические произведения и их творцов. К сожалению, глухая подспудность в эпоху Бригады и много позже таких гениев русской поэзии, как Мандельштам, Ахматова, Цветаева сузили тогда моё видение русской поэзии. С этими авторами я стал знакомиться только когда мне было уже за тридцать, а то и под сорок.

В ненависть Маяковского к устарелой поэзии затесались счастливые исключения, не будь которых, мне грозило бы отупение. При столь истовом преклонении перед авторитетом, хоть и талантливым и неординарным, оно вполне могло наступить. Но, повторяю, обошлось!

Раз —

Вы, наверное, при жизни, думаю/
Тоже воевали, африканец!,

раз —

К нам Лермонтов сходит, презрев времена
Сияет: счастливая парочка!
Люблю я гостей! Бутылку вина!
Налей гусару, Тамарочка!,

раз —

А Некрасов Коля, сын покойного Алёши/ —
Он и в карты, он и в стих, и так неплох на вид.

— значит, не всё, написанное в прошлом — ненужный хлам.

Председателем Бюро Бригады был упомянутый выше Лёня Большаков. Когда я пришёл в Бригаду, Лёня был студентом 4-го курса Самолётостроительного факультета Московского Авиационного Института. Весной сорок первого он должен был защищать дипломный проект. Лёня жил с матерью Марией Михайловной и сестрой Лялей, моей ровесницей. У них была чуть ли не отдельная двухкомнатная квартира на Малой Бронной, недалеко от Патриарших прудов.

Бригадники часто приходили к Лёне домой. Или просто поговорить, или принять участие в заседании Бюро. Нас всех к Лёне очень тянуло. Он — вперекор строкам мэтра:

Тот, кто постоянно ясен,
Тот, по моему, просто глуп.

на всё смотрел доброжелательным, понимающим, ясным и — несмотря на ясность — умным взглядом.

Лёня казался нам всем человеком, умеющим во всём найти главное и увидеть, что это главное — оптимистично и голосует за жизнь. В частности, к нему шли именно за этим оптимизмом, когда для преодоления жизненных трудностей своего собственного не хватало. В этом свойстве Лёня, хоть и говорил прозой, следовал дорогой, обозначенной Маяковским. Что-то вроде того, что главное — это светлое будущее, коммунизм, а всё остальное отлипнет, отвалится, или на это остальное не надо обращать излишнего внимания... Тогда такое *Si non e vero e ben trovato* несколько не раздражало, а наоборот, ложилось на душу. Ко всему прочему, Лёня был очень привлекателен: голубые глаза, светлые волосы, правильное лицо с чуть увеличенным, но правильным носом и большим лбом.

Фоном Лёниного оптимизма и его богатырской внешности — и это производило огромное впечатление на всех — была его болезнь. Лёня был болен тяжёлой и в те времена неизлечимой формой туберкулёза. Лёня был приговорён к ранней и тяжкой смерти. И весел, оптимистичен и доброжелателен он был не от сознания своего крепкого здоровья, шансов на долгую счастливую жизнь, а наоборот, при постоянном осознании своего плохого положения и своей скорой и нелёгкой кончины.

Лёня был настолько искренним в своём желании не портить другим настроения по поводу своих медицинских дел и настолько искусным в выполнении этого желания, что в его присутствии никому в голову не могло придти затронуть по своей инициативе какую-нибудь тему, касающуюся Лёниной болезни. Это мог делать только сам Лёня, если считал, что его болезнь порождает либо что-то забавное, либо служит поводом для восхваления врачей.

Лёня был завсегдаем известного в Москве туберкулёзного санатория в Кратове. Всякий раз он привозил оттуда новую порцию шуточных стишков и частушек, которые сочинял и исполнял сам. Например, он рассказывал, что к вечеру самодеятельности выучил своих товарищей по палате частушкам, и они их с успехом исполнили хором. Я запомнил одну из них:

Смерть не станет тары-бары
Вить неоднократно!
Ах, кто же сдаст мою гитару
В культотдел обратно?

Была ли эта история правдой, или в Кратове Лёня эти частушки только сочинил, а исполнил их в первый раз перед нами — не знаю.

Рядом с Лёней почти всегда находилась женщина по имени Елизавета Владимировна Доброчаева. Ей было лет под тридцать, и с ней все бригадники и она со всеми — по крайней мере, на людях — были на «Вы». Доброчаева была членом Бюро Бригады, ответственной за административные дела. Она была очень красива и заметна, приветлива, но сдержана. Помнится, она нигде не работала, а может, числилась сотрудницей Литературного музея и получала там небольшую зарплату за занятия Бригадой.

Её настоящей профессии я не знал. Через много лет я мельком увидел её фамилию в Литературке. Иногда заседания Бюро проходили дома у неё — где-то в районе Тверских-Ямских или Миусской. Следов детей и, вообще, семьи не было. Было известно, что муж Доброчаевой сидит в лагере. Лёня, в своей обычной манере, как о само собой разумеющемся, говорил, что муж Елизаветы Владимировны посажен и сидит по ошибке.

В обществе Лёни и Елизаветы Владимировны — в музее или в одном из их домов — я часто заставал Шуру Гринберга, Лёниного ровесника, но человека с какой-то литературной специальностью. Потом он стал профессиональным поэтом Савелием Гринбергом, но со скромным дарованием, и большой известности его творчество не получило.

...В конце войны Шура женился на моей однокашнице, дочке Надежды Всеволодовны, Аре Смирновой. У них родился сын. Но Арин брак с Шурой скоро распался. Практиковал Шура и как переводчик. В семидесятые годы он уехал в Израиль и стал вскапывать целину: переводить на русский израильских поэтов, пишущих на иврите. Но, на беду, сами эти поэты мало кому интересны, и поделом...

А тогда Шура был язвительным и очень красивым молодым брюнетом еврейского демонического типа. Он обожал каламбуры и всякие замысловатые эпиграммы, рекламы и другие стишки этого рода. Лёня тоже был любителем этого жанра и возможно, что авторами нескольких запомнившихся мне сочинений был Лёня или он с Шурой вместе. В качестве примера полной рифмы предлагалась чья-то гипотетическая последняя воля:

Еле зовёт он:
Владей миром одна,
Да упрочай его,
Елизавета Владимировна
Доброчаева!

Или:

Ходили по рынку три дурака
И всё покупали втридорога.
Разини!
Дешевле и проще купить в магазине.

Шура (может, в соавторстве с Лёней) написал целую шутовскую фантастическую поэму про будущее. Там фигурировали имена некоторых бригадников. Старый член Бригады — с момента легендарной выставки Маяковского — Виктор Дмитриевич Дувакин, нашёл себя в этой поэме в таком виде (речь, повторяю, шла о будущем):

На площади в центре два кино
Имя носили Дувакино.

Другими словами, Дувакину предсказывалось бессмертие...

Дувакин был доцентом филфака и профессиональным исследователем творчества Маяковского. Думаю, что занимая государственный пост,

он обучал студентов советскому взгляду на Маяковского. В Бригаде он появлялся редко. Лёня, на потеху, раздувал легенду о крайней рассеянности Дувакина. Внешне Дувакин такому качеству соответствовал: в очках, подслеповатый, суетливый, в шляпе... Лёня рассказывал разные истории о Дувакине и клаясь в их истинности.

Например. Лёня рассказывал, как он и Дувакин шли от Университета к Литмузею и оживлённо разговаривали на литературные темы. Дувакин увлёкся. Он был слева, ближе к краю тротуара, а Лёня — справа. А тут у тротуара на мостовой стоит подвода, запряжённая лошастью (тогда такое ещё попадалось). Когда друзья поравнялись с подводой, лошадь в очередной раз мотнула головой. Дувакин не прервал захватывающего разговора, но, будучи человеком вежливым и воспитанным, на кивок лошади ответил: тоже — на ходу — кивнул и приподнял шляпу.

...Недавно я увидел фамилию В. Д. Дувакина в неожиданном контексте. В 1956 г. я несколько раз видел и слышал легендарного учёного Тимофеева-Ресовского (о моих впечатлениях я пишу ниже). И вот теперь в мои руки попала книга С. Э. Шноля «Герои и злодеи российской науки», М., Крон-Пресс, 1997. Я первым делом заглянул в главу о Тимофееве-Ресовском. И узнал, что воспоминания этого учёного изданы в 1995 г. усилиями Дувакина. Он и М. В. Радзишевская ездили к Тимофееву в Обнинск и записывали на магнитофон его рассказы. Эти записи и послужили основой книги: Тимофеев-Ресовский Н. «Воспоминания», М., Прогресс Пангея, 1995. Спасибо Виктору Дмитриевичу Дувакину! Может, не два кино, но с кое-чем значительным в русской культуре — «имя Дувакино» связано...

На фоне поэтической чепухи и всяческого баловства и хохмачества, чуть соберутся хоть два бригадника, и начинают звучать — целиком или фрагментами — стихи: Маяковского, Пастернака, Багрицкого, Асеева, Пушкина, Лермонтова.

Другой «старик» из основателей Бригады — Артемий Бромберг — бывал на собраниях Бригады очень редко — как и Дувакин. Была категория бригадников, которые приходили чаще, чем «старики», но тоже не регулярно. Среди них я хочу вспомнить троих, которые великолепно читали стихи, и которых Доброчаева всеми силами старалась привлечь к тем выступлениям Бригады, которые ей казались ответственными.

Виктор Славинский был фотокорреспондентом какой-то газеты или ТАСС. Он был лет тридцати, невысокого роста, лысоват и в железных очках. Голос у него был выдающийся по силе и красоте. Приходя к нам, он охотно читал стихи, а мы не уставали его слушать. В свой репертуар он включал обычно самые что ни на есть пропагандистские стихи Маяковского. То проникновенно прочтёт «Разговор с товарищем Лениным», то — призывный «Марш ударных бригад». Заслушивались.

Прекрасно читал Илья Кацман. Его специальности я не помню. Илье было лет двадцать пять, он был маленького роста, сутулый, с кривоватыми ногами и с еврейскими бараньими глазами. Голос — мощный и красивый. Он читал больше из интеллигентных сочинений. Особенно его привлекали заграничные стихи Маяковского, в которых проглядывалось желание автора связать русские реалии с мировой культурой. Например:

Один сезон наш бог — Ван-Гог,
Другой сезон — Сезанн.
Теперь ушли от искусства вбок —
Не краску любят, а сан.

Славинский и Кацман иногда появлялись на занятиях у Гандольфи, и наш педагог расцветала. Ей, видать, осточертевало выбивать из безголовых и неартистичных своих постоянных учеников хоть какое-то подобие звучания слова. Одарённые гости были для неё праздником. Им она замечаний не делала, а только показывала знаками нам, любимому своему быдлу, как надо читать, если — по-настоящему.

И уж совсем недосыгаем был для нас талант Эдгара Вальдмана. Он был художник, возможно — театральный. Немецкое или скандинавское начало в его внешности проступало явственно. Он был красивый лицом и фигурой худощавый блондин выше среднего роста с живой мимикой. Что-то похожее я видел потом в звёздных Косталевском, Абдулове, Янковском. За словом в карман Вальдман не лазил, творчество Маяковского знал досконально. Но главное — у него был феноменально красивый баритон с богатейшим набором звуковых оттенков и интонаций. Вальдман не посещал наших занятий по технике речи. В его чтении бывали неверно решённые смысловые ударения. Но начав слушать его голос, хотелось, чтобы это наслаждение не кончалось.

Когда, с одной стороны, я взирал на труды, которые я вкладывал в подготовку моего репертуара и качество моего чтения, а с другой — видел увлекательное исполнение Вальдмана при отсутствии каких бы то ни было следов его предшествующих усилий, мне приходили на ум Пушкинские Сальери и Моцарт. Хотя и до Сальери мне было далеко.

Беда была оказаться с Эдгаром в одном выезде Бригады. Я читал длинное стихотворение о Христофоре Колумбе, не забывая всего наработанного с Надеждой Игнатьевной, зал вежливо меня слушал и провожал несколькими хлопками, а потом выступал Вальдман и читал минутное «Хорошее отношение к лошадям», и зал награждал его неистовыми аплодисментами и просил ещё, и он читал ещё и ещё. Он выбирал стихи лирические и философские, а агитационную пену — обходил.

Эдгар почти никогда не бывал на бригадных сборищах, и мои с ним отношения ограничивались редкими совместными выступлениями Бригады. Как-то он пришёл на заседание Бюро Бригады. Видимо, тема (не помню, о чём шла речь) его чем-то заинтересовала. Моя позиция при обсуждении проблемы (повторяю: о чём — не помню) ему не понравилась. Он выступил против неё, и при этом, желая меня ущучить, говорил своим бархатным голосом так: «Вот, товарищ Иеронимус предлагает...». В этом своём выступлении он, естественно, постарался употребить мою фамилию в этом мерзком произношении как можно большее число раз. Я безумно злился, но выступать против искажения моей фамилии (вроде бы, случайного и непреднамеренного) было бы глупо, и эта защита имени навлекла бы на меня новые насмешки.

Мои страдания видел Лёня Большаков. Он встал и начал возражать Эдгару. Они были старые закадыки, но Лёня, обличая позицию друга, старался как можно чаще употреблять его имя официально и в третьем лице: «Товарищ Уайльдман». Эдгар сначала потемнел, потом расхохотался вместе со всеми присутствующими: уж очень нелепа была полемика Иеронимуса и Уайльдмана по поводу того, выступать ли в Юридическом институте в понедельник или во вторник. В заключительной части дискуссии обе фамилии произносились пристойно.

...Однажды (это было, кажется, ещё в начале восьмидесятых) я увидел в «Литературке» или в «Советской культуре» чёрную рамочку, в которой было помещено несколько скорбных тривиальных фраз и два нетривиальных слова: «Эдгар Вальдман»...

Лёня, Шура Гринберг, Бромберг, Доброчаева вели какие-то дипломатические дела с другими ветвями литературной общественности, так или иначе связанными с Маяковским. Будучи членом Бюро, я участвовал в разных переговорах с разными людьми, но от их сути мои старшие товарищи тактично держали меня на некотором расстоянии, и я зачастую этой сути толком не понимал.

Я помню многочасовые трудные переговоры Бюро с Асеевым. Они проходили на деревянной галерее в доме-музее Маяковского в Гендриковом переулке (который тогда был уже, конечно, переименован), т. е. в ещё недавней — надо сказать, шикарной по тем временам — квартире Бриков. Видимо, Асеев стоял у руководства комиссии ССП по литературному наследству Маяковского и хотел — в связи с приближением десятой годовщины смерти Маяковского — раздобыть у старых членов Бригады какие-то документы, и на этой почве шёл торг. Меня занимало, что я сижу на том стуле, на котором сиживал, наверное, Маяковский, за одним столом со знаменитостью, вижу, как его осаживают мои товарищи, как Асеев злится, теряет контроль над собой, говорит глупости — на фоне безукоризненно вежливого Бромберга и доброжелательного, но твёрдого в разговоре моего любимого Лёни Большакова.

В апреле была годовщина смерти «лучшего, талантливейшего поэта нашей советской эпохи». Яхонтову, Кайранской и Журавлёву работы было — выше головы. Спросом пользовались и выступления Бригады. Был торжественный вечер и в легендарном Политехническом. Кажется, я оказался там в первый раз.

На эстраде я увидел героя момента — Асеева: он только недавно выпустил в виде отдельной книги поэму «Маяковский начинается», которая, действительно, была вполне доброкачественным литературным произведением, написанным в хорошей поэтической манере — без подлого лизоблюдства перед властями, без серьёзных фальсификаций биографий и событий. Надо отдать должное Асееву. Он осмелился перенять манеру своего старшего товарища: восхищаться советской властью, но — не на казённый, а на свой, иногда даже несколько рискованный манер. В частности, в своей поэме Асеев в полемическом тоне реабилитировал сподвижников молодого Маяковского — футуристов Василия Каменского и Николая Кручёных (поэтов, по большому счёту, незначительных). Целую главу поэмы Асеев посвятил Хлебникову, поэту странному, но для русской поэзии ценному, о котором официальная критика, начиная с середины тридцатых, цедила сквозь зубы и только вынужденно — в контексте с негаснущим после слов Сталина маяком Маяковским.

Был малоинтересный Кирсанов, рядом сидели реликтовые приободлившиеся Каменский и Кручёных, для которых эта годовщина, казалось, была уникальной, и стала последней в их жизни встречей с большой публикой.

Был Кассиль. Он вспоминал, как в редакции ЛЕФа обсуждалась какая-то редакторская проблема, возникшая при подготовке очередного номера. Маяковский, Асеев и Кирсанов спорили и не могли найти решения. Но тут в комнату просунулся Кассиль и узнав, в чём дело, сразу дал хороший совет. Маяковский сказал: «Мы пахали, мы косили, мы нахалы, мы Кассили». Асеев сказал: «Одного Кассиля ум заменил консилиум». Кирсанов тоже хорошо сказал: «Не найдя, кого осилить, все насели на Кассиля». Впрочем, пересказывая выступление Кассиля в Политехническом, я, не исключаю, что перепутал, какое именно двустипише сказал Асеев, а какое — Кирсанов. Потом рассказ об этом эпизоде я где-то прочёл.

Папины льготы «сотрудника» касались всей семьи. Не только папа, но и мы с мамой получили пропуска в Клуб НКВД. Он помещался (и сейчас, возможно, помещается) в большом строгих форм сером — тогда новом — доме. Этот заметный дом выходит на три улицы: Б. Лубянку (в те времена и долгие годы после она была ул. Дзержинского), Фуркасовский переулок — как раз напротив заднего фасада страшной «Лубянки» — и на малую Лубянку.

Вход в основное помещение клуба был с ул. Дзержинского. С Малой Лубянки был вход в библиотеку клуба. С улицы Дзержинского главный клубный подъезд ничем обозначен не был. Подъезд вёл в большой вестибюль, откуда можно было спуститься в подвальный этаж, где располагалась просторная бильярдная на три или четыре больших стола. Папа часто по выходным ходил туда и вполне успешно два—три часа подряд играл в аристократическую «пирамиду». Плебейская «американка» там была не в моде. Папиными партнёрами обычно бывали люди в форме с синими петлицами.

На втором этаже был огромный зрительный зал и фойе. Вечерами — обычно накануне выходных и в выходные — в зале проходили разные культурно-зрелищные мероприятия: концерты, литературные вечера и даже — целиком — выездные спектакли московских театров. Сцена зала была, по видимому, оборудована по последнему слову тогдашней театральной техники.

В моей памяти остались три театральные постановки: пьеса Горького «На дне» МХАТа, в котором были заняты Москвин и Качалов, «Коварство и любовь» Шиллера из репертуара Малого театра (исполнителей не помню) и «Учитель танцев» Лопе де Вега в постановке Центрального театра Красной Армии. Я не помню, кто играл заглавную роль. Я думал, вспоминая об этом спектакле, что — молодой Зельдин, но вот сейчас заглянул в Энциклопедический словарь, а там сказано, что «Учитель танцев» с Зельдиным был поставлен только в сорок шестом году. Я запомнил такой момент. Старый идалго в кружевном воротнике садится на стул и хочет небрежно закинуть ногу на ногу. Но он так стар и слаб, что у него это не выходит, к нему бросаются слуги и помогают ему занять желательную позу.

Я помню литературный вечер, который целиком был занят тогда очень молодым Сергеем Михалковым с «Дядей Стёпой» и десятками других уже написанных и изданных к этому времени детских стихов. Успех у публики был огромный.

И на спектаклях, и в концертах специфика публики, состоявшей в значительной степени из работников карательных и охранительных органов и из членов их семей, не сказывалась никак: обычная столичная, т. е. вполне культурная публика. Она аплодировала свободолюбивым речам Карла Моора, до слёз хохотала над испанским идалго, была солидарна с Сатиным в том, что человек звучит гордо, снисходительно посмеивалась над Бароном и сочувствовала Актёру.

Правда, один необычный эпизод я отметить могу, но и в нём признаков принадлежности зрителей к особой жуткой профессии вроде не было. Это случилось во время литературного вечера весной 1940 г., в дни, когда повсеместно отмечался десятилетний юбилей смерти Маяковского. О вечере в Политехническом, посвящённым годовщине, я рассказал выше. Клуб НКВД тоже устроил вечер. Гвоздём этого вечера было выступление Асеева с чтением глав из «Маяковский начинается».

За зелёным столом на сцене сидело двое—трое писателей, и среди них — Асеев. Именно из-за Асеева на этот вечер пришёл я сам и привёл родителей. Асеев выступал первым. Он стоял на трибуне и читал очень проникновенно, как это делают почти все, даже посредственные, поэты, декламируя свои стихи. И вдруг на полуслове он был прерван бурными аплодисментами зала. Ошеломлённый Асеев произнёс по инерции ещё пару слов, которых уже никто не слышал, замолчал и стал в замешательстве оглядываться, чтобы понять, что произошло. И понял: из-за кулисы на сцену вышел и спокойно отправился к своему месту за зелёным столом немного опоздавший Алексей Толстой.

Стало ясно: при появлении знаменитого и обласканного властями писателя зал забыл о выступавшем Асееве и встретил вновь появившегося гостя овацией. Дородный Толстой, улыбаясь и жестами приглашая зал затихнуть и вернуться к слушанию поэта, усаживался. Асеев понял в чём дело, резко захлопнул книгу, в которую он заглядывал во время выступления, сбежал с трибуны и стремительно покинул сцену.

Весь описанный эпизод продолжался несколько секунд. Зал опомнился, мгновенно затих, раскаялся и через мгновение разразился ещё более неистовыми аплодисментами — на этот раз адресованными Асееву. Таким способом публика умоляла Асеева её простить и продолжить. Смущённо хлопали и сидевшие за зелёным столом. Наконец Асеев вернулся за стол президиума, но продолжать чтение поэмы не стал.

Я и тогда восхитился и до сих пор восхищаюсь импульсивной смелостью и независимостью характера этого поэта, не считавшего нужным (может — не сумевшим?) подавить свою живую отрицательную реакцию на детское наивное, но — по существу — хамское поведение могущественного зала. Каждый второй зритель в этом зале мог без посторонней помощи стереть этого Асеева в лагерную пыль (это образное выражение принадлежит, кажется, самому Берии) и тут же про него забыть.

Мои товарищи по Бригаде, которым я на другой день рассказал об инциденте, пояснили мне, что столь резкая реакция Асеева на бесцеремонность Толстого (действительно, тот мог бы обождать за кулисами конца выступления Асеева) объясняется и его застарелыми очень плохими отношениями с Толстым.

Вернусь к жизни Бригады. Один раз мы встречались с литературоведом В. Перцовым, как-то — с В. Катаняном. Однажды к нам в музей на собрание Бригады пришла группа студентов ИФЛИ. Среди них был ослепительный Сева Багрицкий. О чём вели переговоры — не помню. Наверное, о пустяках. Но жизнь сделала не пустяком сам факт встречи с легендарными юношами.

Я старался не пропускать вечеров замечательного чтеца Владимира Яхонтова, который исполнял многих авторов, делал интересные композиции и очень разнообразно преподносил Маяковского. Голос у Яхонтова был первоклассным, казалось, что именно так читал сам Маяковский. Хотя внешность у Яхонтова была не столь величественной, как у Маяковского, но, тем не менее, очень привлекательной и артистичной. Ходил я на вечера известных тогда чтецов Людмилы Кайранской и Дмитрия Журавлёва. Но до Яхонтова им было далеко.

...Как и Маяковский, Яхонтов кончил жизнь самоубийством. В 1945-м году он выбросился из окна...

Близость поэтических кухонь могла повести меня по ложному пути, но у меня хватило трезвости понять, что вкладывать мой интеллект и ду-

шевные силы в поэтическое творчество и в сопутствующую ему атмосферу мне ни в коем разе судьбой не предписано. Но расширять сферу моих поэтических интересов меня тянуло. И вот на каком пути это удалось. Моя учительница французского, у которой я начал учиться, расставшись в конце предыдущего года с мадмуазель Жюли, знакомила меня с французской поэзией систематически. Я читал с ней хрестоматию, в которой были: трубадуры и труверы, Малерб, Ронсар, Франсуа Вийон, Лафонтен.

У меня была очень полезная книжка — карманный русско-французский словарь В. В. Потоцкой («Советская Энциклопедия», М., 1934). Я купил этот словарь в большом магазине «Иностранная литература» в 37-м году, когда стал заниматься французским со старой доброй Жюлей.

...Этот карманный словарь сохранился у меня до сих пор, пережив войну и несколько переездов с квартиры на квартиру в Москве, а в 1993-м году и в Израиль! Теперь он довольно потрепанный, ибо всего лет на тринадцать моложе меня самого...

После того, как я стал владеть французским в достаточной степени, мои поездки в книжный магазин «Иностранная литература» на углу Тверской и Тверского бульвара стали регулярными. Я купил там и прочитал автобиографическую книгу французской левой писательницы Эльзы Триоле. Она была женой Луи Арагона, а главное, она была родной сестрой Лили Брик, сыгравшей столько ролей в жизни Маяковского.

В книжке Триоле было много страниц, посвящённых знакомству сестёр с Маяковским ещё в дореволюционной Одессе. Хоть Арагон и был коммунистом (может, и сама Триоле была товарищем мужа по партии), но её тексты, касающиеся Маяковского, были очень далеки от официальных биографических скрижалей. Я имел дополнительное удовольствие от того, что мог порассказать моим собратьям во Бригаде многое из им неведомого. В этом магазине всегда можно было купить газету французских коммунистов «L'Humanite». Несмотря на коммунистическую идеологию этой газеты, там сохранялся присущий Западу, а нам неведомый газетный стиль, и там можно было вычитать то, что в советской печати затрагивать было не принято.

В моём интересе к французской поэзии меня, по крайней мере, в основном, поддержал сам Маяковский. Впрочем, я смею думать, что даже если б Маяковский к французской поэзии относился скептически, я моему возникшему к ней интересу не изменил. Но, по счастью, вперекосьяк с моим поэтом мне идти не пришлось. В его творчестве есть прямое свидетельство восхищения Верленом:

Приподнял шляпу: «Comment ça va,
Cher camarade Verlaine?».

Откуда Вас знаю? Вас знают все. И т. д.

На моём пути от знакомства с французским языком к знакомству с французской поэзией очень хорошим советчиком оказался Женя Агранович, который когда-то в четвёртом классе 58-й школы был руководителем нашего драмкружка. Мы изредка и случайно встречались с Женей и позже, когда он из нашей школы ушёл. Но эти встречи участились после моего вступления в Бригаду. Женя членом Бригады не был, но его там знали, и он многих знал. Возможно, что когда-то раньше он какое-то время в Бригаде состоял.

Иногда Женя соглашался, по своей доброте, на то, чтобы я провожал его в тех или иных перемещениях по городу, и это было необременительно

для обоих, потому что мы жили недалеко друг от друга: я на Арбате, Женя — на улице Воровского (Поварской).

Центр тяжести наших разговоров переместился от театра к поэзии. Женя стал рекомендовать мне прикоснуться к французским символистам — и в переводах русских поэтов, и в оригиналах, используя мой французский. Этот совет упал на удобренную почву: к этому моменту я под руководством моей новой учительницы познакомился с Ронсаром и с Корнелем. Под двумя влияниями я французской поэзией очень увлёкся, стал читать Верлена, Эредиа и Артюра Рембо, которого Женя рекомендовал мне особо и рассказывал его необычную биографию.

Я никак мог (по правде, до сих пор не могу) войти органически в силлабическую систему стихосложения, принятую во французской поэзии из-за особенностей языка: во французском ударения всегда на последнем слоге слова). Наша (и немецкая, и английская) силлабо-тоническая система кажутся мне гармоничней и предпочтительней.

На этом фоне мне очень понравилась поэтика Верлена: читая его, я с удовольствием увидел, что нет, что и по-французски стихи могут звучать почти так же стройно, как и по-русски и по-немецки (английского я тогда не знал). Я увидел, что Верлену за силлабическую систему стыдно, и что он старается её черты свести к минимуму:

La lune blanche
Luit dans les bois;
De chaque branche
Part une voix
Sous la ramée...
O bien aimée. И т. д.

Я начал читать по совету Жени переводы Рембо, сделанные Бенедиктом Лившицем, и очень их оценил. Как тут не помянуть, что Б. Лившица постигла судьба многих. Примерно в те времена, о которых речь, он был арестован, а в 1939 г. погиб в заключении.

Одно стихотворение Рембо, перевода которого у Б. Лившица не было, я перевёл на русский. Это был сонет «Le dormeur du val» — «Спящий в долине».

Я читал и переводил упомянутый сонет с таким напрягом, что и сейчас могу сходу написать его текст по-французски:

C'est un trou de verdure où chante un rivière
Accrochant follement aux herbes des hallions
D'argent où le soleil de la montagne fière
Luit. C'est un petit val qui mousse de rayons.

Хотелось бы выписать сонет до конца, но понимаю, что неуместно. Помню я мой перевод, который выписывать тоже не обязательно. Через несколько недель после окончания работы я порылся в Ленинке в разных редких изданиях Брюсова и в конце концов нашёл у него перевод этого сонета. Я немедленно позвонил Жене по телефону, прочёл оба перевода, и Женя сказал: «твой перевод, конечно, лучше, но...» — и сделал миллион верных замечаний по существу. Женина похвала мне приятна до сих пор, хотя я перестал так уж безусловно верить в преимущества моего перевода перед Брюсовским. Перевод Брюсова я забыл. Может, потому что он, действительно, был хуже моего?

...В 60-м году вышел небольшой сборник А. Рембо на русском. Я, конечно, его купил, и тот сонет там первым делом нашёл — в переводе П. Антокольского. Перевод звучит неплохо, и содержание оригинала и некоторые его образы передаёт. Но... Нет, я не собираюсь в сочинение мемуарного жанра включать фрагменты жанра критического и, тем более, вступать с покойным и уважаемым переводчиком в спор...

К сожалению, мои встречи с Женей Аграновичем после некоторого их оживления на почве французской поэзии снова загасли, но издали я его один раз незадолго до войны увидел. В клубе МГУ на углу Б. Никитской и Моховой был устроен вечер поэзии студентов ИФЛИ. Я был в публике и запомнил среди выступавших только двоих: Женю и Севу Багрицкого.

Я помню, что в тот вечер Женя очень хорошо читал свою длинную поэму под названием «Голубь», но из самой поэмы не помню ни строчки, а в печати она не появилась. Не запомнил я и того, что читал Сева. Не говоря об остальных выступавших. А среди них были, по-видимому, и те, которые стали потом трагически знаменитыми — Коган, Кульчицкий.

...Потом мы встретились с Женей уже после войны — в марте 1951 г. Директор 58-й школы решил устроить встречу выпускников — чуть ли не с 20-х годов. Хотя наша 58-я школа в Кривоарбатском была закрыта с осени 1940-го, но вся она не умерла: 58-й номер — в пику известной из частушки рифме — не помер, а был присвоен новой школе, построенной в Б. Афанасьевском переулке. Директор воскресшей 58-й, взволнованный очкастый еврей, решил обзавестись на халяву собственной историей и традицией, объявив себя, с одобрения властей, единственным и законным преемником школы в Кривоарбатском.

Собралось довольно много людей. Часов в девять вечера, после всех торжественных и художественных выступлений дети, современные школьники, разошлись. Остались взрослые и пожилые выпускники, в буфете стали продавать водку, и всё потеплело. Мы с Женей вдвоём (почему так вышло, я уже не помню) устроились с бутылкой водки за одним из столиков школьного буфета и поговорили от души лет на пятнадцать лагерей строгого режима (по тогдашним ценам) каждому. Из того, что никого из нас не посадили, я вывожу, что ни он, ни я стукачами не были. Но, к моему удивлению, презрение к режиму странным образом перемежалось в Женином сознании с восхищением его достижениями в области строительства величественных сооружений. В ответ на мои доводы, что эти сооружения создаются силами заключённых, да ещё, в большинстве, невинно заключённых, Женя заплетающимся пьяным языком твердил: «Но послушай, старик, ведь Великие стройки коммунизма в веках останутся!». За пару месяцев до того в газетах с необычайной помпой объявили и славили проекты насаждения лесозащитных полос и — уж не помню каких — преобразований природы в Сибири и в иных местах, получивших употреблённый Женей титул.

Людам свойственно одобрять сделанные в прошлом приобретения, хоть за них заплачена и горькая цена. Кто сейчас осуждает фараонов, римлян, Петра Великого, подаривших потомкам пирамиды, дворцы и дороги, божественный Петербург? Кто сокрушается о загубленных жизнях рабов, кости которых лежат в археологических слоях земли под этими великими памятниками? Кто сейчас думает о том, что когда-то эти слои были не археологическими, а чуть ли не выходили на поверхность?

Один раз я приметил имя Жени в титрах популярного в пятидесятые годы фильма «Возраст любви» с Лолитой Торрес. Оказывается, он был

автором русских текстов песен, которые пела тогда вся наша страна: «Каимбра — студенческий город...», «Если ты в глаза мне глянешь...».

Как-то в пору выхода этого фильма я случайно встретился с Женей в коридоре вагона «Красной Стрелы». Я ехал в одну из командировок в Ленинград, которые я любил выдумывать себе, потому что этот город обожал и обожаю (не возмущаясь, а восхищаясь Петром). Женя, как выяснилось, очень свои песенные переводы ценил, скандировал их, приглашал меня восхититься особо удачными местами.

Ещё несколько слов в контексте с «Возрастом любви». Университетский город Каимбра возник в нашей с Машей жизни всего два раза. Сперва он вышел из небытия в результате Жениного поэтического сообщения о том, что «Каимбра — студенческий город...». А лет через двадцать пять после этого почётным доктором Каимбрского Университета стала наша близкая (к сожалению, теперь уже покойная) приятельница Елена Вольф. Она была крупным учёным в области романских языков и литературы, в частности, португальской. Она показывала нам полученные ею золотую цепь с медалью и свёрнутый в свиток и хранящийся в специальном круглом футляре диплом. На одной стороне медали было выбито имя дипломанта, а на другой — на непонятной латыни — «Дороже золота». После чего Каимбра снова ушла в туман.

В конце 92-го или в начале 93-го я прочитал в журнале «Столица» Женин очень хороший рассказ из его фронтовой жизни. А в 1997 г. я, сидя в нашей Иерусалимской квартире перед телевизором, смотрел очередной выпуск передачи «Старая квартира». Эта была многосерийная передача об истории советского общества, начиная с послевоенного года. Каждому году обычно посвящалось одна-две передачи. Передача построена так, что ведущий на сцене объявляет очередную тему из области политики, духовной и материальной культуры, спорта и пр. и приглашает людей из публики — участников и очевидцев — поделиться своими знаниями и впечатлениями. В публике обычно оказываются известные люди тех лет, многие из которых знают то, что тогда известно не было. Иногда эти беседы дополняют тогдашними кинокадрами. В тот раз серия была посвящена 1954 году.

И вдруг я увидел на экране старого Женю Аграновича. Потому что широкая демонстрация Лолиты Торес в «Возрасте любви» приходилась на 1954-й год, и кто-то надоумил ведущего пригласить на передачу Женю, теперь — восьмидесятилетнего, с бородой. Женя рассказал о том, как делался фильм и ещё что-то. Я узнал, что Женя — автор переводов текстов песен ещё из многих известных фильмов. Но мы о Женином авторстве и не подозревали. Я написал Жене письмо и нашёл способ передать его адресату.

Оказалось, что Женя живёт один в квартире в Доме Драматургов около метро «Аэропорт». Он вспомнил меня, поговорил одобрительно обо мне с моим курьером, вручившем ему моё письмо (это была наша с Машей близкая приятельница, разыскавшая его адрес через Телевидение) и передал для меня вышедшую незадолго до того книжечку своих стихов, написав на титульном листе несколько тёплых дарственных слов.

На одной стороне обложки был портрет известного мне молодого Жени, а на другой — портрет старого Жени, которого я мельком видел в телевизоре. Как я понял, это был первый сборник, который Жене удалось выпустить в свет — по-видимому (судя по тиражу всего только в 1000 экземпляров), за свой счёт. Большинство стихов там были превосходные.

Я ответил на этот дар новым письмом, в котором выступил рецензентом полученной мной книжки. Женя позвонил нашей приятельнице и снова тепло поговорил обо мне, об Эде и Тамаре, но письма мне не написал, и этот контакт, как и предыдущие, оборвался. Теперь уж, наверное, навсегда. Очень уж мы с Женей стары — и глядь, как раз умрём...

Тогда, в девятом классе, на фоне занятий Маяковским и поэзией вообще я продолжал много читать. Главное впечатление из прочитанных в том году книг на меня произвёл «Тихий Дон» Шолохова. Это был не только захватывающе интересный роман. Это была эпопея уровня «Войны и Мира». В нём был нечастый в советской литературе двухпланый подход к изложению событий предреволюционных лет, германской и гражданских войн. Излагались чувства и чаяния и врагов и сторонников советской власти. Правда последних одолевала, но — доказательно и убедительно. Я столь зрелой книги в советской литературе не видел. Подогретый «Тихим Доном», я бросился читать ещё и «Поднятую целину». Но эта книга оставила меня холодным. Даже чудачества деда Щукаря меня не веселили.

Кончился девятый класс. Новые каникулы — новые надежды на новые впечатления.

ГЛАВА 9

Три дня в Ленинграде у Юры Оксман. Дом отдыха в Луге. Отдыхающие охранники. Таня и Хлебников. Молодая компания. Люся и Лида. Дангауровка. Десятый класс в 73-й школе. Снова Герман Карлович. Мария Спиридоновна. Пётр Яковлевич. Ирма Робертовна и её ассистентки. Библиотека клуба НКВД. Эдя помогает Шостаковичу. Концерты в Москве. Предвоенные настроения. Вечер немецкой поэзии в школе. Несостоявшийся конкурс и моё вступление в ВЛКСМ. Сталин с генералами за мир не пьёт. Моя ссора с классом. О Володе Кяо.

У НКВД, как и у всякого советского ведомства или учреждения, были свои санатории и дома отдыха. Летом сорокового года папа купил мне и маме путёвки в ведомственный дом отдыха в Луге. Мне купили путёвку на два срока по 24 дня, а маме — только на второй. Так что отправился я в Лугу один.

Это было моё первое самостоятельное путешествие в другой город, да ещё в какой! Впрочем, в дачные подмосковные места я начал ездить без взрослых года за четыре до этого. Кроме радости от предстоящего знакомства с Ленинградом, мне предстояла радость от новой встречи с Тётей Катей и Юрой, которые после предыдущего лета в Святошине заняли прочное место в моём сердце. Тётя Катя и Юра радушно пригласили меня и маму пожить у них по дороге и в Лугу, и обратно. Я уцепился за эту возможность, поехал в Ленинград на несколько дней раньше «даты заезда» в дом отдыха и прожил эти дни у моих милых родственных женщин.

Их семья занимала две большие комнаты в трёхкомнатной коммуналной квартире на пятом этаже большого серого шестиэтажного дома на углу Лиговки и Свечного переулка. Это в двух трамвайных остановках от Московского вокзала. Их соседка по коммуналке почему-то почти всегда бывала в отъезде, и я ни в этот, ни в последующие мои приезды в Ленинград её ни разу не видел. Юрина семья чувствовала себя свободно во всей квартире.

Было начало июля. У Юры были уже каникулы, но они с Тётей Катей оставались в городе. Машенька была, помнится, на даче у кого-то из родных её отца. Сам отец Машеньки к своей дочери никакого интереса не испытывал.

Я чувствовал себя с Юрой на равных, тем более, что она никогда не ставила меня на место, ничем не давала мне понять нашу разницу: она — молодая цветущая женщина, имевшая опыт замужества, причём, по её рассказам, это был не первый её любовный опыт, а я — желторотый подросток, на счету которого были лишь два невинных школьных романа.

Несмотря на то, что мы вписывались в известную схему (опытная скучающая женщина и восторженно глядящий на неё ничему не обученный подросток, да ещё живущие в одном доме) в наших отношениях никакого сексуального начала не было. Повелось другое, очень для меня привлекательное.

Мы откровенно (с моей стороны это было чистой монетой, а Юра, может, лишь создавала у меня такое впечатление, а, может, так оно и было — тоже без обмана) обсуждали «личные» дела, причём, как я уже сказал, Юра бросала на этот алтарь дружеской откровенности гораздо больше информации, чем я, да и была Юрина информация гораздо полновеснее моей.

Каждый из всех тех трёх или четырёх дней, которые я провёл в Ленинграде до отъезда в Лугу, начинался с того, что Юра вывозила меня в какое-нибудь примечательное место города: или в музей — Эрмитаж, Русский музей, Петропавловскую крепость, — или к мостикам через канал Грибоедова, или на улицу Зодчего Росси. Юрино историческое образование и великолепное знание города, патриоткой которого она, как и большинство его жителей, являлась, делало её превосходным гидом. Экскурсия длилась несколько часов. Иногда мы возвращались домой вместе. Иногда Юра оставляла меня в какой-то момент одного, дав на прощание советы и инструкции, а сама уезжала по своим делам, и мы встречались только вечером дома.

В Юрину школу жизни, которую она де-факто устроила для меня, входила и процедура её подготовки к выходу из дому. После завтрака, ещё в домашнем халате, Юра открывала шкаф, вынимала по очереди и раскладывала на кровати свои туалеты и вслух рассуждала, приглашая меня принять участие в обсуждении темы: что ей надеть — по погоде и по тому, куда мы направляемся и где ей придётся быть ещё в этот же выход. Потом она высылала меня в другую комнату, надевала проектируемый вариант, звала меня обратно, гляделась в зеркало и советовалась со мной. Бывало, что вариант заменялся другим, причём речь могла идти и о безделице: пояс или шарфике на шею.

Как-то, оглядывая Юру, демонстрировавшую мне, в чём она собирается выйти, я сказал, что да, очень красиво, но юбка немного слишком прозрачная, и при некоторых ракурсах позволяет явственно видеть на просвет её ноги сильно выше колена (в свете тогдашней скромной моды это зрелище было экстравагантным). На это моё соображение Юра отвечала: «Ну, за ноги я спокойна!». Ноги действительно были безукоризненные. Юрина выразительная формула до сих пор применяется мною и моими близкими для обозначения чего-то доброкачественного, хоть и выходящего за общепринятые рамки.

Мы садились с Юрой либо в трамвай № 4 («четвёрку», как говорят в Ленинграде) или в автобус «тройку». И тот и другой поворачивали у Московского вокзала с Лиговки на Невский и доезжали по крайней мере до Дворцового Моста. Таким способом мы достигали главных классических пунктов.

Юра успела мне показать арку Главного Штаба и Дворцовую площадь, Адмиралтейство, Марсово Поле, набережные Невы и Летний сад. Мы гуляли с ней по Невскому, сидели около Александринки в скверике с фигурой Екатерины и посетили ещё некоторые знаменитые места на этой стороне Невы. Юра подводила меня к Бирже и к Ростральным колоннам и вводила в здание Университета, исторический факультет которого она недавно окончила. Конечно, за короткий срок увидеть можно было не очень много. Юра ограничилась, в основном, местами, связанными с периодом от основания города до начала девятнадцатого века.

По Эрмитажу и по Русскому музею, к которым меня подвозила, а потом уезжала по своим делам Юра, я побродил самостоятельно и без особого

пиетета. Я тогда был под влиянием эстетических позиций Маяковского, который к музейной пыли относился скептически, отдавая приоритет живой современной жизни, революционным преобразованиям в сознании людей и прочим энергичным стремлениям. И я вместе с моим кумиром ненавидел всяческую мертвечину и обожал всяческую жизнь.

Поэтому настоящее знакомство с шедеврами живописи и скульптуры, которыми владеет Петербург, и понимание культурной и художественной роли знаменитых хранилищ состоялось у меня уже во время моих многочисленных последующих приездов в этот город. Но это было уже после войны.

Было тёплое солнечное лето, и пешие прогулки по набережным и улицам были мне приятнее всего. Как-то мы двигались по Невскому, и Юра вдруг выразительным шёпотом приказала: «Возьми меня под руку». До этого мы шли рядом, но я послушался приказа и взял. В те времена под руку ходили супруги или влюблённые, между которыми — мир, любовь и перспектива. Бытовавший термин «ходить под ручку» был весьма многозначительным. Через двадцать метров Юра сказала: «Спасибо, достаточно» — и выдернула у меня свой локоть. Свои команды Юра тут же пояснила: она увидела, что навстречу нам в толпе шёл некий небезразличный ей мужчина, и Юра сочла полезным, чтобы этот мужчина видел, как Юра идёт под руку с другим мужчиной. Мой высокий рост делал меня вполне подходящим статистом для спектакля, мгновенно задуманного и срежиссированного коварной и опытной Юрой.

Такие Юрины выходки и откровенные комментарии к ним делали нашу дружбу ещё теснее и доверительней. После нескольких дней столь полноценной и восхитительной жизни Юра посадила меня в поезд, отходящий с Витебского вокзала, и я отправился свершать ещё один виток моей новой самостоятельности.

Дом отдыха НКВД (или, может, только ГУЛАГа) в Луге ничем не отличался от средних советских массовых домов отдыха, что-то вроде этого я видел в Ермоловском и в Алексине (адвокатский в Звенигороде был камернее и аристократичнее). И в доме отдыха НКВД отдыхающие были расселены не по семьям, а по полу: были комнаты мужские и женские.

В комнате, в которой жил я, было человек десять. Среди них не было ни одного образованного человека. Это были молодые энергичные вырвавшиеся из семейных уз мужчины, главным интересом которых были связи с женщинами — из тех, кто отдыхал в этом же доме отдыха или в доме отдыха ткачих, располагавшемся в двух—трёх километрах от нашего.

По вечерам перед сном мои соседи между собой беседовали. Большинство — о своих сегодняшних похождениях, которые носили явно жеребьячий характер. Иногда они упоминали тот или иной эпизод из своей служебной практики или обсуждали какого-нибудь своего начальника или сослуживца. Из этих разговоров я понял, что мои соседи, в основном, служат в лагерной или в тюремной охране. Заключённые в их разговорах, как правило, не фигурировали. Я помню только одно исключение. Один отдыхающий — миловидный невысокий человек с украинским говорком вдруг привлёк своим рассказом моё внимание. Он описывал, как вошёл в камеру и избил заключённого. Тут же он пояснил свой мотив: «А чога он, сука, смотреть и мовчить?». Его собеседники слушали его с сочувственными репликами.

Этот же миловидный тюремщик делился с товарищами своим конфликтом с женой. Он жаловался на её холодность в постели. Его товарищи

по работе ему, оказывается, рассказывали с техническими подробностями о тех удовольствиях, которые им доставляли их жёны. Он попробовал потребовать таких же удовольствий от своей, но не получил желаемого, и делился с собеседниками по комнате в доме отдыха своими справедливыми претензиями. «Так я ей говорю: чому ж ты не подбрасываешь? А вона в ответ — ничего не говорит». И в этом конфликте все охранники из нашей комнаты миловидному своему другу посочувствовали.

Я был теоретически вполне подготовлен к пониманию содержания и смысла подобных разговоров, но практик я был никакой. Более того, у меня и мысли не было, что интимные отношения могут быть привлекательны сами по себе, без всякой духовной близости. В моём эмоциональном и культурном сознании, воспитанном литературой и средой, духовная и физическая близость были столь неразрывно связаны, что при отсутствии сердечной и интеллектуальной любви физическая близость не была даже желанной. Хотя любопытство к сексуальной тематике у меня было, и слушая разговоры отдыхающих мужчин, я своих ушей не затыкал.

Как-то вечером после ужина я разговорился, сидя в беседке на высоком берегу озера, с миловидной молодой женщиной. Её звали Таня, она была лет на восемь старше меня. Я узнал, что она приехала в дом отдыха из какого-то лагерного края. Там она работала в плановом отделе местного управления ГУЛАГа. Выяснилось, что Таня часто видит на проходящих из Центра бумагах фамилию моего отца.

Таня не скрывала, что ей лестно беседовать с сыном крупного московского начальника. Роль, в которой я вдруг оказался, мне тоже была приятной. Таня спросила меня о моих планах после окончания школы. Я отвечал добросовестно и подробно. Я почувствовал к Тане доверие и симпатию, и в конце концов выразил это своеобразно: я начал рассуждать на ту тему, что молва о Хлебникове, как о поэте заумном, несправедлива. В подкрепление своего утверждения я прочитал Тане стихотворение:

Что ты робишь, печенеже,
Молотком своим стуча? —
О, прохожий, наши вежи
Меч забыли для мяча!
В день удалого похода И т. д.

Таня не знала поэта с такой фамилией, но слушала меня участливо и с поощрительной улыбкой. Вскоре мы распрощались и условились на другое утро поехать вместе на лодке. Я ушёл спать в свою густонаселённую комнату.

Местность, в которой располагался наш дом отдыха, была лесистой и холмистой. От нашего дома отдыха к Луге и к другим домам отдыха и пионерлагерям вели лесные дороги — одни пошире, другие — поуже. Озёр было много. Каждый дом отдыха или пионерлагерь стоял на берегу своего озера.

Наше озеро имело вытянутую форму: метров сто в ширину и километра три в длину. С плато, на котором были расположены постройки нашего дома отдыха, к берегу озера надо было спускаться на несколько десятков метров по тропинкам или по деревянным ступенькам с перилами. Под нашим плато был незамысловато оборудованный травянистый и песчаный пляж и лодочная станция. Лодок было много, их давали бесплатно и на неограниченное время.

До приезда в дом отдыха в Луге я на килевых лодках не грёб. Мой опыт ограничивался плаванием на плоскодонных байдарках на Пионерских прудах в ЦПКиО им. Горького. В доме отдыха адвокатов в Звенигороде лодки занимали важное место в наших удовольствиях. Там они были килевые. Но я на вёсла не садился, ибо продолжал выполнять ограничения врачей после ревмокардита.

В первое же утро в Луге я храбро взял лодку. Смотритель выдал мне пару вёсел и снял замок с цепи, удерживающей у причала ту лодку, которую он мне предназначил. Когда я с вёслами в руках в лодку вступил, то тут же едва не упал в воду: лодка от моей неловкости закачалась, а вёсла в руках делали меня почти неспособным держать равновесие. Я всё же удержался, сел на нужную лавочку и вставил уключины в гнёзда. Первыми же гребками я поднял фонтаны воды, которые обрызгали меня самого и образовали лужу на полу лодки. Вечером на моих ладонях вскочили кровавые мозоли.

Но, несмотря на плохое начало, искусством народной гребли я овладел за пару дней: до всего дошёл своим умом и поднаторел. Я уже не брызгал вёслами, мог довольно быстро двигаться вперёд и назад, поворачивать и тормозить. Я научился табанить. Мозоли на ладонях почти зажили. Так что к намеченной моей лодочной прогулке с Таней я был профессионально готов.

После завтрака мы встретились, я взял лодку, уверенно в неё вошёл, дал руку даме и помог ей сесть на носу лодки лицом ко мне. Я направил лодку в дальний конец озера, где, как я уже знал (а может, знала и Таня) берег порос густым лесом. Уж не помню всего, о чём мы болтали по дороге. Таня выражала своё удовольствие от водного путешествия и делала комплименты моей гребле.

Через некоторое время мы оказались на противоположном конце озера. Я разогнал лодку, и она, чуток вспрыгнув на песчаный берег, остановилась. Я выскочил из лодки и помог выйти Тане. Потом я вытащил лодку на берег так, чтобы её не унесло, и мы пошли по узкой тропинке вглубь прочь от берега. Я продолжал просвещать Таню относительно русской поэзии, и Таня слушала меня внимательно и благодарно.

Через полчаса мы вернулись к нашей лодке, добрались до нашего пляжа, и я ещё успел до обеда выкупаться. Больше в этот день с Таней я не встречался, и никакой договорённости о прогулке на завтра не возникло. А я бы не прочь продолжить с ней разговоры на интересующие меня темы, тем более, что я чувствовал, что нашёл в Тане понимающую слушательницу. Мне льстило, что молодая привлекательная женщина благосклонна ко мне.

Когда на другое утро после завтрака я вышел к берегу в надежде встретиться с Таней, то увидел ещё сверху, что от лодочной станции отплывает лодка, а в ней — на носовой скамейке, как вчера в моей лодке — сидит Таня. На вёслах был мужчина в майке. Энергичными взмахами он погнал лодку к дальнему концу озера. Я на эту картину смотрел с чувством ревности и обиды. В обед я столкнулся с Таней в столовой. Она сердечно поздоровалась со мной и прошла мимо. С тех пор мы при встречах только кивали друг другу головой. Поэзия, видимо, стала интересовать Таню не столь живо, как она это в процессе общения со мной поначалу показывала.

Я, хоть и лишившись Тани, продолжал каждое утро несколько часов проводить в лодке. Одиночеством этим я несколько не тяготился, а наобо-

рот, наслаждался, и компаньонов ни того, ни другого пола себе не искал. Острое восприятие природы, которое я осознавал — близость воды, обрамлённые зеленью берега, неспешнодвигающиеся причудливые облака, тёплые, несомненно благотворные для моей кожи лучи солнца, а также приятное спокойное течение мыслей, которые казались мне оригинальными и значительными — все это приводило меня в состояние, которое я тогда мысленно формулировал так: «праздник тела и души». Мне казалось, что эти мгновения я запомню и буду возвращаться к ним в течение своей последующей жизни — столь долго, сколько мне уготовано жить и соображать. Это тогдашнее ощущение меня не обмануло. Действительно, я до сих пор, хоть и стал стар, время от времени вспоминаю ту лодку, озеро, начинавшего жить меня и ту мою формулу.

Кроме лодки, был ещё один вид спорта, который меня увлёк: бильярд. В доме отдыха был павильон с несколькими большими столами, были партнёры. Сказался даже тот небольшой опыт, который я получил во время зимних каникул в Звенигороде. Я, хоть и был близорук и играл только в очках, скоро вышел на приличный уровень и стал считаться сильным противником. Там все играли в самый простой вариант бильярда — в «американку»: номера шаров не использовались, кием можно было толкать любой шар и пр. В бильярдной я проводил почти все вечера — до тех пор, пока не вошёл в молодую компанию и не стал вести более подходящий для моего возраста образ жизни, который можно обозначить как «прогулки при луне».

Большинство детей сотрудников ГУЛАГа примерно моего возраста, отдохавшие в Луге по путёвкам, которые им достали родители, вполне принадлежали к тому же кругу молодёжи, с которым я общался в Москве. Исключением был одессит Яшка Брегман. Он был очень высоким и широкоплечим, довольно красивым, но исключительно циничным и вульгарным юношей, демонстративно не интересующимся никакими культурными материями. Его отец был крупным одесским тюремным начальником, и Яшка своими манерами демонстрировал нам, москвичам и ленинградцам, повадки людей этой категории. О грубости своего отца и о его суровости, адекватной его должности, Яша говорил с удовольствием и горделиво. Он только что кончил десятый класс и собирался в какое-то училище папашиного ведомства.

Об одесском флёре я тогда знал из литературы и эстрады: кое-что из Багрицкого, немного — из Паустовского и из Леонида Утёсова, которого я тогда за хорошего артиста не держал, ибо всякая не классическая музыка представлялась мне противной и некультурной. Бабель, без которого, в сущности, нельзя получить полновесное представление об одесском духе, к моменту моих юных лет был уже уничтожен и не публиковался. Яшка же надолго внушил мне к Одессе антипатию.

Да, и одессит Утёсов меня тогда раздражал. От его приблатнённого говорочка и разухабистых мотивчиков в те годы укрыться было совершенно невозможно. Почти как от докладов Сталина. Утёсов звучал и из патефонов, и подавался на дом через трансляционную сеть, и гремел из уличных динамиков. Всё пело: «Легко на сердце», или «Сердце, тебе не хочется покоя», или «Всё хорошо, прекрасная маркиза», или «Ах, что такое движется там по реке?».

Впрочем, надо признать, что «Прекрасную маркизу» советская власть вполне могла объявить пасквилом на государственный оптимизм, а автора — уничтожить. А на песню про пароход мои товарищи по Бригаде

Маяковского Шура Гринберг и Лёня Большаков сочинили пародию:

Ах, что такое движется там вдалеке?
И при этом ужасная, глупая, мерзкая, дикая харя?
Ах, что такое движется там вдалеке,
И при этом, всё машет и машет огромным платком?
Это мой дядя к нам в гости идёт,
В гости идёт, в гости идёт,
С тётушкой вместе к нам в гости идёт,
В гости идёт, в гости идёт.

На высоком фонарном столбе, стоявшем между столовой и волейбольной площадкой, был укреплен мощный динамик, через который местный культработник крутил то уже упоминавшуюся «На газонах центрального парка», то забавную, но безумно надоевшую песню Утёсова про корову, съевшую букет, приготовленный лирическим героем для его возлюбленной:

...Что-то я тебя, корова,
Толком не пойму! И т. д.

...Моя отчуждённость от Одессы сменилась постепенно её обожанием. Оно началось после того, как жизнь свела меня в конце 44-го года с одесситами — родителями моей первой жены — и продолжилось в последующие годы. Его укрепляли многочисленные посещения этого драгоценного города. А ещё позже я понял, как ошибался в своём категорическом неприятии и одессита Утёсова. Я понял, что произведение в жанре песни или романса оценивается не только по его непосредственному музыкальному и литературному качеству, но и по той социальной роли, которую ему доводится играть. А эта роль может быть высокой даже при скромных художественных достоинствах...

Кроме Яшки в компанию входили ещё двое или трое молодых людей лет по 17—20. Они были из Москвы, и с ними вполне можно было иметь дело. Они находились на близком к моему культурном уровне, у нас были близкие культурные интересы и запросы. Ничто в них детей ГУЛАГа не обнаруживало. Уж не знаю, случайность это была или закономерность, но эти мальчики тоже были евреями. Впрочем, наша национальная общность ни нашего, ни других отдыхающих (по крайней мере, вслух) внимания не привлекала и в темы наших разговоров не входила.

С какого-то момента дирекция дома отдыха поселила нас, человек пять или шесть подростков, отдельно в сравнительно небольшой комнате. Разговоры в этой комнате были более цивилизованными, чем среди взрослых охранников, с которыми я жил первые недели, но и эти мои сверстники не чурались походов в дом отдыха ткачих и романов с молодыми женщинами из нашего дома отдыха. Не дураки они были на эти темы и поговорить и похвастать. Я слушал их с интересом, но вовлечься в сходную жизнь у меня и в этот период жизни в Луге не тянуло.

У меня дело повернулось по другому. Вернее, по привычному, по московскому. Опыт гимназических поцелуйных романов у меня был, и только он-то мне и понадобился. Я сдружился с двумя девушками года на два старшими меня. Они учились в московских вузах. Одну из них звали Лида Громова. Её отец был начальником московской противопожарной службы. Другую звали Люся Шубина. Отец Люси к мрачной сути ГУЛАГа был как-то ближе. Подробностей не знаю, ибо разговоров про родителей почти не было.

Обе мои подруги, как ни верти, были еврейками. Лида была крупной и весьма грузной брюнеткой, но её молодость делали эти недостатки не очень уж существенными, тем более, что её лицо было миловидным, глаза вдумчивыми и внимательными, а речи — остроумными и интеллигентными. Люся, наоборот, была худощавой красивой шатенкой среднего роста. И ей была свойственна интеллигентность речей. Лида и Люся были знакомы и в Москве — или по родителям, или по школе, или по общим делам в клубе НКВД.

Я не помню, что стало поводом для знакомства. Но то, что мы — одного поля ягодки, сразу нам всем троим стало ясно. Эти девушки знали музыку и литературу, интересовались театром и хаживали в музеи. С ними конфуза, как с Таней, не случилось. Их действительно заинтересовал Хлебников, и тот мой культурный багаж, с которым я у Тани успеха не имел, здесь послужил мне на пользу: меня уважали и мне симпатизировали.

Чтобы подчеркнуть особый характер нашего тройственного союза мы называли друг друга диковинно звучащими псевдонимами, получившись из наших настоящих имён перевёртыванием. Я стал Арю Суминорег, а мои приятельницы назывались Ясюл Анибуш и Адил Авоморг. Эти имена звучали на манер имён персонажей писателя Александра Грина, который тогда вдруг вошёл в моду под влиянием пропаганды Константина Паустовского, описавшего в книге «Романтики» и в нескольких своих очерках образ этого странноватого, не от мира сего, человека.

Редкие случаи снисходительности советской власти к людям, которые не служили ей непосредственно, или служили на свой, слишком оригинальный манер, были непредсказуемы. Так, советская власть не тронула не влезавшего в общую обойму Грина, да и самого Паустовского, но уничтожила преданных ей Мейерхольда, Бабеля и ещё миллионы. Осведомлённость о творчестве и о личности Грина была паролем, удостоверяющим: «Я — свой». Мы все трое этот пароль знали.

...Через немного лет после этого лета я в Грине разочаровался, и его из числа моих литературных кумиров удалил. Значительную роль в пересмотре моих литературных вкусов сыграл мой первый тесть Абрам Миронович Лопшиц. Как это ни странно звучит, но сильное влияние на формирование моих литературных пристрастий — ещё до появления в моей жизни Абрама Мироновича — оказывал Александр Маркович Колмановский — задолго до того, как он стал (увы, уже после своей кончины) моим вторым тестем...

Треугольник, который я с двумя девушками образовывал, совершенно никак нельзя было назвать любовным. Все точки над *i* были поставлены моими подругами сразу. Выяснилось, что и у Люси, и у Лиды были где-то в войсках женихи, и на мой взгляд это исключало что бы то ни было далеко идущее. И они, очевидно, считали так же.

К этому времени в дом отдыха приехала на свой срок мама. Утром я один или с мамой бороздил на лодке озеро. Потом я купался — один или в своей мальчишеской компании. Где проводили время Лида и Люся, я и не знал, и не интересовался. В столовой мы сидели за разными столами. Я сидел за одним столом с мамой. Я с девушками большей частью встречался после ужина, в начале девятого, и мы проводили вместе время до полуночи и позже, бродя по тропинкам в лесу и над озером. Мы разговаривали о всякой всячине. Но больше — не о наших личных делах, а о важном — о знаменитых людях, театре, музыке, прозе и поэзии. Я читал стихи и рассказывал о моих замечательных друзьях по Бригаде Маяковского.

Как-то мы гуляли по берегу и собирались сесть на скамейку. Девушки попросили меня сесть в серёдку и обнять каждую. Я это с удовольствием сделал, доставив очевидным образом удовольствие и им. После этого случая оставшиеся нам до конца отдыха дни мы садились в какой-то момент нашей прогулки именно так. Девушки объяснили мне, что такая лёгкая близость помогает им сохранить верность своим женихам. Я к этим словам отнёсся с пониманием и был рад оказать им столь важную услугу. Я не помню сейчас, кто уезжал из Луги первым. Мы попрощались сердечно и с благодарностью друг к другу. Но в Москве наше знакомство не продолжилось. Не было даже ни одного телефонного разговора. Да мне Лида и Люся не больно-то были в Москве нужны.

От момента моего возвращения из Луги до начала учебного года оставалось несколько дней, и я чуть не ежедневно ездил в Дангауровку, где на даче жила Бабуся с её маленькой внучкой Танечкой. Приятной была сама поездка на автобусе из Центра Москвы, приятно было побыть около родной Бабуси, но главным удовольствием для меня был Дангауровский пруд. После Луги я чувствовал себя повзрослевшим, завязывал на берегу знакомства с молодыми компаниями и с удовольствием ждал начала учебного года, который сулил много нового.

Дело было в том, что 58-я школа, в которой я проучился девять лет, была ликвидирована. Все её классы были разведены по разным другим школам микрорайона. Из части учеников двух девярых классов нашей школы «А» и «Б» был образован десятый класс, который был введён в качестве 10-го «Г» в 73-ю школу, что стояла на углу Арбата и Серебряного переулка. В этот класс попали все близкие мои соученики и я с ними. Уже одно это событие сулило много интересного.

Но Эдя в новую школу не пошёл. После девятого класса Эдя общеобразовательную школу оставил и стал учиться в музыкальном училище Гнесиных по классу композиции у Евгения Фабиановича Гнесина и Фабиана Витачека. Он был полностью ориентирован на классическую и современную симфоническую и камерную музыку.

Произошли изменения — как со знаком плюс, так и со знаком минус — в составе учителей. С нашим прекрасным физиком Александром Михайловичем Никитиным мы, к сожалению, оказались разделёнными. В новой школе была своя учительница физики. Её имени я не помню, а помню только прозвище. Внешность у неё была вполне пристойная, но называли мы её Крокодилом — за свойства души.

К нашей большой радости, нашим учителем снова стал Герман Карлович Гилле, и это обстоятельство сыграло большую роль в том, что я укрепился в моём намерении и после десятого подал заявление на мехмат МГУ. Преподавательницей истории и классной руководительницей у нас была перешедшая из 58-й школы Мария Спиридоновна Чуклова. Это была мягкая и доброжелательная женщина, которой, к сожалению, выпало преподавать нам новейшую историю СССР, и она не могла (наверное, у неё такого желания и в мыслях не было) отклоняться от той лжи, на которой зиждилась официальная программа.

Новым был учитель литературы: Пётр Яковлевич Качин. Ему было сильно за сорок, а может, и чуть за пятьдесят. Он вёл свой предмет грамотно, но без энтузиазма, и наших симпатий не вызывал. Слишком уж хладнокровно говорил он он моём кумире Маяковском, слишком уж равнодушен был он к Брюсову и к Блоку, входившим в школьную программу.

Боря Кулес стал студентом мехмата. Мы продолжали встречаться, но по переулкам уже не шатались, а время от времени — не часто — ходили в «Коктейль-холл» на улице Горького. Там подавали несколько видов не очень крепких коктейлей, кофе, мороженое и пирожные. Мы с Борей заказывали только коктейли. Заведение это считалось аристократическим, и туда большого наплыва посетителей не было. В неторопливой беседе мы проводили с Борей пару часов.

Иногда за одним из столиков заведения мы видели Михаила Юльевича Левидова. Он нас, наверное, не очень помнил и со своей дочерью Майей не связывал. Да и каждый из нас был с Майей в этот момент не очень уж связан. Для Бори она, действительно, была только в прошлом. Ну а мне предстояли ещё многие годы волнообразной — то усиливавшейся, то ослабевавшей, то снова усиливавшейся — дружбы с этой замечательной женщиной...

В новой школе у меня началось нешуточное увлечение немецким языком. Тот немецкий багаж, которым я располагал, был вложен в меня занятиями в дошкольной немецкой группе и в школе с шестого по восьмой классы на уроках Шаховской. Тогда мы в языке продвигались: у Шаховской с этим было строго. В девятом классе Шаховскую у нас почему-то забрали. Говорили, что она перешла в классы с французским языком, а немкой нам дали совсем невыразительную, щуплую и слабовольную даму по фамилии Смоленская. Глядя на то, как почти семнадцатилетние лоси и лосихи полностью игнорировали все её попытки привлечь их к её предмету, а то и просто не замечали присутствия робкого преподавателя в классе, Смоленская только вздыхала. А после какой-то особо дерзкой выходки классного наглеца Юрки Белявского она прошептала так, что слышно было только на первой парте, за которой я по близорукости сидел: «Sehen sie mal!». Я почувствовал к Смоленской жалость, слишком нагло вести себя перестал, но никаких пополнений в мой немецкий так и не поступило.

Переключившись на внешкольный французский, я моё обучение немецкому языку считал уж завершённым. Но вдруг обнаружил, что в десятом классе новой школы у нас по немецкому не учительница, а чистое золото. В подтверждение своего качества она была рыжей. Учительницу звали Ирма Робертовна Зауэр. Она была еврейкой, женой немецкого коммуниста, эмигрировавшего из Германии в Союз незадолго до или вскоре после прихода гитлеровцев к власти. Зауэру дали квартиру в Москве, и он работал в какой-то секции Комминтерна. В тридцать седьмом друзья, совсем недавно спасшие Зауэра от нацистов, отношение к нему радикально изменили: Зауэра арестовали, и он исчез навсегда.

Ирма Робертовна осталась одна с маленьким (мы его застали семилетним) сыном. Крошечную квартиру на Фрунзенской набережной ей, по счастью, оставили и не мешали ей учительствовать. Наш 10-й «Г» она любила особенно, ибо подготовка, которую мы получили от княжны Шаховской, чувствовалась даже через год паузы в обучении, которую нам предоставила несчастная, но ничему не обучившая нас Смоленская.

Ирма Робертовна, несмотря на перенесённые ею страдания — сперва причинённые Гитлером, а потом Сталиным — была приветливой и весёлой. К моменту нашего с ней знакомства она вполне хорошо говорила по-русски, украшая свою речь милым и забавным акцентом и мелкими ошибками, что ещё больше располагало к ней её учеников.

Вместе с Ирмой Робертовной нами в течение нескольких месяцев занималась группа из трёх очень серьёзных, обязательных и прехорошеньких студенток-практиканток из Института Иностранных Языков.

Практикантки, да и сама «Ирма» (как мы её за глаза звали) то и дело стимулировали нас к знакомству с темами, выходящими за рамки школьной программы. Стремясь поближе общаться с обаятельной Ирмой Робертовной и её молоденькими ассистентками, мы охотно шли на всякие их предложения такого рода.

Я очень увлёкся Гейне в оригинале. По-русски я оценил его ещё раньше — по замечательным переводам В. Зоргенфрея, М. Михайлова, Ю. Тынянова и ещё десятка прекрасных переводчиков и поэтов, начиная с Лермонтова, сказавших своё слово не только в переводной, но и в оригинальной русской поэзии.

В программу 8-го класса входила «Лорелея», и мы, подталкиваемые строгостью Шаховской, учили её наизусть, да так, что и до сих пор я помню:

Ich weiß nicht was soll es bedeuten
Daß ich so traurig bin. И т. д.

Тогда же — в рамках ли программы, или по душевному интересу — я прочитал и выучил несколько строф из «Зимней сказки»:

Ein neues Lied, ein besseres Lied
Oh, Freunde, will ich euch dichten!
Wir werden hier, auf Erden schon
Das Himmelreich errichten! И т. д.

Бог мой, как трудно не поверить в грядущее скоро небесное царство на земле, когда это обещано так уверенно, так красиво, так звонко! Можно подумать, что Гейне, как и Маяковский, о котором я сходным образом рассуждал выше, подслушал Пушкина, припечатавшего возвышающий обман, но — так заманчиво, что многие бросились этому обману служить всей силой своего таланта. Но нет, Гейне Пушкина не подслушал, сам дошёл. Станный парадокс: Лермонтов Гейне переводил, а Гейне, почти наверное имени Лермонтова или имени Пушкина даже и не ведал.

Весь десятый класс прошёл под звучание — на немецком и на русском — поэзии Гейне, которая вполне гармонично соединялась со звуками русской поэзии, не утихавшими на сборищах Бригады Маяковского. Я смог в ту зиму оценить очарование немецкого поэтического языка Гейне, в котором обаятельным образом перемешивались откровенная, искренняя и наивная сентиментальность, ирония, философское отношение к жизни и к человеческой личности. Например:

Ich stand gelehnd an der Mast
Und zahlte jede Welle.
Ade, mein schönes Vaterland,
Mein Schiff daß segelt schnelle. И т. д.

Или:

Der zum ersten Male liebt,
Sei unglücklich, ist ein Gott,
Der zum zweiten Male liebt
Und unglücklich, ist ein Nahr. И т. д.

Или:

Ein Fräulein stand am Mehre
Und zeufte lang und bang
Es rührte sie so sehre
Der Sonnenuntergang. И т. д.

Я выучил в оригинале много стихов и даже кое-что перевёл на русский. Много позже, уже в сугубо взрослом и старом возрасте я встречался с культурными немцами, которые с вежливым любопытством внимали мне, читавшему им с восторгом строки из творчества их национального гения, которые я помнил наизусть, хоть много воды утекло, а они, немцы, не знали их вовсе.

...Я могу понять, когда обнаруживаю незнание Гейне у немцев, моих приблизительных ровесников. Когда они были в том возрасте, когда переживают медовый месяц любви к поэзии и учат новые стихи, в их стране у власти были нацисты, которые отказались от многих немцев — от Гейне, Эйнштейна, Фейхтвангера, умноживших славу немецкой культуры. Стихи Гейне не наизусть учили, а жгли на кострах.

Но незнакомство с поэзией Гейне я обнаруживал и среди сравнительно молодых немцев, чьи юные годы прошли уже в ГДР, в которой намерение поэта:

Wir werden auf Erden glücklich sein
Und wollen nicht mehr darben.
Verschlemmen soll nicht der faule Bauch
Was fleißige Hände erwarben

могло бы быть объявлено осуществлённым самым полным образом, а сам поэт — пропагандироваться в школах. Было б так, то и другие стихи Гейне (а не только возвышающий обман) до немецких молодых людей дошли бы. Но я по удивлённым любезным и скучающим лицам и репликам моих молодых немецких собеседников видел — не дошли.

Я высоко ценю русскую культуру во всех её проявлениях. Она развилась несмотря на многие сомнительные качества русского характера, над которыми сами русские любят сокрушаться или иронизировать, которыми имеют обыкновение бесшабашно вызывающе хвалиться, не скрывая собственного понимания постыдности этих качеств.

Так вот, русским интеллигентам свойственен повышенный интерес к иностранным культурам, способность их понять изнутри, желание и умение (ибо много чего этот русский прочитал и увидел) влезть в шкуру то немца из Гоффмана или немца из Томаса Манна, то француза Мольера или Анатоля Франса, то англичанина-романтика, то итальянца из квартученто и ещё много в какие разные шкуры. Русский хочет и умеет взглянуть на мир то глазами Фидия, то Тьепполо, то Сезанна. К тесному общению с иностранными культурами русский охоч, хоть притом и привержен к хвастливому шапкозакидательству и к вере в то, как здорово русскому то, что для немца — смерть, как умом России не понять (потому что очень уж хороша и сложна).

И ведь эта любовь не платоническая. Вот уж почти триста лет как издаётся обширнейшая переводная поэзия, проза, драматургия, философия, наука, как русские цари и музеи скупают живопись и скульптуру и издают обширные альбомы с репродукциями, как ставят Шекспира и Мольера, как выстаивают очереди на европейские и американские фильмы.

Любовь русских интеллигентов к иностранным культурам при наличии такой богатой собственной культуры и продолжающегося стремление к синтезу культур является, видимо, уникальной особенностью русской культуры: культуры иных народов к русской культуре испытывают меньший интерес, а чаще — никакого.

По-настоящему иностранцы ценят, пожалуй, только серьёзную русскую музыку и русскую науку. А в сфере словесности отсутствие вза-

имности заметно весьма. Интерес к этому разделу русской культуры начал несколько повышаться только с недавних времён. Но, во-первых, очень медленно, а во-вторых, интерес иностранцев к русской словесности подогревается посторонними для литературы политическими мотивами (Пастернак, Солженицын, Бродский — все они были гонимы властями)...

Наряду с моей увлечённостью немецким языком и немецкой поэзией, продолжалось моё активное членство в Бригаде Маяковского. Я сближался с Лёней Большаковым (хотя, возможно, я возводил в более высокий ранг его постоянно доброжелательную, уважительную и заинтересованную по отношению к собеседнику манеру разговора). Я хаживал к нему домой на Малую Бронную, был в отношениях с его мамой и младшей сестрой.

Кроме этого, я клевал математику из рук Германа Карловича. Я участвовал в организованном им математическом кружке, разбирал формулу Кардано для корней многочленов третьей степени. Выходит, десятый класс окрашен для меня личностями двух немцев — Ирмой и Германом. Вечная им память! Ходил я ещё на воскресные лекции для десятиклассников на физфак МГУ.

Я был активным пользователем библиотеки клуба НКВД. Это был абонемент с очень богатым книжным фондом. Сужу об этом вот по чему. Как-то, в очередной моей беседе с Александром Марковичем Колмановским (беседы возникали случайно, и я их очень ценил; предметом этой было что-то литературное) выяснилось, что какого-то произведения Шиллера, упомянутого моим величественным собеседником, я не читал, а ещё через минуту — что и какого-то сочинения Вольтера — тоже. Тут Александр Маркович, всегда разговаривавший с молодыми людьми на равных, к крайнему моему посрамлению осторожно сказал: «Тебе, Юра, сколько лет? Семнадцать? Я в твоём возрасте эти сочинения уже читал». Услышать такое мне было очень неприятно, тем более, что я считался начитанным мальчиком.

Этот разговор произвёл на меня не только удручающее впечатление, но также и мобилизующее действие. Я составил список в несколько десятков названий и постановил, что в течение ближайших месяцев я мои пробелы ликвидирую. В этот список, кроме, естественно, Шиллера и Вольтера, входили все пьесы Ибсена, сочинения Дидро, все пьесы Островского, «Фауст» Гёте («Страдания молодого Вертера», я по счастью, прочёл до позорного для меня разговора), всё непрочитанное мной к тому моменту из Диккенса, Оскара Уайльда и т. п.

Намеченный мною тогда план я выполнил — не только благодаря моему стремлению к культуре и к достижению поставленной цели, но и потому, что все книги, вставленные мною в список первоочередных моих долгов перед литературой, в библиотеке НКВД были в наличии.

...Позже я стал думать, не пополнялся ли фонд той библиотеки за счёт книжных богатств, систематически конфисковавшихся у жертв террора? Тогда мне и в голову не приходило внимательнее осматривать обложки и титульные листы выдававшихся мне в абонементе книг — в поисках следов их бывших законных владельцев. Возможно, я обнаружил бы стёртые надписи и экслибрисы...

С Майей Левидовой наша дружба сохранялась, но виделись мы совсем редко, и Новый Год 1941 я встречал без неё в старой компании у Лены Залманзон.

Вот эпизод, относящийся, по-видимому, уже к наступившему сорок первому году. В Малом Зале Консерватории должно было состояться пер-

вое исполнение квинтета Шостаковича с участием автора. У Эди не было билета, и он безнадежно толкался среди толпы любителей музыки, находившихся в сходном положении. Вдруг из подъезда вышел какой-то мужчина, который, поискав глазами и выбрав почему-то из толпы Эдю, обратил к нему с вопросом: «Молодой человек, Вы знаете ноты? Можете переворачивать листы исполнителю?». Эдя сказал, что может, после чего оказался в артистической Малого Зала и узнал, что будет переворачивать ноты Шостаковичу.

Вот в такой позиции Эдя услышал первое исполнение великого сочинения. Во время оваций, следовавших за финалом, Эдя стал оглядывать зрительный зал и увидел, что на балконе возбуждённо подпрыгивает, рискуя свалиться в партер, его недавний однокашник, толстый и очкастый мальчик Сеня Розиноер. А Сеня в течение многих недель после концерта рассказывал нам, оставшимся его однокашниками, как он, счастливый обладатель билета на выдающийся концерт, был поражён и восхищён, увидев рядом с Шостаковичем своего недавнего соученика.

...Мы с Сеней и с его повзрослевшими детьми встречались время от времени по разным поводам в течение очень многих, в том числе последних, лет. Но в середине девяностых Сеня скончался...

Я очень много слушал музыки. Я не пропускал хорошие концерты в Большом и в Малом Залах. Но музыку можно было услышать не только там. Камерные концерты устраивались в Бетховенском зале Большого театра. Цикл из всех фортепианных сонат Бетховена (в исполнении, кажется, Игумнова) давался в Большом зале клуба МГУ. Большой популярностью пользовался зал Дома Учёных.

Именно в тот сезон состоялось первое выступление в Большом Зале молодого неизвестного Рихтера перед московской публикой, среди которой был и я. Пианист был ещё студентом Нейгауза. Молодой, но уже не юный Рихтер занимал второе отделение и исполнял, кажется, концерт Чайковского. Публика принимала его хорошо, но немногие понимали, что только что слушали кумира ближайшего пятидесятилетия.

Советско-Германский договор о дружбе, заключённый в августе 39-го, и последующие события — участие нашей страны в разделении Польши, аннексия Бессарабии и Прибалтийских стран — всё это окончательно отделило нас от власти. Мы стали к ней в решительную, но, разумеется, тайную оппозицию.

Даже тот факт, что по радио стала звучать до тех пор находившаяся под негласным запретом музыка Вагнера, а в Большом Театре стали готовить постановку вагнеровских опер (ставить должен был Сергей Эйзенштейн), не примирил нас с тем, что правительство пошло на сговор с преступным фашизмом.

Наша оппозиция распространялась лишь на режим Сталина. Мы продолжали верить в доброкачественность коммунистической идеи, в то, что учение Маркса — великое, потому что верное и в то, что если б был жив Ленин, то всё шло бы не так.

Зимой или в начале весны Ирма Робертовна и её помощницы устроили большой вечер. По замыслу организаторов их ученики исполняли произведения немецкой поэзии. Но я выговорил себе возможность прочитать два стихотворения, вышедшие, строго говоря, за рамки темы этого вечера. Я читал «Стихи о советском паспорте» Маяковского в переводе на немецкий Ф. Лешницера (был такой поэт-эмигрант, оставленный советской властью на свободе). Вторым же моим номером было чтение — уже

на русском — другого стихотворения Маяковского под названием «Германия» («Германия, это тебе, это не от Раппало...»), в котором выражалась уверенность в коммунистическом будущем Германии. А не в фашистском, как соглашались, судя по всему, наши власти! Это стихотворение казалось мне скрыто оппозиционным, и я решил прочитать его, а наивные организаторы вечера не вдумались в расхождения текста с последними политическими установками.

Предупреждённые мной о том, какое именно стихотворение я буду читать, на наш вечер пришли Эдя с Тамарой. Мы были одних политических взглядов, и им очень хотелось видеть реакцию зала. Зал вяло аплодировал мне, и никто, по счастью, не обратил внимания на мой политический кукиш в кармане.

В Бригаде к союзу с немцами относились довольно лояльно, а разные детали, подмечаемые всеми во встречах руководителей двух государств — Молотов на фоне свастики на стенах Имперской канцелярии, или что-нибудь в этом роде — квалифицировались как забавная несуразица, диктуемая неумолимым государственным протоколом.

Бригадная жизнь шла своим чередом. Два—три раза в месяц я выступал с моими коллегами с чтением стихов. Будучи членом Бюро Бригады, я активно участвовал в организации конкурса самодеятельных (себя мы уже ощущали профессионалами) молодых исполнителей стихов Маяковского. Этот конкурс было намечено провести 29-го июня в Парке Горького. Подготовительные дела начались ещё с начала года. Организаторами конкурса считались МГК ВЛКСМ, Бригада и ССП. У нас возникли отношения с одним из секретарей МГК ВЛКСМ по фамилии Красавченко. Я вместе с Лёней, а иногда и один, время от времени приходил к Красавченко и решал вопросы: макет афиши, виды призов, деньги на их приобретение, деньги на съём помещения в Летнем Театре и пр. Лёня был членом партии и мог проходить в здание МГК на Ильинке по партбилету. Если бы я был комсомольцем, то и меня пускали бы по билету. Но я — не был, и для меня каждый раз надо было заказывать пропуск.

Эта процедура мне надоела, и я захотел быть комсомольцем — несмотря на совершенно осознанное несогласие с идеологией. Тяга встать в строй оказалась сильнее тяги оставаться нонконформистом... Я мог стать комсомольцем только через школьную организацию. Что я и сделал. Процедура заняла месяца два, я получил билет и стал проходить в здание МГК ВЛКСМ, как Лёня — по билету. В школе ко мне с комсомольскими делами не цеплялись: я убедил тамошних вождей в том, что моей комсомольской нагрузкой является членство в Бригаде.

...Но за несколько дней до конкурса началась война, конкурс был забыт, а вскоре Красавченко был арестован, и как он жил дальше, да и жил ли, мне неизвестно...

Я перестал брать частные уроки французского, и вместо этого со второго полугодия стал по воскресеньям ходить на курсы при Институте Иностранных Языков. Там учились, в основном, телефонистки международных линий. Но было интересно.

Я оканчивал школу, а Лёня — МАИ. Он был занят дипломным проектом. В его комнате на Малой Бронной стоял кульман. Лёня сдержанно гордился темой своего проекта: она была оригинальна. Он предлагал новым гостям угадывать тему и получал удовольствие от того, что никто сам до названия его темы додуматься не мог. Истребитель? — Нет! Пассажирский самолёт? — Нет! Грузовой? — Нет? Спортивный? — Нет! И т. д.

Гость мучился и не мог угадать, а Лёня наслаждался. Он проектировал специальный самолёт для установления рекорда высоты, дальности или скорости.

В мае сорок первого в газетах появилось сообщение о выступлении Сталина на выпуске слушателей военных академий. Не помню, был ли напечатан текст выступления, но разговоров по Москве было много. Сталин говорил о возможных скорых военных испытаниях молодых командиров. Нам с Эдей почудился в этой речи какой-то намёк на зарождающуюся конфронтацию с фашистской Германией. К тексту этого выступления добавился слух, будто в этот же вечер на банкете в Кремле какой-то генерал поднял тост «за мир», а Сталин, вроде бы, сказал: «Я с генералами за мир не пью».

Вся эта информация нас с Эдей очень возбудила. Мы жаждали разрыва с фашистской Германией. Последующие бессвязные сообщения ТАСС только укрепляли наши надежды на то, что позорная дружба с Гитлером скоро закончится. Мы, молодые и глупые, и подумать не могли, насколько наша армия была неподготовлена к войне, которую мы с замиранием сердца ждали, которая 22-го июня сорок первого наступила и в корне изменила нашу жизнь.

Мы сдавали экзамены на аттестат зрелости. И тут наш класс раскололся. Последний месяц поговаривали о том, что некоторые наши однокашники видели, как наша соученица Валя Козлова прогуливалась вечером по Арбату с нашим преподавателем литературы Петром Яковлевичем Качиным. Это было странно и неприятно. Петр Яковлевич был немолод, и его роман (а мы сразу поверили, что — роман) с восемнадцатилетней школьницей показался многим из нас (и мне в частности) противостественным и аморальным. Мне Качин не нравился и как учитель.

Большого распространения эти разговоры не получили и в нашей среде заглохли. Но после того, как мы написали экзаменационное сочинение, пошёл слух, что Качин раскрыл Вале тему сочинения, и что этой информацией воспользовалась сама Валя и некоторые её подружки. Я, считавший, что Качин поступил плохо, и что надо настаивать на том, чтобы сочинение было писано нами снова (увы, от этого не красившего меня факта мне не отпереться) был в совершенном меньшинстве. Я рассорился с большинством класса и не пошёл на школьный выпускной вечер, который состоялся вечером 20-го июня и заканчивался хрестоматийной прогулкой по ночной Москве.

...В числе моих противников, призывавших смотреть на случай с Качиным терпимо, были Сенья Розиноер и Володя Кяо. Тогда Володя был единственным в классе, кто уклонился от вступления в ВЛКСМ, а через двадцать лет стал членом Правительства ЭССР, Председателем Совнархоза республики (именно в этом качестве он находился, когда принял участие в нашем вечере в 1961-м году на квартире Сени Розиноера, устроенном по случаю двадцатилетия нашего окончания школы), членом и — позже — секретарём ЦК Эстонской Компартии. Какое-то время он был министром местной промышленности Эстонии. До провозглашения независимости Эстонии он, кажется, не дожил: его измотала ответственная партийная и государственная советская работа...

ГЛАВА 10

Война. Выступления Бригады на вокзалах. Уход в Народное ополчение. Арест Михаила Левидова. Переход в Истребительный батальон и совместная служба с папой. Бомба в театр Вахтангова. Контингент истребительного батальона. Наряды. Депортация «немцев». Судьбы Германа Карловича и Ирмы Робертовны. Эвакуация завода «Борец». Разведка. Выступление на позиции. Дом ВЦСПС. Конец истребительного батальона. Раменки. Возвращение в Москву. Мехмат. Роберт Виноград. Арон Муркес. Бегство к маме в Белебей.

20-го июня сорок первого года я получил аттестат, 21-го подал бумаги для приёма на мехмат, а 22-го началась война. Это было воскресенье. Мы с родителями после завтрака согласовывали какие-то планы на этот день и ещё не успели разойтись по намеченным делам, как вдруг по радио раздались специфические позывные, возвещавшие о важных сообщениях. Эти звуки и слова о том, что работают все радиостанции Советского Союза неслись из висевшей на стене чёрной тарелочки. Это была всё та же тарелочка, которую родители за пять с небольшим лет до того приобрели и повесили над моей кроватью, в которой я провёл больным ревмокардитом осень и зиму 35/36 гг. Было 12 часов дня. Началась передача, и Молотов прочитал своё знаменитое обращение.

Мы с Эдей отнеслись к сообщению о начале войны двойственно.

С одной стороны — мы ненавидели фашизм. Договор Молотова—Риббентроппа мы воспринимали как позорную и преступную ошибку власти, а к власти этой мы уже много лет, начиная со второй части тридцатых (хоть это были ещё наши детские годы) относились оппозиционно. Волна бессмысленных и жестоких репрессий, свидетелями которых мы стали (а семьи Эди и многих других знакомых нам семей эта волна коснулась непосредственно и губительно), нас возмущала. В августе 39-го к репрессиям добавились сговор с преступным гитлеровским режимом и — под фальшивым предлогом — аннексия территорий Польши и Румынии, а вскоре — трёх стран Прибалтики. Было очевидно, что договор с Гитлером все эти захваты тайно предусматривал. Мы надеялись, что разразившаяся война, начатая вероломным Гитлером против СССР, откроет нашей власти глаза на все её ошибки и принесёт нашей стране долгожданное очищение.

С другой стороны, мы были уже достаточно взрослые, чтобы понимать, что война — трагическое испытание для страны и её народа, что будут жертвы среди наших военных и, быть может, среди гражданского немецкого населения. О том, что война станет тотальной и превратится в катастрофу для огромных масс нашего населения, мы и мысли не допускали.

Мы не понимали ещё одного преступления советского режима. Мозги населения были запудрены лживой пропагандой, неустанно вещавшей о мощи и непобедимости нашей армии («Если завтра война, если завтра поход...»), в то время как фактически армия была слаба из-за недостаточной технической оснащённости и недостаточной квалификации командного состава. Причиной низкого качества командирского корпуса

было массовое истребление в последние годы грамотных военных и их замена на неопытных и малообразованных.

Начавшаяся серия поражений, стремительное вторжение немцев не только в области, присоединённые к Советскому Союзу в 39-м и в 40-м годах по договору с Германией, но и в глубь нашей исконной территории, были для нас полной неожиданностью. 23-го июня в Москве была объявлена воздушная тревога. Она оказалась учебной и сыграла странную роль: мы увидели, что ничего особенного. Потом вдруг возник слух, что наши войска перешли в наступление и победным маршем подошли к Варшаве. Слухи не подтверждались, а, наоборот, замещались очень горькой, хоть и завуалировано высказанной правдой и полуправдой о катастрофически быстро развивающемся немецком наступлении, о территориальных потерях и о гибели наших войск, попадавших в огромные котлы.

Большинство мальчиков нашего класса и моих друзей по дому получили повестки, и я потом почти никого из них больше не видел. Я призыву на действительную военную службу не подлежал: у меня был белый билет, т. е. свидетельство об освобождении — из-за сильной близорукости. Я оставался в Москве.

Бригада Маяковского — родная моя семья — стала выступать на вокзалах перед военными подразделениями, ожидавшими погрузки в эшелоны, отправляемые на фронт, перед беженцами из западных областей, устремившимися на восток. Все эти люди размещались вповалку в залах ожидания.

Скоро я понял, что наши выступления были, совершенно неуместными. Я помню моё участие в одном из таких концертов в зале ожидания Казанского вокзала перед безмолвными сидящими на полу беженцами. Организатором этого концерта была известная молодая балерина Большого театра Ольга Лепешинская. Она была членом горкома ВЛКСМ и выполняла свои общественные функции. Я познакомился со знаменитостью почти на равных и был очень польщён и доволен.

В первые дни войны после первых затемнений Лёня Большаков и Шура Гринберг сочинили шуточную стихотворную историю о своей прогулке по вечерней затемнённой Москве, из которой я запомнил:

Мы нащупали рукой
Угол переулка
И с притихшею толпой
Зашагали гулко.

В начале июля я, к отчаянию моих родителей, которые, впрочем, и не пытались отговаривать меня, ушёл в Народное Ополчение. Власти начали создавать его сразу после знаменитого панического обращения Сталина к народу («Дорогие братья и сёстры! К вам обращаюсь я, друзья мои»), прозвучавшее 3-го июля. В ополчение шли пожилые люди и белобилетники вроде меня. Я ушёл из дому утром 5-го или 6-го. Пункт сбора ополченцев нашего микрорайона был в 59-й школе в Староконюшенном. Теперь там по этому поводу прибита мемориальная доска.

Сбор ополченцев продолжался часа два. Потом из нас сделали колонну и повели её куда-то пешком. Я в строю оказался рядом с несколькими десяти- и девятиклассниками и с сорока—пятидесятилетними преподавателями — из нашей и из нескольких других близлежащих школ. В частности, вместе со мной в строю оказались Вика Левин и наш прежний учитель физики Александр Михайлович Никитин, которому было скорее за, чем под сорок. Был среди нас и наш немолодой преподаватель лите-

ратуры Пётр Яковлевич Качин, с которым я ещё так недавно враждовал. По-видимому, у Вики, был как и у меня, белый билет. Но к этому времени наши с ним близкие отношения ушли в столь далёкое прошлое, что мне его обстоятельство знакомы не были.

Скоро колонна дошла до первой цели. Это была школа-новостройка, расположенная недалеко от Бережковской набережной, там где начинается Воробьёвское шоссе и Мосфильмовская улица. До нас доносились ароматы Дорхимзавода. Нас разместили по классным комнатам, из которых к этому времени был вынесены парты. Нам выдали по одеялу и велели занимать места на полу. Я лежал рядом с Никитиным. Где-то в другой части класса было место Вики Левина. Мы провели в этой школе три—четыре дня. У нас возникли командиры, с нами начали какие-то занятия: строй, метание учебной гранаты, преодоление препятствий и прочее — без боевого оружия. Порядки были не очень строгие. В какое-то утро или в два мы небольшой компанией мальчиков сходили на Москва-реку купаться.

В свободное от военных занятий время нас из нашей импровизированной казармы отпускали, и мы шатались по Мосфильмовской, стараясь разглядеть за оградой Мосфильма признаки кинодеятельности. Военной формы нам не выдали, и мы ходили в штатском. Но тот, кто мог, некоторые элементы военного обмундирования в свою гражданскую одежду приносил. Папа дал мне краги и ремень, о которых я рассказывал в самом начале Записок. Прямо по Чехову: висели на стене, и вот, подошло им время выстрелить. Кроме того, папа дал мне свою гимнастёрку — из формы НКВД, но без петлиц и знаков различий.

Мы могли звонить по телефону из стоявшего неподалёку, по счастью, исправного автомата. Я разговаривал с родителями, Эдей и позвонил Майе Левидовой. Этот последний разговор был ужасен. Майя сказала мне, что арестован её отец. Я побежал к кому-то из своих командиров, что-то жалостливо сочинил и получил разрешение уехать на несколько часов из части. Я примчался к убитым Майе и Белле Владимировне.

Я узнал, что, в отличие от обычной практики выхватывания жертв без видимых оснований, для ареста Михаила Юльевича была конкретная причина. Он выступил на митинге в Союзе Писателей, состоявшемся в первые дни войны. В полном диссонансе с другими выступавшими, изрыгавшими проклятия в адрес немецкого империализма и выражавших уверенность в скорой победе, Левидов сказал, что теперь всем стала очевидна ошибка властей, отвергнувших договор с Англией и Францией и вместо заключения этого договора связавшихся с безнравственным нацистским режимом. Через несколько дней Левидов был арестован.

Я слабо пытался утешить и обнадежить Майю, но сам не верил в возможность благополучного исхода рокового события. Я был ещё огорчён и тем, что мне явно предстояло покинуть Москву вместе с частью, и что я никак не смогу Майю поддерживать и помогать ей.

...Забегая вперёд, скажу что Майю и её мать не тронули и отдельную кооперативную писательскую квартиру у них не отобрали, но вскоре после ареста Михаила Юльевича в одну из комнат квартиры вселили постороннюю женщину, оказавшуюся, по счастью, вполне приличной. Прошло много времени после войны, пока этой непрошеной соседке не дали комнату в другом месте, а Левидовы вновь оказались в отдельной квартире...

От Майи — мы прощались, как навсегда — я пошёл к Эде. Я сидел в его комнате на письменном столе, свесив вниз мои ноги в дурацких крагах, и рассказывал ему о Майином горе. Мы взволнованно обсужда-

ли ситуацию вообще и Майину в частности. Вряд ли мы могли тогда высказывать зрелые мысли. В комнату вошла поглазеть на меня восьмилетняя Эдина сестра Маша. Обычно мы с Эдей её из комнаты выставляли. Но в этот раз нам было не до неё.

...Став взрослой, Маша рассказывала мне, что эта сцена и впечатление от неё ей запомнились. Она понимала, что мы с Эдей говорим о чём-то важном, но не понимала, конечно, о чём. Зато она остро помнит чувство счастья от того, что ей дали остаться в комнате и слушать обычно запретные для неё разговоры старших мальчиков. Запомнила она и мои выставленные напоказ краги...

Не помню, свиделся ли я в тот раз с родителями. Я не помню, почему Эдя не был призван. То ли у него по какой-то статье был белый билет, то ли он успел поступить в Консерваторию и получить там бронь. Даня старше нас с Эдей на год. Когда началась война, он заканчивал первый курс МАИ. Вместе с этим институтом он эвакуировался в Алматы. В первые же дни войны Яков Наумович ушёл на фронт в полевой госпиталь. Ему было за пятьдесят.

Я вернулся в мою часть на Мосфильмовской в самом отчаянном расположении духа. Душа болела за Майю и за её арестованного отца, который на том злосчастном митинге выразил и мои мысли. Я долго не мог заснуть, и, в конце концов, начал тихо плакать. Может, мои всхлипывания разбудили Александра Михайловича. Может, он не спал по своим обстоятельствам. Он спросил меня о чём я плачу. Я твёрдости характера не проявил и рассказал моему учителю о том, что произошло. Я оправдывал себя за откровенность с чужим человеком тем, что как-то вечером, года за два или полтора до того, как мы оказались с Александром Михайловичем однополчанами, я и Майя ехали в метро в Сокольники. Мы нежно держались за руки. И тут я увидел, что напротив нас сидит Александр Михайлович. Он смотрел на нас, как мне показалось, с хитрецей. Я поздоровался с ним, он вежливо ответил, а на следующей остановке вышел из вагона — то ли он приехал к месту своего назначения, то ли он пересел в другой вагон, чтоб не смущать меня. Я напомнил Александру Михайловичу ту встречу, он вспомнил — действительно, или сделал вид — ту девушку, о судьбе которой я горюю. Он выслушал меня без лишних замечаний, но с безусловным сочувствием. Я перестал плакать и уснул.

...Вскоре мы с Александром Михайловичем разошлись по разным частям, и я его из виду потерял. Но то, что Александр Михайлович в войну не погиб, я знаю. В пятьдесят первом году мы встретились на вечере выпускников (всех выпусков!) 58-й школы. Об этом вечере я писал в главе 8...

Как говорится, военные будни отвлекли меня от переживаний. Утром 10-го или 11-го июля всех ополченцев, находившихся в школе, построили и повели в неизвестном для подавляющего большинства из нас направлении. Наша колонна вышла на Б. Дорогомилловскую и, двигаясь по широкой Московской магистрали, застроенной новыми большими домами, вышла на Можайское шоссе.

Мы прошли километров тридцать и под вечер пришли на какую-то лесную поляну. Мы были молоды, и силы в нас ещё оставались. Но теперь воображаю, как чувствовали себя наш бедный и любимый Никитин и бедный нелюбимый Качин... Командиры сразу же начали учить нас как строить шалаши. Нам дали топоры. Мы стали рубить ёлки. Одни из нас стали обрубать ветки, а другие — делать из стволов молодых ёлок и берёз

жерди и слегги. Нам для дела были нужны жерди длиной метра в полтора, которые кончались природой предусмотренными рогатинами. Такие жерди мы вкапывали в землю и ставили вертикально, рогатинами вверх.

Жерди вкапывались парами — на расстоянии метра два друг от друга. На рогатины клали горизонтальную слегу. На эту слегу опирались косо поставленные более тонкие палки; к ним подвязывались тонкие горизонтальные прутья. В результате возникал скелет шалаша, который и обкладывался еловыми лапами. Ветки с листьями были материалом для пола. В каждом шалаше помещалось четверо. Таких деталей, как еда, её качество и источник, я не запомнил. Наутро прошла весть, что мы находимся между станцией Катуары Киевской железной дороги и Пионерской — Белорусской, и что здесь наша дивизия будет формироваться перед введением её в бой.

Через несколько дней после моего ухода в ополчение ушёл в ополчение и мой отец. Он попал в «истребительный батальон» Дзержинского района. Такое ополченческое подразделение было сформировано в каждом районе Москвы. Его функция была определена как борьба с вероятными диверсантами-парашютистами. Я не знаю, была ли в Дзержинском районе кроме истребительного батальона ещё и ополченческая дивизия, аналогичная той, что была собрана в Киевском и других районах Москвы, и если да, то постигла ли её та же трагическая судьба, что и дивизию, родившуюся в 59-й школе.

Я не исключаю (это только моё предположение, которое я не проверял), что ополчение Дзержинского района было организовано особо и состояло только из этого батальона. Особенность могла происходить из-за того, что на территории этого района находились особые учреждения: НКВД и НКВД (Иностранный Дел). Сотрудники именно этих двух учреждений составляли большинство в Дзержинском истребительном батальоне, в котором служил мой отец. Остальное меньшинство пришло из предприятий района: Комбината Твёрдых Сплавов, заводов «Борец», «Станколит» и др.

Папа попал в этот батальон, потому что работал в ГУЛАГе. С началом войны ни ГУЛАГ, ни его плановый отдел ликвидированы не были. Всё функционировало, как прежде и почти в том же составе. Мне до сих пор непонятно, по какому принципу начальство направило в истребительный батальон всего двух мужчин из планового отдела — сорокатрёхлетнего отца и ещё одного сотрудника по фамилии Знаменский, который был старше отца лет на десять. Начальник планового отдела Берензон и ещё с полсотни его сотрудников и сотрудниц продолжали планировать экономику ГУЛАГа.

Хотя мой отец стал всего лишь рядовым бойцом, но, видать, не совсем рядовым было его подразделение. В середине июля ему удалось добиться моего перевода из ополченческой дивизии Киевского района в свой истребительный батальон. Детали его хлопот остались мне неизвестными. По-видимому, вместе с бумагой, предписывающей командованию моей дивизии отпустить меня, в распоряжении Дзержинского истребительного батальона отцу объяснили, где расположена дивизия, в которой служит его сын и где находится её штаб.

Отец, отпущенный на несколько часов из батальона, доехал на электричке до Пионерской, разыскал избы, шалаша или палатки штаба нашей дивизии (я и мои товарищи понятия не имели, где наш штаб находится) и вручил начальству имевшиеся у него бумаги. Потом он нашёл мой взвод и меня и объяснил мне, что на другое утро я должен явиться в штаб моей

дивизии и получить документы, с которыми мне следует ехать домой, а там уж он позаботится о том, как мне попасть к нему в батальон.

Мои местные командиры растолковали мне, как добраться лесными дорогами до штаба нашей дивизии, и я пришёл в назначенное время к начштаба. Это был немолодой (по моим тогдашним масштабам) командир с ромбиком. У него были интеллигентное лицо и совершенно не командирские манеры. Начштаба сказал мне, что сейчас в Москву идёт их грузовик, и что я могу в нём уехать. Он попросил меня передать письмо его жене. Квартира командира была в Малом Афанасьевском. Конечно, я согласился. Я залез в кузов машины, и вскоре мы тронулись. Увидев, что после Смоленской мой грузовик повернул по Садовой налево, я застучал в крышку кабины. Машина остановилась, я спрыгнул и пошёл домой по Арбату.

Поздоровавшись с мамой и бросив мой вещмешок, я поторопился выполнить поручение командира. Я позвонил в дверь коммунальной квартиры, и мне открыла дверь симпатичная женщина. Она позвала меня войти в прихожую и стала расспрашивать об условиях жизни её мужа. Я на её вопросы почти ничего ответить не смог: слишком далеко — в топографическом и субординационном планах — был от меня образ жизни наших старших командиров.

Днём позвонил папа и объяснил мне, куда я должен на следующее утро явиться для прохождения новой службы. Тогда ещё работали квартирные телефоны. Вскоре их отключили, и они оставались мёртвыми до первых послевоенных лет.

На другой день я явился в батальон. Не в штаб батальона, а к командиру одной из его трёх рот — той, в которой служил отец и где предстояло служить и мне. Роты батальона размещались в разных школьных зданиях района. Они были отдалены друг от друга настолько, что мне, рядовому бойцу, ни разу не представилось надобности отправиться в какую либо другую роту. Я знал только свою.

...Через несколько дней после моего перевода из Ополченческой дивизии Киевского района в истребительный батальон Дзержинского района Москвы, дивизию Киевского района двинули на фронт — защищать далёкие подступы к Москве. Почти все из этой дивизии погибли или попали в плен в августе под Вязьмой. Думаю, что подобная участь постигла и ополченческие дивизии многих других районов Москвы и Подмосковья. Но об этом трагическом конце я узнал случайно только зимой 42-го...

Рота Дзержинского истребительного батальона размещалась в Марьиной Роще тоже в здании школы-новостройки на Стрелецкой улице. Я был с отцом не только в одной роте, но и в одном и том же взводе и в одном отделении. Нашим отделением командовал упомянутый выше Знаменский. Он был человеком суетливым, глуповатым, очень боялся начальства и придирался по мелочам к подчинённым. Крупных неприятностей он не доставлял, и его терпели, как надоедливую муху. Каждое отделение (человек 10—12) занимало школьный класс, в котором вместо парт стояли кровати и тумбочки при них.

В коридорах стояли в козлах наши винтовки. Там же выстраивали бойцов для разных проверок и инструктажей. В некоторых классах сохранились парты. Там мы занимались уставами, там проводились политзанятия, там нас обучали разборке, смазке и сборке винтовок. Винтовки эти были трёхлинейные образца 1891 г. со штыками.

Оказавшись в батальоне, некоторые сотрудники из НКВД в том или ином виде своё положение сохранили, а некоторые — нет. Так, коман-

дир нашей роты капитан Слепнёв был переведён на эту должность из начальников районного отделения милиции. Он продолжал носить свою милицейскую форму. Почему его не оставили на старом месте, было непонятно. Командир нашего взвода Певзнер и помкомвзвода Антонов были переведены в батальон (как это было нам почему-то известно) из «оперативников».

Командиром одного из отделений был недавний охранник сержант Бирюков-Макаров. А его отделение было укомплектовано, в основном, недавними сотрудниками НКВД, людьми довольно культурными, знающими иностранные языки, в то время, как их отделённый и по-русски-то изъяснялся своеобразно и был человеком с совсем не дипломатическими манерами. Один из рядовых отделения Бирюкова-Макарова, недавний сотрудник Наркоминдела Степан Трофимович Базаров, тихий, долговязый, с бесцветными голубыми глазами, был политинформатором взвода.

...После печально-известного 16-го октября, когда наш батальон покинул Москву и изменил статус (подробнее об этом — чуть ниже), я потерял Базарова из виду, и в какой именно момент его вернули с военной службы обратно в дипломатическую, я не знаю. Но — вернули, ибо уже в 1943 г. я прочёл фамилию Базарова в каких-то газетных материалах, в которых упоминались чиновники, входившие в официальный или в подсобный состав нашей делегации на Тегеранской Конференции. Встречал я его имя в газетах и позже. Видать, он занял в МИДе заслуженный пост...

В отделении Макарова был ещё один дипломат по фамилии Яцкевич. Он был светловолосым, высоким, полноватым и очень жизнерадостным и остроумным молодым мужчиной, т. е. полной противоположностью своего командира, который был кудлатым брюнетом, низколобым, низкорослым и коренастым, худощавым, всегда мрачным и тупым. Любимым объектом остроумного озорства Яцкевича был его отделённый. Иногда наш помкомвзвода оставлял Бирюкова за себя. Бирюков, прохаживаясь перед строем всего взвода (поэтому я и стал свидетелем манер Яцкевича), инструктировал стоявших перед ним бойцов, и каждый пункт инструктажа заканчивал риторическим стандартным «Вопросы есть?». У Яцкевича вопросы были. Он играл дурочку, а иногда ещё и умудрялся употребить поговорку, содержащую имя «Макар». То Яцкевич ввернёт: «Какого нам ещё Макара?», то — «Куда Макар телят не гонял». При этом Яцкевич педантично соблюдал все уставные правила и формулы: «разрешите обратиться?», «Дозвольте доложить!», «Так точно!», «Никак нет!» и пр.; он прикладывал руку к пилотке, щёлкал каблуком, поворачивался кругом, переходил на гусиный шаг и т. д. Всех бойцов диалоги Яцкевича с Макаровым крайне развлекали, и их ждали с нетерпением. В общем, он делал, как сказали бы теперь, римейк бравого солдата Швейка. Бирюков-Макаров понимал, что его вышучивают, но часто оказывался в капкане у умного Яцкевича и мог только шипеть какое-нибудь беспомощное «Отставить разговоры!».

23-го июля немцы в первый раз по-настоящему бомбили Москву. Нас, бойцов роты, вывели из казармы, и мы разместились в вырытых нами же в школьном дворе и за ним «щелях» — канавах, покрытых тёсом и присыпанных землёй или песком. Нам казалось, что мы можем определить место наиболее интенсивных ударов и зарев от взрывов и пожаров, и что это место — Центр города. Утром мы с папой позвонили маме и узнали, что в наших предположениях мы не ошиблись: одна из бомб попала в театр Вахтангова и разрушила его (позже мы узнали, что во время налёта

был убит молодой актёр театра Николай Куза), и что взрывной волной был убит расчёт зенитной батареи, находившейся на крыше нашего дома. Собственно, немцы сбросили бомбу именно для того, чтобы эту зенитную установку подавить. Погиб ещё постовой милиционер, дежуривший на этом месте Арбата. Наш дом был серьёзно повреждён, но не разрушен.

Начальство нас с папой отпустило, мы бросились на Арбат и сразу увидели результаты налёта. Вдоль главного фасада нашего дома сверху вниз шла заметная трещина. Стёкла в окнах были повыбиты. Когда мы поднялись в нашу квартиру, то увидели разбитые окна в нашей и в других комнатах, выходящих на Арбат. Взрывная волна выдернула шпешки верхней части буфета из гнёзд на его нижней части, и эта верхняя часть лежала на полу рядом с нижней. Её дверцы из толстого зеркального стекла при этом падении не пострадали. Во всяком случае, я помню, что ещё много лет мы этим буфетом пользовались, и следов немецкой атаки на нём не было. Мы с папой подняли верхнюю часть буфета и поставили её на место. Остальной беспорядок мама могла убрать сама.

Я пошёл к Эде и встретил его на чёрном ходу. Он рассказал, что на время бомбёжки он спустился в квартиру 14, где жил зубной врач Никельберг, а остальная семья Колмановских, а также и Залманзоны пошли в бомбоубежище. Оно находилось в подвалах нашего дома. От взрыва бомбы вход в бомбоубежище завалило, и после конца тревоги людей, укрывшихся в убежище, не сразу сумели выпустить. Во время налёта Эдя сидел у Никельбергов в ванной и читал книгу. В момент взрыва на него упал большой кусок штукатурки с потолка (вскоре выяснилось, что удар штукатурки сломал Эде несколько рёбер). Бомба ускорила отъезд этой семьи из Москвы.

Наша жизнь в школе-казарме на Стрелецкой шла своим чередом, и падение Смоленска, бои под Вязьмой и другие военные неудачи непосредственного гнетущего влияния на моё настроение не оказывали. Я был поглощён армейской повседневностью. Мы занимались военной подготовкой, и почти всегда каждый боец был в том или ином наряде. Были обычные наряды, которые выполняют бойцы расположенного в казарме войскового подразделения и в мирное время (не знаю, как они по уставу называются) и боевые наряды, установленные только как дань военному времени.

Обычные наряды — это назначение в дневальные. Быть дневальным по роте означало, что на 24 часа дневального исключали из общего для всех графика дня (подъём, принятие пищи по расписанию, учения в классе и на плацу, отбой). Дневальных по роте было два. Каждые четыре часа один из них заступал на дежурство, дежурил тоже четыре часа, после чего его заменял другой дневальный, а отдежуривший мог спать или тратить время любым другим образом, но из подразделения при этом не имел права уходить. Я такое дневальство любил, потому что во время дежурства можно было слушать местную чёрную тарелочку радиотрансляции. Кроме известий и сводок, передавали довольно много классической музыки. Передавали и массовые песни. К ним я относился пренебрежительно. Но одну из них я в эти дни услышал впервые, Укоренившееся во мне неприятие массовой советской песни не позволяло мне сформулировать моё отношение к ней прямо: «понравилась». Но я не воротил нос, когда её звуки возникали снова и снова. Наоборот, я ждал момента, когда приятный мужской голос запоёт её. Это была песня Никиты Богословского «Спят курганы тёмные».

Иногда нас назначали дневальными в столовую. Но это только с утра до вечера. Наша рота питалась — завтрак, обед, ужин — в столовой одного из близлежащих заводов. Рабочие завода там не обедали или обедали не в то время, что наша рота. Дневальный по столовой (их от роты ежедневно назначалось двое или трое) должен был придти в распоряжении ротного повара за час до завтрака и делать всякую поручаемую ему — самую разнообразную, но неквалифицированную — работу. В периоды приготовления пищи мы сгружали продукты из грузовиков, чистили овощи, мыли посуду и пр. — всё это в помощь сотрудникам столовой, которых было недостаточно. Во время еды бойцы рассаживались за столами по четыре, дневальные одевали белые тужурки и становились официантами. Питание у бойцов нашего батальона было вполне доброкачественным и обильным. О недоедании и речи не было. Тем не менее, возможность во время дневальства по столовой съесть лишнюю котлету или порцию макарон ценилась.

Боевые наряды были трёх видов. Они все приходились на ночь, и каждой ночью несколько десятков бойцов нашей роты расходились с винтовками по своим нарядам. Лето было тёплое, и единственным недостатком наряда была бессонная ночь, после которой, впрочем, на дневные занятия можно было не ходить, а отсыпаться.

Первым видом наряда было наружное наблюдение. Группы по двое — трое бойцов (один из которых назначался старшим) непрерывно патрулировали вдоль близлежащих улиц. Цель: мы следили за выполнением комендантского часа и соблюдением затемнения на Полковой, Новотихвинской и Стрелецкой улицах, в нескольких Стрелецких переулках. Область нашей ответственности имела форму не совсем прямолинейного треугольника. Она была ограничена с юга отрезком Суцёвского вала от угла с Октябрьской улицей до Савёловского вокзала, с запада, северо-запада и севера — дугой Окружной железной дороги от Савёловского вокзала до северной части Октябрьской улицы, и с востока — отрезком этой улицы от Суцёвского вала до Окружной дороги. Отдельные посты выставлялись к промышленным предприятиям. Нарушителей мы должны были доставлять к дежурному по роте. Но я не помню ни одного случая такого задержания: москвичи и диверсанты вели себя крайне дисциплинированно.

Второй вид наряда назывался «секрет». Служба состояла в следующем. На каком-то пустыре в окрестности Савёловского вокзала был оборудован блиндаж. В него на ночь устраивалась группа бойцов, и это всё вместе — блиндаж и группа — и называлось «секрет». И находившимся в секрете тоже ни разу не довелось обезвредить диверсанта или хотя бы простого нарушителя порядка. Ни разу на этот пустырь или вблизи него не падали ни фугасные, ни зажигательные бомбы.

Я бывал рад, когда мне доставалось патрулировать или сидеть в секрете с бойцом нашей роты Марголиным — симпатичным, высоким, худощавым, черноволосым еврейским юношей. Он был на пару лет старше меня. Он не кончал десяти классов, а пошёл после восьмого в техникум. К началу войны он уже работал мастером-пирометристом на заводе Твёрдых сплавов. Почему он не был призван через военкомат, а служил в нашем батальоне, то есть в ополчении, я не знаю. Иногда он глубоко вздыхал. Сперва я к этому его проявлению привыкнуть не мог и спрашивал, почему он вздыхает — по своей девушке ли, по родителям ли?.. Но всякий раз он отвечал: «Нет, очень поработать хочется!».

Третий вид наряда — дежурство на крыше. Двое бойцов сидели в деревянной вышке, специально оборудованной на крыше нашей школы. Главная наша цель была обезвреживать зажигательные бомбы, упавшие на крышу школы. Но они не падали. Вообще, немецкие бомбардировщики в ходе бомбёжек Москвы в зону нашего дежурства не залетали. Хотя вдали с крыши четырёхэтажного здания школы мы в западном и юго-западном направлении лучи прожекторов и огни пожаров в ночи налётов видели.

Дежурство на крыше было приятным. Я и ещё один боец роты договорились со старшиной, и он посылал нас в этот наряд вместе. Звали этого бойца Василий Иванович Шабалин. Мы с Шабалиным служили в разных взводах и в обычные дни виделись не часто. Василий Иванович был гораздо старше меня, ему было лет тридцать пять, и в мирное время он был главным инженером (или его замом) металлургического завода Твёрдых сплавов. Я и в его случае не понимал и не понимаю, почему он служил рядовым у нас, а не был либо оставлен на заводе по броне, либо призван в регулярную армию на высокий технический пост.

Василий Иванович был из русских провинциалов. Он даже разговаривал с каким-то региональным волжским акцентом. Он был вполне образованным человеком — многое читал, любил классическую музыку, театр. Так что тем для бесед у нас было много. Более того, узнав, что я выбрал мехмат, он очень этот выбор одобрял. Не знаю, пользовался ли он в своей работе (он был технологом-металлургом) элементами математики, но он рассказывая мне о своих студенческих годах, свободно употреблял слова «дифференциал», «интеграл», «эллипс» и многие другие из математического анализа и аналитической геометрии. Этим он мне тоже imponировал. Он говорил, что в студенческие годы и в первые годы работы на скромных должностях математика помогала ему неплохо подрабатывать: он выполнял по договорам расчёты на прочность разных конструкций. Он говорил мне, что после окончания войны он снабдит меня такой работой в любых желательных мне количествах. Одно отрицательное последствие дежурств с Шабалиным осталось: глядя на него, я приучился курить, курил потом с разной интенсивностью много лет, и окончательно бросил только в середине 60-х.

В военную подготовку входило изучение и чистка оружия, политзанятия, военные и спортивные упражнения. Всё утро мы проводили на плацу, который был устроен в детском парке на Суцёвском Валу. Там мы учили строй, штыковой бой, метание ручных гранат (натурально — их деревянных макетов), преодоление преград (прыгали через забор и через ямы) и пр.

Один раз нас свозили на электричке на Мытищинское стрельбище, и мы в первый и последний раз постреляли из боевых винтовок. Один раз устроили что-то вроде военной игры на местности. Мы должны были атаковать и взять штурмом Савёловский вокзал. Мы ползали, скрытно перебежали под насыпью железной дороги и с криками «ура!» ворвались в какие то пакгаузы вокзала — к немалому перепугу персонала. Всё это происходило в тёплые августовские и сентябрьские дни. Впрочем, кажется, и первую половину октября погода держалась приличная.

Мы часто ходили строем и пели песни. Наши обычные маршруты были деловые: школа (т. е. казарма) — детский парк (учебный плац), школа — заводская столовая на Полковой, где нас кормили, школа — баня на Суцёвском валу. Иногда мы ходили строем ещё светлыми вечерами: демонстрировали свою силу населению микрорайона. Картина портилась

тем, что мы служили без военной формы. Нам выдали только пилотки со звёздочками.

Форму или что-то наподобие её носили только наши командиры и те бойцы, у которых что-то из неё случайно было. Кое-кто военную форму стихийно подменял наркомвнуделовской. У меня были уже упоминавшиеся папины краги, ремень и гимнастёрка. В парадных маршах по улицам роту сопровождал наш командир капитан милиции Слепнёв. У него была довольно свирепая внешность (чем то он смахивал на тогда, может, ещё не родившегося, а ныне уже покойного известного генерала и политика Александра Лебеда). Капитан был одет в какую-то смесь милицейской и военной формы. Он шёл сбоку от колонны, иногда по тротуару, и вёл на поводке преогромную немецкую овчарку. Возможно, Слепнёв не хотел расставаться с аксессуарами и повадками какой-то своей прошлой службы.

Командир батальона, ротные, командиры взводов и отделений — все были из НКВД. Старшие (старше отделённых) командиры жили не в казарме, а у себя дома. Они появлялись у нас очень редко (может, так занимались «оперативной» работой?), а нашими постоянными наставниками, жившими в казарме, были «помкомвзводы» и отделённые.

Наш помкомвзвода Антонов был весьма колоритной фигурой. В отличие от своего непосредственного начальника Певзнера, которого мы иногда не видели по несколько дней, Антонов был при нас всегда. Впрочем, иногда по вечерам или ночам он своим командирским положением пользовался и на несколько часов из казармы исчезал. Антонов служил каким-то охранником. Он был полным, чуть выше среднего роста, блондином и жил на постоянном подъёме настроения и голоса. При этом он говорил по-русски очень неправильно, но уверенно и убедительно. Один из его любимых оборотов был: «как всё равно мёртвые!». В этом он упрекал наш строй, если мы недостаточно зычно и дружно отвечали на его приветствие. В этом же мы могли провиниться при выполнении на плацу команды «Бегом марш!» и т. д. Характер у Антонова был совсем не вредный. Его гнева, всегда очень шумного, не боялись, но относились к нему с должным уважением, и все приказы его старались выполнять как надо.

Были в нашем батальоне несколько рядовых, которые занимали особое положение. Они входили в состав отделений и ночевали в казарме, а иногда ели с нами, чаще всего — завтракали, но потом от нас отделялись, в военных занятиях не участвовали, а до поздней ночи куда-то исчезали. На наши вопросы командир отделения объяснил нам, что боец нашего отделения Гильман уходит на «оперативную работу с населением». Что это значит, понимали далеко не все из нас. Я не понимал.

В конце августа или в начале сентября часть той сферы, в которой действовали оперативники, нам приоткрылась. Власти решили выслать из Москвы всех лиц немецкого происхождения, даже если они своих немецких корней не осознавали сами, даже если у них были русские фамилии. Наши оперативники выявляли таких граждан (по-видимому, живших в Дзержинском районе, а может, и в ещё более узком округе), извещали их о предстоящей депортации и о её технических деталях. Когда оперативники всю работу проделали, и ночь выезда их подопечных была назначена, к делу подключили многих бойцов нашего истребительного батальона. В это число попал и я.

Все привлечённые к операции бойцы были разбиты на группы из трёх человек, и каждой такой группе Гильман дал адрес одной «немецкой» семьи. Я был в нашей группе «старшим». Нам дали грузовик с незна-

комым нам шофёром. Мы приехали в назначенную ночь в назначенный час по назначенному адресу. Семья состояла из супругов средних лет, кого-то из их родителей и ребёнка лет десяти. Они жили в одной комнате коммунальной квартиры.

Вся предварительная работа была проделана, все вещи семьи были упакованы в ящики, мешки и чемоданы. Мебель с собой брать было нельзя. Нас ждали. Депортируемые были абсолютно русскими людьми. Свою нелепую судьбу они воспринимали, как неизбежное стихийное явление, не роптали, и на нашу тройку зла не имели — или разумно понимая, что мы причастны только к техническому исполнению решения, или разумно скрывая свою к нам ненависть. Так или иначе, они полностью и доброжелательно сотрудничали с нами.

Не знаю, было ли подобное взаимопонимание между всеми такими группами и выселяемыми ими семьями. Не исключаю, что многие мои сослуживцы верили или считали нужным верить (особенно это могло касаться недавних сотрудников органов), что они выселяют врагов, а бедные люди, которых депортировали, вполне могли не разбираться в нашей структуре и считать, что приехавшая за ними тройка непосредственно причастна к решению, так круто не по их воле изменившему их жизнь.

Моя группа вместе с «немцами» за полчаса погрузила в машину их имущество и их самих, и грузовик двинулся на Казанский вокзал. Водитель грузовика прекрасно знал, куда мы должны следовать (а я и этого не знал). Наверное, у него уже был опыт по вывозке немцев. Мы приехали на платформу. Там стоял состав теплушек. Наш водитель знал номер нужной нам теплушки. В начале платформы образовалась очередь грузовиков, привёзших другие семьи. Очевидно, число грузовиков, которые могли одновременно загружать пассажиров одной теплушки, было ограничено.

Наш водитель оказался парнем дошлым. Он в очередь не встал, сразу её объехал и оказался впереди. Как он поладил с диспетчером этой очереди из грузовиков, осталось мне неизвестным. Но к нужной нам теплушке мы подъехали, как только около неё освободилось место для очередной машины. Немцы с нашей помощью выгрузились в отведённое их семье место в теплушке, благодарили нас за помощь (Бог мой!) и тепло простились с нами.

От этой операции у меня осталось впечатление, что она хорошо организована и — по крайней мере, на её последнем этапе — проведена человечно. Конечно, подводная часть айсберга выглядела много хуже. Людей выселяли насильно, их отправляли в те места, которые они сами бы для эвакуации не выбрали. Возможно, что многие из этих немцев, не имея они этой отметки в паспорте, эвакуировались бы с организациями, в которых они работали, занимали, возможно, высокие посты, а в предложенном им категорическом варианте они оказывались в скверных условиях и без подходящей работы.

Я знаю, что немцев — и не только московских — выселяли в разные районы Казахстана. Там же оказалось население всей Республики Немцев Поволжья. Был выслан из Москвы (таким же, как я описал, манером; он рассказывал мне о деталях тех событий через много лет в Москве) наш обожаемый математик Герман Карлович Гилле.

...В сорок шестом году Герману Карловичу удалось вернуться в Москву. Наши контакты наладились. Он рассказал о своей ссылке. В том посёлке, куда была занесена его семья, он сумел продолжить свою учительскую работу, осчастливив это захолустье и, возможно, сыграв благую роль в судьбе некоторых одарённых детей.

По-видимому, сходная, а может, более мрачная участь ждала и нашу прелестную Ирму и её маленького сына. Вернувшись в сорок третьем в Москву, я пытался узнать что-нибудь о них, но не смог — ни в том году, ни позже. Такие же напрасные попытки делали Лена Залманзон и другие наши однокашники. Я потерял навсегда следы этой женщины, так много доброго и нужного сделавшей для меня и для моих друзей и оставившей в моей душе свой светлый образ. Не погибли ли они на пути в Казахстан или где-нибудь там, в каком-нибудь степном посёлке, где не нашлось в нужный момент нужной медицинской помощи? К несчастью, такой вариант вполне возможен. Но вдруг им посчастливилось вернуться после войны в Германию? Но и такой вариант можно назвать счастливым с большой натяжкой. Ведь Гитлер и война уничтожили, скорее всего, всех родных и близких её и её мужа, уничтоженного Сталиным.

Многие бывшие ученики Германа Карловича, и я в их числе, дружили с ним до самой его смерти в семидесятых годах. Вот забавный эпизод, связанный с послевоенными встречами с Германом Карловичем. В июне 1961 года исполнилось двадцать лет нашему школьному выпуску. По этому случаю состоялась встреча бывших однокашников. Эдя, Тамара, Лена и я в этой встрече, конечно, участвовали. Мы не смогли разыскать никого из наших любимых учителей, но Германа Карловича разыскивать было не надо, потому что, как я уже сказал, мы поддерживали с ним постоянную связь.

Мы собрались в квартире Сени Розиноера. Он и его семья (жена Оля и три дочки) жили в большом построенном незадолго до войны большом здании на Тверской напротив Центрального телеграфа. Ставшие почти сорокалетними однокашники подвыпили и дурачились. Совсем просто вёл себя приехавший на эту встречу из Таллина Володя Кяю. В школьные годы он был ближайшим другом Сени, а на встречу приехал, пребывая в высокой должности Председателя Совнархоза Эстонии. Совнархозы были изобретены при Хрущёве; это были высшие хозяйственные органы на всей вертикали власти — на уровне правительства страны, правительств союзных республик, областей и т. д. Просуществовали они недолго. Володя о своей работе рассказывал с юмором и всем давал смотреть своё красное удостоверение. Позволял себе разные шутки и Эдя, тогда уже известный композитор. На другое утро он позвонил мне и встревожено спросил, не делал ли он накануне чего либо неприличного. Я сказал, что нет, ничего особенного он не совершал, только вот бодал Германа Карловича (было такое). «Ну вот», — сказал Эдя облегчённо, — «а Тамара говорит, что я опозорил её перед всем классом»...

В Казахстан были высланы не все москвичи немецкого происхождения. Мне известно по крайней мере одно исключение. Не выслали знаменитого героя-полярника Отто Юльевича Шмидта и его сына Сигурда, моего ровесника, ставшего впоследствии известным историком. О. Ю. Шмидта лишили всех его постов, а их было немало: начальник Главсевморпути, директор Госиздата, Вице-президент АН СССР, Главный редактор Большой Советской Энциклопедии. Но звание академика за ним осталось. Насколько мне известно, такого звания ни разу никого не лишили, хотя относительно многих руки чесались — как у интеллигенции (которая была бы счастлива, если б в конце пятидесятых из Академии вышвырнули разоблачённого фанатичного проходимца Лысенко), или как у властей (которым мятёжный Андрей Дмитриевич Сахаров стоял в качестве академика поперёк глотки). Вместе с АН Шмидт уехал в начале войны в Казань, а в сорок третьем — вернулся в Москву в роли скромного профессора Мехмата...

Мы с папой были всё время вместе, но обстановка естественным образом не споспешествовала проявлению наших естественных связей. Да и настоящих поводов ему или мне проявлять особые отцовские или сыновние чувства не было. Одно семейное дело отец, всё же, сделал. Напротив нашей школы (по Стрелецкой улице) стояли какие-то неказистые одноэтажные бараки, принадлежавшие, очевидно, одному из местных заводов. В одном из этих бараков папа нашёл женщину средних лет, которая стирала нам с папой бельё. На каких основаниях это делалось, имели ли тогда ещё какую-нибудь ценность деньги, я тогда совершенно не вникал. Как стирали своё бельё другие бойцы, я не замечал и не запомнил.

Вообще, вся наша жизнь в роте на Стрелецкой по-настоящему военной не была. Она, скорее, даже отделяла бойцов от военной действительности с её нараставшими дефицитами и опасностями. Немцы неотвратимо двигались к Москве, а в нашу роту вдруг дали несколько десятков билетов в Театр Красной Армии (ведь тот же район!) на спектакль Попова по пьесе У. Шекспира «Укрошение строптивой». Я был среди тех, кто получил билет. Мы могли идти в театр по вольному, не в строю и без командиров. Я помню, как я радостно шёл один ранним светлым летним вечером (спектакли в это военное лето начинались в театрах на пару часов раньше обычного) по Октябрьской улице к площади Коммуны, как с большим интересом вместе с полным залом зрителей смотрел на дискуссии Катарини и Петруччио, как по уже стемневшей Октябрьской шёл назад в казарму.

Первый раз я ощутил войну осязаемо в одну из осенних ночей. Я не помню точной даты, но знаю, что это была та ночь, когда был разбомблён университетский корпус, в котором находился (я это знал!) мехмат. Для меня эта ночь началась с того, что часов в одиннадцать вечера меня и ещё нескольких бойцов из нашей комнаты вызвали на построение. Мы выстроились в коридоре. Нас оказалось десятка два человек из разных взводов. Перед нами выступил Антонов и объявил нам, что мы представляем собой команду, созданную для проведения разведки. Антонов велел нам спускаться вниз и садиться в грузовик.

Внизу стояла полуторка со скамьями поперёк кузова. Мы расселись. В кабину сел Антонов. Машина тронулась. Мы поехали по Московским улицам и выехали за город. Мы обсуждали, сидя в кузове, наш маршрут, и решили, судя по улицам, через которые мы проезжали, что мы выехали в восточном направлении. Мы всё время ехали по асфальтированному шоссе. Часа через полтора машина остановилась. По обе стороны шоссе был лес. Из кабинки вышел Антонов. Он сказал нам, что мы находимся в районе Подольска, что мы свою задачу (какую — мы так и не поняли) выполнили, что мы можем вылезти на пять минут из кузова, поразмяться, и что после этого мы поедem назад. Так и было. Эту гоньбу на машине на восток от Москвы вполне можно сравнить с пионерской военной игрой в пионерлагере в Болшево. Мы и тогда шли лесными тропинками, встречались на какой-то полянке и с песнями возвращались в лагерь. Правда, из под Подольска мы возвращались без песен. Назад мы, очевидно, въезжали в Москву южнее, чем выезжали. Во всяком случае, мы въехали в Центр через Каменный Мост. Когда мы проезжали Манеж, то увидели, что горит тот корпус университета, который против Манежа.

Мы вернулись в казарму под утро, и нам дали поспать. Цели всей этой нашей поездки я не узнал никогда. Вряд ли нас везли для того, чтобы я, увидев горящий университет, лучше проникся бы военной реальностью.

После молодецкой разведки снова началась обычная военно-учебная жизнь. Только из-за учащавшихся осенних дождей мы стали реже ходить на наш плац в Детском парке Дзержинского района. И ещё: в начале октября наша рота в течение нескольких дней выходила на территорию завода «Борец» и грузила сваленные во дворе металлические конструкции и какое-то оборудование на открытые платформы, стоявшие на подъездных путях, проходивших через территорию завода. Нашей работой управляли работники завода. Какое-то оборудование они прикрывали брезентом. Как мы поняли, мы готовили завод «Борец» к эвакуации.

Время шло к 16-му октября. Эта дата стала памятной в истории обороны Москвы. Никакой учебный год в том сентябре, разумеется, и не начинался. 14-го октября к нам с отцом в Марьину Рощу приехала находившаяся в полной прострации мама. Она приехала прощаться: на другой день она должна была уезжать вместе с Военно-Политической Академией, в которой она работала на кафедре иностранных языков. Ехать предстояло из Москвы в Белебей — новое место дислокации этого военного учебного заведения, готовившего офицеров-политработников.

Те вольнонаёмные сотрудники, которых Командование Академии склонно было взять с собой, были извещены об этом за несколько дней до отъезда. Мама хотела было уволиться и остаться в Москве, чтобы быть ближе к нам. Но мы с папой резонно считали, что и наш батальон долго в Москве не задержится, и есть опасность, что мама останется в этом пустующем городе одна: её мать — Бабуся — и сёстры к этому времени уже разъехались по своим пунктам эвакуации. Но главное — мы не были уверены в том, что немцы не захватят Москву, и были уверены в том, что если захватят, то оставшимся в городе евреям не выжить. Мы уговорили маму эвакуироваться вместе с Академией. И — как в воду глядели.

Днём 16-го мы оставались в казарме, и до нас доходили вести о царящей в городе панике. Вечером 16-го нам объявили, что на другое утро мы выступаем на позиции под Москвой. Нам выдали по полбуханки хлеба и велели подготовить вещмешки и быть готовыми к раннему подъёму. Ночь мы провели тревожно, а часа в четыре нас подняли, ибо было пора. В столовую на завтрак нас не повели. Было ещё темно, когда нас построили в школьном дворе с полной выкладкой — с винтовками, противогазами и вещмешками. После переключки нас повели пешим строем с севера — из Марьиной Рощи — на юг. Наш маршрут прошёл почему-то даже через Красную Площадь, где через несколько дней состоялся так обнадёживший многих военный парад.

Я не помню, кто командовал всеми сборами и маршем. Но это был не капитан Слепнёв. Его и других наших командиров — Певзнера и Антонова — я с этого дня больше никогда в жизни не встречал. Может, они ушли в заоблачный плёс, может их вернули на оперативно-сыскную работу, внимая их просьбам и сознавая их полную ненужность для ратного дела. Но это был только первый шаг на пути исчезновения истребительного батальона Дзержинского района.

Нашу роту провели по Якиманке, Б. Калужской и вывели через Калужскую Заставу на Калужское шоссе. Нас привели к Дому ВЦСПС. Теперь уже давно это здание мало заметно: оно стоит во втором ряду домов на Ленинском проспекте — в тех краях, где универмаг «Москва». А тогда это было единственное одинокое расположенное большое здание на большом пустыре в нескольких десятках метров справа от Калужского шоссе. На левой стороне шоссе в этом месте была группа небольших жилых домов барачного вида.

Нам велели располагаться в этом конструктивистском четырёх- или пятиэтажном здании грязно-жёлтого цвета. После 16-го октября (а может, и несколькими днями раньше) занятое нами здание окончательно перестало быть резиденцией руководства профсоюзов страны и было совершенно пусто, если не считать канцелярской мебели и бумаг, валявшихся в шкафах, в ящиках и на крышках письменных столов и на полу. Ни одного человека во всём помещении не было. Кто открыл вход и отдал ключи нашему тогдашнему командиру, который нашу команду в это здание привёл, я не знаю. Кто был нашим тогдашним командиром, я тоже не знаю. Возможно, что в здание ВЦСПС привели не только нашу, но и другие роты нашего батальона: здание ведь большое, а мы не были знакомы не только с бойцами из других рот батальона, но даже из других взводов нашей роты.

Приведённые в здание ВЦСПС войска провели там день и следующую ночь, разбредаясь по кабинетам и нежась в чёрных клеёнчатых креслах, поедая выданный однодневный сухой паёк. А на другое утро они двинулись куда-то дальше. Но не все. Несколько человек, и в их числе папа и я, были оставлены охранять привезённые в это здание боеприпасы, сложенные в ящики и мешки. Их надо было за следующие дни перевозить вслед за войском — по мере предоставления грузовиков. Другие оставленные охранники были нам с папой едва знакомы, потому что были выхвачены из других рот или взводов.

Наша группа охранников провела в здании ВЦСПС ещё два или три дня. Так мы оказались отделёнными — вроде временно — от остальных бойцов того взвода того истребительного батальона, с которыми вместе совсем недавно вышли из Марьиной Рощи. Но больше я и папа ни с кем из наших прежних сослуживцев не увиделись. Даже с теми, кого хорошо узнали за последние три месяца совместного прохождения службы.

Я бродил по пустому зданию, и в одном из кабинетов обнаружил брошенную большую тяжёлую прекрасно изданную книгу «Жан Кристоф» Р. Роллана с иллюстрациями Мазереля. Обязанность у нас была только одна: помогать грузить боеприпасы в приезжавшие грузовики. Но они приходили не часто, и свободного времени было больше, чем занятого. Я стал перечитывать найденный роман

Мы могли свободно выходить из нашего временного помещения. Рабочий посёлок напротив принадлежал, очевидно, фабрике им. Калинина, которая, как я уловил из разговоров жителей, находилась где-то недалеко, и на которой работало большинство женщин, ходивших вдоль шоссе и заходивших в магазины. Уже действовала карточная система. Я не помню, была ли она введена только что вышедшим Постановлением Государственного Комитета Оборона о введении в Москве осадного положения или была введена раньше.

Признаков паники перед наступающим врагом, голодом и другими бедами я среди немногочисленного населения не заметил. Хлеб в магазине и в ларьке был. Не помню, было ли что-нибудь из продуктов ещё. Очереди были небольшие и не скандальные. Хотя хлеб был по карточкам, которых у нас, бойцов, не было, продавщицы магазина и ларька давали мне батон без карточек, без очереди и, кажется, даже без денег.

Когда пришёл последний грузовик, который забирал и нас, роман «Жан Кристоф» ещё до конца прочитан не был, и я сунул его в свой вещмешок: ехать предстояло в машине, и лишняя тяжесть меня не пугала. Эту книгу мне удалось сохранить и при некоторых последующих перемещениях военных лет. Да, такой парадокс: война уже принесла бед-

ствия миллионам людей, да и наша семья из колеи была выбита — мама в эвакуации, мы с отцом здесь, будущее в тумане, а я читаю «Жана Кристофа», да ещё и беру этот здоровенный синий кирпич с собой на позиции в неопределённое будущее.

Я не испытывал чувства страха — ни за себя, ни за отца, хотя в ближайшие же дни мы могли оказаться в боях. Не щемило у меня сердце и за страну, которой грозила катастрофа, а её народам, в первую очередь евреям, рабство и физическое уничтожение. Мы знали, что немцы самым угрожающим образом приблизились к Москве почти на всех направлениях, ведущих к западному полукольцу города — от его северной до южной точек. Мы знали, что до сих пор их нашествие было победным. На что была надежда? Почему я не пребывал в унынии? Я хорошо спал и был весел, моё сердце не замирало и не колотилось от неуправляемых тоски и страха.

...То моё спокойствие я сейчас вспоминаю с удивлением. Оно находится в совершенном противоречии с моими свойствами, относящимися к аналогичной сфере и проявившимися вскоре после описываемого времени. Уже менее чем через три года после того, как я, отправляясь на позиции, стоявшие на пути немцев к Москве, спокойно совал в вещмешок «Жана Кристофа», я дурно спал перед экзаменом по аналитической геометрии.

Тогда у моего страха глаза были совсем слепые. Но постепенно они увеличивались и прозревали, и скоро даже малейшие и не всегда очевидные и достоверные сигналы о возможных неприятностях разнообразной природы — здоровье близких и моё собственное, осложнения на работе, придирки и санкции властей и других учреждений, вероятность столкновения с преступным миром, семейные проблемы, риск денежных потерь и пр., и т. п. стали приводить меня в волнение — с сердцебиением, бессонницей, отчаянной тоской — далеко не всегда адекватное реальному положению дел. Что — был храбр, а стал трус? Или — был глуп, а стал умён? Возможно, дело (полностью или частично) вот в чём. Теперь к опасениям по существу добавляются волнения по косвенным поводам: неопределённость содержания и срока наступления возможной опасности, ответственность за собственное поведение; опасения за то, правильно ли отвечаю, то ли, что надо, и всё ли, что надо, сделаю? Не ударю ли лицом в грязь? Не подведу ли кого? Эти волнения «по поводу» доминируют. Когда неприятность фактически наступает, я веду себя вполне спокойно и собранно — как в те годы...

Не знаю я, что творилось тогда в душе отца. Понимал ли он реальность лучше моего? Скорее всего, да. Но вид у него не был угнетённым. Впрочем, и до самой своей смерти в приличные семьдесят восемь он к панике предрасположен не был.

Мы приехали на позиции и обнаружили то, о чём я уже немного писал: Истребительный батальон Дзержинского района исчез. Его личный состав развели по подразделениям той военной части, которая эти позиции заняла раньше. Этой военной частью был 879-й стрелковый полк. Но как мы из чего-то поняли, это уже было не ополчение, а регулярная армия. К какой дивизии, корпусу, армии, фронту принадлежал 879-й полк я так никогда не узнал. В красноармейской книжке, которую я, как и другие бойцы, вскоре получил, был проставлен только этот запомнившийся мне номер.

Наверное, все эти расформирования и перемещения людей планировались заранее, и командование батальона, выводившее его из Дзержинского района, знало, куда и в каком качестве батальон стронут с места, и где будут служить его бойцы. А для нас все эти исчезновения наших рот

и взводов казались загадочными только по незнанию общей картины. Привычные нам отделения и взводы вдруг ушли в небытие так же неожиданно и непонятно, как за пару дней до того исчезли Слепнёв и Певзнер с Антоновым. Впрочем, вряд ли большинство ушло в том же направлении, что эти чекисты. Мы с папой стали бойцами отделения боепитания уже совсем новой роты, в которой наших старых сослуживцев не было. В отделении боепитания никого из знакомых тоже не было.

Попав в полк, мы получили, наконец, военное обмундирование: ушанки со звёздочками, тёплые куртки защитного цвета, стёганные ватные штаны, бельё и сапоги. Я ещё раздобыл где-то командирский ремень с портупеей и носил его с огромным удовольствием во всех тех частых случаях, когда мне не грозила встреча с каким-нибудь командиром, который мог бы наложить на меня взыскание за одежду не по форме. В новых условиях мы стирали бельё не с помощью прачки, как в Марьиной Роще, а сами.

Подразделения полка были дислоцированы в нескольких местах: в домах села Никольского, раскинувшегося вдоль Киевского шоссе, в домах деревни Раменки, располагавшейся недалеко от Боровского шоссе, и в длинной линии окопов, прорытой поперёк между этих двух шоссе, которые (шоссе) шли под острым углом друг к другу и которые недалеко от Раменок на юго-запад пересекались. Таким образом, область, занимавшаяся полком, образовывала треугольник (два шоссе и линия окопов между ними) со сторонами в два—три километра. С планом теперешней Москвы я однозначно этих мест связать не могу, хоть и пробовал.

Те участки Боровского и Киевского шоссе, о которых речь, давно стали частью города и получили названия московских улиц и проспектов. Во всяком случае, территория тогдашней деревни Раменки и речка Раменка, куда я ходил по осклизлым тропинкам по воду, находятся, безусловно, вблизи района Раменки и Мичуринского проспекта. Те магистрали, которые на плане теперешней Москвы сохранили название «Боровское шоссе», находились гораздо дальше от Калужской заставы (теперешней площади Гагарина), чем места дислокации нашего полка.

Отделение боепитания, командиром которого оказался мрачноватый и даже несколько вредный старший сержант Капуценко, было размещено в деревенском доме в Раменках, а хозяева этого дома (их я вспоминаю очень неотчётливо) были уплотнены и жили в одной комнате, мало до нас касаясь. За водой (были уже морозцы и морозы) мы, как я уже написал чуть раньше, ходили в овраг, где что-то текло. Наверное, речка Раменка. За едой кого-нибудь из нас отряжали с котелками и бачками на полевую кухню, которая размещалась в длинном одноэтажном мазанном штукатуркой доме, где до войны была деревообделочная фабричка. Мы называли это помещение «Белый дом» за его цвет.

Итак, мы были устроены сравнительно комфортабельно. Кроме нас с папой и Капуценко, в отделение боепитания входили ещё двое или трое бойцов. В этом же доме был склад боепитания, которым ведало наше отделение, и мы время от времени выдавали посланным к нам бойцам ящики с патронами и гранатами, а также подобные ящики из подъезжавших грузовиков, выгружали и пополняли ими наш склад.

Кроме нашего отделения, в этом деревенском доме жила супружеская пара Чистилиных. Супругам было лет по тридцати. Они также служили в нашей роте. Это были очень приятные и интеллигентные люди. Людмила Ивановна была санинструктор. Боёв не было, но без работы она не сидела. К ней приходили бойцы с ушибами и царапинами, она их ма-

зала йодом и перевязывала. Часть дня Людмила Ивановна, вооружившись своей санитарной сумкой, ходила по окопам и блиндажам и оказывала санинструкторские услуги на месте. У неё и гражданская специальность была медицинская.

Владимир Иванович был ротным (или батальонным?) почтальоном. Он ходил по окопам, в Белый дом и в штаб полка в Никольском, разносил полученные на нашу полевую почту письма адресатам и собирал их письма для отправки. Его гражданская специальность была совершенно несозвучна военной: Владимир Иванович был профессиональным эстрадным фокусником.

Большинство солдат и офицеров полка жило в блиндажах, которые соединялись окопами. По-видимому, наш полк в составе более крупного подразделения занимал последний перед столицей оборонительный пояс. В конце ноября и в начале декабря мы слышали артиллерийскую канонаду в районе Апрелевки. До нас немцы не дошли. Я помню наше общее ликование, когда 6-го декабря сначала радио, а потом газеты принесли известие о разгроме немцев под Москвой. Тогда мы многого не знали, но знали, что Москва — не побеждена, что у войны есть шанс повернуться к лучшему.

Во второй половине декабря, когда наша часть всё ещё была в Раменках, бывших бойцов истребительного батальона с белыми билетами послали на медицинское переосвидетельствование, которое проходило в медсанбате дивизии — где-то около Калужской заставы.

Возможно, командование дивизии опасалось, что обилие белобилетников, попавших в состав дивизии вместе с ополчением, создаст у вышестоящего начальства завышенное представление о боеспособности части, и чтобы этого не произошло, спешило, пока дивизия в тылу, от белого балласта избавиться.

На комиссии выявилась моя высокая близорукость, мой белый билет был подтверждён, и я стал ждать официального приказа об увольнении от военной службы, который вышел в начале января 42-го. Хотя Армия после победы под Москвой двинулась на Запад, наша часть оставалась на прежнем месте. Её роль последнего оборонительного пояса стала ненужной, про неё, вроде, забыли.

Если не считать обязанностей по поддержанию собственного быта, делать бойцам и офицерам было почти что нечего. Нас с отцом отпустили даже в Москву встречать Новый Год. Мы поехали к папиной сестре, Тёте Нюре на Арбат в Мало-Николопесковский переулок. Папа воспользовался знакомством нашего Чистилина с каким-то писарем в штабе полка: писарь разрешил папе позвонить по телефону, папа связался с Нюрой и получил приглашение.

Нам дали увольнительные со второй части дня 31-го до полудня 1-го января. Нам подфартило: попутная военная грузовая машина довезла нас сразу до Калужской площади. Сперва мы зашли в парикмахерскую на Мытной недалеко от угла. Нас постригли и нам помыли головы. Удовольствие незабываемое. После этого папа привёл меня в фотографию, которая была рядом. Моё изображение я получил через несколько дней, когда меня уже демобилизовали. Я послал фотографию маме.

...Мама сохранила её и привезла из Белебея в Москву. Она и теперь стоит у нас за стёклами книжного шкафа здесь, в Иерусалиме...

Новый Год мы встретили в непривычной довоенной обстановке. Тётка расстаралась: был гусь, хорошее вино, водка, чистое постельное бельё...

Семья тётки Нюры в эвакуацию не уехала, и за столом были и моя кузина Ирина, и тёткин муж Александр Иванович. На другое утро мы с папой троллейбусом и автобусом доехали от Смоленской до Калужской заставы. Потом, прошагав с полкилометра через большое поле с необранной капустой, выбрались на довольно уже удалённую от Москвы точку Боровского шоссе и на попутной машине вернулись в Белый дом.

В первых числах меня демобилизовали, и я вернулся в Москву.

...Второй раз вышло, что я покинул мою воинскую часть незадолго до того, как её ввели в бой. Оставленная мной в июле ополченческая дивизия почти полностью полегла под Вязьмой или погибла в немецких лагерях для пленных и в концлагерях. Оставленный мной 879-й стрелковый полк разделил суровые, но обычные тяготы войны. Я бы, безусловно, погиб, оставшись в ополченческой дивизии, и вполне мог погибнуть, оставшись в полку. Не остался, не погиб, уберегло. Отец остался в армии. Ещё некоторое время я навещал его в Раменках, а потом и это подразделение двинулось на запад.

...Отец прослужил до конца войны. Через два или три месяца в штабе полка обратили (думаю, что не без помощи папы) внимание на его специальность и перевели из рядовых бойцов в начфины полка, присвоив ему младшее офицерское звание. Он прошёл войну без ранений, закончил её в Румынии, и осенью сорок пятого возвратился в Москву капитаном интендантской службы...

Я вернулся в наш дом на Арбате. Напомню: в июле прямым попаданием авиабомбы был разрушен театр Вахтангова. Окна нашей комнаты выходили на театр, и комната была повреждена — как и другие комнаты нашего дома, выходившие окнами на Арбат. До отъезда в Белебей мама кое-как в нашей комнате прожила, но в январе, когда я вернулся, жить в ней было невозможно. Были выбиты стёкла окон. Отопление не работало, а согреть комнату с помощью печки-временки тоже было нельзя из-за трещин в стене дома. А главное, не было газа, и не на чем было приготовить поесть.

В нашей двадцать четвёртой оставались только Клара и Александра Ивановна Шелагурова. И мы втроём переехали (эту возможность нарыла вездесущая Клара) в тридцать пятую квартиру. Та квартира была совсем пустой, и нам можно было бы расселиться по любым трём разным комнатам, но одну комнату общими усилиями было легче отапливать, и мы стали жить все вместе в одной. До войны в ней жила бабушка Кирилла Раменского Зинаида Николаевна. Стёкла в этой комнате были целы (они выходили в Калошин), и на кухне теплилась газовая плита. Но было холодно и голодно.

Жизнь трёх чужих и разнополых людей в одной комнате казалась нам совершенно естественной. Спали мы не раздеваясь, а если и переодевались, то — в основном, по причине холода — под одеялом. Больше в тридцать пятой не жил никто. Трубы уборной от холода лопнули, и каждый решал свои интимные физиологические проблемы по-своему. Я пользовался уборной, расположенной на платформе станции метро «Арбатская» — пока служащие станции не догадались запереть её на ключ.

Тётя Нюра, у которой мы с папой только что встретили Новый 42-й год, узнав о том, как убого я устроился, пригласила меня жить у них. Я это приглашение принял. Они жили в двухэтажном деревянном доме. Там были голландские печи, и поэтому было сравнительно тепло. По тогдашним правилам, я в течение трёх месяцев после демобилизации мог не работать и получать «рабочую» (т. е. высшей категории) продовольственную карточку.

На второй или третий вечер моей жизни у Тёти Нюры ко мне неожиданно пришёл Натан Агрест. Натан прошёл офицерские ускоренные курсы, только что их окончил и ехал в свою часть. В этот момент только я один из нашей компании был в Москве. Натан зашёл в дом 35. Ему объяснили, как меня найти. Мы проговорили с ним часа два, и он уехал.

...Наверное, эта была последняя встреча Натана с близкими ему людьми из нашего дома. Натан участвовал в завершении Битвы под Москвой. 23-го февраля сорок четвёртого он погиб во время прорыва Ленинградской блокады...

Я старался быть тётиной семье в тягость поменьше. Свою продовольственную карточку я сразу Тёте Нюре отдал. Рядом с их домом в красивом особняке было размещено какое-то военно-морское учреждение. Там была офицерская столовая. Меня в это здание пропускали из-за моих военного образца куртки, солдатской ушанки и португепи, которые я продолжал носить после демобилизации. По моим расчётам, португепя должна была вызывать у окружающих идею о моей принадлежности к офицерскому корпусу. Я вызнал, какие блюда можно было «выбить» в кассе, не отдавая талончиков. Это была или манная каша, или пюре из мёрзлой картошки. Я съедал это и старался у тёти Нюры есть поменьше. Скоро меня в ту столовую пускать перестали.

Ещё я узнал, что поесть без карточек можно было в ресторане гостиницы «Москва» на втором этаже. Я приходил к открытию ресторана — в 12 часов дня — ко входу в торцевой части здания гостиницы, обращённой к Манежу. Там собиралась огромная толпа, в которой было и много лейтенантов и капитанов. Возможно, в отличие от меня, у них какие-то талоны были.

В момент открытия толпа атаковала двери: надо было попасть в зал, пока за столиками были свободные места. Тот, кто не успевал, ждал освобождения места за спиной более проворных и удачливых и садился во вторую очередь. Но такому опоздавшему еда могла уже и не достаться.

В ресторане не надо было пробивать чеки в кассе, как в военно-морской столовой. Как в довоенные времена, блюда разносили чисто одетые и ухоженные официантки. Но тому, кто без талонов, они приносили водянистую манную кашу или капустные или морковные котлетки и получали за них по паре рублей. Чаевые, впрочем, были не приняты.

...Я всегда вспоминал этот полуденный бег с препятствиями по мраморным лестницам помпёзного здания гостиницы «Москва», совершавшийся для захвата свободного места в шикарном зале знаменитого московского ресторана, когда более чем через сорок лет после тех времён — в восьмидесятых — мы с моим приятелем физиком Вилей Луцким завели обычай раз в месяц — полтора обедать в этом ресторане.

Виля — главный научный сотрудник Института Радиотехники и Электроники АН, который размещается очень недалеко от «Москвы» — в том здании старого комплекса МГУ, где в мою студенческую бытность был физфак. Для Вили наша трапеза была способом проводить обеденный перерыв. А я приезжал на свидания с ним с Профсоюзной улицы, где стоит институт, в котором я тогда работал.

Обычно нам с Вилей надо было постоять перед входом в зал в небольшой очереди (радикально ликвидировать очереди советская власть так и не смогла; но всё же топталась мы уже не на улице, а сдав пальто в гардероб), сдерживаемой нарядным швейцаром, и когда мы оказывались первыми, за нами приходил метрдотель и провожал к освободившимся

двум местам за четырёхместным столиком. Метрдотель был любезен и по возможности сажал нас либо за столик, где освободились все четыре места, либо, по крайности, не подсаживал к нам больше никого, если наши соседи уходили раньше нас. Еда, сто грамм водки и пиво были великолепны...

Вскоре и эта лафа в ресторане «Москва» прекратилась: людей «с улицы» и туда пускать перестали.

Да и от тётки Нюры я ушёл. Придравшись к моему незначущему слову, которое она истолковала в том смысле, что я контролирую, не уходит ли часть продуктов, получаемых по моей рабочей карточке, в тарелки моих хозяев, она устроила мне скандал, после которого мне ничего не оставалось, как поблагодарить её за двухнедельное гостеприимство и вернуться в холодную квартиру 35 к родным тётке Кларе и Александре Ивановне, которые ко мне претензий не имели.

Из всех моих друзей я в Москве застал мало кого. Среди них — Майю Левидову. Я приходил к ней изредка в гости. Она по-прежнему жила с мамой в доме 20 на Арбате. Никаких сведений об арестованном Михаиле Юльевиче у них не было. Училище 1905-го года, в котором училась Майя, было куда-то эвакуировано. Майин учитель и объект обожания Фёдор Иванович Невежин уехал в эвакуацию с училищем и со своей семьёй. Майины иллюзии относительно их будущего счастливого творческого и семейного союза быстро таяли.

Я навестил Надежду Всеволодовну и Ару. Они жили в своих двух комнатках в холоде и впроголодь. Тем не менее, они пригласили меня к тарелке супа с кусочком чёрного хлеба. Ара собиралась учиться в ГИТИСе на театроведа. Но ГИТИС был в эвакуации, и окончила его Ара только в 1951 г. Я заходил к Аре и её маме и позже, но — редко.

Навестил я и Лёню Большакова. Они по-прежнему жили втроём: с мамой и сестрой. Условия, в которых он оказался, были для его болезни смертельными. Но он с присущей ему мужественностью был оживлён — его возбуждала недавняя победа под Москвой — оптимистичен и шутлив. Мне и здесь дали тарелку супа. Не забываются такие тарелки. Это была моя последняя встреча с Лёней. Он скончался через полтора года. Меня тогда в Москве не было.

Как-то встретил я одну мою однокашницу К. (её полное имя я мог бы привести только с её разрешения, которым я не располагаю). Она откровенно рассказала мне, что её вызвали на Лубянку и предложили быть осведомительницей. Ей сказали, что ничего особенного от неё не требуется, и что её согласие может облегчить судьбу её арестованного отца (через несколько месяцев он умрёт в тюрьме далеко от Москвы). Бедная К. согласилась.

Её «духовник» из Органов объявил ей, что они будут встречаться в одной из опустевших квартир дома 19 в Староконюшенном и дал ей попользоваться бесплатным и на предъявителя пропуском на любой сеанс в любом кинотеатре Москвы. Пропуск надо было протянуть кассирше, и она давала тебе обычный билет на затребованный тобой сеанс, да ещё учитывая твои пожелания относительно места. К. по простоте давала этот пропуск и мне. Я думаю, что инквизиторы получали такие пропуска не столько для собственного развлечения и для развлечения работавших на них стукачей, сколько для того, чтобы при необходимости продолжать слежку за «объектом» и в том случае, когда объект зайдёт в кино — посмотреть фильм или попытаться уйти от слежки, если он её заметил.

К. простодушно рассказывала мне о встречах в доме 19. Этот дом окрестное арбатское население называло «цековским». Это был недавно построенный большой дом сталинского архитектурного стиля, в котором квартиры получали работники аппарата ЦК и крупные военные. Что-то вроде филиала Дома на Набережной. Вопросы духовника, по соображениям К., не были коварными, а объяснения К., сводившиеся к тому, что она на эти вопросы ответить не может, так как не знает упоминавшихся лиц (что иногда было правдой), вопрошающего не раздражали. Хороший был человек.

Через пару месяцев К. сказала мне, что её неудобный знакомый попросил вернуть ему пропуск в кинотеатры, а вскоре и перестал приглашать её в дом 19! Зная К. с самой лучшей стороны, и её полную откровенность со мной, я не сомневался тогда и не сомневаюсь теперь в безусловной правдивости этого её сообщения.

Вернусь, однако, в январь сорок второго. Как-то я вдруг столкнулся на Арбате с Викой Левиным. Последний раз перед этим я видел его в лесном лагере дивизии народного ополчения Киевского района, откуда я уехал в Москву продолжать службу в истребительном батальоне, а Вика осталась. Он рассказал мне о страшном разгроме этой плохо вооружённой и необученной дивизии под Вязьмой. Он спасся чудом, пробравшись лесными тропами чуть ли не до самой Москвы. О судьбе своих товарищей по службе он ничего не знал. После этой встречи я Вику из поля зрения надолго потерял.

Я узнал, что наряду с вывезенной на восток основной частью МГУ и его преподавательского и студенческого состава, открылась и московская часть, которая стала теперь филиалом того МГУ, который функционировал в эвакуации. Моих документов, которые я подал вместе с заявлением о приёме на мехмат 21-го июня и которые остались в ректорате московского филиала, оказалось достаточно для того, чтобы меня зачислили студентом без всяких вступительных экзаменов. Условия учёбы были суровые. По моим воспоминаниям, программа обучения первого курса выполнялась далеко не полностью: не все предметы были обеспечены преподавателями.

Я помню лекции по аналитической геометрии, которые читал профессор Нил Александрович Глаголев. Делал он это как в фильмах про времена гражданской войны: в валенках и в шубе, но с повадкой валяжного барина. На первом курсе учился человек пятьдесят.

Высшую алгебру нам читал Леопольд Яковлевич Окунев, автор одного из двух известных тогда учебников по этому курсу. Автора другого учебника — А. Г. Куроша — в Москве тогда не было. Окунев был симпатичный средних лет и среднего размера еврейский мужчина. Я относился к нему с особой симпатией.

Я уже писал о том, что в десятом классе я посещал математический кружок Германа Карловича и как-то приготовил доклад о методе нахождения корней многочленов третьей и четвёртой степени. Эта проблема имеет интересный исторический антураж, касающийся итальянских учёных эпохи Возрождения — Кардано, Тарталья и Феррари. Байки про них я прочёл в книжке Цейтена «История математики», а собственно математическое содержание проблемы я выучил по учебнику Л. Я. Окунева, который тогда дал мне Герман Карлович. И вот я сидел перед живым Окуневым, оказавшимся таким милым.

Важное обстоятельство. Став студентом, я не «встал на комсомольский учёт», а засунул свой комсомольский билет в весьма долгий ящик, в надежде, что меня эта организация не хватится, и я в недалёком будущем

смогу этот билет выбросить бесповоротно. Моя надежда сбылась. Таким манером, вступив в комсомол за три месяца до войны с единственной целью проходить беспрепятственно в здание МГК ВЛКСМ для подготовки конкурса чтецов Маяковского, я в связи с тем, что надобность в конкурсе отпала, из комсомола выбыл.

Часть зданий университета была разрушена бомбой, попавшей в него в октябре. Верхние этажи не использовались. Где-то на нижнем этаже нашего корпуса было дежурное помещение. В нём стояло штук пятьдесят кроватей, в которых могли спать студенты (и студентки), которым выходила очередь дежурить по зданию на случай попадания зажигательных бомб. В этом помещении было тепло, и я любил быть дежурным.

Скоро выяснилось, что далеко не все студенты (и студентки) любят быть дежурными. Такой нелюбовью отличались студенты, которые жили в оставшихся в Москве сравнительно благополучных семьях и предпочитали ночевать дома. Тогда я стал предлагать таким коллегам дежурить вместо них. Они и администрация на такие замены соглашались, и я стал «вечным дежурным». В результате аналогичных действий других бездомных и предприимчивых студентов в течение короткого времени почти все кровати в дежурке оказались занятыми такими же вечными дежурными, как я. Жизнь в дежурке была гораздо уютнее и интереснее, чем жизнь в холодной квартире 35, и я моих соседак покинул.

Обязанности дежурных состояли в том, чтобы в спокойную ночь просто время от времени обходить дозором университетские этажи и чердаки, а в случае налёта немецкой авиации бороться с зажигательными бомбами. Первое было совсем необременительно: мы ходили группами по несколько человек и продолжали наши обычные беседы и шутки. Налёта, по счастью, ни разу не случилось. В дежурке образовался постоянно действующий клуб, который посещали и те студенты, которые там не жили. Среди студентов были примечательные личности. Расскажу о двух из них.

Один из них — Марат Евграфов — был вундеркиндом. Он поступил на мехмат пятнадцати лет за год или два до войны. В описываемое время ему было лет шестнадцать или семнадцать, но из-за своего богатырского сложения, высокого роста и хорошо растущей бороды он выглядел двадцатипятилетним.

...Через несколько лет он стал профессором, видным учёным, сотрудником Математического Института им. Стеклова...

Другой — Саша Роднянский — один или два курса проучился до войны. Он был фанатично предан одной-единственной области математики, а именно топологии. У него, по-видимому, было не всё в порядке с психикой, ибо свою приверженность к топологии он выражал не только естественными, но и странными поступками. Естественное, хотя и нестандартное, выражение любви Роднянского к топологии состояло в том, что он выбрал героический способ постижения любимого предмета. Он стал своим методом штудировать книгу Хаусдорфа «Теория множеств». Эта переведённая с немецкого книга была тогда основополагающей монографией по теоретико-множественной топологии.

Саша прочитывал у Хаусдорфа только фрагменты текста между формулировками теорем и сами эти формулировки. Прочитав формулировку очередной теоремы, Саша книгу откладывал, начинал доказывать теореме самостоятельно, и пока у него это не выходило, он к чтению книги не возвращался. К моменту моего с ним знакомства он преодолел примерно две трети книги.

Всеми остальными математическими предметами из программы Роднянский занимался только для того, чтобы кое-как сдавать экзамены. И уж совсем чужды ему были обязательные нематематические предметы, включённые в учебный план мехмата: физика, астрономия и «Краткий курс истории КПСС», которые все были для него на одно лицо. Про Сашу ходили истории. Вот некоторые из них.

С «Кратким курсом» Саша поступил просто: он выучил всё это сочинение наизусть, и в ответ на любой вопрос экзаменатора выдавал без запинки подходящий текст из Книги. Экзаменатор бывал в смущении. С одной стороны, такая явно попугайская метода вроде наносила урон науке наук, как учению творческому. С другой стороны, ставить плохую отметку за безукоризненное знание священного писания преподаватель не решался. В результате странный студент получал четвёрку.

Физику Саша органически не мог ни понять, ни заставить себя вдумываться в учебный материал. Метод сдачи экзамена, успешно опробованный на Кратком курсе, тут не проходил. Тогда Саша придумал другое. Рано утром он являлся в дом профессора, останавливался перед дверью в профессорскую квартиру, звонил и вставал на колени на каменный пол лестничной площадки. Профессор открывал дверь и видел известного ему психа-студента, который, не поднимаясь с колен, молча протягивал ему зачётку. Профессор уже знал, что пока этот студент тройки не получит, он останется стоять в прежней позе. Сбоев в применении этого приёма у Саши не было: профессор ставил тройку беспрекословно. Думаю, что астрономию он сдал так же.

В ту зиму сорок второго лидера московских топологов профессора Павла Сергеевича Александрова в Москве не было. Он был в эвакуации либо в Академии Наук, либо в Университетом. Этот учёный был для Роднянского кумиром. Саша рассказывал мне, что он завёл для себя такое правило: заведя Павла Сергеевича в коридорах мехмата, он спешил приблизиться к профессору, за несколько шагов начинал ему в пояс кланяться, норовил поймать у кумира руку и поцеловать её. Воображаю, как пугался страшно близорукий и нервный профессор.

...Через пару лет после разговоров в дежурке, когда я, возвратясь из разных странствий, о которых — ниже, стал снова и окончательно студентом мехмата, мне доводилось видеть в коридорах факультета и Роднянского и Александрова вместе. Но тогда я таких безумных выходов со стороны Саши не наблюдал. Он и Александров бывало стояли и беседовали, правда, не совсем обычно — громко и аффективно, ибо и профессор был со странностями.

Математической карьеры Саша Роднянский, несмотря на его безусловную одарённость, не сделал. Какое-то время после окончания Университета он провёл в психиатрических клиниках. Где он работал и работал ли вообще, я не знаю. В середине пятидесятых я случайно встретил его в одном из арбатских переулков. У него была повадка совершенно нормального человека. Он рассказал мне, что защитил кандидатскую диссертацию и что теперь он увлечён классическим математическим анализом, и его главным занятием стало решение подряд задач из трёхтомного задачника Гюнтера и Кузьмина по университетскому курсу этого предмета. Вот так: раньше он подряд доказывал теоремы из изысканного Хаусдорфа, а теперь — задачи из, можно сказать, школьного руководства...

Через некоторое время после начала занятий я познакомился с одним студентом ближе, чем с другими. Вышло это так. Я обратил внимание

на моего сокурсника, высокого студента. Этому способствовали три обстоятельства. Я везде — и в школе, и в Бригаде, и в Армии считался долговязым, а этот студент был выше меня. Далее, на голове он носил модную тогда оленью меховую шапку с длинными, свисавшими вниз ушами. И главное — музыка. В той аудитории, где читал Глаголев, стоял почему-то рояль, и в каждый перерыв этот студент открывал крышку рояля и наигрывал вальс Шопена. Он это делал явно непрофессионально, чуть ли не одним пальцем. Для меня этот Шопен был сигналом, что — свой. Студента звали Роберт Виноград.

Мы сдружились. Прежде всего на той почве, что почти сразу открылись друг другу в наших чувствах по отношению к советской власти. Они были совершенно одинаковыми: мы оба власть ненавидели. Роберт превосходно знал музыку. Не помню, учился ли он в музыкальной школе, но если да, то самую малость. У Роберта, как и у меня, была хорошая музыкальная память. Но моя память была пассивной: я, услышав сочинение, его узнавал, но сам чисто спеть его не мог. Да и помнил я не все детали. У Роберта был, в отличие от меня, превосходный музыкальный слух, а его музыкальная память была гораздо острее моей.

Сочинение, которое Роберт знал, он мог и исполнить. Средством исполнения у него был свист. Он мог, например, просвистеть целиком, без единой купюры, второй концерт Рахманинова для фортепиано с оркестром, воспроизводя и партию фортепиано, и аккомпанемент оркестра.

Роберт был начитан. Особенно хорошо он знал иностранных писателей. У Роберта был ясный и зрелый ум и превосходное чувство юмора: он тонко и оригинально шутил и на лету ловил шутки собеседника. Очевидно, какие-то приятные ему качества Роберт нашёл и во мне.

Отец Роберта умер в тюрьме, мать была на фронте — врачом во фронтовом госпитале. Тётка с мужем и двумя маленькими детьми — в эвакуации. Роберт жил один. Он был моложе меня на год и подлежал призыву только весной сорок второго.

После нескольких недель моей жизни в дежурке Роберт пригласил меня и ещё одного жившего там же бездомного студента, с которым он познакомился раньше, перебраться к нему — в его две комнаты. Я приглашение принял. Семье Роберта в её довоенном виде принадлежали три смежные комнаты в коммунальной квартире старого двухэтажного дома в Сретенском переулке. Теперь Роберт использовал только две смежные комнаты, а третью — комнату отсутствовавшей матери — закрыл, чтобы её не обогреть, и устроил в ней склад ненужных вещей.

Бездомного постояльца дежурки, которого я только что упомянул, звали Арон Муркес. Он родился и провёл детство и юность в Белостоке, который до сентября 1939 г. принадлежал Польше. Польские власти относились к евреям недоброжелательно, и Арон стал к ним в оппозицию. Он выразил её в том, что вступил в члены подпольной комсомольской организации. Приход в Белосток — в результате договора Молотова—Риббентропа — советских войск в сентябре 39-го и присоединение этого города к Советской Белоруссии Арон встретил восторженно.

Довольно скоро, впрочем, он суть советской власти понял, и его любовь к ней перешла в ненависть и страх. Но кое-какие выгоды от смены гражданства Арон получил: окончив в сороковом году (уже советскую) школу, он смог поступить на заочное отделение МЭИ. В начале июня сорок первого он был вызван в Москву на экзаменационную сессию, и всё полетело вверх дном. Сессия была прервана, дороги обратно ему не было.

Белосток пал в первые же дни войны. Родители и родные Арона, очевидно, погибли. Арон остался в Москве, как-то прожил до января сорок второго и, как только это стало возможным, поступил на открывшееся московское отделение мехмата.

Роберт спал в проходной комнатке, а я и Арон — в первой. Арон спал на диване, а я — на большом столе. Поэтому постелить мне на ночь постель называлось «накрыть на стол».

Хотя Арон был, как и мы с Робертом, евреем, в его менталитете и повадках был некоторый польский налёт, и это выражалось не только в лёгком акценте, но и в изначальном понимании своей независимости от начальства и жизненных обстоятельств. Его кредо выражалось в куплете немецкой песенки о вольнолюбивом крокодиле, плывущим вдоль Нила то по, то против течения, подчиняясь одному лишь своему капризу. Этот куплет Арон часто напевал:

Ein Krolodil es schwimmt im Nill,
Es schwimmt von unten nach oben.
Und wenn es will, das Krokodil,
Es schwimmt von oben nach unten.

Эту песенку я и члены моей семьи до сих пор употребляют в качестве декларации независимости и вольной жизни.

Я уже говорил, что первые три месяца московской жизни я, как демобилизованный из армии, получал «рабочую» продуктовую карточку. Особенно важны были лишние триста грамм хлеба в день, которые она давала по сравнению со «служащей» продовольственной карточкой, которую получали студенты и на которую перешёл с апреля и я. За обед в студенческой столовой мы тоже отдавали определённое количество «мясных», «хлебных» и «крупяных» талонов.

Роберт освоил особое прикладное каллиграфическое искусство: небольшое поддельвание продовольственных карточек. Оно отличалось от ремесла фальшивомонетчика тем, что фальшивомонетчик изготавливал своими средствами фальшивую купюру или монету целиком, а Роберт только слегка менял начертание некоторых знаков на настоящей карточке.

Существовали «хлебные» и «продуктовые» карточки. Карточка давалась на календарный месяц, название которого на верхней части карточки было напечатано. Наверху были так же графы, в которые при выдаче карточки вписывали инициалы и фамилию владельца. Карточки печатали на бумаге с водяными знаками, и в каждом месяце цвет карточки был свой — чтобы продавец легко мог видеть, не протягивает ли ему покупатель просроченную карточку на то же число, но — от прошедшего месяца.

На основное поле карточки была нанесена сетка прямоугольных (размером примерно 1×2 см) талонов. На каждом талоне были напечатаны: название продукта, которое можно было по этому талону получить, порядковый номер талона и количество граммов продукта, причитавшихся по этому талону. На талонах хлебных карточек стояла ещё дата: талон можно было использовать («отоварить») только в тот день, который был на нём обозначен. Можно было купить хлеб сразу за сегодня и за завтра. Просроченные талоны пропадали.

В первые год—два существования карточной системы количество продукта обозначалось цифрами. Например, на «служащих» хлебных карточках, дававших право на получение 500 граммов хлеба в день, талоны одной строки имели одну и ту же дату. Число строк равнялось числу дней

в данном месяце. В одной строке были три талона с «100 грамм» и один с «200 грамм».

На продуктовых карточках на некоторых талонах — для получения, скажем, сахара, — стояло «50 грамм», на других талонах для этого же продукта — «75 грамм», на третьих — «100 грамм». Эти числа были подобраны так, что их сумма на всех «сахарных» талонах карточки равнялась месячной норме. Все вышеприведённые числовые значения я привожу с вероятными огрехами памяти.

Значения номиналов и количество талонов каждого номинала подбирались разработчиками карточек так, чтобы владелец карточки мог выкупить свою дневную (для хлеба) или месячную норму разумными порциями. Наподобие денежных купюр и монет. Аналогия уместна, так как по хлебным талонам иногда можно было купить муку, по сахарным — конфеты или пастилу, по крупяным — макароны или вермишель, по мясным — яйца и т. д. Месячную норму продукта нельзя было купить сразу. Время от времени в магазине могло появиться объявление, что с такого-то числа можно купить сахар (крупу, мясо и пр.) по талонам с такими-то номерами.

Были на карточках (а может, не помню, это были особые карточки) талоны, на которых были указаны очень маленькие дозы продуктов — 20 грамм, 40 грамм... Эти талоны надо было отдавать, заказывая блюда в столовой. Например, за суп надо было отдать крупяной талон в 20 грамм, а за кашу — два таких или один в 40 грамм. За котлеты с ячневым гарниром — 20 крупы и 40 мяса и т. п.

Так вот, Роберт специализировался на том, что с помощью бритвы, чёрной туши и чертёжного пёрышка переделывал напечатанный на талоне номинал на другой — больший. Делал он это виртуозно, и продавец, отрывавший талоны от карточки и бросавший на талон беглый взгляд, имел мало шансов увидеть подделку. Усаживаясь за свою работу, Роберт говорил: «Я сажусь рисовать хлеб».

Дополнительная трудность состояла в том, что мало было на хлебной, скажем, карточке переправить «100» в «200». Ведь талон достоинством в 200 не мог находиться на том месте ряда, где был расположен обработанный умелой рукой Роберта стограммовый талон. А талоны, оторванные от карточки самим покупателем, продавец не имел права принимать.

Но продавцы уставали отрывать или отрезать ножницами талоны от карточки и бывали не против, если покупатель большую часть надреза делал сам, оставляя продавцу лишь слегка дёрнуть за талон и оторвать его окончательно. Этим обстоятельством пользовался Роберт. Талон, на котором было обозначено 100, переделанное Робертом в 200, Роберт аккуратно от карточки отрезал и подклеивал его за краешек к тому месту карточки, где полагалось быть двестиграммовому талону (который Робертом был столь же аккуратно отрезан утром и по которому хлеб был уже куплен до начала производственного процесса). Расчёт был на то, что продавец не заметит, что талон подрисован и не надрезан, а подклеен.

После проделанной Робертом работы один из нас шёл в булочную и протягивал продавцу карточку с обработанным талоном. Я на такую покупку ходил со страхом, а Роберт и Арон делали это — по крайней мере, внешне — совершенно бесстрашно.

Впрочем, квалификация Роберта была высока, а его представление о психологии продавцов было верным. За несколько месяцев я помню только один срыв. Как-то под вечер Роберт пошёл со сделанной им стро-

кой в булочную на Сретенке. Булочная была почти пуста. И продавщица заметила подделку! Она выкрикнула что-то негодующее. Реакция Роберта была безошибочной. Он выхватил карточку из рук ошарашенной продавщицы (ведь на карточке был указан её владелец!), выбежал из магазина и бросился бежать по затемнённой улице, петляя по многочисленным прилегающим переулкам. Больше проколов я не помню.

У нас не было чувства вины перед государством. Во-первых, в русском человеке похвальность обжуливания государства заложена генетически. Во-вторых, мы ясно понимали, что в сфере нормированного распределения продуктов творится столько воровства, что нарытый трудами Роберта лишний килограмм—два хлеба или полкило мяса в месяц на нас троих — ничто, которое плохо лежало и которое необходимо было взять, если знать — как это сделать. Роберт и — под его руководством — мы знали, и поэтому не взять было бы глупо. Мы, по молодости, не очень даже скрывали этот наш промысел от окружавших нас людей.

Как-то мы сидели в студенческой столовой. Она располагалась в полуподвальном помещении Университетского корпуса под клубом МГУ. Анахронизм — обеды разносили официантки (они были самыми скромными в той иерархической структуре, которая от карточной системы урывала покрупней нашего). Мы сидели с Робертом и Ароном, а четвёртым был наш однокурсник Серёжа Яблонский. Он был простоватым и несколько недотёпистым парнишкой, за что его (за глаза) в нашем кругу называли «Недояблонский». Не стесняясь присутствием Серёжи, Роберт в ожидании официантки обсуждал со мной и с Ароном важный вопрос: что именно ей за биточки отдать — либо два настоящих мясных талона по 20 грамм или один, подрисованный, достоинством в 40. Всех «за» и «против» этих вариантов было много, а наша дискуссия — оживлённой. Когда официантка, взяв заказ и талоны выбранного нами вида, ушла. Серёжа спросил у Роберта: «А зачем ты на талоне нарисовал 40 грамм?». У меня душа слегка ушла в пятки, но Роберт невозмутимо ответил: «Просто так». Этот ответ Серёжу вполне удовлетворил.

...Но интеллект Сергея Яблонского на месте не стоял. Он успешно специализировался в области математической логики и стал членом-корреспондентом АН...

Другой проблемой, кроме еды, было тепло. В домах с центральным отоплением было особенно плохо, так как это отопление не работало. Люди устанавливали железные печки-временки. Трубу такой печки выводили в окно, а топили печку чем придётся: подобранными на помойке дощечками, книгами, собственной мебелью. В двухэтажном доме, где жил Роберт оставалось печное отопление. Этот — в мирное время — недостаток обернулся преимуществом. Кое-какие дрова оставались с довоенного времени, и Роберт перенёс их из сарая (чтоб не украли) в неиспользуемую комнату. Мы жгли эти дрова в печке-голландке и наслаждались теплом.

Но в середине зимы запас дров стал подходить к концу. Кажется, сожгли что-то не первой надобности из мебели. Тут Роберт, проходя как-то по Боброву переулку, заметил, что обе створки деревянных ворот на въезде в один из дворов почему-то из петель вынуты и стоят, прислонённые к стенам, соответственно слева и справа от въезда. В его голове сразу возник план эти ворота похитить и использовать как топливо.

Ночью, когда уже наступил комендантский час, мы втроём вышли из дому и крадучись вдоль стен домов прошли из Сретенского в Бобров. Мы взяли одну створку и понесли её в горизонтальном положении, двигаясь

посреди мостовой (двое шло впереди, один сзади). Благо движения в этот час никакого не было. Мы благополучно, не наткнувшись на патруль, прошли необходимые метров триста—четыреста и очутились во дворе нашего дома.

Надо было, не производя большого шума, разобрать створку ворот на составлявшие её балки и доски. Эту работу в течение примерно часа мы выполнили, пользуясь для разделения деталей топором — как рычагом. Гвозди мы оставляли в деревянных частях — чтобы не тратить времени и, главное, громко не стучать. Оторванные доски мы сносили в пустующую комнату. Операция прошла успешно: нас никто не заметил ни на одной из её фаз. Но мы имели дерзость следующей ночью таким же образом принести и превратить в топливо вторую створку! Предварительно, конечно, убедившись, что она нас ждёт. Действительно, странно, что жильцы или члены домкома ограбленного нами дома не поторопились спасти от неведомых, но явно реальных похитителей и утилизировать столь ценную вторую створку самостоятельно!

При почти голодном существовании, которое мы вели, учење шло через пень-колоду. Хотя жизнь была интересной: молодость, студенческая компания с разнообразием взаимоотношений, возможность посещать Ленинскую библиотеку — «Ленинку».

И в тот 42-й Ленинка продолжала быть замечательным учреждением. Теперь я ходил туда не по папиному читательскому билету, а по моему собственному, на которое я имел право, как студент. В Главном читальном зале библиотеки и в её каталогах было сравнительно тепло. По-прежнему с наступлением темноты на столах зажигались уютные светильники под зелёными абажурами. Служащие библиотеки вежливо принимали читательские требования на книги и требования в установленный срок выполнялись.

Особенно уютно было на верхнем этаже в курилке. Я выучился курить в армии и продолжал это делать, став студентом Тем более, что какая-то махорка или скверный табак выдавались по карточным талонам, и жалко было бы талоны не использовать. Наша студенческая компания проводила в курилке длительное — непропорциональное назначению этого помещения — время.

Как только я вернулся из Армии в Москву, я выполнил поручение папы — позвонить его начальнику по плановому отделу ГУЛАГа Берензону и выяснить, не может ли тот отозвать папу из армии на прежнее место работы. Я ещё в январе с трудом к Берензону дозвонился. Разговор был очень коротким, ибо на моё описание ситуации и мой вопрос Берензон ответил двумя прекращающими дальнейший разговор словами: «Это невозможно».

В марте или в апреле я сделал попытку дозвониться и моему сослуживцу по истребительному батальону Шабалину, не исключая, что он из армии отозван. И не ошибся. Он был в Москве и на своём рабочем месте. В это время в Москве начала оживать и концертная жизнь. В один из весенних дней сорок второго мы с Василием Ивановичем пошли вместе в Колонный зал на первое исполнение в Москве седьмой симфонии Шостаковича.

Шабалин рассказал мне, что он вернулся на работу почти сразу после того, как был упразднён наш батальон, и что он уже успел провести два или три месяца в Штатах для решения вопросов об американских поставках по лендлизу сырья и оборудования для своего завода и для всей промышленности цветных металлов в стране. Я спросил его, нет

ли у него для меня работы по расчётам на прочность, которую он мне сулил во время наших дежурств на крыше школы в Марьиной роще. Но такой работы у него не было. Я понял, что мой старший друг ведёт образ жизни, совершенно не располагавший его к продолжению общения со мной. Больше мы с ним не встречались никогда.

Я переписывался с родителями. Мама была сравнительно хорошо устроена в Белебее. Она стала звать меня к себе. Она считала, что я могу работать лаборантом в её Военно-политической Академии, у меня будет оставаться время для самостоятельных занятий по университетскому курсу, и что под материнским крылом и при трёхразовом питании эти занятия будут эффективнее, чем ученье под руководством преподавателей, но — на голодный желудок.

В начале мая в Москву в краткосрочную командировку приехала группа военных — сотрудников Академии. Среди них был старшина духового оркестра Академии Ворончук, которому начальство поручило привезти меня к маме. Он должен был оформить для меня все необходимые документы, приобрести билет на поезд и увезти меня с собой в Белебей. Соблазн был велик, и рано утром 5-го мая я вместе с Ворончуком и другими командирами уехал к маме, взяв с собой «Курс математического анализа» Р. Куранта, толстую «Аналитическую геометрию» Н. Мусхелишвили, а также задачки: по анализу — Гюнтера и Кузьмина и аналитической геометрии — О. Цубербиллер (тогда мне и в голову не приходило, что это — женщина).

Путь из Москвы в Белебей был сложен. Поезда, который шёл бы от Москвы до Уфы, тогда не было. На поезде, отходившем с Казанского вокзала, можно было доехать только до Пензы. Утром мы сели в этот поезд и двинулись на восток. Мы были ещё не очень далеко от Москвы, где-то за Раменским, как вдруг поезд остановился, и все стали говорить, что состав сейчас будет бомбить немецкая авиация, и что пассажирам надо будет выходить из вагонов и прятаться под железнодорожной насыпью. Но налёт не состоялся. Поезд двинулся дальше.

Поздно вечером мы оказались в Пензе. Мы переночевали в переполненном зале ожидания, а рано утром сели в другой поезд, шедший до Куйбышева. Там предстояла ещё одна пересадка — на поезд «Куйбышев—Уфа». На этом поезде мы должны были доехать до станции Аксаково. От этой станции до Белебея, стоящего в стороне от железной дороги, нам предстояло проехать на подводе или на грузовике — в зависимости от того, что за нами Академия пришлёт.

Вскоре после Сызрани поезд пересекает Волгу по длиннейшему железнодорожному мосту. Я стоял у окна в коридоре вагона и смотрел на реку и её берега, как заворожённый. Я уже бывал здесь четыре года назад: тогда летом тридцать восьмого года мы с мамой совершали трёхнедельное путешествие на пароходе и проплыли по Волге от Горького до Астрахани и обратно. Должен сказать, что пересечение Волги по мосту поперёк за пятнадцать—двадцать минут и вид на реку сверху производит более сильное впечатление, чем полуторанедельное плавание вдоль неё и почти на уровне воды.

Под вечер мы приехали в Куйбышев и снова переночевали на вокзале. При том, что страну охватил хаос, некоторые службы работали удивительно исправно. Например, проводник не пускал пассажира в вагон поезда «Куйбышев—Уфа» без приложенной к билету справки о том, что пассажир прошёл санпропускник.

Как всегда водилось в истории нашей страны, она в период бедствия подвергается атаке вшей и сыпного типа. Власти боролись с этой атакой вполне планомерно.

Рано утром, за несколько часов до нашего поезда мы явились в санпропускник, который был расположен недалеко от вокзала. В санпропускник пускали по билетам на поезда, отходившие сегодня и — на восток. Пускали партиями — то мужчин, то женщин. Сперва партия раздевалась, каждый клал своё бельё в сетку и сдавал его под номерок, получал довольно приличный кусок хозяйственного мыла и шёл в мыльное помещение. Там партия проводила всё время, необходимое для обработки белья. Что-то вроде минут сорока.

Потом партия выходила обратно в раздевалку, получала своё обработанное бельё, одевалась, всем выдавали нужные справки, и процедура кончалась. Между тем, в другой раздевалке готовилась к мытью партия другого пола, и когда предыдущая партия мыльное помещение покидала, очередная его занимала. Когда мы получили своё прожаренное бельё и начали одеваться, мы услышали, что в мыльное помещение запустили новую партию, а по голосам поняли, что — женскую. Мы слышали всплески воды и женские вскрикивания, которые казались нам весёлыми. Эти звуки приятно контрастировали с теми невесёлыми причинами, которые их породили.

Вечером мы были в Аксакове. Это название связано с фамилией культурных и общественных деятелей прошлого века, братьев-славянофилов Аксаковых. Их отец — С. Т. Аксаков — был автором известной книги «Детские годы Багрова-внука», действие которой разворачивается в этих местах.

Мы проехали не помню как от Аксаково до Белебея двенадцать километров, и старшина Ворончук сдал меня маме из рук в руки.

Вскоре после моего отъезда из Москвы, гостеприимную, хоть и разворошённую квартиру Роберта покинул и Арон. Арон был физически крепким и решительным человеком. Когда весной стала формироваться Польская армия, Арон оставил столь любившийся ему мехмат и вступил на правах бывшего польского гражданина в эту армию.

ГЛАВА 11

Белебей. Я — лаборант. Я — агент по снабжению. Оркестр. Коллеги. Приезд Софы. Спиртовой завод. Яйца. Приезд Шостаковича. Адское изобретение инженера Златина. Мобилизация в комендантский взвод. Демобилизация. Командировка в Уфу. Гауптвахта. Я годен к физтруду. Уфимский военкомат. Путь в Гурьев. Бондарно-ящичный завод. Домерщикова. Я не годен и к физтруду. Вызов из МГУ и возвращение в Москву.

Белебей — небольшой городок (городского транспорта там, например, не было) — центр одного из районов Башкирии. В основном город был одноэтажным. Но там было несколько вполне приличных двух- и трёхэтажных домов. Военно-политической Академии было предоставлено несколько административных и школьных зданий. По сравнению с Москвой жизнь в этом городке была благополучной. На базаре можно было купить за доступную цену картошку и другие овощи. Конечно, хлеб, сахар, крупа, мясо были по карточкам, нормы были небольшими, но был на базаре и национальный башкирский продукт — мёд. Всё это уже исключало голод.

Слушатели Академии жили в общежитиях, командование Академии и офицерский преподавательский состав были устроены властями вполне комфортабельно. Для этих целей у города были отобраны различные муниципальные постройки. Вольнонаёмные преподаватели были размещены по частным домам. Мама жила в одноэтажном доме недалеко от двух центральных площадей города. На первой из них было двух- или трёхэтажное здание штаба Академии, на второй — открытый базар.

Мама занимала большую хорошую, хоть и проходную, комнату — одну из двух, принадлежавших местной учительнице. Хозяйка жила в маленькой заприходной. Её сын был на фронте. Хозяйка, несмотря на то, что ей пришлось сильно потесниться, относилась к своей навязанной жиличке, к которой потом присоединился ещё и я, вполне лояльно. Этой лояльности способствовали, возможно, и дрова, которые мама получала по академическому ордеру, а местные жители перебивались кто как мог. Несколько дней я упивался контрастом между голодной жизнью в Москве и вполне сытой — в Белебее.

Мама, действительно, сумела быстро пристроить меня на работу лаборантом на кафедру ВВС, начальником которой был полковник Калинин. Хотя кафедра готовила не боевых командиров, а политработников для авиаподразделений вооружённых сил, кое-какие военные дисциплины там излагались. Я отвечал за содержание материальной части — авиационных пулемётов и пушек. Я должен был их регулярно чистить и смазывать и приносить на занятия. Мой опыт службы в истребительном батальоне сделал для меня такую работу весьма простой. Иногда я даже помогал преподавателям обучать слушателей искусству разборки и сборки образцов вооружения.

Как и предвидела мама, у меня от моих обязанностей оставалось время. Я приносил с собой на работу математическую литературу и учился,

усевшись в пустой аудитории или в помещении кафедры, если там не было высокого начальства. Иногда, находясь на кафедре один, я включал радиоточку и с удовольствием слушал симфоническую музыку, которую передавали в на удивление больших дозах.

Чаще всего звучали фортепианный концерт Чайковского, «Богатырская симфония» Бородина и симфония Калининкова. До войны я этого последнего очень приятного написанного на русские темы сочинения в концертах и по радио не слышал, да и автора не знал. Обычно, когда в комнату кафедры входил кто-нибудь из преподавателей, то он с раздражением симфоническую музыку выключал.

Кроме меня на кафедре была ещё одна лаборантка — еврейская миловидная девушка Оля, чуть постарше меня. Но она занималась не такой мужской работой, как я, а выполняла, скорее, секретарские функции. В частности, она по утрам должна была заходить в штаб Академии, брать приготовленную для кафедры пачку газет и класть её на стол нашего полковника. Первые час—полтора полковник эту прессу изучал, и только потом начинал заниматься делами кафедры.

Как-то утром, когда я был на кафедре ещё один, появился полковник Калинин, вежливо со мной поздоровался, сел за свой стол и обнаружил, что привычной пачки газет там нет. А я, придя на кафедру первым, этого рокового отсутствия даже и не заметил. Калинин спросил меня, где газеты, а я ответил, что не знаю, потому что их доставка — не моя, а Олина обязанность. Калинин ничего не сказал. Вскоре появилась Оля с газетами, выдача которых в этот день произошла с задержкой. Полковник углубился в чтение. А на другой день меня вызвали в отдел кадров, и его начальник майор Фризюк (я его про себя называл Ферзюк) объявил мне, что я из Академии по представлению начальника кафедры уволен. Выяснилось, что мой ответ по поводу отсутствия газет полковник Калинин квалифицировал, как недисциплинированность и профнепригодность.

Мама использовала всё своё влияние в коридорах академической власти: многие начальники, в том числе и заместитель начальника Академии полковник Махлис, были когда-то слушателями этой же Академии и мамиными учениками. Но добиться моего возвращения на кафедру Калининка ей не удалось, да ей и не советовали этого хотеть, понимая, что Калинин житья мне не даст. Единственное, что в тот момент для меня сыскалось, была должность агента по снабжению в продовольственном отделе штаба Академии. Мы с мамой этот вариант приняли, и моя жизнь переменялась в корне.

Мои обязанности состояли в том, чтобы забирать по нарядам продукты с различных городских и районных баз и комбинатов и доставлять их в кладовые столовых (их было несколько) и на центральные склады (их поначалу было два) Академии. Я окунулся в мир кладовщиков, завскладами, директоров комбинатов, бухгалтеров, шофёров, начальников гаражей и конюшен, грузчиков, повозочных, накладных, расписок, актов сдачи-приёмки, актов о списании и пр.

Иногда мне поручалось принять товарный вагон, в котором для Академии привозили продукты издалёка — обычно из Уфы. Это были мешки с мукой или крупой, ящики с вяленой рыбой и прочие не скоропортящиеся продукты, которые в районах возле Белебей не производились. Я должен был организовать разгрузку вагона и направить продукты на склады и в столовые. Вагон ставили на подъездной ветке, соединявшей Белебей с железнодорожной магистралью, проходившей через Аксаково.

Автобаза Академии давала в моё распоряжение грузовики. Часть шофёров была солдатами, а часть — вольнонаёмными, освобождёнными от призыва в армию. Кроме того, мне давали грузчиков. Было два варианта. В качестве грузчиков использовались солдаты комендантского взвода Академии, основная функция которого состояла в охране объектов Академии. В другом варианте грузчиками были музыканты академического духового оркестра. Они все были военнослужащими — рядовыми или младшими командирами. Со старшиной оркестра кларнетистом Ворончуком я был знаком ещё до моего вступления в должность агента по снабжению: это он привёз меня из Москвы. Начальником и дирижёром оркестра был капитан Петров.

На почве разгрузки вагонов и моей любви к музыке у меня завязалась с оркестрантами тесная дружба. Оркестранты были отнюдь не против такого отвлечения от музыки. Во-первых, это было несколько часов воли. Во-вторых, они наловчились что-нибудь из разгружаемого прихватывать. Они честно по отношению ко мне крали продукты на пути от вагона до весов, около которых стояли я и весовщик железной дороги. Так что недостача, если бы она обнаружилась, была бы у железной дороги. Но масштабы потерь и краж на железной дороге были такими, что десяток-другой килограммов, украденных музыкантами, не замечал никто. Оркестранты меня, как источника этих удовольствий, ценили и моему появлению в расположении оркестра, означавшему их переключение с нищей музыки на выгодные разгрузочные работы, искренне радовались.

Часто, подходя к дому оркестра, я слышал, как идёт репетиция. Иногда репетировал не весь оркестр, а только какая-нибудь одна его группа. По доносившимся из окон звукам я почти всегда мог определить, какое сочинение репетируется, и, входя в помещение, при первой же паузе объявлял его название. Этот мой обычай располагал ко мне оркестрантов дополнительно. Дело было в том, что репетировались большею частью вещи не ординарные, а что-нибудь вроде увертюры к опере Кабалевского «Кола Брюньон» или четвёртая симфония Чайковского.

Оркестр Военно-политической Академии был необычным. Традиционные военные марши и Гимн Советского Союза (который примерно в это время был сменён с «Интернационала» на произведение Александрова, Михалкова и Эль-Регистана) составляли незначительную часть его репертуара. В нужных случаях этот минимум у оркестра был наготове.

Главной же частью репертуара этого военного духового оркестра были переложения классической симфонической музыки, сделанные его начальником капитаном Петровым. К чести начальства Академии, это увлечение капитана оно поддерживало, хотя никакой реальной пользы исполнение симфонической музыки ни самой Академии, ни населению Белебея не приносило. Я помню только один концерт, который оркестр дал в главном конференц-зале Академии. Но концерт этот был особым. О нём — ниже.

Осенью (напоминаю, шёл 1942-й год) я с грузовиками и солдатами-грузчиками часто ездил в глубинку — в какой-нибудь сельский район километрах в тридцати от Белебея. Тамшний колхоз или совхоз имел разнарядку отпустить для Академии несколько десятков тонн свежесваренной картошки или морковки или свежесобранной капусты. Часто села были не башкирские, а русские или украинские. Мои военные помощники подхватывали лопатами картошку (морковь, свёклу, репу, капусту), сваленную в кучи на земле, и бросали её навалом в наши грузовики.

А в совхозе шла своя жизнь. Какую-то работу с морковкой выполняли девушки и пели частушки. Я запомнил только одну:

У меня милёнка взяли,
Ну и кто же виноват?
Виноватая Германия,
Ещё военкомат.

Такие песенки безнаказанно можно было распевать только в глубинке.

Кроме меня, в продотделе Академии работали ещё двое опытных агентов по снабжению, которые этим делом занимались и в мирное время. Это были мужчины лет по пятидесяти.

Фамилия одного из них была Фридлянд. Его сын был фотокорреспондентом «Красной Звезды», и его фронтовые фотографии появлялись время от времени в газете — к гордости отца. Фридлянд выполнял особо ответственную работу. Он большую часть времени проводил в Уфе или в районах Башкирии и добывал ордера и наряды на продовольствие для Академии у республиканских властей, директоров совхозов и председателей колхозов. Фридлянд был энергичным самоуверенным евреем одесского типа с одесским говором и, надо думать, именно одесская хватка позволяла ему выполнять свои непростые обязанности успешно. Руководители продотдела — капитан Марков и его заместитель старший лейтенант Холодов — Фридлянда весьма ценили.

...Лет через пять после войны я встретил Фридлянда в большом магазине «Ткани» на Садово-Кудринской в доме напротив Американского посольства. Он был зав. секцией или старшим продавцом. Мы стали расспрашивать друг-друга о наших делах. Он своими был, как всегда, доволен, а когда в ответ на его вопрос, я стал объяснять ему, какая у меня специальность и где я работаю, он перебил меня более существенным с его точки зрения вопросом: «На жизнь хватает?»...

Второй опытный агент звался Шапиро. Он был из Белоруссии, характер имел унылый и внешность — соответствующую: синий нос висел как слива. Ему поручались операции не столь высокого полёта, как Фридлянду, но, тем не менее, дела он делал неплохо, начальство ценило и его, и часто в первые недели моего служения на ниве снабжения Академии продовольствием меня определяли к Шапиро помощником для выполнения отдельных заданий.

Как водится на Руси, каждый человек, имевший отношение к операциям с продовольствием, в той или иной степени грел на порученном ему деле руки. Его успех на этой ниве зависел в первую очередь от возможностей, которые ему предоставлял его пост, а во вторую — от его нравственных устоев. Главным рабочим инструментом для воровства были весы. Получающая сторона (агент по снабжению, приехавший на мясокомбинат за мясом, завскладом или кладовщик столовой, которому агент это мясо привёз, повар, который мясо получал от кладовщика) старалась занизить вес получаемых продуктов, а сдающая — завысить. Иногда на этой почве между получающими и отпускающими возникали сложные сделки из области «ты мне — я тебе» или временные или перманентные конфликты.

Не пренебрегали случаем и просто взять то, что плохо лежит. Мы приезжали с Шапиро на мясокомбинат, чтобы получить полагающиеся нам несколько сот килограммов говядины. После наступления морозов окаменелые туши складывались прямо во дворе комбината. Тут же валялись замёрзшие куски печёнки, почки и пр. Зимой мы обычно приезжали на санях, влекомых кобылой.

Сани с кобылой получал в конюшне Академии я. Я этой кобылой и управлял. Тут мнегодились навыки управления бричкой, приобретённые мною в двенадцатилетнем возрасте в Алексине. Как правило, получив у кладовщика комбината несколько туш, оформив документы (это делал Шапиро) и накрыв туши брезентом (это делал я), мы садились боком в сани и трогались в обратный путь. Пока мы проезжали по территории комбината, Шапиро исхитрялся дотянуться, схватить и бросить под брезент несколько окаменелых кусков печёнки, пару из которых он дарил мне. Я от такого подарка не отказывался — бесхозность этой печёнки была очевидной — и приносил добычу маме, очень таким прибытком довольной.

Осенью сорок второго наша с мамой семья увеличилась. К нам присоединилась мамина сестра Софа. Она оказалась в Красноводске и очень там мучилась. Напомню, как это произошло и добавлю кое-какие подробности. Целя с семьёй и Зина уехали в эвакуацию со своими учреждениями, а с матерью — Бабусей — осталась Софа. Она воспользовалась возможностью уехать в эвакуацию в Ашхабад, где жили родители моего отца — Баба Нина и неведомый мне дедушка.

Софа была знакома только с Ниной Иосифовной, которая несколько раз бывала в Москве у папы и у тётки Нюры. Дед из Ашхабада не выезжал, и его не знали ни моя мама, ни я, ни, естественно, обитатели Солянки. У Бабы Нины был отвратительный характер, но свою сватью и Софу она не принять не могла: в Ашхабаде у папиных родителей оставался собственный дом.

В Ашхабаде моя дорогая Бабуся, обуреваемая волнениями за дочерей и внуков, лишённая нужной ей диеты и необходимых лекарств и процедур, ослабленная тяжёлой дорогой, вскоре скончалась. Софе оставаться в доме чужой ей супружеской пары стариков было совсем не с руки. Она уехала в Красноводск. Там её жизнь не сладилась ни в бытовом, ни в профессиональном аспекте.

Кроме того, она чувствовала себя там крайне одинокой. Мы с мамой пригласили её соединиться с нами в Белебее: здесь у нас была большая комната, много знакомых, у мамы были связи, и мы надеялись, что всё это плюс просто близость родных людей Софину жизнь улучшит. В какой-то момент мы получили от Софы телеграмму о том, что она уже в поезде, который пройдёт через Аксаково.

Мы сумели навести справки относительно того, когда примерно (тогда железнодорожное расписание выдерживалось весьма приблизительно) этот поезд там будет, и я пешком пошёл в Аксаково Софу встречать. Софе было сорок лет, но выглядела она совершенной старухой, и пришла в себя только через несколько месяцев жизни с нами.

Довольно скоро она устроилась на работу юрисконсультком на Белебеевский спиртовой завод (в этих краях было много сырья — картошки). Зачем этому небольшому производству был нужен юрисконсульт в ту годину, когда деятельность предприятия определялась не договорами и соглашениями с поставщиками и с отребителями, а нарядами и разнарядками районного и военного начальства, непонятно. Может, это была просто свободная штатная единица, а Софу директор использовал просто как секретаршу и советчицу.

Завод производил крайне дефицитный и желанный продукт, и его директор, пожилой и хитрый еврей, был человеком весьма в районе и в городе влиятельным. К нему, рассказывала Софа, повадились ходить слушатели Академии с просьбами отпускать им поллитры и литры спирта.

Это было во власти директора, но в какой-то момент он решил от таких просителей, не приносящих ему никакого взаимного прока, отделаться.

Когда к нему пришла очередная стайка старших политруков со стандартной просьбой, директор объявил, что получил жёсткое предписание весь производимый на заводе спирт отправлять только на фронт. Политруки растерянно спросили «Что же Вы нам посоветуете делать?». На что директор ответил: «Спешите туда!»

Самой Софе скромная доля этой валюты доставалась регулярно, и под её кроватью всегда стояла пара чайников с разведённым спиртом, который очень бывал нам полезен для обмена на другие продукты, вещи и услуги. Иногда не без удовольствия отхлёбывал из носика и я, но алкоголиком, по счастью, не заделался, хотя все достоинства этого продукта оценил на всю оставшуюся жизнь.

В какой-то момент моё продначальство добавило мне ещё одну функцию — заведующего тарным складом. Громкое название было обманчивым. Подчинённых у меня не было. Я был просто кладовщиком. Ко мне привозили пустые ящики и бочки, а потом — увозили. Как-то раз, в декабре сорок второго, на мой склад завезли партию ящиков. Они были не очень большие, сколочены из довольно грубых планок, между которыми оставались щели. В них привезли какие-то продукты для Академии, а потом пустые ящики свезли ко мне.

Ящиков было так много, что разместить их все в моём складе было невозможно. Поэтому начальство велело мне разобрать их на стенки, донья и крышки, и полученные таким образом пластины хранить. В таком виде партия тары на складе должна была поместиться. В течение длинного дня, вооружившись молотком, топором (я использовал его как рычаг при отделении деталей друг от друга, как уже, бывало, дельвал, разбирая ворота из Боброва переулка) и клещами для выдёргивания гвоздей. Я ящики разобрал и сложил в моём складе. Я так подробно описываю этот нехитрый технологический процесс, потому что через год с небольшим мне пришлось о нём вспомнить в совершенно переменившихся обстоятельствах, о которых — чуть ниже.

Как-то раз начальник продотдела приказал мне разобранные ящики отвезти на местный птицекомбинат. Он небось договорился с руководством комбината, что в обмен на ящики, которые были нужны комбинату для упаковки яиц, Академии будет от комбината какая-нибудь яичная или куриная польза. Я сложил ящики в сани, и моя кобылка довезла меня с ними до комбината, находившегося в нескольких километрах от Белебея.

Я явился к директору, башкиру средних лет, который велел своим рабочим сгрузить привезённые мною планки, спросил, сколько ящиков я привёз, вставил названное мной число (не тратя времени на пересчёт привезённых мной дощечек) в заготовленную расписку, подписал её и отдал мне. Потом он спросил: «Женщины в семье есть?». Я отвечал, что да, живу с матерью. Директор спросил: «Она яйца есть любит?» и не дожидаясь моего ответа на столь риторический вопрос, тут же «выписал» мне полсотни яиц, которые я совершенно бесплатно получил (уж не помню, как они были упакованы), погрузил в мои дровни и с большой осторожностью привёз домой. В сенях нашего дома была подходящая температура, и яйца удалось сохранить и полностью использовать.

В конце сорок второго года было событие. Капитан Петров переложил для духового оркестра первую часть седьмой симфонии Шостаковича, совсем недавно написанной и исполненной считанные разы. Шостакович

в это время жил в Куйбышеве (Самаре). Он получил от начальства Академии приглашение приехать в Белебей, чтоб послушать интерпретацию Петрова. И приехал!

За Шостаковичем выслали в Аксаково шикарные сани, запряжённые резвой лошадей. Лошадь была настолько резвой, а зимняя просёлочная дорога столь бугристой, что на каком-то подскоке Шостакович из саней выпал. Его с извинениями подняли, снова погрузили в сани и довезли до Белебея, сильно сбавив лихость поездки.

В концерте первой исполнялась увертюра Чайковского «1812 год», а за ней — сочинение Шостаковича. В увертюре Чайковского в конце должны звучать колокола. Такого инструмента в нашем оркестре не было, и колокола были заменены на подвешенную на проволоке (за кулисами) рельсиной. Эту партию поручили мне! Почему мне, а не одному из оркестрантов, я сейчас не помню. Может, просто хотели доставить мне удовольствие. Я должен был по сигналу одного из исполнителей, которого я видел из-за кулис, размеренно ударять по рельсе большим молотом — до следующего сигнала, означавшего «хватит!».

Успешно отыграв свою партию, я перебежал в зал, где мама заняла для меня место. Зал был полон. Туда, видать, согнали всех слушателей Академии. Шостакович сидел в первых рядах, рядом с нашими генералами. Я седьмую симфонию уже слышал в начале года в Москве, и музыка была для меня не совсем незнакомой. Впечатление было сильным, хотя по-настоящему я о качестве переложения и исполнения судить не мог.

Это впечатление усиливалось в моём сознании тем, что в это время ещё продолжалась битва под Сталинградом, взгляд на исход войны был пессимистичным. Программный подтекст музыки Шостаковича воспринимался с мрачным доверием. Не знаю, понравилось ли Шостаковичу переложение его сочинения Петровым и уровень его исполнения, но он вышел на сцену, кланялся в своей обычной угловатой манере и пожимал Петрову руку.

Зал долго аплодировал. Когда публика двигалась к выходу, я услышал диалог двух шедших впереди нас с мамой слушателей. Один спросил: «Ну как?», а другой ответил: «Да... — крепко!» (с ударением на последнем слове). Начальство Академии сделало Шостаковичу очень ценный подарок: бочонок мёда. До Аксакова Шостаковича довезли без приключений.

...Капитан Петров сделал хорошую музыкальную и военную карьеру. Через несколько лет после описываемых эпизодов я стал видеть его фамилию в газетах и на афишах и слышать её часто по радио, потому что Петров стал главным дирижёром Советской Армии и быстро дошёл до генеральского чина...

Кроме оркестра я, живя в Белебее, постоянно общался с мужем маминной коллеги, преподавательницы той же кафедры иностранных языков. Его фамилия была Златин. Супруги Златины были люди немолодые — за пятьдесят. Златин был инженером-механиком, образование получил ещё до революции, и поэтому неплохо знал то, что тогда называлось «высшей математикой» — т. е. математический анализ и аналитическую геометрию. Он проверял себя, вполне успешно решая задачи из университетских задачников, которые я взял с собой из Москвы для собственных занятий.

Ко мне Златин имел интерес, как к студенту-математику и с шутливой почтительностью называл меня «Молодой Лопиталь». (Лопиталь — известный французский математик XVIII века; ему принадлежит и его именем названа одна из основополагающих теорем матанализа).

Златин был со странностями. Наверное, поэтому он не смог приспособиться в Белебее ни к какой официальной работе. Первое время после приезда он стал преподавать математику и физику в местном сельскохозяйственном техникуме. Но внятно учить у него, скорее всего, не вышло, уважения студентов он не снискал, да и сам этой работой тяготился. Вскоре он из техникума ушёл.

Златин не был инженером-технологом и не мог (и не хотел) работать в каком-либо производстве. Он был механиком-конструктором и изобретателем, и я не исключаю, что и до войны в Москве он ни на какой работе не числился. Поэтому-то, наверное, он уехал в эвакуацию с работой его жены, а не наоборот, жена — за ним, каковая ситуация случалась тогда чаще. Похоже, что у него были болезни, которые позволяли ему законно вести домашний образ жизни и в общественно-полезном труде не участвовать.

Я не знаю, получили ли признания какие-нибудь его прежние изобретения, но здесь, в Белебее, Златин вёл бесконечную переписку с Наркоматами по поводу своего последнего изобретения. В его основе лежала убеждённость Златина в том, что использовать лошадь традиционными способами — под седло или в упряжке для волочения экипажей, телег и других транспортных приспособлений, а также бороны, плуга и других сельскохозяйственных орудий — совершенно нерационально: КПД лошади при таком её использовании ничтожен.

Златин изобрёл устройство для иного использования мускульной силы лошади. Лошадь была поставлена Златиным на тот экипаж, который она приводила в движение: вместо того чтобы тянуть экипаж за собой, лошадь, перебирая ногами бесконечную ленту, приводила её в движение. Лента через управляемую систему редукторов приводила во вращение колёса (гусеницы и т. п.) экипажа или с.-х. орудия.

Златин объяснил мне, что сама идея поставить лошадь на телегу не нова, но имела столько недостатков, что применения не получила. А его изобретение, утверждал Златин, от этих недостатков свободно. Он претендовал на авторство конструкции, которая заставляет лошадь перебирать ногами всё время и сглаживает все возникающие в этом мускульном процессе неравномерности: колёса экипажа вращаются с постоянной скоростью, значение которой можно регулировать в широких пределах. Чем больше заданная скорость, тем больше усилий, чтобы продёргивать ленту, должна делать попавшая в этот переплёт лошадь.

А чтобы лошадь нужные усилия делала, его система предусматривает такие физические меры воздействия на животное, которые не позволяют ему несчастному останавливаться или замедлять темп движения ног. Дело водителя не доводить животное до истощения сил и до гибели. Златин подтвердил мою естественную догадку: его конструкция позволяет ставить на платформу любое существо с ногами: зебру, корову, верблюда, овцу, козу.

С одной стороны, последнее обстоятельство смущало совесть изобретателя. Он направлял свои предложения в наркомат, ведающий производством сельскохозяйственных машин, но понимал, что как только наркомат его изобретение по достоинству оценит, то сразу же найдутся в этом наркомате люди, которые сообразят, что после козы в списке возможных движителей стоит человек, и поделятся полученным изобретением с НКВД, а уж те ребята за изобретение ухватятся и немедленно начнут ставить на платформу эзков.

С другой стороны, Златин понимал, что именно эта возможность даёт лишний шанс на то, что его изобретение будет принято, что его самого

для реализации проекта вызовут в Москву, и что его может ожидать блистательное профессиональное будущее.

Между тем, ничего не происходило. На отосланные в наркомат материалы Златин получил вялый ответ с просьбой прислать ещё какие-то обоснования. Златин послал, и снова пришёл неопределённый ответ, который не означал ни заинтересованности наркомата в изобретении, ни отказа в его рассмотрении. Вот в такой переписке с наркоматом, в разговорах со мной и в прогулках на местный рынок проходила жизнь этого человека.

Осенью немцы подошли к Сталинграду, и сводки были ужасными. Златин не сомневался в том, что битва под Сталинградом будет Красной армией проиграна, а вскоре после проигранной битвы за Сталинград будет проиграна и война в целом. Златин не исключал скорого появления немцев и в Приволжских регионах, в частности, в Белебее. Аргументов против его пессимизма у меня не было, но не было и самого пессимизма — по упомянутой выше молодой глупости.

На фоне описанных мной событий, встреч, разговоров и пр. произошло одно, которое до этого момента мне вставить в моё повествование было не с руки. А случилось вот что. В сентябре сорок второго меня вызвали в местный военкомат на переосвидетельствование, белый билет отняли, перевели в категорию «годен к нестроевой службе» и тут же выдали мобилизационную повестку. Перемена в моём военном статусе объяснялась не тем, что у меня улучшилось зрение, а тем, что в те военные годы постоянно менялись медицинские нормы («Расписание болезней»), которыми должны были руководствоваться врачи медкомиссий военкоматов.

Мама пробилась к начальнику Академии генералу Щербакову, который тоже был за несколько лет до того её учеником. Щербаков позвонил военкому и договорился с ним, что меня pošлют служить в комендантский взвод Академии. А начальника строевого отдела полковника Москвитина попросил, чтобы меня, рядового комендантского взвода, прикомандировали к продотделу для выполнения моих прежних функций агента по снабжению.

В результате этих начальственных действий в моей жизни изменилось не очень много. Я должен был остричься наголо и ночевать в казарме комендантского взвода. Но в строевой жизни взвода я не участвовал. Утром я уходил когда хотел, в столовую ходил отдельно от сотоварищей и возвращался в казарму как угодно поздно. Так что я успевал и выполнять мои служебные обязанности агента по снабжению, и побывать дома у мамы.

Старшину комендантского взвода, человека хмурого и необразованного, такое исключительное положение рядового (я мог делать то, что ему самому позволено не было) раздражало. Время от времени он делал попытки превратить свою фиктивную формальную власть надо мной в фактическую — давать какие-то задания по казарме, выговаривать мне и пр. Я, чувствуя свою полную от него независимость, отклонял его властные попытки и делал это дерзко, с насмешками. Насмешек он, как правило, не понимал, но на всякий случай кричал: «Героимусь, перкоротьте разговоры!». Эту команду я сразу выполнял и с глаз сердитого старшины исчезал.

Конечно, ночевать на нарах в казарме и слушать глупости старшины было не Бог весть как приятно. Поэтому я был очень рад, когда в середине декабря в «Расписании болезней» снова произошли какие-то изменения. Меня снова направили на медкомиссию, которая мне белый билет возвратила. Но решение военкомата пришло в Академию не сразу, и приказ о моей демобилизации всё не выходил и не выходил. Меня это беспокоило мало.

В конце декабря, под самый Новый Год, меня послали в очень ответственную и необычную командировку — в Уфу. Мне дали под команду двоих бойцов комендантского взвода — молодых ребят (с какими-то незаметными изъянами здоровья, делавшими их негодными к строевой). Я должен был принять в Уфе вагон с сложным набором продовольствия для Академии и сопроводить его в Белебей. Должен был я ещё и участвовать в получении продуктов набора на складах Уфы и в их загрузке в наш вагон. Не оставайся я ещё военнотружеником, я бы такого ответственного задания не получил.

Нам выдали винтовки. Но я убедил начальника отдела, что мне с винтовкой будет несподручно и что мне больше подходил бы пистолет. Аргумент мой был разумный: мне придётся ездить по Уфе вместе с тамошним представителем отдела Академии старшим лейтенантом Черновым, получать товары на разных складах и на грузовике свозить их к загружаемому вагону. Иногда мне по разным делам надо будет и одному ездить по разным конторам в городском транспорте. Винтовка для такой деятельности неуместна.

На самом же деле мне мечталось пощеголять с пистолетом по столичной Уфе. Начпрод капитан Марков написал докладную уже упоминавшемуся полковнику Москвитину, и я получил на оружейном складе изящный «Вальтер» в изящной кобуре (почему на складе Академии имелся трофейный «Вальтер»?), несколько патронов к нему и документ, дающий право на его ношение. Кроме того, мне выдали офицерский овчинный полушубок белого цвета. В полушубке и с пистолетом на поясе я чувствовал себя большим молодцом.

Я был очень доволен подвернувшемуся развлечению. Мы доехали до Уфы на пассажирском поезде в битком набитом общем, разумеется, вагоне (а были ли тогда для простых людей купированные или мягкие?). Я, оставив ребят на вокзале, уехал в центр города в гостиницу «Башкирия». Там какие-то помещения были оборудованы под офицерское общежитие, в котором и проживал Чернов. Он меня уже ждал. Чернов сумел поселить меня в другом, не таком престижном, как «Башкирия», офицерском общежитии, велел выдавать себя младшим политруком, каковой маскарад мне был очень приятен. Мы начали делать с Черновым наши дела, а этих дел было дня на три.

Моих подчинённых (у них пистолетов не было!) Чернов поселил в военной дежурке при товарной станции, где они и зажили припеваючи. Они были вдали от настырного взводного старшины, получали вполне сносное питание, делать им было нечего, кроме как время от времени перегружать в наш вагон, стоявший недалеко от дежурки у пакгауза на запасном пути товарной станции, очередную порцию продуктов, привезённую мною с Черновым. Ребята слонялись по близлежащим баракам и заводили приятные кратковременные знакомства с местными женщинами.

Поездки с Черновым от уфимских складов к нашему вагону оставляли мне довольно много свободного времени. В один из трёх вечеров, проведённых в Уфе, я сумел попасть в местный оперный театр на большой сборный концерт столичных исполнителей. Несмотря на военное время и нелёгкую жизнь, публики было видимо-невидимо. Возможно, что большинство рвавшихся в концерт было из эвакуированных москвичей и ленинградцев. Я с трудом купил входной билет и прослушал концерт, стоя в бельэтаже или в ещё более высоком ярусе. В программе были скрипачи и пианисты, но я запомнил только, что выступала певица из Большого Театра Пантофель-Нечецкая с русскими романсами.

На другой день ранним вечером я, выполнив очередную порцию ездки по складам и к пакгаузу, отправился шататься по центру города. Погода соответствовала сезону — было 30-е декабря. Несколько замёрзнув, я отправился в кино. Шёл очередной «Киносборник» — буклет из документальных фильмов о военных действиях, освещаемых с оптимистическим уклоном, и очередной «Киноконцерт». С острыми насмешками над незадачливой немецкой армией выступали юмористы. Клавдия Шульженко пела «Синий платочек», а в исполнении Краснознамённого ансамбля прозвучала песня «Ах ты Вася-Василёк!». Сеанс окончился, и я с толпой зрителей вышел на морозную площадь.

Я был моим обличем — в офицерском полушубке и с пистолетом на поясе — доволен. Надо признать, что Чернов советовал мне носить пистолет не поверх полушубка, а под ним, на гимнастёрке: он имел серьёзные основания полагать, что у меня вряд ли возникнет необходимость в экстренном употреблении оружия, а риск потерять его — есть. Как в воду глядел.

Я вместе с ещё парой сотен пассажиров атаковал подошедший трамвай (это был трамвайный круг, и трамвай подходил пустым), чтобы ехать ночевать в моё офицерское общежитие. Мне удалось ворваться на площадку в числе первых, и я пробежал вперёд по едва заполненному вагону. Радость успеха вдруг сменилась на беспокойство. Я протянул руку к левому боку, где висела моя кобура. Её не было. Я тут же выскочил через переднюю дверь и стал бессмысленно метаться среди толпы, продолжавшей затискиваться в покинутый мной трамвай. Не обнаружив желающих вернуть мне пистолет, я опомнился и пошёл искать ближайшее отделение милиции.

Дежурный — молодой нервный самоуверенный еврей, игравший под опытного чекиста — был сдержанно любезен. Он позвонил тут же в какие-то службы, сообщив о случившемся. Потом дал мне справку о том, когда и по какому делу я к ним обращался, и рекомендовал мне узнать о результатах их усилий через несколько дней.

Был уже очень поздний вечер. Я снова сел в трамвай и добрался до «Башкирии». Чернов спал, да и большинство из десятка постояльцев этой комнаты общежития тоже спало. Я разбудил Чернова и рассказал ему о событии. Он был совершенно ошарашен. Помолчав, он велел мне переехать в дежурку при пакгаузе. Нам оставался ещё один день работы. Я провёл его вместе с Черновым в кипучей деятельности, и загрузка вагона была завершена. Чернов выдал мне все бухгалтерские и железнодорожные документы и сказал, что вагон подцепят к составу на следующий день, и чтобы мы с утра от вагона уже никуда не уходили.

Я вернулся в дежурку в подавленном состоянии: до меня стала доходить серьёзность дела. Я не помнил, разумеется, статьи УК, но понимал, что утрата оружия (да ещё в военное время) карается несколькими годами тюрьмы. Был вечер 31-го декабря. Ожидалось наступление нового, 1943-го года. Мои ребята раздобыли где-то бутылку и ушли праздновать в хорошее общество. А я остался в дежурке вместе с дневальным. В дежурке было электричество, и я стал читать книгу, которую я взял с собой в Уфу, кроме пистолета. Это был том Ромена Роллана о великих музыкантах.

Утром ребята вернулись честно, без опозданий (они знали о моём проколе, сочувствовали мне и не хотели меня подводить новыми нарушениями). Они были людьми опытными, и первое, что они сделали — стали бегать вдоль стоящих на соседних путях составов, заходили в пустые вагоны и в одном из них нашли железную печку с трубой. Побегали ещё — и натаскали с открытых платформ несколько мешков антрацита.

Мы ехали домой дня два. Расстояние было небольшим, но нас всё время перецепляли к разным составам, мы долго стояли на станциях и разъездах. В некоторых мешках, которые были загружены в наш вагон, были макароны, в других — гречка, в третьих — круглые серовато-бежеватые, обсыпанные пятнышкам белой глазури — пряники. Эти пряники я, как и все советские люди, знал с детства.

Наша печка давала нам тепло и возможность варить в котелках пищу. Но проще всего было засовывать руку в дырку, проделанную нами в одном или двух бумажных мешках с пряниками и поглощать их без хлопот. Урон, который мы нанесли грузу, для охраны которого были призваны, замечен не был. Задание было выполнено. Но к этим пряникам я охладел надолго.

...Впрочем, не навсегда. Можно представить себе наши с Машей удивление и радость, когда мы обнаружили, что хозяин магазинчика, находящегося недалеко от нашего дома в Иерусалиме и постоянными клиентами которого мы являемся, заказал партию таких пряников, и они теперь прочно вошли в ассортимент магазина. То ли какой-то дальновидный торговец стал заказывать это лакомство в России, то ли какой-то дальновидный предприниматель организовал производство таких пряников здесь...

О моём проступке начальство уже знало из телефонного доклада Чернова. Мама знала о нём тоже и была в панике. Начальство маме симпатизировало и отдавать меня под трибунал не хотело. Но оставить дело безнаказанным и брать на себя ответственность за сокрытие проступка или даже преступления оно не хотело. И вот, начальник строевого отдела полковник Москвитин нашёл выход.

Он обратил внимание на то, что приказ по Академии о моей демобилизации в вышел 29-го декабря, когда я был в Уфе, а пистолет у меня украли 30-го, т. е. когда я военнотружущим уже не был. Из этого полковник (вечная ему благодарность!) вывел, что под военный трибунал я не подхожу. Но в гражданском суде такие дела не рассматриваются. Но и без наказания столь серьёзное правонарушение начальство оставить, как я пояснил выше, не могло. В общем, выходило что-то вроде знаменитого парадокса о брадобрее. (Полковник приказал полковому брадобрею брить только тех солдат, которые не бреются сами. Должен ли брадобрей брить себя?). Москвитин задачу решил. Он издал приказ о продлении моей военной службы на две недели и приказ об отправлении меня на этот срок на гарнизонную гауптвахту.

Как математик, я в решении Москвитина логические и правовые дефекты видел, а как личность такому решению очень обрадовался и отправился на гауптвахту с энтузиазмом. Были первые числа января, и я обнаружил на гауптвахте среди арестованных солдат нескольких моих друзей. Это были солдаты — водители грузовиков, которых часто давали в моё распоряжение для перевозки продуктов. Все они попали под арест по одной и той же причине: загуляли в ночь под Новый Год и либо ушли праздновать в компанию знакомых кладовщиц и подавальщиц столовых без увольнительной, либо увольнительную раздобывали, но вернулись в часть с опозданием.

Помещение гауптвахты для арестантов было неприветливым, грязным и довольно холодным, нары были жёсткие и стояли тесно, еда была скверная. Но хорошее общество и удовольствие от сознания, что под трибунал меня не отдали, вполне компенсировали весь дискомфорт, предназначенный для наказания провинившихся солдат.

Конвойные наши были башкирами-инвалидами. Они обращались с нами вполне добродушно и, вообще, мало чего соображали. Днём нас выводили на работу. Это была либо уборка снега около помещений Академии, либо пилка и колка дров около столовых. Всюду мы, арестанты, встречали своих знакомых, которые вступали с нами в разговоры, чему наш конвойный не препятствовал.

На работу и обратно нас водили пешком по улицам Белебея. Я встречал маминых знакомых полковников и подполковников, которые с нескрываемым удивлением видели, что вслед за мной и моими товарищами тащится прихрамывающий башкир с винтовкой на плече. Наш путь проходил по улице, на которой стоял наш дом.

Конвойный вполне лояльно относился к тому, что на обратном пути с работы на гауптвахту я просил его и всю группу на минуту около дома задержаться, забегал туда и забирал приготовленный мамой свёрток с едой, а иногда ещё и прихватывал чайник с водкой из под Софиной кровати. И еду, и водку я, естественно, делил с друзьями-шофёрами. В общем, вся эта гауптвахта была похожа на оперетту, а не на заключение.

Две недели прошли быстро. Я снова стал работать — и снова вольнонаёмным — на прежнем месте и на прежней должности. По вечерам я много читал. Во-первых, я пытался продолжать мои математические занятия, а во-вторых, читал беллетристику и исторические книги. Электричества, как правило, не было, и моя книга освещалась слабенькой коптилкой. Из моего чтения мне запомнилась огромного формата книга Плутарха «Великие мужи», которую я неожиданно обнаружил в скромной домашней библиотеке нашей хозяйки.

Грандиозным событием было известие о разгроме немцев под Сталинградом. Мой старший друг Златин только в затылке скрёб. Мы стали понимать, что военная фортуна повернулась к нам, но по прежней глупости не понимали, через какие жертвы и трудности придётся армии и тылу ещё пройти.

В десятых числах марта меня снова вызвал военкомат и снова послал на комиссию для переосвидетельствования (тогда говорили: «перекомиссия»). Дело в том, что к двум классическим категориям «годен к строевой» и «годен к нестроевой» добавили третью: «годен к физическому труду». Перекомиссия отнесла меня к этой новой категории, и я тут же получил повестку на 23 марта — явиться в военкомат с вещами.

Мы с мамой не сочли возможным снова обращаться к начальству за протекцией. Тем более, что мы понимали, что без явного мошенничества начальство не сможет использовать меня в соответствии с приписанной мне категорией. Я стал готовиться неизвестно к чему. Впрочем, кое-что нам в военкомате сказали. А именно, что нас отправят в Республиканский военкомат в Уфе.

Действительно, из нескольких призывников, «годных к физтруду», явившихся утром 23-го марта в Белебеевский военкомат, была сформирована команда. К вечеру мы под началом старшины были на грузовике доставлены на станцию Аксаково, и там мы провели несколько часов в зале ожидания — отдельной группкой среди других пассажиров.

В железнодорожной больнице, находившейся рядом со станцией, работал и почти постоянно там же жил доктор Тёмкин — муж одной из маминых коллег, преподавательниц кафедры иностранных языков Академии. Он не знал о повороте в моей судьбе, и был удивлён, увидев меня в зале ожидания среди команды отправляемых призывников.

Через несколько часов нас вместе со старшиной посадили в битком набитый бесплацикартный вагон проходящего поезда «Куйбышев—Уфа», который ещё так недавно довёз щеголеватого меня в Уфу навстречу моему опасному приключению. На другой день утром наша якобы годная к физтруду команда оказалась в Уфе.

Старшина выстроил нас и повёл пешком в Республиканский военкомат. Там он нас сдал и исчез. В здании и во дворе военкомата скопилось несколько сот людей, из которых формировались команды для отправки по назначению. Тут были призывники всех категорий и из всех районов Башкирии. Ожидавшие своей очереди проводили в военкомате по два—три дня. Условия были неважнецкими. Еду нам выдавали по утрам в виде сухого пайка: что-то вроде полбуханки чёрного хлеба, одной—двух банок консервов и нескольких кусочков сахара.

Все несколько сот призывников располагались на полу в большом зале с каменным полом, спали, подложив под голову свои вещмешки. Теснота и духота были чрезвычайными. Утром приходили уборщики и всех выгоняли из душного и нагретого нашим дыханием зала в холодный двор. Это был крайне неприятный момент. Во дворе можно было только стоять или прогуливаться. Через час уборка кончалась, и мы снова могли возвращаться в зал. Впрочем, был конец марта, днём снег начинал подтаивать, солнце светило, небо было голубым, моё настроение поднималось, и я возвращаться в душный зал не спешил. К сожалению, в первые же минуты пребывания в военкомате мои волосы, которые успели после стрижки в комендантском взводе принять почти прежнюю форму, снова состригли машинкой, чего я терпеть не мог.

Время от времени в зале и во дворе появлялся сержант и выкликал фамилии. После двух или трёх ночёвок, среди дня выкликнули и мою. Я и те, кого выкликнули вместе со мной, потянулись в объявленную комнату. Собралось человек тридцать. Нас построили, и мы под командой младшего командира строем двинулись в новую неизвестность. Нам не говорили, что именно нас ожидает. Шли и шли через город.

Наконец, под вечер нас привели в пустую церковь или мечеть. Мы расположились в пустом огромном помещении на полу, вещмешки под голову и провели в этом конфессиональном заведении ночь. Утром нас повели снова и довели до какой-то маленькой железнодорожной станции в пригороде Уфы.

Мы расселись внутри станции и на скамейках в скверике. Нам объяснили, что завтра утром к станции подгонят вагон-теплушку, в который нас загрузят; потом теплушку подцепят к составу, и нас повезут в направлении Куйбышева. На этом информация обрывалась. Ничего более определённого о нашем будущем временный наш командир не знал.

На станции было почтовое отделение. Я зашёл туда и дал маме телеграмму, что вскоре, быть может, проеду через Аксаково. Я не был в этом уверен потому, во-первых, что нас могли ссадить, не доезжая Аксакова. Во-вторых, даже если наш состав через Аксаково пройдёт, то остановится ли он там? А если остановится, то когда и на надолго ли? И смогу ли я из вагона выскочить или хотя бы дать о себе знать? В телеграмме я выразил ещё и предположение, что путь наш — на юг (ведь если мы доедем до Куйбышева, то вряд ли нас потом повезут ещё западнее; скорее — на юго-восток), и что мне не помешали бы летние вещи: ведь в Уфу я уехал в ватнике, ушанке и прочем тёплом.

Сидя в скверике и греясь на мартовском солнышке, я познакомился с некоторыми моими новыми сослуживцами. Среди них были сравнитель-

но молодые люди, попавшие в госпиталь после ранения, теперь оттуда выписанные и признанные годными только к физтруду. Совсем отпустить этих пострадавших людей с государственной службы власть не была готова. Да и сами эти прихрамывающие или излишне нервные люди выпавший им жребий принимали как должный и не роптали на то, что вместо дома государство их снова сажало в теплушки для отправки невесть куда. Ведь зато — кормило и давало крышу над головой.

Были среди нас и пожилые люди. Я особенно сдружился с татаринном лет пятидесяти. Он грамотно и почти без акцента говорил по-русски и производил впечатление спокойного и доброжелательного человека. Пожилой татарин рассказал мне, что он — садовод высокой квалификации, и что его услугами пользовались важные персоны и учреждения города. Он рассказал также, что у него две жены. Моё еврейство его от меня не отвратило, он меня как-то отметил, и мы держались друг друга.

Наконец, маневровый паровоз пригнал теплушку и уехал. Мы без скандала распределили места на нарах и стали ждать, когда маневровый паровоз придёт снова и отвезёт нас к составу. У меня был хороший жизненный опыт, созданный недавним путешествием в том же направлении. Я прихватил нескольких моих новых товарищей и пробежал с ними по стоявшим на полустанке составам. Довольно скоро мы нашли желаемое: чугунную печурку с трубой. Мы сумели натаскать и первоначальный запас угля, после чего нами почувствовалась кое-какая наша связь с нашим новым обиталищем, в котором, как мы правильно понимали, нам предстояло провести несколько дней. А меня мои попутчики за инициативу и за её энергичную реализацию зауважали.

Каждому из нас выдали паёк на несколько дней. Был он довольно странным: в нём было несколько буханок чёрного хлеба и несколько селёдок очень большого размера. На другой день ранним утром нас подцепили к составу, и мы поехали на запад, т. е. в сторону Куйбышева. Состав шёл без остановок два—три часа и остановился на станции Чишмы. Почти все обитатели нашего вагона высыпали наружу и отправились на размещённый около станции базар, чтобы часть своих селёдок продать или обменять на что-нибудь другое более нам полезное — сахар, махорку, крупу и пр. Мы знали, что местное население селёдки очень ценит. Впрочем, и мы их ценили, и были готовы расстаться с ними только в силу сложившихся особых обстоятельств.

Никто среди пассажиров нашей теплушки не был назначен «старшим», как это водится в армии при формировании любой, даже временной и даже состоящей из двух человек команды. Поэтому тем, кто вознамерился пойти на базар, не было у кого спрашивать разрешения на отлучку из теплушки. Теперь, задним числом, я понимаю, что я тогда чего-то не знал и какую-то субординацию нарушил, как и другие мобилизованные, двинувшиеся в том же направлении с теми же целями. Конечно, кто-то за старшего был: ведь кому-то отправившее нас начальство должно было вручить список команды и объяснить куда команду и список в конечном пункте представить. Но этот старший никак себя не проявлял, и я его совершенно не заметил. Возможно, он находился в другой теплушке. В конце маршрута он своё дело, наверное, исправно сделал.

Двинувшись на базар, я позаботился о том, чтобы потом при возвращении с него на станцию быстро найти наш состав и нашу теплушку. Я приметил, что наша теплушка стоит в составе непосредственно за двумя платформами с тракторами. А ещё Бог надумил меня запомнить изрядно

стёршийся пяти- или шестизначный номер нашей теплушки, написанный через трафарет белой краской на стенке обшарпанного красноватого вагона.

Я стал шататься по рыночной площади, окружённой прилавками с редкими продавцами и запертыми палатками. На вытянутых руках я нёс несколько крупных селёдок, выражая этой актёрской игрой моё намерение их продать. Рекламирывать мой товар выкриками, как это делали другие продавцы, я стеснялся.

Время от времени я сталкивался с моими товарищами из теплушки, делавших то же, что и я, и примерно так же, как и я. Мы ходили среди толпы продавцов, предлагавших поношенную одежду, соль, хозяйственное мыло и т. п. дефицит, характерный для российской военной години XX века. Довольно скоро какая-то женщина интеллигентного вида, не торгуясь, купила у меня мой товар. Тут выяснилось, что у моей покупательницы не хватает денег для расплаты, и она попросила меня зайти к ней в дом, чтобы расплатиться со мной окончательно. Дом (домик!) стоял тут же на рыночной площади.

В комнате, куда привела меня женщина, были признаки проживания культурных людей. На этажерке и на столе были книги. За столом сидела дочка хозяйки, которой было лет шестнадцать. Она делала уроки. Купившая мои селёдки женщина любезно предложила мне сесть, а сама стала доставать деньги из кошелька и отсчитывать нужную сумму.

Любезность хозяйки и привычная для меня обстановка располагала меня в этой комнате побыть подольше. Тем более, что дама, понимавшая, что торговля селёдками не является моим постоянным занятием, задала мне несколько вопросов, выяснила из моих ответов, какой момент моей биографии я переживаю, посочувствовала мне и пожелала успешно преодолеть ждавшие меня трудности. Девочка тоже смотрела на меня с участием, что мне было особенно приятно.

Я понимал, что долго торчать в этом доме я не должен, поднялся, чтобы проститься и уйти, но тут девочка предложила мне посмотреть на географическую карту, чтобы я мог составить какие-нибудь предположения о маршруте, по которому нас везут. Это было хорошее предложение.

Девочка достала школьный атлас, и я понял, что первой узловой станцией на нашем пути будет не Куйбышев, а Кинель. От Кинели нас могут повезти либо через Куйбышев, в сторону Москвы, либо, как я и предполагал раньше, на юго-восток. А потом путей было множество — от Сибири до Ташкента.

Вооружённый этими географическими знаниями и деньгами, вырученными за селёдки, окрылённый ласковыми напутствиями дамы и её дочери, я отправился к находившимся в сотне метров от рынка железнодорожным путям, где остановился наш состав. Его не было! Вдоль путей растерянно топтались четверо моих товарищей из теплушки, которые тоже вернулись с базара слишком поздно. Среди них был мой друг Пожилой Татарин.

Всё произошло вопреки сложившейся практике. Товарные составы, если останавливались, то — надолго. А тут мы вернулись минут через тридцать, и на тебе! И хоть мы отстали от эшелона не по злой воле и себя виноватыми не чувствовали, но мы были дезертирами. Конечно, наше положение вроде смягчалось тем, что везли нас не на фронт, что были мы всего лишь «годными к физтруду» (мы и одеты то были не в военную форму, а кто во что горазд), но как докажешь, как оправдаешься? Документов у нас не было никаких.

Последнее утверждение не совсем точно. У одного из нас документ был, и не что-нибудь, а паспорт. Обычный гражданский паспорт. Владельцем такого необычного для мобилизованного лица документа был я. Почему у меня, прошедшего через несколько призывов, сохранился паспорт, причём — мой первый паспорт, полученный в 60-м отделении милиции Москвы, когда мне исполнилось шестнадцать лет?

В Ополченческую дивизию Киевского района я пришёл не через военкомат, а добровольцем. Никто моим паспортом не заинтересовался. При переводе в истребительный батальон Дзержинского района вопрос о паспорте тоже не встал. Когда в Раменском нас влили в регулярную армию, то нам выдали красноармейские книжки, но паспортов не спросили. Не спросили у меня паспорта и в Белебеевском военкомате — ни в первый раз, когда отправили в комендантский взвод Военно-Политической Академии, ни при отправке меня годного к физтруду в Уфу.

Итак, на всю компанию дезертиров у нас был один паспорт. Но мои товарищи об этом богатстве и не знали. Мы решили наш эшелон догонять. Мы надеялись узнать его по платформам с тракторами, вслед за которыми в составе шла наша теплушка.

Первым через Чишмы прошёл поезд, в котором чередовались группы из пассажирских и из товарных вагонов; он не остановился, а только замедлил ход. Мы хотели повскакивать на площадку одного из пассажирских вагонов, но стоявшие на площадках этого и других вагонов солдаты вскинули на нас винтовки. Мы отступили.

Через некоторое время показался следующий состав. Он остановился, и мы увидели, что это — санитарный поезд. Никаких людей видно не было. По-видимому, поезд был пуст и шёл на запад за очередной партией раненых. Мы свободно вошли в тамбур одного вагона, но дверь внутрь была на запоре. Мы остались стоять в тамбуре. Поезд тронулся, и мы в сравнительном комфорте поехали догонять наш состав. Поезд проходил без остановок какие-то разъезды, на путях которых товарные составы иногда стояли. Но платформ с тракторами в них не было.

Мои товарищи успели купить на рынке в Чишмах или обменять на селёдки кое-что съестное. Я же, потративший своё время на общение с интеллигентными дамами и пополнение моего географического образования, располагал только деньгами. Пожилой Татарин поделился со мной хлебом, а другой попутчик дал мне солёный огурец.

В Давлеканово санитарный поезд остановился. Мы не сразу решились сойти, но стоянка затягивалась, и мы стали прохаживаться рядом с поездом, готовые в любой момент вскочить в него снова. Но он продолжал стоять. Между тем, на параллельном пути появился другой поезд, шедший, замедляя ход, в том же направлении. В нём были товарные вагоны и платформы, и менять на него тёплый тамбур вагона санитарного поезда не хотелось.

Но тут новый поезд остановился, и прямо рядом с нами оказался единственный в его составе не товарный вагон. Правда, он был не пассажирский, а почтовый — с дверью и ступеньками посередине и с двумя или тремя окнами. Мы сунулись в дверь. Там ехали двое почтальонов, сопровождавших мешки с почтой. Мы объяснили им наше положение, и они согласились за буханку хлеба пустить нас в своё купе. Поезд двинулся, и мы продолжили погоню за составом с родимой теплушкой.

Так, в тепле и с возможностью выпить по кружке горячего чая мы ехали на запад, зорко изучая все составы, которые нам случалось обгонять. Нашего не было. Уже смеркалось, когда состав с нашим почтовым

вагоном подошёл к станции Аксаково и остановился. Мы вышли. Мои попутчики — для того, чтобы купить махорки, которую на платформе продавали из мешков местные женщины, а я — в надежде увидеть маму. Было часов шесть—семь вечера.

Я зашёл в зал ожидания и мамы там не обнаружил. Потом я пробежал вдоль платформы в сторону хвоста поезда — и тоже безрезультатно. Я стал возвращаться к нашему почтовому вагону и вдруг увидел всю нашу компанию. Мои попутчики стояли под охраной двух милиционеров. Их явно задержали за их подозрительный вид, за сомнительные объяснения и за отсутствие документов.

Я подошёл к ним, объявил милиционерам, что я — из их числа и подтвердил рассказ моих товарищей. Пополненную мной группу задержанных милиционеры отвели в комнату уполномоченного НКВД. Самого уполномоченного не было. Нас принял дежурный сержант и велел сидеть в ожидании начальника. Как нам охотно объяснил дежурный, его начальник ушёл на партсобрание. Я стал разговаривать с дежурным (который, возможно, этой беседой нарушал устав). Я сказал, что всего несколько дней назад я с этой станции уезжал в составе команды в Уфу, и представьте, дежурный меня вспомнил!

И ещё одно чудо: дверь в комнату уполномоченного приоткрылась, и в неё просунулась голова доктора Тёмкина! Он спросил, когда будет начальник, который был доктору нужен по каким-то не зависящим от нашего пребывания под арестом делам. Дежурный доктора прекрасно знал и вступил с ним в объяснения по поводу возможных сроков возвращения начальства. Тут я встал, и доктор увидел меня. Он поздоровался со мной, закончил разговор с дежурным и ушёл. Через несколько минут доктор Тёмкин вернулся с мамой. Он объяснил ситуацию дежурному и попросил его разрешить мне посидеть с мамой за столиком в станционном буфете. Дежурный разрешил. Такой оказался дежурный!

Мы сидели с мамой за столиком в омерзевшем буфете, и я рассказывал ей обо всём, что происходило со мной после отправки из Белебеевского военкомата. Я узнал от мамы, что мою телеграмму она получила сегодня днём, и тут же бросилась в Аксаково. Первым делом она зашла к доктору Тёмкину. Доктор обратился к военному коменданту станции с просьбой позвонить ему в больницу, если через станцию будет проходить товарный состав с вагонами, в которых едут люди. До нашей встречи в комнате уполномоченного НКВД сигналов от коменданта не было.

Мама привезла мне узел с кое-какими летними вещами. Нашей беседе никто не мешал. Партсобрание, на котором заседал уполномоченный, затягивалось. Вдруг по залу ожидания прошло движение. Нам объяснили, что прибывает пассажирский поезд «Уфа—Куйбышев». Я вошёл в комнату уполномоченного, в которой продолжали сидеть мои товарищи, дежурный и доктор Тёмкин. Я попросил дежурного отпустить нас, чтобы мы могли сесть на подходящий поезд и продолжить погоню за нашей теплушкой. И дежурный нас отпустил!

...Конечно, я никогда не забывал об этом эпизоде. Но особенно ясно я осмыслил происшедшее и трезвую мужественность дежурного в комнате уполномоченного НКВД на станции Аксаково, поддержанную доктором Тёмкиным, двадцать пять лет спустя — после того, как прочёл в журнале «Новый мир» рассказ Солженицына «Случай на станции Кречетовка».

Один из героев этого рассказа, помощник военного коменданта станции лейтенант Зотов был трусливее того дежурного на станции Аксаково,

а другой персонаж рассказа — отставший от эшелона Тверитинов — несчастливей меня. Не отпусти нас тогда дежурный, имени которого я так никогда и не узнал, и лица которого я даже не запомнил, а поступи он, как лейтенант Зотов из рассказа Солженицына (да просто задержи он нас до прихода с партсобрания своего начальника, который вполне мог быть ещё исполнителем Зотова), то моя жизнь могла повернуться совсем по-другому. И не сидел бы я сейчас за компьютером в городе трёх религий Иерусалиме, вспоминая события моей жизни...

Я едва успел проститься с мамой, и мы все натолкались в тамбур одного из вагонов подошедшего и тут же отправившегося в дальнейший путь пассажирского поезда. Никакие проводники нашей безбилетной посадке не мешали. Мы никого из них даже и не видели. В тамбуре нам сперва показалось тепло, потом мы стали мёрзнуть, но внутрь вагона мы зайти не решались. Боялись осложнений с проводниками, а главное, понимали, что из тамбура нам удобнее высматривать наш желанный эшелон с тракторами на открытых платформах.

Я ехал в тамбуре в весьма приподнятом состоянии духа. Предыдущие эпизоды показывали, что из передряги с отставанием от эшелона мы как-нибудь выкрутимся. Я двигался навстречу новым впечатлениям. Я был в тот данный момент сыт и надеялся на то, что буду сыт завтра. Я был полон сил, и перед моим умственным взором проходили разные приятные картины из предстоявшей мне жизни. Моя собственная роль в формировании моей будущей судьбы казалась мне вполне значимой, и это имело самостоятельную ценность.

Я тогда не понимал, что мамой владели совершенно обратные чувства. На её глазах я побывал в качестве задержанного в комнате уполномоченного НКВД и выскочил оттуда чудом. Для неё это было угрожающим знаком того, что я могу попасться Органам снова, и при этом — лишённый заступничества доктора Тёмкина. И тогда шансов отвертеться от них у меня не будет. Это — мамино отчаяние по конкретному поводу. Но её волновали ещё и всякие общие обстоятельства: я уехал в холодном тамбуре, без уверенности в том, что мне выпадет на другой день есть и под какой крышей спать. Она понимала, что теперь от меня долго не будет известий, и что ей поэтому мучиться ещё долго. Её волновало, что я — один, без неё.

Так, стоя и напрасно вглядываясь в темноту, мы ехали всю ночь. Изредка поезд на несколько минут останавливался, но никакого движения пассажиров не происходило. Рано утром наш поезд остановился на большой станции, и мы прочли её название: Бугуруслан. Мы решили покинуть пассажирский поезд, опасаясь, что в темноте мы наш состав не увидели и обогнали.

Пассажирский ушёл. Мы стояли на платформе большого вокзала и раздумывали, пойти ли нам к станционному начальству и просить о содействии или действовать на свой страх и риск. Тут динамики объявили, что отправляется рабочий поезд (был в России такой термин, точного смысла которого я не понимаю до сих пор) на Похвистнево. Мы подошли к объявленному составу и поняли, что он двинется в том же направлении, в котором шёл покинутый нами пассажирский. Мы решили в этот рабочий поезд сесть и ехать дальше. Было часов шесть—семь утра.

Рабочий поезд был составлен из дачных вагонов. Никаких билетов не проверяли, и я не знаю, продавали ли их вообще. Народу было много, но всем нам нашлись места на двух лавках, разделённых проходом. Так

что кто-то из нас оказался рядом с правым окном, а кто-то другой — с левым, и мы могли следить за составами, мимо которых нам, быть может, довелось бы проезжать.

Путь до Похвистнево продолжался часа полтора или два. Нашего состава мы не обогнали и вышли на платформу. С одной стороны, мы понимали, что коль скоро на всём пути от Чишмы до Похвистнева мы нашего состава не обогнали, то это может означать, что он вырвался далеко вперёд. С другой стороны, чувствовалось, что наш состав не мог ехать так быстро, как передвигались мы — меняя поезда весь прошедший день, ночь и сегодняшнее утро.

Мы подошли к станционному зданию и увидели табличку отделения железнодорожной милиции. Мы были ободрены предыдущими нашими контактами с властями и решили обратиться туда. Я рассказал сидевшему в отделении чину нашу историю и для убедительности показал мой паспорт. Кроме того, я назвал номер нашей теплушки. Начальник нам поверил, но сказал, что проверить, проходил ли через Похвистнево наш состав он не может, потому что обычно они здесь не останавливаются и не регистрируются. Он посоветовал нам добираться до Кинели, отмеченной мною на карте у приятных дам на неприятной станции Чишмы. Кинель, пояснил нам начальник, была крупная узловая станция, где все составы обязательно останавливаются, и где регистрируются все входящие в составы вагоны.

Мы стали ходить вдоль платформы станции. У меня были деньги, и мы купили хлеба и махорки. К этому времени я уже прочно курил. Начал ещё в истребительном батальоне, продолжил в Раменках и во время короткой студенческой жизни, покуривал и в Белебее, а как попал в Уфу и в эшелон — стал курить запойно.

Наконец, мы дождались: мимо станции на не шибком ходу прошёл в сторону Кинели товарный состав, в котором все или многие вагоны были порожними и с настезь раскрытыми дверями. Вскочить в такой вагон было не очень просто: надо было ухватиться руками — на уровне груди — за пол вагона, подтянуться и перевалиться животом внутрь. Однако, все мы, включая Пожилого Татарина (не такой он, наверное, был пожилой), друг за другом это проделали и чувствовали себя в погромыхивающем вагоне очень хорошо.

Вагон был, видать, из под скота: и пахло соответственно (и довольно приятно), и по стенкам валялись охапки соломы и сена. Мы сгребли их до кучи и валялись на них, покуривая и глядя в настезь открытую дверь, которая от толчков поезда иногда перекатывалась на своих роликах, скользивших по жёлобу, то прикрывая, то открывая не очень разнообразный, но солнечный пейзаж, впуская в вагон тёплый весенний воздух.

Тут стоит сказать, что мы пятеро в ходе всей нашей эпопеи проявили вполне человеческие качества по отношению друг к другу: держались вместе, не старались съесть потихоньку лишний кусок, который, может, у кого и образовался, или выкурить тайком цыгарку. Более ни менее цивилизованными были мы с Пожилым Татаринцом. Другие трое были совсем безбуквенными крестьянами-башкирами, которые, несмотря на свой небольшой кругозор, прекрасно понимали, в какой переплёт мы попали, могли вполне толково рассказать — и охотно это делали — о причинах своей непригодности к военной службе и о членах оставленных ими семей.

Часа через полтора наш поезд стал проходить по крайним путям крупного железнодорожного узла. Станционные постройки были загорожены

стоящими составами, и прочесть название станции нам не удавалось. По всему, однако — и по размерам узла, и по времени пути от Похвистнева — выходило, что это и есть Кинель. Но почему же тогда наш состав не останавливается? Ведь дежурный в Похвистневе сказал, что в Кинели останавливаются все составы. Пока мы рязили, поезд узел миновал, количество параллельных путей начало уменьшаться, и мы решили прыгать вниз. Попрыгали и пошли обратно к станционному зданию. Шли минут двадцать по шпалам или вдоль путей, дошли и увидели, что и впрямь это была Кинель!

Проторённой дорожкой прошли мы в помещение военной комендатуры станции, проверенным жестом дал я мой паспорт одному из офицеров и произнёс нашу обкатанную историю. Офицер не поленился, обратился к одному из своих писарей. Тот стал сверять названный мною номер теплушки с данными в обширных списках, образовавших пухлые стопки разграфлённой бумаги. Минут через десять писарь сказал, что за последние три дня вагон с таким номером через Кинель не проходил.

...Через много лет я стал профессионально соприкасаться с непростыми проблемами структуризации, идентификации, передачи, размещения, поиска и разных других манипуляций с большими массивами данных. Это стало особой сферой применения компьютерной техники. Я не могу понять, как при тогдашних убогих технических средствах передачи, хранения и поиска информации (только лишь бумага, ручка, телефон, телеграф, рысканье глазами по колонкам чисел) служащие железных дорог могли управляться с огромным потоком документов и сведений, сопровождавших вагоны и грузы, разбираться в них и извлекать из них полезную информацию. Я не исключаю, что компьютерная техника до сих пор завоевала не все закоулки в технологии обработки грузопотоков, и что до сих пор на заброшенных железнодорожных узлах человек в форменной фуражке пополняет и просматривает каждый день списки в сотни строк, из которых можно уследить какой груз куда и в каком вагоне движется...

Комендант велел нам расположиться в зале матери и ребёнка и сказал, что известит нас, когда состав с интересующей нас теплушкой на станцию прибудет. Мы стали терпеливо ждать. В привокзальный скверик, где было тепло и привлекательно, мы никогда не уходили всей нашей компанией, а оставляли хотя бы одного из нас в зале ожидания. В этом зале мы неплохо, по нормам тех лет, расположились: на кафельном полу, в тесном соседстве с людьми — женщинами с детьми, стариками и инвалидами — решившимися или ставшим вынужденными перемещаться по России-матушке в столь неподходящую для этого занятия пору.

Наступил вечер. В зале ожидания на одной из стенок повесили простыню, и всем живущим на полу пассажирам стали показывать кино. Это была фронтальная кинохроника. Потом выступила школьная самодеятельность. Потом мы стали беспокойно спать, но только часов в десять утра нас разыскал посыльный из комендатуры и сказал, где искать состав, в котором прибыла наша долгожданная теплушка.

Мы пришли на указанный путь, нашли состав и нашли теплушку. У наших товарищей мы узнали, что состав пришёл полчаса назад. Мы обнаружили причину, из-за которой промчались — и по-видимому, почти сразу после того, как начали нашу погоню — мимо нашей теплушки, не заметив её: теперь рядом с ней не было никаких платформ с тракторами! Товарищи рассказали нам, что после Чишмы состав перестроивали несколько раз, и в первый же раз платформы с тракторами перестали

быть соседями нашей теплушки. А мы считали их надёжными сигнализаторами!

Товарищи к нашему благополучному возвращению отнеслись доброжелательно, но довольно равнодушно. Никто (ещё раз: где и кто был старший?) не поднял тревоги по поводу нашего исчезновения. За время нашего отсутствия выдавали какой-то паёк. Нашу долю для нас получили, но нам не оставили. Более того, нам рассказали, что незадолго до нашего возвращения стали раздаваться голоса о разделе нашего жалкого имущества и о том, что надо ликвидировать наши места в теплушке и расселиться чуть свободнее. К чести «коллектива» это предложение было отклонено или, по крайней мере, его обсуждение было отложено. Мы заняли свои места, и скоро всё двинулось дальше.

В теплушке ехали, в основном, малограмотные крестьяне, многие из которых страдали явными дефектами, уберёгшими их от фронта или вернувшими их с фронта. Среди этой публики часто возникали ссоры и перебранки, но драк не было, и в целом наша команда на компанию уголовников не походила. Пустяковыми репликами я перебрасывался с разными попутчиками, но разговоры в привычном для нашего круга понимании у меня возникали только с Пожилым Татаринцом, место которого было рядом с моим.

Часа через два после того, как мы обрели отчую теплушку, наш состав двинулся, и ещё через некоторое время стало ясно, какие из предположительных наших маршрутов отпадают: мы ехали на юго-восток, а значит, могли достигнуть Кандагача. А оттуда — либо на юго-запад к Гурьеву, либо ещё дальше на юго-восток — в Среднеазиатском направлении.

Ехали мы с подтянутыми поясами, но голодом наше состояние назвать было нельзя. На каких-то станциях нам раздавали пайки. Это не всегда годилось для непосредственного толкового употребления. Например, банка консервов «Бычки в томате» была на один зуб, и после неё хотелось пить, а пить было подолгу нечего. Но её можно было обменять на что-нибудь более подходящее (чаще всего на хлеб) у местных жителей, вышедших к нашему составу при его иногда коротких, а иногда затягивавшихся остановках на станциях и полустанках. Мы проезжали пустынные и бедные природой места с редкими глинобитными посёлками.

Мне очень не хотелось (а такая вероятность не исключалась), чтобы нашу теплушку отцепили в одном из таких посёлков, в котором находится, быть может, объект приложения нашего физтруда. Это было бы очень скучно и бесперспективно. Но, если сказать правду, то меня по-настоящему не пугало ничто. Прежде всего, мне хотелось удовлетворить мой интерес: что же будет?

К моему большому удовольствию, нас довели до Кандагача. Это было к вечеру. Под утро наш состав двинулся дальше, и по солнцу я определил, что мы едем в сторону Каспийского моря. Пейзаж за дверью нашей теплушки изменился. Он стал совсем пустынным, редкие посёлки состояли преимущественно из юрт, население стало приобретать среднеазиатские черты: халаты и раскосые глаза.

Два или три дня нас везли через степь без растительности и довели до Гурьева. Мы приехали вечером, нас разместили, как тогда водилось, на полу класса в пустующем школьном помещении, а утром нам сказали, что после санпропускника нас отвезут на Рыбокомбинат, расположенный невдалеке от города, но считающийся самостоятельным посёлком. Мы расположились на земле — уже было совсем сухо и тепло — около санпропускника и ждали своей очереди.

Подошёл какой-то казах с большой — сантиметров в сорок — сырой рыбиной в руках: он её продавал или менял. Цельную рыбину я не выдывал уже очень давно. И я эту рыбину купил или выменял. Я не понимал при этом, что я с сырой рыбой буду делать, но вид этого очень давно не виденного и давно не еденного продукта меня заворожил. Мои товарищи смотрели на меня с удивлённой насмешкой и отпускали по поводу положения, в которое я попал, и по поводу возможных применений моей рыбы разные остроумные замечания.

Надо думать, что стоя во весь рост и держа за хвост большую серебристую сырую рыбу, я выглядел нелепо. Но что-то подсказывало мне, что я приобрёл рыбу не зря. Я стал обходить большую одноэтажную мазанку, в которой размещался банно-прачечный комбинат, включавший санпропускник. Сперва я увидел кран, из которого капала холодная вода. Я положил рыбу на асфальтовую полоску и выпотрошил её моим большим перочинным ножом. Потом я открутил кран, вода потекла сильнее, и я рыбу вымыл. Я продолжил обход и вдруг увидел, что какой-то кран на другой трубе, огибавшей здание на уровне земли, закрыт не плотно, или что около него на трубе есть щель: из этого места была сильная струя пара. Я подставил под струю пара хвост рыбы, держа её за голову. Так я ошпаривал её несколько минут. Потом я хвост отрезал, попробовал и увидел, что рыба сварилась! Я съел сваренный кусок и подставил под пар следующий участок рыбьей тушки. Потом отрезал и съел его. Не помню, была ли у меня соль. Так я съел всю рыбу и понял, что попал в хорошие края.

После санпропускника нашу команду привезли на паре грузовиков в посёлок Рыбокомбината, и нами занялся сотрудник отдела кадров. Письменный стол ему поставили прямо на улице рядом с заводоуправлением. С этого момента команда существовать перестала: каждый приехавший был зачислен на работу в тот или иной цех комбината, на него заводилась трудовая книжка (она хранилась в отделе кадров), и он получал пропуск на Рыбокомбинат и ордер в общежитие.

Способ, которым мы были доставлены в это место — мобилизация через военкомат — был забыт. И тут же возникала некоторая правовая неразбериха, вполне привычная для советской власти и в мирное время, а уж в военное — сам Бог велел. Мобилизованные военкоматом становились вдруг без лишних процедур обычными гражданскими лицами, работавшими по найму. Конечно, и в этом качестве мы были крепостными, но уже не потому, что были мобилизованными, а потому, что — как и все другие советские трудящиеся — не могли уволиться без согласия администрации. Но теперь, по крайней мере, согласия начальства на увольнение было достаточно для того, чтобы человек, доставленный в Гурьев военкоматом, мог из него вернуться в свои родные места обычным гражданским путём, а не после процедуры демобилизации с военной службы. Мог, да не совсем. Была закавыка: годный к физтруду и увезенный из Уфы солдатом, а выгруженный в Гурьеве гражданским лицом не имел паспорта. Военкомат в Уфе этот документ отобрал, а в Гурьеве никто не озаботился его вернуть или выдать новый.

На руках у такого человека, транспортированного из Уфы в Гурьев и трансформированного из мобилизованных в гражданские, был только пропуск на работу. А как без паспорта куда-нибудь тронешься или наймёшься на другую работу? Исключением был я: у меня паспорт сохранился.

Численность нашего пополнения годных к физтруду была по сравнению с масштабами Рыбокомбината не слишком заметной. В один цех нас было назначено по двое-трое, а иногда и один из нас. Я с моим другом Пожилым Татаринцом был разлучён и впоследствии встречался с ним во внерабочее время случайно и весьма редко.

Я пришёл к коменданту назначенного мне общежития. Общежитие состояло из штук двадцати барачков, устроенных одинаково. Проходы между барачками образовывали систему улочек. На каждые три—четыре барачка была уборная на несколько мест с выгребными ямами.

Комендантом была местная женщина средних лет. Она поселила меня в барачок — глинобитную одноэтажную мазанку. Барачок состоял из одного большого светлого помещения с окнами, в котором стояло штук тридцать кроватей с тумбочкой около каждой. Вечером барачок тускло освещался электричеством. В помещении жили и одинокие мужчины, и одинокие женщины — вместе. С некоторыми женщинами жили дети. Комендант показала мне мои кровать и тумбочку. По счастью, отданная мне освободившаяся кровать стояла недалеко от открытой двери барачка, через которую втекал свежий воздух.

Я был направлен на Бондарно-ящичный завод, входивший в состав Рыбокомбината. На другое утро я отправился на работу. Я пересёк большой заводской посёлок, состоявший из барачков вроде нашего и двух- и трёхэтажных стандартных домов. Через проходную Комбината тянулся поток людей, разбредавших по разным цехам и службам.

Комбинат раскинулся на берегу низовьев Урала, впадающего вскорости в Каспийское море. Урал в этом месте — не очень широк: вроде Москва-реки в черте столицы. Оба берега низменные. Баркасы и баржи, влекомые буксирами, подвозили в Комбинат выловленную в море и в реке и подлежащую переработке рыбу. Продукция Комбината — сельдь, вяленая и копчёная рыба, консервы — вывозилась судами по воде и по железной ветке, соединявшей Комбинат с Гурьевым.

Большие участки территории были утыканы столбиками, между которыми были натянуты шпагаты или проволока, а на шпагатах висела и вялилась на солнце вобла. Через пару недель я познакомился с несколькими производствами Комбината: в соответствии с советской практикой, нас, рабочих Бондарно-ящичного завода, то и дело бросали на разные другие участки.

День, два или несколько часов мы могли провести, разгружая рыбу из рыбачьих баркасов, день — погружая ящики и бочки с продукцией в железнодорожные вагоны, день — в селёдочном цехе. В пол этого цеха были вмонтированы огромные — метра два — диаметре и три глубиной — бочки, в которых засаливалась рыба. Иногда эти бочки опорожнялись, их промывали, а потом снова заливали в них специальный рассол — «тузлук» и загружали свежую сельдь. Партия сельди должна была просаливаться несколько дней. За это время с ней ещё чего-то делали: перемешивали, добавляли тузлук. Потом готовую сельдь вытаскивали, а бочку готовили к новому циклу.

Я был единственным из Уфимской команды, кого направили на Бондарно-ящичный завод. Меня принимал на работу главный инженер завода Ойхберг. Он оказался симпатичным, деловым, средних лет евреем. Он определил меня рабочим ящичного цеха. Через несколько дней я убедился, что Ойхберга на заводе уважают. Я попал под начало мастера — тоже средних лет, но женщины и русской — по имени Ксения. Она поставила

меня к верстаку сбивать из деревянных планок торцевые стенки ящиков, которые называются головниками.

Верстак был длинный, и предназначался для нескольких рабочих мест. На каждом рабочем месте в верстак были вбиты шаблоны. Каждый шаблон — две пары угловых металлических скоб, намечающих прямоугольник. Шаблоны позволяли делать раму головника строго прямоугольной стандартного размера. Таких комплектов скоб было несколько — по одному для каждого из нескольких стандартных видов головника. Сперва сколачивалась рама. Потом набивались ещё две промежуточные планки, и возникала деревянная решётка — головник. Планки сбивались гвоздями. Остриё гвоздя немного выступало с другой стороны и втыкалось в верстак. Оставалось выдернуть сбитый головник из верстака, перевернуть его и загнуть молотком вылезшие острия гвоздей.

Готовые головники надо было складывать около рабочего места. Время от времени подходила Ксения, пересчитывала сделанные головники, проверяла, крепкие ли они, и не торчат ли из них гвозди. Она отмечала результат в блокнотике и велела подсобному рабочему отнести готовую партию к другим верстакам. Там стояли рабочие, использующие готовые головники, а также боковые стенки, донья и крышки (эти детали сколачивали рабочие за другими верстаками) для окончательной сборки ящиков.

Сбивая головники, я вспомнил, что нечто родственное я недавно делал: расшибал привезённые мне в Белебее на тарный склад ящики, и полученные головники (теперь я понимал, как назывались эти стенки) и боковые планки отвёз на птицекомбинат. Теперь я, наоборот, участвовал в изготовлении ящиков.

Был на заводе заготовительный цех. Там выполнялись первичные операции с древесиной. Доставленные на завод длинные неотёсанные доски и горбыль сортировали по породам дерева и распиливали вдоль и поперёк на более подходящие для следующих операций пластины. Доски строгали и распиливали на планки разных размеров. Планки одних видов шли в ящичный цех, планки других конфигураций и из других пород дерева шли в бондарный цех. Пилили доски и планки, помнится, циркулярной пилой, а строгали вручную.

Щелястые ящики, которые выпускал наш цех, предназначались для перевозки банок с консервами или вяленой рыбы. Позже я узнал, что в цехе был специальный участок, на котором изготавливались особые ящики. На этом участке работали самые квалифицированные рабочие. Ящики те были большие — более метра в длину и по несколько десятков сантиметров в ширину и высоту. Делались они из особо хорошей древесины и тщательно выделанных планок. Планки пригонялись друг к другу так, что щелей между ними не было. Эти ящики предназначались для перевозки ценной продукции — копчёной и солёной красной рыбы — осетрины и белуги. Эти продукты Рыбокомбинат отправлял в Кремль и в штабы фронтов.

Нормы на количество изготовленных головников в смену (разные для разных видов головников) были для меня сначала непосильными, но скоро я стал выполнять их без особого напряжения. Моей зарплаты хватало для того, чтобы покупать полагающийся мне по карточкам хлеб и платить за обеды в рабочей столовой Комбината. Главной частью и первого, и второго блюда, составлявших обед в столовой, была рыба и крупы — пшённая и перловая. Иногда по карточкам давали такую же крупу, чай и водку. Но использовать эти продукты непосредственно мне было не с руки.

Водку я тогда пить не стремился. Какая-то печка на улице возле барака стояла, её топили кизяком и щепой. Женщины на ней кипятили воду для чая и варили кашу и макароны. Но мне заниматься стряпнёй не хотелось, хотя приготавливать эти нехитрые блюда я умел. Водку и продукты, из которых надо было готовить, я обычно продавал на местном базаре и на вырученные деньги покупал у казахов хлеб, брынзу и айран — что-то вроде кефира. Часто обмен был натуральным.

По карточкам давали ещё махорку или табак. Табак был крайне низкосортным и назывался «филичёвый». Была острота: «Как получают филичёвый табак? — Берут солому и пропускают через лошадь». Махорка была предпочтительней. Табак и махорку я использовал сам. Однажды я увидел на базаре, что кто-то продаёт капитанскую фуражку с белым верхом и чёрным клеёнчатым околышем с козырьком. Я немедленно купил её себе. Я вскоре купил себе ещё и трубку, которую набивал махоркой или филичёвым. Спичек не было. Вместо них использовались самодельные зажигалки с фитилями и огнивом.

В капитанской фуражке и с трубкой я себе нравился. Но любоваться собой я мог редко, потому что доступного мне зеркала не было, и я видел себя редко — только приходя к парикмахеру постричься или побриться (тоже редко).

Иногда в заводской конторе нам давали ордера на «ширпотреб». Как правило, этот ширпотреб был не для непосредственного использования, а для обменов или продаж. Поэтому администрация, выдавая ордера своим работникам, учитывала не их реальные нужды, а рыночную стоимость вещи, которую на ордер можно было приобрести. Самым ценным считался ордер на женское платье из яркой вискозы. Казашки такие платья ценили и покупали их по хорошей цене. Получив ордер на платье, я чувствовал себя везунчиком.

Я быстро привык жить в моём бараке. Совместное проживание обоих полов в непосредственной близости друг к другу воспринималось как ординарное. Я ни разу не заметил никаких вольностей. Все приловчились совершать часть своего туалета под одеялом, особой нескромности никто не проявлял и никто не ловчил подсмотреть за недозволенным. Но почему начальство решило поместить одиноких мужчин и женщин вместе, а не устроить мужские и женские бараки, я тогда не мог ни умом объять, ни общим аршином измерить. Теперь тоже не могу.

В общем, жизнь в посёлке Рыбокомбината была неплохой. Было тепло и даже очень. В некоторые особо душные ночи я и многие другие обитатели барака вытаскивали свои кровати из помещения и спали под открытым небом. После работы можно было приходить на берег Урала и купаться. В посёлке был чахловатый городской сад с летним кинотеатром, в котором после наступления темноты показывали довоенные фильмы, фронтовую кинохронику, «Боевые киносборники» — вроде того, после которого у меня в Уфе украли мой «Вальтер».

Один раз в летнем кинотеатре был концерт известной тогда казахской певицы Шары. Билеты на него были подороже, чем на киносеанс. У Шары был очень приятный голос, она была невысокой худощавой миловидной женщиной типично казахской внешности. В её репертуар входили две—три казахские песни. Всё остальное — это были лирические песни из довоенных фильмов и новые песни военной поры.

Вернусь к уже затрагивавшейся мной теме и продолжу её. Будучи апологетом классической музыки, я песни, которые тогда в изобилии зву-

чали по радио, просто пропускал мимо ушей в буквальном смысле этого слова. Постепенно, с годами, песни военной поры стали обрастать в моём сознании ассоциациями с исторической реальностью, и я стал ценить их художественные достоинства. Первая брешь в моём ригоризме была пробита песней Н.Богословского «Спят курганы тёмные», звуки которой из динамика сопровождали меня в часы дневальств в истребительном батальоне. Теперь на концерте Шары была пробита вторая брешь: я услышал в её исполнении песню «Давай, закурим, товарищ, по одной», и до меня дошло, что несмотря на эстрадный жанр этой музыки, у неё есть шанс остаться памятником и символом эпохи. И за это впечатление и за этот урок я Шаре благодарен.

Примерно через месяц после моего поступления на завод меня вызвали к Ойхбергу. Он предложил мне перейти из цеха на работу экономистом в заводоуправление. Я терял рабочую карточку, но попадал в более привычное мне окружение. Я согласился.

Бондарно-ящичный завод был небольшим предприятием. Там работало примерно двести человек. В собственно заводоуправлении работало человек семь—восемь: директор Васюков, главный инженер Ойхберг, главный механик — пожилой человек, фамилию которого я забыл, начальница планового отдела Таисья (Тая) Соломатина лет 35-и с подчинённым ей экономистом (именно им стал я), главный бухгалтер — мать Таи Елизавета Николаевна (под 60), которая одновременно выполняла обязанностями зав. канцелярией и секретаря директора. Были ещё счетовод-кассир и курьер.

Васюков был простоватым и симпатичным человеком средних лет. Ойхберг был построже. Как-то проходя через контору в свой кабинет, он увидел, что я сижу на моём столе лицом к моей начальнице Тае и о чём-то с ней болтаю. Он вызвал меня к себе и сделал замечание — и за то, что сидел на столе, и за то, что не изменил позы, здороваясь с ним, главным инженером.

Работая в новой должности, я не уставал. В мои обязанности входило писать раз в неделю отчёты о ходе выполнения плана по всей номенклатуре выпускаемой продукции и составлять калькуляции на новые виды изделий. Я узнал, какие виды затрат надо учитывать в производстве: затраты на материалы, на амортизацию основных фондов (здания, оборудование), энергетические затраты, трудовые затраты, цеховые и заводские расходы, налог с оборота. Отпускная цена исчислялась, исходя из нормативно заданной рентабельности производства (уж не помню, задавался ли этот норматив в целом по заводу или дифференцировано по отдельным видам продукции).

Напряжённой работы не было и у других служащих. Директор и главный инженер обычно ездили по разным руководящим инстанциям, и мы могли свободно беседовать о том, о сём, слушать радио и читать газеты. Раньше я читал газеты на стендах, а теперь их приносила незаметная женщина курьер, и я находил их утром на моём рабочем столе — как в Белебее их находил заведующий кафедрой ВВС полковник Калинин.

Мало-мальски ценный контингент завода был в подавляющем большинстве родом из Астрахани. Там все эти люди работали на аналогичном производстве и в сходных должностях. К этому контингенту относились, во-первых, руководители завода: Васюков, Ойхберг, Соломатины, главный механик, Ксения и другие начальники цехов. Во-вторых — квалифицированные рабочие. В частности, все рабочие бондарного цеха, относившиеся к рабочей аристократии.

В Гурьев выходцы из Астрахани были эвакуированы вместе с частью тамошнего рыбокомбината летом сорок второго года, когда на Волге под Сталинградом начались бои. Не знаю, какая причина переноса в Гурьев части технологических мощностей астраханского рыбокомбината была главной. Может, лов рыбы на этом участке реки стал невозможным из-за военных действий у Сталинграда: в Волгу сливалось много нефти, попало много обгорелых обломков и много трупов, и всё это течение несло к низовьям Волги у Астрахани. Может, власти считали реальным приближение боёв к самой Астрахани и сдачу этого города.

Приехавшие из Астрахани были устроены в приличных по тогдашним понятиям комнатах и квартирах. Своё пребывание в Гурьеве все эти люди считали временной ссылкой, и только и было у них разговоров, как о возвращении из захолустного Гурьева в родную Астрахань. В начале лета сорок третьего, когда судьба меня с ними свела, их надежды обретали реальные шансы.

Став сотрудником заводоуправления, я получил возможность ходить в особую столовую ИТР. Однажды я оказался за одним столиком с очень старой женщиной. Я эту старуху видывал в столовой и раньше. Она была явно из бывших. Седые волосы выглядывали из под старомодной чёрной шляпки. Одета она была обычно во что-то чёрное или тёмное, но видна была и белая блузка. Она была невысокого роста, и при этом сильно сутулилась. Нос у неё был длинноват и с сильной горбинкой. Выражение лица — отчуждённое и неприветливое. Короче — очень смахивала на нахохлившуюся ворону.

Я обедал обычно немного после того, как кончались обеденные перерывы большинства цехов и заводов Рыбокомбината — чтобы оказаться в опустевшем зале. Моя начальница Тая уходила обедать домой, и на строгой дисциплине моего обеда не настаивала. Вот и в этот раз в столовой было уже вполне свободно, и я увидел, что старуха-ворона сидит за столиком одна. Я подошёл и попросил разрешения сесть за этот же столик. Она, как и я, есть ещё не начинала.

Несмотря на убогость столовой, еду посетителям разносили официантки. Выбора у посетителей не было, и официантки разносили стандартные обеды и брали за них талончики и деньги. Сперва мы с моей соседкой молчали. Но через пару минут, после того, как нам принесли наши обеды, я высказал какое-то замечание по поводу принесённой еды. Старуха — из моего произношения, а может, и потому что я садясь за тот же столик, что и она, попросил её разрешения — поняла, что я принадлежу к интеллигентному сословию. Она задала мне несколько вопросов, убедилась, что она в своих предположениях права, и мы разговорились.

Я узнал, что она, как и мои коллеги по заводу — из Астрахани и в Гурьев приехала вместе со своей дочерью и зятем, которые работали в рыбной промышленности и были в Гурьев эвакуированы по тем обстоятельствам, которые я описал выше. Старуха не работала, но дочь выхлопотала ей право ходить в столовую ИТР Рыбокомбината.

Моя собеседница, подталкиваемая моими расспросами, продолжала откровенничать. Я узнал, что её зовут Ольга Ивановна Домерщикова. В Астрахань они с мужем, ныне покойным, переехали чуть до или чуть после революции, а до этого она жила в одной из столиц и в конце прошлого века училась в консерватории вместе с Рахманиновым. С Рахманиновым Домерщикова продолжала дружить и сотрудничать в профессиональном плане вплоть до его отъезда за границу.

...Написав последнюю фразу, я заглянул в Энциклопедический словарь и узнал, что Рахманинов родился в 1873 г. Если Домерщикова была его ровесницей, то ей в момент нашего знакомства было семьдесят лет — на десяток лет меньше, чем мне сейчас...

Блестящей пианистической исполнительской карьеры у Домерщиковой не вышло, но она стала видным педагогом и занимала ведущее положение в Астраханской консерватории. Она тосковала по своей работе и на уже известный мне лад только и говорила что о скором возвращении домой в Астрахань к любимому инструменту и к привычной работе.

Узнав о моей приверженности классической музыке, Домерщикова прониклась ко мне ещё большей симпатией, стала расспрашивать меня о моих впечатлениях о предвоенной Московской концертной жизни, высказывала положительные и отрицательные отзывы о московских знаменитостях, и разговор наш шёл непринуждённо.

Официантка, пришедшая в разгар нашего разговора за пустой посудой (мы продолжали беседовать и после того, как съели наши обеды), присела за наш стол и стала прислушиваться к разговору. Из коротких реплик я понял, что Домерщикова с официанткой знакома короче чем я. Я знал только имя этой официантки — Валя, а моего имени официантка, естественно, не знала: я был одним из сотен посетителей. Валя несколько раз вставала для выполнения своих обязанностей, которых в эту часть дня было совсем немного, и возвращалась снова за наш столик.

Я понял из диалога Вали со старухой, что они давно договаривались о том, что Домерщикова как-нибудь вечером придёт к Вале с несколькими пластинками с музыкой Рахманинова, которые она привезла с собой из Астрахани: у Вали был патефон, и она приглашала Домерщикову послушать любимые пластинки. Домерщикова сказала Вале, что и мне, наверное, хотелось бы послушать Рахманинова, и Валя тут же пригласила меня на предстоящую музыкальную встречу в её доме.

Когда я в условленный вечер пришёл к Вале, Домерщикова уже была там. Валя жила в хорошем трёхэтажном доме. У неё была маленькая комната в коммунальной квартире. Обстановка была типичной для жилья простой женщины. Стояла большая кровать с горой подушек, посредине комнаты был стол, вдоль стен — шкаф и буфет. Была ещё невысокая тумбочка, на которой стояла причина нашей встречи — патефон.

Мы с Домерщиковой сели около этой тумбочки и стали крутить пластинки, т. е. ручку патефона. Пластинок было штук десять. Это были обычные для того времени пластинки на 78 оборотов в минуту. На них были записаны два или три прелюда и несколько этюдов-картин. Звук был по теперешним стандартам очень плохим, но у нас претензий к нему не было. После каждой стороны пластинки или во время звучания надо было крутить ручку. Домерщикова наслаждалась. Я — меньше, потому что тогда Рахманинова любил не очень и знал только две—три пьесы и второй фортепианный концерт, который любил и великолепно высвистывал Роберт Виноград. Домерщикова старалась передать мне свой восторг перед звучащей музыкой, и я охотно и уважительно её слушал.

Хозяйка оказалась совершенно выключенной из нашего разговора. А тут ещё я, желая блеснуть, заговорил с Домерщиковой по-французски, она мне отвечала на этом же языке, и часть нашей беседы оказалась для Вали непонятной совсем. Хотя и то, о чём мы говорили по-русски, для Вали тоже было непонятно — из-за специфики сюжета и смысла нашего разговора.

Кроме желания показать Домерщиковой уровень моей образованности, мне было приятно поговорить на языке, который я всегда очень любил, на котором много прочёл, и применить который у меня давно не было случая. Позже я осознал меру моей невежливости. Валя угостила нас чаем со съедобными булочками. Мы рассеянно выпили его, поблагодарили, но наших чуждых для Вали бесед не прерывали. У меня хватило такта только на то, чтобы задать Вале вопросы, касающиеся её самой и едва выслушать её ответы. Я понял, что её муж на фронте, а детей у них не было.

Пластинки были прокручены, музыка отзвучала, и Домерщикова собиралась домой. Я встал, чтобы выйти с ней и проводить её до дому. Я увидел, что Валя таким моим намерением раздосадована, и только тут я понял, зачем она позвала меня и на какой конец вечера рассчитывала. Но мне такой вариант в голову совершенно не приходил, а пришедши — не привлёк, и я пошёл провожать старую даму Домерщикову, которая жила в другом конце посёлка.

Валя по моим понятиям была совершенно неподходящей подружкой. Ей было лет под тридцать, она принадлежала к другой культурной группе, а её довольно посредственная внешность не могла перевесить этих минусов. Наконец, мне казалось безнравственным вступать в близкие отношения с женщиной, муж которой воевал. Впрочем, про мужа Валя могла и выдумать, чтобы не создавать у меня идею, что она старая дева. После этого вечера Валя ни меня, ни нас вместе с Домерщиковой в гости не приглашала, а в столовой, подавая мне мой обед, со мной не заговаривала.

В июне меня вызвали в местный военкомат на новое переосвидетельствование. Я отправился туда, зная по предшествующему опыту, что в этом учреждении моей судьбой могут распорядиться по новому. Но я и к перемене стал привыкать. В этот раз что-то в нормативах и инструкциях, которыми руководствовалась медицинская комиссия, переменялось в мою пользу, и я из годных к физтруду, снова стал белобилетником. Казалось, теперь было бы логично выполнить недавний процесс в обратном порядке: отправить меня за казённый счёт в белебеевский военкомат, признавший меня полгода назад годным к физтруду, в результате чего меня перевезли и вбросили в Гурьев. Но нет, этот обратный процесс не выполнили, и я продолжал пребывать в посёлке Рыбокомбината.

Я переписывался с мамой, находившейся в Белебее, и папой, находившимся на фронте. Я переписывался с Арой Смирновой и с Робертом Виноградом, остававшимися в Москве, и с Эдей Колмановским, жившим в Свердловске. Письма ходили долго, и я за время жизни в Гурьеве получил от каждого из моих корреспондентов по одному—два письма. За исключением мамы, с которой мы обменивались письмами чаще.

Из письма Ары я узнал о кончине моего любимого Лёни Большакова. Эдя писал мне о весьма трудной жизни их семьи в Свердловске. Александр Маркович жил в Шадринске, Тамара — в Челябинске. Эдя писал мне о своём педагоге в консерватории профессоре Трамбицком и о его дочери Иветте. Эдя писал, что жена Трамбицкого имеет французские корни, что этим объяснялось имя их дочери и тот факт, что она знает французский.

Узнав о французском Иветты, я в очередное письмо к Эде вложил дружескую записку на любимом языке для незнакомой мне барышни, не соображая, что этот непонятный цензуре текст может вызвать осложнения и у меня, и у адресата. Но нет, не вызвал. Умная Иветта любезно отвечала мне на моё письмо по-русски.

Вообще, я был глупо неосторожен в переписке. О том, что в нашем бараке завелись клопы, о тех мерах, которые против них были приняты мною и моими соседями по бараку, я написал маме, закончив мой рассказ лозунгами, пародировавшими те, что были приняты в газетах и по радио: «Смерть коричневым гадам!» и «Смерть клопупантам!». Мама мне потом рассказывала, что, получив эту открытку, чуть не умерла от страха. Обошлось.

...Я, к сожалению, не сохранял тогда получавшихся мной писем — и потому, что мне в моём общежитии негде было их держать, и по глупости. Эдя был осмотрительнее меня. Эдин младший сын Саша, разбирая после кончины отца Эдин архив, нашёл там два письма, полученные Эдей от меня в 1943 г. Вот первое из них (с сохранением орфографии) — из Гурьева.

Любимый друг!

Вот уже скоро 2 года (а из них был мною отмечен каждый день), как мы с тобой расстались. Я обещал тебе пофилософствовать на эту тему, но оказывается, не могу: не хватает ни терпения, ни способностей.

Могу сделать я лишь краткие выводы. Совершенно естественно, что мои многочисленные перемещения по отношению к людям, городам и должностям во многом изменили мой ум: многое прибавили к нему и многое отняли. Но Эдя, ведь во время всех моих путешествий я возил с собою самого себя, и моё сердце осталось неизменным. Я стал мудрее, Эдя, но не в дурном смысле этого слова. Из писателей я всё более и более оцениваю Ромена Роллана и Анат. Франса, а из людей — Германа Карловича Гилле.

О внешних обстоятельствах моей жизни писать довольно противно, ибо опять приходится упомянуть слово «комиссия», на которую я пойду через 30 минут и которая решит мою дальнейшую судьбу.

До свидания, дорогой. Обнимаю тебя.

Твой Ю. Г.

Передай мой поклон Иветте.

7/VI 43.

Я не устаю перечитывать твою гениальную приписку к письму Иветты. Как я тебя чувствую в ней!

Я продолжал изредка встречаться с Домерщиковой в столовой, на базарчике и на улочках посёлка. Наши разговоры продолжались, но темы постепенно исчерпывались. Мы много, естественно, говорили о войне. Прошла Курско-Орловская битва, и все стали ощущать, что страна выстояла, и войне скоро конец. На самом деле ей оставалось ещё почти два года. Астраханцы всё настойчивей муссировали тему возвращения домой.

Надежды на скорое изменение жизни к лучшему касались не только военного будущего. Мне виделось, что после такой жестокой войны и тех жертв, которые народ приносит для победы, сталинский режим смягчится. Тем более, что среди воевавших, в том числе и среди высшего генералитета, были, как это становилось известным, и недавние репрессированные, чудом перенёвшие лагеря, чудом досрочно выпущенные, чудом назначенные на высокие военные должности и блестяще доказавшие свою полную преданность Родине и режиму. Мне и многим казалось, что власти увидят ненужность жестокого подавления общества.

Ещё одним аргументом, усиливающим надежды на ослабление советского тоталитаризма, было сообщение о роспуске Коминтерна, обнародованное летом в газетах. Я надеялся, что это — сигнал к укреплению связей нашей власти с демократическими союзниками, а связи эти повлияют на нравы нашей власти в лучшую сторону. Правда, роспуск Коминтерна сопровождался образованием какого-то «Коминформа», но я тешил себя надеждой, что это — только для сохранения лица. Западная идеология, надеялся я, постепенно будет допущена к распространению в нашей стране и приведёт к либерализации политического режима.

Из очередного маминого письма я узнал, что в августе или в сентябре Военно-Политическая Академия возвращается в Москву. От Эди я узнал, что вот-вот возвращается в Москву из Свердловска и Консерватория. Тогда вернуться в Москву из эвакуации можно было только вместе с возвращающимся учреждением или по персональному вызову из авторитетного московского учреждения. Список учреждений, имевших право посылать вызовы, а также законные мотивы для вызова утверждались высшими властями. Шансы на получение вызова в Москву мне, казалось, не светили. Я стал подумывать о другом варианте изменения моей жизни.

В Махачкале жила моя тётка (по отцу) Зина с дочерью. Я уже говорил о том, что в отцовской ветви семейные отношения были весьма прохладными. Но я решился попросить тётю Зину выяснить, не примут ли меня на физмат Дагестанского пединститута с предоставлением общежития. Хоть как-нибудь я моё образование продолжил бы. Тётя Зина мою просьбу выполнила, и я получил извещение о том, что в студенты принят.

Переезд в Махачкалу, несмотря на приглашение пединститута, вполне мог осложниться тем, что я, хоть и был вольнонаёмным, но стал им из мобилизованных военкоматом, и, быть может, зависел не только от дирекции Рыбокомбината, но и от здешнего военкомата. До сих пор повода и способа проверить мой статус у меня не было. Пока я размышлял над тем, как поступить, возникла новая возможность.

В июле я получил письмо от Роберта. Он сообщил мне, что с осени в Москву возвращается и начинает регулярные занятия Университет. Он сообщил мне также, что ректорат получил право посылать вызовы в Москву своим бывшим студентам, оказавшимся в эвакуации. Я попросил Роберта хлопотать о вызове для меня, хотя из-за неопределённости моего статуса я не был уверен том, что подпадаю под действие описанной Робертом возможности и что дело выгорит.

Почта была тогда ненадёжной и неспешной, канцелярии работали лениво, как всегда, но Роберт подталкивал процесс, и в конце концов — это случилось в середине сентября, когда мама была уже в Москве — вызов на моё имя пришёл! Это был импозантный документ на толстой гладкой бумаге, подписанный даже не ректором Университета, а аж начальником какого-то Главного Управления Гос. Комитета по делам Высшей Школы. Я и фамилию этого благодетеля запомнил: Агарков. Меня вызывали в Москву для продолжения обучения на первом курсе мехмата. В бумаге сообщалось также, что занятия в Университете начнутся первого октября.

За время, прошедшее до получения вызова я успел заболеть дизентерией и очутиться в местной больнице. Там, по счастью, оказался новый эффективный препарат — стрептомицин. Я выздоровел после одной или двух инъекций. Это выглядело чудом.

В конце августа или начале сентября дочь и зять Домерщиковой получили право вернуться в Астрахань. У старухи были скверные отношения с зятем и сложные — с дочерью. Она попросила меня помочь ей собраться, опасаясь, что зять и дочь ей такой помощи не окажут, а она физически не справится с упаковкой ящиков и чемоданов с её вещами, нотами и пластинками. Я всё это под враждебными взглядами зятя и дочери в течение двух вечеров, предшествующих отъезду, сделал. Отправлялись они морем. В день отплытия я погрузил вещи моей престарелой приятельницы на палубу большого рыболовецкого баркаса, увозившего всю эту странную семью в их родную и любимую Астрахань.

Итак, я получил вызов и отправился с ним к начальнику отдела кадров Рыбокомбината. Он оказался, на моё счастье и к моему удивлению, спокойным и доброжелательным человеком. Он сказал, что уволить меня он имеет право, но для того, чтобы милиция дала мне пропуск в Москву (а без такого пропуска мне не продали бы билет на железной дороге) нужен не только вызов, но и паспорт, в котором он, начальник отдела кадров, мог бы поставить штамп об увольнении, а чтобы мне, присланному через военкомат, выдали паспорт, требуется длинная сложная процедура, в которую должно быть вовлечено несколько учреждений и которая не обязательно закончится успехом. Но когда добрый начальник узнал, что паспорт у меня есть, он сказал, что через неделю я могу зайти за пропуском и паспортом с нужной отметкой. Так оно и вышло.

...На этом мои отношения с армией и военкоматами завершились. Получилось, что обе мои красноармейские книжки — первую, полученную в 879-м стрелковом полку в Раменках под Москвой, и вторую — в комендантском взводе в Белебее — я не сохранил. Таким образом я утратил простой способ доказать военный компонент моего участия в периоде 1941—1945 гг. исторического процесса. С другой стороны, это участие было столь кратковременным, а главное, незначимым, что я не считал нужным что-то восстанавливать, что-то разыскивать. В результате я не получил статуса участника войны и никакими его привилегиями не пользуюсь, что считаю вполне справедливым...

В один из прекрасных последних дней сентября я попрощался с моими начальниками и сослуживцами по Бондарно-ящичному заводу и на попутном грузовике уехал в Гурьев. Прямого поезда из Гурьева в Москву не было. Я приехал в Кандагач, и теперь должен был пересесть на поезд Ташкент—Москва, который проходил ночью. Как всегда, перед закрытой кассой толпились люди, обстановка была напряжённой. Билеты, в соответствии с советскими железнодорожными правилами, начинали продавать за час или два до прихода поезда: с предвещающей станции начальник поезда сообщал телеграммой о наличии свободных мест.

Из разговоров пассажиров, нервно ждавших открытия кассы, я понял, что все стоявшие у кассы едут до более близких, чем я, пунктов. Наконец, касса открылась, несколько билетов было продано и кассирша объявила, что всё. Счастливики отошли от кассы, разочарованная публика поредела. Тут я собрал силы и протискался сквозь судачивших пассажиров к кассе. Окошечко ещё не успело захлопнуться. Протягивая мой пропуск кассирше я прокричал: «Мне ведь совсем недалеко — в Москву!». То ли сыграла роль моя примитивная острога, то ли до сих пор кассирше пропуска в Москву из этих глубинных мест видеть не доводилось, но — сработало, и билет мне был продан.

Дня три или четыре я ехал в общем вагоне. Свободных мест не было. Много часов я ехал стоя, изредка присаживаясь на край чужой нижней

полки — с любезного разрешения её хозяина. А потом я вдруг участвовал в захватить себе — после того, как кто-то из пассажиров сошёл в Куйбышеве — место на третьей, багажной, полке.

В Москве никто меня не встречал, ибо способов заранее предупредить маму или кого-нибудь из друзей о времени и месте моего приезда не было. Поезд пришёл на Казанский вокзал. Сошедшие с него пассажиры проходили через цепь кивдешников, проверявших пропуска на въезд в Москву. Делали они это крайне небрежно, и я с обидой подумал, что их равнодушие и небрежность неадекватны тем трудностям, которые преодолело большинство сошедших из поезда на Московскую землю пассажиров, чтобы эти пропуска выхлопотать.

ГЛАВА 12

Возвращение в Москву. Снова мехмат. Майя Левидова. Приезд Эди. Новые друзья. Профессура мехмата. Художник Митурич. Творчество Хлебникова. Планы председателя Митурича. Возвращение Колмановских из Свердловска. Известие о гибели Дани. Экзамен у Шмидта. Посадка картошки с сотрудниками ГУЛАГа. Красновидовские забавы. Пленные немцы. Судьба Арона Муркеса. Юра Абов. Друзья-физики. Имочка Шноль. День рождения Имочки. Лесная прогулка с Галей Шестопап.

Я приехал домой в мой город родной в самых последних числах сентября и обнаружил, что наша 24-я квартира по-прежнему почти пуста. Кроме недавно вернувшейся мамы, там жили только тётя Клара и Александра Ивановна Шелагурова, не уезжавшие из Москвы ни в какую эвакуацию. Напомню: зимой 42-го они и я покинули разрушенную бомбой нашу квартиру, и мы некоторое время жили втроём в одной из комнат сравнительно благополучной пустой 35-й. Теперь комнаты Шелагуровых и тётя Клары в 24-й были кое-как отремонтированы, и для сносной жизни годились. Места общего пользования были в относительно хорошем порядке. Можно было пользоваться уборной, холодной водой в кухне и в ванной и газовыми конфорками.

Впрочем, с водой на последних этажах московских домов перебои были всегда — и до войны, и (особенно) во время, и после неё. Вода из кранов или просто не текла, или лишь чуть капала. Ещё чаще она хоть и текла, но её напора не хватало, чтобы поднять её в бачок унитаза, и надо было наливать ведро в ванной или в кухне и выливать воду в унитаз самостоятельно. А так как вода часто не шла и из тех кранов, то в ночные часы, когда напор был получше, ванну наполняли водой и этим запасом пользовались и для упомянутых вёдер и в других хозяйственных целях. В чайниках и кастрюлях запасали воду для приготовления пищи. А уж пользовавшие газовой колонкой в ванной было из-за плохого напора недоступной роскошью. В общем, квартира пришла примерно в довоенное состояние.

Но наша комната была по-прежнему в разрушенном виде. У мамы не было сил заставить домоуправление произвести нужные восстановительные работы. Поэтому, вернувшись из Белебея, мама с разрешения домоуправления поселилась в комнате при кухне, где до войны жила Александра Матвеевна с дочкой Аллой, которой, когда началась война, было восемь лет. В эту же комнатку, естественно, въехал, вернувшись из Гурьева, и я. Александра Матвеевна с дочкой вернулись из эвакуации через пару месяцев после меня. Их комнату нам с мамой надо было освобождать, и мы переехали в комнату, где до войны жил Юрий Маркович Юровецкий с семьёй.

Первого октября сорок третьего я снова пошёл учиться на первый курс мехмата. За прошедшие полтора года обстановка переменялась. Научная и учебная жизнь была ключом, хотя следы военной неустроенности ещё

оставались. Но ощущение нормального учебного процесса появилось. Как говорится, я вернулся не на тот мехмат, который покинул в мае сорок второго.

Московский университет в те поры целиком размещался в группе корпусов на Моховой по обе стороны от ул. Герцена (Б. Никитской) и вдоль неё. Два корпуса из этой группы считались главными. Один (д. 11) был построен в середине XVIII века. Его было принято называть «Старое здание». Второй был построен позже, и его называли «Новое здание».

...Многие корпуса из тогдашнего университетского комплекса теперь, вообще, к университету отношения не имеют. В здании тогдашнего физфака теперь расположен Радиоинститут Академии Наук. В корпусе, где когда-то был геолого-почвенный факультет, потом возник Геологоразведочный Институт им. Орджоникидзе...

Мехмат располагался на третьем этаже Нового здания. Там был деканат и несколько небольших учебных аудиторий. Их для организации нормального учебного процесса было недостаточно, и ректорат отдавал в распоряжение мехмата аудитории других факультетов в других корпусах. Например, лекции, общие для всего первого курса, проходили в Большой Психологической аудитории философского факультета, а упражнения по высшей алгебре проводились на географическом факультете.

Одна забавная деталь. На втором этаже нашего корпуса, т. е. под мехматом располагался Исторический факультет. Студенты-математики презирали студентов-историков за то, что они решились пойти изучать науки, находившиеся под полным идеологическим контролем власти. По этой причине мы называли мужскую уборную, расположенную между двумя маршами лестницы, ведущей на наш этаж со второго, «деканатом истфака».

...Впоследствии мы поняли, что в нашем огульном презрении к студентам истфака полной правды не было: многие выпускники этого факультета, вопреки идеологическому гнѣту, превратились в гуманитариев высокого класса и независимого ума. Один из примеров: Натан Эйдельман (впрочем, он, будучи на семь лет моложе меня, начинал учиться, когда я уже университет окончил)...

На мехмате было три отделения: чистая математика, механика и астрономия. Я учился на первом. Для меня и моих товарищей было характерным презрение ко всему, что не было чистой математикой. В первую очередь, конечно, это презрение относилось к «Основам марксизма-ленинизма». Но большой разницы между этим никѣмным и одиозным курсом и тремя другими вполне научными, но не чисто математическими курсами — «Теоретическая механика», «Общая физика» и «Общая астрономия» — мы из снобизма не делали. Даже внутри математики мы различали более и менее аристократические дисциплины.

Факультетские дела меня захватили, но — не полностью. Сразу же после возвращения в Москву, я начал регулярно посещать симфонические и камерные концерты в обоих залах Консерватории. Их в этот год уже было множество, первоклассные исполнители уже были в Москве, вернулась аудитория и залы были полны.

Встречался я с Арой и с Надеждой Всеволодовной. Но прежней близости с ними уже не было. Я возобновил мою дружбу с Майей.

Натан был на фронте. Эдя ещё был в Свердловске. Не было и Бори Кулеса. Майя рассказала мне то, что узнала от его сестры Беллы. Боря в начале войны по каким-то причинам в армию призван не был. Все их семья эвакуировалась куда-то на Алтай. Они вернулись в Москву тоже в сорок третьем, незадолго до меня. Но — без Бори. В самые первые месяцы эвакуации Боря заболел бруцеллёзом и умер.

Фёдор Иванович Невежин, художник и педагог, с которым Майя ещё недавно связывала свою профессиональную и, возможно, личную судьбу, был к осени 43-го напрочь из Майиной жизни вычеркнут. Я не помню никаких сколько-нибудь содержательных разговоров о нём в те недели, и не помню, вернулся ли он к тому времени в Москву и продолжал ли бы быть Майиными педагогом в училище 1905 г. Не исключаю, что к той осени не уезжавшая из Москвы Майя училище уже окончила.

Я узнал, что Белла Владимировна получила официальное уведомление о смерти Михаила Юльевича в Саратовской тюрьме. Майя с матерью жили крайне стеснённо. Несмотря на потерю в ужасных обстоятельствах мужа и отца и на материальные трудности, жизнь матери и дочери продолжалась. Мать была ориентирована на домашнее хозяйство, а дочь подрабатывала надомным ремеслом, чтобы получить право на продовольственную карточку сносной категории.

Майя вела интенсивную светскую жизнь. Она рассказывала мне о своих многочисленных знакомствах в московских интеллигентских кругах и даже об одном серьёзном романе. Как и Невежин, этот избранник был старше Майи лет на двадцать.

Вернулись из пензенской эвакуации Залманзоны, и Лена стала студенткой медицинского института. Вернулась из Челябинска Тамара Майзель. Эдя туда к ней несколько раз из Свердловска приезжал. В последний Эдин приезд они зарегистрировали в этом городе свой брак. Вернувшись в Москву, Тамара стала студенткой Института иностранных языков.

Итак, все уже собрались в Москве, а Эдя и члены его семьи всё ещё оставались в Свердловске. Видимо, дело было в букве запутанных советских правил. Я уезжал из Москвы студентом МГУ, и правила давали мне автоматическое право на вызов обратно в Москву. Моя мама уезжала и вернулась с Академией. Какие-то зацепки имели, очевидно, Залманзоны и мать Тамары (а может, и сама Тамара успела до отъезда в эвакуацию подать бумаги в свой институт и тем самым обрести право на автоматический вызов).

Скорее всего, получение вызова в Москву для Эди от Московской Консерватории осложнялось тем, что он из Москвы в 41-м уезжал не её студентом, а студентом Гнесинского училища, а в Свердловске стал студентом тамошней консерватории. Осенью 43-го, когда все стали возвращаться в Москву, Эдя был на третьем или на четвёртом курсе Свердловской консерватории, и ему надо было в Московскую переводиться. Т. е. нужны были дополнительные хлопоты, которые в моём случае не требовались.

...В начале 2000-х Эдин сын Саша Колмановский нашёл в архиве отца два моих письма, писанных из Москвы осенью 43-го к Эде в Свердловск. Их содержание подтверждает или уточняет то, что вспомнилось мне сейчас.

Первое письмо:

Любимый друг!

Я в Москве. Живу я пока неплохо. Снова начал занятия. Вообще же, мне в Москве не понравилось: слишком много б-дей разного пола и возраста и их спутников. Повидался я со старыми знакомыми. Лениха [Лена Залманозон — Ю. Г.] не изменилась. Белявский [напомню: наш одноклассник, дерзко подшучивавший над косоглазием Анны Николаевны — нашей полуграмотной учительницы истории — Ю. Г.] ходит с палкой (ранен), изящно одет: студент ин-та внешней торговли. Майя тоже изменилась незначительно. Она училась в художественном ин-те, но недавно её исключили за пренебрежительное отношение к социалистическому реализму и склонность к формализму. В настоящее время она работает самостоятельно, вращается в артистических кругах. Если ты хочешь выехать, то быть может, её связи будут тебе полезны. Быт и дух этих артистических кругов носят характер «Ярмарки на площади». Мои симпатии к Майе остались неизменными.

Сегодня вечером я встречу с Тamarой в Малом Зале на концерте Доливо, в программе которого — Муссоргский. С нетерпением жду этой минуты, ибо надеюсь много узнать о тебе, да и интересно посмотреть, какая стала Тамара.

Пока на этом заканчиваю. Мой привет Иветте, которой напишу особо через несколько дней.

Обнимаю тебя и крепко жму руку. Всегда твой Ю. Г.

10-X-43

И ещё одно:

Эдик, вчера вечером в консерватории я встретился с Тamarой. С радостью должен тебе сообщить, что она произвела на меня прекрасное впечатление. Мне было очень приятно и интересно провести с ней вечер (и не только потому что она много — правда, ещё недостаточно, но мы ещё не раз с ней увидимся — говорила о тебе, но и потому, как она говорила). Её тактичность, любезность и остроумие давно уж не были встречаемы мной в женщинах. Впрочем, возможно, что именно это обстоятельство превратило настоящее письмо в довольно нескромный, но искренний панегирик.

Внешне она тоже похорошела (очевидно, из-за того, что сильно похудела). Лицо стало тоньше. Вообще же, держится она с известным достоинством, но просто.

Эдя, я сегодня или завтра увидаю Майю. Она хорошо знакома с Шебалиным, но он сейчас, как сказала мне Тамара, болен. Его замещает некий Дмитриевский. Возможно, что Майя знакома и с ним. Дело осложняется, разумеется, тем, что необходим вызов для всех членов твоей семьи, но я думаю, что мы добьёмся своего.

Эдя, дорогой! Я безумно скучаю по тебе и приложу все усилия, чтоб увидеть тебя в Москве. Сможет ли вынести переезд Р. Н.?

Пиши мне, дорогой — только не так, как в Гурьев.

Твой Ю. Г. 11-XI.

Из последнего письма я заключаю, что в ноябре Эдя был ещё в Свердловске. Вероятно также, что В. Я. Шебалин, студентом которого хотел стать Эдя, и который согласен был Эдю в свой класс взять, занимал не только профессорский, но и административный пост, позволявший ему быть авторитетным звеном в процессе перевода Эди в Московскую консерваторию и в высылке Эде вызова в Москву.

Вскоре усилия Тамары и других дали результат, Эдя получил вызов и вернулся в Москву. Но тогда вызова на всю семью добиться не удалось, и Эдя вернулся один. Александр Маркович, Раиса Наумовна и маленькая Машенька пока оставались в эвакуации.

Тамара с матерью жили в это время в коммунальной квартире в начале ул. Карла Маркса (М. Басманная). Эдя стал жить с ними. 20-я квартира на Арбате была почти пуста: все были в эвакуации. Только в одной комнате этой квартиры был жилец — дворничиха Анна Михайловна. Драматизм ситуации состоял в том, что комната, в которую въехала Анна Михайловна, была одной из трёх, принадлежавших Колмановским до их отъезда в эвакуацию.

Анна Михайловна самовольно переехала в эту комнату из жалкой кладовки по чёрному ходу, в которой она много довоенных лет жила с подраставшими сыном. Теперь сын был на фронте. Возможно, несчастная Анна Михайловна надеялась на то, что Колмановские в Москву не вернуться или вернуться в меньшем составе, и видела в создавшейся ситуации какой-то шанс улучшить своё жилищное положение.

Эдя стал сразу студентом четвёртого, а может, и последнего пятого курса. Он занимался в классе композитора В. Шебалина и жил активной жизнью студента-композитора. Он был ориентирован на классическую серьёзную музыку. К концу 43-го у него, среди прочего, было написано несколько романсов на слова Бёрнса, и эти романсы исполнил в одном из своих выступлений в Малом Зале Консерватории известный камерный бас профессор Анатолий Доливо. Эдя меня на этот концерт позвал. Мне было приятно, что музыка моего друга звучит рядом с вокальными сочинениями Бетховена.

...Теперь, увы, и Народный артист Колмановский, и профессор, Заслуженный артист Доливо оба покоятся на Немецком кладбище, и их могилы разделены тридцатью или сорока метрами...

Эдя рассказал мне, что Даня Павловский весной сорок второго вместе со многими юношами МАИ пошёл учиться в военное артиллерийское училище. Весной сорок третьего Даня был выпущен из училища лейтенантом и начал свою фронтную жизнь в качестве командира противотанкового орудия. После того, как дядя Яша и Даня ушли на фронт, мать Дани Слава осталась в Лосинке одна. Даня оказался участником битвы на Курской дуге. Последнее его письмо матери было отправлено после этого сражения.

Я быстро сдружился с двумя моими однокурсниками — Славой Грабарём и Юрой Гастевым. Славик был моложе меня года на два, а Юрик — он был вундеркинд — на целых пять. Славик и Юрик дружили с Лёвой Малкиным, который не был мне, честно говоря, симпатичен: очень уж он был болтлив и по-пустому насмешлив. Но из добрых чувств к Славику и Юре я принимал и Лёву, и на мехмате нас считали четвёркой друзей.

Дружен с нами был и Роберт Виноград, с которым я близко сошёлся зимой 42-го и который так успешно содействовал моему возвращению из Гурьева. Желая избежать призыва в армию (а Роберту по близорукости, но не слишком глубокой, светила бессмысленная нестроевая), он в ка-

кой-то момент (я был тогда в Гурьеве) перешёл с мехмата в Московский Энергетический институт, который давал студентам бронь от призыва. Роберт старался, наряду со своими экзаменами в МЭИ, сдавать экстерном экзамены и на мехмате (и деканат ему это разрешал). Посещал он и некоторые мехматские спецсеминары и спецкурсы.

...На мехмат Роберт вернулся только тогда, когда военная обстановка изменилась к лучшему, и призыв перестал ему грозить. Кажется это было осенью сорок четвёртого или уже после войны. Тот факт, что Роберт, будучи студентом МЭИ, сдал много мехматских экзаменов и зачётов, облегчил Роберту формальное восстановление на мехмате. Он не потерял времени, оказался на одном курсе с нами и включился естественным образом в мехматскую жизнь...

И Славик, и Юра были сыновьями людей, чьи имена вошли в историю русской и советской культуры. Славик был сыном известного художника и искусствоведа Игоря Эммануиловича Грабаря, а Юра — сыном «пролетарского поэта» и общественного деятеля Алексея Капитоновича Гастева, в своё время привлекавшего к себе внимание общества и властей. Он разработал и проповедовал систему выполнения операций для рабочих разных специальностей. Под его идеи был даже создан институт НОТ (Научная Организация Труда), а сам Гастев был назначен его директором. В конце тридцатых Алексей Капитонович был расстрелян.

В наши студенческие годы и несколько лет после них Игорь Грабарь был ещё жив (ему было тогда уже за семьдесят). Я много лет — вплоть до середины шестидесятых — часто бывал в доме Славика, знал самого Грабаря, хотя, конечно, он на нас обращал мало внимания. Знал я и других членов семьи моего товарища. Это была высокоинтеллигентная типично русская семья, которой, кстати, был совершенно чужд антисемитизм. Мне помнится из рассказов Грабарей, что их предки были русинами, жившими в Венгрии.

Слава был поздним ребёнком. У него была ещё сестра Ольга, лет на пять его старшая. Вскоре после рождения Славика Грабарь разошёлся с матерью своих детей и стал жить с её сестрой — Марией Михайловной. Именно она была хозяйкой в доме. Славик называл её «Теть Маня». В семье жила ещё одна родственница — «Теть Катя». Положение И. Э. Грабаря было в некоторой степени аналогично положению академика И. П. Павлова. И тот, и другой внешне были лояльны к советской власти и были ею обласканы. И. Э. Грабарь был Народным художником, академиком, лауреатом Сталинской премии и пр. Но и он, и вся его семья эту власть ненавидели и презирали, о чём в их доме всегда было много разговоров. Нас, друзей Славика, они не таились. Старого Грабаря все члены его семьи называли «Лаврет», намекая на его несуразное и несозвучное семейным взглядам лауреатство.

У И. Э. Грабаря был брат Владимир Эммануилович. Ещё в царские времена он был генералом и профессором, специалистом по военному праву. Владимир Эммануилович был человеком независимого характера, и в какой-то момент вошёл в конфликт со своим академическим или военным начальством. В результате он оставил службу и уехал жить в Париж. В семье сохранился такой рассказ самого Владимира Эммануиловича. «28-го февраля 1917 года, в день моих именин, я прогуливался утром по Елисейским Полям, а мне навстречу — NN. Подбежав ко мне, он вскричал: «Генерал! Вы знаете новость? — в России революция! Император отрёкся от престола!». — «Голубчик», — ответил я ему, — «Лучшего

подарка ко Дню Моего Ангела Вы сделать бы не смогли!». На другое утро я уехал в Россию».

Не знаю, как Владимир Эммануилович впоследствии сам расценивал свою восторженную горячность. Впрочем, советская власть его пощадила. Он сохранил своё профессорство и занимал видное положение. Он умер в 1956-м, когда ему было за девяносто. Он не был близок с семьёй брата, и я, бывая там довольно часто, с «дядей Володей» ни разу не встретился.

Ещё один семейный анекдот Грабарей. В военную осень, голодную даже для старых заслуженных братьев Грабарей, они обнаружили, что на даче Игоря Эммануиловича (она была в Абрамцеве недалеко от станции) на огороде выросла большая тыква. Старики решили отвезти её в Москву. Ольга была на войне, Славика ни в Москве, ни на даче в эти дни по каким-то причинам тоже не было. Младшему Грабарю — Игорю — был семьдесят один год, Владимиру — семьдесят семь.

Отрезав тыкву от корня, старики поняли, что они даже общими усилиями этот подарок природы не то что поднять, но и сдвинуть с места не могут. Тогда они принесли двуручную пилу и стали перепиливать тыкву пополам. Наконец, им это удалось. Они затолкали в рюкзаки по половине и в таком виде доставили на электричке тыкву в свои московские дома.

В годы нашего студенчества семья Грабаря жила в хорошей квартире в доме художников на Масловке. В этом же или в соседнем доме была огромная мастерская Лаврета, в которую нас водил Славик в отсутствие отца.

...В начале пятидесятых годов Грабарь получил очень большую квартиру в одном из новых домов на углу двух новых проспектов: Ломоносовского и Вернадского, рядом со станцией метро «Университет». Долгое время это место было пустынным и воспринималось как окраина Москвы...

Юра жил далеко не так благополучно, как Славик. Отец был расстрелян. Старший Юрин брат Петя стал студентом мехмата за год до войны и вместе с мехматом был эвакуирован в Ашхабад. Ему удалось взять с собой в эвакуацию и Юру, которому было тогда тринадцать лет. Их мать Софья Абрамовна Гастева и средний брат Алексей (в семье и среди друзей он был «Ляся») сидели в концлагерях. В Ашхабаде Петя достиг призывного возраста, оказался на фронте и погиб. Юра стал для мехмата чем-то вроде «сына полка». Непосредственную заботу о нём взяли на себя близкие Петины товарищи. С ними Юра переехал и в Свердловск, в который был переведён МГУ. Поэтому Юра был на «ты» со многими аспирантами и с молодыми преподавателями. Юрина мать была к моменту нашего знакомства с Юрой только что из лагеря освобождена.

Каким-то образом они с Юрой получили комнату на первом этаже того огромного дома на Неглинной, в котором размещался известный нотный магазин. Через центральный подъезд этого дома можно было пройти к комплексу зданий Сандуновских бань. Из этого же подъезда вели входы в длинные коридоры, представлявшие собой коммунальные квартиры: из коридора вели двери в маленькие комнатухи (может, когда-то это были дешёвые «номера»). В конце коридора были уборная и общая кухня. В одной из комнатух (дневной свет еле пробивался туда) и жили Юра с матерью. Софья Абрамовна рассказывала мне о многих страшных эпизодах при своём аресте, во время следствия и в течение многих лет лагерной жизни.

Ни Юрина нищета, по сравнению с высшим — по советским понятиям — уровнем благополучия семьи Славика, ни Юрина опасная родственная близость с врагами народа (расстрелянный отец и брат в лагере)

Славика от него не отдаляли. Это удивительным не было, ибо молодое бесстрашие, общая ненависть к системе и чувство студенческого братства были в миллион раз могущественнее попыток властей культивировать (вопреки лживой декларации «сын за отца не отвечает») отчуждённость и подозрительность граждан, оставленных в покое или даже возвышенных режимом, по отношению к его жертвам.

В первом семестре предметов было немного: математический анализ (этот курс читал известный профессор, чл.-корр. АН СССР Александр Яковлевич Хинчин), аналитическая геометрия (академик Павел Сергеевич Александров), высшая алгебра (академик Отто Юльевич Шмидт), начертательная геометрия (профессор Сергей Владимирович Бахвалов) и История Партии, которой нас обучал некто Маурер, латыш; ни его имени, ни учёного титула я не запомнил.

Хинчин был крупным специалистом в теории вероятностей. Выведенная им классическая формула, относящаяся к теории однолинейных систем массового обслуживания с пуассоновским потоком заявок, носит его имя. Александров был признанным главой московской топологической школы. Появление этих маститых учёных в качестве лекторов, излагающих азы университетской науки для первокурсников, реально свидетельствует о высоком уровне образования на мехмате МГУ и о том, что замечательные традиции этого учебного заведения не глохли, несмотря на плохие политические времена — войну и диктаторский режим.

У Хинчина манера читать лекции была вполне академичной. Его внешность была заурадной: меньше среднего роста, худощавый, с чуть слишком большой головой и хорошей седоватой шевелюрой. Ничего типично еврейского в его внешности не было, и о том, что мы с ним одной нации, я узнал случайно и много позже. В тот год ему было под пятьдесят. Хинчин не модулировал свой голос, чтобы оттенить наиболее значимые понятия и теоремы, не делал эффектных интригующих пауз. Все нужные акценты в изложении математического анализа Александр Яковлевич расставлял, пользуясь лишь одним инструментом — размеренной и безукоризненной русской речью. Тем не менее, слушать его было не скучно: привлекала неуязвимая логика и продуманная последовательность изложения предмета. Он никогда не запинаясь, не забывал — в общем, никаких ошибок не делал. Спустя года полтора Хинчин выпустил небольшую книжку «Восемь лекций по математическому анализу», в которую вошёл основной материал прочитанного нам курса.

Павел Сергеевич Александров всей своей внешностью и чудаковатым поведением демонстрировал (конечно, не преднамеренно), что он — учёный, да ещё и в весьма абстрактной области науки. Он был среднего роста, худ, абсолютно лыс, в роговых очках, с совсем ровным носом и с пронзительным картавым голосом, который мог неожиданно перерасти в крик. В нём скорее, чем в Хинчине, можно было заподозрить еврея. Но Александров был русским интеллигентом, русской культурой подчёркнуто гордился, и его национализм с годами, говорят, усилился. Впрочем, утверждать это я не могу: после университетских лет я о нём слышал урывками. Александров был на пару лет моложе Хинчина, но на глаз соотношение возрастов этих профессоров было обратным.

Чудаковатые манеры и картавый крикливый голос Александрова превращали его лекции в спектакль, в котором аналитическая геометрия была лишь декорацией. Аудитория наслаждалась не тем, что Александров говорит, а тем, как он это проделывает. Лектор он был неровный.

Весьма часто он доказывал теоремы или выводил формулы, стоя спиной к студентам, а лицом — к доске, стуча мелом, чертя рисунки и выписывая алгебраические и тригонометрические выражения, невнятно бормоча при этом комментарии к своим действиям, которые до ушей студентов достигали не всегда.

Иногда он на каком-нибудь этапе длинного доказательства или вывода формулы спотыкался и замолкал, продолжая стоять спиной к аудитории. Тогда студенты (особенно те, которые сидели на галерее, имевшейся в Большой Психологической аудитории) видели, как постепенно багровеет лысина главы московской топологической школы. Конечно, Павел Сергеевич из положения выходил: или вспоминал или придумывал очередной шаг вывода, или кончалось время лекции.

Но часто профессор Александров увлекался, и всем своим приподнятым тоном приглашал студентов вместе с ним восхититься, сколь изумительно то творение человеческого гения, о котором он рассказывал в данный момент. Как-то он стоял перед доской и громким картавым голосом начал с пафосом подводить слушателей к очередному чуду аналитической геометрии: «...Но задачи такого г-ода [рода — Ю. Г.] гог-аздо [гораздо — Ю. Г.] удобнее г-ешать, если вместо декаг-товых коог-динат, котог-ыми мы пользовались до сих по-г, ввести так называемые...» — профессор сделал театральную паузу перед апофеозом. Но тут Лёва Малкин, сидевший на галёрке, громко закричал, пародируя без стеснения и очень похоже голос маститого лектора: «Поляг-ные коог-динаты!». Все от этой Лёвкиной дерзости оторопели, да и сам он струхнул. Но Павел Сергеевич Лёвиного нахальства совершенно не заметил, а, наоборот, бросил наверх в сторону Лёвы благодарный взгляд и подхватил: «Совет-шенно вег-но! — Поляг-ные коог-динаты!».

Когда мы пришли на первую лекцию по высшей алгебре, и на кафедру взошёл лектор — профессор, академик, бывший вице-президент АН СССР Отто Юльевич Шмидт, мы отнеслись к этому как к совершенно необычному зрелищу. То, что Герой Советского Союза, знаменитый полярник является ещё и учёным математиком, знали очень немногие из студентов.

...Я позже знакомился с его биографией и узнал, что незадолго до революции он окончил математическое отделение Киевского Университета и был учеником алгебраиста Граве. Как выглядела его математическая деятельность в те времена, неясно. В годы гражданской войны Шмидт был видным партийным и советским чиновником, занимал высокие посты в Наркомпроде, Наркомфине, Наркомпросе и, вообще, занимался делами, разительно отличавшимися и от математики, и от тех дел, что прославили его в тридцатых годах, когда он стал организатором исследований и освоения Северного Ледовитого океана, омывавшего советский север.

Уже на моей памяти Шмидт стал одной из самых популярных фигур, любимцем советских властей. Шмидт был то начальником, то заместителем начальника Главсевморпути — учреждения, которое осваивало прохождение караванов судов через Ледовитый океан из северо-западных портов страны в дальневосточные порты (Северный морской путь). Чистую воду для кораблей должны были прокладывать ледаколы. Шмидт сам был начальником нескольких экспедиций на ледаколах, цель которых состояла в исследовании возможных маршрутов.

В 1934 г. Шмидт был начальником экспедиции на ледаколе «Челюскин». Это плавание должно было показать реальность Северного Морского пути. Кроме команды на ледаколе были и пассажиры, и грузы: это был

экспериментальный рейс. Уже в конце успешного плавания, где-то в водах Восточно-Сибирского моря, ледокол потерпел катастрофу и затонул. Была ли это непреодолимая сила сжатия льдов или оплошность команды, сказать не могу. Но Шмидт организовал высадку всех людей на льдину, создал там палаточный лагерь («Лагерь Шмидта»), на льдине были расчищены взлётно-посадочные полосы, и несколько лётчиков, совершив каждый на льдину по несколько рейсов, вывели участников экспедиции на материк. За эту операцию Шмидт, капитан корабля Воронин и некоторые другие «челюскинцы» были награждены орденами, а лётчики — Водопьянов, Молоков, Каманин, Ляпидевский и ещё кто-то — получили только что введённое по этому случаю звание «Герой Советского Союза».

Возвращение челюскинцев и их спасителей в Москву было обставлено на манер возвращения в Рим триумфаторов. Герои ехали с вокзала в открытых машинах. Кортёж направлялся на Красную Площадь через Красные ворота и по Мясницкой. На тротуарах стояли ликующие люди и кричали приветствия в честь героев и Сталина. Я стоял вместе с несколькими моими соучениками недалеко от здания Корбузе.

Потом Шмидт стал символом ещё одного славного подвига советских полярников: под его руководством был снаряжён большой транспортный самолёт, который сумел сесть на ледяную поверхность Северного полюса. Из самолёта была высажена героическая четвёрка папанинцев (по имени их начальника Ивана Дмитриевича Папанина) и грузы для обеспечения жизни и работы этой четвёрки в полярных условиях. Самолёт со Шмидтом улетел, а папанинцы совершили многомесячный дрейф на льдине, и их подобрал советский ледокол, когда льдина, двигаясь на юг, вышла уже в почти чистую воду и продолжала таять. Именно тогда, кажется, Шмидт получил, как и сами папанинцы, звание Героя Советского Союза. Победное возвращение героев в Москву я тоже с моими одноклассниками наблюдал, стоя среди ликующих встречающих шеренг москвичей.

Но Шмидта я встречал и в почти частной обстановке: он регулярно навещал Зигу — своего сына от прежнего брака. Зига жил в большом доме в Кривоарбатском напротив нашей школы. Не знаю почему, но, навещая сына, Отто Юльевич обычно машиной не пользовался, двигался по Кривоарбатскому и Плотникову переулкам пешком, и мы могли подолгу наблюдать великого человека либо с противоположной стороны переулка, либо специально попадаясь ему прямо навстречу. Его слава, развевающаяся рыжая с лёгкой проседью борода и сияющие глаза оставили в памяти глубокий след.

В начале войны немца Шмидта лишили его властных прав. Он перестал быть руководителем Главсевморпути, его прогнали из вице-президентов АН и отстранили от должности Главного Редактора Большой Советской Энциклопедии. Слух о нём, вообще, заглох. Поэтому увидев его на кафедре в обличье живого профессора, я очень обрадовался.

Отто Юльевич был очень хорошим лектором. Он преподносил нам один раздел программы за другим с величественным, но очень добродушным артистизмом. Серьёзных поводов общаться с Отто Юльевичем, кроме как задавать иногда ему на лекциях вопросы, у меня не было. Да и вопросы приходилось высасывать из пальца, потому, что, повторяю, он читал курс ослепительно ясно. Но, тем не менее, ощущение приобщённости к исторически значимой личности было.

В этом семестре был у нас ещё курс начертательной геометрии. Профессор С. В. Бахвалов читал этот курс спокойно и без сбоев, но нас он

не заражал, и мы на его лекции либо не ходили совсем (уж не помню, как мы сумели сдать зачёт или экзамен), либо располагались на галёрке Большой Психологической и обсуждали (стараясь это делать тихо) свои дела.

Не только наши лекторы, но и доценты, ведшие упражнения, были фигурами на мехмате приметными и привычными. Упражнения за Шмидтом вёл слепой доцент Игорь Владимирович Проскуряков. Он был давешним и опытным преподавателем, и его слепота не доставляла ему трудностей, которые были бы заметны даже внимательным студентам. Он уверенно входил в аудиторию, шёл к своему столу, быстро обнаруживал стул и садился на него. Он доставал из портфеля нужный ему сегодня набор картонов с упражнениями и текстами, которые он читал пальцами.

Предложив задачу и вызвав студента к доске, он хорошо ориентировался в том, что студент на доске пишет — даже в том случае, когда недостаточно деликатный студент не читал вслух того, что возникало под его мелом. Многие из того, что происходило на доске, Игорь Владимирович угадывал из реакции аудитории, что-то — при затянувшейся тишине — с помощью собственных вопросов. В течение двух первых же занятий он стал различать студентов нашей группы по голосам и, отвечая на вопрос из аудитории, употреблял имя задавшего вопрос. Таких групп у него было несколько.

Как то раз вышло, что часы в нашей группе были и для нас, и для Проскурякова последними. Я и он вышли из аудитории одновременно, возник какой-то незначащий разговор, и из здания университета мы вышли вместе. Я спросил Игоря Владимировича, куда его проводить. Он попросил перевести его через Моховую к трамвайной остановке. Мы стояли и беседовали, поджидая нужного Проскурякову номера. Этот номер, наконец, появился, я сказал об этом моему слепому собеседнику, приготовившись вести его к передней площадке и сажать в вагон. Я взял Игоря Владимировича под локоть, но он сказал, что не надо, и когда он понял, что вагон, подъезжая к остановке, уже проходит мимо него, он вытянул вперёд руку, коснулся замедлявшей своё движение стенки вагона, и когда его руки достиг поручень, то он схватился за него и ловко вскочил на площадку ещё не полностью остановившегося трамвая.

Упражнения по «аналитике» за Александровым вёл Алексей Серапионович Пархоменко. Он был примерно одних лет с Проскуряковыми и тоже — абсолютно слеп. Занятия со студентами он вёл так же безукоризненно, как и его товарищ по профессии и по несчастью. Но его слепота ощущалась окружающими в большей степени, чем слепота Проскурякова. По коридорам мехмата Пархоменко обычно ходил в сопровождении какого-нибудь студента или кого-нибудь из коллег.

Про Пархоменко и профессора Бориса Николаевича Делоне на мехмате ходила история, относившаяся к последним временам перед войной. Говорили, что Б. Н. Делоне был потомком французского дворянского рода, нашедшего себе приют в России во времена Террора. Он был из той же возрастной группы, что и Александров, Хинчин и многие другие профессора мехмата. Делоне был крупным специалистом в области теории чисел и геометрии и задолго до войны стал членкором. Делоне был язвительным острословом, переходя временами ради красного словца границы вежливости. Помимо математики Делоне увлекался альпинизмом, был мастером этого вида спорта и пользовался среди альпинистов известностью.

В тот год, когда произошла описываемая история, Делоне читал курс аналитической геометрии, а Пархоменко вёл за ним упражнения. Как это

водилось на мехмате (а скорее всего — во всех высших учебных заведениях), экзамен по общеобразовательному предмету (в отличие от спецкурса) принимал не только профессор; в помощь себе он приглашал на экзамен и своего ассистента, который вёл упражнения по курсу. Экзаменаторы садились за разные столики, и студенты шли к освободившемуся (или к менее опасному) экзаменатору. Обычно профессор доверял своему помощнику полностью: ассистент сам задавал дополнительные вопросы, оценивал ответ, ставил отметку и свою подпись в ведомость и в зачётку студента.

Когда экзамен помогал принимать Пархоменко, то он экзаменовал студента, а потом сообщал зрячему профессору выставленную этому студенту отметку, и профессор на миг становился писарем: он ставил названную его слепым помощником отметку в зачётку студента и в ведомость и где надо — расписывался.

И вот (возвращаясь к той истории), экзамен принимают Делоне и Пархоменко. Их столики специально поставлены недалеко один от другого — так, чтобы Пархоменко мог сообщать Борису Николаевичу ту отметку, которую следовало поставить в зачётку и в ведомость. Причём делать это, не повышая голоса и не мешая студентам, готовящимся к ответу. Процесс шёл обычным путём.

К Делоне подошёл очередной студент, которого только что проэкзаменовал Пархоменко, и робко протянул профессору свою зачётку, а Пархоменко в тот же момент сказал: «Пожалуйста, Борис Николаевич — студенту X поставьте «отлично». Обычно Делоне такую стандартную просьбу выполнял молча и без комментариев. Чаще всего — не поднимая головы на студента. Но в этот раз он на X взглянул и громко объявил: «Нет, Алексей Серапионович! Я не могу этого сделать! Вы, Алексей Серапионович, не видите, какое у этого студента глупое лицо, а я — вижу. С таким лицом сдать на «отлично» экзамен по аналитической геометрии невозможно!». Конец истории неизвестен, что наводит на мысль, что история либо вымышлена полностью, либо всё обозначено более выпукло, чем это было на самом деле. Но характеры участников переданы верно.

Упражнения по математическому анализу вёл Борис Павлович Демидович. Он был вполне высокого роста, с рыжеватой редкой шевелюрой, выпуклыми голубовато-бесцветными глазами. Перемещался он по коридору стремительно, все его движения в аудитории были порывистыми, речь — слегка заикающаяся и блеющая. Он был блестящим преподавателем, прекрасно строил любое своё семинарское занятие. Несмотря на несколько еврейскую внешность и на согласующиеся с этим эпитетом имя, отчество и фамилию, Демидович был не евреем, а белорусом. И выговор у него был белорусским. Он, например, говорил «трохчлен» и «четирохчлен».

Студенты мехмата считали себя элитой среди студентов других факультетов университета. Студенты отделения математики мехмата чувствовали себя элитой по отношению к студентам того же факультета, но — механикам и астрономам. В среде самих математиков была своя иерархия. Первокурсники, объявившие о своём желании специализироваться в области топологии или теории функций действительного переменного (не говоря уже о старшекурсниках, которые одну из этих специальностей действительно выбрали), были уверены в своём превосходстве над теми, кто собирался заниматься (или, будучи на четвёртом курсе, на котором студенты распределялись по кафедрам, уже занимался) более традиционными разделами. Например, теорией вероятностей или дифференциальной геометрией.

Благодаря авторитету молодого профессора Израиля Моисеевича Гельфанда, успевшего создать свою научную школу, хорошее место в иерархии математических специальностей занимал недавно возникший функциональный анализ, в котором скрестились линейная алгебра, интегральные уравнения, ортогональные функции.

В силу вышеизложенных обстоятельств мои друзья и — из желания не отстать от них — я сам относились к посещению лекций наших знаменитых профессоров, а в особенности — к семинарам их не столь знаменитых ассистентов не слишком педантично. В то же время на спецсеминар П. С. Александрова по комбинаторной топологии мы ходили как на богослужение, а монография Хаусдорфа «Теория множеств» (та самая, все теоремы из которой Роднянский доказывал самостоятельно) была у нас катехизисом.

Если следующая пара часов была отведена семинару Демидовича по математическому анализу, то Юра Гастев говорил: «Это что — идти на него, чтобы заниматься интегрированием по частям?». При этом само это название одного из методов интегрирования в квадратурах (этот метод и его название, небось, придумали Лейбниц, Ньютон или, в крайнем случае, Лопиталь) Юра скандировал так, что становилось очевидным никчёмность затрат времени на упражнения в интегрировании по частям. В результате, вся компания или её часть на Демидовича не шла, а слонялась по коридорам мехмата или по прилегающим к университету улицам, болтая о чём угодно — о предстоящем этим вечером концерте в Консерватории или (принизив голос) о нелепостях, которые сегодня мы услышали от лектора по марксизму-ленинизму Маурера или о несуразностях, переданных по радио или напечатанных в газете.

Маурер был очень невзрачной в физическом и в интеллектуальном планах личностью и, к тому же, личностью злобной. В каждом обращении к нему во время лекции или во время семинара вопросе он видел подвох и отвечал на него обиженным или полемическим голосом. Большими любителями и умельцами задавать Мауреру вопросы, внешне невинные, были Юра Гастев и особенно Лёва Малкин. Например, они спрашивали, был ли хлеб, из мякиша которого Ленин делал чернильницы для молока (служившего симпатическими чернилами для написания конспиративных писем и статей), казённым или его приносили ему в передачах, и как Ленин поступал в тех случаях, когда ему нельзя было пить молока из-за расстройства желудка, а в камеру заглядывал надзиратель (как утверждала История КПСС, Ленин в случае опасности свои хлебные чернильницы с молоком глотал).

Наша вольница зашла, видимо, слишком далеко, и в какой-то момент меня и кого-то ещё из нашей компании вызвал к себе (поодиночке) декан факультета. Им тогда был профессор генерал Владимир Васильевич Голубев, специалист по теории функций комплексного переменного и по аэромеханике. Голубев был по совместительству (а может, это была его следующая должность) начальником Военно-Воздушной Инженерной Академии им. проф. Н. Е. Жуковского. Голубев прочёл мне на совершенно военный манер строгую нотацию за систематическое непосещение занятий и пригрозил, буде я не исправлюсь, строгими санкциями. После окриков генерала от теории функций комплексного переменного мы несколько присмирели.

...Глядя с внутренней иронией и внешней почтительностью на серчающего генерала, я не предвидел, какое значительное место в моей биографии займёт и второе руководимое им учреждение — Академия Жуковского...

Маяя Левидова, окончательно поняв всю убогость соцреализма в живописи стала (сейчас не помню, каким путём) частной ученицей извест-

ного художника-графика Петра Васильевича Митурича. Возможно, Майю с Петром Васильевичем познакомил его сын, Майин сверстник, молодой художник, которого, по странному совпадению, звали Маем. В эти времена график Пётр Митурич занялся и живописью, выбрав пастозную манеру. Он почти вылепливал на холсте из густых масляных красок свои портреты и пейзажи. Этой же манере он учил и Майю.

Я не знаю, платила ли Майя своему учителю, и если да, то как и сколько. Скорее всего, союз учителя и ученицы лежал в духовной области. Занятия с именитым мэтром были интересны и лестны молодой художнице Левидовой, а пожилому художнику (ему тогда было 56) позволяли общаться с выгодных позиций учителя с молодой, умной, интеллигентной и красивой женщиной.

Митурич жил один, будучи то ли вдовым, то ли разведённым. В какой-то момент Митурич предложил Майе брак. На это предложение учителя Майя отвечала отказом. И делала это неоднократно, потому что старый Митурич к своему брачному предложению возвращался регулярно. Занятия живописью с Митуричем Майя продолжала, и в этом плане она Петра Васильевича очень ценила.

Как-то Майя сказала мне, что Пётр Васильевич хочет со мной познакомиться: его заинтересовали Майины упоминания о её друге — студенте математике (т. е. обо мне). Майя объяснила мне и причину этого интереса. Я уже раньше знал (что-то из литературных источников, что-то — от Майи), что Митурич был особым образом близок с Велемиром Хлебниковым: он был женат на сестре поэта, и Май был сыном, родившимся в этом браке.

...Май, ставший, как и отец, графиком и иллюстрировавший детские книги, с какого-то момента начал подписывать свои работы фамилией «Митурич-Хлебников»...

Митурич сказал, что он хотел бы поговорить с профессиональным математиком о работах Хлебникова по математическим методам в исторической науке. Рыбу бросили в реку! Мне очень хотелось взглянуть на человека, знавшего Хлебникова не только из литературы. Ведь совсем незадолго до описываемого времени я много сил ума и чувств отдавал Маяковскому и всему литературному и внелитературному, что было с жизнью и творчеством любимого моего поэта связано.

Так я стал интересоваться Хлебниковым, о котором Маяковский и многие другие поэты говорили очень почтительно. Да я и сам увидел, что его творчество гораздо глубже и интереснее, чем творчество некоторых других футуристов, имена которых сохранились в литературе только из-за их связи с Маяковским.

Имя Митурича я в первый раз услышал не от Майи. Я не помню, знал ли я, знакомясь во времена моего членства в Бригаде Маяковского с литературой о Хлебникове, о родстве художника с поэтом. Но я знал, что Митурич оформил обложки по крайней мере двух книжек Хлебникова, вышедших в 1922 г. Он делал иллюстрации к некоторым стихотворениям Хлебникова. Знал я его карандашный портрет Хлебникова, рисунок «Хлебников на смертном одре», рисунок баньки в деревне Санталово, в которой умер Хлебников.

Я прочитал в конце тридцатых всё пятитомное полное собрания сочинений Хлебникова под редакцией Тынянова. У меня был маленький однотомник, изданный под редакцией Н. Л. Степанова. Мне был виден — по тем небольшим стихотворениям и фрагментам поэм, которые я понимал — несомненный и очень оригинальный поэтический талант Хлебникова.

Например:

Сегодня снова я пойду
Туда, на жизнь, на торг, на рынок,
И войско песен поведу
С прибоем рынка в поединок!

Или:

Весны пословицы и скороговорки
По книгам зимним проползли.
Глазами синими увидел зоркий
Записки стыдесной земли.
Сквозь полёт золотистого мячика
Прямо в сеть тополёвых тенёт
В эти дни золотая мать-мачеха
Золотой черепашкой ползёт

А к той части его текстов, которые мне были непонятны (объём этой части был гораздо больше объёма понятного текста) я с лёгкостью относил афоризм какого-то греческого мудреца, который про творчество другого греческого мудреца высказался так: «То что я понял — прекрасно. Из этого я заключаю, что то, чего я не понял — тоже прекрасно».

Например, в поэме «Каменная баба» за понятными и прекрасными строками:

Мне много ль надо?
Коврига хлеба
И капля молока.
Да это небо,
Да эти облака

следует маловразумительное:

Люблю и млечных жён, и этих,
Что не торопятся цвести.
И это я забился в сетях
На сетке Млечного Пути.

Иногда в большой поэме встречаются сравнительно большие сравнительно ясные очень красивые куски:

Пали вои полевые
На речную тишину,
Полевая в поле вою,
Полевую пою волю:
Умоляю и молю так
Волшебство ночной поры,
Мышек ласковых малюток
Роци вещице миры:
Позови меня, лесную,
Над водой тебе блесну я,
Из травы сниму копытце,
Зажгу в косах небеса я
И, могучая, босая,
Побегу к реке купаться.

(«Лесная тоска»)

Я не могу сейчас вспомнить и разыскать, в каком окружении помещены такие красивые строчки:

По тропинкам шёлковым
Помните, я шёл к вам...

Ветер утих
И утих вечер утех.

Думаю, что вокруг этих прекрасных и ясных строк были россыпью накиданы и строки совсем непонятные.

Вообще, невразумительные строки и целые фрагменты есть и у Пастернака, и у Мандельштама, и у Цветаевой. Есть они и у французских и немецких поэтов конца прошлого и значительной части этого века. Я уж не говорю о ложно глубокомысленных строках верлибров, которые от прозы отличаются только глупой выпренностью и претенциозностью.

Между поэтом и вежливым доброжелательным читателем существует негласное соглашение, дающее поэту право писать строки, понятные лишь в контексте с мыслями и образами, мелькавшими в мозгу сочинителя в момент создания стихотворения или промелькнувшие в частном интимном разговоре или в сцене — с минимальным количеством участников. Но в опубликованном стихотворении эти контексты не отражены. Доброжелательный читатель верит в честность поэта, т. е. в существование этих ключевых не предъявленных читателю мыслей, образов, бесед и событий и признаёт право поэта на такие умолчания. И со своим неполным пониманием сочинения мирится. Может быть так, как написал Давид Самойлов:

Рассчитаемся не мы — потомки
Порешат, кто прав, кто виноват.
Так давай оставим им потёмки.
Пусть мой стих им будет темноват.
.....
.....
Пусть останется... А остальное
Пусть скорее порастёт бьльём —
Всё, что мы с тобою знаем двое.
Ночь, тоска и ветер за окном.

Но ведь король может быть голым. Некоторые невразумительности некоторых авторов не могут быть поняты в принципе. Да и сам автор может оказаться неспособными их хоть как-то прояснить.

...Со временем, так и не поняв большинство непонятных мест у Хлебникова, я стал склоняться к мысли, что эти заумные места — плод большого мозга поэта, и их понять невозможно напрочь. Но несмотря на это, меня тянет перечитывать у Хлебникова то, что я понимаю, и делать новые — обычно безуспешные — наскоки на те места, которые остались для меня непонятными...

В своём творчестве Хлебников был не только стихотворцем. Хлебников считал себя учёным в области филологии, истории, политики. Впрочем, все эти области в его уме как-то связывались. Главное открытие его математической теории истории состояло в том, что сходные исторические события отделены друг от друга интервалами времени, числовое значение которых может быть представлено в виде суммы степеней числа 2,

а противоположные — интервалами, представимыми суммой степеней числа 3. Интервалы времени Хлебников измерял странными единицами. Например, промежутками между двумя ударами человеческого сердца или временем, за которое по уставу должен делать один шаг при ходьбе строем пехотинец германской армии.

Хлебников считал, что «два» — это что-то положительное: степени этого числа соединяют сходные события, а «три» — что-то отрицательное: на степенях тройки держатся интервалы между противоположными событиями. Тут Хлебников протягивал мост и к языкознанию. Положительные свойства числа 2 он приписывал букве Д, с которой начинается слово русского языка, обозначающее это число. А отрицательные качества числа 3 Хлебников приписывал, соответственно, букве Т. Вот начало одного стихотворения Хлебникова:

Трата и труд, и трение,
Теките из озера три!
Дело и дар — из озера два!
.....
Туша, лишённая духа,
Труп неподвижный, лишённый движенья И т. д.

Как откроешь словарь Ожегова на буквы Д и Т, так увидишь, сколь поспешный вывод сделал Хлебников: в словаре есть огромное количество «хороших» понятий на Д и «плохих» — на Т. Но Хлебников просто-напросто игнорировал случаи иных ролей этих букв. Например: тепло, творчество, товарищ и т. д. И — давление, дурь, дрянь, дьявол. Впрочем, «дьявол» — не русское слово. Кстати, Хлебникова не смущало, что в других языках выделенные им 2 и 3 обозначаются словами так, что возникает противоречие с его теорией. По-немецки слово для 2 начинается с никак не квалифицированной поэтом буквы Z, звучащей как Ц, а слово для плохого 3 — с «хорошей» буквы D. В английском и хорошая двойка, и плохая тройка начинаются с Т. Во французском языке названия выделенных Хлебниковым чисел начинаются, так, как это ему нравится — с тех же букв. что и по-русски. Другие языки человечества я уж анализировать не стал. Не стал я анализировать добропорядочность и порочность слов, начинающихся с D и T в трёх главных европейских языках. Думаю, что такой анализ был бы не в пользу теории Хлебникова...

Почему Хлебников без оглядки считал, что мировой исторический процесс связан с наименованиями чисел 2 и 3 и со свойствами букв Д и Т именно в русском языке?.. И, всё же, несмотря на разные противоречия и недоговорённости, вызывает симпатию сама по себе идея Хлебникова взглянуть в смысловую роль букв. Хотя, видимо, она не верна. Помимо размышлений о Д и Т, Хлебников ещё считал, что на букву Л начинаются слова, связанные с понятием распределения веса по поверхности для уменьшения удельного давления на поверхность, с идеей растекания: лыжи, лапы, ласты, ладья, лёт, лопата, лужа, лёд... Не думаю, что специалисты согласны и с этим наблюдением поэта.

На больной ум Хлебникова подействовали несколько месяцев, которые он проучился на математическом факультете Казанского университета. Ему показалось, что он узнал много важного. Очевидно, он познакомился с понятием «степень числа» только там. Хотя это странно: ведь это понятие появляется уже в младших классах гимназии. В одном из своих сочинений он говорил, что пока математика оперировала только

четырьмя арифметическими действиями, она могла быть подходящим инструментом только для описания физических и иных естественных явлений. Но для описания истории этих действий было мало. Но вот, теперь (!), когда математика обогатила себя понятием «степень числа», она доросла и до описания истории, чем он, Хлебников, не замедлил воспользоваться. Ах, если б он знал, что движение в механике описывается не начальной арифметикой, а дифференциальными уравнениями второго порядка, а квантовая механика основана на волновом дифференциальном уравнении Шрёдингера в частных производных!

Чтобы подкрепить свою теорию о разложимости интервалов между сходственными событиями в сумму степеней двойки, а между противоположными — в сумму степеней тройки, Хлебников привёл несколько десятков примеров. Но как странно он выделяет среди исторических событий значительные! Как странно среди них он некоторые объявляет сходственными, а некоторые — противоположными, какие странные и неопределённые единицы измерения времени он предлагает!

Но главное: Хлебникову было невдомёк, что любое число (в частности, и значение интервала — что между сходственными, что между противоположными событиями — при использовании любых единиц измерения времени) может быть представлено как в виде суммы степеней двойки, так и в виде суммы степеней тройки (т. е., соответственно, в двоичной или в троичной системе счисления).

В математической теории истории Хлебникова есть ещё несколько утверждений. Они относятся к особой роли некоторых чисел. Например, числа 317.

Несмотря на явную фантазмагоричность предложенных им математических законов истории, Хлебникову подвезло: в статье «Учитель и ученик», написанной в 1913 г. в форме древнегреческого диалога, он, манипулируя разными периодами, кратными «особым» числам, высказал предположение о возможности катаклизмов в России в 1917-м году. Это удачное предсказание сделало его непререкаемым авторитетом в близких ему литературных кругах. Возомнил о себе и сам поэт. Одну из своих статей-воззваний «Труба марсиан» он горделиво (а может, со скромной шутливостью) подписал так: «Король времени Велемир 1-й».

В начале 1917-го года Хлебников расчёл, что скоро кончится Мировая война, его предсказания сбудутся, человечество признает могущество его теории, призовет его к власти, и уже наступило время заботиться об организации этой власти и начать разрабатывать проект устройства Мира. Занявшись этим, Хлебников составил список из семнадцати лиц, которых он назвал «Председатели Земного Шара». Он считал, что каким-то образом управление планетой ляжет на плечи этого коллектива руководителей. Каким именно способом — Хлебников и его друзья не задумывались.

Возможно, что они считали, что коль скоро в руках Хлебникова и его товарищей находится математическая теория истории, позволяющая безошибочно предвидеть и направлять исторический процесс, то существующие правительства добровольно и почтительно отдадут свою власть Председателям Земного Шара, назначенным Хлебниковым. У меня в данный момент под рукой нет, к сожалению, полного списка Председателей. Но я помню, что среди этих равноправных правителей фигурировали: сам Хлебников, Маяковский, Ленин, Эйнштейн, Горький.

Поэтические и «научные» сочинения Хлебникова пронизаны романтическим большевизмом. Он любит пролитием крови ради возвышенных,

хоть и туманных целей. В общем, в своём воображении он жил среди великих событий — как в прошлом, так и в настоящем и в будущем, среди великих людей и был призван играть великую роль.

Хлебников был очень непохож на других поэтов — и своим поэтическим стилем, и облик в быту, и наукообразными историческими изысканиями. Девяносто пять процентов им созданного можно считать бредом, а им прожитого — существованием безумца. Но пять процентов — отмечены поэтической красотой, нетривиальностью проблем, которые его занимали и благородством жизни в литературе и в быту. Поэтому я и до сих пор храню в моей домашней библиотеке, вывезенной в Израиль, его большой однотомник и время от времени пробегаю глазами знакомые — понятные и непонятные — строки, а многое помню и наизусть.

Майя, естественно, знала о моём недавнем и тогда ещё не ослабшем интересе к Маяковскому и, быть может, помнила ещё и о моей высокой оценке творчества Хлебникова. Но я не помню, говорила ли она об этих моих литературных симпатиях Митуричу, и они ли повлияли на желание Митурича встретиться с упомянутым Майей молодым человеком. Скорее всего, он был готов говорить о своём нешуточном (как скоро выяснилось) деле с любым математиком, который согласился бы его выслушать.

В какой-то тёплый зимний день в конце 43-го или в начале 44-го года Майя в договорённое время повела меня к Митуричу. Он жил в своей мастерской. А мастерская была расположена на одном из последних этажей большого девятиэтажного кирпичного дома, выходящего одним из своих фасадов в Бобров переулок.

Когда мы с Майей к этому дому подошли, я сразу это место узнал: на другой стороне переулка, прямо напротив входа во двор громадного дома Митурича, находились небольшие дома и ворота, створки которых мы с Робертом и Ароном в начале 42-го года несли домой на цыпочках по ночной зимней Москве, чтобы сжечь в печке.

Митурич встретил нас очень приветливо. Он оказался невысоким суховатым голубоглазым старичком (ему было тогда под шестьдесят). Он познакомился со мной заинтересованно и уважительно, хотя я был студентом-первокурсником, а он — имевшим имя графиком, уже успевшим к тому времени оставить значительный след в русском графическом станковом и книжном искусстве.

Большую часть занимавшегося Митуричем обширного помещения составляла мастерская. На полу стояло множество прислонённых к стенам небольших холстов на подрамниках, записанных упоминавшейся мною пастозной живописью. Другая, меньшая часть помещения, была «бытовкой». На каком-то из столиков стояла плитка для приготовления пищи. Был, кажется, обеденный стол и спальное место. Здесь же, в «бытовке», мы и беседовали.

Хоть я и предвидел, что речь пойдёт о Хлебникове, но поворота, приданного нашему разговору Митуричем, я не предвидел. Убедившись в том, что я в Хлебникове разбираюсь, Митурич напомнил мне (этого я как раз не помнил), что и он сам был назначен Хлебниковым одним из Председателей Земного Шара. Митурич считал, что он остался последним из живых Председателей, и на нём лежит великий груз ответственности. Война, правильно предвидел он, явно поворотила к концу, конец не за горами, и надо ждать, что скоро к Митуричу обратятся и призовут его вступить в его должность Правителя Мира. То есть, повторилась история двадцатипятилетней давности: Хлебников видел тогда конец той войны

и ждал, что его и других Председателей Земного Шара призовут этим Шаром править. Правда, к тому, что их не призвали, и сам Хлебников, и те Председатели, которые о своей миссии знали, отнеслись незлобиво и терпеливо. Некоторые о своём председательском долге вскоре забыли или сделали вид, что никогда и не знали, другие вправду не подозревали, другие ушли в мир иной.

Но Митурич всё (кроме того, что тогда не призвали) помнил и был, как и тогда, совершенно уверен, что теперь — непременно призовут. Я напомнил ему, что ещё жив его коллега Альберт Эйнштейн, но это замечание Митурич пропустил мимо ушей. Он считал, что обязан был быть к своей новой миссии готов. Он решил не терять времени и для начала издать «Доски Судьбы» Хлебникова. Это была тонкая брошюра, выпущенная в начале двадцатых малым тиражом. В ней излагались основы той самой математической теории истории, разработанной Хлебниковым, о которой я только что написал. Начиналась эта брошюра, помнится мне, со стихотворения:

Ну, тащися, Сивка
Шара земного.
Айда, понемногу!
Я запрёг тебя
Сохой звёздною,
Я стегаю тебя
Плёткой грёзною. И т. д.

Митурич рассчитывал на то, что я, будучи математиком, сумею отредактировать «Доски Судьбы» перед их массовым изданием.

Его горделивым ожиданиям нисколько не мешала невесёлая действительность: многие годы царивший в стране коммунистический террор, стремившийся уничтожить всё не только инакомыслящее, но и лояльное, но выраженное не в стандартном государственном стиле. Теории и фразеология Хлебникова были этой власти в корне чужды, и я не устаю удивляться, как это в годы торжества хамства власти допустили не только упоминание имени Хлебникова (это делалось в контексте биографии легализованного Маяковского), но и издание его сочинений.

Очевидно, Митурич не замечал диковинности того факта, что власть, расправившись с Мандельштамом и преследующая Ахматову и Пастернака, со странной терпимостью относится к Хлебникову. Похоже, верил Пётр Васильевич, что к нему, Председателю Земного Шара, явится депутация от Сталина, Черчилля и Рузвельта, предварительно прийдя к полному согласию между собой насчёт заслуженной главенствующей роли наследника Хлебникова Председателя Петра Васильевича.

Я понимал утопичность всех соображений моего хозяина, а главное, всю опасность его планов по восхождению на высокий пост, но отказаться от лестного предложения Митурича я не мог — очень уж было всё это любопытно. Я сказал, что о редактировании «Досок Судьбы» я подумаю. Пётр Васильевич мне экземпляр брошюры дал. Мне казалось, что этот текст я уже видел. Возможно, он был напечатан в пятитомнике Ю. Тынянова.

Разговор перешёл на другое. Выяснилось, что Пётр Васильевич близок к открытию вечного или, по крайней мере, очень экономичного двигателя. Подобно тому, как Хлебников считал, что математика смогла успешно подступить к описанию законов истории лишь после того, как она обогатилась операцией возведения в степень, так и Митурич считал, что пока

физика занималась только прямолинейным движением, подступа к эффективным методам перемещения экипажей не было, но с тех недавних (по представлению Митурича) пор, как физика стала заниматься волновыми движениями, путь к революционным изменениям в транспортной технике открылся. Деталей своих идей и технических подходов Митурич мне раскрывать не стал, но показал мне небрежным жестом на сделанные им модели. Это были ленты из картона, изогнутые в виде волн и укрепленные на деревянной станине, так, что плоскость волны была станине перпендикулярна. Митурич сделал и какие-то картонные тележки, которые пускал катиться по волнообразным лентам

Работе с «Досками Судьбы» Хлебникова состояться не пришлось — и не по высоким политическим и историософским причинам, а по самым что ни на есть бытовым. Переменилось семейное положение Майи: она вышла замуж. Где она познакомилась со своим будущим мужем Николаем Васильевичем Однораловым, я не помню. Этот человек совершенно не принадлежал нашему кругу. Он был сильно старше Майи. Его профессия была инженер-технолог. Внешность Николая Васильевича была неброской: чуть ниже среднего роста, лысоватый. Но скоро все друзья Майи поняли (а она, видимо, поняла это ещё раньше), что за обыденной внешностью стоят незаурядные ум, техническая смекалка и деловая предприимчивость.

Мне Майя объяснила своё решение расчётом. Они с Беллой Михайловной реальных средств к существованию не имели и жили впроголодь. Майин брак с солидным человеком сулил изменение их положения к лучшему. Отвращения он у Майи не вызывал, но — как я понимал тогда и понимаю теперь — не более того. Майя была блистательной женщиной: и очень хороша собой, и умна, и образована, и талантлива. Думаю, что Николай Васильевич мог оценить только Майину красоту, а об остальных её качествах получал известное представление из восторженного отношения к Майе её друзей.

Майины контакты с привычным ей обществом ослабли. Тем более, что в начале весны 44-го Майя забеременела. Я с ней встречался редко, домой к ней заходил за весь год раза два—три, с Николаем Васильевичем я был едва знаком. Никаких отношений у нас с ним не сложилось. Думаю, что прервались и встречи Майи с Митуричем. Встретиться с ним самостоятельно я не пытался: не больно-то мне хотелось ввязываться в сумасшедшую и опасную политическую активность, затевавшуюся Митуричем — человеком с явными странностями. И Митурич меня не искал. Возможно, что фантастические идеи от него отступили.

...Экземпляр «Досок Судьбы» остался у меня и хранился лет тридцать, как библиографическая диковинка. А потом вдруг пропал. Очевидно, при переезде с одной квартиры на другую...

Между тем, Николай Васильевич быстро поднял благосостояние семьи, главой которой он стал. Он умело затеял домашнее производство хозяйственного мыла и частную продажу готовой продукции. Где-то он раздобывал ингредиенты и на несколько часов в неделю превращал кухню в мыловарню. В технологическом процессе участвовала Белла Владимировна. Думаю, что продажу самодельного мыла Николай Васильевич он организовывал по своим каналам, понимая полную непригодность к таким делам жены и дочери Михаила Левидова. Итак, мы стали встречаться с Майей совсем редко, и этот вакуум продолжался до конца сорок четвёртого года.

В конце 43-го или в начале 44-го до нас дошло известие о гибели Дани Павловского. Вот подробности. Даня исправлял ратный труд успешно, имел награды, участвовал в Курско-Орловском сражении, получил ещё одну звёздочку на погоны и к декабрю сорок третьего дошёл в составе своей армии до деревни Уболоть в Белоруссии.

Во время одного из местных контрнаступлений немецкие танки наехали на позиции подразделения, в которое входило орудие, которым командовал Даня. На Даню шёл танк. Даня подпустил танк поближе и бросил в него гранату. Граната не взорвалась, и танк прошёл над окопом, в котором укрывался Даня. В памяти его товарищей и остался только танк, подмявший Даню.

Однополчане сочли Даню погибшим и прислали письма с описанием гибели Дани его матери Славе, Залмансонам и Даниной подруге, жившей в Лосинке. Письмо, адресованное Славе, запоздало, и эта задержка дала возможность перехватить его и скрыть от матери гибель сына. Чтобы обман не обнаружился, Лена Залманзон поехала в Мытищинский военкомат и попросила его сотрудников ничего матери не говорить, официальную похоронку по Даниному адресу в Лосинке не посылать, а послать её на мой адрес, в 24-ю квартиру. Эту просьбу военкомат выполнил, и похоронка пришла ко мне.

Лена Залманзон вспоминает, как Эдя бегал в волнении по их комнате в 29-й и кричал, что он в гибель Дани не верит. Как знал... Потрясённые родные написали находившемуся на фронте отцу Дани. Они не решились сказать Дяде Яше правду и написали, что получено известие о том что часть, в которой служил Даня, попала в окружение. Яшу просили приехать, чтобы успокоить Славу.

Яков Наумович сумел приехать из своего полевого госпиталя на пару дней домой. Он узнал от родных всю правду, а жене сообщил версию об окружении. Они со Славой шли по Лосинке и зашли на почту. Выяснилось, что пришло то запоздавшее письмо. Его получил в свои руки Яков Наумович и прочёл жене вслух, на ходу меняя содержание письма так, чтобы звучала версия об окружении. У Славы не хватило сил взять письмо в свои руки, и страшная правда в тот раз на неё не обрушилась.

Но сотрудники военкомата просьбу Лены выполнили не полностью, и через некоторое время к Славе в дом в Лосинке пришли сотрудники из военкомата и со словами «Здесь живёт мать погибшего старшего лейтенанта Павловского?» принесли ей дополнительный ордер на дрова, полагавшийся семьям погибших фронтовиков. Родные убеждали Славу, что это — ошибка: похоронки мол ведь не было. Слава делала вид, что верит, но в душе её было смятение. У неё случился инфаркт. Залманзоны перевезли её из Лосинки к себе в Москву, и она жила там измученная душевно и физически.

Яков Наумович продолжал воевать под гнётом всех этих ужасных событий. Письмам эта трагедия не доверялась. Раиса Наумовна и Александр Маркович узнали о гибели Дани только весной сорок четвёртого, когда Эде удалось послать им вызов, и они с маленькой Машенькой тоже вернулись домой.

Их возвращению предшествовали довольно нервные события. Как я уже писал, одна из трёх комнат в двадцатой квартире, принадлежавших Колмановским, была захвачена дворничихой Анной Михайловной, которая и слышать ничего не хотела о том, что в связи с возвращением законных жильцов ей из этой комнаты надо выехать. Она ведь надеялась, что её жизни в кладовке пришёл конец, а теперь её надежда рушилась.

В этом конфликте я был, естественно, на стороне близкой мне семьи. Я решил выселить Анну Михайловну силой и попросил моего друга Роберта помочь мне. Тот был безотказен. Эдя на этот план с волнением согласился, но участвовать в его реализации сил в себе не нашёл. Мы же с Робертом явились в двадцатую квартиру в момент, когда Анны Михайловны не было дома. Мы заперли входную дверь в квартиру на внутреннюю цепочку, сбили замок с дверей захваченной комнаты, вошли туда и вынесли все вещи Анны Михайловны в кухню. Во время этой операции Анна Михайловна вернулась, но не могла попасть в квартиру из-за цепочки. Она стучала и кричала, но никто из соседей, живших в соседней квартире или проходивших по лестнице, ей не помог. Под эти ужасные звуки мы завершили эвакуацию чужих вещей. Стуки в парадную дверь прекратились. Видимо, Анна Михайловна побежала в домоуправление или к другим властям. Мы навесили на освобождённую комнату наш новый крепкий замок, сняли цепочку с парадной двери и вышли из квартиры через чёрный ход.

Через два дня мы вошли в двадцатую квартиру и увидели, что победили: комната Колмановских оставалась заперта нашим замком, а Анна Михайловна свои вещи из кухни унесла. Возможно, она заняла пустую комнату в какой-нибудь другой квартире; возможно, вернулась в свою кладовку. Меня раздирали противоречивые чувства. С одной стороны, я не сомневался, что должен помочь Колмановским. С другой — насилие над пожилой нищей женщиной мне претило.

Позже я стал понимать, что если б Анна Михайловна была порешительнее и пообразованнее, она побежала бы в милицию и успела привести милиционеров ещё до того, как мы свой разбой окончили. Нас с Робертом вполне могли бы осудить — и сурово — за самоуправство, да ещё по отношению к матери фронтовика. Я и Колмановские боялись мести сына после его возвращения с фронта. Но ничего этого не произошло. Мы остались безнаказанными. Только совесть моя до сих пор не залечилась.

Через неделю после нашей операции по освобождению комнаты вернулись из Свердловска Колмановские. Вид старших поразил меня. Раиса Наумовна, которой было сорок два, выглядела шестидесятилетней. Она была седа, измождена и морщиниста. Ещё хуже был Александр Маркович. Этот могучий красивый средних лет мужчина весил меньше пятидесяти килограмм и глядел семидесятилетним стариком. Он заболел в эвакуации туберкулёзом. Машенька была очень худа, но старше своих одиннадцати не казалась. Они вернулись хоть и не в совсем голодную Москву, но всё же в истощённый город, и только ещё через несколько лет старшие Колмановские оправились от болезней и почти полностью обрели свой привычный облик, соответствовавший их возрастам.

Во втором семестре у нас появился новый курс — физика. Тема семестра — «Механика». Этот курс читал профессор Семён Эммануилович Хайкин, автор учебника с таким же названием. Был он темпераментным лектором и очень обаятельным и красивым человеком. Но нас, математических нигилистов, пронять не могло ничего. К физике мы относились скептически из-за того, что эта наука не была аксиоматизирована, и принятые в ней методы доказательства существования явлений и истинности суждений казались нам топорными, необидительными и неэстетичными. И даже такой крупный учёный, как Хайкин, нашей иронической холодности к его науке согреть не мог (хотя, может, этого нашего холода и не ощущал).

Нас мучил физпрактикум — еженедельные два часа измерений и опытов, которые каждый студент должен был по установленной программе проводить самостоятельно, и по каждому опыту составлять протокол и отчитываться перед руководителем практикума. А им был доцент Эльханон (вот имячко!) Михайлович (наверное, изготовленный из Моисеевичей) Эльцин.

...Кстати, во времена президентства Ельцина именно так многозначительно искажали, заменяя Е на Э, его фамилию современные антисемиты и противники демократических реформ, намекая на то, что всё зло, творимое президентом Ельциным — от евреев...

У настоящего Эльцина была очень типичная еврейская внешность. Он был умён и прекрасно видел наше идейное небрежение по отношению к его предмету, ибо, в отличие от лектора Хайкина, он общался с нами непосредственно, и не мы были первым поколением снобов-математиков в его педагогической практике. Он отвечал нам иронией и постоянным стремлением показать нам, что руки у нас из жопы растут. Нами, впрочем, это качество зорным не почиталось. Наоборот. Но сила была на стороне коварного Эльханона.

В течение семестра студент должен был успешно выполнить определённое количество (пять или шесть) лабораторных работ и получить зачёт у руководителя практикума. Только тогда студент допускался к экзамену. В конце первого курса мы весь этот тягостный груз кое-как вытянули.

Наша студенческая жизнь шла своим чередом. Мы не перегружали себя занятиями, но зачёты и экзамены сдавали вполне благополучно. Наша компания — Юра Гастев, Славик Грабарь, Лёва Малкин, Роберт и я держались несколько особняком, с другими студентами виделись только в университете или в библиотеке, а досуг с ними не делили. Нашим главным удовольствием было посещение Большого и Малого Залов Консерватории. Мы бывали там врозь и вместе раза по два, по три в неделю.

Билеты были недорогими и вполне нам доступными. Тем более, что покупали мы билеты во второй амфитеатр в Большом и на балкон в Малом, а потом, как правило, находили свободные места получше. Тем более, что диваны в первом амфитеатре Большого Зала не были разгорожены на отдельные места, и при переполнении (это бывало нечасто) публика, объединённая в негласное братство любителей классической музыки, охотно сжималась, чтобы высвободить в каждом ряду ещё несколько мест для тех, у кого своего законного не было.

Любили мы и выпить. Большинство интеллигентных семей причитающиеся им по талонам бутылки водки либо продавало, чтоб купить более насыщенные продукты, либо меняло эти бутылки на хлеб или сахар непосредственно. Мы это проделывали тоже, но далеко не всегда, и время от времени причитающуюся нам водку выпивали сами под очень немудрёную закуску. Делали мы это довольно регулярно, хотя и не очень часто.

Дело в том, что часто собираться нам было несподручно. Юра и я жили со своими мамами, Лёва — жил в семье, Славик тоже, да ещё в какой респектабельной! До момента, когда из эвакуации не вернулись тётка Роберта с мужем и двумя детьми (а они до войны жили в этих же трёх комнатах), выпивать можно было у Роберта и даже оставаться у него после хорошей выпивки переночевать. Потом, когда у Роберта собираться стало возможно не всегда, мы, помню, езживали на пустующую дачу Грабаря в Абрамцево, вечер проводили за бутылкой в прекрасных беседах и оставались там ночевать.

Мою маму эти мои забавы безумно волновали. Она боялась, что я сопьюсь. Я подозреваю, хотя об этом речь никогда не заводилась, что с какого-то момента маму стал смущать чисто мужской состав нашей компании. Впрочем, весьма скоро мама получила доказательство полной необоснованности её тревог относительно моей сексуальной ориентации.

Наступила весна 44-го и сессия. Никаких особенных трудностей или неожиданностей она не принесла. Я даже не запомнил, кому я сдавал аналитическую геометрию и матанализ — Александрову и Хинчину или их ассистентам. Запомнились мне только два экзамена.

Я и ещё несколько студентов решили по каким-то причинам сдавать Высшую алгебру досрочно. Деканат нам направления дал, профессор Отто Юльевич Шмидт согласился. Дело было в какой-то майский день, экзамен был назначен часов на пять вечера. А в семь начинался концерт в Малом Зале, на который у меня был билет. Ойстрах и Оборин играли скрипичную сонату Франка, которую я особенно любил и продолжаю любить до сих пор, и часто вставляю в мой компьютер CD с записью этой музыки.

Отто Юльевич дал каждому из нас задание, и мы стали готовиться. Я торопился. Попав к экзаменатору первым, я всё недурно ответил. Профессор был крайне любезен, уважителен и делал вид, что и сам получает удовольствие от нашей беседы. Но после моего ответа он, против всякого моего ожидания, дал мне дополнительный вопрос! Мне это не понравилось: замаячила опасность опоздать в концерт. Я сел на своё место, приготовился к ответу на новый вопрос и стал нервно ждать, когда Отто Юльевич отпустит очередного студента. Наконец, момент наступил, я снова подсел к профессору и ответил на этот его вопрос. Но он не уgomонился и задал мне ещё и задачку.

Я понял, что с этой задачкой мне в концерт к началу не попасть, а соната стояла в программе первой, а между частями в зал не пускали. И я — по молодой глупой дерзости — сказал: «Отто Юльевич! Если можно, я не стану решать эту задачу, потому что иначе я могу опоздать в Малый Зал, а у меня туда билет». Отто Юльевич улыбнулся, попросил у меня зачётку и поставил пятёрку, что, правду сказать, не обязательно было адекватной мерой качества моего ответа, ибо пятёрки Отто Юльевич ставил весьма щедро. Особенно щедр он был по отношению к хорошеньким студенткам. Такая у него была репутация. Это была моя последняя встреча со Шмидтом, ибо, сдав экзамен, я уже на оставшиеся до конца года несколько лекций ходить не стал — по студенческой манере.

Был в эту сессию ещё один экзамен, который прошёл не совсем стандартно. Это был экзамен по Общей астрономии. Этот предмет был включён в программу всех отделений мехмата, ибо специальность «Астрономия», как я уже говорил, была приписана к мехмату. Курс Общей астрономии в течение второго семестра студентам всех мехматских специальностей читал профессор Сергей Владимирович Орлов, автор всемирно признанной классификации комет. Мы, на его лекции практически не ходили, а за день — два до экзамена просмотрели учебник Блажко по Общей астрономии.

У Орлова была благообразная профессорская внешность: красивое лицо, короткая стрижка, острая седая борода. Было ему за шестьдесят. Мне достался билет с каким-то вопросом, касавшимся комет (чёрт бы их побрал!). Готовиться мне надобности не было: я про кометы помнил только то, что знала и моя тётка адвокат Софа или наша соседка по квартире Клара. Я подсел к экзаменатору при первой возможности. Орлов, читавший всему курсу, спросил, какой я специальности, и узнав, что ма-

тематик, приготовился слушать мой ответ. Я произнёс две или три фразы и замолчал.

Тогда Орлов сказал: «Смотрите, это же очень интересно!». И в течение пяти или семи минут прочитал мне насыщенную лекцию по тому вопросу о кометах, который стоял у меня в билете. Он рассказывал так увлечённо, что я стал слушать его с огромным интересом, и даже по ходу его рассказа задал ему пару вопросов, которые энтузиазм профессора даже подогрели. Закончив лекцию, Орлов спросил: «Ведь правда, интересно?». Я со всей искренностью ответил ему утвердительно. Орлов спросил мою зачётку, поставил мне «отлично» и пожелал успехов в области математики.

В мае мне с мамой неожиданно позвонили из профкома планового отдела ГУЛАГа. Оказалось, что отделу выделили где-то на Планерной участок для посадки картофеля, и они при распределении этого участка между сотрудниками отдела позаботились и о семьях фронтовиков, работавших до ухода на фронт в отделе. От такого отказываться было совершенно невозможно. И вот в назначенное воскресенье в назначенный утренний час я явился в помеченное страшной известностью здание на подъёме Кузнецкого.

Я должен был войти внутрь — в папин отдел. Мне сказали, что сейчас подадут грузовик, и мы поедем, а пока мне стоит подождать в коридоре. На стенках коридора висели стандартные для любого советского учреждения того времени плакаты и даже стенгазета. Я стал просматривать от скуки статьи, критиковавшие разные непорядки и несогласованности в работе разных секторов отдела и о том, что детская комиссия профкома не сумела достать для отдела нужного числа мест в пионерлагере. И была там статья — я не могу сейчас с уверенностью сказать, действительно ли была, или я её придумал, чтоб позабавить моих друзей — под названием «Пора сажать!» — об организационных проблемах посадки картошки.

Вскоре мы — человек двадцать, и почти все их них были женщины — сели в грузовик, поданный к подъезду. В кузов погрузили лопаты и несколько мешков с посевным картофелем. До нашего поля мы доехали быстро. Нами распорядились вполне толково. Мне показали мой длинный и узкий участок в одну сотку, отмеченный заранее вбитыми колышками. Показали мне и как надо управляться с лопатой, хотя я это умел с Белебеевских времён. Справа и слева от меня копали и двигались вперёд параллельно со мной две женщины, папины сослуживицы, которые о папе хорошо отзывались и сочувственно меня о его теперешней фронтовой жизни расспрашивали. Часам к пяти работа была кончена, и нас привезли обратно на Кузнецкий.

...Я не помню, по какой причине на окучивание и прополку меня не вызывали. Может, за меня эту работу сделали те две женщины, которые весной бок о бок со мной вскапывали участки и сажали картошку. Но в сентябре я таким же манером, как в мае, был приглашён на Кузнецкий, нас снабдили инвентарём и тарой, и мы съездили на это картофельное поле и собрали урожай. Мне достались два мешка, которые довезли вместе со мной до нашего дома, высадили меня, сбросили мешки, и нам их хватило до зимы...

Несмотря на презумпцию неуважения к студентам истфака, я весной 44-го в течение небольшого времени кое-какие знакомства на истфаке свёл. Возможно, этому способствовал мой однокашник Сеня Розиноер. Он дружил со студентом этого факультета Ильёй Брусиным и ухаживал за студенткой Олей Ривкиной, которая вскоре вышла за Сеню замуж.

Кроме Ильи я помню Сатву Брандон. Она была дочерью португальского коммуниста; её сестра Воля училась на физфаке,

После экзаменов студентов первого курса разослали по разным местам для работ. Такие работы назывались «трудфронт». Всех вариантов трудфронта я узнать не удосужился или забыл. Зато хорошо помню тот, который выпал мне. Несколько первокурсников мехмата послали в подсобное хозяйство МГУ. Это подсобное хозяйство было образовано на базе совхоза, находившегося в большом селе Красновидово — километрах в двадцати от Можайска.

Наша компания — Юра Гастев, Славик Грабарь, Лёва Малкин и я в мехматскую бригаду попала целиком. Кроме нас в бригаду входили девочки: Аня Корелицкая, Дина, фамилии которой я не помню, Циля Морейнис и Роза Шалина. Роза вела себя как простолюдинка, хотя и была дочерью крупного фронтового генерала — командующего армией или начальника штаба одного из фронтов. Его имя иногда появлялось в сводках Информбюро.

Была ещё одна девочка, о которой уместно упомянуть отдельно... Она была робкой, хоть и училась на математическом отделении. Её звали Ильза Дирнбахер. Странная фамилия: ведь die Dirne по-немецки означает «проститутка», «девка». Других значений в словаре я не нашёл. Ильза была дочерью австрийского коммуниста, попавшего в Союз неизвестными путями и недавно: Ильза по-русски говорила плохо. Я с ней говорил по-немецки. Ильза была самой красивой из девочек мехматской бригады, но чувствовала себя — и в течение семестра, и на трудфронте — чужаком. Через две—три недели она почему-то из Красновидова уехала, и на втором курсе мехмата её уже не было.

Руководителем нашей мехматской бригады был назначен Иосиф Шкловский. Он был астрофизиком, только этой весной защитившим свою кандидатскую диссертацию. Несмотря на то, что Иосиф не был математиком, мы его уважали: он был другом Пети Гастева, и Юра знал его с времён Ашхабада. Иосиф был одним из тех, кто не бросил Юру после ухода Пети на фронт и его скорой гибели.

...Иосиф, ставший одним из крупнейших мировых астрофизиков, написал несколько десятков автобиографических новелл. Большинство из них было написано в семидесятых, начале восьмидесятых годов и доходили до читателя лишь в виде самиздата. Значительная часть этих новелл была собрана в книге «Эшелон», которая вышла в свет в 1991 г. — уже в либеральные времена, но, увы, после безвременной кончины её автора в 1985 г.

Одна из новелл посвящена Юре Гастеву. Иосиф немного рассказывает и о Красновидовском времени. Вспоминая о Красновидове, я неизбежно что-то из написанного Иосифом повторяю. При этом я невольно и неявно исправлю — следуя собственной памяти — некоторые неточности памяти Иосифа — иногда она его подводит. Постараюсь свести повторы к минимуму. Мне это будет не очень трудно, потому что Иосиф уехал из Красновидова гораздо раньше нас: его призвали в Москву дела, связанные с предстоящей ему научной работой...

Нашу мехматскую бригаду разместили в двухэтажном совхозном доме. Девочки жили на первом этаже, и как они там разместились, я не знаю. Они нас не приглашали, а мы не навязывались. Пятеро мальчиков (а после отъезда Иосифа — четверо) жили в небольшой комнате на втором этаже. Наша комната была проходной. А в запроходной по-

селили четырёх или пятерых девочек с химфака, Попыток сблизиться с ними потеснее в повестке дня не было в помине. Такие тогда были нравы. По нашей мехматской спеси мы и имён толком не знали.

Мебели в комнатах не было. Каждый лежал на охапке сена, прикрытой солдатским одеялом. Другим таким же одеялом мы укрывались. Химички проходили в свою комнату по краю нашей комнаты: там, где оставался свободный от наших лежбищ пол. Прежде, чем пройти к себе или наоборот, девочки вежливо стучались и спрашивали, можно ли. Можно было всегда: мы спали одетыми и нескромных зрелищ не являли никогда.

Но из этих девичьих проходов мы устроили себе нехитрую потеху. Получив разрешение пройти, девушка приоткрывала дверь, входила в нашу комнату, но двинуться дальше не могла. Лежавшие на своих сениках молодые джентльмены переворачивались на спины, сдвигались на полметра вперёд к проходу и задирали свои ноги так, что узкая дорожка пола, по которой девушка должна была идти для достижения своей цели, оказывалась нашими ногами перекрытой. Дальше следовал ритуал, сохранявшийся всё лето. Перекрывшие путь мальчики грозно спрашивали: «Кто мы есть?», на что девочка должна была внятно произнести: «Вы есть наши благодетели».

Это с нашей стороны было полным самодурством, ибо никаких благодеяний химички от нас не получали (истинными благодетелями мы были для девочек с мехмата; об этом — чуть ниже). Пока девочка с химфака не выполняла нашего требования, выдвинутые вперёд ноги торчали, и девочка пройти не могла. После того, как девочка требуемый унижительный ответ произносила, мы отползали назад и опускали ноги на сено. Девочка быстренько пробегала через нашу комнату, опасаясь новой каверзы. Несмотря на это наше хамство, в котором элемент заигрывания явно отсутствовал, наши отношения с химичками были дружескими, хоть, повторяю, вполне платоническими и даже отчуждёнными.

Во время работ факультеты обычно не соприкасались. Первые дни наша мехматская бригада сажала картошку. Нас привели на большое поле и сказали, что нам предстоит засадить его картофелем, урожай которого будет использован университетской столовой для преподавателей. Мы порученное нам поле засадили, но превратили нашу работу в большой балаган.

Прежде всего мы этому полю дали имя: «Профессорское га». Время от времени мы сажали клубень в особо глубоко вырытую ямку и присыпали его сверху мусором и щебёнкой, приговаривая: «Это для Маурера». После этого над ямкой произносилась надгробная издевательская речь. В более плодородную, но не вполне полноценную лунку мы сажали клубень для Эльцина или для декана Голубева. После чего тоже произносили речи. Над образцово выкопанными, засаженными и аккуратно присыпанными землёй лунками мы произносили хвалебные речи в честь Александрова, Колмогорова, Хинчина и других безупречных истинных математиков.

Кормили нас из рук вон плохо. Наверное, не только по бедности военного времени, но и по нерадивости начальства. Директором подсобного хозяйства была волевая, злобная местечковая еврейка по фамилии Бочарская. Ей, возможно, доставляло удовольствие, что интеллигентные молодые люди подчиняются ей в производственной сфере, да и в бытовой во многом зависят от создаваемых ею условий.

Единственным блюдом, которое нам изо дня в день предлагали на завтрак, обед и ужин, был овсяный кисель. Почему варили мерзкий кисель,

а не вполне вкусную и съедобную овсяную кашу, и как это из овсяной крупы можно было создать столь пакостную осклизлую пищу, понять невозможно.

В столовой студенты всех факультетов встречались, но наша стайка и здесь вела себя как высшая каста. Не довольствуясь общим обоснованием такой позиции («мы с мехмата!») мы старались находить ей и частные оправдания. Одно время мы смаковали такой вопрос, заданный одной безымянной студенткой юридического факультета. Тогда на этом факультете учились преимущественно девочки. Мы называли их «юрихи». Упомянутая юриха с трудом тащила в руках сразу три тарелки гадкого овсяного киселя, которые она получила в раздаточном окне и несла своим подругам, сидевшим за столом. Поравнявшись с одним из нас, юриха остановилась со всем дискомфортным грузом и спросила: «Скажите пожалуйста, ваш Шкловский — это не тот Шкловский, которого знает Мараховский?». Нашему наслаждению не было границ.

Безусловным минусом Красновидовской жизни была альтернатива: согласие есть отвратительный кисель или голод. Остальное было с плюсами. Труд не был нам в настоящую тягость. Мы от него не уставали, ибо предавались ему с прохладцей, да и были молоды и полны сил. Мы были в дружеском кругу, много разговаривали, остряли и смеялись. Надсмотр за нами осуществлялся халтурно. Грозная Бочарская везде поспеть не могла, а все её подчинённые, обязанные давать нам задания и контролировать нашу работу, не были склонны связываться с языкатыми студентами и старались по мере сил держаться от нас подальше. Наше нищенское жильё на полу и без мебели казалось нам естественным: тогда многие люди так жили — кто в армии, кто в разрушенных войной домах, кто в эвакуации.

В Красновидове были и прямые удовольствия. Прежде всего — прекрасная природа. Нас посылали работать в разные места. Но всегда и дорога на работу и обратно, и само место работы были сказочно красивы. Недалеко от нашего дома протекала Москва-река, и мы проводили на её берегах много чудесных часов. Ещё одна особенность нашей жизни состояла в том, что мы были напрочь оторваны от родителей. Расстояние от Красновидова до Москвы было небольшим, и почтовая переписка была вроде излишней, а телефонной связи тогда и в заводе не было. Нас эта оторванность совершенно не волновала, а войти в чувства родителей мы были неспособны.

Мы терпели жизнь впроголодь до конца июня. А потом всё изменилось в корне в той округе, кроме нашего подсобного хозяйства, были колхозы. И вот в какой-то из последних дней этого месяца мы шли на работу или с работы мимо колхозного поля, засаженного картофелем. Кому-то из нас пришла идея выдернуть кустик, и мы увидели, что на его конце висят молодые картофелины вполне приличных размеров. По-видимому, это поле было засажено за месяц до того, как мы посадили картошку в профессорское га.

Эксперимент с выдернутым кустиком натолкнул нас на преступную мысль. В ту же ночь мы, пятеро мехматовцев мужского пола под предводительством Иосифа, отправились на то колхозное поле. Оно находилось от нашего дома километрах в двух. Мы шли гуськом по узкой тропинке над рекой с рюкзаками за плечами. Мы дошли до края поля и распределились на небольшой площади. Каждый должен был надёргать картошки и наполнить свой рюкзак.

Мы договорились выдёргивать кусты не подряд, а на приличном расстоянии один от другого — так, чтобы наносимый нами полю урон не бросался в глаза сразу. Так что, присев у одного кустика, выкопав его из земли, оборвав с него клубни, уложив их в рюкзак и воткнув оборванный кустик обратно на его место (для камуфляжа), я выбирал другой в нескольких метрах от предыдущего. Мне для этого приходилось вставать и двигаться согнувшись, чтобы мой силуэт не выделялся на фоне неба. Так поступали и другие, но — кроме Иосифа. Он мгновенно применил технику, оказавшуюся остальным недоступной: он как был на корточках, обирая кустик, так на корточках же и перемещался к другому. Наполнив наши рюкзаки, мы такой же тихой вереницей вернулись часам к двум ночи домой.

Утром мы отдали всю добычу девочкам. Они решили, что самым практичным будет варить из картошки суп. Приобретение остальных ингредиентов — соли, морковки и луковиц — они взяли на себя. Девочки раздобыли рис или пшено. Нашли они и большую кастрюлю. Девочки варили суп на плите, стоявшей в кухне на первом этаже нашего дома. Хворост и сухостой из леса таскали мы. Кастрюлю со сваренным супом выносили на полянку, раскинувшуюся перед нашим домом, и ставили её на выложенные кирпичи. Ели мы, сидя на траве около кирпичей, на которых стояла кастрюля, держа в руках тарелки. Тарелки и ложки мы украли в столовой. Мы благоденствовали.

Лето, по счастью, выдалось сухим. Суп, приготовленный девочками, оказался бесподобным по вкусу и — что мы особенно ценили — его было от пуза. Этот суп, который без всяких вариантов изо дня в день готовили девочки, мы ласково называли «супец». С тех пор, как в нашу жизнь супец вошёл прочно, мы больше не голодали. Добычи одной ночи хватало умеренно на неделю. Иосиф сходил с нами на поле ещё один раз, а потом уехал в Москву.

Мы из нашего сомнительного ночного ремесла особой тайны не делали. Все видели, как мы едим на воле наш супец, выясняли его происхождение, и многие завидовали нашим девочкам за то, что они находятся под покровительством столь предприимчивых молодых людей. Но никто начальству о наших художествах не донёс. Нас ни разу не поймали ночью на месте преступления, хотя за весь сезон мы ходили в нашу экспедицию раз восемь или десять. Задним числом мы поняли, с каким огнём играли. Особенно рисковал Иосиф — в качестве руководителя. Нам вполне могли пришить «расхищение социалистической или колхозной собственности», а за такое преступление Указ предусматривал очень большие лагерные сроки.

Книг в Красновидове мы читали мало — что беллетристики, что математики. Но газеты к нам попадали. Их в конторе ежедневно выдавали в каждую бригаду. Нас, собственно, интересовали только сводки Информбюро. В этот серьёзный интерес Юра вносил свой затейный нрав. Прочитав сводку, которая содержала обычно восемь—десять заковыристых наименований населённых пунктов, освобождённых нашими войсками от немцев (а тем летом это были белорусские наименования), Юра тут же безошибочно этот список повторял, держал его в памяти до самого вечера и мог повторить этот фокус сколько угодно раз.

В середине июля нас — Юру, Славика, Лёву и меня — отпустили на три дня в Москву. Я сейчас не помню, был ли этот отпуск наградой за какой-то трудовой подвиг, или такой отпуск получали по очереди все студенты, работавшие в совхозе. Наши девочки оставались в Краснови-

дове. На все дни выпавшего нам гулянья мы обеспечили их картошкой. Двадцать километров до Можайска мы должны были пройти пешком. Поэтому мы вышли очень рано утром, а накануне вечером девочки вручили нам белый тряпичный узелок с намёком, что в узелке — что-то съедобное.

Ранним летним утром, прошагав лесными и луговыми тропами полпути от Красновидова до Можайска, мы сделали привал и развязали узелок. В нём оказался испечённый девичьими руками пирог с черникой, собранной в лесу, и баночка добытой таким же способом земляники. Мы были не на шутку растроганы. Мы оказались в Можайске за полчаса до отхода нашего поезда, зашли на телеграф и дали в совхоз нашим девочкам, перечислив их поимённо, телеграмму такого содержания: «Растроганы тёплой заботой морально чище спешим в Красновидово».

Стиль телеграммы был навеян романом Ильфа и Петрова «Золотой Телёнок», который (как и «Двенадцать стульев») был нашей культовой книгой. Оборотами из этих сочинений пестрила речь заправских мехматовцев. Текст нашей телеграммы содержал реминисценцию на слова Васисуалия Лоханкина, который об изданной до революции переводной с немецкого книги «Мужчина и женщина», говорил: «Когда читаешь эту книгу, становишься как-то морально чище, как-то духовно растёшь». А книга эта была, по ироническому описанию авторов, обстоятельным — на немецкий манер — научно-популярным трактатом на тему анатомии и физиологии обоих полов и о взаимоотношениях между ними.

...Мне довелось лет через десять после тех студенческих времён убедиться в том, что эта книга не была выдумкой. Язвительные авторы описали её в романе вполне правдиво и объективно. Я обнаружил её в числе ещё нескольких книг на книжной полке одного местного жителя в селе Владимировка Астраханской области, у которого я снимал комнату, находясь в этом месте на лётных испытаниях самонаводящейся бомбы, о чём я подробно расскажу ниже. Эта книга была крупноформатным фолиантом. Я понял, что Васисуалия покорили не только текст, но и иллюстрации — копии соблазнительных картин Рубенса и других художников, фотографии классических статуй и — что тогда было действительно небывалым — фотографии живых обнажённых моделей...

Нам пришлось уламывать девушку в телеграфном окошке принять депешу со столь необычным для неё содержанием. Но после убедительных объяснений, на которые Юра и Лёва были большие мастера, телеграмма была принята. Успех Юры и Лёвы в уговорах телеграфной барышни, был, видимо, обеспечен их опытом общения с женским полом, которого у нас со Славиком не было.

Юра и Лёва, так же как мы со Славиком и, как мне кажется, большинство молодых людей нашего поколения и нашей среды не считали возможным проявлять побуждения своего пола по отношению к девушкам, принадлежавшим нашей собственной среде, слишком откровенно без маскировки. Это табу редко кто преступал. А так как другой среды мы не знали, то и не представляли себе, как можно выходить за рамки приличий. Поцелуи и лёгкие прикосновения мы считали возможными только при наличии серьёзных чувств, а настоящие интимные отношения — только в браке или, в крайнем случае, в непреложном преддверии брака. Но тогда брак ни для меня, ни для моих друзей в повестке дня не стоял.

Но в какой-то момент мы со Славиком обнаружили, что в Красновидове Юра и Лёва пошли другим путём. Они не нарушали упомянутых

приличий нашей среды, но противостоять зову пола на всех фронтах не хотели и этот протест привёл их в другую среду — в народ. Они стали клеиться к местным деревенским девушкам. С этими своими похождениями Юра и Лёва со Славиком и со мной не делились. Хотя, видя их периодические отлучки с вечера до поздней ночи, мы со Славиком о причинах и целях отлучек догадывались.

Скорее всего, кое-чего Юра и Лёва добились. Но — не очень надолго. С какого-то момента, если мимо студенческой компании, среди которой оказывались они оба или один из них, шла группа деревенских девушек, то они начинали Юру и Лёву задевать, распевая какие-то двусмысленные частушки или выкрикивая что-нибудь загадочное, но явно обидное. Наши друзья на эти задиранья не отвечали ничем и нам ничего не объясняли. Возможно, дело было так: им, городским, выразительно пригрозили оставшиеся в деревне парни (т. е. белобилетники или допризывники), и Юра с Лёвой от девушек сразу отвалили. А такое поведение городских дженгльменов показалось деревенским девушкам постыдным, они в городских разозарились и мстили им насмешками.

Но, что бы там ни было, полученный Юрой и Лёвой опыт (может, и печальный) помог нашим друзьям поладить с простолюдинкой из почтового ведомства, видневшейся в телеграфном окошечке, и отправить нашим девицам из высшего общества телеграмму подозрительного содержания. Обошлось. Как мы узнали, вернувшись через несколько дней в Краснови́дово, до благодарных адресаток наша шифровка дошла.

Доехав к полудню до Москвы, мы разошлись по своим домам. Мы приехали в Москву в дни, окружавшие день моего рождения (15 июля). Мне исполнялся 21 год. Канун моего дня рождения я провёл с мамой и с Софой. Но главных событий я ждал в оставшиеся два дня: в день приезда из Краснови́дова я встретился с Робертом и узнал от него, что в Москве в краткой командировке находится Арон! Меня, конечно, эта компания тянула больше, чем общество мамы.

В первую часть следующего за семейным вечером дня, в условленный час, я спустился вниз, и около нашего подъезда в Кривоарбатском меня ждал Арон. Он стоял, прислонившись к чугунным трубчатым перильцам, огораживающим углубления, в которые выходили окна полуподвальных помещений нашего большого дома. Именно это перильце я в пятилетнем возрасте по совету моей смешливой няни лизнул в морозный день, и мой примёрзший к чугунной трубе язык удалось отодрать только с кожей.

Сейчас был жаркий июльский день, и на перила облокачивался щеголеватый польский офицер. Какими-то деталями и оттенком хаки польская офицерская форма от советской отличалась, и прохожие смотрели на моего друга с любопытством и с симпатией как на воина союзной армии.

Мы двинулись по Москве по направлению к дому Роберта. Там вечером планировалась большая пьянка по двум поводам — свидание со старым другом и день моего рождения. Арон служил, естественно, в Войске Польском, которым командовал генерал Берлинг, и которое подчинялось Советскому командованию. Другое польское подразделение — Армия Крайова, которой командовал генерал Андерс — входила в состав Англо-американской группировки.

Арон имел уже чин надпоручника (то ли старлей, то ли капитан по нашей шкале) и командовал ротой или батальоном. Выглядел он великолепно. На нём и всегда раньше был налёт польского шика — даже когда он покупал хлеб по нарисованным Робертом талонам. Теперь

налет превратился в перманентную самоуверенность, без которой, видимо, командовать большими группами людей невозможно. Его речь была пересыпана армейскими оборотами и шуточками и напомнила мне речь Кирилла Раменского. По счастью, сквозь эту офицерскую словесную униформу часто проглядывал тот самый образованный молодой человек, с которым мы успели сдружиться, с которым мы переживали непростое время, который этого не забыл и который к старой дружбе добавил теперь уважение к нам, хоть и шпакам, но — теперь уже полноценным студентам мехмата. Арон рассказывал о мимикрии, к которой он перманентно должен был прибегать в своей армейской среде.

Во-первых, тот факт, что он ненавидит советскую власть и желает победы не ей, а Польше, которую он после угара осени тридцать девятого оценил и о будущем которой — без Советского Союза и без ненавистных ему коммунистов — он всё время думает и планирует свои будущие действия, исходя из этих своих взглядов и чувств, он держал при себе. Арон понимал, что сходные настроения разделяет большинство солдат и офицеров, служивших с ним. Но эти мысли все держали подспудно, справедливо остерегаясь стукачей.

Во-вторых, никто в окружении Арона не знал, что он — еврей. Фамилия его тянула его на литовские корни, а имя он сменил на что-то вроде Анджей. По счастью, Арон не был религиозным, и в своём недавнем превращении из еврея в поляка предательства не видел. Более того, он со спокойной совестью сделался католиком. Каждое утро он выводил своих солдат на молитву, командовал им снять шапки и вместе со всеми под руководством ксёндза истово просил Бога (хоть и чужого) о даровании побед польскому оружию и о других полезных милостях для всех поляков в войске и в тылу врага.

Вечером мы собралась у Роберта и крепко выпили. Кроме нас троих в пиршестве участвовали две девушки. Одна из них была, вроде как, невеста Арона. Для меня она была новостью. Оказывается, Арон познакомился с ней ещё в весенние предвоенные дни, когда приезжал в Москву сдавать сессию: осенью сорокового он, напоминая, поступил на какой-то факультет заочного МЭИ. Не знаю деталей, но он во время этой сессии познакомился с дочерью одного из профессоров МЭИ по имени Фира. Осенью сорок первого профессор с семьёй уехал в эвакуацию с институтом. Ну а Арон застрял в Москве, и в январе сорок второго, когда я с ним познакомился, Фире в Москве не было.

В тогдашних разговорах Арона с Робертом и со мной её имя, возможно, иногда и упоминалось, но я её во внимание не взял. К лету сорок четвертого семья профессора из эвакуации вернулась, и Фира со своей сестрой Адой составляла нам компанию. Фира была приятной, но не особенно примечательной девушкой, и я не очень то верил в грядущее постоянство Арона. Да и в этот вечер он к Фире повышенного внимания не проявлял. Несколько в тени держалась и Ада, женские параметры которой к себе не привлекали.

Мы выпивали и закусывали почти всю ночь. Нам было что рассказать друг другу о происшедших с каждым из нас за прошедшие два года событиях и обсудить настоящее и будущее наших стран и человечества. Только под утро мы кое-как прикорнули, не раздеваясь.

Мы собирались поспеть на неординарное зрелище. Накануне в газетах появилось сообщение о том, что утром следующего дня большую группу немецких военнопленных, доставленных в эшелонах к Рижскому вокзалу,

проведут через город для погрузки в эшелоны, ожидающие их на другом вокзале, расположенном в диаметрально противоположной части города.

Было понятно, что акция эта — чисто пропагандистская. Зачем было выгружать людей из составов, строить их в колонну и вести её через весь город, а потом снова грузить их в другие вагоны — вместо того, чтобы перегнать составы на нужную магистраль по Окружной железной дороге?! Да и вообще, зачем было эти эшелоны тащить в Москву, вместо того, чтобы направить их в нужное место сразу — в объезд столицы. Железнодорожная сеть Европейской части страны достаточно развита для таких манёвров.

Мы пошли по Сретенке на Колхозную площадь. Мне помнится, что колонну немцев вели по проспекту Мира до Колхозной, а потом поворачивали её по Садовому кольцу.

...Но вот, известный артист Лев Дуров, тоже вспоминающий это событие, пишет, что немцев вели от Белорусского по ул.Горького, и на Садовое кольцо колонну поворачивали от площади Маяковского. Боюсь спорить. Возможно, что в действительности я с друзьями наблюдал движение колонны не у Колхозной площади, как помнится мне, а мы дошли сперва до площади Маяковского...

Тротуары были полны народа. Немцы были в своей военной форме и разбиты на подразделения. Колонну вели под лёгким на вид конвоем. Впереди каждого подразделения вышагивали несколько немецких офицеров. В каждой шеренге было человек по двадцать. Немцы шли по проспекту Мира, занимая почти всю его проезжую часть и поворачивали на Садовое кольцо вправо. Их, наверное, вели к Киевскому вокзалу. Немцы хорошо держали строй, все они были подтянуты. Подавленности в них не виделось. Скорее, особенно в офицерах, проглядывалось некоторое высокомерие. По сторонам они не смотрели.

Московская публика смотрела на эту колонну, переговариваясь между собой. Никаких враждебных выкриков, не говоря уже о действиях, в адрес немцев не было. Немцы шли с достоинством, хотя и понимали, что их сделали участниками унижительного для них спектакля. Думаю, что пленные, которых вели за собой римские триумфаторы, являли гораздо более плачевное зрелище.

Арон смотрел на шествие с очень мрачным лицом. Он сказал: тихо сквозь зубы: «Я бы на месте этих офицеров не позволил издеваться над армией, а скомандовал бы своим людям броситься на конвоиров — и будь что будет!». Я почувствовал, что его единение с офицерами и с армией — даже с неприятельской — превалирует, по крайней мере в данный момент, над чувством ненависти к истребителям его народа. С моими чувствами это не гармонировало. Я не испытывал злорадства к поверженному и униженному врагу: моя ненависть к собственным тиранам была велика, и я не мог быть втянутым в устроенное ими действие. Но мои тираны не были в силах, всё же, оттолкнуть меня на сторону врагов моей страны. Наш разговор с Ароном продолжения не получил. На углу Сретенки и Колхозной мы с Ароном попрощались. Как выяснилось — навсегда.

...В Москву Арон больше не приезжал. Весной сорок пятого он, очевидно, вступил с войсками в Польшу. Не знаю, оставался ли он в армии после войны. Но мы с Робертом почти не сомневались, что когда в Польше стали действовать отряды антисоветской Армии Крайовой, то Арон присоединился к силам, пытавшимся предотвратить в Польше просоветскую власть. Как известно, эта попытка не удалась. Армия Крайова была уни-

чтожена, а Арон, скорее всего, погиб в боях или в застенках. Во всяком случае, вестей от него никаких никогда не было. Если б Арон с режимом Берута примирился, то способ дать нам о себе знать он нашёл бы. Он был хорошим другом и не оборвал бы связи с нами без веских, а вернее, роковых причин...

В один из тех Московских вечеров я побывал на праздновании свадьбы Эди и Тамары. Брак был заключён за год до того в Челябинске, но тогда никак не отмечался. Теперь близкие люди собрались на Земляном.

Мы вернулись в Красновидово. В организации труда студентов возникли некоторые изменения. Всех молодых людей из всех бригад свели в единую «мужбригаду». В результате все остальные — факультетские — бригады стали автоматически женскими. Мужбригаде поручали «мужработы».

Новое подразделение, оказавшись однородным по полу, перестало быть однородным по научной специальности. Мужчин во всех других факультетских бригадах вместе взятых было так мало, что и после перевода их всех в мужбригаду выходило, что сплочённое большинство оказалось за математиками, и мы в бригаде верховодили. Официально назначенным бригадиром никто, кажется и не числился.

Кроме нас, в бригаде было ещё человек пять, но подружились мы только с физиком Юрой Абовым. Он среди Красновидовских физиков был единственным мужчиной. Юра, несмотря на кратковременность нашего знакомства, сыграл в моей биографии очень важную роль, и эта роль мне запомнилась больше, чем его деятельность в качестве члена мужбригады: через знакомство с Юрой я познакомился со своей будущей женой.

Юра был очень высокий и худощавый мальчик в толстых роговых очках. Он был типичным армянским интеллигентом. По видимому, уже его родители совершенно обрусели. В русской речи Юры совершенно отсутствовал акцент, да и в его повадках и в отношениях с нами мы ничего нерусского не замечали. Хотя, наверное, он в глубинных слоях своего менталитета что-то армянское и чувствовал — так же как где-то на втором плане чувствуют свои еврейские корни и русские интеллигентные евреи.

Юра был очень умный и образованный мальчик, деликатный и немного наивный. Перевод мальчиков в мужбригаду никаких изменений в расселение физиков не внёс. Юра жил в одном доме с девочками-физичками, а с какими мальчиками в комнате — мы и не знали. Дом, в котором жили студенты физфака, был от нашего расположен довольно далеко — на другом конце совхозного посёлка. С Юриными коллегами женского пола мы к моменту соединения с Юрой в одной мужбригаде знакомы не были. Так, кого-то в столовой приметили, но имён не знали, и наши пути с ними не пересекались.

Первой работой, порученной мужбригаде, было рытьё обширного глубокого (метра четыре в диаметре и столько же в глубину) котлована для омшанника — зимнего помещения для пчёл. Главный агроном совхоза или кто-нибудь из его помощников объяснял нам утром, что и как нам предстоит сделать в предстоящий день и уходил. Надсмотра — ни технического, ни дисциплинарного — над нами в течение дня не было.

Рыли мы, натурально, лопатами, а землю, по мере углубления ямы, поднимали в корзинах наверх. За несколько дней мы эту работу выполнили, и начальство было нашими темпами и качеством стенок вырытой нами ямы довольно. Надеюсь, что очередные фазы работы, требующие квали-

фикации, были выполнены совхозными рабочими тоже хорошо, и пчёлы зимовали в последующие годы благополучно.

Несколько дней мы что-то перевозили с одного места на другое. Для этой работы каждое утро нам давали лошадь с телегой. Лошадка была низкорослой и неказистой, но главный агроном объяснил нам, что на самом деле эта лошадка — хорошей монгольской породы, выносливая и послушная. Мы использовали телегу не только по предписанному назначению, но и как личный легковой транспорт. Например (эта прерогатива была только у математиков, признанных лидеров бригады), мы лёгкой рысцой подкатывали к нашему дому в обеденный перерыв, чтобы насытиться приготовленным нашими девочками «супцом».

Рядом с нашим двухэтажным домом стоял другой двухэтажный дом, на верхнем этаже которого жили девочки с философского факультета, справедливо нами презираемого. Мы называли их «философками». Как-то философки стали наблюдать из окна второго этажа за нашей эффектной посадкой в телегу — чтобы ехать после обеда на работу. Одна из них, очкастая и несколько жеманная Софа, желая сделать приятное ершистым математикам, сказала сверху: «Какая у вас симпатичная лошадка!», на что Юра ей ответил: «Это монголка». «Её так зовут?» — продолжала разговор Софа. «Нет», — объяснил Юра, — «Это не её имя, а название её породы. Вот Вы, например, философка, а зовут Вас Софа, а она — монголка, а зовут её Муська».

Когда Юра Абов узнал из наших разговоров о нашем ночном промысле, то после некоторых размышлений он стал думать, что и ему бы недурно подкормить своих товарок по факультету. Он решился попросить нас принять его в нашу воровскую шайку. В ближайший же ночной поход мы его пригласили. Вечером он пришёл к нам. К нашему несколько насмешливому удивлению, Юра явился не с рюкзаком, а с холщёвой сумкой из под противогаса (откуда, вообще, она у него была?).

Тёмной ночью он шёл в нашей цепочке над берегом реки. Мы — специалисты — нашли тот участок поля, на котором надо было копать сегодня, и стали это делать. Юра свою скромную противогазную сумку наполнил раньше всех и сел на край поля ждать нас. Через двадцать минут и наши рюкзаки были готовы, и мы такой же цепочкой двинулись обратно.

Около нашего дома мы с Юрой распрощались, и он пошёл в свой дом, расположенный, повторяю, на противоположном конце посёлка. У входа он был остановлен никем иным, как шумной и скандальной Бочарской. Это был первый случай наезда властей на наш промысел. Бочарская заставила Юру выложить всю картошку из его сумки. Своей причастности к нашей банде Юра не выдал и настаивал на том, что действовал в одиночку. По счастью, Бочарская ходу делу не дала. Возможно, внутри у неё было мягкое сердце еврейской бабушки, а армянин Юрка Абов вполне смахивал на еврея. Подыми Бочарская адекватный делу шум, несдобровать бы копателю картошки Юре Абову. А может, и до нас докопались бы (каламбур). После этого эпизода мы были на поле ещё раз или два. Картошка появилась и в совхозной столовой и рисковать больше не стоило.

...Впоследствии Юра стал выдающимся физиком, членкором АН, и в этом свете его неудачи на воровском поприще выглядят не столь драматично...

Несколько дней подряд наша мужбригада корчевала пни на отдалённой опушке леса. Это было уже во второй части августа. Минут тридцать

мы шли к этой опушке сказочной лесной дорогой. Некоторое количество пней мы за эти дни выкорчевали. Может, даже все, которые было надо. Но главным нашим занятием было чтение. Наша любовь к вольным романам Ильфа и Петрова была вытеснена новым увлечением. Кто-то из моих друзей — скорее всего, это был Слава Грабарь — привёз из последней поездки в Москву два или три томика Достоевского с «Бесами».

Достоевский формально запрещён властями не был, хотя уже до войны его сочинения из школьной программы по литературе были исключены. Да и входили ли они в неё когда-нибудь? Но во МХАТе «Братья Карамазовы», кажется, шли. Во всяком случае, в сборных концертах И. Москвин часто выступал с монологом капитана Мочалки. К тому моменту я уже прочёл «Преступление и наказание», «Братья Карамазовы», «Неточку Незванову», «Бедные люди», «Записки из Мёртвого дома» и «Идиот». Но «Бесов» — ещё нет.

Мы прекрасно поняли антибольшевистскую мораль романа и смаковали его, как смаковали немного раньше Ильфа и Петрова. Впрочем, Достоевский этих авторов из наших сердец не вытеснил. Выкорчевав пень, мы садились и читали вслух десятков-другой очередных страниц романа и обсуждали их, повторяя особенно выразительные высказывания персонажей.

Совместная работа днём и ночью и прелестный характер Юры Абова нас с ним сдружили. А через него мы познакомились поближе и со студентками физфака, жившими в Красновидове. Знакомство никакой научной подоплёки не имело. Мы продолжали не жаловать физику. Но в отличие от других второсортных наук, неприязнь к которым мы, не задумываясь, переносили на студентов и даже на студентов соответствующих факультетов, с физичками мы стали дружить с удовольствием.

Среди Красновидовских девиц с физфака были Галя Шестопал и Ира Голямина. Возможно, там были ещё и Дина Левитас и Милочка Васильева. Но, может, с этими двумя девочками мы познакомились позже, уже в Москве. Мы увидели, что вся эта компания из Юры Абова и физичек нам очень мила, несмотря на ущербность науки, которую они для себя выбрали. Они, например, как и мы, были большими поклонниками классической музыки. Физикам тоже импонировало наше неплохое знание музыки, способность по нескольким напетым музыкальным фразам узнавать произведение и самим напеть мелодии из довольно изысканных сочинений.

Политические взгляды физиков были, как показали не слишком осторожные взаимные выяснения, весьма близки к нашим. Особенную симпатию и ощущение душевного родства я испытывал к Гале Шестопал. Физики были старше нас на курс, но это роли не сыграло. Тем более, что военные мотания привели к тому, что я обгонял по возрасту некоторых студентов и студенток, обгонявших меня по курсу.

Уже шли последние две или три недели августа. Почему-то на этот последний период Ректорат прислал в Красновидово несколько десятков новеньких с разных факультетов. Где они провели первую часть своего трудового лета, было неясно, да нам и не интересно. Сблизиться с ними мы не успели. Но среди них было несколько любопытных фигур.

Был физик — аспирант Лев Вайнштейн. Он был глух или почти глух и — возможно, по этой причине — весьма необщителен и замкнут. К нашей бригаде его не подключили, и каким способом он здесь отбывал свою трудовую повинность, мы не знали.

...В отличие от подавляющего большинства из нас, Лев Альбертович Вайнтшейн стал крупным учёным, членкором, и его имя я нашёл в БЭС. Когда много лет спустя я стал работать в Центральном Экономико-математическом Институте АН, недостижимым для меня почтенным сотрудником этого института был Альберт Вайнштейн, виднейший экономист и, как оказалось, отец моего глухого и нелюдимого Лёвы...

Был среди приехавших под конец студент-филолог, имя которого я забыл, а его самого помню из-за одной его странности. Он очень любил музыку, прекрасно знал её и чисто насвистывал, но — только кончая Бахом. Новую (по его представлениям!) музыку — Гайдна, Моцарта, Бетховена, Чайковского и пр., не говоря уж, конечно, о Шостаковиче или Прокофьеве, он на дух не переносил.

В мехматскую команду добавился Имочка Шноль. Он был моложе нас всех, включая даже Юру Гастева. Появился на мехмате этот еврейский вундеркинд следующим образом. Через несколько дней после начала учебного года и минут через пятнадцать после начала уже второй или третьей лекции Шмидта, массивная дверь Большую психологической аудитории, в которой наш курс слушал лекции, чуть приоткрылась, и в узкую щель протиснулся ребёнок с портфелем. Он обратился к Шмидту за разрешением войти, Шмидт барственным и любезнейшим жестом разрешил этому шибздику входить. Мальчик вошёл, с большим достоинством и деловито стал подниматься по ступенькам амфитеатра в поисках свободного места, нашёл, уселся, развернул свою тетрадь и с этого момента стал одним из лучших студентов мехмата — вплоть до его окончания.

...Потом Имочка стал работать в Институте Прикладной Математики (ИПМ) АН, быстро защитил кандидатскую и докторскую и стал уважаемым сотрудником этого уважаемого учреждения...

Ну а тогда, в Красновидове, он был маленьким милым мальчиком, попавшим под крыло девиц с мехмата и с физфака. К нашей компании молодых людей он принадлежать не мог, ибо при нём мы далеко не обо всем могли говорить. Иногда своими наивными вопросами (а вовсе не тем, чем известный Лука — царя Ивана) Имочка смешил нас до слёз. И вот девицы объявили, что математики и физики устраивают празднование Дня рождения Имочки. Была пара бутылок водки, была какая-то тогдашнего уровня закуска, вполне нас удовлетворявшая.

Мы все сидели на полу; на полу же посреди нашего круга была и снедь. Мы очень весело болтали, скоро забывши про Имочку, но и он был доволен всем. Отпировав, мы пошли провожать физиков в их дом, но, дойдя до дома физиков, мы с Галей от компании откололись и нашу прогулку продолжили уже вдвоём, углубившись в лес.

Эта прогулка оказалась в наших биографиях весьма значительной. За те полтора или два часа, что мы побродили по лесу, мы сумели о многом поговорить и сопоставить наши представления о жизни, наши взгляды в существенных интеллектуальных, культурных и духовных сферах. И эти сопоставления показали, что представления и взгляды одного интересны другому, а чаще всего и сходны с ними.

Выяснилось, что Галя моложе меня на два года, что она с родителями живёт в Арбатских переулках, что оба её родителя — математики, что она сама больше тяготеет к математике, а в физику была вовлечена Викой Дубновой, с которой дружит с ранних детских лет. А что истоки этой давней дружбы — в дружбе их родителей. Отец Вики — известный профессор мехмата Яков Семёнович Дубнов (я его знал, но он на нашем

курсе пока не преподавал), что её собственный отец Абрам Миронович Лопшиц — профессор Ленинского педагогического института. Выяснилось, что Галя и её родители очень любят музыку и часто бывают в Большом и в Малом залах Консерватории и в других концертных залах Москвы.

Я узнал, что Галя с детства учится немецкому и французскому языкам, что она много читала из русской литературы. Мы довольно откровенно сопоставили наши политические позиции, и они оказались весьма похожими. Галя коснулась главных пунктов своей короткой биографии. Эвакуацию их семья провела на Алтае, в Ойрот-Туре: туда был вывезен Ленинский педин. На физмате этого института два курса проучилась в Ойрот-Туре Галя. Галя расспрашивала меня обо мне и о моём окружении, о моей жизни до и во время войны, и мои ответы, как мне уже тогда показалось, она оценила положительно.

Когда я после прогулки довёл Галю до дома физиков, нас на пороге поджидали взволнованные и любопытные физички, принявшие от меня Галю довольной, целой и невредимой. А ещё через три дня мы все уехали в Москву. Начался новый учебный год.

ГЛАВА 13

Начало второго курса. Расширение знакомств с физиками. Историческая вечеринка. Женитьба на Гале Шестопал. Лопшицы-Шестопалы. Параллели между моими и Галиными родителями. Галя знакомится с моими школьными друзьями. Нравы в доме Лопшицев. Продуктовые карточки и магазины. Дрова. Дровяные склады. Лимит электричества. Посещения бань. Родственники Лопшицев. Новое появление Юры Окман. Профессор Дубнов.

Начался второй курс. Мехмат жил очень активной жизнью. Лекции читали известные учёные; функционировала масса научных и студенческих семинаров при всех кафедрах факультета, и студенты могли выбирать — по своим интересам, подготовке и силам — в каких из них участвовать. Всё это меня, конечно, захватило.

Но, всё же, главным для меня в ту осень стали мои отношения с Галей Шестопал, начавшиеся в последние Красновидовские дни и получившие стремительное развитие в Москве. Поэтому сейчас я расскажу о них, а дела академические оставлю до следующей главы.

Итак, вернувшись из Красновидова, мы с Галей наши встречи продолжили. Мы знакомились друг с другом всё ближе, и это сближение и узнавание к разочарованию ни меня, ни её не приводило. С начала сентября, после возвращения из Красновидова в Москву, я стал с Галей видеться непрерывно. Наши факультеты были в разных, но стоявших друг от друга недалеко — через Б. Никитскую — корпусах. Я иногда приходил за Галей на физфак, чтобы вместе идти домой.

Мы и жили совсем близко друг от друга: я на Арбате, а её дом располагался в длинном проходном дворе между М. Власьевским и Староконюшенным переулками. Я стал часто приходить к ней домой. Галины родители — Абрам Миронович Лопшиц и Мария Григорьевна Шестопал — встретили меня очень приветливо. Я относил это за счёт моих качеств. Позже я выяснил, что приветливость к большинству людей, а к новым — без всяких исключений входила в неукоснительно соблюдаемый ими кодекс поведения, разработанный их же сердцами и менталитетом. Познакомил и я Галю с моей мамой. Мама была с ней корректна, но сдержана, и роль хорошо воспитанной доброжелательной взрослой дамы играла, скорее, не моя мама, а Галя, много чего воспринявшая от своих родителей.

Бывало, заходя за Галей на физфак, я обнаруживал, что её лекция или семинар ещё не окончились. Я прогуливался по коридору рядом с аудиторией и часто громко напевал — довольно фальшивым голосом — какую-нибудь знакомую классическую мелодию: или тему из скрипичного концерта Мендельсона, или «Рондо каприччиозо» Сен-Санса, или ещё что-нибудь не менее достойное. Я позволял себе петь настолько громко, что издаваемые моим фальшивым, но увлечённым голосом великие звуки проникали в аудиторию. Галя и её близкие друзья, услышав их, понимали, что я уже жду мою приятельницу. Лектору я, несомненно, мешал, но ни разу никто из профессоров не сделал мне замечания, хотя часто

лектор выходил из аудитории прежде чем выходила та группа студентов, которую я ждал, и мог видеть источник недавней помехи. Не преследовал меня и технический персонал.

Я познакомился с Галиными друзьями с физфака, которые в Красновидове не ездили. Лучшей Галиной подругой была, как я начал об этом рассказывать в предыдущей главе, Вика Дубнова, а её отец Яков Семёнович был близким другом Галиных родителей. Поэтому Галя и Вика дружили с детства. Дубновы и Лопшицы жили неподалёку друг от друга, и девочки пошли учиться в одну и ту же школу № 29, находившуюся на Зубовской. Вместе они ходили и в детский клуб близлежащего Дома Учёных, ибо и Яков Семёнович и Абрам Миронович были его членами.

Я познакомился с Мишей Хайкиным, отец которого нам читал в предыдущем семестре курс механики. Миша подавал серьёзные научные надежды. Среди моих новых знакомых возникли студенты физфака: Борис Медведев, Борис Самойлов, Люся Виноградова, Дина Левитас, Милочка Васильева. Вместе с Юрой Абовым и Ирой Голяминой вся эта компания образовывала довольно дружный Галин круг. Этот круг и наш мехматский, в который входили Юра Гастев, Лёва Малкин, Славик Грабарь, Роберт Виноград и я, стали быстро сближаться. Из математиков ближе всех к новым друзьям физикам был я, а среди физиков ближе всех к новым друзьям математикам была Галя.

Мехматские девочки, проводшие с нами лето в Красновидове и сперва активно участвовавшие в процессе сближения с жившими там физиками, после возвращения в Москву из этого процесса по непонятым мной причинам выпали и в наш расширенный круг физиков и математиков не вошли.

В конце октября компания физиков и математиков, отчеством которой было Красновидово, затеяла устроить большую гулянку. По всему выходило, что самым подходящим местом является моя комната (вернее, комната Юровецких, в которой мы тогда с мамой жили).

Мама иногда уходила к сёстрам на Солянку с ночёвкой и согласилась в ближайший такой уход предоставить нашу комнату в моё распоряжение. Так что о месте нашей задуманной пирушки знали все её предполагавшиеся участники, а с временем была неопределённость. В какой-то момент и дата установилась: вечером 28-го октября. Галя взялась известить о времени физиков. А я — моих друзей математиков.

С кем-то из них я увиделся на факультете за несколько дней до мероприятия, а кого-то рисковал до 28-го не увидеть. Телефоны тогда были далеко не у всех, и я придумал: написал анонимную записку и приколопил её на большую факультетскую доску, предназначенную для объявлений о спецкурсах, семинарах, для распоряжений деканата и пр. Доска висела в коридоре, и каждый день на ней появлялось что-то новое. Я правильно рассчитал, что мои друзья, активно следящие за научной жизнью факультета и до которых моя записка касалась, обязательно на неё наткнутся. Я считал, что адресаты меня поймут, а те, к кому записка не относилась, не обратят на неё и внимания. Текст был такой: «28-го в 7 у меня». Без подписи.

...Позже меня поражала собственная беспечность, а правильной сказать, глупость. Мне не пришло в голову, что моей записке вполне можно было приписать важный тайный смысл. Я был прекрасно осведомлён о существовании сети стукачей среди студентов и преподавателей. И надо же — написал и приколопил!..

Записка своё дело сделала, все оказались осведомлёнными, у меня собралось человек двенадцать, и мы славно провели время. Соседей по нашей коммунальной квартире такой сбор, сопровождавшийся шумом, выходами на кухню для разогревания наших блюд, повышенная интенсивность использования уборной, не раздражал. Все относились к тому, что «у Юры гости», как к должному.

Комендантский час в Москве тогда уже не действовал, и наше веселье продолжалось за полночь: большинство гостей жило неподалёку и могло добраться до дому пешком. В конце концов гости разошлись. Галя осталась у меня.

Утром мы с Галей пришли к ней домой. Нас встретила Мария Григорьевна, и, сразу всё поняв, поздравила нас и поцеловала. Вышел к нам и сделал то же самое и Абрам Миронович. Днём я пошёл домой. Мама уже вернулась с Солянки. Я понимал, что моё сообщение о вступлении в брак с Галей мама воспримет не так просто и приязненно, как родители Гали.

Но произошло то, чего я, всё же, не ожидал: мама потеряла сознание. Я бегал на кухню за водой, чтобы привести её в чувство. Она пришла в себя, постепенно осознала свершившееся, овладела собой, а через час я привёл к ней Галю, которую она встретила с подобающей приветливостью. Годовщины нашего брака мы стали отмечать с Галей 28-го октября.

...В ЗАГСе мы зарегистрировались только в марте сорок пятого, когда Галя уже была беременной. Но эту дату за значительную не почитали...

Галины родители предложили нам с Галей жить у них, и мы это предложение приняли. Мы начали нашу совместную жизнь в Галином, а не в моём доме (третьего варианта не было) по двум причинам. Первая была явной, а вторая — тайной (в основном, от моей мамы).

Явная причина была в жилищных обстоятельствах. Мама, папа и я жили в одной комнате. А Галя и её родители жили в целых трёх комнатах! Правда, очень маленьких. Правда, тоже в коммунальной квартире, и, правда, две из этих трёх были проходными. Кроме того, в первые два месяца нашего брака наша арбатская комната была ещё для проживания не годна, и мы с мамой, напомним, жили в комнате Юровецких. В нашу собственную комнату мы (вернее, одна мама: я тогда уже жил в доме Гали, а папа был ещё на фронте) переехали только в декабре под Новый, сорок пятый, год: вернулись из эвакуации Юровецкие, и домоуправление нашу комнату, всё же, по минимуму отремонтировало.

Потолок маминой комнаты в тёплые зимние дни и ранней весной продолжал протекать, и я бегал на чердак вычерпывать воду из установленных там ендов. Мы поставили в комнате буржуйку, трубу вывели в окно на Арбат, и мама поддерживала тепло в комнате, бросая в печку обломки письменного стола и этажерки, которые были разломаны взрывной волной при падении бомбы в театр Вахтангова. Кроме того, в печку пошли и кое-какие книги, в первую очередь — два тома «Капитала» Маркса, собрания сочинений Ленина и Плеханова, которые, как и несколько других книг, к моему удивлению, дожидались нас всё то время, что нас не было в Москве.

Сжигание в печке Плеханова мы с мамой как политическое преступление не расценивали: хоть он и был в классиках марксизма, но числился по списку меньшевиков. Со сжиганием Ленина было тревожно, но был и успокаивающий момент: автором предисловия и редактором имевшегося у нас издания был Л. Б. Каменев, который к этому времени был давно расстрелян как враг народа.

Кроме упомянутых собраний сочинений классиков марксизма, в доме были книги, которые огня избежали. Это было несколько немецких книг, связанных с маминной профессией; был четырёхтомник Маяковского, был привезённый в совсем детские мои времена с Солянки двухтомник Ранке «Человек», о котором я упоминал. Хоть сжечь Ранке в печке я не решился, кое-какое надругательство над ним я, всё же, совершил. В томах было много иллюстраций на отдельных листах, и они были проложены папирсной бумагой. Вот её-то я, вернувшись из Гурьева, пустил на скрутку папирос. Сохранились ещё и две книжки, упоминавшиеся выше: карманный русско-французский словарь и однотомник стихотворений Пушкина.

Ну, а Юровецкие, форсировавшие мамин выезд из их комнаты в нашу, жили там очень недолго, а может, не жили совсем. Они опять сделали обмен, и на их месте стала жить семья Makeевых: Мария Яковлевна, её муж Давид Яковлевич (у него, наверное, была более еврейская, чем «Makeев», фамилия) и их маленькая дочка Валя лет десяти.

Итак, с первых чисел ноября я стал жить с Галей в квартире её родителей. С неё и начну описание этой новой жизни. Квартира была расположена на втором — последнем — этаже маленького деревянного дома, затерянного в системе проходных дворов, протянувшейся между Староконюшенным и М. Власьевским переулками. Говорили, что вплоть до массового закрытия церквей, а это произошло вскоре после революции, в этом доме жил клир одной или двух небольших церквей, которых в близлежащих арбатских переулках было великое множество.

В первой — проходной — комнате («столовой») стоял обеденный стол, шкафчик с посудой, диван и ещё что-то. Там было пусто и просторно. Следующая за столовой — тоже проходная — комната считалась кабинетом Абрама Мироновича. Там стоял его большой письменный стол, тахта, на которой он спал, и кресло-качалка, которое было некоей достопримечательной неотъемлемой частью этой квартиры. Каждый гость за время своего визита стремился хоть чуть-чуть посидеть в ней. В этой же комнате помещалась в большом многосекционном шкафу основная часть семейной библиотеки, радиоприёмник и проигрыватель с запасом пластинок.

Из этой комнаты топилась голландская печь, зеркало которой выходило и в первую комнату. Но до конца войны гораздо чаще топили стоявшую около голландки железную времянку, трубу которой вставляли в верхнюю дверцу голландки с вьюшками. Времянки тоже хватало для обогрева всех трёх комнат.

...В первые послевоенные годы времянку убрали, но голландскую печь топили — вплоть до момента оборудования в домике центрального отопления...

Из кабинета вела застеклённая дверь на большой крытый балкон. Балкон был очень ценной частью жилища моих тестей. За кабинетом помещалась единственная непроходная узенькая комната. Она отделялась от кабинета широким полутораметровым проёмом. Проём закрывался не дверью, а штормой. По обе стороны проёма стояли дорические деревянные колонны, выкрашенные белой масляной краской. Они вносили в эту часть интерьера что-то театральное и романтическое.

Комната за колоннами была крошечной — метров в семь. Она называлась «материнской»: там была тахта Марии Григорьевны, её небольшой письменный стол и часть библиотеки, размещённая на небольшой настенной полке и на оригинальной вращающейся на короткой вертикальной ножке четырёхугольной этажерке.

Во всех трёх комнатах было от силы сорок пять квадратных метров. Принадлежность комнат имела реальный смысл только по ночам, да и то, как станет ясным из дальнейшего, не в полной мере. Днём всё перемешивалось, и я всегда удивлялся способности Абрама Мироновича сидеть за своим письменным столом и работать посреди водоворота людей, состоявшего из членов его собственной семьи и из гостей, приходивших в течение всего дня и вечера — по делу или так.

Эти три комнаты были хоть и в коммунальной квартире, но — в отличие от комнаты моих родителей — малонаселённой: у Галиных родителей были только две пожилые соседки, жившие, хоть и не были друг с другом в родстве, в двух смежных комнатах, из которых первая была проходной. Бывало и такое в планировке коммуналки.

В запроходной комнате из этих двух смежных жила Софья Владимировна Ковалевская — дочь выдающегося русского математика Софьи Ковалевской. Галина семья называла её за глаза Фуфой — именем, которым называла свою маленькую дочь знаменитая женщина-математик. Я тогда по молодой глупости не стал расспрашивать Фуфу про её детские годы, не сделал попытки узнать что-нибудь неофициальное и дополнительное про замечательную женщину, теорему которой о гироскопах я позже встречал в математической литературе. Впрочем, Фуфа была женщиной странноватой и нелюдимой и, скорее всего, интервью давать мне не стала бы.

Наружная лестница вела в кухню, а из кухни шли две двери: одна в упомянутые две комнаты соседок, а другая — в отсек, состоящий из маленькой передней, в которой была вешалка для верхней одежды и приступочка, на которой (до войны и после 46-го года) стоял телефон, и — дверь, ведущая в три описанные выше жилые комнаты.

Была в этой передней ещё одна дверь. Это была парадная дверь в квартиру, которой не пользовались, а та, которой пользовались и которая вела в кухню, была чёрной. Но описание этой парадной двери, игравшей в жизни семьи Галиных родителей хоть и не прямую, но важную роль, я немного отложу.

Итак, выходило, что в Галиной семье места для молодожёнов больше: мы могли расположиться за шторой (которая, впрочем, была оборудована позже, после рождения сына Сашеньки) в столовой, которую семья ночью не использовала. Но утром, днём и вечером там ели и угощали многочисленных гостей. Приличные по тогдашним меркам жилищные условия, в которых выросла Галя, составляли первую причину, подтолкнувшую нас с Галей принять приглашение её родителей начать нашу семейную жизнь у них.

Вторая же — скрытая — причина, по которой мы с Галей предпочли жить с её родителями, а не с моей мамой, состояла в том, что Галины родители сразу после первого моего знакомства с ними стали мне в духовном и интеллектуальном плане ближе, чем мои природные родители, о которых я совершенно не хочу и не могу сказать ничего плохого, а наоборот, испытываю к ним естественную благодарность за то, что заботились обо мне, лечили меня, обеспечивали мою жизнь в детстве и в ранней молодости и вообще сделали из меня человека.

Галины родители приняли меня очень дружелюбно, как своего, ещё до того, как мы с Галей объявили им о нашем браке, да и к самому этому объявлению отнеслись с полным пониманием. Между тем, времени между нашим приездом из Красновидова и нашим браком прошло только около двух месяцев. Я чувствовал, что, в противоположность отношению

Галиных родителей ко мне, моя мама относится к Гале с ревнивой настороженностью. Я не хотел рисковать, и поэтому с радостью принял приглашение жить в новой среде, мягко отклонив мамино приглашение, которое она, конечно, тоже нам сделала.

Да и для самой Гали переезд от обожаемых и уважаемых ею родителей к моей маме, отношения с которой за рамки холодноватой вежливости к тому времени не вышли, и перспектив на скорое духовное сближение не виделось, был бы драматичным, в то время как для меня переезд от мамы в семью Гали был событием желанным.

...Вскоре отношения Гали и моих родителей потеплели. Но, в основном, из-за нравственной цивилизованности Гали. Связующую роль сыграло и рождение нашего сына — внука моих родителей.

Теперь, когда большинство событий и переживаний, отведённых мне судьбою, уже произошло, и почти все они мною обдуманы и оценены, я могу сказать, что Галины родители оказали на меня огромное и благое влияние во многих аспектах жизни. Это влияние на меня оказывал, в первую очередь, пример их собственных личностей: их восприятие людей из разных кругов общества и стиль общения с ними, их взгляд на политические события и на политиков, интересы и эрудиция в области наук и искусств (особенно — в музыке), любовь к своей профессии, преданность работе, установки и практика в сфере воспитания детей, обращение с деньгами, реакция на болезни близких, отношение к смерти. Этого списка мне не кончить никогда. В общем, я учился у них по всем предметам. К сожалению, я не могу утверждать, что был отличником, что в полной мере усвоил всё, что мог бы усвоить, живя бок о бок с этими прекрасными людьми...

Описывая круг интересов моего тестя и моей тётки, я не случайно выделил музыку. Ведь она уже тогда, задолго до знакомства с Галей, занимала очень значительное место в моей жизни. И вот в момент, когда Галя представляла меня Абраму Мироновичу, я понял, что знаю этого человека уже давно. А именно, я уже больше года, прошедшего после моего возвращения в Москву из порождённых войной странствий, постоянно замечал его в концертах в Большом и в Малом залах Консерватории. Он, очевидно, бывал там с женой или с дочерью или с обеими вместе. Но их тогдашних моя память не выделила, хотя Мария Григорьевна была очень красивой женщиной. В те годы дамы старше тридцати моего внимания не привлекали. И Галю я тогда не запомнил. Наверное, она в антракте часто оставляла родителей и общалась со своими друзьями.

Внешность же и повадка Абрама Мироновича были примечательными. Он был небольшого роста, очень подвижный, с густой, тёмной, с проседью шевелюрой, с усами и бородкой, каковые были в те времена чрезвычайной редкостью, а также с типичным — с горбинкой (не то слово!) — еврейским носом. В целом, на первый взгляд, все эти детали создавали опасное сходство с Троцким (как я узнал позже, поражённые пьянчужки ему это время от времени в метро или на улице бормотали).

Но от того злодея Абрам Миронович отличался радикально: он не носил очков, глаза у него были всегда сияющими, а выражение лица — бесконечно добрым. Я часто видел издали, как этот симпатичный человек, прогуливаясь в антракте или одеваясь в вестибюле после концерта, всегда что-то горячо обсуждает со своими спутниками, обычно — улыбаясь.

Во внешнем плане мои отношения с мамой менялись мало. Я уехал от неё совсем недалеко и часто у неё бывал, а после того, как война кончилась, и папа вернулся домой — продолжал часто бывать у обеих

моих родителей. При таком раскладе отношение моих родителей к сватам и к Гале было вполне корректным, а позже возник и элемент сердечности.

Мои родители на вполне достаточном основании считали себя людьми интеллигентными. У обоих было высшее образование, прекрасная русская (а у мамы ещё и немецкая и французская) речь, безукоризненно грамотное письмо. Они привыкли читать беллетристику и толстые журналы и приучили к этому меня. Они ходили время от времени в театр и в сборные концерты. Папа любил чтецов — Антона Шварца и Эммануила Каминку. Родители учили меня иностранным языкам. В этом отношении они от Галиных родителей не отличались.

Но одно важное различие было: мои родители были пассивными и молчаливыми потребителями культуры. Они почти никогда не говорили на абстрактные темы, относящиеся к литературе, искусству, науке. В их обыденных разговорах даже имевшийся у них культурный багаж в оборот почти не шёл, оставаясь за кадром. Галины же родители были очень активными потребителями культуры. Она была постоянным пунктом в повестке дня всех их разговоров — и в кругу семьи, и в среде друзей. Всё прочитанное в книгах и журналах, всё услышанное в концертах, всё увиденное на выставках и в театре, все повороты мысли и аргументы, высказанные участниками едва погасших споров на культурные и научные темы — всё это было частью их жизни и всегда присутствовало во всех застольных беседах, в обмене мнениями во время поездок в гости или в другие места вне дома, после прослушивания радиопередачи или граммпластинки. Наконец, Галины родители были среди творцов культуры — в математике, в теоретической механике и в методике преподавания этих дисциплин.

Можно понять, почему мама и папа оказались в состоянии душевного дискомфорта, когда довольно близко соприкоснулись с интеллигентами гораздо более высокого, чем они сами, полёта. Я всегда ощущал, что мои родители, общаясь с Галиными даже на житейской почве, всегда находятся во власти комплекса неполноценности. И это их сковывало. Мои же тестя проблем моих родителей не видели (или не показывали, что видят) и относились к ним с изначальной и устойчивой позиции доброжелательности, уважительности и приветливости, присущей высокопробным интеллигентам.

Довольно быстро Галя перезнакомилась и с теми моими друзьями, с которыми в Красновидове она познакомиться не могла. Она познакомилась с Эдей и Тамарой, Она познакомилась с Леной Залманзон и с Ритой Добкиной.

...Лена и Рита стали одними из Галиных ближайших подруг в течение всей её последующей жизни, которую я в настоящий момент, к моему глубочайшему сожалению, имею горестную возможность оглядеть полностью. С Арой Смирновой Галя познакомилась позже и с ней тоже была всегда в хороших отношениях, но большой близости между ними не было никогда.

Зато с Майей Левидовой Галя сдружилась очень тесно и тоже — на всю свою жизнь. В самом начале знакомства с Галей, в ноябре сорок четвёртого, Майя Левидова родила сына, названного Мишей в память его замечательного и замученного большевиками деда. Чуть до или чуть после рождения сына Майя с Однораловым рассталась, и в памяти Майиных друзей он остался только фамилией, которую вписали в метрику Миши.

Мы с Галей часто бывали у Майи, а когда Миша чуть подрос, Майя стала завсегдатаем в доме Лопшицев. Она пришлась им по душе, да и сама

их сердечно полюбила, хотя рассуждения о живописи, в которые время от времени пускался Абрам Миронович, Майя считала примитивными.

Майя познакомила нас со своим двоюродным братом Джоем и его женой Лениной. Они были нашими, примерно, ровесниками. Джой был сыном посаженного в тридцатые годы и погибшего в тюрьме брата Михаила Левицова Александра. Точнее говоря, полное имя Джоя было Рой-Джой — в честь известного в момент его рождения индийского коммуниста. Да и Ленина была так названа её родителями по революционной моде. Джой окончил МЭИ и быстро становился крупным инженером и учёным в области создания и исследования систем управления. Ленина окончила институт иностранных языков.

Мы очень подружились с этой парой. Они жили на Тверском бульваре, и мы виделись друг с другом очень часто. То мы к ним, то они к нам, то мы встречались у Майи. Джой и Ленина близко сошлись и с Галиными родителями.

...Гая продолжала с ними дружить вплоть до своей кончины...

На втором этаже на крохотной площадке рядом с дверью в нашу квартиру была дверь в ещё одну квартиру, в которую никто из нас никогда не заглядывал, хотя при встрече с её жильцами, мы с ними, а они с нами доброжелательно здоровались. В этой квартире жило несколько (мы никогда толком не знали, сколько именно) женщин разного возраста, «из простолюдинок».

Мы не знали, где они работали и работали ли вообще. Наверное, где-то работали или числились: ведь иначе им не давали бы продовольственных карточек. Мы не знали, в каком родстве они находились между собой. Соседки вели весёлую жизнь. К ним ходили гости мужского пола, из-за двери неслись то песни, то ругань.

...Один раз (это было уже весной сорок пятого перед самым окончанием войны), отправившись утром по своим делам, мы увидели во дворе у самого нашего крыльца танк Т-34, на котором, видать, прибыли вчерашние вечерние, но задержавшиеся до утра гости...

По Староконюшенному наш домик числился под номером 17. Вход в проходной двор, ведущий их этого переулка в М. Власьевский, был образован расщелиной между Канадским посольством и огромным домом (Староконюшенный, 19), построенным в конце тридцатых годов. Все в округе называли его «Цековским», потому что в него селили ответственных работников, среди которых, наверное, сотрудники ЦК превалировали. По М. Власьевскому переулку наш домик шёл под номером 8.

Мария Григорьевна и Абрам Миронович родились и провели своё детство и юность в Одессе. К моменту нашего брака с Галей каждому из них было около пятидесяти лет. До начала Первой мировой войны они успели пооканчивать гимназии и выбрать специальность: оба были математиками. Мне это imponировало особенно.

Отец Абрама Мироновича Меир Лопшиц был учителем чистописания на русском языке в еврейской гимназии Иглицкого в Одессе. Эту гимназию создал и был её директором Михаил Иглицкий. Его цель состояла в том, чтобы дать еврейским юношам возможность получать среднее светского образование без препоны, создаваемой знаменитой пятипроцентной нормой. А следовательно и с возможностью поступать в университеты. Иглицкому удалось создать образцовое учебное заведение с уникальным коллективом преподавателей. Собственная его судьба сложилась ужасно. В конце 1910 г. во время студенческих беспорядков в Новороссийском уни-

верситете (так назывался Одесский) был застрелен его восемнадцатилетний сын Илья, а через год с небольшим на могиле сына не перестававший тосковать по нему отец покончил жизнь самоубийством. Созданная М. М. Иглицким гимназия продолжала блистательно функционировать и после гибели своего основателя и первого директора.

Меир Лопшиц был старше своей жены Мирры на 18 лет. А ей в момент выхода замуж было 12. Первого своего ребёнка Мирра родила в 13 лет, и по малости лет не хотела кормить его грудью. Для этой обязанности её приманивали куклами и конфетами. Затем она родила ещё девять. Некоторые умерли в детстве, некоторые — в годы гражданской войны.

Я знал только троих сестёр Абрама Мироновича. Он был их младшим братом. Когда время пришло, маленький Абрам стал гимназическим учеником своего отца и впоследствии писал свои многочисленные научные сочинения, частные письма и официальные бумаги очень ровным, красивым и быстрым почерком.

Заработка учителя чистописания Меира Лопшица хватало для того, чтобы содержать большую семью и дать детям образование. Мирра, чуть повзрослев, проявила необыкновенные человеческие качества: доброту, ум, ответственность. В семье считали, что именно её натуру унаследовал Абрам Миронович. Семья учителя Лопшица жила на Дворянской улице.

Мария Григорьевна окончила одну из одесских женских гимназий. О её родителях мне неизвестно ничего. Я познакомился только с её двумя старшими сёстрами, о которых ещё расскажу.

Первыми учителями Марии Григорьевны и Абрама Мироновича в математике в гимназиях и в университете были видные представители Одесской математической школы: Самуил Осипович Шатуновский и Вениамин Фёдорович Каган. Первый из них умер во время или вскоре после Гражданской войны, а В. Ф. Каган в начале двадцатых переехал в Москву и стал профессором кафедры «Дифференциальная геометрия» мехмата. В мою бытность студентом Вениамин Фёдорович был уже — по тогдашним меркам — очень стар, лет семидесяти пяти. Он вёл только спецкурсы и научные семинары. Он автор фундаментального труда «Теория поверхностей».

Мария Григорьевна и Абрам Миронович довольно много рассказывали о первых революционных месяцах в Одессе и в близлежащих районах. Воспроизведу только один из их рассказов, живописующий тогдашнюю атмосферу, помноженную на Одесский колорит, и, как оказалось, странно напоминающий политические бурления в Москве в конце восьмидесятых.

Сразу после Февральской Революции образовались домовые комитеты во главе с выборными председателями. Председатель домкома, в ведение которого входил дом, где жил кто-то из моих тестей, очень увлёкся бурной политической жизнью, расцветшей в первые месяцы свободы. На дню в разных частях города проводилось несколько политических митингов, организовывавшихся разными политическими партиями.

Председатель домкома, о котором речь, старался не пропускать ни одного, имея целью определиться в своей политической принадлежности. От этого его стремления очень страдало техническое состояние дома. Но председателю эти недочёты его должностной деятельности на фоне его политических забот казались мелочью, и он, несмотря на нарекания жильцов, о доме заботиться и не думал. Один раз, вернувшись с очередного митинга и встретив у дома кого-то из жильцов, он сказал: «Ой, сегодня я что-то эсер!». Кем он стал на другой день, а главное, лет через пять — неизвестно.

К началу двадцатых годов Мария Григорьевна и Абрам Миронович прошли полный или почти полный курс Университета. Эта учёба прерывалась перипетиями Гражданской войны, многократными переходами Одессы из одних рук в другие, необходимостью из Одессы уезжать в другие города Южной России. К тому времени эти переезды они совершали уже в качестве мужа и жены.

Вскоре после того, как утихли штормы гражданской войны, они — по дороге, проложенной их старшими коллегами по профессии и друзьями Я. С. Дубновым и В. Ф. Каганом — переехали в Москву. Во всяком случае, уже в Москве между Абрамом Мироновичем с Марией Григорьевной и их учителем Вениамином Фёдоровичем сохранялись очень тёплые отношения, распространявшиеся на дружбу между всеми членами этих семей в трёх поколениях. Дружба связывала Лопшицев и Я. С. Дубнова и была с малолетства унаследована их дочерьми Галей и Викой.

Одним из следствий выдающихся качеств семьи Лопшицев-Шестопал стало качество их окружения. В него входило много неординарных в творческом, интеллектуальном, духовном и нравственном аспектах людей. О некоторых из них я ещё расскажу особо. Высокий дух царил в этой семье и проступал во всех их делах и суждениях — и в случае, если речь шла о феноменах в области политики и культуры или о конкретных текущих проблемах профессиональной деятельности, и тогда, когда обсуждалось, как помочь попавшему в трудное положение другу, и при обсуждении подарка другу по случаю дня его рождения, и, наконец, если речь шла о покупке продуктов по карточкам или о складе, на котором выдают дрова по ордеру.

Карточки и ордера — на дрова, одежду и прочие блага — продолжали занимать в жизни немалое место. Кое-что об этих механизмах я рассказывал. Продолжу этот рассказ и войду в некоторые детали. Выдачей продовольственных карточек, в частности, карточек на хлеб занимался домоуправление. Каждое домоуправление перед началом каждого месяца выдавало карточки жильцам подведомственных ему домов. Для получения карточек жилец должен был быть по месту своего жительства прописан. Прописка была прерогативой органов милиции. Изменить место прописки было непросто: прописка давала разные права, в том числе право на жилплощадь и на проживание в данном населённом пункте. По счастью, реальная надобность в изменении места прописки в пределах одного населённого пункта возникала у граждан редко. Я оставался прописанным в доме 35 по Арбату и свои карточки получал там.

Продуктовую карточку надо было «прикреплять» к одному из продуктовых магазинов, расположенных в административном районе местожительства владельца карточки. Это же относилось и к хлебной карточке: её надо было прикреплять к булочной. Потом в течение месяца можно было покупать продукты и хлеб только в том магазине (булочной), к которому твои карточки были прикреплены. Чтобы прикрепить карточки на очередной месяц, надо было в последние два—три дня предыдущего месяца снести их в контору выбранного магазина, и там на карточку ставили штамп. Для этого надо было обычно выстоять большую очередь.

Кроме самих карточек и паспортов членов семьи, для прикрепления надо было принести из своего домоуправления так называемую «стандартную справку», в которой лишний раз удостоверялось, что семья в таком-то составе прописана по такому-то адресу. Зачем нужно было это бюрократическое излишество (ведь штамп, удостоверяющий прописку, стоял в паспорте) — непонятно.

За продуктовыми магазинами в среде покупателей закреплялась репутация. По одному и тому же талончику, на котором было написано «мясо», в одном магазине можно было исхитриться купить действительно натуральное мясо или мясные консервы, а в другом — весь месяц продавали яичный порошок, ввозимый американцами по ленд-лизу, и который москвичи постепенно начали ненавидеть — а зря.

К хорошему магазину прикрепляли, как правило, тех, кто уже был к нему прикреплен в прошлом месяце. Новеньких брали по специальному блату. Так складывалась потребительская элита и потребительское быдло. Нам подфартило: мы были прикреплены к хорошему продовольственному магазину номер 34, расположенному на углу Б. Афанасьевского и Арбата.

Абрам Миронович магазинных дел не чурался: и карточки иногда ходил прикреплять, и ходил, если надо, покупать продукты («отовариваться»). Впрочем, чаще эти хлебно-продуктовые дела исполняли молодые — мы с Галей.

Как-то, отправившись за покупками рано утром и вернувшись ещё до завтрака, я объявил, что на все те мясные талоны, которые к этому дню можно было отоварить (купить в начале месяца всю месячную норму, скажем, сахара, было нельзя; талоны были перенумерованы и становились действительными постепенно) я купил тот продукт, который остался на прилавке к тому моменту, когда я, отстояв очередь, к прилавку, наконец, подошёл. Хотя покупать такой продукт (что-то вроде селёдки или уже упоминавшегося яичного порошка) на все мясные талоны было явно бесхозяйственно: разумнее было бы отложить отоваривание этих талонов на один из следующих дней, когда, снова посетив магазин, я, быть может, обнаружил бы, что на эти талоны «дают» что-нибудь потолковее. Такая мудрая неторопливость награждалась приобретением на тот же талон более удачного продукта, но для этого надо было снова отстоять очередь.

Я делал мой отчёт о походе в магазин за завтраком. Абрам Миронович тоже был за столом. О моём непрактичном, но по-аристократически и поинтеллигентному лёгком и небрежном решении купить на все талоны дурацкий порошок я рассказывал несколько рисуясь (вот как я пренебрёг заботами низкой жизни!) и с хохотком. Мария Григорьевна и Галя улынулись и более моего рассказа не комментировали.

Но я был совершенно поражён, когда не менее интеллигентный, чем я, Абрам Миронович моего интеллигентно пренебрежительного отношения к проблеме не разделил, а со всей характерной для него внятностью и точностью речи сказал, что моё решение купить на ценные талоны чепуху он считает неправильным; что я, экономя мои силы и время, на несколько дней заметно ухудшил и без того скудное питание других членов семьи, и — что особенно неуместно — стал рассказывать об этом моём решении столь развязным и игривым тоном; что меня ещё можно было бы понять, если б в это время была сессия или если б я был болен, а кроме меня на другой день в магазин заведомо идти было бы некому. И так далее.

Я обалдел от самого факта неодобрения моих действий и насупился. Это было первое замечание, которое я получил от Абрама Мироновича. Потом, за тринадцать лет совместной жизни, я получил их ещё несколько, и о двух из них расскажу чуть ниже. Справедливость и уместность замечаний Абрама Мироновича и их благотворное влияние на формирование моей личности я начал ценить позже, и теперь вспоминаю эти сцены с огромным удовольствием и благодарностью к этому добрейшему и умнейшему незаурядному человеку.

Время от времени мы с Абрамом Мироновичем делали хозяйственные дела вместе. Обычно — когда они требовали двойных физических усилий или когда их сподручно было выполнять вместе в силу их технологии. Например, мы вместе раза два—три в зиму ездили за дровами для наших печек.

Дрова получали со склада по ордеру, который выдавали в домоуправлении. Мы с Абрамом Мироновичем брали большие сани (не помню, были они собственные или мы их одалживали) и отправлялись — пешком, тая санки за собой — на склад, располагавшийся между зданием Киевского вокзала и рекой.

Мы шли пешком и разговаривали. У Абрама Мироновича всегда была тема для беседы. Бывал инициатором темы и я, но чаще — он. Большею частью тема была математическая. Либо Абрам Миронович расспрашивал меня о том, как преподносит свой предмет тот или иной лектор на мехмате, а с большинством из них он был хорошо знаком, либо рассказывал мне что-нибудь сам. Это мог быть его собственный подход к построению той или иной сферы математики или его собственные результаты. Он считал себя геометром. Я думаю, что таким обозначением своей специализации Абрам Миронович подчёркивал, что он происходит из школы В. Ф. Кагана.

На самом деле главный круг интересов Абрама Мироновича лежал в линейной алгебре. Но он очень интересовался и приложениями линейной алгебры к решению систем линейных дифференциальных уравнений, и теорией линейных дифференциальных операторов и их приложениями к уравнениям Пуассона и Лапласа. Интересовался он — что не характерно для «чистого» математика — и методами построения курса теоретической механики. Занимался он теорией упругости и пластичности. С другой стороны, он был не чужд классической начертательной геометрии и активно участвовал в работе общемосковского научного семинара по этому предмету, руководимого профессором Четверухиным.

Но мы с ним вполне могли затеять разговор о Стефане Цвейге или о седьмой симфонии Бетховена. Так что, идти за дровами, а также в любое другое место было поучительно и интересно. Однако, в тот момент, когда мы пересекали ворота склада, Абрам Миронович обычно произносил такую фразу: «Теперь давай на время прервёмся и включимся в жизнь этого учреждения». Может, именно так он сказал только один раз, а эта фраза запомнилось мне своей приложимостью ко многим сходным ситуациям: действовал он в соответствии с этой фразой, действительно, всегда.

И мы, прервав наш разговор, включались со знанием дела в жизнь дровяного склада. По правилам склада, клиенты бродили по его территории и сами нагружали свои сани дровами. Потом они везли их к выходу, где стояли контролёры, которые брали у клиентов их ордера и измеряли количество дров в санях. Если был серьёзный излишек, его с саней сбрасывали, если недостаток, то его можно было пополнить за счёт излишних дров, сброшенных с саней других клиентов.

Прежде всего мы старались выбрать поленницу с хорошими дровами: лучше всего — берёзовыми, но такое находить удавалось не всегда. Осиновые старались не брать. Берёзовые сыроватые были лучше сухих осиновых. Старались, чтобы выбранные брёвна (они были длиной метр с лишним) были ровненькие — тогда между ними было меньше пустот, старались, чтобы поленья не были суковатые — дома их будет легче пилить и колоть и пр. Мы старались сделать всё наилучшим образом, покидали склад и возвращались к прерванному разговору о собственных значениях симметрических матриц.

Наша квартира № 6 имела перед двумя другими квартирами дома серьёзное преимущество: уже упомянутая выключенная из дела парадная лестница, ведущая к нашим трём комнатам. Из квартиры она спускалась вниз в большие сени; в эти сени выходила и парадная дверь нижней квартиры, но эта дверь была забита. Была забита и парадная дверь из сеней во двор. Было разрушено и крыльцо.

Таким образом, частью квартиры № 6 явочным порядком стало довольно большое, правда, не отапливаемое помещение: лестница с угловым изломом вниз и нижние сени из двух отсеков. Соседки по квартире — Юлия Петровна и Фуфа — этим внешним по отношению к квартире пространством не интересовались. Не заявляли своих прав на сени и соседи из нижней квартиры. Таким образом, двухэтажная лестничная клетка в два марша с площадкой и двумя довольно просторными сенями использовалось только нашей семьёй. Она служила нам дровяным складом и хранилищем всякого барахла.

...В середине пятидесятых, когда в доме оборудовали центральное отопление, радиаторы поставили и в ближнем к лестнице отсеке сеней. Эта комнатка с окном стала тёплой, и я, занявшийся к тому времени любительской живописью, устроил там мастерскую, в которой писал натюрморты и хранил холсты и краски (рассказ об этой стороне моей жизни — впереди). А ещё позже, в середине шестидесятых, в этом маленьком закутке стали жить мой к тому времени повзрослевший сын Саша с женой Лидой Гончаровой...

Итак, в сенях были наши дрова, и там мы с Абрамом Мироновичем их пилили, я их колол, легкомысленно не боясь разрушить древний дощатый пол. Принеся охапку наколотых дров наверх к нашей печурке, я часто колол их дополнительно. Иногда нижние соседи протестовали, но серьёзных конфликтов не было.

Как-то Мария Григорьевна получила на своей работе в военной академии какие-то дополнительные к карточкам и особо привлекательные талоны на овощи. Их надо было отоваривать где-то на Новослободской. В эту экспедицию на двух трамваях с пересадкой мы с Абрамом Мироновичем поехали вдвоём (в одиночку никому из нас было бы не справиться) и взяли с собой санки (поменьше, чем дровяные) и несколько мешков. Мы получили в магазине на наши талоны пару десятков килограммов свёклы, капусты и моркови и разложили их по мешкам. От магазина до остановки первого трамвая, от остановки одного трамвая до остановки другого и от остановки последнего трамвая до дому мы волокли мешки на санках. В трамваях мы мешки с санок снимали, укладывали их на полу трамвая друг на друга, а пустые санки ставили вертикально — всё это, чтобы занимать меньше места в переполненном вагоне. Многие пассажиры ездили с такого рода грузами и друг на друга за причиняемые неудобства, как правило, не сердились.

Нормировались не только продукты. По карточкам и ордерам продавались предметы одежды («промтовары») и гигиены, например, мыло. Было ограничение («лимит») и на потребление электроэнергии. Власти устанавливали на квартирных электросчётчиках специальные автоматические устройства, которые выключали электричество, как только суммарная мощность тока, потребляемого одновременно включёнными электроприборами (лампы, плитки, камины и т. п.) превышала установленный для данной квартиры лимит. Если часть приборов жильцы выключали, и потребляемая мощность опускалась до разрешённого значения, подача электричества возобновлялась.

Лимит на электроэнергию был весьма болезненным: в коммунальной квартире газовых горелок не всегда хватало, и приходилось использовать и электроплитки. Даже в нашей малонаселённой квартире свет то и дело гас: выяснялось, что электроплитки включены и у нас, и у соседок, и лимит превзойдён.

Но вот кто-то из наших знакомых, физик или инженер, придумал, как надо соединить коротеньким и незаметным проводочком некоторые клеммы электросчётчика, в результате чего автоматический страж лимита отключался. Среди тех, с кем интеллектual поделился своим изобретением, были и мы. И не замедлили им воспользоваться.

При использовании хитрого проводочка отключался не только ограничитель, вырубавший электричество в случае превышения лимита, но и сам счётчик, так что электроэнергия, потреблённая в период, когда преступный проводочек находился в рабочем состоянии, счётчиком не учитывалась и оставалась неоплаченной. Нас такая кража государственной электроэнергии не смущала. Проводочек мы вешали не всегда, так что уровень потребления электроэнергии нашей квартирой был вполне правдоподобным и подозрения у электрических контролёров не вызывал: мы знали край и не падали.

Контролёры, периодически приходившие снимать показания счётчика, нашего хитрого проводочка не замечали, даже если он в этот момент и был накинута и своё дело делал. Счётчик у нас висел на стене тёмной парадной лестницы, и контролёр, чтобы снять показания, пользовались маленьким электрическим фонариком, направляя узкий луч на окошечко с цифрами. Через это же окошечко был виден ободок горизонтального колёсика, которое вращалось тем быстрее, чем больше была сила проходившего через счётчик тока. Если было выключено всё, то колёсико стояло.

Контролёры приходили обычно днём, и если видели, что колёсико стоит, то относились к этому спокойно: стоит, потому что не горят лампы. Но как-то контролёр пришёл в сумерки, лампы были зажжены, а колёсико, на которое упал взгляд контролёра, не вертелось. Через пару секунд догадливый контролёр обнаружил наш проводочек. Он начал было составлять гибельный для нас протокол, но под воздействием солидной взятки унялся. С того дня мы проводочком не пользовались.

С Абрамом Мироновичем меня сближали еженедельные походы в баню: ванной в квартире не было. Мы ходили в Центральные или в Сандуновские бани. Они были построены ещё в дореволюционные времена. И те, и другие располагались в центре города, и мы обычно ходили туда пешком. В руках каждого из нас был портфель или иной узелок с чистым бельём, мылом и мочалкой.

Я в этих банях бывал несколько раз в детстве с папой. Эти посещения были очень редкими: у нас в квартире какая-никакая газовая колонка в ванной была, и насущной необходимостью баня не стала. Папа интереса к баням как к средству удовольствия и проведения досуга не испытывал, и отправлялся туда со мной только если газовый нагрев воды в нашей ванной выходил из строя надолго.

Центральные бани располагались в Театральном проезде. Это была группа невзрачных корпусов, непосредственно с проезда не видная. Пройти к ним можно было через узкий проход между домами — примерно напротив «Метрополя». Этот проход был бы совершенно не замечен, если б не висящая над ним вертикальная вывеска «Центральные бани». Вечером эта надпись светилась.

Сандуновские бани были на Неглинной. Входящие в их состав корпуса были, как и корпуса Центральных бань, незрчны и тоже с улицы видны не были, а скрывались за большим, построенным в стиле модерн зданием, в котором размещался главный нотный магазин Москвы. Именно в этом здании помещалась каморка, в которой жили Юрик Гастев с мамой.

Центральные и Сандуновские бани были островами комфорта и внимания к клиентам среди моря дискомфорта и пренебрежения к нуждам людей, характерным для советского периода вообще, а в военные и послевоенные годы — в особенности. Эта оценка относится и ко многим другим баням Москвы, но таких чудес, как в Центральных и в «Сандунах», больше не было нигде.

Касса, продававшая билеты в баню, была чем-то вроде будки св. Петра, открывавшего врата рая. Чтобы дойти до неё и пережить счастье приобретения входного билета, надо было, как правило, отстоять, находясь ещё на грешной советской земле, очередь. Иногда очередь была поменьше и вся умещалась в нижнем вестибюле здания, иногда — по-больше и располагалась своей основной длиной на улице и проникала в помещение небольшими порциями томительно медленно.

Но вот, купив за небольшую плату билет, вы проходили через контроль и сдавали верхнюю одежду в раздевалку. При этом вы получали номерок, который потом надо было уберечь от потери или кражи. Затем, поднявшись по мраморной лестнице, вы попадали на площадку второго этажа и через огромную роскошную дверь попадали в предбанник.

В высших разрядах обеих бань, о которых я веду речь, центральное пространство предбанника занимали ряды длинных (от стенки до стенки) плюшевых красных диванов, покрытых полотняными белыми чехлами. Найдя на таком диване свободное место, клиент попадал под опеку служителя, управлявшего жизнью этого уголка предбанника. Такой служитель назывался пространщиком. На одного пространщика приходился участок диванов на десятка полтора клиентов. Пространщики были в белых халатах.

Кроме диванов в центральной открытой части предбанника, вдоль его боковых стен были устроены двухместные кабинки (диванчик против диванчика), похожие на купе международного вагона, только без двери, а с небрежно задёрнутой занавеской. Свободным местом в такой кабинке мог воспользоваться любой клиент. Мы с Абрамом Мироновичем возможность попасть в такую изолированную кабинку ценили, ибо изолированность была одним из важных дефицитов, сопровождавших жизнь советского человека. Ради этой недолговечной изолированности мы, войдя в предбанник, прежде всего обходили его по периметру, и если обнаруживали пустую кабинку, то занимали её, а если пустой не было, то мы заглядывали через полуоткрытые занавески во все занятые кабины, и пытались понять, не находятся ли занимающие её клиенты в завершающей фазе одевания. Если нам казалось, что вероятно клиенты скоро кабину покинут, то мы около такой кабины останавливались и поджидали её освобождения.

Пространщик неформально следил за сохранностью вещей клиентов, ушедших в мыльное помещение. Он же брал на хранение бумажники с деньгами и документами и, что существенно, номерок из гардероба. Клиент, прежде чем уйти мыться, мог отдать через пространщика свой костюм, чтоб его отутюжили, и своё грязное бельё, чтобы его выстирали и выгладили. Такого рода заказы стоили недорого и выполнялись часа за два, т. е. примерно за то время, что умеющий пользоваться баней клиент успевал насладиться всеми возможностями, предоставленными ему за его

трёхрублёвый билет (батон белого хлеба стоил рубль сорок). Бельё в стирку мы с Абрамом Мироновичем не отдавали, а костюмы гладить случалось.

В мыльне были мраморные скамьи — на двоих каждая, и, попав туда, мы высматривали свободную, а если было надо, то и дожидались, когда такая появится. Поражало, что ни инвентарь, ни ресурсы не были никак нормированы. Каждый посетитель мог взять в пользование любое количество шаек и истратить любое количество холодной и горячей воды.

Кроме главного процесса, базирующегося на шайках и кранах, клиент мог без дополнительной платы получить и иные услуги. Можно было сразу или после недолгого ожидания войти в один из десятка душевых отсеков и после этого неограниченное время пользоваться этим чудом, стоя и извиваясь под регулируемой струёй. В мыльном помещении было несколько обычных ванн, и, дождавшись свободной ванны, клиент мог пользоваться ею сколь угодно долго, расходуя любое количество горячей и холодной воды..

К главному мыльному помещению примыкал зал, а в нём был выложенный мрамором большой бассейн с проточной прохладной водой. Глубина бассейна была небольшой, но в некоторых его участках становилась достаточной, чтобы поплавать. В бассейн можно было не только спускаться по лесенке, но в некоторых местах и нырять в него с бортика.

В мыльном помещении была дверь, ведущая в парилку. Мы с Абрамом Мироновичем её минут на пятнадцать посещали, но оставались на самой нижней лавке. Настоящие умельцы и любители забирались на верхние полки и хлопали себя вениками, которые обмакивали в холодную воду. Веники продавали крестьянского вида люди на улице перед входом в баню. Время от времени кто-нибудь из знатоков набирал шайку воды и ловким движением забрасывал содержимое шайки в жерло, за которым находились раскалённые камни. В результате посетители парилки вдыхали воздух, пропитанный большим или меньшим количеством пара.

Все описанные выше приспособления были рассчитаны на то, чтобы клиент использовал их собственноручно. Но была ещё возможность воспользоваться услугами банщика. Так назывался служитель, который клиента мыл. Банщики принимали клиентов на нескольких скамьях, сосредоточенных в одном из углов мыльного помещения. Банщики выделялись среди других находившихся в помещении мужчин тем, что были не совершенно голыми, а носили на чреслах маленькие клеёнчатые переднички. Очередь к банщикам если и была, то очень небольшая.

Услуги, оказываемые клиенту банщиком, мы с Абрамом Мироновичем оказывали друг другу сами и к посторонней помощи не прибегали. Хотя, как я однажды понял (об этом чуть ниже), мы действовали не так квалифицированно, как профессиональные банщики. Цена услуги банщика была вполне доступной (она стоила пять рублей). Но каждому из нас казалось диковинным и даже неэтичным (мы эту тему и не обсуждали) нанимать чужого человека для столь интимного ухода за собственной персоной.

Но как-то вышло, что я отправился в баню один. Сознывая, что делаю нечто предосудительное, я решил попробовать на себе, что такое банщик. Он возился со мной минут десять. За это время он вымыл меня с головы до ног, веля то сесть на скамью (мытьё головы), то лечь на спину, то на живот, то поднять руку, то — ногу. Банщик намазывал меня моим мылом и моей мочалкой. Воду в шайках он таскал сам. Всего на меня он израсходовал не менее десяти шаек воды. Со мной банщик не разговаривал, а только подавал мне команды. Это напоминало действия чистильщика

сапог дяди Вани, который командовал переменной ног клиента. Возможно, что у банщика были постоянные клиенты, с которыми он и беседовал на отвлечённые темы. В процедуру входил лёгкий массаж рук, икр и спины — в виде разминаний, потираний и постукиваний ребром ладони.

Закончив своё дело, банщик спросил, где я раздевался, и через некоторое время пришёл к моему месту в предбаннике получить свой гонорар. Я больше к банщикам не обращался, а Абраму Мироновичу о моём барском опыте рассказать не решился.

Массаж, сделанный мне банщиком в Сандунах, был, несомненно, не столь энергичным и изощрённым, как тот, которому в тифлиских банях подверг Пушкина банщик Гассан и который Пушкин описал в повести «Путешествие в Арзрум». Там же Пушкин пишет ещё об одном своём сильном впечатлении. В силу странного устройства тифлиской бани, мужчины проходили в своё отделение через женскую раздевалку. Для Пушкина это было неожиданностью, поразившей и развлёкшей его. Он успел заметить, что среди полуодетых и совсем не одетых женщин есть замечательные красавицы, и что никого из находившихся в этой раздевалке женщин взгляды проходивших мимо них мужчин не смутили. Московские бани были устроены иначе, и нам через женскую раздевалку проходить нужды не было.

...Рассказ Пушкина о необычном зрелище в тифлиской бане даёт мне повод рассказать и о моём сходном опыте. В 1995-м году мы с Машей гостили в Гёттингене у Эдиного сына Серёжи Колмановского, живущего в Германии с начала девяностых. Через пару дней после нашего приезда Серёжа сказал, что собирается завтра в сауну. Он объяснил, что в Германии регулярные посещения сауны очень приняты, несмотря на совершенство сантехнического оборудования любой квартиры в любом доме. Сауну немцы посещают в оздоровительных целях. Серёжа пригласил меня сходить вместе с ним, рассказав о специфическом зрелище, которое меня ожидает.

В немецкой сауне мужчины, в отличие от посетителей тифлиской бани, описанной Пушкиным, не проходят через женскую раздевалку. Каждый пол пользуется своей — с отдельным входом из вестибюля. Раздевшись врозь, взяв с собой полотенца, простыню, накинув, быть может, халат, оба пола сходятся в одном помещении, в котором сосредоточены водные процедуры: души и — за особой дверью — парная с несколькими лавками. Парная обогревается сухим паром температурой под или чуть за 100 °С.

Посетители чувствуют себя свободно. Всё напоминает клуб. Завсегда-тай обоих полов беседуют друг с другом непринуждённо, а незнакомые — только лишь приветливо здороваются и прощаются со всеми. Там можно встретить и супружеские пары. Они то драпируются в простыню, то по надобности (пойти под душ или в парную) или по прихоти сбрасывают её с себя и, оставшись в чём мать родила, продолжают своё дружеское общение и другие дела.

В тот день в сауне собралось человек пятнадцать разных возрастов — от тридцати и выше. Они не стеснялись не только своей наготы, но и открывавшихся ею недостатков телосложения. В парной дамы и господа вкушают блаженство, лёжа на соседних скамьях, прикрыв полотенцами только свои головы. Я в парилку зайти не рискнул, опасаясь, что Кондратий хватит, и поэтому смог в той сауне воспользоваться только душем и необычным зрелищем...

Вернусь к московской бане. Выйдя из мыльного помещения в предбанник, клиент говорил пространщику: «Простыню, пожалуйста». На это обращение пространщик доставал из шкафчика запечатанный полотняный

пакетик, вскрывал его на глазах клиента, доставал оттуда и разворачивал большую простыню, накидывал её на клиента, подошедши к нему сзади, хлопал его между лопатками и говорил: «С лёгким паром!». Цена этой услуги была небольшой и её учитывали, прикидывая, сколько чаевых пространщику оставить.

Ещё до того, как одеться, распаренный клиент мог отправиться к «мозолисту», делавшему педикюр. Я подробностей не знаю, так как ни я, ни мой тесть этой услугой ни разу не пользовались. В предбаннике была парикмахерская, в которой до мытья тебя могли постричь, а после — побрить (в те времена многие дома не брились).

И последнее. Выйдя из предбанника в вестибюль, клиент мог задержаться в буфете. Обстановка была прекрасная. Со старых времён здесь возвышались статуи нимф или кого-то в этом роде. Мраморные столики были уже советские, на железных ножках, попроще. Буфет был уже совсем привычно советским. За стойкой стояла буфетчица, а в ассортименте были только бочковое пиво или квас в кружках-фонарях и какие-нибудь бутерброды с подсохшим сыром. Но можно было, выйдя только что из мыльни и завёрнувшись в простыню, попросить пространщика принести пару кружек из буфета и выпить это пиво на манер римского сенатора. Конечно, стоимость пива и этой услуги также приплюсовывалась к чаевым.

Мы тратили на баню — на путь к ней, очередь к кассе и на пребывание в собственно бане — часа три—четыре, и то разговаривали о разных разностях, то «включались в жизнь этого учреждения», детали которой я выше описал. И хотя в это моё описание пересказ наших разговоров не вошёл (это было бы невозможно), именно они, хоть и не будучи, в отличие от гигиенических причин, целью наших походов в баню, составляли их главную прелесть.

Мария Григорьевна и Галя ходили в баню только примерно раз в месяц. Их стимулом была возможность совместить основательное мытьё головы с посещением парикмахерской. Но зато они умудрялись чуть ли не каждый день, выбрав утром подходящий момент, устраивать себе омоложения на кухне — разогрев на газовой плите кувшин воды и пользуясь табуреткой и тазиком.

У Лопшицев была дача по Казанской дороге — в Ильинке или в Удельной. До войны этой дачей Лопшицы широко пользовались в летние месяцы. Но после возвращения из эвакуации они туда даже ни разу не заглянули. Тем более, что возникли отвлекающие события, из которых главным было замужество их дочери и появление в доме зятя. На самом деле это была не дача, а поддачи. Дом был поделён, и второй частью дома владел некто Михаил Леонтьевич Курс, который тоже в летние месяцы жил на даче с женой и сыном Митей, Галиным сверстником. У Гали и Мити был даже детский роман. Этому способствовало и то, что в городе Курсы жили на Никитском бульваре, и дети могли общаться и зимой. Галя и её родители время от времени поговаривали о том, что надо бы дачей заняться и начать ею пользоваться. Но — руки не доходили.

А тут вдруг возник Михаил Леонтьевич. Он сказал, что дача в очень плохом состоянии, что восстановить её ни у него, ни у Лопшицев ни сил, ни денег не хватит, а между тем он нашёл на дачу покупателя, у которого, видимо, есть возможность привести дачу в порядок. Но покупатель хотел купить всю дачу целиком, и Курс стал уговаривать Лопшицев продать и их часть. Доля, которую получили бы Лопшицы, составляла 25 000 рублей. Звучала эта сумма неплохо, но в стране была карточная система,

а на рынке цены были такие, что на эти деньги можно было бы прожить не более года.

И всё-таки, под влиянием речей Курса и из желания иметь небольшой денежный резерв, Лопшицы на продажу своей части дачи согласились. В процессе этих переговоров мы все встречались — то в Старокопюшенном, то у Курсов на Никитском. Митя в это время был курсантом Военно-Медицинской Морской Академии, расположенной в Ленинграде. Во время одной из деловых встреч он оказался в Москве, и я увидел моего бывшего соперника. Выглядел он гораздо лучше, чем я. Он был довольно высок и красив, в морской курсантской форме и с кортиком на поясе. Дача была продана, а как были потрачены деньги, я даже не уследил.

Вот одна из историй о довоенной дачной жизни, рассказанная мне Абрамом Мироновичем. В летний сезон образовывалась детская компания: Галя, Митя и дети с соседних участков. В какой-то момент дети стали пренебрегать своими мячами и велосипедами и увлеклись игрой в подкидного дурака. Они расположились за садовым столиком и часами предавались бессмысленному и огорчавшему взрослых занятию. Увещевания детьми услышаны не были.

Сперва взрослые приуныли, но как-то Абрам Миронович заметил, что кончив, наконец, игру (звали к обеду, к ужину или спать), дети оставили мерзкую колоду на столике, за которым играли. Абрам Миронович поздно вечером вышел на участок и эту колоду забрал. На другой день дети поискали под столом пропавшую колоду, не нашли её и пошли играть в волейбол. Но кто-то из детей попросил, наверное, у родителей, чтобы те купили новую колоду. Дети снова провели весь день за карточной игрой, но вечером Абрам Миронович снова обнаружил на столике брошенную колоду. И он снова похитил её. Через несколько дней у детей появилась новая колода, которую постигла та же участь. Промежутки времени между исчезновением предыдущей колоды и появлением следующей удлинялись, и, наконец, после очередной учинённой Абрамом Мироновичем кражи дети к карточной игре больше не вернулись никогда.

На фоне всей бытовой житейской повседневности военной Москвы проходила повседневность профессиональная и культурная. Мы с Галей учились в Университете: ходили на лекции и семинары, занимались дома, сдавали экзамены. Абрам Миронович вёл преподавательскую работу. Но у него были не только студенты, но и аспиранты. Особенные надежды в те сороковые годы подавал его аспирант Лёва Атанасян — интеллигентный красивый молодой армянин, женатый тогда на Вере Мартинович. Она тоже была толковым математиком.

Мария Григорьевна готовилась к занятиям со слушателями и почти каждый день ездила на занятия в свою Военную Академию Химической Защиты. Она была уважаемым доцентом кафедры математики. Этой кафедрой много лет заведовал профессор Анисим Фёдорович Бермант. Он не был крупным учёным-математиком, но был автором очень известного в течение многих лет курса математического анализа для втузов. Некоторое время после ухода Берманта (не помню точно когда и по каким причинам он ушёл) кафедрой руководила Мария Григорьевна.

Упомянув Берманта, я не могу не привести здесь такой эпизод, о котором Анисим Фёдорович Бермант рассказал своей близкой сотруднице Марии Григорьевне сразу на другой день после того, как он произошёл. Вечером 22-го июня 1941 г. взрослые члены семьи Бермантов с тревогой обсуждали страшные вести о первых бомбёжках и о неожиданных

потерях. В той же или в соседней комнате стояла кровать, в которой засыпал их трёх- или четырёхлетний сын Миша. Во время разговора, когда взрослые думали, что мальчик уже спит, маленький Миша вдруг горько и громко заплакал. Встревоженные родители подбежали к нему и спросили, почему он плачет. И Миша, всхлипывая, ответил: «Бедная наша Родина». Эта простая и точная фраза маленького ребёнка сопровождает всю нашу жизнь — до сих пор.

Вскоре после этого эпизода Анисим Фёдорович Бермант и Мария Григорьевна разъехались почти на два года — в разные места эвакуации и стали на своём трудном опыте ощущать истинность нехитрой Мишиной формулы. Лопшицы её запомнили хорошо, часто её по разным поводам (которых было премного) повторяли, и от них узнал её и стал часто повторять и я.

...Позже, в семидесятых годах я работал вместе с уже почти сорокалетним Мишей Бермантом в Центральном Экономико-Математическом Институте. Мы работали в разных отделах, но как-то раз мы оба оказались выбраны в состав месткома Института. Более того, я был председателем производственной комиссии месткома, состоявшей из двух человек, а Миша — её вторым рядовым членом. Я рассказал Мише о его формуле. Оказалось, что в семье Бермантов она не сохранилась, и о своей детской мудрости Миша узнал только от меня.

Ещё об одном коллеге Марии Григорьевны по кафедре. Его звали Борис Анастасьевич Кордемский. Он, как и Бермант, не имел серьёзных достижений в науке, но стал известен как автор очень хорошей книги «Математическая смекалка». Недавно я узнал от моего Саши, что Марию Григорьевну и Бориса Анастасьевича связывали две специфические для тех времён товарищеские услуги. Борис Анастасьевич был сыном священника, и в тридцатых годах его стали за это как-то дискриминировать. За него перед началом вступилась — и успешно — Мария Григорьевна, у которой анкета по тем временам была, в отличие от анкеты Кордемского, без изъянов. А в конце сороковых и в начале пятидесятых, когда гонения на евреев шли к своей кульминации, Борис Анастасьевич оказал симметричную услугу Марии Григорьевне. Он заменил её на посту завкафедрой и сумел сохранить её доцентом кафедры, несмотря на давление военно-химического начальства.

В 1999-м году Борис Анастасьевич скончался, дожив до глубокой старости и пережив свою коллегу по кафедре и судьбе. Незадолго до кончины он подарил моему Саше свою очередную книжку по популярной математике с дарственной надписью: «Дорогому отцу Александру от сына отца Анастасия». Об основаниях для употреблённого Борисом Анастасьевичем обращения к Саше я упоминал во Вступлении...

Значительную часть суток Абрам Миронович проводил за большим письменным столом, занимавшим главную часть «кабинета» — средней проходной комнаты. Я поставил слово кабинет в кавычки, потому что хоть в этом кабинете, действительно, стояли письменный стол Абрама Мироновича и шкаф с книгами, обстановка в нём была отнюдь не кабинетная. Через эту комнату беспрестанно проходили — либо в закуток Марии Григорьевны, либо на балкон, либо поискать книгу в шкафу, либо затопить печку, либо спросить что-нибудь у самого сидящего за своим письменным столом хозяина, либо позвать его к телефону, либо, войдя в дом, поспешить к нему поздороваться. Последнее относилось и к гостям, и к своим, и даже к тем, кто приходил не непосредственно к Абраму Мироновичу, а к кому-нибудь из членов его семьи.

Абрам Миронович никогда не протестовал против превращения своего кабинета в проходной двор. Он сам, сидя за своими занятиями, не мог, в силу своего характера, отключаться от того, что происходило вокруг него. Если до его слуха доходило что-то волнующее, интересное или тревожное, он свою работу прерывал и со свойственной ему горячностью и заинтересованностью «включался в жизнь этого учреждения», каковым на этот раз являлась его семья и её окружение.

Отнятое у него днём от занятий время Абрам Миронович обычно навёрстывал ночью. Дом и телефон (появившийся в сорок шестом году) утихали, а он сидел и писал статьи, готовился к занятиям, читал работы своих аспирантов. Зимой дома, особенно по ночам, было прохладно, и Абрам Миронович часто заворачивался от поясницы к ногам шерстяной шалью и в таком виде сидел за своим столом. Он называл это своё одеяние юбкой.

...Я про эту юбку надолго забыл. А когда наступила наша первая зима в Израиле, то вспомнил. В Москве, если на улице -10 , то зимний день — тёплый. А здесь характерные для зимы $+10$ воспринимаются как чрезвычайный дискомфорт. Объяснение простое. В Москве ты из -10 , которые ты пережил в тёплом пальто, приходишь домой в ласковые $+22$. А здесь ты из прохладных $+10$ (ты в куртке или в только в свитере), а тут ещё и ветер дует, переходишь в противные $+17$, которые поднять до $+22$ стоит немалых денег, и ты на этот расход не идёшь, а вместо этого — клянёшь израильскую зиму и дрожишь от холода. Вот тут я вспомнил про юбку и стал этим убором широко и плодотворно пользоваться — и сидя за компьютером, и сидя перед телевизором...

Абрам Миронович был не только увлечённым и знающим меломаном. Он сам был скрипачом-любителем. У него с давних времён была неплохая скрипка, которую он активно использовал. Во-первых, он — кажется, ещё с довоенных лет — играл в любительском симфоническом оркестре Дома Учёных, благо это замечательное учреждение находилось в нескольких минутах ходьбы от дома в Староконюшенном. Оркестром руководил дирижёр Садовников. Абрам Миронович ходил на репетиции утром в каждое или в почти каждое воскресенье. Главная соль была, наверное, в этих репетициях. Во всяком случае, я не помню ни одного публичного выступления этого оркестра.

Кроме того, время от времени, Абрам Миронович прерывал свои занятия за письменным столом, доставал свою скрипку и тридцать—сорок минут музицировал. Репертуар его был ограничен. Одно сочинение он разыгрывал особенно часто. Это была «Мелодия» Глюка (из оперы «Орфей и Эвридика»). Играл Абрам Миронович не виртуозно. Сбившись или не будучи удовлетворён результатом, он не удавшийся ему фрагмент по много раз повторял.

...Теперь иногда эта «Мелодия» звучит по радио или по телевизору. И всякий раз, когда я эти звуки слышу, из моих глаз начинают течь произвольные слёзы. Впрочем, в старости я, вообще, стал повышенно чувствительным и слезливым. Несколько лет назад я стал собирать компакт-диски с разной музыкой, в том числе и со скрипичными сочинениями. Есть у меня комплект дисков с записями скрипичных сочинений в исполнении Ойстраха. Среди них есть и CD с оставившей столь глубокий след в моей душе пьесой Глюка. Я его иногда ставлю, и Глюк звучит через динамики, соединённые с моим компьютером...

Дом Учёных играл в жизни семьи Лопшицев очень заметную роль с тех давних времён, когда Абрам Миронович стал его «членом». Когда-то,

в конце двадцатых или в тридцатых годах, стать членом Дома мог почти каждый научный работник или преподаватель вуза. Потом это стало гораздо труднее, а в семидесятых годах далеко не каждый научный работник, даже доктор наук, работавший в одном из институтов «Большой» Академии Наук, к которой формально Дом относился, мог стать его членом.

Дом Учёных был прекрасным клубом. Само его здание было первоклассным и находилось в первоклассном месте Москвы — на углу Пречистенки и Мёртвого переулка. Здание это получилось в результате удачного с архитектурно-строительной точки зрения синтеза старинного двухэтажного особняка 18-го или начала 19-го века и конструктивистской пристройки начала тридцатых.

В Доме был великолепный «Большой» зал, в котором устраивались крупные научные конференции, сессии Академии Наук и иные научно-организационные мероприятия. Но широко известным Большой зал был, как концертный. В нём устраивались симфонические и сольные концерты классической музыки, на которые билеты продавали всем желающим. Этот зал был популярен среди меломанов Москвы, и его можно считать на третьем месте после двух залов Московской Консерватории. Колонный зал, Бетховенский зал Большого театра и позже построенный Зал Чайковского шли в этом ряду за Домом Учёных.

Кроме Большого зала, в Доме были небольшие уютные залы, в которых стулья не были соединены в стандартные ряды, а стояли свободно, и их можно было двигать. Один такой зал назывался «Голубая гостиная», другой — «Белый зал», третий — «Киноаудитория». В этих небольших залах заседали разные секции по художественным и научным интересам, а также многочисленные детские кружки, ибо на участие в большинстве мероприятий для членов Дома имели право и члены их семей. Наиболее широко этим правом пользовались дети.

Для них были кружки ритмики, рисования и пр. Галя ходила в эти кружки с раннего своего детства, причём с начала тридцатых она это делала одна, без сопровождения взрослых: близость Дома к их местожительству делала путь простым и безопасным.

В фойе, устроенном в виде прямоугольной скобы, охватывающей Большой зал, часто устраивались художественные выставки-отчёты. На стены вывешивались работы членов изо-кружка. Работы эти обычно бывали не больно хорошие, ибо руководители кружка ориентировали своих питомцев на соцреализм, да и настоящих талантов среди занимавшихся в этом кружке учёных мы не встречали. Но для авторов-дилетантов эти выставки имели стимулирующее значение.

Была в Доме очень хорошая столовая, а кроме того, члены Дома получали (сверх карточек) льготные талоны на обеды, которые можно было брать на дом в судках. Последние годы войны и первые — после её окончания, эта льгота (особенно, для таких семей, которые, как мы, жили близко к Дому) была очень ценной. На всех нас принесённого в судках обеда не хватало, но на его базе можно было приготовить нечто достаточное и вкусное.

У Дома были хорошие летние базы отдыха — и в Подмосковье, и в Прибалтике. Туристская секция Дома — была и такая — организовывала летние палаточные лагеря. Члены Дома имели некоторые льготы в доставании путёвок в дома отдыха и санатории Академии Наук. При тогдашнем дефиците эти возможности были немаловажны.

Директором Дома была Мария Фёдоровна Андреева, бывшая одно время известной актрисой Художественного театра и женой Максима

Горького. Незаурядность её личности и многочисленные связи позволяли ей руководить непростой хозяйственной и культурной стороной жизни Дома очень энергично и толково.

Служители Дома, сидевшие при входе и проверявшие пропуски, знали в лицо почти всех членов Дома и членов их семей. В особенности тех, которые жили близко и в Доме бывали часто с детства. Пропуска у завсегдатаев никогда не спрашивали, хотя пропуск не требовался только в часы публичных концертов, когда «чужих» впускали в Дом по билету. Ко мне эти служители так и не привыкли, и если мне надо было попасть внутрь Дома в неурочное время, то надо было объясняться.

...Галю же пускали всегда, и, что самое удивительное — пускали до самых последних месяцев её жизни, уже тогда, когда члена Дома — Абрама Мироновича — давно уже не было в живых...

Галя, вообще, относилась ко всяким бюрократическим преградам с естественной отвагой и смело бросалась на их преодоление. Её не пугали служители, охранявшие входы, головы чиновников в окошечках, чего-то не дававшие, чиновники в кабинетах, в чём-то отказывающие. И весьма часто она добивалась того, перед чем другие пасовали — либо ещё перед началом процесса, либо после первой трудности. Галины родители говорили: «Наша дочка — казак!»

...В 1977 году мы с Машей и с нашими дочерьми в результате сложно-квартирного обмена переехали в кооперативный дом Большого Театра, в Б. Афанасьевском. Дом Учёных оказался рядом, но я членом Дома не был: когда было можно — не удосужился, а потом — это стало невозможным. Я о своей былой инертности очень жалел, потому что очень кстати было бы записать в балетную группу нашу девятилетнюю Тамару. Но тут сработал могущественный институт знакомства. Недалеко от нас — в Сивцевом Вражке (в том доме, на котором мемориальная доска академика Богомольца) — жила Машина сослуживица и приятельница Алла Левитина. За несколько лет до того её дочку Аню в балетную группу записали: дед Ани был членом Дома. У Аллы установились хорошие отношения с руководительницей балетной группы Еленой Фёдоровной. И вот Алла обратилась к Елене Фёдоровне с просьбой взять незаконную ученицу, и эта просьба была уважена. Тома стала ходить в группу к Елене Фёдоровне — немолодой и преданной своему делу энергичной даме.

А в мае 1998-го года мы с Машей приехали из Израиля погостить в Москву. Моя и Галина невестка — Сашина жена Лида Гончарова — пригласила меня побывать в Доме Учёных на выпускном выступлении балетной группы: эту группу в течение года посещала моя правнучка Тоня, и она должна была блистать среди прочих. Дело в том, что Саша с семьёй живёт недалеко от Дома Учёных, и Галя, не потерявшая своего влияния на Дом, записала свою правнучку Тоню в балетную группу.

Раскрылся занавес Большого Зала, выбежали наряженные дети и отплясали, а сидевшие в партере родители и бабки с дедами и, по крайней мере, один прадед били в ладоши. И тогда, к моему удивлению и удовольствию, на сцену вышла кланяться посOLIDневшая за двадцать лет и сияющая от успехов своих питомцев Елена Фёдоровна. На какой десяток поколений её учеников шёл в этот утренник счёт, я не знал. Но, думаю, этих отчётных выступлений было уже под сорок...

В Большом зале устраивались не только публичные концерты. Довольно часто там демонстрировались фильмы. Это были либо только что выходявшие на экран советские фильмы, либо иностранные, что тогда,

в первые послевоенные годы, было совершенной редкостью. Иностранцы шли с закадровым переводом. Возможно, эти фильмы были трофейными. Билеты на них продавались только при предъявлении членского билета. Но и кассирши знали Галю (и, наверное, дети и внуки этих кассирш продолжали знать старевшую Галю), и Гале для покупки билета в кино достаточно было с кассиршей поздороваться без предъявления членского билета.

Посещение кино в Доме имело ещё и то преимущество, что в зале зрители сидели не в пальто, как в городских кинотеатрах. Пальто (как и при других посещениях Дома) сдавали в гардероб. Гардеробщики знали постоянных посетителей (а им было имя легион) в лицо и номерков им, принимая пальто, не давали, а выдавая пальто — не спрашивали. Эта предупредительность вознаграждалась чаевыми.

Галины родители были очень привязаны к своим родственникам. Упомяну о некоторых из них. У Марии Григорьевны было две старшие сестры: Роза — постарше чуть-чуть и Зина, которая была старше Марии Григорьевны лет на десять. Роза была очень некрасивой и недалёкой женщиной, хотя и очень доброй и привязчивой к родственникам и к их друзьям. Она осталась незамужней, собственных друзей у неё не было. До войны у неё в Москве было какое-то жилище. Эвакуацию она провела с Лопшицами на Алтае, а когда они из эвакуации вернулись, то выяснилось, что Розино жилище занято или разбомблено, и она осталась без крова и без реальной надежды его восстановить. Лопшицы, у которых было в крови стремление приютить у себя каждого нуждающегося, пригласили Розу жить с ними в Староконюшенном. Так что, это был ещё один член семьи, членом которой оказался и я.

Присутствие Розы в доме почти не ощущалось. Весь день она была на работе. Роза заведовала чем-то вроде районного кабинета санпросвещения, который размещался в красивом особняке на Мясницкой вблизи Красных Ворот. Придя с работы, она где-то прыгулялась и либо что-то читала своими сверх близорукими глазами в толстых очках, либо что-то коряво шила. Ночь она проводила на раскладушке в кабинете Абрама Мироновича. В гости с нами Роза ходила редко. Вообще, её чрезвычайно тихое поведение могло быть чертой характера, а может, было признаком душевной болезни.

...Больше об этой незаметной пожилой женщине и рассказать, вроде, нечего. Она тихо прожила до 3-го апреля 1953 г. Она скончалась в Боткинской больнице от тяжёлого цирроза печени. Она так и не успела узнать, что причинявшее ей страдания «дело врачей» лопнуло...

Муж другой сестры Марии Григорьевны — Зины — умер до моего вхождения в семью, и его имя как-то не упоминалось. У Зины было трое детей примерно одного возраста: сын Адя и две дочери — Раля и Рита. Зинины дети были лет на пять — восемь старше нас с Галей.

Раля была замужем за военным. Всю войну полковник Гриша Прагин провёл в боях. Именно он был первым из этой ветви родственников, с которым я познакомился. Причём — в исключительных обстоятельствах, о чём ниже.

После войны танковая дивизия, заместителем командира которой был Гриша, была дислоцирована в Днепропетровске. Зина, Раля и Гриша иногда бывали вместе или порознь в Москве и останавливались, натурально, у Лопшицев.

...В пятидесятых дочь Гриши и Рали Наташа вышла замуж за лейтенанта, видимо, очень способного офицера Сашу Галкина, служившего в той же дивизии, что и Гриша. Саша Галкин был русским, и пятый

пункт его карьере помешать не мог. Но, по счастью и к чести военного начальства, карьере не помешало и еврейство его жены.

Некоторое время Галкин продвигался по службе обычным образом, но в какой-то момент произошёл рывок. Галкин получил приглашение служить в Москве в Министерстве обороны. За сравнительно короткое время он стал генерал-полковником и долгие годы руководил Главным Бронетанковым Управлением Министерства. Несмотря на свою принадлежность к военной среде и высокое положение, генерал Галкин был интеллигентным скромным человеком. Он был заинтересован в общении с родственниками жены и их друзьями. Лопшицы и Галя продолжали близкие родственные отношения с Наташей и её мужем Сашей всю жизнь.

Александр Галкин вышел в конце девяностых в отставку. Но его карьера на этом не закончилась. В 1998-м году от руки убийцы погиб генерал Лев Рохлин, который очень достойно и не всегда в согласии с установками высокого военного начальства вёл себя во время Чеченской войны. Вскоре после подписания Хасав-Юртовского соглашения генерал Рохлин стал депутатом Государственной Думы по партийному списку политического движения «Наш дом — Россия» (НДР). Но позже он вошёл в конфронтацию с этим движением и стал организовывать свою — военно-патриотическую — партию с весьма сомнительной политической ориентацией. К моменту своей гибели депутат Рохлин, очевидно, формально оставался в НДР, и оставшимся после его смерти депутатским местом могло распоряжаться руководство этого движения. Оно отдало его отставному генералу Галкину. В этом статусе он пробыл до конца каденции Думы того созыва.

В феврале 2002-го года ещё не старый Александр Галкин скончался от тяжёлой болезни. Один из его с Наташей сыновей — Максим Галкин — стал известен стране гораздо больше своего отца. Он окончил филологический факультет РГГУ. Научной карьеры Максим пока не сделал, а проявил себя незаурядным эстрадным артистом-пародистом и ведущим популярной телевикторины. Одно время в прессе ходили слухи, что Максим работает над кандидатской диссертацией, но потом эти слухи на фоне других загасли...

Сын Зины Адя, как и его зять Гриша Прагин, был военным, но, во-первых, он был политкомиссаром, а не боевым командиром, и во-вторых, в чуть меньших чинах (у него было комиссарское звание, эквивалентное майору: что-то вроде «старший батальонный комиссар»). Войну он провёл на фронте, а потом жил с семьёй в Воронеже, служа в политуправлении военного округа или какой-то крупной размещённой в тех краях военной части.

Гришу и Адю роднила некоторая категоричность ума. Но они были категоричны по разному.

Гриша был боевым командиром. Он был очень знающим специалистом в области материальной части танковых войск и умным человеком. Он говорил непререкаемым командирским тоном, философствовать не любил, возражений не признавал.

...Впрочем, мой сын Саша, знававший уже постаревшего Гришу, говорил мне, что Гришина военная безапелляционность сосуществовала с добротой, душевной тонкостью и деликатностью. Эта особенность Гришиной натуры проявилась, в частности, вскоре после того, как Саша стал священником. Тогда неожиданно для Саши Гриша проявил тонкое и адекватное понимание ситуации, в которой Саша тогда находился, и это притом, что Сашин выбор Гриша не одобрял...

Адя, в отличие от Гриши, был очень мягким, говорил тихо и даже вкрадчиво, но его оглупляла безоглядная вера в истинность коммунистической доктрины и текущих политустановок. Будучи человеком гуманным и заботливым, Адя искренно хотел наставить на путь истинный заблудшую овцу Абрама Мироновича, которого Адя очень любил, но который своего более чем скептического отношения к Адиным святыням не скрывал.

Эта не совсем, мягко сказать, полная гармония во взглядах Ади и мужа его тётки, приводила во времена пребывания Ади в Москве (его сюда посылали иногда в командировки) к словесным прениям, которые один раз закончились грандиозным скандалом, несмотря на мягкость, интеллигентность и родственность спорящих сторон. К этому скандалу я ещё вернусь.

Рита и её муж Моня Голубовский были врачами и жили в Казани. В конце сороковых или в начале пятидесятых Голубовские пережили страшную трагедию — от лейкемии скончалась их старшая дочь Валя, с которой Галя и я были сверстниками и очень дружили. Судьба их младшей дочери Инны мне не запомнилась.

У Абрама Мироновича в Москве жили три старшие сестры. Он и сёстры отличались по возрасту на два—три года.

Самая старшая, Надежда Мироновна, была учительницей музыки — на пианино. Она была пожилая суровая незамужняя дама, жившая в небольшой коммунальной квартире недалеко от нас — в одном из переулков за Новинским бульваром, рядом с грохочущим Метромостом. Она была принципиальной противницей брачных уз, и если разговор на эту тему возникал, а бестактный собеседник интересовался, почему всю предыдущую жизнь Надежда Мироновна провела в одиночестве, то она с возмущением говорила: «Это что — вы хотите, чтобы на моём стуле висел его пиджак?!». Было ли возмущение искренним, а безбрачие — избранным по доброй воле или несчастливой судьбой, сказать не могу.

...Несмотря на суровую повадку, Надежда Мироновна щедро оказывала многим людям добро. Она поселила у себя на несколько лет мальчика Павла, сынишку одной из довоенных домработниц Лопшицев Уж не помню, какие обстоятельства побудили её этого Павла чуть ли не усыновить при живой его настоящей матери. Павел дожил у Надежды Мироновны до вполне взрослых лет.

Потом у Надежды Мироновны жила её двоюродная или троюродная племянница Фаничка. Надежда Мироновна умерла в конце сороковых. Незадолго до или немного после её кончины Фаня вышла замуж за Лёню Лопшица, находившегося с Абрамом Мироновичем и его сёстрами примерно в таком же родстве, что и Фаня. Они унаследовали комнату Надежды Мироновны и первые годы своего брака жили там. Этот брак был счастливым, у них родилась дочка Аня...

Вторая сестра — Ида Мироновна — тоже была незамужней бездетной женщиной, но у неё был друг по имени Майор (когда я о нём впервые услышал, то подумал, что речь идет о чине, но потом при первой встрече увидел, что Майор — человек штатский, и что его чаще называют Майорчик; тут я окончательно укрепился в том, что это — еврейское имя). Идочка была учительницей математики в вечерней школе. Она была мягкой женщиной, не очень умной, но и не дурой. Она сравнительно часто — то по случаю дня собственного рождения, то на Первое мая и т. п. — собирала всю расширенную семью в своей большой комнате в доме с коридорной системой на Землянке.

Третья сестра Абрама Мироновича — Сарра Мироновна Лопшиц — была зубным врачом в поликлинике при автозаводе им. Сталина (потом имя завода переменялось на Лихачёва). К ней на приём ходили все родственники и близкие друзья, благо поликлиника завода находилась вне его производственной территории, и пропуск не спрашивали. Тогда обслуживание своих широко практиковалось.

Муж Саррочки Николай Александрович Шихеев был в течение многих лет видным партийным функционером завода и долгое время занимал пост главного редактора заводской многотиражки «Догнать и перегнать». Но в начале сороковых Коля заболел душевным расстройством (скорее всего, это была не очень сильная форма шизофрении), которое в обыденной жизни видимым образом не проявлялось. Но врачи — им было виднее — перевели его на инвалидность.

Коля проводил время дома, слегка занимался хозяйством, много читал, что-то выписывал, пытаюсь создать у себя и окружающих впечатление, что он занят интеллектуальным трудом. Вот в этих-то занятиях сказывалось его помешательство. Он был обуреваем шпиономанией. Наверное, толчок его болезни дали процессы тридцать шестого — тридцать восьмого годов.

Коля искал подтверждение своим предположениям в газетах, а там таких материалов было навалом. Но и в статьях, лежащих от предмета его тревог вроде далеко, Коля тоже иногда находил свидетельства работы шпионов в разных областях жизни общества и — страдал. По счастью, Коле не приходило в голову, или он не решался делиться своими выводами с компетентными органами, а то бы мог погубить немало людей.

...Как и племянник Марии Григорьевны Адя, Коля был мягким сердечным человеком. Он мучился от того, что не мог примирить в своей душе глубокую привязанность к своей еврейской жене и к её ближайшим родным с безоговорочной верой в утверждение властей касательно преступной деятельности евреев — членов ЕАК, врачей, вейсманистов-морганистов и пр. Он очень любил Абрама Мироновича и его семью, мы часто бывали друг у друга в гостях, у нас было много общих интересов. Уж какими способами бедный Коля пытался соединить в своём израненном сердце эту любовь к своему ближайшему окружению с ненавистью к врагам своей Родины — осталось его тайной. Но этот процесс даром ему не давался: в начале пятидесятых Коля скоростижно скончался от инфаркта.

Невольно думаешь о сходстве судьбы Коли Шихеева с судьбой мужа моей младшей тётки Люси — Андрея Шиляева, о котором я рассказал раньше. Оба — безмозгло преданные партийцы, оба — порядочные люди, но с дикими понятиями, обоих партия за ненадобностью прогнала, пренебрегши их любовью к ней самой и к её идеологии, оба провели последние годы жизни не у дел. Оба умерли от инфаркта. Да и фамилии у них были похожие.

Володя Шихеев — сын Саррочки и Коли — наш с Галей сверстник. Он воевал, а потом учился и окончил архитектурный институт. Мы были (а Галя продолжала быть до самой своей кончины) с Володей в очень хороших отношениях.

...Вскоре после смерти Сталина в Москву вернулись уцелевшие члены семьи Гайстер, о которой я пишу ниже, и Володя женился на Инне Гайстер. История семьи Володи Шихеева за рамки моих записок выходит, скажу только, что Володя перенёс в пожилом возрасте два инфаркта, а в мае 2000-го скончался от сердечного приступа — примерно при таких же обстоятельствах, что и его отец Коля...

Моя ленинградская родственница Юра с матерью и дочкой после начала войны из поля моего зрения, естественно, исчезли. Я ничего не знал об их судьбе, но, зная судьбу города, горестно не исключал самого ужасного. Через некоторое время после снятия блокады я написал Юре на Ленинградский адрес, но ответа от неё не было. Мои горькие предположения усилились.

И вдруг осенью сорок четвёртого года, вскоре после моей женитьбы и переезда в дом Лопшицев, я встретил Юру на Арбате около «Праги»! Она направлялась к нам в дом 35. Телефонов тогда в большинстве квартир не было, и Юра шла наудачу. Наша встреча и была такой большой удачей: я в доме 35 уже не жил, мама днём была на работе, соседи тоже могли отсутствовать.

Вид у Юры был не блестящий, но она была жива, а через минуту я узнал, что живы и Тётя Катя и Машенька. В данный момент Юра с матерью и дочкой были проездом из эвакуации обратно в Ленинград. Они выбрались из Ленинграда за несколько дней до начала блокады и провели эвакуацию сравнительно благополучно где-то в Казахстане.

У Юры был старший брат Люся (уменьшительное: Израиль — Израилюся — Люся). Мне с ним, несмотря на мою тесную дружбу с Юрой, встречаться не довелось. Но с Юрой они были всегда близки. Люся был военным инженером, жил и служил в подмосковном Одинцове. Так вот, Юрина семья, возвращаясь из эвакуации домой, остановилась на несколько дней у Люси.

У Юры было мало времени, и она повидать мою новую семью не пошла. Мы посидели на Гоголевском бульваре и рассказали друг другу главное. Главное в Юрином рассказе было ужасным. Сергей Эйзенштейн, отец Машеньки, был мобилизован и сражался в войсках под Ленинградом. Юра была ещё в городе, когда до неё дошло — это было как-то неофициально — страшное известие: Сергей был обвинён в каком-то тяжком воинском преступлении, приговорён к расстрелу и — расстрелян. Было совершенно неясно, действительно ли Сергей совершил то преступление, в котором он обвинялся, или вся история была косвенным плодом военных неудач, паники, желания командования прикрыть какую-то свою собственную оплошность, найдя козла отпущения.

Из-за того ли, что Юра и Сергей были в разводе, из-за общей ли тогдашней неразберихи, захватывающей и карательный аппарат, но тот факт, что Сергей был осуждён и наказан, ни на Юре, ни на Машеньке, в противоречие с тогдашними нравами, не отразилось. Хотя Машенька и носила фамилию отца — Эйзенштейн.

Вскоре после описанной нашей встречи на Арбате Юра с матерью и дочкой вернулись к себе на Свечной. Их дом и квартира остались чудесным образом целы. Юра начала где-то работать, а Машенька пошла в школу. Наша дружба с Юрой возобновилась, между нами началась регулярная переписка.

...В следующий раз я свиделся с Юрой в 1948-м году. Она приехала в Москву на похороны режиссёра Сергея Эйзенштейна — родного дяди и полного тёзки Машенькиного отца. Юра надеялась получить для Маши что-нибудь из наследства знаменитого деда своей дочери. Я помню, что одно из моих свиданий с Юрой в тот её приезд происходило в Колонном Зале, в котором были установлен гроб и играл оркестр. Через зал тянулся не слишком интенсивный поток людей, а мы с Юрой сидели в боковой ложе и тихо разговаривали на свои темы. Юрины хлопоты результата

не дали: законные наследники Эйзенштейна ни юридических, ни нравственных прав девочки на долю наследства не признали...

Близким другом и частым гостем Лопшицев был уже упоминавшийся Яков Семёнович Дубнов. Он был профессором кафедры дифференциальной геометрии мехмата, был автором известных университетских учебников и многих научных статей. Дружба Я. С. Дубнова с Лопшицами завязалась под сенью Вениамина Фёдоровича Кагана: и Яков Семёнович, и Лопшицы были учениками этого выдающегося математика и замечательного человека. Друг с другом их соединила общая привязанность к Вениамину Фёдоровичу, который был для них всех патриархом и авторитетом в профессиональном и в личном планах.

Правда, Яков Семёнович, будучи лет на десять старше Лопшицев, стал студентом Вениамина Фёдоровича в Одесском университете за несколько лет до того, как учениками Вениамина Фёдоровича — сперва в гимназии, а потом в Университете — стали Лопшицы. Яков Семёнович приехал в Москву первым — ещё до революции, а вскоре после революции он способствовал приезду в Москву и своего учителя Кагана. А уж Вениамин Фёдорович постарался переселить в Москву и более молодых своих учеников Лопшицев.

Дубновы — отец, дочь и старая нянька Вики — жили по другую сторону Садового Кольца, во 2-м Неопалимовском переулке, в очень по тогдашним масштабам (да и по теперешним московским) большой четырёхкомнатной, и главное, отдельной квартире. Она занимала, наверное, весь этаж в старом одноэтажном очень неказистом деревянном доме, находившемся в кривой части этого переулка. В общем, этот дом был из той же породы, что и дом Лопшицев. От одного из этих домов до другого даже пожилой человек мог дойти пешком минут за двадцать.

Из-за разницы в возрасте Лопшицы — они были «молодёжью» — бывали в гостях у Якова Семёновича чаще, чем он у них. Обычно они брали с собой Галю и меня. Но всё же, хоть и не очень часто, но регулярно Яков Семёнович бывал в доме в Староконюшенном. Вика же и Галя встречались систематически чуть не каждый день — и в школе, и дома, и в детских кружках Дома Учёных, а потом и студентками в Университете.

...Но и после окончания физфака, когда они стали работать в разных местах, когда каждая вышла замуж, родила ребёнка, когда появились и другие разлучающие жизненные обстоятельства, они продолжали быть близкими подругами вплоть до Галиной смерти...

Внешность Якова Семёновича совершенно не соответствовала его личности. Он был маленьким, сутулым, невзрачным, лысоватым человеком с весьма типичным и некрасивым еврейским лицом. Казалось, что никакой костюм не может выглядеть на нём элегантно. Впрочем, глядя на этого типичного профессора, нельзя было допустить мысль, что он об улучшении своей внешности как-то заботится и даже хоть раз задумывался. Как это иногда бывает, дочь Якова Семёновича Вика была на отца очень похожа, но при этом очень миловидна.

При своей неказистой внешности Яков Семёнович был необыкновенно умен и образован. Это сразу становилось ясно каждому, кто встречался с ним в первый раз, и это впечатление о нём от раза к разу укреплялось. У Якова Семёновича был сильный и уверенный голос. Он был прекрасным лектором, хотя, как и Хинчин, не употреблял, в отличие от многих других (в том числе и превосходных) лекторов, никаких специальных ораторских средств привлечения аудитории к наиболее существенным раз-

делам излагаемого материала. Обаяние его изложения базировалось только на внутреннем драматизме того раздела предмета, который он представлял студентам. Я имел счастье прослушать его курс дифференциальной геометрии и спецкурс по тензорному исчислению.

Когда Яков Семёнович вступал в разговор, все замолкали, боясь упустить хоть слово из его речей.

...Брат Юры Гастева Алексей (Ляся) в пятьдесят шестом году освободился из лагерей, и Лопшицы, узнав о его тогдашних трудностях, немедленно пригласили его пожить у них столько, сколько Лясе будет надо. Он и пожил несколько дней в Староконюшенном. В один из этих дней пришёл и ужинал с нами и другими гостями Яков Семёнович. Своё впечатление от него Ляся сформулировал так: «Сразу видать, что человек значительный: попросит соль передать, а все за столом стихают, слушают»...

Яков Семёнович и Абрам Миронович во взглядах на политику, искусство и на профессиональные проблемы в основном сходились. Но были и различия, достаточные для того, чтобы эти два выдающиеся ума были в состоянии постоянной дискуссии. В этих дискуссиях каждый оппонент выкладывался до конца в желании убедить собеседника в истинности своей позиции. Я не раз не слышал, чтобы спор закончился тем, что один из участников признал свою неправоту. При этом никогда спорщики не расставались недовольные друг другом. И я совершенно уверен, что в уме каждого участника многие доводы противника свой след оставляли и — осознанно или нет — способствовали совершенствованию его собственной платформы. Наблюдать эти интеллектуальные турниры было одно наслаждение.

К сожалению, значительная часть бесед этих двух выдающихся полемистов оставалась от меня скрытой. Им не хватало времени для личного общения, и свои беседы они часто вели по телефону, и каждая из них могла длиться более часа. Не желая мешать использованию телефона в бытовых целях, учёные друзья беседовали очень поздними вечерами, лучше сказать, ночами.

Конечно, в телефонных спорах и обсуждениях затрагивались только математические и педагогические темы. Можно только вообразить, как бесились майоры Органов, приставленные к прослушиванию телефонов этих еврейских профессоров. Им по долгу службы приходилось выслушивать бесконечные диалоги, в которых они не понимали ни слова. Они, видимо, понимали лишь, что несносные разговоры — о математике и ничего, за что можно было бы зацепиться, не содержат.

В манерах Якова Семёновича были элементы крайней оригинальности. Бывало, что к какому-нибудь вечеру у него накапливалась масса дел, последний срок которым — завтра. Он должен был подготовиться к лекции, сдать в издательство очередную порцию корректуры, которую он уже на два дня как просрочил, и редактор, испытывавший давление типографии, пугал автора возможностью срыва издания. В этот же злополучный завтрашний день Яков Семёнович должен был непременно (подошёл последний срок!) сдать на кафедру методические материалы к курсам, которые он заявлял на следующий учебный год, сдать в один из математических журналов давно числившуюся за ним рецензию на статью, написать и сдать в Учёный совет факультета отзыв на диссертацию, без которого уже назначенный срок защиты рискует быть сорванным и т. д., и т. п.

Осознав, что возникшую гору работы ему не осилить, Яков Семёнович отодвигал в сторону всё, относившееся к его вопиющим обязательствам, и спокойно принимался решать трудную геометрическую задачу на построение, которую до тех пор он всё откладывал.

Если во время экзамена, который принимал Яков Семёнович, аудитория опустевала, так как большинство студентов ответило, получило отметки в свои зачётки и удалилось, а оставался в аудитории один студент, который всё никак не был готов отвечать и продолжал что-то чёркать на лежавшем перед ним листе бумаги, превысив все разумные сроки, что явно, хоть и косвенно, свидетельствовало о неподготовленности этого бедолаги, Яков Семёнович собирал свой портфель и молча покидал аудиторию, оставив несчастливца в одиночестве.

У Якова Семёновича была превосходная библиотека математической и иной литературы, и его гости обычно не удерживались от того, чтобы в ней порыться. Яков Семёнович такую манеру гостей не очень жаловал. Во-первых, он опасался, что гость внесёт в его владение беспорядок. Но главное — он предчувствовал, что гость отыщет что-нибудь для себя заманчивое и попросит дать почитать. Отказать в такой просьбе Яков Семёнович не мог. Но не веря в обязательность и аккуратность людей, опасался, что взятая гостем книга на своё место без напоминаний не вернётся. Напоминать же Яков Семёнович не любил.

Тревога Якова Семёновича часто оказывалась оправданной. Приходя в свою очередь в гости к друзьям, он в какой-то момент начинал прохаживаться мимо книжных шкафов хозяина и бросал взгляды на их содержимое. И иногда не напрасно: он обнаруживал книгу из своей библиотеки, давно взятую у него необязательным хозяином, позабывшим о необходимости её вернуть. В таких случаях Яков Семёнович вынимал свою книжку из шкафа и откладывал её в сторону. Яков Семёнович совершал такие рейды нечасто, и у хозяина могла накопиться целая кучка книг, взятых им из библиотеки Якова Семёновича. Уходя домой, Яков Семёнович клал на глазах хозяина вынутые книги в свой портфель, комментируя это словами: «Пленники возвращаются к своим».

Жизнь Якова Семёновича была осложнена чрезвычайно. Уважаемый профессор известной кафедры одного из лучших математических факультетов мира, человек вроде бы благополучный, жил под Дамокловым мечом, находившимся в неверных, но неутомимых руках Органов. В любой момент этот меч мог на голову профессора Дубнова и его дочери опуститься. Причин для непреходящей тревоги было две.

Яков Семёнович был сыном известного еврейского историка и публициста Семёна Дубнова. Революция разлучила отца и сына. Деталей я не знал никогда. Не знаю я ни имени, ни судьбы матери Якова Семёновича. В моих глупых молодых глазах Яков Семёнович был так стар (хотя тогда он был лет на двадцать моложе меня теперешнего, да и дожил он до возраста, который я уже перешёл), что судьба его родителей моих собственных вопросов не вызывала, и я знаю о ней в тех пределах, которыми ограничились свои рассказы он сам, Вика и Лопшицы.

Его отец Семён Маркович Дубнов после русской революции жил в Риге — столице тогдашней независимой буржуазной Латвии. Не стану рассуждать об отцовских и сыновних чувствах Дубновых — старшего и младшего, оказавшихся по разные стороны границы. Но думаю, что неотъемлемый атрибут тогдашнего времени — невозможность свиданий сына, живущего в СССР, с отцом, живущим — страшно молвить! — загра-

ницей, была тягостной для обоих. Телефонная связь даже между городами Советского Союза, не говоря уже о международной, в те годы в частной жизни не практиковалась.

Не практиковалась и переписка — на этот раз уже не по техническим, а по политическим причинам. Почтовая связь с заграничными корреспондентами формально не запрещалась, но частные лица такой возможностью, как правило, не пользовались. Связь с заграницей в любой момент могла стать пунктом вроде «идеологическая диверсия» сфабрикованного дела об измене Родине. Никто не сомневался в том, что письма, пресекавшие границу, перлюстрировались и регистрировались в таинственных досье, заводимых Органами чуть ли не на всех граждан страны.

Но Яков Семёнович вёл себя крайне смело: он переписывался с отцом и с сестрой Софьей, которая жила в Польше. И эта переписка властями не пресекалась и никогда не была использована для давления на Якова Семёновича или для угроз в его адрес.

Все довоенные годы на Якове Семёновиче было это клеймо. На вопрос «есть ли родственники за границей?», содержащийся в любой анкете, которых любой советский человек заполнял множество, даже если он не работал в секретном учреждении, Яков Семёнович должен был давать утвердительный, смертельно опасный ответ.

Когда в Латвию в 1941 г. вошли немцы, они старого Семёна Дубнова зверски убили. А ещё в 1939 г. жившая в Польше Софья чудом успела оттуда уехать до прихода немцев. Она с группой польских евреев получила разрешение от американских властей на въезд в Штаты, а от советских — на проезд в эту эмиграцию через СССР. На своём пути в Штаты Софья провела несколько дней в Москве и жила в гостинице «Москва».

Не заблуждаясь относительно зверских советских нравов, она не решилась предложить брату встречу и дала ему знать о своём пребывании в одном городе с ним каким-то тайным образом. Но Яков Семёнович не побоялся придти к ней в гостиничный номер! И это свидание властями наказано не было!

...Софья Дубнова-Эрлих была довольно известной русской поэтессой. Она умерла в Штатах в восьмидесятых годах в возрасте сто одного года! Евтушенко поместил в свою антологию одно короткое стихотворение С. Дубновой, датированное 1945-м годом. Оно странным образом тоже участвует в той заочной беседе с Тютчевым о приглашённых всеблагими на пир, которой я уделил много внимания во Вступлении к этим моим Запискам.

Софья Дубнова относится к высказываниям Тютчева весьма резко. Вот это стихотворение:

Спор с поэтом

Блажен, кто посетил сей мир...

Ф. Тютчев

О нет, история страшней,
Чем нам, доверчивым, казалось,
Чем думал тот, кто древний хаос
В полночной слышал тишине.
В разрытой, выжженной степи
Почили остовы нагие:
Их тоже звали всеблагие,
Как собеседников на пир.

В конце сороковых годов, когда государственный антисемитизм стал управлять действиями властей и поведением официальной прессы, на личности Якова Семёновича в глазах общества и Органов стало вырисовываться клеймо не менее страшное: «сын известного еврейского националиста». По счастью, пронесло.

Но не только связи Якова Семёновича с находившимися за рубежом родственниками могли в любой момент стать инструментом в руках властей для его уничтожения и не оставляли места для безмятежной жизни. Было ещё одно пятно, совсем, по тогдашним меркам, скверное.

В тридцатые годы была арестована как троцкистка его жена Бася Ароновна. Она была активным и убеждённым членом партии, и была репрессирована как многие из её среды. Как-то через несколько лет после ареста жены Яков Семёнович в поисках какой-то бумаги наткнулся в глубине одного из ящиков своего письменного стола на документ. Прочитав его, Яков Семёнович похолодел: это было циркулярное письмо за подписью Троцкого, написанное в 26-м или в 27-м году, которое опальный вождь адресовал своим сторонникам. В письме содержались инструкции относительно тактики действий в сложившихся тогда условиях.

Письмо, найденное Яковым Семёновичем, изобличало сотрудников Органов, производивших обыск, в халтурном выполнении их обязанностей: они обыскивали только комнату Баси Ароновны. Скорее всего, злополучное письмо было бы единственным подобием доказательства близости арестованной к Троцкому, и найди Органы это письмо при обыске, получила бы его хранительница — независимо от того, по каким причинам оно в её доме появилось — не срок, а расстрел. Да и её семью вряд ли бы пощадили. Яков Семёнович найденное письмо немедленно сжёг. И об этом событии рассказал только самым близким друзьям.

...Почти весь период моего знакомства с семьёй Дубновых Бася Ароновна сидела в лагере. По профессии она была врачом. Она вернулась домой, будучи уже под семьдесят, в пятьдесят шестом году. Бася Ароновна объяснила своему мужу и дочери появление в доме того зловещего письма тем, что его к ней принёс один её друг, активный троцкист. Сделал ли он это в целях пропаганды движения или просто хотел вынести из своего дома и спрятать где-нибудь в другом месте уже тогда опасное письмо, осталось неизвестным...

ГЛАВА 14

Великий Гельфанд. Экзамен по линейной алгебре и предложение Гельфанда. Алик Вольпин. Вечер Пастернака в МГУ. Лёва Чудов. Неудача моей попытки стать учеником Гельфанда. Кабинет математики. Меньшов. Ягломы. Варёный Курочкин и Надя Евдокимова. День Победы. Месть Ландсберга. Воскресение Дани. Хия Ройтерштейн. Ольга Грабарь. Арест Юры Гастева и Лёвы Малкина. Горестный приход к нам Софьи Абрамовны Гастевой. Сомнительная версия Иосифа Шкловского о причинах ареста Юры. Рождение Сашеньки. Фильм «Без вины виноватые». Саша Лизаревич. Браки сверстников. Предпочтения С. Э. Хайкина.

Вернусь к учебным делам второго курса. У нас начался курс теоретической механики. Его читал пожилой и заслуженный профессор Александр Иванович Некрасов, автор крупных достижений в гидро- и аэромеханике.

Но самым значительным событием стали лекции Израиля Моисеевича Гельфанда. Он читал нам курс линейной алгебры. Его курс был построен на геометрической интерпретации этой математической дисциплины, предложенной в начале тридцатых годов в книге Шрейера и Шпернера «Введение в линейную алгебру в геометрическом изложении». Из науки о числовых прямоугольных матрицах линейная алгебра превращалась в науку о векторах, линейных операторах и т. д. Привычные матрицы и все элементы их теории в новом подходе возникали уже как следствия свойств первичных понятий, принятых в геометрическом методе.

Оказалось, что геометрические понятия и относящиеся к ним результаты успешно приложимы к разным областям математики — к функциональному анализу (на этом пути получили новое освещение интегральные уравнения, ортогональные полиномы), к некоторым категориям теории вероятностей, к дифференциальной геометрии, к математическим основам квантовой механики.

Однако на осознание важной роли геометрического метода понадобилось несколько лет. Среди московских математиков его первыми адептами стали Гельфанд и Лопшиц. Абрам Миронович использовал, в частности, бескоординатный векторный метод в своём курсе аналитической геометрии, который он читал студентам физмата Педагогического института. В этом ключе он написал свой учебник по этому курсу, который вышел в свет 1948 г.

Гельфанд и Лопшиц были знакомы и лично: одно время ещё до войны они вместе раза два в месяц ездили читать лекции в Минском университете. По всему по этому Абрам Миронович постоянно расспрашивал меня о том, как ведёт свой курс Гельфанд. Любопытство придирчивого тестя заставляло меня посещать лекции Гельфанда аккуратно, слушать их внимательно и записывать. Напечатанного курса Гельфанда тогда не было. Иногда Абрам Миронович помогал мне понимать те или иные неясные для меня места в лекциях Гельфанда.

Интерес к лекциям Гельфанда подогревался не только существом его методических установок. К тому времени, которое я описываю, он уже был — в возрасте всего тридцати двух лет — очень крупным и популярным на мехмате учёным, профессором, доктором наук. Незадолго до того он опубликовал оригинальную и плодотворную теорию нормированных колец, обобщившую многие ветви математики.

Гельфанд был учителем от Бога. Он жаждал учить, и вокруг него ещё до войны стала создаваться научная школа, участники которой — студенты, аспиранты и молодые преподаватели — тянулись за своим учителем не только в области профессионального мастерства. Они подпадали под обаяние личности своего кумира и подражали ему в манере поведения, в речи и пр.

В работе его еженедельного научного семинара принимали участие Г. Е. Шилов, С. В. Фомин, М. А. Наймарк, О. А. Ладыженская и многие другие, известные уже тогда или ставшие известными очень вскоре после тех времён учёные.

Школа Гельфанда входила в качестве существенного компонента в знаменитую московскую математическую школу. По масштабу вклада в математику и влияния на её развитие Гельфанд был вровень с А. Н. Колмогоровым, П. С. Александровым и ещё двумя—тремя маститыми учёными, которые были на много лет старше его.

Внешность у Израйля Моисеевича была совсем не представительной. Он был весьма невысокого роста и щуплого телосложения. У него была лысоватая голова, длинноватый нос и узко поставленные глазки. Голос у него был негромкий с едва заметным провинциальным еврейским акцентом. Он был хорошим лектором, говорил отчётливо и безукоризненно логично. В течение семестра я с профессором не общался. В аудитории было человек сто, а знакомы с Гельфандом было двое—трое очень сильных студентов, которые привлекли внимание великого человека какими-либо успехами и которые посещали его семинар. Семинар посещали только те, кого приглашал сам Гельфанд.

Кончался семестр, кончался курс Гельфанда. На своей последней лекции Израиль Моисеевич сказал, что во втором семестре он будет читать для студентов третьего курса курс интегральных уравнений, построенный на изложенных нам понятиях линейной алгебры, и что он приглашает желающих из нас этот курс посещать. При этом Израиль Моисеевич кокетливо объявил, что сам он интегральных уравнений не знает, но будет постигать их по ходу подготовки собственных лекций, которая будет состоять в переводе классической теории на геометрический язык, который он собирается применить в проектируемом курсе. Я решил, что на такие интегральные уравнения я ходить буду. И, действительно, весь следующий семестр я этот замечательный курс посещал и штудировал.

Наступил день экзаменов по линейной алгебре. Я к этому экзамену готовился очень тщательно и просидел над записями курса Гельфанда всю предшествовавшую экзамену ночь. К некоторому страху большинства студентов нашей группы, единственным экзаменатором был Гельфанд: упражнений по курсу и, соответственно, ассистента у профессора не было.

Я получил билет, довольно быстро подготовился и пошёл отвечать. Гельфанд выслушал мой ответ, иногда задавая вопросы, чтобы выяснить для себя, знаю ли я и смежные понятия и факты. Но вместо того, чтобы отпустить меня, он предложил мне дополнительное задание, относящееся к жордановым матрицам. Я повозился минут сорок, но Бога за бороду

поймал и задание выполнил. Посмотрев мой ответ, Гельфанд поставил мне в зачётку пятёрку, но попросил меня подождать его до конца экзамена.

Когда Гельфанд отпустил последнего студента, он сказал, что хочет поговорить со мной и предложил провести эту беседу по дороге к трамвайной остановке. Мы вышли на Моховую. Был сравнительно мягкий зимний вечер. Гельфанд не пошёл на остановку трамваев, которые шли по Моховой, а повернул на Никитскую. Он стал расспрашивать меня о моих математических интересах и об отметках. Про интересы я внятно сказать ему ничего не мог, а с отметками по математическим предметам у меня было всё в порядке. Гельфанд сказал, что процесс моего математического образования совершенно хаотичен, но если я хочу, то он может взяться за меня, и что для начала он приглашает меня участвовать в его семинаре для студентов и посещать его другой семинар — для взрослых учёных.

Гельфанд добавил, что если я буду склонен его приглашение принять, то я буду должен взять на себя обязательство получать пятёрки по всем предметам, включая физику и историю КПСС. Не помню, осмелился ли я тогда спросить о причине такого странного требования, или Гельфанд растолковал мне сам, что такое жёсткое условие вызвано его желанием защититься от упреков в том, что ученики Гельфанда признают только его авторитет и перестают или почти перестают заниматься другими предметами.

Я знал — молва об этом ходила по мехмату — что быть учеником Гельфанда трудно, что помимо его высоких требований по существу, он человек придирчивый, занудный, требовательный, не слишком вежливый, что в любой момент он может сказать любую неприятность. Но быть учеником Гельфанда было очень почётно, попасть в их число можно было только по приглашению самого Гельфанда, и поэтому я, не помня себя от радости, на все выдвинутые мне условия мгновенно согласился.

Беседа с Гельфандом, мной только что кратко описанная, продолжалась на самом деле минут сорок. С Моховой мы свернули на Никитскую, дошли по Гранатному переулку до Воздвиженки, снова вышли на Моховую и опять свернули на Никитскую. Мы совершили два или три круга. Я до сих пор не могу не удивляться тому, сколько внимания, времени и сил потратил этот учёный с мировым именем, звезда мехмата на то, чтобы познакомиться со студентом второго курса и решить, брать ли его к себе в ученики. А ведь брать в ученики — это взваливать на себя новые обязанности и заботы... Можно, не боясь показаться выпендрившим, сказать: Гельфанда заботила судьба любимой науки, от которой он свой личный интерес не отделял. Он был всего на десять лет старше меня, но между нами была пропасть: я был скудоумным мальчишкой, а он — великим математиком и непререкаемым авторитетом.

Случайно мы знали о сложностях в личной жизни Учителя. Примерно в описываемое время от Гельфанда ушла жена Флора. Молодому профессору, звезде математического мира Флора предпочла студента старшего курса или только что кончившего мехмат Мишу Литвинова. Миша был сыном советского дипломата, долгое время занимавшего пост наркома иностранных дел. От этого поста Максим Максимович Литвинов был отстранён в 1939-м году, когда Сталин заключил союз с Гитлером. Отставного старого наркома часто можно было видеть в концертах Большого зала Консерватории.

...М. М. Литвинов участвовал в 1951 г. умереть в своей постели. Он чудом не попал под каток сталинской антисемитской кампании на рубеже пятидесятых. После окончания университета я в течение нескольких

лет встречался с Мишей в вагоне метро по утрам почти ежедневно: места наших работ лежали на одной линии. Мы с удовольствием проводили в разговорах минут по пятнадцать. Миша занимал скромный инженерный пост, был очень милым и интересным собеседником. Чаще всего мы разговаривали о концертах и о политике. Профессиональных и семейный тем мы почти не касались. Потом мы (не помню, в какой последовательности) сменили места работ, наши встречи и знакомство сами собой прекратились.

Мишин сын Павел стал в семидесятых годах известным диссидентом. Сам Миша так ничем и не прославился (разве только тем, что к нему ушла жена великого Гельфанда). Вышло, как в случае с композитором Мендельсоном, дед которого был известным иудаистским теологом, а отец — личностью мало примечательной. Будто бы Мендельсон-отец жаловался, что в молодые годы его представляли, как сына известного учёного Мендельсона, а в пожилые — как отца известного композитора Мендельсона...

В конце 44-го или в начале 45-го года, т. е. примерно в те времена, что я был отмечен вниманием Гельфанда, состоялось редкое событие: авторский вечер Бориса Пастернака. Власти, начиная с нескольких последних предвоенных лет, были к этому поэту неблагосклонны. Его печатали мало, о нём молчала критика. В те мрачные времена выступления поэтов перед публикой из практики поэтической жизни выходили. Некоторое оживление наступило в связи с десятилетием со дня смерти Маяковского. Среди выступавших тогда поэтов мелькали имена Асеева, Кирсанова, Сельвинского. Пастернак на моей памяти в тех вечерах не участвовал. И вот теперь был объявлен его персональный вечер. Мы отправились на этот вечер всей семьёй: Галя, её родители и я.

Но прежде, чем об этом вечере, я хочу рассказать об одной примечательной личности на мехмате. Это был Алик Вольпин. Фамилия Алика была фамилией его матери, оказавшейся на короткое время в близких отношениях с выдающимся русским поэтом Есениным. Алика был внешне очень на своего отца похож. Характер у Алика был странноватый, порывистый, но никаких склонностей к пьяным загулам Алик от отца не унаследовал. Впрочем, Алик сочинял стихи, которые особыми достоинствами не обладали. Математиком он был очень талантливым. Он занимался математической логикой, только начавшей тогда превращаться в самостоятельный раздел математики. Алик был на пару курсов старше меня. Он не был постоянным членом нашей компании, но у него были с нами — в первую очередь со Славиком и с Юрой — вполне дружеские отношения.

Вечер Бориса Пастернака проходил в так называемой коммунистической аудитории МГУ. Это был большой двухъярусный зал. Мы сидели в первом ряду балкона. Я остро запомнил два эпизода.

Первую часть вечера Пастернак читал свои уже опубликованные стихи. В частности, из вышедшего перед самой войной небольшого сборника с циклом «На ранних поездах». При чтении стихотворения «Опять весна» Пастернак вдруг после строки «Это она, это она» растерянно замолчал. Было понятно, что поэт — запамятовал, и весь зал встревожено замер. Пауза продолжалась секунд пять. И тут звонкий и громкий голос Алика Вольпина (я узнал его голос сразу, хотя не знал, что Алик в аудитории; потом сам Алик сказал мне что это был действительно он) бросил со своего места выступавшему: «Это её чародейство и диво». Пастернак благодарно чуть кивнул, подхватил и продолжил чтение стихотворения.

Потом Пастернак отвечал на вопросы. Кто-то спросил, какое поэтическое произведение последнего времени поэт считает наилучшим. Пастернак ответил, что поэму Твардовского «Василий Тёркин». Этот ответ меня неприятно поразил. Меня к тому времени уже много лет как раздражали несущиеся потоком из репродукторов стихотворные и музыкальные агитки, к которым я чохом относил и бавурное «Что ж ты Вася-Василёк голову повесил», и очередные порции «Тёркина». Я решил, что Пастернак назвал поэму Твардовского из желания бросить кость не жаловавшей его власти, и этот конформизм из уст Пастернака я воспринял болезненно. Чтобы хоть как-то оправдать странные слова Пастернака, я даже стал приписывать им насмешливую интонацию, а всё вместе стал интерпретировать как скрытое издевательство над официальными оценками.

...Только через пару лет я понял, что Пастернак и не приспособился, и не лукавил, что Твардовский — замечательный поэт, а «Тёркин» принадлежит к шедеврам русской поэзии — наряду со стихами замечательной плеяды молодых поэтов из ИФЛИ. Ещё раньше — я об этом уже писал — стали поворачиваться на сто восемьдесят мои оценки большинства советских песен военных лет: их музыкальное и поэтическое достоинство в контексте со звучанием эпохи и с народной судьбой сделало их уникальными произведениями высокого искусства. Никакая другая национальная культура не отразила ту войну так глубоко осмысленно, эмоционально и разнообразно, как это сделала русская...

Я стал ходить на оба семинара Гельфанда. На «взрослом семинаре» студенты, за редким исключением особо одарённых, не высывались, а только слушали доклады маститых об их оригинальных результатах и старались вникнуть в жаркие дискуссии, которые вокруг них затевались. Обычно дискуссия начиналась с придирчивых вопросов и язвительных замечаний Гельфанда. Полноправные участники взрослого семинара держались с Гельфандом почтительно, но тоже за словом в карман не лезли. Так как я понимал только процентов десять из того, что говорилось и процентов девяносто — из значения интонаций и жестов, использовавшихся в тех научных перепалках, то два часа семинара проходили для меня, как некий — то захватывающий, то скучный — сюрреалистический спектакль.

Студенческим семинаром руководил один из самых любимых учеников Гельфанда — Георгий Евгеньевич Шилов. Он к этому времени уже сам был профессором или доцентом. Семинар занимался изучением теории представлений групп. Гельфанд был одним из основателей важного раздела этой области — теории бесконечномерных представлений. Я не могу сказать, по каким причинам Гельфанд считал необходимым вводить очередное поколение своих учеников в круг своих научных интересов именно через эту часть математики.

Мне было очень трудно включиться в ритм занятий семинара. К моменту моего присоединения семинар уже несколько месяцев функционировал, и его участники продвинулись далеко вперёд. Возможно, это был Гельфандовский метод учить своих новых учеников плавать. Но я был среди тех, кто утонул. Догнать участников семинара мне было трудно, в частности, потому, что никакой книжной или журнальной литературы по этому предмету тогда не было. Я мог пользоваться только записками моих коллег и их консультациями. Но никто не был готов систематически заниматься с новичком, чтобы довести его до уровня остальных участников семинара.

Впрочем, некоторое исключение составил Лёва Чудов, который стал учеником Гельфанда с самого начала работы семинара Шилова и владел предметом занятий семинара совершенно свободно. Он взялся ввести меня в курс занятий. Несмотря на звучащую по-русски фамилию, Лёва был евреем. Это мне объяснили старшие Лопшицы, которые были знакомы с отцом Лёвы ещё по Одессе. Отец Лёвы тоже переехал в Москву и был крупным и уцелевшим советским функционером.

Какое-то общение между Лопшицами и Чудовым-старшим в тридцатых годах сохранялось, и Лёва был хорошо знаком с Галей и со старшими Лопшицами с довоенных лет. После возвращения из эвакуации контакты Лопшицев с Чудовыми не возобновились. Я не исключаю, что доброе желание Лёвы мне помочь проистекало из его сохранившихся с детства тёплых чувств по отношению к Лопшицам.

Лёва был незаурядной фигурой. Он в совершенстве знал английский язык и стал (продолжая быть студентом мехмата) сотрудником газеты «Британский союзник». Это была небольшая еженедельная газета, издававшаяся посольством Великобритании в Москве. Эта газета никак, разумеется, не затрагивала внутренней жизни в СССР, а ограничивалась только освещением хода военных действий со стороны англичан. Но даже и эти крохи были нам лакомы, даже от них мы чуяли какой-то иной дух, и газета была нарасхват.

Лёва для каждого номера переводил на русский язык все статьи английских авторов. Иногда, продолжая начатый в здании университета математический разговор, я провожал Лёву на работу в газету, редакция которой располагалась в Морозовском особняке на Воздвиженке.

Для всех было загадкой, как именно Лёва попал на эту работу. Людей, хорошо знавших английский, в Москве и тогда было немало. Лопшицы полагали, что он попал туда благодаря связям своего отца, и даже подозревали, что за возможность такой интересной работы Лёва оказывал услуги Органам, делая для них прозрачной ту сторону жизни редакции, к которой он имел доступ. Впрочем, всё это были лишь предположения, и весьма возможно — неверные.

К сожалению, доброе желание Лёвы Чудова помочь мне к цели не привело. Я, несмотря на его помощь, так и не сумел вскочить на ходу в быстро движущийся вагон. Да и по опыту занятий с Лёвой я понял, каков тот уровень интенсивности занятий, который необходим, чтобы учиться у Гельфанда. Говоря без обиняков, я понял, что для роли ученика Гельфанда я слаб.

Через два или три месяца никак не удававшихся попыток догнать предмет на ходу я капитулировал и ходить на семинары Гельфанда перестал. С ним самим я виделся регулярно, потому что прослушал до конца упомянутый курс интегральных уравнений для третьекурсников. Я здоровался с ним, он вежливо кивал мне в ответ головой и ни разу, проявляя неожиданную деликатность, не спросил, почему я не хожу в его семинары. Полагаю, что вместо того, чтобы тратить время на пустые вопросы, он выискивал новых кандидатов себе в ученики и тратил время на сорокаминутные прогулки и беседы с ними.

Примечательным и очень значимым явлением мехматской жизни был «Кабинет математики и механики», или «Математический кабинет». Кабинет считался частью Научной Библиотеки МГУ им. Горького, находился в том же здании, что эта библиотека, но был фактически самостоятельным учреждением. Им руководила Роза Семёновна Богдань, еврейка венгерского происхождения.

Кабинет состоял из небольшого читального зала, вдоль стен которого, а может, и в задних помещениях, стояли шкафы с великолепным собранием всего ценного, что вышло и продолжало выходить в мировой математической книжной и журнальной литературе. В Кабинет записывали профессоров и преподавателей мехмата, аспирантов и студентов трёх старших курсов. А на самом деле читателем Кабинета мог стать любой студент.

Роза была единственной сотрудницей руководимого ею Кабинета, великолепно в нём ориентировалась, благожелательно и квалифицированно выполняла разнообразные запросы всех своих читателей от академика до студента. Всю свою клиентуру Роза Семёновна знала также назубок, как и свой книжный фонд. Когда читатель входил в Кабинет, Роза доставала стопку литературы, которую этот читатель сдал ей в прошлый раз, и к тому моменту, когда читатель находил свободное место и садился, Роза клала перед ним его стопку, забирала ставшее ненужным и выслушивала заказ на новую литературу, который выполняла за считанные минуты. Я стал читателем Кабинета на втором курсе — с началом моих контактов с Гельфандом.

На мехмате было много примечательных фигур — и среди профессоров, и среди аспирантов и молодых учёных, и среди студентов. О некоторых я уже рассказал. Вот ещё одна порция рассказов.

Странное впечатление производил профессор Дмитрий Евгеньевич Меньшов. Это был высокий сухой мужчина лет под пятьдесят, с седыми жидковатыми волосами и с косматой плохо постриженной клинообразной бородой. Даже в коридорах мехмата, выдавших всякое, Меньшов выглядел диковато. Хотя в общении он был совершенно цивилизован, был главой большой научной школы в области тригонометрических рядов, читал много курсов, вёл семинары, руководил аспирантами.

Рассказывали, что он как-то бродил по подмосковным местам (кажется, ещё до войны) и забрёл в какую-то охраняемую запретную зону. Его задержали и привели в штаб. Офицер стал снимать с него допрос. Когда дело дошло до образования, офицер спросил: «Грамотный?». Дмитрий Евгеньевич ответил утвердительно. Тогда офицер высказал гипотезу: «Четыре класса кончил?». И с этим Дмитрий Евгеньевич согласился. Тут офицеру пришло в голову перестать гадать, а спросить об образовании задержанного впрямую: какое, мол, у Вас образование? На что Дмитрий Евгеньевич, не чинясь, ответил, что высшее, и что он — профессор. Вроде тот офицер, видя с каким не от мира сего человеком он имеет дело, профессора Меньшова быстро отпустил.

...Из Энциклопедического словаря я узнал, что Д. Е. Меньшов дожил до 96 лет и скончался в 1988 г...

По главной галерее мехматского этажа и по его коридору шло беспрерывное движение. Оно чуть ослаблялось во время лекционных и семинарских занятий и усиливалось в перерывах. Ходил Меньшов, громко разговаривая с коллегами или со своими аспирантами. Таким же манером прогуливался, часто останавливаясь, Павел Сергеевич Александров, и до дальних углов этажа доносился его картавый крик. У каждого окна собирались болельщики, наблюдавшие за шахматной доской, поставленной на широкий подоконник, и за перебрасывающимися колкими репликами игроками, умищавшимися на этом же подоконнике.

Достопримечательностью мехмата были два брата-близнеца — Исаак и Акива Ягломы. В мою бытность студентом они только-только защитили

кандидатские диссертации и работали ассистентами на воспитавших их кафедрах. Весь мехмат называл братьев их домашними именами: Ися и Кика. Эти имена стали широко известными всему мехмату с тех времён, когда братья вошли в большую группу студентов факультета, прошедших эвакуацию в Ашхабаде и в Свердловске.

Старшие из этой группы, как Иосиф Шкловский и Ягломы, стали аспирантами и преподавателями, а младшие продолжали быть студентами. Общность судьбы и близость проживания сблизила старших и младших в отношениях друг с другом, а являвшаяся следствием этой близости фамильярность захватывала и совсем молодые поколения студентов, пришедших на факультет после того, как из эвакуации вернулся предыдущий возрастной срез. Юра Гастев был с Ягломами на «ты».

Ися был геометр, а Кика — специалист в области теории случайных процессов. Братья в те годы были друг на другу безумно похожи. Потом с возрастом это сходство чуть ослабло. Как-то во время перерыва, когда все циркулировали по галерее и по коридору, я присоединился к какой-то группе студентов и стал включаться в разговор. В это время к нам подошёл Ися, и спросил, не видели ли мы Кикку. Кто-то из нас отвечал, что да, минуту назад, он видел, как Кика разговаривал с Х. недалеко от дверей деканата. На что Ися досадливо сказал: «Это я с Х. там разговаривал».

Из студенческих компаний, возникавших в коридорах мехмата, самой многочисленной и оживлённой обычно была компания, в центре которой находилась Надя Евдокимова. Эта была высокая, красивая, умная, уверенная в себе девушка. Она была на курс старше меня, и я в эту компанию не вязывался. Вокруг Нади скапливались старшекурсники, которые выпендривались перед Надей, подбрасывали ей реплики и шутки, на которые Надя умело и остроумно отвечала, скрепляя и одновременно держа на расстоянии свою пёструю свиту.

Надя была настоящей мехматской львицей. Но один раз все увидели, что и Надя может смущаться. Речь в компании зашла о Володе Курочкине. Он учился на одном курсе с Надей и был известен своей необычайной флегматичностью. У него всегда было меланхолическое выражение лица. Сам он никогда не шутил, а на чужие шутки отзывался в лучшем случае лёгкой снисходительной улыбкой. За эти качества за глаза его все называли не Володя Курочкин, а созвучным именем «Варёный Курочкин», которое несло в себе его верную характеристику. Так вот, когда в той беседе около Нади, кто-то произнёс привычное «Варёный Курочкин», Надя вдруг запротестовала. Она сказала: «Почему это вы его так называете? — Он вовсе не варёный, а очень даже стра...». Тут на полуслове Надя осеклась, растерянно огляделась и покинула ошарашенную толпу своих поклонников. Впрочем, на другой же день всё вернулось на свои места.

...Профессиональной судьбы Нади я не знаю. А Володя специализировался в области программирования и стал довольно видным сотрудником ВЦ АН. Облик его с годами не переменялся, что бы ни думала по этому поводу Надя Евдокимова...

В марте 45-го тихо умерла Слава, мать Дани. Она жила у Залманзонов. Разговоры вслух при Славе велись так, чтобы у неё не исчезала надежда на спасение сына, но она, скорее всего, всю правду понимала. Когда у Славы произошёл сердечный приступ, Лена Залманзон в панике бросилась к Шерешевскому. Он и Залманзоны были знакомы. Но Николай Адольфович отказался придти к больной. Он холодно сказал, что он

не практикующий врач, но что он разрешает воспользоваться его телефоном, чтобы вызвать «Скорую помощь»: в его квартире телефон и во время войны работал. Скорую вызвали, но было уже поздно.

Я подхожу к рассказу об одном из самых сильных в моей жизни переживаний. Я хорошо запомнил многие детали и собираюсь о них рассказать. Это переживание — прошедший в Москве 9-го мая сорок пятого года День Победы.

День этот начался ночью с восьмого на девятое. Из обрывков передач английского и французского радио, которые нам удавалось поймать на коротких волнах, стало известно, что Германия капитулировала. Сообщения об этом по советскому радио всё не было и не было, но мы понимали, что его могут начать передавать в любой момент. Мы все — члены семьи Лопшицев — не отходили от радиоприёмника. В таком же положении находились миллионы людей в Москве и в других частях страны. Правда, уверенность в том, что великое событие уже произошло, была только у тех, кто имел коротковолновый приёмник и кто понимал по-английски или по-французски.

Когда началась война, то у населения быстро отобрали радиоприёмники (оставили только радиоточки), и их складывали в специальных помещениях. Надо же! Так велик был страх перед немецкой (а может, и союзнической?) радиопропагандой, что власти затратили на это мероприятие время, силы и хранилища. Приёмник Лопшицев был сдан в одно из таких помещений. Это был расположенный на первом этаже многоэтажного дома на Фрунзенской набережной торговый зал большого магазина, переставшего торговать вскоре после начала войны.

И вот за пару месяцев до конца войны Абрам Миронович получил извещение о том, что он может получить свой приёмник обратно. Из указанного в повестке адреса выяснялось, что приёмник находится в том же месте, куда его сдавали. Поразительно! Лопшицы успели уехать в эвакуацию на Алтай, прожить там почти два года, вернуться в Москву, их дочь вышла замуж (за меня), а их приёмник всё это время ни Москвы, ни даже улицы, ни дома не покидал.

Теперь Абрам Миронович отправился за старым приёмником с новым членом семьи, способным этот приёмник тащить, т. е. со мной. До войны советская промышленность выпускала лишь один или два вида приёмников первого класса. Приёмник Лопшицев, интенсивно слушавших классическую музыку, щедро передававшуюся в те годы на наших и иностранных волнах, и ценивших качество звука, был из тогдашних лучшим. Это был большой (что-то вроде 70×50×50 см) ящик из натурального толстого полированного дерева с большим количеством рукояток на передней панели.

Кладовщик подвёл Абрама Мироновича к приёмнику, стоявшему в том же месте зала, где Абрам Миронович с ним расставался, не чаяв свидеться. Снег ещё не сошёл, и мы повезли приёмник домой на санках, предусмотрительно взятых нами с собой.

Всю ночь с восьмого на девятое мы, почти не засыпая, прислушивались к включённому приёмнику. Наконец, на рассвете из приёмника раздался знакомый перезвон, вызывающий фразу песни «Широка страна моя родная». Этими позывными предварялись важные сообщения. Позывные звучали несколько минут, и вот Левитан прочитал сообщение «от советского информбюро» о подписании в Потстдаме акта о капитуляции Германии. И потом периодически повторял его.

Слава Богу, жизнь не обделила меня радостными моментами и счастливыми периодами. Было бы странно сравнивать (да такое сравнение и невозможно) силу счастья, которое я испытывал в разных случаях и по разным поводам. Были рождения детей и внуков, были успехи в профессии, были счастливые выздоровления близких. Я не психолог и оцениваю и сравниваю испытанные мною счастливые переживания на глазок. Счастье, которое я испытал утром 9-го, слушая сообщение Левитана, а потом в течение всего дня я ощущаю до сих пор.

В счастье того дня входило много компонентов. Мы сознавали, что не погибнут оставшиеся в живых. У меня это был отец, у Лопшицев многие друзья и родственники, сражавшиеся в действующей армии. Это была надежда на скорое окончание тягот тыловой жизни в военное время, а таких тягот было много — нехватка еды, одежды, электричества, тепла и многого другого, отпускаявшегося по карточкам и ордерам. И это был патриотизм! Гордость за народ, принадлежность к которому мы уверенно чувствовали, за народ, который выстоял и победил врага, и — тогда мы в это верили — освободил от этого отвратительного врага не только свою страну, но и несколько стран Европы, но и, по большому счёту, избавил от гибели весь Мир!

В этот день мы готовы были забыть о преступлениях деспотической и кровавой власти, хотя погибли или продолжали томиться в лагерях десятки близких нашей семье и семьям наших друзей людей. Мы от счастья одурели и надеялись на то, что с гражданами, вернувшимися победителями с Отечественной войны, с гражданами, которые снабжали всем необходимым победоносную армию и со всем населением выстоявшей страны эта власть не захочет обращаться по-прежнему и добровольно пойдёт на благие перемены в общественно-политической области. Мы не допускали до своего сознания ни одной пессимистической мысли.

Политическая часть нашей радости, робко забрезжившая в последние дни и часы перед Днём Победы, стала чудесным образом расцветать при виде уличных сцен народного ликования. Мы едва дождались часов девяти утра и пошли, естественно, к Университету. Там уже было много математиков и физиков — наших сокурсников и преподавателей — коллег и друзей Абрама Мироновича и Марии Григорьевны. Мы стояли большой толпой на Моховой около Университета, встречая объятиями и поцелуями присоединявшихся к нам друзей и их друзей, которых они приволили с собой — ранее не всем нам известных.

Постепенно состав нашей толпы менялся: приходили новые, другие уходили. Часа через полтора — два вместе с большой и оживлённой группой молодёжи мы с Галей двинулись на Красную площадь. Каждый из нас первый раз в жизни стал участником массовой манифестации на этой государственной площади не по разнарядке, как многие хаживали, если не удавалось увильнуть, на праздничные демонстрации с плакатами и портретами вождей, а без всякого внешнего государственного толчка — по движению собственной души. И нам почудилось, что такое явление — предвестник той новой жизни, которая туманно рисовалась в наших фантазиях.

Мы прошли мимо здания Американского посольства, которому тогда было предоставлено большое многоэтажное здание песочного цвета с колоннами. Оно стоит на Моховой и сейчас между Университетом и гостиницей «Националь». Все окна на всех этажах (погода была превосходная) были настезь, и на каждом подоконнике сидело ногами наружу

по несколько американцев, большей частью в военной форме. Все они что-то радостное орали проходившим под их окнами москвичам.

И это зрелище было необычно вольным. До сих пор мы видывали иногда, как по улице проезжают машины с американскими, английскими или французскими флажками, но встретить на улице или в магазине иностранца из числа союзников было почти невозможно (я таких встреч не помню), а о том, чтобы заговорить с кем-нибудь из них, нельзя было и помыслить. А тут... Мы что-то кричали американцам снизу вверх, и нам казалось, что преграды меж нами рухнули.

Хоть нас на Красную площадь и не звали, но нас — пустили! Она была запружена совершенно неорганизованным народом! Какие-то группы — обычно большие — пели разные песни тех лет, стараясь перекричать соседние поющие группы, в надежде переманить побеждённых к себе. Люди образовывали круги и танцевали — и вприсядку, и парами — вальсы. Очень большое количество народа стояло перед Мавзолеем в надежде, что, как во времена царей Московских, к народу выйдет обожаемый Сталин. Я думал — каким объектом подлинной народной любви он мог бы стать, если б вышел. Но он был более опытным политиком, чем я, и не вышел за ненадобностью, нисколько не потеряв ни йоты этой всенародной любви.

Другая огромная группа людей образовала длинный коридор от выезда из ворот Спасской башни. Каждую выезжавшую из Кремля машину толпа встречала шумными аплодисментами и восторженными криком. Да всё попусту: ни в одной из этих машин не ехал никакой из узнаваемых вождей или военачальников.

Среди возбуждённой толпы, наполнявшей Красную площадь, попадались солдаты и офицеры — от лейтенанта до полковника. Эти военные, смешавшиеся с гражданскими, служили, видимо, в учреждениях Наркомата обороны или в дислоцированных в Москве частях и были свободны в эти часы от службы. Их вылавливали, подхватывали и начинали с ликующими криками качать. Военные взлетали вверх, дрыгали руками и ногами, старались вырваться, их не пускали, все хохотали и наслаждались. Качали обычно по две—три минуты.

Все люди выражали в этот день свои чувства примерно одинаково, хотя оснований для радости и для слёз в этот праздник были у них не всегда одинаковыми, а иногда и совсем разными. Одни — сами, или их близкие — прошли фронт и остались живы, другие — остались живы, но стали инвалидами, одни вдоволь помыкались в эвакуации, другие пережили блокаду, одни пережили зверства немецкой оккупации, другие провели большую часть войны в сталинских лагерях, одни заняли освободившиеся тёплые должности и разбогатели («Кому война, а кому мать родна»), другие лишились жилища: его разбомбило или оно было захвачено мародёрами. Но всё это было за кадром, а миру являлись только радостные глаза, улыбки, смех и ликующие крики.

К середине дня накал веселья на Красной площади не уменьшался, но наша группа редела. Часть студентов, откричав своё у посольства Штатов по пути от Университета на Красную площадь, отправились выражать свою любовь к союзническим державам перед зданиями посольств Великобритании и Франции. Среди таких энтузиастов были Славик Грабарь и Юра Гастев. Другие пошли по домам. Мы все договорились встретиться вечером снова около Университета.

Часам к четырёх дня мы с Галей и с её родителями пошли на большое семейное сборище, которое устроила сестра Абрама Мироновича Идочка.

Кроме нас, среди гостей были Саррочка с мужем Колей и с сыном Володей, Майорчик, ещё некоторые другие родственники. Ида Мироновна давала праздничный обед, за которым звучала одна тема на приподнятой ноте.

В какой-то момент наше застолье было прервано знакомым и волнующим перезвоном позывных радио. На этот раз они оповещали о выступлении Сталина. В своей короткой речи он объявил о победоносном окончании войны. Он говорил в своём обычном, стиле: лишённым эмоций негромким голосом с грузинским акцентом, с несообразными для русского уха интонациями, с неправильными ударениями — в стиле, который всегда и до и после («За здоровье Ленина и ленинизма», «за винтики» и пр.) вызывал наши насмешки и увеличивал неприязнь и презрение к деспоту. Но в этот раз мы слушали его без придирок и наслаждались не столько самой речью, сколько её фактом.

Вскоре после речи Сталина гости стали расходиться. Абрам Миронович и Мария Григорьевна поехали домой. Вечером попозже к ним собирався придти Яков Семёнович. А мы, молодые, вместе с нашей компанией студентов математиков и физиков были приглашены в его дом, где Вика и другие девочки с физфака собирали наспех пир на всю ночь.

Я не помню важной по тем временам детали. Ясно, что пир этот был в складчину, и взносы делались натурой: почти всё было по карточкам, и на живые деньги мало чего можно было купить. Но как и когда участники ночного разгула (ведь эта затея была экспромтом, появившимся только в середине дня) доставили свои доли — еду и выпивку — в дом Дубновых? На холостых мальчишках — большинство были такими — лежали водка и вино. Физик Юра Абов, например, слышавший в нашей компании скромником и трезвенником, принёс бутылку со спиртом: его отец был директором спирто-водочного завода. Винегреты, картошку и ещё чего-нибудь в этом роде притаскивали или делали тут же девочки.

Вечером, когда уже стемнело, наша компания снова собралась около Университета и начала путь к Зубовской, в дом Якова Семёновича. Мы все были по-прежнему возбуждены. После раскованного веселья на Красной площади не устал никто.

Между тем, пока мы были у Идочки, Юра Гастев и другие мальчишки продолжали праздничную беготню. Они выполнили свои намерения и всласть потолкались у посольств Англии и Франции, орали «God bless the King!» и «Vive la France!», перебрасывались восклицаниями с англичанами и французами, стараясь употреблять слова их языков, и от этой непривычной воли совершенно обалдели. Молодость и возбуждение делали всех нас неутомимыми. Даже Галя, которая была на пятом месяце беременности, в отдыхе не нуждалась.

Мы шли к дому Дубновых пешком по известному нам пути, то теряя, то вновь обретая наших попутчиков. Особенно живописной и путанной была траектория Славика Грабаря. Этот невысокий, благообразный, всегда спокойный и приветливый молодой человек, во внешности которого можно было увидеть сходство с его старым отцом, был совершенно на себя непохож.

В этот вечер Славик неистовствовал. Из какого-то уличного флагштока, прикрепленного к стене дома на высоте метров трёх, он выдернул большой красный флаг на длинном древке. То ли под этим флагштоком был ларёк, на крышу которого можно было вскарабкаться, то ли рядом была пожарная лестница, то ли Славика подсадили друзья. Но выкрасть флаг можно было только в этот вечер, непохожий ни на какой другой.

Славик шёл со своим флагом то рядом с нами, то вырывался далеко вперёд, и мы о его местонахождении знали только по высоко поднятому над толпой развевающемуся полотнищу, попадавшему в тот или иной сноп света. В какой-то момент мы потеряли его напрочь. И флага ни в какой дали не видели. Но вдруг, когда мы были где-то на Кропоткинской, Юра Гастев закричал: «Вот он!», и мы увидели Славика, висевшего со многими другими бесшабашными рисковыми гражданами на подножке трамвая, который, громыхая, не слишком быстро двигался в сторону Зубовской. Славик держался за поручень одной рукой, а другой — каким-то способом прижимал к себе древко своего флага. Флаг торчал наружу и трепыхался на ветру.

В конце концов всё съехалось к Вике Дубновой. Войдя в дом, Славик оставил свой флаг в углу прихожей и больше им не манипулировал. Допускаю, что он его у Дубновых потом и оставил. В доме царила молодёжь. Яков Семёнович был у Абрама Мироновича, а няньки тоже было не выдать: может, ушла, а может, затаилась в своей комнатке.

Празднество наше было нехитрое. Пили водку и грузинские сухие вина. Портвейны считались у нас крайним моветоном. Закусывали упомянутыми винегретами и картошкой. Орала песни. Но не наши военные, ценности которых мы тогда видеть не желали. Пели мы, уповая на грядущее приобщение к ценностям западной цивилизации и демократии, другое: «It's a long, long way to Tipperery». Ещё танцевали фокстроты и танго под патефон.

Некоторые из нас предпочитали, выйдя из-за стола, не пускаться в танцы, а уйти в кабинет Якова Семёновича. Пошёл туда и Славик. Подвыпив, он притих и задумчиво ходил по кабинету. Он вдруг стал стилем и скупостью своей речи изображать английского аристократа. Он начал методично разглядывать книги богатой библиотеки Якова Семёновича. Некоторые он вынимал, листал и ставил обратно. Он делал это так сосредоточенно и значительно, что его действиями заинтересовались другие гости, находившиеся в кабинете и настроенные не столь глубокомысленно. Одну книгу Славик задержал в своих руках дольше, чем предыдущие. Гости прервали свою болтовню, и стали ждать, что будет дальше. Почувствовав наступившую тишину, Славик оторвал глаза от книги, и увидев мой вопросительный взгляд, пояснил смысл и результат своих исследований: «Прелюбопытнейший человек — наш хозяин, сэр» — доверительно поведал он мне, а заодно и другим присутствовавшим при этом диалоге. Нелишне заметить, что через пару недель после этого наблюдения Славико предстояло сдавать этому прелюбопытнейшему человеку экзамен по дифференциальной геометрии.

Ещё через некоторое время Славик совсем скис. Сказались усталость и выпитое. Он уселся в глубокое кресло Якова Семёновича и внимательно следил за происходившим в кабинете, но — молча, не участвуя в возникавших и угасавших разговорах. Юра Гастев подошёл к нему и сказал: «Что, милый, устал?» На этот вопрос Славик, обращаясь к Юре, но так, что его ответ, как и в случае диалога со мной, слышали все, сказал проникновенно и устало — опять таки на английский манер — подтверждая Юрино предположение и одновременно объясняя причину своей замеченной другом усталости: «Целый день жгучего патриотизма, сэр!».

Вот так и остался в моей памяти исторический день: радостная встреча друзей около университета с поцелуями и объятиями без разбора пола, возраста и статуса, американцы, свешивавшие ноги из окон посольства,

разноголосица и броуновское движение толп на Красной площади, выступление Сталина, провозгласившее конец гибельной войны, мелькающий, то скрывающийся во тьме, то вспыхивающий в огнях фонарей, то торчащий из трамвая красный флаг в руках Славика Грабаря. И наконец — Славикина заключительная формула: «Целый день жгучего патриотизма, сэр!». Вот уж сформулировал так сформулировал!

Среди ночи мы — Гая, я и Роберт Виноград, также прошедший вечер в доме Якова Семёновича, вернулись домой в Староконюшенный. Предполагалось, что Роберт проведёт остаток ночи у нас на раскладушке. В доме мы увидели такую картину. В ярко освещённой средней комнате сидели неутомимые учёные собеседники — Абрам Миронович за своим письменным столом и Яков Семёнович в качалке — и обсуждали будущее Мира и нашей Родины.

Разговор их был трезвым и неторопливым. Много из того, что они в этом разговоре предвидели, очевидно, осуществилось. Но их осторожный оптимизм насчёт либерализации жизни в нашем Отечестве, оказался, и это выяснилось чуть ли не на другой день, в высшей степени неосторожным.

...Очень скоро власти показали всему миру, а в первую очередь и особенно наглядно — соотечественникам, что в нашей стране ликвидацией режима концлагерей и не пахнет, а совсем наоборот. До советского общества дошла чудовищная весть о том, что концлагерям нашли ещё и такое применение: солдаты и офицеры нашей армии, освобождённые из немецкого плена нашими или союзническими войсками, становились зеками наших лагерей и часто оказывались в одном бараке с немецкими военными преступниками.

Переживших кошмар немецкого плена отправляли в наши лагеря без суда — независимо от того, по какой причине в этот плен человек попадал. А ведь чаще всего истинной причиной захвата в плен была слабость нашей армии в первый период войны, неумелость и безответственность многих командиров всех уровней...

Когда мы среди ночи вошли в освещённый дом, выяснилось, что нам с Галей и Роберту негде лечь: на нашей кровати и на раскладушке спали двое мужчин. Это был полковник Прагин, т. е. Гриша, муж Рали, племянницы Марии Григорьевны. Он всю войну провёл на фронте, и я до того момента не имел случая его видеть. На раскладушке спал Гришин адъютант в чине старшего лейтенанта. Он был украинец, но его почему-то звали Карл.

Гриша был заместителем командира танковой дивизии по материальной части и в эту знаменательную ночь прибыл из занятой нашими войсками Венгрии в Главное Управление бронетанковых сил Наркомата Обороны по делам своей дивизии. Ему захотелось побыть выпавшие ему пару дней в Москве в мирной обстановке в родственном доме, он был добр к своему адъютанту, взял его с собой, и вот они спали глубоким сном посреди ещё бодрствовавшей и переживавшей события ушедшего дня московской квартиры.

Мы с Галей и с Робертом отправились ночевать в другое место, в подмосковную Перловку, и свиделись с Гришей только на следующий день вечером. В Перловке была пустая дача, принадлежавшая семье Глеба Васильева, друга Роберта. Глеб охотно разрешал пользоваться его дачей своим близким друзьям. В электричке, отошедшей с Ярославского вокзала, было много народа. Мы стояли, и я, стоя, заснул («Целый день жгучего патриотизма, сэр!»).

Гриша привёз с фронта замечательный военный трофей, самым трогательным образом учитывающий нужды и вкусы хозяина дома. Это были несколько картонных коробок, в которые были уложены пачки изумительной гладкой, тонкой, но прочной к чернилам писчей бумаги. Как всякий постоянно пишущий человек, Абрам Миронович обожал хорошие авторучки и хорошую бумагу. Лучшего подарка к его Дню Рождения, который наступал на следующей неделе, выдумать было нельзя. Боевой офицер Гриша попал в точку, выбрав для подарка своему дяде столь нетривиальный продукт. Бумаги, которую подарил Гриша, было так много, что и другие члены семьи разрешали себе иногда писать на ней что-нибудь важное. Гриша привёз не только бумагу, но и пару палок венгерской копчёной колбасы.

День Победы стал днём вчерашним. Наступала экзаменационная сессия. Галя из-за предстоявшего рождения ребёнка решила остаться лишней год на третьем курсе. Она получила на это разрешение деканата и сессию не сдавала. Поэтому вышло, что все её друзья — Вика Дубнова, Боря Медведев, Люся Виноградова, Ира Голямина, Миша Хайкин, Дина Левитас, Боря Самойлов, Юра Абов — окончили университет на год раньше неё...

Для меня и моих друзей большинство экзаменов проблем не представляло. Но кое-что шероховатое было. Прежде всего — необходимость что-то мерзкое читать и запоминать для сдачи экзамена по истории КПСС. Предстояли занудные с нашей точки зрения экзамены по теоретической механике и по физике. С физикой были особые сложности. Курс общей физики на втором курсе читал крупный учёный профессор Г. С. Ландсберг, за которым числилось открытие мирового класса. На его лекции мы не ходили, хотя тогда посещение лекций было обязательным.

Весь семестр мы с упорством манкировали физпрактикумом, которым по-прежнему руководил доцент физфака Эльцин. Он портил нам привольную математическую жизнь ещё раньше, ведя практикум по механике вслед за лекциями С. Э. Хайкина. Делать опыты с какими-то сосудами, спектроскопом, электрическими цепями и пр., записывать и обрабатывать их результаты с последующей сдачей зачёта Эльцину мы считали для себя оскорбительным.

Студентов, не сдавших практикума, к экзаменам по физике не допускали. До экзамена оставалось мало дней, наши хвосты по практикуму были порядочными, и мы обратились к Эльцину с вопросом, что нам делать. Вышло, что нам грозит перенос экзамена на осень. Была у нас тайная надежда, что Эльцин оставшиеся работы нам зачтёт без ненужного нашего напряжения — из одного лишь уважения к нашему увлечению теоретико-множественной топологией. Эльцин отвечал, что ставить зачёты за несданные работы он не может, но — чем чёрт не шутит — не попробовать ли нам пойти на экзамен без отметки о зачёте практикума: Григорий Самойлович человек широких взглядов и способен отойти от канона.

Очень скоро выяснилось, что это была провокация, имевшая целью проучить нерадивых и надменных студентов, кичащихся своим неуважением ко всему, отличному от чистой математики. Заглотив крючок, брошенный Эльциным, мы (нас было таких отъявленных четверо: Юра, Славик, Лёва Малкин и я) отправились на экзамен. Ландсберг первым делом попросил наши зачётки, задумчиво вслух констатировал, что зачёта по практикуму нет, а затем молча заполнил каким-то текстом очередную строку в зачётке каждого из нас. Делал он это не торопясь, обмакивая ручку в чернильницу с чёрными чернилами. Авторучки были в те вре-

мена редки, и у профессора Ландсберга таковой не было. Кончив писать, Ландсберг приветливо улыбнулся, протянул нам зачётки и сказал, что мы свободны.

Выйдя из аудитории, мы обнаружили, что во всех зачётках очередная строка была аккуратно заполнена: стояли на своих местах дата, название предмета, фамилия экзаменатора, отметка и подпись профессора. Всё было недурно, кроме отметки. В этой графе стояло слово «неуд», да ещё с мелкими кляксами, свидетельствовавшими, что несмотря на внешнюю любезность, профессор это слово писал с особой эмоцией, и перо его брызгало. Мы поняли, что этот спектакль — результат прекрасной режиссёрской работы коварного Эльцина.

Заместитель декана мехмата Краснобаева, суровая дама, была в отчаянии, пожалуй, больше нашего: неуды в зачётку ставить не полагалось — их ставили только в экзаменационный лист. Мы же — молодые идиоты — от этого нарушения профессора были в восторге и несколько дней шатались по факультету, хвалясь перед каждым желающим нашими драгоценными неудами. Пришлось нам однако, всё пересдавать осенью... Стипендий тогда за несданные в срок экзамены не лишали, но если бы и лишали, то по тогдашним военным рыночным ценам деньги эти были совсем ничтожными, а для выкупа по госценам продуктов по карточкам их отсутствие было бы незаметным.

Весна сорок пятого и Победа принесли чудесную новость: Даня под танком не погиб. Брёвна наката над окопом выдержали тяжесть танка. Но этого его товарищи уже не видели. Даня потерял сознание и очнулся в плену. Два года Даня провёл в немецких лагерях. Во внешности молодого Дани не было типичных еврейских черт (которые позже стали чуть заметнее). Иначе немцы убили бы его в первый же момент. При его пленении у него был найден только комсомольский билет, в котором значились только инициалы. Он сказался вместо Давида Дмитрием. О его еврейском происхождении не знал никто. Впрочем может, кто-нибудь и знал, но все Данины товарищи по лагерю военнопленных очень Даню любили.

Только один раз живший с ним в одном бараке новый военнопленный, не знавший, каким авторитетом пользовался в этом кругу Даня, стал в отсутствие Дани рассуждать на тему, а не еврей ли Павловский, и не стоит ли открыть глаза на то немецкому начальству. Дане об этих речах ничего не сказали. Но в ту же ночь потенциальный доносчик был убит. Немцы не смогли (да, наверное, не очень-то старались) дознаться, кем и почему. Даня об истинной причине убийства этого человека узнал из намёков товарищей много позже.

Несколько раз Даня и его друзья подготавливали побег. Первый раз их бежало 12 человек. Разделившись на четвёрки, они должны были пролезать через разрез в колючей проволоке. Первая четвёрка бежала успешно. Вторая была убита огнём охраны. Третья — и Даня в её числе — поймана. Было ясно, что их расстреляют. Но начальник лагеря сказал: «Ваше дело бегать, наше — ловить» и заменил им расстрел карцером. Говорили, что этот старый служака в первую мировую войну побывал в русском плену, и сохранил по отношению к русским что-то человеческое.

Карцер был ужасен. Даню спасали в лагере и спасли на этот раз два обстоятельства. Во-первых, его физическая закалённость, которой немало способствовали деревенский суровый быт в Лосинке и спартанское воспитание Якова Наумовича. Во-вторых, Даня был человеком превосходных душевных качеств, располагал к себе людей, щедро оказывал людям по-

мощь и поддерживал их. И за это ему воздалось: Дане тайно передавали в карцер еду, потому что кормили в карцере два раза в неделю.

Второй раз они (их было трое) оказались в партии пленных, которую куда-то перевозили по железной дороге. Они замыслили побег из теплушки. Они пропилили пол вагона и готовились выпрыгнуть на шпалы дождавшись медленного хода поезда. В какой-то момент поезд стал совсем. Они начали прислушиваться к речам конвойных и к доносившимся звукам и поняли, что они — в Берлине. Бежать, находясь в столице Германии, они в тот момент не решились.

Но через несколько месяцев — это было уже в марте или апреле сорок пятого — Даня и его друг Иван решились бежать из лагеря, расположенного в Германии. Именно туда их привёз тот поезд. Немцы агонизировали, и была опасность, что они начнут уничтожать пленных. Побег удался. Даня и Иван скитались по сараям и хуторам вражеской страны. Один раз их обнаружила немка — хозяйка усадьбы. Но это уже был момент, когда немка сочла более выгодным для себя прятать беглецов на чердаке своего дома — вплоть до капитуляции Германии.

В момент окончания войны беглые Даня и Иван оказались в американской зоне оккупации и явились к военным властям. На Западе довольно быстро стало известно об участии, ожидавшей на родине многих советских военнопленных. Американцы отговаривали бывших военнопленных от возвращения в Союз и предлагали им другое устройство жизни. Но Даня, Иван и большинство их сотоварищей по судьбе тревожной американской информации не поверили. Они стремились домой.

Прощаясь с русскими перед КПП, американские военнослужащие снимали с руки часы и дарили их русским братьям оружием. На Даниных глазах советские офицеры, принимавшие по другую сторону КПП советских освобождённых из плена военнослужащих, эти часы с рук возвращённых срывали — на глазах потрясённых американцев. Даня подаренные ему часы как-то уберёг, и они до сих пор хранятся в его семье.

С этого момента начался для Дани и Ивана советский лагерный этап. Их повезли в Сибирь, на Алтай — в Темир-Тау. Это был июнь сорок пятого. По дороге Даня исхитрился бросить из окна своей теплушки письмо домой, в Лосинку. Дом был пуст. Отец продолжал служить в армии, мать умерла. Данино письмо обнаружила соседка и доставила его к Залман-зонам. В 29-й квартире собирались жильцы дома, чтобы снова и снова послушать Данино письмо. Конечно, в этом письме была не всё то, что я рассказал выше. Было только главное. Остальное мы узнали из позднейших Даниных рассказов. Но Слава чудесной новости узнать не успела.

Надо было известить о радостном событии Якова Наумовича. Ему послали письмо, но оно с ним разминулось: почти сразу после того, как счастливое письмо было отправлено, пришло письмо от Якова Наумовича, в котором он писал, что его госпиталь перебазировается на Дальний Восток, что эшелон проследует через Москву (Яков Наумович указал ориентировочные даты), задержавшись, возможно, на некоторое время на подъездных путях Ярославского вокзала. Сообщил Яков Наумович и номер эшелона.

Много суток, попеременно, Александр Маркович и Эдя дежурили на Ярославском вокзале, чтобы увидеть Якова Наумовича и рассказать ему о воскресении Дани из мёртвых. Считалось, что только близкие люди смогут подготовить отца к столь умопомрачительной, хоть и счастливой, новости. Военный комендант вокзала был к этим дежурившим родным доброжелателен и обещал известить их о прохождении нужного им эшелона.

Наконец, в одно из Эдиных дежурств, которое по забытым сейчас причинам затянулось и перешло на вторые сутки, стало известно, что через несколько часов эшелон прибует. Скромные по тем голодным временам Эдины припасы кончились. Он испытывал необычайное волнение от предстоящей встречи с Яковом Наумовичем, которому судьба даровала выслушать ошелмляющее известие, и — одновременно — всё нараставший голод.

И вот Эдя получил возможность подойти к прибывшему эшелону. Было совершенно непонятно, сколько времени эшелон будет стоять. Эдя бежал вдоль вагонов и, наконец, увидел Якова Наумовича, так же всматривающегося в проходящих и пробегавших людей с надеждой увидеть кого-нибудь из родных. Добежав до Якова Наумовича, Эдя — под угрозой того, что эшелон тронется и он не успеет сказать главное — забыл о всех планах постепенной подготовки Якова Наумовича к невероятно радостному сообщению и крикнул: «Дядя Яша! Даня жив! Дай поесть!». Эта фраза навсегда осталась в памяти семьи.

...Забегу вперёд и расскажу о дальнейшей судьбе Дани. В скором времени после первой радости выяснилась невеселая правда о том, как приняла Даню родина-мачеха. Даня в качестве заключённого попал в угольные шахты в Алтайском Крае. По-видимому, в том лагере, где они с Иваном очутились, заключённые содержались не так строго, как в большинстве мест такого рода. Вскоре Даня стал маркшейдером. У него появились контакты с вольнонаёмным персоналом.

Дальнейшее напоминает Стендаля. У Дани возникла любовь с девушкой Лидой. Она была местной жительницей и вольнонаёмной служащей шахтоуправления. Года через два жизни заключённого Даня был переведен на положение расконвоированного. Более того, ему разрешили поступать в московский вуз и — буде поступит — отпускали! Тогда же подруга Лиды полюбила Ивана. Она с Лидой помогли получить досрочную свободу и Ивану. Таким образом, Даня и Иван, прошедшие вместе немецкий и советский лагерь, женились на подругах и увезли их с Алтая в свои родные места.

Даня ещё был на Алтае, но стало ясно, что пора думать о его московских учебных делах. У Дани дома сохранились студенческий билет и зачётка МАИ. Но о восстановлении бывшего военнопленного и зека в этом престижном вузе и речи быть не могло. Эдя с Даниными документами отправился, представляясь их владельцем, в поход по многим — но не первостепенным — московским вузам.

Все родные боялись, что в процессе Эдиных походов ему, композитору, могут задать вопрос из сданной, как это следовало из Даниной зачётки, аналитической геометрии. Этого не произошло, но всюду звучал отказ из-за негативных моментов Даниной биографии.

Бредя по коридорам очередного учебного заведения, а это был Институт Электрификации и Механизации Сельского Хозяйства, Эдя наткнулся на родственника, потомственного снабженца. Выяснилось, что дядя Павлик — начальник АХО этого института. Дядя Павлик, узнав, в чём дело, зашёл в нужный кабинет и сделал Даню студентом в течение нескольких минут. Даня и Лида приехали в Лосинку. Это было уже году в сорок седьмом или в сорок восьмом.

После окончания института Даня поступил на работу в Машинно-Испытательную Станцию в посёлке Правда, что недалеко от Лосинки. Скоро он стал главным инженером этой МИС, а потом и директором института, в который МИС была преобразована. У Дани с Лидой родилось двое дочерей. Потом пошли внуки.

Я вспоминаю ещё и такую историю. В начале семидесятых годов Даня написал и собрался защищать во Всесоюзной Академии Сельскохозяйственных наук кандидатскую диссертацию. У него возникли какие-то трудности со вторым оппонентом, и я предложил ему себя. Никакого жульничества в таком варианте не было. В диссертации Дани исследовались математическими методами схемы размещения на полях поливальных установок, а я тогда уже работал в ЦЭМИ АН и занимался методами компьютерного моделирования технических и экономических систем. Так что, я подходил по всем параметрам. Но я поставил Дане условие: подписывая положительный отзыв, я наряду с моей должностью и учёной степенью, укажу и такой мой титул: «Любящий кузен Юра». К тому времени я был уже много лет женат на Маше и право на титул Даниного кузена имел. Диссертация была успешно защищена.

Умер Даня безвременно, прожив немногим более шестидесяти лет, оплакиваемый семьёй и чуть ли не всем населением посёлка на ст. Правда. Яков Наумович умер несколькими годами раньше своего сына.

С Иваном, жившим в последующие годы где-то в Сибири, Даня регулярно встречался. Они, совместно пережившие так много сходных трагических и счастливых жизненных коллизий, считали друг друга братьями. Их нежная дружба продолжалась до конца Даниной жизни. Даня умер первым...

В сорок пятом с фронта вернулся Хиля Ройтерштейн. Это был молодой человек, Галин ровесник, близкий к семье Лопшицев с детских своих лет. Репрессии конца тридцатых не затронули Абрама Мироновича и Марию Григорьевну непосредственно. Но многие их друзья жертвами репрессий оказались. Лопшицы бросались на помощь оставшимся на свободе членам семей арестованных или погибших друзей. Они делали это, совершенно пренебрегая опасностью для своей собственной судьбы и судьбы своей семьи, хотя опасность эта была очевидна. Но — пронесло.

В особой помощи нуждались дети репрессированных родителей. Одним из них был сын близких друзей Абрама Мироновича и Марии Григорьевны с ещё Одесских времён. Отец мальчика Ося Ройтерштейн был расстрелян, мать — Лиза Ершкович — очутилась в лагере. Мальчика звали Михаэль, но его домашнее имя было странноватым — Хиля. Лопшицы взяли Хилю к себе, и он стал жить в их семье на положении Галиного брата.

Через некоторое время выяснилось, что Хиля — типичный «трудный ребёнок». Перед проблемами его воспитания у Галиных родителей, взявших его в свой дом, стали опускаться руки. Тогда близкая младшая подруга Лопшицев Лёличка Ройтерштейн (она была лет на десять их моложе), муж которой — брат Хиляного отца — тоже был арестован и исчез, предложила взять племянника к себе. Лёличка жила в Воскресенске под Москвой. После ареста мужа она осталась в том же подмосковном городе с маленькой дочкой Машей.

Лёличка была, несмотря на молодость, женщиной необыкновенных качеств: умной, доброй, образованной, изумительно красивой, с высоко развитым чувством долга и ответственности. Она была учительницей истории в школе. На Хилю она подействовала самым благотворным образом.

Из её дома он ушёл на Отечественную Войну. Летом 1945-го он вернулся, и тут мы познакомились. Хиля провёл войну рядовым, участвовал в боях и был полон военных впечатлений. Один из его рассказов я запомнил. Как-то весной сорок пятого, уже в Германии, Хиля с группой

бойцов вошли в немецкий дом и стали размещаться на первом этаже. Хозяева дома сказали, что дом пуст. Вдруг Хиле показалось, что на втором этаже над ними что то шевелится. Хиля выстрелил вверх, и солдаты побежали посмотреть, что там происходит. Они увидели только что убитого Хилиным выстрелом молодого немецкого солдата, который вот так неудачно попытался спрятаться. Хилю поразило, что из документов убитого выяснилось, что убитый немец родился в точности в тот же год и день, что и он.

Хиля был разносторонне одарённым юношей. У него был необычайный интерес и к музыке, и к точным наукам. Вернувшись с фронта, он колебался и разрешил свои колебания оригинальным образом: поступил и на физфак, и в Московскую консерваторию. Но через год он выбрал музыку и своё высшее музыкальное образование успешно завершил.

...Вскоре Михаэль Иосифович Ройтерштейн стал видным музыковедом, и многие годы заведовал кафедрой музыкального факультета МГПИ...

Вскоре после окончания войны вернулась домой сестра Славика Ольга. На фронт она ушла девицей, а вернулась с фронта с мужем, весьма малокультурным и склонным к пьянству офицером, которого в семье Грабаря (он был им чужд по всем параметрам) называли «зеть» — коверкая слово «зять» в подражание какому-то областному диалекту. Ольга оказалась очень милой женщиной, умной и языкатой. Мне она была симпатична ещё и потому, что чуть шепелявила, напоминая мне говор моей ленинградской Юры. Она была моего возраста или чуть старше.

В ночь с 25-го на 26-е сентября 1945 г. (мы уже учились на третьем курсе) были арестованы Юра Гастев и Лёва Малкин. С одной стороны, в их аресте не было ничего удивительного: в те поры арестовать могли любого, и без всякого видимого повода. А уж Юра и Лёва были известными острословами и далеко не всегда — по строгим меркам тех времён — достаточно осторожными. Я не исключаю, что одна из причин ареста моих товарищей была связана с обоснованными жалобами Маурера на недостаточную почтительность этих студентов к марксизму-ленинизму. С другой стороны, несмотря на свою обыденность, событие это было страшным.

А узнали мы об аресте Юры так. 26-го сентября, примерно в полдень, к нам пришла нежданная гостья — Софья Абрамовна Гастева, мать Юры. Дома были все, кроме Абрама Мироновича. Гале и Марии Григорьевне гостья знакома не была: Софья Абрамовна до этого дня не приходила к нам ни разу — в отличие от Юры, который бывал в Староконюшенном регулярно.

Софья Абрамовна пришла с бедой: она рассказала, что в эту ночь арестовали Юру. Можно представить себе смятение этой измученной женщины, муж которой был расстрелян, старший сын убит на войне, средний сидел в лагере, и связи с ним практически не было, а теперь взяли и младшего. Строки Ахматовой: «...Муж в могиле, сын в тюрьме...» отнесли ко многим нашим соотечественницам, и среди них была и Софья Абрамовна Гастева. Её собственная жизнь была омрачена многими лагерными годами, поневоле обогатившими её опыт. Так что она очень хорошо понимала, как живёт её средний сын, и что ожидает её младшего.

Новость, которую принесла Софья Абрамовна, нас ошеломила. Хотя в те поры такие новости были обыденными, но к конкретным проявлениям режима, да ещё касавшимся близких людей, привыкнуть было невозможно.

Я в первый и в последний раз за всю мою жизнь в этом доме увидел признаки того, что Марию Григорьевну присутствие гостьи тяготит.

Мы могли понять причину этого скрытого нежелания принимать Софью Абрамовну. Подчёркиваю: скрытого, и оно могло быть замечено только людьми, хорошо знавшими обычную приветливую манеру Марии Григорьевны-хозяйки.

Причина была серьёзная. Галя была перед самыми родами. Она, действительно, родила нашего Сашеньку на другой день. И вот на этом напряжённом фоне с тревогами из-за могущих начаться в любой момент родовых схваток дочери и следующих за ними неизбежными треволнениями Софья Абрамовна принесла весть, страшную не только своей непосредственной сущностью. Эта весть содержала сигнал о новой опасности, которая приблизилась к близким Марии Григорьевне людям.

Многочисленные друзья Лопшицев погибли или перенесли заключение или продолжали находиться в лагере. У Марии Григорьевны не было никакой уверенности в том, что на Юре и на Лёве Малкине (об аресте Лёвы Софья Абрамовна уже знала) Органы остановятся. Скорее, наоборот, она могла предполагать, что это лишь первые звенья цепочки, за которыми могут последовать аресты и других членов нашей компании, включая меня и беременную Галю. Душа Марии Григорьевны-матери бесконтрольно стремилась ослабить связь между попавшим в лапы Органов Юрой и нашей семьёй — в обоснованной надежде, что если связь слабая, то может, и пронесёт. Хотя ничто уже не могло эту состоявшуюся связь ослабить или усилить, и придавать ли ей значение или нет — всё зависело только от непредсказуемых сотрудников Органов. Мы уцелели, но в тот день всё говорило об опасности.

Мария Григорьевна пригласила страшную для неё гостью к столу. Начался обед. Софья Абрамовна едва ела. Мария Григорьевна потчевала несчастную женщину и, будучи сама ни жива, ни мертва, произносила слова утешения и надежды — недейственные, но без которых невозможно обойтись. Она была напряжена. На сказанное слабым голосом Софьи Абрамовны «спасибо» после того, как она с трудом съела поставленное перед ней блюдо, Мария Григорьевна вместо обычного «на здоровье» сказала «пожалуйста». Были, естественно, взволнованы и мы с Галей. И Софью Абрамовну было бесконечно жаль, и за Юрку было страшно, и конечно же, и за себя, и за ожидаемого младенца.

Я не знаю, кто надоумил Софью Абрамовну придти к Лопшицам (может, этот совет успел шепнуть сам Юра), каков был смысл этого прихода, кроме как рассказать нам и предупредить? Скорее всего, это были конвульсивные движения отчаявшейся матери, которые никакой практической цели не преследовали.

...Больше Софья Абрамовна в доме Лопшицев не появлялась. Я с ней продолжал контактировать, старался помочь ей в решении её скромных бытовых проблем, утешать и успокаивать, собирать и отправлять посылки для Юры — с того момента, как следствие и суд были окончены, и Юра обрёл четырёхлетнее жительство в концлагере. Кажется, в Мордовии. Посылки из Москвы тогда не принимали, и чтобы посылку отправить, надо было ехать в одно из загородных мест. Мы обычно отправляли посылки Юре из Мытищ. Количество посылок и писем в год было ограничено.

...Через несколько лет — уже после освобождения — Юра и Лёва рассказывали мне, как следователь предъявлял каждому из них ту самую записочку, которую я в конце октября предыдущего года прикнопил к факкультетской доске объявлений. Напомню, что моя записка, в которой были слова «27-го у меня в 6», извещала о времени намеченной

у меня гулянки. Следователи клеили Юре и Лёве антисоветскую организацию, а этот листок трактовали как извещение об её очередном собрании. Ни один из обоих моих друзей ни автором, ни адресатом листка себя не признал. Скоро от них с этой бумажкой отстали.

Следователь почему-то довольствовался тем, что успешно уличил своих подследственных в распространении антисоветских анекдотов. Для этого на встречах в своём кабинете и с Юрой, и с Лёвой он создавал непринуждённую обстановку и даже сам рассказывал своему собеседнику парочку-другую неплохих политических анекдотов. Мои друзья на эту удочку поймались, поделились частью своего запаса хороших анекдотов и подписали нужные следствию протоколы. Вместо антисоветской организации им предъявили антисоветскую агитацию, и они получили по четыре года лагерей. По тогдашним масштабам все считали такой срок неправдоподобно мягкосердечным. Хоть и был тот срок ни за что.

И. С. Шкловский в упоминавшейся выше новелле из книжки «Эшелон» пишет про Юрин арест в сорок пятом. Но изложение и интерпретация Иосифа содержат неточности. Иосиф рассказывает такую историю. Во время зимней сессии сорок пятого года Юра, сдавший зачёт или экзамен по аналитической геометрии, съезжал с нашего мехматского этажа по перилам вниз, держа подмышкой фундаментальный учебник по этому предмету, автором которого был известный математик Н. И. Мухелишвили. Доехав на хорошей скорости до конца марша, Юра влетел в группу студентов-историков, стоявших на лестничной площадке около «деканата истфака», т. е. мужской уборной. Напоминаю, что с историками (это отмечает и Иосиф) математики были в корпоративных неладах. Один из историков, в объятиях которого оказался не успевший затормозить Юра, нахально выхватил из Юриной подмышки книгу и сказал пренебрежительно: «Подумаешь, Мухелишвили». Быстрый на реакцию Юра поступил симметрично: он выхватил книгу, торчавшую из подмышки насмешника (историки, видать, тоже были после экзамена), прочёл её заголовок и сказал, подхватив предложенный тон: «Подумаешь, Джугашвили!»: выхваченная из подмышки историка книга называлась «Вопросы Ленинизма», служившая катехизисом партийной идеологии. Для обозначения её именитого автора Юре в сложившейся ситуации показалось уместным употребить его настоящую фамилию, а не его грозный и гремевший на весь мир псевдоним: «Сталин».

Сам факт обозначения вождя его настоящей фамилией, а не канонизированным величественным псевдонимом был дерзостью. На всякий чих были свои правила. Слово «Джугашвили» употребляли — только один или два раза — в официальной «Краткой биографии» Сталина при описании происхождения и младенчества Вождя. В остальных случаях говорили только «Товарищ Сталин» или «Иосиф Виссарионович»; это входило в идеологический ритуал, нарушать который было опасно.

В своей новелле Иосиф считает, что Юру арестовали именно за эту шутку, доведённую до ушей Органов кем-то из тех историков. У меня на этот счёт есть серьёзные сомнения. Об эпизоде с историками и двумя грузинскими авторами я слышал от самого Юры непосредственно после того, как эпизод имел место. Но аналитическая геометрия входила (и сейчас, небось, входит) в программу первого курса Мехмата. Поэтому экзамен, о котором упоминает Иосиф, мог происходить либо в зимнюю сессию (январь), либо в весеннюю (май или июнь) 1944-го, но не 1945-го, как пишет Иосиф, года.

Если б поводом для ареста был именно этот эпизод, который мог произойти только в 44-м, то почему арест был отложен до сентября 45-го? Почему Лёву, который к шутке «Мухелишвили — Джугашвили» непосредственного отношения не имел, арестовали одновременно с Юрой? Конечно, большой логики в действиях Органов искать не надо. Но если б Юру действительно арестовали за шутку над фамилией вождя, то за неё в те времена можно было и высшую меру получить, а не четыре года, которые тогда звучали вроде как путёвка в санаторий.

После Юриного освобождения (а я, в отличие от Иосифа, увиделся с ним в первый же его приезд в Москву из ссылки, в которую его отправили после освобождения из лагеря) Юра, рассказывая мне о разных эпизодах следствия и суда, никогда не говорил, что в обвинении фигурировало это его остроумие на темы грузинских фамилий, которым он блеснул, «спускаясь по перилам».

И ещё: в группе историков, поймавших Юру и обменявшихся с ним репликами на тему грузинских фамилий, хотя бы один стукач, скорее всего, был. Так почему же столь крамольная шутка не отяготила приговор? Я думаю — потому что Юра всю эту эффектную и льстящую его репутации остроумца сцену с историками около их «деканата» сочинил. Юра был талантливый математик и великий насмешник, мастер шутки и каламбура. Я допускаю, что в какой-то момент — может, во время только что состоявшегося экзамена по аналитике, когда в его голове крутилась фамилия автора учебника, ему — в эту же — голову пришло забавное сопоставление на грузинскую тему. Не довести его до ушей дружественной общности было бы жалко, и Юра придумал гарнир: правдоподобную сцену, в которой тот, построенное на его лингвистическом открытии, сыграло подобающую роль. Стоило ли ради столь удачного и дерзкого красного словца пожалеть бескрылую правду? Он, очевидно, распространял плод своей фантазии только в дружественной математической среде, в которой стукачей, действительно, не оказалось...

Нелёжкой оказалась и судьба Глеба Васильева, друга Роберта, на дачу которого в Перловке мы — Галя, Роберт и я — отправились утром 10-го мая 45-го года, когда обнаружили, что на наших постелях спят два танковых командира. Глеб был арестован в конце сентября или в начале октября, т. е. одновременно или вскоре после ареста Юры Гастева и Лёвы Малкина.

Мы не понимали, почему дело Глеба явно оказалось связанным с делом Юры и Лёвы. К нашей компании Глеб не принадлежал, мы знали его только как друга нашего друга Роберта.

...Глеб получил (и отсидел) тоже четыре года. После отсидки Глеб говорил, что из вопросов следователя он понял, что является жертвой неосторожных и неразумных показаний Юры и Лёвы. Увы — может быть...

Вечером того 26-го сентября у Гали начались ожидавшиеся схватки. Лопшицы были практичными и знающими жизнь людьми. Они понимали, что в тогдашней московской обстановке такое дело, как роды, пускать на авось (т. е. полагаться на официальную систему родовспоможения) нельзя. Поэтому они за пару месяцев до родов завязали через кого-то из сестёр Абрама Мироновича оплаченную связь с акушеркой из роддома им. Крупской в Вадковском переулке. Ни в каком роддоме поближе надёжной связи не нашлось. И тогда разочли, что надёжная договорённость в далёком Вадковском лучше, чем рожать в близком Грауэрмане, но — «с улицы».

Была ещё проблема с транспортировкой роженицы. Такси практически были недоступны. Формально ими могли пользоваться только люди, которым выдавали специальные боны для расплаты с таксистом. Несомненно, что таксисты брали и обычные, но очень большие деньги. Из всех знакомых боны получал только Вениамин Фёдорович Каган, ибо имел звание «Заслуженный деятель науки». Он этими бонами с Лопшицами, конечно, заранее поделился. Но и с бонами было ненадёжно: телефон в квартире после войны ещё не восстановили, а по московским правилам вызвать такси можно было только из собственного телефона. На «скорую» полагаться сочли ненадёжным: она вполне могла не согласиться везти роженицу в далёкий Вадковский вместо ближнего Грауэрмана.

Надёжный транспорт обеспечила Надежда Мироновна. В Цековском доме в Староконюшенном жила семья Алексея Александровича Кузнецова, тогдашнего Первого секретаря Ленинградского обкома. Он с семьёй, очевидно, жил здесь до своего высокого назначения в Ленинград. Семья за ним почему-то тогда не последовала, и во время своих частых приездов в Москву Кузнецов жил в этом доме со своей семьёй. Мы все эти детали знали, потому что Надежда Мироновна давала маленькой дочери Кузнецова частные уроки игры на пианино на дому ученицы.

Надежда Мироновна договорилась с вельможной, но душевной матерью своей ученицы таким образом, что в любое время суток ей можно будет позвонить, и для Гали пришлют служебную машину. И когда часов в 9 вечера 26-го у Гали начались схватки, я выбежал в Сивцев Вражек и позвонил Кузнецовой. Через десять минут у нашей двухэтажной развалюхи стояла чёрная «эмка».

С Галей поехали Мария Григорьевна и я. Телефона у акушерки дома не было, и договорённость с ней о действиях в срочном случае была сложной. Галю следовало везти сперва домой к акушерке — она жила около Никитских ворот. Если акушерка дома, то её берут в машину и мы все вместе едем в роддом. Если акушерки дома нет, то мы едем в роддом в расчёте на то, что она или там, или оставила коллегам информацию о том, где её найти и что делать, пока её нет.

Акушерка была дома. Таким образом, осуществлялся первый вариант. Но дальше пошло не по плану. Акушерка решила, что ещё не пора, и в роддом ехать не надо. Мы послушно отправились обратно домой. Но акушерка была не очень права: через несколько часов, ещё этой же ночью, схватки возобновились, я снова побежал в уличный автомат и снова позвонил Кузнецовой. Машина приехала снова, мы опять поехали за акушеркой к ней домой.

Она жила в комнатухе коммунальной квартиры. Наш ночной звонок в дверь многих соседей разбудил, а кое-кого, возможно, и напугал. Но тогда такие беспокойства были в норме. На этот раз акушерка согласилась, что час пришёл, быстро собралась, и к шести утра мы все были в роддоме Крупской. Вскоре родился Сашенька. Это произошло утром 27-го сентября 1945-го года.

...В конце сороковых годов Кузнецов был обвинён по так называемому «Ленинградскому делу» и в 1950-м году расстрелян...

Появление в доме младенца осложнило жизнь старших Лопшицев. Впрочем, к непосредственному ежеминутному уходу за малышом мы с Галей их не привлекали. Да и сами мы продолжали учиться, ходить на лекции и другие занятия. Обходиться без няни стало невозможно. Место для няни было — московское традиционное: на раскладушке в кухне. Пока рос Сашенька, их сменилось несколько.

Через несколько недель после рождения Сашеньки Галя и я поехали с ним в гости к Эде с Тамарой. За три месяца до рождения Саши у Эди с Тамарой успел родиться сын Серёжа, и вот нам, обоим парам молодых родителей, захотелось показать друг другу наших детей. Колмановские жили тогда на Земляном валу, и мы в первых раз везли нашего месячного Сашеньку так далеко — на руках.

Мы вошли к Колмановским, и первое, что мы увидели, была коляска, в которой младенец Серёжа сидел. Может, он лежал, но был приподнят на подушке. Это зрелище нас с Галей поразило. Серёжа был неестественно огромным, хотя он был совершенно нормальным ребёнком обычных для его возраста размеров. Нам с Галей и взор Серёжи показался осмысленным и значительным. Он был спокоен, а наш феноменально мелкий младенец голосил во всё горло. Нашей с Галей фантазии не хватало, чтоб представить себе, что через несколько месяцев и наш Сашенька посолиднее и увеличится. Но это произошло и процесс продолжается!

...Разительной разницы между Сашей и Серёжей теперь нет. Саше уже ближе к шестидесяти. Он, отставая от Серёжи по возрасту на три месяца, обогнал его в другом. У Серёжи две дочки и четверо внуков, а у моего Саши шестеро детей и шестеро внуков...

Как-то в самом начале 46-го года, когда Сашенька стал чуть покрупнее, в Доме Учёных был объявлен новый фильм «Без вины виноватые» с молодым актёром Дружниковым в главной роли. Мы с Галей весьма самоотверженно ухаживали за нашим сыном и к помощи родителей старались по пустякам не прибегать, но тут — очень захотелось, и Мария Григорьевна, которая в этот вечер оставалась дома, милостиво нас в Дом Учёных на новый фильм отпустила.

Мы стали смотреть этот фильм, но когда артист Дружников, игравший Незнамова, поднял свой издевательский тост за матерей, бросающих своих детей, нам с Галей стало не по себе. Фильм шёл к концу. Мы досмотрели его как на иголках, схватили наши пальто и бросились по Мёртвому и Старокопюшенному к брошенному сыну. Всё было в порядке, Сашенька всё время спал, нас никто не упрекал. Просто — очередное доказательство силы искусства.

Продолжу рассказ о жизни дома Лопшицев. Году в сорок пятом или сорок шестом из многолетних лагерных мытарств вернулся близкий друг молодости моих тестьёв, которого звали Саша Лизаревич. Он тоже был учеником В. Ф. Кагана в гимназии Иглицкого в Одессе. Хотя из лагеря он был выпущен, но не имел права жить в Москве и нигде, что находится к Москве ближе, чем на сто километров. Это ограничение было одной из стандартных мер Органов против своих жертв и называлось «минус сто». Великая милость состояла в том, что подвергнутый мере «минус сто» мог выбрать себе место жительства сам. Впрочем, реальный выбор был не очень велик, и было три—четыре места, которые такие ссыльные для себя по причинам практического свойства облюбовали.

Саша выбрал Малоярославец. Он часто нелегально приезжал в Москву на день—два. На долгое время он приезжать не мог, так как должен был регулярно отмечаться в местном отделении НКВД. Он ночевал у своих разных московских друзей. Иногда, редко (Саша старался не ночевать систематически ни в каком дружеском доме) — он ночевал у нас.

У Саши была проблема с заработком. Друзья-математики старались найти ему литературную и редакторскую работу. Но его фамилия на издававшихся книжках никогда не значилась. Договор составлялся на других. Среди людей, доставлявших работу Саше и помогавших оформить её так,

чтобы Органы не могли обвинить Сашу в нарушении ссылочного режима, были В. Ф. Каган и И. Н. Бронштейн — один из ведущих редакторов издательства физико-математической литературы.

Одни раз Саша пришёл к нам взволнованный. Только что с ним произошло следующее. Он вышел из метро «Кропоткинская» и пошёл по Гагаринскому переулку к нам. И вдруг перед ним вырос человек в форме НКВД. Он некоторое время молча смотрел на Сашу, а потом медленно направился к ближайшему парадному подъезду, поманив Сашу пальцем — таким образом предлагая Саше следовать за ним. Саша понял, что пропал, что его выслеживают и выследили и теперь дадут новый срок за нарушение предписанного режима.

Сотрудник Органов и Саша зашли в подъезд. Сотрудник остановился, и тут Саша увидел, что он шатается, будучи вдребезину пьяным. Нкведешник неверной рукой достал из кармана пачку папирос, вынул папиросу из пачки и произнёс нетвёрдым голосом: «с-спички есть?». Саша дал ему коробок. Человек с голубыми погонами зажёг с нескольких попыток свою папиросу и вежливо сказав Саше «с-спасибо», отдал ему спички и вышел вон из подъезда. Он был пьян, но понимал, что на уличном ветру ему бы не прикурить нипочём.

На фоне такого, прямо сказать, невесёлого существования Саша сохранял хорошее настроение, был оживлённым, остроумным и интересующимся массой вещей: политикой, музыкой, литературой, историей. Он был эрудированным и очень интересным собеседником. Кроме того, он был очень красив: высок, с прекрасными посеребрёнными волосами и с яркими весёлыми глазами.

Я в те годы увлекался Анатолем Франсом и как-то раз поделился с Сашей своим восхищённым впечатлением от этого писателя. Разговор наш шёл в ярко освещённом кабинете Абрама Мироновича. Саша сидел в уже упоминавшейся уютной качалке-шезлонге. Он сидел, вытянув с видимым наслаждением длинные свои ноги, выражая своей позой тот невеселый факт, что в этот приветливый дом он вошёл пару часов назад из того мира, где он чувствовал себя загнанным зверем, и что через несколько часов должен будет в тот недобрый к нему мир вернуться.

Выслушав внимательно мои щенячьи мысли, Саша, немного подумав, ответил мне: «Юра, я старый и умный еврей. Когда-то и я был без ума от Франса, но я уже давно стал понимать, что жизнь устроена не так изысканно и парадоксально, как её своими тонкими средствами мастерски описывает Франс, а гораздо более просто и жестоко».

Мысль, высказанная Сашей, была, быть может, не такой уж оригинальной, но слова, в которые Саша её облёк, его обстоятельства, обстановка душевной передышки, которую он в данный момент чувствовал, и стоявший за этой обстановкой мрачный фон за окном ярко освещённой комнаты, и, вообще, моя привычка смотреть Саше в рот, потому что я находился под сильнейшим впечатлением от его личности, произвели должное действие и повлияли на мое дальнейшее отношение ко многим явлениям культуры и реальной жизни.

Впоследствии мне представилась тысяча бесед и ситуаций, когда я имел основания начать свои соображения словами Саши: «Я старый и умный еврей...». И я начал так говорить ещё в те годы, когда я был гораздо моложе Саши, и продолжаю — в многочисленных подходящих случаях — употреблять эту формулу по сей день, когда я уже стал действительно старым — но пусть другие скажут, умным ли — евреем...

...Саша был сердечником. Он никогда на своё сердце не жаловался, его болезнь в его поведении и разговорах не фигурировала. Но как-то (это было в конце 1949-го) в чьём-то доме у него случился сердечный приступ. Среди Сашиних друзей был доктор Синай. Он, видать, был храбрым человеком, потому что нашёл — явно незаконный в те годы — способ положить Сашу в кардиологию больницы, в которой работал или консультировал. Это была Екатерининская больница на Петровском бульваре.

Думаю, доктор Синай проделал это, как говорят в Москве, «по скорой». Бригада машины скорой помощи редко интересовалась документами больного, и её можно было уговорить повезти больного в определённую больницу, иногда добавив к просьбе небольшие деньги.

Саша пролежал в этой больнице считанные дни и скончался. Друзья прощались с ним в морге этой больницы. Оттуда все поехали в крематорий, а через некоторое время урну с его прахом похоронили на Донском кладбище в могиле, принадлежавшей его семье.

Я представляю, как трудно и опасно было информировать УВД Малоярославца о том, что их подопечный тайком от них некоторое время незаконно проживал, а следовательно, и незаконно умер в Москве. Кто и как эту миссию выполнил, я не знаю.

Доктор Синай был вторым мужем покойной к тому времени дочери В. Ф. Кагана Нади. Она была врачом и ещё до войны умерла вместе с несколькими другими врачами, разрабатывавшими противочумную вакцину и заразившимися болезнью, с которой они боролись. Кажется, это было где-то в Саратовской области.

В течение года—полутора после нашей с Галей женитьбы в нашем кругу образовалось ещё несколько пар. Расскажу только о трёх из них.

Вика Дубнова вышла замуж за своего однокурсника Бориса Медведева, который, ещё будучи студентом, поставил себе целью стать учеником академика Ландау и стал успешно проходить разработанную этим великим и экстравагантным учёным обширную и растянутую во времени систему научных тестов.

Славик Грабарь женился на студентке мехмата Лиде Юдинсон. ...Забегая сильно вперёд (чтобы с этой темой расстаться), скажу, что брак Лиды и Славика продолжался не очень долго. Они успели родить сына. Потом Славик женился на девушке из искусствоведческого мира, потом он разводился и женился ещё несколько раз. А Лида вышла замуж за глухого Лёву Вайнштейна, нашего недолгого товарища по Красновидову, ставшего известным учёным и членкором АН...

Пожились Ира Голямина и Миша Хайкин. Они стали жить в квартире Мишиной семьи в профессорском доме, расположенном во дворе в задах того университетского корпуса, в котором находились мехмат и истфак. Миша был, напоминая, сыном известного физика С. Э. Хайкина. Как-то по случаю дня рождения кого-то из них молодожёны позвали кучу гостей, и в том числе нас с Галей. Квартира была отдана в распоряжение молодёжи. Мишина мама до нашего ухода домой и не возвратилась, а вот Семён Эммануилович под конец вечера появился.

Большой ужин был уже окончен. Явившемуся старшему Хайкину дали чай с бутербродом, он ел и пил, а ещё не успевшие уйти молодые гости сели рядом с Семёном Эммануиловичем и разговаривали с ним на разные темы. Я впервые (и в последний раз) видел близко Семёна Эммануиловича, которого раньше знал только по его лекциям, читанным им для

нас — математиков первого курса. Он оказался интересным и обаятельным собеседником.

Одна из тем касалась музыки. Возможно, она возникла от того, что брат нашего хозяина — Борис Эммануилович — был известным оперным дирижёром. Может, Семён Эммануилович хотел выбором этой темы оказать внимание невестке, у которой было некоторое профессиональное музыкальное образование. Я не помню деталей разговора, но помню, что речи нашего хозяина обнаружили его глубокое знание и увлечённость этой сферой. По ходу разговора я спросил: «Семён Эммануилович, если б судьба забросила Вас на необитаемый остров, дав Вам возможность выбрать для себя одного товарища, то кого бы Вы предпочли — Эмиля Гиллельса или Григория Самуиловича Ландсберга?». Семён Эммануилович, не задумываясь, ответил: «Конечно Гиллельса! С роялем».

...Миша Хайкин, как и Юра Абов, стал очень значительным учёным, членкором. Он вот уж несколько лет как скончался, не дожив и до семидесяти...

ГЛАВА 15

Старшие курсы. Возвращение папы. Политэконом Санина. Приобщение к научно-литературной работе. Второе Красновидово. Приезд Бабы Нины в Москву. Профессор Л. А. Люстерник. Экзамен в машине. Переводы. Лето на хлебах за диффуры. Профессор А. И. Плеснер. «Абрам! Ты забыл дома калоши!». Отмена карточек. Облава на антисемитов. Миркины и Семендяевы. Звенигород с Миркиным. Гайстеры. Появление Натапки. Работа у Абрама Лясса. Распределение. Юра Корнев. Госэкзамены.

Юрика и Лёву арестовали в самом начале третьего курса. Они, бедолаги, отсиживали в лагерях свои сроки, а оставшиеся на свободе члены нашей компании, и я в их числе, продолжали учиться. Мы слушали курс теории вероятностей, который нам довольно тускло читал профессор Н. В. Смирнов. Во всяком случае, я этим разделом математики заинтересовался и понял лежащий в его основе взгляд на мир и его методы только после окончания Университета, когда стал делать что-то самостоятельно и когда мне пришлось использовать понятия и инструментарий теории вероятностей в собственной работе.

Далее, появился важный курс — теория функций комплексного переменного. Читал этот курс М. В. Келдыш, будущий Президент АН СССР. Лектор он был посредственный, слушать его было скучно, мы эти лекции норовили пропустить. С этим курсом была у нас связана одна радость: упражнения по лекциям занудного Келдыша вёл разудалый Самарий Александрович Гальперн. Я познакомился с ним ещё на втором курсе, когда он вёл у нас за лектором профессором Немецким упражнения по дифференциальным уравнениям.

История повторялась. В противоположность Немецкому, читавшему свой курс весьма сухо и уныло, доцент Гальперн делал своё дело весело и непринуждённо. Входя в аудиторию, он с расстояния в метра полтора швырял журнал на учительский столик, и пока тот летел, бодро кричал, обращаясь к студентам: «Ну что!? Интегрируем уравнения с однородными правыми частями!?». Так и подмывало поскорей начать интегрировать такие уравнения.

Роздыха в изучении идеологических наук нам не давали. Историю КПСС, которую мы долбили на первых двух курсах, сменил курс политэкономии капитализма (с радостной перспективой учить после неё политэкономии социализма). По весьма приятному и неожиданному контрасту с Маурером, занятия по политэкономии вела весьма изысканная высокая и ухоженная дама средних лет. А мы уж вообразили, что все руководители идеологических курсов подобны бесцветному и злобному Мауреру, изводившему нас на первых двух курсах.

Политэкономическую даму звали Александра Васильевна Санина. Она считала, что студентам (особенно математикам, которых она уважала за наличие мнений и с которыми она работала особенно любила), её замечательный предмет надо преподносить творчески. Она стимулировала нас

задавать побольше вопросов по поводу формулы «Деньги — Товар — Деньги», относительно сапог, прибавочной стоимости и прочих реквизитов из сочинений ихних классиков. Она пыталась организовать аудиторию так, чтобы ответ на вопрос отыскивался в горячей дискуссии, которой Санина умело руководила: обоснованно отклоняла неверные попытки, помогала уточнять позиции верные, но не совсем, и пр. В результате дискуссии возникал правильный ответ, который находился в полном соответствии с формулами Великого Учения.

Мы, признаться, удивлялись, как это кафедра Политэкономии позволяет своему профессору учинять такой галдёж на занятиях, которые традиционно протекали как церковные службы. Мы сходились на том, что у Саниной где-то высоко была рука, которая её поддерживала, и из-за которой кафедра смотрела сквозь пальцы на методические вольности нашей кокетливой и в то же время властной преподавательницы.

...Через три—четыре года, когда у нас с Саниной контакта уже не было, я открыл утром очередной номер «Правды» и на всём внутреннем развороте увидел текст под крупным, напечатанным жирным шрифтом заголовком: «Об ошибках тт. Венжера и Саниной». Подпись под материалом была: И. Сталин.

Оказалось, что наша Санина и её коллега по кафедре Венжер направили Сталину письмо, в котором они поделились с авторитетным адресатом некоторыми своими сомнениями, касающимися существующей практики исчисления доходов колхозников или чего-то в этом роде, а также включили в это письмо свои предложения на этот счёт. В своём ответе, напечатанном в «Правде», Сталин раскритиковал и сомнения учёных, и их предложения. Я не знаю судьбы Саниной и её коллеги, но думаю, что до первых чисел марта 1953-го она была независимой...

Один раз к нам в Староконюшенный пришёл слушатель Марии Григорьевны, у которого был фотоаппарат ФЭД. В этот вечер к нам была специально приглашена мама. Слушатель сделал несколько снимков. На одном Абрам Миронович сидит за своим письменным столом, а мы с Галей стоим по обе его стороны, склонившись над бумагой, на которой Абрам Миронович пишет, видимо, объясняя нам что-то математическое. На других снимках разные группы на диване: мама, я с Галей; мама со сватьями и т. д. Фотографии получились очень хорошо. Любезный слушатель напечатал их в хорошем размере и по нескольку экземпляров с каждого негатива. Большую пачку послали папе. Комплект всех тех снимков остался в моём архиве.

Папа мою женитьбу в своих письмах с фронта одобрял, но на вопросы был скуп: его удовлетворяли те сведения о моей жене и о её семье, которые я ему сообщил в первом же моём письме на эту тему, а потом дополнил и фотографиями. Думаю, что папа правильно предвидел, что в его собственной жизни мой брак большой роли не сыграет.

Только в самом конце сорок пятого или в начале сорок шестого папа вернулся домой. Часть, в которой он служил, закончила войну в Румынии. Папа стал крупным финансовым начальником в штабе дивизии и не мог покинуть службу до выполнения какой-то большой работы по денежным расчётам с личным составом.

Зная несытую обстановку в Москве, папа счёл разумным с военной службы не уходить, и это ему удалось. Он приехал капитаном интендантской службы и скоро получил назначение на свою планово-финансовую работу в какое-то военное строительное управление. Вернуться в ГУЛАГ

он даже пробовать не стал: очень был оскорблён тем, что в сорок втором Берензон отказался от попыток отозвать его с фронта. В течение двух—трёх лет работы в ГУЛАГе папа имел в своём плановом ремесле дело с трудовым ресурсом по имени зеки, а теперь в течение двух—трёх лет его трудовым ресурсом стали «в/п» (военнопленные): все свои объекты управление, в котором служил папа, строило руками пленных немцев.

Итак, папа продолжал служить в военном ведомстве. Они жили вдвоём с мамой вполне прилично (я имею в виду деньги и питание). Но одна беда — перманентная течь с потолка в тёплые зимние и в первые весенние дни — продолжала их мучить. Объяснения с управдомом Лебедевым не помогали, несмотря на папины погоны и решительное поведение. Папа был человеком вспыльчивым. Напомню (см. главу 5) давнюю его ссору с директором дома отдыха в Ермоловском.

Во время одной очередной протечки, прекратить которую Лебедев не торопился или, скорее всего, не имел способов, папа вспылил и Лебедева ударил. Лебедев был довольно щуплым субъектом невысокого роста. Но прямого оскорбления действием он не перенёс и пожаловался на папу по военной линии. В результате папин проступок рассматривала какая-то военно-судебная (деталей не помню) инстанция. Папе грозило, как минимум, увольнение с военной службы. Но председателем был человек, склонный верить своим чувствам, а не буквам законов (да и были ли в его распоряжении подходящие случаю законы?). Председатель развеселился, и папа даже минимума не получил, а Лебедеву стало жаловаться на офицера не повадно. Потолок же протекать не перестал.

По отношению к моей семье и к Лопшицам папа занял такую же, как и мама, позицию. Их другом он стать не захотел. Но время от времени в их доме бывал, стараясь выбирать для визитов такое время, чтобы в большое общество не попадать. Иногда мама и папа брали Сашеньку к себе. Иногда папа с Сашенькой гулял. Лопшицы относились к моим родителям чрезвычайно приветливо. Они их и в глаза и за глаза называли «Дед Веня» и «Баба Полина». Впрочем, маму за глаза часто называли «Полиночка». Мои же родители называли сватьёв во всех ситуациях по имени-отчеству.

Абрам Миронович активно занимался литературной работой. В последние военные годы он писал фундаментальный курс «Аналитической Геометрии», построенный на базе современных понятий линейной алгебры и ломавший привычный и устоявшийся ещё со времён Декарта координатный метод изложения, формулирования и доказательства результатов этой традиционной главы математики.

В 46-м и в 47-м годах он работал над книгой в стадии издательского процесса, который в значительной степени состоял в том, что в дом к Абраму Мироновичу систематически ходил майор А. Зансохов, доцент кафедры математики Военно-Артиллерийской Академии, которого издательство пригласило в качестве редактора книги. Мне, побывавшему в армии рядовым, военный чин редактора казался очень высоким, и я всякий раз с удивлением смотрел, как с моим тестем, с которым я за полчаса до этого пилил в нижних сенах дрова, почтительно разговаривает человек в майорских погонах. В ходе редакционной работы Зансохов постепенно усваивал новый для него подход к построению курса и становился сторонником автора. Книга вышла в 1948 г.

Абраму Мироновичу я обязан приобщением к литературной работе. Сначала это были переводы математических статей и книг. Летом 46-го Абрам Миронович получил от журнала «Успехи математических наук»

заказ на перевод вышедшей в 1943 г. в одном из американских журналов статьи Хотелинга о новых методах вычислительных операций с матрицами. Он этот перевод передоверил мне, и я взялся за работу с большим удовольствием.

Во-первых, я тогда не чурался никакого заработка, ибо моя стипендия совершенно не покрывала тех расходов, которые в семье моих тестей приходились на меня и Галю. Особенно после рождения Сашеньки. Я систематически давал частные уроки математики школьникам. На эту работу был известный спрос, и она неплохо оплачивалась. Но всё-таки суммарный доход от уроков был не очень большим.

Во-вторых, я понял, что перевод довольно объёмистой статьи Хотелинга — хороший способ приобщиться к английскому, которого я совершенно не знал: в детстве, как я уже писал, меня учили только немецкому и французскому. Конечно, речь могла идти только о некотором знакомстве с английским математическим сленгом, но в тот момент я был благодарен и за эту возможность, понимая, что это незамысловатое знание всё же открывает мне путь к хорошему способу зарабатывать.

В третьих, меня интересовало и само содержание статьи.

Лето 46-го года мы жили в Красновидове. В том самом. Это было всего лишь через два года после студенческого красновидовского лета. На этот раз Лопшицы сняли часть деревенского дома. Мы с Галей и Сашенькой жили там всё лето безвыездно. Подолгу, но с перерывами, там жили и старшие Лопшицы.

Обеды мы брали в столовой только что открывшегося после войны дома отдыха МГУ (два года назад в части этого здания были размещены студенты и совхозный инвентарь). С нами из Москвы приехала московская домработница Таня, и мы были сравнительно свободны от хозяйственных дел и от ежесекундных забот о ребёнке.

Мы часто сажали маленького Сашу в коляску, выезжали из нашего деревенского дома и отправлялись на территорию недалеко расположенного дома отдыха, где общались с университетской публикой, играли в крокет и слушали восхищённые восклицания дам по поводу милого и сравнительно спокойного Сашеньки. Кстати, среди любителей крокета оказалась и профессор Санина (это было до того, как ей пришлось в голову затеять переписку со Сталиным). Она проходила мышеловку с первого удара. Кроме того, мы вступали в разные знакомства с интеллигентной публикой, располагавшейся на травянистых пляжах очаровательной неширокой Москва-реки.

Домработница Таня заслуживает нескольких специальных строк. Она поступила к нам на работу ещё зимой, и, как обычно, получила в отделении милиции временную «домработницкую» прописку. Она говорила с лёгким украинским выговором. Но — по-русски. Ей было лет тридцать. Она прекрасно справлялась со своими обязанностями. Конфликтов с ней не бывало. По утрам, к моменту, когда мы выходили в кухню, Танина раскладушка бывала всегда убрана.

Всегда бывала убрана и сама Таня: аккуратно и даже кокетливо — по её скромным возможностям — одета, с подкрашенными губами и с напудренными щёками и носом. По вечерам Таня из дому уходила и возвращалась поздно. Впрочем, этот Танин мир с нами совершенно не соприкасался, и нам вольный образ жизни Тани вроде не мешал.

Но в один прекрасный весенний день (незадолго до предстоявшего Красновидова) к нам явились два милиционера. Они устроили что-то

вроде обыска в пределах кухни и нашли на кухонной полке где-то за кастрюлями пачку писем. Милиционеры увели с собой Таню и взяли с собой письма. Милиционеры сказали, что ведут Таню в наше родное 64-е отделение. Прошло часа три, Таня не возвращалась, и Абрам Миронович пошёл за прописанной на его площади женщиной. Через час он вернулся со смущённой счастливой Таней.

Из Таниного рассказа выходило, что, болтая недавно с одним из своих ухажёров, а им оказался сотрудник нашего отделения милиции, она весело поведала ему, как во время оккупации немецкие солдаты, которые жилали в их райцентре, наперебой за ней ухаживали. А многие из этих осчастливленных Таней немцев, будучи переведены служить в другие места, посылали Тане по немецкой почте, сфера которой распространялась, очевидно, и на оккупированные области, нежные письма, писанные на том ломаном языке, который каждый из Таниных оккупантов успевал выучить с момента начала своей оккупантской жизни.

Таня рассказала своему милицейскому другу, что эти письма от немецких друзей она хранит. А вскорости Таня со своим милиционером-конфидентом рассорилась, и милиционер решил отомстить. Какую именно месть он избрал, я уже рассказал. Письма остались в отделении милиции. Последствий история не имела. Органы были оставлены в стороне. Как, вообще, существовала и вела себя Таня в оккупации, осталось за кадром.

Танина натура проявлялась и в Красновидове. Она часто после обеда принаряжалась, брала на руки маленького спящего Сашеньку и отправлялась с ним гулять по живописным перелескам, тропинкам, пригоркам и берегам речки. Она, очевидно, совершала эти эскапады с целью завязать интересные знакомства в среде отдыхающих, работников дома отдыха и совхоза и в среде практикующих студентов — биологов и географов. Во всяком случае, Таня по вечерам надолго (а может, и на всю ночь) из дому исчезала.

15-го июля, в мой день рождения, Галины родители были с нами. А тут ещё к нам в Красновидово пожаловала большая экспедиция. Мой двоюродный дядя Яша к тому времени переехал из Горького в Москву. Он и здесь работал в автомобильной промышленности, и в его распоряжении по-прежнему был служебный автомобиль.

И вот папа попросил Яшу привезти его и маму в Красновидово. Яша был человек родственный, хорошо относился ко мне и на папину просьбу откликнулся. Он привёз к нам на целый день маму, папу, своего десятилетнего сына Зорьку. Фотография, сделанная во время этого семейного праздника, осталась у меня до сих пор.

В Красновидове я перевёл Хотелинга. Сначала я бежал к Абраму Мироновичу чуть ли не с каждым словом, а потом дело пошло лучше. Абрам Миронович, доверив мне заказанный ему перевод, тщательно проверял (по-ленински!) мою продукцию и вносил свою правку, заодно обсуждая со мной текст по его английскому и по математическому существу.

Там, в Красновидове, Абрам Миронович произнёс замечательную формулу, отразившую присущее ему трезвое и поэтическое отношение к жизни. Как то наша семья двигалась по деревенской улице от нашего дома в сторону дома отдыха, а где-то сзади появилась наша дачная знакомая — молодая сотрудница биофака МГУ со своей трёхлетней дочкой. Дочка завидела нас, шедших впереди, и с радостным криком бросилась нас догонять. Она догнала нас, возбуждённая, с сияющими глазами, в бантах.

Тут подросла и её мать. Абрам Миронович оглядел неожиданно возникшую мизансцену и изрёк: «В доме никогда не должна переводиться

такая девочка». У нас с Галей был сын Сашенька, которым мы были вполне довольны, и я к словам Абрама Мироновича отнёсся тогда, как к изящному литературному мо. Но Абрам Миронович, на глазах которого выросла Галя, выросла Вика Дубнова и ещё некоторые девочки, вложил в свой возглас, видимо, более глубокое жизненное наблюдение.

...Впоследствии, когда у меня появились дочери, внучки и правнучки, я понял всю глубину этого странного замечания Абрама Мироновича...

Осенью 46-го наступил четвёртый курс. Занятия там состояли в значительной мере из спецкурсов Я слушал спецкурс видного геометра Петра Константиновича Рашевского о геометрическом содержании теории относительности Эйнштейна. Слушал я курс Якова Семёновича Дубнова «Тензорный анализ». Обязательным был курс «Уравнения математической физики».

Абрам Миронович почти каждое своё занятие, за которое получал деньги — преподавание и договорная литературная работа — выполнял с удовольствием. Он был труженик и человек слова. Тем не менее, бывало, он чего-то в срок сделать не успевал, звонил своему редактору, откладывая встречу, или звонил в издательство, винясь в том, что запаздывает с предоставлением рецензии на чью-нибудь рукопись, или обращался к руководству кафедрой, прося продлить ему ещё на один день срок подачи методических разработок.

Я рассказывал, как экстравагантно поступал иногда Яков Семёнович, очутившись в сходной ситуации. Абрам Миронович, будучи в запарке, наоборот, никогда не расслаблялся, а всегда мобилизовывался. Его бессонные ночи удлинялись, и он мог вечером, оставив гостей (редкий вечер обходился без них) сесть за свой письменный стол и работать над ликвидацией завалов.

В этой связи я вспоминаю ещё об одном, весьма болезненном для моего самолюбия уроке, который Абрам Миронович мне преподавал. Наступило 31-е декабря 1946-го года. В этот вечер родители собирались уйти встречать Новый Год к кому-то из родственников или друзей. А у нас в Староконюшенном должна была собраться молодая компания, состоявшая, в основном, из Галиных друзей по физфаку. Среди них были Вика Дубнова, Миша Хайкин и Ира Голямина, Дина Левитас и Борис Самойлов.

К этому радостному приёму мы готовились тщательно. Накопили вина и каких то продуктов (тогда их ещё давали по карточкам), что-то напекли. Галя располагала выйти к гостям в новом чёрном бархатном платье. Это платье было заказано «домашней портнихе», которая с ещё довоенных лет шила и перешивала вещи для Марии Григорьевны и Гали. Это была спокойная и приятная женщина лет сорока, с правильной русской речью.

Материя на платье досталась в результате какой-то случайной удачной покупки в комиссионном магазине. Это был очень тонкий чёрный бархат. Платье предполагалось оживить красивой и необычной вещью — прямоугольной, примерно 15×2 см, коленкоровой планкой, расшитой хрустальными блёстками, ярко играющими в свете, особенно электрическом, холодными тонами спектра. Эту сверкающую пластинку мы купили с Галей тоже в комиссионке на Арбате. Там же очень удачно и недорого мы купили Гале замшевые чёрные туфли, как нельзя лучше шедшие к задуманному платью.

Все примерки были сделаны, и портниха пообещала приготовить платье к вечеру 30-го. Мне доводилось много раз сопровождать Галю в её поездках к мастерице, так что я с ней был вполне знаком, и я мог полу-

чить сшитое платье один, без Гали. Утром 31-го я отправился за платьем, а Галя осталась дома с маленьким Сашенькой и в хлопотах к вечернему приёму гостей.

Портниха жила в Рыбном переулке. Когда я вошёл в знакомую комнату, загромождённую несколькими манекенами и заполненную висящими и лежащими на стульях и на диване вещами — готовыми и находящимися в работе, хозяйка стояла за столом и что-то утюжила. Увидев меня, она смутилась и сказала, что к обещанному сроку ей Галино платье сделать не удалось, что ей надо поспеть с заказами, начатыми ещё раньше, но что к третьему января платье будет готово совершенно безусловно.

Гнев охватил меня: я был возмущён необязательностью портнихи и её непониманием, что если не к сегодняшнему вечеру, то уж всё равно к какому января или марта будет готово новогоднее платье. Но я совладал с собой, и наружу мой гнев не выплеснулся. Я молча повернулся и вышел вон.

Вернувшись домой, я сообщил с драматичной лаконичностью о неудаче. Галя была расстроена. Родители её утешали. Потом я рассказал о всех деталях сцены, об охвативших меня чувствах, о моей выдержке и о том, как я (отрицательно!) расцениваю такое поведение портнихи.

Абрам Миронович спросил: «Как!? И ты не поздравил её с Новым Годом?!». После этого он прочитал мне весьма эмоциональную нотацию. Он сказал, что очень хорошо понимает положение и трудности этой женщины и извинительность её оплошки. Такие неудачи поджидают всех тех, чей заработок нерегулярен и напрямую зависит от количества заказов. Портниха боится упустить заказ, и поэтому иногда набирает заказов больше, чем она может выполнить в договорённые сроки. Абрам Миронович сказал далее, что он — в лучшем положении, чем эта портниха, потому что у него есть постоянный заработок за преподавание в институте. Но его литературные заработки — тоже существенны для бюджета семьи, и он от них отказываться не может. Он то и дело поступает, как портниха: не упускает работу, не рассчитав трезво своих сил, и — как и она — часто находится в страхе нарушить договорные сроки, а иногда и фактически нарушает их. Ему горечь пренеприятных объяснений с руководителями редакций знакома очень хорошо. В общем, Абрам Миронович со всей присущей ему определённости и ясностью дал мне понять, что его симпатии — не на моей стороне.

Я оторопел, потому что позиция, с которой Абрам Миронович осветил ситуацию, оказалась для моего малого тогда жизненного опыта и нравственного уровня совершенно неожиданной. По счастью, в то утро у меня хватило ума сразу понять правоту моего пылкого тестя и быстро остудить моё — тоже пылкое — возмущение поведением бедной портнихи и нотацией, прочитанной мне чётко и резко.

Галя встречала Новый год в красивом нарядном летнем платье бирюзового цвета и в новых туфлях, и этот комплект вызвал полное одобрение вечерних гостей. Отсутствие бархатного платья наступления Нового Года не отсрочило, а радость его встречи — не омрачило.

В конце 46-го или в начале 47-го в Москву переехала на постоянное жительство папина мать моя Баба Нина. Предыстория такая. В начале сороковых — шла война — Баба Нина крепко поссорилась со своим слепым мужем, моим дедом (которого мне так и не ни разу в жизни увидеть). Она оставила его и переехала из Ашхабада в Махачкалу к дочери Зине. Как жил в Ашахабаде одинокий старый и слепой дед, никого — в том числе моего папу, меня, его дочерей (моих тёток Ньюру и Зину) — не интересовало, и мне осталось неизвестным, как он умер.

После смерти деда Баба Нина вернулась в Ашхабад, продала дом на Крымской, 34 и богачкой явилась в Москву. Она стала жить у тогда уже одинокой своей сестры Берты, папиной тётки, к которой папа родственных чувств никогда не испытывал. Одиночество Берты было трагическим: её сын Моня, который до войны был актёром Театра Революции, погиб на фронте. Монины вдова от Берты съехала строить свою новую жизнь. После переезда Бабы Нины в Москву папа иногда старух — мать и тётку — навещал. Благо Бертина комната была недалеко — на Спиридоновке.

В начале второго семестра академик Андрей Николаевич Колмогоров объявил спецкурс «Проективная геометрия». Мне, конечно, очень хотелось войти — хотя бы в качестве слушателя — в контакт с великим учёным. Это оказалось очень трудным. Колмогоров говорил очень тихо, быстро и невнятно. Обратной связи с аудиторией у него не было. Если кто-нибудь из нас решался задать вопрос, то ответ давался тоже скороговоркой и тоже невнятно. Пришла пора готовиться к экзаменам (каждый студент должен был сдать за семестр экзамены за два спецкурса и зачёты за участие в одном или двух научных семинарах).

К экзамену по курсу Колмогорова я чувствовал себя подготовленным слабо и боялся провала. Книг по предмету не было. Весьма значительную часть курса составляла геометрия Лобачевского. Абрам Миронович сказал, что он в своё время придумал собственный способ изложения геометрии Лобачевского на плоскости, использующий плоские проекции точек и линий на поверхности гиперboloида в евклидовом пространстве. Этот способ явно отличался от способа изложения геометрии Лобачевского, которым пользовался в своих лекциях Колмогоров и который я толком из-за невнятной манеры лектора и понять-то не сумел. Не исключаю, что главная причина была во мне: другие ведь поняли.

Я в течение нескольких часов слушал теорию Абрама Мироновича из его уст (а уж он-то разворачивал свою картину предельно ясно и отчётливо), усвоил её и храбро пошёл на экзамен. В билете мне досталась именно геометрия Лобачевского! Я отвечал экзаменатору, следуя подходу Абрама Мироновича. Колмогоров был очень удивлён, спросил меня, откуда мне такая модель известна, и узнав, что — от Абрама Мироновича, просил передать ему свой привет. Но в мою зачётку поставил почему-то лишь четвёрку.

Разуверившись в моих интеллектуальных и житейских возможностях держаться тех планок, которые установил для своих учеников Гельфанд, но не желая отказываться от интересовавшего меня функционального анализа, я стал причаливать к лекциям и семинару член-корр. АН СССР Лазаря Ароновича Люстерника.

Люстерник занимал видное положение на мехмате. Его научный диапазон был весьма широким. Он занимался вариационным исчислением, ему принадлежат первые советские публикации по бесконечномерным функциональным пространствам. Понятия и факты из «чистой» математики Лазарь Аронович умело использовал для развития вычислительных методов и получал интересные научные и прикладные результаты. В 1946—47 гг. появились его работы по применению электрических сетей для решения задач линейной алгебры.

Совершенно непонятным было, как это еврей Л. А. Люстерник не только руководил кафедрой на мехмате, но и сохранял за собой видную должность (чуть ли не замдиректора) и в Математическом институте АН им. Стеклова («стекловке»), директором которого был весьма дряхлый академик И. М. Виноградов. К тому времени Иван Матвеевич был изве-

стен уже не столько своими фундаментальными результатами в теории чисел, сколько своим махровым антисемитизмом, который властям становился всё больше и больше кстати. Почему Виноградов мирился с весьма видной ролью еврея Люстерника под самым своим боком?

Одно объяснение непотопляемости Люстерника лежало на поверхности: он был среди немногих партийных профессоров мехмата и стекловки, причём — из активных. Лопшицы рассказывали мне, что в тридцатые годы В. Ф. Каган был одним из объектов травли в Московском Университете, в которой лихо участвовали молодые партийно-комсомольские силы мехмата. Именно эти подвиги молодого Люстерника были причиной сдержанного к нему отношения со стороны моих тестя и тётчи. Они, при этом, признавали научный вес и авторитет Люстерника и не считали нужным отвращать меня от моих учебных контактов с ним.

Партийная активность Лазаря Ароновича мало вязалось с его обликом рыхлого, тучного, меланхоличного, рассеянного человека с типичной еврейской внешностью. Итак, просто партийность? Может быть. Хотя уже в это время и, особенно, чуть позже партбилет не спасал от преследований многочисленных правоверных партийных иудеев. Ответа на загадку прочности положения Л. А. Люстерника я не знаю до сих пор.

Я могу считать Л. А. Люстерника одним из моих учителей: я был на четвёртом и пятом курсах вполне толковым членом его студенческого семинара по функциональному анализу. В противоположность настырному Гельфанду, который со своих учеников не слезал, требуя от них и интенсивных продвижений в математике, и пятёрок по политэкономии, Люстерник был очень либеральным и пассивным руководителем. Кстати, Гельфанд тоже был членом партии.

Любопытно прошёл мой экзамен по функциональному анализу. Люстерник попросил меня приехать для сдачи к нему в стекловку. Ведущий научный математический центр страны занимал тогда небольшой красивый особняк на Ленинском проспекте. Примерно напротив, на другой стороне Проспекта были помпезные ворота со львами, открывавшими проезд к Нескучному Дворцу, в котором тогда и ещё долго после размещался Президиум АН.

Люстерник дал мне задание, усадил в коридоре на диване, а сам ушёл по своим делам. Через час—полтора после того, как я к ответу подготовился и сидел без дела, поглядывая на редких прохожих (большею частью знаменитых) сотрудников, Люстерник вернулся, сказал, что очень спешит и что ему было бы удобно принять у меня экзамен в машине.

У подъезда института стояла служебная «Эмка» с шофёром. Мы сели на заднее сидение, и профессор довольно оживлённо беседовал со мной на заданную одним из его вопросов тему. Этот разговор продолжился до момента, когда мы подъехали к месту назначения. Это был большой дом на Садовом кольце совсем недалеко от Курского вокзала, построенный в сталинском архитектурном стиле незадолго до войны. На доме была мемориальная доска с барельефом Чкалова, отмечающая, что герой в этом доме жил.

В момент остановки машины естественным образом закончился и экзамен. Профессор попросил у меня зачётку, чтобы проставить отметку. Тут выяснилось, что чернила в его авторучке кончились, а у меня вообще авторучки не было — я делал мои заметки к ответу карандашом. Люстерник пригласил меня выйти с ним из машины, которую он тут же отпустил. Мы зашли в подъезд, спустились в полуподвал в домоуправление, там профессору дали ручку, и он, умокнув её в чернильницу, поставил мне в зачётку вполне заслуженное мною «отлично».

Я уже мельком сказал, что Люстерник был рассеянным, и этим своим качеством выделялся даже среди крупных математиков, о рассеянности которых ходили легенды. По естественной ассоциации мне хочется рассказать, как Люстернику сдавал экзамен Евгений Ландис, известный уже в свои студенческие годы как способный математик. Люстерник дал Ландису вопрос, а потом, как и в моём случае, на некоторое время вышел. Вернувшись, он вступил с Ландисом в продолжительную беседу. При этом, почему-то обсуждался не заданный вопрос, а самые различные математические сюжеты. Так прошло довольно много времени. Люстерник стал обнаруживать признаки нетерпения и беспокойства и, в конце концов, спросил у Ландиса: «Интересно, куда же запропастился студент, который должен был нам с Вами сдавать экзамен?».

Но иногда рассеянность Люстерника была обманчивой. Он сидел на руководимом им семинаре с сонным видом, и многие думали, что профессор дремлет. Но время от времени он перебивал докладчика вполне уместным замечанием или вопросом.

В начале 47-го года Абрам Миронович заключил с Издательством договор на перевод довольно толстой книги Эйзенхарта на дифференциально-геометрические темы. Хотя и на этот раз договор на перевод издательство заключило с Абрамом Мироновичем, но договор на редактирование книги был заключён со мной! Это был первый издательский договор в моей жизни. И в этот раз значительную часть перевода Абрам Миронович доверил мне — тщательно меня контролируя.

Переводчик (т. е. я, но от имени Абрама Мироновича) должен был сдать работу в издательство осенью сорок седьмого. Финансовая часть договора была стандартной и действовала во всех (по крайней мере, во всех научных) издательствах страны. В момент заключения договора автор, переводчик или редактор получал аванс в размере 20% договорного гонорара. При сдаче рукописи в производство издательство платило ещё 40%, а после выхода книги в свет издательство платило последние 40%.

Мы приступили к работе, и она продолжалась до осени. Но у каждого из нас были и другие дела. Абрам Миронович читал лекции и встречался с аспирантами, коллегами и издателями. Мы с Галей слушали и сдавали спецкурсы и посещали научные семинары. Так закончился четвёртый курс. Наступившие летние каникулы мы провели довольно оригинально.

Как-то ранней весной сорок седьмого к Абраму Мироновичу пришёл его бывший слушатель на курсах по повышению квалификации при Московском Энергетическом Институте. Звали гостя Борис Иванович Якимович. Он с Абрамом Мироновичем не встречался в течение долгого периода. Выяснилось, что Якимович успел защитить кандидатскую диссертацию, занимает должность доцента МЭИ, а теперь пишет докторскую. Но ему в этой работе не хватает знаний по обыкновенным дифференциальным уравнениям.

Сперва Якимович попросил своего бывшего профессора позаниматься с ним частным образом. Абрам Миронович это предложение деликатно отклонил, сославшись на дефицит времени. Тогда Якимович сделал второе предложение. Выяснилось, что в Москве у него квартиры не было, и он с семьёй жил круглый год под Москвой, в Кучино (это — километров 25 по Горьковской ветке Курской дороги). Там у них был хороший тёплый дом.

Так вот, Якимович предложил Абраму Мироновичу прожить у него лето в дачных условиях и за это — заниматься с хозяином уже упомянутыми дифференциальными уравнениями. Тут Абраму Мироновичу пришло в голову блестящее контрпредложение: всё лето на даче буду жить я с Галей

и Сашенькой. Я буду заниматься с Борисом Ивановичем обыкновенными дифференциальными уравнениями, а Абрам Миронович будет наезжать туда, направлять мои занятия с Борисом Ивановичем и беседовать с ним на математические темы.

Борис Иванович согласился! И мы провели лето на хлебах у доцента, испытывавшему потребность в хорошем знании обыкновенных дифференциальных уравнений. Случай, прямо скажем, редкий. Я переходил с хозяином от темы к теме, он делал упражнения по задачку который я привёз. Иногда мы составляли и решали дифференциальные уравнения, возникавшие в связи с его электротехнической диссертацией.

Жена Бориса Ивановича Нина Ивановна была с Галей и со мной сдержанно любезна, но было видно, что странная затея мужа, которая вывела из оборота хозяев большую комнату, ей очень не по душе. Её можно было понять... Почему тридцатипятилетнему доценту надо было приглашать на три месяца репетитора вместо того, чтобы проштудировать нужный ему материал самостоятельно? И университетский учебник В. В. Степанова, видного мехматского профессора, и учебник проф. Н. И. Гребенчи для педвузов с лихвой покрывали малую дифференциальную нужду Якимовича. Он вполне мог бы удовлетворить своё законное любопытство за два месяца усердного чтения нескольких глав из любой названной книжки.

В один из выходных Борис Иванович пригласил к себе в Кучино своего отца и ещё пару родственников. Возможно, по случаю дня своего рождения. В этот же день — в гости к нам и для математического общения с Борисом Ивановичем — приехал Абрам Миронович, при этом — с Марией Григорьевной. Борис Иванович устроил на участке большой стол и позвал к праздничному обеду всё наше семейство. Абрам Миронович был чем-то вроде свадебного генерала. И хозяину, и его родным было приятно, что за одним с ними столом сидит профессор.

Абрам Миронович был посажен рядом с отцом хозяина, простоватым, лет под шестьдесят человеком. Абрам Миронович со свойственной ему искренней заинтересованностью делами других людей стал расспрашивать своего соседа о его профессии, работе, количестве детей и прочих важных темах. Абрам Миронович выяснил, что его новый знакомый — метрдотель в ресторане «Метрополь». Стол притих и прислушивался к беседе двух патриархов.

Для Абрама Мироновича было колоссальным удовольствием погрузиться в тонкости этой, до того момента ему изнутри неведомой, профессии. И метрдотель, в свою очередь, в первый раз в жизни встретил человека (я уж не говорю — профессора), который бы так заинтересованно и уважительно вошёл в детали и секреты его работы. Разве что его ученики-подмастерья проявляли к делу такой интерес. Но ведь ученики послушно внимали официантской премудрости, но вопросы задавать приучены не были. А Абрам Миронович выдумывал такие хитрые вопросы, которые ставили метрдотеля в приятную необходимость, а скорее, давали ему повод и возможность выразить всю заковыристость его каждодневной работы, его взаимоотношений с начальством, с прачечной, кухней, уборщиками, столярами и электротехниками, отделом снабжения, с оркестром и — главное — с клиентами.

К сожалению, я мало что запомнил из рассказов метрдотеля. Помню только, как он объяснял, что если угадывал или узнавал в клиенте, входящем в зал с компанией, важную персону, то давал команду своим официантам накрывать стол «в три хрустала». Это значило, что перед

каждым прибором должен был стоять фужер для прохладительных напитков, бокал для вин и рюмка для крепких напитков. Этот оборот и до сих пор служит мне способом кратко обозначить планируемый уровень приёма гостей в нашем доме или уровень приёма, на который были приглашены я и семья.

Жизнь в Кучине была очень хорошей: прекрасная природа, недалеко от дома был пруд, чтение, встречи с друзьями, которые приезжали к нам в гости, приезды родителей. Сашенька рос и умнел. Одно было плохо. Это лето было очень голодным. Трудно было отоварить карточки, а на местном рынке всё было безумно дорого. Но кончилось и это лето.

Мы с Галей перешли на последний — пятый — курс. В конце курса надо было написать и защитить дипломную работу и сдать госэкзамены. Студент мог сам выбрать кафедру, по тематике которой он будет писать диплом. Я выбрал кафедру теории функций, к которой относился и функциональный анализ. Моим научным руководителем для выполнения дипломной работы кафедра назначила профессора Абрама Иезикиловича Плеснера, известного крупного специалиста в этой области математики. Ему тогда было лет шестьдесят.

Этот учёный родился, жил и работал в Австрии. Но когда в начале 30-х годов возникла реальная угроза победы в стране националистических сил, он эмигрировал в Советский союз. Он правильно говорил по-русски, но акцент в его речи чувствовался. Власти, по счастью, его никак не ущемляли.

Став подопечным Плеснера, я, естественно, вошёл с ним и в некоторые человеческие отношения. Например, иногда мы вместе с ним выходили по вечерам из Университета и вместе шли до метро, продолжая наш математический разговор. Но я сразу же увидел отличие Плеснера как научного руководителя от Абрама Мироновича.

Ученики Абрама Мироновича были постоянно вхожи к нему в дом, а их научный руководитель вникал решительно во все, а не только в научные, проблемы, успехи и трудности своих учеников. Они таким отношением к себе очень дорожили. Большинство из них навсегда оставались его личными друзьями, причём эта дружба распространялась и на членов семей учеников и учителя. В этой семейственности было что-то от отношений между мастером и подмастерьями в средневековой Европе.

Я же о семейной жизни Плеснера не знал ничего. Я не знал, приехали ли с ним из Австрии его жена и дети, какова их судьба, живёт ли Плеснер с кем-нибудь из них или один. Он жил в новом сталинской постройке доме на улице Чкалова — почти напротив дома Люстерника. Несколько раз, когда профессор бывал нездоров, он звал меня к себе домой: обсудить ход сочинения дипломной работы или сдать ему спецкурс.

Плеснер открывал на мой звонок парадную дверь и провожал меня из передней в свой кабинет. После окончания нашей беседы хозяин провожал меня до выходной двери. Обычно на этом пути я не встречал никого. Но как-то раз в передней крутились два маленьких мальчика. Я вежливо спросил у Плеснера, мол наверное, это его внуки, на что Плеснер довольно раздражённо и с горечью мне ответил: «А почему Вы решили, что это, вообще, мои родственники?».

Я понял, что Плеснер живёт в небольшой коммунальной квартире, и что та комната, в которой он меня принимал, не только его кабинет, но и спальня, и столовая. Да, до Люстерника этому эмигранту было далеко. Я думаю, что Плеснер осознавал своё высокое место в науке, и порой,

несмотря на всю замкнутость этого человека, в его словах проскальзывала горечь из-за резкой разницы между успешной карьерой его младшего коллеги и его скромной собственной.

Ещё в мою бытность студентом или чуть позже в «Успехах математических наук» появилась большая статья Плеснера о спектральной теории линейных операторов в функциональных пространствах. Эта статья была не менее фундаментальной, чем напечатанная в том же издании парой лет раньше статья Ф. Рисса о функциональном анализе, положившая начало активному интересу советских математиков к этому новому разделу.

Плеснер предложил мне тему дипломной работы. Я должен был доказать интересную с точки зрения Плеснера теорему о представлении функций вещественного переменного некоторого класса как граничных значений на горизонтальных прямых комплексной плоскости некоторого класса вещественных функций комплексного переменного.

Кроме работы над дипломом, я должен был во втором семестре сдать два экзамена. Один по спецкурсу «Почти периодические функции», который читал сам Плеснер. Второй состоял в том, что я должен был самостоятельно протрудировать содержание только что вышедшей тогда книги Н. И. Ахиезера «Теория аппроксимации и приближения функций», и сдать — тоже Плеснеру — экзамен по прочитанному материалу.

1947 год завершился любопытным эпизодом. Он начал вызревать задолго до того, как произошёл. Дворовые ребята иногда позволяли себе антисемитские выпады против нашей семьи. Слишком злого характера это явление не носило, но время от времени какие-то обидные выкрики нам в спину раздавались. Особенно любимой мишенью этих выкриков стал Абрам Миронович — после того, как в один дождливый день он вышел из дому, а ему вслед высунулась из окна второго этажа Мария Григорьевна и крикнула: «Абрам! Ты забыл дома калоши!». Тогда в мокрую погоду носили калоши, и Абрам Миронович иногда забывал их надевать.

После этого случая раз в две—три недели мальчишки, завидев Абрама Мироновича, кричали ему вслед: «Абрам, где твои калоши?!». Та сцена — шедший через двор задумчивый Абрам Миронович и высунувшаяся из окна Мария Григорьевна с её возгласом — чем-то напоминала знаменитое «Муля, не нервируй меня!» из довоенного (совершенно не антисемитского) фильма «Подкидыш», производила, действительно, забавное впечатление, и дворовым мальчишкам пришлось на руку. Абрам Миронович так дело и понимал, и на развесёлых мальчишек внимания не обращал.

Но часов в 10 вечера 14-го декабря (накануне отмены карточек и денежной реформы, отчего дата и запомнилась), когда Абрам Миронович возвращался домой, у стоявшего в нашем же дворе соседнего небольшого дома собралась группа мальчиков и подростков. Они себя шумно вели, а когда мимо проходил Абрам, забывший калоши, стали напевать какую-то антисемитскую, не столь невинную, как фраза про калоши, частушку. Во всяком случае, слово «жид» в тексте частушки присутствовало.

Абрам Миронович вернулся домой расстроенный, и мы с ним решили хулиганов проучить. Абрам Миронович позвонил в наше отделение милиции и пожаловался. Дежурный обещал, что через несколько минут прибудет милиционер. На такой успех мы не рассчитывали. Мы с Абрамом Мироновичем вышли из дому скрытно, так что группа подростков нас не заметила. Я стал за стеной того дома, около другой стены которого резвились мальчишки, а Абрам Миронович прокрался к выходу из двора в Староконюшенный, чтобы милиционера встретить.

Милиционер, действительно, скоро пришёл, и мы группу хулиганов (к этому моменту уже несколько поредевшую из-за позднего времени) тайно окружили. В какой-то момент я выскочил из-за одного угла дома, возле которого они тусовались, а Абрам Миронович с милиционером — из-за другого. Увидев милиционера, мальчишки бросились бежать, но двух или трёх мы объединёнными усилиями схватили.

Схваченные мальчишки испугались и назвали номера своих квартир. Мы повели каждого из них к его родителям. Родители при виде милиционера сразу начинали изображать возмущение поведением своих сыновей, накидывались на них и клялись, что в дальнейшем будут держать их под контролем. Мы милостиво оставили плохих мальчишек их раздражённым (скорее всего, не только против своих распущенных детей, но и против зловредных евреев) родителям, а сами с милиционером отправились в отделение милиции.

В отделении скопился всякий задержанный люд. Мы стали было писать заявление с жалобой, но дежурный попросил нас этого не делать. Он сказал, что у него есть средства прекратить антисемитские выходки мальчишек, и он их использует. Мы поверили и ушли. И действительно, с этого вечера мальчишки стали вести себя тихо. Любопытно, что антисемитская государственная программа тогда уже начала разворачиваться, и милиция могла запросто от нас отмахнуться.

Мне запомнилась ещё одно обстоятельство, связанное с денежной реформой. Работа над переводом Эйзенхарта была закончена нами в начале осени. Абрам Миронович, как переводчик, сдал рукопись в производство и получил свои 40% задолго до реформы. А редактирование было закончено и рукопись сдана в ноябре, и гонорар за неё был начислен мне в начале декабря 47-го года. Так вот, издательство, выполняя, очевидно, указания руководства, перевело мне эти деньги по почте за день до памятного 15 декабря 1947 г. Извещение я получил через несколько дней и, в соответствии с тогдашними правилами, получил только 10% отправленной суммы. Такая же участь постигла и оставшуюся часть гонорара Абрама Мироновича, как переводчика, которую он должен был получить после выхода книги в свет, а это произошло уже в 1948 г.

...Тут я прерву ход моего повествования (а оно подошло к теме о завершении нашего с Галей университетского образования и о ближайшем после окончания университета будущем). Я хочу рассказать о двух крупных учёных — Семендяеве и Миркине. Они были связаны необычными событиями, о которых мы хорошо знали, потому что и Семендяев, и Миркин, и их жёны были близкими друзьями семьи Лопшицев.

С Константином Адольфовичем Семендяевым и его женой Натальей Вацлавовной я познакомился сразу после моего появления в доме Лопшицев в конце 44-го года, а с Иосифом Львовичем Миркиным и его женой Еленой Николаевной Кислицыной — только в 47-м году.

Семендяев был видным специалистом в области вычислительной математики. Он руководил много лет лабораторией счётно-аналитических машин в стекловке. Тогда эти электромеханические машины — табуляторы и мультиплексы — были последним словом в вычислительной технике. Каким-то образом, как выяснилось впоследствии, Семендяев со своими машинами и сотрудниками участвовал в советском атомном проекте и в конце сороковых или в начале пятидесятых получил в числе многих других математиков секретную сталинскую премию, которую вся семья Лопшицев ходила к Семендяевым обмывать.

У Семендяева была неплохая внешность: он был высокий, широкоплечий, с бородой. Наталья Вацлавовна выглядела скромнее, но была вполне миловидной дамой. Кажется, она тоже занималась чем-то математическим или около. Научно-литературная деятельность Семендяева была не очень активной. Он опубликовал несколько статей в специальных журналах. Но вот его небольшая книжка «Математический справочник» выдержала рекордное количество — десятки! — изданий, причём большим тиражом каждое. Справочник был написан Семендяевым в соавторстве с другом Лопшицев Ильёй Николаевичем Бронштейном, который заведовал редакцией справочников в Издательстве физико-математической литературы и хорошо понимал потребности рынка. Не исключаю, что в этой математической паре Илья Бронштейн занимал лидирующее положение — как Илья Ильф в знаменитой сатирической. Этот справочник известен многим поколениям студентов технических вузов и почти каждому инженеру и вознесён его читателями на воистину библейский уровень.

Миркин был специалистом в области металловедения, доктором наук, профессором. До войны и в первые её годы он работал в Институте тяжёлого машиностроения (ЦНИИТМАШ) и был профессором Московского Института Стали. Внешность Миркина была очень значительной, несмотря на средний рост и отсутствие бороды. У него было очень волевое и даже несколько свирепое лицо, что не мешало ему обладать тонким чувством юмора и часто смеяться над шутками других людей. Да и сам он был большим остроловом и насмешником.

Иосиф Львович женился на Елене Николаевне в середине тридцатых годов, и брак этот был непростым. До него Елена Николаевна была женой Семендяева, своим уходом к Миркину брак с Семендяевым разрушив. Константин Адольфович воспринял уход жены трагически и делал попытку самоубийства. Впрочем, через несколько лет, перед самой войной он успокоился и женился на Наталье Вацлавовне.

Елена Николаевна привела в свою новую семью дочь — Лялю Семендяеву. У Иосифа Львовича был сын от первого брака — Лёва Миркин, который оставался жить со своей матерью — первой женой Миркина. Ляля и Лёва были примерно одногодками и примерно на десять лет моложе меня.

Иосиф Львович со своей первой женой развёлся в результате встречи с Еленой Николаевной — так же, как и Елена Николаевна ушла от Семендяева из-за Миркина. Образ жизни и судьба женщины, оставленной Миркиным, оказали на жизнь Иосифа Львовича, Елены Николаевны и их детей роковое влияние. В сорок четвёртом году первая жена Миркина была найдена убитой. В убийстве обвинили профессора Миркина и арестовали его. Вскоре после ареста Миркина арестовали и Елену Николаевну. Эта трагедия произошла вскоре после моей женитьбы на Гале, и я ещё тогда с Миркиными познакомиться не успел..

И тут Семендяевы проявили себя самым достойным образом. Они взяли к себе не только Лялю, но и Лёву, который остался без обоих родителей, но к Семендяевым был что называется никаким боком. Семендяевы стали хлопотать за арестованных, носить им передачи и организовывать им юридическую помощь. В адвокате была реальная нужда, потому что Миркиных арестовали не Органы безопасности, а прокуратура. Предполагалось обычное уголовное судопроизводство. В качестве защитника был приглашён адвокат Илья Брауде, известный по его участию в одном из знаменитых «гласных» сталинских процессов против оппозиции. (Я имя этого адвоката уже упоминал совсем по другому поводу: в тридцать седь-

мом году я провёл часть летних каникул в адвокатском доме отдыха в Звенигороде, дружил с сыном адвоката Мишей Брауде и видывал знаменитого человека, изредка наезжавшего в этот дом отдыха.)

Почему была убита мать Лёвы Миркина, и почему в её убийстве обвинили её прежнего мужа, было полной загадкой. Она жила, естественно, в коммунальной квартире, и соседи рассказывали (очевидно, Семендяевым; кто ещё мог ходить и расспрашивать соседей о деле?) что к ней после развода с Иосифом Львовичем заходили знакомые мужчины или совершенно неожиданные люди, например, у неё бывал в гостях водопроводчик их ЖЭКА, что совершенно не вязалось с образованностью и интеллигентностью покойной.

Главная улика против профессора Миркина выглядела нелепо. Женщина была убита холодным оружием (чуть ли не топором). К Миркину пришли с обыском, и на его пальто были обнаружены следы крови. Иосиф Львович следы крови объяснял тем, что в день своего ареста или чуть раньше ходил в магазин отovarивать карточки и испачкал пальто плохо завёрнутым мясом. Следы человеческой крови от следов говядины легко можно было бы отличить чуть более тщательным анализом. Но следователь не стал проводить экспертизы, объявив её излишней.

Повторяю, само убийство и привлечение к ответственности профессора Миркина выглядело совершенно несуразным, и в кругу друзей Миркиных возникла версия, которая в те годы выглядела самой правдоподобной, хотя и в ней не было ничего определённого и ничего доказанного. Версия состояла в том, что женщина с какого-то момента попала в сети Органов (неизвестные посетители), потом Органы стали бояться её ненадёжности и решили отделаться от неё, свалив вину на бывшего мужа.

Несмотря на то, что эта версия считалась самой правдоподобной, но и она была несуразной. Зачем Органам понадобилось огород городить? Почему они просто не арестовали свою осведомительницу, которой перестали доверять? Ведь после её ареста они могли бы сделать с ней всё что угодно, и о её судьбе никто бы не знал. Арестуй Органы убитую, в среде её родных и знакомых не было бы никаких домыслов и сомнений, ибо беспричинно арестовывали сотни тысяч, а у Органов, выбери они арест, а не убийство, не было бы проблем с организацией судебного дела, следствия, необходимости доказывать обвинение Миркина и пр. Кстати и Миркина можно было бы арестовать беспричинно по линии Органов — им не привыкать! Так что, история Семендяевых и Миркиных полна белых пятен.

Дело, между тем, развивалось так. Был суд. Вина Иосифа Львовича и его сообщницы Елены Николаевны была объявлена доказанной. Был вынесен приговор (быть может, смягчённый действиями Брауде): несколько лет заключения. Миркины уже начали отбывать срок, когда Брауде нашёл основания для кассационной жалобы и добился в конце концов назначения нового расследования и пересмотра дела.

Новый следователь стал заниматься некоторыми знакомыми жертвы, которых предыдущий следователь в сферу своих розысков не включил. Был сделан обыск на квартире одной из подруг убитой, и там были найдены несколько вещей покойной. Эта находка не давала ещё повода для обвинения подруги (может, покойная их своей подруге подарила), и следователь эту женщину арестовывать не стал. Но вскоре после обыска и обнаружения у неё упомянутых вещей женщина покончила жизнь самоубийством. Новое судебное заседание Миркиных оправдало за недостаточностью их преступления и в связи с выяснением новых обстоятельств.

В сорок седьмом году Иосиф Львович и Елена Николаевна вышли на свободу. Нет, не похоже на то, что в истории участвовали Органы. Как говорится, почерк не тот. Но преступление осталось нераскрытым. Иосиф Львович и Елена Николаевна вернулись в число гостей Лопшицев, я с ними познакомился и был в хороших отношениях много лет. После выхода Иосифа Львовича и Елены Николаевны на свободу супруги Семендяевы и супруги Миркины стали, в силу пережитого, близкими людьми. Лёва (ему тогда было лет четырнадцать — пятнадцать) стал жить с отцом и мачехой. Ляля осталась в семье своего отца — у Константина Адольфовича и Натальи Вацлавовны.

Иосиф Львович рассказывал, что ему, естественно, приходилось сидеть в камерах с уголовниками. И плохо ему бы в таком обществе пришлось, если б он не сообразил развлекать своих товарищей историями, сюжеты которых он черпал из классической литературы. Как Шехерезада: уголовники за эту способность не только не трогали Иосифа Львовича, но и почитали его и называли профессором.

...После возвращения Миркиных в привычный мир их и Семендяевых можно было часто видеть вместе в концертах — в Большом или в Малом Зале Консерватории. Профессор Александр Ильич Файнберг (с которым я познакомился лет через пятнадцать после описываемых событий) часто тогда любил инспирировать такой разговор. Он говорил: «Вчера был в Большом Зале». Его спрашивали, какая была программа, на что он с удовольствием отвечал: «В программе был квартет убийц: в антракте я встретил прогуливающихся вместе по фойё супругов Миркиных и супругов Семендяевых».

...Иосиф Львович далеко не сразу восстановил свой профессиональный статус. Несколько лет после мрачной и загадочной истории, случившейся с ним и с Еленой Николаевной (а тут ещё и антиеврейская кампания подоспела), он вынужден был работать в одном из технических вузов в Туле. Он приезжал в этот город два или три раза в месяц на несколько дней. Только через некоторое время после смерти Сталина он снова стал одним из ведущих специалистов ЦНИИТМАШа...

Я вспоминаю короткое весёлое наше с Галей совместное пребывание с Миркиным в доме отдыха адвокатов в Звенигороде. Зимой 48-го в студенческие каникулы моя тётя Софа, адвокат, достала нам с Галей путёвки в их ведомственный дом отдыха в Звенигороде. В тот самый дом, куда она меня устраивала уже дважды: на два летних месяца 37-го года и на первые две счастливые недели Нового 40-го года.

Я отправлялся отдыхать в довольно хорошем расположении духа. Незадолго до отъезда я доказал теорему, истинность которой предположил Плеснер, показал ему моё доказательство, Плеснер его одобрил, и я понял, что теперь написание дипломной работы займёт у меня три часа: на Мехмате приняты короткие дипломные и диссертационные работы.

В вагоне электрички, шедшей из Москвы в Звенигород, мы с Галей неожиданно встретили Иосифа Львовича. Оказалось, что он тоже едет в этот же дом отдыха и — на этот же срок. Это было вскоре после выхода из тюрьмы. Мы очень обрадовались такой компании, и в наших ожиданиях содержательной и занимательной жизни — не ошиблись.

Дом отдыха от станции Звенигород находится в нескольких километрах, и администрация выслала за новыми отдыхающими сани, запряжённые лошадей. То ли уже в этих санях, то ли по приезде в дом отдыха мы встретили среди очень малочисленных отдыхающих ещё од-

ну знакомую личность. Это была молодая дама, искусствовед по имени Мария Григорьевна. Галя познакомилась с ней за год до того — и тоже на зимнем отдыхе. Дело было в академическом санатории «Поречье», в который имели доступ члены Дома Учёных. Этой даме было чуть за двадцать пять, но представлялась она по имени отчеству. Между ней и Галей какой-то интерес возник, и уже в Москве мы пару раз встретились с ней и с её мужем, которому было под тридцать. Он тоже был искусствоведом, и его мы тоже должны были называть полным именем: Илья Иоганнович. Фамилия его была Цырлин.

При встречах с этой парой в Москве мы с Галей поняли, что мы с новыми знакомыми не совсем из одного круга. Мария Григорьевна была дамой вполне хорошенькой, но манерной, глуповатой и полной спеси по поводу собственных качеств и качеств Ильи Иоганновича. Нас это забавляло и к интенсификации встреч не побуждало. И вот мы обнаружили в доме отдыха адвокатов Марию Григорьевну — по каким-то причинам одну, без Ильи Иоганновича.

К тому моменту прошло десять лет после моей интересной летней и семь лет после короткой зимней жизни в этом месте, но я его не узнал. Тогда — и летом, и зимой — отдыхающих было человек сто. Теперь нас было человек десять. Может, из-за зимнего времени, может, дом отдыха ещё не оправился от коллапса военных лет. Ведь немцы дошли чуть ли не до этих мест. Столовая была небольшой и уютной. Все отдыхающие умещались за добротным табльдотом. Персонал был любезен. В доме было тепло. Словом, всё было прекрасно.

Молодые Галя и я с одной стороны, и Миркин, которому было за сорок, и его примерный ровесник Фёдор Александрович Липскеров — с другой, несмотря на разницу наших возрастов, образовали вполне совместимую компанию. Федя (так, в отличие от молодой, но чопорной Марии Григорьевны, просил называть себя Липскеров) был известным московским конферансье. Его отец был старым и заслуженным членом коллегии московских адвокатов и купил сыну путёвку в этот дом отдыха. Как туда попали Мария Григорьевна и Миркин мы точно не знали, но понимали, что — по знакомству...

Мария Григорьевна стала скоро из-за своей манерности и глуповатости всеобщей забавой. Она справедливо считала, что в местных сельских магазинах есть шанс купить какие-нибудь изысканные и дефицитные по тем временам товары, которыми местное население по серости не интересовалось. Она шныряла по окрестным сёлам, что-то покупала, к чему-то присматривалась, чем-то хвасталась, о чём-то советовалась с нами во время общих трапез и — по телефону — с Ильёй Иоганновичем, остававшимся в Москве.

Телефонная связь между областным Звенигородом и Москвой была очень ненадёжной, слышно было плохо, Мария Григорьевна порой предельно повышала голос, и все были в курсе её дурацких разговоров с мужем. Эта недалёкая дама считала, что нам очень интересно знать, какие соображения по поднимаемым ею проблемам высказывал её муж, и щедро ими с нами, на нашу потеху, делилась. Нашей весёлости по поводу её комичных интересов и забот она не чувствовала и принимала наши вопросы и подначки за чистую монету.

Кроме покупок Марию Григорьевну волновала ещё одна тема, и она и её поднимала в телефонных разговорах с мужем и за нашим столом. Она уехала из дома в разгар ремонта квартиры и теперь волновалась, верно ли осуществляют мастерами и мужем те указания, которые она

им оставила. А тут ещё и Илья Иоганович неожиданно уехал в краткую командировку (или лишь так представил дело), и ремонтный процесс шёл бесконтрольно. Миркин и Федя придумали и осуществили неплохую шутку и пригласили нас с Галей стать зрителями и пассивными участниками. Миркин, Федя и мы встали пораньше и за час до завтрака отправились на местную почту. Оттуда шутники позвонили по телефону в дом отдыха. Федя изменил голос, позвал к аппарату, висевшему в вестибюле на стене, Марию Григорьевну и, подделываясь под простецкую и пьяноватую речь маляра, а так же имитируя телефонные помехи, стал ей растолковывать, что жёлтой краски, которой хозяйка, уезжая, велела выкрасить кухню (обо всех деталях ремонта Мария Григорьевна нам прожужжала уши, и мы были в курсе всех технических и эстетических подробностей ремонта), на все четыре кухонные стены не хватило, и поэтому они выкрасили жёлтым только три стены, а четвертую собираются красить зелёной.

Бедная Мария Григорьевна пришла в естественное очень сильное волнение и стала истерически спрашивать, на какую именно стенку не хватило жёлтой. Федя до такого совершенного знания предмета не дошёл, но запнулся лишь на секунду и ответил, что на ту, которая против газовой плиты. Мария Григорьевна стала что-то возбуждённо говорить, но Федя изобразил обрыв связи и разговор закончил.

После этого шутники уговорили телеграфную барышню принять телеграмму в дом отдыха. Без актёрского обаяния Феде это было бы невозможно. Телеграммы внутри Звенигорода конечно, никто никогда не давал, да и текст телеграммы был очень уж нестандартным и, как и та телеграмма, которую мы когда-то давали нашим девочкам в Красновигово, очень смахивал на шифровку.

Мы вернулись в дом отдыха к завтраку, застали Марию Григорьевну в отчаянии, казавшемся нам очень комичным, утешали её, давали советы. Оказывается, её попытки дозвониться до Москвы не удалась (на что шутники сильно рассчитывали), и она готова была ехать туда. Мы её удерживали, подавали надежду на то, что, может, ещё как-то и образуется. В этих разговорах прошёл завтрак. Гулять Мария Григорьевна не пошла и осталась со своим горем одна.

Во время обеда Марии Григорьевне подали такую телеграмму: «Жёлтая кончилась, кроем зелёным. Маляры». Мария Григорьевна прочитала в углу телеграммы название пункта отправления, поняла, что стала объектом шутки и обиделась. Наше знакомство с ней и её мужем на этом прекратилось.

Вся рассказанная никчemuшная история иллюстрирует ещё раз банальную истину: трагическое может сосуществовать с комическими, а человек, переживший только что тяжелейшие невзгоды, может вернуться, вроде как ни в чём ни бывало, к обычной жизни, наслаждаться её радостями, шутить и разыгрывать мрачноватых субъектов, на долю которых и сотой доли их бед не выпадало.

...Последовавшая через пять лет после описанной весёлой зимы смерть Сталина привела Иосифа Львовича в необычайно приподнятое состояние духа. В течение многих недель, а может, и месяцев, он старался при всяком рассказе о любом событии сделать необходимым обозначение обстоятельства времени и делал это с помощью всегда одной и той же формулы: «Это было до (после) того, когда случилось непоправимое». Слово «непоправимое» Миркин произносил с неизъяснимым упоением, и было видно, что и весь рассказ затеян для того, чтобы иметь возможность это прекрасное в своей определённости слово произнести...

Возвращаюсь в начало сорок восьмого. За участие в подтруниваниях над бедной Марией Грирогрьевной я был наказан. Продолжая там, в Звенигороде размышлять между делом над моей дипломной теоремой, я увидел в моём доказательстве ошибку, которую исправить мне не удавалось. Вернувшись в Москву, я рассказал об обнаруженной ошибке Плеснеру. К сожалению, на этот раз я не ошибся: Плеснер со мной согласился и, вообще, разуверился в верности своей гипотезы. Поэтому на фигурирующие в теореме функции мы ввели (с неохотой!) некоторые дополнительное ограничение. При этом ограничении дипломная теорема становилась верной (это я доказал), но переставала быть изящной и неожиданной. В апреле я мой диплом перед комиссией в составе Плеснера и Д. Е. Меньшова защитил с отметкой «отлично».

Той же весной 48-го Галя кончала физфак по специальности «Уравнения математической физики». Это — несмотря на название — чисто математический предмет, который изучался и преподавался и на мехмате, и на физфаке. Галиным научным руководителем был известный учёный, академик А. Н. Тихонов. Поговаривали о его антисемитизме. С Галей он был корректен, но в аспирантуру ей поступать не предлагал, хотя свою дипломную работу «Об одной обратной задаче теории потенциала» Галя написала и защитила вполне хорошо.

Теперь — об одном важном событии начала 48-го года, изменившем жизнь нашей семьи и имевшем драматическое продолжение. Вот предыстория. Абрам Миронович и Мария Григорьевна занимали, начиная с середины двадцатых годов, престижные преподавательские должности в московских вузах и участвовали в работе научного семинара В. Ф. Кагана на мехмате МГУ.

В последние перед войной годы Мария Григорьевна стала доцентом кафедры математики Военной Академии химзащиты. Вскоре после того, как я вошёл в эту семью, она этой кафедрой уже заведовала. Абрам Миронович стал в тридцатых профессором кафедры геометрии физмата Педагогического Института (МГПИ).

Аресты тридцатых годов Абрама Мироновича и Марию Григорьевну обошли. Но очень многие их друзья — как оставшиеся в Одессе, так и переехавшие в Москву — подвергались преследованиям на работе, были арестованы и заключены в лагеря, а некоторые — расстреляны. Я рассказывал уже о Ройтерштейнах и о Саше Лизаревиче.

Среди друзей семьи Лопшицев (кажется, с одесских времён) был человек, сделавший заметную политическую карьеру. Его звали Арон Гайстер. В конце двадцатых годов Гайстер стал заместителем Наркома по земельным делам. Гайстеры жили в пресловутом Доме Правительства. В престижном дачном посёлке Никольское на берегу Москва-реки у них была дача.

Вскоре после начала периода массовых репрессий Лопшицы с Гайстером отношения прекратили. Конкретный повод для размолвки состоял в том, что Гайстер отказался хлопотать за арестованного Иосифа Ройтерштейна, отца Хили, сказав, что это — безнадежно. Лопшицы, кидавшиеся на помощь друзьям по первому зову или без зова, не могли простить Арону его отказа — может быть потому, что весь ужас наступивших времён им, в отличие от Арона, приближённого к верхам, был понятен не в полной мере.

Обеспеченное и уверенное существование семьи Гайстеров было оборвано естественным в ту эпоху образом: Арона Гайстера арестовали. Его жена Рахиль тоже была арестована. Арон был расстрелян, а Рахили дали срок в лагере. На свободе остались три дочери. Инне было лет четырнадцать

дцать, Наташе — лет семь, а Вале — совсем мало. Им грозил детский дом, но их взяли к себе родственники, правда, без особого энтузиазма, и детям пришлось вкусить всю горечь сиротства и зависимости от не очень близких людей.

Девочки жили у родственников до войны, но, уезжая в эвакуацию, эти родственники девочек вместе с собой не взяли. В декабре 1941-го девочки уехали сами. Отъезд организовала и осуществила старшая из них — Инна. Эвакуацию девочки провели тяжело. Младшая Валя тяжело заболела и умерла сразу после возвращения в Москву.

Добрую роль в судьбе девочек сыграла домработница Гайстеров Наталья Овчинникова, попавшая в ту семью в конце двадцатых или в начале тридцатых годов. Тогда многие деревенские девушки стремились уехать из родных мест, разорённых коллективизацией, чтоб избежать голода, а часто — и ссылки в Сибирь или в Казахстан вместе с их раскулаченными семьями.

Няня, оставшаяся всю войну в Москве, работала на заводе и делилась с дочерью своих бывших хозяев своим рабочим пайком. После возвращения родственников из эвакуации девочки снова стали жить с ними, испытывая тот же душевный и материальный дискомфорт, что и до войны.

В 1944 г. Инна поступила на физфак МГУ, а Наташа продолжала учиться в школе. Лопшицы, рассорившиеся с Гайстерами в период взлёта этих баловней власти, их дочерей после зловещего краха родителей не оставили и им эпизодически помогали. Но в начале 1948-го года положение Наташи в той семье, где она жила, сделалось невыносимым. Тогда Абрам Миронович и Мария Григорьевна спросили у Гали и у меня согласия на то, чтобы взять Наташу (в семье её называли Наталкой) жить к нам. Мы, конечно, согласились. К этому времени нашему сыну Сашеньке было три года.

Итак, в дом в Староконюшенном вошла Наталка. Днём она была в школе, а со второй части дня вступала в шумную жизнь этого дома, ухитрившись сделать на свободной поверхности какого-нибудь стола свои домашние уроки, а когда к ночи жизнь утихала, то ей расставляли раскладушку в кабинете Абрама Мироновича, т. е. в средней проходной комнате — где-то рядом с Розой.

Весной сорок восьмого года Наталка кончила десятилетку, выдержала конкурс и поступила на физмат МГПИ. Возможно, тот факт, что Абрам Миронович был профессором этого факультета, как-то помог Наталке: администрация пошла на зачислению в студентки дочери врага народа и еврейки. А евреев (и евреек) советская власть начинала любить всё меньше и меньше. Михоэлс к этому моменту был уже убит. Поступив в институт, Наталка осталась в нашей семье. Где жила в те годы Инна, я не помню, но помню, что она часто навещала сестру в нашем доме, и что с ней мы тоже подружились.

...Летом 1998-го года, будучи в Москве, я купил книжку: Инна Шихеева-Гайстер, «Семейная хроника времён культа личности», М., Ньюдиамед-АО, 1998. В этой книге Инна подробно и благодарно вспоминает о роли Лопшицев в их судьбах. Правда, в некоторых деталях, касающихся семьи Лопшицев, автор допускает мелкие неточности, на которых я здесь останавливаться не стану...

Как-то в феврале или в марте 48-го ко мне обратился с предложением выгодной работы, хотя и не имевшей никакого отношения к математике, дядя Тамары Абрам Моисеевич Лясс. До этого мы с Галей с ним несколько раз встречались в доме Эди. Приближались госэкзамены. Но коль скоро

подвернулся заработок, я от него не отказался, справедливо полагая, что подготовка к госэкзаменам слишком больших усилий от меня не потребует.

Абрам Моисеевич был сильно моложе своей сестры Эсфирь Моисеевны, Тамариной матери, и поэтому был Тамаре (а значит и Эде) скорее не дядей, а старшим братом — в те годы Абраму было чуть за тридцать, а всем нам — за двадцать. Абрам был умным и учёным человеком. Он был очень доброжелательным и уважительным, что выражалось и в некоторых его манерах. Он, например, обращался на «Вы» к своему, в сущности, племяннику Эде, с которым он познакомился в самом начале его романа с Тамарой, т. е. когда Эде было тринадцать лет. Когда Абрам узнал, что двенадцатилетняя Маша Калмановская прочла всего Шекспира, он стал говорить ей «Вы» и делал это до самой своей кончины.

Абрам Моисеевич был учёным в области технологии литья чугуна и стали. Он работал в ЦНИИТМАШе (Институте Машиностроения), а кроме того, был активным членом правления Всесоюзного Научного Инженерно-Технического Общества Литейщиков (ВНИТОЛ). Такие общества практиковались тогда в разных технических областях. Они устраивали семинары, курсы, научные конференции. Их бюджет складывался, как я теперь понимаю, из небольших взносов учреждений, к профилю которых относилось данное общество. Штат у них был обычно совсем скромным, а члены правления работали бесплатно.

В начале весны 48-го года Общество Литейщиков затеяло провести Всесоюзную научно-техническую конференцию, а мне Абрам предлагал стать на время подготовки и проведения этой конференции её администратором. Выходило, что я за три—четыре месяца мог получить завидную сумму, работая в удобное мне время, выбирая его между университетскими занятиями. Я согласился и потом об этом не жалел.

Во ВНИТОЛ (а это было маленькое подвальное помещение небольшого дома на Смоленской улице, ведущей к Бородинскому Мосту) стали из всех металлургических центров страны поступать доклады на объявленную конференцию. Число докладов исчислялось сотнями. Комиссия во главе с Абрамом Моисеевичем отобрала из них несколько десятков стоящих.

Доклады представлялись в машинописном виде. Каждый содержал страниц по пять. Эти доклады передали мне. Я должен был их прочесть и исправить грамматические ошибки, опечатки и вопиющие огрехи стиля. На места, казавшиеся мне подозрительными или вовсе несуразными, я должен был обращать внимание Абрама, который вместо несуразницы вставлял в текст литературно и научно грамотное изложение мысли автора. Или вычёркивал несуразный текст совсем.

Я должен был организовать перепечатку всех докладов на одинаковой бумаге. Для того, чтобы перепечатку не затягивать, к работе надо было привлечь нескольких машинисток (с ними ВНИТОЛ заключал договоры). Но, кроме однородности бумаги, надо было ещё позаботиться, чтобы у этих машинисток в пишущих машинках был одинаковый шрифт.

Тогдашние средства размножения были почти на нуле. К моменту начала конференции не было никакой надежды размножить тексты докладов сверх тех четырёх экземпляров, которые давала машинка. Ксерокопия ещё не появлялась, гектографы, вроде, из употребления вышли. По такой бедности предполагалось, что машинописные копии докладов будут лежать на специальных столах в помещении конференции, участники их будут брать, читать и класть обратно. Получение разрешения на размножение от Главлита Абрам взял на себя.

Я должен был организовать размещение иногородних участников конференции. Тех, у кого в Москве остановиться было не у кого, селили в в небольшом здании Заочного Metallургического Института, стоявшего в задах кольцевой станции метро «Парк Культуры». Я также должен был определить, сколько залов заседаний (по числу секций) и других служебных помещений потребуется для проведения самой конференции.

Видать, авторитет и размах деятельности ВНИТОЛА был, в противоположность малости занимавшегося им подвального помещения, весьма высок: руководство Общества договорилось о том, что конференция будет проводиться в Доме Учёных! Я поехал в дирекцию Дома, вооружённый письмом из ВНИТОЛа, и арендовал на несколько майских дней Голубую и Белую гостиные, Кинозал (внизу) и ещё что-то. Надо было договориться о часе обеденного перерыва, чтобы не отравлять жизнь обычным посетителям столовой Дома.

Конференция прошла прекрасно, без накладок и ко всеобщему удовольствию участников. После конференции мои и до того доброжелательные отношения с Абрамом стали ещё более тёплыми.

...В заключение этой истории напомним, что после смерти Сталина Миркин вернулся в ЦНИИТМАШ и стал сослуживцем Лясса. У них были разные узкие специальности, но оба были членами Учёного совета института. Так вот Абрам говаривал нам с Машей: «Сегодня смотрел во время заседания Учёного совета на Миркина. Боже! Какая у него свирепая физиономия! Смотрел и думал: «Может, и правда, он убил?»».

Госэкзаменов было два: «История КПСС» и «Математика». Для получения диплома с отличием мало было сдать на пятёрки эти «госы» (студенческий жаргон). Требовалось ещё, чтобы в дипломе было не больше двух четвёрок. Для выполнения этой нормы мне надо было пересдать два экзамена. В конце третьего курса я неудачно сдал Келдышу экзамен по теории функций комплексного переменного. Я отвечал не блестяще, но всё же не на тройку, которую вlepил мне экзаменатор, раздражённый в момент экзамена чем-то посторонним. На четвёртом курсе я получил тройку (на этот раз совершенно заслуженную) по политэкономии.

Эти экзамены можно было пересдать, договорившись с кафедрой и с экзаменатором (по счастью, не обязательно с тем же злодеем, который подпортил твой диплом). Стремление к диплому с отличием было порождено разнёсшимся слухом, будто владельцам дипломов с отличием будут при зачислении на работу устанавливать начальную зарплату выше, чем другим. Поэтому я и старался.

Теорию функции комплексного переменного, неудачно сданную Келдышу, я за десять минут пересдал его ассистенту по этому курсу Самарию Александровичу Гальперну. Политэкономия я пересдавал с некоторым напрягом. Я явился на переэкзаменовку, как всегда не будучи уверенным в успехе, потому что в этом предмете никогда нельзя было понять, что ты по их понятиям знаешь, а что — нет. Вот и на этот раз я снова не так как надо ответил на какой-то каверзный вопрос политэкономической бандерши, и она ехидно сказала, что я к пятёрке ещё не готов. Но тут же, в противоречие с этим приговором, она положительно ответила на мою просьбу и разрешила придти к ней для новой попытки на другой же день. Она, видать, не сообразила, что соглашаясь на встречу через сутки, она признаёт, что учить в её предмете — нечего. На другой день я (естественно, за это время никакой книжки в руки не взяв) снова пред те же очи и уши явился и, теми же устами отвечая, вожделенную пятёрку в диплом получил.

Передо мной и Галей, как и перед всеми остальными выпускниками мехмата, встала проблема устройства будущей после окончания университета профессиональной жизни. В те годы действовал механизм государственного распределения на работу выпускников высших и специальных средних учебных заведений. Распределению подлежали и все окончившие аспирантуру. Закон действовал, по-видимому, с первых месяцев советской власти и до начала девяностых годов. Сразу после окончания высшего или среднего специального учебного заведения студент получал статус «молодого специалиста», который числился за ним в течение двух лет.

Никакое учреждение (учебное заведение, завод, конструкторское бюро, научный институт, больница и т. п.) не имело права брать молодого специалиста на работу по вольному найму, так же, скажем, как оно не могло купить для своих нужд в магазине или на оптовом рынке автомобиля, писчую бумагу, приборы, станки, металлы и пр., а могло лишь получать эти ресурсы по ведомственным разнарядкам. Как и материальные ресурсы, молодые специалисты, т. е. квалифицированные трудовые ресурсы, распределялись центральными органами, в данном случае — Министерством высшего и среднего специального образования.

В соответствии с общей схемой распределения ресурсов при социализме, учреждения, заинтересованные в получении молодых специалистов, посылали в начале года заявки в свои министерства, там делалась сводная заявка, которая направлялась производителю ресурса — Министерству высшего и среднего специального образования. Там полученные заявки суммировались, сравнивались с количеством выпускников. Заявки всегда превышали возможности. Они корректировались, и каждое министерство-заявитель получало свой лимит.

Корректировка состояла в урезании количества и понижении качества. Например, министерство-заявитель хотело получить двадцать выпускников физфака МГУ, а ему таких выделяли пять и ещё шесть, но не из МГУ, а из выпускников физфака Свердловского Университета. В наиболее выгодном положении оказывались заявители, чьи министры имели в глазах высшего руководства страны большой вес, а распределение симпатий было в чиновных кругах доподлинно известно.

Вся эта система утряски усложнялась в реальности тем, что некоторые учебные заведения подчинялись не министерству высшей школы, а отраслевым министерствам, и тем, что иногороднего молодого специалиста учреждение могло взять на работу только в том случае, когда могло предоставить ему жильё (на практике — хватало и общежития), что должно было гарантироваться специальным обязательством. Многие другие реалии я опускаю. Министерство-потребитель распределяло полученные им лимиты между подведомственными ему учреждениями, учитывая влияние их директоров, степень ответственности министра за результаты их деятельности, наличие у этих директоров нужного объёма жилья и пр. Кампания по распределению лимитов по учреждениям завершалась к маю.

И вот приближался последний этап. На каждом факультете каждого учебного заведения за несколько недель до защиты дипломов или до госэкзаменов происходило заседание комиссии по распределению. В эту комиссию входили представители администрации поставщика (ректората) и заказчиков (министерств). На заседании присутствовали представители учреждений, имевших лимит на сегодняшний товар.

Студентов поодиночке приглашали в комнату, в которой заседала комиссия. Представшему перед комиссией предлагали на выбор несколько

вариантов его распределения. Иногда был только один вариант. Если студент с одним из предложенных вариантов соглашался, то он и полномочный представитель его будущего места работы ставили свои подписи на протоколе, и распределение на этом кончалось. Летом студент получал официальное направление и обращался в отдел кадров учреждения, в которое он был распределён.

Составленный при распределении и утверждённый министром высшего образования документ обязывал учреждение, в которое был распределён молодой специалист, предоставить распределённому рабочее место, а распределённый был обязан отработать по месту распределения два года.

Тогда действовал закон, позволяющий администрации любого государственного учреждения отказывать любому работнику в увольнении, т. е. фактически работник был крепостным. Так что отработавший два года по распределению, хотя и переставал быть «молодым специалистом», но автоматически подпадал под действие сталинского закона о невозможности уволиться без разрешения администрации, и зачастую продолжал — в неволе — работать там, где ему, быть может, за два первых обязательных года работать и осточертело.

Вскоре после смерти Сталина крепостной закон был отменён, и молодой специалист через два года становился реально свободным. Впрочем, довольно часто такой брак по расчёту оказывался удачным и молодой специалист оставался в том месте, куда его направила Комиссия, на долгое время, иногда — на десятилетия.

Заседанию Государственной комиссии по распределению предшествовали многонедельные переговоры выпускников с потенциальными работодателями. Эти переговоры шли в игровом режиме (в смысле математической теории игр). Во-первых, студенты не знали, какой лимит есть у того или иного представителя и со сколькими студентами он договорился. Работодатель не знал, со сколькими работодателями, кроме него, договорился интересующий его выпускник. Каждый из них не знал, каков его приоритет в глазах другой стороны, и что произойдёт на окончательном заседании Комиссии. Студент мог не получить желанного и вроде обусловленного приглашения и должен был в этом случае идти на худший вариант или, вообще, решать свои проблемы экспромтом. Работодатель не знал, его ли предложение примет в последний момент приглянувшийся ему студент или выяснится, что ловкий молодой человек поматросил и бросил, и ему, работодателю, придётся срочно использовать запасные варианты, а в худшем случае довольствоваться кем-нибудь вовсе случайным.

На всю эту неопределённость накладывало свой отпечаток и то, что большинство учреждений были секретными, и их представители, ведя переговоры с потенциальными своими новыми работниками, не имели права толком рассказывать о характере и содержании ожидавшей молодого специалиста работы. Часто этим представителям в интересах их дела приходилось раскалываться и кое-какие завесы приоткрывать. И наоборот: могло оказаться, что распределённый в секретное учреждение молодой специалист, который после распределения заполнял анкету на допуск к секретной работе в данном учреждении, этого допуска от Органов не получал, в результате чего распределение аннулировалось.

Было ещё одно правило, увеличивавшее ненадёжность предварительного сговора. Некоторым студентам кафедры факультета давали официальную рекомендацию в аспирантуру. Процедура рекомендации была хитрой. Факультет получал от ректората лимит на количество аспирантских мест

и распределял его с учётом не только научных достижений студента, но и — в немалой степени — веса заведующих кафедрами и научных руководителей в глазах руководства факультетом, а там чуть ли не самый внушительный голос был у «общественных организаций», т. е. парткома и его прихвостней — профкома и комитета комсомола, внимательно изучавших политические лица студентов и профессорско-руководителей.

Так вот, студенты, хоть и рекомендованные в аспирантуру, распределялись на работу на общих основаниях. Но это распределение имело силу только в том несчастном случае, если кандидат в аспирантуру в неё не поступал, не сумев выдержать конкурсного экзамена. В случае же его успеха учреждение, в которое он был распределён, оставалось с носом. Поэтому кандидаты в аспирантуру среди представителей учреждений не котировались, им оставались второсортные места, а кандидаты в аспирантуру — в надежде на свой успех — подписывали согласие на любое место работы. Так что неудачники не только не попадали в аспирантуру, но и оказывались распределёнными на незавидные места работы, часто расположенные в далёких от отчего дома и непривлекательных городах или в мелких населённых пунктах.

В очень редких случаях молодой специалист не распределялся никуда. Он получал «свободное распределение», т. е. документ, который давал ему право наниматься на работу на обычных основаниях. Соответственно, руководитель любого учреждения мог выпускника со свободным распределением принимать на работу без риска быть обвинённым в нарушение государственных порядков.

Причины свободного распределения бывали разные, но самая частая состояла в том, что потребитель не хотел выпускника, который был евреем, или если было подозрение, что он не получит допуск к секретности, а несекретных учреждений в Москве у этого министерства не было, а от направления в провинцию этот выпускник был защищён какими-нибудь законными обстоятельствами. Такие были! Например, нельзя было послать в провинцию замужнюю молодую специалистку, если её муж уже был распределён (обычно — раньше или другим вузом) в московское учреждение. Бывало, что выпускника, хоть и не имевшего защиты от провинции, даже провинциальные работодатели чурались — по тем же причинам. Казалось бы, свободное распределение — вещь хорошая. Но реально по свободному распределению можно было устроиться только учителем в среднюю школу. Такая карьера мало кому нравилась.

...Многие из вышеизложенного я узнал через много лет, когда сам бывал на распределениях молодых специалистов в качестве работодателя, представляя секретную фирму (ту самую, куда я сам был распределён после окончания мехмата)...

А тогда, в 48-м, я был по другую сторону процесса, обо всех его подноготных знал мало, но всё таки сообразил, что мне следует обзавестись несколькими вариантами. В этом году начала раскручиваться антисемитская кампания, которая оказала известное влияние на рейтинг выпускников — в сторону его снижения для выпускников-евреев.

Итак, о наших распределениях. Начну с моего. Хоть у меня был диплом с отличием, я, положив руку на сердце, талантливым математиком не был. Я нашёл себя позже, занимаясь различными приложениями математики, а тогда никаких претензий к кафедре теории функций, не давшей мне рекомендации в аспирантуру, не имел.

Я оказался распределённым не в самое желанное мне учреждение, для которого я был, как выяснилось в последний момент, всего лишь запасной

лошадкой, а в учреждение, имевшее по выстроенной мною самим шкале невысокий приоритет.

Это была секретная фирма, которая называлась «п/я 4096» и принадлежала Министерству Сельскохозяйственного машиностроения (МСХМ СССР). Принадлежность секретной фирмы столь мирному министерству была явным и никем не соблюдаемым камуфляжем. Работодатель смог мне только сказать, что работа у них для математиков интересная, и что они расположены недалеко от станции метро «Сталинская» (нынешняя «Семёновская»).

С момента, как я закончил все формальности, и моё распределение стало фактом, я стал гулять по мехматскому коридору, строя догадки о моём будущем. Мою прогулку остановила низкорослая еврейская девушка. Я не был с ней знаком. И не удивительно: выяснилось, что она выпускница отделения механики, а их мы, математики, за людей, как известно, не считали. Она сказала мне, что распределилась в ту же фирму, что и я. Её звали Аня Гуревич.

У Гали с распределением возникли сложности. Не было продвижения даже в предварительных переговорах с охотниками за молодыми специалистами. Никто с ней договариваться не хотел. Причины остались неразгаданными. Её национальность? Но ведь мне такая же национальность пути к распределению не закрыла. Маячило свободное распределение, т. е. работа учителя в школе. И вдруг всё переменялось самым фантазмагорическим образом. Начинать приходится издалека.

Частым гостем семьи Лопшицев был Георгий Николаевич Коренев, Он был авиаконструктором и провёл много лет в тюрьме. Он попал на шарашку и работал там вместе с Туполевым, Королёвым, Мясичевым, Томашевичем и многими другими славными и главными. К тому моменту, когда я увидел Коренева впервые — а я думаю, что это было вскоре после освобождения этой группы авиаконструкторов, т. е. чуть до или чуть после окончания войны — он уже работал на ответственной должности в сверхсекретном конструкторском бюро, и о своей работе практически ничего не говорил. Кроме, пожалуй, двух вещей.

Первая нам слишком важной не казалась: Юра (так называли его Абрам Миронович и Мария Григорьевна) сказал, что его учреждение называется КБ-1, и что оно расположено недалеко от станции метро «Сокол» в группе зданий, специально построенных на огороженной и особо охраняемой территории.

А вот второе, о чём нам поведал Юра, было очень существенным. Мы узнали, что начальник КБ-1 Куксенко был человеком с довольно типичной биографией. Когда-то его посадили, потом выпустили и возвеличили. Что-то вроде Яконова — персонажа романа Солженицына «В круге первом», который был написан много позже. Заслуги Куксенко в авиационном строительстве были как-то неочевидны, и почему именно он был начальником КБ, оставалось для большинства непонятым.

Заместителем Куксенко был Кутепов. Это назначение казалось более естественным, так как он перед этим назначением был начальником шарашки, в которой работали заключённые авиаконструкторы. Но оба эти «К» были лишь ширмой для истинного руководителя КБ-1. Он занимал должность Главного конструктора. Имя этого Главного было — Сергей Лаврентьевич Берия.

Сын грозного Лаврентия Берии был совсем молодым человеком. На важный пост его поставило могущество его отца, а успешное функционирова-

ние КБ обеспечивалось теневой узкой группой очень квалифицированных специалистов, состоявших, в основном, из недавних жителей шарашек. Юра давал понять, что он — один из этого штаба. Юра рассказывал, что Сергей — человек неглупый, ценит своих советников, подхватывает и умело претворяет в дело их технические идеи, обладает недурными административными способностями, а в своих взаимоотношениях с военными заказчиками и с правительственными сферами умело играет на том, что он — сын великого визиря.

История знакомства Юры Коренева с Абрамом Мироновичем была довольно типичной. В конце двадцатых и в тридцатых годах Абрам Миронович, помимо его основной работы в Педагогическом институте, преподавал математику по совместительству или на почасовой оплате и в других учебных заведениях.

Я уже говорил, что одно время он преподавал в Минском Университете — вместе с И. М. Гельфандом. Для этого раза два в неделю Абрам Миронович и Израиль Моисеевич посылали кого-нибудь из своих студентов в Представительство Белоруссии в Москве за железнодорожными билетами, которые иным способом можно было купить вовсе не всегда.

Преподавал Абрам Миронович и в разных технических вузах. Так возник уже упомянутый Якимович. Обычно Абрама Мироновича приглашали для занятий по тем математическим дисциплинам, которые в учебные программы технического вуза не входили, но технический прогресс делал необходимым приобщение студентов старших курсов или аспирантов к этим предметам, не дожидаясь их включения в официальные учебные программы. Иногда это были не вузы, а курсы повышения квалификации. А предметом, недостаток знания которого пополняли занятия Абрама Мироновича, была чаще всего линейная алгебра.

Не только аспиранты Абрама Мироновича, но и многие студенты и слушатели втузов и курсов, в которых он работал по совместительству, часто продолжали с ним контакты и после того, как он свои лекции завершал. Обычно толчком этим контактам служили несколько домашних неформальных и бесплатных консультаций, которые Абрам Миронович охотно давал своим бывшим ученикам. Эти беседы касались конкретных проблем, с которыми бывшие слушатели Абрама Мироновича встречались в своей последующей самостоятельной работе. Часто эти научные связи расширялись до знакомства семьями, как например, в случае с Якимовичем, а иногда перерастали и в равноправные дружеские. Так вышло с Юрой Кореневым, который обучался у Абрама Мироновича в начале тридцатых на каких-то высших инженерно-авиационных курсах.

Юра Коренев бывал у Абрама Мироновича очень часто, и когда весной 48-го выявились проблемы с Галиным распределением, и разговоры о Галином профессиональном будущем постоянно возникали в доме в присутствии близких знакомых, Юра Коренев оказался в курсе того, что Галя так никаких предложений не получила и никуда распределена не была.

Совершенно неожиданно Юра спросил, заинтересована ли Галя в том, чтобы её приняли в КБ-1. Юра пояснил, что конечно, в этом варианте нельзя было надеяться на работу в точности по тому направлению, которое Галя начала в Университете. Бог мой! Конечно! На такое продолжение темы могли надеяться только принятые в аспирантуру.

Галя согласилась с удивлением и недоверием: власти явно демонстрировали своё намерение всё больше и больше изолировать еврейскую интеллигенцию от престижных профессий и престижных (особенно секретных)

мест работы. Поэтому Юрин проект выглядел совершенно несбыточным. Но Юра, очевидно, знал, что говорит.

После того, как стало ясно, что у Гали возникло право на свободное распределение, Юра начал действовать. И вот случилось невероятное: Галю в КБ-1 взяли! Она получила допуск к секретной работе и с осени стала работать в таинственном огороженном учреждении у метро «Сокол». Её непосредственным начальником стал Юра Коренев.

Роберт Виноград и Славик Грабарь получили от кафедры дифференциальных уравнений направление в аспирантуру и благополучно сдали туда экзамены.

...Они оба успешно аспирантуру закончили и защитили в самом начале пятидесятых кандидатские диссертации. Но после аспирантуры они снова должны были проходить распределение. Славик сразу получил работу в московском (кажется, Горном) институте. У Роберта же возникли проблемы. Антисемитизм был в разгаре, и Роберт получил распределение на преподавательскую работу в Алма-Ату. Он был вынужден отправиться туда с семьёй и провёл там несколько лет. После смерти Сталина он вернулся в Москву. Но работы в Москве ему не нашлось, и он смог найти работу только на некотором расстоянии от Москвы, а именно — в одном из вузов Тулы. Он ездил туда раза два в месяц на два—три дня в каждую поездку. Кстати, Роберт очутился в том же институте, в котором тогда уже работал и профессор Миркин. В Московский Горный Институт Роберт устроился на работу только после того, как года два отработал в Туле. Так они со Славой Грабарём стали работать вместе. Но это уже было в середине пятидесятых...

В заключение темы о распределении. Наряду с кампанией по распределению, охватывавшей каждую весну выпускников и накладывавшей отпечаток на жизнь факультета, была ещё одна незаметная никому, кроме причастных к ней, кампания по привлечению выпускников и кончавших аспирантуру в научно-исследовательские подразделения Органов безопасности. Этот процесс шёл, повторяю, келейно, но его результаты не скрывались.

Так, Боня Флейшман, учившийся курсом старше нас и распределявшийся, соответственно годом раньше, вдруг стал, когда мы были на последнем курсе, появляться на факультете и разгуливать по его коридорам в форме старшего лейтенанта ГБ. Он приходил для консультаций с профессорами мехмата и просто для болтовни со знакомыми.

...Через несколько десятков лет я как-то провёл вместе с четырнадцатилетней Катей месяц в академическом пансионате «Звенигородский» (не путать с адвокатским домом отдыха!). Там я повстречался с Боней, отдохавшим с женой Миррой и с сыном Сеней, приблизительным ровесником Кати. Боня к этому времени уже давно из системы ГБ уволился и работал в Институте Океанографии АН. Мы снова сдружились — семьями — и наша дружба продолжалась несколько лет. На мои вопросы о содержании его тогдашней секретной работы Боня отвечал, что он занимался теорией информации. Это вполне соответствовало Бониному научному профилю. Думаю, что речь шла о теории кодирования. Боня в 1971 г. выпустил, а после встречи в Звенигороде подарил мне с надписью книжку-монографию «Элементы теории потенциальной эффективности сложных систем». В этой книге делалась заявка на открытие важного направления в кибернетике. Но время показало, что охотников развивать это направление не нашлось, и ожидавшегося Боней развития

предложенного им подхода не произошло. Наша дружба с Флейшаманами постепенно — в течение лет десяти — угасла...

Кроме Бони, в форме офицера ГБ появлялся на мехмате и молодой кандидат наук Борис Абрамович Розенфельд. Он защитил диссертацию при кафедре дифференциальной геометрии. Чем в научных подразделениях Органов занимался геометр? Скорее всего, он на время сменил тему и стал заниматься, как и Боня, теорией кодирования.

...Несколько лет назад Борис издал книгу о крупных советских геометрах. Мне довелось поддержать её в руках в течение получаса. Может, там есть не замеченный мною ответ на вопрос касательно роли геометрии в функционировании Органов?..

Наступили Госэкзамены. Сперва сдавали госэкзамен по КПСС. Самые предприимчивые из нас вызнали, в какой аудитории будет экзамен, зашли в эту аудиторию за час до начала и положили в столы — на те места, куда они собирались сесть при подготовке — книжки и конспекты. Но за пять минут до начала экзамена в аудиторию вошла строгая дама — секретарь приёмной комиссии, — и через минуту вышла оттуда с кипой книг и тетрадей. Всё это она молча положила на подоконник окна в коридоре и вернулась в аудиторию, в которую уже начали сходить остальные члены комиссии.

Экзаменаторы в этот раз были очень благодущны и щедры. Не было ничего похожего на обычное желание запутать студента в казуистических определениях, требований точного знания цитат и т. п. фокусов. Я получил мою пятёрку через десять минут. Других тоже не мучили. Что именно (но несомненно, благостное) произошло с марксистами в то солнечное майское утро того неласкового года, я не знаю.

У меня оказался диплом с отличием, и его мне и другим получившим такие дипломы выпускникам МГУ того года вручил на торжественном акте тогдашний ректор Университета академик Несмеянов.

Прекрасно сдала госэкзамены и Галя, хотя до диплома с отличием из-за пары лишних четвёрок недотянула. Но и в том виде её диплом был весьма весомым.

Так мы окончили Университет.

ГЛАВА 16

Последние каникулы: Кексгольм. Мне и Гале дают допуски к секретной работе. Фирма. Отдел кадров. Первая встреча с Первым отделом. Сборник секретных сведений. Тематика фирмы. Томашевич. Распорядок дня. Александр Борисович Липшиц. Автор — ЦЕКА. Свечарник. Провал аспирантуры в ИТМ. Моя работа и карьера. О методах математического исследования траекторий полёта. Галя работает у Берии-сына. Счётная фабрика в Кирпичном. Неожиданное увольнение Гали. Немецкий тренажёр. Лесечко, СКБ-245 и тренажёр для Щуки. Александр Борисович: английский, музыка, шахматы, идея о заговорщике Саше Кронроде, семейная жизнь. Лётные испытания Fritz-X.

Через несколько дней после окончания МГУ мы с Галей явились в отделы кадров учреждений, в которые собирались поступать на работу, заполнили анкеты и расстались с ними до осени. Начались наши последние каникулы, или, если угодно, первые очередные отпуска.

В профкоме МГУ мы ещё на старых правах получили путёвки на турбазу в Кексгольме на озере Вуокси. И туда, и обратно мы ездили через Ленинград и останавливались у Юры. В Ленинграде оказался и Юра Барштейн. Он стал во время войны естественным образом военным, а именно военно-морским врачом, и после войны сделался преподавателем Ленинградской Военно-морской медицинской Академии. Он был уже старшим офицером ВМС, имел в Ленинграде квартиру и семью. Он пришёл к Юре — повидаться со мной и познакомиться с Галей. Наша дружба не продолжилась. Юра Барштейн с ростом чинов очень поглупел и был полон своего военно-морского превосходства над остальными людьми.

Пожив несколько дней у Юры и тёти Кати — до наступления срока наших путёвок, мы отправились в Кексгольм (вскоре для вытравления шведского духа его переименовали в Приозёрск). Этот город — бывшая крепость — расположен на Карельском перешейке, на территории тогда сравнительно недавно отвоёванной у Финляндии, и какой-то запах заграницы, в который наши носы тщательно и с интересом внюхивались, в этих краях при большом напряжении учуять было можно. Сперва мы проехали в поезде, отходившем от Финляндского вокзала, сто с лишним километров. За партией отдыхающих, в которой оказались и мы, был выслан катер: в турбазу можно было попасть только по реке Вуокси. Это короткая, довольно широкая река, вытекающая из озера Иматра и впадающая за Кексгольмом в Ладожское озеро.

Наша турбаза была километрах в двадцати от Кексгольма. Попав в неё, мы сразу перестали чухать финский дух: он был перешиблен советским. Турбаза занимала два больших барака. В один селили мужчин, в другой — женщин. Совершенно не считаясь с имевшимися между некоторыми парами законными супружескими отношениями. Такая схема была для советских домов отдыха вполне привычной и воспринималась безропотно. Но мы с Галей были не слишком опытные, и у нас было одно мыло и одна коробочка зубного порошка. Встретившись

на другое утро около рядов рукомойников, мы с Галей сумели умыться как следует.

Нам такая схема размещения туристов очень не понравилась. Мы пошли к директору. Этот низкорослый еврей отнёсся к своим молодым соплеменникам сочувственно, но средства для удвоения наших чайний у него были скромные. Он сказал, что единственное, чем он располагает — это довольно большое чердачное помещение какого-то хозяйственного строения. На этом чердаке, во-первых, нет никакой мебели, а во-вторых, нам одним он эту комнату отдать не может. Он может дать её нам и ещё одной молодой супружеской паре, оказавшейся в сходном положении и так же, как и мы, этим положением недовольной.

Эта пара крутилась где-то рядом в ожидании директорского решения. Её позвали, они и мы согласились, и дело было сделано. Через полчаса мы перетасили свои чемоданы в выделенное помещение. Мы делили его с молодыми супругами из Ленинграда — Яшей и Соней. В двух противоположных по диагонали углах чердака были положены большие охапки сена. Дирекция выдала нам простыни, подушки, одеяла и наволочки, и каждая пара устроила себе лежбище.

С нашими соседями по комнате мы пребывали в хороших отношениях, но не сблизились. Мы быстро научились преодолевать неловкости, вытекающие из совместного проживания: когда нужно отворачивались, иногда довольствовались сомнительной изолированностью — временем до пробуждения соседей, иногда моментами, когда их уже или ещё не было дома. Дни мы проводили врозь.

Природа там была феноменально красивая и необычная. Мы много времени проводили на берегу озера и в катании на лодке. Как-то культработники организовали лодочное путешествие до самого Кексгольма, а там был организован экскурсия по военно-историческим местам. Мы много гуляли по лесам и полянам, усеянным валунами.

Иногда нам попадались брошенные финнами и ещё не освоенные новым населением этих мест мызы с жилыми и хозяйственными постройками. Из зрелищ такого рода мы могли составлять представление о том, как жили финны до войны, и какие чувства им было естественно испытывать к стране, отнявшей у них эти края. На обратном пути мы посмотрели Выборг и ещё пару дней пожили у Юры.

Старшие Лопшицы сняли дачу в Валентиновке. Во время нашего отсутствия за Сашенькой, в основном, смотрела тогдашняя домработница, а потом там стали жить мы с Галей. Много времени проводили на даче и родители. Очень украшало нашу жизнь то обстоятельство, что по соседству снимали дачу Лёва Атанасян с Верой и маленьким сыном Серёжей, близким по возрасту к Сашеньке.

...Галя и её родители очень сдружились с Юрой, Машей и тётей Катей. Они тоже при своих поездках в Ленинград стали останавливаться на Свечном, а Юра и Маша при поездках в Москву — в Староконюшенном. Я старался почаще бывать в Ленинграде: и в Юриной семье мне было хорошо, и тянули Ленинградские улицы и музеи. В конце сороковых или в начале пятидесятых Юра вышла замуж за тихого скромного еврея Фиму, который был на несколько лет старше её. Он стал для Машеньки хорошим отцом. Когда в конце пятьдесят седьмого я разошёлся с Галей и женился на Маше Калмановской, то часть моих друзей и родных заняли экстремистскую позицию — порвали со мной. К сожалению, к их числу принадлежали и Юра с Машей. Тётя Катя к тому времени уже скончалась...

К моей радости и удивлению, в конце лета выяснилось, что и я, и Галя допуск к секретной (и даже к «совершенно секретной») работе получили. Другими словами, несомненно известная Органам наша принадлежность к семье Лопшицев с её многочисленными связями с репрессированными и с их родными и наша близость к осуждённому за антисоветскую агитацию Юре и Лёве, а может, и известное моё авторство подозрительного объявления не послужили для Органов поводом для того, чтобы допусков нам не дать.

В один из первых дней сентября 1948-го года я явился на место моей будущей работы по адресу Ткацкая, 16. Интересно бы знать, что там теперь? Я начал с отдела кадров, в который можно было попасть без пропуска. Меня зачислили на должность инженера. В этот момент я узнал, что настоящее имя нашего учреждения было «КБ-2 МСХМ».

Тут я хочу сделать некоторые терминологические замечания. На каждом крупном индустриальном предприятии (например, на автомобильном заводе) среди отделов был один или несколько, которые включали в своё название две буквы КБ, означающие Конструкторское Бюро. Но эта же аббревиатура использовалась в названиях самостоятельных учреждений.

В стране существовало несколько сот отдельных КБ. Иногда этими буквами с добавленным через тире номером название и исчерпывалось. Но иногда к этим двум буквам и номеру спереди пристёгивалась ещё одна буква, а именно С, Ц или О. Эти три буквы были, соответственно, аббревиатурами слов «Специальное», «Центральное» и «Особое» (или «Отдельное»). А бывали ещё и СБ (Специальное Бюро). Я никогда не мог понять, в чём разница между «КБ» и всеми его синонимами.

В Отделе кадров мне выдали пропуск на территорию с пометкой, что я могу проходить и в конструкторский корпус. На пропуске была моя фотография. Отдел кадров помещался на первом этаже. Проходная находилась рядом с ним. Когда я предъявил мой новый пропуск в проходной, меня пропустили, а пропуск остался у меня, что показалось мне совершенно естественным. Но когда вечером я уходил домой, то, пропуская меня наружу, вахтёр, к моему крайнему удивлению, пропуск у меня отобрал и положил в выделенную для моего пропуска ячейку (как я догадался на другой день, она была отмечена номером моего пропуска). С этого момента я стал частью отлаженной процедуры: являясь на работу, я должен был называть номер пропуска, вахтёр вынимал его из моей ячейки, сверял фото с моей реальной личностью, отдавал пропуск мне и впускал на территорию. Уходя, я снова его в проходной оставлял — до следующего утра.

В тот первый день я должен был после отдела кадров прежде всего представиться начальнику КБ, занимавшему большой кабинет с приёмной и с секретаршей, расположенный на втором этаже над отделом кадров. Начальник Сапрыкин, нестарый тучный человек, ласково поговорил со мной минуты две, пожелал мне удачной работы, что-то начертил на моём деле, лежавшем на его столе, после чего аудиенция была закончена. Больше я Сапрыкина не видел: вскоре вместо него пришёл другой начальник КБ-2. Я же поднимался по служебной лестнице ещё примерно год, прежде чем дошёл до уровня, на котором у работника КБ появляется шанс либо попасть на совещание к начальнику учреждения, либо, что ещё более редко, иметь повод быть у него на личном приёме. Впрочем, поток вновь принятых на работу увеличивался, и новых сотрудников не слишком высокого ранга, в частности, молодых специалистов, стали представлять при приёме на работу менее высокому начальству.

Я спустился из кабинета Сапрыкина и вышел на территорию КБ. Она была очень большой и примерно прямоугольной. Одна сторона, метров в двести, шла вдоль Вельяминовской улицы, вторая — метров в 400 — вдоль Ткацкой, а ей параллельная противоположная — граничила, как я вскоре узнал, с территорией СКБ-247, конструирувавшего обычные авиабомбы. Четвёртая сторона шла вдоль улицы Ибрагимова, параллельной Вельяминовской и выходящей на Щербаковскую. На территории КБ было много зданий заводского типа из кирпича или из серого бетона. Одно из них — четырёхэтажное — было Конструкторским корпусом, в котором мне предстояло работать. Прежде всего я должен был пойти в находящийся в Конструкторском корпусе «Первый отдел».

...Таким термином во всех государственных учреждениях страны, имевших хоть какое-нибудь касательство к секретной тематике, называлась канцелярия, оперировавшая (да почему это я говорю в прошедшем времени?! И теперь, небось, оперирует) с секретными документами. Секретные документы приходили извне, производились внутри данного учреждения и отправлялись вовне. Все эти документы — оригиналы или их копии — надо было хранить и выдавать для работы сотрудникам учреждения.

К документам относились (список неполный): внутренние служебные записки и докладные, приказы начальства, рабочие чертежи, научно-технические отчёты на всех стадиях их создания, личные тетради сотрудников, в которые заносились предварительные расчёты, заметки, соображения и пр., фотоплёнки с результатами измерений и т. п. материалы, постановления руководящих органов, письма и научно-технические материалы из других секретных учреждений и пр.

В состав первого отдела входили а) машбюро, только в которое можно было отдавать для печати черновые и окончательные варианты всех секретных бумаг и б) светокопиральная мастерская для размножения графических документов: чертежей и графиков и больших таблиц.

Руководство и персонал Первого отдела числились в штатах того учреждения, в котором этот отдел функционировал, но их нанимали, продвигали по службе и увольняли какие-то таинственные начальники из Органов безопасности. В своей повседневной работе Первый отдел был подотчётен также этим Органам. Руководящие сотрудники Первого отдела имели чины ГБ, но какие именно — было неясно, так как они всегда ходили в штатском. Рядовые сотрудники этого отдела были вольнонаёмными.

Несмотря на свою принадлежность Органам, в сотрудниках Первого отдела, в том числе и в его начальниках, ничего таинственного и зловещего не было. Это были обычные канцеляристы — кто поумнее, кто поглупее, кто поупрямее, кто попокладистей, кто поформальней, кто почеловечней.

Я помню одного начальника, который был фигурой совершенно комической. Что-то вроде героев Игоря Ильинского из фильма «Волга-Волга» и из вышедшей через десять лет после описываемых времён «Карнавальная ночь». Этот начальник любил выступать с идиотическими речами на общих собраниях коллектива КБ, которые созывались по тем же поводам, что и в любом советском учреждении: праздники, подписка на заём и пр. Содержание его речей было стандартным: сотрудники призывались к бдительности. Любимая мысль этого начальника состояла в том, что в трудном деле сохранения государственной тайны (а мы все, сотрудники КБ, должны были этим неусыпно заниматься) не бывает мелочей. «Вот вы сказали своему знакомому, что в двухнедельную командировку Вы едете

с Павелецкого вокзала (примеры неосмотрительных сообщений варьировались), и, думаете, что ничего особенного не сказали. Но тут пахнет глубже!». Это последнее суждение стало среди сотрудников нашего КБ и членов их семей крылатым: поводов — серьёзных и шутливых — для его употребления было предостаточно.

С работниками Первого отдела нас сближало ежедневное будничное общение по служебным делам, и тень их Зловещего и Таинственного Хозяина бледнела, отходила на второй план, и мы не всегда об этом Хозяине помнили. Скорее, мы относились с опаской — когда с большей, когда с меньшей — к сотрудникам отдела кадров, которым, как это ясно чувствовалось, из недалёка руководили те же Органы. Отдел кадров занимался персональными делами: приёмом на работу, продвижением по службе, взысканиями и пр. Личные дела сотрудников учреждения (папки) вёл отдел кадров.

Рядовому сотруднику фирмы доводилось иметь дело с отделом кадров в ограниченном количестве ситуаций: в процессе поступления на работу, в случае разных неприятностей, чреватых подготовкой приказа о взыскании и в случае увольнения. Другими словами, в отличие от ежедневного общения с Первым отделом, с отделом кадров контакты сотрудников были редки и, большей частью, неприятны.

Даже позже, когда я стал руководителем — сначала небольшой группы, а потом отдела покрупнее — и мне по долгу службы приходилось иметь дела с отделом кадров в процессе приёма в руководимое мной подразделение молодых специалистов или специалистов «с улицы», я и в этих случаях чувствовал себя, скорее, по одну сторону с теми, кого я принимал на работу и с кем вёл профессиональные разговоры по существу, чем с сотрудником нашего собственного отдела кадров, с которым меня, казалось бы, объединяла работа в одном учреждении и который выполнял свои функции в этом же процессе.

Всё вышесказанное я постепенно усваивал в течение последующего времени, а в тот — первый — день всё для меня было внове, и я ждал встречи с начальником Первого отдела с любопытством и с тревогой. Начальник встретил меня приветливо, поместил в отдельную комнатку и дал мне читать довольно толстую книжку, изданную типографским способом. На титульном листе книжки было наверху справа написано «Совершенно секретно» и проставлен номер данного экземпляра. Книжка называлась «Перечень сведений, составляющей государственную тайну». Я не помню, как обозначался издатель. Кажется, это был Первый отдел того министерства, за которым числилось наше КБ, т. е. МСХМ СССР.

По первости я читал эту книгу с большим любопытством. Ведь до этого ни разу в мои руки секретные документы не попадали. В книге было много страниц и разделов, и в её структуре угадывалась какая-то, не очень мне доступная, логика. Мне понадобилось, однако, всего часа полтора, чтобы её прочитать целиком, потому что с какого-то момента я понял, что составлена эта книга не слишком мудрыми авторами, и читать её слишком внимательно не стоит.

Было сказано (гораздо более развёрнуто, чем я делаю это здесь; я и помню далеко не всё, и подробности были бы скучны), что я не должен знакомить посторонних с содержанием моих занятий и с тематикой учреждения, в котором я работаю, и учреждений, с которыми у меня возникают отношения по работе. Естественно. Но при этом я не имел, оказывается, права сообщать посторонним о самом факте моей причастности к секрет-

ной работе и к государственным тайнам. Так что на вполне естественный вопрос какого-нибудь моего старого или нового знакомого о том, чем я занимаюсь, я, с одной стороны, не мог сказать правды, но, с другой, не мог просто сказать, что я не имею права о моей работе рассказывать. Выход напрашивался один. Изучаемая мною книга предписывала мне в ответ на вопрос о роде моих занятий отвечать, не запираясь, но — неправду. При этом авторы книги не навязывали мне какой-либо официальной легенды, а полностью полагались на мою фантазию и на умение выкручиваться из скользких ситуаций. Было совершенно ясно, что ни один работник КБ не станет утруждать себя выдумыванием историй, а даст понять, в нарушение инструкции, что он о своей работе права говорить не имеет.

Далее я узнал, что не имею права называть тех лиц, которые со мной работают, и никаких сведений о них сообщать никому не должен. Я только что повесил на стену ружьё, которое должно будет выстрелить в какой-то момент моего повествования. И оно выстрелит в главе 20. Вдумчивый читатель, возможно, уже сейчас догадался — при каких обстоятельствах и каким образом. Во всяком случае, сидя в комнатке Первого отдела и впервые знакомясь со стилем инструкции по соблюдению секретности, я уже тогда оказался достаточно вдумчивым, чтобы сообразить, что и этот пункт невыполним. Ведь инструкция не запрещала мне дружить домами с моими коллегами. Но если дружить домами можно, то ведь нереально сотруднику КБ, даже если он знает инструкцию назубок, врать домашним, приглашая к себе в дом другого сотрудника этого же КБ (тоже знакомого с инструкцией), что его друг с ним вовсе не работает.

Продолжая рассказ о заветной книжице, лежавшей перед моим взором на столике в маленькой комнатке Первого отдела, я должен констатировать, что, вообще, там странной чуши было навалом. Например, в каком-то разделе я вычитал, что я не имею права разглашать сведений о стихийных бедствиях, об эпидемиях и об иных ужасах. Какими именно способами мне надлежало скрывать землетрясения, наводнения или извержения вулканов, а также поражение населения региона холерой или чумой — книжица меня не учила, рассчитывая на мою находчивость.

Да и вообще, пунктов и подпунктов, которые мне что-то запрещали или предписывали, было так много, что держать их в голове было решительно невозможно. С другой стороны, выносить Перечень из Первого Отдела и даже просто делать из него выписки я не имел права. Так что при том методе изучения Перечня, который нам предлагался, выучить эту Книгу так, как это мечталось её авторам, мы, читатели, не могли при всей нашей готовности это сделать.

...Много позже я видел, что значит изучать, если изучить по-настоящему хотеть. Я видел, как в Иерусалиме религиозные евреи, которые искренне и целеустремлённо хотят изучить Тору, не выпускали из рук священной Книги и принимались её снова и снова читать, сидели ли они в синагоге, в очереди к врачу или к чиновнику, или в автобусе...

Итак, усвоив с налёта, что именно мне запрещено, я через некоторое время объявил, что книгу прочитал и усвоил. Начальник Первого отдела обрадовался, экзаменовывать меня не стал и дал мне подписать специальную бумагу. Моей подписью я удостоверял, что с Перечнем ознакомился и обязуюсь все его пункты выполнять. Что-то вроде союза с Сатаной.

Малость времени, потраченного мною на ознакомление с объёмистым Перечнем, начальника Первого отдела не удивила. Более того, я думаю, что начальник очень бы изумился, вырази я желание взять Перечень

для его более глубокого изучения хотя бы на моём рабочем месте. Такое, наверное, не приходило в голову никому и никогда. Я интуитивно чувствовал неуместность какой-либо инициативы в этом важном процессе.

...Скажу ещё, что в Перечень иногда вносили изменения и добавления, с которыми мы обязаны были под расписку ознакомиться. И ещё. С периодичностью в несколько лет допуск утрачивал свою силу. Месяца за три до такого момента мне выдавали в Первом отделе чистые бланки новой анкеты. Задаваемые мне вопросы с годами изменялись незаметно. Разве что в какой-то момент исчезли пункты об участии в Гражданской войне — по причине умирания или истребления деятелей тех ушедших в историю лет. Я заполнял анкету и отдавал её милой сотруднице Первого отдела, с которой нас связывали годы совместной работы. Ни разу не было, чтобы допуск мне не продлили. Хотя я несколько раз имел основания такого отказа опасаться.

Года через четыре после моего памятного первого дня я дослужился до должности начальника отдела, для которой требовался не обычный допуск к «совершенно секретным» документам и работам, а к документам «совершенно секретным особой важности». На местном сленге такой сверх доверительный допуск называли — «к особой папке». Этим грифом снабжали обычно Постановления ЦК и Совмина, касающиеся разработок новой военной техники, соответствующие приказы нашего и смежного министерств, наша переписка с высшим военным начальством, выступавшим в роли заказчика наших разработок...

Ну, а в тот день дело было, наконец, сделано, и меня направили к моему непосредственному начальнику. Началась моя семнадцатилетняя служба в этом секретном учреждении.

Начальник КБ-2 Сапрыкин, с которым я познакомился в первый момент, был лишь лицом административным. Вроде как директор театра. На самом деле, первым человеком в КБ был «Главный Конструктор» — роль которого была вполне аналогична роли главрежа в театре. Главный Конструктор генерировал идеи (или выбирал разумные среди тех, что предлагали его подчинённые), определял техническую политику, повседневно руководил научно-исследовательской, конструкторской и производственной деятельностью коллектива.

В первые пару лет моего пребывания в фирме Главным Конструктором был Дмитрий Львович Томашевич. Но я его увидел не сразу. В тот, описанный мною выше, первый день меня из Первого отдела направили к одному из его трёх заместителей — Давиду Вениаминовичу Свечарнику, которым я был благожелательно принят.

Из часового разговора с ним и из последующих разговоров с ним и другими сотрудниками, а также из собственных наблюдений за жизнью этого учреждения в первые недели моей службы я понял следующее.

Фирма занималась разработкой новых видов авиационного вооружения («объектов»). В понятие «разработка» входили: теоретические расчёты, лабораторные исследования, конструирование и выпуск рабочих чертежей, сборка опытных образцов силами опытного производства, входившего в состав нашей фирмы, а также организация и проведение испытаний объектов. Некоторые компоненты наших объектов могли быть разработаны и изготовлены лишь другими специализированными учреждениями. Наша фирма разрабатывала технические задания на те компоненты наших объектов, которые разрабатывались другими КБ и НИИ (они назывались «смежники»). К компонентам объектов, разрабатывавшихся

смежниками, относились, в частности, элементы системы управления нашими объектами.

В конце нашей первой встречи Свечарник отвёл меня из своего кабинета в большой конструкторский зал. В одном из углов зала стоял письменный стол начальника того отдела, в который Свечарник меня определил. Его звали Валентин Александрович Ряполов. В том же углу стояло ещё несколько столов сотрудников этого же отдела. Ряполов указал мне свободный стол, ставший моим рабочим местом.

Две—три недели Свечарник занимался со мной самолично, минуя промежуточных начальников, которых оказалось немало, и с которыми я стал контактировать позже. Свечарник засадил меня за книги по аэродинамике и по теории автоматического регулирования. Эти предметы в мой университетский курс не входили. Я был предоставлен в течение первых нескольких дней самому себе и постепенно знакомился с разными аспектами жизни учреждения, в которое я попал.

На работу надо было приходиться по утрам до 9.00 и перевешивать свой «табель» (жетон из белой жести с написанным чёрной краской номером) с гвоздика (помеченного этим же номером) из одного повешенного на стену стенда на аналогичный гвоздик другого такого же стенда. Ночной стенд пустел, а дневной — заполнялся жетонами явившихся на работу сотрудников. В 9.00 во всех рабочих помещениях раздавался продолжительный громкий звонок, извещающий о начале рабочего дня. Сотрудница отдела кадров («табельщица») отмечала сотрудников, которые перевешивали табель позже 9.00. Список отмеченных опоздавших передавался начальству.

В 9.20 табельщица дневной стенд запирала решётчатой дверцей и уходила. Опоздание более чем на 20 минут квалифицировалось тогдашним Законом, как прогул — со многими серьёзными неприятностями, вплоть до суда и тюремного заключения.

Дневной стенд был заперт до 18.00. В этот момент снова раздавался звонок. Теперь он извещал об окончании рабочего дня. Табельщица открывала оба стенда и уходящие с работы сотрудники перевешивали свои табели с дневного стенда на ночной.

В течение рабочего дня сотрудник уйти за пределы учреждения не мог: вахтёры из проходной не выпускали. Впрочем, в обеденный перерыв (а он был в общий для всех часовой интервал) выпускали, но отмечали тех, кто с обеденного перерыва не возвращался — вовремя или вовсе.

Чтобы выйти с территории учреждения во внеурочное время, надо было получить «увольнительную» — специальный маленький бланк, где указывалось время ухода, назначенное время возвращения и причина ухода (в качестве последней обычно указывалось «местная командировка», хотя это не всегда бывало правдой). Увольнительную подписывал начальник отдела, в котором работал сотрудник и она регистрировалась в отделе кадров. Без увольнительной могли выходить за территорию фирмы только руководители достаточно высокого ранга.

На территории нашей фирмы своей столовой не было, и некоторые сотрудники ели в обеденный перерыв бутерброды, принесённые из дому (сделать себе чай или кофе было можно). Другие выходили за территорию и обедали в одной из близлежащих столовых. Побыстрее и подешевле можно было пообедать в огромной «Фабрике-кухне» — конструктивистском сооружении советского стиля двадцатых годов, красовавшемся на Ткацкой. Можно было пообедать в более отдалённой и дорогой, но более вкусной «райкомовской» столовой. Она размещалась в подвальном этаже здания Райкома КПСС на Щербаковской.

В большом конструкторском зале, где стоял мой письменный стол, стояло ещё с полсотни письменных столов и несколько десятков кульманов. Я сидел и штудировал указанные мне книги. Время от времени, устав от чтения, я бродил по зданию. Специально охраняемых коридоров не было. Но двери некоторых помещений, выходящие в коридоры, были заперты, и чтобы попасть туда, надо было — как я видел — либо позвонить в дверной звонок, либо набрать на замке код.

Один раз, когда я фланировал по коридору нашего этажа, одна из таких тщательно запираемых дверей оказалась полуоткрытой, и я увидел длинный — метра в три — серебристый летательный аппарат с короткими крыльями, установленный на металлических козлах. Я решил, что мне удалось увидеть макет или натуральный образец оружия, разрабатываемого нашей фирмой.

Мои первые знакомые сослуживцы появились не на почве совместной работы (в первые дни я сидел один и учил литературу), а на почве совместных посещений столовой и в силу принадлежности к движущемуся в одном направлении потоку людей, заполнявшему незадолго до 9.00 неширокие тротуары Ткацкой улицы. Многих моих коллег я по утрам стал узнавать при поездке на работу ещё в вагоне метро.

Кстати, даже неопытный шпион мог по виду и масштабу утреннего потока понять, что за двустворчатыми широкими дверьми, в которые этот поток втекает, расположена крупная секретная фирма, а затесавшись в поток, понять из невольных и обрывочных разговоров сослуживцев на служебные темы (это строго запрещалось, но запреты систематически нарушались), каков характер деятельности фирмы, поглощавшей утром полторы тысячи работников.

В первые же дни после моего поступления мои новые коллеги рассказали мне, что Томашевич — крупнейший авиаконструктор, принадлежавший к славной плеяде Туполев—Мясищев—Поликарпов отсидевших (или из милости властей не досидевших) свои сроки на шарашке. Что такое «шарашка», я к этому времени знал от Коренева. О том, что в шарашке сидел и Королёв, мы узнали много позже — только после того, как его имя стало известным всему миру. Коренев, которому я (нарушая мои обещания хранить гостайну) в первые же дни назвал имя нашего главного конструктора, жил и работал с Томашевичем на одной шарашке и был о нём очень высокого мнения.

Главной темой Томашевича в нашем КБ была, как и в КБ Берии, управляемая крылатая ракета, выпускаемая против надводного корабля противника. Но ракета Берии выстреливалась и управлялась с надводного же корабля, а наша — из бомбардировщика. Наша носила кодовое название «Щука». Даже много позднее, когда я стал непосредственным участником разработки «Щуки», я не смог из уклончивых (по понятным причинам!) рассказов Юры Коренева составить подробное представление, в чём состояла разница между «Щукой» Томашевича и «Кометой» Сергея Берии, и были ли эти Главные Конструкторы конкурентами. Конкуренции, видимой простым глазом, не было. Может, из-за разницы в типах носителей.

Кроме «Щуки», под руководством Томашевича разрабатывались ещё два изделия, так же принадлежавшие к типу «Воздух—Земля». В отличие от «Щуки», у них не было двигателя. Их разработку Томашевич передоверил своим заместителям и в процессы их создания вмешивался редко. Подробнее об этих разработках я расскажу позже.

Скоро я узнал, что увиденный мною через полузакрытую дверь летательный аппарат — это не разработка нашего КБ, а трофейный экземпляр немецкой V-2. Правительство распорядилось дать его нашей фирме, разумно полагая, что этот образец может стать нелишним подспорьем для её собственных разработок. Возможно, что Томашевич при проектировании «Щуки» кое-что или многое из V-2 взял.

В те времена было очень принято при разработках образцов новой гражданской и военной техники использовать заграничные аналоги, попавшие в советские руки как трофеи или по ленд-лизу. Существовала (разумеется, негласная) презумпция — «Заграничное — значит стоящее». Часто советская разработка была точной или почти точной копией заграничного прообраза. Так, туполевский тяжёлый бомбардировщик Ту-4 был копией американской «Летающей крепости В-29», а Ту-2, исполненный в гражданском и в военном варианте, был копией одного из «Дугласов».

Моих собственных наблюдений оказалось недостаточно для того, чтобы понять, в чём состоит творческий гений Томашевича. Главный Конструктор почему-то (уверен только, что не из антисемитизма) не жаловал своего заместителя Д. В. Свечарника, под верховное начало которого я попал и мало интересовался порученным тому участком работы.

Я успел побывать на нескольких технических совещаниях у Томашевича до его ухода из фирмы и вынес из них лишь поверхностное, по-видимому, впечатление. Это был резкий, властный, чудаковатый старикан с повадками Суворова.

...Возможно, что на такой стиль у выдающихся авиаконструкторов была мода. Что-то подобное говаривали о Туполеве, а я сам — через несколько лет — лично соприкоснулся с повадками Генерального Конструктора ракетной техники академика В. Н. Челомея...

В первые же дни после моего поступления в КБ-2 я приметил одного из его сотрульников. В отличие от V-2, этот человек находился не за запертой дверью, и я часто видел его в разных открытых для меня залах, в коридорах и на лестничных маршах. У этого человека была очень милая моему сердцу внешность: среднего роста, не худ и не тучен, высоколоб, в роговых очках. Черты лица у него были правильные и намекали на его еврейские корни. Как-то я увидел этого моего сослуживца утром в вагоне метро. Мы оба ехали на работу. Он стоял у двери со спокойным задумчивым выражением лица и читал. Я очутился чуть поодаль. В какой-то момент мой сослуживец оторвался от книжки, и наши взгляды встретились. Он первый приветливо кивнул мне, из чего я понял, что и моё лицо ему запомнилось. Я подошёл к нему и мы познакомились. Его звали Александр Борисович Липшиц.

Путь от станции метро «Сталинская» до КБ мы прошли вместе и за эти десять минут успели узнать много подробностей друг о друге. Этому быстрому сближению способствовала заинтересованная манера Александра Борисовича задавать своему собеседнику вопросы. При этом вопросы Александра Борисовича нисколько не были назойливыми, а наоборот, были для собеседника приятными и лестными, ибо позволяли ему выражать себя самым лучшим образом.

Я, воспитанный к этому времени примером Абрама Мироновича, мог вполне квалифицированно такой стиль беседы поддержать. Короче — мы друг другу понравились. Выяснилось, что Александр Борисович старше меня на девять лет. Эта разница наших возрастов, которая в те молодые — и мои, и его — годы ощущалась как солидная, барьера между нами, благодаря доброжелательности Александра Борисовича, не воздвигла.

Одной из черт характера Александра Борисовича была доскональность: он всегда стремился узнать об интересующем его деле подробно и надёжно. Большею частью эта черта была полезной и позволяла Александру Борисовичу верно подходить к возникавшим профессиональным и житейским проблемам. Но иногда его дотошность выглядела немного комичной. В первый раз я столкнулся с этим качеством Александра Борисовича в довольно острой ситуации.

Через день—два после нашего знакомства мы оказались с Александром Борисовичем за одним столиком в райкомовской столовой. Этот день был примечателен тем, что в утреннем номере официоза «Правда» появилась статья, содержащая — совершенно неожиданно для населения страны — разоблачение вражеской деятельности традиционного друга СССР — президента коммунистической Югославии маршала Тито и проклятия в его адрес.

...Именно эта статья дала сигнал к началу антититовской кампании, свёрнутой лишь после смерти Сталина...

Заголовок и текст этой статьи были составлены в шельмующем стиле, выдававшим авторство самого Сталина. Обычно фамилия авторитетного автора статьи проставлялась рядом с её заголовком. Но в данном случае над текстом статьи фамилии автора не было, а под статьёй, в том месте где обычно помещается фамилия ординарного автора, стояло нечто необычное: заглавными буквами было выведено слово «ЦЕКА».

За обедом Александр Борисович неожиданно спросил меня, читал ли я в сегодняшней «Правде» статью «товарища ЦЕКА». При этом, он сделал ударение на первом слоге странного слова. Не помню, кто ещё двое сидели за столиком. Во всяком случае, мне казалось ненужным обсуждать столь деликатную и опасную (была осень 48-го!) тему в присутствии посторонних. Но я не удержался и ответил, что да, читал, но что автор статьи, я полагаю, не человек по фамилии Цека, а что статья написана, скорее всего, от имени Центрального Комитета партии, сокращённое обозначение которого и подписано под статьёй. Александр Борисович возразил, что если б это было так, то под статьёй стояло бы обычное сокращённое наименование этого органа, т. е. две прописные буквы: ЦК. Я не хотел развивать этот скользкий диспут на публике и промолчал. Замолчал и Александр Борисович, явно не удовлетворённый тем, что его недоумение осталось без ответа.

На обратном пути из столовой на работу я разговор о провозглашении разрыва с Тито, прерванный мною за обедом не слишком любезно, возобновил. Я стал обосновывать перед Александром Борисовичем мою гипотезу о смысле странной подписи, добавив мое предположение об авторстве Сталина. Моё тогдашнее обоснование я и сейчас считаю верным.

Я сказал, что стиль письма и, в частности, странная подпись под ним, свидетельствует о том, что текст статьи писал Сталин собственноручно, но что он не хотел представлять перед читателями как единоличный автор, а хотел, чтобы текст вышел от имени Центрального Комитета. Он и подписал статью устаревшей аббревиатурой, которая, видимо, была в дореволюционные и первые послереволюционные годы элементом сленга, принятого в среде партийных функционеров, и которая застряла в деревенеющем мозге вождя....

У нас оставалось до конца обеденного перерыва лишнее время, и мы до возвращения на территорию фирмы ещё погуляли по Ткацкой улице. Александр Борисович обсуждал тему с большим интересом и с моим

толкованием согласился. Но главное, эта беседа и некоторые другие, произошедшие между нами в течение короткого времени, показали, что у нас с Александром Борисовичем вполне сходные политические взгляды, в основе которых — совершенное неприятие советской власти и партийной идеологии.

Мы интуитивно сразу стали друг другу доверять и систематически затрагивать и обсуждать в наших разговорах более ни менее глубоко и совершенно откровенно очень опасные материи, решительно игнорируя возможность того, что один из нас на другого донесёт. Вся последующая жизнь показала, что наше взаимное доверие было обоснованным.

В течение нескольких месяцев мы стали очень дружны. Александр Борисович побывал у нас в Староконюшенном и познакомился с Галей и её родителями и с нашим маленьким сыном Сашенькой. Я несколько раз побывал дома у Александра Борисовича. Он жил на Новослободской улице в одной комнате коммунальной квартиры со своей первой женой Тamarой, маленькой дочкой Леной и своей матерью Фанни Савельевной.

Из-за того, что Александр Борисович был старше меня, я в начале знакомства стал, естественно, обращаться к нему по имени-отчеству. Так же стал называть меня и он. Это было уже не очень для меня естественно, но, всё же, такой стиль своё основание имел: сначала мы с Александром Борисовичем были не слишком на короткую ногу, а вскоре он стал моим начальником.

...Но и после того, как мы сдружились тесно, а наши служебные положения сравнялись и мы перестали быть в отношениях «начальник—подчинённый», наша несколько чопорная манера обращения друг к другу не изменилась вплоть до кончины Александра Борисовича в восьмидесятых годах.

Свечарник сперва поместил меня в одну из лабораторий, занимавшихся разработкой элементов аппаратуры управления. Сходных лабораторий в подчинении Томашевича было несколько. Они отличались друг от друга видами элементов управления и объектами (наряду со сленговым «объект» ещё употребляли и слово «изделие»), для управления которыми они предназначались.

Я оказался в лаборатории, начальником которой был Василий Александрович Демидов. Он был электриком, человеком очень симпатичным и доброжелательным. Его лаборатория непосредственно была связана с разработкой изделия под названием «Краб», за которую в качестве заместителя Томашевича отвечал Свечарник.

Демидов не вникал в задачи, к которым меня приобщал Свечарник, и мои контакты со Свечарником проходили через его голову, что Василия Александровича совершенно не задевало. Лаборатория Демидова входила в состав отдела, начальником которого был уже упомянутый выше Ряполов. Этот отдел занимался системами управления для разных объектов, в том числе и таких, к которым Свечарник непосредственного начальственного отношения не имел, но тем не менее считалось, что отдел Ряполова находится под эгидой Свечарника. Наверное, потому что Свечарник был единственным управленцем среди заместителей Томашевича.

Кстати сказать, вскоре после моего знакомства с Д. В. Свечарником выяснилось, что и он тоже когда-то до войны учился у Абрама Миновича в Энергетическом институте. Но его близким знакомым не стал.

В первое время моя карьера была просто неслыханной. Через три месяца после поступления на работу меня сделали старшим инженером.

Но в эти три месяца, кроме моего вхождения в проблемы моей новой работы, уложился ещё и довольно любопытный месяц. Я попытался поступить в аспирантуру, хотя и не в Университетскую, куда я, как было сказано выше, направления кафедры не получил. Вот история моего недолгого и неудавшегося плавания «налево», после которого я вернулся, сбросив пары, в «порт приписки».

Летом 48-го года было принято постановление ЦК и Совмина об образовании нового академического института под названием «Институт точной механики и вычислительной техники (ИТМ и ВТ)». Это постановление отражало, в первую очередь, новые потребности военной науки и промышленности, в которых своё естественное и значительное место занимали вычислительные методы в разных сферах математики (в первую очередь, в решении дифференциальных уравнений и в операциях линейной алгебры) и технические устройства для реализаций вычислений.

Возникшие в первые же послевоенные годы разработки новых систем вооружения предъявили новые требования к объёмам вычислений и к скорости их выполнения. Ручные вычисления, использующие русские счёты и механические арифмометры, сделались совершенно бесполезными.

В нашей стране в практику стали входить полуавтоматические электромеханические счётные машинки из ГДР — «Рейнметалл» и «Мерседес», на порядок более производительные, чем тогдашние ручные арифмометры. Впрочем, я помню, как на столах некоторых техников нашего отдела «Рейнметаллы» «Мерседесы» соседствовали со старыми русскими счётами: для каких-то операций эти реликтовые приборы были удобнее рычащих немцев с зубастыми клавишами.

В научной печати появились сообщения об электрических моделях, построенных на сетях, состоящих из сопротивлений, ёмкостей и катушек самоиндукции. Эти модели получили имя «аналоговые машины» — в отличие от уже возникших на западе первых образцов дискретных электронных цифровых машин. С помощью аналоговых машин можно было решать задачи линейной алгебры, системы обыкновенных линейных дифференциальных уравнений и некоторые типы уравнений с частными производными.

Лидерами работ этого направления стали электротехник профессор МЭИ Л. И. Гутенмахер и математик профессор Л. А. Люстерник. Их результаты публиковались в ведущих научных журналах. Конечно, советской науке и технике надо было поспешать и за развитием цифровых электронных вычислительных машин. В общем, Постановление о рождении ИТМ было естественным и своевременным.

Директором ИТМ был назначен академик Николай Григорьевич Бруевич. Он занимался тем, что тогда называлось «точными механизмами» — механическими приборами, представляющими собой кинематические модели некоторых математических равенств. Примером таких приборов являются оптические прицелы для точного бомбометания, которыми оборудовались тогдашние бомбардировщики. Не случайно поэтому генерал Бруевич был начальником Кафедры бомбометания Военно-Воздушной Инженерной Академии им. Жуковского и сохранил за собой этот пост и после нового назначения.

Для меня важным было то, что заместителем Бруевича был назначен Люстерник. В том, что для этого поста Люстерник был весьма подходящим, сомнений не было: ведь он, будучи очень крупным математиком широкого диапазона, стал пионером и в области вычислительной мате-

матики и использования электрических схем для решения некоторых математических задач.

В тот год антисемитская кампания уже стартовала, набирала силу, и уже коснулась всех слоёв общества. Большинство евреев начало сомневаться в прочности своего служебного положения или социального статуса. На этом фоне назначение на новую ответственную должность еврея, хоть и подходящего в профессиональном плане, было фактом приятным, но непонятым. С занимаемых высоких административных постов евреев старались освобождать, и уж совсем в диковинку стало новое назначение еврея на должность такого рода.

О создании ИТМ я узнал, когда уже работал в КБ: в газете появилось объявление о приёме в аспирантуру в доселе неизвестный никому академический институт. Среди специальностей была «Вычислительная математика», а срок подачи заявлений и приёмные экзамены были в осенние месяцы. Я поехал на мехмат, поймал там Люстерника и спросил, есть ли у меня шанс. Он сказал, что да.

Я знал, что наряду с драконовскими законами, касающимися молодых специалистов, есть один, неожиданно «гуманный». Оказывается, если молодой специалист, даже не отработавший свои два года, успешно сдаёт экзамен и зачисляется в какую-либо аспирантуру, то учреждение, за которым он закреплён, обязано его отпустить. Более того, если от этого счастливого документа для поступления в аспирантуру принимают и допускают к экзаменам (выдав, разумеется, об этом справку на бланке), то учреждение-крепостник обязано предоставить своему сотруднику оплачиваемый тридцатидневный отпуск для сдачи экзаменов.

Я подал бумаги в канцелярию ИТМ, был руководством ИТМ к экзаменам допущен и, не проработав в своём КБ и двух месяцев, получил месячный отпуск для сдачи экзаменов. Томашевич, которому один из его заместителей понёс на визу моё заявление о необычном в практике КБ отпуске, был краток: «Раз полагается по закону — пусть сдаёт».

Я сдал три экзамена: марксистско-ленинскую философию, иностранный (я выбрал французский) язык и математику. Формально в последний экзамен входил весь пятилетний университетский курс примерно в таком объёме, как и в программу выпускных Госэкзаменов на мехмате. Марксизм я сдал на четвёрку, а два других — на пятёрки.

Экзамен по математике проходил всё в том же математическом институте им. Стеклова, в котором я незадолго до того сдавал экзамен Люстернику по спецкурсу. Дело в том, что новый институт Бруевича ещё не имел своего помещения, и разные его функции выполнялись в тех академических институтах, в которых работали его руководители. Например, канцелярские дела вершились в Институте Машиноведения, с которым был связан Бруевич в качестве академика-секретаря отделения машиноведения АН СССР. Туда я подавал бумаги, там получал заветную справку, милостиво принятую Томашевичем.

Когда я сдавал экзамен по математике (а принимали его у меня Люстерник и сотрудник стекловки В. Диткин), то обнаружил, что я — в единственном числе. Я пытался узнать, каков же конкурс на ту специальность, на которую я шёл, но ни от Люстерника, ни от Учёного секретаря ИТМ, ни от заведующей канцелярией — пожилой интеллигентной приветливой дамы, я вразумительного ответа не получал. Сдав экзамены — на это и ушёл, примерно, месяц, я вернулся на работу в КБ и стал ждать ответа из ИТМ. Ответ — за подписью Учёного секретаря

Шахназарова — пришёл довольно скоро. Мне в очень вежливой форме сообщали, что я не принят «ввиду отсутствия мест».

Ну, а в КБ мне никто не напоминал о моём месячном отсутствии. Никто не интересовался моими отметками и окончательным итогом моей попытки. Одни воздерживались от вопросов из деликатности, узнавая правду от моих близких сослуживцев, бывших в курсе дела и сочувствовавших мне. Другим это было безразлично. Так что этот столь важный и нелёгкий для меня месяц скоро в моей служебной среде «зарос». Как не было. После полученного отказа из ИТМ фирма, которая меня не оттолкнула, стала мне вроде как родная.

...Одиннадцатью годами после этого месяца случай познакомил меня с подноготной того странного и неудачного эпизода моей биографии. Случай этот от моей профессиональной деятельности был далёк. Возникли трудности с кормлением материнским молоком моей маленькой дочки Катеньки, родившейся в марте 59-го года. Детская консультация рекомендовала моей жене Маше обратиться к жившей неподалёку молодой женщине, у которой молока был избыток, и она могла некоторое его количество сцеживать для Катеньки.

Наступило лето — сезон дач. Мы сняли дачу на 42-м км по Казанской железной дороге. Проблема с дополнительным молоком встала вновь. Но в какой-то момент выяснилось, что на нашей же улице, есть дачница, молодая мать, у которой есть столь нужное нам лишнее женское молоко. Женщину звали Лиля Бирюкова. Она была огненно-рыжей, и мы шутливо опасались, не станут ли такого же цвета волосы у Кати. Хотя это было красиво и, возможно, направило бы Катину жизнь в более подходящее с нашей точки зрения русло.

Иногда по выходным, посадив Катеньку в коляску, за молочком ходил я. Естественно, я сталкивался в доме Лили и с её домашними. Чаще всего это была Лилина стелкрыв Вера Николаевна. На второй или третьей встрече эта дама сказала мне: «Вы меня не помните? Я была завканцелярией ИТМ, и Вы обращались ко мне, когда поступали к нам в аспирантуру». Я, разумеется, мгновенно вспомнил эту пожилую интеллигентную приветливую даму, и испытал немалый стыд за то, что не узнал её при первой же встрече. Более того, сама Лилина фамилия — Бирюкова — должна была подать мне сигнал ещё до встречи с Верой Николаевной!

Вера Николаевна была уже на пенсии. Она рассказала мне, что я был единственным кандидатом на специальность «вычислительная математика», что ни Бруевич, и никто другой из тогдашнего, только складывающегося руководства институтом, антисемитами не были и собирались меня принять. Но Президиум АН на приём еврея наложил вето...

Возвращаясь к моей карьере. Итак, после провала моей попытки поступить в аспирантуру ИТМ я приобрёл в КБ-2 как блудный сын в отчий дом. Я понял, что тематика фирмы и рождаемые ею задачи из области математики, теоретической механики, теории автоматического регулирования и т. п. станут основным приложением полученного мной образования. Прежде, чем в описание этой деятельности углубляться я приведу в систему те обрывочные сведения о тематике фирмы, которые попадались в моём тексте ранее.

Общую тему фирмы можно было обозначить, как разработка (математические и лабораторные исследования, конструирование, изготовление опытных натуральных образцов и проведение с этими образцами лётных испытаний) управляемых снарядов класса «Воздух—земля». Аппаратура

управления этими снарядами (часть элементов которой устанавливалась в наших снарядах, а часть — на самолётах-носителях) нашей фирмой непосредственно не разрабатывалась. Но в нашей фирме составлялись технические задания на аппаратуру управления фирмам, специализировавшимся на авиопилотах, прицелах и т. п. Мы выдавали также технические задания авиаконструкторским фирмам на механизмы подвески наших снарядов к самолётам-носителям.

Всеми разработками нашей фирмы ведал в качестве Главного Конструктора Томашевич. В момент моего поступления на работу фирма разрабатывала три управляемых летательных аппарата класса «Воздух—земля»:

1) Выпускаемый с самолёта-носителя крылатый снаряд с ракетным двигателем. После отделения снаряда от самолёта-носителя его полётом и наведением на цель управлял с помощью специального прицела и специальной радиоаппаратуры штурман самолёта-носителя. Снаряд предназначался для поражения крупных морских судов и береговых сооружений в условиях видимости человеческим глазом. У снаряда было кодовое название «Щука».

2) Крылатая планирующая (т. е. без двигателя) бомба, самонаводящаяся — после отделения от самолёта-носителя — по наземным целям, испускающим инфракрасные, т. е. тепловые лучи: металлургические цеха, пароходы, важные объекты, на которых возник пожар вследствие сбрасывания обычных зажигательных бомб и пр. Кодовое название — «Краб».

3) Крылатая планирующая бомба, дистанционно управляемая по радио штурманом самолёта-носителя и предназначенная для поражения любых крупных наземных целей также в условиях видимости. Прототипом этой бомбы была бомба «Фриц-X», разработанная и применённая немцами в конце войны. Кодового названия нашей разработки я не помню и буду в дальнейшем использовать название её немецкого прототипа.

Главный технический интерес Томашевича был связан со «Щукой». Возможно, в этом проявлялась его профессия авиаконструктора: крылатые ракеты этого класса были, в сущности, самолётами. Другие два изделия были у Томашевича в пасынках. Он занимался ими мало и явно без энтузиазма, а по одной лишь необходимости: эти виды вооружения были родственными скорее авиабомбам, а не самолётам, и были Главному чужими.

Я продолжал успешно вписываться в тематику: активно участвовал в проектировании «Щуки» и «Краба»; ещё иногда меня привлекали к работам, связанным с «Фриц-X». В ноябре, вскоре после того, как я в роли блудного сына вернулся в в отчее КБ, меня по представлению Свечарника произвели (о чём я уже упомянул выше) в старшие инженеры.

Вслед за этим Свечарник вывел меня из лаборатории Демидова, в которой я со своей математикой был белой вороной, и поместил меня в группу, которой руководил Александр Борисович Липшиц, с которым всё это время я продолжал сближаться в личном плане. Нас обоих такое моё служебное перемещение обрадовало.

«Группой» называлось подразделение, стоявшее в структурной иерархии ниже лаборатории. Были группы в лабораториях, были группы непосредственно в отделах. Группа Липшица напрямую входила в уже упомянутый отдел Ряполова. Будучи электриком и прибористом, Ряполов в дела группы Липшица, как раньше Демидов — в мои, не вмешивался.

Группа Липшица, в отличие от лаборатории Демидова, была самым подходящим для меня местом работы в КБ. Она занималась как раз теми проблемами, в которых я склонен был специализироваться. Проблемы

эти имели математическую природу: исследование поведения управляемых летательных аппаратов в полёте; анализ систем автоматического управления; применение методов математической статистики при анализе результатов лётных испытаний и в оценках эффективности разрабатываемых нашей фирмой объектов. Наши исследования распространялись на все разработки фирмы, но в первую очередь мы занимались Щукой и Крабом.

Непосредственным научным начальством над группой Липшица был Свечарник. Он был хороший начальник, ему была присуща презумпция доброжелательности и уважения к своим сотрудникам, он обладал хорошим чувством юмора, он мог не только ставить задачи, но и был способен и склонен вникать в методы их решения и оценивать качество нашей работы по существу. Свечарник неплохо владел теорией автоматического управления и дал мне стартовые знания в этой области. Он разбирался и в относящихся к нашей работе разделах математики, теоретической механики и аэромеханики.

Наши дружеские отношения с Александром Борисовичем, возникшие на личной почве, получили новое развитие на почве профессиональной. Александр Борисович был мягким и интеллигентным человеком во всём. Ему абсолютно чужда была всяческая начальственная рисовка. Александр Борисович сразу оценил мою неплохую математическую подготовку, которая иногда позволяла мне решать или придумывать пути решения разных задач быстрее, чем это делал он сам.

Александр Борисович, как и я, окончил мехмат. Это было ещё в тридцать шестом или тридцать седьмом году. Я не помню сейчас все детали его служебной биографии в период, предшествовавший нашему знакомству. Помню только, что в прикладных областях он стал работать вскоре после окончания университета. Поэтому некоторые разделы математики успели в памяти Александра Борисовича потускнеть, чем и объяснялась моя большая в некоторых случаях шустрость.

Несмотря на описанную выше расстановку сил, Александр Борисович вследствие его простодушного и незаносчивого характера и душевного благородства вовсе не усматривал во мне соперника. У него не возникло неприязни ко мне, а наоборот, он охотно прибегал к моей помощи и советам и сам стал инициатором такого положения, что фактически мы с ним руководили группой совместно. Разногласий между нами в профессиональной — да и ни в какой другой — сфере не бывало. В какой-то момент Александр Борисович стал инициатором создания параллельной группы под моим руководством. Ряполов и Свечарник это предложение поддержали, и летом 49-го года я получил повышение по службе.

По началу это структурное новшество преследовало только одну цель — отметить мои личные успехи и повысить мой статус и мою зарплату. Фактически мы с Александром Борисовичем стояли во главе обеих групп, насчитывавших в совокупности человек двадцать.

Придя на работу в КБ-2, я постепенно осмыслил организацию теоретических, расчётных и лабораторных исследований, результаты которых клались в основу проектирования и конструирования наших летательных аппаратов.

В КБ был большой отдел аэродинамики (через полуоткрытые двери именно этого отдела я впервые увидел V-2). Его начальником был Н. В. Щукин. Так что он был почти тезкой одного из разрабатываемых фирмой объектов. Отдел занимался организацией продувок в аэродинамических трубах ЦАГИ моделей всех объектов.

Без результатов этих продувок никакие исследования движения летательных аппаратов невозможны. В ЦАГИ было несколько труб с разными возможностями. Испытания в каждой трубе предъявляли свои требования к размерам и другим параметрам моделей. Отдел Щукина составлял задания конструкторским отделам нашей фирмы на конструирование, а опытному производству — на изготовление этих моделей.

Этот же отдел был связан с ЦАГИ — договаривался о программах аэродинамических продувок, их сроках и пр. Отдел получал документы с результатами продувок, размножал их и передавал тем отделам фирмы, которым они были необходимы. Эти документы имели форму альбомов, на листах которых в виде графиков представлялись значения аэродинамических характеристик модели (а следовательно, и её реального прототипа). Например, зависимость подъёмной силы и сопротивления воздушной среды от условий полёта: его скорости, угла атаки (так называется угол между плоскостью крыльев и вектором скорости полёта аппарата, определяющим вектор встречного воздушного потока), влияние положения органов управления летательного аппарата — элеронов на его крыльях и рулей на его хвостовом оперении — на повороты корпуса летательного аппарата и т. п.

Полиграфическая техника изготовления таких альбомов повторяла нехитрую технику размножения чертежей, использовавшуюся в конструкторских работах. Оригиналы графиков вычерчивались тушью на кальке, а потом копировались на листы синьки, которые и переплетались в упомянутые альбомы.

Несколько подразделений фирмы (в том числе и наши с Липшицем группы) занимались исследованием траекторий полёта наших летательных аппаратов — от момента отделения от самолёта-носителя до встречи с земной (морской) поверхностью (или с целью). Собственно говоря, важна только последняя точка траектории. Её расстояние от цели и характеризует важнейшую характеристику качества боевого средства — точность попадания. Лучше всего, если расстояние равно нулю! Но чтобы определить местоположение этой главной точки, надо определить всю траекторию.

Для определения траекторий надо решать так называемые системы дифференциальных уравнений. Если при составлении этих уравнений учитывать реальные свойства воздушной среды, аэродинамические силы, действующие на летательный аппарат в полёте (а они действуют даже на такие простые летательные аппараты, как артиллерийский снаряд или обычная авиабомба), тягу двигателя (если он установлен) и принципы функционирования систем управления аппаратом (если он — управляемый), то возникает система уравнений, которая не допускает точных решений в виде обозримых формул, позволяющих увидеть влияние на траекторию различных факторов, находящихся в распоряжении конструктора аппарата или военного персонала, использующего аппарат, и подойти к выбору этих факторов обоснованно, с открытыми глазами. Такие системы дифференциальных уравнений можно решать лишь приближённо.

Первый путь для получения приближённого решения состоит в упрощении самих дифференциальных уравнений за счёт пренебрежения теми или иными факторами. Например, если пренебречь тем, что обычный артиллерийский снаряд или авиабомба является трёхмерным телом, которое испытывает при полёте в воздушной среде действия аэродинамических сил, зависящих от ориентации этого тела в пространстве, и заменить тело материальной точкой, на которую аэродинамические силы не действуют, а действует лишь сила тяжести, то дифференциальные уравнения

движения упрощаются, и их решение выражается известной кривой — параболой.

Второй путь для получения приближённого решения — использование так называемых «численных методов». Этот путь применим во всех случаях. К некоторым подробностям я подойду позже.

Каждый из аппаратов, которыми мы занимались, представлял собой, как и обычный самолёт, сигарообразный корпус с крыльями и хвостовым оперением. Ориентация корпуса определяется тремя углами — углом между его продольной осью, проходящей через его центр тяжести, и плоскостью земной поверхности (наши аппараты летали на сравнительно небольшие дистанции, и землю в наших расчётах можно было считать плоской), углом поворота корпуса вокруг продольной оси (угол крена) и углом поворота корпуса вокруг его вертикальной оси. Аэродинамические силы, действующие на центр тяжести аппарата, и направление силы тяги двигателя (если таковой на аппарате установлен) зависят в значительной степени от этих углов.

Система дифференциальных уравнений движения каждого из разрабатывавшихся у нас в КБ-2 аппаратов может быть разбита на две подсистемы.

Первая подсистема описывает движение центра масс летательного аппарата под действием приложенных к нему сил. Их по крайней мере две: 1) сила тяжести и 2) аэродинамическая сила. Если аппарат снабжён двигателем, то на центр масс действует ещё 3) сила тяги двигателя.

Значения этих сил зависят от многих факторов. Часть факторов — параметры движения самого центра масс (например, высота, на которой находится летательный аппарат и скорость его движения относительно воздушной среды). Значения другой части факторов зависят не только от параметров движения центра масс летательного аппарата, но и от того, как ориентирован в пространстве его корпус.

Вторая подсистема связывает дифференциальными уравнениями углы, задающие ориентацию летательного аппарата в пространстве, с положением его управляющих органов — рулей и элеронов. А эти углы, в частности, определяют значение аэродинамических сил, действующих на центр масс аппарата: например, как уже упоминалось чуть выше, от значения угла атаки, т. е. угла между плоскостью крыльев и вектором скорости движения центра масс, зависят подъёмная аэродинамическая сила и сила сопротивления воздушной среде.

В эту же подсистему входят дифференциальные уравнения, связывающие положение управляющих органов с воздействующими на них сигналами от систем управления полётом. Эти системы могут быть либо полностью автоматическими, либо получать в течение всего полёта радиокomанды от штурмана, находящегося на самолёте-носителе и следящего за полётом выпущенного по цели летательного аппарата.

К сказанному можно добавить, что текущие значения углов ориентации летательного аппарата (они нужны системам управления для формирования управляющих сигналов, цель которых — свести к минимуму разность между фактическими и требуемыми значениями этих углов) измеряются блоком гироскопов — вращающихся массивных волчков, обладающих свойством сохранять неподвижной систему координатных осей, от которых эти углы отсчитываются.

Определяемые второй подсистемой процессы, ведущие от формирования управляющих сигналов к изменению положения управляющих

органов летательного аппарата, затем от них — к изменению его углов ориентации, далее (если эти углы не достигли нужных значений) снова к формированию управляющих сигналов, очень капризны. Например, при неудачном выборе принципов действия и параметров системы управления оси корпуса будут приходить в нужное положение за слишком большое время, или к тому же будут долго или всегда вокруг этого нужного положения колебаться, или даже амплитуда этих колебаний будет расти, что приведёт к совершенно нежелательным последствиям. Употреблённый выше оборот «нужные значения» подразумевает те значения, при которых возникают аэродинамические силы, способствующие сближению центра масс аппарата с целью.

Описанные только что две подсистемы можно было, идя на допустимые неточности, друг от друга отделить и решать врозь. При решении каждой подсистемы отрезанная от неё другая заменялась простыми соотношениями. Этот метод не имел строгого математического обоснования и базировался на интуитивных предположениях исследователей. Верность этой интуиции подтверждалась несколькими сравнениями решений исходной системы с решениями приближённых изолированных подсистем и результатами экспериментов с нашими летательными аппаратами, о которых — позже. Если не входить в ненужные здесь подробности, то изоляция двух подсистем друг от друга достигалась так.

В первую подсистему в местах её «отреза» от второй вставляли простые соотношения между значениями действующей на центр масс аппарата аэродинамической силы и управляющими сигналами, а также между этими сигналами и отклонением траектории центра масс от той, которая приводила аппарат к цели. Эти простые соотношения были верны в предположении, что система управления действует идеально: без задержек, без колебательных процессов и прочих нежелательных явлений (т. е. что её разработчики, пользуясь второй подсистемой, своего добились).

Вторая подсистема ценой ряда упрощений превращалась в классическую систему линейных дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами. Для решения и исследования таких систем существуют хорошо разработанные в математике аналитические методы. Одно из упрощений состояло в замене переменной скорости движения аппарата постоянным значением; систему исследовали для нескольких значений скорости из того диапазона, который выявлялся в результате решения первой системы. Второе упрощение отталкивалось от предположения, что отклонения углов ориентации аппарата относительно значений, задаваемых системами управления, малы. Если «линеаризованная» система приводила к действительно малым отклонениям, то можно было верить, что её решения были близки к решениям исходной системы. Если же они были велики, то меняли параметры системы управления так, чтобы придти к малым отклонениям: малые отклонения были хороши и для самого полёта, и порождали доверие к использованию приближённой линейной системы дифференциальных уравнений вместо исходной — нелинейной и сложной.

Я затратил много места на изложение специального методического приёма (разбиение системы дифференциальных уравнений движения беспилотных управляемых летательных аппаратов на две подсистемы и последующее упрощение каждой из них) по той причине, что это разбиение группы математических строк на бумаге на две подгруппы получило отражение и в структуре коллектива, занятого расчётно-теоретическими

работами, необходимыми для проектирования объектов, входящих в тематику фирмы.

Первой подсистемой уравнений для описания движения центра тяжести занимался отдел, начальником которого был И. Е. Борисенко. Да и упрощать её можно было по разному. Системы дифференциальных уравнений движения центра тяжести летательного аппарата составлялись квалифицированными сотрудниками отдела, имеющими высшее авиаконструкторское или математическое образование (сам Борисенко был выпускником мехмата). Они решали, какие упрощения вводить. С одной стороны, упрощения не должны были приводить к слишком сильным различиям между решением упрощённых систем и решением исходной теоретически точной системы. А с другой — чувствительно сокращать вычислительные работы по определению траекторий. В составлении уравнений проявлялось творческое лицо исследователя. Хотя в отделе решались системы уравнений, получавшиеся из исходной введением разных упрощёний, тем не менее, к их решению не удавалось применять аналитические методы. Для их решения сотрудникам отдела Борисенко приходилось применять уже упоминавшиеся численные методы. Таких методов есть много, и сотрудники отдела выбирали из них подходящие. Значения входивших в уравнения аэродинамических параметров брались из альбомов аэродинамических функций, выпускаемых отделом Щукина.

Все классические численные методы для приближённого решения систем дифференциальных уравнений движения центра тяжести летательного аппарата (Эйлера, Адамса, Рунге и пр.) предусматривают дробление интервала времени полёта на некоторое количество шагов и последовательное продвижение вычислений от шага к шагу, начиная с начального (нулевого) момента полёта до последнего.

На каждом временном шаге надо было выполнить некоторую последовательность простых арифметических и логических операций, в результате чего возникали параметры траектории полёта на данном шаге. После этого следовало перейти к выполнению этой же последовательности операций на следующем шаге. Численные методы спасали положение в тех случаях, когда аналитические были бессильны, но за это надо было платить.

Первая плата состояла в том, что точность приближённого решения можно было увеличивать лишь путём уменьшения шага (а следовательно, увеличением числа шагов, которое влекло за собой увеличение количества действий, а значит, и труда, и времени на расчёт траектории).

Вторая плата. Для оценки качества проекта важной была лишь величина отклонения снаряда от цели в конце его пути. Аналитическое решение, если бы оно существовало, позволяло сразу получить это значение. Численные же методы обязывают — для продолжения вычислительного процесса — получать значения параметров траектории на всех промежуточных шагах, даже если они разработчиков летательного аппарата и не интересуют.

Третья плата. Разработчикам летательного аппарата было недостаточно получить одну траекторию его полёта. Им важно было исследовать влияние на точность попадания в цель (а может, влияние и на другие элементы полёта) большого количества вариантов конструкции летательного аппарата (например, от его веса, размеров крыльев и рулей, параметров аппаратуры управления и пр) и разных условий его применения (напри-

мер, от высоты и скорости полёта самолёта-носителя в момент отделения снаряда, от атмосферных условий и пр). Но для опробования каждого нового конструкторского варианта или варианта применения надо было провести новый расчёт траектории полёта. А на такой расчёт — от момента отделения от самолёта-носителя до момента достижения им минимального расстояния до цели (оно не всегда было равно нулю; но и значение промаха надо было в расчёте получить) — затрачивался примерно рабочий день. Это обстоятельство даёт представление о трудоёмкости вычислительных работ по расчёту траекторий в процессе создания каждого изделия фирмы.

Схему численного решения каждой системы, т. е. ту последовательность операций, которую надо было выполнять на каждом её шаге, разрабатывал специалист, который знал все детали используемого численного метода.

Схема записывалась по определённым формальным правилам в верхней строке большого листа миллиметровки. Такие схемы можно считать предтечами программ для ЭВМ, а их составителей — предтечами программистов, превращающих численный метод решения математической задачи, написанный на человеческом математическом языке, в программу для ЭВМ.

Операции, предписанные схемой, выполнялись техниками-расчётчиками со средним образованием, которые обычно не знали ни что такое дифференциальные уравнения, ни математических основ численного метода их решения, ни того, что именно они вычисляют.

В строку листа миллиметровки, следующую непосредственно за верхней строкой с заданием, заносились значения траектории на нулевом шаге, в следующую — на первом и т. д. Наряду со значениями вычисляемых элементов траектории, в строку записывались и промежуточные результаты, которые могли понадобиться для следующих операций. Таким образом, лист миллиметровки был предтечей оперативной памяти ЭВМ.

Для выполнения вычислений расчётчик пользовался стоявшими на его столе электромеханическими или ручными арифмометрами, а иногда и просто конторскими счётами. Расчётчика с его инструментами можно считать предтечей процессора ЭВМ. При выполнении операций расчётчику то и дело приходилось брать значения из таблиц и графиков. Например, из таблиц надо было брать значение плотности атмосферы в зависимости от высоты полёта летательного аппарата, а из графиков, собранных в альбомах ЦАГИ (точнее — в их копиях) — значения, нужные для определения аэродинамических параметров летательного аппарата, на каждом шаге его траектории: подъёмной силы крыльев, сопротивления воздуха в полёте и т. п. величин. Эти таблицы и графики были предтечами стандартных процедур в программах для ЭВМ.

Как следствие описанной технологии вычислений, на рабочем столе расчётчика, кроме вычислительных инструментов и главной таблицы-простыни на миллиметровке, которую он в ходе своей работы заполнял шаг за шагом сверху вниз, лежали метеорологические таблицы и альбомы ЦАГИ. Именно эти альбомы были находкой для шпиона: в них сублимировались технические данные о секретном летательном аппарате. Эти альбомы хранились в Первом отделе и имели гриф «Совершенно секретно».

Обычно расчётчикам надоело брать каждое утро альбомы с секретными графиками из Первого отдела, а в конце рабочего дня сдавать их обратно. Такие нетерпеливые расчётчики создавали копии этих материа-

лов без всяких грифов и хранили их в своих рабочих столах. Конечно, в эти копии не переносились «откровенные» символы типа Су или Сх, ибо аэродинамики всего мира и всех времён знают, что так и только так обозначаются коэффициенты подъёмной силы крыла и сопротивления воздуха. Вместо этих болтливых символов хитрые расчётчики наводили какой-нибудь нехитрый камуфляж.

Численные расчёты, проводившиеся в отделе Борисенко, фактически были экспериментами с математическими моделями летательных аппаратов, выявляющими на трудоёмком пути последствия проектных решений разработчиков и изменений в условиях применения прототипов этих моделей.

Второй подсистемой, сведённой уже описанными приёмами к системе линейных дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами, занимались наши с Липшицем группы. В основе нашей работы лежала теория автоматического регулирования, использующая точные классические математические методы. В конечном счёте и нашим сотрудникам надо было садиться за арифмометры и выполнять некоторые вычисления. Результаты нашей работы использовались, как я уже говорил: они вносились в виде простых выражений в те системы дифференциальных уравнений, которые с помощью численных методов решались в отделе Борисенко.

Наряду с этими работами мы с Александром Боривовичем пытались вторгнуться и в задачи, решаемые в отделе Борисенко численными методами. Мы вносили в уравнения движения центра тяжести летательного аппарата дополнительные упрощения, доводившие их до вида, имевшего аналитическое решение. Но эта работа была в некотором смысле захватом чужой территории и была в нашей тематике второстепенной. Она вышла на первый план и дала полезные результаты много позже, и об этом я напишу тоже позже.

Возможно, нашим группам логичнее было бы входить в отдел Борисенко, но мы входили в отдел Ряполова, занимавшийся, в основном, сугубо конструкторской тематикой. Этот отдел выдавал технические задания на разработку аппаратуры управления специализированным фирмам, принимал и проводил лабораторные испытания аппаратуры, размещал аппаратуру в корпусах летательных аппаратов, разрабатываемых в нашей фирме.

Такая административная разобщённость наших групп и сотрудников Борисенко затрудняла возможность сопоставления результатов наших аналитических методов исследования упрощённых математических моделей траекторий летательных аппаратов с результатами численных экспериментов с их более полными моделями.

В отделе Борисенко проводились почему-то и расчёты на прочность конструкций летающих изделий. Его же отдел занимался организацией испытаний на прочность, проводившихся в ЦАГИ. А их логичнее было бы сблизить с аэродинамическими исследованиями в отделе Щукина.

Все эти проблемы разумной организации исследований и расчётов я осознал позже, а тогда — работал над теми конкретными научно-техническими задачами, которые мне предлагали.

Теперь я расскажу о том как проходила работа Гали в КБ-1. Очень скоро Галя узнала, что первостепенным, а может, и единственным объектом разработки КБ-1 была управляемая крылатая ракета с кодовым названием «Комета», предназначенная для выпуска с надводного корабля против надводной морской цели противника.

Её работа состояла в том, чтобы готовить задания на Счётную фабрику, которая находилась на Кирпичной улице — недалеко от места моей работы. Суть дела состояла вот в чём. Юриному отделу, как и отделу Борисенко в нашей фирме, надо было решать в большом количестве системы дифференциальных уравнений движения разрабатывавшегося в КБ-1 летательного аппарата. Исходная теоретически точная система уравнений полёта Кометы не отличалась от системы для нашей Щуки. Но методы упрощения этой системы, применявшиеся у нас и в КБ-1 между собой, возможно, отличались. Но уверен, что несущественно.

В какой-то момент количество расчётов стало стремительно расти. У нас с этим объёмом расчётов справлялся многочисленный отдел Борисенко, а Юра Коренев решил идти не по пути увеличения штата расчётчиков, количества рабочих помещений для них, счётных машинок и пр., а по другому пути. У Юры появилась идея об использовании огромных трудовых ресурсов Московской Счётной фабрики. Уж не знаю, где он прослышал о её существовании и как ему удалось уговорить своё начальство на вынос части работ и рабочих материалов за крепостные стены секретного КБ.

Счётная фабрика возникла за много лет до того, как её начал использовать Юра Коренев. Её назначение состояло в выполнении счетоводческих и бухгалтерских работ по заказам московских учреждений. Чаще всего она делала расчёты для начисления зарплаты и составления балансов и годовых бухгалтерских отчётов.

Эти расчёты, как и расчёты траекторий, сводились к последовательности простых операций. Так что Счётной фабрике было всё одно — что рассчитывать зарплату, что траектории ракет, что процессы взрыва атомных и водородных бомб. Разве что к привычным операциям добавлялся съём численных значений с графиков.

Задания на расчёты передавались на Счётную фабрику примерно в таком же виде, в котором задания составлялись для расчётчиков в отделе Борисенко. Но его расчётчики имели допуск к секретной работе. А расчётчики Счётной фабрики допусков не имели. Поэтому предпринимались дополнительные меры засекречивания сути расчёта. Помимо замены общеизвестных стандартных наименований аэродинамических величин на нейтральные буквы, вводились всякие масштабные коэффициенты, маскирующие истинные значения переменных. Так что даже если шпион, подглядевший расчёты, выполнявшиеся в стенах Счётной фабрики, догадывался, что в какой-то строке таблицы возникает текущая скорость или высота полёта, он получал ложное понятие о значении этой скорости или высоты, потому что, как предполагалось, он не знал масштабного коэффициента. С точки зрения современной теории кодирования все эти ухищрения кажутся вполне наивными. Но либо на Счётной фабрике не было шпионов, либо они продукцией КБ-1 не интересовались, либо руководство КБ-1 не подозревало, что их тайны шпионам известны.

После получения результатов со Счётной фабрики их надо было дешифровать: восстановить привычные названия переменных, убрать масштабные коэффициенты и т. п. Но в итоге использование Счётной фабрики было весьма эффективным.

Так вот, Юра приспособил Галю к работе по связям со Счётной фабрикой. Она собирала задания на расчёты, составленные специалистами, подготавливала их к подходящему для передачи на фабрику виду, принимала у фабрики результаты расчётов и декодировала их. Возможно (но не помню), у неё были помощники из числа техников-расчётчиков.

Галя занималась этой работой в течение нескольких месяцев и освоила её весьма успешно. И немудрено: полученное ею образование позволило бы ей выполнять и гораздо более хитроумную и наукоёмкую работу. Юра был Галей доволен. Впрочем, когда он приходил в гости к нам в дом, они с Галей на служебные темы не говорили.

...И вдруг в начале 49-го Галя уволили. В секретном учреждении эта процедура была для начальства весьма упрощена. Неудобного работника достаточно было лишить допуска к секретной работе, и он автоматически становился профессионально непригодным. Никому никогда в голову не приходило сверить действия дирекции с Трудовым Кодексом.

Юра был крайне смущён. Он сказал, что это увольнение произведено без всякого согласования с ним, по личному распоряжению Сергея Берия. О причинах он догадывался и поделился своей догадкой с нами. По его версии, Галя уволили, ибо начальство проведало о личном знакомстве Юры с Галиными родителями. Действительно, такую информацию Госбезопасность могла получить без труда. Но я не исключаю, что Сергей в качестве причины увольнения Гали преподнёс Юре и другую версию — например, что её родители были в дружбе со многими арестованными врагами народа. Не исключаю я и более простую третью версию: Галя уволили, потому что она была еврейкой.

У самой Гали было ещё одно предположение. Она сдружилась с одной из сослуживиц больше чем с другими — настолько, что как-то раз мы с Галей у этой женщины и её мужа были в гостях. Галя стала думать, не слишком ли она с этой женщиной была откровенна, и не была ли эта знакомая стукачкой. Вполне может быть.

Через пару месяцев после увольнения из КБ-1 Галя стала учительницей математики в школе, и в этой роли много лет успешно работала. Потом она много лет не менее успешно работала в Ленинском Педагогическом институте. В годы борьбы властей с диссидентами её из института уволили, и она стала успешно работать в области программирования...

Вернусь к моей работе в нашей фирме. В начале 1949 г. не знаю, по чьей, но, безусловно, разумной инициативе одно из обширных лабораторных помещений нашей фирмы было освобождено, и туда завезли три тележки и электропровода. Колёса тележек были на дугих шинах. На одной из тележек было кресло. Нам с Липшицем дали разбираться в технической документации, написанной по-немецки. Выяснилось, что этот комплект тележек — электромеханическая модель наведения на цель бомб типа «Fritz-X». Она предназначалась для тренировок военных штурманов, обучавшихся в немецких авиационных училищах.

«Штурман» сидел в кресле на большой тележке (она моделировала бомбардировщик). Вторая тележка моделировала цель; программу её движения задавал тренер. Третья тележка моделировала бомбу. «Цель» и «Бомба» были в поле зрения обучающегося штурмана, глядящего на соответствующие тележки через некоторое оптическое устройство, моделирующее прицел бомбардировщика. Кресло на его тележке было похоже на место штурмана на самолёте, а находившиеся рядом с креслом рычаги были похожи не те, которыми манипулировал реальный штурман-наводчик на реальном самолёте.

Тележка-бомба двигалась в соответствии с очень сильно упрощёнными дифференциальными уравнениями движения своего прототипа. Действия штурмана-ученика корректировали движение тележки-бомбы, и он старался направить её к тележке-цели.

Нам с Александром Борисовичем было забавно находить в изучаемых нами документах знакомые нам дифференциальные уравнения планирующей бомбы. Так сказать, поверх барьеров...

А завезли к нам этот комплекс для того, чтобы начать разрабатывать аналогичный тренажёр для Щуки. Правительство и ЦК КПСС специальным постановлением эту разработку поручили СКБ-245. Это было большое конструкторское бюро с собственным производством. Оно было расположено на Нижней Красносельской улице (недалеко от станции метро «Бауманская»). Это предприятие давно разрабатывало и выпускало арифмометры, а позже — стало основным в Советском Союзе разработчиком и производителем счётно-аналитических перфорационных машин — они были высшим словом тогдашней вычислительной техники.

...А ещё через несколько лет в СКБ-245 создали и начали выпускать одну из первых мощных советских ЭВМ М-20 с быстродействием 20 000 операций в секунду, что на грани пятидесятих и шестидесятих годов было фантастикой. Чем, интересно, занимается СКБ-245 теперь?..

Директором СКБ-245 был Михаил Авксентьевич Лесечко. Наше знакомство с ним началось с забавного эпизода. Лесечко с группой помощников приехал к нам, чтобы посмотреть на размещённую у нас электромеханическую модель процесса наведения Fritz-X — идейную и материализованную в виде тележек предшественницу того, что предстояло сконструировать и изготовить вверенному ему учреждению, которое, не лишне отметить, раньше ничего подобного не разрабатывало.

Лесечко был высоким тучным мужчиной с глуповатым лицом. Он выслушал наши объяснения и долго молча ходил по залу от одной тележки к другой. Наконец, он остановился у тележки-бомбы, пошатал ногой её одетое дутой шиной колесо и сообщил нам результаты своего исследования. «Есть люфтик», — сказал Лесечко. Этим замечанием он давал понять, что в их разработке люфтиков не будет. Произнесённая им фраза надолго стала в нашей среде прозвищем Лесечко и обозначением всякого высказывания, цель которого — затушевать собственное незнание и не потерять лица.

Руководство СКБ-245 понимало, что порученная им работа выходит за рамки их привычной тематики. Поэтому в качестве научного руководителя проекта был приглашён упоминавшийся выше профессор МЭИ Лев Израилевич Гутенмахер. Кажется, его работа была оформлена как поступление в СКБ на полставки. Мы сошлись с ним довольно близко. От нашего КБ-2 (оно выступало заказчиком) в технических совещаниях, предшествовавших выдаче окончательного задания, обычно участвовали Свечарник, Липшиц и я. А со стороны исполнителя — Гутенмахер, Эфраим Абрамович Глузберг и Исаак Моисеевич Виттенберг. Таким образом, заказчики и исполнители межнациональными барьерами разделены не были.

К той же национальности принадлежал инженер-майор ВВС Семён Борисович Пузрин. Он был доцентом ВВИА им. Жуковского. Пузрин играл роль научного консультанта со стороны заказчика самой «Щуки» — Управления военно-морских авиационных сил. Он держался на всех встречах с важным видом, но никаких идей не имел (это было сразу видно). Во всяком случае, он их не вносил. Но он утомлял всех произнесением большого количества незначащих общих фраз.

Иногда к нам присоединялся, нарушая миньян, и сам Лесечко, обнаруживший в ходе этих встреч ясный технический ум и трезвость руководителя, находившиеся в выгодном противоречии с глуповатым ли-

цом этого начальника и его странным поведением при первой встрече с нами и с прототипом своего будущего детища.

В проекте применения Щуки в боевых условиях штурману предписывалось управлять полётом Щуки так, чтобы стремиться совместить её проекцию, которую он видит через прицел, с целью, которая находится в поле этого же прицела. Если штурману удаётся это сделать и удерживать это совмещение до того, как Щука достигнет морской поверхности, то цель будет поражена. В тех математических моделях, которыми занимались мы с Липшицем и отдел Борисенко, действия штурмана тоже, естественно, были представлены некоторыми уравнениями.

С внешней стороны проект тренажёра вырисовался сразу. Это была кабина с оборудованным местом штурмана: прицелом и рукоятками дистанционного управления рулями Щуки. На противоположной от штурмана стенке кабины была панорама береговых военных сооружений. Между оптическим прибором тренирующегося штурмана и береговой линией была модель Щуки. Это был шарик, двигавшийся вправо и влево по тросику. Сам тросик был натянут между двумя ползунками, которые могли (синхронно) двигаться по боковым вертикальным рельсам вверх и вниз — с учётом действий тренируемого штурмана.

В нашем тренажёре штурман и его действия должны были быть реальными, а движение шарика вдоль тросика и самого тросика вдоль рельсов должно было моделировать проекцию движения Щуки, которую реальный штурман видел через реальный прицел. Для этого движение нашего шарика должно было описываться такими же дифференциальными уравнениями, что и проекция Щуки в окуляре натурального прицела. В частности, проекция шарика, которую тренируемый штурман видел через тренажёрный прицел, должна была откликаться на манипулирование тренируемого штурмана его ручками управления так же, как проекция реальной Щуки, которую реальный штурман видел через реальный прицел, откликается на его управляющие воздействия.

Вот в этих-то дифференциальных уравнениях и была закавыка. Наше первое стремление было написать их как можно точнее — чтобы модель была «реальнее». Гутенмахер с любезной улыбкой шёл на все наши предложения. Не исключаю, что он легко соглашался на наши сложные системы уравнений, потому что понимал, что проверить, по каким уравнениям двигается шарик, будет невозможно. Конечно, мы могли в будущем проверить структуру его будущей электромеханической модели и оценить, как точно эта структура моделирует наши уравнения, но и это было бы нелегко.

Лесечко не мог разобраться в математических тонкостях, обсуждавшихся на наших встречах, но понимал (чувствовал, как Чапаев в анекдоте про 0,5 и 1/2, что — литр), что сложные уравнения будет не так-то просто реализовать, а главное, что слишком точное моделирование движения реальной Щуки шариком в данном случае — для выработки верного поведения штурмана — и не требуется.

Моя интуиция подсказывала мне то же самое. Об этом же говорили очень грубые уравнения движения немецких тележек. В конце концов я убедил Свечарника и Липшица остановиться на сильно упрощённой системе. Лесечко усёк, что инициатором упрощения математической задачи был я, и смотрел на меня благодарными миндалевидными глазами.

...Тренажёр был разработан и изготовлен, но это произошло уже в те времена (я о них расскажу позже), когда и Свечарник, и я от разработки Щуки отошли. Я видел готовый тренажёр. Он был очень недурён на вид,

и Александр Борисович Липшиц отзывался об этом средстве тренировки пилотов, предшествовавшей их реальным полётам на натуральных испытаниях, как о вполне полезном.

Лесечко пошёл через некоторое время на повышение. Сперва его сделали министром — главой того ведомства, к которому принадлежало СКБ-245, а потом и Заместителем Предсовмина. Это было, кажется, уже при Хрущёве...

Работа над тренажёром оказалась для меня памятной и потому, что в этот же период Органы подошли к нашей семье на очень близкое расстояние. За кулисами моих неплохих служебных дел разворачивались события, свидетельствующие о том, что механизмы Органов работают днём и ночью, и что их поле деятельности находится в непосредственной близости от дома, в котором жила наша семья, от нашей, так сказать, крепости. И всё-таки в работе зловещих механизмов были непонятные сбои. Иногда эти механизмы, к счастью для меня, недорабатывали. Подробности — в своём месте.

Моя дружба с Александром Борисовичем укреплялась. Я познакомился и с некоторыми друзьями Александра Борисовича, иногда встречался с ними в гостях у него, но — не сдружился. В таком же отношении и Александр Борисович был с моими друзьями. У Александра Борисовича было несколько хобби. Главное из них было связано с английским языком. Александр Борисович его хорошо знал. Он выучил английский ещё в совсем молодые годы — кажется, под влиянием своего отца, который к моменту нашего знакомства был уже покойным. В те годы железного занавеса Александр Борисович находил своему знанию два применения.

Он мог читать — и широко этим пользовался — не только русскую беллетристику, но и английскую. Правда не ультрасовременную, а классическую. Что-то издавали советские издательства (одно из них называлось, кажется, «Международная Книга»), что-то можно было купить в букинистических магазинах, что-то взять в библиотеке.

Александр Борисович всегда таскал с собой одну «текущую» английскую книгу — на случай, если ему придётся ехать в транспорте без собеседника. Каждая английская книга задерживалась у Александра Борисовича в качестве текущей надолго: он не глотал книги, а смаковал их, стараясь понять все незнакомые слова, идиомы, пословицы и поговорки и намёки на английские или американские реалии. Так, он долго возил с собой «Николаса Никильби» и «Пиквикский Клуб» Диккенса, что-то О'Генри, что-то Синклера Льюиса.

К сожалению, в первые годы нашего знакомства я не мог полноценно участвовать в обсуждении лингвистических проблем, которые возникали у Александра Борисовича по ходу чтения. Благодаря сотрудничеству с Абрамом Мироновичем (я говорил об этом подробнее выше) я понимал английский математический сленг и мог держаться на плаву в своей учебной и научной жизни, а иногда даже и зарабатывать деньги переводами. До знаний Александра Борисовича мне было очень далеко.

...Усовершенствовал я мой английский только во второй половине шестидесятых. Дело в том, что в Академии Наук, в которой я стал работать в 1965 г. (покинув Александра Борисовича как сослуживца) научные сотрудники имели возможность заниматься в маленьких кружках, которые вели преподаватели кафедры иностранных языков АН. С какого-то момента я стал для Александра Борисовича приемлемым собеседником на английские темы...

Любовь к английскому влетала Александру Борисовичу в копеечку: кроме художественной литературы — и даже ещё больше, чем её — он обожал словари. Он мог купить в букинистическом магазине толстого Вебстера, который стоил больше его месячной зарплаты, а через пару лет, увидев в букинистическом более современный или более полный и ещё более дорогой словарь Вебстера или Оксфордский — купить поскорее (из боязни, что другие перехватят) и его. У меня тогда было впечатление, что у Александра Борисовича всегда наготове деньги на что-нибудь, выходящее за пределы текущих потребностей.

Я в те годы был в своих тратах на предметы не первой необходимости гораздо сдержаннее. В годы брака с Галей и жизни в семье её родителей мы с ней своих сбережений, естественно, не заводили, да и Галины родители к накопительству склонны не были. Покупки сколько-нибудь дорогих вещей планировались младшими и старшими членами семьи совместно. Я был очень осторожен, потому что сознавал, что мы с Галей вносим в семейный бюджет гораздо меньше денег, чем старшие, а у нас ещё был требующий немалых расходов сын.

Ощущение того, что мы в некоторой мере живём не только на заработанные нами деньги, удерживало нас с Галей от того, чтобы предлагать крупные и не обязательные траты. Надо сказать, что Абрам Миронович и Мария Григорьевна были крайне деликатными и внимательными людьми и первыми замечали, что мне пора купить новый костюм, а Галю — отправить в дом отдыха. Если Абрам Миронович хотел купить новый проигрыватель, то он всегда план такого рода обсуждал не только с Марией Григорьевной, но и с нами, молодыми.

Впрочем, купить Вебстера за более, чем 2000, как это время от времени делал руководитель группы Липшиц, не решился бы и профессор Лопшиц. Скромную позицию при решении денежных дел я сохранял и после того, как я продвинулся по служебной лестнице настолько, что стал зарабатывать несколько больше, чем Александр Борисович. Эта прибавка упомянутого мной неравенства всё равно не компенсировала.

Кстати, о зарплате. Как-то во время обеда мы заговорили с Александром Борисовичем о невысоком уровне зарплат людей нашей квалификации (я тогда, помнится, получал 1600 рублей в месяц, а Александр Борисович — 1800), о том, что мясник в магазине, которому покупатели подбрасывают за хороший кусок мяса, или портной в ателье, который при сдаче заказа получает от клиента кое-что сверх того, что тот платит приёмщице, зарабатывают ощутительно больше нашего. В какой-то момент того разговора я сказал: «Но зато у нас достойная и интересная работа. Например, ведь не стали бы Вы, Александр Борисович, клеить каждый день конверты за 6000 рублей в месяц?». «Да», — отвечал Александр Борисович, «Пожалуй, не стал бы. Но я бы с удовольствием пошёл на эту работу на полставки».

Другое применение своему знанию английского Александр Борисович нашёл в тайном слушании англоязычных радиопередач. Американский «Голос Америки», английская BBC и др. вещали на СССР на русском языке, но их нещадно глушили. В Москве их слышать было невозможно. Но вот передачи BBC из Лондона на английском, предназначенные для англоязычных радиослушателей, в СССР не глушили, справедливо полагая, что таких, как Александр Борисович, настолько мало, что из-за них оборудовать глушилки не стоит. Александр Борисович этим пользовался и был в курсе всех неподцензурных новостей, щедро делясь ими со мной.

...Хотя выше я сказал, что мой английский в какой-то момент улучшился, сравняться с Александром Борисовичем я не мог никогда. Ибо научившись читать и писать научные статьи и переписываться с английскими корреспондентами, я так и не выучился понимать беглую английскую речь с голоса, что для Александра Борисовича никаких проблем не составляло. Речь, обращённую собеседником ко мне, я ещё кое-как понимаю, но речь из радио или из телевизора для меня закрыта почти полностью.

Откуда такая способность была у Александра Борисовича — не представляю. Ведь разговорной практики-то он до конца пятидесятых годов не имел вовсе (во всяком случае, после тех давних времён, когда он языку учился и мог говорить со своими преподавателями). В первый раз Александр Борисович смог поговорить, да и то с колоссальной оглядкой, да и то лишь чуть-чуть, только во время Всемирного Фестиваля молодёжи в Москве в 1957-м году.

Позже Александр Борисович стал стараться попадать на редкие американские выставки. Первая такая — в Сокольниках — была устроена в 59-м году. Александр Борисович отважился (Первый отдел!!) заговаривать и общаться с американскими гидами. Как-то Александр Борисович увидел на тумбочке гида консервную банку, на которой стояло незнакомое ему «instant coffee». Подчиняясь своему стремлению знать в английском всё дотошно, Александр Борисович спросил о смысле этого выражения у гида, стоявшего около стенда. Советские люди об этом продукте узнали и попробовали его только через несколько лет. Гид в ответ пригласил Александра Борисовича к себе за перегородку. Любовь к английскому пересилила страх перед Органами, и Александр Борисович отправился на преступную встречу с американцем — без свидетелей! Гид усадил гостя за маленький столик, молча поставил перед ним чашку, всыпал туда чайную ложку растворимого кофе из загадочной банки, залил кипятком и предложил положить себе сахар по вкусу. Александр Борисович был очарован и новым знанием в части английского, и в части того, какой напиток доступен гражданину свободной страны. Об этом эпизоде он рассказывал мне с восхищением...

Александр Борисович эксплуатировал радио на все сто. Не только для того, чтобы ловить ВВС. С радио было связано и другое его хобби. Он был большим любителем классической музыки, хотя музыка двадцатого века за пределы его интересов чаще всего выходила. Шостакович и Прокофьев были не для него.

При всей приверженности к музыке Александр Борисович редко ходил слушать её в концертные залы. У него был богатый набор грампластинок и проигрыватель. Но больше всего Александр Борисович любил слушать музыку по радио. Причём, опять таки, несколько по-своему. Он редко пользовался программами передач, чтобы заранее планировать прослушивание того или иного произведения. Он предпочитал сесть в свободную и удобную минуту к радиоприёмнику и начать крутить рукоятки, чтобы побродить наугад по диапазонам и частотам. Он наткнулся на ненужные передачи, на рёв глушилок и на другие помехи. В комнате творилось чёрт знает что. Но иногда, вдруг, сдвинув указатель шкалы на миллиметр, Александр Борисович покидал отвратительную глушилку, и из приёмника начинали вырываться звуки скрипичной сонаты Ц. Франка или «Рондо Капричиозо» К. Сен-Санса.

Я тоже был любителем музыки, любил те же сочинения, что и Александр Борисович, но у меня, пожалуй, из всех способов соприкосновения

с музыкой самыми предпочтительными были Большой и Малый Залы Консерватории, Дом Учёных и некоторые другие публичные места.

Свою приверженность к неожиданным музыкальным встречам в эфире Александр Борисович объяснял тем, что возникающие при этом ощущения сродни тем, которые, должно быть, испытывали любители музыки прошлого, когда они, гуляя по улице, вдруг могли услышать из открытого окна звуки ноктюрна Шопена или романса Чайковского, исполнявшихся в домашнем концерте или просто музицирующей хозяйкой дома. Другая аналогия — прогулка по вечернему парку и вдруг — прорывающиеся сквозь деревья звуки садового оркестра, которые, если прислушаться, образовывали марш из «Тангейзера» Р. Вагнера.

...Последняя сцена — не совсем выдуманная. Много позже, в семидесятых годах, мы с Машей и дочерьми часто проводили летний отпуск в Одессе. А там в конце Дерибасовской, угол Екатерининской (приятно обозначать место на Одесский манер) справа есть городской сад, в котором есть большая круглая каменная площадка, а на ней по вечерам располагался духовой оркестр (думаю, составленный из энтузиастов-любителей) и без перерыва играл сочинения И. Штрауса, Р. Вагнера, М. Глинки, Д. Верди, Ж. Бизе...

Александр Борисович утверждал, что если загадать не слишком изощрённое музыкальное сочинение (например, пятую симфонию Бетховена или балладу Шопена) и побродить по эфиру в течение двух—трёх часов, т. е. неплохой шанс наткнуться на фрагмент загаданного произведения. Это было, конечно, преувеличением, но хороший дальнобойный приёмник приносил в ваш дом из всей Европы очень много драгоценной музыки. Её, по счастью, не глушили.

Возвращаясь к прежнему мотиву, хочу сказать, что Александр Борисович всегда старался покупать и вовремя менять проигрыватели и приёмники. На это у него деньги были, и его аппаратура была из того лучшего, что было доступно в тот период советскому человеку.

Следующим хобби Александра Борисовича были шахматы. Он был лишь любителем, но высокого — первого или второго — разряда. Это хобби мне было совершенно непонятно, и я для Александра Борисовича в этом контексте никакого интереса не представлял. Он только рассказывал мне иногда о людях, с которыми судьба сводила его за доской. Некоторые из этих шахматных знакомств были прочными и многолетними. Александр Борисович, помнится, посещал шахматные клубы, время от времени участвовал в квалификационных турнирах, чтобы подтвердить или повысить свой разряд, а в тёплое время года ездил на шахматные встречи в московские парки.

Темами наших разговоров были, во-первых, проблемы нашей работы — сперва общей, а после того, как наши служебные дороги разошлись, мы обсуждали друг с другом рабочие дела и взаимоотношения с сослуживцами каждого из нас.

...Этот обычай продолжался и после того, как я в 1965-м году ушёл, вообще, из той фирмы, в которой мы вместе работали, и перешёл в Академию Наук...

Хотя я английский знал несравненно хуже Александра Борисовича, но с удовольствием вслушивался в его рассказы о том, как он докапывался до смысла тех или иных выражений, в чём тонкость юмора в тех или иных местах английского романа и пр. С другой стороны и Александр Борисович, не знавший ни французского, ни немецкого, выслушивал и мои

рассказы об аналогичных находках и проблемах, возникавших при моём чтении книг на этих языках.

Александр Борисович держал меня в курсе своих семейных обстоятельств и проблем. А они в начале нашего знакомства были очень сложными, и в нормальное русло вошли не сразу. Со своей женой Тамарой Александр Борисович счастлив не был: она для него близким человеком не стала, и Александр Борисович полагал, что и он для своей жены большой ценности не представляет. Тем не менее, этот брак продолжался.

Как я уже говорил, мы с Александром Борисовичем обнаружили общие взгляды в области политики. Они заключались в полном неприятии советской власти и в отвращении к государственной политической идеологии и сопутствующему этой идеологии ханжеству и запрету на свободу мысли.

Я к моменту знакомства с Александром Борисовичем уже прошёл неплохую политическую школу Абрама Мироновича, и при обсуждении общих или конкретных ситуаций я выражался иногда более определённо и точно, чем Александр Борисович. По этой причине у него сложилось преувеличенное уважительное представление о моей политологической зрелости.

Как-то раз — это было летом 49-го года — Александр Борисович пригласил меня отправиться с ним после работы на дачу, которую он снимал по Курской дороге (в Кучино или в Железнодорожной) для дочки и Фанни Савельевны и куда он и Тамара систематически после работы приезжали.

Около пригородных билетных касс Курского вокзала я увидел неподалёку от себя Сашу Кронрода, с которым мы были знакомы по мехмату. Саша был выдающимся молодым математиком и личностью на мехмате весьма примечательной. Кроме талантливости в науке, Саша был очень красив. Мы с Сашей приветливо раскланялись, но друг к другу не подошли: не настолько мы были близки.

Через несколько дней Александр Борисович, чуть робея, спросил меня, кто был молодой человек, с которым я поздоровался у Курского. Я ответил. Тогда Александр Борисович спросил меня, продолжаю ли я после окончания университета с этим человеком встречаться. Я отвечал, что нет, что встреча у Курского была после весны 48-го первой, и, в свою очередь, спросил у Александра Борисовича, почему столь незначительный эпизод его заинтересовал.

На это Александр Борисович, смущаясь, отвечал, что облик этого человека, мои политические взгляды и наш с Кронродом молчаливый обмен приветствиями породил у него предположение, что я и красивый незнакомец состоим в одной заговорщической антиправительственной организации. Более того, Александру Борисовичу показалось, что в этой тайной организации незнакомец по отношению ко мне занимает более высокой положение.

Я без труда разубедил Александра Борисовича (он мне верил) в моей, да и, скорее всего, в Сашиной принадлежности к заговорщикам. Что касается наших с Сашей иерархических отношений, то их Александр Борисович уловил правильно. Я понимал превосходство Саши надо мной, но не в заговорщической, а в научной иерархии: когда я кончал университет, Саша кончал аспирантуру, а может, был уже кандидатом. Он был выдающимся молодым математиком, а я — весьма скромным.

...В самом конце сороковых или в самом начале пятидесятых Тамара от Александра Борисовича ушла. Александр Борисович не стал пользо-

ваться тогдашним правом не давать развода и решать вопрос о ребёнке через суд. Он дал Тамаре развод и не предъявил никаких своих прав на их семилетнюю Лену.

Оказалось, что у Тамары — давний роман с её начальником, и что этот человек получил служебное повышение, но его карьера была связана с какой-то новостройкой в Восточной Сибири. Он отправлялся туда и поставил перед Тамарой вопрос ребром. Кажется, при этом и он сам готов был развестись со своей тогдашней женой. Тамара согласилась, развелась с Александром Борисовичем, вышла замуж наново и уехала с новым мужем в Сибирь, взяв, естественно, с собой Лену и (это было уже неестественно) взяв от Александра Борисовича документ с формальным отказом от его отцовства.

Мне такая сговорчивость Александра Борисовича была непонятной. Её немедленным следствием — а его было легко предвидеть, да Тамара своих намерений и не скрывала — было полное прекращение каких бы то ни было отношений Леночки с отцом. Александр Борисович больше никогда не видел ни свою бывшую жену, ни Леночку, и ничего о её судьбе не знал, да к этому и не стремился. Кажется, новый муж Тамары Леночку усыновил, и, возможно, она никогда не узнала, что у неё есть настоящий отец.

Года через два после этого развода Александр Борисович встретил свою вторую жену Лилию Григорьевну и счастливо прожил с ней более тридцати лет — вплоть до своей смерти в 1984-м году. Лиля оказалась необыкновенно доброй женой и превосходной матерью. У них с Александром Борисовичем родился сын Боря, сейчас уже человек немолодой. Прекрасно Лиля относилась и к своей свекрови Фанни Савельевне, трогательно за ней ухаживала и, что называется, закрыла ей глаза. Это было уже в семидесятых. Лиля была очень квалифицированным инженером. Её специальность — технология и разработка новых образцов в парфюмерной промышленности. Чуть ли не всю свою профессиональную жизнь Лиля успешно проработала на известной московской парфюмерной фабрике «Свобода». Мы с Лилей остались дружны и после кончины Александра Борисовича. Не прекратилась эта дружба и после нашего с Машей переезда в Израиль. Мы регулярно с Лилей переписывались. Она скончалась от рака в апреле 99-го...

Работой, вышедшей за рамки моей привычной каждодневной деятельности, было участие в лётных испытаниях немецкой управляемой авиабомбы Fritz-X, которая была прототипом разработки коллектива, которым руководил А. Д. Надирадзе.

В распоряжение ВВС попала трофейная партия из нескольких десятков таких авиабомб — вместе с соответствующим оборудованием для самолёта-носителя. Возможно, что в число трофеев ВВС целиком попал один из тех бомбардировщиков, которые немцы использовали для сбрасывания Fritz'ов. Получив в своё распоряжение немецкую военную технику, на базе которой нашему КБ-2 была заказана отечественная разработка, командование ВВС летом 1951-го года решило потренировать штурманский состав в применении управляемых авиабомб. Тренировочные бомбометания проводились в Чкаловском (Оренбургском) училище ВВС.

В Оренбург на весь период эксперимента была командирована небольшая группа сотрудников Надирадзе во главе с Гоголевым. Недели на две к работе в Оренбурге присоединили меня с одной из сотрудниц моей группы, Беллой Гедальевой Моисеевой. Мы с Беллой должны были

участвовать в обработке результатов наблюдений за полётами сбрасываемых Fritz'ев; восстанавливать их траектории, а я ещё пытался разработать методику определения — по этим траекториям — некоторых аэродинамических характеристик авиабомб.

Большой роли в нашей профессиональной деятельности эта командировка не сыграла, но кое-какие жизненные впечатления остались. Мы жили в одной из центральных городских гостиниц, в комнатах-общежитиях. По утрам мы, игнорируя автобус, шли пешком через весь город на работу в Училище. Время было летнее, погода — хорошая, и наше часовое путешествие было вполне приятным.

На работе мы были в окружении военных. Среди них были не только офицеры Училища, но и несколько представителей Ленинградской Военно-Воздушной Инженерной Академии (ЛВВИА) им. Можайского. Особенно я сблизился с полковником Москвиным. Его основная функция состояла в руководстве летней практикой слушателей ЛВВИА, а Fritz'ами он занялся между делом.

...Знакомство с Москвиным мне пригодилось. Мы заключили с ним частное соглашение о научном сотрудничестве. В результате я получал время от времени приглашения приехать в ЛВВИА на научный семинар или конференцию. Обычно моё начальство командировку мне разрешало и оплачивало. Для меня такая научная дружба с ЛВВИА была ценна ещё и тем, что время от времени создавала предлог для поездки в Ленинград — город, который меня всегда привлекал.

Потом я завязал связи с другими ленинградскими научными учреждениями — сперва с Политехническим институтом, одна из лабораторий которого построила аналоговую электронную машину, способную решать дифференциальные уравнения движения летательных аппаратов. Позже — уже на почве цифровых ЭВМ — я бывал на научных конференциях в Ленинградском Университете и в других высших учебных заведениях. И эти связи я ценил не только по существу, но и потому, что они давали мне лишнюю возможность побывать в замечательном городе...

ГЛАВА 17

Смерть мамы. Первые годы папиной жизни без мамы. Переезд Бабы Нины на Арбат. Папина женитьба на Елене Сергеевне Ломоносовой. Судьба нашей комнаты. Арест Наталки. Изгнание Абрама Мироновича из Ленинского пединститута и устройство на работу в Ярославле. Эдя в Радиокomitee. «Юные ленинцы». Маша Калмановская становится студенткой. Майя Левидова и Фальк. Рая Разумова. Корнелий Зелинский. Абрам Миронович — спорщик. Спор с политработником Адей. Спор с С. А. Яновской. Маленький Сашенька. Ещё о Лопшицах.

Первая часть сорок девятого была отмечена трагическими событиями. 15-го мая скончалась моя мама. До этого она несколько месяцев была больна, а я — неопытный, молодой, ненаблюдательный — не понимал чем. Онкологические заболевания в России принято держать в тайне от кого только можно. Такой обычай диктуется гуманными намерениями — не подвергать психологическим страданиям от перспективы почти неизбежной смерти ни самого больного, ни его близких. Об истинном диагнозе знали только папа и тётя Нюра. Я так и не узнал, были ли посвящены в тайну Лопшицы.

Месяца за полтора до кончины маму положили в больницу Склифосовского. Я часто навещал её, интересовался, как её лечат. Но ни мама, ни отец на эти мои вопросы толковых ответов на давали. Из их невнятицы у меня возникло впечатление, что мама лишена интенсивного лечения исключительно по небрежности врачей. Я даже собрался идти объясняться к заведующему отделением. Папа меня от этого отговорил. Он-то знал, что лечить развившийся у мамы неоперабельный рак матки (а я думал, что у мамы какое-то кишечное заболевание) невозможно. Химио- и рентгенотерапия тогда ещё не применялись. Для меня кончина мамы была совершенно неожиданной: ещё накануне я был у неё, разговаривал с ней, и её вчерашнее состояние, на мой глупый взгляд, не отличалось от позавчерашнего.

Тема этого моего последнего разговора с мамой запомнилась мне навсегда. Мама говорила, что часто мечтает о ближайшем лете, о том, как мы будем жить где-нибудь на даче, как она будет к нам приезжать, лежать на подстилочке на траве, а рядом будет резвиться маленький Сашенька. Ему тогда было три с половиной. Означал ли такой мамин разговор, что и от неё сумели скрыть её истинное состояние, или что она, видя, что я не понимаю характера её болезни, намеренно пудрила мне мозги, чтобы уберечь меня от тревог. Этого я не узнал никогда.

Галя, Абрам Миронович, Мария Григорьевна и Роза отнесли и ко мне, и к папе с чрезвычайным сочувствием. Маму хоронили в крематории на Донском. Каким образом и кому удалось получить на этом уже загруженном кладбище место для новой могилы, я не знаю. Тогда я в эти детали даже не догадался войти. Теперь я думаю, что в этом печальном деле главной пробивной силой была тётя Нюра. Она работала с трудными подростками, имела связи с милицией и другими начальниками.

Место это было хорошее — на той дорожке, в начале которой расположена могила Михоэлса. Он был убит Сталиным, будучи Народным артистом, и его похоронили с почестями. На его могиле на высоком постаменте было даже установлено изваяние головы покойного. Странно, но эта могила осталась нетронутой и после того, как память Михоэлса была властями проклята.

...Постепенно в маминой могиле были похоронены солянки тётки, Баба Нина, Андрей Шилаев, папа. Я долгое время думал, что и я, быть может, найду там последнее жилище. Но отъезд в 1993-м году в Израиль сделал этот вариант невозможным...

...15-е мая — день маминой смерти — был Днём Рождения Абрама Мироневича. Начиная с 1950-го года он стал отмечать свой юбилей 28-го — вроде бы по новому стилю. Но через много лет, после моего развода с Галей, он вернулся к прежней дате...

Мамина смерть, как и смерть всякого человека, имела не только главное следствие, но и долго тянувшиеся косвенные последствия, отразившиеся — по-всякому — на разных жизнях и судьбах. Главное следствие маминой смерти состояло, естественно, в том, что она оказалась изъятой из повседневной жизни многих людей, остававшихся в живых.

Некоторые, в первую очередь я и мамы сёстры, просто горевали безотносительно к новым бытовым реалиям. Многим мамы не хватало, многие не могли оправиться от душевной травмы, вызванной пониманием того, как мама мучилась последние месяцы. У меня оставалось ощущение, что я не сделал всего, что мог бы сделать для мамы в долгие дни её болезни: и не вник, и не вмешался в её лечение, и оказывал ей явно недостаточное внимание.

Папа по отношению к маме и к её памяти свой долг, безусловно, выполнил. Но наблюдая за его жизнью после маминой смерти, я стал понимать, что для него потеря жены не была катастрофой, а была лишь этапом в развитии его собственной жизни. Довольно скоро — месяца через два после похорон — папа стал жить с нашей соседкой Марией Яковлевной Макеевой. Мария Яковлевна к этому времени со своим мужем Давидом Яковлевичем по неизвестным мне причинам развелась и жила с тогда с четырнадцатилетней дочкой Валей.

Я не знаю: насколько тесно в бытовом плане жили папа с Марией Яковлевной. Ведь у папы оставалась своя комната в этой же квартире. Соединили ли папа и Мария Яковлевна свои деньги? Принимал ли папа участие в делах, возникавших в связи с взрослением Вали? Были ли папа и Мария Яковлевна душевно близки, любили ли они друг друга? Я не понимал, возникла ли папина связь с Марией Яковлевной только после маминой смерти или она началась ещё при маминой жизни.

В конце 49-го года папа из армии был уволен. Возможно, это увольнение было частью антисемитской кампании. Довольно долго папа был без работы. А потом вдруг его пригласили на высокую плановую должность в Министерство Топливной Промышленности. Он стал заниматься планированием угле- и нефтедобычи.

...Там он и проработал до пенсии, на которую вышел сразу, как только ему стало 60 лет, т. е. в конце 58-го или в начале 59-го года...

Когда папа стал жить с Марией Яковлевной Макеевой, наша комната в двадцать четвёртой квартире, в которой были прописаны папа и я, почти перестала использоваться и им, и мною. Когда Баба Нина каким-то образом узнала, что папа живёт с Марией Яковлевной, она захотела от

своей сестры Берты уехать и жить в нашей необитаемой комнате. Причина была стандартная. Баба Нина с Бертой стала не ладить с самого начала их совместной жизни. Такой был у Бабы Нины склочный характер, и я с замиранием души боюсь, что он проявится в ком-то из моих потомков. Пока, слава Богу, не проявился (или сильно затаился).

Папа согласился, я не возражал, и Баба Нина стала там жить, отравляя жизнь папы и Марии Яковлевны. Вскоре после появления в квартире Бабы Нины папа с Марией Яковлевной расстались. Кто был инициатором разрыва и каковы были его причины я не знаю. Возможно, сыграла свою разрушительную роль активность Бабы Нины. Расставшись с Марией Яковлевной, папа вскоре вступил в совсем неожиданный для меня брак и из 24-й квартиры уехал.

Баба Нина в этой квартире осталась одна. Я бывал у Бабы Нины, но не очень часто. Собеседник она была утомительный. Она перессорилась со всеми соседями. Особенно враждебно она относилась к покинутой Марии Яковлевне. Используя странную лексику, Баба Нина жаловалась мне, когда я её навещал, что в нашей квартире «очень плохой коллектив». Мой папа заботился о матери довольно небрежно. Тётя Нюра, жившая в переулке напротив, выполняла свой дочерний долг чуть более добросовестно.

Итак, расставшись с Марией Яковлевной, папа очень скоро женился. Его женой стала Елена Сергеевна Ломоносова. Оказалось, что это та самая женщина, о которой я уже мельком упомянул в 6-й главе, рассказывая о весенних школьных каникулах 1935-го года, проведённых у папы в Сталиногорске. Это её, сидевшую за столом с папой и тихо беседующую с ним (тихо, чтобы не разбудить меня, уснувшего днём на диване), я увидел, пробудившись от этого случайного дневного сна. Тогда эта женщина сразу распрощалась и ушла, и я о ней забыл. Теперь, после ухода папы к Елене Сергеевне и комментариев тёти Нюры на этот счёт тот давний эпизод мне вспомнился и сделался понятным. Я думаю, что тётя Нюра о существовании Елены Сергеевны знала с тех времён. Во всяком случае, в первый же раз, когда тётя Нюра и Елена Сергеевна встретились друг с другом при мне, я обнаружил, что они на ты.

От Нюры я узнал, что в Сталиногорске Елена Сергеевна работала и жила со своим тогдашним мужем Григорием Тер-Каспарянцем и сыном Эриком. Они, как и папа (может, позже него), после нескольких лет жизни в Сталиногорске вернулись в Москву. У меня есть основания (на них я останавливаться не хочу) предполагать, что связь между папой и Еленой Сергеевной — то усиливаясь, то ослабевая — существовала после тех Сталиногорских лет всегда.

...Елена Сергеевна рассталась с Гришей задолго до этого окончательного сближения с папой, превратившегося в прочный и долгий брак, продолжавшийся до самой папиной смерти в 1976-м году. Елена Сергеевна была моложе папы на десять лет. Соответственно, моложе меня был и Эрик. Он жил отдельно от матери и отца со своей семьёй. С Гришей у Елены Сергеевны и у моего папы были прекрасные отношения, и мы с Машей (тогда уже — с Машей) время от времени виделись с ним и с другими родными Елены Сергеевны в их с папой доме. Этим домом была одна комната в коммунальной квартире в старом доме в Панкратьевском переулке. В конце шестидесятых этот ветхий дом приговорили к сносу, жильцов стали потихоньку расселять, и с самого начала семидесятых папа с Еленой Сергеевной стали жить в отдельной двухкомнатной квартирке. Они были счастливы, хоть и была эта квартирка на Косинской

улице, и ехать туда надо было до станции метро «Ждановская», а потом ещё пару длинных остановок на автобусе. Я один, а иногда и с Машей и с дочерьми довольно часто бывал у этой пожилой четы и до, и после их переезда на край Москвы. Елена Сергеевна относилась к папе, ко мне и к моим жене и детям превосходно.

К сожалению, последние несколько лет жизни папа был на почти инвалидном положении. Из его разных болезней главной была эмфизема лёгких, причиной которой, как говорили врачи, было беспрестанное курение с молодых лет. С другой стороны, сэр Уинстон Черчилль дожил, не выпуская изо рта сигару, до 91-летнего возраста. Последние годы жизни папа почти не выходил из дому, наслаждаясь прелестями свежего воздуха и красотой мира, сидя в лоджии. Он сохранил ясный ум. Он умер в 1976 г., прожив до своих 78.

Много лет после папиной смерти мы сохраняли тёплые семейные отношения с Еленой Сергеевной. Мы часто говорили по телефону. Иногда я её навещал. Она стала прабабушкой: родила дочка Эрика. В конце восьмидесятых Елена Сергеевна стала говорить нам о планах квартирных обменов с целью соединиться с Эриком. В один прекрасный день я, позвонив Елене Сергеевне по телефону, услышал чужой голос. Этому человеку названное мной имя было совершенно незнакомо. Аналогичным образом закончилась моя попытка связаться с Эриком. Видимо, они достигли своей цели, совершив какой-то сложный многоступенчатый обмен. Самым странным образом ни Елена Сергеевна, ни Эрик больше нам никогда не позвонили, и мы из их жизни, и, соответственно, они из нашей, исчезли навсегда...

Незадолго до смерти мамы началась череда недобрых событий совсем другого рода. В один из дней конца апреля сразу после защиты дипломной работы — прямо в здании физфака МГУ — арестовали Инну Гайстер. Это была волна арестов детей «врагов народа». Над Наталкой нависла угроза, что эта же участь уготована и ей. И вот 21-го июня её арестовали — тоже прямо в здании Ленинского педина.

На факультете, конечно, знали о том, кем приходится арестованная студентка Гайстер профессору Лопшицу. Знали это и Органы. Сразу же после увоза Наталки гебисты привезли Абрама Мироновича из института домой и устроили там большой обыск. Перевернули всю квартиру, но никаких изъятий не сделали. Я при обыске не был: днём был на работе, а с работы поехал на дачу, которую в то лето мы снимали в посёлке «Красный Воин» по Фрязинской ветке Ярославской дороги. Взрослые члены нашей семьи жили там наездами — то поврозь, то вместе, а постоянно там находились наш сын Сашенька и его няня. В день обыска никто из нашей семьи арестован не был.

На следующий же день после ареста Наталки декан факультета Д. И. Перепёлкин пригласил в свой кабинет Абрама Мироновича и сказал, что просит его, во избежание скандального увольнения за связи с врагами народа, уйти из института по собственному желанию. Конечно, Перепёлкин не столько оберегал своего коллегу, сколько боялся политических обвинений («потеря бдительности») в свой собственный адрес. Абрам Миронович из института ушёл.

Аресты Инны и Наталки нас ошеломили. Мы считали Наталку членом нашей семьи, и все перипетии её жизни близко нас касались. Даже какой-нибудь неуспех в школе или в институте. После ареста Наташи мы стали бояться за её судьбу и за наши собственные судьбы. Я работал в секретной фирме. Мария Григорьевна — в военной академии. Я не понимал, должен

ли был я, имевший допуск к секретной работе, доложить начальнику Первого отдела фирмы о происшедшем в нашей семье ужасном событии. На всякий случай я этого не сделал.

Как-то в эти дни Абрам Миронович отправился в гости к своему приятелю математику Залману Либину, жившему где-то в другой части города. Они прогуливались и беседовали, и их вдруг задержала милиция — вроде бы за нарушение правил перехода улицы. Их продержали в отделении несколько часов, но потом выпустили. А в это время к нам домой, когда дома были только мы с Галей и Роза, пришёл знакомый дворник с незнакомым штатским человеком, и они стали спрашивать Абрама Мироновича. Узнав, что его нет, удовлетворились и ушли.

Мы не понимали, есть ли реальная связь между нелепым задержанием Абрама Мироновича на улице и необычным визитом в дом. Но оба эти события нам, как говорится, не понравились. Мы все решили несколько дней не ночевать дома и провели эти ночи поврозь — то у разных друзей и родственников, то на даче. Одну или две ночи мы с Галей ночевали у Надежды Мироновны. Мария Григорьевна и Абрам Миронович в течение нескольких дней вели сходную кочевую жизнь. Потом мы вернулись в Староконюшенный, и никого из нас не трогали.

Между тем набирала обороты борьба государства с космополитизмом. Газеты были полны сообщениями о зловерных действиях и поступках известных лиц еврейского происхождения — театроведов, художников, эстрадных исполнителей и пр. Появились статьи, раскрывавшие настоящие позорные еврейские фамилии писателей и прочих деятелей культуры, известных широкой публике по их псевдонимам.

Итак, после ареста Наталки Абрам Миронович остался без работы. Уже тогда преподавателю-еврею, даже столь высокого класса, как Абрам Миронович, и даже не отмеченного клеймом связи с репрессированной Наталкой, устроиться на работу в Московском вузе было нереально. Но некоторые провинциальные высшие учебные заведения продолжали брать на работу высококвалифицированного учёного и преподавателя, даже если тот был евреем.

В те времена, когда у Абрама Мироновича возникла проблема устройства на работу, случаи перемещения столичных преподавателей в провинцию уже были. Некоторые из них искали и находили себе новую работу в провинции уже после увольнения из московских институтов. Другие уходили из московских вузов сами, предвидя, что их могут уволить неожиданно и предпочитая устроиться без паники и осмотрительно.

Так поступил, например, Залман Либин, который упоминался выше. К описываемому моменту он уже некоторое время как обосновался в одном из институтов Мурманска. Надо сказать, что руководители провинциальных институтов ценили своих иммигрантов и старались создать им приличные условия для работы и жизни. Залман с помощью дирекции мурманского вуза, в который поступил, снял в Мурманске какое-то жилище и наладил приемлемый для себя и для кафедры цикл пребываний в Мурманске, живя остальное время дома в Москве.

Примерно в те же времена (может, несколько позже) видный учёный, но не угодный властям еврей Ися Яглом нашёл себе работу в Педагогическом институте Орехова-Зуева. Года за полтора до увольнения из Ленинского института Абрама Мироновича так же поступил, выйдя из тюрьмы, профессор Миркин, о судьбе которого я рассказывал немного раньше.

По этому же пути — поиска подходящего места работы вне столицы — пошёл и Абрам Миронович, и этот путь при активном участии его многочисленных друзей, коллег и бывших учеников, занимавших к этому времени видные профессорские посты в разных высших учебных заведениях страны, привёл его в Ярославский Педагогический институт.

Дирекцию этого института привлекало в основном то, что в активе Абрама Мироновича было много аспирантов, успешно защитивших диссертации. А по этому показателю провинциальный педвуз отставал. Вот для вывода института на хороший уровень по защитам Абрама Мироновича и использовали. Он сразу стал руководителем нескольких аспирантов, отчего количество часов, приходившихся на лекции для студентов, сильно уменьшилось. Эти лекции удалось спланировать так, что после каждых трёх—четырёх дней работы в Ярославле Абрам Миронович мог недели две провести в Москве.

...Более того, Абрам Миронович со временем выхлопотал для аспирантов возможность общаться с ним не только в Ярославле, но иногда и в Москве. Это было, конечно, удобно для самого Абрама Мироновича, но самое драгоценное заключалось в том, что научный руководитель вводил своих учеников в столичную университетскую математическую жизнь. И не только математическую: сравнительно часто навещаясь в Москву, ярославские аспиранты соприкасались — часто под влиянием учителя — и с другими культурными сферами, которыми всегда была богата столица. Наконец, тесное общение в домашней обстановке с самим Абрамом Мироновичем, с членами его семьи и с гостями его дома — всё это оказывало благотворное воздействие на умы и души молодых людей.

Незабвенное научное, культурное и нравственное влияние Абрама Мироновича на его учеников с благодарностью вспоминалось в мае 1997 г. в Ярославле на конференции по случаю столетия со дня его рождения...

Мария Григорьевна продолжала работать в военной академии, а я — в почтовом ящике. Я уже говорил, что я там делал неплохую карьеру. И я прекрасно помню, как много раз в тревожные дни после ареста Наталки, когда мои мысли были заняты её судьбой и опасностями, повисшими над всей нашей семьёй, я сиживал на сверхсекретных совещаниях у нашего начальства или у заказчика в Главном Управлении ВВС Министерства Обороны, выступал, отвечал на вопросы, отстаивал интересы нашего отдела или нашей фирмы, подписывал какие-то протоколы.

На эти же летние месяцы 49-го пришлось и многочисленные совещания в СКБ-245 по разработке задания на тренажёр для Щуки. Я обсуждал дифференциальные уравнения движения шарика, моделирующего Щуку, а в голове крутились картины того, что, быть может, произойдёт этим вечером или ночью дома.

Прошло немного времени после арестов Инны и Наталки, и им были вынесены приговоры. Они были даже менее жёсткими, чем недавние приговоры Юре Гастеву и Лёве Малкину, которые по тем временам были необъяснимо либеральны. Девочек приговорили к пятилетней ссылке. К ссылке, не к лагерям! При этом сердобольные (у меня нет и сейчас желания помещать это слово в кавычки: именно так расценили мы тогда случившееся) Органы сослали девочек в одно и то же место, да не куда-нибудь, а в курорт Боровое в Казахстане. К ним разрешили присоединиться и их матери Рахили, которая в момент ареста дочерей уже из лагеря освободилась и отбывала ссылку в городе Кольчугине недалеко от Москвы.

Инна и Наталка были сосланы на законном основании. К ним применили статью тогдашнего уголовного кодекса, предусматривавшую административную высылку за проституцию, что, как бы сказал, наверное, Коровьев, Бегемот или сам Мессир, никоим образом никакой действительности не соответствовало.

Существование в Боровом семьи Арона Гайстера было предметом забот всей нашей семьи, но в первую очередь, конечно, старших. Наладилась (небезопасная!) переписка, им посылали продуктовые посылки. Независимо от нас им посылала продукты и бывшая их няня Наталья Овчинникова, продолжавшая до старости лет работать на заводе.

...Надо отдать должное Инне и Наталке. После возвращения из ссылки они оказывали Наталье Овчинниковой самое тёплое внимание. Их связь продолжалась и в те времена, когда обе девочки стали бабушками. Наталья Овчинникова умерла в свои 87 лет на руках у Инны, которая заботилась о старой няньке и ухаживала за ней до самой её смерти. Так завершилась эта странная связь между Гайстерами и урождённой крестьянкой, трогательной и поразительной в своей преданности семье человека, который состоял — быть может, подневольно, по должности — на службе у злой силы, причинившей беды её собственной крестьянской семье. Вот пример парадоксальности русской души и русской жизни, коими Россия примечательна — что до, то и после признания Тютчева в невозможности эту страну понять умом...

Я продолжал, естественно, дружить с Эдей, но — так же естественно — мы встречались редко. У обоих были семьи, которым мы уделяли много внимания, оба были на государственной службе. Я работал в фирме, а Эдя первые годы после окончания Консерватории работал музыкальным редактором в музыкальной редакции Радиокomiteта. Своё собственное сочинительство Эдя продолжал, но до того момента, когда оно станет главным и славным делом его жизни, оставалось ещё три—четыре года.

Эдя рассказал мне тогда об эпизоде, который мог кончиться трагически и пустить его (и многих его родных) жизнь под откос. Но по неведомому своенравию судьбы — подфартило. Музыкальная редакция находилась в особняке на ул. Алексея Толстого (Спиридоновка). А рядом был особняк, в котором жил Берия. Все боковые радиокomiteтские окна, выходящие на особняк Берии, были замазаны белым (как тихо говорили сотрудники Радиокomiteта — они были покрыты матом), а все их задвижки — опломбированы.

И вот как-то раз Эдя стоял в коридоре и разговаривал с сослуживцем. Разговор проходил около одного из заматованных окон. Эдя стоял к окну спиной. Разговор был оживлённым. Эдя опёрся задом на подоконник, завёл случайно руку назад, и рука наткнулась на какой-то маленький шарик. Эдя продолжал развивать свою мысль, машинально покручивая попавший в его пальцы шарик. Вдруг Эдя почувствовал, что покручивать шарик стало — по сравнению с тем, что было до этого — очень легко. Эдя обернулся и с ужасом увидел, что его пальцы держат пломбу, которую он только что оторвал от проволоочки. Проволочка обматывала ручку окна, а припаянная к проволоке пломба блокировала возможность её размотать и с ручки снять.

Собеседник Эди поспешил уйти, а обескураженный и испуганный Эдя побежал к одному из начальников, который повёл его к ещё более высокому начальнику. Тот вызвал начальника Первого отдела, а тот — сотрудника из того управления НКВД, которое окна пломбировало. Эдю

долго допрашивали. В качестве свидетеля вызвали Эдиного собеседника, который, по счастью, Эдины показания подтвердил.

Сотрудник НКВД возмущённо говорил Эде: «Вы же не ребёнок, Вы же должны отдавать отчёт в своих поступках! Как Вы могли это сделать!?!». Эдя подавленно молчал, а на риторический вопрос сотрудника НКВД ответил Эдин начальник. Он сказал: «Ну, ведь Эдуард Савельевич — композитор». Это странное объяснение неожиданно удовлетворило сотрудника Органов. Он снова запломбировал окно, а Эдю — отпустил, строго наказав ему никогда не вертеть в руках незнакомые предметы.

Но вот другая история, которую я узнал от Эди примерно в те же времена. Начинаясь 1951-й год. Маша училась в последнем десятом классе и собиралась поступать на мехмат МГУ. И вдруг в один из дней января были арестованы трое Машиных школьных подруг. Семья Колмановских жила под Дамокловым мечом страха за судьбу Маши. Тогда и Эдя, и Александр Маркович, и Раиса Наумовна знали о сути дела и о причинах этих арестов очень мало. Далеко не всё (но гораздо больше, чем члены её семьи) понимала и сама Маша. Я тогда об этом деле узнал, соответственно, тоже далеко не всё, и ниже излагаю картину, ставшую мне до конца понятной лишь много позже.

Итак, в начале 1951-го в Москве была арестована группа молодых людей, состоявшая из нескольких студентов младших курсов некоторых вузов и нескольких десятиклассников. В отличие от большинства арестов и судебных приговоров того времени, характерных тем, что они не были основаны ни на чём, с участниками этой группы власть расправилась «за дело»: они были членами тайного общества. Их соединило неприятие режима тогда ещё живого Сталина, которого они обвиняли в извращении учения покоящегося в Мавзолее Ленина. Всей исторической и нравственной одиозности фигуры этого своего кумира в саркофаге они, как подавляющее большинство советских граждан всех возрастов, не осознавали.

С осени 50-го они собирались по несколько человек. Все вместе они не собирались никогда — для конспирации. Поэтому многие члены группы увидели друг друга впервые только на суде. На своих собраниях члены группы изучали и обсуждали труды Ленина. В этом чтении они фиксировали противоречия между современной сталинской идеологической политической реальностью и высказываниями Ленина. Они считали себя организацией, назвав её «Союз борьбы за дело революции». В историю сопротивления сталинскому режиму они вошли ещё под именем «Юные Ленинцы». Это дело описано в литературе весьма полно (см., например: Н. Улановская, М. Улановская «История одной семьи», М., Весть-ВИМО, 1994), и я постараюсь свести повторения к минимуму.

Среди участников группы были три Машины соученицы — из десятых классов 79-й школы в Калошином переулке: Сусанна Печуро, Ирэна Аргинская и Катя Панфилова. Один из членов организации, студент Борис Слуцкий, хотел вовлечь в организацию и Машу. У Маши, которой Сусанна о делах группы кое-что рассказывала, душа к вступлению в её члены не лежала. Эдя рассказывал мне тогда, что вскоре после ареста подруг Машу вызывал следователь, ведущий то дело. Он держал Машу у себя целый день, и обезумевшие Эдя и Машины родители были уверены, что Машу не выпустят. Но её выпустили, и о том, как с ней беседовал следователь, Маша мне подробно рассказала гораздо позже — в контексте другого события. Об этом я расскажу в своём месте...

Маша позже рассказала мне и о том, что примерно во времена страха за Машу в связи с делом её арестованных подруг её отцу досталось ещё одно переживание. У племянницы Александра Марковича Тани была подруга Лина, которая уже училась в Педагогическом на каком-то гуманитарном факультете. Незадолго до поступления Лины в институт у неё умерла мать. Лина бывала в доме Колмановских и ценила общение с мудрым Александром Марковичем.

В какой-то момент к нескольким студентам её факультета, включая её самоё, прицепились сотрудники Органов, до которых дошли (правдивые или вымышленные) сведения об антисоветских настроениях в этой студенческой компании.

Студентов не арестовывали, но их мучители стояли на том, что сами эти комсомольцы приписываемых им гадостей выдумать не смогли бы, что этим гадостям их подучивает кто-то из взрослых, и угрожали комсомольцам арестом, если они не назовут имени их соаврителя.

Лина приехала к Александру Марковичу советоваться. Александр Маркович посоветовал Лине назвать имя её покойной матери. Лина этот совет отвергла и объявила (Маши во время этого разговора дома не было), что она приняла решение назвать имя Александра Марковича. Её резон состоял в том, что он уже стар (ему было примерно 55), и что справедливо погибнуть ему, а не талантливым молодым людям. Лина ушла, сказав, что она в своём намерении тверда. Можно представить себе как много недель жили в ожидании страшных бед отец и дочь. Александра Марковича не посадили. Может, Лина своего кошмарного поступка не совершила: одумалась сама или её идею отвергли её друзья. Может, Органы охотились за другим, и предложенная Линой кандидатура их внимания не привлекала. После этого случая Маша от встреч с Линой отказалась наотрез и это своё нежелание блюдёт до сих пор, несмотря на то, что Лина с её взрослым сыном живёт в Израиле.

Весной того 51-го года Маша кончила школу и получила аттестат с золотой медалью. Такой аттестат давал право на зачисление в любой вуз страны вне конкурса, без вступительных экзаменов. У Маши были недюжинные способности и интерес к математике и к смежным наукам, и она подала заявление на мехмат МГУ. Но те неоспоримые на первый взгляд льготы, которые давала золотая медаль, могли быть легко сведены администрацией вуза на нет: обладатель золотой медали должен был пройти так называемое «собеседование». Оно состояло в неформальной беседе абитуриента на заранее неизвестные ему темы с членами приёмной комиссии.

Комиссию, перед которой предстала Маша, возглавлял известный и пожилой профессор Филоненко-Бородич. Он был не математик, а механик. Сперва Маше предложили одну за другой несколько задач, и она их все решила. Потом Филоненко-Бородич спросил у Маши, кто автор романа «Князь Серебряный». Услышав ответ, почтенный профессор спросил у Маши, какое сочинение Толстого Маша предпочитает — «Князь Серебряный» или «Хождение по мукам». Маша на провокацию не поддавалась и обратила внимание председателя на то, что названные им сочинения написаны совершенно разными авторами.

Когда через несколько дней Маша в сопровождении Раисы Наумовны пришла в секретариат приёмной комиссии, сидевшая там чиновница объявила им, что Маша не принята на факультет из-за отсутствия мест. Если б это было правдой, то это означало бы, что на мехмат подало больше золо-

тых медалистов, чем мехмат в тот год принимал на первый курс и что при этом результаты Машиного собеседования были хуже результатов других медалистов. Но «отсутствие мест» было не правдой, а наглой формулой изживания и дискриминации евреев. Напомню, что за три года до того меня, единственного кандидата в аспирантуру ИТМ АН по специальности «вычислительная математика» не приняли с той же мотивировкой.

Маша и её мать вышли в коридор, совершенно обескураженные. Тут к Раисе Наумовне подошла какая-то сотрудница комиссии и тихонько сказала, что комиссия, которая проводила собеседование с Машей, дала Маше блестящую характеристику и рекомендовала её принять, и что Машу отклонил более высокий административный уровень. Эта тайная доброжелательница посоветовала Раисе Наумовне подать Ректору апелляцию на полученный Машей отказ и на его мотивировку.

Раиса Наумовна и Маша присели в стороне и такую апелляцию написали. Вскоре от Ректора пришёл отказ. В тот год не приняли ни одного еврея из числа победителей математической олимпиады для школьников.

Незадолго до этих Машиных вступительных экзаменов в МГУ на должность ректора заступил Иван Георгиевич Петровский, крупный математик, специалист в области теории дифференциальных уравнений. Он был мягким и доброжелательным человеком. Что толкнуло его на согласие занять пост, который в те годы автоматически предполагал соучастие в подлых поступках? Ведь от такого предложения можно было с сожалением отказаться, сославшись на неспособность к административной работе, на занятость научной работой, на слабое здоровье. Но — не отказался. Может, давление на Ивана Георгиевича исходило от такой силы, что он понимал: «Откажусь — сгубят». Может, его уговорили занять этот пост коллеги и друзья, опасавшиеся того, что другой ректор будет хуже.

...Иван Георгиевич пережил на этом посту Сталина и Хрущёва, но ситуации, в которых ему пришлось поступаться со своей совестью, время от времени повторялись. Последняя такая ситуация почти непосредственно предшествовала его смерти. Была эпоха борьбы властей с А. Д. Сахаровым и с Е. Г. Боннэр. Власти не чурались никаких гадостей. Вот краткий пересказ истории, рассказанной Сахаровым в его Воспоминаниях.

С последнего курса вечернего отделения факультета журналистики МГУ отчислили дочку Елены Георгиевны Таню. Повод для такого приказа был совершенно надуманным и фальшивым. Андрей Дмитриевич поехал к ректору И. Г. Петровскому. Тот не решился признаться, что его рукой водили власти и оправдывал несправедное отчисление. Но и бесповоротно отказать Сахарову не решился. Состоялось ещё несколько безрезультатных встреч. На последней встрече ректор в подмогу себе вызвал декана факультета, проректора и секретаря парткома. Те продолжали нести наглый вздор, Сахаров вышел из себя и два раза ударил кулаком по столу. Петровский в разговоре участия не принимал и грустно сидел в конце стола. Отчисление Тани было оставлено в силе.

После окончания неприятной встречи с Сахаровым Петровский поехал в отдел науки ЦК, где у него был конфликтный разговор с заведующим отделом Трапезниковым на совсем другие темы. Выйдя от Трапезникова, Петровский упал и умер. Некоторые люди (в их списке я, к моему огорчению, обнаружил имя Павла Сергеевича Александрова) стали обвинять в смерти Петровского Андрея Дмитриевича. Этот фрагмент своих воспоминаний Сахаров заканчивает словами сочувствия в адрес Петровского...

Большинство московских вузов евреев в студенты не принимало. Маша со своим золотым аттестатом обращалась в разные институты, в большинстве из них её не пропускала медицинская комиссия — из-за близорукости, которая в те годы ещё не была столь значительной, чтобы ей, молодой девушке, не безразличной к собственной внешности, ходить в очках. В Институте Химического Машиностроения медалистку Машу приняли на ура, но попросили её паспорт, а когда увидели, какое слово там в пятом пункте написано, то ей без церемоний сказали, что для неё в этом институте места нет.

Среди окончивших школу еврейских юношей и девушек возникла классификация московских вузов по признаку, какова вероятность еврею в вуз попасть. До конца срока приёма заявлений оставалось совсем мало времени, когда вдруг Маша узнала о том, что хорошая репутация в этом плане была у Менделеевского Химико-Технологического института. Маша подала туда свои бумаги, Она ожидала, что принимавший её секретарь приёмной комиссии поступит обычным коварным манером. Но он повёл себя по другому. Он видел по исколотым краям Машиного аттестата, (при приёме документов они подшивались в папку), что до Менделеевки Маша успела побывать и в других вузах. Но это его не обидело. Просмотрев Машин аттестат он торжественно поблагодарил её за то, что из всех институтов такая великолепная абитуриентка выбрала именно их институт. Он позвонил в санчасть и попросил врачей быть снисходительными к Машиной близорукости и не писать в своём заключении ничего, что помешало бы ректорату принять Машу в студентки. Это последняя просьба чиновника к санчасти была, впрочем, излишней, ибо к этому моменту Маша успела выучить всю офтальмологическую таблицу наизусть и могла продемонстрировать любую остроту зрения.

Маша была принята. Она больше не имела дел с тем сотрудником Института, который с ней так необычно обошёлся при её поступлении. Только редко она встречала его в коридорах или на лестнице и спешила с ним поздороваться. Запомнила она на всю жизнь его имя: Николай Николаевич Лебедев. Его торжественная любезность казалась совершенно необъяснимой.

У кого-то из Машиных знакомых или родных возникла идея, что этот секретарь комиссии, будучи молодым мужчиной, размяк, увидев перед собой красивую и обаятельную девушку. Эта гипотеза не была ни подтверждена, ни опровергнута. В Менделеевку на первый курс была принята золотая медалистка из г. Балашова Саратовской области Люда Аркус. Само её проживание с матерью в этой провинции было одним из атрибутов репрессий, которым подвергалась эта семья. В своих попытках поступить в вуз девушка терпела неудачу за неудачей. Но и её, как и Машу, добрая судьба привела в Менделеевку и — тоже к Лебедеву. Потом, когда студентки Калмановская и Аркус познакомились, они рассказали друг другу о своих мытарствах и о поступлении в Менделеевку. Выяснилось, что Лебедев и Люду поблагодарил за честь, оказанную ею их институту, и её он принял в студентки во всеми знаками уважения. Но и Люда Аркус была очень красивой девушкой. Проверить гипотезу о слабости Лебедева к девичьей красоте не удалось, потому что в тот год в Менделеевку некрасивые медалистки еврейского происхождения заявлений не подавали.

Правдоподобное другое предположение: русский интеллигент Лебедев был честен и благороден и нашёл в себе мужество противостоять тогдашним нелюдским установкам властей. Но почему это ему позволяли,

почему не убрали из приёмной комиссии? Может, под давлением таких людей как Лебедев, Ректорат обратился в Райком и Минвуз и выговорил себе право принимать евреев, мотивируя это особым дефицитом кадров перед предстоящим расцветом химической промышленности, не зависящим от национальности и красоты глаз абитуриентов и абитуриенток? Да, понятно только, что Лебедев был хорошим человеком. Мечтавшая о математике, но отвергнутая математиками с мехмата Маша оказалась, как показали годы учёбы и будущая профессиональная деятельность, способной и к более космополитической химии.

Следствие по делу Юных Ленинцев продолжалось год, и в начале 52-го состоялся несправедливый суд над молодыми людьми (в сущности, детьми). Ленин лежал безмятежно в Мавзолее, а защитникам его учения оглашали приговоры. Три руководителя группы — Б. Слуцкий, Е. Гуревич и В. Фурман были приговорены к расстрелу и расстреляны. Десять человек — и среди них три Машины школьные подруги — были приговорены к 25 годам лагерей, а трое — к 10 годам лагерей. Маша была в тесных отношениях с родителями своих заключённых подруг Сусанны и Ирэны, и иногда через них посылала этим девочкам какие-нибудь мелочи и записки.

Перехожу к другой теме — о событиях в жизни Майи Левидовой, начавшихся в 49-м или 50-м году. Я узнал о них летом 50-го (возможно, память меня подводит, и я ошибаюсь на год в ту или иную сторону). В то лето — не помню точно — Галя с Сашенькой куда-то без меня уехали или безвыездно жили на даче. Во всяком случае, я много времени жил летом в Москве без них.

Днём я ходил на работу, а по вечерам либо проводил время в обществе Лопшицев и их гостей, которых, несмотря на вызванную арестом Наталки подавленное настроение нашей семьи и связанные с этим событием заботы, бывало по-прежнему немало, либо встречался с друзьями.

Иногда я отправлялся поболтать — благо недалеко — к Майе Левидовой. В то лето она снимала дачу в Абрамцево. Но это было не то аристократическое Абрамцево, вошедшее в историю русской живописи и в быт русских и именитых советских художников. Чтобы попасть из Москвы в известное Абрамцево, надо сойти с электрички на станции «Абрамцево» Ярославской дороги и пойти налево. А если, сойдя с поезда на той же станции, пойти направо, то попадаешь в скромную деревеньку, которая, кажется, тоже носит громкое имя Абрамцево. В этой деревеньке съём дачных помещений обходился недорого, природа там была хорошая, река Воря протекала и там. Поэтому многие художники, властями не обласканные, жили летом в этом второсортном Абрамцево.

Майя на своей даче жила отнюдь не безвыездно и много времени проводила в Москве, полагаясь на маму Беллу Владимировну, которая безропотно оставалась в Абрамцево вдвоём с довольно строптивыми пятилетним внуком Мишей. В такие вечера я к Майе иногда и приходил. К этому времени я знал о её жизни многое.

В конце сороковых годов Майя стала постоянной сотрудницей Дома Народного Творчества им. Крупской. Она учила самодеятельных художников заочно (!). Своим ученикам, которые жили в разных частях страны, Майя посылала по почте методические пособия и задания. Ученики присылали ей свои работы, Майя посылала им на эти работы рецензии, а раз в год, в начале лета её ученики получали вызов в Москву на недельную или двухнедельную сессию, во время которой они общались со

своим педагогом лично, выполняли работы в студии и получали новые общие установки на следующий учебный год. Майя говорила, что среди её учеников есть много способных людей. Эту свою работу Майя ценила.

Майя продолжала заниматься и своей собственной живописью. К тому времени, когда она начала преподавать в Доме Народного Творчества, ученицей Митурича она быть перестала. У неё появился новый мэтр — известный художник Роберт Фальк.

Я уже рассказывал о том, как отец Майи Михаил Левидов, знакомый с Фальком, как-то где-то на улице познакомил художника со своей пятнадцатилетней дочкой. Это было в середине тридцатых, вскоре после возвращения Фалька в Москву из Парижа. Совсем юная художница смотрела на известного художника с огромным пиететом к его живописи и с живым интересом к его его внешности: Фальк был видным, рослым мужчиной. В те времена знакомство Майи с Фальком той встречей и кончилось. Майя была ученицей А. Кравченко, потом стала студенткой училища 1905-го года.

Но вот лет через двенадцать после той случайной встречи, знакомство Майи с Фальком возобновилось. Майя мне об этом событии рассказала, но я подробности и обстоятельства забыл. Общение между Майей и Фальком на этот раз стало регулярным. Майи показала Фальку свои работы, они ему понравились, и — по его ли, по её ли инициативе — Фальк стал Майю в её работе направлять и консультировать.

Майя рассказывала мне о своих занятиях с Фальком. Но за более чем десятилетнее знакомство с Майей мы привыкли с ней быть откровенными друг с другом во всём, и вот с какого-то момента я узнал от Майи, что её отношения с Фальком перешли границы отношений ученицы с учителем. Весь процесс от момента возобновления её знакомства с Фальком до превращения этого знакомства в роман занял не слишком большое время, и поэтому, слушая регулярные рассказы Майи о развитии её отношений с Фальком, я не имел случая с ним познакомиться.

Случай этот наступил в один из вечеров того лета, когда она снимала дачу в Абрамцеве, а я пошёл повидаться с ней, узнав предварительно по телефону, что и она в городе. Я знал, что в Абрамцеве снимал дачу и Фальк со своей женой Анжелиной Васильевной.

Было часов девять вечера. Мы сидели и разговаривали с Майей. Тем у нас всегда было предостаточно. Говорили мы и о наших мальчиках, и о связанных с ними проблемах, и о Майиной работе, и о событиях в доме Лопшицев, с которыми Майя была знакома с момента моей женитьбе на Гале.

Вдруг раздался звонок в дверь. Майя не ждала никого. Вошёл пожилой человек, одетый в военную гимнастёрку. Он извинился за неожиданное появление. Майя знакомить нас не стала. Они сели друг против друга за столом (я сидел на диване поодаль). Они говорили негромко, и не все слова до меня доносились. Речь у них с Майей вертелась вокруг того, что неожиданно плохо почувствовала себя жена гостя, что завтра ему придётся поехать к ней на дачу, что поэтому прежние его планы меняются, что не нужно ли Майе что-нибудь на дачу передать и прочее. У гостя был старческий голос и старческая манера несколько раз возвращаться к одной и той же теме.

В смысл разговора я не вникал, а думал только о том, когда этот непрошенный и занудный визитёр удалится, а прерванный наш с Майей интересный разговор продолжится. Наконец, пробыв минут пятнадцать,

старик ушёл. Проводив его и закрыв за ним дверь, Майя вернулась ко мне и спросила, как мне понравился только что ушедший гость. Я не знал, что отвечать и пожал плечами. «Дурак», — сказала мне Майя — «Это Фальк. Там на даче разные события, он остаётся в городе и через десять минут вернётся ко мне и будет у меня ночевать. Я думаю, что тебе хватит десяти минут, чтобы попрощаться со мной и уйти. Позвони мне завтра вечером». Я тут же ушёл.

На следующий день Майя рассказала мне о текущих событиях на даче, о сложных обязательствах Фалька перед его не слишком здоровой женой и о многом другом.

Фальк уехал во Францию в начале двадцатых годов, вполне успешно работал там и совершенно не рвался обратно в Советский Союз. Более того, до него доходили недобрые вести с родины, и он вполне мог предвидеть, что здесь его могут ждать неприятности самого разного масштаба. Но ставший взрослым сын Фалька стал уговаривать и уговорил отца вернуться в Союз. Деталей его тогдашнего семейного положения я не знаю. Подчинившись уговорам сына, Фальк в середине 30-х вернулся с ним в Москву. Но живопись пятидесятилетнего Фалька и сама персона Роберта Рафаиловича ко двору в Москве не пришлось.

В молодости Фальк был учеником В. Серова. Фальк считал, что выбранная им манера творчества, родственная современной французской школе, является естественным развитием художественных позиций, воспринятых им от Серова. Ещё до революции Фальк стал членом творческой группы «Бубновый валет», объединившей художников, мировоззрение и методы работы которых вдохновлялись открытиями и мастерством Сезанна. «Бубновый валет» прекратил своё существование незадолго до революции. Фальку было родственно творчество многих известных русских художников, например, Машкова, Кончаловского, Лентулова, Кузнецова, Куприна, Сарьяна. Большинство из них входило, как и Фальк, в «Бубновый валет».

Все эти художники, так же как и Фальк, соцреализма и пропагандистских просоветских мотивов в своём творчестве избегали, но они с властями и с руководством Союза Художников как-то научились ладить, и власти за отклонение от генеральной линии к ним не цеплялись. Фалька же власти и руководство СХ невзлюбили. Особенно явственной эта нелюбовь стала после того, как физически сильный Фальк основательно побил за антисемитскую выходку одного из руководителей СХ СССР А. Герасимова, специализировавшегося на портретах вождей.

Фальк, попавший в опалу вскоре после возвращения в Союз из Франции, успел получить мастерскую в известном доме Перцова в Соймаоновском проезде около Крпоткинской набережной. В этом доме мастерские имели многие известные и удачливые художники. Мастерская Фалька была на самом последнем этаже, на который старевшему художнику становилось подниматься всё труднее. Там же при мастерской было небольшое жилое помещение.

Фальк был не только станковым живописцем. Он был ещё и театральным художником, был другом Михоэлса (другом Михоэлса был и Михаил Левидов) и сделал декорации для нескольких спектаклей ГОСЕТа.

Во время войны Фальк жил в Самарканде. Там он написал большое количество высококлассных пейзажей. Сын, по настоянию которого Фальк покинул Францию, погиб на фронте. Впрочем, останься Фальк во Франции, он мог бы, весьма вероятно, стать жертвой нацистов.

Недруги Фалька из руководства Союза Художников почти напрочь отлучили опального художника от заработков. Главным источником денег были частные уроки живописи. Одним из его учеников был известный полярный лётчик Юмашев. Он был способным художником. Его положение давало ему возможность иметь собственную мастерскую и не скрывать своего восторженного отношения к Фальку, несмотря на то, что оно совершенно отличалось от официального.

Юмашев поддерживал своего учителя как только мог. Как мог поддерживал Фалька Илья Эренбург: он иногда покупал у Фалька картины; тогда их рыночная стоимость была невысокой. Иногда у Фалька покупал картины гражданин Греции Костаки. Он был сотрудником греческого или другого иностранного дипломатического или торгового представительства в Москве. Но главное — он был активным коллекционером, собиравшим русское неофициальное искусство. Власти по непонятным причинам смотрели на эту деятельность иностранца вполне лояльно.

Поклонником, другом и, в некоторой степени, учеником Фалька был пианист Святослав Рихтер. Рихтер был не только великим музыкантом, но и очень талантливым художником.

...Один раз Рихтер устроил в своей обширной квартире на ул. Неждановой (Брюсов переулок) приватную выставку работ Фалька. Это было, по-видимому, вскоре после смерти Сталина. Об официальной выставке и тогда ещё не могло быть и речи...

Фальк был женат на своей третьей или четвёртой жене, Ангелине Васильевне Кротов-Щёкиной. Она страдала сильным сердечным заболеванием, и Фальк не решился разорвать с ней брак формально. Жизнь троих — Фалька, его фактической жены Майи и номинальной — Ангелины Васильевны нормальной назвать было нельзя.

Ангелина Васильевна работала в каком-то учреждении, уходила утром и приходила вечером. Днём в отсутствие Ангелины Васильевны в своей мастерской работал Фальк. Он был вегетарианцем, в пище непривередливым, и что-то готовил себе сам. Иногда Фальк принимал посетителей (обычно это были знакомые и знакомые знакомых), желавших посмотреть его живопись. Другой возможности посмотреть картины Фалька почти не было. В музеях они не висели. Разве что — в частных домах, например, у Эренбурга.

Когда Ангелины Васильевны дома не было, то в приёме посетителей случалось участвовать и Майе. Часто Фальк ночевал у Майи. В начальный период своих близких отношений Майя и Фальк проводили время в мастерской Юмашева. Как правило, они вместе проводили летние месяцы — иногда под Москвой, а иногда уезжали подальше. Одно лето они, например, прожили в Молдавии.

Так как Ангелина Васильевна была человеком болезненным, то Фальк много занимался организацией её лечения и отдыха. Эти обязательства Фалька по отношению к оставленной им жене его жизнь с Майей не украшали, хотя Майя признавала необходимость действий дорогого ей человека.

Майя познакомила Фалька сперва со мной, а потом привела его в дом к Лопшицам, и он стал бывать у них довольно регулярно, большею частью с Майей. Фальк быстро признал ум, интеллигентность и богатство души Лопшицев. Много вечеров прошло в интересных и душевных беседах, всем участникам которых было о чём друг другу сказать. Нас объединяли общие политические взгляды, интерес и уважение к творчеству Фалька,

сочувствие к его социальным невзгодам, от которых, впрочем, и мы застрахованы не были — как показала история с Наталкой.

Когда Фальк говорил о политике или о делах житейских, то речи его были оригинальны и интересны — не так, конечно, как речи Абрама Мироновича, но, всё же. Когда же Роберт Рафаилович, блестяще владевший кистью и другими инструментами для живописи и рисования, начинал философствовать на темы искусства, то речи его становились напыщенными и тривиальными.

Он мог со значительной и назидательной интонацией толковать о том, что новые цели в искусстве, как и новые вершины при подъёме на горную гряду, открываются лишь по мере достижения предыдущих. Идею об аналогии между живописью и музыкой Фальк любил иллюстрировать сравнением нанесённого художником яркого пятна, изображающего платье, свисающее из окна на блёклой стене, с неожиданным громким аккордом среди звучания спокойной мелодии. Мне такие сравнения казались тогда и кажутся теперь поверхностными — как и сама идея об аналогии между живописью и музыкой. Эту расхожую идею я считаю просто ошибочной. Признаюсь, я бывал удивлён тем, что великий Фальк выступал в роли проповедника сомнительных троизмов. Но ведь и великий Лев Толстой отдал немалую дань высокомерному философствованию.

Фальк приглашал нас — старших Лопшицев и меня с Галей — в свою мастерскую, и мы перевидали много его работ разных периодов. Три работы — Парижский пейзаж с мостом через Сену (масло), Самаркандский пейзаж с персиковым деревом в цвету (гуашь) и рисунок карандашом «Дерево» Фальк Лопшицам подарил.

Иногда Абрам Миронович и Фальк играли (в мастерской Фалька) сочинения для скрипки и фортепиано, которым Фальк в некоторой степени владел. Впрочем, несмотря на эти дуэты, оба исполнителя оценивали (за глаза!) музыкальный уровень друг друга не очень высоко.

...Фальк с огромной надеждой воспринял смерть Сталина, прекращение дела врачей и другие благие сигналы. Он видел скорые и большие перемены. Я помню, как убеждённо он говорил об этом со мной, когда мы в начале или в середине апреля случайно встретились в Кривоарбатском переулке и надолго остановились — поговорить и обсудить. Он с восторгом рассказывал мне новость, распространённую «Голосом Америки» — о том, как жители Нью-Йорка забросали тухлыми яйцами одиозного изверга Вышинского, который тогда был представителем СССР в ООН. Многие надежды Роберта Рафаиловича сбылись, но — ох как нескоро.

Первая небольшая персональная выставка Фалька состоялась в зале МОСХа на ул. Жолтовского (Ермолаевский переулок) около Патриарших прудов только весной 58-го года. Сам Фальк на неё придти не мог — настолько он уже был болен. Он и скончался осенью этого года в больнице на руках у Майи. Ему было 74 года.

Майя не была законной женой Фалька, и все работы художника, находившиеся в момент его кончины в его мастерской, автоматически достались его законной, хотя фактически уже много лет как вовсе и не жене Ангелине Васильевне Щёкин-Кротовой. Она, что называется, взяла вдовство в свои руки и немало сделала для посмертной пропаганды творчества её бывшего супруга.

У Майи осталось всего несколько работ Роберта Рафаиловича, которые он либо ей дарил, либо незадолго до кончины принёс к ней на хранение, ведя переговоры об их продаже. Осталась у Майи и бронзовая скульп-

птура — голова Фалька — сделанная скульптором Слономом и (не помню) подаренная автором либо самому Фальку, когда тот был жив, либо Майе после смерти своей модели.

А следующая выставка картин Фалька — уже большая, на Беговой — была устроена году в шестьдесят пятом — после падения Хрущёва. До — было нелзя, потому что главный тогда большевик Хрущёв, посетивший ретроспективную выставку советского искусства в Манеже, не оставил Фалька в покое, и часть своей вошедшей в историю советской культуры истерики посвятил ему...

Вернусь к делам семьи Лопшицев. К ним всегда ходило очень много гостей — родственников и друзей, и большинство из них бывало часто и регулярно. Некоторые приходили по предварительной договорённости. Это были люди солидные. Чаще всего их звали на вечер, устраивалось чаепитие или даже ужин (обычно без вина). Другие приходили без всякого приглашения, часто — даже без предварительного уведомления и — в любое время дня и вечера.

Не все гости были одинаково примечательны, но каждый из них был для этой семьи чем-нибудь дорог или интересен, а чаще всего имело место и то, и другое. Многие становились таковыми и для меня. Очень силён был синдром Марк Твенского пуделя: один гость приводил другого — или для того, чтобы познакомить Хозяев со своим Замечательным Другом и таким образом доставить удовольствие и тем и другим, или, попросив у Хозяев разрешения (а иногда и не озаботившись этим) в дом вводился Друг бывалого гостя для того, чтобы ввести этого нового гостя в замечательное общество. Я не смогу и не стану описывать всех друзей и гостей Лопшицев. Их было очень много, и не все они были бесспорно интересными людьми. О некоторых друзьях и гостях я уже писал. О других напишу покороче. Некоторых поневоле оставлю за кадром моих Записок.

Частыми гостями были: литературный критик Зелинский, писательница Лида Бать, наши с Галей сверстники литературовед Павлик Гринцер и сотрудник международного отдела «Литературной Газеты», знаток иностранных языков Валя Островский, мать Павлика Мурочка и родители Вали. Приходили видные математики Норден (Казанский университет), Вагнер (Саратовский университет), Скопец (Ярославский пединститут), Олевский (Тимирязевская академия), инженер Александр Яковлевич Каждан, литературовед и переводчица Раиса Петровна Разумова.

Про Раю Разумову я напишу, всё же, чуть больше. Она жила одна, в небольшой комнате недалеко от нас — на той стороне Арбата, в старом двух- или трёхэтажном доме на Композиторской улице (Дурновский переулок). Теперь этот переулок сметён Новым Арбатом.

Узкой специальностью Раи Разумовой были чешский и словацкий языки. Не исключаю, что она знала и сербский и другие языки западнославянской группы. Она была умной и трезвой женщиной. Она придерживалась близких нам и Галиным родителям политических и литературных взглядов. Она была примерно того же возраста, что и старшие Лопшицы, и обладала типичной внешностью пожилой интеллигентной еврейской женщины: у неё были полуседые волосы, очки и она много курила. Когда мы (обычно все вчетвером) приходили к ней в гости попить чаю, то было видно, что встретить нас она выходила из-за пишущей машинки, в которую всегда был вставлен лист бумаги.

К моменту моего знакомства с Раей она была одинока, но муж или близкий человек когда-то у Раи безусловно существовал: у Раи был сын

Валя. Ещё до войны Галя с этим мальчиком была знакома, но он был на несколько лет её старше, и настоящей дружбы не вышло. Когда мы бывали у Раи, Валя уже жил отдельно, у него были жена и два сына. Я с Вале́й в те годы не свиделся ни разу.

...Но через без малого сорок лет я с Вале́й встретился. В конце 1983 г. моя старшая дочка Катя вышла замуж за Серёжу Спинаделя. Выяснилось, что Серёжа был младшим сыном Вали. Следовательно, фамилия Раино́го мужа, которого я не знал и о котором у Серёжи Спинаделя никогда не спрашивал, была Спинадель. Вот тогда, через некоторое время после Катиного замужества я в первый раз познакомился со старым уже Вале́й и с его женой Александрой Давыдовной Кругляк, Серёжиной матерью.

Серёжа оказался религиозным сионистом, вовлёл в круг своих идей и интересов нашу Катю, и они в 1988 г. (к этому времени у них было уже трое детей) уехали в Израиль. Через три года после этого их примеру (правда, без религиозной подоплёки) последовала наша младшая дочь Тамара. Через год после смерти Эдиной и Машиной матери Раисы Наумовны уехали в Израиль вслед за дочерьми и внуками и мы с Машей. Это было в 1993 г. Серёжа Спинадель (теперь он Гедалий) с Катей и детьми живёт недалеко от нас в одном из религиозных кварталов Иерусалима...

Вернусь, однако, к тем годам и продолжу рассказ о гостях Лопшицев. Критик Корнелий Люцианович Зелинский был довольно известен. Я застал период, когда он приходил с новой молодой женой Катей. Впрочем, Лопшицы не теряли знакомства и с его первой женой, его ровесницей.

В среде старших Лопшицев и некоторых их друзей был обычай называть друг друга не по именам, а прозвищами. Некоторые прозвища были прозрачно связаны с именами. Так, Вениамина Фёдоровича Кагана называли Вениаминчик, а его жену Марию Соломоновну — Марсолой, Беллу Курс — Белочкой. Но связь прозвищ с именами не была обязательной. Марию Григорьевну звали Палочкой, Абрама Мироновича — Котиком. Галя, Хиля, Наталка, а вслед за ними и Сашенька, и другие дети, а потом и дети детей называли Марию Григорьевну Кулей, а Абрама Мироновича — Путей. Так вот, первую жену Зелинского звали Птичкой, и я её настоящего имени не знаю.

Знакомство с Зелинским возникло, кажется, из дачного соседства в Ильинском в тридцатые годы. Раз в два—три месяца Лопшицы обменивались визитами с Зелинскими, и мы с Галей в этих встречах участвовали. С какого-то момента — это было в конце сороковых или в начале пятидесятых — мы ездили к Зелинским в их новую квартиру, которую видный критик получил в одном из десятка двухэтажных коттеджей, выстроенных для писателей на Хорошёвском шоссе. Коттедж был поделён на две или четыре квартиры. Нас поразило, что квартира в этом коттедже была двухэтажной.

Корнелий был высокий красивый мужчина, и Галя рассказывала мне, какое удовольствие она получала, когда ей приходилось девочкой играть на равных в теннис на дачной площадке с этим моложавым и значительным человеком — против него или в паре с ним.

Разговоры шли, естественно, вокруг литературы и — неизбежно — затрагивались и политические темы. Как и со всеми друзьями, Лопшицы были с Корнелием вполне открыты. Споры на литературные темы велись весьма темпераментные. В политике Корнелий судил обо всём с тех же позиций, что и Лопшицы. В его интонации обычно присутствовала некоторая кокетливо-ироническая нота, которая должна была свидетельствовать

о его истинном отношении («Что поделаешь — приходится») к своим излишне верноподданническим высказываниям, которые то и дело попадались в его статьях. Иногда его писания попадали в общий поток шельмования того или иного писателя, и его самоирония извиняла его продукцию не вполне.

Но тогда нравственные нормы были очень низки. Лопшицы по старой дружбе относились к участию Корнелия в грязноватых делах с удивлявшей меня снисходительностью: я уже привык к раздражению и даже взрывам Абрама Мироновича при разных проявлениях беспринципности. Возможно, Лопшицы молчаливо соглашались с закадровым «Такая уж профессия...» и, может, даже сочувствовали вынужденному лицемерить Корнелию.

...Но вот некоторое время назад в израильской русской газете «Еврейский камертон» (3.02.2000) я прочёл статью Бавильского об Илье Сельвинском (по случаю столетия со дня рождения поэта). Автор статьи, ссылаясь на сведения, полученные им от дочери поэта Татьяны Ильиничны Сельвинской, пишет о дружбе Сельвинского с Корнелием Зелинским. Таня (она моя ровесница, и пару лет мы учились с ней в параллельных классах; знакомства, впрочем, между нами не возникло) рассказала, что когда к КГБшному делу Сельвинского был получен доступ, то среди бумаг были такие, которые свидетельствовали о том, что Зелинский был приставлен к своему другу для осведомительской деятельности. Конечно, это вполне могло быть так. Но, во-первых, исправно ли выполнял эту функцию Корнелий? Во-вторых, был ли он приставлен стучать и за другими, например, за Лопшицами? Мне кажется, что при всех вариантах на Лопшицев Корнелий не стучал. Во всяком случае, результаты подобной деятельности, если бы она и имела место, никогда не проявлялись. Бог мой! Как — при том, что творилось в стране — многие из нас участливо умереть своей смертью?

В Староконюшенный часто приходили и молодые люди — Галины и мои друзья и многочисленные молодые родственники хозяев дома. И эта молодёжь тоже тянулась к старшим, делилась с ними своими делами или просто слушала, о чём говорят, о чём спорят хозяева — между собой и со своими гостями.

Абрам Миронович, вообще, был большой спорщик. Но он ценил только умных собеседников. Вернее, только умные возражения на его собственные утверждения. Он входил в азарт и оттачивал в процессе разговора свои аргументы и, неявно, побуждал достойного оппонента делать то же самое.

На непродуманные возражения или утверждения собеседника, особенно, если этот собеседник был известен как человек неглупый, Абрам Миронович реагировал — для тех, кто не имел опыта полемики с ним — несколько неожиданно: он обижался. Притом довольно эмоционально. Абрам Миронович объяснял свою странную для многих реакцию тем, что употребление глупостей в споре с ним свидетельствует о том, что собеседник («вообще-то он же умный») его не уважает, коль скоро допускает, что он, Абрам Миронович, может глупости не заметить или, упаси Боже, с ней согласиться.

С заведомо глуповатыми людьми Абрам Миронович в споры старался не входить, но лаской и вниманием их не обделял. Выслушивал их проблемы, давал им советы, помогал, чем мог. Эта особенность Абрама Мироновича-полемиста побуждала людей, любивших его, а его любили почти все, кто с ним соприкасался, не огорчать его и вести диалог с ним

осмотрительно, и это, в конечном итоге, шло на пользу им самим. Мне — во всяком случае, хотя моему самолюбию случалось получать чувствительные щелчки.

Споры могли возникнуть на самые разные темы. Тема зависела от интересов собеседников и от текущих событий домашнего и государственного масштаба. Много споров было на математические темы и о том, как математику преподавать. Спорили по поводу взаимоотношений с родственниками и с близкими друзьями, с товарищами по работе (на кафедре, в редакциях и пр), с нашими преподавателями и молодыми друзьями, вообще — с окружающими. Спорили о книгах, о фильмах, о спектаклях, о художественных выставках. Спорили о воспитании детей — и о принципах, и о конкретных случаях. Конечно — и очень много — спорили о политике. Хозяева дома и гости непрерывно анализировали богатую событиями военную и политическую обстановку, отыскивая исторические параллели. Чувствовалось, что их интеллект и дух всегда, так сказать, включены и готовы к работе.

Чаще всего, естественно, споры возникали между близкими и любившими друг друга людьми, но либо предмет спора, либо темперамент Главного Спорщика, либо и то и другое вместе делали эти споры почти всегда несколько напряжёнными и волнующими, и требовалась привычка и самодисциплина, чтобы не дать перерасти различиям позиций участников спора в антагонизм между самими участниками. И, всё же, зачастую после острого спора его участникам требовалось остывать, для какой-то цели кто-нибудь из собеседников пытался завершить разговор броской шутливой фразой или изменить его тему.

Как-то в самом начале пятидесятых в Москве оказался племянник Марии Григорьевны Адя. Он, напомним, был кадровым военным, батальонным комиссаром. После войны он жил с семьёй и служил в Воронеже. Его вызвали на краткосрочные курсы политработников, созданные при Военно-Политической Академии им. В. И. Ленина. Адя и жил там — в общепитии слушателей, которые в это время разъехались на каникулы или на стажировку в войска.

Адя в тот свой приезд часто к нам заходил по вечерам. Время было ужасное, антисемитское, это увлечение властей, дополнительное к их прошлым художествам, нас волновало и возмущало. Мы на эту тему много говорили в семье и с гостями, и споры с Адей не возникнуть не могли. Они и возникали. Вкрадчивый Адя от них уклонялся как мог, а если уж не получалось, то лепетал что-то — с его точки зрения убедительное, а с точки зрения Абрама Мироновича — нелепое.

Один раз вечером мы с Галей пошли к друзьям в гости. Когда мы вернулись, то застали Абрама Мироновича и Марию Григорьевну в очень подавленном состоянии. Выяснилось, что приходил Адя. Но на этот раз острый разговор за столом Аде притушить не удалось. Абрам Миронович высказывал — и высказывал очень резко — суждения, которые с какого-то момента стали касаться и умственных возможностей и бессовестного поведения заоблачных кумиров, которым Адя поклонялся. Из речей Абрама Мироновича выходило ещё и то, что соглашаться с позицией и высказываниями властителей могут только лица с низким нравственным и интеллектуальным потенциалом. Тут Адин ресурс терпения — Абрам Миронович поносил дорогию для Ади идеологию, чтимых им деятелей и его самого — внезапно кончился. Он что-то вскричал, выбежал в переднюю, накинул шапку и шинель и выбежал из дому, не простившись.

Абрам Миронович был очень рассержен на ограниченность Ади и — кипел. Мария Григорьевна полностью была на стороне мужа по существу спора, но она мучилась от того, что в их доме обижен гость, да ещё племянник, которого она знала и любила с его детства. Абрам Миронович тоже любил Адю, но очень уж он любил истину.

Постепенно Абрам Миронович остывал, на первый план стала выходить неловкость от того, что он обидел гостя, и на другой день, когда, по его расчётам, лекции окончились, он поехал в общежитие Академии к Аде — мириться. Надо ли говорить, что и Адя жаждал помириться со своим любимым дядей. Всё окончилось благостно, и больше бурных размовок между этими родственниками не было. Но я не утверждаю, что исчезли сами споры. Думаю, что нет.

Мне довелось присутствовать при одном споре Абрама Мироновича, в течение которого он был мягок и явно подавлял в себе потребность взорваться. Этот спор состоялся тоже в начале 50-х. У нас дома в дневное время оказалась Софья Александровна Яновская. Она происходила из той же еврейской одесской математической среды, что и Абрам Миронович и Мария Григорьевна, но была несколько старше их. Яновская была членом партии и заведовала на мехмате второстепенной кафедрой Математической логики и Истории математики. В те времена математическая логика ещё не выдвинулась на передовые позиции в математике, как это случилось позже — в связи с возникновением ЭВМ и математической лингвистики. В тематику кафедры Яновской входила и история математики. Ну а раз история, то и идеология недалеко.

Яновская не была постоянным гостем дома Лопшицев, и почему она пришла в тот день, я сейчас припомнить не могу. Скорее всего, у неё с Абрамом Мироновичем возникли какие-то общие издательские дела. Я не принимал участия в разговоре и только слышал его из другой комнаты. Не знаю, с чего этот разговор начался, но я стал прислушиваться к нему, когда понял, что предмет разговора — Сталин.

К моему крайнему удивлению, Софья Александровна выражалась в том смысле, что в выступлениях и в сочинениях Сталина (а к тому времени вышла уже статья «Марксизм и вопросы языкознания» и другие одиозные безапелляционные сочинения) есть вполне доброкачественная логика. Что в его повторах, казуистике, дегенеративном упрощении проблем и оглушении действительных и мнимых оппонентов, в риторических вопросах и в других особенностях стиля, вызывавших насмешки и ненависть интеллигентов нашего круга, есть своя задача, что он хочет, чтобы его поняли простые люди и пр.

Софья Александровна говорила, что раньше она этого не понимала и к сочинениям Сталина относилась скептически (я думаю, что эту фразу Яновская произнесла, потому что помнила их прошлые разговоры с Абрамом Мироновичем, в которых они Сталина критиковали солидарно, и понимала, что и он это помнит), но что вот с недавнего времени она вдумалась и свою прежнюю позицию сменила.

Абрам Миронович был обескуражен. Он возражал своей давней приятельнице и коллеге, но видел, что его аргументы до собеседницы не доходят. Софья Александровна была маленькой седенькой старушкой в очках и с тихим голосом. И этим своим тихим интеллигентным мягким голосом она говорила чушь и чудовищную с точки зрения Абрама Мироновича ложь. Из жалости и из уважения к бывлой дружбе Абрам Миронович удержал себя от того, чтобы броситься в волны привычного для него темпераментного спора, и неприятную для него беседу свернул.

Когда Яновская ушла, Абрам Миронович сказал мне, что подавлен не только вздором, который несла Яновская, но и тем её унижением, которое она перед ним продемонстрировала. В условиях тоталитаризма слабые люди перестраивают свою собственную психику и свой интеллект для того, чтобы не утратить внутренней личностной гармонии. Слишком часто члену КПСС, завкафедрой Яновской приходилось, следуя своему партийному долгу и долгу службы, восхвалять Сталина, и вот, чтобы ликвидировать основания для того, чтобы считать себя лицемером (а ведь быть лицемером безнравственно и мучительно), она стала настраивать себя на то, что все официальные восторги — обоснованы, и что она, искренне присоединившись к ним, в лицемерии теперь себя упрекнуть не может.

Исключительная особенность Абрама Мироновича и Марии Григорьевны состояла в постоянном их желании и умении вникать в проблемы не только многочисленных их родных, друзей, знакомых, но и людей малознакомых, на которых их внимание останавливалось случайно, или на которых их внимание обращали другие, уже знакомые им люди. И не только вникать, но и, при необходимости, толково помогать — то советом, то протекцией, то деньгами, то приютом. Это свойство, наряду с личным обаянием, делало их центром большого круга людей самых разных возрастов и положений — от профессоров, художников и музыкантов до малолеток, едва выучившихся говорить.

Абрам Миронович никогда не бывал хмурым, насупленным, дующимся без видимой причины. Он не разрешал себе делать других людей зрителями признаков его плохого настроения или его внутренних проблем. Он, бывало (и не редко!), сердился, раздражался, огорчался. Но всегда причина такого его не первосортного состояния была всем окружающим совершенно недвусмысленно понятна.

Никогда Абрам Миронович не был склонен держать обиду за пазухой, заставляя окружающих гадать, что именно вызвало его неудовольствие. Он выкладывал всё, сразу и именно тому, кто причиной его раздражения являлся: всё всегда было ослепительно ясно (хотя и не всегда приятно), и никогда Абрам Миронович не уклонялся от скорейшего выяснения и ликвидации взаимных неудовольствий. Мужественно и достойно, не кукуясь, держался он под ударами внешних сил.

Им управляла презумпция доброжелательности и приветливости. Если он случайно встречал в коридоре института, в магазине, в метро, в консерватории или на улице своего близкого или далекого знакомого, то он обязательно давал понять этому встреченному человеку, что он, Абрам Миронович, этой встрече очень рад. Он улыбался, большей частью останавливался, чтобы порасспрашивать этого человека о его делах или чтоб обсудить с ним текущую животрепещущую тему.

Между тем, эта приветливость, естественная для его подхода к проблеме отношений между людьми, в некоторых конкретных случаях давалась ему вовсе нелегко, но этого никто не замечал. Вернувшись домой после многочасового отсутствия, Абрам Миронович обычно рассказывал домашним, где он был, что делал и пр. Я помню, как несколько раз в его рассказах звучали с грустноватым юмором примерно такие эпизоды. «Выхожу я из троллейбуса и всё продолжаю додумывать доказательство, идея которого пришла мне в голову утром, но довести его до конца я всё никак не мог. А тут мне навстречу — NN. На душе у меня стало скушно-скушно. Я сразу понял, что он начнёт говорить глупости о делах издательства. Он меня увидел, обрадовался, я сделал вид, что и я счастлив. Он, действи-

тельно, заговорил об издательстве. Я хитро переключил его на другую, более интересную для него тему: как идут дела с ремонтом их комнаты. Мы постояли минут десять, пока я не нашёл благовидный предлог, чтоб расстаться...». Своего нежеланного собеседника NN Абрам Миронович, как и всегда, обворожил и приподнял в его собственных глазах...

В этой связи я вспоминаю один, не красящий меня, случай. Мы с Абрамом Мироновичем днём возвращались вдвоём откуда-то домой. По дороге мы зашли в 34-й магазин (это было уже после отмены карточек) купить чего-нибудь к ужину. Решили купить сыру. Мы выбрали в кассе чек на триста грамм, и Абрам Миронович протянул его продавщице, сказав: «кусочком, пожалуйста» (т. е. мол не нарезать). Продавщица отрезала кусок сыра от большой головки и бросила его на листик пергамента, лежавшего на чашке весов. Абрам Миронович сказал: «Нет, нет, другой — без корки сзади». Продавщица молча и довольно злобно требование Абрама Мироновича выполнила. Я на Абрама Мироновича посмотрел с удивлением. Когда мы вышли из магазина, Абрам Миронович, заметивший мой взгляд, пояснил мне, что продавцы обязаны отвешивать сыр без этой, не идущей в пищу корки, что этот коэффициент непродажной части сыра им засчитывается, но они норовят незнающим своих прав покупателям эту корку всучивать и за счёт этого — безнаказанно воровать ощутительные количества съедобного сыра.

Мне готовность Абрама Мироновича вступить в конфликт с продавщицей из-за десятка граммов сыра показалась мелочной и неприятной. Но затевать с ним на эту тему дискуссию мне не захотелось. На его объяснение я не ответил никак. Он заговорил о чём-то другом, но я разговора не поддержал. Я продолжал молчать и после того, как мы двинулись домой по Б. Афанасьевскому.

Вид у меня был, очевидно, насупленный, Абрам Миронович понял, что молчание моё не случайно, может, даже понял его причину, и заводить со мной разговор, наперекор своему экстравертному характеру, воздержался. Так, молча, мы проделали весь путь и так вошли в дом. Такое длительное молчание было совершенно неестественным для нас двоих и потому — тягостным. Но я не дал себе труда подавить своё дурное расположение духа и вернуться к обычному оживлённому и деятельному стилю нашего общения при совместной ходьбе.

Через несколько минут после нашего возвращения (дома никого не было) Абрам Миронович не стал больше сдерживаться и сказал: «Нельзя идти рядом с человеком в течение нескольких минут и не сказать ему без видимой серьёзной причины ни одного слова. Так поступать — значит этого человека обидеть. Но я не об этом. Мне страшно думать, какое влияние может оказать пример такого поведения на твоего сына».

В течение ближайшего получаса конфликт остался позади. Во-первых, усилие над собой сделал я и ничего не ответил на неприятное для меня предположение Абрама Мироновича. Во-вторых, что-то любопытное прозвучало по радио, и мы за подвернувшуюся тему ухватились. В-третьих — очень кстати — стали приходиться домой другие члены семьи. Описанный эпизод не прошёл для меня даром. Я стал стараться не давать воли своим настроениям, а учитывать возможное воздействие моего угрюмства на настроение окружающих. Но, должен признаться, что эта моя дурная манера полностью мной не изжита и до настоящего времени.

Я хочу теперь рассказать несколько эпизодов из жизни моего — в те годы совсем маленького — сына Сашеньки. Он был умненьким нежным

ребёнком, рано научился говорить. Когда ему был год с небольшим, у него вдруг наступил и продолжался несколько месяцев неприятный период. В начале каждой ночи, часов в 12 или в час, он вдруг просыпался и начинал без всяких видимых причин в голос громко плакать. Его брали на руки, успокаивали ласковыми словами, но он не слушал никаких увещеваний, продолжал кричать и замолкал совершенно спонтанно.

На другой день, когда Сашенька был в хорошем расположении духа, взрослые спрашивали у него: «Почему ты прошлой ночью кричал?». Но — безуспешно. Он разговора на эту тему не поддерживал, а ближайшей ночью всё повторялось. Как-то вечером Роза задремала на диване, а мы с Сашенькой находились в этой же комнате и чем-то занимались. Вдруг Роза заворочалась и во сне издала какой-то звук: то ли всхрипнула, то ли застонала. Сашенька замолчал, посмотрел на спящую Розу и сказал со знанием дела: «Роза кричит».

Саша любил разговоры со взрослыми, а позже, лет с четырёх, был весьма привержен к чтению. К шумным шалостям он склонен не был. Не был он сильно заинтересован в детских компаниях. В общем, Саша был домашним ребёнком, не очень крепким, но в меру здоровым. Я помню только одну его тяжёлую болезнь — скарлатину. Но это случилось гораздо позже — когда ему было девять лет.

В детской компании для Сашеньки был скорее заинтересован я. Выходя с ним гулять (по выходным я это делал регулярно), я норовил пойти в гости к кому-нибудь из друзей, у которых был ребёнок примерно Сашиного возраста. Очень уж мне бывало скучно сидеть на изученных мною с моего собственного недавнего детства сквериках или ходить по Гоголевскому бульвару, или сидеть там на скамеечке в ожидании, пока Саше не надоест лазить по пресловутым льявам.

Я (конечно, предварительно сговорившись) заходил к Майе Левидовой, у которой рос Мишенька, или к Колмановским — иногда какое-то время Эдя, Тамара с маленьким Серёженькой жили в двадцатой. Довольно долго сестра Славика Грабаря Ольга с семьёй — году в сорок шестом у неё родился ребёнок — жила в коммунальной квартире в двух- или трёх-этажном обветшалом доме на Волконке. По-моему, домоседская жизнь, которую она вынужденно вела первые годы после рождения ребёнка, была не по ней, и она тоже бывала рада моим кратким — на часок — визитам.

Когда Саше было года два—три, он почему-то испытывал — с нашей точки зрения, странный и гипертрофированный — интерес к мужским головным уборам — кепкам, шляпам и особенно к военным фуражкам. Из-за этого особого интереса Сашенька любую шапку называл «Фуляка». Друзья и родные об этой Сашенькиной страстишке знали, и каждый мужчина, входя в дом, отдавал то, что было у него на голове, уже спешившему к нему Сашеньке. Поносив несколько минут фуляку гостя, Саша мирно клал её на место в прихожей.

Но у многих чужих людей (а Саша здесь разбору не делал) Сашино пристрастие понимание находило не сразу и не всегда. Я помню, как мы брели с Сашенькой по Калошину переулку с Арбата в сторону Сивцева Вражка. Наверное, возвращались от моих родителей в Староконюшенный. Я вёл крошечного Сашу за ручку, углубившись в себя. Вдруг Сашенька свою ручонку вырвал, и я услышал, как он настойчиво повторяет слово «Фуляка». Очнувшись от задумчивости, я увидел, что Саша перегорел своей маленькой фигуркой путь огромному и тучному генералу, тяня свою ручку куда-то вверх и повторяя непонятное для генерала слово. Генерал

оказался любезным и добродушным человеком. Он не стал отодвигать Сашеньку или обходить его, а остановился перед ребёнком и добросовестно пытался понять, чего этот мальчик так настойчиво домогается. Генерал оборотил свой вопросительный взгляд ко мне. Несколько конфузясь за странные вкусы и невоспитанность моего сына, я объяснил генералу, что мальчику очень понравилась генеральская фуражка (а она, действительно, была изукрашена сильнее, чем знакомые Саше капитанские и майорские), и что он хотел бы её примерить. Генерал улыбнулся, произнёс слово «Странно», но с видимым удовольствием свою роскошную фуражку с себя снял и дал её Сашеньке. Саша надел вещь на свою головку, которая вся в эту фуражку ушла, а генерал остался с непокрытой не по уставу головой. Если б в этот момент мимо нас прошёл маршал, то не избежать бы доброму генералу взыскания. Саша пробыл в генеральской фуражке несколько секунд и честно отдал её своему генералу. Я велел Сашеньке сказать генералу «Спасибо», поблагодарил генерала сам, генерал учтиво козырнул, и мы пошли каждый своей дорогой.

...За стёклами книжного шкафа в нашей Иерусалимской квартире стоят фотографии покойных и здравствующих родных и друзей. На одной из них, снятой году в сорок седьмом, когда мой отец с фронта уже вернулся, но в армии служить продолжал, изображён папа в военной форме, а у него на коленках сидит маленький Сашенька с папиной фуражкой на голове...

Мы с Галей и старшие Лопшицы читали Сашеньке книжки — в большинстве своём те, которые в нашем собственном детстве нам с Галей читали наши родители или которые мы уже читали сами: Чуковский, Маршак, Житков, Андерсен. Теперь к ним прибавилась Барто, которой в мои детские годы ещё не было. Когда Саша выучился читать сам, то круг его чтения естественно вырос, а влиять на его вкусы стало труднее. Я помню, что в какой-то момент мы поняли, что сказки Братьев Гримм, которыми почему-то вдруг стал упиваться пятилетний Саша, очень часто содержат жестокие эпизоды. Но как отнимешь книгу у ребёнка-книгочея?

Как-то днём к нам в дом на Староконюшенном зашёл мой папа. Это было через несколько месяцев после маминой смерти. Дома были только мы с Сашенькой. Мы сидели с папой в средней комнате («кабинет» Абрама Мироновича) и разговаривали о том и о сём. А Сашенька находился в своём углу в первой комнате и читал. Я стал делиться с папой нашими огорчениями по поводу того, что классические сказки Братьев Гримм весьма вредно действуют на детскую психику. В этот момент Сашенька крикнул из своей комнаты: «Папа, а что такое кипящее масло?»

Кое-какие представления о смерти Сашенька усвоил из литературы. Смерть Бабы Полины не афишировалась. Что бы не творилось в Шашином мозгу на этот счёт, он понимал, что смерть страшна. Как-то, в момент одного из приездов Мони Голубовского в Москву (напомню, он был мужем Риты, племянницы Марии Григорьевны, по профессии — врачом; они жили в Казани), маленький пятилетний Сашенька прихворнул. Моня, естественно, взялся его осмотреть. Он прослушал лёгкие, помял живот и строго спросил Сашу: «Сколько тебе лет?». Саша, робея, отвечал, что пять. «Ну вот что», — сказал Моня, — «жить ты будешь до...» — тут Моня сделал многозначительную театральную паузу, а Сашенька замер в тревожном ожидании, и на его лице выразилось страдание. Выдержав паузу, Моня торжественно закончил свою шутку: «ещё 95 лет до 100!». Но страдание с Сашенькиного лица не сходило. Моня стал догадываться о своей

оплошности и спросил: «Что, мало?». Саша твёрдо сказал: «Да». Тогда Мона важным голосом добавил: «А когда эти 100 лет будут приближаться, ты ко мне приходи, и я тебе продлю ещё!». Саша просветлел и скоро выздоровел.

Вообще, насчёт времени Саша имел свои представления. Как-то гуляя с ним в выходной (ему было лет пять или шесть) я забрёл с ним в Собор Василия Блаженного на Красной площади. Он был открыт для посетителей как музей. Мы бродили по его толстостенным узким проходам, подымались и спускались по крутым ступенькам, выглядывая на современную Красную площадь через узкие оконца. Я рассказывал, что знал, об Иване Грозном и его временах, о взятии Казани и об опричнине. Я упирал на то, что всё это было очень давно, так давно, что меня ещё и на свете не было. «А Куля (Мария Григорьевна) уже была?», — спросил заинтересованно слушавший меня Сашенька.

Вообще, о возрасте Кули у Сашеньки были устойчивые превратные представления. Чуть до или чуть после посещения храма Василия Блаженного Сашу (очевидно, не в первый раз) сводили в зоопарк. В это посещение Саша увидел в слоновнике большую таблицу с названиями и картинками. Она начиналась с мамонта, а завершалась современным слонем. Между ними было несколько промежуточных видов. На следующее утро Саша завёл с Кулей проникновенный разговор. Он предусмотрительно начал издали и спросил, жила ли Куля при царе. Ободрённый положительным ответом, Саша перешёл к своей главной проблеме: спросил, не жила ли она при мамонтах. На этот вопрос ответ был отрицательным. Мария Григорьевна врать не любила. Саша не смутился и стал называть более поздние виды древних слонов из таблицы. И только когда выяснилось, что Куля не жила даже при том виде, который непосредственно представлял современному слону, он понял, что не такая уж Куля старая.

В те годы (как, впрочем, и во многие последующие) устроить ребёнку в государственный детский сад было практически невозможно. Да и репутация у них — уровень воспитателей, детская среда, еда — была низкой. С другой стороны, в те годы возникали небольшие частные детские группы. Небольшие потому, что руководительница такой группы собирала детей в своей собственной квартире, а ещё чаще — просто в своей комнате в коммунальной квартире. В таких условиях большую группу не соберёшь. Порой за руководство частными группами брались совершенно к этому неприспособленные женщины. Я помню, что мы сменили три или четыре группы, прежде чем нашли ту, которую Саша посещал года два до школы. Иногда низкое качество группы мы с Галей быстро выявляли сами. Один раз на наше решение забрать Сашеньку из группы, в которую он походил только два дня, повлиял сам Саша. Вернувшись из группы вечером второго дня, Саша объявил, что больше он в эту группу ходить не будет. Мы, конечно, спросили его, почему. Саша ответил, что в этой группе есть очень плохой мальчик, и Саша в одну группу с таким мальчиком ходить не желает. Мы спросили, чем мальчик плох, на что Саша сказал, что этот мальчик во время прогулки очень плохо ходил: одна нога у него была на тротуаре, а другая — на мостовой. Мы Сашеньку из этой группы забрали, не проводя следствия и не поняв, что представлял собой тот плохой мальчик. Но в нашей лексике выражение «Одна нога на тротуаре, а другая на мостовой» сохранилось и означает крайнюю степень неосознанных раздражителей.

Кажется, именно после этой странной группы Саша попал, наконец в хорошую (где-то в районе Глазовского, Лёвшинских, Могильцевских).

Там была хорошая воспитательница, и там Саша нашёл хорошего друга на всю жизнь — Гришу Погосянца. Мы с Галей сдружились с Гришиными родителями — Еленой Карповной Погосянц и Михаилом Григорьевичем Рабиновичем. Мальчики росли, и довольно скоро у их родителей стали возникать для обсуждения разные темы в сфере воспитания сыновей.

Когда Саше приблизилось восемь лет, он поступил в 59-ю школу: наш дом в Староконюшенном принадлежал к микрорайону, приписанному к этой школе. Для меня школа была знаменательной: именно около неё и в ней был сбор и формирование ополченческих подразделений Киевского района. Но об этом я уже подробно написал раньше.

...59-ю школу большинство жителей окрестных переулков называло «Медведевской» — по фамилии основателя или первого директора этой мужской гимназии. Когда Саша переходил из второго класса в третий, мы проводили лето в Кобякове по Звенигородской ветке Белорусской железной дороги. Мы скоро обнаружили, что не очень далеко от нас, в доме, мимо которого мы проходили по дороге в лес и к маленькой живописной речке, сняли легче помещение Саша Лунц с женой Леной Гливенко и дочкой Женей, близкой по возрасту к Сашеньке.

Саша и Лена (она была дочерью известного специалиста по теории вероятностей) учились на мехмате на курс или два впереди меня, и мы близко знакомы не были. Саша был одним из выдающихся студентов. Он принадлежал компании Кронрода, Адельсона-Вельского и ещё нескольких мехматских знаменитостей. А тут на даче соседство и сходные дети нас несколько сблизили. С Леной мы стали совсем дружны, а Саша, бывавший на даче реже, оставался несколько поодаль.

Мы бывали друг у друга, дети нашли общий язык, мы вместе гуляли по тамошним чудесным местам. Часто, гуляя или идя купаться, мы заходили к Лунцам и, бывало, засиживались у них. Тем более, что неподалёку жил ещё один математик — Г. Хильми, который тоже часто заглядывал к Лунцам. Хильми был профессором или доцентом Ленинского Педагогического Института и, соответственно, был коллегой Абрама Мироновича вплоть до его изгнания в 49-м после ареста Наталки.

В то время Г. Хильми сотрудничал с Отто Юльевичем Шмидтом. Шмидт тогда от государственной службы отошёл и занимался разработкой своей космогонической теории. Хильми помогал ему в решении возникавших дифференциальных уравнений. В общем, тем для общения и разговоров на всех возрастных уровнях того дачного общества было много.

Как-то, завернув к Лунцам в выходной день, мы с Галей обнаружили, что у них в гостях находится Сашин отец. Это был оживлённый и весёлый несколько тучный человек лет под шестьдесят с лысой головой и довольно характерным еврейским лицом. Очень красивый, стройный и неулыбчивый Саша на отца похож не был. Лунц-старший был юристом.

Узнав, что наш маленький Сашенька учится в «Медведевской» школе, Лунц сказал, что именно эту гимназию он кончал ещё до революции. Из того, что мальчик учился в московской гимназии, можно заключить, что его отец принадлежал к той малочисленной части еврейской общины, которой разрешалось жить в черте осёдлости. Лунц рассказал нам такую историю из своей гимназической жизни.

Ученики Медведевской гимназии принадлежали, как правило, к высшим слоям общества. В частности, среди однокашников десяти—одинадцатилетнего Лунца были сыновья из титулованных дворянских семей.

Как-то на перемене один из них назвал Лунца жидом, а Лунц дал обидчику пощёчину. Свидетелем сцены оказался инспектор, который ссору прекратил и доложил о происшедшем директору. Директор собрал после занятий всех учеников в актовом зале (ах, помню я этот трёхсветный зал, в котором несколько сот юношей с вещмешками ждали, когда их выведут наружу, построят и поведут на битву с фашистами...) и стал держать перед строем гимназистов речь.

Он говорил по-французски и сказал следующее: «Сегодня в гимназии произошло неслыханное: господин Лунц дал пощёчину графу N. Я разобрался в происшедшем и выяснил, что пощёчина была вызвана тем, что граф N. оскорбил национальное достоинство господина Лунца. Это, конечно, недопустимое оскорбление. Но пощёчина — может ли она быть средством отмщения? Господин Лунц мог бы вызвать графа N. на дуэль. Но дуэли в Российской Империи запрещены. Господин Лунц мог бы подать жалобу в суд на оскорбление, нанесённое ему графом N. Но господин Лунц — ещё несовершеннолетний, и суд его жалобы не принял бы. Господин Лунц мог бы пожаловаться на поступок графа N. учителю или директору, и граф N. был бы наказан в соответствии с Уставом Гимназии. Но ябедничать в благовоспитанном обществе — не принято. Что же можно посоветовать тому, кто оказался бы на месте господина Лунца?». Тут директор помолчал, а потом ответил на им же поставленный (по-французски) вопрос, неожиданно перейдя на русский: «Бить в морду!»...

Саша учился в школе неплохо, хотя и не блистал. Хулиганских поступков не совершал. Задания учителей выполнял добросовестно. Вот пример. Как-то во втором классе учительница и классная руководительница — крупная, решительная и громогласная дама — устроила диктант. Она диктовала отдельные фразы: «Скоро наступит весна». «Нашу учительницу зовут Анна Фёдоровна». «Весной деревья зеленеют, и вырастает трава». «Лошадь ест траву». И т. д. На другой день учительница раздала ученикам тетрадки с написанными ими диктантами. Ошибки были подчёркнуты и исправлены учительской красной ручкой. В качестве очередного домашнего задания ученикам было велено написать три раз подряд каждое слово из диктанта, в котором ученик сделал ошибку. Ошибки, которые сделал в диктанте Саша, привели к тому, что его работа над ошибками оказалась такой: Анна Фёдоровна Анна Фёдоровна Анна Фёдоровна Лошадь Лошадь Лошадь.

...Вряд ли мне удалось обрисовать весь спектр прекрасных качеств Абрама Мироновича и Марии Григорьевны с достойной предмета описания полнотой. Но то, что их уместно назвать людьми выдающейся нравственности, из моего рассказа вырисовывается, надеюсь, со всей очевидностью. Исключительные качества своих родителей унаследовала и переняла Галя. Она была человеком разносторонней культуры и образованности, у неё был ясный ум и добрая душа, она всегда была образцовым — квалифицированным и ответственным — профессионалом.

Галя вложила огромные силы в воспитание сына и внуков, которые, по счастью, всегда платили ей любовью и заботой. В последние годы её внимания потребовали и правнучки. И у Гали, как и у её родителей, всегда было очень много близких друзей, причём происхождение многих из них уходит корнями в среду её родителей. Этим друзьям (и их детям и внукам) Галя была предана и готова в любую минуту действовать помочь.

Галя постоянно испытывала и во всяческих формах проявляла любовь и уважение к своим родителям. Пришло время, и она стала трогательно

о них заботиться. В самом конце шестидесятых годов в том дворе, где стоял двухэтажный деревянный дом, в котором жили Лопшицы, был построен большой многосекционный многоэтажный дом. Дом Лопшицев и ещё несколько небольших домиков, примыкавших к Малому Власьевскому переулку, были приговорены к сносу и расселены.

Уже двадцатичетырёхлетний Саша со своей семьёй получил двухкомнатную квартиру в Беляеве. Абрам Миронович с Марией Григорьевной и Галей получили очень хорошую трёхкомнатную квартиру в новом доме, находившемся сравнительно недалеко от метро «Преображенская». По складывавшейся к тому моменту градостроительной ситуации это место считалось уж чуть ли не центром Москвы, а предоставленная квартира — очень щедрым даром, преподнесённым властями Лопшицам. А власти это сделали — из уважения к ректору МГУ И. Г. Петровскому

Действительно, трёхкомнатная квартира на троих, её качество и расположение выходили за тогдашние обычаи и нормы. Щедрость Моссовета объяснялась особыми стараниями Петровского. Он лично знал — ещё с тридцатых годов — истинную высокую цену профессиональным и моральным качествам Абрама Мироновича. Он счёл своим долгом сделать всё, что он мог сделать в своём тогдашнем влиятельном положении, для столь выдающегося коллеги. В общем, И. Г. Петровский был порядочным человеком, и его непротивление гнусным антисемитским деяниям властей искуплялось после смерти Сталина его положительной деятельностью и стало забываться.

В восьмидесятых годах я несколько раз возил на Преображенку постепенно взрослевшую нашу с Машей младшую дочь Тamarочку. Чтобы объяснить Тамаре, почему я везу её именно к этим пожилым людям, был выбран предлог. Тома училась в Гнесинской семилетке по классу скрипки, а я рассказал ей про давнюю и квалифицированную увлечённость Абрама Мироновича этим инструментом и про его любезный интерес к Томиным успехам. Но подоплёка была в том, что мы с Машей очень ценили всякую возможность контактов наших детей со столь замечательными людьми...

ГЛАВА 18

Рыжик и Градштейн. Реорганизации в фирме. Д. В. Свечарник. Краб. Библиотека Иностранной литературы. ОКБ Антипова. СКБ-589. ОКБ Туполева. Тепловая головка — Геништа. Заказчики из ВВС. ЦАГИ. ВВИА им. Жуковского. Смерть Сталина. Генерал В. С. Пугачёв. Военно-воздушный марксизм. Алик Рабинович-Митта. Начало моего увлечения живописью. Смерть Бабы Нины.

В 50-м году Издательство физико-математической литературы (Физматгиз) пригласило меня быть редактором книги И. С. Градштейна «Таблицы интегралов, сумм, рядов и произведений». Точнее было бы сказать, что это приглашение было делом рук заведующего редакцией справочной литературы этого издательства И. Н. Бронштейна, близкого друга Лопшицев, уже упоминавшегося выше как автора (совместно с К. А. Семендяевым) известного математического справочника.

Это было время продолжавшего набирать обороты государственного антисемитизма. Доцент кафедры математического анализа мехмата Израиль Соломонович Градштейн был с работы уволен и искал литературных заработков. Он предложил Физматгизу выпустить третье издание книги И. М. Рыжика «Таблицы интегралов, функций, рядов и произведений». Два издания книги Рыжика вышли ещё до войны. В военные годы автор скончался.

Градштейну пришла в голову плодотворная идея значительно расширить содержание небольшой книжки Рыжика и превратить её, начиная с третьего издания, в большой справочник. Он предложил конкретный разумный и радикальный проект расширения и улучшения книги и взялся его реализовать. Издательство с предложением Градштейна согласилось. Наследники Рыжика согласились с тем, что третье издание этой книги, готовить которое взялся Градштейн, будет выпущено под фамилиями двух авторов, ибо понимали, что при предлагаемом Градштейном расширении их доля гонорара будет выше, чем в случае издания книги в старом варианте, хотя тогда им причитался бы весь гонорар.

Так возник проект, в который я был приглашён в качестве редактора. На этой почве я стал часто встречаться с Израилем Соломоновичем. Я был человеком молодым, и эти встречи означали, что я ездил к маститому Градштейну (он был примерным ровесником Лопшицев и Ильи Николаевича) к нему домой — как ещё недавно редактор «Аналитической геометрии» майор Зансохов ездил к её автору Лопшицу. Тут выяснилось, что Градштейн живёт в том же доме, что и сестра Абрама Мироновича Идочка — в аналогичной комнате, но в другом конце того же длинного коммунального коридора. Для меня стало новостью, что женой Градштейна была Роза Богдань, заведовавшая «Кабинетом математики и механики» Университетской библиотеки. В период моей совместной работы с её мужем Роза тяжело болела лёгочным онкологическим заболеванием и скончалась ещё до того, как наша работа была завершена.

Справочник Градштейна вышел в свет в 1951 г. и стал весьма востребованным в среде математиков и физиков.

...Через несколько лет ситуация с изданием этого справочника странным образом повторилась. Справочник Градштейна, вышедший в свет, как третье издание справочника Рыжика, быстро разошёлся, и в нём ощущалась острая нужда. Стали складываться законные основания, и Градштейн для нового издания стал готовить новое, на этот раз очень существенное расширение когда-то скромного справочника. То, что он задумал, превращало книгу в фундаментальное и объёмистое справочное пособие по математическому анализу, включая его новейшие результаты. Он стал собирать необходимые материалы, но довести свой замысел до издания ему не довелось: не завершив этой работы, немолодой и больной Израиль Соломонович скончался.

У Ильи Николаевича возникла идея, как довести до конца проект Градштейна. Он предложил руководству издательства поручить эту работу двум авторам. Первым был инженер М. Ю. Цейтлин, который приватно помогал Градштейну в его работе над подготовкой нового расширенного издания, а именно, в сборе материалов для расширения таблицы определённых интегралов. Но кроме обновлённой и расширенной таблицы интегралов Градштейн собирался включить с справочник новую главу, посвящённую специальным функциям. Подготовкой этого раздела он занимался сам: для работы над специальными функциями у Цейтлина не доставало специального математического образования. Кроме того, Цейтлин помогал Градштейну частным образом, но профессионального авторского и редакторского опыта, необходимого для работы с издательством, у него не было. Поэтому по совокупности причин вторым автором Бронштейн предложил меня — математика, редактировавшего предыдущее издание книги, знакомого с ней и с издательской технологией.

Предложение Ильи Николаевича было принято, и мы с Марком Юльевичем довели дело до конца. Раздел о специальных функциях Градштейн оставил в зачаточном виде, и следуя плану Градштейна и его развивая, я сделал всю вторую часть книги (начиная с пятой главы).

Работа оказалась очень трудоёмкой. По сравнению с предыдущим изданием книга расширилась в два раза. Она вышла в свет в 1961 г. Потом, в 1971 г., появилось ещё одно издание этого модернизированного варианта, в котором были исправлены многие ошибки и опечатки.

Потом в Штатах вышел перевод этой книги на английский, за который, кстати, мы с Цейтлиным не получили не то что ни доллара, но даже ни копейки: в таком состоянии были тогдашние международные соглашения по авторскому праву с советской стороны.

Наконец, в 1981 г. издательство «Мир», Москва, совместно с «Harri Deutsch», Thun-Frankfurt/M выпустило исправленное двуязычное англо-немецкое издание нашей книги, вдохновлённой Ильёй Николаевичем Бронштейном и получившей главный толчок замечательной работой Израйля Соломоновича Градштейна. За это издание мы с Цейтлиным кое-какие советские рубли получили...

Помощь в подготовке очередных изданий книги «Таблицы интегралов...» мне оказал Константин Адольфович Семендяев, и я в предисловиях к переизданиям книги выражал ему благодарность. Он был внутренним рецензентом упомянутого двуязычного перевода этой книги, и его рекомендация способствовала выходу этого издания в свет...

В конце 50-го в нашей разросшейся фирме произошла большая структурная реорганизация. Она была вызвана тем, что ушёл (или на пенсию, или не поладил с нашим министром, или с высшим начальством заказчи-

ков) наш Главный Конструктор Дмитрий Людвигович Томашевич. Может, наоборот, уход Томашевича был его протестом против проекта этой реорганизации, ослаблявшей его роль в КБ.

Суть реорганизации состояла в том, что были обособлены в административном плане и стали независимо управляться в научно-технической сфере три основные направления разработок КБ, которые я описал выше: управляемые штурманом летающие торпеды с двигателем; управляемые штурманом авиабомбы; бомбы, самонаводящиеся по тепловым целям.

Во главе каждого из трёх направлений был поставлен свой Главный Конструктор. Все они при Томашевиче были его заместителями. В подчинении каждого Главного было несколько лабораторий и отделов. Структуры, подчинённые Главным, обозначались также термином «КБ» — с разными номерами. Эти структуры были не в точности одинаковыми, но очень сходными.

Так, у каждого Главного были один или два конструкторских отдела, проектировавшие корпус летательного аппарата и компоновку всех приборов и устройств управления и боевого заряда в этом корпусе; эти отделы выдавали чертежи опытному производству.

В каждое КБ входил расчётно-теоретический отдел, занимавшийся определением аэродинамических характеристик аппарата; расчётами и анализом траекторий его полёта; расчётами прочности элементов конструкции аппарата; выбором параметров систем управления, влияющих на его траектории; оценкой его тактических и боевых качеств. Для выполнения этих задач применялись как методы прикладной математики, теоретической механики, аэродинамики, теории упругости, теории автоматического управления и т. д., так и постановка и обработка лабораторных и натуральных экспериментов. В некоторых КБ было два расчётно-теоретических отдела, между которыми распределялись вышеперечисленные многообразные функции.

В составе каждого КБ были лаборатории, занимавшиеся проектированием (или выдачей заданий на проектирование другим специализированным организациям) и испытанием автопилотов и других элементов систем управления.

Между родственными отделами и лабораториями трёх подразделений установились сложные отношения: они ревниво относились к успехам друг друга, но при этом часто оказывали друг другу методическую поддержку.

Первым подразделением (летающие торпеды) стал руководить Михаил Васильевич Орлов, личность довольно посредственная. Он держался только благодаря своему заместителю Аркадию Ионовичу Эйдису, который тоже был заместителем Томашевича, гораздо более толковым и энергичным, чем Орлов, но которого поставили на вторую роль — возможно, из-за его еврейства. Главным проектом этого подразделения была крылатая торпеда «Щука».

Вторым подразделением (авиабомбы, управляемые штурманом) стал руководить Александр Давыдович Надирадзе. Он был талантливым инженером, администратором и — что весьма ему помогало — обладал искусством восточного дипломата. Надирадзе прекрасно ладил со своими капризными заказчиками из Военно-воздушного ведомства и с руководством нашей фирмы и нашего министерства. Он успешно развивал свои разработки, основанные на немецком прототипе — бомбе Fritz-X.

...В последующие годы он сделал, по-видимому, блестящую самостоятельную карьеру. Я сужу об этом лишь косвенно. Через много лет после

того, как я со своей секретной работой расстался, в газетном сообщении о каком-то успешно осуществлённом ракетном проекте я прочитал его имя в таком виде: «академик Надирадзе». А теперь, занимаясь этими Записками, я заглянул в энциклопедический словарь и узнал, что академик Надирадзе скончался в 87-м году...

Третьим подразделением (самонаводящиеся авиабомбы) поставили руководить уже упоминавшегося мной Давида Вениаминовича Свечарника. Он продолжал — теперь уже не как заместитель Томашевича, а как ответственный главный конструктор — проектирование самонаводящейся крылатой бомбы с кодовым названием «Краб». Новое назначение еврея Свечарника на весьма высокий пост по тем (да и долгим последующим) временам было необычным.

Необычным было и другое. Свечарник пришёл к руководству разработкой летательного аппарата не из авиастроения, как большинство других (например, сам Томашевич, Орлов, Эйдис) и не из бомбостроения, как Надирадзе, а из электротехники и теории автоматического управления. Это обстоятельство служило поводом для скепсиса в инженерной и в военной средах относительно возможностей Свечарника руководить проектом самонаводящейся крылатой планирующей бомбы.

Между тем, технология разработки вооружения описываемого типа соединяла в себе (как, впрочем, и самолётостроение) аэродинамику, теоретическую механику, вычислительную математику, конструирование машин и механизмов, теорию упругости, прочность материалов и конструкций, теорию автоматического управления, конструирование аппаратуры управления, лабораторные эксперименты с физическими моделями, натурные лётные испытания опытных образцов и методы обработки результатов таких испытаний. При этом в нашей тематике разделы, связанные с теорией автоматического управления, выходили на первое место, и специализация руководителя проекта именно в этой сфере была вполне оправданной.

То обстоятельство, что со дня моего поступления в КБ я работал под непосредственным руководством Свечарника (хотя формально между нами стояли промежуточные начальники), естественно привело к тому, что после реорганизации я оказался в его подразделении.

К этому моменту я уже занимал должность руководителя группы (иерархия для сотрудников с высшим образованием была такая: инженер — старший инженер — руководитель группы — начальник лаборатории или отдела — зам. главного конструктора — главный конструктор). Мой переход в подразделение Свечарника сопровождался повышением в должности: у Свечарника я стал начальником расчётно-теоретического отдела.

Давид Вениаминович был способным и — что было небесполезно в его положении — весьма самоуверенным человеком. Он активно и успешно расширял свои знания и скоро стал очень неплохо разбираться и в тех областях, в которых он поначалу был невеждой или, в лучшем случае, дилетантом, ибо они не входили ни в программу МЭИ, который он кончал, ни в программу его аспирантской подготовки.

Как я теперь понимаю, ещё одним преимуществом Свечарника перед другими Главными была его молодость, которую я тогда не замечал. В момент назначения Свечарника на этот пост ему было тридцать шесть лет. Другим Главным было лет на пять—десять больше.

Свечарник, хоть и был лысоват, имел в целом внешность приятную и импозантную. Он был выше среднего роста, крепким, хорошо сложенным, с вполне благообразным лицом, которое, несмотря на отсутствие

в нём типичных еврейских черт (нос — не длинный и не кривой, глаза вовсе не печальные), сомнений в национальности своего хозяина не вызывало. Давид Вениаминович был, как правило, оживлён, приветлив, склонен к шутке.

Шутка, правда, зачастую бывала грубоватой и безвкусной. Ещё меня корбила склонность Свечарника к хлестаковщине: в разговорах с начальством, с военными заказчиками и с представителями других организаций он обычно преувеличивал достоинства и преуменьшал недостатки всего того, что делал он и его команда.

Кроме моего отдела, в подразделение Свечарника входили два конструкторских отдела и две лаборатории.

Первым конструкторским отделом руководил Михаил Михайлович Чиненков, пришедший из бомбового ГСКБ-47. Этот отдел занимался конструированием корпуса нашего летательного аппарата и проблемами боевого заряда. Здесь же конструировались модели Краба для продувок в трубах ЦАГИ. Отдел был тесно связан с опытным производством фирмы, в котором производились опытные образцы и модели. Отдел был связан также со смежником (таким словом обозначалась внешняя организация, сотрудничавшая с нами в разработке Краба) — металлургическим заводом «Красный пролетарий», который отливал стальные корпуса опытных натуральных образцов Краба.

Второй конструкторский отдел отвечал за конструирование аппаратуры системы управления. Некоторые элементы системы отдел конструировал сам, но конструирование и изготовление большей части элементов аппаратуры поручалась смежникам — специализированным организациям, а наш отдел лишь выдавал задания этим организациям и занимался компоновкой элементов аппаратуры внутри корпуса Краба. Этим отделом руководил Олег Викторович Ястребцов.

Лабораторией автопилотов и органов управления Краба руководил Василий Александрович Демидов (в этой лаборатории я работал в начале своей службы в фирме), а Радиолобораторией, отвечавшей за тепловую головку, руководил Владимир Петрович Макаров.

И автопилот, и тепловая головка разрабатывались и изготавливались смежниками. Наши лаборатории участвовали в разработке заданий на заказываемую аппаратуру и участвовали в проверке и в приёмных испытаниях готовых образцов. Кроме того, наши лаборатории осуществляли предполётную проверку аппаратуры и органов управления во время натуральных лётных испытаний.

Вообще же в лётных натуральных испытаниях принимали участие сотрудники всех перечисленных отделов. Подробнее об этих испытаниях я расскажу в отдельной главе.

Все упомянутые руководители отделов и лабораторий были приблизительно ровесниками Свечарника. У каждого был свой непростой нрав, свои амбиции и цели. Но, тем не менее, перед лицом внешних сил (военные заказчики и собственные начальники — вплоть до заместителей министра и министра, смежники), от которых всегда можно было ожидать всяких неприятностей, все руководители нашего подразделения выступали одной командой: клали свои собственные интересы в карман — на более или менее длительные периоды.

Я среди руководителей отделов и лабораторий подразделения Свечарника (и, пожалуй, среди руководителей моего уровня в структурах других Главных) был самым молодым: мне в момент образования этих струк-

тур было 27 лет. Между тем, мой отдел был, так сказать, первым среди равных: в него сходились все ниточки, в наших расчётах проверялось всё в комплексе. По проблемам аэродинамики и прочности я был тесно связан с Чиненковым, а по проблемам точности наведения на цель — с отделом Ястребцова и с лабораториями Демидова и Макарова.

В моём отделе было пятнадцать—двадцать сотрудников. Те работы, которые при разработке Щуки под руководством Томашевича были разведены по отделам Щукина, Борисенко и группой Липшица в отделе Ряполова, оказались сведёнными — применительно к Крабу — в моём отделе. В нём были сосредоточены все расчёты, проводившиеся при проектировании нашего Краба и при обработке испытаний опытных образцов.

Наибольший объём работ приходился на расчёты вариантов траекторий полётов Краба. Этих вариантов было очень много. Варьировались: высоты и скорости полёта бомбардировщика в момент отделения Краба, форма, а следовательно, и аэродинамические характеристики самой крылатой бомбы, параметры управляющего её полётом автопилота и пр. В отделе постепенно, в течение года—двух сложился квалифицированный и довольно дружный коллектив молодых людей. Они были в ранге инженеров, старших инженеров и руководителей групп.

Численным интегрированием дифференциальных уравнений вариантов траекторий Краба управлял Наум Борисович Злотник, получивший образование на физико-математическом факультете Педагогического института. В группу Злотника входили Рита (Маргарита Ивановна) Яковлева и Наташа Ушацкая, обе — выпускницы МАИ. Вскоре я воспользовался опытом Юры Коренева и заключил договор со Счётной фабрикой, благо она была расположена недалеко от нашей фирмы. Основной массив расчётов траекторий стал проводиться там. Группа Злотника наряду с расчётами траекторий принимала главное участие в обработке результатов лётных испытаний.

Аналитическими методами исследования траекторий и влияния параметров системы управления занимался я, и в этой работе мне помогала Белла Моисеева. Аэродинамикой, кроме меня, занималась Анна Михайловна Соловьёва — та самая, которая ещё в бытность Аней Гуревич (Соловьёв — фамилия её мужа) кончала вместе со мной мехмат по отделению механики и была распределена, как и я, в п/я 4096.

Работа, особенно с момента, когда я стал руководить отделом, стала для меня очень интересной: я смог не только использовать целый ряд изучавшихся мной в университете разделов математики и механики, но и познакомиться с ранее неизвестными мне областями прикладной математики, основами аэродинамики, самолётостроения, теории автоматического регулирования и т. п.

Должность начальника отдела принесла мне известную свободу в распоряжении моим рабочим временем. На мой пропуск был поставлен штамп «Свободный выход», означавший, что я могу покидать территорию предприятия когда мне заблагорассудится, и эти мои уходы нигде не регистрировались. Конечно, общая согласованность моего распорядка работы у меня со Свечарником была, но за каждой мелочью он не следил, справедливо полагая, что я своими правами во вред делу пользоваться не буду.

В Москве была (и есть) Библиотека Иностранной Литературы. На Петровских линиях был абонемент, и я там брал систематически книги французских классиков. Современной иностранной литературы там из-за

идеологической перестраховки не держали. Научной физико-математической и технической литературы в абонементе не было. Она была в читальном зале этой же библиотеки, который находился в другом помещении — в небольшом старинном доме на ул. Разина (Варварка). Там же находились какие-то библиографические службы библиотеки. Несмотря на небольшой размер, читальный зал никогда не бывал переполненным — так мало любителей читать по-иностранному было тогда в Москве.

Получив волю, я стал в рабочее время бывать в читальном зале иностранной библиотеки несколько раз в месяц. Там я просматривал американские и французские научные журналы по математике, механике и аэродинамике и немногочисленные новые книги в этих же областях. В частности, я познакомился с литературой по недавно появившейся тогда математической теории игр, и это знакомство вскорости принесло мне практическую пользу.

Заграничной художественной и общественно-политической периодики в открытом доступе, разумеется, не было — маменька не велела. Но свободно выдавался американский географический журнал, и в его номерах, хоть и приходивших в библиотеку с порядочным опозданием, можно было прочесть не только про пустыни или про диковинных рыб, но и обзоры на экономические и политические темы под географическим углом зрения. Такой был недосмотр наших цензоров. Кроме того, в фонде читального зала были книги по искусству и альбомы с репродукциями, в которых упоминались или воспроизводились такие западные течения и художники, которые с советского книжного рынка и из музейных развесок были решительно изгнаны.

Наконец, в читальном зале на Варварке у меня был ещё один интерес. Там в библиографическом отделе работала единокровная старшая (но тогда ещё всё равно молодая) сестра Майи Левидовой, Инна Левидова. Часто и она, и я отвлекались от основных целей нашего пребывания в этом здании и в течение получаса обсуждали политические и семейные дела — мои и Майины. Инна была незамужней.

Я стал регулярно посещать еженедельный научный семинар по теории автоматического управления в Институте Автоматики и Телемеханики (ИАТ). Семинаром руководили А. А. Фельдбаум и Я. З. Цыпкин. Оба — плодovитые и оригинальные учёные.

Яков Залманович Цыпкин разработал дискретный аналог преобразования Лапласа функций целочисленного переменного и соответствующий аналог критерия устойчивости Найквиста для систем дискретного управления. Именно к этому классу относилась система управления движением Краба, в частности, устойчивостью его колебаний около центра тяжести — из-за особой конструкции и режима функционирования его органов управления — интерцепторов. О них я расскажу подробнее чуть ниже.

После ухода Томашевича и реорганизации роль начальника фирмы сильно возросла. В техническом плане она оставалась нулевой, но в его руки перешло управление ресурсами и их распределение между Главными Конструкторами. Это и давало ему власть. Кроме того, канцелярский этикет требовал, чтобы письма, написанные на бланке фирмы, подписывал её начальник, а Главный Конструктор «визировал» второй экземпляр. И тут начальник мог покуражиться и показать своё важное значение.

Главный Конструктор ставил свою подпись в полном правом месте только на документах, носивших явно выраженный технический характер. Это были протоколы технических совещаний, технических соглаше-

ний с заказчиками и нашими смежниками и пр. Но для отсылки такого документа во внешнюю организацию требовалось сопроводительное письмо, которое мог подписать только начальник всего ящика.

Вскоре после ухода Томашевича начальника п/я 4096 Сапрыкина (который меня принимал на работу), сменил некто Вениамин Михайлович Виноградов. Я запомнил его имя-отчество потому, что он был полным тёзкой моего отца. Этот человек стоял во главе нашей фирмы в течение лет двух и всячески старался укрепить своё могущество.

К формально подчинённым ему трём Главным Виноградов относился по-разному. Надирадзе он полюбил и при любой возможности ставил всем в пример его технический и дипломатический гений. К Орлову он относился нейтрально, а Свечарника терпеть не мог и при любой возможности делал ему неприятности: то нужное письмо не подпишет, то в Министерстве нагадит, то премиальный фонд урежет.

Каждую неделю Виноградов устраивал отчётное совещание — отдельное для каждого Главного. Главный приходил со своими начальниками лабораторий и отделов. Совещание состояло в отчёте Главного (а иногда и членов его команды) перед Виноградовым о текущих делах и в различного рода репликах и вердиктах Виноградова.

Виноградов из обсуждаемых проблем понять мог только то, что касалось сроков и взаимоотношений с ВВС и смежниками: выполнено ли то, что должно было быть выполнено, не будут ли сорваны ближайшие сроки, не было ли или не назревает ли какой-нибудь конфликт: или с опытным производством, или с руководством нашего министерства, или с военным заказчиком, или с кем-либо из смежников, или с ЦАГИ, или с руководством полигона, на котором проводились натурные испытания, или ещё в каком-нибудь месте. А если что не так, то — кто виноват и что делать? Такие совещания Виноградов всюю использовал для того, чтобы попить кровь из Свечарника и из его ближайших помощников.

В конце 1952-го года наша фирма, именовавшаяся КБ-2, была преобразована в Научно-исследовательский институт, который получил (секретное, как и «КБ-2») наименование «ГСНИИ-642». ГС означало «Государственный Союзный», а принцип формирования номеров мне никогда не был понятен. Может в символах 642 было зашифровано что-то важное.

Новый институт получил первую категорию, а это означало заметное повышение окладов сотрудников, особенно тех, которые занимали руководящие посты. Моя месячная зарплата подскочила с 1600 до 2600 рублей, а Свечарник стал получать больше 3000. Других существенных изменений в жизни фирмы не произошло. Начальник фирмы стал именоваться директором института, а Главные — стали ещё и начальниками КБ: Орлов — начальник КБ-1, Свечарник — КБ-2, Надирадзе — КБ-3. Внутренние и внешние взаимоотношения не изменились.

Свечарнику (надо думать) и евреям, работавшим в нашей фирме, было тревожно: явно ощущался рост государственного антисемитизма. В среде руководимого Свечарником коллектива ощущалось, что последствия этого антисемитизма могут неведомо как и неведомо когда, но явно скоро и явно скверно отразиться на нас.

Между тем ожидавшихся гонений на подразделение Свечарника и, вообще, на евреев, работавших в немалом числе в институте, со стороны его дирекции, надо отдать ей должное, не было. По-видимому, не было на этот счёт и прямых указаний вышестоящих органов — Министерства и отделов ЦК. Нисколько не торопились демонстрировать на нашей шкуре

своего согласия с антисемитской линией властей ни наши заказчики, ни наши смежники, а ведь могли начать квалифицировать в этом свете наши неизбежные просчёты в работе. Во всяком случае, привычные разногласия и конфликты с заказчиками и смежниками новой окраски не получали.

Мы со Свечарником испытывали друг к другу симпатию не только в ходе совместной и довольно дружной и слаженной профессиональной деятельности. Некоторую роль играла и общая национальность, хотя прямо мы этого не констатировали. Но мы были сходных культурных уровней, по крайней мере, в области литературы, у обоих было хорошее чувство юмора, а это — сближает.

Впрочем, шутки Свечарника порой казались мне грубоватыми и неуместными: он прибегал к ним, когда старался завоевать симпатии влиятельных лиц. С этой же целью он вполне был способен и прилгнуть, и прихвастнуть. Когда мне доводилось присутствовать при таких речениях шефа, я чувствовал себя неловко, опасаясь отрицательной реакции собеседников на такие шитые белыми нитками приёмы. Но очень часто оказывалось, что мои страхи напрасны. Полковник из Управления ВВС, который по моим представлениям, должен был от шуток Свечарника поморщиться, а от его похвалы раздражиться, внимал всему благосклонно, и разговор заканчивался подписанием выгодного для нас протокола. Выходило, что Свечарник лучше меня знает психологию людей, с которыми мы имели дело.

Свечарник был членом партии. Без этого он, наверное, не стал бы Главным. У него была и партийная нагрузка: он вёл кружок по марксистско-ленинской философии для беспартийных сотрудников нашей фирмы, готовящихся поступать в кандидаты в члены КПСС. Не думаю, что он истово и искренне верил в идею и в её осуществление руководством партии и правительством. Но политических разговоров между нами не было, и о моих политических взглядах он мог только догадываться, а может, и не догадывался.

Пришла мне пора рассказать кое-что про наш Краб более подробно. Корпус Краба напоминал формой дирижабль. Длина корпуса была метра три, а диаметр в самой широкой части — около метра. Корпус был изготовлен из толстой стали. Носовая часть корпуса, имевшая овальную форму, была съёмной и открывала доступ к отсеку с аппаратурой управления и аккумуляторами, снабжавшими электроэнергией аппаратуру и органы управления. Среднюю и заднюю части корпуса занимал боевой заряд. Общий вес Краба, наполненного зарядом, составлял 3000 кг.

На передней части корпуса — сразу за местом его соединения со съёмной носовой частью — располагались передние крылья. Они отличались от привычных самолётных крыльев и от крыльев Щуки тем, что их было не два (правое и левое), а четыре, каждое из которых торчало из корпуса под углом 45° к его горизонтальной плоскости симметрии. Так что если смотреть на Краб спереди, то его крылья образовывали косой крест — вроде буквы икс. Длина каждого крыла была около метра, а ширина — сантиметров 60.

На хвостовой части корпуса было оперение, не отличавшееся от обычного самолётного: два небольших горизонтальных — правое и левое — крыла длиной сантиметров по 60, шириной по 40, и вертикальный киль примерно таких же размеров.

На всех несущих плоскостях — на крыльях, на горизонтальном оперении и на киле были расположены органы управления. Но это были

не обычные используемые в самолётах отгибающиеся рулевые пластины (рули высоты и направления, закрылки или элероны), а «интерцепторы».

Интерцептор — это металлическая пластинка длиной в 30—40 см и шириной в 4—5 см, установленная вдоль задней части плоскости крыла (а также хвостового оперения и киля) перпендикулярно к нему. Зазор между краем крыла и интерцептором измеряется долями миллиметра — только чтобы интерцептор не задевал крыла. Каждый интерцептор обслуживается механизмом с электромагнитами. Этот механизм может перекидывать интерцептор в одно из двух положений: либо полностью по одну, либо по другую сторону плоскости крыла.

Интерцепторы, как и рулевые пластины, были предназначены для управления аэродинамической силой, перпендикулярной несущей плоскости и вызывающей повороты корпуса летательного аппарата вокруг его центра тяжести. При применении обычной рулевой пластины инструментом этого управления служит угол отклонения руля, а при применении интерцептора инструментом управления служит отношение времён пребывания интерцептора в одном или в другом его допустимом положении. Если на интервале T интерцепторы горизонтального оперения находились только в нижнем положении, то на оперение действовала сила F , направленная вверх. Если всё время в верхнем, то $-F$, т. е. направленная вниз. Если в течение времени sT ($s < 1$) интерцепторы были в нижнем положении, а в течение $(1-s)T$ — в верхнем, то в среднем на интервале T аэродинамическая сила, действующая на горизонтальное оперение равна $(s - (1-s)) \cdot F = (2s - 1) \cdot F$. При $s = 1/2$ средняя сила равна 0. Всё сказанное относится и к другим несущим плоскостям с интерцепторами.

Пользуясь современным языком, можно сказать, что в основу действия обычного руля положен аналоговый принцип, а в основу интерцептора — двоичный цифровой. Именно значения s для интерцепторов, установленных на всех несущих плоскостях Краба, вырабатывала аппаратура управления.

Для переброски интерцептора требовалась меньшая сила, чем для отклонения рулей. Как видно, Томашевич предпочёл использовать их именно из-за этого обстоятельства. Было ли это его оригинальным решением, или он заимствовал его из аналогичных иностранных разработок — не знаю. Я не знаю, также нашли ли интерцепторы применение в современных летательных пилотируемых и беспилотных летательных аппаратах.

Как я уже упомянул выше, мы имели дело со смежниками, которые либо изготавливали по чертежам наших конструкторов те элементы конструкции Краба, для изготовления которых опытное производство нашей фирмы не имело оборудования (например, формы для отливки корпусов опытных образцов Крабов по нашим чертежам отливал смежник — завод «Красный пролетарий»; там же отливались и сами корпуса), либо проектировали по нашему заданию и изготавливали элементы системы управления, которые устанавливались на нашем Крабе или на самолёте-носителе, либо содействовали нам в проведении научных исследований, необходимых для нашей работы и которые силами нашей фирмы провести было невозможно, либо являлись базой для испытаний опытных образцов нашего детища.

В контактах с большинством смежников я принимал самое активное участие, и эти контакты существенно расширили мой научно-технический кругозор и дали мне разнообразный ценный опыт человеческого общения и — что немаловажно — создали много связей в широкой научно-технической сфере.

Я вошёл в курс работ по проектированию автопилота для Краба, которое по нашему техническому заданию велось силами ОКБ Генерального конструктора Антипова, специализированного на разработке автопилотов для самолётов. Надо сказать, что наш автопилот был для сотрудников ОКБ крепким орешком, ибо требовавшиеся нам функции прибора и его технические характеристики отличались от того, к чему привыкли сотрудники ОКБ в процессе конструирования самолётных автопилотов. Общим в нашем и в самолётных автопилотах было, пожалуй, только наличие и назначение гироскопов — быстро вращающихся волчков, фиксирующих направления пространственных координатных осей, проходящих через центр тяжести Краба в процессе его самостоятельного полёта.

ОКБ Антипова занимало большое серое здание в конце Кутузовского проспекта. О качествах самого Антипова как инженера, технического организатора и дипломата у меня осталось великолепное впечатление. Сильными были и его ближайшие помощники, с которыми у меня была постоянная связь. В частности, с руководителем группы гироскопов Браиловским.

Я тесно контактировал с СКБ-589, разрабатывавшим прицелы для бомбометания, предназначенные для установки на бомбардировщиках, и с его главным конструктором Буяновым, который был, как и Антипов, прекрасным инженером, организатором и дипломатом. Наша общая с ним национальность делала его, как казалось Свечарнику и мне, благосклонным к нашим проблемам. Хотя они в масштабе деятельности этого огромного производственно-конструкторского учреждения занимали не слишком значительное место.

А проблемы, в общих чертах, были такие. Хотя наш Краб был самонаводящимся, момент его отделения от самолёта нельзя было выбирать на глазок. Угол зрения тепловой головки, как и обычного глаза, был ограничен: при выходе цели за границы конуса, ось которого была осью зрения головки, она головкой терялась.

Бомбардировщик, к которому был подвешен Краб, летел при подходе к цели на большой высоте в режиме горизонтального полёта, и в момент отделения Краба от бомбардировщика цели в поле зрения головки не было. Первые секунды автономного полёта Краб по инерции тоже летел горизонтально, затем начинал снижаться, а его корпус и ось зрения головки наклонялись к земле. Для того, чтобы наступал момент, когда цель попадает в поле зрения головки, Краб надо было сбрасывать не кое-как. Т. е. надо было пользоваться прицелом. Другое дело, что даже в случае, если сбрасывание было не слишком точным, но позволяло, всё же, головке цель захватить, то система самонаведения выводила Краб на цель точно, компенсируя первоначальную неточность сбрасывания и другие случайные помехи (например, метеоусловия). В этом и заключалось принципиальное и ценное отличие нашего Краба от обычной бомбы. Ведь неточность сбрасывания обычной бомбы в процессе её движения к цели только усугубляется другими многочисленными возможными ошибками и помехами.

Итак, прицел нам был нужен. Но закавыка была в том, что семейство траекторий нашего крылатого Краба принципиально отличалось от траекторий обычных бескрылых авиабомб, и в кинематическую схему того «штатного» прицела, которым оснащались бомбардировщики ТУ-4 (а он и был нашим самолётом-носителем) надо было вносить изменения, учитывающие специфику Краба: не ставить же на ТУ-4 второй прицел специально для него!

Некоторые проблемы надо было решать и в ОКБ Туполева, разработчика ТУ-4. Этот ТУ-4 почти (а может, и без «почти») воспроизводил американскую «Летающую крепость «В-29», сыгравшую существенную роль в победе союзников во второй мировой войне.

Я имел дело с заместителями Туполева. Проблема была в следующем. Краб надо было подвешивать снаружи, под фюзеляжем самолёта, ибо в бомбовом отсеке, где размещались обычные бомбы, наш Краб с его, хоть и короткими, крыльями поместиться не мог. Т. е. надо было создавать особое устройство подвески, которое в полёте самолёта освобождало подвешенный на земле Краб командой штурмана, наблюдавшего цель через упоминавшийся прицел...

Наши отношения с ОКБ Туполева были непростыми: Краб, висящий под фюзеляжем Ту, менял в худшую сторону аэродинамические качества детища ОКБ. С другой стороны, руководителям ОКБ было лестно и выгодно занять в своей бомбовой клиентуре перспективную модель. Они требовали от нас уменьшения размаха крыльев Краба, нам это было не в жилу, велись трудные переговоры по достижению компромиссного решения.

Тепловую головку разрабатывал специальный отдел Красногорского оптико-механического предприятия (которое, кстати, выпускало всем известные фотоаппараты ФЭД и другие ширпотребовские оптические приборы). Отдел возглавлял Главный конструктор Геништа. С его коллективом сотрудничал В. П. Макаров.

Все наши смежники стали таковыми в результате Постановления ЦК КПСС и Совета Министров, которое дало начало разработке Краба. Инициаторами каждого Постановления такого рода становились заинтересованные в нём, как теперь бы сказали, структуры.

В первую очередь, это были «заказчики», которые хотели бы использовать результаты разработки. В нашем случае это были Военно-Воздушные Силы. Высшие чины ВВС, выступая в роли инициатора создания нового вида оружия, или, по крайней мере, активно поддерживая инициативу разработчика, демонстрировали руководству военного министерства и высшему политическому руководству страны, т. е. Политбюро, что они «ловят мышей»: держат руку на пульсе процессов научно-технического прогресса в области вооружения и активно конкурируют с аналогичными ведомствами потенциального противника.

Вместе с заказом Краба и его принятием на вооружение ВВС получали новые аргументы в пользу того, что они заслуживают особого внимания и особых привилегий в конкурентной борьбе различных родов войск.

В Постановлении были заинтересованы мы — исполнители разработки. В случае успеха мы приобретали вес в своей среде, получали шансы на премии и карьеру и на новые заказы. Не последнюю роль играли наши научные и творческие технические запросы и стремление к профессиональному совершенствованию.

Система управления наукой, проектированием и экономикой была централизованной и государственной. Поэтому такое Постановление регламентировало кучу деталей.

В нём обозначалось одно из Главных Управлений ВВС, становившееся техническим представителем заказчика, контролёром и приёмщиком нашей разработки. Это ведомство должно было подготавливать так называемые ТТТ (тактико-технические требования) — на новый вид оружия. В ТТТ была масса пунктов. Например, в ТТТ на нашу разработку входили:

— условия применения оружия; определялся тип бомбардировщика, диапазон высот и скоростей полёта бомбардировщика в момент отделения Краба, тип целей, против которых применение Краба было бы эффективным;

— характеристики точности попадания Краба в цель и характеристики степени поражения разных типов целей;

— характеристики технологических процессов производства: круг военных заводов, выделяемых для изготовления серий нового оружия, ограничения на типы и количества материалов, которые можно использовать для производства оружия и т. п.

В Постановлении перечислялись все учреждения, которые были обязаны участвовать в разработке Краба. О некоторых из них я по ходу дела упомянул выше, об остальных расскажу позже. Лётные натурные испытания нашего Краба должен был совместно с нами проводить НИИ ВВС, который располагал полигоном под Ногинском.

Были определены сроки окончания этапов. Наименования и содержания этапов были стандартными, устоявшимися к тому времени в авиа- и бомбостроении: 1) «Эскизный проект»; 2) «Технический проект»; 3) «Государственные испытания». Первые два этапа завершались натурными лётными испытаниями, соответственно, «экспериментальной» и «заводской» партий образцов.

Первые два этапа состояли в разработке и совершенствовании обширного комплекта материалов, в серии лабораторных исследований, в серии расчётов, в выпуске чертежей и прочей документации для производства, в изготовлении партий натуральных образцов, в завершающих этап лётных испытаниях, в анализе их результатов; на их основании на следующем этапе проводились новые расчёты и лабораторные эксперименты и вносились изменения в конструкцию натуральных образцов очередной партии.

Третий этап был заключительным. Он состоял в комплекте чертежей и других документов, необходимых для серийного изготовления нового оружия, инструкций для военного персонала (пилотов, штурманов, аэродромных служб), которому предстояло использовать окончательный вариант Краба для учебных или боевых действий, в изготовлении по серийной технологии партии образцов для Государственных испытаний и в проведении этих испытаний (на этом этапе партия опытных образцов называлась «государственной»); по результатам третьего этапа определялись фактические тактико-технические характеристики оружия и решение о принятии оружия на вооружение ВВС.

Постановление регламентировало выделяемые нам и нашим смежникам ресурсы для работы:

— материальные: лимиты на объёмы материалов для изготовления опытных образцов;

— финансовые — на оплату этих материалов (впрочем, эти деньги большого значения не имели);

— трудовые: так называемый фонд зарплаты, т. е. количество денег в месяц, которое мы могли потратить на оплату — по существующим централизованно установленным ставкам — привлекаемых к проекту работников и уже упоминавшиеся мной нормы получения молодых специалистов из разных вузов страны.

Составной частью технической документации на каждом этапе нашей разработки были комплекты документов, относящихся к приборам и устройствам, разработанным нашими смежниками — к корпусу лета-

тельного аппарата, к автопилоту, к тепловой головке, к прицелу, к подвесному устройству.

На первых этапах разработки наша фирма («генеральный исполнитель») выдавала каждому соисполнителю тактико-технические задания (ТТЗ). Всё-таки кое-какой разум в тоталитарной системе был. Постановления выходили только в том случае, если ТТТ были предварительно заказчиком и исполнителем согласованы. Часто первоначальный текст этих документов составлялся совместно научно-техническим персоналом заказчика и исполнителя и часто именно исполнитель, способный сублимировать и генерировать свежие технические идеи в своей специальной области, играл первую скрипку, а заказчик играл более пассивную роль, пытаясь сделать конечные характеристики нового вида оружия более привлекательными для боевых подразделений тех родов войск, интересы которых наш непосредственный заказчик представлял.

В окончательно согласованных ТТТ и ТТЗ, прилагаемых к проекту Постановления, под многочисленными «согласовано» и «утверждаю» ставились подписи заказчиков и исполнителей разных рангов — от главных конструкторов и высоких чинов военного ведомства до министров — военного, нашего, смежников. Постановление ЦК и Совмина, регулировавшее нашу деятельность по разработке Краба было подписано аж Сталиным.

Описанная процедура, всецело определяемая плановой идеологией, несла на себе печать главного недостатка этой идеологии: претензии на возможность всё предвидеть. В условиях разработки новой техники нелепость этой претензии была особенно очевидной и вопиющей. Ни заказчики, особенно упорно настаивая на тех или иных пунктах ТТТ, ни мы, соглашаясь с ними, не понимали и часто не могли в начале пути понять, осуществимы ли эти пункты в принципе. Более того, заказчики не всегда понимали, разумны ли некоторые из пунктов ТТТ с тактической точки зрения, но, тем не менее, тратили на отстаивание этих пунктов массу сил, привлекая для поддержки своей позиции и подавление нашего сопротивления весьма высокое — собственное и наше — руководство.

Постановление определяло размеры партий натуральных образцов, подлежащих лётным испытаниям на каждой из трёх упомянутых выше фаз разработки. Эти размеры придумывались на глазок и определялись не столько уместными в данном случае методами математической статистики, сколько производственными мощностями нашего опытного производства и производств смежников, а также техническими, человеческими и иными ресурсами лётной испытательной базы.

Мы, в свою очередь, часто не могли определить характеристики автопилота, тепловой головки, прицела, подвески с безупречной обоснованностью, а наши смежники не всегда понимали, сумеют ли они наши (обоснованные не стопроцентно!) задания выполнить. Мы, не всё понимая про наше будущее детище, старались потребовать от наших смежников большие диапазоны регулировки тех или иных технических характеристик приборов, предназначенных для установки на Крабе, а смежники старались для облегчения своей работы эти диапазоны сузить и оговорить более определённые свойства их изделий.

В результате время от времени ТТТ и ТТЗ корректировались. Для того, чтобы эти изменения приобретали законную силу, готовились и выходили новые Постановления ЦК и Совмина, изменявшие и дополнявшие предыдущие.

У заказчика были огромные возможности контролировать нашу повседневную работу по выполнению его заказа. В КБ постоянно работали

«военпреды» — военные представители заказчика. Кроме того, довольно часто к нам наезжали офицеры из Главного Управления. Главное Управление находилось в Штабе ВВС — огромном помпёзном здании на Б. Пироговской.

Офицеры ВВС, связанные с нами отношениями «Заказчик—Исполнитель» (это была постоянная команда человек в десять, и мы их знали как облупленных) могли беспрепятственно беседовать с нашими сотрудниками — от Главного до самого скромного техника-расчётчика или лаборанта, просматривать наши промежуточные расчёты и чертежи или документы, присылаемые нам нашими смежниками, присутствовать при лабораторных испытаниях приборов, навещать цеха опытного производства и наблюдать за изготовлением корпусов и сборкой Крабов.

Эти навязанные нам тесные контакты нам изрядно мешали — в силу принципа «Дуракам половину работы не показывают». Но военпреды были, как правило, совсем не дураки и быстро схватывали, в чём состоят наши текущие научно-технические или организационные трудности, которые были чреваты отходом от сроков или от выполнения пунктов ТТТ. Они сигнализировали об обнаруженных тревожных признаках своему начальству, а оно требовало созыва специальных совещаний для выяснения обстановки, разработки «мер» и пр. Совещания были разных уровней: или просто в кабинете Главного, или у начальника нашего КБ (Виноградову такие совещания были всласть) или у начальника ГУ заказчика на Пироговской, или в нашем Министерстве. Нервов потрёпано было немало...

С другой стороны, тесные контакты порождали и человеческие отношения между членами нашего коллектива и офицерами из военпредского корпуса. С некоторыми офицерами у меня возникли вполне тёплые и доверительные отношения, основанные на том, что они были специалистами, а не просто полицейскими. Они понимали природу и уровень наших трудностей, могли оценить наше профессиональное мастерство в их преодолении, понимали нетривиальный творческий характер нашей работы. Такие друзья из среды военпредов выступали в качестве наших явных или (чаще) завуалированных адвокатов перед очами своего собственного начальства, которое было от нашей повседневной работы дальше, но которое делало политику и которому научно-технические сантименты были свойственны реже.

Каждый этап завершался большим заседанием — Защитой (эскизного, технического) проекта. Иногда такое заседание растягивалось более чем на один день. Оно проходило в конференц-зале нашего института. Присутствовали команды Главного Конструктора, руководители нашей фирмы и нашего Министерства, руководители структур Заказчика — от военпредов до высоких чинов ВВС и Министерства Обороны.

За две—три недели до дня защиты заказчик получал официально от нашей фирмы многотомный комплект наших технических отчётов, чертежей, передававшихся в производство, технических отчётов и других документов наших смежников, отчёты об аэродинамических и прочностных испытаниях в ЦАГИ и о других лабораторных экспериментах, отчёты полигонов о натурных испытаниях и т. д.

Большой штат офицеров заказчика скрупулёзно изучал предъявленный ему комплект и искал в нем ошибки и свидетельства о допущенных нами отклонениях от пунктов ТТТ.

На самой защите первый доклад делал Главный, потом члены его команды делали свои содоклады. Докладу и содокладам сопутствовали мно-

гочисленные — обычно ехидные — вопросы офицеров из штата заказчика и из привлечённых заказчиком научных военных учреждений. Потом начинались выступления старших офицеров заказчика. На нас набрасывалась очень хорошо подготовленная свора: каждый выступавший хотел продемонстрировать своему начальству высокую осведомлённость и требовательность. Иногда, как я уже сказал, это стремление шло вразрез со сложившимися между нами хорошими отношениями. Тогда выступавший шёл со своей «заказчицкой» совестью на компромисс, который всем нам был хорошо виден.

Заседание завершалось принятием заранее составленного и в общих чертах согласованного Протокола. Представители Заказчика вносили в проект Протокола предложения об усилении пунктов, отмечающих недостатки разработки на отчётном этапе и требовавших их устранения на следующем, а мы — об усилении пунктов, оценивающих нашу работу положительно. Последний пункт Протокола представлял собой формулу, которая констатировала завершение текущей фазы разработки и разрешение перехода к следующей. Протокол утверждался на уровне Министров.

Нервы разработчиков во время защиты выматывались порядочно, и я такие мероприятия ненавидел. Будучи школьником, а потом студентом, я мечтал о временах, когда моя учёба и являющиеся её неотъемлемой частью мучительные для меня (я всегда волновался, хотя, как правило, получал «отлично» и «хорошо») зачёты и экзамены из моей жизни уйдут. Окончив Университет и хорошо сдав (немало при этом поволновавшись) Госэкзамены, а потом — экзамены в аспирантуру (в которую меня не приняли, несмотря на хорошие отметки), я вздохнул с облегчением, ибо решил, что теперь мне в дискомфортном для меня качестве экзаменуемого выступать не придётся — по крайней мере, в обозримом будущем. Ах! Как я был недалёковиден! Защиты проектов оказались почище всяких экзаменов.

...Дальнейшая жизнь показала, что от атмосферы экзамена отдохнуть можно только на пенсии. Мне довелось сдавать кандидатские экзамены, защищать кандидатскую диссертацию, делать множество докладов на заседаниях Учёных Советов, на научных семинарах и на конференциях, ждать рецензий на статьи, представлявшиеся мною в редакции журналов и энциклопедий, и на рукописи книг, которые я представлял в книжные издательства. А от этих рецензий зависело, напечатают ли мой материал. Все эти процедуры в большей или меньшей степени смахивают на экзамены...

Теперь — ещё немного о контактах с исследовательскими организациями, конструкторскими бюро и другими нашими смежниками и с испытательным полигоном.

Особую роль играл ЦАГИ. Для расчёта траекторий Краба и выбора параметров системы управления (автопилота и примыкающих к нему устройств) надо было знать аэродинамические свойства этого летательного аппарата. Например, функции, о которых я упоминал выше — так называемые коэффициенты аэродинамических сил: C_x — силы сопротивления воздуха летательному аппарату в процессе его полёта и C_y — подъёмной силы крыльев. Такого рода характеристик было ещё много. Например, коэффициенты моментов аэродинамических сил, создаваемых интерцепторами.

Теоретические методы расчёта подъёмной силы крыла, основанные на теории циркуляции воздушного потока и использовавшие средства теории функций комплексного переменного, были разработаны ещё профессором Н. Е. Жуковским. Но они давали близкие к реальности результаты

в условиях не слишком больших скоростей и в случае длинных крыльев, характерных для самолётов первых десятилетий развития авиации.

При переходе к сравнительно коротким крыльям и к около- и сверхзвуковым скоростям предположения, в которых верна теория Жуковского, перестали быть реалистичными, и на первый план вышли экспериментальные лабораторные методы определения аэродинамических характеристик летательных аппаратов.

К нашему Крабу с его короткими, да ещё крестообразными крыльями эта ситуация относилась в полной мере. Единственным надёжным способом определить аэродинамические характеристики нашего Краба были продувки его моделей в аэродинамических трубах ЦАГИ.

Аэродинамических труб в ЦАГИ было несколько. Наш Краб помещался в своём натуральном виде только в самой старой и большой по диаметру трубе Т-102. Но в этой трубе нельзя было воспроизводить околозвуковые скорости, которых Краб мог достигать в своём полёте. Для определения характеристик на около- и сверхзвуковых скоростях использовалась новая тогда труба Т-106, но туда влезала уже только сильно уменьшенная модель Краба. За время разработки Краба формы его корпуса и крыльев, размеры интерцепторов и пр. менялись несколько раз, и каждый раз после такого изменения новый вариант испытывался в Т-102 и нужна была новая модель для Т-106. Модели для этой трубы изготавливало опытное производство нашего НИИ по чертежам нашего конструкторского отдела Чиненкова.

Поездки в ЦАГИ были всегда приятными. Этот институт располагался (и, я уверен, располагается и теперь) в нескольких десятках зданий на огороженной и охраняемой территории. Чтобы добраться до этой территории, надо было доехать на электричке до станции Отдых Казанской железной дороги, а потом пройти примерно километр через красивый сосновый лес, характерный для мест, расположенных на восток от Москвы. Это была очень славная прогулка. Иногда, если я отправлялся в ЦАГИ вместе со Свечарником, то мы ехали на служебной машине, которую ему могло дать начальство, но это было более обыденным путешествием. Большинство сотрудников ЦАГИ жило в г. Жуковском, выросшем в непосредственном соседстве с Институтом.

Мы обсуждали с сотрудниками ЦАГИ программы очередных продувок, сроки их проведения и пр. Тут были свои организационные трудности. Клиентами ЦАГИ были многочисленные заведения. В первую очередь, это были самолётостроительные КБ, но постепенно большой процент заказчиков ЦАГИ стали составлять заведения, вроде нашего. Да и в самом нашем НИИ у ЦАГИ было три заказчика: кроме нас, в ЦАГИ со своими проблемами обращались Орлов и Надирадзе.

Пропускные способности труб ЦАГИ были, естественно, ограничены. Возникал обычный для советской системы дефицит и сопутствующая ему борьба влияний при попытке решить ресурсные проблемы в свою пользу. Так что кроме научно-технических проблем нам приходилось заниматься и административными, и дипломатическими.

С нашим институтом работал один из отделов ЦАГИ. В первые годы моего общения с ЦАГИ этим отделом руководил крупный учёный по фамилии Райх. С ним мы обсуждали и согласовывали программы продувок наших моделей, и тут конфликты возникали редко. Но вот, сроки — они почти всегда было источником разногласий. Наши запросы определялись нашими планами, утверждёнными нашим министерством и нашими заказчиками, а эти последние были очень строгими контроллёрами.

Позиция Райха определялась, во-первых, очередью из его собственных клиентов, одним из которых были и мы, и во-вторых — местом его отдела в очереди к трубам, которая регулировалась руководством лаборатории № 2 ЦАГИ, в которую входил отдел Райха.

Если сроки выполнения продувок, которые называл Райх, могли, как я понимал, нарушить наши обязательства перед нашим министерством и перед военными, то я для начала отправлялся к заместителю начальника лаборатории № 2. Это был профессор Струминский, обходительный человек, который по всем признакам, Райха не любил, и при первой возможности его окорачивал.

Иногда Струминский не хотел вмешиваться в счёты между Райхом и начальниками аэродинамических труб и переадресовывал меня к заведующему лабораторией — А. А. Дородницыну, человеку суховатому и далёкому от учёта взаимоотношений Струминского и Райха. ...Впоследствии Дородницын стал директором возникшего в конце пятидесятых годов Вычислительного Центра АН СССР, академиком...

У Дородницына я добивался успеха не всегда. В случае неудачи Свечарник пытался включить в процесс нашего толкания локтями с другими заказчиками продувок в трубах ЦАГИ какое-нибудь наше начальство, например, заместителя министра (сельскохозяйственного машиностроения!).

Отправляясь в ЦАГИ (а поездки в учреждения, расположенные в Москве или в пригороде, назывались «местные командировки»), я оказывался вне привычной будничной работы, надоевших контактов с начальниками и подчинёнными. Обычно в день поездки в ЦАГИ я на работу не приезжал, а ехал прямо туда (причём не обязательно с раннего утра, как на мою работу) и иногда проводил там так много времени, что мне естественно было после дел в ЦАГИ на мою работу и не возвращаться.

Поэтому часто, приехав в ЦАГИ, я там и обедал. Как-то раз я пришёл в столовую и подсел к столику, за которым уже сидел Райх. В его руках была раскрытая «Правда». Ко мне была обращена одна из её задних полос. Я увидел шапку над всей полосой: «Марксизм и вопросы языкознания». С оставшейся ещё у меня мехматской презрительностью к гуманитарным темам, я спросил у Райха: «Кто это ещё взялся за языкознание?». Райх отвечал, что автор — лицо значительное. «Уж не сам ли А.?» — спросил я иронически, назвав фамилию тогдашнего зав. отделом агитации и пропаганды ЦК. «Нет», — отвечал Райх с почтительной лукавостью — «Ещё немного повыше», — и шёпотом добавил: «Товарищ Сталин».

...Незадолго до объявления дела врачей Райх исчез. Возможно, Струминский воспользовался общей обстановкой и форсировал расставание с нелюбимым подчинённым. Место Райха занял очень грамотный и симпатичный Петров. С ним, признаться, работать было гораздо приятнее, чем с Райхом...

Другим научным учреждением, с коллективом которого у меня возник неплохой человеческий и научно-технический контакт, была кафедра бомбометания Военно-Воздушной Инженерной Академии им. проф. Жуковского. Этой кафедрой заведовал упоминавшийся мной выше академик и генерал-лейтенант Н. Г. Бруевич: он в 1948 г. стал первым директором Института Точной Механики и Вычислительной Техники АН СССР, а я безуспешно попытался стать первым аспирантом этого института. К началу пятидесятого года, когда у меня возникли общие дела с кафедрой Бруевича, он уже, кажется, свой директорский пост в ИТМ и ВТ оставил.

А дела эти были связаны с тем, что, как я уже говорил, особенности траекторий крылатого Краба не могли быть учтены обычным («штатным») прицелом, установленным на Ту-4 и предназначенным для прицельного сбрасывания обычных бомб. Главным пунктом в ТТЗ на модификацию прицела, которое мы выдавали для СКБ-589 Буяновера, была математическая формула, которую должен был отрабатывать механизм модифицированного прицела. Эта формула отличалась от той, которую отрабатывал механизм прицела для обычного бомбометания. Мы стремились свести отличия к минимуму — так, чтобы прицел для Краба получался бы из обычного прицела за счёт изменения лишь некоторых элементов его конструкции.

Мы со Свечарником решили, что для выработки технически обоснованного и грамотного задания Буяноверу нашим естественным и авторитетным консультантом может стать именно кафедра бомбометания ВВИА. Генерал Бруевич на сотрудничество с нами охотно пошёл.

Николай Григорьевич Бруевич имел типичный облик преуспевшего и находившегося в ладах с властями интеллигента. Он был тучноват, очень высокого роста с небольшой аристократической головой, со слегка грассирующей речью. Он был величествен и доброжелателен. В пятидесятые годы, когда мне доводилось с ним встречаться, ему было сначала чуть меньше, а потом чуть больше шестидесяти.

Надо сказать, что подавляющее большинство офицеров ВВИА, с которыми я имел дела, включая старших и высших чинов, были людьми квалифицированными, вежливыми, и, похоже, порядочными. А имел я дела не только с преподавателями кафедры бомбометания. От сотрудников других кафедр у меня остались тоже очень хорошие впечатления. Исключением оказалась лишь кафедра диалектического материализма. Но об этом — чуть позже.

Кафедрой управляемых снарядов заведовал молодой, лет сорока, генерал-майор Владимир Семёнович Пугачёв. Он был высок, красив, обаятелен, образован. Он специализировался в переносе понятий и результатов теории корреляции случайных величин на случайные функции. Я помню, как Пугачёв, волнуясь, выступал с докладом на эту тему в секции А. Н. Колмогорова Всесоюзного съезда математиков, и мэтр относился к его докладу благосклонно.

Когда-то в одной из баз отдыха Дома Учёных Пугачёв познакомился с Абрамом Мироновичем и с Марией Григорьевной. Выяснилось, что хобби этого интеллигентного офицера — фортепиано, причём оба учёных были настолько квалифицированы, что образовали дуэт и исполнили несколько классических сочинений для скрипки и фортепиано. После этой встречи на отдыхе дружба между ними развития не получила, но след у обоих (как я потом узнал) оставила приятный.

На кафедре математики была профессором (мне помнится, что у неё был и военный чин полковника) интеллигентная и всеми уважаемая дама средних лет — Елена Сергеевна Вентцель. Её специальностью была теория вероятностей. А её мужем был генерал-майор Д. А. Вентцель, занимавший пост профессора, а может, и заведующего кафедрой теории взрывов.

...Через несколько лет, в шестидесятых, Елена Сергеевна, оставаясь в штате ВВИА, стала успешно выступать как писательница. Она издала несколько повестей, полюбившихся интеллигентным читателям. Её творчество явно продолжало чеховскую традицию, противостоявшую официальной литературе. Оно принадлежало к тому же ряду, что и проза Э. Казакевича, М. Казакова, Ю. Трифонова.

Е. С. Вентцель выбрала себе псевдоним «И. Грекова», и только посвященные знали, что его звучание намекает на математические корни («У») менталитета автора. Каждая новая повесть И. Грековой появлялась сперва в «Новом мире», и уже этот факт был некоторым знаком качества. После выхода её повести «За проходной» — о жизни коллектива исследовательского института — интеллигенция сразу заметила появление нового писательского имени. С интересом и вниманием были встречены «Дамский мастер», «Вдовый пароход», «Кафедра» и «На испытаниях».

Эта последняя была опубликована в конце шестидесятых или в начале семидесятых годов и наделала много шума, в ней описывалась ставшая к тому времени очень хорошо мне знакомой жизнь на полигоне «Капустин яр», Этот полигон выполнял и побочную функцию: там проходили практику слушатели некоторых высших военных учебных заведений, в том числе и ВВИА. А с группами слушателей ездили, естественно, и преподаватели.

В этом качестве в Капъяре бывала и сама Елена Сергеевна, и её муж генерал Д. А. Вентцель, который был легко узнаваемым прототипом милого, чудаковатого, аристократического и высокоинтеллигентного героя повести «На испытаниях». В повести было много реалий, характеризующих специфическую гарнизонную жизнь образованного офицерского корпуса, не слишком отгороженного от населения захолустного райцентра, который назывался (и сейчас называется!) село Владимировка.

Мой начальник Д. А. Свечарник был, как я уже говорил, человеком с хорошо развитым чувством забавного. Он запоминал и делал предметом своих устных рассказов смешные сценки, обмолвки, нелепые строчки официальных документов и пр. Он как-то выписал самые выразительные записи в жалобной книге офицерской столовой в военном городке во Владимировке и с удовольствием читал их желающим.

Мы со Свечарником большей частью бывали в Капъяре вместе, но бывали периоды, когда логика дела требовала, чтобы он был в Москве, а я на испытаниях, или наоборот. Как-то, вернувшись из Владимировки, где он был без меня, Свечарник рассказал мне о состоявшемся у него приятном знакомстве с Еленой Сергеевной. И вот в повести «На испытаниях» я обнаружил несколько страниц, содержащих курьёзные жалобы, выписанные моим шефом из жалобной книги офицерской столовой. Мне эти выписки Свечарник показал сразу же после возвращения из Владимировки, но о том, что отдал их и Е. С. Вентцель, не сказал. Да и она на первоисточник не сослалась. Поэтому, увидев знакомый мне текст на страницах книги, вышедшей лет через двадцать после тех времён, когда мы езживали во Владимировку, я испытал сентиментальные переживания...

Вернусь к кафедре Бруевича. Я вскоре стал своим человеком в этом коллективе. Этому сближению способствовала явная обоюдная выгода сотрудничества и для нас, и для кафедры. Мы получали консультанта, авторитетного и для разработчика прицела — ОКБ Буянова, и для нашего главного и капризного заказчика — ВВС. Кафедре, которой несколько прискучило преподавать слушателям рутинные курсы обычного бомбометания, была дана возможность принять участие в решении проблем, связанных с разработкой новых образцов бомбового вооружения.

Особенно я сдружился с доцентом кафедры Борисом Григорьевичем Доступовым. За те несколько лет, что я имел с ним дело, он из кандидата наук превратился в доктора, а из майора — в полковника. Борис Григорьевич предложил нашу задачу о прицеле для Краба в качестве центрального пункта кандидатской диссертации адъюнкта кафедры Анисимова.

Этот адъюнкт не только вывел нужную математическую формулу (это, признаться, большой изобретательности не потребовало), но и довольно быстро нашёл хорошее техническое решение для её реализации в виде механизма. Это решение очень понравилось и нам, и Буянову, потому что оно не предполагало изменять существующий механизм прицела (чего конструкторы терпеть не могут), а сводилось к оснащению обычного прицела некоторой приставкой, которая и стала называться «Приставкой Анисимова».

Приставка Анисимова была в ОКБ Буянова сконструирована, изготовлена, и ею был оборудован прицел на том самолёте, который командование ВВС выделило для проведения натурных испытаний Краба. Активное участие в нашем проекте дало возможность Доступову, Анисимову и другим сотрудникам кафедры ездить время от времени на наши полигоны, что также внесло разнообразие в их скучноватую академическую жизнь.

Одна лишь приставка к прицелу не могла составить содержание целой диссертации Анисимова, но дала ему повод внести в диссертацию солидную — на полторы сотни страниц — всякую сопутствующую всячину. Там были и рассуждения о пользе самонаводящихся бомб, и полученные в подарок от меня (разумеется, этот «подарок» был дан с разрешения дирекции нашего института и оформлен через Первый Отдел) некоторые теоретические разделы из наших технических отчётов.

Таким путём приставка Анисимова обросла в его диссертации дифференциальными уравнениями движения Краба и графиками его траекторий при разных начальных и иных условиях полёта, построенными на основании выполненных в моём отделе численных решений дифференциальных уравнений движения. В диссертацию попали и некоторые результаты моего исследования упрощённых уравнений, позволившие мне провести теоретический анализ связи точности попадания Краба в цель с параметрами его системы управления и аэродинамическими характеристиками. Конечно, на все наши материалы и результаты Анисимов сделал ссылки. Таким образом, с одной стороны, его диссертация достигла той меры пухлости, которой требовал тогдашний неписанный стандарт, а с другой — моё авторство ущемлено не было, и я мог включать мои результаты в мою собственную диссертацию, которая виделась не за горами.

Моя дружба с кафедрой Бруевича дала не только научно-технические, но и житейские плоды: в 1952 г. Бруевич согласился принять меня на свою кафедру в качестве внешнего соискателя. Я написал, следуя принятой форме, заявление на имя начальника Академии о приёме в соискатели, на котором Бруевич начертил одобрительную визу.

Кроме того, Бруевич с кем надо из руководства Академии поговорил, подчёркивая, что хотя в моей анкете и были минусы (беспартийный и еврей), в ней был и весомый плюс (непосредственный и активный руководящий участник реальной разработки нового авиационного вооружения). Начальник Академии издал приказ о моём зачислении в соискатели, и с этого момента я мог сдавать в ВВИА кандидатский минимум, а затем защищать диссертацию в Учёном Совете Факультета номер два.

Примечательно, что Бруевич проделал это на фоне уже давно развёрнутой антисемитской кампании и близкой её развязки — дела врачей. Так что решение Бруевича, не встретившее сопротивления руководства второго факультета и Академии, свидетельствует о высоком моральном уровне и интеллигентности тогдашнего генералитета ВВИА.

Таким образом, сравнивая отношение ко мне генерала Бруевича с одной стороны и полковника Калинин, заведовавшего кафедрой ВВС в эвакуированный в Белебей Военно-Политической Академии им. Ленина, на которой я занимал скромную должность лаборанта — с другой, я отдавал предпочтение генералу: полковник меня выгнал, генерал меня принял.

Наступило время дела врачей. Настроение у всех евреев было ужасным. Свечарник повёл себя как верный член партии. Утром того дня, когда газеты сообщили о врачах-преступниках, я зашёл в кабинет Свечарника. Он делил кабинет с заместителем Орлова Эйдисом. Но в тот момент Эйдиса в кабинете не было. Я не успел рта раскрыть, чтобы поделиться с шефом своим ужасом и своим возмущением начатой кампанией, как Свечарник опередил меня гневной речью в адрес врачей. Он кричал: «Ну чего им не хватало?! Советская власть дала им всё! Зачем они продались империалистам?!». Я до сих пор не понимаю, высказывал ли Свечарник свои истинные мысли, или устраивал спектакль для меня, или (будучи умнее и опытнее моего) — для прослушивающего нас майора. Для евреев нашего НИИ-642 злоецающая кампания никаких гонений не принесла.

5-го марта 1953 года умер Сталин. Я и близкие мне люди не понимали расклада политического влияния и власти всех тех, кто Сталина окружал. Мы предполагали только, что ориентация у всех одинаковая — укрепление жестокого диктаторского режима в стране. В итоге мы все готовились к ещё более злоецающим временам. Все, да не все. Вечером 5-го марта Мария Григорьевна по дороге с работы домой зашла в кондитерский магазин и купила большую коробку пирожных разных сортов — наполеонов, бисквитных, трубочек с кремом и слоёных.

Пирожные в таком количестве и в таком разнообразии покупались только по случаю дней рождения членов семьи и в предвидении большого съезда гостей. Появление оживлённой Марии Григорьевны было встречено остальными членами семьи, пребывавшими в хмурой задумчивости, с неодобрительным недоумением. Но Мария Григорьевна, игнорируя нашу реакцию, накрыла белой нарядной скатертью стол, поставила на него праздничный сервиз и праздничное угощение, заварила крепкий чай, любителями которого были Абрам Миронович и я, и пригласила всех поднять головы и отпраздновать смерть тирана.

За этим чаепитием, поначалу воспринятом нами как пир во время чумы, наш пессимизм стал под натиском весёлости Марии Григорьевны отходить, и постепенно мы оказались вовлечёнными в её хоть и экстравагантное, но заразительное оптимистическое поведение.

...Когда в ближайшее же время благие последствия смерти Сталина стали очевидными, мы приставали к Марии Григорьевне с уважительными вопросами о том, как она сумела — на общем пессимистическом фоне — понять, что в случившемся историческом событии оптимистические ноты звучат громче тревожных? В ответ Мария Григорьевна склонна была ссылаться лишь на свою интуицию...

Оптимистическое отношение к смерти Сталина твёрдо высказал и Александр Маркович Колмановский, к которому я зашёл на другой же день обсудить происшедшее. Но, в отличие от Марии Григорьевны, которая в тот вечер с пирожными вообще ничего не говорила, а задним числом объясняла свою пронизательность интуицией, Александр Маркович уже шестого марта свои радостные надежды формулировал очень внятно. Он сказал, что если вместо одного главаря шайкой бандитов

начинают править несколько, то есть большой шанс на то, что главари шайки между собой передерутся, начнут друг друга уничтожать, от чего людям, страдающим от гнёта шайки, может полегчать. Как в воду глядел.

Составлялась делегация от нашей фирмы для прощания с телом в Колонном Зале. Моему отделу выделили одно место. Мои подчинённые думали, что им воспользуюсь я. Но меня туда не тянуло. Я опасался, что мои сотрудники настроены так же, и что мне придётся кого-то назначать силком. В те времена и такие решения мог принимать начальник отдела. У меня в отделе был один член партии, и я решил предложить заполнить парткомовскую разнарядку именно ему, мысленно сыграв на том, что его партийность сделает для него отказ затруднительным.

Но, к моему крайнему удивлению, многие сотрудники отдела восприняли мой отказ от использования лимита, как добрый жест начальника по отношению к рядовым сотрудникам. Многие хотели идти в Колонный зал. Пришлось разыграть место. Право идти прощаться с вождём выиграла техник-расчётчик Валя, и тогда моя любимица, старший инженер, умная и обаятельная, хоть и некрасивая и сухопарая Рита Яковлева стала тихо плакать. Я не знал, какими аргументами её утешить. Не обещать же ей, что когда, слава тебе тетереву, скончается следующий вождь, я сразу отдам лимитное место ей и только ей?! Если б я такое Рите пообещал, то остался бы перед ней в вечном долгу: следующие вожди уходили в мир иной тоже торжественно, но всё же попроще, без такого нерва, и Ритиной душе не достались бы переживаний, которых она жаждала.

На Сретенском и на Рождественском бульварах при подходах к Трубной площади шедшие к Колонному Залу прощаться со Сталиным сотни тысяч людей очутились в катастрофической неуправляемой давке, унесшей в могилу вслед за вождём несколько сот жизней. Эта трагедия не раз была описана, и я упоминаю о ней здесь лишь только потому, что в неё попала и чудом избежала гибели двадцатилетняя Маша Калмановская. Она рассказала мне, что руководство Менделеевки призвало идти прощаться с вождём всех сотрудников и студентов института вместе и организованно. И для этого собраться к пяти часам вечера (это был день трагедии).

Маша решила этого зрелища не пропустить и, невзирая на мольбы Александра Марковича, предчувствовавшего недоброе, отправилась на место сбора. Колонну Института (кто разрабатывал маршрут, осталось неизвестным) привели к Сретенским Воротам. Дальше они двинулись к Трубной по левой стороне бульвара. Уже сразу колонна попала в обстановку хаоса. Её разметало. В частности, Маша потеряла из виду свою подругу Элли Лимановскую, с которой была поначалу вместе. По мятущейся толпе прошёл слух, что выход из бульвара перегорожен грузовиками и там — гибель. Одну из Машиных сокурсниц — девушку худенькую и маленького роста — какой-то мужчина перебросил через ограду бульвара на снег, лежавший на обочинах бульвара. Это её спасло.

Люди, которых несло вниз по бульвару к смертоносным грузовикам, стремились вырваться с тротуара и мостовой и попасть в подъезды и ворота домов. Но жильцы и домоуправы старались всё закрыть и уберечься от толпы. Маша и ещё одна её подруга оказались вовлечёнными в группу людей, которые штурмовали какие-то закрытые ворота. Наконец, им удалось ворота распахнуть — видимо, ценой жизни тех, кто был у самых ворот. Маша с подругой попали в спасительный двор, а там им ещё повезло найти какое то открытое подвальное помещение. Они там укрылись и провели там ночь. Они вышли из убежища только когда открывалось

метро. Давки уже не было. Подруги вошли в метро «Красные ворота». Почему — не в «Кировскую», Маша не осознавала.

Дома Машу ждали еле живые родители. Они, оказывается, ночью позвонили родителям Эллы Лимановской и узнали, что и Элла не возвращалась. После этого звонка родители Маши и родители Эллы звонить друг другу боялись. Этот страх продолжался и после возвращения дочерей: выяснилось что Элла, пережила нечто аналогичное Машиным перипетиям и вернулась тоже под утро. Позвонить друг другу решились только сами вернувшиеся девушки.

Мои коллеги, делегированные в Колонный Зал, двигались, видимо, по особому маршруту — для делегаций от видных организаций. Этот маршрут был организован хорошо, и никаких ужасов такие особые делегации не переживали. В Колонный зал приглашали известных художников — рисовать исторические сцены. В частности, рисовал и Николай Иванович Осенев. Приглашали и известных музыкантов — исполнять траурные мелодии. Фальк рассказал, что пригласили и Рихтера. В назначенный момент его посадили за инструмент, и он стал исполнять намеченную траурную мелодию. Там всё было расчислено по времени, и в разгар исполнения Рихтера тронули за плечо, давая понять, что ему пора уступить место следующему исполнителю. Рихтер, обернувшись, возмущённо сказал: «Но ведь я не доиграл!». На этот довод внимания не обратили. Доиграли другие.

Смерть Сталина принесла много счастья многим людям во многих сферах жизни. Главным для нашего круга было прекращение «дела врачей». Тётя Доля — Дора Давыдовна Залманзон — работала после войны ночным корректором в газете «Советское искусство», и кое-какую, обычно невестькую, информацию о политической жизни мы получали иногда от неё раньше, чем о ней узнавали все. Только один раз это досрочное сообщение доставило нам радость. Это было известие о прекращении дела врачей, опубликованное в самых первых числах апреля пятьдесят третьего.

Потом вышел Указ об амнистии для лиц, осуждённых менее, чем на пять лет. Тогда Председателем Президиума Верховного Совета был Ворошилов, и в народе этот Указ называли «Ворошиловским», наивно полагая, что власть этого героя — не номинальная. Это представление о Ворошилове подкреплялось давешними слухами о том, что Климент Ефремыч, в отличие от своих корешей Молотова и Калинина, которые перенесли аресты своих жён, молча утёршись, аресту своей жены воспротивился. Чуть ли не с оружием в руках, заставив чекистов отступить и доложить о случившемся начальству, которое решило с Ворошиловым не связываться.

Среди новых трёх зампредов Совмина был Лаврентий Берия. Он же стал руководить Органами. И вот стали ходить слухи, что радостно уловленное обществом послабление режима исходит именно от него — что это он добился прекращения дела врачей и разгрузки лагерей и тюрем.

Хоть после войны папа в ГУЛАГе уже не работал, но кое-какие рассказы о персоналиях до него доходили. Он знал что Берензона после начала широкой антисемитской кампании уволили. А в конце марта 1953-го папе рассказали (а он — мне), что будто бы Берия, усевшись в своё министерское кресло на Лубянке, первым делом спросил: «А где Берензон? То есть, как это — не работает? Почему?!». Эта история (или легенда) выражала надежду на отмену антисемитской политики последних лет диктатуры Сталина.

В апреле, действительно, выпустили врачей, и вроде, дело пошло на лад. Но, как известно — не совсем. И эта неспособность или нежелание властей отойти от государственного антисемитизма полностью вряд ли объясняется тем, что Берию в том же году уничтожили его недавние закадыки.

Для Свечарника и его подразделения особое удовольствие состояло в том, что через пару недель после похорон Сталина исчез Виноградов. Не то, чтобы руководство министерства поняло, что он — личность нулевая. Тут как раз и «пахло глубже», и дело было в личности не Виноградова, а другой персоны. В самом начале пятидесятых наш Министр («Сельскохозяйственного Машиностроения») П. Горемыкин был посажен в тюрьму. Как это водилось — непонятно за что. В нашем ящике говорили, что он посажен по личному указанию Сталина — то ли за сокрытие запасов какого-то дефицитного металла на предприятиях его министерства, то ли за его перерасход. Такая диковинная юридическая формула никого не удивляла: велел Хозяин посадить — и посадили, а в чём посаженный виноват на самом деле — так и осталось секретом.

Через несколько дней после смерти Сталина о Горемыкине где-то в ЦК вспомнили, и его выпустили — так же без суда, как посадили. Следуя, по-видимому, какому-то административному этикету, его не сразу восстановили в его прежних чинах. Да и должность его была занята другим чиновником. Горемыкина назначили директором ГСНИИ-642, а Виноградова убрали, чтобы освободить место для Горемыкина, и больше я о Виноградове не слышал никогда.

Горемыкин, очевидно, понимал временный характер своего поста. И, вообще, он такие незначительные посты занимать отвык и не знал, что сидящие на таком посту делают. В результате, Горемыкин, в противоположность своему предшественнику, в дела Главных не вмешивался.

Иногда дипломатичный Свечарник просил Горемыкина принять его и делал вид, что нуждается в совете своего высокого начальника. Горемыкин благосклонно (видел бы эти сцены Виноградов!) выслушивал Свечарника, одобрял всё, на что Свечарник одобрения испрашивал, и отпускал его в тот самый момент, когда Свечарник давал понять хозяину кабинета, что больше не смеет злоупотреблять его драгоценным вниманием.

Через четыре или пять месяцев Горемыкину дали подходящее положение в ЦК или в Совмине, и он исчез из моего поля зрения вслед за Виноградовым, а на его место неизвестно откуда пришёл Николай Иванович Крупнов, оказавшийся опытным и разумным администратором.

Я решил форсировать защиту моей практически готовой диссертации. Но предварительно я должен был сдать три кандидатских экзамена: по специальности (для меня это была «Теория бомбометания»); по иностранному языку (я выбрал французский, на котором постоянно читал беллетристику, поэзию, математические учебники и статьи); по «Теории научного коммунизма».

Экзамен по специальности был совершенной липой. Кафедра была уверена в моей достаточной подготовке. Я не помню даже, состоялся ли этот экзамен физически, но распоряжение Бруевича об образовании комиссии под его председательством при членах Доступове и Мильграме было издано, а протокол экзамена с внесёнными в него вопросами и оценками моих ответов был составлен, подписан, утверждён в надлежащем порядке и лёг в мое дело, в котором к этому моменту лежали моё заявление о приёме в соискатели, моя анкета и приказ начальника Академии об удовлетворении моего заявления.

Легко для меня, хоть это и не было столь беспардонной фикцией, как на Кафедре бомбометания, прошёл экзамен по французскому языку. Завкафедрой велела мне перевести одну или две странички из учебника по теоретической механике. Я сделал это без подготовки и объяснялся в ходе моих контактов с членам комиссии, состоявшей из милых интеллигентных дам, исключительно по-французски. Дамы были приятно ошеломлены и поставили мне пятёрку через десять минут после начала нашей встречи.

Сдавая экзамен по научному коммунизму, я понял, что не все генералы и полковники в ВВИА мне нравятся. Я сдавал этот экзамен в апреле 1953 г. Для интеллигентов и для евреев это время было временем надежд, а для значительной части партийного чиновничества — временем тревожных ожиданий.

В отличие от тех офицеров ВВИА, с которыми я встречался до этого момента, и которые, как правило, мною оценивались высоко, члены экзаменационной комиссии, перед которыми я предстал, были заскорузлыми политкомиссарами с присущими этому племени злобностью, коварством, комплексом неполноценности и другими неблагоприятными качествами.

Я получил задание, составил конспект своих ответов и пошёл к столу экзаменаторов. Ответы на первые два вопроса сошли мне с рук. На третьем произошла катастрофа. Этот третий состоял в том, что я должен был рассказать о работе Маркса «Людвиг Фейербах и конец немецкой классической философии».

Готовясь к экзамену по научному коммунизму, я руководствовался некоторой официальной программой кандидатского минимума по данному предмету. В конце программы шёл обширный список «первоисточников», т. е. книг и статей, авторами которых были Маркс, Энгельс, Ленин и Сталин. Как и все нормальные люди, я и не думал читать целиком все эти первоисточники. Вместо этого я читал что-то из многочисленных суррогатов, которые сочиняла огромная армия тунеядцев — пересказчиков и толкователей марксизма. Это были статьи в энциклопедиях и в «Философском Словаре», страницы из учебников, статьи из газет и партийных журналов. В них можно было с меньшей затратой времени узнать «суть» большинства сочинений, упомянутых в мрачном списке.

Я стал излагать экзаменационной комиссии мои скромные знания касательно сочинения Маркса, которое интересовало комиссию. Комиссия слушала меня, скучая. Но в какой-то момент, когда я, поддавшись суетному желанию украсить мой ответ, процитировал хрестоматийное высказывание Маркса, которое, как мне казалось, содержалось именно в той его статье о Фейербахе, председатель комиссии, полковник с мерзкой рожей оживился, прервал меня и сказал: — «Маркс это положение, действительно, высказывал, но — не в этой работе. Скажите, пожалуйста, в какой именно?». Я наобум назвал что-то вроде «Критики Готской программы». «Нет», — просиял полковник — «Этой мысли в «Критике Готской программы» нет. Но зато там есть другое, очень важное положение о ... (убей меня Бог, о чём — не помню). Какое же?».

Я заметался, как загнанный заяц. После ещё нескольких петель такого же рода («Нет, это сказано не в этой работе. А в какой? Нет, в этой работе такого высказывания нет, а какое важное — есть?...») мне объявили, что экзамен окончен, и что я получил «неудовлетворительно».

Эта неудача сделала невозможной защиту диссертации, которая казалась мне в тот момент вполне близкой. Собственно диссертация в виде «кирпича» — т. е. написанного и сброшюрованного текста — у меня ещё

не было, но изготовить его из материалов моих многочисленных технических отчётов было несложно.

Я упоминал о выполненном мной теоретическом исследовании точности самонаводящихся бомб разрабатываемого нами типа. При некоторых разумных и обоснованных упрощениях математическая модель движения центра тяжести Краба под управлением тепловой головки и автопилота сводилась к так называемому вырожденному гипергеометрическому дифференциальному уравнению, решения которого — вырожденные гипергеометрические функции — были в математической литературе довольно полно исследованы, и я получил возможность провести анализ точности попадания Краба в цель при разных характеристиках его конструкции и системы управления.

Это исследование было бы изюминкой моей кандидатской диссертации. Я уже говорил, что кое-что из моих результатов использовал, с моего разрешения, в своей успешно защищённой диссертации адъюнкт Кафедры Бруевича Анисимов. Не исключаю, что в качестве гарнира к основному блюду из вырожденных гипергеометрических функций я вставил бы в диссертацию и несколько страничек с описанием приставки Анисимова и причин её необходимости, применив советский принцип: «Ты мне, я тебе».

Накопленных в моих технических отчётах материалов хватило бы и больше, чем на одну диссертацию. У меня, не скрою, была карьерная мечта: использовать для кандидатской диссертации лишь часть моего имущества и вскоре после её защиты добавить туда кое-что оставшееся и представить расширенный и модернизированный кирпич в качестве докторской.

И вот мерзкие марксистические полковники, захотевшие показать подъявшему голову после краха дела врачей еврею (мне), а заодно и дрожащим себе самим, что пока ещё праздник на их улице, подставляют мне такую подножку, от которой я оправился далеко не сразу. Было ясно что пытаться пересдать проклятый экзамен на проклятой кафедре было безнадежно. А где? То ли надо было оформляться соискателем в другом месте, то ли клянчить в каком-нибудь институте разрешение на сдачу только одного — этого самого — экзамена. Вскоре от защиты меня отвлекли другие сложности, и она отложилась почти на четыре года.

...Надо, забегая вперёд, сказать, что кафедра Бруевича, несмотря на моё философическое фиаско, меня из соискателей не исключила, и позже, в трудную для меня годину, представила мою в конце концов написанную диссертацию в Учёный Совет и взяла на себя организационные заботы, связанные с её защитой: нашла официальных оппонентов, собрала отзывы и пр. Вокруг этой защиты много чего навертелось, но об этом — ниже...

В пятьдесят третьем, кроме смерти Сталина и развала «дела врачей», были и другие приятные события. Осуждённые на пятилетнюю ссылку Наталка и Инна попали под «Ворошиловскую амнистию» и могли (вместе со своей матерью Рахилью) курорт в Казахстане покинуть.

Вечером того летнего дня пятьдесят третьего года (в Москве оно было тёплым), когда в Москву приехали из ссылки Гайстеры, на вокзал съехалась масса народа. Среди родни, встречавшей Гайстеров на вокзале, были, конечно, Абрам Миронович с Марией Григорьевной и мы с Галей. Был там ещё молодой человек по имени Алик Рабинович.

С вокзала троих приехавших и многих встречавших повезли в дом одной из тех родственниц Рахили или Арона, которые слишком близкого

участия в Наталке и Инне до их ареста не принимали. В числе приглашённых на родственный приём были и старшие Лопшицы, и мы с Галей, и упомянутый Алик. Тут мы познакомились с ним поближе. Выяснилось, что он — двоюродный брат Инны и Наталки, до того момента нам неизвестный. Он был оживлён и симпатичен, а главное — мгновенно учуял, каким интересным человеком был Абрам Миронович, и весь вечер от него не отходил.

...Через некоторое время после своего возвращения Рахиль и Наталка получили комнату в двухкомнатной квартире в доме на ул. Чкалова. В соседнем подъезде была квартира, ставшая через несколько лет знаменитой: там поселились Сахаров и Боннер...

Алик стал часто нас навещать. Он в это время окончил Строительный институт, а в него он попал, потому что его не приняли в Архитектурный. В строительном ему удалось пристроиться в каком-то отделении, которое в некоторой степени удовлетворяло его архитектурные запросы. Склонен и способен Алик был и к рисованию и даже выпустил детскую фантастическую книжку. Эта книжка была маленького формата, что-то вроде комикса: мало текста (весьма сумбурного, на актуальную тему об инопланетянах) и много иллюстраций. В этой книжке Алик употребил псевдоним «Митта». На наши вопросы, каково происхождение этого псевдонима, Алик ничего вразумительного не ответил. Но этот странный псевдоним он удержал на всю дальнейшую творческую (а может, и гражданскую) жизнь.

Вскоре после знакомства с нами Алику удалось каким-то чудом поступить на режиссёрский факультет ВГИКа и отвертеться от постылой работы в области строительства. Алика взял в свою творческую мастерскую М. И. Ромм. Алик своего учителя боготворил и старался быть всегда поближе к нему.

Как-то году в пятьдесят пятом Ромм проводил в ВТО беседу со студентами московских театральных училищ на тему об отличиях между работой кино- и театрального актёра. Алик, конечно, на этой беседе желал быть. Более того, он хотел, чтобы мы с Галей разделили с ним его восхищение Мастером и пригласил нас туда же. Спрашивать у Ромма разрешения на то, чтобы нас пригласить, Алик не стал. Он резонно рассудил, что наше самозванство не обнаружится: мы с Галей были ещё молоды и могли сойти за студентов театрального училища, а вход в ВТО был свободный. Беседа проходила в маленькой гостиной, студентов пришло человек семь, и мы с Галей поначалу очень боялись, что наша чужеродность откроется: мы отличались от студентов тем, что не задавали вопросов. Но всё сошло без неловкости.

Алик с обожанием смотрел на Ромма. Ромм рассказывал о том, как в кино снимают сцены совсем не в той последовательности, в которой они появляются в фильме, о том, как выглядит взаимодействие актёра и оператора на площадке, как роли озвучивают после того, как сцены отсняты и о других особенностях в технологии съёмки фильмов.

Ромм рассказал такую забавную историю, которую тогда, хоть и до XX съезда, он уже мог позволить себе рассказать. Выбирали актёров на съёмки Роммовских фильмов о Ленине. На роль Сталина пригласили известного и именитого артиста. Его загримировали, надели на него шинель и фуражку и попросили пройти на съёмочную площадку для проб. Актёр встал, сунул характерным жестом руку за обшлаг шинели и шагнул к двери в коридор. В коридоре против двери было зеркало. Актёр увидел себя во всём великолепии. Он остановился, поражённый, перед зеркалом,

постоял несколько мгновений, потом сказал: «Нет, ЭТО я играть не могу». После этого он вернулся в гримёрную и отказался от роли.

...Алик окончил ВГИК и стал одним из успешно работающих кинорежиссёров. Он взял себе тот самый псевдоним Митта, который вызывал наше недоумение и раньше, когда он принёс нам ту детскую книжку. Вскоре Алик перестал бывать у Лопшицев, да и моя жизнь переменилась: я вступил в другой брак и стал жить с новой семьёй в доме 35 на Арбате. Как-то поздно вечером — это было в самом начале шестидесятых — меня окликнул в гастрономе на Смоленской Алик. Это было в одиннадцатом часу: гастроном тогда работал до очень позднего часа.

Алик был уже весьма известным кинорежиссёром. Он выпустил ставшие популярными детские фильмы: «Точка, точка, запятая», «Друг мой Колька» и «Звонят, откройте дверь». Мы вышли из магазина вместе. Алика ждала служебная машина: он ехал из «Мосфильма». Он пригласил меня сесть с ним, и пока машина ехала от Смоленской до Калопина, мы успели рассказать друг другу наши главные семейные новости. С того раза я общался с режиссёром Александром Миттой только через его фильмы и интервью, которые он давал газетным и телевизионным журналистам...

Через некоторое время после смерти Сталина у Абрама Мироновича появилась возможность вернуться в МГПИ, особенно после того, как проректором института стал бывший аспирант Абрама Мироновича — Левон Сергеевич (Лёва) Атанасян. Но Абрам Миронович не захотел покидать Ярославский пединститут — учреждение, подавшее ему руку помощи в трудный момент его жизни.

...Впоследствии этот вуз был преобразован в Ярославский Университет, и Абрам Миронович проработал там в описанном выше челночном режиме ещё лет двадцать с лишним — вплоть до второй половины семидесятых, когда он вышел на пенсию, не потеряв связи со своими бывшими учениками и более молодыми сослуживцами...

Летом того же пятьдесят третьего же года в мою жизнь вошло новое увлечение. Дело было так. Я заболел: у меня возникла повторная атака ревмокардита, но не в такой сильной форме, как в детстве. Началась болезнь летом на даче, в Томилино. Я лежал на тахте на террасе. Как-то мне вздумалось нарисовать в Сашенькином альбоме Сашенькиными акварельными красками пейзаж, видимый с моего скорбного места. В пейзаж попали и голубоватые столбы террасы и зелень на участке, и небо с облаками. Потом я сделал ещё несколько акварелей — пейзажей и натюрмортов. Так оживился мой давний, возникший ещё в детстве, но задавленный учительницей рисования в младших классах школы, интерес к рисованию. В возрождении этого интереса сыграло роль и то, что я к этому моменту несколько лет общался с Фальком и навидался много его работ.

К концу лета я выздоровел, вернулся на работу, мои упражнения в рисовании сошли почти на нет. Но как-то осенью я зашёл к Майе, и с этой встречи началось моё многолетнее увлечение живописью, которому я посвящу специальную главу Записок.

В конце 1955-го года скончалась одиноко жившая в нашей комнате на Арбате Баба Нина. Ей было под или чуть за 80. О мёртвых хорошо или ничего. Ничего хорошего о ней я сказать не могу. Но выполнить предписанную афоризмом альтернативу буквально — тоже не получается. Не знаю, как обиходила и воспитывала она своих троих детей, когда они в родительском попечении нуждались. Но когда дети стали взрослыми, то ни она в них, ни они в ней, как правило, не нуждались.

Когда Баба Нина поселилась в арбатской комнате, я её изредка навещал. Она никогда не выражала желания видеть моего Сашеньку, её никак не интересовали детали моей семейной жизни. Никогда она в наших скучных разговорах не затрагивала политических тем. Баба Нина не имела никакой профессии. Кажется, в первые годы советской власти она какое-то время побывала кассиршей в магазине. Она об этих годах и впечатлениях не упоминала. Возможно, что именно отсутствие собственного опыта было причиной того, что она никогда не интересовалась, кем и как работают её дети, как работаю я, её внучки Ирина и Наташа.

Не говорили мы ни об искусстве, ни о жизни вообще. Она никогда не затевала рассказов о своём прошлом, о своих родных и друзьях. Попав в Москву, она не переписывалась ни с кем из Ашхабада, в котором прожила много десятков лет. В небольшое поле её внимания попадали только её скверные отношения с соседями по квартире.

Её дочь Зину я знал плохо, и её характеризовать не берусь. Но мой отец и тётя Нюра большинства отрицательных свойств своей матери, по счастью, не унаследовали. Они оба были квалифицированными и увлечённо работавшими профессионалами, и о своей работе много и с охотой говорили. Они оба ответственно относились к своим детям и сохранили живой интерес к их проблемам и после того, как дети выросли. Они оба интересовались и моими детьми.

...Тётя Нюра, будучи уже совсем старой, почти девяностолетней, узнав, что в выставочном зале на Кузнецком выставлено керамическое блюдо, сделанное моей Катенькой, устремилась туда — посмотреть...

Прах Бабы Нины был захоронен в маминой могиле на Донском.

Комната в двадцать четвёртой опустела. Из-за тесноты в Староконюшенном мы попробовали было пожить там с Галей и с Сашенькой. Но эта жизнь на выселках оказалась очень неудобной по разным причинам, и мы вскоре вернулись в Староконюшенный.

ГЛАВА 19

Натурные испытания. Ногинск. Подполковник Шатровский. Резвость Краба. Капъяр-Владимировка. Бытовые стороны командировок. Увар Дмитриевич. Коллеги. Майор Берман. На мотоцикле в степь. Евреи в оборонке и в Вооружённых силах. Как во Владимировке соблюдалась секретность. Лётное испытание образца. Старательные штурманы. Подполковник Литвинов. Обработка результатов испытаний. Отдых с водкой и раками. Ещё о качестве офицерского корпуса.

Профессиональная жизнь разработчиков новых видов авиационного вооружения включала в себя особый романтический мотив, который в жизни разработчиков большинства других видов новой продукции (телевизоров, швейных машин, сплавов металлов или стёкол) звучал слабее или отсутствовал вовсе. Я имею в виду натурные лётные испытания, во время которых рутинный профессиональный быт в лабораториях и отделах городских зданий с фиксированным началом и более ни менее фиксированным концом рабочего дня резко изменялся.

Испытания Краба проводились почти наедине с природой — ночью, в местах, отдалённых от крупных центров. Объекты испытаний и оборудование, обеспечивавшее их проведение, размещались на земле и в небесах. У сотрудников, разрабатывавших Щуку, дело в этом плане обстояло ещё лучше нашего: к двум упомянутым стихиям добавлялось море. Они ездили испытывать свою продукцию в Феодосию, вызывая нашу зависть, ибо места, в которых проводили испытания мы, курортными далеко не были, хотя имели и свои и природные и иные прелести.

Сперва Постановлением ЦК и Совмина нашей испытательной базой был объявлен НИИ ВВС, имевший аэродромы в Чкаловском под Москвой и под Ногинском. Под Ногинском был построен довольно большой военный городок, в котором размещались административные и научные подразделения НИИ ВВС. Возможно, что в этом же посёлке были и жилые дома для научных сотрудников и администраторов и казармы для военных частей, обслуживающих нужды НИИ. Я думаю, что впоследствии все упомянутые постройки вошли в подмосковный космический комплекс. Там же под Ногинском за НИИ ВВС была зарезервирована большая пустынная территория, на которой можно было строить макеты целей для испытывавшихся бомб и на которую можно было сбрасывать бомбы без риска причинить ущерб населению и хозяйству и без риска раскрытия военных секретов.

Когда в начале 1951 г. наступила пора испытывать первую экспериментальную партию Крабов, в Ногинск выехала группа наших сотрудников. Эта группа носила громкое название «экспедиция». Члены экспедиции жили не в военном городке, а в расположенном рядом с Ногинском посёлке Глухово. Наше КБ арендовало у местных властей или, может, у частного лица квартиру в две или три небольшие комнаты в двухэтажном деревянном доме. В этих комнатах, превращённых в общежитие, и жила экспедиция нашего КБ — целиком мужская.

На работу — в ангар, где были установлены и проходили предполётные проверки опытные образцы наших Крабов, на аэродром, откуда взлетал бомбардировщик с Крабом на борту, в различные службы городка и т. д. — наши испытатели ездили в приданном экспедиции «газике»-джипе. В состав экспедиции входили сотрудники подразделений КБ Свечарника — из двух конструкторских отделов, из лаборатории Демидова и рабочие опытного производства. Сотрудники моего расчётно-теоретического отдела в экспедицию не входили: близость места испытаний от Москвы и возможность при необходимости добраться до места часа за два—три делала их постоянное пребывание в Ногинске излишним

Обычно я ездил туда в дни испытаний, а пару раз в нашем маленьком общежитии переночевал. Телевизора в те годы ещё не было, и члены экспедиции коротали вечера за водкой, благо сельский магазинчик, в котором её можно было покупать, был рядом. В Глухове было (и, наверное, осталось до сих пор) большое ткацкое производство. Это обстоятельство создавало для членов экспедиции ещё один способ рассеяться — ходить по бабам, которые, как и в известной песне, в Глухове тоже составляли большинство (не исключаю, что «подмосковный городок» из этой песни и есть Глухово).

Первые три или четыре образца из экспериментальной партии не были ещё оснащены тепловыми головками. Они предназначались только для того, чтобы в натуральных условиях полёта проверить прочность конструктивных элементов корпуса нашего летательного аппарата, оценить его аэродинамические свойства, в частности, его управляемость под воздействием интерцепторов, а также проверить работоспособность автопилота. Проверялся механизм подвески и отделения Краба, проверялось функционирование прицепа с упоминавшейся приставкой Анисимова, а штурман привыкал к работе с таким модифицированным прицелом.

Траектория отделившегося от бомбардировщика Краба контролировалась системой радиолокаторов, являвшейся частью оборудования полигона. Данные локаторов передавались в расчётный отдел НИИ ВВС, которым руководил очень эрудированный в области тогдашней вычислительной техники и, при этом, доброжелательный человек — подполковник Лев Иванович Шатровский, с которым у меня сложились очень хорошие отношения.

...Через много лет, в конце семидесятых или в начале восьмидесятых, когда Лев Иванович давно вышел в отставку и был профессором в Московском Институте Электронных Управляющих Машин, а я — заведующим лабораторией в Центральном Экономико-Математическом Институте АН, судьба снова свела нас на пару часов на заседании Учёного Совета ИЭУМ: мы были официальными оппонентами при защите одной и той же диссертации, касавшейся алгоритмических языков, ориентированных на программирование имитационных моделей сложных систем...

Испытания проводились в предрассветное время, а уже днём отдел Шатровского мог предоставить траекторию движения центра масс очередного экспериментального Краба. Эти данные выражались в виде таблицы координат точек траектории с шагом в секунду и соответственного графика траектории на миллиметровке.

Одновременно Метеостанция НИИ давала нам распределение плотностей воздуха, скоростью и направлений ветров на разных высотах. Тогда я узнал, что метеослужбы с одной стороны и штурманы самолётов с другой присваивают одинаковое наименование двум ветрам, дующим

в прямо противоположных направлениях. Например, метеорологи называют «Юго-Западным» ветер, который дует с юго-запада, а штурманы точно так же называют ветер, который дует в сторону юго-запада. Из-за этой атавистической несогласованности терминов систематически возникали недоразумения.

Все данные, полученные в Ногинске, мы забирали в Москву, и началась довольно интересная работа по сравнению фактической траектории с той расчётной, которая получалась с учётом реальных метеоусловий и программы полёта, заданной автопилоту. Анализ такого рода давал информацию для корректировки аэродинамических характеристик Краба, полученных после продувок его моделей в ЦАГИ.

Во время испытания третьего образца (а дело было летом) произошло непредвиденное событие. Наш Краб проявил неожиданную летучесть: где то в середине своего полёта он перешёл на гораздо более пологую траекторию, чем та, которая была рассчитана, и чем те, близкие к расчётным, по которым летели предыдущие два Краба.

В результате этот прыткий Краб приземлился далеко за пределами полигона — аж на поле колхоза, которое от полигона было удалено на вполне приличное расстояние. Повезло хоть, что этот Краб не угодил в дома или постройки. Можно представить себе удивление колхозников, которые, выйдя утром на полевые работы, обнаружили, что большой участок их поля охраняется большим количеством солдат, которые внутри участка никого не пускают, а там лежит что-то, покрытое брезентом.

Мы со Свечарником и с начальником КБ Виноградовым помчались на его машине в Ногинск. Часам к 11 утра мы уже были там, и наш упавший на колхозное поле Краб уже был перевезён в ангар. Мы были, с одной стороны, удручены, ибо понимали, что это ЧП повлечёт за собой неблагоприятные последствия, а с другой — нам было приятно, что Крабы могут летать гораздо шибче, чем выходило из данных продувок в ЦАГИ.

Испытания в Ногинске были приостановлены впредь до выяснения причин «нештатного» происшествия. Началась серия новых продувок в ЦАГИ, которая показала, что, действительно, могут быть такие режимы полёта, в которых возникает подъёмная сила, в несколько раз большая той, которая была установлена в предыдущих продувках: в них испытывались только обычные режимы. При полёте нашего недисциплинированного Краба этот необычный режим возник, видимо, вследствие сильного порыва ветра в тех слоях атмосферы, которые Краб пересекал. Следствий из описанного происшествия было два.

Несмотря на то, что вероятность повторения выявленной причины взбрыкивания Краба была крайне малой, командование ВВС решило (совершенно правильно!) прекратить испытания Крабов на Ногинском полигоне, в опасной, как выяснилось, близости к которому течёт гражданская жизнь.

Второе следствие было чисто техническим. Мы поняли, что тех измерений параметров полёта Краба, которые нам могла обеспечить полигонная служба, недостаточно для убедительного анализа результатов испытаний. Некоторые параметры надо было измерять непосредственно на борту летящего Краба и либо записывать их на борту с последующим сохранением, либо передавать в реальном времени на землю и фиксировать их там.

Ничего подходившего для нас — и по номенклатуре подлежащих измерению величин, и по методике их измерения, и по специфическим

условиям работы измерительной аппаратуры, т. е. её крепления на борту Краба и отделения от него без потери полученной информации, тогдашняя измерительная промышленность не выпускала. И вот за не слишком долгий срок мы придумали и сконструировали оригинальную Контрольно-Регистрирующую Аппаратуру — «КРА» — специально для установки на Крабах.

Этот комплекс измерительных приборов и регистраторов был воплощён в виде цилиндра в полметра длиной, который прикреплялся к хвосту Краба. В момент падения Краба цилиндр должен был отваливаться, его надо было найти на земле в окрестности точки приземления Краба и извлечь из него и расшифровать данные, зарегистрированные установленными в цилиндре электронными самописцами.

Обычные выпускаемые тогда осциллографы для наших целей не годились — хотя бы потому что при том внушительном количестве данных, которые нам надо было регистрировать, все нужные осциллографы нельзя было затолкать в наш цилиндр. Кроме того, механические части осциллографов в режиме полётных перегрузок вносили бы в измеряемые данные слишком большие искажения. Надо было искать что-то другое, а этого другого среди тогдашней регистрационной аппаратуры, используемой в лабораториях и при испытаниях самолётов, мы не нашли.

Должен в этой связи не без удовольствия вспомнить, что наша команда довольно отважно решила разработать собственную регистрационную аппаратуру. Наши оригинальные самописцы использовали идеи цифровой электронной вычислительной техники, которая тогда в Советском Союзе только зарождалась. Литературы в этой области ещё не было, и мы к этим идеям пришли самостоятельно.

Наши идеи (их авторами были Свечарник, Ястребцов и я) отдел Ястребцова превратил в технические проекты и чертежи, а две лаборатории подразделения Свечарника — Демидова и Макарова — изготовили и опробовали в лабораторных условиях опытный образец, который дал хорошие результаты. Потом они изготовили ещё два, которые хорошо зарекомендовали себя и в лётных условиях, а после этого изготовили несколько десятков КРА, которые с этого момента и устанавливались на всех испытывавшихся Крабах.

В общем, наша КРА стала чем-то вроде «чёрного ящика», который позже стали устанавливать на всех самолётах. Наша КРА была, оправдывая своё название, не чёрного, а ярко-красного цвета. Этот цвет был рекомендован для того, чтобы цилиндр было легче найти в районе падения Краба. Кажется, и «чёрные ящики», устанавливаемые на теперешних самолётах, выкрашены в красное. Весь замысел с КРА себя оправдал. Ни один цилиндр с КРА, из установленных на испытывавшихся Крабах, не потерялся, а регистрируемая КРА информация оказалась ценной и значимой.

КРА, устанавливаемая в хвосте корпуса Краба, меняла, в принципе, его аэродинамические характеристики. Наши консультанты из ЦАГИ считали, да и мы сами это понимали, что серьёзных изменений в аэродинамику Краба КРА не внесёт. Но всё это надо было знать точно — чтобы учитывать характеристики изменившего свою форму Краба в расчётах траекторий его движения. Несколько месяцев ушло на новые продувки.

Между тем, руководство ВВС решило перенести испытания Краба на полигон Капустин Яр (сокращённо его называли Капъяр), который уже несколько лет как был развёрнут в бескрайних степях дельты Волги для

испытаний новых образцов военной авиационной техники и авиавооружения. Потом там стали, насколько мне известно, испытывать и ракеты.

Это переселение, относящееся к концу 1951-го или к началу 1952-го года, полностью изменяло нашу жизнь. Неудивительно, что в кабинете Свечарника перспективы переноса испытательной базы в Капъяр живо обсуждались. Как-то мы говорили со Свечарником на эту тему, а у противоположной стены довольно большой комнаты сидел за своим письменным столом заместитель главного конструктора Шуки Аркадий Ионович Эйдис, почему-то помещённый вместе со Свечарником в один кабинет. За глаза все, естественно, называли Эйдиса Акардеоньчем.

Это был очень энергичный еврей с типичной внешностью, но с несколько неожиданным для еврея говором. Он говорил: «осталось», «здесь» и т. п. Акардеоньч слушал наш диалог со Свечарником на темы Капъяра, молча занимаясь своими делами. Но в какой-то момент, когда мы заговорили, что район Капъяра выбран для развёртывания полигона из-за большого количества ясных дней в году, он вмешался и сказал: «А знает, что такое ясный день в Капъяре летом? С утра вроде приятное солнышко, а часам к двенадцати — как дасьть!». Хотя в пору этого нашего разговора Акардеоньч испытывал свои Шуки в Феодосии, но по предыдущей работе с условиями жизни в Капъяре знаком был. В том, что его оценка силы солнечных лучей в Капъяре была правильной, мы скоро убедились на своей шкуре.

Кроме разницы климатов Ногинска и Капъяра, возникли и другие перемены. Раньше на месте испытаний в Ногинске более или менее долгое время проводила только небольшая экспедиция, а остальные специалисты приезжали в Ногинск из Москвы по мере надобности, на несколько часов и сравнительно редко.

Теперь на месте испытаний находилась безвыездно в течение длительного времени большая экспедиция, включавшая специалистов всех направлений, которые могли бы на испытаниях понадобиться. Туда же выезжали и подолгу жилали и военные представители. Среди персонала экспедиции было некоторое ядро сотрудников, живших на месте испытаний большую часть года. Среди других членов экспедиции была некоторая ротация — что-то вроде вахтового метода. Они жили на испытаниях по паре недель — месяцу. Ненадолго приезжали представители ЦАГИ и ВВИА.

Я бывал в Капъяре несколько раз в году — каждый раз по две—три недели. Несколько сотрудников из моего отдела стали входить в постоянный состав. Другие сотрудники отдела приезжали в Капъяр только по конкретным поводам, в частности, в дни испытаний, и ненадолго.

Хотя полигон ВВС в дельте Волги, куда перевели испытания Краба, называли «Капустин Яр» по имени имевшегося в тех местах населённого пункта, мы в него не заезжали, а сходили с московского поезда на станции Баскунчак, а потом на специально выславшейся нам навстречу машине ехали километров шестьдесят до большого посёлка Владимировка (скорее всего, это был райцентр), где мы и жили. Военный городок, в котором мы работали, был в нескольких километрах от Владимировки, и мы каждое утро ездили туда на машинах.

Во главе нашей экспедиции был начальник, которого назначал по представлению Свечарника руководитель фирмы. Обычно этот пост занимал начальник лаборатории тепловых головок Макаров. А в редкие периоды его отсутствия (отпуск, домашние дела) эту должность исполнял начальник конструкторского отдела систем управления Ястребцов.

Начальник экспедиции занимался (кроме своих прямых профессиональных дел) делами административными. Он ведал имуществом и транспортом экспедиции. Он мог подписывать некоторые виды накладных и других финансовых документов. Ему наша бухгалтерия переводила деньги для выдачи раз в две недели зарплаты членам экспедиции. Начальник определял также режим работы всех групп и отдельных сотрудников экспедиции.

Во Владимировке мы все размещались по частным квартирам, которые мы обычно приискивали сами. Впрочем, когда во Владимировку приезжал кто-нибудь из руководителей, например, Свечарник, то начальник экспедиции некоторые хлопоты брал на себя: либо убеждался, что квартира, которую Свечарник занимал в прежний приезд, и которой был доволен, свободна, либо подыскивал на выбор Свечарника несколько новых квартир.

Начальнику экспедиции Макарову удалось найти стабильную квартиру. В ней он жил во время всех испытаний Краба, проводившихся на протяжении нескольких лет. Вместе со сдержанным и суроватым Макаровым жил завхоз экспедиции Гриша, шумный и рослый одесский еврей. Каждому было лет под сорок. Не знаю, что сближало этих разных людей. Комната, в которой жили Макаров и Гриша, принадлежала сапожнику. Сам хозяин занимался своим ремеслом и жил с семьёй в соседних комнатах.

...В той комнате, которую сапожник сдавал приезжим из Москвы, у него хранился запас сапожного вара. Оказалось, что этот вар — канцерогенное вещество. Владимир Петрович скончался от рака простаты в пятьдесят четвёртом году, а вскоре от этого же заболевания умер и Гриша...

Тогда — в начале пятидесятых — бытовые проблемы, связанные с командировками во Владимировку, были очень хлопотными. Начать с дороги. Туда мы ехали всегда в поезде, который уходил с малоупотребительного Павелецкого вокзала. Покупка билетов всегда была мукой. Во всяком случае, для всех сотрудников, кроме Главного конструктора Свечарника, который имел право на мягкий вагон и которому билет приобретали по какой-то особой (наверное, министерской) броне.

Все остальные могли пользоваться только более низкими классами вагонов: жёстким купированным или плацкартным. О билете, как правило, мы заботились сами. Чтобы купить билет в кассе вокзала, надо было иметь командировочное удостоверение — специальную канцелярскую бумагу (именно на ней ставили штампы «день отъезда», «день приезда»). С этим удостоверением можно было обратиться с специальное окошечко «Для командировочных», в котором купить подходящий билет шансы какие-никакие — были. В общей же кассе всегда царила атмосфера народного бедствия.

Целью большинства пассажиров было купить билет в купированный («купейный») вагон. Эти билеты были особым дефицитом. Плацкартный билет был чуть более дешёвым, но езда в плацкартном вагоне была по сравнению с дискомфортной ездой в купейном ещё намного дискомфортней. Бывало, вынужденно начав путешествие в плацкартном вагоне, дотошный пассажир проходил сразу после отправления поезда по всем купированным вагонам и часто обнаруживал, что в них есть несколько непроданных мест.

Эта дисгармония между битвой у касс и незаполненными вагонами происходила из-за несовершенства системы продажи билетов. Например,

из-за того, что разные организации, имевшие право бронировать билеты, использовали забронированные за ними места не полностью, но в общую продажу их пустить не успевали. Никакого аналога теперешней централизованной оперативной компьютерной службы заказов и продаж билетов не было. Да и никто из железнодорожных чиновников тогда не испытывал неудобств от финансовых потерь, вызванных непроданными свободными местами в поездах.

Обнаружив в результате прохода по поезду свободное место, удачливый пассажир мог рискнуть. Прежде всего он брал у начальника поезда (тот обычно ехал в вагоне номер 6) специальную бумажку, подтверждающую наличие места. При этом начальник поезда это место в телеграмму, которую он отправлял в Каширу — первую остановку после Москвы — не включал. Потом пассажир с запиской должен был побежать, пока стоит поезд, а стоял он там минут десять, в станционную кассу и, чуть доплатив, поменять свой билет. Один раз бегал в кассу в Кашире и я.

Если я ехал вместе со Свечарником, то и я покупал билет в мягкий вагон, но я в этом случае рисковал: после возвращения из командировки, перед тем как сдать разные денежные документы — в том числе и железнодорожные билеты — в бухгалтерию, я должен был писать особое заявление на имя начальника фирмы с просьбой оплатить мне мягкий. Обычно положительная резолюция на моём заявлении появлялась.

Путешествие в поезде от Москвы до Баскунчака продолжалось примерно двое суток и было интересно само по себе. Мы ехали через несколько климатических и растительных зон и проезжали известные русские города. На пути поезда лежали сперва Мичуринск и Тамбов. Потом — Саратов. До Саратова дорога шла через привычную европейскую природу: леса, поля, пригорки. После Саратова поезд пересекал Волгу, растительность становилась беднее, начиналась степь. Мы проезжали озеро Эльтон, и уж скоро — наш Баскунчак.

Труднее с билетами было при поездках обратно в Москву. Военная часть о наших билетах не заботилась, и мы (даже и Свечарник) приобретали их на общих основаниях. Садиться в проходящий поезд (он отправлялся из Астрахани) надо было ночью в Баскунчаке. Тут уж особых касс «для командировочных» не было. Кассир открывал окошечко за полчаса до прибытия поезда, и выяснялось, как правило, что билетов в кассе мало, жёсткие купированные доставались первым в очереди, и я (или мы со Свечарником) не всегда был среди них.

Вставала дилемма: мягкий или плацкартный. Свечарник всегда выбирал, естественно, мягкий, и я с ним — тоже. Так же я поступал, если ехал и один — с менее, впрочем, обоснованной надеждой, что директор фирмы на моё заявление откликнется с теплотой и разрешит бухгалтерии мне его оплатить. Впрочем, бывало и наоборот, что мягких не было, а были купированные. Тогда и Свечарник вынужденно снисходил до этого класса.

Но если не доставалось купированного билета кому-нибудь из наших сотрудников ранга ниже моего (я, ёлки-палки, был начальник отдела!) и он выбирал мягкий, то ему писать заявление начальству было безнадежно, и бухгалтерия ему оплачивала его мягкий по стоимости плацкартного.

Иногда момент возвращения в Москву совпадал с моментом, когда в Москву грузовым военным самолётом отправлялось какое-нибудь наше имущество. Тогда можно было полететь этим же рейсом. Обычно этим самолётом летели сопровождавшие груз наши сотрудники. Самолёт Ту-2 (Туполевская копия «Дугласа», которая в гражданской авиации называлась

Ли-2) на пассажиров ориентирован не был. Мы сидели на жёстких лавках, шедших вдоль фюзеляжа и пили водку, поставив бутылки, стаканы и закуску на ящики с грузом, занимавшие всё пространство между бортами.

Самолёт приземлялся в Чкаловской, и оттуда мы ехали на электричке в Москву на Ярославский вокзал. В нашей компании часто оказывался Чиненков (мы обычно везли груз, связанный с работой его отдела, который был близок к производству). Он мог выпить (и пил) очень много, почти не пьянел, но очень боялся, что жена услышит исходящий от него водочный запах. Поэтому он всю дорогу в электричке жевал сухой чай, который вроде бы опасный водочный запах гасил.

Владимировка была большим селом, состоявшим, главным образом, из вполне добротных одноэтажных деревянных домов. Какая-то часть жителей оказалась занятой в обслуживании возникшего во второй части сороковых годов полигона и военного городка. Часть — в обслуживании коренного населения посёлка и сменявшихся групп командированных. Чем занимались её жители до возникновения полигона, я тогда не поинтересовался. Я упоминал в предыдущей главе, что сама Владимировка и жизнь полигона описаны И. Грековой в повести «На испытаниях». Поэтому в нижеследующем тексте неизбежно встречаются Владимировские сюжеты, запомнившиеся и мне, и писательнице.

Во Владимировке было два или три магазина сельпо. Была одна столовая, которая называлась «чайная». В этой чайной можно было получить суп и котлеты с макаронами, компот, иногда — очень скверное разливное пиво и всегда — водку в розлив. Пиво несколько лучшего качества, но тоже кружечное и тоже изрядно скверное, можно было выпить в помещавшейся на центральной площади пивной. Имя продавца пива знали все: его звали Соломон, и пойти выпить пива называлось «пойти к Соломону». Соломон был плотный еврей средних лет, державшийся с достоинством, адекватным его положению.

Недалеко от центральной площади села была двухэтажная почта и короткая улица, которую командированные и военные — а вслед за ними и местные жители — называли «Бродвей». Тогда этим американским именем называли на сленге главные улицы многих русских городов. Бродвеем называли и улицу Горького в Москве. На Бродвее во Владимировке располагался летний кинотеатр. Это было традиционное место для вечерних прогулок: взад-вперёд там фланировали военные, командированные и местные.

Доходным промыслом для жителей Владимировки была сдача комнат военным и командированным. Какая-то часть офицеров полигона жила на территории военного городка, но очень многие снимали частные квартиры. Наша бухгалтерия съём жилья нам оплачивала дополнительно по стандартному тарифу. Кроме того, к стандартным командировочным деньгам (26 р. в сутки — до деноминации) нам добавляли ещё какие-то «полевые». Не помню, покрывали ли все эти выплаты наши фактические расходы на жизнь вне дома. Многим нашим сотрудникам эти командировки были выгодны и желанны.

Обычно сотрудники нашей экспедиции снимали квартиру (чаще всего, это была просто одна комната) группой в два—четыре человека. Мы со Свечарником всегда жили вместе. Квартиру нам и другим сотрудникам подыскивал безвременно скончавшийся Гриша. За всё время пребывания во Владимировке мы со Свечарником пожили в трёх домах. Это всегда была одна большая комната.

С одной хозяйкой, по имени Нина, мы со Свечарником договорились и о пансионе. Она на наши особые деньги покупала в магазине и на местном рынке продукты и готовила что-то в виде обеда, который мы со Свечарником съедали в выходной, а иногда и в будни — если в обеденное время мы оказывались вне военного городка. Наш пансион продолжался недолго. Он показался нашей хозяйке утомительным и невыгодным, и она его отменила.

Чаще всего мы обедали в неплохой по тем временам офицерской столовой военного городка. Именно там Свечарник собрал ту свою коллекцию анекдотических записей клиентов в жалобную книгу, которую он потом подарил И. Грековой для её повести «На испытаниях» (я об этом рассказывал в главе 18). Иногда нам ловчее было пообедать в сельской чайной. Там было невкусно, но сносно. Весьма часто я ходил в чайную вечером: выпить водки со случайным собутыльником из наших.

Жить со Свечарником было вполне приятно. Он никак не показывал разницы в наших служебных положениях. Он был очень неглупым человеком, с юмором, знал и рассказывал множество анекдотов. Мы проводили время в обсуждениях наших текущих служебных дел (где ты был, первый отдел?!). Мы делились некоторыми нашими семейными обстоятельствами. Мы касались политических событий, но — не углублялись: с партийным Свечарником я говорить откровенно не рисковал, а он эту тему всегда трактовал, стоя на официальных позициях. Говорили мы с моим шефом и о литературе. Свечарник был любителем Ильфа и Петрова, и часто пользовался оборотами из их книг, невзирая на то, что на эти книги распространялась негласная нелюбовь властей. Иногда по вечерам мы играли в покер или в «кинга».

Так чтоб просто пить водку друг с дружкой — этого у нас не водилось. Но каждый из нас при каждой поездке на испытания захватывал с собой из Москвы бутылку хорошего вина (особенно ценились Хванчкара и Твиши, которые были в редкость) или коньяку, и мы это распивали без спешки, и не за один вечер. Свечарник, мне помнится, водку вообще не любил, а я если и пил, то где-нибудь другом обществе.

В распоряжении экспедиции было две автомашины. Одна — большой крытый тентом грузовик, в котором возили не только грузы, но и сотрудников из Владимировки на работу. Эта же машина использовалась как персональная начальником экспедиции. Вторая машина была «козликом» — советским аналогом джипа. Это была персональная машина Свечарника, да и мне её, естественно, из-за тесной жизни с шефом перепало. Водителем этой машины был Увар Дмитриевич Уваров. Там в Москве он был слесарем или кузнецом на нашем опытном заводе, но по какому-то знакомству его включали в составы наших экспедиций, и тут он был водителем.

Увар (обращались мы к нему исключительно по имени-отчеству) был неразговорчивым мужчиной лет сорока пяти, с монгольским строением лица (он был чувашом или мордвином), сохранявшим всегда несколько скептическое выражение. К кому относился его скепсис, было ясно — к нам, начальникам. Безусловным прототипом Увара был гоголевский Селифан.

Поездки наши «на Уваре» были, как правило, служебные. За исключением бани. Общественной бани во Владимировке не было, что создавало серьёзный дискомфорт для москвичей, привыкших худо-бедно, но хоть раз в неделю горячее омовение совершать. Летом можно было купаться

в местной реке — это был один из рукавов Ахтубы. Хотя одной речной водой как следует вымыться нельзя. Но совсем скверно было с решением гигиенических проблем в период с сентября по май. В ход шло нагревание воды в печке или на керосинке и жалкое мытьё с поливанием из чайника или из ковшика.

Несколько начальников из нашей экспедиции имели специальное разрешение от гарнизонного начальства на баню, принадлежавшую интендантской службе военного городка. Эта баня представляла собой один вагон в большом составе, стоявшем на путях железнодорожного разъезда, на которые загонялись прибывшие из Баскунчака составы с грузом для полигона и его клиентуры. Так вот, один состав на этих путях стоял всегда. Кроме вагона-бани, там были вагоны с каким-то хозяйственным имуществом военной части, цистерны с запасами горючего и пр. Баня работала не слишком часто.

Разъезд был от центра Владимировки километрах в десяти, и нас возил в баню Увар. У него тоже было разрешение на баню, но он с нами, несмотря на наши приглашения, в баню ходить отказывался, подчёркивая, используя скептическое выражение своего лица, что он — в отличие от кейфующего начальства — на работе.

По утрам Увар, никогда не опаздывая, заезжал за нами домой — мы кончали наш завтрак — и вёз нас в военный городок. Бывали у Свечарника, или у меня, или у нас обоих вместе, или у кого-нибудь из членов команды дневные поездки по району. На Уваре мы ездили в степь в моменты испытаний. И наконец, начальник экспедиции высылал Увара на станцию Баскунчак встречать из Москвы Свечарника или меня, или обоих разом, а также отвозить нас в Баскунчак при возвращении в Москву.

В гости к другим членам экспедиции мы ходили редко. Макаров был культурным и безусловно порядочным человеком. Но он по отношению к шефу — Свечарнику, а заодно и ко мне, держался подчёркнуто отчуждённо и официально. К Чиненкову, Демидову, Ястребцову нас проводить свободное время не тянуло. Они были представителями совсем другой культурной группы. Невероятно, скажем, было бы услышать от кого-нибудь из них удачную параллель реальному событию с образами из художественной литературы или пару строк из Пушкина.

Иногда, но редко, мы заходили в дом, где жили сотрудницы моего отдела — дамы вполне приятные и культурные — Рита Яковлева и Наташа Ушацкая, которые были с нами приветливы, но нам там долго задерживаться интереса не было. С ними, как и с Наумом Злотником, хватало общения в рабочее время.

Впрочем, Вася Демидов был человеком хоть и простоватым, но симпатичным, и в те периоды, когда я в экспедиции находился, а Свечарник оставался в Москве, я время от времени посещал с Васей чайную, и мы выпивали по гранёному стакану её родимой. Эту же родимую в том же месте я разделял иногда и с нашими военпредами, которые в неофициальной обстановке были очень свойскими ребятами (по крайней мере, те из них, чьи чины лежали в промежутке от старшего лейтенанта до майора).

А вот часто мы со Свечарником (или поврозь, если один из нас был в Москве) ходили в гости к майору Марку Михайловичу Берману, радиоинженеру, сотруднику полигона. Он служил в подразделении, к нашей работе отношения не имевшему. Как мы с ним познакомились, я не помню. Скорее всего, в офицерской столовой. Марк был по возрасту между мной и Свечарником. Хотя мы со Свечарником роли еврейства Бермана

в установлении между нами добрых отношений вслух не отмечали, но какая-то дополнительная презумпция приязни возникала, конечно, и в этом случае.

Между тем, время было скверное. Наша дружба с Берманом началась в конце 51-го года и продолжалась весь самый зловекий период антисемитской кампании, включавший убийство членов Еврейского Антифашистского Комитета, дело врачей, готовящиеся казни и депортации и уже идущие массовые увольнения евреев. А мы — странное дело — общались с Берманом, не опасаясь, что нам припишут еврейский национализм и сотрут в порошок.

Берман тоже был к нам всей душой и дружбы с нами не чурался. Значит, никаких упреждающих указаний от своей спецчасти или от командования он не получал. Выходит, Органы, действительно, не воспользовались нашим приятельством с Берманом для раздувания небольшого, но удобного, казалось бы, властям антиеврейского дела. Может, вообще, Органы страны получили от высших властей указание не трогать евреев, оказавшихся к началу антисемитской кампании уже работающими в оборонной промышленности или уже служивших в войсках? Нет надёжной статистики, доказывающей ни верность, ни ошибочность такой гипотезы. Только личные впечатления. А они — такие.

С одной стороны, из нашего почтового ящика ни одного еврея, как я уже говорил, не уволили. В ЦАГИ сняли с должности (но, помнится, не уволили) начальника отдела Райха, который курировал работы с Крабом и был, повторю, очень к нашей разработке недоброжелательным; может — боялся, что его обвинят в симпатии к еврею Свечарнику? С другой стороны, Валентин Александрович Ряполов, в отделе которого я начинал свою карьеру в этом почтовом ящике и который после прекращения нашей фирмы в ГСНИИ-642 стал заместителем директора этого института, рассказывал мне через три—четыре года, уже после смерти Сталина, что в трудные месяцы к нему обращался начальник отдела кадров Генин с предложением меня уволить или, по крайней мере, убрать с должности начальника отдела. Ряполов не согласился, кадровик не настаивал.

На кафедре Бруевича уцелел её единственный еврей — доцент майор Мильграм. На кафедре математики Военной Академии Химической Защиты благополучно продолжали работать Мария Григорьевна и ещё один еврей — преподаватель Позойский. Заведующим кафедрой долгое время был еврей Анисим Фёдорович Бермант. Я не помню, продолжал ли он работать в Академии в ставшее особо опасным время или уже ушёл из-за болезни. Но и после его ухода исполняющим обязанности завкафедрой сделали еврейку Марию Григорьевну.

Муж племянницы Марии Григорьевны — полковник Прагин (именно его неожиданное появление в Староконюшенном завершило бурное празднование Дня Победы, описанное мной выше) — продолжал служить в Днепропетровске на посту заместителя командира дивизии. Его в отставку не увольняли, но по службе не продвигали. С его способностями и стажем ему давно пора было быть генералом и занимать гораздо более высокую должность. Остался на своей скромной майорской должности политкомиссара и племянник Марии Григорьевны Адя, служивший и живший с семьёй в Воронеже. О нём я тоже упоминал раньше. Новых евреев в оборонную промышленность практически не принимали, но массовых увольнений старых вроде не было.

К этой же теме — не стопроцентная резвость Органов — относится такая странность. По моим наблюдениям, в тех структурах Органов, которые занимались охраной государственной тайны, был свой бардак, своя непрофессиональность и своё «за всем не углядишь». В пользу этой гипотезы особенно явственно говорила скверная организация всего дела охраны секретности нашей деятельности во Владимировке.

С одной стороны, в самом военном городке всё было как у людей. И строгий пропускной режим, и первый отдел со сложной системой пересылки и хранения секретных документов. С другой — система, при которой сотрудники нашей и, очевидно, других сходных экспедиций жили на частных квартирах и совершали поступки и вели разговоры, которые наши секретные службы очень бы не одобрили, не без основания считая, что эти поступки и разговоры могут кое-что приоткрыть для внимательных глаз (если б они и впрямь были бы внимательными!) иностранных разведок.

Работники секретных фирм и в Москве жили на «частных квартирах», и с этим службы, ответственные за сохранение государственной тайны, вынуждены были — за неимением другого варианта (казармы было вводить нереально по куче причин) — мириться, ограничиваясь смешанным вариантом — работа на закрытой территории, а жизнь сотрудников во внерабочее время — среди гражданского населения. В огромной Москве мы, засекреченные, в среде гражданского населения растворялись минут через пять после выхода толпою из проходной. Но здесь, во Владимировке, население было небольшим, приезды и отъезды нескольких десятков москвичей не могли не быть незамеченными.

Конечно, иностранному шпиону, подвизавшемуся во Владимировке, было бы затруднительно увидеть секретные альбомы с графиками — результатами аэродинамических продувок или подборки листов с траекториями, скажем, наших экспериментальных Крабов. Во всяком случае, это было бы для иностранного шпиона проблемы той же трудности, что и в Москве. В их преодолении шпион не мог продвинуться, не завербовав кого-нибудь из нашего персонала. Но некоторые внешние наблюдения делать было легко.

Во-первых, наша команда себя обнаруживала по утрам, усаживаясь в служебный крытый грузовик, чтобы ехать в воинскую часть на место работы. Все сотрудники жили во Владимировке недалеко друг от друга, грузовик объезжал несколько домов и шпион за два три дня мог засечь все эти места жительства.

Во-вторых, подкупив или обольстив какую-нибудь сотрудницу почты (сотрудники почты ведь подписок о неразглашении Органам не давали!) шпион мог засечь всех получателей и отправителей писем, не принадлежащих к основному населению райцентра. Этой возможности способствовало и то, что получали мы письма обычно до востребования. По этой причине почтовые барышни невольно выучивали нас всех в лицо.

Наконец, шпион легко мог многое узнать от хозяев квартир, в которых мы жили. Правда, невысокий культурный уровень этих хозяев не позволил бы шпиону копнуть глубоко. Да и разговорчивость членов нашей экспедиции, полезная для шпиона, была обратно пропорциональной их осведомлённости. Мы со Свечарником знали всё, но хоть и не имели привычки слишком часто, слишком открыто и слишком громко говорить о служебных делах дома, но всё же воды во рту не держали. С другой стороны, уж с посторонними-то мы наших секретных тем не касались

совсем. Так же, очевидно, вели себя Макаров с Гришей, или Вася Демидов, Ястребцов и Чиненков.

Но вот наши рабочие, судя по как-то подслушанному мною невзначай диалогу, блюли государственную тайну ещё менее тщательно, чем это делал инженерный состав и уж совсем не так скрупулёзно, как они обещались нашему первому отделу. Как-то в выходной я валялся на кровати в нашей комнате и читал. Свечарник был в Москве. Из сеней, от которых наша комната отделялась занавеской, стал доноситься разговор. Разговаривали хозяйка нашего дома, упоминавшаяся тридцатилетняя Нина и — я узнал его по голосу — слесарь из группы Чиненкова, который отвечал за механизм подвески Крабов, молодой мужчина. В Москве он был рабочим опытного производства.

У Нины мужа не было, а дочь лет пятнадцати — была, но она в данный момент где-то гуляла. Из разговора можно было понять, что знакомство произошло только что, и — вне дома. Слесарь, видать, за нашей Ниной увязался, а может, та сама пригласила его зайти. Гость и хозяйка вели незначущий кокетливый разговор с намёками. Слесарь делал свои закидоны, хозяйка шутливо их парировала — вроде диалога дьячка и Солохи из «Сорочинской ярмарки». Парень явно не знал, что в этом доме живёт кто-то из его команды, да ещё из начальства, да ещё в данный момент лежит в соседней комнате и слышит его речи. Не знаю, понимала ли Нина, что я дома.

В какой-то момент молодой слесарь привлёк к делу ещё один способ интересничать: начал выбалтывать своему предмету ведомые ему государственные тайны. Он рассказал, что мы — из московского КБ, что здесь мы испытываем нашу разработку, что эта разработка — авиабомба с тепловой головкой, что называется бомба «Краб», что весит она три тонны, что поднимает её в воздух на высоту 6-7 километров тяжёлый бомбардировщик ТУ-4, что нас здесь — человек тридцать, что его, слесаря, роль в процессе работ — самая важная... Все эти откровенности Нина слушала индифферентно.

В какой-то момент я в своей комнате зашевелился: живой ведь человек. Невидимые собеседники зашептались, и слесарь ушёл. Таких разговорчиков — в гораздо более подходящих для обсуждения государственных тайн интимных условиях — было, скорее всего, не мало.

...В пользу предположения о фактически низкой сыскной квалификации Органов говорят не только приведённые мною мелкие факты из тех времён политического террора, которых я коснулся, но и явления послеперестроечной эпохи. Система государственных сыских органов оказалась к настоящему времени очень запутанной. За следственную и разведывательную деятельность отвечают четыре учреждения: прокуратура, МВД, ФСБ (трансформированная из тех одиозных «Органов») и Главное Управление Внешней Разведки. Как разграничены области внутреннего сыска между Прокуратурой, МВД и ФСБ, широкой публике непонятно. Интуитивно чувствуется, и власти это ощущение поддерживают, что ФСБ привлекают для распутывания самого важного и самого запутанного.

Но вот после того, как ФСБ, милиция, прокуратура и пр. перестали прилюдно заниматься незаконным политическим террором, обществу сразу стала видна их немощь: нераскрытыми остаётся большой (какой неизвестно) процент громких уголовных дел, вроде убийства Листьева, Холодова, Старовойтовой. Совершаются не предотвращённые теракты в Москве и в других российских городах. Неожиданные (!) нападения

чеченских боевиков на русские войска приводят к горьким и позорным для этих спецслужб потерям. Возникает вполне оправданное впечатление, что в годы советской власти Органы и прокуратура занимались лёгкой с профессиональной точки зрения, хотя и страшной — сперва для всего населения, а потом для диссидентов — работой, которая не натренировала их на настоящие дела, требующие квалификации. Пугать Общество Органы научились, а защищать его — нет...

Как-то раз Марк доставил мне большое удовольствие. Дело было поздней весной, в конце мая, ещё светлым вечером. Мы со Свечарником были у Марка, сидели на крыльце его дома, а дом был во дворе, и болтали. У Марка был мотоцикл, на котором он ездил очень интенсивно, например, на работу в городок, а там расстояние было километров в десять. Частных автомобилей не было ни у кого, а мотоциклы у некоторых офицеров были.

Мы глядели на мотоцикл Марка, и он стал темой нашего разговора: с какой на нём можно ездить скоростью, где Марк берёт бензин (требовало изворотливости), часто ли ломается, как Марк его чинит (тоже требовало изворотливости). Я спросил, легко ли выучиться мотоциклом управлять. Марк ответил, что, если я могу ездить на велосипеде, то он может выучить меня за десять минут.

Я захотел попробовать, мы с Марком поднялись, я сел в седло. Мотоцикл был двухколёсный, без коляски и стоял на упоре. Марк показал мне, как запускать двигатель, регулировать газ, менять скорость, тормозить и глушить мотор. Я все эти действия успешно повторил, и Марк спросил, не хочу ли я проехаться. Я захотел, несмотря на отрезвляющие соображения Свечарника.

Марк вывел мотоцикл за ворота, довёл его, держа за руль, до ближайшего угла, за которым начиналась дорога в степь и сказал, чтоб я сядился и ехал. Я сел и поехал — в степь. Дорога была грунтовая, но хорошо утрамбованная, дождей давно не было, не было ни луж, ни грязи, хоть и пыльно. Я был опьянён этой ездой, тем, что машина меня слушалась, стал увеличивать скорость и помчался через степь довольно быстро. Очарование и захватывающий эффект — неукротимое желание мчаться вперёд усиливались тем, что в эту пору года степь была сплошь покрыта красными тюльпанами. Под заходящим солнцем это была волшебная картина. Минут через пятнадцать такой езды (я проехал, наверное, километров десять), я сбросил газ, остановил машину, слез с неё и вручную развернул её в обратную сторону: я понимал, что на сравнительно узкой дороге я, сидя на движущемся мотоцикле, развернуться не сумею. Потом я на мотоцикл снова сел и снова поехал. На углу деревенской улице, на котором я расстался с Марком, я увидел его и Свечарника. Марк был совершенно спокоен, спросил, не было ли сложностей, и на моё восхищённое спасибо отвечал, что его машина всегда к моим услугам. Я почему-то этим предложением ни разу больше не воспользовался.

...Через много лет я рассказывал об этой истории моей — тогда пятилетней — дочке Кате. Я присочинил, что мне так понравилась езда, что я захотел купить и себе тоже мотоцикл и ездить на нём по Москве и летом, когда мы выезжали на дачу. Но что мол все стали меня отговаривать от этого, потому что в Москве много машин, ездить трудно и опасно, я могу попасть в аварию и погибнуть. «Ты столкнёшься с каким-нибудь грузовиком и погибнешь», — излагал я вымышленные мной аргументы моих знакомых, а Катя задумчиво эти аргументы дополнила: «И не будет у тебя дочки Катеньки». Да, пожалуй, она была права...

Один запомнившийся мне шутейный эпизод, связанный с нашим добрым знакомством с Марком Берманом, показывает, что нас со Свечарником сближали не только слаженные служебные отношения, но ещё и некоторые общие личностные черты. Свечарнику была совершенно чужда начальственная чопорность. Его юмор был родственен по стилю моему (правда, если не считать раздражавших меня упоминавшихся выше моментов, когда Свечарник шутил грубо, подлаживаясь к вкусам нужного собеседника). Мы часто находили смешное в одних и тех же курьёзных ситуациях даже при самых слабых на то основаниях, и, главное, каждый из нас спешил делиться своим весёлым открытием с другим, дабы приобщить.

Так вот, как-то весенним светлым вечером мы со Свечарником пришли в гости к Берману. На сельской улице у забора, около калитки, ведущей во двор дома, в котором жил Марк, была скамейка, и в этот вечер мы, проходя во двор, увидели, что на скамейке сидят три древние (небось, моложе, чем я теперь) деревенские старухи — в подвязанных платках, с клюками, с нависшими над верхней губой носами и с прочими каноническими атрибутами. Старухи, шамкая, беседовали между собой. Когда мы мимо них проходили во двор, они на секунду замолчали и проводили нас глазами. Мы поболтали с Марком минут сорок и ушли. Мы снова прошли — в обратном направлении — через калитку и бросили взгляд на скамейку. Старух на скамейке не было. Вместо них на скамейке молча сидели три чёрные кошки с зелёными глазами. Мы обменялись со Свечарником взглядами и без объяснений принялись хохотать. Такой эпизод сближает.

Теперь я уже не могу, пожалуй, откладывать рассказ о самом, вроде, главном: о том, как проходила на испытаниях наша профессиональная деятельность. Группа моего отдела человек в пять—шесть работала в одной комнате на втором этаже двухэтажного дома в военном городке. В маленькой комнатке рядом был кабинет Свечарника, и тут иногда устраивались совещания руководителей экспедиции.

Основная часть экспедиции работала в нескольких километрах от городка — на военном аэродроме, где нам был выделен отсек в ангаре, Недалеко от ангара на взлётной полосе стоял «наш» Ту-4, т. е. бомбардировщик, оборудованный специальным устройством для подвески Краба и прицелом для его сбрасывания.

В отсеке был стенд, оснащённый устройствами для предполётных проверок и наладок, на который устанавливали готовящийся к испытаниям образец Краба. Его ставили на стенд за два—три дня до полёта, и все эти дни вокруг стенда с Крабом копошились наши инженеры и рабочие, военпреды и специалисты полигона. Я в этом помещении бывал редко — не было профессиональной нужды. Но в дни испытаний — бывал, хотя и в этот особый день моё присутствие было лишь данью моей должности. Моя настоящая работа начиналась на следующий после ночного испытательного полёта день.

С утра дня испытания наше детище проходило официальные проверки. Заполнялись разные документы и протоколы о состоянии «объекта» и о его готовности к испытаниям. Документы подписывались Главным Конструктором и/или начальником экспедиции и руководителями разных служб нашей команды с одной стороны, и представителями военных — заказчиков и работников полигона, включая экипаж бомбардировщика — с другой.

Экипаж, особенно штурман, ощущал свою роль в испытаниях как центральную. Штурманы от одной испытательной партии к другой менялись, но всегда ими были опытные офицеры, специальностью которых было прицельное бомбометание. Поэтому штурманы несколько наивно считали, что успех испытания — точное попадание в цель — зависит в первую очередь от их искусства. Действительно, при сбрасывании обычных бомб это так и было. Наши штурманы, конечно, знали, что испытываемый ими объект — бомба с приборами для самонаведения, но практических следствий из этого факта не делали.

У нас же был другой критерий. Для нас самым лакомым было особое бомбометание — достаточно точное для того, чтобы цель попала в поле зрения тепловой головки Краба, но и «достаточно неточное» — для того, чтобы хорошее попадание Краба в цель могло бы быть с несомненностью приписано лишь его системе самонаведения. Нам бывало сладко, когда Краб, упавший от цели в 10 метрах, упал бы в двухстах, не имея он системы самонаведения. Но мы не торопились растолковывать штурману эту ситуацию, опасаясь, что он, расслабившись, мазанёт так, что головка самонаведения Краба цели не поймает.

Так что, когда среди речей одного из штурманов, приятного улыбающегося парня, присутствовавшего при предполётной подготовке Краба, прозвучали слова: «Чувствую — сегодня я его (о Крабе штурман говорил почтительно, как об одушевлённом существе — как бильярдист, который кладёт шара в лузу) положу точно», мы никаких реплик не издали.

К вечеру дня испытания Краб бывал уже подвешен под бомбардировщик. В степь, к месту расположения модели мишени (на профессиональном языке сотрудников полигона она называлась «мишенная обстановка») выезжала группа из нескольких человек, в которую входили руководители нашей экспедиции, сотрудники полигона и офицеры заказчика. Мишенная обстановка находилась километрах в сорока от военного городка и аэродрома.

Подготовка мишенной обстановки состояла в наполнении и в поджоге в определённый назначенный момент нескольких резервуаров с керосином или с какой-то другой разновидностью нефтепродуктов. Тут была своя наука. Количество и характеристики горючего и момент его зажигания должны были быть рассчитаны так, чтобы к моменту подлёта самолёт-носителя с подвешенным Крабом к цели факел уже горел, но чтобы зря он горел поменьше. Кроме того, интенсивность излучения факела должна была быть достаточной для того, чтобы тепло, доходившее до тепловой головки в момент захвата ею цели, превосходило бы порог её чувствительности.

Через некоторое время после сообщения о поджоге мишенной обстановки в воздух поднимался Ту-4 с Крабом. Его маршрут, последним этапом которого был заход на цель на высоте порядка 6-7 км., определялся командованием полигона. Когда самолёт взлетал, группа Свечарника человек в 5 — 6 садилась в наш газик и мчалась по степным дорогам в район цели. Вместе с нашей группой на одной или двух других машинах ехали офицеры заказчика и полигона.

Группа останавливалась в километре от мишенной обстановки и ждала захода самолёта на цель. Замечали появление бомбардировщика только самые глазастые и хорошо слышащие. Бортовые огни и звук моторов при такой высоте полёта были с земли трудно различимы. Система радаров следила за полётом бомбардировщика до момента сброса Краба, а после

его отделения от носителя — за самим Крабом и фиксировала его координаты через каждую секунду. Мы полёта Краба в темноте ночи не видели, но момент падения бомбы наши уши и глаза засекали. Как только становилось ясным, что Краб уже на земле, все наши машины устремлялись к ещё горевшему факелу.

Одна группа с помощью рулеток измеряла расстояние упавшего корпуса (он бывал в той или иной степени деформирован) от мишени. При этом возникли споры: мы стремились намерять поменьше, заказчики — побольше, а офицеры полигона держались дружественного по отношению к нам нейтралитета. Другая группа искала красный цилиндр КРА. Он исправно отрывался в момент падения от корпуса Краба, но отскакивал в сторону, и его обнаруживали, порывав порядочно по довольно большой площади на расстоянии в два—три десятка метров от упавшего корпуса. Краб ни разу не попадал в мишень абсолютно точно, и ни один контейнер с КРА не сгорел. КРА передавалась в мою группу, и на другой день начиналась расшифровка записанных там на киноплёнке сигналов. Эта работа занимала день—два.

Обычно все дела около загасившей мишенной обстановки заканчивались к рассвету. Если стояло тёплое время года, то расстилали на чахлой степной траве или прямо на глинистой почве какие-нибудь брезенты и располагались вокруг них полужёжа, как римские патриции — отдохнуть и поесть. Мы разворачивали кое-какие припасы, взятые с вечера, и расслаблялись. Особенно если результат был приличным, т. е. если Краб отклонялся от цели метров на пятнадцать или меньше.

Водку во время этих пикников мы не пили. Обычно в меню входили крутые яйца. Как-то я очистил одно и стал искать глазами соль. Увидев на брезенте нужный мне пакетик, я сказал: «Так вот в чём соль!», на что Свечарник, не задумываясь, сказал, показывая на консервную банку с печёночным паштетом: «А вот где собака зарыта!». Был, был юмор у Главного.

В середине следующего за ночным испытанием дня поступали данные, которые готовил специальный расчётный отдел полигона, аналогичный расчётному отделу Шатровского в НИИ ВВС в Ногинске. Во Владимировке расчётным отделом руководил не менее симпатичный и толковый, чем Шатровский, офицер. Это был подполковник Николай Михайлович Литвинов. С ним у меня всё и всегда было гладко. Отдел Литвинова для получения своих результатов пользовался данными радаров и других приборов, следивших за полётом самолёта-носителя и Краба после его отделения.

Основным документом, которого мы ждали, была траектория самолёта, лёгшего на курс для бомбометания и траектория отделившегося от него Краба. Эти траектории были представлены таблицами. Графики мы вычерчивали сами. Одновременно мы получали метеоданные на момент бомбометания: распределение плотностей атмосферного воздуха и векторов скоростей ветра на всём диапазоне высот — от высоты полёта носителя до земли.

Данные от Литвинова и данные расшифровки КРА давали материал для обширной аналитической работы. Мы рассчитывали теоретическую траекторию испытанного Краба, по которой он должен был лететь при фактических условиях его полёта: начальной высоте и скорости бомбардировщика в момент отделения нашей бомбы и при фактических атмосферных параметрах. Эту расчётную траекторию мы сравнивали

с фактической, полученной от Литвинова. Кроме того, мы рассчитывали траекторию, по которой летел бы Краб в реальных условиях того сбрасывания, но если б он не был снабжён системой самонаведения. Как правило, получалось, что в этом случае отклонение от цели было бы значительно большим, чем фактическое — как ни усердствовал бы наш добросовестный наивный штурман.

Из фактической траектории вычисляли сигналы, которые должна была выдавать система управления Краба, и сличали их с фактическими сигналами, измеренными КРА. Эти и многие другие разделы нашей работы давали основания для выводов о качестве системы управления, о верности наших представлений о её параметрах и об аэродинамических характеристиках Краба.

Но, самое главное, данные только что проведённых испытаний позволяли внести коррективы в основные показатели качества всей разработки. Этими показателями были среднее значение и дисперсия отклонений точек падения Крабов от цели. Иногда в результате последнего испытания эти показатели улучшались (т. е. уменьшались), а иногда — к нашему огорчению — ухудшались. Но в целом испытания явно показывали, что система управления, разработанная Свечарником и его командой, эффективна, и что качество бомбометания при применении Краба в десятки раз выше показателей, к которым приводили бы сбрасывания бомбы в точности такой, как Краб, но лишённой его аэродинамических возможностей и всех прелестей нашей системы самонаведения.

Зимой и осенью жизнь во Владимировке была тоскливой. Во-первых, холодно. Холодней, чем в Москве: снегопады, ветер. Во-вторых, скучно. Не функционировал летний кинотеатр, да и, вообще, выходить из дому в часы досуга не хотелось. Но, как мне помнится, в эту унылую пору испытательская деятельность затихала, хоть и не замирала вовсе. Во всяком случае, несколько зимних недель я во Владимировке прожил, да ещё в отсутствие Свечарника. Так что вечера были совсем хоть на стену лезь.

Зато в период с мая по сентябрь природа была очень даже благосклонна к нам, особенно для тех, кому жара (про которую Акардеонич предупреждал, что — как дасъть!) не была столь уж тягостной, а я был из их числа. На местном базарчике какие-никакие фрукты были: какие-то немудрёные яблоки, к осени — арбузы. По окраине посёлка протекала речка — один из многочисленных рукавов Ахтубы. Речка была не очень широкой и не очень глубокой. Во многих её местах на другой берег можно было перейти вброд. На этом другом берегу было много мест, покрытых песком и очень хорошо приспособленных для купанья. В выходные дни и в летние вечера будних дней нас первым делом тянуло на воду.

В связи с водой я вспоминаю об одном приятном дне. В паре десятков километров от Владимировки был участок степи, в котором излучины Ахтубы образуют систему небольших озерец. Об этих озёрцах вызнал у местных жителей или у офицеров полигона Чиненков. Это пришлось на момент, когда хмуроватый Макаров был в Москве или в отпуске, и обязанности начальника экспедиции исполнял он. Чиненков уговорил Свечарника (полагаю — без труда) устроить в одно из летних воскресений выезд экспедиции в этот район с главной целью — наловить раков, сварить их и хорошо под них выпить. А заодно и искупаться. Поехало человек двадцать. Мы забрались в наш крытый грузовик. Туда же Чиненков погрузил всю раздобытую им снасть. Я думаю, что опыт ловли раков у него к этому времени уже был.

Мы расположились на травянистом берегу одного из таких озёр, Чиненков и ещё несколько охотников залезли по колено в воду с плетёными из прутьев бреднями и стали сотнями вылавливать раков и выбрасывать их в кучу, копошащуюся на разостланном на берегу брезенте. Рядом оборудовали костёр с подвешенным над ним — с помощью вкопанных в землю рогатин — большим баком. Топливом были сухие сучья, ветки и стволы кустарников, которые собрали или обломали тут же на берегу.

В баке вскипятили воду и бросили туда соль, лавровый лист и другие специи. Чиненков знал, как и что надо делать. Потом в бак стали кидать раков. Через несколько минут в тазах, расставленных на траве, стали появляться в огромных количествах готовые раки. Компания расселась вокруг и стала поедать раков, запивая их водкой, а тазы пополняли новыми сваренными раками. Было жалко шофёра, который водку не пил, а только ел раков. В награду за этот подвиг ему дали их и на вынос, чтоб он выпил под них водки, вернувшись под вечер домой.

Но я хотел бы заключить эту главу не раками. Моя практика общения с военными на испытаниях — как в рабочей обстановке, так и вне работы — внесла положительный вклад в мою оценку офицеров сухопутных и морских ВВС, с которыми мне приходилось сталкиваться и до Владимировки, и после неё. Я считаю, что большинство этих офицеров были людьми квалифицированными. Эта оценка относится и к персоналу ВВИА им. Жуковского, и к сотрудникам полигонов в Ногинске и во Владимировке, и к офицерам нашего заказчика, и к офицерам ВМФ, с которыми я имел дело в тот ранний период моей работы, когда я ещё занимался «Щукой».

Профессиональные качества заказчиков были от нас немного заслонены их положением. Они были крайне придиричивы к нашим малейшим промахам, которые — в силу своей квалификации — почти всегда замечали. Чуть что, и они начинали писать неприятные письма от их начальства нашему, которые осложняли не только наши отношения с ними, заказчиками, но и наши отношения с собственным начальством — в институте и в Министерстве.

Впрочем, должен оговориться, что я, в основном, имел дело только с младшими и старшими офицерами. Мой опыт общения с высшими офицерами очень ограничен. Оборот «был знаком» я могу применить только к двум, уже упоминавшимся мной генералам — Н. Н. Бруевичу и В. С. Пугачёву. Мой скромный служебный статус не предусматривал личных встреч с высшим командованием ВВС. Как-то во время моего пребывания во Владимировке туда приехал Главнокомандующий ВВС маршал П. Ф. Жигарев — высокий, представительный мужчина. Свечарник аудиенцию у него получил. В Москве Свечарник встречался и с другими генералами из командования, и отзывался о них положительно.

ГЛАВА 20

Директор Крупнов. Лестное предложение. Сдача кандидатского по марксизму. Конец Краба. Крах моей карьеры. Ссылка Краба в Челябинск. Вольная жизнь. Семинар А. А. Ляпунова. Н. В. Тимофеев-Ресовский. Первые встречи с программированием. XX съезд. Освобождение «Юных Ленинцев». Сусанна Печуро. Рост известности Эди. Кончина Александра Марковича Колмановского. Попытка органов завербовать меня в стукачи. Защита диссертации. Мой нокаут вербовщикам. Конец моего брака с Галей и начало моей жизни с Машей Калмановской. Кончина Якова Семёновича Дубнова. Взгляд из сегодняшнего дня.

В конце 1953-го или в начале 54-го года нашего недолгого директора Горемыкина, который в начале пятидесятых с поста министра был Сталиным переведён в тюрьму, а после смерти Сталина — выпущен и — для просушки — назначен к нам в институт директором, сочли готовым для возвращения в поднебесье и вознесли куда-то в сферы отделов ЦК КПСС. Нашим директором стал неизвестный нам доселе Николай Иванович Крупнов.

Наша настороженность была напрасной. Крупнов оказался очень приятным человеком, с подчинёнными обращался уважительно, в делах был толков. Он был чужд крайностей — хамского стремления лезть во все дела и раздавать направо и налево административные оплеухи, как это было присуще Виноградову, и полного величественного равнодушия к жизни вверенного ему института, характерного для Горемыкина. Лучшего директора было и не сыскать.

С Крупновым у меня непосредственных дел не было: нас разделял в служебной иерархии Свечарник. Был и заместитель директора, в ведении которого находились проблемы, по которым у меня могла появиться надобность в контактах на уровне дирекции. Этим заместителем ещё при Горемыкине стал, как я уже говорил, Валентин Александрович Ряполов, в отделе которого я начинал свою службу в фирме и с которым у меня сохранились дружественные отношения и после его назначения на более отдалённый от моего служебного уровня пост.

Несмотря на отсутствие необходимости в тесных контактах между мной и Крупновым, некоторые — и вполне лояльные — отношения возникли. Я не могу с определённой точностью сказать, что было причиной, а что следствием. Речь идёт вот о чём. Вскоре после того, как Крупнов занял свой пост, у него (может, эту идею ему подал Ряполов) возникло желание превратить дирекцию института из чисто административного органа, каковой она была при всех предыдущих руководителях, в орган научного руководства институтом, который определял бы «техническую политику» (тогда этот термин был в моде) всей фирмы и придавал бы ей некоторое определённое научное лицо. А при существовавшем в момент прихода Крупнова положении этого лица не было: было трое Главных, каждый из которых любил только своё лицо, был бы непрочь, если б лицом фирмы

считалось именно оно, но совершенно не хотел, чтобы лицом фирмы было выбрано лицо другого Главного.

Крупнов решил начать реализацию своего замысла с организации общеинститутского теоретического отдела и получил одобрение своей идеи в министерских сферах. На должность начальника этого отдела он наметил меня. Так вот, задаваясь вопросом о причине и следствии, я имел в виду — то ли симпатия ко мне дала толчок проекту Крупнова, то ли надежда на меня, как на толкового исполнителя своего замысла, стала причиной симпатии Крупнова ко мне.

Мне директорский проект показался заманчивым, и я стал писать по заданию Ряполова и Крупнова разные варианты проекта об административном и научно-техническом статусе общеинститутского теоретического отдела. Сразу возникли человеческие и политические проблемы. Прежде всего, все Главные встали стеной против того, чтобы исследования и расчёты по их разработкам перешли бы в ведение нового отдела, а такой вариант — «чтобы не распылять силы» — среди прочих вариантов был. Главные понимали, что вместе с передачей этих работ в новый центральный отдел в руках дирекции оказались бы мощные средства влияния на ход работ, которые Главные привыкли вести сепаратно, а также средства контроля за их деятельностью.

«Пожалуйста», — говорили Главные, — «Создавайте на здоровье отдел, который будет заниматься абстрактными теоретическими проблемами в сфере нашей тематики. Но конкретные расчёты и анализ испытаний наших изделий должны остаться в наших руках». Главные, желая оставаться хозяевами своих разработок, были, конечно, правы — и с точки зрения пользы дела, и с позиций их душевного комфорта.

Стандартные — и тоже имевшие известный резон — доводы дирекции сводились к тому, что в методиках теоретического проектирования и анализа результатов испытаний всех разработок, ведущихся в институте, есть много общего, и что объединив их в рамках одного отдела, удастся избежать параллелизма в работе («параллелизм» — это был тогдашний излюбленный враг технического и административного прогресса). Но доводы дирекции от всех трёх Главных отскакивали.

Большинство сотрудников трёх теоретических отделов были бы рады перейти в новый общеинститутский отдел: им там маячила более интересная работа, а некоторым — служебное повышение. Начальники же этих отделов понимали, что, став моими заместителями, они свои позиции частично утратят.

Главные (в первую очередь, Свечарник) боялись, что создание центрального теоретического отдела приведёт к тому, что даже если их локальные расчётные отделы останутся при них, и им, таким образом, удастся отвоевать свою независимость от центрального отдела, будут — из-за ухода значительной и лучшей части сотрудников в центральный отдел — в персональном плане обескровлены, и реализовывать отвоеванную независимость от нового теоретического отдела будет просто некому.

Так что, с одной стороны, доверие дирекции и предстоящее в перспективе расширение сферы моей деятельности приятно щекотали мне разные места, а с другой — осложнили мои отношения со Свечарником (с ним, естественно, в первую очередь), с Орловым и с Надирадзе, а также с двумя другими начальниками локальных теоретических отделов. До ссор дело не дошло, но некоторая напряжённость между мной и другими заинтересованными сторонами возникла.

Крупнова и Ряполова назревающая конфликтная ситуация не беспокоила. У них была оптимистическая надежда на то, что Главные, убедившись на деле, что они от создания центрального теоретического отдела выигрывают, превратятся из его противников в его сторонников. Точно так же, считала дирекция, найдут себя в новом отделе начальники теперешних: они увидят, что быть замначальника центрального лучше, чем начальником локального.

Я чувствовал, что могу оказаться в эпицентре конфликта между дирекцией и Главными. Короче говоря, я был в положении «И хочется, и колется». Но и рискованность ситуации сама по себе имела нечто привлекательное. Крупнов и Ряполов старались заразить меня своим оптимизмом.

Кроме теоретического отдела, дирекция планировала перевести на общинститутский уровень лабораторию электрического моделирования, которой руководил Владимир Викторович Алексеев. В лаборатории было несколько аналоговых машин, которые умели решать системы линейных дифференциальных уравнений. Их применяли для исследования устойчивости колебаний летательных аппаратов относительно центра тяжести. Лаборатория Алексеева входила в состав подразделения Орлова и обслуживала в основном его тему — беспилотную Щуку.

На Алексеева действовали примерно такие же разнонаправленные силы, что и на меня, и поэтому мы с Алексеевым были неявными союзниками. Неявными — потому что Алексеев (человек примерно одних со мной лет) был довольно замкнутым и скрытным. Специалистом он был превосходным.

Из-за описанных сложностей создание нового отдела затягивалось. У Главных были свои способы влиять на дирекцию — и через связи в министерских кругах, и через заказчиков. Они эти способы пустили в ход, и дирекция почувствовала, что ей не так просто будет осуществить свои планы структурных перемен в институте. Я предложил в качестве подготовительной акции организовать общеинститутский научный семинар. Эта идея понравилась всем, и такой семинар под моим руководством был создан. Он заседал раз в неделю. В заседаниях участвовали желающие сотрудники всех трёх теоретических отделов и лаборатории Алексеева. Докладчики были из нашей среды или приглашались из смежных научных и конструкторских учреждений.

Я стал форсировать мои диссертационные дела. Главное было — сдать кандидатский минимум по научному коммунизму, проваленный за год до того в ВВИА. Мне помог Главный инженер Главного Управления нашего Министерства Николай Леонидович Соловьёв. Он курировал наш институт, был в очень хороших отношениях с многими его сотрудниками, в частности, со Свечарником и со мной, а с другой стороны, был на полставки профессором в МВТУ им. Баумана. Он сумел записать меня на курсы по подготовке к сдаче этого проклятого научно-коммунистического минимума, которые функционировали при МВТУ. Я попал в поток, длящийся в течение второго семестра.

На занятия надо было ходить раз в неделю. Весной предстоял экзамен, который для соискателей, аккуратно посещавших эти курсы, оканчивался вроде благополучно. Такова была благодарность преподавательского персонала курсов за то, что своими посещениями мы давали заработок преподавателям и администрации.

Я решил не рисковать, ходил на занятия исправно, как ни тошно-творно это было, и экзамен сдал. Но даже в обнадёживающих услови-

ях, обеспеченных моими послушными посещениями, небольшое волнение на экзамене я испытал. Я взял билет и увидел, что вопросы были вполне благополучными. Я сидел и готовился. Подготовившись, я стал ждать своей очереди к экзаменатору и, естественно, прислушался к разговору экзаменатора с моим предшественником, отвечавшим на вопросы своего билета.

Когда предшественник ответил на все вопросы, экзаменатор задал дополнительный вопрос. Я сразу вспомнил серию дополнительных вопросов, заданных мне на кафедре научного коммунизма ВВИА и приведших меня к гибели. Тутощный экзаменатор поднял над экзаменационным столом ручку и подкинул её вверх. Ручка завершила свой полёт падением на стол. Экзаменатор сказал: «Упавшая ручка повернута пером в мою сторону. Скажите, это — случайность или необходимость?». «Случайность», — отвечал несчастный. «Почему», — строго спросил экзаменатор, — «Ведь траектория центра тяжести ручки и её положение относительно центра тяжести в каждый момент её движения, в частности, в момент встречи со столом, однозначно определяются начальными условиями её полёта и дифференциальными уравнениями механики?». Предшественник забился в расставленных диалектических сетях. Я нервничал. В конце концов экзаменатор от своей жертвы отцепился и поставил ей отметку. Судя по счастливому выражению лица соискателя, отметка была подходящей. Мне дополнительных вопросов не досталось совсем. Я получил «Отлично». Я решил после летних отпусков завершить диссертацию и в начале следующего года её защитить.

В текущем пятьдесят четвёртом году успешно шли к концу заводские испытания Краба. Я на этих испытаниях бывал лишь эпизодически. От моего отдела там была группа, которой руководил очень квалифицированный старший инженер Наум Злотник. Краб показывал хорошие результаты, и были все основания считать, что в следующем году пройдут государственные испытания, и Краб будет сдан на вооружение.

Свечарник на испытаниях тоже присутствовал не всегда. Он думал о новых проектах. Много времени мы тратили с ним на контакты с новыми потенциальными заказчиками. Свечарник хотел ориентировать наши новые разработки, которые являлись бы развитием Краба, на нового заказчика — на ВВС Военно-морского флота. Тепловыми целями для планируемых модификаций Краба стали бы военные корабли. На вооружение ВВС ВМФ передавались новые типы бомбардировщиков, и Краб надо было приспособлять к ним.

Но успешный ход нашей разработки, развитие моей карьеры и надежда на скорую защиту были разрушены неожиданными событиями на испытаниях Краба. Из заводской партии осталось испытать последние три образца. Первый среди этих трёх показал худшую точность чем предыдущие. С этим можно было бы смириться: результаты предыдущих были достаточно хороши, и этот сниженный результат не ухудшал заметным образом главный показатель: среднее отклонение от цели и его дисперсию, вычисленные по результатам всей партии. Но дело было серьезнее: расшифрованные записи КРА этого неудачного образца были совершенно непонятны. Точнее, записи положений осей всех трёх гироскопов относительно осей симметрии образца были весьма необычными и не поддавались никакой интерпретации.

Комиссия высказала гипотезу о неисправности самой КРА, и было принято решение испытать ещё один очередной образец. Но загадочные

результаты повторились. Хотя и этот Краб от цели упал не очень далеко. Неясность ситуации и отсутствие диагноза побудили комиссию отложить испытание последнего образца партии до выяснения причин странных показаний КРА и снижения точности попадания Крабов в цель.

Некоторые члены комиссии высказали предположение, что по каким-то причинам нарушилась устойчивость Краба относительно центра тяжести и что Крабы вращались вокруг продольной оси. Это означало бы наличие дефектов в нашей разработке. Свечарник это предположение с негодованием отвергал. Мне тоже казалось, что такое вращение не привело бы к таким записям положений осей гироскопов, которые наблюдались фактически. Но, отвергая разные гипотезы, мы своих толкований найти не могли. Была проведена серия нервозных совещаний в дирекции с участием заказчиков и специалистов из других отделов Института, из ЦАГИ, из КБ Антонова — разработчика автопилота — и из других учреждений. Возникла атмосфера скандала.

Я участвовал не во всех этих неприятных мероприятиях — из-за болезни. Ещё летом 1953-го года у меня была констатирована атака ревмокардита — рецидив болезни детских лет. Тогда-то, лёжа больным на дачной террасе, я сделал рисунок, положивший начало длинному «живописному» периоду в моей жизни. Осенью 53-го болезнь отступила, но осенью 54-го, вскоре после начала скандала, симптомы сердечного заболевания вернулись, и врачи снова уложили меня в постель, и снова — примерно на два месяца.

Насколько я понимаю, Крупнов в какой-то момент заподозрил, что я симулирую: в разгар болезни ко мне домой неожиданно приехала врач из медпункта нашего института. Врачи медпункта оказывали первую помощь сотрудникам, но на дом никогда не выезжали. Врач очень путано и конфузась объяснила мне причину своего появления (что-то вроде повышенной заботы дирекции о моём здоровье), тщательно выслушала моё сердце, ознакомилась с больничным листом и назначениями лечащего врача из районной поликлиники и уехала. Никаких последствий этот врачебный визит не имел.

Недоброжелатели Свечарника — а их было много и среди заказчиков, и среди руководящих сотрудников двух других конструкторских подразделений института — ухватились за возникшую ситуацию как за средство компрометации всей деятельности Свечарника. О причинах недоброжелательной позиции заказчиков у меня позже возникло определённое мнение. К этому я ещё вернусь.

В создавшихся условиях положение близких сотрудников Свечарника, в первую очередь моё, было сложным. С одной стороны, хотелось в трудную минуту поддержать шефа, хотя он выбрал несколько странную тактику: он отвергал все гипотезы, которые могли бы снизить оценку качеств Краба, но не торопился выдвигать собственные объяснения явно нежелательных явлений, обнаруженных при испытаниях. С другой стороны, было понятно, что выбранная Свечарником страусиная политика не жизнenna: противники будут продолжать давление, а союзники долго союзниками не будут, ибо бездеятельность противоречит естественному желанию выяснить истину и к добру не приведёт. Так оно, увы, и вышло.

Среди тех специалистов, которые считали, что странные записи КРА свидетельствуют о том, что Крабы вращались вокруг продольной оси, был и начальник лаборатории аналоговых моделей Алексеев. Он взялся предположение о вращении Крабов объективно проверить. Крупнов создал комиссию под его председательством.

Алексеев выполнил исследование весьма доказательно. Он взял специальный стенд для испытаний гироскопов, поставил на него автопилот Краба (с гироскопами), и стал осуществлять различные вращения стенда, записывая показания гироскопов с помощью нашей КРА. После ряда попыток Алексеев с членами его комиссии подобрали такие движения стенда, при котором записи лабораторной КРА совпали с записями тех двух КРА, которые были установлены на экспериментальных образцах, давших начало всей истории.

Самый существенный вывод комиссии состоял в том, что одним из компонентов движения стенда в обоих случаях совпадения показаний лабораторной и реальных КРА было вращение стенда вокруг продольной оси. Значит, вращались вокруг продольной оси и те два злополучных Краба.

Свечарник требовал от меня, чтобы я нашёл ошибку в толковании испытаний на стенде, которое предложил Алексеев, но я этого сделать не мог: ошибки не было. С другой стороны, меня вызывал Крупнов, но в разговорах с ним я признать верность выводов Алексеева не торопился: я не хотел вставать на сторону противников Свечарника.

Эта вынужденная двойственность моей позиции обошлась мне дорого. Свечарник счёл меня нелояльным и со мной поссорился насмерть. Возможно, что в своих объяснениях с дирекцией рассердившийся на меня Свечарник решил, что более подходящего козла отпущения, чем я, нет. С этим, очевидно, согласилась и дирекция, недовольная мной за то, что я не хотел выступать против Свечарника.

В глазах дирекции выбранный козёл был удобен ещё и потому, что Свечарник был назначен Главным Конструктором Постановлением Правительства, и дирекция снимать его с этого поста своей властью не могла. Затевать же против Свечарника серьёзные действия дирекции было непорочно и — ни к чему. Дирекция понимала, что она, чтобы не потерять лица перед Министерством, заказчиком и ВПК (Военно-Промышленная Комиссия ЦК), какие-то пощёчины раздать должна. И вот появился грозный приказ. В нём директор констатировал наличие не до конца выясненных дефектов Краба, которые Свечарнику предписывалось выявить и устранить. Далее шли наказания.

Свечарнику объявлялся строгий выговор. Меня же приказ обвинял в бездействии при выяснении причин неудачных результатов испытаний. За это директор снимал меня с поста начальника теоретического отдела подразделения Свечарника и переводил в рядовые инженеры в теоретический отдел подразделения Орлова — Главного конструктора Щуки. Был наказан и Наум Злотник. Его тоже переводили в рядовые инженеры, но оставляли в подразделении Свечарника. Обязанности начальника теоретического отдела временно возлагались на самого Свечарника.

Несправедливость санкций была очевидна всем. Было совершенно понятно, что вращение двух образцов Краба, до которых их успело — и безо всяких вращений — полетать около двух десятков, является причиной не идеологического просчёта, за который, в принципе, ответственность могла бы лежать на мне, а какой-то — одинаковой в двух образцах — неполадки, не замеченной при подготовке этих двух образцов к полёту. Возможно, что такая неполадка могла быть следствием дефекта в изготовлении аппаратуры или корпуса Краба. Но за весь этот комплекс возможных причин я ответственности нести не мог — этой сферой (производство и предполётная приёмка) занимались другие руководители в подразделении Свечарника. Я мог нести ответственность только за ошиб-

ки в анализе результатов испытаний. Но главное в этом деле — причина вращения двух Крабов — к моменту издания сердитого приказа выявлена не была, и те, кто в ней был повинен, так и не были ни выявлены, ни наказаны.

Злотник с приказом директора не согласился и, в соответствии с трудовым законодательством, был уволен по собственному желанию в должности старшего инженера: последний приказ в трудовую книжку не был занесён. Он был мною недоволен, полагая, что это я подставил его. Но я ни слова против Злотника никому никогда не произнёс. Наум Борисович вернулся в школу — преподавать математику. С ним я больше никогда не встречался.

Я же решил приказ не опротестовывать и, став рядовым инженером, направить все свои усилия на защиту диссертации. Я предполагал одновременно с подготовкой диссертации без спешки искать новое место работы с подходящим положением и зарплатой. Я надеялся, что мои связи помогут мне вести эти поиски в среде, где меня знают, как квалифицированного профессионала, как начальника теоретического отдела, и что моё разжалование в рядовые моими потенциальными работодателями всерьёз приниматься не будет.

Я хочу отдать должное деликатности и доброжелательности Ильи Ефимовича Борисенко, начальника отдела, в который меня перевели с понижением в должности. Мы всегда были с ним в хороших отношениях, которые лишь в последние месяцы были несколько омрачены проектами дирекции поставить его под моё начало в центральном теоретическом отделе. Илья Ефимович полностью об этих шероховатостях в наших отношениях забыл. Формально он ввёл меня в группу, руководимую моим другом Липшицем. При этом Борисенко дал Александру Борисовичу (к полному удовольствию последнего) предоставить мне полную свободу в выборе темы занятий и никак мою работу не контролировал. Против такого моего нестандартного статуса не возражал и Орлов.

Борисенко был лет на десять старше меня. В тридцатых годах Илья Ефимович тоже окончил мехмат, но — отделение механики по кафедре теории упругости. Он был очень неглупым человеком, хотя явно простого происхождения, да ещё и откуда-то из Белоруссии, и эти корни были очень слышны в его речи. Он и любил косить под простачка. Если ему случалось вступать в спор — на житейскую, техническую или служебную тему, — то его речь была пересыпана его любимым оборотом: «Вы меня не укорайте и не уговаривайте!». Эта формула произносилась то с возмущением, то шутливо, то тоном мудреца. Борисенко любил повторять шутку, сказанную по поводу его имени заведующим кафедрой теории упругости на мехмате профессором Рахматуллиным, у которого Борисенко делал дипломную работу. Профессор называл его так: «Илья Ефимович Нонерпин». Вниманием известного профессора к его персоне, выраженным даже в форме подтрунивания, Борисенко дорожил.

...Между тем, дальнейшее развитие событий с Крабом было совершенно удивительным и навело меня на мысль, что все происшедшие неприятности были на руку заказчикам. А развивались дальнейшие события с Крабом так. Приблизительно так, ибо за полную точность я ручаться не могу: мои контакты с бывшими коллегами сильно ослабились: я не лез к ним с расспросами о делах моего бывшего родным подразделением из гордости, а они не открывничали со мной из боязни травмировать Све-чарника и навлечь на себя его неудовольствие. Возможно, что какая-то работа по выяснению и устранению причин вращений двух Крабов про-

должилась, дело стало ясным, неполадка была устранена.

Во всяком случае, коллектив был ориентирован на возобновление и окончание испытаний заводской партии и к переходу к созданию образцов для государственных испытаний. Но обычный ход работ был прерван неожиданным Постановлением ЦК и Совмина. Всё подразделение Свечарника с его коллективом, оборудованием и тематикой переводилось в какой-то почтовый ящик, расположенный в Челябинске. В соответствии с тогдашним трудовым законодательством несогласие ехать в Челябинск означало автоматическое увольнение. Коллектив был в одночасье разрушен.

Свечарник, Чиненков и Ястребцов начали Постановление выполнять. Из сотрудников моего бывшего отдела согласилась ехать в Челябинск одна Рита Яковлева — молодая женщина, у которой не было семьи. Все остальные уезжать из Москвы не могли и не хотели по естественным причинам: их жёны (мужья) своих работ бросать не хотели, детей срывать с учёбы было невозможно, возникали проблемы со старыми родителями, которые в те времена часто жили вместе с семьями своих взрослых детей, невозможно было терять жилплощадь, даже плохую — ценилась сама по себе московская прописка.

Во всём подразделении Свечарника нашлось лишь несколько человек, для которых новая жизнь в Челябинске сулила улучшение жилищных условий и служебного положения их самих и членов их семей. Я не знаю, как протекало устройство и организация работ на новом месте, во что подразделение Свечарника превратилось, чем оно стало заниматься и каких результатов достигло. Даже если результаты были не нулевыми, то с Крабом они уже связаны не были.

Прежде всего, пожив в Челябинске несколько месяцев, в Москву вернулся Свечарник. Это возвращение было, как нетрудно предполагать, конфликтным. Что бы там ни было, Свечарник из военной промышленности ушёл и стал доцентом, а потом и профессором Московского Института Инженеров Транспорта. Он вернулся к своей прежней узкой специальности — электротехника и теория автоматического регулирования. В ней он, насколько мне известно, работал до конца своей трудовой жизни.

Вернулась в Москву Рита Яковлева. Она была принята на должность начальника бригады в ОКБ Грушина. Она рассказывала, что в Москву вернулось большинство. Остался в Челябинске Ястребцов, получивший хорошую квартиру. О завершении разработки Краба речи быть не могло. Тема была брошена после длительной и, в целом, успешной работы большого коллектива высококвалифицированных специалистов. Зачем же (и кем?!) было сделано всё для того, чтобы умертвить Краб?

Моя гипотеза состоит в том, что в трудном положении почувствовал себя заказчик: если б Краб прошёл государственные испытания, то его надо было бы передавать на вооружение в части ВВС. Но в 1954 г. стало ясным, что бомбардировщик ТУ-4, определённый заказчиком в его Тактико-Технических Требованиях, как носитель Краба, с вооружения вот-вот будет снят. При его скорости и потолке полёта он стал стопроцентно уязвимой мишенью для стремительно совершенствовавшихся ракет класса «Земля—воздух». Подвешивать же громоздкий Краб под фюзеляжи более современных бомбардировщиков было невозможно — эта подвеска ухудшала бы лётные качества бомбардировщиков настолько, что ВВС на это не пошли бы.

Таким образом, в самих ТТТ заказчика на разработку Краба содержалась стратегическая ошибка: заказчик не сумел предвидеть, что в течение

нескольких лет, необходимых для разработки Краба, выбранный ими бомбардировщик умрёт моральной смертью. Осечка в успешном ходе разработки Краба стала для заказчика находкой: он отводил от заказчика ответственность за неверные ТТТ. Поэтому заказчик всячески раздувал отрицательное значение осечки и содействовал «естественному» концу этого проекта. Не могу исключить, хотя это с моей стороны и огульное охаивание, что тем, кому конец Краба был на руку, руку к этому концу (каламбур) приложить ничего не стоило: ведь как просто было старшему лейтенанту, наблюдавшему за подготовкой несчастливых образцов к полёту, сунуть обломок спички в еле видный зазор между интерцептором крена и крылом.

...Через примерно тридцать лет, когда уже ни Свечарник, ни я не были никак связаны с оборонной тематикой — я работал в ЦЭМИ АН, а Свечарник был профессором МИИТа — я познакомился в гостях у одной дружественной супружеской пары с профессором Тафтом, который оказался коллегой Свечарника по кафедре. Я передал через Тафта Свечарнику привет и предложение возобновить отношения. Свечарник на это моё предложение не откликнулся. Впрочем, не исключаю, что Тафт был не слишком скрупулёзен и моего приветствия Свечарнику не передал. Последнее известие о Свечарнике до меня дошло в конце 1998-го года. Сын нашей приятельницы, живущей в Беер-Шеве, женился. Войдя в подробности, наша приятельница сообщила, что её молодая невестка — внучка московского профессора Свечарника. Он в свои 84 был жив и благополучен. Но я решил новых попыток наладить отношения с моим бывшим шефом не делать...

Итак, я снова, как в начале моей служебной карьеры, оказался в группе Александра Борисовича в отделе Борисенко. Мой заработок снизился с 2600 рублей в месяц до 1500. Пропорционально снизились и добавки к зарплате — ежеквартальные премии. Мне было очень неловко перед Лопшицами, в семье которых я жил с женой и сыном, хотя Лопшицы со свойственным им благородством и великодушием всячески меня успокаивали и поддерживали. Я старался заполучить разные литературные заработки.

Никакими работами по тематике своей группы Александр Борисович меня не загружал, и я мог заниматься всем, чем мне было угодно. Так что хватало времени и на литературную подёнку. Я писал аннотированные рецензии на вновь выходявшие за рубежом научные книги (их заказывало Издательство Иностранной Литературы и публиковало в периодических сборниках), что-то редактировал в издательстве физико-математической литературы (там ещё заведовал редакцией Бронштейн) и т. д. Конечно, полностью компенсировать ежемесячные денежные потери эти эпизодические заработки не могли.

Почти сразу же после моего разжалования я пытался перейти в другое учреждение на более подходящую для меня должность и зарплату. В моих попытках мне помогали мои друзья с кафедры Бруевича и другие мои знакомые в разных почтовых ящиках. Я вёл переговоры с главным конструктором бомбовых прицелов Буяновером, ездил в г.Химки к главному конструктору крылатых ракет класса «воздух—воздух» Бисновату. Тогда стал расширяться НИИ ВВС в Ногинске. Должен был появиться его филиал в Москве. Меня очень приглашал туда на работу полковник Анатолий Петрович Гришин, профессор кафедры Пугачёва в ВВИА. Он становился в новой организации начальником отдела. Предложение Гри-

шина было для меня очень привлекательным. Но генералы, начальники НИИ ВВС, вежливо поговорив со мной, решили, что с такой сомнительной фигурой, как я, связываться не стоит. Такие же решения приняли Буянов и Бисноват. Через несколько месяцев я попытку сменить работу оставил.

Между тем, через несколько месяцев после моего разжалования Крупов повысил меня на одну ступеньку — перевёл меня в старшие инженеры. Он дал (через Ряполова) мне понять, что когда скандал с концом Краба и связанным с ним моим понижением начнёт уходить в прошлое, а это, считал он, произойдёт к моменту защиты моей диссертации, уместно будет начать новые шаги по возвращению моего статуса. Это своё намерение Крупов впоследствии выполнил. Я затих и стал писать диссертационную работу.

Мой прежний план диссертации, в котором главным результатом были мои исследования траекторий Краба, рухнул. Одно дело — защищать математическую модель, относящуюся к образцу вооружения, в разработке которого я принимаю активное участие и которая успешно завершается. Такой вариант означает почти беспроблемную защиту, независимо от истинной научной ценности полученных результатов. Именно так подфартило адъюнкту Анисимову, защитившему диссертацию на тему особенностей прицела для Краба в тот момент, когда Краб был на подъёме. И совсем другое дело — защищать теорию, связанную с разработкой, которая со скандалом прекращена. Как бы оригинальна ни была защищаемая теория, она симпатии у оппонентов и у членов учёного совета вызвать не сможет.

Следовательно, стал ненужным тот готовый материал, из которого должна была, по прежнему плану, состоять моя диссертация. Я оказался на нуле. Но мне повезло, и я из кризиса жанра вышел. Ещё за пару лет до того я, посещая Библиотеку Иностранной литературы, просмотрел (в оригинале) появившуюся в библиотеке книгу американца МакКинзи по математической теории игр. Тогда я не предвидел, что эта книга станет источником идей, которые я смогу положить в основу нового варианта моей диссертации. Но — волка ноги кормят. Я увидел, что предлагаемые в теории игр понятия и методы могут быть приложены к решению одной проблемы, порождённой применением самонаводящихся авиационных бомб. Речь идёт о проблеме ложных целей, которая напрямую с судьбой нашего бедного Краба связана не была, хотя и встала именно в ходе его разработки.

Для защиты промышленного объекта, излучающего тепловые лучи, на которые реагируют тепловая головка самонаводящейся бомбы типа Краба, противник располагает двумя возможностями. Во-первых, он может снабжать излучающий тепло объект системой теплоизоляции — такой, что тепловая головка атакующей бомбы объект не «увидит». Это технически очень сложный и дорогой способ. Во-вторых, противник может соорудить невдалеке от своего важного тёплого объекта — «истинной» цели — специальную ложную цель, а именно дешёвый мощный источник тепла, никакой ценности не имеющий (например, просто костёр из хлама, облитого керосином). Если в поле зрения тепловой головки попадают несколько тепловых объектов, то головка наводит на их «тепловой центр» (аналог центра масс нескольких тел, в котором вместо масс тел фигурируют мощности тепловых излучений объектов).

Таким образом, если тепловое излучение ложной цели будет на-

много мощнее излучения истинной, то глупая головка будет тащить самонаводящуюся бомбу, на которой она установлена, на эту дешёвую ложную цель. Противнику, отвлекающему самонаводящуюся бомбу от истинной, важной в стратегическом плане, цели на ложную приманку, надо только позаботиться о том, чтобы эта приманка функционировала стабильно в продолжение всего налёта. В свете такого способа защиты от самонаводящихся бомб истинных объектов и у разработчика бомбы, и у защитника истинной цели возникают симметричные проблемы выбора решений («стратегий» по терминологии теории игр).

Защитнику цели надо выбрать расстояние сооружаемой им ложной цели от истинной цели. Чем больше это расстояние, тем меньший ущерб понесёт истинная цель при взрыве бомбы, угодившей, как защитник и хотел, в ложную. Но чем больше это расстояние, тем меньше вероятность, что ложная цель попадёт в поле зрения головки и свою отвлекающую роль сыграет.

Соответственно, чем ближе подвинуть ложную цель к истинной, тем вероятнее, что бомба на эту ложную цель клюнет, но тем больший ущерб будет нанесён и истинной цели — из-за близости к ней места взрыва. Итак, как далеко стоит отодвигать ложную цель от истинной? Эту задачу можно было бы легко решить, зная ширину угла зрения головки. Но защитник цели этой характеристики вражеской бомбы не знает: её выбирает не он, а его враг — конструктор бомбы — и держит её в секрете.

В аналогичном положении находится и этот конструктор. Чем шире угол зрения головки, тем больше вероятность того, что в поле зрения головки истинная цель попадёт даже при ошибках бомбометания. Но одновременно возрастает вероятность попадания в поле зрения головки и нежелательной ложной цели. Чем уже угол зрения, тем меньше вероятность захвата ложной цели, но тем больше вероятность того, что в поле зрения из-за ошибки бомбометания не попадёт и истинная цель. Если б конструктор бомбы знал, на каком расстоянии от истинной цели будет установлена ложная, то выбор рациональной ширины угла зрения головки можно было бы сделать. Но этот параметр ему неизвестен: его выбирает его враг — защитник истинной цели — и держит его в секрете.

Теория игр рассматривает неопределённости именно такого класса и предлагает технологии принятия решений каждому из играющих друг против друга игроков. В моём случае игроками являлись разработчик бомбы и защитник цели. Итак, главная часть диссертации была посвящена этой игровой проблеме.

Если б не дискомфорт от маленькой зарплаты, то моё положение сделалось очень недурным. Я был полностью свободен от всех работ, проводимых в рамках обязательных плановых тем отдела, сотрудником которого я стал. Я мог неограниченное время проводить в библиотеках Москвы и очень широко этой возможностью пользовался — и для расширения моего научного кругозора, и для выполнения литературных работ, дававших мне дополнительный заработок.

Кроме того, мы с Галей стали посещать научный семинар и лекции Алексея Андреевича Ляпунова, которые он вёл в МГУ. По образованию Ляпунов — математик, причём потомственный. Среди его старших родственников — А. М. Ляпунов, известный своими работами по теории устойчивости решений дифференциальных уравнений и результатами в теории вероятностей. Братом этого известного математика был известный композитор С. М. Ляпунов. В общем, как говорится, Алексей Андреевич

был из хорошей семьи. Он окончил Мехмат МГУ, несколько лет провёл на фронте, потом преподавал в Военной Артиллерийской академии. Его узкая математическая специальность — теоретико-множественная топология. Он защитил и кандидатскую, и докторскую диссертации.

Какое-то время Ляпунов проработал в Западно-Сибирском филиале Академии Наук, в недрах которого через пару лет после описываемых событий родилось Сибирское Отделение АН, разместившееся в Академгородке под Новосибирском. Появившаяся в конце сороковых годов за рубежом кибернетика привлекла к себе внимание этого крупного математика, а когда после смерти Сталина кибернетику перестали шельмовать как вражеские выдумки и происки, Ляпунов стал одним из первых пропагандистов в нашей стране этого нового научного направления.

Итак, семинар Ляпунова был по кибернетике, которая выходила из под запрета. Надо сказать, что рамки этой науки об управлении и информации тогда (как, впрочем, и сейчас) были довольно размыты. Кибернетика — усилиями научных работников, причисливших себя к этому направлению — включила в сферу своих проблем и методов многие вполне сложившиеся к моменту рождения кибернетики области: и теорию автоматического управления — от регулятора Уатта до автопилота, — и физиологию сердечной и высшей нервной деятельности, и биологию, и психологию, и математическую теорию информации, и лингвистику, и электронные цифровые вычислительные машины, и многое другое.

Каждая из областей, объявленных — сперва гонимой, а потом модной — кибернетикой своей провинцией, имела и имеет свой предмет, свои понятия и свои нетривиальные результаты. Кибернетика, взявшаяся обобщить все эти научные разделы, каких-либо значительных общих понятий и результатов в науку так и не внесла. Больше всего прав у неё было, пожалуй, на ЭВМ. Точнее, на программирование и системное программное обеспечение — хотя бы потому, что кибернетика и ЭВМ родились почти одновременно, и именно идеи, лежащие в основе новой машинной вычислительной техники, побудили задуматься о сходстве проблем и методов в нескольких поименованных выше областях. Как я уже сказал, далеко эти поиски общих свойств разных областей не пошли.

Но тем не менее, провозглашение империи «Кибернетика» вызвало вспышку интереса и к развитию тех наук, которые новая царица приняла в состав своего царства, а главное — проторило дорогу развитию и применению ЭВМ для хранения и переработки информации в областях, круг которых систематически расширялся и продолжает расширяться, так же как и круг пользователей возможностями компьютеров.

Подтверждая вышесказанное, семинар Ляпунова по кибернетике был эклектичен, но очень интересен. В частности, потому, что Алексей Андреевич Ляпунов, будучи человеком незаурядным, приглашал на свой семинар также выдающихся учёных.

Особенный интерес вызывало частое присутствие на этом семинаре легендарного Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского — основателя радиационной генетики, проработавшего с двадцатых по сорок пятый год в Германии и сидевший после нашей победы в советском концлагере. Потом его оставили работать в каком-то сибирском биологическом заповеднике. Возможно, А. А. Ляпунов познакомился с Тимофеевым-Ресовским во времена своей работы в Западно-Сибирском филиале АН.

Привлечение Тимофеева-Ресовского в кибернетический семинар Ля-

пунова — наглядный пример того, как молодая ненасытная кибернетика взялась переваривать и биологию. Тимофеев-Ресовский к этой претензии относился благодушно и на приглашение Ляпунова откликнулся. Наверное, по двум причинам.

Во-первых, захватчица-кибернетика была представлена в семинаре обаятельным, эрудированным и блестящим сравнительно молодым Ляпуновым (ему было немного за сорок), который к патриарху Тимофееву-Ресовскому относился почтительно — и по существу, и по форме. Впрочем, патриарх был старше Ляпунова всего на 11 лет.

Во-вторых, для Тимофеева-Ресовского, которому тогда только-только разрешили наезжать из сибирской ссылки в Москву, семинар Ляпунова был одним из немногих мест (а может, и единственным местом), в котором постепенно возвращающийся из опалы учёный мог публично выражать свои взгляды. Речь шла о научно-популярных формах выражения — вследствие всеядности кибернетики, которая искала общее на поверхностях входящих в неё наук.

Лысенко тогда ещё не был разоблачён, но критиковать его — не слишком публично — было уже можно. Принимая во внимание самодурство и невежество Хрущёва, нетрудно понять, что и разрешённая критика мракобеса Лысенко не могла считаться полностью безопасной. Семинар Ляпунова стал одним из редких мест, где эта критика звучала, и чаще всего — из уст Тимофеева-Ресовского.

Участники семинара с наслаждением воспринимали все язвительные стрелы, которые великий учёный метал в невежду. Теперь может показаться странным, что невежда, вообще, был удостоен внимания гения. Но Лысенко, будучи невеждой в биологии, был гением игры на советском инструменте и в дворцовых интригах. По его наговору в концлагерях сгноили легионы честных научных работников, и первым по своему значению в русской и в мировой науке в списке замученных по наветам Лысенко стоит Николай Вавилов.

Герострат коммунистической эпохи заставил говорить о себе с тридцатых до шестидесятых годов всех тех — включая и выдающихся деятелей культуры — кто в обычной ситуации не заметил бы самого факта пребывания ничтожного Лысенко в подлунном мире.

Я помню рассуждения Тимофеева-Ресовского о теории Лысенко насчёт передачи по наследству благоприобретённых признаков. У Тимофеева-Ресовского был великолепный звучный сильный баритон с употреблением тончайших модуляций. Он мастерски использовал его для того, чтобы изложить научное обоснование невозможности такой передачи. Аудитория, наслаждавшаяся самим фактом произнесения вслух совсем недавно запрещённых научных истин, да ещё из уст столь импозантного и столь известного, и столь пострадавшего учёного, да ещё таким великолепным голосом, находилась в полной эйфории.

Сторонники Лысенко на семинар Ляпунова носу не казали. Но туда ходил профессор Леонид Викторович Крушинский, физиолог и генетик. Мне это имя знакомо до того не было. По его высказываниям можно было предполагать, что ещё недавно Крушинский был благополучным и дисциплинированным адептом павловского и мичуринского учений, но что новые антилысенковские веяния ему импонировали. Но сразу перестроиться Крушинский не мог. И вот, как-то, слушая очередные разностные рассуждения Тимофеева-Ресовского по поводу наследования приобретённых признаков, Крушинский перебил выступавшего и сказал, что ему

известен случай передачи приобретённых признаков по наследству.

Тимофеев попросил Крушинского рассказать об этом случае подробнее. Крушинский вышел, встал рядом с кафедрой, за которой возвышался Тимофеев-Ресовский, и начал рассказывать. Надо сказать, что хотя у Крушинского была вполне доброкачественная внешность и нормальный голос, нам он по сравнению с величественным Тимофеевым-Ресовским казался писклявым щеночком.

Крушинский рассказал такую историю. В среде английских аристократов была мода на собак, сопровождавших карету. Своим блеющим голосом Крушинский говорил: «Представьте: по улице Лондона едет карета. Каретой управляет кучер в цилиндре и в ливрее; в карете сидит...» — тут Крушинский запнулся, подбирая слово, а Тимофеев, воспользовавшись паузой, своим громовым голосом сказал: «Лорд». Крушинский благодарно подхватил: «Да-да, лорд. А под каретой бежит...» — тут Крушинский опять запнулся, а Тимофеев снова вставил, модулируя голосом, подходящее слово: «Мопс». Крушинский продолжал: «Да-да — мопс. Мопса специально с младенчества учили: бежать точно между четырьмя колёсами кареты. Представьте: карета начинает ехать быстрее — мопс тоже бежит быстрее. Едет медленнее — мопс бежит медленнее. Карета поворачивает, поворачивает и мопс. В результате — мопс всегда точно между четырьмя колёсами кареты. Наличие мопса свидетельствовало о значительности лорда».

Далее Крушинский рассказал, что собаководы выводили эту породу мопсов десятилетиями. Мопсы были примерно одного размера и одного окраса. Но собаководы хотели большего. Они хотели так скрещивать учёных мопсов, чтобы они рождали потомство с врождённой способностью бежать между колёсами. Если б такую задачу решить удалось, то собаководам не надо было бы тратить немалые силы на обучение каждого вновь родившегося мопса, предназначенного к службе у нового вновь родившегося лорда. Крушинский сказал, что собаководам это удалось.

Но тут его перебил Тимофеев-Ресовский. Он сказал, что эта история ему известна. Но с совершенно противоположным концом. Через некоторое время собаководы осознали беспочвенность таких надежд — в отличие от приверженцев лысенковского учения, которые и до сих пор ничего не осознали и продолжают дурить своими бреднями головы людям.

Бог мой! С каким восторгом участники семинара следили за всеми перипетиями дискуссии. Конечно, такие вопросы голосованием участников семинара не решаются. Но априорная накопившаяся ненависть к Лысенко и к его диктатуре в науке делали в наших глазах Крушинского смешным, а Тимофеева-Ресовского безусловно правым. Сознание того, что ты слышишь что-то из уст корифея, что корифей смело издевается над ненавистным хамом Лысенко, а публично издеваться над этим хамом ещё дозволено не было, и остроумно подтрунивает над его недавним последователем Крушинским, придавало всей сцене и сюжету о мопсе ранг исторического события в развитии науки и общества нашей страны.

Кроме руководства семинаром, Ляпунов читал раз в неделю лекции по программированию, которое тоже как-то шло за кибернетику. Лекционная пара часов следовала сразу за парой часов семинара по кибернетике. Это была самая заря цифровой вычислительной техники в СССР. Только-только появилась БЭСМ-1, которую довелось повидать тогда очень немногим с ней непосредственно работавшим научным сотрудникам и инженерам.

Через пару лет появилась «Стрела», в пятьдесят седьмом — «Урал».

Ляпунов преподавал программирование для условной трёхадресной машины. Программирование шло в действительных адресах. Мы выучили двоичную и восьмеричную системы счисления. В те годы эти системы считались чуть ли не самой важной частью вычислительной техники и программирования. Речь тогда шла только о программировании вычислительных процессов. Т. е. рассматривались только два вида данных: целые и вещественные числа. Эпоха обработки данных самой разной природы ещё не наступила.

Ляпунов, рассказав нам об основных командах, остальное время потратил на множество примеров программ вычисления разных элементарных функций. Хотя программой называлась последовательность восьмеричных кодов, Ляпунов, наряду с понятием «Блок-схема программы», ввёл понятие «Логическая схема программы», которую можно рассматривать как далёкого предка записи программы на появившихся позднее алгоритмических языках.

Мы с Галей были активными слушателями Ляпуновского курса и даже написали и опубликовали в одном из сборников толстого журнала «Математическое просвещение» статью о программе для ЭВМ, предназначенной для автоматизации работы железнодорожного движения. Эту тему предложил нам Алексей Андреевич, и он же был первым рецензентом этой статьи. Тогда каждая статья по программированию была в новинку. Можно без преувеличения сказать, что и для Гали, и для меня лекции Ляпунова и научное общение с ним были поворотными в нашей профессиональной жизни.

Я продолжал посещать семинар Фельдбаума в Институте Автоматики и механики. Пару раз я ездил в Ленинград на конференции в Военно-воздушную Академию им. Можайского. Приглашения на эти конференции я получал стараниями моего старого знакомого полковника Москвина (это знакомство, напомним, состоялось в начале 50-х в Оренбурге на испытаниях немецких Fritz-X). Директор нашего института Крупнов чувствовал, видимо, несправедливость своего недавнего приказа о моём понижении и охотно меня на семинары в Ленинград отпускал. Немного я занимался и живописью.

Мои занятия, связанные с диссертацией, приобщение к программированию и пр. проходили на фоне важных политических событий. В феврале 56-го года состоялся XX съезд КПСС со знаменитым докладом Хрущёва «О культуре личности Сталина». Такой был придуман эвфемизм. Этот доклад тогда публично издан не был. Брошюру с текстом доклада рассылали по райкомам, и во всех сколько-нибудь крупных учреждениях доклад читали вслух секретари или подобные доверенные партийные лица. Для слушания этого чтения в каждой организации собирали избранную аудиторию. В число избранных входили непременно члены партии, а в остальном — где как.

В нашем ГСНИИ-642 кроме партийных пригласили начальников отделов и групп. По старой памяти — как ещё недавнего начальника — пригласили и меня. В Военной Академии Химзащиты пригласили видных работников кафедр. Так что и Мария Григорьевна услышала текст в точности. Мы с ней рассказали о содержании доклада другим членам семьи. Галя, будучи беспартийной школьной учительницей, приглашения на такое чтение в их школе не удостоилась. А Абрам Миронович в момент исторического чтения в Ярославском пединституте, профессором которого он был

и которого на это чтение, скорее всего, позвали бы, находился в Москве.

В Менделеевском институте на чтение позвали и комсомольцев со старших курсов, т. е. практически всех старшекурсников. Маша Калмановская была на последнем курсе, и среди избранных оказалась. Александр Маркович тогда ни на какой госслужбе не работал, был пенсионером, и не имел никаких шансов услышать чтение из первых рук. Поэтому Маша постаралась запомнить всё как можно точнее. Память у неё всегда была превосходной. Вернувшись домой Маша, у которой голова кружилась от самого факта разоблачения Сталина и от перечисленных во весь голос многих сталинских злодейств, стала возбуждённо, стараясь не пропустить ни одного сюжета, пересказывать хрущёвский доклад Александру Марковичу. Тот слушал с волнением и с удовлетворением. Но в какой-то момент он спросил Машу, сколько времени продолжалось чтение доклада. Маша отвечала, что полтора часа. «А ты мне уже больше двух, как рассказываешь».

Начались массовые пересмотры политических дел. Уцелевшие получали короткую бумажку из прокуратуры, удостоверявшую их невиновность или невиновность их осуждённых и расстрелянных родителей, детей и других родственников. Горький юмор нашего народа дал этому времени имя «Эпоха позднего реабилитанса». Были реабилитированы расстрелянный Давид, Эдин дядя, и отсидевшая сроки лагеря и ссылок его жена Вава Вагина.

Дело Юных Ленинцев было пересмотрено. Ещё незадолго до XX Съезда их перевели из лагерей на Лубянку, смягчили режим передач им продуктов и писем. Но изменившуюся ситуацию, XX съезд, развенчание культа личности следователи от арестантов скрывали. Маша в своих приписках к письмам, которые родители Сусанны передавали дочери в тюрьму, старалась эзоповым языком дать понять Сусанне, что свобода — не за горами. Маша толковала что-то о необходимости беречь силы для предстоящего преодоления учебных барьеров. Сусанна Машиных налёков не понимала и в каком-то своём ответе просила не морочить ей голову вздорными соображениями.

Но вот, наконец, стало известно, что осуждённым по делу Юных Ленинцев изменили приговоры. Лагерникам снизили сроки до пяти лет (!), и получалось, что — с учётом года предварительного заключения в течение следствия — их выпускают на свободу немедленно. Это было 25-го апреля. Расстрелянным мальчикам наказание снизили до 10 лет заключения. Такая советская фантазмагорическая формула была применена к сотням тысяч страдальцев и считалась не издевательством, а знаком высшей справедливости и наступления новой эры — эры социалистической законности.

Маша, любившая всех обитателей дома в Староконюшенном, через несколько дней после того, как её подруг выпустили на волю, привела к нам Сусанну. Можно представить себе, с какой лаской встретила эту настрадавшуюся девушку вся семья, пережившая немало потерь среди близких — сверстников Абрама Мироновича и Марии Григорьевны в тридцатые годы, наших сверстников — в совсем недавние времена: арест и возвращение Юры Гастева, арест и возвращение Наташи Гайстер. Естественное восторженное отношение жителей Староконюшенного к знаменательной гостье подогревалось и тем, что Сусанна была очень красива. Как ангел.

Был тёплый день, и через некоторое время после прихода Маши и Сусанны мы с Галей, с Сашенькой и с обеими гостями отправились пешком в Парк Культуры на — чуть ли не первую после Октябрьской

революции — необычную выставку: цветов. Мы шли через Крымский Мост и обсуждали ближайшие планы Сусанны. Ей надо было сдать экстерном экзамены за среднюю школу, получить аттестат и подавать в подходящий институт.

Все друзья старались помочь Сусанне войти в нормальную жизнь: сдать экзамены на аттестат зрелости и вступительные экзамены на истфак Университета. По истории ей помогал готовиться Толя Якобсон, который тогда был студентом одного из старших курсов Ленинского пединститута.

С Сусанной Толю познакомил его друг Саша Тимофеевский, который был знаком с Сусанной ещё со школьных времён по литературному кружку в Доме Пионеров. По географии Сусанну готовила Надежда Владимировна Владиславлева. Она была завучем той школы, которую кончили Маша и Женя Веллер, но которую не дали закончить Сусанне. Математикой с Сусанной занимался Александр Маркович.

Сусанна успешно сдала экстерном экзамены за десятилетку и получила неплохой аттестат. Она стала сдавать вступительные экзамены в Университет, но тут вышла осечка: ей явно занизили экзаменационную отметку по географии, и ей не хватило одного балла до проходного. Возникла идея: компенсировать недостающее очко льготой, которую давал трудовой стаж. Для получения справки о стаже Толя Якобсон помчался в тот концлагерь, под Потьмой, в котором Сусанна последнее перед освобождением время сидела. Цель Толи состояла в том, чтобы добыть у начальника лагеря справку о том, что Сусанна работала несколько лет на рабочей должности.

Толина задача осложнялась тем, что справку надо было добыть очень быстро — пока приёмная комиссия не кончила свою работу. Кроме того, справки такого рода начальство лагеря выдавать не имело права. Но Толя обладал таким обаянием и убеждённостью, так удачно сумел найти нужных лиц, так хорошо выпил с ними привезённую с собой водку, что нужная справка оказалась в его руках в нужный срок. Но она не помогла. В Университет Сусанну не приняли, и она поступила в Историко — архивный Институт.

...Через некоторое время после возвращения её подруг Маша рассказала мне, как её допрашивали через несколько месяцев после их ареста. Вечером накануне ей велели быть к назначенному времени на Лубянке. Маша понимала, что и её судьба под угрозой. Следователь расспрашивал Машу о высказываниях и намерениях «Юных Ленинцев».

К моменту допроса Маши у следователя была масса показаний арестованных подследственных, содержавших разные бытовые детали. Это позволяло следователю ставить вопрос Маше, к примеру, так: «А что Вам сказала Аргинская, когда вечером 14-го вы гуляли с ней по Арбату и проходили мимо Зоомагазина?». Такая формулировка вопроса должна была создавать (и в первый момент создавала!) у допрашиваемого (в данном случае, у Маши) впечатление, что о деле следователь осведомлён и без неё исчерпывающим образом.

Маша выбрала такую линию: да, кое-какие разговоры ей были известны, но она, Маша, считала их ребячеством, не стоившим выеденного яйца и не заслуживавшим никакого серьёзного внимания и отношения. Следователь знал из показаний Бориса о его письме к Маше. Маша и на это отвечала, что письмо ей показалось глупым и никчёмным, и что она его сразу порвала и выбросила. Машу отпустили к вечеру. С вечера прошлого дня, когда Машу вызвали на Лубянку, до момента, когда Маша вернулась

домой, её родные не спали...

Моя вольная жизнь характеризовалась ещё и тем, что оживились ставшие было ослабевать мои дружеские отношения с Эдей. В конце пятидесяти пятого года его музыкальная карьера переживала подъём. Стали популярны некоторые его песни, а главное, МХАТ решил поставить силами молодых актёров труппы «Двенадцатую ночь» Шекспира.

По рекомендации Хренникова музыку предложили писать Эде. Слова к двум песням в спектакле написал Павел Антокольский. Одна из них исполнялась группой персонажей и носила буффонадный характер, а другая — лирическая песня Шута («Поздно ночью»), которую в спектакле исполнял молодой Владимир Трошин — стала очень популярной. Она часто звучала в концертах и по радио в отрыве от спектакля и способствовала расцвету Единой популярности.

Эдя рассказывал о порядках во МХАТе. Они напоминали атмосферу из «Театрального романа» Булгакова. Наступил момент показывать музыку художественному руководителю театра, которым тогда была уже очень молодая и очень заносчивая Алла Константиновна Тарасова. Она и её свита расселись. Эдя сел за рояль. Он собрался было начать исполнять первый номер, но приостановился и сказал Алле Константиновне, что с того места, которое она заняла, ей музыка будет слышаться не наилучшим образом, и что лучше бы ей пересесть напротив. На что Тарасова сказала: «Зачем это мне пересаживаться? Разверните рояль». Что и было тут же сделано.

В Староконюшенный Эдя с Тамарой приходили нечасто. Мы с Галей тоже довольно редко приезжали к ним на Земляной. Но моя вольная жизнь давала мне новые возможности. Иногда мы встречались с Эдей в моей комнате в двадцать четвёртой, ставшей пустой после смерти Бабы Нины. Эти встречи подгадывались к моментам, когда Эдя навещал мать, сестру Машу и Александра Марковича.

Эдя продолжал жить с семьёй у Земляного вала. Но в его квартирных делах ожидался поворот к лучшему: он вступил в кооперативный жилищный кооператив. Этот кооператив получил участок под большой жилой дом на ул. Огарёва (Газетный переулок) — напротив бокового фасада Главного Почтамта. Председателем этого ЖСК был Исаак Дунаевский.

Эдя с Тамарой рассчитывали переехать в новую отдельную (!) трёхкомнатную квартиру в начале 56-го года. Так — может чуть раньше, может, чуть позже — и вышло. Они были первые среди нашего круга, кто переселился в современную отдельную квартиру. Молодые Колмановские, благодаря энергии Тамары, довольно быстро привели эту новую квартиру в жилой вид. Мы с Галей и с Сашенькой несколько раз там побывали, взирая на всё увиденное с восхищением и удивлением.

Иногда мы проводили с Эдей час—другой в ресторане Дома ВТО, расположенном на первом этаже впоследствии сгоревшего здания на углу ул. Горького и Пушкинской площади.

Один раз, летом 56-го, с нами ужинала Маша Калмановская. У меня с ней всегда — с самых её ранних детских лет — были очень дружеские отношения. К временам, когда она стала взрослой девушкой, мы перестали жить в одном доме и, естественно, стали встречаться с ней не очень часто. Но всегда продолжали чувствовать себя друг с другом совершенно свободно.

Маша очень любила Эдю, Тамару и своего племянника Серёжу. При наших встречах у Эди она расспрашивала меня про Лопшицев, в до-

ме которых иногда бывала и которым очень симпатизировала. Там все — и хозяева, и гости — относились к ней крайне доброжелательно и с интересом. Это было неудивительно. Маша была стройной, высокой и красивой. Она была очень умна и образована, с острым чувством юмора. Она интересовалась почти всеми аспектами жизни и могла поддержать любой разговор. В один из Машиных визитов Абрам Миронович подарил ей с тёплой надписью свою книжку «Аналитическая геометрия».

...Эта книжка с автографом Абрама Мироновича стоит в книжном шкафу нашей Иерусалимской квартиры...

С особенным интересом Маша относилась к делам Сашеньки: он был ровесником её любимого племянника, и ей было приятно и интересно сравнивать процессы развития этих двух мальчиков.

Тогдашняя политическая жизнь — вскоре после XX съезда — тоже давала немало тем для разговоров. Весной 56-го Маша окончила факультет стекла и керамики Менделеевского Института. С осени она начала работать в ГИСе — Государственном Институте Стекла. ГИС находился тогда в нескольких старых зданиях заводского типа рядом со станцией метро «Электrozаводская». Следующей была станция «Семёновская», на которой выходил, едуци на работу, я.

Таким образом, мы с Машей ездили на работу примерно в одно время и по одинаковому маршруту: и она, и я доходили пешком до станции «Арбатская». Маша шла из дома к метро по Арбату, а я шёл из Староколюшенного через Сивцев Вражек по Гоголевскому бульвару — туда же. Как-то, ещё в сентябре, мы встретились с ней около станции «Арбатская» или уже на платформе и провели очень приятные двадцать минут в вагоне. Я понял, что мы с Машей естественные попутчики и предложил Маше не пускать возможность нашей совместной поездки на работу на самотёк, а сделать их регулярными и для этого специально по утрам встречаться. Маша весело согласилась.

Обычно я выходил из дому на несколько минут раньше прежнего, но шёл теперь не к бульвару, а к дому 35, где и поджидал Машу. Иногда я заходил в подъезд, «знакомый до слёз», и ждал, когда на пятом этаже стукнет дверь двадцатой квартиры. Через секунду после этого звука я начинал слышать как, перепрыгивая через несколько ступенек, мчалась вниз Маша. Все мы — дети этого подъезда — умели так сбегать вниз: держа слегка руку на перилах, преодолевать марш лестницы в два или, в крайнем случае, в три прыжка. Работал бы исправно лифт, не знали бы мы этого упорительного бега.

В случае, если в какой-либо день кто-нибудь из нас с утра ехал не на работу, а в другое место или был нездоров, то он накануне оповещал другого по телефону. Эти совместные поездки ни для кого тайной не были. Вскоре мы придумали, что и с работы нам ехать вместе вполне сподручно. Я ждал Машу на платформе «Электrozаводской», а иногда она после работы пешком доходила до моей «Семёновской», и мы начинали наш путь к нашим домам оттуда.

К разнообразным темам наших разговоров добавились служебные. Маша рассказывала мне о том, какую работу ей поручили выполнять, о своём начальнике и о своих сослуживцах. Я рассказывал о моих делах, о том, как печально завершился разработка Краба, о Тимофееве-Ресовском и ходе дел, связанных с моей диссертацией.

Мы никогда не затрагивали сферы «личной жизни». Маша много рассказывала мне о своей компании, в которой были её молодые сверстники

обоих полов. Но облик человека, за которого Маша вот-вот выйдет замуж, из этих её рассказов не проглядывался. Да и меня, признаться, этот мотив долгое время не интересовал. Часто о Маше мы говорили с Эдей и, естественно, иногда касались и этой деликатной стороны Машиной жизни. Оказалось, что и у Эди было представление, что этой стороны у Машиной жизни нет. Эдю это удивляло и волновало. Позже я узнал, что Эдя был в неведении.

31-го октября 1956-го года Машу и её семью постигло страшное горе. Скоропостижно скончался Александр Маркович. Он был тяжёлым сердечником, перенёсшим к тому времени два инфаркта. У него часто бывали приступы, он принимал лекарства. И хоть к его хронической болезни и её проявлениям привыкли, его кончина была для всех громом среди ясного неба. Он ушёл из жизни в возрасте 61 года. В эти дни в Москве было не по сезону морозно. Маша была мало вменяема. От нервного потрясения или от гриппозного состояния у неё повысилась температура. Для поездки на похороны её закутали в тёплое пальто и шерстяной платок.

В дни прощания с покойным в 20-й квартире и во время похоронной процедуры царил атмосфера ужаса. Для меня (да и для многих других из нас) Александр Маркович был великолепным образцом человеческой породы. Он был необычайно умён, образован, обаятелен, красив, мудр, мужественен, добр. Массе людей он давал в их критические минуты ценные советы. Он помог многим в прямом смысле этого слова: оказывал гостеприимство и окружал вниманием в трудные минуты.

Мне было бесконечно жаль Машу, потому что я знал, что кроме обычных чувств, которыми связаны дети (особенно взрослые дети) с родителями, между Машей и её отцом была совершенно особая духовная, биологическая и эмоциональная связь. Он многому выучил Машу — и в сфере культуры, и в сфере нравственного поведения. Маша унаследовала от отца многие замечательные качества: ум, доброту, постоянную готовность помогать людям.

Александр Маркович не был хрестоматийным ангелом. У него были пороки, он ссорился с Райсой Наумовной, и не всегда бывал прав. Но Маша всегда была на стороне отца. У Маши и Александра Марковича не бывало друг от друга никаких секретов, что для дружбы молодой дочери с немолодым отцом было, бесспорно, явлением необычным. Маша потеряла ближайшего человека, и было видно, что она отчётливо понимает трагический смысл и масштабы этой своей потери. Несколько дней после похорон Александра Марковича Маша была больна, на работу не ходила и лежала на кушетке. Я её навещал и старался рассеять её ум разными разговорами.

Первые страшные дни прошли, и Маша постепенно вернулась — по крайней мере, внешне — к обычной жизни. Она стала ходить на работу, встречаться с друзьями. Возобновились и наши совместные почти ежедневные утренние и вечерние поездки. В начале декабря Тамара родила мальчика, которого в память недавно усопшего Александра Марковича называли Сашей. Вечером того дня, когда Тамара родила, мы с Машей после работы купили цветы и поехали в роддом. Роддом был где-то недалеко от их дома на Огарёва. Около роддома мы встретили Эдю, направлявшегося туда же (наверное, уже не в первый раз за день). Эдя шёл в распахнутой шубе и важно принял наши поздравления. Он только дал понять, что он ждал, что вторым его ребёнком будет девочка. Я высказал тривиальное соображение, что мол следующей будет дочка. Но Эдя отнёсся к моему нехитрому прогнозу очень серьёзно. Он глубоко задумался и после солидной

паузы сказал: «Нет, следующей будет внучка».

...Как в воду глядел: реализацией его прогноза стала родившаяся в 72-м Аня Колмановская, дочка Серёжи...

В те годы двое детей в семье были редкостью. Через пару дней после возвращения Тамары из роддома поздравить родителей и повидать малыша поехали мы с Галей.

Моя диссертация была готова ещё в середине 56-го года, и мой институт официально направил её на кафедру Бруевича. Там (естественно, для проформы) состоялась предзащита, и кафедра направила работу в Учёный Совет. Совет принял диссертацию к защите. Бруевич и Доступов договорились с официальными оппонентами, которые были Советом утверждены. Ими стали: генерал Владимир Семёнович Пугачёв, завкафедрой Академии, и полковник Николай Михайлович Сотсков. Он когда-то учился с Доступовым, а в описываемый момент заведовал вычислительным центром КБ-1 — того самого сверхсекретного учреждения около метро «Сокол», в котором лет семь—восемь до того работал Генеральный Конструктор Сергей Лаврентьевич Берия, начальник отдела Юрий Георгиевич Коренев и инженер Галина Абрамовна Шестопал.

В 56-м это была по-прежнему секретная фирма, но я с моим допуском в неё попасть уже мог. Я там бывал несколько раз, встречаясь с Николаем Михайловичем по делам моей диссертации. Ореол прежнего могущества с фирмы не сходил. Она была одной из первых, получивших вычислительную машину «Стрела», которых в Москве было два или три экземпляра.

Сотсков свой хороший отзыв написал очень быстро, а Пугачёв своего отзыва в Совет всё не присылал и не присылал. Я стал думать, что работа ему не понравилась. В начале 57-го года я сделал доклад о моих результатах на очередной конференции в ВВИА им. Можайского в Ленинграде. В конференции участвовал и Пугачёв. Я расхрабрился и в кулуарах заговорил с ним о моей работе. Он успокоил меня, сказав, что работа ему нравится, что он запоздал из-за занятости, просил прощения и обещал, что скоро. И действительно, через пару недель его положительный отзыв был уже в Учёном Совете.

Моя защита была назначена на 7-е апреля. В последних числах марта меня вдруг вызвали в отдел кадров. Ещё два—три года назад меня звали туда большею частью для того, чтобы представить мне кандидата в сотрудники моего отдела. Теперь такой мотив был исключён. Поэтому приглашение в этот отдел я воспринял настроенно. Но, всё-таки того, что меня ожидало, я не предвидел.

Я вошёл к начальнику отдела Генину. Он сказал: «Юрий Вениаминович, с Вами хотят побеседовать эти товарищи» — и показал мне на двоих мужчин, сидевших поодаль — так, что я их, войдя к Генину, и не увидел. Я ещё и близорукий. Мужчины поднялись, и мы обменялись рукопожатиями. Генин предложил нам троим пройти в отдельную комнату. Я раньше в помещении отдела кадров двери в эту комнату не замечал.

Когда мы остались одни, мужчины назвали свои имена и показали мне из своих рук удостоверения. Я мельком увидел их фотокарточки и фамилии. На корочках было тиснёными буквами обозначено, что они — из Органов. Один из мужчин был явно в этой паре старшим. Его имя-отчество я запомнил: Владимир Иванович. Фамилия в моём мозгу не запечатлелась. Второй в моей памяти остался полностью безымянным, а оба — абсолютно без всякого внешнего образа. Помню только, что они были среднего роста

и что у каждого на лацкане пиджака был университетский значок.

Должен сознаться в своей глупости. Первые сорок минут беседы я не понимал, что их цель — завербовать меня в стукачи. По ходу разговора у меня всякие предположения на счёт их цели возникали, но это простое и стандартное предположение в голову мне сперва не пришло. Владимир Иванович начал участливо меня расспрашивать о моих служебных неприятностях, проявив в этой сфере некоторую осведомлённость. В общих — но не слишком общих — чертах он мою историю знал, но теперь интересовался деталями. При этом в его вопросах не было и намёка на обвинительный уклон, желания уличить меня в том, что я в неудаче с разработкой Краба виноват сильнее, чем это посчитала моя дирекция.

Наоборот, Владимир Иванович прямо говорил, что меня наказали незаслуженно и слишком сурово и выражал надежду, что после предстоящей мне вскоре — Владимир Иванович не сомневался, что успешной — защиты диссертации (о которой он знал и дату, и место, и фамилии оппонентов) всё быстро встанет на свои места, и я займу в институте подобающее моей высокой квалификации и эрудиции положение.

Моя бдительность была одурманена настолько, что я не заметил незаконности протекавшего разговора. Я говорил с новыми знакомыми на служебные темы совершенно свободно, как если б они работали со мной в одном отделе. А ведь они работали в другом отделе другого учреждения! И я о таких материях с ними — посторонними — говорить не имел права.

Извинить мою ошибку можно было, во-первых, нервностью момента, создаваемой самим словом «Органы». Во-вторых, само собой разумелось, что мои собеседники — вовсе не посторонние, а свои, родные. Они были из того учреждения, которое за соблюдением секретов надсматривает, и следовательно, сами секреты от них — не секреты. Они, безусловно, знают все те секреты, которые известны мне, и ещё мильон. Я воспринимал их как пациентка воспринимает гинеколога, который хоть и мужчина, но стесняться его не следует.

Тревожные мысли по поводу того, могу ли я говорить о секретных материях с новыми знакомыми, не приходили мне тогда в голову ещё и потому, что сотрудники из Органов в особые технические дебри не лезли. Всё крутилось вокруг судьбы разработки, поведения начальства из разных ведомств и прочих тем, которые непосредственно тактико-технических данных Краба не касались. Итак, в ходе беседы с новыми знакомыми, мне и в голову не приходило задуматься над её правомерностью. Все усилия моего ума шли на попытку понять: к чему затеян весь этот разговор.

Между тем, предмет разговора сменился. С истории Краба и с проблем моей карьеры Владимир Иванович перешёл на предстоявший в августе Международный Фестиваль молодёжи и студентов. Он искал моего сочувствия по поводу того, что вместе с честными участниками, приверженцами мира, к нам, без сомнения, под их прикрытием приедут и враги — вредные, хоть и немногочисленные сотрудники иностранных спецслужб — с целью разнюхать и навредить.

Владимир Иванович доверительно объяснил мне, что для противодействия врагам одних лишь сил Органов может и не хватить, что Органам нужна помощь, что они её ищут среди советских граждан и, в частности, ждут её от меня. Он спросил меня, готов ли я им в создавшейся экстремальной ситуации помочь. Я ответил, что в принципе, конечно, готов, но хотел бы понять содержание ожидаемой от меня помощи поточнее.

При этом я продолжал лихорадочно соображать, о чём речь, и чем я их привлекаю в качестве помощника в предупреждении вредных действий врагов-иностранцев. Мне пришло в голову идиотское предположение, что я хорош для них тем, что знаю по-французски и по-немецки. Я это предположение высказал, и они с ним не спорили: знание языков в борьбе с лазутчиками очень полезно.

Но ещё через мгновение всё встало на свои места. Выяснилось, что моя задача проще. Меня просят быть бдительным в отношении той деятельности врагов, которая выражается в попытках навести мосты к сотрудникам нашего института. Через высказывания и поведение моих коллег надо было выяснять, а не выбрали ли их враги своим орудием, делая тем самым этих коллег тоже врагами.

Владимир Иванович объяснил мне, что вполне понимает, как будет трудно мне — особенно на первых порах — самостоятельно разобраться в том, являются ли речи и поведение того или иного моего коллеги следствием того, что он попал в руки врагов или — пока лишь — следствием только собственной незрелости и ненадёжности его взглядов, и что по этой причине мне надо будет запоминать разговоры тех лиц, которых он или его коллега мне укажет, и передавать их Владимиру Ивановичу как можно более точно. Мой новый знакомый добавил, что если я услышу что-нибудь подозрительное, похожее на антисоветчину от человека, которого в числе указанного мне перечня не будет, то я должен буду проявить инициативу и просигнализировать о высказываниях и более широкого круга лиц.

Владимир Иванович обрисовал и технологию моих встреч с моими новыми знакомыми. Я буду встречаться с Владимиром Ивановичем, или с кем либо из его товарищей, с которыми он меня познакомит, примерно раз в десять—пятнадцать дней. Встречи будут происходить в одном из номеров гостиницы «Европа» на Неглинной. Я эту гостиницу прекрасно знал: в её восточно-ориентированном ресторане «Армения» я иногда днём съедал чахохбили. Итак, моём дурацкому мозгу только на сороковой минуте нашего разговора всё стало ослепительно ясно.

Я понял, что надо спастись, но не понимал ещё — как. Я сказал Владимиру Ивановичу, что я должен подумать, но по естественной причине до моей защиты я ничего определённого ответить на его предложение не могу. Мои собеседники отнеслись к моей позиции с пониманием и сказали, что дадут о себе знать через несколько дней после защиты. А сегодня они просят только, чтобы я написал и подписал такой текст: «Обязуюсь никому не разглашать об имевшем место моём контакте с Органами Безопасности». Я написал, подписал и мы распрощались под аккомпанемент их пожеланий счастливой защиты.

Я был в панике и рассказал о имевшей место встрече моей семье и нескольким друзьям. Рассказал я о ней и Маше. Маша поведала мне в ответ, что нечто подобное переживала и она. Это было в 53-м году через три недели после смерти Сталина. Машу вызвали в отдел кадров Менделеевки. Машу этот вызов не удивил, ибо чиновники отдела кадров (а они время от времени менялись) то и дело затевали расследование странного факта, состоявшего в том, что фамилия обоих Машиных родителей была Колмановские, а её собственная — Калмановская.

Но на этот раз сотрудница отдела кадров второй буквой Машинной фамилии не интересовалась, а познакомила Машу с «товарищем» и проводила их в заднюю пустую комнату. У нового Машинного товарища был

университетский значок — как и у моих. Он показал своё удостоверение и завёл с Машей длинный и путанный разговор, в который вкрапливались вопросы о её друзьях в студенческой среде. Маша уверенно отвечала, что ни от кого из называвшихся сотрудником Органов лиц она ни разу ни одного антисоветского высказывания не слышала.

Однако её собеседник настаивал на том, что при Машиной общительности степень откровенности тайных антисоветчиков, входящих в её круг, вполне может возрасти, да и сам круг может расшириться. По этой причине Маша может стать ценной для Органов осведомительницей. Кроме того, Машин собеседник дал ей понять, что ему известно о связях Маши с осуждёнными «Юными Ленинцами», и что к более глубокому изучению Машиной роли в этом деле ещё можно вернуться. Маша был подавлена. Её школьные подруги сидели по лагерям, а она не могла забыть, как её по их делу допрашивали.

Человек с университетским значком сказал, что скоро ей позвонит. Маша сказала, что домой ей звонить нельзя: строгие родители запрещают ей давать свой телефон незнакомым им мужчинам. Человек со значком обещал ей это учесть. Но он в свою очередь, обратился к Маше с просьбой: при случайной встрече на людях не показывать, что они знакомы. Разговор окончился, и у Маши осталось впечатление, что она попала в крепкие силки.

Маша пошла домой пешком длинным путём и стала обдумывать своё положение, Она не понимала как, но чувствовала, что опытные и хитроумные ловцы человеческих душ её как-то заговорят, обхитрят, обдурят, и что она против собственной воли станет играть угодную этим нелюдям роль.

Маша нашла два выхода из положения: покончить жизнь самоубийством или при следующей встрече с сотрудником Органов выкрикнуть несколько отъявленных антисоветских и антикоммунистических фраз. Её посадят, и она, таким образом, от вербовки в стукачи себя обезопасит (бедная, она не знала о расцвете стукачества в тюрьмах и в лагерях). Оба выхода пугали Машу, ибо они приносили горе её родителям.

Придя домой, Маша рассказала о случившемся своему отцу и сказала, какие два способа уйти от своих преследователей она видит. Александр Маркович был, естественно, взволнован Машиным рассказом. Он ясно представил себе состояние в котором находилась и находится его дочь. Но по поводу её опасения, что её затянут в стукачи, он ей твёрдо сказал: «Этого — не бойся. Тебя могут посадить, тебя могут убить, тебе могут пригрозить, что уничтожат твою семью. Но заставить тебя стучать они не могут».

После этих слов отца Маша обрела полное спокойствие души и чувство страха у неё исчезло. Но что творилось в душе Александра Марковича, когда он таким образом подготавливал свою без памяти им любимую дочь к новой возможной встрече с Органами? Но Органы Маше больше не позвонили. Должен признаться, что рассказанная мне Машей история храбрости мне не прибавила.

Абрам Миронович, выслушав мой рассказ о встрече с Владимиром Ивановичем и его подручным, сказал, что когда-то в тридцатые годы такого рода предложение получил Илья Николаевич Бронштейн, но сумел от него отвертеться. Абрам Миронович сказал, что стоит с Ильёй мою ситуацию обсудить. Илья Николаевич явился к нам домой в качестве скорой помощи. Он был среднего роста, сутуловатый, похожий на птицу и ходивший бочком. Голос у него был негромкий, но уверенный. Лицо —

типично еврейское.

Выслушав мой рассказ, Илья Николаевич сказал, что по его мнению, есть лишь один алгоритм поведения человека, который хочет уклониться от предложения ГБ быть стукачом — но так, чтобы это не выглядело демонстрацией его отвращения к этому предложению. Человек, на которого Органы положили глаз, оказывается в условиях неопределённости: он не понимает, что про него Органы знают, чем они могут его шантажировать, чего они от него хотят конкретно, каковы их возможности и есть ли у них желание ему отомстить в случае его несогласия. Он знает твёрдо только одно: они его враги. Поэтому в условиях неопределённости он может сделать один верный вывод: то, что им — хорошо, то ему — плохо. И наоборот. Поэтому надо — не входя с ними в идеологическую полемику — просто отклонять все предлагаемые ими технологии стукачества.

Бронштейн в его собственном случае реализовал этот принцип так. Ему, как и мне, вызвавшие его на беседу сотрудники Органов жалобно рисовали их трудности в борьбе с обилием врагов. Илью, как и меня, спрашивали, готов ли он им помочь. Илья, опасаясь с Органами ссориться в открытую (в те годы такая конфронтация почти стопроцентно вела к аресту), отвечал утвердительно. Тогда они начали объяснять ему, где они будут с ним встречаться (они предложили какую-то конспиративную квартиру) и какие-то другие детали. Наконец, они дали Илье на подпись бумагу, что он никому не расскажет о его сотрудничестве с Органами.

Илья взял перо, чтобы подписать эту гадость, но задержал его в воздухе и сказал, что после слова «никому» он должен сделать вставку: «кроме моей жены». Они закричали, что это совершенно невозможно. А Илья отвечал, что он не может подписывать обязательство, которое не в состоянии выполнить, ибо он всю жизнь привык быть предельно откровенным со своей женой. Она в курсе всех его дел, а тут будут возникать отрезки времени, относительно которых Илья должен будет скрывать от жены, где и с кем он это время провёл. Илья добавил застенчиво, что его жена немного ревнива, она быстро почувствует, что её муж в чём-то лукавит, начнёт подозревать. Бог знает что, отношения супругов испортятся, и дело может закончиться разводом.

С другой стороны Илья заверил своих собеседников, что его жена — сознательный советский человек, что она сотрудничество мужа с Органами будет безусловно одобрять и — гарантировал Илья — будет держать в полной тайне всё, то, что он ей будет о своей работе с Органами рассказывать.

Вариант, предложенный Ильёй, его вербовщикам совершенно не понравился, а его доводы убедительными не показались. Они даже стали советовать Илье, какими способами можно дурить голову жене, чтобы та не обращала внимания на те куски времени, которые Илья будет занят секретным от неё делом. Тут настала очередь Ильи мягко, но решительно критиковать и отводить их аморальные советы. Сотрудники смотрели на Илью как на идиота, но его это не беспокоило. Наконец, они сказали, что посоветуются со своим начальством и — исчезли навсегда.

«Принцип Бронштейна», сводящийся к формуле «То, чего они хотят — плохо тебе, даже если ты не понимаешь, чем именно. Поэтому старайся не выполнять никаких их — даже мелких — желаний», я усвоил. Но повторить номер Ильи я уже не мог: бумагу о сохранении в тайне факта моего контакта с Органами я подписал, ибо до вывергов Ильи я в тот нервный момент не додумался. Но у меня было ещё время — они обещали

меня не трогать до защиты диссертации.

7-е апреля — день защиты — наступил. В Советской науке был обычай: вечером дня защиты счастливый новоиспечённый обладатель учёной степени устраивал банкет. На этот банкет приглашали некоторых членов учёного совета, днём присвоившего искомую степень, официальных оппонентов, научного руководителя, если таковой был, выступавших на защите в пользу соискателя. Конечно, приглашали не всех лиц указанных категорий. Положение некоторых было слишком высоким или они были слишком далеки от соискателя. Но о многих членах учёных советов или об учёных, часто бравших на себя функции официальных оппонентов, было определённо известно, что они — большие любители на банкетах подобного рода бывать. И по причине почёта, который таким гостям оказывали соискатель, его родственники и друзья, и по причине — выпить и закусить на халяву.

Престижным считалось устроить банкет в ресторане. Но это было дорого. Некоторым несчастным беднякам приходилось на эти расходы идти только потому что они ютились в жилище, совершенно неподходящем для большого приёма гостей. Но если жилищные условия позволяли (а критерии тогда были невысокими), то вполне приличным считалось устроить банкет дома — у себя или у родственников. Хлопот было больше, но денежных затрат — меньше. И, кроме того, на банкете, устроенном дома, возникала некоторая — часто полезная — интимность в отношениях значительных персон с их более скромными коллегами.

Мой банкет мы собирались устраивать дома. Три, хоть и небольшие, комнаты должны были намечавшихся гостей вместить. Я понимал, что членов Учёного Совета и оппонентов, ходивших в генералах и полковниках, мне приглашать не следует: я был с ними слишком мало знаком. Так что речь шла о сослуживцах, среди которых большим начальником был только один — мой старый сослуживец зам. директора института Валентин Александрович Ряполов.

За несколько дней до защиты мы с Галей начали готовиться к приёму. Напряжённость с продовольствием была во все советские времена, но с разными видами продуктов — разная. Кое с чем проблем не было совсем. Например, с винами, водкой и коньяком. Да, были изысканные сорта вин, которые далеко не всегда можно было купить. К ним относились Хванчкара, Твиши, некоторые крымские мускаты. Но без этого можно было обойтись. Закуски — колбасы, ветчину, сыры, красную рыбу, икру — купить было тоже нетрудно. Трудности были с подходящим для праздничного стола мясом для приготовления горячего блюда.

Но нам повезло. Дня за три до приёма нас навели на магазин, в который завезли уток, и мы купили их несколько. Холодильники тогда были хилые. Самыми мощными были «Зилы», которые по теперешним меркам — ничто. Но ими владело меньшинство жителей. У большинства советских граждан холодильников не было совсем, а у средней по численности группы, к которой принадлежала и наша семья, были маломощные холодильники типа «Газоаппарат» с микроскопической морозильной камерой. В эту камеру можно было затолкать двух или трёх уток. Поэтому две—три утки сутки находились в морозильнике, а остальные — просто в холодильнике. Потом замороженных уток перекладывали в холодильник, и они сутки или двое медленно оттаивали и не портились, а в морозильник клали двух—трёх других. Некоторым особям доводилось побывать в морозильнике по два или три раза. Мы рассчитывали, что таким образом мы купленных заранее уток до дня их приготовления

и подачи на стол доведём свежими.

6-го апреля мне позвонил домой Владимир Иванович и пожелал удачи, в которой он, впрочем, не сомневался. Но ни его пожелание, ни прогноз не оправдались: вышла неудача, правда, не роковая.

Я и десяток сотрудников моего института — «команда поддержки», как сказали бы теперь — явились в Академию Жуковского. Заседание Учёного Совета началось вовремя, в 10 утра. В повестке дня была моя защита и текущие дела: приёмы к защите других диссертаций, утверждение их оппонентов и прочее. Ещё до того, как заседание было официально открыто, я развесил мои (предварительно взятые из первого отдела Академии, куда они загодя были пересланы первым отделом моей фирмы) плакаты и таблицы.

Открыв заседание и огласив повестку дня, Председатель предоставил слово секретарю. А секретарь сказал, что один из официальных оппонентов — генерал Пугачёв заболел и на заседание Совета явиться не смог. Генерал прислал в Совет письмо с просьбой учесть его письменный отзыв и защиту не отменять. Но тут же секретарь пояснил, что такое решение противоречило бы регламенту защиты, установленному ВАКом (Высшая Аттестационная Комиссия), который предусматривает возможность членам Учёного Совета и другим присутствующим задавать оппоненту вопросы и получать на них немедленные ответы, что в отсутствие оппонента невозможно. Защита была перенесена на две недели.

Я вернулся, обескураженный, домой. А тут ещё вскоре раздался звонок Владимира Ивановича с утешениями и новыми надеждами. Он дал мне понять, что все детали переноса сегодняшней защиты ему превосходно известны.

Проблемы были с тем, как отменить начавшиеся работы по вечернему приёму. Особенно скверно было с утками. Ясно было, что в таком режиме их ещё в течение двух недель не сберечь. Мы этих уток раздали родственникам и знакомым. А через две недели купили что-то адекватное.

В новый срок защита состоялась. После выступления начались вопросы. Их было мало, и большинство из них было с благожелательным оттенком. Но вот вопросы стала задавать Елена Сергеевна Вентцель. К моему удивлению, заданные Еленой Сергеевной вопросы и её реакция на мои ответы выявили её полное непонимание предложенного в диссертации теоретико-игрового подхода к проблемам, касающимся параметров самонаводящихся авиабомб и методам борьбы с этим оружием. Казалось бы, ей, специалисту по теории вероятностей, этот подход должен был показаться естественным. Но она насакивала на меня весьма агрессивно.

Потом выступили с хорошими отзывами оппоненты, и к ним вопросов не было. Потом выступил только доцент кафедры Бруевича Мильграм. Его выступление было тоже благожелательным. Задававшая язвительные вопросы Елена Сергеевна выступать не стала. В итоге — что-то вроде 10 «за» и 2 «против». Меня поздравляли оппоненты, сотрудники кафедры Бруевича и мои институтские коллеги. Их я пригласил на вечерний банкет.

Как только я вернулся домой, я получил поздравления по телефону от Владимира Ивановича. Для меня его голос был мрачной музыкой. Банкет удался на славу. На другой день по дороге на работу я рассказал Маше о том, как прошла защита и о зловещем поздравлении Владимира Ивановича.

С самого утра я ждал скверного звонка. Кое-какие домашние заготовки я, осмысливая «Принцип Бронштейна» и примеривая его к моему

случаю, припас. Прежде всего, я понял, что совершил ошибку, слишком легко пойдя на доверительный разговор с Владимиром Ивановичем на темы истории разработки и неудачи Краба. Это моё понимание и составило основу моего тактического плана.

Владимир Иванович позвонил мне около полудня и сказал, что в свете нашей предварительной договорённости он планирует нашу встречу в ближайшие два дня. Я ответил, что, действительно, наша договорённость была лишь предварительной, окончательного согласия я не давал и этому рад, потому что я продумал его предложение дополнительно, и в результате этого продумывания у меня появились соображения, которые делают для меня его предложение неприемлемым.

Владимир Иванович был так моими словами ошеломлён, что совершенно непрофессионально (по моим представлениям о его профессии) вскричал: «В чём дело?! Какие такие соображения?!», но тут же опомнился и сказал, что они в ближайший час приедут. Действительно, примерно через сорок — пятьдесят минут он позвонил мне уже из нашего отдела кадров.

Интересно, ранг сотрудника Органов, которому поручили вербовать в осведомители работника института моего служебного уровня, а потом с ним систематически контактировать, позволял ему пользоваться служебной машиной, или взволнованный Владимир Иванович с напарником помчались на преодоление препятствий, неожиданно возникших в отношениях со мной, на метро?

Когда мы очутились снова втрём в той самой комнатке, Владимир Иванович раздражённо повторил свой эмоциональный вопрос, неосторожно заданный им мне по телефону час назад. Я сказал, что я не отказываюсь помогать Органам, чем смогу, но встречи в гостиничном номере совершенно невозможны. Я сказал, что наш начальник первого отдела Стаханов ещё недавно, в связи с обычной процедурой продления допуска, давал мне подписаться под текстом, в котором я подтверждаю, что ознакомлен с Перечнем сведений, составляющих государственную тайну, в котором, в частности, содержатся правила моего поведения, а в числе пунктов есть такой, который запрещает мне говорить на секретные темы с посторонними лицами вне стен моего учреждения или учреждения, в которое я официально командирован по служебным делам. Далее я сообщил Владимиру Ивановичу, что в разряд секретных сведений Перечень недвусмысленно включал факт моей собственной работы в моём учреждении и, более того, факт допуска к секретной работе любых лиц, работающих вместе со мной. Поэтому, соглашаясь говорить на служебные темы, включая сведения о работающих со мной лицах, в гостинице, т. е. вне моего института, да ещё с посторонними лицами, каковыми для меня формально являются Владимир Иванович и его коллеги, я нарушу подписку, данную мною в присутствии начальника первого отдела моего института. Но я нарушать подписку не собираюсь, и поэтому от бесед на служебные и персональные темы вне стен института отказываюсь.

Владимир Иванович по мере хода моей речи нервничал всё больше и больше. Но у него хватило выдержки дать мне договорить до конца. Зато потом он разразился возбуждённой речью. Он почти кричал, что, давая подписку Стаханову, я фактически давал подписку им, потому что Стаханов — сотрудник их ведомства, что поэтому называть их «посторонними лицами» — совершенно нелепо и что в их компетенции определять где и о чём я могу и должен с ними разговаривать.

Но я держался своей линии. Я сказал, что мне их служебные отно-

шения со Стахановым неизвестны, и поэтому я согласен говорить с ними на интересующие их темы, но только в стенах моего института. Я сказал далее, что все мои контакты с работниками других секретных учреждений — смежниками, заказчиками и пр. — определяются не мною, а моим руководством. И так как я пока никаких указаний о контактах с Владимиром Ивановичем от моего руководства не получал, то даже в стенах моего института я буду говорить с ними по существу их интересов только по указанию дирекции и в присутствии Стаханова.

Владимир Иванович глядел на меня как на тяжёлого психопата. В ответ на мои последние слова он пролепетал в том смысле, что Стаханов тут ни при чём, но он уже сам понимал слабость своих реплик в свете той позиции, которую я объявил. «Хорошо», — сказал измученный Владимир Иванович, — «Но в нашем Управлении в присутствии нашего начальника Вы сотрудничать с нами будете?». Я отвечал, что подумаю и посоветуюсь со Стахановым. Отвечая так, я ещё не был уверен, что сотрудничества с Органами я имею шанс избежать. Но Владимир Иванович сказал, что я не должен советоваться со Стахановым, напоминая мне об универсальном характере данной мною на прошлой встрече подписке о неразглашении контактов.

Очевидно, Владимир Иванович делал своё последнее предложение о встречах на Лубянке уже просто для того, чтобы не потерять лица и не признать своего отступления в присутствии победителя. Больше мне оттуда не звонили. Так что я храню об Илье Николаевиче благодарную память не только за его содействие моей литературной работе, но и за помощь в важном для меня поединке с Органами.

Во второй половине 1957 г. в моей жизни произошла фундаментальная перемена. Я ушёл от Гали и женился на Маше Калмановской. Парадоксально, но для меня, для Маши и для всех наших родных и друзей это событие оказалось совершенно неожиданным, в то время, как люди далёкие, не знавшие истории моего знакомства и дружбы с Машей вполне могли бы, прослышав лишь о наших с Машей регулярных совместных поездках на работу и с работы, такой исход этих поездок предвидеть.

Я знал Машу с её младенчества и всегда относился к ней с любовью — как к младшей сестре моего друга Эди и дочери бесконечно уважаемого мною Александра Марковича, чьи многие черты я в Машином складе ума и в характере видел. Из маленькой девочки во взрослую девушку Маша для меня превратилась совершенно незаметно, и я своего отношения к ней, сложившегося за годы её детства, не менял.

Для Маши, видевшей меня с малых детских лет среди самых близких к её семье людей и, прежде всего, как лучшего друга её старшего брата, а следовательно, и почти её собственным старшим братом, наши дружеские отношения были естественным атрибутом её жизни. Она была совсем маленькой девочкой, когда я отправлялся на войну, она оставалась маленькой девочкой и в те времена, когда у меня появилась семья и я стал, как и Эдя, отцом. Я всегда, несмотря на её взросление, оставался в иной возрастной категории.

Мы с Машей часто сталкивались в одних компаниях — то в её родительском доме, то у Лены Залманзон, то в семье Эди, то в моей семье в Стакоконюшенном, куда я её ввёл, и которую она оценила и полюбила. Поэтому наши регулярные поездки на работу и с работы нам с ней и всем, знавшим наши биографии, виделись лишь как одна из внешних форм давно сложившейся дружбы домами. И если б кто-нибудь увидел

в этих поездках признаки романа, то и мы с Машей, и все наши близкие расценили такое высказывание как поверхностное, как плод незнания истории и характера нашей с Машей дружбы. Никакого намёка на что-либо, подпадающего под смысл слова «роман» в наших с Машей встречах и разговорах не было. Мы были с Машей друзьями, у нас были общие близкие и симпатичные нам люди: Эдя, Тамара, их дети, Галя и Лопшицы, Сашенька. У нас были общие интересы, связанные с этими людьми, у нас была потребность обсуждать друг с другом многое важное, т. е. политику, литературу, науку, мою живопись, наши профессии и дела на работе, концерты, в которых нам доводилось случайно встречаться и т. д., и обыденное, т.е семейные дела, общих знакомых, покупки и т. д. Никогда (выше я об этом упоминал) в наших разговорах не возникала тема, связанная с Машиной жизнью молодой красивой девушки, у которой не могло не быть поклонников, а может, и избранника, никогда мы не обсуждали с ней наших собственных отношений.

Накануне моего отъезда в месячный летний отпуск с Галей и Сашенькой я пришёл к себе в двадцать четвёртую по мелким хозяйственным делам, а оттуда забежал в двадцатую — проститься с Машей и с Раисой Наумовной. На это ушло минут пять. Маша пошла проводить меня. Мы стояли с ней в передней их квартиры и приготовился открыть дверь на лестничную площадку, продолжая обмениваться с Машей обычными для такого случая словами. И тут я внезапно и отчётливо понял, что меня притягивает к Маше уже не та, возникшая ещё в её и моём детстве естественная и почти бесполоая симпатия, а сильная и глубокая любовь.

Я не удержался и тут же сказал о моём открытии Маше. Маша была потрясена. Такой поворот был и для неё неожиданным, но — она тут же почувствовала это — верным озарением. Из Машиного ответа я понял, что после возвращения из отпуска у меня начнётся новая жизнь. Это короткое, начавшееся как рядовое, но окончившееся таким потрясением прощание стало началом моей новой жизни.

Там, в отпуске (мы проводили его в Одессе и в Лазаревке около Сочи) я о грядущих переменах в нашей жизни Гале сказал. Всё это произошло на фоне моих прекрасных и доверительных отношений с Галей и с её родителями. Галино сознание долго отвергало реальность того удара, который я ей нанёс.

После возвращения в конце июля в Москву начался трудный период моего расставания с Галей. Он был мучителен для многих: для Гали, для меня, для Галиных родителей, для Маши, для её родных. До Сашеньки — по малости его лет — смысл происходившего дошёл позже. Я видел, конечно, Галины страдания и отчаяние её родителей и других близких и ей, и мне людей.

Но я всей душой понимал, что моя любовь к Маше, нашедшая ответное чувство — уникальное событие в моей жизни, что мы с Машей друг для друга созданы, что если я возможность связать мою дальнейшую жизнь с Машей упущу, то это станет такой ошибкой, которая ляжет вечной тенью и на мою жизнь с Галей, если она продолжится, и на жизнь в одиночестве или с какой-нибудь другой женщиной, если Галя после нанесённой ей мною раны от дальнейшей жизни со мной откажется.

Маша рассталась с неизвестным мне (мы познакомились гораздо позже) молодым человеком, брак с которым стоял в повестке дня. Она оказалась в дискомфортной роли разрушительницы благополучной и хо-

рошо ей знакомой и чтимой ею семьи Лопшицев.

Осенью 57-го года я из семьи ушёл и стал жить в моей комнате в квартире 24, а 7-го декабря ко мне в эту комнату переехала Маша.

Раиса Наумовна, Эдя и Тамара отнеслись к Машиному решению связать жизнь со мной с крайней тревогой, близкой к отчаянию. Каждый из них оказывал давление на Машу с целью отговорить её от брака со мной. Их волновало многое — в первую очередь, известные им мои глубокие корни в прежней семье. Машины родные были уверены, что эти корни скоро снова прорастут, и мой брак с Машей будет разрушен, а в Машиной душе останется травма.

Но Маша решила пойти наперекор увещаниям любящих и любимых родных людей. Со мной Эдя и Тамара были корректны, но объём наших контактов сократился. Машины подруги давить на неё не пытались, но лейтмотивом их отношения к складывавшейся ситуации была жалость к Маше.

Лишь через много месяцев после того декабря Эдя сказал Маше, что он, видя, через какие препятствия мы прошли, и наблюдая старт нашей совместной жизни, понял, что мы вместе — не случайно. Вскоре это стало понятным и Тамаре. Мои с ними близкие отношения вошли в прежнюю силу.

Мои отношения с Раисой Наумовной оставались натянутыми ещё долго. Внешним выражением её неодобрения моему появлению в семье в качестве Машиного мужа была замена слов: вместо привычного с детских времён «ты», она стала говорить мне «Вы». Даже после рождения нашей дочки Катеньки случались взрывы её раздражения против меня. Но постепенно Раиса Наумовна ко мне потеплела, и меня в качестве своего зятя приняла полностью.

Значительное расхождение произошло в среде наших с Галей друзей: некоторые из них порвали с нами, объясняя свой поступок тем, что продолжение прежних отношений будет Галю травмировать. Для Абрама Мироновича и Марии Григорьевны — даже после того, как они поняли, что мой разрыв с Галей — печальная реальность, я оставался родным и близким человеком, и было много случаев, когда эта близость реально проявлялась.

Первый из них был скорбным. Это произошло через несколько дней после моего переезда на Арбат. Мне позвонил Абрам Миронович и сообщил о кончине Якова Семёновича Дубнова. Абрам Миронович дал мне понять, что ему хотелось бы, чтобы я — поздно вечером того дня — принял участие во встрече тела покойного на Павелецком вокзале, необходимость которой определялась обстоятельствами кончины Якова Семёновича.

Он умер в Саратове. Яков Семёнович поехал туда прочитать курс лекций и выступить с докладом на семинаре в тамошнем Университете, где была очень сильная геометрическая школа, возглавляемая сравнительно молодым профессором Виктором Владимировичем Вагнером. Вагнер был когда-то учеником Абрама Мироновича и Якова Семёновича и не терял с ними ни научной, ни человеческой связи.

По-видимому, Яков Семёнович проснулся ночью от сердечного недомогания, поднялся с постели за лекарством или за водой и упал. Утром его нашли бездыханным на полу.

Яков Семёнович скончался, когда ему было лишь немного за семьдесят. Мне кажется, что у преждевременной кончины Якова Семёновича (его дочь Вика в свои теперешние под восемьдесят пережила отца и, надеюсь,

проживёт ещё много лет) была роковая политическая причина.

Частым косвенным драматическим следствием советской диктатуры становилось отчуждение между теми членами семьи, которым довелось отбыть срок и вернуться, и теми, кто оставался вне колючей проволоки. Так вышло и в семье Дубновых. У вернувшейся из лагеря Баси Ароновны, жены Якова Семёновича, не возникло близости ни с мужем, ни с дочерью, ни с няней, которая в отсутствие хозяйки дома самоотверженно заботилась о непрактичном и не очень здоровом Якове Семёновиче и о подрастающей Вике. Вдобавок, у Баси Ароновны был (или стал таким за годы заключения) тяжёлый характер. Возможно, эта напряжённая обстановка, неожиданно возникшая на фоне сравнительно спокойной и отлаженной профессорской жизни, смерть Якова Семёновича приблизила.

Гроб с телом Якова Семёновича был доставлен из Саратова в Москву. Его встречали на вокзале Абрам Миронович, зять покойного Борис Медведев (недавно скончался и он), Исаак Моисеевич Яглом и я. Уже за полночь мы привезли гроб в квартиру Дубновых в Неопалимовском. Там нашу печальную процессию встречали Вика, Нянька и Бася Ароновка. Мы установили гроб на столе, открыли крышку, и это было моё последнее прощание с покойным: я счёл, что Галя была ближе к Якову Семёновичу, чем я, и что из нас двоих лучше быть на похоронах ей, а не мне. Быть же там нам обоим было совершенно невозможно.

...Пессимистические опасения Машиных родных относительно скоротечности нашего брака не оправдались. Жизнь показала, что и я, и Маша сделали тогда правильный выбор. Нашему браку уже более сорока шести лет. У нас две дочери Катя и Тамара и рождённые ими девятеро внуков и одна правнучка. Все мы теперь в Израиле. Мы с Машей — самые близкие друг для друга люди, наша любовь с годами только усиливается.

Лопшицы не рассорились с Машей, хотя их встречи с ней стали редки и носили случайный характер. Конечно, другие бытовые формы приобрели мои отношения с Сашенькой. Все его детские и первые молодые годы мы с ним продолжали жить поблизости друг от друга, и он часто у нас с Машей бывал. Каждое лето мы проводили с ним несколько недель вместе. Большею частью это бывало на дачах, которые мы с Машей после рождения Катеньки снимали под Москвой. В результате получили положительное развитие и Сашины с Машей взаимопонимание и родственная близость. Мои и Машини близкие отношения с Сашенькой и с его семьёй не ослабевали и не ослабели и теперь, когда он — дед шести внуков, т. е. моих правнуков...

ДОБАВЛЕНИЯ

В двадцати предыдущих главах описаны события, случившиеся в период от моего рождения по 1957 г. В этом контексте я, естественно, говорил и о более ранних временах, о которых знал от моих родителей, от родителей моих знакомых и от других людей.

Иногда для полноты картины мне хотелось сказать кое-что о событиях и судьбах, относящихся к временам после 1957 г. Я это делал в виде отступлений, выделяя их из основного текста отточиями. Но некоторые из этих отступлений оказались слишком длинными или слишком далеко уведившими от стержня Записок. По этой причине я такие не уместившиеся в основном тексте отступления собрал в нижеследующих «Добавлениях».

ДОБАВЛЕНИЕ 1

Толя Якобсон, Майя Улановская, Саня Якобсон. Ирэна Аргинская. Саша Тимофеевский. Сусанна Печуро и её неожиданно проявившиеся качества. Юра Гастев узнаёт о дыхании Чейн—Стокса. Ляся Гастев. Профессиональная жизнь Юрика. Выход в свет его книжки «Гомоморфизмы и модели». Движение в защиту Алика Вольпина. Академик Новиков. Последствия для Гали Шестопал. Высылка Юры Гастева. Ещё об Алике Вольпине. Лёва Малкин.

Сперва — о том, как сложилась жизнь Машиных подруг, перенёсших расправу советской власти за участие в группе «Юные Ленинцы», и их некоторых друзей (начало рассказа о них — в главах 17 и 20).

Друг Сусанны Саша Тимофеевский, познакомивший её с Толей Якобсоном, женился на младшей сестре Майи Улановской Ирине. К несчастью, довольно скоро после рождения сына Ирина совсем молодой женщиной погибла от нелепой медицинской ошибки.

Саша Тимофеевский стал поэтом. Его поэтическая судьба оказалась несправедливо скромной. Он написал много прекрасных стихотворений, в 2003 г. издал книгу «Опоздавший стрелок», но широко известными стали лишь милые, но не Бог весть какие значительные тексты песенок крокодила Гены и Чебурашки из популярного мультфильма.

Толя Якобсон, самоотверженно помогавший Сусанне Печуро поступить после её освобождения в высшее учебное заведение, вскоре после этого женился на Сусанниной одноделке Майе Улановской. Майя стала специалистом в области библиотечного дела, а Толя — выдающимся преподавателем в знаменитой 2-й Московской физматшколе, литературоведом и историком.

В начале семидесятых Майя и Толя с их маленьким сыном Сашей и с матерью Майи Надеждой Марковной эмигрировали в Израиль. К сожалению, Толя вскоре заболел душевной болезнью и покончил жизнь самоубийством. Майя и Надежда Марковна написали очень ценную книгу воспоминаний под названием «История одной семьи», охватывающую судьбы русских евреев, которых в начале века увлекла революционная идея и подвигла на трудное служение коммунистическому режиму.

Надежда Марковна и отец Майи Александр Петрович были советскими разведчиками в разных капиталистических странах. Потом этот режим рассадил этих своих верных адептов по тюрьмам и лагерям, а ещё подверг сходной участи и их дочь Майю, провозгласившую необходимость возврата к первоначальным чистым ленинским революционным идеалам и целям.

Майя живёт в Иерусалиме в получасе ходьбы от нас, и мы видимся часто, а ещё чаще говорим по телефону. Она до недавнего выхода на пенсию была сотрудником библиотеки при Иерусалимском Еврейском Университете. Наряду с этой работой Майя занималась и продолжает заниматься литературной работой. Например, перевела на русский сочинения Артура Кестлера.

Майин сын Саня стал профессором в области Римского Права и видным публицистом. Долгое время он был активным политическим деятелем, членом руководства левой партии «Мерец», которая вместе с другой левой партией

«Авода», придя к власти, ввергла Израиль в Норвежские соглашения. Левые политические взгляды Сани и его вхождение в политсовет Мереца долго мешали нам с Машей (мы — правые) найти с Саней и с Майей, безоговорочно придерживающейся тех же политических позиций, что и Саня, общий взгляд на события в Израиле и на его взаимоотношения с режимом Арафата. Это не мешало нам, однако, быть с Майей и с Саней добрыми друзьями, умело обходя точки несовместимости. Но теперь и эти препятствия исчезли: вскоре после начала в 2000 г. нового витка противостояния Израиля с Палестинской Автономией. Майя и Саня прозрели и перестали быть апологетами бесперспективного «мирного процесса». Мы с Машей и Саня с Майей оказались на одной (нашей!) политической платформе.

Ирэна Аргинская живёт в Москве. Она стала крупным методистом в области преподавания математики в младших классах школы. Она написала несколько школьных учебников по этому предмету и интенсивно ездит по России и читает лекции практикующим учителям. Несколько раз она была в гостях у нас в Израиле.

До 2002 г. Ирэна продолжала жить там же, где жила ещё со своими родителями — в Трубниковском переулке, рядом со Спасохаузом около скверика, носящим сленговое арбатское название «Пятачок». Постепенно ушли из жизни родители Ирэны и некоторые соседи по их коммунальной квартире. Другие соседи уезжали в отдельные квартиры, и старая коммуналка стала принадлежать Аргинским полностью. Так в большой, ставшей отдельной, квартире Ирэна с дочерью (она чуть старше нашей Кати) и внуками прожила много лет. Наконец, их старый дом поставили на капитальный ремонт, а семье Аргинских дали квартиры в новых домах в одном из новых отдалённых районов Москвы. Там прекрасная природа и прочие условия, но Ирэна по Арбату тоскует.

Я познакомился с Майей Улановской и с Ирэной Аргинской только после того, как мы с Машей поженились. С ними наша дружба с возрастом не слабеет. А с ангелоподобной Сусанной всё вышло — самым непредвиденным и скверным образом — не так. И об этом я хочу рассказать подробнее.

Вскоре после нашей с Машей женитьбы Сусанна вышла замуж за одного молодого человека из Машиной компании. Это был математик Аркаша Онищик, очень скоро ставший крупным алгебраистом, профессором. Наша старшая дочка Катя и дочка Сусанны и Аркаши Маша — ровесницы. Мы с Машей продолжали дружить с Сусанной и Аркашей в течение многих лет.

В середине шестидесятых и наша, и та семья переехали в кооперативные квартиры, расположенные далеко одна от другой: мы стали жить на Новоалексеевской, Сусанна с Аркашей уехала на далёкий Юго-Запад. Мы стали встречаться редко. Сусанна работала в одном из больших московских архивов. У неё проявилась болезнь сердца, осложнявшая её жизнь, но в остальном вроде всё было в их семье благополучно. Например, родилась вторая дочь. Но благополучно было только — вроде. С какого-то момента Сусанна и Аркаша разошлись.

Вокруг Сусанны стала возникать большая детская компания. В неё входили дети друзей Сусанны и друзья этих детей, подруги её дочерей и т. п. Многие «прихожане» Сусанны, подрастая, компанию покидали, а многие — оставались в ней и после того, как становились студентами. Само существование этой компании свидетельствовало об огромном духовном обаянии Сусанны, о её способности привлекать к себе людей и влиять на них. Сусанна сосредоточила свои способности на детях и подростках. Её привлекательность не уменьшилась. Хоть седина сильно задела её волосы,

лицо оставалось красивым. Правда, болезнь сердца, а может, и какие-то гены, изменили фигуру. Она располнела, её походка потеряла изящество.

Первое время после того, как мы узнали о детской компании вокруг Сусанны, нам с Машей это явление нравилось, и мы сами предприняли шаги для того, чтобы и наша Катя (ей тогда было лет 11—12) к этой компании приобщилась. Вот Катя и стала в Сусаннин детский клуб ездить — сперва раз, потом два, а потом и три раза в неделю.

Но довольно скоро, хоть, к сожалению, и не сразу, мы разглядели суть детской компании, жившей своей жизнью подле Сусанны. Эта суть была патологической. Мы стали понимать, что эта компания детей являет собой некую секту, в которой Сусанна — глава или магистр. Что неписанные, но сложившиеся устав и цели секты души детей калечат. Сусанна и прильнувшие к ней дети считали, что всё естественно и нормально, и никакой тайны из того, что происходит на встречах у Сусанны не делалось. Тамошнюю обстановку мы себе примерно представляли. Но правильно интерпретировать происходившее сумели, повторяю, лишь через много месяцев после того, как к этой компании примкнула наша дочка.

Из рассказов Кати выходило, что родители некоторых детей начинали выражать недовольство тем, что их сын (дочь) проводят у Сусанны слишком много времени, урывая его от других — необходимых, по понятиям этих недалёких родителей, — дел (например, от выполнения школьных домашних заданий). Некоторые родители пытались даже вовсе оторвать своих детей от Сусанны. О такого рода конфликтах с ревнивыми родителями детей не без некоторой гордости рассказывала нам и сама Сусанна.

Эти рассказы Кати и Сусанны всегда носили издевательский характер по отношению к этим тёмным дремучим домостроевским родителям, которые о своём авторитете пекутся больше, чем о благе своего чада, и не понимают счастья, которое привалило их ребёнку с того момента, как его заметила и приветила Сусанна. Из этих рассказов выходило, что взбунтовавшиеся родители обычно терпели поражение: дети от Сусанны уходить не хотели, начинали с родителями войну, авторитет родителей падал, а авторитет Сусанны и тяга ребёнка к ней — возрастали.

Сперва мы с Машей слушали рассказы такого рода с сочувствием к Сусанне и к детям недалёких родителей и полностью разделяли высказываемое Катей и Сусанной осуждение этих неумелых и бессмысленно ревнивых родителей. Ведь Сусанна была одной из лучших Машиных подруг, она испытала ужасы сталинской карательной системы — всё это делало её в наших глазах непререкаемым авторитетом. И нам так нравилось, что Сусанну оценила и наша весьма своенравная Катя!

Но постепенно пелена с наших глаз стала спадать. Мы стали родителей-несмышлёнышей понимать. Мы стали вникать в характер жизни той среды, в которой — по нашей же неосторожной глупости — оказалась наша дочка. И вот какая картина открылась перед нами.

Главный крючок, на который Сусанна улавливала души детей, состоял в том, что Сусанна внушала детям, что всё, чего от них требуют взрослые, существующие где-то вне дома и круга Сусанны — родители, учителя, соседи по квартире и т. д. — полный вздор; что родители — тупые тираны, что старательно учиться — дело пустое и обременительное, что готовиться к получению высшего образования и к овладению трудной профессией — блажь, ибо главное — чтоб человек был хорошим.

Следующий крючок — культовый образ самой Сусанны — их главного, всё понимающего и всему сочувствующего друга, больной, но героической

женщины. Помогать такой женщине — лестно, устраивать субботники для уборки её квартиры — почётно, для выполнения этих дел можно и нужно поступиться всеми другими, возникающими в иных местах, куда приходится попадать ребёнку, несчастному от одной лишь вынужденной разлуки с любимой старшей подругой.

Сусанна умело использовала привязанности, возникавшие между самими её придворными. Она старалась регулировать отношения внутри своей паствы так, чтобы дети, помимо любви к самой богине, испытывали тягу к тесной (далеко не всегда невинной) дружбе с теми членами компании, кто Сусанне предан безраздельно. Чаще всего роль таких дополнительных магнитов выполняли старшие мальчики и девочки, остававшиеся при Сусанне и после их перехода из детского возраста в отроческий.

Мы увидели, что фоном всего описанного выше является болезненная лживость Сусанны. Может, Сусанна была лживой и раньше, но мы этой её черты долго не замечали. Лживость Сусанны — активная: она не только лжёт, отвечая на вопросы, но и распространяет по своей инициативе кучу лживой информации — как правило, восхваляющей её собственный облик и порочащей репутацию её реальных или потенциальных недругов.

Влияние Сусанны на Катю продолжалось несколько лет. И оно было пагубным во многих аспектах. «Педагогика» Сусанны брала над нашей решительный верх. Мы теряли дочь и были в полном отчаянии. Наши отношения с Сусанной, естественно, потерпели крах. Многие старые друзья Маши и Сусанны, которых судьба уберегла от той трясины, в которую угодили мы, относились к нашим стонам с сочувствием, но без полного понимания.

Те из наших друзей, дети которых в сети Сусанны, по счастью, не попали, с годами удостоверились в её лживости и постарались дистанцироваться от Сусанны только из-за одной этой её черты. Это отдаление от старой подруги было им непростом: слишком сильны были прошлые связи и теперешняя её деятельность. Ведь Сусанна стала членом общества «Мемориал». На этом посту Сусаннина лживость часто стала способствовать фальсификации истории. Она охотно рассказывает о своей тюремной юности журналистам, и её бывшие друзья и однодельцы только за головы хватаются, прочитав в очерках этих журналистов те или иные выдумки Сусанны.

Примерно к своим шестнадцати годам Катя, наконец, в Сусанне разочаровалась. Мы были счастливы, хотя последствие многолетних контактов Кати с Сусанной и с её обществом продолжалось ещё очень долго и принесло много горя Кате и нам. Здесь обо всём этом рассказывать не место. Перехожу к историям о некоторых моих университетских друзьях.

После освобождения из лагеря (это произошло в конце 49-го) Юра Гастев жить в Москве не имел права. Но выбор места ссылки был ему предоставлен неплохой. Юра выбрал Тарту (странное место ссылки!). Он снимал там комнату с напарником — врачом по профессии. Юра устроился работать на местном стекольном заводе и стал небезуспешно пытаться продолжать своё образование в Тартусском университете. Так продолжалось до марта 1953 г. Начало марта 1953-го года ознаменовалось появлением загадочных и тревожных бюллетеней о состоянии здоровья Сталина. Эти сообщения стали предметом забавного, но значительного разговора между Юрой и его товарищем — врачом. Об этом разговоре написал в книге «Эшелон» Иосиф Шкловский, о нём рассказал в 1998 г. по телевизору (а потом написал в одной из своих книг) Игорь Губерман, с которым Юра где-то в семидесятых подружился. В этих изложениях есть небольшие разночтения. Чуть по-другому запомнился и мне рассказ Юры на эту же

тему. Возможно, сам Юра рассказывал об этом эпизоде разным людям слегка по-разному. Вот версия, оставшаяся в моей памяти.

Вечером 4-го марта в очередном бюллетене о состоянии здоровья Сталина было упомянуто «дыхание Чейн—Стокса». Юра спросил у своего товарища по комнате, что это значит. Товарищ ответил, что дело — верное, и можно идти за водкой. Юра побежал, но магазин уже закрывался. Юра уговорил продавца-эстонца продать ему бутылку во внеурочное время, намекнув, что повод выпить, не откладывая — стоящий. Продавец намёк на причину срочной необходимости выпить понял, намерение выпить одобрил, бутылка была продана, куплена и выпита, а на другой день долгожданное — произошло.

Скоро после этого, весной 53-го, Юре было разрешено вернуться в Москву. Он поступил на один из последних курсов заочного Педагогического Института и скоро получил долгожданный диплом. Он, естественно, возобновил старые связи — со Славиком Грабарём, с Аликом Есениным-Вольпиным, со мной и со всей семьёй Лопшицев и с очень многими другими. Вскоре он женился на симпатичной женщине по имени Галя, и у них родились две дочки-близнецы — Оля и Наташа.

В середине пятидесятых выпустили из лагеря и Юриного брата Лясю (Алексея Гастева). Сперва Ляся уехал в Ленинград и восстановился в студентах Академии Художеств. Но через год—полтора он в своих возможностях и в желании стать живописцем разочаровался, переехал в Москву, как-то здесь утвердился, женился (детей в этом браке не было) и стал известным искусствоведом, в частности, автором большой монографии о Микеланджело.

Кстати, в процессе переезда в Москву у Ляси возникли некоторые трудности с тем, где жить, и Абрам Миронович с Марией Григорьевной предложили Лясе пожить у нас. Он и пожил несколько недель. Тесной дружбы у нас с Лясей не вышло, но время от времени мы виделись у общих знакомых, чаще всего — у Юры и у Славика Грабаря.

В последний раз я — уже с Машей — виделся с Лясей в самом начале семидесятых у Юры — на домашнем банкете по случаю защиты Юриной кандидатской диссертации.

В шестидесятые годы Юра начал работать в математической редакции издательства «Просвещение» и проработал там много лет. Он стал очень толковым, профессиональным, собранным и даже педантичным редактором, что несколько не вязалось с его вольным характером, смешливостью, интересом к застолью и прочими качествами, делавшими его обаятельным другом и собеседником.

С Юриным высоким профессионализмом я встретился непосредственно. Во второй части шестидесятых Юра помог мне заключить с его издательством договор на учебное пособие «Вычислительные машины и программирование». Признаюсь, что написание и издание книги меня толкнула житейская необходимость. Жизнь в старой арбатской комнате после рождения в 59-м году моей и Машиной дочки Кати стала совсем невозможной, а тут Музфонд Союза Композиторов стал создавать жилищные кооперативы, и Эдя помог нам с Машей стать членами одного из них. Но нужны были деньги. Никаких сбережений у нас с Машей не было. Договор с издательством денежный вопрос решал. Я книгу написал, и она в Юриной редакции вышла в свет в 1969 г.

Наряду с издательской работой, Юра занимался и собственной литературной деятельностью — написал, в частности, много статей в «Философскую

энциклопедию». Продолжал он заниматься и наукой. Его научные интересы оказались на границе между математикой и теоретико-познавательными областями философии. Юра счастливо избежал соприкосновения с марксистскими догмами и написал работу о гомоморфизмах и моделировании, защищённую им на степень кандидата философских наук. В этой работе Юра схулиганил, а потом повторил это хулиганство и в книжке «Гомоморфизмы и модели», М., Наука, 1975, которую он по материалам своей диссертации выпустил. Об этом хулиганстве рассказали и Шкловский, и Губерман.

Я о нём впервые узнал от самого Юры очень вскоре после выхода этой книжки. Я знал, что книжка вышла, но ещё её увидеть не успел, как вдруг встретил Юру в вестибюле станции метро «Щербаковская», около которой мы тогда жили. В руках у Юры был толстый портфель. Он сказал, что в нём — пачка экземпляров его новой книжки. Я, естественно, пригласил его зайти, он зашёл и подарил мне экземпляр с авторской надписью, сопроводив свой подарок устным комментарием. Вот его суть.

В предисловии к своей книжке Юра объявил, что наибольшее влияние на автора оказали, среди десятка прочих персон, У. Стокс и Дж. Чейн. Но этим Юра не удовлетворился. Он включил где-то в середину обширного списка литературы такую ссылку:

55. J. Cheyne and W. Stokes. «The breath of the death marks birth of spirit». March, 1953.

В этой ссылке всё вымышлено, кроме фамилий авторов и даты: март, 1953. Нету на свете такого издания, не писали известные врачи такой статьи, название которой, придуманное Юрой, поэтично формулирует роль, которую сыграло в Юриной жизни (и в жизни ещё нескольких сот миллионов людей) открытое милыми J. Cheyne and W. Stokes дыхание, настигнувшее Сталина и приведшее тирана к смерти, возделенной его многочисленными жертвами. Для камуфляжа и для усиления удивольствия от своей мистификации Юра и в основной текст книжки включил какую-то имитацию обсуждения и оценки роли в написании его книги замечательной статьи, упомянутой под номером 55 в списке литературы. Редакторы не досмотрели, и книга вышла, сохранив в себе тайную шутку автора. Думаю, что даря свою книжку и другим своим знакомым, Юра, опасаясь, что его выходка читателем замечена не будет, делал тот свой устный комментарий, который с удовольствием выслушал я. В результате вокруг Юриной книжки возник скандал.

Параллельно с издательской, литературной и научной деятельностью, о которой я рассказал, Юра был очень активным диссидентом. Из всего известного мне об этой стороне Юриной жизни расскажу ещё только об одном эпизоде. Он связан с Аликом Вольпиным, ставшим видным математиком.

Алик в свои студенческие и аспирантские годы вёл себя на мехмате и в разных компаниях довольно независимо, членом комсомола не был, и по тем сталинским временам его положение было весьма шатким и опасным. Есенин в те годы властями был не любим.

На этом фоне большой любитель русской поэзии академик П. С. Александров стал подбивать Алика сменить свою фамилию на более громкую, хоть и гонимую. Нонконформисту Алику этот совет пришёлся очень по душе, и году в 47-м или 48-м молодой математик стал А. С. Есениным. Александров осуществлению этой идеи помог, используя свой авторитет академика.

Но очень скоро развернулась антисемитская кампания, и Алик решил вернуть в своё имя фамилию матери-еврейки. Он стал А. С. Есениным-Вольпиным. Алик не избежал преследований. Его, правда, не арестовали,

но сослали в Казахстан. Алик вернулся из этой ссылки сразу после смерти Сталина — как и Юра.

Алик, становясь всё более и более авторитетным учёным в сфере математической логики и занимая прочное положение в науке, своей антиправительственной деятельностью не прекращал. В конце концов терпение властей лопнуло, и Алика посадили в психушку.

Юра был одним из организаторов и руководителей кампании по его освобождению. Комитет составил письмо властям от интеллигенции с требованием выпустить Алика из психушки. Юра ездил к разным людям — давать это письмо подписывать. Я не знаю, были ли у Юры отказы. Это письмо подписал, в частности, крупнейший математик академик Пётр Сергеевич Новиков.

Были среди «подписантов» и не столь заметные фигуры. Юра привёз это письмо на подпись мне, и я подписал его, сочтя это приглашение за честь; подписал письмо мой коллега по ЦЭМИ заведующий лабораторией Саша Фридман. Подписала его и моя первая жена Галя, работавшая в те времена в Ленинском Педагогическом Институте.

Судьбы «подписантов» были различными. Стали сгущаться тучи даже над головой академика Новикова. Его вызывали куда-то в ЦК. После визита в это учреждение Пётр Сергеевич рухнул на диван и долго не мог встать. Тогда его жена — сама крупнейший математик — Людмила Всеволодовна Келдыш, сестра тогдашнего Президента АН Мстислава Келдыша, обратилась к своему чиновному брату с фразой, которая до нас дошла в такой редакции: «...Холуй! Если волос упадёт с Петинной головы, то ты у меня в пять минут из Президентов вылетишь!». Конечно, я не могу ручаться за верность беспроволочного телефона и не знаю, какими реальными возможностями осуществить свою угрозу располагала Людмила Всеволодовна, но к Новикову больше не цеплялись.

Моя и Саши Фридмана подписи на глаза властей не попали: подписи занимали много листов, их было больше, чем листов с самим текстом письма, и, возможно, часть этих листов с подписями из пачки выскочила. Нас с Фридманом гнев властей миновал. А вот Галю из Педагогического Института уволили, и это повернуло её профессиональную жизнь к худшему. Алика Вольпина вскоре выслали из страны, и он стал жить и работать в Штатах.

Органы за диссидентской активностью Юры Гастева следили давно. Выходка с Чейн—Стоксом, опубликованная тиражом в 5500 экземпляров и широко рекламируемая самим автором (по Юриному ликованию можно было подумать, что его дерзкая шутка — главная цель книги), терпение властей исчерпала. Юре предложили частую в те годы альтернативу: эмиграция или арест. Юра выбрал эмиграцию и уехал в Штаты. Юрина профессиональная жизнь за границей не сложилась. Юра скончался от онкологического заболевания в начале девяностых. Я узнал о его смерти из некролога в американском «Новом Русском Слове», который был подписан несколькими десятками известных имён.

Ещё несколько слов об Алике Вольпине. Он всегда был остроумным человеком, и я вспоминаю несколько его острот и высказываний. Вскоре после смерти Сталина и возвращения из ссылки Алик стоял с кем-то — с Юрой или со Славиком — на ступенях перед главным корпусом нового здания Университета на Ленинский горах. Алик увлёкся разговором и стал громко выкрикивать что-то весьма антикоммунистическое. Хоть времена были и помягче, и хоть на этой огромной лестнице было пустынно, собеседник Алика счёл нужным опасные выкрики Алика пресечь. Он

сказал: «Да замолчи ты! У тебя что — недержание речи?!». На что Алик ответил: «Нет, у меня недержание мочи».

С этим же словом связана другая — уже не политическая — шутка. Славик Грабарь и Алик зашли в пивную и взяли по кружке пива. Поставив свою кружку на мраморный столик и посмотрев на неё, Славик задумчиво сказал: «Пиво цвета конской мочи». Алик отхлебнул из своей кружки и сказал: «Пиво цвета тёплой конской мочи».

Алик, действительно, был совершенно бесстрашным и говорил что попало и где попало. Я помню, как летом 53-го года мы сидели с ним, с Юрой и со Славиком за столиком в открытом «кафе-мороженое» на углу Петровки и Кузнецкого за Центральным Универмагом. Мы начали тихий разговор на политические темы. Тогда выдвинулись новые вожди — Маленков, Хрущёв и др., и мы обсуждали отношения между ними и возможные пути развития жизни страны и общества. Но Алик на тихой речи долго удержаться не мог, и скоро от нашего стола стали раздаваться его громкие горячие соображения с употреблением слов «Жоржик», «Никита» и т. п. Мы поспешили Алика из кафе увести.

В середине пятидесятых Алик работал на мехмате и даже был избран членом профкома. В это время власти затеяли дело об антисоветской организации среди студентов факультета. Руководство факультета начало весьма громкую кампанию против этой группы. К сожалению, Колмогоров, бывший тогда деканом, не нашёл в себе смелости потребовать от властей прекращения гонений.

Для осуждения студентов собрался и профком. Выступил с гневной речью замдекана доцент Огибалов. В своей речи он несколько раз употребил оборот «подпольная группа». В какой-то момент речи Огибалова член профкома Алик перебил докладчика и спросил: «Почему Вы всё время называете эту группу студентов подпольной?». Огибалов обрадовался (репутация Алика ему была известной) и сказал: «А Вы что, хотите сказать, что знали о существовании этой группы?». На что Алик ответил: «Нет, не знал. Но до настоящего момента я ничего не знал и о Вашем существовании, но ведь Вы, наверное, не станете утверждать, что Вы существуете подпольно».

Алика высылали из страны во времена, когда тысячи людей хотели уехать в Израиль или в Штаты, но находились «в отказе»: власти на их заявления отвечали отказом, увольняли их и всячески шантажировали. Этих людей называли «отказниками». Иногда они собирались на запрещающиеся и разгоняемые митинги под лозунгом: «Да здравствует свобода выезда!».

Покидая страну, Алик выкрикнул свой последний лозунг. Он закричал: «Да здравствует свобода въезда!». Алик, слава Богу, жив и поныне и свободу въезда обрёл: в 2002 г. он в Россию въехал, но побыл в ней недолго и снова выехал обратно в США.

С Лёвой Малкиным после его освобождения я встречался очень мало. Мало и знаю о нём. После освобождения Лёва завершил своё математическое образование. Несмотря на то, что в студенческие годы он был склонен к «чистой» математике, он пошёл по несколько иному профессиональному пути. Через какое-то время он стал сотрудником Института Судебной Экспертизы. Он посерьёзней, завоевал авторитет, обзавёлся семьёй. К сожалению, он скончался безвременно, лет шестидесяти...

ДОБАВЛЕНИЕ 2

Я начинаю обучаться живописи у Майи Левидовой. Педагогические установки Фалька и Майи. Переход к более сложной натуре. Я начинаю писать маслом. Студия в квартире Наталки Гайстер. Вместе с Аликом Рабиновичем-Миттой. Обнажённая натура. Похвала Фалька. Мастерская на входной лестнице. Мастерская в 24-й. Лето 69-го. Мастерская в Костянском. Портрет и психология. Голый король. Встреча с Майей в Израиле.

Итак (глава 18), летом 53-го года я сделал в детской тетрадке для рисования акварельный пейзажик. А потом осенью я как-то зашёл к Майе Левидовой, и она стала показывать мне очередную партию работ её учеников, которые она только что получила по почте. Вокруг этих работ у нас завязался разговор. Я показал ей ту мою первую летнюю акварель — вид на участок с террасы томилинской дачи. Я эту акварель захватил с собой, отправляясь к Майе, не случайно.

Майя незадолго до того говорила мне, что она накопила большой и положительный опыт обучения живописи заочных учеников, и что ей теперь очень хотелось бы позаниматься с кем-нибудь очно. Майя вполне доверяла Фальку, который считал, что живописи до какого-то уровня можно обучить чуть не всякого и — в любом возрасте. Фальк говорил, что конечно, выдающимся художником может стать только одарённый человек, но крепкого профессионала, который сумеет себе кусок хлеба своим искусством заработать, он брался сделать из любого. Хотя сам Фальк такого заработка не имел!

Майя усвоила методические подходы Фалька и успешно их применяла. И вот, напомнив Майе её слова о том, что ей хотелось бы применить свои педагогические умения к обучению живого ученика, я предложил в такие ученики себя. В качестве вступительного экзамена я показал Майе летнюю акварель.

Я сделал это предложение, робея, потому что мне тогда было уже тридцать лет, и начинать обучение было вроде поздно. Но и пропустить такую возможность я не хотел! К моему большому удовольствию, Майя на моё предложение согласилась, и мы начали. Наши занятия приобрели регулярный характер. Конечно, наладить классные уроки не удавалось. Майя давала мне задания, я выполнял их дома, приносил Майе, она делала свои замечания и давала мне новые задания. Так что и я был у Майи заочником, но только с гораздо более интенсивным ритмом общения ученика и учителя по сравнению с теми, кого Майя обучала на своей работе.

Я не могу утверждать, что в течение тех почти четырёх лет, которые я таким образом занимался с Майей, я получил образование художника. Но, несомненно, очень многие эстетические позиции и приёмы работы я из занятий с Майей усвоил. Причём, речь часто идёт о некотором симбиозе творческого и технического аспектов.

Например, Майя учила меня, что, рисуя натуру и делая попытку передать в своей работе ту или иную её деталь, никогда не надо сосредото-

точивать своё внимание именно на этой детали природы, а надо всё время держать в поле зрения всё то пространство, которое ты задумал отобразить на своём холсте или на листе бумаги. Это правило работы Майя формулировала так (подозреваю, что она повторяла формулу Фалька): «Всё время обегай глазами всю природу!». Теперь, вооружённый более точным техническим языком, я перефразировал бы её инструкцию так: «Всё время сканируй!».

Из такого же отрицания роли локального и утверждения роли целого исходили и советы по выбору цветов из палитры, по выбору размеров частей изображения и т. д. Доктрина состояла в том, что истина — в правильной передаче отношений размеров, цветов, интенсивностей света и теней и т. д. Голубоватая тень на лице и зелёные пятна в волосах могут передать отношение цветов природы, видимые глазом художника, одновременно выразительней, красивей, гармоничней, чем при использовании на полотне буквального аналога того цвета, который он видит, устремив свой взор на соответствующую деталь природы.

Хотя занятия с Майей дали мне очень много, пробелы в моём образовании, не позволившие мне перешагнуть барьер дилетантизма, конечно, остались. Я успел поработать только карандашом, углём, сангиной, маслом, темперой, пастелью. Акварелью и гуашью я работать не научился. Эти техники просто остались за кадром. За кадром для меня осталось и всё, основанное на гравировальной технике — например, офорт. В области творчества мой дилетантизм проявлялся, в частности, в полном неумении рисовать «из головы». Я остался рабом природы, но, не скрою, счастливым рабом.

Причина последнего упомянутого пробела состоит в том, что и Майя, и Фальк в станковой живописи и в рисунке работали, как правило, с натурой. Композициями «из головы» Фальк занимался, насколько мне известно, только в качестве театрального художника, а сама Майя ими не занималась, помнится, вовсе. Хотя творчество многих художников, непосредственно с природой себя не связывавших, она ценила. Например, творчество Пикассо в его авангардистских периодах.

С какого-то момента Майя стала велеть мне рисовать не только цилиндры, кубы и конусы, но и более интересные натюрморты композиции из предметов посуды и из других небольших предметов. Потом по указанию Майи я стал рисовать человеческие фигуры в разных позах. Лицо природы я рисовать права не имел и должен был ограничиваться лишь изображением контура головы. Сперва я делал только линейные наброски, затем Майя стала учить меня передавать трёхмерность и рельефы природы с помощью штрихов и пятен, изображавших тени.

Довольно скоро — меньше, чем через год после начала занятий — Майя разрешила мне перейти к масляной живописи. Она считала, что масляной технике ученик должен обучаться раньше, чем акварельной — в то время, как традиционная методика преподавания живописи предписывала в точности обратную последовательность. Главным Майиным аргументом была оставляемая масляной техникой возможность вносить в работу исправления — снимая или соскребая мастихином неверно положенные мазки и кладя на их место другие. В то время, как цветное пятно, сделанное акварельной краской, переделать было невозможно: на бумаге получалась бы грязь.

Я приобрёл этюдник, мастихин, рекомендованный Майей набор тюбиков с масляными красками и набор кистей разных калибров. Майя научила меня, в каком порядке располагать вдоль периферии палитры краски, выдавливаемые из тюбиков, и как эти краски смешивать на центральном поле

палитры. Узнал я постепенно и то, какие покупать растворители и как ими пользоваться в процессе работы и при чистке палитры после сеанса. Майя научила меня сколачивать подрамники, натягивать на них холсты (и как выбирать холст в магазине по продаже тканей) и грунтовать их. Грунт из столярного клея и мела я, наученный Майей, тоже делал сам.

Рисовал и ремесленничал я в кухне и в жилых комнатах, создавая семье неудобства, которые семья терпела. Зачастивший тогда к нам Алик Рабинович (о начале знакомства с ним, а также о том, как он стал пользоваться псевдонимом «Митта», под которым он вошёл в кинематографию, я рассказал в главе 18). У Алика были интересы в области архитектуры и изобразительных искусств, он был знаком со многими художниками — его сверстниками и относился к моему странному увлечению с пониманием.

Наталке Гайстер и её матери Рахили дали хорошую комнату в двухкомнатной квартире нового дома на ул. Чкалова. Вторая комната заселена не была и пустовала. Как потом оказалось, она пустовала почти год. Алику пришла в голову идея: устроить нам с ним в этой пустующей комнате мастерскую. Гайстеры не возражали. И мы с Аликом стали каждое воскресенье приезжать туда. Я довольно долго писал маслом пейзаж, видимый из окна: небольшой старинный парк, разбитый на противоположной стороне улицы, и в нём — красивый грязно-жёлтый особняк. Алик тоже занялся этим пейзажем, но его манера была намного условней той, какую мне преподавала Майя. Алик и в окно-то на жёлтый особняк взглядывал редко.

Я в моей учёбе уже дошёл до рисования человеческих фигур с человеческим лицом, а не с белым пятном, как ещё недавно, и даже начал рисовать портреты карандашом, сангиной и углём. Для моих упражнений мне позировали родные и знакомые. Майя знала, что у меня завелась комната для работы. В какой-то момент она сказала, что хорошо бы мне начать рисовать карандашом обнажённую натуру.

Я сперва подумал, что это неосуществимо: ни у Майи, ни в данный момент у Фалька никакой натурщицы в поле зрения не было. Я рассказал о моих трудностях Алику, и он с его связями в кругах молодых художников быстро натурщицу приискал, встретился с ней в одно из наших воскресных утр около Курского вокзала и привёл её в нашу «мастерскую». Это была невысокая девушка с ординарной фигурой. Её звали Виолетта.

Я поджидал первого сеанса с естественным волнением. В те годы мужчина мог вживую видеть неодетой только ту женщину, с которой он находился в интимных отношениях. Нам была неведома та доступность зрелища обнажённого тела, которая теперь царит в фильмах, на сцене, в многообразных шоу, во время развесёлых карнавалов, на пляжах, где купаются топless и в узеньких трусиках, в общих саунах и в вызывающей дамской моде. Фотография обнажённой натуры, практиковавшаяся на западе с конца XIX века, в Советском Союзе почти полностью отсутствовала.

Правда, ни тогда, ни за много лет до того не было мужчине запрета на созерцание обнажённых женщин, представленных в классических и современных рисунке, живописи и скульптуре. Но живых раздетых женщин могли на законных основаниях видеть только художники в процессе обучения ремеслу и создания своих произведений. Ну, конечно, и медики. И вот теперь мне предстояло войти в то немногочисленное сословие, которым можно.

Я знал из литературы и из разговоров, что зрелище, которое для обычного мужчины — типичный запретный плод, художники и врачи воспринимают безо всяких эмоций. И, действительно, я это спокойное состояние обрёл очень быстро. Началось с того, что никаких признаков

волнения и стеснения не выказывала сама Виолетта. Мы с Аликом уже сидели перед досками с приколотыми листами бумаги, когда из-за наших спин появилась и оказалась перед нами Виолетта, превратившаяся из женщины в обнажённую натуру. Алик предложил ей стоять, повернувшись к нам вполоборота, и я стал рисовать, увлечённый преодолением трудностей, уже знакомых мне в процессе рисования натюрмортов и портретов.

Мы с Аликом эту Виолетту рисовали в течение нескольких воскресений, я приносил мои наброски Майе, а она, как обычно, указывала мне на мои ошибки.

Как-то по Майиной просьбе я привёл Виолетту домой к Майе, и мы рисовали её втроем — она, Фальк и я. Когда Виолетта разделась, то постановкой натуры занялся Фальк. Меня поразила бесперемонность, с которой он добивался нужной ему позы. Поза, которую выбрал Фальк, была для модели крайне неудобной. Одну руку она должна была завести себе за спину, другую положить себе на голову, одну ногу она должна была поставить на стул и т. п. Фальк кое-что объяснял Виолетте краткими фразами, но чаще — он слов не тратил, а просто брал руку или ногу натурщицы и придавал ей желательное для него положение.

Мне было очень жалко Виолетту. Мы с Аликом большого значения позе нашей модели не придавали, и чаще всего очередную позу предлагала сама девушка, помнившая, очевидно, набор поз, в которые её ставили в других мастерских и в учебных заведениях, и выбиравшая из этого набора те позы, что полегче для неё самой.

Я догадывался, что поза, которой в конце концов удовлетворился Фальк, болезненно напрягала некоторые мышцы модели, а ведь ей надо было отстоять в этой позе неподвижно сорок пять минут, а после десятиминутного перерыва — ещё сорок пять. Я такой профессиональной бесперемонности по отношению к моим будущим многочисленным моделям так никогда и не выучился.

Мы все трое стали рисовать — карандашом на бумаге. Майя почти не рисовала, а время от времени подходила ко мне, становилась за моей спиной, так, чтобы видеть модель в том же ракурсе, что и я, и делала мне разные указания. А Фальк порисовал, порисовал, а потом перестал, лёг на стоявший в этой же комнате диван и — уснул. Он проспал так весь конец первого часа, перерыв и весь второй час. Когда он проснулся, Виолетты уже не было, а мы с Майей толковали о разных разностях.

Потом в комнату на ул. Чкалова вселились жильцы, а у Алика интерес к рисованию ослаб. Так кончилось наше совместное рисование.

Фальк смотрел мои работы сравнительно редко, иногда делал свои замечания, соблюдая такт по отношению к моему основному педагогу. А один раз у меня был маленький триумф. Дело было в марте 1955-го года. Я уже кое-что умел. Я расположился на балконе дома в Староконюшенном (он был на втором этаже) и в течение нескольких сеансов написал маслом на холсте зимний городской пейзаж: вид с балкона на проход через двор к Малому Власьевскому переулку.

Когда мой холст с Малым Власьевским высох, я, как обычно, отнёс его Майе. Она пейзаж одобрила, хотя замечания, как всегда, сделала. Пейзаж остался у неё, и стоял на полу около стенки, противоположной дивану. Вечером к Майе пришёл Фальк и вскоре лёг на этот диван спать. Утром он проснулся раньше Майи, увидел мой пейзаж и растолкал её, чтобы узнать, чья эта работа. А узнав, расстроился, сказав, что вот уж такие наступили времена, когда и дилетанты догоняют мастеров.

...Конечно, не будь мастеров, не тцились бы вторить им дилетанты. Но когда Майя рассказала мне об этом эпизоде вечером того дня, когда он произошёл, я почувствовал себя, как Пушкин после похвалы Державина на выпускном экзамене в Лицее. В этом состоянии я пребываю и до сих пор. Пейзаж, вызвавший досадливое одобрение Фалька, висит на стене нашей Иерусалимской квартиры...

Под мои живописные дела я одно время приспособил нижние помещения дома в Староконюшенном, которые при царе образовывали вестибюль парадного хода, и в квартиру номер 6 из него вела лестница, состоявшая из двух маршей. Пространство между маршами было, в сущности, небольшой комнатой. Этот бывший вестибюль, ставший после свержения самодержавия никак не отапливаемым сараем, почему-то считался принадлежностью исключительно нашей квартиры. Жильцы всех трёх квартир дома пользовались бывшим чёрным ходом, и парадным, превратившимся в сарай, не интересовались. Не интересовались им и соседки по нашей квартире — Юлия Петровна и Софья Ковалевская. Так что фактическим пользователем сарая оказалась семья Лопшицев. В нём хранился всякий хлам и дрова.

Когда в дом проводили тепло от теплоцентрали, Абрам Миронович сумел договориться с рабочими, и они установили батарею отопления и в комнатке между маршами. После этого она стала пригодной не только как хранилище барахла. Я мастерил там подрамники, натягивал и грунтовал холсты. В этом же помещении я ставил и писал натюрморты.

После того, как в конце 55-го года скончалась Баба Нина, и после того, как закончилась неудачей наша с Галей кратковременная попытка наладить в освободившейся комнате в 24-й квартире самостоятельную жизнь нашей молодой семьи, я в эту ставшую снова пустой комнату перенёс всё моё имущество, связанное с занятиями живописью: подрамники, холсты, краски. Иногда мы там встречались с Эдей. Обычно эти встречи подгадывались к визитам Эди к его матери, сестре Маше и к дяде Саше в двадцатую квартиру.

Превращение нашей комнаты на Арбате в студию художника и в место встреч с Эдей совпало с изменением моего служебного положения (подробности изложены в главе 20), в результате чего я получил довольно большую свободу в планировании моего времени. Свободное время и пространство я использовал, в частности, для рисования и живописи. Один из сделанных в двадцать четвёртой квартире этюдов маслом — вид из окна нашей комнаты (7-й этаж) на Большой Николопесковский переулок (ул. Вахтангова) и сейчас висит на стене нашей Иерусалимской квартиры. Я писал маслом натюрморты и портреты.

Майя советовала мне вернуться к обнажённым моделям, но теперь делать не только карандашные наброски и рисунки, но и писать натурщиц маслом. Виолетта из моего поля зрения исчезла, и Майя научила меня связываться со специальным Комбинатом, который, среди прочих услуг художникам, предоставлял натурщиков художественным учебным заведениям и отдельным художникам.

Работа натурщицы была по тогдашним меркам высокооплачиваемой. Она получала десять рублей в час. Позируя в день в разных местах в общей сложности часов по восемь, она зарабатывала в месяц до 2000. Я, будучи начальником отдела в оборонной фирме, получал 2600, а расчётчица, сидевшая весь рабочий день за электрическим арифмометром — около 1000.

Натурщицы предпочитали позировать в учебных заведениях, проводя там полный рабочий день, просто переходя из класса в класс. Но они не пренебрегали и такой работой, как у меня: два часа, а потом — в другую мастерскую, быть может, на другом конце города. Такая работа оплачивалась художниками частным образом, и налога с таких заработков натурщик не платил.

Я тогда сделал несколько десятков больших холстов с обнажёнными натурщицами в разных драпировках и позах, с разными фонами. Надо сказать, что включение в постановку обнажённой женщины не только не создавало (как это естественно было бы предположить) особых — из-за лицемерия запретной для других природы — переживаний художника, но и не ставило перед ним особых живописных задач. Я на собственном опыте понял резонность высказывания Сезанна, которое я узнал от Майи. Он говорил, что ему нет разницы писать морковку или обнажённую женщину.

Я бы сказал ещё, что мне не стало понятным традиционное включение студий обнажённой природы в современные курсы художественного образования. Когда я писал портрет сидящего или стоящего одетого человека, мне никогда не требовались какие-либо особые умения, которые я приобретал только лишь в результате предыдущей работы с обнажённой натурой. Да и не было таких особых умений. Делая очередной портрет, я использовал весь мой предыдущий опыт — как работы над натюрмортами, включающими морковку, так и над портретами, так и над картинами, в которых фигурировала обнажённая натура.

Следуя технологии создания рисунка и живописи, которую мне преподавала непосредственно Майя и которую я угадывал в работах Фалька, в работах его единомышленников по «Бубновому валету», в работах его предшественников — французских импрессионистов и, особенно, Сезанна, я, пыхтя над портретом одетой женщины, обегал её, как велела мне Майя, глазами, но совершенно не думал, как она выглядит под одеждой и уж, безусловно, не нуждался в воспоминаниях о моих предыдущих работах, в которых фигурировала обнажённая натура. Так же, как, работая над натюрмортом, в котором на покрытом скатертью столе были расставлены разные предметы, я не испытывал необходимости предварительно порисовать этот стол без скатерти.

Возможно, студии обнажённой природы остались в современных академических программах как атавизм. Возможно, они были практически полезны в те времена, когда художники создавали многофигурные композиции на исторические или мифологические темы, не пользуясь натурой, а обращаясь к своим знаниям анатомии и накопленными этюдами обнажённой природы. Возможно, они полезны и теперь скульпторам, работающим в классической реалистической манере. Впрочем, возможно ещё, что я чего-то не понимаю.

Я и тогда, и потом, когда занимался живописью особенно интенсивно, с удовольствием писал обнажённых женщин, хотя, повторяю, и не находил — вслед за Сезанном и за Майей Левидовой — творческой и технологической разницы между писанием морковки (а также натюрмортов, городских и сельских пейзажей) и писанием обнажённой природы. Но я видел в них традиционный сюжет, введённый в практику изобразительных искусств многовековой культурой — даже в те эпохи, когда в обыденной жизни этот сюжет бывал под запретом, и с удовольствием к этому классическому сюжету обращался.

Я продолжал показывать мои работы Майе, некоторые из них она показывала и Фальку. Оба художника были в своих похвалах сдержанными. Фальк про мои работы обычно говорил что-то вроде: «Не Рембрандт, но — неплохо». Я такую оценку воспринимал с очень большим удовлетворением. Майя была критиком очень придиричивым и языкатым. Особенно сильно она раздражалась, когда я неточность рисунка пытался замаскировать светотехническими приёмами — штриховкой или растушёвкой теней и пр. Увидев такое, Майя отодвигала работу прочь от себя и говорила: «Дряпня!».

...Чтобы продолжить и закончить тему о моих занятиях живописью, мне надо заглянуть в отстоявшее от времён систематических занятий с Майей в далёкое будущее. После 1957-го года мои занятия с Майей сошли по разным причинам на нет, но живописью я увлекаться не перестал, хотя одно время интенсивность моей работы в этой области сильно ослабла — из-за жизненных обстоятельств, часть которых освещена в главе 20 и в следующих Добавлениях. Новый виток активных занятий живописью возник у меня после 1969 г. Толчком послужило чисто внешнее обстоятельство.

Лето 69-го года мы с Машей и дочерьми проводили на даче в подмосковном Быково. На той же улице снимала дачу близкая нам семья Машиной однокурсницы Инги Беленькой. Её муж скульптор Леопольд Блях (родные и друзья называли его Лёпой) учил акварельной живописи свою десятилетнюю дочку Машу, ровесницу нашей Кати, рисовать акварелью натюрморты и пейзажи. Глядя на эти занятия, я взялся снова за свой этюдник и написал несколько натюрмортов. Лёпе они понравились. Видя моё рвение, Лёпа надумал вот что.

По соседству с его мастерской в том же подвале дома в Костянском переулке располагалась небольшая мастерская скульптора Кати Семерджиевой — сокурсницы Лёпы по Суриковскому институту. К этому времени Катя была замужем за известным математиком, членкором АН Гамкрелидзе, жизнь с которым довольно быстро превратила Катю в домашнюю хозяйку и светскую даму.

Лёпа, желая сделать приятное и Кате, и мне, предложил, чтобы Катя, которая в своей мастерской работать фактически перестала, разрешила пользоваться этой мастерской мне, а я чтобы взял на себя все заботы о мастерской материального характера: оплату и ремонт.

У меня появилась настоящая мастерская! К тому времени я работал в Академии Наук, режим работы у меня был весьма свободным, мастерская находилась на полпути между домом и работой. Я стал проводить в мастерской несколько часов в неделю.

Близкое соседство мастерской, в которой я разместился, с Лёпиной было для меня очень ценным. Во-первых, я с удовольствием выслушивал его замечания относительно моих работ. Во-вторых, я мог получить от него срочную хозяйственную помощь: у меня могло не оказаться нужных мне гвоздиков для сколачивания рам и подрамников или гипса для заделывания щелей между сторонами рамы. В-третьих, многие Лёпины скульптуры я включал в композиции моих натюрмортов, а некоторые его натурщицы позировали и мне.

Я обнаружил, что как для масляной (иногда я к масляным краскам подмешивал темпера), так и для пастельной живописи очень годится обратная сторона листа оргалита. Эта обратная сторона имеет ячеистую структуру и очень напоминает грубый холст. Для масла я эту холщевид-

нообразную поверхность грунтовал как обычный холст, а пастель наносил на неё без всякой предварительной грунтовки. Возможно, масляная живопись на грунтованном оргалите не столь долговечна, как на грунтованном полотне, но я на этот риск не довести моих работ до отдалённых потомков ради простоты технологии шёл.

С Майей как с педагогом я больше не встречался. Я работал на свой страх и риск. Надо сказать, в благодарность Майе и Фальку, что мои работы смотрели многие профессиональные художники и оценивали их вполне положительно.

В моей мастерской я сделал пастелью и маслом десятки портретов друзей. Многие из них позировали мне охотно — и потому, что им моя живопись нравилась, и потому, что на моих холстах и картонах я умел передавать портретное сходство. Портреты небольшого размера я моим моделям дарил. Многие знакомые и знакомые знакомых посещали мою мастерскую с целью лишь посмотреть мои работы. Кроме портретов, я писал маслом и рисовал пастелью натюрморты и большие картины, объединявшие в том или ином естественном и гармоничном (на мой взгляд) виде натурщицу, драпировки, фон, предметы мебели и натюрморт.

От услуг Комбината я мог отказаться: мне хватало моделей, переходивших ко мне от Лёпы и от других знакомых художников и скульпторов, с которыми я через Лёпу познакомился. Иногда одни натурщицы приводили других. Много портретов и натюрмортов я написал летом в отпускные месяцы. Пейзажи меня не привлекали, хотя именно пейзаж (один из немногих написанных мною за всё время занятий живописью) был в своё время удостоен похвалы Фалька.

Несколько замечаний о портретной живописи. Фальк написал множество портретов, и часть из них показывал посетителям своей мастерской. Мне довелось быть свидетелем таких демонстраций. Фальк редко комментировал свои работы, а если и произносил несколько слов, то они касались лишь обстоятельств создания произведения. В частности, я ни разу не слышал от Фалька каких-либо суждений по поводу тех или иных свойств личности человека, портрет которого он ставил на мольберт, и относительно того, как он эти черты в сделанном им портрете старался передать.

Если же эту тему поднимал кто-то из посетителей, то Фальк её не поддерживал. В контексте обсуждения портретных работ Фалька не говорила о психологии и Майя. Только один раз, обсуждая одну из картин Фалька, на которой была изображена сидевшая на стуле молодая женщина из молдавского села, в котором Фальк и Майя проводили лето в середине пятидесятых годов, Майя привлекла моё внимание к тому, как хорошо на картине видно, как тяжелы привычные к крестьянскому труду кисти рук модели, лежащие не её отдыхающих коленях. В тех Майиных словах лёгкую тень оценки успеха художника в передаче свойств и состояния модели как человеческой личности, а не морковки, усмотреть было можно. Не более того.

Я делал портреты с натуры: иначе не умею. Никогда во время сеанса я, обегая глазами находившегося передо мной живого человека и орудуя кистями или пастельными мелками, не ставил целью перенести на холст или на оргалит личностные черты или душевное состояние моей модели.

Ни позиция Фалька и Майи, проглядываемая за их скупыми репликами, ни моя собственная, сформировавшаяся под их влиянием и подкреплённая моей практикой портретного письма, не вьются с давно распространённым мифом об особых возможностях изобразительных искусств

в области раскрытия и передачи личностных качеств и душевного состояния людей. В высказываемых ниже суждениях говорится, в основном, о живописи. Но их можно, я полагаю, отнести и к другим видам изобразительного искусства.

Итак, может ли портрет вызвать у зрителя идею о психологических чертах или состоянии изображённого лица, и если да, то совпадает ли эта идея с той, которая возникла у художника в процессе его работы и которую он сознательно желал донести до зрителя? Миф утверждает, что безусловно да: и вызывает, и доносит.

Выразительным примером торжества этого мифа служат нескончаемые разговоры о загадке улыбки Джоконды. Едва заметная улыбка — это прежде всего едва заметное движение линии губ: уголки чуть вверх. Его достаточно, чтобы на лице «прочиталась» улыбка. Некоторые обертоны могут добавить чуть прищуренные глаза. При этом характер выражающего улыбку движения губ и окологлазных мышц зависит, скорее, от черт лица и привычной маски улыбающегося человека, чем от повода, вызвавшего улыбку. По одной лишь улыбке можно и не угадать, вызвана ли она анекдотом про Чапаева или про чукчу. Чему или отчего улыбается Джоконда? В этом и заключается пресловутая неразрешимая загадка. У Тютчева есть стихотворение

Природа — сфинкс. И тем она верней
Своим искусом губит человека,
Что, может статься, никакой от века
Загадки нет и не было у ней.

Ну если о природе, то Тютчев хватанул: у природы загадки есть, и над ними бьются и науки, и некоторые искусства. Но к загадке Джоконды это сомнение поэта очень применимо. Джоконда могла во время сеанса улыбаться и от только что услышанной ею из уст Леонардо шутки, и от приятного воспоминания о домашней сцене или о разговоре с ребёнком, и от предвкушения встречи с кем либо после сеанса и т. д. и т. д.

А может, живая модель — жена итальянского купца — вовсе во время сеанса и не улыбалась, а несколько движений кисти около уголков губ и глаз как-то раз сделал Леонардо после того, как его встречи с моделью были уже позади. И значит, это не Джоконда чему-то улыбалась, а как-то улыбнулась волею художника и продолжает вечно улыбаться лишь её портрет.

Картина талантливого русского художника Н. Ге «Пётр I допрашивает царевича Алексея в Петергофе» может считаться великой иллюстрацией к странице русской истории. Но в облике Петра зритель, даже знакомый с предметом, может увидеть разные душевные состояния: и торжество царственного следователя, докопавшегося до скверной истины, и отчаяние отца, обнаружившего предательство сына и пр. Выражение лица Алексея также можно интерпретировать по-разному: и как упорство и вражду, и как ужас перед наказанием, и как раскаяние.

Все ли эти переживания персонажей хотел передать нам художник? Или только некоторые из них? Или те, которые в мой список не попали (по той причине что я фантазировать устал)? Если же зритель не знает русской истории (как, скорее всего, не знает её наведавшийся в Третьяковку и отбившийся от экскурсовода среднестатистический американский турист), а названия картины на медной дощечке он не прочёл, то он может увидеть в картине и вовсе другое. Например, неприятный разговор двух мужчин, одетых в костюмы той эпохи. Можно дать волю

своему воображению и придумать много разных поводов для напряжённости, проглядывающейся в лицах персонажей картины. Можно, например, предположить, что между собеседниками пробежала чёрная кошка после отказа сурового отца неугодному претенденту на руку его дочери, сопровождающего нелицеприятной отповедью.

Мы все физиономисты и склонны делать психологические выводы, глядя и на молчащего живого человека. Или на портрет. Или на фотографию. Если человек нам знаком, если мы знаем обстоятельства его сегодняшней жизни, то его внешний облик может нам многое сказать. Но если мы скользим взглядом по лицам людей, сидящих напротив нас в метро, то в большинстве случаев — а именно, когда люди сидят со спокойными лицами — мы ничего внятного, а главное, безусловно истинного сказать не можем.

Конечно, портретная и фигуративная живопись даёт любителям физиономистам много материала для их размышлений и гипотез, и эти любители ценят живопись и многие её отдельные произведения именно за эту возможность, полагая, что художник вложил весь свой талант и все свои творческие приёмы в достижение главных — душеведческих и информационных — целей: увидеть (если писано с натуры) или придумать (опираясь на жизненный опыт и на интуицию) психологические черты и душевное состояние персонажей и передать всё это зрителю творимого произведения. Ну а сами эти приёмы — вторичны, они хранятся на кухне творца и извлекаются оттуда по мере высшей надобности.

Но на самом деле надёжной корреляции между талантом художника и его желанием и способностью передавать своим искусством психологические состояния людей нет. Многие талантливые художники вообще на это не претендовали. Прекрасна живопись Боннара, изображавшего бездумных и не идеально сложенных женщин, выходящих из ванной или входящих в ванну. Или живопись Модильяни, чьи работы не дают повода для психологического анализа его моделей. С другой стороны, обыденны и стандартны рисунки современных художников, изображающих участников судебного заседания (в тех странах, где в зале суда запрещено фотографировать и пользоваться телекамерой). Эти рисунки не только сохраняют портретное сходство, но и дают неплохую пищу для психологической оценки изображённых персонажей. Это же можно сказать и про многих уличных художников.

Фотография бабушки, снятая в начале прошлого века неизвестным фотографом в провинциальном городском саду, может, несмотря на банальную композицию кадра и слабое умение фотографа использовать источники света и отражающие экраны, служить подходящим материалом для рассуждений о душевных и духовных качествах бабушки и выполнять эту роль не менее успешно, чем фотопортрет Анны Ахматовой, сделанный великим фотохудожником Ю. Ростом.

Любитель танцевать не обязательно приобщён к музыкальной культуре. Такой беззаветный и нетребовательный танцор будет с удовольствием кружиться в упоительном танце и под звуки уличной шарманки, и под звуки вальса Чайковского из «Щелкунчика» в исполнении лучшего симфонического оркестра.

Внятных масок не слишком много, и они примитивны и прямолинейны: уголки рта чуть вверх — улыбка, сильно растянутый и открытый рот — смех, брови от середины лица кверху — оптимизм, книзу — пессимизм, нахмуренный лоб — сердитость, наморщенный — напряг мысли.

С помощью стандартных масок художник может придавать эти простые состояния персонажам своей картины. Но вот важные нюансы не обязательно будут зрителем увидены и прочитаны так, как замыслил художник. Зрительский психологический анализ вполне может активизироваться вне всякой связи с намерениями художника, в том числе и при совершенном отсутствии таких намерений.

Даже стандартные маски могут быть обманчивыми. У великого физика Эйнштейна бывало дурашливое выражение лица, оно и запечатлено на одной из фотографий. За клоунской маской Никулина или Чаплина стоял ум мудреца. И наоборот, если судить только по лицу, то иного преступника вполне можно принять за почтенного интеллигента.

Вообще, посмотрим правде в глаза. Возможности живописца ограничены. Он может пытаться силой своего таланта, творческими озарениями, подсказывающими ему идеи выразительности, а также особенностями имеющихся в его распоряжении технических средств передать зрителю те свои впечатления о выбранном им сюжете произведения, которые воспринимаются глазом, а затем — по весьма причудливым законам — интерпретируются мозгом. Успех даже этой скромной попытки — передать зрительное впечатление — зависит и от искусства художника, и от зоркости зрителя. А уж чувства и мысли по поводу зрительного впечатления рождает, в основном, душевная и интеллектуальная работа зрителя, и художник на результаты этой работы может влиять слабо. Впрочем, среди его средств — выбор сюжета и заглавие произведения.

Но зато в своей не безграничной сфере живопись действует успешнее некоторых других видов искусств, делающих иногда попытки живописать видимый глазом мир своими средствами. Попытаюсь пояснить мою мысль зыбкими, сознаю, примерами. Картины Моне передают впечатление о пейзаже определённое и чётче, чем музыка Муссоргского «Рассвет над Москвой-рекой», интерпретация которой — лишь это сочинение его заглавия — может быть в весьма широких границах произвольной. Музыка берёт другими возможностями. Но в обсуждение этой темы я здесь пускаться не могу.

Очень сильный конкурент живописи на её же поле — литература, которая средствами языка может достигать впечатлений, соизмеримых с впечатлениями, доставляемыми живописью.

Если строку Пушкина «Редеет облаков летучая гряда», в которой теснятся безошибочно выбранные автором из множества синонимов самые нужные, да ещё и с аккомпанементом из звуков «р», «д» и «л», сравнить с облаками из картины Марке, то впечатление от образа и красок явления природы, исходящее из картины, богаче того, что производит строка Пушкина, но за душу строка берёт не в пример сильнее.

Вообще, живопись — искусство холодноватое, рассудочное. Только психопат мог возбудиться от картины Репина «Иван Грозный и сын его Иван» и начать тыкать в этот холст ножом. Вся остальная публика вот уж много десятилетий проходит мимо этой картины (иногда чуть задерживаясь перед ней) молча, без патетических выражений ужаса.

В зрительном зале театра или кино часто звучат взрывы хохота, порой у части зрителей на глаза навёртываются слёзы (сочувствия, умиления, восторга). Порой сердце замирает от ужаса или от ожидания ещё неведомого, порой лица спокойно сидящих на своих местах людей краснеют или бледнеют. Сходную реакцию могут проявлять люди, сидящие у телевизора и смотрящие фильм о концерте Высоцкого. Сильные чувства можно

испытать, читая стихотворение Пастернака «Гамлет» или роман Толстого «Война и мир» в том его месте, когда Кутузову докладывают, что армия Наполеона побежала вспять не по Калужской, а по старой Смоленской дороге. Пушкину, сказавшему «над вымыслом слезами обольюсь» веришь, ибо над самой этой строкой (да и над всем стихотворением «Элегия», из которого эта строка выхвачена) много людей слезами обливалось.

При разглядывании картин в художественных галереях или репродукций в альбоме ничего подобного не происходит. Не плачут и не бледнеют посетители перед «Гибелью Помпеи» Брюллова. Да просто ухом не ведут эти чёрствые посетители. Даже самая смешная карикатура в газете может вызвать всего лишь улыбку, а не гомерический смех.

Понимающие посетители картинных галерей, составляющие от общего числа посетителей небольшой процент, испытывают (молчаливое и не слишком возбуждённое) наслаждение не столько от «содержания» произведения, т. е. от той реальности, которая с этим произведением ассоциируется, сколько от его формы: композиции, найденной и воплощённой художником, от точности его рисунка, от свойств его палитры, от гармоничности произведения в целом.

Тут-то и возможен тихий пир понимания преодолённых мастером трудностей и проникновение в методы их преодоления, которыми пользовался мастер. Форма на первом месте, а содержание может быть и морковкой, и императором, и безвестной обнажённой моделью, размышляющей во время сеанса о том, что готовить сегодня на ужин своему ребёнку. В царстве этих категорий нет точных определений и критериев. Здесь власть захватывают или её лишаются субъективные оценки, и могущество этой власти также оценивается субъективно. Одних впечатляет массовость успеха, других — собственный вкус и уважение к нему.

Мысли зрителя, созерцающего картину, могут улетать далеко. Не исключены побочные ассоциации и предположения о характерах персонажей, о событиях собственной жизни на берегу моря, так похожего на берег, о который бьются написанные маслом и заключённые в позолочённую раму волны, о тех или иных явлениях жизни. И не всегда осознаёшь, какие из этих переживаний и мыслей вызваны созерцаемым произведением (да и вызваны ли они по воле художника или их источник — в твоей собственной голове и событиях твоей жизни), а какие — вообще с картиной, которая перед тобой, не связаны никак, а возникли спонтанно по никому не ведомым причинам.

И ещё. Достигнутое художником портретное сходство изображённых им персонажей с их оригиналами может быть увидено и оценено только в тех случаях, когда зритель с образом оригинала знаком — либо из личного общения, либо — если оригинал является исторической личностью — из изображений, сделанных другими художниками или техническими средствами. Глядя на портрет Струйской или Суровцевой кисти Рокотова, мы верим, что эти портреты действительно похожи на живших когда-то молодых женщин только потому, что видим живописное искусство художника, составленное из таких понятий, как композиция, линия, цвет и пр. Мы бессознательно или сознательно обосновываем свою веру в сходство живописного изображения с оригиналом тем, что такой великолепный мастер композиции, линии и цвета не мог не суметь достичь такого пустяка, как портретное сходство. А в том, что это — пустяк, убеждают уже упоминавшиеся уличные художники, запрудившие все большие города мира или художники, изображающие фигурантов судебных заседаний.

Но ещё больший скепсис, чем вера в особые возможности живописи угадывать и передавать психологические черты и состояния своих персонажей, я испытываю к претензиям многих художников, подогреваемым многими искусствоведами, на способность генерировать и доносить средствами своего искусства до зрителя нетривиальные интеллектуальные и даже философские открытия.

Эти претензии я считаю совершенно неосновательными. Я сознаю, что оказываюсь с моим скепсисом в полнейшем меньшинстве: большинство культурных людей эту способность за живописью числят, и я плыву против течения.

Смелости быть протестантом мне придаёт тот факт, что человеческая цивилизация и без упомянутых претензий кишмя кишит всевозможными ложными идеями и верованиями (от бытовых суеверий, экстрасенсов, астрологов до радикального национализма и коммунизма), захватывающими на более или менее протяжённые времена умы и чувства людей, вовлекая их в бесполезную, а часто и опасную деятельность. Идея о философской миссии образительных искусств вполне укладывается в этот ряд. Исключительности нет и в успехе этой ложной идеи.

Её победное шествие началось с умствований группы художников, объявивших, что все видимые образы построены из кубов, конусов и цилиндров, и принявших на этом основании изображать на своих холстах странные и обычно уродливые нагромождения, смысл которых большею частью передавался зрителю лишь названием произведения. Художники, открывшие основополагающее значение кубов и конусов в формировании образа мира, создали и соответствующий этому открытию стиль в живописи и дали ему название: кубизм. Присвоение новому стилю особого имени придало ему флёр значительности.

Приверженцы кубизма изменили многовековому интенсивному направлению развития живописи. Все тропы этого направления имели одну общую основу: отображать зрительные образы реального или выдуманного мира. Пионеры кубизма затеяли совершить революцию — встать на экстенсивный путь и отдаться изобретению новых стилей и провозглашению новых принципов и задач, отличных от упомянутой основы.

К сожалению, идея переключиться на экстенсивный путь, на просторах которого всё разрешено, родилась в творческой практике талантливых и даже гениальных художников, например, Пикассо. Высокая репутация изобретателей кубизма придала ложной концепции авторитет, и на неё стали клевать и художественная критика, и публика, и другие художники, торопящиеся пристроиться и идти в ногу с триумфальным маршем новых течений в искусстве.

Вслед за кубизмом стали, как грибы, вырастать и другие «измы». Сюрреалист Сальватор Дали изобразил разные циферблаты часов, которые, в отличие от настоящих циферблатов, похожи на изделия из теста: они валяются на плоскости и свисают с её краёв. Эта картина объявлена философским осмыслением категории «время» и чуть ли не конгениальной теории относительности в физике. Ничего кроме трюизмов вроде того, что время — категория зыбкая, эта картина не выражает. Хороша ли эта картина, как произведение живописи? Мне кажется — нет.

Композиция из уродов со зверскими или умильными рожами и ужимками, представленная на картине Пикассо «Война и мир» претендует на глубокое проникновение в суть этих столь важных категорий человеческой цивилизации. Основательна ли эта претензия? Я уверен, что

нет. Во-первых, если б не название картины (а оно относится к словесности, а не к живописи), то однозначного ответа на вопрос, аллегорией чего картина служит, не существовало бы. Во-вторых, ничего более внятного, чем трюизм, вроде того, что война — это зло, а мир — это благо, из картины не извлечь. Да и истинность трюизма под вопросом: бывали войны, начинавшиеся силами добра против сил зла. Имеет ли эта картина живописные достоинства? По-моему, нет.

Другая разновидность новой живописи — абстракционизм. На холстах в рамках масляными красками или на бумаге акварельными изображаются орнаменты, вроде тех, которыми испокон веков украшали изделия из керамики или вышивали на тканях. Ставши предметом станковой живописи, эти орнаменты получили некое туманное мировоззренческое толкование. Одной из пиковых точек в нескончаемом издевательстве над публикой, состоящей из чайников, стала картина Малевича «Чёрный квадрат» — жемчужина одной из ветвей абстракционизма, взявшей себе таинственно-влекущее наименование суперматизм. Вот уж обдурил, так обдурил Малевич доверчивых зрителей! Какую же это идею открыла зрителю картина Малевича, исполненная вызывающе простыми средствами и не имеющая никаких живописных достоинств? Авторитету суперматизма послужило то обстоятельство, что и Малевич, прежде чем стать на путь мистификатора, был очень хорошим художником.

В наши дни большим успехом пользуется живопись концептуалиста Ильи Кабакова, первый период творчества которого показал, что он — художник большого дарования и вкуса. Ему принадлежат, в частности, великолепные стилизованные иллюстрации к книге переводов английских сказок.

Став концептуалистом, Кабаков начал создавать однотипные полотна. Каждое из них закрашено каким-нибудь одним цветом (быть может, с едва заметными оттенками), а наверху справа и слева изображено — весьма реалистично — по одному обыденному предмету: кнопка от дверного звонка, электрическая розетка и т. п. Рядом с предметом — небольшое белое прямоугольное поле, в котором на русском языке каллиграфическим почерком написана фраза вроде «Тётя Дуня ушла за керосином». Так что на каждой концептуальной картине художник дарит своему зрителю по две фразы, оставляя ему обязанность придумать философский смысл, заклочённый во всём зрелище. И придумывают. Чего только не выдумывают! Картины Кабакова покупают за большие деньги.

Успех всех перечисленных новых течений в живописи, претендующих на философское осмысление бытия, основан на умелом применении принципа «голого короля», открытого и описанного в одноимённой сказке Г.-Х. Андерсеном. Гадать и придумывать ту философскую истину, которую якобы являют человечеству холсты разных представителей разных течений, зачинатели этих течений и следующие за ними авторы новаторских произведений лукаво предоставили зрителям и искусствоведам, которые, как известно, всё проглотят, переварят и похвалят.

Даже если живописец способен генерировать нетривиальные философские идеи, он не может присущими его профессии средствами — линиями, пятнами, красками — передать их зрителю. Цивилизация научилась передавать нетривиальные идеи лишь средствами языка, да и этот способ не всегда даёт результат. Другое дело — провоцировать зрителя на рождение нетривиального смысла. Но на такие провокации способно всё что угодно: «Когда б вы знали, из какого сора...». Суть и качество философ-

ской идеи, вызванной созерцанием живописного произведения, зависит лишь от силы и свойств ума зрителя и никак не связано с философскими установками автора произведения и его потугами довести их до зрителя с помощью совершенно не пригодного для этой цели набора способов передачи информации. Стоит ли превозносить сор, из которого порой вырастает шедевр?

Косвенным признаком того, что авангардизм изначально не был способен одарить мир новым способом осмысления жизни, служат черты личности его вождей. Пикассо был, видать, разумом не бодр: стал членом компартии Франции и стал в ряды фарисейской армии борцов за мир. Дали приложил специальные силы для создания имиджа своей персоны — и усы отрастил, и украшал свои речи горделивой фанаберией. Истинные мыслители так скверно себя не вели...

Впрочем, здесь не место развивать эту тему и приводить более подробные обоснования моей обозначенной выше позиции и оценки авангардизма, и я, ограничившись мною сказанным, ставлю на этой теме точку.

Моё счастье продолжалось до 1981 г. В этом году окончила художественное училище Лёпина дочка Маша, давшая в Быкове за десяток лет до того толчок моему «Костянскому периоду», и Лёпа договорился с Катей Семердживевой об официальной передаче мастерской на имя Маши. Ну а Маша стала работать там по-настоящему, и мне там места не осталось. Бог дал, Бог взял.

Лишившись мастерской, я не решился организовывать её в квартире. У меня появились повышенные требования к условиям работы. С другой стороны, я очень интенсифицировал мои научные занятия, и в результате моё увлечение живописью с потерей мастерской окончилось.

Я раздаривал не только портреты их оригиналам, но и натюрморты. Таким образом, довольно большое количество моих работ висит в домах друзей в Москве. Несколько сот работ я разместил на дачах знакомых — на чердаках и в подвалах. А когда мы собрались в Израиль, возникла проблема. Взять в Израиль все мои работы я не мог. Их надо было проводить через специальную комиссию, да и места в багаже было мало. Я взял в Израиль десяток работ и развесил их в нашей Иерусалимской квартире и в доме нашей дочки Тома. Остальные работы согласилась приютить на своей даче наша родственница и близкий друг Рита Ушеровна Островская. Там они и находятся в момент написания этого текста.

В 1996-м году в Израиль приезжала Майя. Она была гостьей Наташи и Нины Михоэлс. Несколько дней она погостила в Иерусалиме у нас с Машей. Она узнала две работы из числа висевших на стенах нашей квартиры — те, которые были сделаны ещё во времена, когда она меня учила. Одна из них — та самая, похваленная Фальком.

Я с трепетом ждал, как Майя отнесётся к тем моим работам, которые были созданы в «Костянский период» и которых она не видела. Я не исключал, что скажет: «Дряпня!». Не сказала. Наоборот, одобрила.

ДОБАВЛЕНИЕ 3

Наконец — встреча с ЭВМ. Школа лаборантов. У Челомея. Служебное повышение. Сергей Хрущёв. Нравы Челомея. Слабость грозного Челомея к тишайшему Липшицу. Раиса Крепс. Володя Модестов. Подъём на вершину: М-20. Приток молодых специалистов. Империализм Челомея. Мою лабораторию переводят в Реутово. Возведение в ранг ВЦ. Рокировка. Отношение Челомея к своим замам. Склонность Челомея к евреям. Наум Абрамович Хейфец. Моя личная работа. Марта Исаева, Алла Сорокина и др. Научно-общественная жизнь советских программистов. Шура-Бура. Алгоритмические языки и еретик Саша Кронрод. Н. Н. Моисеев. В гостях у Эдгара в Вильнюсе. Челомей и крутильные колебания. Не высовывайся! Ещё о Сергее Хрущёве.

В нашем оборонном НИИ учёная степень не была непременным условием занятия тех или иных должностей, как это практиковалось в высших учебных заведениях и во многих гражданских НИИ. В Вузе доцент без кандидатской степени или профессор без докторской были редким исключением. Соответственно, в гражданских НИИ старшие научные сотрудники и заведующие отделом или лабораторией были кандидатами или докторами наук. У нас этого и в заводе не было. Первым кандидатом наук в ГСНИИ-642 стал Александр Борисович. Он как был до защиты начальником группы, так в этой должности остался и после. И зарплата его после защиты не изменилась. Со мной вышло немного иначе. Я в момент защиты был на невысокой должности старшего инженера, до которой только и успел подняться после низвержения из начальников отдела в простые инженеры.

Через пару недель после защиты дирекция сочла возможным сделать ещё один шаг по восстановлению моего прежнего служебного положения. Она предложила мне перейти в должности начальника группы в лабораторию аналоговых вычислительных машин, начальником которой был тот самый В. В. Алексеев. Это он незадолго до того, будучи председателем комиссии по анализу неудачных лётных испытаний последних двух Крабов, невольно оказался звеном в цепи моих служебных неприятностей. Хотя объективно роль Алексеева в этом деле не была по отношению ко мне явно недоброжелательной, всё же ассоциации с его именем у меня были негативные.

Впрочем, симпатии к Алексееву я не питал и раньше — из-за его сдержанной, на грани надменности, манеры поведения. Я всё отрицательное положил в карман и пошёл к Владимиру Викторовичу на переговоры. Алексеев сказал мне, что его лаборатория получает через несколько месяцев ЭВМ «Урал-1» и предложил мне организовать коллектив программистов. Он сказал, что знает от Александра Борисовича о моём интересе к этой области, о моих посещениях лекций и семинара Ляпунова и полагает, что в институте я самый подходящий для этого направления человек. Алексеев обещал мне профессиональную независимость.

Я согласился, и с этого момента я оказался у истоков отечественной компьютерной техники — не как любитель, а как профессионал. Я стал сотрудником Алексеева и начал организовывать группу программистов. В моей группе очутилась моя бывшая сокурсница, а потом сотрудница моего развалившегося отдела Анна Михайловна Соловьёва (Гуревич). Она была старшим инженером. Не помню, из какого отдела, в мою группу перешла работать молодая специалистка Тамара Мосолова. Только я один в этой группе успел хоть немного прикоснуться к программированию. Учебников не было. Была техническая документация с системой команд «Урала». Я стал обучать моих сотрудников тому немногому, что знал я сам.

Между тем, к началу 58-го года наш НИИ-642 стал по разным причинам совершенно увядать. Стали сворачиваться работы по созданию Щуки, куда-то со всем своим коллективом ушёл Надирадзе. Я со своего скромного поста истинных причин и деталей происходивших процессов понять не мог и, признаваясь, не очень стремился.

И вдруг в одну ночь всё переменялось. Высшие власти присоединили угасавший НИИ-642 к расцветавшей в тот момент фирме, которая называлась ОКБ-52 (а в миру — п/я 80). Эта фирма подчинялась Министерству Авиационной Промышленности (МАП). Присоединяя наш институт к ОКБ-52, его из бутафорского МСХМ выдернули, и нам стало не стыдно говорить, в каком мы министерстве.

Во главе ОКБ-52 стоял профессор В. Н. Челомей, который скоро стал академиком. ОКБ Челомея располагалось в г. Реутове под Москвой. Оно занимало огороженную и охраняемую территорию с парой—тройкой скромных зданий заводского типа, построенных едва ли не до революции.

Подобно легендарному в конце сороковых и в начале пятидесятых конструкторскому бюро КБ-1, благополучие которого зиждилось на том, что этим КБ руководил Сергей Берия, процветание ОКБ-52, наступившее в конце пятидесятых, стало следствием того, что хитрому Челомею, руководителю скромного конструкторского бюро (старые сотрудники вспоминали времена, когда за несколько дней до защиты эскизного проекта возникал естественный аврал, и их Главный конструктор, наряду со всеми сотрудниками, становился к светокопировальному станку, чтобы выпустить комплект чертежей в срок) удалось вовлечь в число своих сотрудников весьма ценного человечка — тоже Сергея, только фамилия у него была другая — Хрущёв.

А вовлечь Сергея Хрущёва в своё ОКБ Челомею помогло, как я понимаю, то обстоятельство, что Челомей был по совместительству профессором Бауманского института, а Сергей — его студентом, а потом и аспирантом. После защиты кандидатской Сергей ошастливил своего научного руководителя, став сотрудником его ОКБ. Замечу, что к тому времени другой Сергей по фамилии Берия, прообраз и аналог нашего, могущественный в прошлом, уже успел посидеть в тюрьме и находился на заштатной должности на каком-то заводе, расположенном в Сибири.

Сергей Хрущёв занимал формально не слишком (хотя для молодого кандидата — слишком) важную должность: он был всего лишь заместителем начальника большого отдела, занимавшегося системами управления летательными и космическими аппаратами, которые разрабатывало ОКБ. Начальником этого отдела был Владимир Семёнович Самойлов. Но фактически (естественно!) Сергей был самым приближённым к Генеральному конструктору человеком во всём ОКБ.

Руководители нашего института Крупнов и Ряполов в новую реальность не вписались (а может, с ними не захотел работать Челомей). Они ушли на какую-то другую руководящую работу, а нашим институтом — теперь уже филиалом ОКБ-52 — пару месяцев управлял один из приближённых заводов Челомея по фамилии Попок. Но скоро он понадобился Челомею в Реутове, и исполнять обязанности начальника нашего филиала поручили некоему Юрию Евгеньевичу Попову, который до соударения нашего института с ОКБ-52 занимал никем не замечаемый пост Главного технолога.

Как я уже сказал, захватившее наш институт ОКБ-52 занимало скромную территорию в подмосковном Реутове. Наш институт занимал гораздо большую территорию, и — в Москве. Поэтому, когда нас присоединили к Челомею, мы думали, что Челомей перенесёт центр управления своей разросшейся фирмы в Москву — в нашу группу зданий на Вельяминовской. Но это предположение оказалось ошибочным.

Наоборот, все те подразделения нашего института, которые Челомей счёл для себя нужными, он стал систематически переводить на реутовскую территорию. Это было дальновидное стратегическое решение. Наш институт находился хоть и в Москве, хоть и на довольно большой, но — бесперспективной территории: с трёх сторон её ограничивали московские улицы, а с четвёртой другая оборонная фирма ГСКБ-47. А Реутовскую — в тот момент маленькую — территорию было куда расширять. Что Челомей и стал активно делать.

Когда весной 58-го года «Урал» должен был вот-вот появиться, дирекция нашего филиала (видимо, с согласия Алексева, за что я ему благодарен) создала специальную лабораторию цифровых ЭВМ, а меня сделала и. о. начальника этой лаборатории. На наш филиал стала распространяться должностная сетка, принятая в МАПе. Там, кроме должностей, были приняты и звания. Я получил довольно высокое звание «ведущий конструктор» и должность и.о. завлаба, а Александр Борисович стал ведущим конструктором и начальником группы.

Кроме моей программистской группы, в мою новую лабораторию перевели тех сотрудников лаборатории Алексева, которых он принял на работу как раз для установки и эксплуатации «Урала». Группа «машинщиков» состояла из трёх или четырёх человек, и ею руководил Вадим Михайлович Корнеев. Он был чуть моложе меня. Сотрудники его группы тоже готовились к получению «Урала»: читали техническую документацию и старались наладить контакты с институтами и КБ, в которых «Уралы» были уже установлены. Участие поставщиков Урала в его установке у заказчика было минимальным. Вадим и его ребята устанавливали новую диковинку и осваивали её эксплуатацию в течение месяца — двух. Постепенно и мы стали составлять и выполнять первые программы.

Я совершенно не понимал, какие подразделения нашего НИИ-642 после всех перетрясок и реорганизаций, а так же кто из сотрудников Реутовской метрополии станут грядущий Урал использовать для решения своих задач. Но я действовал по Паркинсону: раз мы созданы, мы должны развиваться. Я понимал, что у нас мало программистов. Я предложил дирекции организовать курсы для подготовки лаборанток-программисток из окончивших десятилетку, но не пошедших или не попавших в высшие учебные заведения девочек. Это был август 58-го года. Эта идея понравилась многим. В НИИ, как и в каждом научно-производственном заведении, был специальный Отдел Подготовки Кадров (ОПК). Он традиционно за-

нимался подготовкой рабочих опытного производства к получению более высокого разряда. Выяснилось, что для дочки начальника ОПК, не попавшей в какой-то институт, наши курсы были очень в жилу. В аналогичном положении оказались и дочки (почему-то только дочки) ещё нескольких видных сотрудников института. Это стало мне в плюс.

Кроме отцовских чувств, начальнику ОПК было свойственно Паркинсоновское желание расширить поле деятельности его отдела на столь новую и престижную область. Этот психологический фактор способствовал тому, что для почасовой оплаты преподавателей (а ими стали я и две мои помощницы с высшим образованием — вышеупомянутые Аня и Тамара) нашлись деньги. Отдел кадров стал оформлять девочкам допуск к секретной переписке — так, чтобы после окончания курсов их можно было бы принимать на работу техниками-расчётчиками.

В распоряжении ОПК была учебная аудитория. Она находилась в том же несекретном отсеке выходящего на улицу здания, что и отдел кадров. Так что наши ученицы попадали туда без пропусков. Занятия на Курсах были интенсивными и регулярными: каждый день по шесть уроков. Мы составили учебный план, утверждённый дирекцией. Девочкам читали лекции по математическому анализу и высшей алгебре — с упором на вычислительные методы — и собственно программирование. Курсы длились с начала до весны 58-го года. Когда весной 58-го года пришёл, был смонтирован и заработал Урал, а девочки получили допуски к секретной документации, их приняли на работу, и они (вместе с нами!) стали учиться практическому программированию.

После окончания курсов девочки получили де факто квалификацию техников-программистов, и мы выдали им удостоверения, которые никакой формальной силы не имели, но — от того, что система обучения программированию была в стране в эмбриональном состоянии — пользовались уважением в среде московских специалистов и помогли некоторым из наших выпускниц устраиваться впоследствии на работу в другие учреждения.

В первые после установки Урала месяцы вычислительных заказов от конструкторских и исследовательских отделов ОКБ-52 мы не получали, и всё своё время и время наших учениц, ставших техниками, трагично на составление программ для реализации основных численных процедур: нахождение корней, максимумов и минимумов функций, решение линейных алгебраических уравнений, программ, реализующих численные методы решения дифференциальных уравнений и т. п. Эти работы были практикой для нас и для девочек, а кроме того, мы надеялись, что они когда-нибудь пригодятся в качестве подпрограмм при составлении программ, относящихся непосредственно к задачам по тематике ОКБ-52. Производитель Уралов поставлял свою продукцию заказчикам совершенно не оснащённой программным обеспечением. Единственное, что получал заказчик — это комплект программ для тестирования правильности работы некоторых узлов ЭВМ.

Производительность и технические характеристики Урала были и по тогдашним понятиям весьма ограниченными, а по теперешним — неправдоподобно смехотворными. Его оперативная память была реализована на магнитном барабане. Она называлась МОЗУ (Магнитное Оперативное Запоминающее Устройство), и её объём был равен 1024 32-разрядных ячеек, т. е. в теперешней терминологии 32 Кб. Для долговременного хранения данных использовалась магнитная лента. Скорость арифметического

устройства (АУ) была 100 операций в секунду. Данные были только числовые и — с фиксированной запятой. Это означало, что абсолютные значения операндов и результатов любой арифметической операции должны были быть меньше единицы. Чтобы этому условию удовлетворить, следовало алгоритм, подлежащий реализации на Урале, предварительно до того, как приступить к его записи в виде программы, специальным образом преобразовать: все входящие в алгоритм данные, т. е. постоянные параметры и переменные величины (исходные данные, промежуточные значения и результаты) представить в виде произведения некоторого масштабного коэффициента, умноженного на «масштабированную» величину. Масштабные коэффициенты надо было выбрать так, чтобы абсолютные значения масштабированных величин в любой момент выполнения алгоритма не превосходили единицы. Так как значения результатов тоже были масштабированными, то их значения, печатавшиеся на выходной бумажной ленте, следовало перед их передачей заказчику вычисления делить на соответственные масштабные коэффициенты. Таким образом, возможность Урала оперировать только данными с фиксированной запятой приводила к тому, что вокруг каждого вычисления, осуществлявшегося этой ЭВМ, возникал большой объём ручной вычислительной работы.

Программы и числовые исходные данные, вводимые в машину, перфорировались на киноплёнке. Мы понимали всю скромность нашего мастодонта, занимавшего трёхметровый участок стены (появившиеся тогда БЭСМ-2 и «Стрела» делали по 2-3 тысячи операций в секунду), но не могли оценить, справится ли наш Урал с задачами, которые потекут от сотрудников ОКБ. Но потоков этих задач не было.

Тогда, в 58-м, после присоединения к могущественной фирме, каждый руководитель подразделения нашего института, разжалованного в провинцию (а вместе с ним и его сотрудники) почувствовали себя вторым сортом и угадали имперскую атмосферу, царившую в Реутовской метрополии. Они стали понимать, что для того, чтобы выжить, надо, чтобы Челомей или хотя бы его приближённые сочли это подразделение и его руководителя для метрополии полезным.

Мой друг Александр Борисович Липшиц был сочтён полезным в глазах Хрущёва и других заметных сотрудников ОКБ и даже в глазах самого Челомея гораздо раньше, чем это произошло со мной. И притом без усилий самого, совершенно не склонного к саморекламе, Александра Борисовича. В предыдущих главах я писал о том, как расходились и сходились наши с Александром Борисовичем служебные дороги до пятьдесят седьмого года. Но работали ли мы вместе или нет, наши личные отношения никогда не разрывались. Отдел Борисенко, в который до соединения с ОКБ-52 входила группа Александра Борисовича, был после аншлюса расформирован. Группа Липшица попала в одну из лабораторий, входивших в отдел Самойлова-Хрущёва. Судьбы самого Борисенко и оставшейся (большей!) части его сотрудников я не запомнил. Ими люди Челомея не интересовались.

Последствия вхождения в отдел Самойлова были для Александра Борисовича положительными. Александр Борисович был быстро замечен Хрущёвым, и, несмотря на то, что по своему служебному рангу он был отделён от Хрущёва промежуточным начальством, Хрущёв вступил в профессиональные контакты с Александром Борисовичем непосредственно, а это автоматически привело и к вхождению Александра Борисовича в близкое окружение самого Челомея.

Дело в том, что основная тематика Челомея в тот момент, когда он колонизировал наш институт, была близка к Щуке Томашевича-Орлова. Только Щука отделялась от бомбардировщика, и её движение к цели управлялось штурманом, а изделие Челомея — тоже крылатая ракета — выпускалась с подводной лодки и управлялась как-то иначе. Но это различие не помешало команде Челомея использовать опыт Александра Борисовича по анализу результатов лётных испытаний крылатых управляемых снарядов.

Александра Борисовича стали брать на лётные испытания изделия Челомея, и он участвовал в анализе результатов непосредственно вместе с Челомеем. Таким образом, Челомей его приметил и зауважал. Это было довольно удивительно на фоне того, что, как и многие «главные», Челомей был сумасбродом и третировал всех своих подчинённых (особенно доставалось его ближайшим заместителям). Исключение Челомей делал только для (естественно!) Хрущёва. Вторым исключением стал Александр Борисович. Возможно, я чуть преувеличиваю, но — не сильно.

Бывало, что случайно встретив где-нибудь на территории ОКБ Александра Борисовича, грозный Челомей останавливал его, брал с собой и приводил его — мимо молчаливой охраны — в свой недоступный для простых смертных кабинет. Там непредсказуемый хозяин кабинета, сняв с себя царственный грим и облачение, час — полтора разговаривал со своим радушно названным, но скромным гостем. Челомей вёл разговор обычным человеческим образом. Лучше сказать, что Челомей не снимал, а почти снимал грим, ибо он и перед бесхитростным Александром Борисовичем рисовался.

Темы шеф выбирал свободные, вовсе не связанные с работой ОКБ или с работой самого Александра Борисовича (о деталях которой с какого-то момента Челомей, находясь на вершине, и не знал). Александр Борисович рассказывал мне как-то после одной из таких бесед, что Челомей в этот раз стал рассуждать с Александром Борисовичем о природе научного творчества. В основном разглагольствовал Челомей, а Александр Борисович всё больше кивал головой и поддакивал.

Челомей поведал своему гостю, что научная идея приходит в голову иногда случайно и в неоформленном и в не годном для её публикации и применения виде. Что продвигаешься в её разработке и в доведении до законченного научного результата только в ходе непрерывного размышления об этой идее. Иногда — поневоле — на фоне других занятий. «Вот, бывает, — говорил доверительно Челомей Александру Борисовичу, — Сижу на совещании у министра или провожу совещание у себя, или иду в булочную за хлебом — жена пошлёт — а в голове неотступно вертится ОНА»...

Как Челомей ведёт себя на совещании у министра (обдумывая навязчивую научную идею), Александр Борисович себе примерно представлял. Как Челомей (в том же умственном расположении) покупает по поручению жены хлеб, Александр Борисович не представлял совсем и, рассказывая мне об этом разговоре, простодушно сомневался (вместо того, чтоб сказать: «Вот уж, заврался шеф!») в реальности такого рода эпизодов. Но как Челомей проводит (со сверлящей его мозг научной идеей) совещания у себя, Александр Борисович знал хорошо, потому что его на такие совещания иногда (особенно в начале шестидесятых) приглашали.

Александр Борисович рассказывал мне, как на одном совещании Челомей, недовольный Эйдисом (побывавшим замом Томашевича, потом Орлова и взятым Челомеем также на роль одного из своих многочисленных

замов), не веря его докладу, кричал на него: «Я Вас, товарищ Эйдис, на чистую воду выведу!...». Такая у Челомея была обычная форма обращения к подчинённым; он её скопировал, я думаю, ещё давно с известной всем сталинской манеры. По имени-отчеству Челомей обращался к немногим избранным — при добром расположении духа в хорошую минуту.

Пользуясь своим новым неожиданным привилегированным — хоть и не формально — положением, Александр Борисович предпринял кое-какие интриги для того, чтобы в глазах команды Челомея полезной была сочтена и моя лаборатория с «Уралом». Для этого он свёл меня с некоторыми своими новыми сослуживцами и начальниками. А главное — он обратил на нашу лабораторию внимание Самойлова и Хрущёва. Без этого мы могли бы пребывать в провинциалах ещё много месяцев или даже всегда.

Моей карьере помогло удивительное обстоятельство. В момент нашего слияния у Челомея не было собственной вычислительной техники, и поэтому у меня не оказалось конкурента — одноимённого специалиста из ОКБ-52, который, буде он существовал, съел бы мою скромную лабораторию, не разжёвывая. Но в моей сфере был благословенный вакуум, чем и поспешил воспользоваться Александр Борисович в своих незамысловатых интригах.

В результате наша лаборатория была включена в состав отдела Самойлова, и я стал контактировать с Сергеем Хрущёвым довольно тесно. У меня остались самые положительные впечатления о его профессиональных и человеческих качествах. Это был вежливый, мягкий, со скромной повадкой, очень неглупый и технически эрудированный человек. Он не кичился своим высоким фактическим положением, но и не опускался до его ханжеского отрицания.

К моменту, когда в моей лаборатории заработала скромная ЭВМ «Урал-1», выполнявшая сто операций в секунду, в стране уже функционировало несколько штук ЭВМ «Стрела», которая выполняла 3000 оп/сек. Но на такое чудо, как «Стрела» наш скромный НИИ-642 претендовать не мог. Её заполучали только очень авторитетные организации. Например, в КБ-1 её успели, кажется, получить ещё при царствовании там Сергея Берии. В ВЦ МГУ её тоже установили. Была она и в ОКБ Королёва в Подлипках.

Я постарался завести среди влиятельных сотрудников Челомея заказчиков на решение их задач средствами ЭВМ. Тут и выяснилось, что нашего Урала хватает не на многое. Подходящим он оказался только для решения задач руководительницы одной из групп, старой сотрудницы Челомея, Раисы Осиповны Крепс, которая, в свою очередь, была женой академика-физиолога Крепса. Она была моего возраста или чуть старше.

Это были какие-то дифференциальные уравнения гидродинамики (возникавшие, видимо, вследствие того, что тогдашние изделия фирмы Челомея выпускались из подлодок; от проникновения в суть дела я тогда уже начал сторониться). Мы составили программу для Урала и стали задачи Крепс потихоньку решать, что нас с Раисой Осиповной сдружило.

В процессе поиска корма для нашего Уральчика я познакомился и с Реутовским начальником теоретического отдела, который ходил у Челомея в любимчиках. Его звали Владимир Александрович Модестов. Он был ровесником и приятелем Самойлова и Хрущёва, т. е. ему было под тридцать, а мне уже — под сорок...

В отличие от вежливой и доброжелательной Крепс, руководившей группой в отделе Модестова, её начальник, подражая шефу, был надменен, нелюбезен и резковат. Он сказал, что его отдел начал заниматься уравнениями движения искусственных спутников земли и космическими траекториями баллистических ракет, что мощности Урала для таких задач не хватит, что он, Модестов, отдаёт свои задачи в ВЦ МГУ, в котором была «Стрела»

Модестов посоветовал мне, если я хочу быть востребованным новым режимом, предпринять усилия для того, чтобы нарастить вычислительную мощность нашей лаборатории. Это был хороший совет. Модестов предложил мне — пока у нас есть только Урал — взять на себя посредническую миссию, представляя интересы сотрудников отдела Модестова при решении их задач в ВЦ МГУ. В его отделе с программированием тогда никто знаком не был, и сотрудникам Модестова, ставившим задачи для программистов ВЦ МГУ, не хватало квалификации, чтоб работу программистов ВЦ контролировать. Теперь Модестов понял, что у него для контактов с ВЦ МГУ могут появиться свои люди. Эта работа была для меня и для моих коллег работой по существу неинтересной, но делала нас полезными патрициям Метрополии и вводила в мир мощных (по тогдашним меркам!) ЭВМ.

Впрочем, я не исключаю, что надменность Модестова была маской, которую он надевал, имея дело с новыми людьми, неосведомлёнными, быть может, о его значительности. Старые сотрудники Челомея, вроде Крепс, говорили о Модестове вполне доброжелательно и называли его и за глаза, и в глаза просто Володей.

Летом 58-го кто-то из замов Челомея послал меня на научную конференцию в НИИ ВМС, проводившуюся в Петергофе. Там среди прочих тем было что-то, связанное с тепловыми головками самонаведения. К этому времени, кроме меня, никого из бывших сотрудников Свечарника, разбирающихся в этой теме, не осталось.

В те времена гостиницы даже в больших городах были проблемой. «Командировочные» останавливались на частных квартирах или у родственников. У моей кузины Юры я остановиться, как я это делал раньше, теперь не мог: она не простила мне вступления в новый брак. Я поделился с предстоящими жилищными трудностями с некоторыми коллегами, и тогда Раиса Крепс сказала, что в Ленинграде есть хозяйка, у которой сотрудники ОКБ-52, в частности, Володя, обычно останавливаются. Модестов мне адрес и телефон этой хозяйки вполне любезно дал, и я прожил там несколько дней. Рекомендация Модестова оказалась весьма эффективной, и, упоминая его, хозяйка квартиры и её сын-архитектор тоже называли моего важного сослуживца просто Володей.

Профессиональных глубоких следов эта поездка не оставила. Я выступил на конференции в Петергофе, а остальные дни, что конференция продолжалась, а моя командировка длилась, заполнились другими делами. Несколько раз я полежал на Петергофском пляже и поплавал в Финском заливе. Рекомендованная мне Модестовым и Крепс частная квартира находилась недалеко от Казанского Собора — в начале переулочка или улицы, отходившей в тех местах от Невского.

Я позвонил моей Юре. Она не захотела принять меня, но попросила о встрече. Мы ходили с ней в течение часа — полутора по Невскому, и она всё это время уговаривала меня вернуться к Гале. Мы расстались с ней практически навсегда.

В тот приезд в Ленинград было у меня ещё одно дело — хозяйственное. В Ленинграде свободно продавался холодильник, который в Москве купить было совершенно невозможно. Тогда в Союзе специального производства холодильников не было. Холодильники выпускали в качестве подсобной продукции цеха больших заводов. Выпускались две модели.

Одна — со сравнительно большой холодильной и морозильной камерами — была разработана на автозаводе ЗИЛ и носила то же название. Это был совершенно недоступный по цене холодильник, да и был на него дефицит.

Вторая модель выпускалась под разными названиями (связанными, видимо, с названиями или местоположением заводов изготовителей). Именно в таком холодильничке под названием «Газоаппарат» мы пытались сберечь уток для банкета по случаю моей защиты диссертации. Наших с Машей денег и места в квартире хватало только на такой мало-мощный агрегат. Ленинградский аналог «Газоаппарата» носил название «Ленинград». Помимо обычных резонансов в пользу холодильника, у нас был особый: с июня 58-го Маша стала ждать ребёнка.

За день до отъезда я купил в Гостином дворе холодильник, сговорился с крутившимся около магазина водителем грузовика и свёз покупку на багажный двор Московского вокзала. Отправка багажом стоила сравнительно недорого, и хлопоты и расходы, связанные с покупкой холодильника в Ленинграде и с отправкой его в Москву, были предпочтительней рысканья по Москве в поисках магазина, записью в очередь, взяткой — если повезёт — продавцу за льготное обслуживание и пр.

«Ленинград» был маломощный и небольшой — что нибудь вроде 60×60 в основании и вроде метра в высоту. Через несколько дней я подхватил — уже в Москве — грузовое такси или левую машину и привёз «Ленинград» на Арбат в нашу двадцать четвёртую квартиру, в переднюю. Это был первый холодильник у жильцов нашей коммунальной 24-й квартиры.

Вскоре после возвращения из Ленинграда я стал хлопотать об увеличении вычислительной мощности нашей лаборатории. Я объяснил Хрущёву, сославшись на мои разговоры с Модестовым, что мощность нашего Урала для решения задач ОКБ совершенно недостаточна. Не исключаю, что и Модестов успел поделиться с Хрущёвым своими соображениями на этот счёт. Моей фантазии хватило только на то, чтобы сказать Хрущёву, что нам нужна новая модель Урала — «Урал-2» — которую начал тогда выпускать Пензенский завод ЭВМ, разработавший и выпускавший Урал-1. Эта ЭВМ была почти такого же класса, как «Стрела», но имела перед ней и некоторые технологические преимущества — например, использовала уже не радиолампы, а полупроводники.

Сергей тут же снял трубку, позвонил важному чиновнику Госплана и стал выяснять у него возможность получить Урал-2. Чиновник в ответ угодливо посоветовал Сергею заказывать сразу М-20 и сказал, что он сам же выполнение такого заказа и обеспечит. Хрущёв, зажав трубку рукой, сказал мне о контрпредложении. Я радостно закивал, и в два счёта мы получили разнарядку не только что на «Урал-2», а на готовящуюся к производству новую машину, фантастически производительную по тогдашним временам Число «20» в её названии означало, что новая машина делает 20 тысяч операций в секунду!

Конечно, Сергей для проформы доложил Челомею об этих шагах и получил одобрение. Проблем денег не было. Министерство наш заказ

«профинансировало». Я поехал к чиновнику Госплана, который был рад стараться, и получил от него наряд на престижную и полезную вещь. Хотя мы были очень важным заказчиком, но растолкать очередь, в которой уже толпились ОКБ Королёва, Институт Прикладной Математики Келдыша, связанный с ядерной программой, и ещё несколько первачей, чиновник не мог, да и Челомей не стал бы, невзирая на своё могущество, перебегать в высших сферах дорогу своим тоже не хухры-мухры конкурентам.

Выпуск М-20 ещё не начался, и наш экземпляр мы могли ожидать во второй части 60-го года — т. е. года через полтора после того, как наше ОКБ получило «наряд» на её выделение. Челомей отдал распоряжение своим службам, и под новую ЭВМ стали готовить огромный зал с вентиляцией для собственно ЭВМ, зал для программистов и подсобные помещения. Всё это было намечено разместить в большом старом заводском корпусе, расположенном на Реутовской территории.

Среди заместителей Челомея было много евреев. Он антисемитом не был вовсе. Но он по разному относился к тем замам (независимо от их национальности), которые работали с ним с самого начала его карьеры, и к тем, которые возникали в процессе присоединения к его фирме новых, ранее самостоятельных заводов, конструкторских бюро и институтов. Более того, старый начальник бригады чувствовал себя с Челомеем свободнее, чем новый заместитель Главного.

Самыми сильными чувствовали себя два зама: Самуил Львович Попок и Михаил Ильич Лифшиц. Они были примерными ровесниками шефа (т. е. лет на десять старше меня) и работали с ним с незапамятных времён. Попок был высоким полноватым вальяжным мужчиной с лысоватой головой. Он вполне правильно говорил, но в его речи слышался лёгкий белорусско-еврейский акцент. Попок ведал всеми хозяйственными и административными делами. Под его началом были бухгалтерия, плановый отдел, отдел труда и зарплаты, отдел капитального строительства, медпункт, скоро ставший большой поликлиникой, столовые и пр.

Лифшиц был невысоким чуть склонным к полноте брюнетом с типичным еврейским лицом и речью, приправленной украинско-еврейским акцентом. Он говорил громко и резко. Лифшиц управлял научной, лабораторной, конструкторской деятельностью фирмы и опытным производством. Соответственно, через Лифшица проходили контакты с заказчиками фирмы и её смежниками. Он же отвечал за отдел научно-технической информации.

И Попок, и Лифшиц, несмотря на своё особое положение, вели себя по отношению к шефу так же подобострастно, как и большинство других сотрудников фирмы всех рангов. За исключением, смею думать, Сергея Хрущёва, который за глаза говорил о шефе с чуть ироничной почтительностью, но, оставаясь с ним наедине (чего мне наблюдать не довелось), говорил, возможно, с шефом раскованнее других своих коллег. Но, будучи подобострастными с Челомеем, Попок и Лифшиц вели себя грозно, часто — просто по-хамски по отношению к собственным подчинённым, среди которых были и замы Главного, но — рангом пониже..

Упоминая шефа в своих разговорах с другими сотрудниками, все замы называли его чаще всего по имени отчеству или, в крайнем случае, обозначали его почтительным «Генеральный». Слово «шеф» они употребляли только в хорошую минуту, рассказывая о благополучной встрече с грозным начальником.

Чуть менее уверенно и чуть вежливее с подчинёнными, но ещё более подобострастно по отношению к Челомею и к его тени вёл себя следующий зам из сравнительно старых — Семён Борисович Пузрин — тот самый Пузрин, который участвовал с нами за несколько лет до того в качестве представителя военной приёмки в процессе выдачи задания специалистам СКБ-245 на тренажёр для Шуки.

В какой-то момент Пузрин военную службу оставил и неведомыми мне путями попал в замы к Челомею. Формально он руководил расчётными и лабораторными подразделениями, т. е. его прямым начальником был Лифшиц. Соприкоснувшись вскоре с Пузриным по нескольким служебным поводам, я снова почувствовал его полную импотентность — и на этом его важном посту в этом новом качестве. Презрительно отзывался о нём и Хрущёв. Плоховато чувствовал себя Эйдис, которого, как я уже сказал, Челомей взял в команду своих замов.

Итак, наша лаборатория продолжала находиться на «Московской территории». Мы решали кое-какие задачи на нашем карликовом «Урале», (занимавшем половину нашего зала), готовились по всем линиям к получению М-20 (голубая мечта, которая начала сбываться, за что я готов был терпеть отдалённое тиранство Челомея и близкую недвусмысленно выказываемую неприязнь Модестова). Я часто ездил в Реутово, встречаясь с Хрущёвым для обсуждения текущих дел лаборатории и с Модестовым и его сотрудниками по делам решения их задач в ВЦ МГУ.

Подготовка помещения для М-20 велась под руководством важного С. Л. Попка. Первый этап подготовки состоял в том, что из этого помещения выгнали подразделение, которое его занимало издавна. На недоумённые вопросы начальника относительно того, куда же переезжать ему с оборудованием и сотрудниками, Челомей через своих помощников передал: «Пусть убирается, куда хочет». Такой был стиль. Конечно, изгоняемое подразделение было фирме необходимо, и помощники Челомея место ему нашли. Но Челомей любил таким простым и грубым способом давать понять, кто для него в данный момент важен, а кто — не очень.

Проектом реконструкции и его реализацией конкретно занимался отдел капитального строительства (ОКС), начальником которого был Иншаков. Я и Вадим Корнеев два—три раза на неделе бывали у него врозь и вместе. В технических условиях установки М-20, которые мы получили от изготовителя, были разделы об электропитании, об охлаждении и о конструктивных характеристиках зала, где будет устанавливаться машина.

Во-первых, это должен был быть очень большой и высокий зал. Современный персональный компьютер (РС), даже модели двадцатилетней давности, может делать гораздо больше, гораздо надёжнее и гораздо быстрее, чем могла делать М-20. Но современный РС уместается на письменном столе, а главный компонент М-20 был похож на орган в большой церкви или в Малом Зале Консерватории. Кроме главного агрегата были шкафы и тумбы поменьше: перфораторы, устройства для обмена данными с магнитофонными лентами, печатающее устройство и пр. Облик и возможности автомобиля за это время изменились не столь разительно.

Второе требование состояло в том, что зал должен был быть на первом этаже — во избежание вибраций. Но уже на первой или второй встрече Иншаков сказал нам, что перемещать оборудование первого этажа выделенного нам здания очень сложно, и что он, Иншаков, доложил об этом Челомею. Челомей будто бы полистал чертежи с предлагаемой изготовите-

лем компоновкой устройств машины в зале и сказал, что если компоновку несколько видоизменить, то и на втором этаже этого корпуса вибраций не будет. Это решение Генерального было принято к исполнению, и будущее показало, что вибраций таки не было.

Ещё на одном из совещаний, проводившихся на стадии проектирования нашего будущего помещения, Иншаков показал нам цирковой номер. Возникли какие-то проблемы с тем, как вести вентиляционный короб по внешней стене здания. Иншаков почему-то считал, что разрешение на предлагавшийся в проекте и удобный для эксплуатации М-20 вариант может дать только Генеральный. Нам с Вадимом представлялось, что и власти Попка на это решение достаточно. Но Иншаков снял трубку внутреннего телефона, на вопрос (очевидно, секретарши) ответил: «Иншаков», а ещё через секунду заговорил совершенно спокойно: «Здравствуйте, Владимир Николаевич, нам тут желательно повести вентиляционный короб вдоль правой от входа стены, но при этом слегка загораживается одно из окон цеха № Вы разрешаете, Владимир Николаевич? Спасибо, Владимир Николаевич. Нет, это всё, Владимир Николаевич». Мы с Вадимом оторопели уже в том момент, когда поняли, что Иншакова беспрепятственно соединили с шефом. А на скромного начальника отдела Иншакова, спокойно и без всякого подобострастия говорившего с грозным правителем, мы смотрели как на дрессировщика, сунувшего голову в пасть ко льву.

Положив трубку и увидев наше обалдение, Иншаков пояснил, что он с Челомеем работает очень давно, что он не всегда уверен, что Челомей может с ним в данный момент разговаривать или принять в своём кабинете, но в корректности и в доброжелательности Владимира Николаевича уверен всегда.

С другой стороны, я как-то участвовал в совещании на ту же нашу тему, которое проводил Попок. Во время совещания зазвонил белый телефон на письменном столе величественного, высокого, тучноватого и лысоватого Самуила Львовича. Это был аппарат прямой связи с Генеральным. Поднимая трубку, Попок синхронно сам начал вставать из своего кресла. Первые слова он произнёс, не дожидаясь, пока заговорит трубка, уже стоя во весь рост. Этими словами были: «Слушаю Вас, Владимир Николаевич!». Стоял он и в течение всего телефонного разговора с Челомеем. Реплики Попка были короткими и положительными: «Да, Владимир Николаевич», «Слушаю, Владимир Николаевич» и т. п.

Сразу после решения о том, что мы получим М-20, стало ясно, что нашего персонала, достаточного для хилого Урала, на эксплуатацию великанши М-20 не хватит. С подачи Сергея Хрущёва мы получили дополнительный штат. Министерство Высшего Образование выделило Челомею лимит на нескольких выпускников с мехмата МГУ, и я весной 60-го поехал на распределение — теперь уже в качестве работодателя, вербовавшего выпускников. Эта комиссия заседала на Ленинских горах — на том же этаже, где читал лекции и руководил семинаром Ляпунов. На такие распределения я ездил ещё две или три весны после этого.

К нам шли иногородние выпускники мехмата, которые в студенческие годы жили в общежитии. Московские учреждения, которые не имели возможности давать ни московскую прописку, ни жилплощадь в Москве, такую категорию выпускников принимать не могли. Такая же ситуация была с выпускниками других московских вузов. А ОКБ-52 построило для молодых специалистов общежитие в Реутове и поэтому было для иногородних

выпускников очень привлекательным: есть общежитие с близкой перспективой получения отдельной комнаты, областная прописка, и Москва — очень близко.

«Под М-20» получили мы и нескольких молодых специалистов из МАИ и МЭИ со специальностями ближе всего подходившими для переквалификации в инженеров по эксплуатации цифровых вычислительных машин. Непосредственно специалистов нужного нам профиля тогдашние втузы ещё не готовили. Это была заря компьютерной деятельности в стране. Для молодых инженеров мы тоже организовали обучение, пригласив преподавателями нескольких инженеров из СКБ-245, участвовавших в разработке М-20.

Все полтора года между моментом выделения нам наряда на получение М-20 и её фактическим получением и завершением установки машины в Реутове мы оставались на старом месте — на «Московской территории», как пренебрежительно называли новую колонию коренные работники ОКБ-52, расположенного в столичном Реутове.

Шло переоборудование второго этажа заводского здания, в котором предстояло работать и самой М-20, и её рабам — инженерам-эксплуатационникам и программистам. Уже в этот период произошла моя первая встреча с Челомеем. Фоном, на котором состоялась та встреча, была патологическая ненадёжность нашего «Урала». Это была дохлая машина — и не только по своей малой производительности. Как и все советские ЭВМ, наша блоха всё время выходила из строя, и на неё кидались ребята из группы Вадима — устранять очередную неполадку. Это советское свойство сохранилось на много десятков лет. Даже машины, выпускавшиеся в Москве, в Минске и в Пензе в восьмидесятых годах, обладали таким же норовом. То и дело они «зависали».

Итак, иду я как-то по нашему этажу, а встречные мне говорят, что в мою лабораторию направилась большая группа — Челомей со свитой. Это был второй или третий его инспекционный приезд на Московскую территорию — за два примерно года, прошедшие после её аннексии. Я поспешил, кляня по дороге недобрый момент: вот уж два дня «Уральчик» был в привычной глубокой коме.

Но когда я вошёл в лабораторию, то застал деятельное оживление. Вадим уверенным голосом давал пояснения высоким экскурсантам, лампочки на панелях лихо и красиво мигали, а печатающее устройство время от времени выдавало колонку цифр. Ничего другого цифровые вычислительные машины выдавать тогда не умели. И, как выяснилось через три минуты, не умели к счастью для нас. Я поздоровался с Челомеем и представился ему. Он вежливо поблагодарил Вадима и стал расспрашивать меня о том, благополучно ли идёт подготовка к установке М-20. Разговор был вполне приятным, продолжался минуты полторы, после чего Владимир Николаевич с дружиной удалился.

Я вытаращился на Вадима и спросил, за сколько секунд до появления Челомея заработала машина. Вадим сказал, что машина не работает по-прежнему, что он поставил тестовую программу, проверяющую работу МОЗУ, а Челомею сказал, что идёт решение задачи Крепс. Слово «Крепс» было гостю знакомо, и он остался доволен. Тест, кстати, исправно выдавал через печатающее устройство и лампочки на панели информацию об ошибках и сбоях в работе МОЗУ. Если бы печать могла выдавать не только цифровые коды, но и текстовые сообщения, мистификация Вадима рисковала бы стать обнаруженной. А так — мигание неоновых лампочек

на панели, бодрый вид выползавшей из печатного устройства узкой ленты и ложь Вадима на голубом глазу Шефа покорили.

Благодаря Сергею Хрущёву ОКБ Челомея занимало в министерстве совершенно особое положение. Челомей имел неограниченный доступ к дефицитным ресурсам и к оборудованию. В течение двух—трёх лет рядом со старыми заводскими помещениями на наших глазах выросло несколько новых многоэтажных корпусов, а штат ОКБ увеличился в несколько раз.

Кабинет Челомея сначала находился на третьем этаже небольшого старой постройки дома. Когда-то в нём было заводууправление того старенького производства, в котором размещалось дохрущёвское ОКБ-52. Сотрудники называли этот трёхэтажный домик — вследствие его цвета и разных ассоциаций — «Белым Домом». Потом Челомей переехал на последний этаж нового огромного лабораторно-конструкторского корпуса. И до, и после переезда в новый корпус этаж, на котором был кабинет Челомея, охранялся дополнительно; на этот этаж пускали только тех сотрудников, у кого была специальная отметка в пропуске или того сотрудника, кого глава фирмы вызывал к себе по конкретному поводу, и о ком на пост охраны звонила его секретарша.

У Челомея были замашки императора Павла. Он диктовал свою волю и свои сроки всему комплексу институтов и конструкторских бюро, которые участвовали в разработке тематики ОКБ-52. Заказчики из военного ведомства, с которыми рядовые главные конструкторы, вроде Свечарника, старались ладить, перед Челомеем трепетали и принимали все его технические условия и одобряли всю продукцию ОКБ. Справедливости ради надо сказать, что Челомей, действительно, был очень талантливым инженером и организатором и умело использовал свои особые возможности. В частности, в середине шестидесятых годов его детище, баллистическая ракета «Протон», стала широко известна.

Челомей был последовательным захватчиком. Через три или четыре года после поглощения нашего НИИ-642 Челомей такую практику продолжил. В 60-м году после смерти Генерального Конструктора С. А. Лавочкина его огромная конструкторская и самолетостроительная фирма была присоединена к фирме Челомея в статусе её филиала. А замов Лавочкина — Хейфеца и Чернякова — Челомей включил в уже и так немалую команду своих замов. Зачем ему эти замы понадобились — полная загадка. Этих «новых» замов Челомей просто-напросто третировал. Черняков поработал у Челомея лишь несколько месяцев. На большее его не хватило. Хамского обращения шефа он не вынес и от Челомея ушёл. Наум Абрамович Хейфец остался в Реутове, и к нему перешла часть подразделений из тех, которые числились за Пузриным.

Вместо того, чтобы во главе фирмы Лавочкина поставить Хейфеца или Чернякова, которых коллектив фирмы знал и уважал, Челомей вскоре сослал управлять присоединённым КБ Лавочкина Эйдиса. Такое назначение было счастьем для Эйдиса, да и сотрудники Семёна Алексеевича, привыкшие к корректности покойного шефа, были Эйдисом довольны, хотя, повторяю, привычные евреи были б им милее.

...Ещё через пару лет, после смерти Генерального Конструктора Мяснищева, Челомею отдали в качестве филиала завод и ОКБ-22 в Филях, которыми Мяснищев руководил. В это время у Челомея появился новый зам по фамилии Бугайский. Этому новому заму Челомей придал весьма высокий статус (все замы были в разных положениях и конкурировали за место в сердце шефа). Возможно, что Бугайский был заместителем

Мясищева, и Челомей, следуя своей манере, сделал его своим замом и взял к себе в Реутово. Но после нескольких месяцев работы с Бугайским Челомей увидел, что это — крепкий орешек. Шеф потерпел-потерпел и Бугайского от себя отстранил, сделав его начальником филиала в Филях (каламбур).

...Бугайский оказался самым свободолюбивым из замов Челомея. Через пару лет работы наместником Челомея в Филях он взбунтовался радикально, и бывшее Мясищевское ОКБ от Челомея отсоединили, и главой этой фирмы стал Бугайский. Это произошло уже после моего ухода от Челомея и, скорее всего, после падения Хрущёва-Отца и изгнания из ОКБ-52 Хрущёва-Сына...

Присоединённые фирмы становились колониями ОКБ-52. Челомей переводил оттуда в Реутово наиболее ценных с его точки зрения сотрудников, а туда — ссылал неугодных. Этой политикой Челомей одновременно решал две задачи: увеличивал свои ресурсы и вес и уменьшал число конкурентов. В течение короткого периода подобной деятельности Челомей стал объектом ненависти многих своих подчинённых, военных заказчиков, своих коллег — руководителей других фирм, находившихся от него в зависимости или конкурировавших с ним. Сам Челомей был завистлив и ревнив. Он ненавидел С. П. Королёва, который добился блистательного выхода в космос задолго до Челомея. Говорили, что Королёв платил Челомею тоже ненавистью, но — не только как к могущественному конкуренту, баловню Хрущёва.

...Уже находясь в Израиле, я прочёл в одной русскоязычной газете перепечатку статьи из русской газеты, автор которой утверждал, что дополнительной причиной нелюбви Королёва к Челомею было то обстоятельство, что во времена пребывания Королёва на шарашке там же работал и Челомей. Но в несколько другом качестве: он был вольнонаёмным, приставленным начальством контролировать работу и поведение зека Королёва. Правдоподобно. Но достоверно ли?..

Как всякий деспот, Челомей был объектом не только ненависти, но и безоглядного — часто искреннего — почитания со стороны многих своих подчинённых. Эти обожатели поднимали его образ до небес. Ведь кому хочется подчиняться диктату ничтожества? Диктату гения подчиняться не зазорно.

После того, как в конце 1960-го года наша М-20 была получена, и её установили на заданном месте в Реутове, мою лабораторию перевели из Москвы туда. Никому не нужный Урал остался в Москве. При переводе лаборатории из колонии в метрополию она была превращена в Вычислительный Центр — самостоятельный отдел ОКБ.

Через два—три месяца после того, как статус нашего подразделения был повышен, произошла небольшая рокировка. Начальником нового ВЦ был назначен мой заместитель Вадим Михайлович Корнеев (член партии и русский), а я (беспартийный еврей) стал его заместителем. Наши сферы деятельности были чётко разделены. Вадим отвечал за установку и эксплуатацию оборудования, а я — за программистскую работу. Надо сказать, что мы с Вадимом сохраняли сердечнейшие отношения как до, так и после упомянутой рокировки. Вновь образованный ВЦ вывели из отдела Самойлова-Хрущёва и подчинили Хейфецу, который — как начальник и как человек — оказался выше всяких похвал.

В Реутове мы снова оказались с Александром Борисовичем рядом, хотя и в разных подразделениях ОКБ. Возобновились наши совместные

обеда и прогулки по разрастающейся территории фирмы или за её недалёкими пределами. Обедали мы то в столовой фирмы, то на наших рабочих местах, заменяя стандартный обед из трёх блюд неформальным чаем с бутербродами, которые мы приносили из дома.

На первом этаже одного из новых производственных корпусов находились медпункт, быстро развившийся в хорошую поликлинику для сотрудников, и большая столовая с богатым по тем временам выбором вкусно приготовленных блюд. Точку на наших с Александром Борисовичем доморощенных чаепитиях поставило появление в новой столовой кофейного бара. После неплохого обеда можно было пройти из большого зала в небольшое помещение со стойкой, за которой были установлены современные кофеварки и разгуливала барменша в наколке. Усевшись на высокие круглые стулья перед стойкой, можно было получить чашечку очень хорошего чёрного кофе с чем-нибудь кондитерским. Мы с Александром Борисовичем, как и многие наши сослуживцы, это европейское обслуживание очень ценили. Но никогда ни в столовой, ни в баре мы не видели Челомея. Не ходили туда и его замы.

Александр Борисович рассказал мне в один из обеденных перерывов, что сегодня он встретил Х., зама Челомея (о ком шла речь в точности, я сейчас не помню). Этот Х. только что вышел из кабинета Челомея после совещания, на котором Челомей кого-то (может, самого Х.) измордовал. Поравнявшись с Александром Борисовичем, Х. тихо сказал: «Да, Александр Борисович, ничего не скажешь — сложный человек Владимир Николаевич». Передавая мне эти слова, сказанные Х., Александр Борисович комментировал их так: «Ну конечно, для Х. Владимир Николаевич — человек сложный, но для психиатра, я думаю, Владимир Николаевич — простой».

Вернусь, однако к делам профессиональным. Получение М-20 форсировало моё развитие как программиста. Работая у Челомея, я занимался, естественно, использованием ЭВМ для расчётов в области авиационного и космического вооружения. Этой деятельностью ВЦ я руководил. Но лично я старался держаться подальше от расчётов для конкретных проектов, и мне это удавалось. Своей специальностью я сделал системное программирование. Решением задач, связанных с конкретными проектами, занимались мои подчинённые, а я вмешивался в их работу только при необходимости.

Я с небольшой, человек в десять, группой сотрудников взялся за разработку своих и освоение и внедрение чужих программ общего характера — для реализации алгоритмов вычислительной математики и программ для организации работы на ЭВМ. В эту группу, прежде всего, вошли наиболее образованные программисты — выпускники мехмата, прельстившиеся Реутовским общежитием — Марта Исаева, Валя Кочурова и Хасана Насруллаева, которые долгое время и жили в одной комнате этого общежития. Потом к группе системных программистов присоединились Алла Сорокина, Толя Гальперин и Муся Синельникова, попавшие ко мне по рекомендации Машинных сослуживцев и знакомых.

Остальные программисты, а всех программистов скоро стало около ста, были разделены на несколько групп, каждая из которых специализировалась на какой-либо одной сфере лабораторно-конструкторской деятельности ОКБ. Одна группа работала с отделом Модестова в области расчёта траекторий снарядов и ракет в атмосфере и в космосе. Этой группой руководила моя старая сотрудница Аня Соловьёва. Многие девочки,

которых мы когда-то выучили на наших доморощенных курсах, остались работать с нами. Другая группа решала задачи из области расчётов, связанных с системами управления, поступавшие из отдела Самойлова и т. д. Александр Борисович работал в отделе Самойлова и стал, таким образом, нашим заказчиком.

Наша М-20 недолго прожила в том помещении, в котором её установили первоначально. Несмотря на то, что на проектирование и оборудование этого помещения были затрачены время, материалы и усилия специалистов и рабочих, в начале 61-го года после ввода в строй великолепного семиэтажного лабораторно-конструкторского корпуса, на последнем этаже которого размещался Челомей, наш ВЦ переместили туда.

В большой зал на первом этаже перетащили М-20 (на что ушло недели две). Рядом был оборудован небольшой кабинет для Вадима и меня. А на втором этаже, над залом с машиной, нам дали большой зал для программистов и комнату для моей группы.

Моя группа первой освоила и внедрила в практику работы остальных программистов ВЦ применение алгоритмических языков. Из других работ группы упомяну «Программу-Диспетчер», которую можно считать примитивным вариантом программ, принадлежащих классу «операционных систем». Мы и термина такого не знали, и придумали свой доморощенный «диспетчер», который ещё много лет употреблялся в Советском союзе как синоним термина «операционная система»

На Западе, сильно обгонявшем Советский Союз в области производства и применения ЭВМ, операционные системы уже становились непременным атрибутом любой модели ЭВМ. Но первые советские ЭВМ выпускались безо всякой операционной системы. В них просто не было нужды. Колоссальное количество проблем, возникавших при эксплуатации этих первых ЭВМ, заслоняли те задачи, для решения которых предназначены операционные системы.

М-20 была первой машиной с производительностью, достаточной для того, чтобы отсутствие диспетчера (а М-20 по инерции выпускалась без него) стало реально ощущаться. И тогда моя группа разработала и создала нехитрую (по теперешним понятиям), но вполне полезную операционную систему. Наш диспетчер, в частности, облегчал прохождение программ через машину в ночное время, заменив многие действия живых операторов автоматически выполнявшимися процедурами. Наш диспетчер использовали ещё в некоторых вычислительных центрах Москвы.

Располагая мощной М-20, мы стали полноправными участниками программистской научно-общественной жизни Москвы и страны. Начиная с конца пятидесятых московские программисты были связаны между собой весьма тесными профессиональными узами, которые, как правило, были и дружественными и уважительными. Эти узы были результатом того, что с появлением первых ЭВМ стали, по инициативе некоторых активных профессионалов, возникать различные добровольные сообщества программистов.

Даже после появления первых хиленьких Уралов возникла «Ассоциация пользователей «Уралов». Её основала Марианна Григорьевна Белкина, работавшая в РАИАНе (РадиоИнститут Академии Наук), руководимом академиком Акселем Ивановичем Бергом.

Членство в Ассоциации было неформальным. Мы собирались периодически на семинары, докладывали о разработанных программах — не специальных, секретных, а имеющих общий интерес (а иногда, в кулу-

арах, нарушая все инструкции первого отдела, обсуждали и секретные). Завязывались личные отношения. Возникла осведомлённость о том, чем занимается каждый владелец машины этого типа.

Одновременно с началом выпуска и распространения М-20 возникла и соответствующая ассоциация пользователей. Её председателем был профессор Михаил Романович Шура-Бура. Он заведовал отделом в ИПМ (Институт Прикладной Математики) АН СССР, директором которого был Президент АН Келдыш. Видными участниками работы этой Ассоциации были Саша Любимский и Сева Штаркман — оба ближайšie сотрудники Шуры-Буры.

Шура-Бура был и научным руководителем семинара по программированию на мехмате МГУ. На заседании, как это водится на семинарах, кто-нибудь делал доклад, а потом доклад обсуждался. Шура-Бура вёл семинар очень остроумно, иногда немного зло, но все его подковырки искупались безукоризненным профессионализмом. Семинар Шуры-Буры создавал дополнительные возможности для научных контактов — уже не обязательно с одними лишь пользователями М-20.

...Например, на этом семинаре я познакомился с Наташей Рикко, которая через несколько лет стала редактором моей первой книжки по программированию. Эту книгу я издал при содействии Юры Гастева, который тогда был одним из ответственных сотрудников математического отдела издательства «Просвещения»...

Раз в год—полтора устраивались обширные всесоюзные конференции по программированию или по близким темам. То в Ленинграде, то в Киеве, то в Новосибирске. В Тракае, недалеко от Вильнюса, в 64-м году была проведена конференция по оптимальным методам управления. На ней я остановлюсь подробнее.

Конференция в Тракае была организована силами ВЦ АН СССР, а точнее, руководителем одного из его отделов Никитой Николаевичем Моисеевым. Я получил приглашение на эту конференцию, потому что был активным членом семинара Моисеева по оптимальным методам, который проводился в ВЦ АН по субботам. В те поры суббота была лишь укороченным, а не вполне свободным днём. Изменение трудовой недели произошло года через полтора—два после того, как я стал посещать семинар Моисеева.

Так вот, моё желание быть членом семинара происходило, полагаю руку на сердце, не только в силу научных интересов (они были!), но и потому, что, объявив начальству о моём желании участвовать в семинаре Моисеева, я автоматически приобретал право не ездить по субботам в Ретуво. Отправляться туда после семинара, который кончался часов в 12 дня, было бы очевидной бессмыслицей. Начав посещать семинар Моисеева, я обнаружил, что одним из секторов в отделе Моисеева заведует мой мехматский однокорытник. Его звали Владимир Григорьевич Срагович. Это был человек с ироничным умом и сангвиническим темпераментом. Увидев меня на семинаре Моисеева, когда я появился там впервые, Володя вскричал что-то радостное, кинулся ко мне, и с тех повелось, что до и после семинара мы дружески болтали — чаще всего не на научные, а на политические и околonaучные темы.

Так же, как желание участвовать в семинаре Моисеева было порождено не чисто научными интересами, моё удовольствие от приглашения на конференцию в Тракае было рождено не одой лишь любовью к оптимальным методам управления. В Вильнюсе жил двоюродный брат Эди

Колмановского и его сестры Маши — Эдгар Павловский, судьбу которого я описал в главе 2. Я до того момента с Эдгаром был знаком лишь мельком, во время его нечастых и недолгих командировок в Москву. Он был директором небольшого завода, выпускавшего медицинское оборудование.

Узнав о моих шансах приехать на конференцию в Тракай, Эдгар и его жена Фира стали зазывать меня остановиться не в гостинице в Тракае вместе с другими участниками конференции, а у них в Вильнюсе. В Тракай же ездить на автобусе (поездка занимала порядка часа). Я с удовольствием их приглашение принял. Поездка из Вильнюса в Тракай и обратно была сама по себе очень приятной. Погода была солнечной и тёплой, автобус шёл среди прекрасной природы, а при подъезде к Тракаю дорога вилась среди многочисленных озёр. Свободное от заседаний в Тракае время я проводил в обществе Павловских и их многочисленных друзей.

Меня возили на машине и водили пешком по Вильнюсу как знатного туриста и показывали достопримечательности этого города. Вечерами компания Эдгара систематически собиралась в одном из лучших ресторанов города и выпивала, закусывала и болтала часа по три. Эта западная привычка нам была совсем не введена.

Какой-то из дней перед окончанием работы конференции был свободным. Я под водительством Эдгара отправился в одну из древних и знаменитых церквей. Там бродило несколько групп туристов. Вдруг из одной из групп, проходившей по другой части зала, мне кто-то помахал рукой. Это был Моисеев. Я помахал ему в ответ. Через несколько минут наши группы поравнялись, и мы с Моисеевым обменялись несколькими словами. Когда мы вышли из собора, Эдгар спросил меня: «Кто это тот хулиган, с которым ты разговаривал?». У Никиты Николаевича, действительно была очень раскованная манера общения. Эдгар не сразу поверил мне, что тот хулиган — руководящий сотрудник академического института.

В тот приезд я познакомился с самыми близкими друзьями Эдгара и Фиры — супругами Любецкими. Эва (её все близкие звали Пупой) — примерно моих лет, а Самуил (Муля) — немного старше Эдгара. Пупа провела с Фирой годы в еврейском гетто и в немецком лагере смерти, а Эдгар с Мулей служили во время войны в «Литовской дивизии», входившей в состав Красной Армии. Так что связь между ними была ой какой прочной! В те времена (середина шестидесятых) Муля Любецкий был директором очень крупного домостроительного комбината, орденоносцем, лауреатом и пр.

...Это не помешало ему, как и Павловским, в начале семидесятых уехать с семьёй в Израиль. Павловские потом двинули дальше — в Штаты, а Любецкие остались в Израиле. Мы с Машей поддерживали с ними близкие отношения и во время наших наездов в Израиль в гости к уехавшим туда раньше нашего дочерям, и продолжили их после нашего окончательного переселения...

Вернусь к общественной жизни программистов. В начале шестидесятых советские программисты стали обращать взоры к так называемым «алгоритмическим языкам программирования». Суть дела в следующем. Самым элементарным «языком» для записи алгоритма решения математической проблемы или — шире — проблемы обработки информации (такая запись называется «программой») и передачи его в устройстве ЭВМ для автоматического выполнения является последовательность цифровых кодов. Программа — это последовательность отдельных «команд». Каждая

команда выполняет некоторую элементарную операцию. Цифрами кодируются и тип операции, которую надо выполнять, и имена данных, над которыми операция производится, и имя величины, которая в ходе выполнения операции получает новое значение. В каждом типе машин есть свой набор из нескольких десятков допустимых команд и своя технология указания данных.

Если программист составляет программу так, как это было только что описано — с помощью цифровых кодов, то говорят (говорили! — теперь так не делают никогда), что он программирует на языке команд машины, или на «машинном языке». Достоинство машинного языка в том, что машина основное время своей работы тратит на переработку нужной потребителю информации, а на «непродуктивную» работу по расшифровке (интерпретации) команд тратит небольшой процент времени, ибо цифровые коды, используемые в командах, легко воспринимаются электронными устройствами машины. Недостатков у языка команд много.

Во-первых, он очень далёк от привычных человеку математических формул, от чертежей, изображающих конструкции приборов и машин и проекты сооружений, от естественных языков для выражения процессов обработки гуманитарной информации и т. д. Поэтому человеку трудно на таком неестественном языке выражать свои указания для ЭВМ. И это — не только вопрос комфорта. Программу, написанную на птичьем языке команд каким-либо одним программистом, другому программисту, даже знающему использованную систему команд, прочитать и понять очень трудно (а это может понадобиться для того, например, чтобы понять использованный алгоритм или найти в программе ошибку).

Далее, программа, написанная на языке команд машины одного типа, не может быть выполнена машиной другого типа. Поэтому если коллектив программистов накопил библиотеку программ на языке команд одной машины, а затем сменил свою машину на более производительную, то приходится всю библиотеку переписывать. Это скучный и трудоёмкий процесс, чреватый внесением новых ошибок.

На западе ещё в середине пятидесятых годов пришли к идее отказаться от программирования на языке команд и перейти на более удобные для человека, а главное, универсальные «алгоритмические языки» программирования. Так появились языки ФОРТРАН, КОБОЛ, АЛГОЛ и др. Программа на языке этого типа выглядит гораздо привычнее для человека: в ней употребляются обычные математические знаки, конструкции, обычные слова и т. п.

Языки команд были машинно-ориентированными: каждый конкретный язык команд предназначен для ЭВМ одного типа. Но они были проблемно-независимыми. Это значит, что на любом конкретном языке команд можно составить программу для решения любой задачи, независимо от области человеческой интеллектуальной деятельности, к которой эта задача относится. В противоположность этому, алгоритмические языки — машинно-независимые: составленная на таком языке программа может быть выполнена на машине любого типа. Зато их стали делать проблемно-ориентированными. Например, ФОРТРАН и АЛГОЛ были приспособлены для программирования математических процессов, КОБОЛ — для программирования бухгалтерских и счетоводческих процедур. Вскоре таких языков появилось очень много, причём проблемные рамки новых языков систематически расширялись, приближая степень их универсальности к машинным языкам.

Машинная независимость алгоритмических языков достигается тем, что для каждого алгоритмического языка и для каждого типа машины, на которой предполагается выполнять программы, написанные на этом алгоритмическом языке, создается специальная программа — «Транслятор», которая программу, написанную на данном алгоритмическом языке, автоматически превращает в программу, выполняющую тот же алгоритм, что и исходная, но — на языке команд данного семейства машин.

Автору программы на, скажем, ФОРТРАНЕ нет необходимости даже заглядывать в изготовленную транслятором программу на языке команд. Но за переключивание на транслятор всех неудобств от использования для записи алгоритмов непосредственно языка команд и за машинную независимость алгоритмического языка приходится платить: машинная программа, изготовленная транслятором из исходной, написанной на алгоритмическом языке, выполняется, как правило, менее эффективно, чем если бы её написал живой программист. Её выполнение занимает больше времени, она требует больше памяти машины и т. п. Поэтому иногда некоторые программы пишут всё же на языке команд.

Для таких случаев были придуманы некоторые способы «очеловечивания» языков команд. Такие очеловеченные языки команд называются «автокодами». В них вместо цифровых кодов для команд и данных используются буквенные обозначения, играющие мнемоническую роль, вводятся некоторые служебные слова (обычно на английском) и т. д. Автокоды, несмотря на предоставляемые ими дополнительные — по сравнению с самыми первичными цифровыми языками команд — удобства для программиста, остаются машинно-ориентированными языками.

На несколько лет позже, чем на Западе, алгоритмические языки стали входить в обиход и у нас. Как я уже сказал, их появление было связано с распространением в Союзе более производительных машин, первой из которых была М-20. Дело в том, что при использовании мощных машин затраты машинного времени на трансляцию программ, написанных на алгоритмических языках, а также потеря эффективности выполнения транслированных программ становится не столь существенной. С появлением всё более производительных машин эти потери становятся совсем незаметными, а доставляемая алгоритмическими языками экономия интеллектуальных сил и времени программистов и возможность переключения их помыслов на поиски принципиально новых методов решения задач на вычислительных машинах и на расширение самой сферы применения вычислительной техники выходят на первый план. Тем более, что трансляторы систематически совершенствовались, и изготавливаемые ими машинные программы становились всё более эффективными, приближаясь к эффективности машинных программ, написанных «вручную».

На западе самым популярным алгоритмическим языком для программирования вычислительных процессов стал ФОРТРАН, а в нашей стране первым получившим массовое распространение стал алгоритмический язык АЛГОЛ. Он был придуман западными программистами позже ФОРТРАНА и в некоторых отношениях был лучше его. Но на западе к ФОРТРАНУ привыкли, ради АЛГОЛА от него не отказались, и через несколько лет — ближе к семидесятым годам — перешли с него сразу на более совершенный язык ПЛ-1. Ну а советские программисты начали с АЛГОЛА и перешли на ПЛ-1 с него.

Транслятор с АЛГОЛА для наших М-20 был создан в двух организациях, которые получили М-20 первыми и в которых работали очень

квалифицированные программисты. Одним из этих двух мест был ВЦ фирмы Королёва в Подлипках, которым руководил Святослав Сергеевич Лавров. По тогдашним нравам, разработанный в Подлипках транслятор — в виде кассет с магнитной лентой, на которой он был записан — мог получить любой ВЦ, если только один из его руководителей был знаком с Лавровым или с кем-нибудь из его команды. С той же лёгкостью к кассете придавалась брошюра с инструкцией по пользованию транслятором.

ВЦ, получивший транслятор в подарок от Лаврова мог, и это не считалось неэтичным, скопировать и подарить этот подарок другим ВЦ.

Другой вариант транслятора с АЛГОЛА сделали программисты ИПМ АН под руководством Шуры-Буры, Любимского и Штаркмана. Коллектив московских программистов из ВЦ АН, руководимый Володей Курочкиным («Варёным Курочкиным» — см. главу 14), разработал несколько упрощённый, с меньшими возможностями, чем полный, но, тем не менее вполне полезный вариант АЛГОЛА (разработчики назвали его АЛГАМС) и транслятор с этого АЛГАМСА.

Машинно-ориентированный язык команд в первой части шестидесятых из практики программирования на М-20 практически исчез. Но всё же не полностью. На его защиту и с атаками на применение алгоритмических языков встала большая группа программистов. Основателем и вождём этой группы был Саша Кронрод, о котором я уже упоминал. У него было блестящее математическое начало. В годы моего студенчества он был молодой математической звездой первой величины: рано кончил аспирантуру, рано защитил кандидатскую и докторскую диссертации. Потом я, уйдя в оборонную промышленность, потерял его из виду. И вдруг он стал на слуху у всех программистов. Вообще, трудно было подумать, что его, всегда далёкого от прикладной математики, вдруг привлечёт программирование. Но оказалось — привлекло. Он стал во главе особого направления в этой сфере.

Ближайшим сподвижником Кронрода был Александр Брудно — тоже происхождения чистый математик. Возможно, что генератором программистских идей группы был именно он, а Кронрод их подхватил и раскрутил. Кронрод работал в Институте Теоретической и Экспериментальной Физики АН СССР (директором там был Алиханов) и руководил вычислениями, связанными с ядерным проектом. Получив М-20, его команда разработала и активно применяла нечто вроде автокода для М-20. Свою разработку они назвали «программирование в содержательных обозначениях».

Кроме самих разработчиков этого языка, им стал пользоваться и ряд их последователей. Автокод Кронрода-Брудно был разработан и стал применяться за некоторое время до того, как в практике программирования появился АЛГОЛ, т. е. во времена, когда все программировали на дремучем цифровом языке команд. Поэтому Кронрод и его последователи имели все основания считать себя прогрессивными программистами. Я и многие мои коллеги узнали об автокодах уже после того, как широкое распространение получил АЛГОЛ. Поэтому таким, как я, программирование в содержательных обозначениях казалось устаревшей кустарной поделкой.

А узнали мы о программировании в содержательных обозначениях в результате шумной кампании, которую развернули Кронрод и его команда против алгоритмических языков вообще и АЛГОЛА в частности. Их главный аргумент в борьбе с АЛГОЛОМ состоял в том, что программа на их автокоде эффективнее, чем программа, полученная в результате трансляции с алгоритмического языка. Это было верно. Но было много

контраргументов в пользу применения алгоритмических языков, о которых я писал чуть выше. Кронрод и его команда доводов Лаврова, Шуры-Буры, Любимского, Штаркмана и других выдающихся программистов тех лет не слушали, и всё своё несогласие с позицией приверженцев АЛГОЛА выражали в форме скандалов и обструкций на различных семинарах и всесоюзных конференциях по программированию.

Теперь, в начале XXI века, когда я вижу по телевизору скандалы, которые устраивают в Думе левые или члены фракции Жириновского, мне на память приходят выкрики, насмешки и пр., которые раздавались в Киевском Театре Русской Драмы, где проходили некоторые заседания всесоюзного съезда программистов в начале шестидесятых годов.

...Через несколько лет после изобретения и битв за программирование в содержательных обозначениях Саша Кронрод заинтересовался проблемами лечения рака, стал предлагать свои методы, нашёл последователей, стал шумно свои методы пропагандировать и нападать на методы, систематически разрабатывавшиеся и совершенствовавшиеся традиционной медицинской наукой и практикой. В чём состояли Сашины медицинские идеи, я сейчас не помню. Разговоры о деятельности Саши-Герострата в онкологии ходили по Москве несколько лет, потом заглохли, и чем Кронрод занялся после этого и что с ним стало вообще, я долго не знал. А несколько лет назад узнал. И вот как.

Через тридцать с лишним лет после отзвучавшей полемики по поводу программирования в содержательных обозначениях я неожиданно встретил одного из его изобретателей и апологетов — уже восьмидесятилетнего Сашу Брудно. Встреча произошла в городе Иерусалиме. Оказалось, что Саша знаком с другом нашей семьи Ириной Ивановной Оболенской, моей ровесницей, женщиной очень витиеватой судьбы, каковая судьба забросила урождённую княжну в Израиль.

Мы с Брудно уходили от Ирины вместе, и, поджидая автобус и проехав вместе несколько остановок, поговорили про минувшие дни. За это время вычислительная техника неузнаваемо изменилась, в её арсенале оказались сотни языков и других средств организации работы с компьютерами, развившихся из тех ранних языков, воинствующими противниками которых были Кронрод, Брудно и их товарищи. Я с некоторым ехидством обратил внимание моего собеседника на тот факт, что история подтвердила тупиковый характер их тогдашних позиций. Мой собеседник дал мне понять, что эта тема его уже давно не интересует. Впрочем, и для меня она к этому моменту тоже перестала быть актуальной настолько, чтобы, сидя в Иерусалимском автобусе № 25, продолжить мои подтрунивания и попытки вернуться к давним баталиям. Я тему разговора переменял.

После этой встречи с Брудно в доме Ирины я полюбопытствовал, не была ли она знакома с кемнибудь из прежних товарищей Саши Брудно: Кронродом, Адельсоном-Вельским и др. Выяснилось, что очень даже была. Оказывается, в институте Алиханова Кронрод работал вместе с мужем Ирины физиком Корнфельдом. Ирина была даже в числе лиц, которых Саша Кронрод привлекал для распространения его противоонкологического лекарства. Теперешняя старая Ирина Оболенская признаёт, что лекарство это — нулевое, но, по счастью, совершенно безвредное. Не исключено, что ей повезло. Кронрод изобретал разные лекарства и пробовал их на себе. Говорили, что после одного из таких опытов он чуть не умер.

Ирина рассказала, что Саша Кронрод был человеком изумительной души. Стоило кому-нибудь из его друзей поведать Саше о своей пробле-

ме, как Саша бросался на помощь: звонил по телефону нужным лицам, уступал снятую на лето дачу тому, кто в ней, по мнению Саши, нуждался острее, чем его собственная семья, брал к себе ребёнка, родители которого в течение некоторого времени вынуждены были жить вне своего дома и т. д. Саша умер от инсульта в середине 80-х...

Моя должность (да и более высокая должность Корнеева) не давали ни формальных административных, ни фактических поводов для встреч с Генеральным. Наши взаимоотношения с руководством ОКБ регулировались его заместителями, в первую очередь Хейфецом. Но вот как-то в марте 63-го года меня пригласил Хейфец и взволнованно сказал, что Владимир Николаевич хочет лично поручить мне важное задание, о содержании которого он Хейфецу не сказал ничего. Действительно, в тот же день мне позвонила секретарша Челомея и сказала, что я вечером (назначенный час был после окончания рабочего дня) должен явиться к Владимиру Николаевичу, и что на пост охраны моя фамилия передана.

Не без замиранья сердца и ума — и от любопытства по поводу того, что именно может понадобиться Челомею от меня «лично», и от страха перед встречей с тираном и самодуром, легенды о художествах которого постоянно шёпотом предавались из уст в уста — я вошёл в огромную приёмную Челомея. Она была пустынна. Ожидал приёма я один. Я просидел там около часу и наблюдал за тем, как вбегают в кабинет Челомея и выходят из него напряжённые начальники служб. Их движением управляла секретарша. Некоторые из начальников со мной здоровались, а другие — следовали мимо, не узнавая. По-видимому, отношение ко мне начальников определялось тем, какими были их предчувствия и результаты встречи с Генеральным.

Наконец, секретарша сказала, чтобы я входил. Кабинет Челомея был очень большим. Вдоль стен были шкафы, а посередине — длинный Т-образный стол. Таким было обычное убранство кабинетов крупных советских начальников. Может, так же устроены начальственные столы в других странах. Мне их видеть не приходилось. За длинной частью стола размещались вызванные на совещание или для доклада сотрудники, а перпендикулярная короткая часть была письменным столом хозяина кабинета. Все это было из красивого полированного коричневого дерева.

Челомей вышел из-за своего стола, вынув предварительно из ящика пачку листков бумаги. Он суховато, но вежливо поздоровался со мной и пригласил сесть рядом с собой за край длинного стола, дальний от письменного. Челомей разложил листочки и объяснил, в чём задача. Надо было найти собственные значения и собственные векторы восьми квадратных матриц (матрицей в математике называется специальным образом организованная — в виде строк и столбцов — таблица чисел. В квадратной матрице число строк равно числу столбцов).

На каждом листке была выписана одна матрица десятого порядка. Т. е. каждая матрица состояла из десяти строк, а в каждой строке было десять чисел («элементов матрицы»). Все элементы всех матриц были выписаны чётким мелким почерком. Челомей сказал мне, что руководство Академии наук очень его просит сделать доклад по одной из его работ, что дальше отнекиваться, ссылаясь на занятость, и отодвигать этот доклад — уже неприлично, что он согласился сделать этот доклад, что назначена дата (она отстояла от дня нашего разговора недели на две) и интересующие его результаты нужны ему как раз для этого доклада.

Случайно вышло, что за несколько месяцев до этого свидания я просмотрел книгу Гантмахера и Крейна «Осцилляционные матрицы», и там было много страниц посвящено как раз матрицам того типа, который я сразу узнал в матрицах Челомея. Это были трёхдиагональные матрицы Якоби, используемые, в частности, в анализе и в расчётах крутильных колебаний висящей нити с прикреплёнными к ней в произвольных точках грузиками, массы которых также произвольны. Один — верхний — конец нити закреплён. Под воздействием тяжёлых грузиков нить неподвижно висит вертикально. Речь идёт о вращении нити и грузиков после того, как нить закрутить вдоль её оси, а потом отпустить и дать под действием сил упругости нити, раскручиваясь то по, то против часовой стрелки, вернуться в исходное неподвижное состояние. Это постепенное возвращение нити в состояние покоя (при этом каждый участок нити между грузиками вращается туда-сюда и успокаивается по своему) и носит название «крутильные колебания».

С моей стороны было естественно предположить, что Челомея, специалиста в области механики, матрицы Якоби интересуют именно в контексте с крутильными колебаниями нити. Какова техническая природа нитей и грузиков, изучавшихся Челомеем, я угадать, конечно, не мог. Количество матриц — восемь — означало, что Челомея заинтересовали восемь крутящихся нитей, а десятый порядок матриц означал, что на каждой Челомеевской нити расположено по десять грузиков. Я поделился своей догадкой с Челомеем, и он подтвердил, что его доклад, действительно, связан с крутильными колебаниями таких нитей. Но ничего больше про тему доклада (что это за нити, что это за грузики) он не сказал. Как и не сказал, связана ли тема его доклада с его основной деятельностью в ОКБ. Я и не спрашивал.

Числа в передаваемых мне Челомеем матрицах были исходными данными (массы грузиков, расстояния между ними, коэффициенты упругости нитей). А величины, которые я должен был для Челомея рассчитать с помощью нашей ЭВМ (собственные значения и собственные векторы), описывали углы, на которые закручивались участки нити, и скорости их возвращения в состояние покоя. Мы договорились с Челомеем, что как только будет результат, я сообщу ему об этом через секретаря. Исходя из намеченной даты доклада Челомея, я понимал, что у меня есть дней десять.

С задачей Челомея мне повезло дважды: я не только заметил, что его матрицы — это матрицы Якоби (заметить это было нетрудно), но ещё и вспомнил, что в недавно вышедшей в русском переводе книге Ланцоша по вычислительным методам линейной алгебры (кстати, ответственным редактором перевода этой книги на русский язык был Абрам Миронович) есть раздел о методе нахождения собственных значений и векторов (именно они интересовали Челомея) матриц Якоби.

Но мы не располагали программой для реализации этого метода на ЭВМ. Выяснить, нет ли такой программы у кого-нибудь из моих коллег в других вычислительных центрах, было некогда, да и шансов на успех таких поисков было мало. Программу надо было срочно написать и отладить самим. Эту работу я поручил упомянутой выше Марте Исаевой с небольшой группой помощников. Марта с работой справилась великолепно, и дня через три мы смогли все вычисления выполнить.

Убедиться в правильности полученных решений было легко. Дело в том, что в соответствии с теорией, собственные значения матрицы Якоби должны быть положительными, а у нас они и получились положитель-

ными, Далее, теорией матриц Якоби точно определено, сколько у их собственных векторов положительных компонентов, а сколько — отрицательных, и как положительные и отрицательные чередуются. В наших ответах они и чередовались в точности так, как предписано теорией.

Это правильное чередование в нашем ответе не могло быть случайным, ибо законы чередования очень витиеваты. Но мы, как добросовестные мастеровые, решили, что надо убедиться в верности не только чередования знаков результатов (т. е. плюсов и минусов), но и их числовых значений. Для этого мы посчитали и выдали на печать значения 800 (8 матриц 10-го порядка) специально составленных для контроля разностей: если в наших расчётах ошибок нет, то все эти 800 разностей должны были быть равны нулю. Мы хотели, чтобы наш важный заказчик эти 800 нулей увидел и убедился бы таким эффектным образом, что наши ответы — верные.

Но тут вышла заковыка. Среди 800 контрольных чисел, выданных машиной, нулями были только 799. А одно значение было от нуля отличным. Правда, это было самоё маленькое число, которое М-20 отличает от нуля: что-то вроде одной десятиллиардной. Несмотря на малость одного капризного отклонения от нуля, это был nepорядок, портивший всю картину.

Первая мысль состояла в том, что этот малый «не ноль» — результат машинного сбоя. Мы повторили прогон программы. Ошибочный, режущий глаз «не ноль» в точности повторился. Тогда мы подумали, что имеет место какая-то малая ошибка в работе именно нашего экземпляра машины. Чтобы выяснить, так ли это, я обратился к нескольким моим коллегам по профессии с просьбой разрешить нам прогнать нашу программу на их М-20.

С просьбой дать нам на час машину для контрольных прогонов нашей норовистой задачи я обратился сперва к начальнику ВЦ фирмы Королёва С. С. Лаврову. Он разрешил. Надо отдать должное независимому характеру Святослава Сергеевича: он оказывал мне услуги — сперва с транслятором, а теперь с прогоном задачи Челомея — несмотря на то, что его собственный Генеральный (которого Лавров ставил очень высоко, не преуменьшая меры его начальственной суровости) был (и Лавров это прекрасно знал) в антагонистических отношениях с моим Генеральным. Мы съездили в Подлипки, прогнали задачу и получили тот же неприятный результат.

Мы не уgomонились и съездили ещё и в ВЦ НИИ ВВС в Ногинске (где я когда-то пользовался сделанными там обработками траекторий первых Крабов). Проклятая десятиллиардная исчезать не хотела и в этом подмосковном городе.

Стало ясно, что беспокоившая нас блоха имеет другое происхождение. Хотя метод Ланцоша, положенный в основу нашей программы, был точным, в ответах могли набегать ошибки из-за ограниченности количества знаков после запятой, свойственной для любой реальной вычислительной машины. Т. е. машина промежуточные результаты округляла. Но во всех 799 случаях набежавшая ошибка была столь мала, что воспринималась машиной как ноль, а в одном случае машина эту ошибку от нуля отличала, и она портила картину.

Объяснять все эти тонкости Челомею не хотелось. Но нам уже не хотелось, да и не было на это времени, продолжать эксперименты. Я просто сжульничал: взял и изменил в одной из матриц, заданных Челомеем, один из её элементов на всё ту же одну десятиллиардную. И всё стало

на место: блоха исчезла, и на её месте появился столь желанный ноль. Я был уверен — и не ошибся — что наш грозный заказчик микроскопической подмены одного из элементов одной из заданных им матриц не заметит. А мог бы, ибо элементы исходных матриц, введённых в машину, выдавались на печать перед колонками результатов.

Я позвонил секретарше и передал шефу, что готов к разговору. Вскоро мне было назначено время: назавтра вечером, что-то вроде восьми часов, т. е. снова сильно после конца рабочего дня. Я опять очутился в приёмной и снова стал свидетелем энергичного снования подчинённых Челомею начальников. В десятом часу из кабинета вылетел главный технолог Николаевский, и я мог слышать, как вслед ему Челомей громко крикнул: «Идите, работайте, я Вас вызову». После этого в кабинет пригласили меня.

Мы снова расположились на краю стола. Результаты, выданные печатающим устройством машины, в то время всё ещё содержали только цифры и знаки (+ и —). Да и сами числовые значения изображались не совсем так, как это было принято в человеческой среде. Надо было эту кодировку знать. Что именно выражает та или иная группа чисел, пользователю программой можно было понять только по расположению чисел на ленте. Как именно — описывалось в инструкции к пользованию программой.

Я сразу понял, что Челомей ни разу до сих пор не видел «живой» бумажной ленты, выданной печатающим устройством машины. Очевидно, все решения прикладных математических задач, которые представляли Челомею его подчинённые, предварительно либо печатались на пишущей машинке с комментирующим текстом, либо изображались в виде таблиц, графиков или подобных привычных форм. Я тоже, конечно, показывал ему не «голую» ленту: кое-какие поясняющие словечки, вроде «матр. 1», «матр. 2»... или «собств. знач. 1» и т. п. мы на ленте в интервалах между группами данных или на боковых полях ленты (ох, какие узкие они были!) авторучкой вписали. Но как кодировались выдаваемые на ленту числовые значения, Челомей узнал от меня в этом разговоре впервые.

Вся машинная натуральность того вида, в котором я стал показывать Челомею интересующие его результаты, сразу вызвала его доверие к этим результатам. Я объяснил шефу как надо интерпретировать числовые значения, напечатанные на ленте, он все объяснения схватил на лету и стал дальше читать и декодировать результаты самостоятельно. Ему явно доставляло удовольствие выглядеть передо мной, только что познакомившим его с этим (крайне неудобным!) способом изображения чисел, понятливым учеником.

Наивное детское любопытство, проявленное Челомеем, оказалось для меня весьма неожиданным. Я не предполагал обнаружить естественные человеческие проявления в деспоте, перед которым трепетало несколько сот его ближайших сотрудников и руководителей работавших на него учреждений, не говоря о тех тысячах людей, судьбы которых зависели от Челомея косвенно.

А когда Генеральный увидел, что все собственные значения заданных им матриц различны и положительны, как им и предписано было быть теорией, и что чередование знаков компонентов каждого собственного вектора в точности такое, какое определено соответствующей теоремой о матрицах Якоби, он совершенно размяк и подобрел. Он сказал: «Вы не представляете себе, какое большое дело Вы сделали!». Мне было приятно

услышать такую оценку, несмотря на её гиперболичность: подумаешь, составили программу по вычитанному в книжке алгоритму и посчитали на машине.

Впрочем, несмотря на очевидную приязнь ко мне, Челомей, даже делая мне комплимент, ни разу не улыбнулся. Он взглянул на часы. Было за десять. Челомей позвонил своему заму Лифшицу (тот был на месте) и сказал ему, что он хотел бы ехать в Москву в одной машине с ним, ибо есть разговор, так что Лифшиц может своего шофёра отпустить. Потом Челомей предложил мне ввиду позднего времени поехать в город в той же машине. Я, естественно, согласился.

В такое позднее время оказаться через полчаса езды в машине около подходящей станции метро вместо того, чтобы идти пешком до станции Реутово и ждать там электричку, было заманчиво. Да и интересно, признаться, было побыть ещё некоторое время с этим страшноватым оригиналом. Как выяснилось вскоре, за это моё несносное любопытство и другие вредные привычки я кое-какую цену заплатил.

Челомей попросил меня подождать несколько минут в приёмной. Сюда же пришёл и Михаил Ильич. Мы поздоровались, но он, хоть и, несомненно, удивился, увидев меня тут, никаких вопросов мне не задал. Ещё через минуту через приёмную в кабинет шефа пробежал Николаевский (Челомей о нём не забыл!), а ещё через десять минут из кабинета вышли Челомей и Николаевский. Челомей пригласил меня и Лифшица ехать, и мы втроём на лифте спустились вниз. Каким способом добрались до дому секретарша и Николаевский, я не знаю. Возможно, в машине, которой пользовался Николаевский. Он ведь тоже был сотрудником высокого ранга.

Около подъезда корпуса ждала «Волга». Челомей сел впереди с шофёром, а мы с Лифшицем сзади. Меня беспокоило, как будет с проходной: ведь мы, уходя с работы, сдавали пропуск вахтёру, а утром его снова получали, назвав его номер и свою фамилию. Но через мгновение машина остановилась перед выездными воротами, расположенными недалеко от проходной, к машине приблизилась вахтёрша, Челомей и Лифшиц сдали ей через окно машины свои пропуска, и Лифшиц шепнул мне, чтобы и я сдал свой пропуск. Ворота раздвинулись, и машина помчалась в город.

Челомей, повернув голову назад, стал обсуждать с Лифшицем некую пришедшую ему в голову техническую идею (тут я вспомнил, рассказы Челомея Александру Борисовичу о том, как идеи приходят к нему в голову и в булочной. Видать, шеф не преувеличивал). Лифшиц тут же идеей восхитился (скорее всего, вполне обоснованно). Но идея требовала проверки и реализации, т. е. расчётов, конструирования, чертежей. Лифшиц по ходу речей Челомея говорил: «Понял, Владимир Николаевич!», «Завтра с утра я всё раскручу, Владимир Николаевич!» и т. п.

Идея касалась старого изделия Челомея — ракеты, выпускаемой с подлодки: переключившись на Космос, фирма Челомея продолжала какие-то работы по совершенствованию старых разработок. Из-за близости той Челомеевской ракеты к Щуке я понимал, о чём разговор и в чём суть идеи Генерального. Мне в какой-то момент стало (по глупости!) неприятно играть роль молчаливого статиста.

И вот во время одной чуть затянувшейся паузы в диалоге начальников я задал Челомею какой-то вопрос по существу обсуждавшейся идеи. Вопрос этот, признаюсь, я придумал специально, чтоб войти в разговор и почувствовать себя человеком. Вопрос имел смысл, и Челомей обстоятельно и вполне вежливо на него ответил. К этому моменту мы

уже проехали Шоссе Энтузиастов и по Тульской подъезжали к Садовому Кольцу. Ещё через минуту мы были у Курского вокзала, я сказал, что мне удобно здесь выйти, поблагодарил, попрощался с руководством и вышел.

На другое утро я рассказал встревоженному Хейфецу о благополучном конце моих контактов с Челомеем. Впрочем, о разговоре в машине и о моём вопросе Генеральному я не упомянул. Хейфец, всегда опасавшийся неприятностей от Челомея, был очень доволен. Доволен был и я. Во-первых, по существу: я оказался достаточно квалифицированным, чтобы быстро разобраться в математической природе не совсем уж школьной задачи, поставленной Челомеем; моя группа за короткий срок написала новую, сразу заработавшую программу и выдала результат. Во-вторых, грозный начальник меня не оскорбил, как это у него было в заводе, а похвалил и всем своим поведением выказал мне уважение.

Эпизод с заданием Челомея произошёл ранней весной 63-го года. Прошло несколько месяцев. Как-то Хейфец мне, ликуя, говорит, что вот-вот должен выйти приказ, в котором повышаются оклады нескольких руководителей сотрудников, и что среди них фигурирую и я. Речь шла о небольшой прибавке. А для меня — даже, фактически, не о прибавке, а об устранении некоей несправедливости. Мой оклад не менялся с момента, когда меня — ещё на «Московской территории» — назначали и. о. начальника лаборатории вычислительной техники.

Тогда мне установили оклад рублей на 10 меньше, чем получали полноценные начальники лабораторий. Когда нашу лабораторию, уже переведённую в Реутово, преобразовали в ВЦ, то Вадиму, назначенному начальником ВЦ, оклад повысили существенно, а мне, ставшему замом, оклад не изменили никак. В результате вышло, что я получаю несколько меньше, чем другие реутовские сотрудники моего должностного уровня. Вот тот приказ, о котором с радостью сообщал мне добрейший Хейфец, этот разрыв устранял. Я поблагодарил Наума Абрамовича, ибо понимал, что об устранении несправедливости позаботился он — возможно, с подачи Вадима.

Через пару дней после радостного сообщения Хейфеца я вошёл к нему в кабинет по какому-то текущему делу. У него был убитый вид. Оказалось, что приказ вышел, его копия (копии приказов рассылали всем руководителям его ранга) лежала на столе у Хейфеца, но в тексте приказа среди других фамилий моей — не было. Хейфец рассказал мне, что, получив эту копию, он сперва подумал, что ошибка: ведь в тексте проекта приказа, завизированного им и многими замами Генерального, я фигурировал, а шеф приказы такого рода обычно подписывал без замечаний. Он стал выяснять, но выяснил, что ошибки не было.

Секретарша Челомея сказала Хейфецу, что все приказы, которые она обнаружила на столе Владимира Николаевича в папке «Подписано», в том числе и тот, что интересовал Хейфеца, она, секретарша, передала, как обычно, в канцелярию — для регистрации и размножения. Хейфец запросил канцелярию и выяснил, что в оригинале приказа моя фамилия была вычеркнута. Никто, кроме Челомея, этого сделать не мог.

Ошеломлённый Хейфец никак не мог понять, почему Челомей после того, как я успешно выполнил его персональное задание, таким способом выразил свою нерязнь ко мне. Только я понимал, почему: это был вопрос, который я посмел задать Челомею в машине. Генеральный очевидно, счёл моё вмешательство в его разговор с Лифшицем нахальным. Может, мне, движимому суетным мотивом, действительно, высовываться не следовало.

И вот, как выяснилось, Генеральный, занятый крупномасштабными проектами, эту мою бестактность помнил (а успешное вычисление собственных элементов осцилляционных матриц, очевидно, забыл) и, увидев мою фамилию в приказе, одновременно увидел и простой способ меня поучить как следует с ним держаться.

Зная коварный характер Челомея, я особенно не удивился и стал утешать огорчённого Хейфеца. Чтобы не разрушать в сознании Наума Абрамовича веры в существование причинно-следственных связей в природе и обществе, я рассказал ему о своей оплошности в машине, и старик (я думаю, что ему было чуть за пятьдесят, но за глаза его подчинённые именно так, с оттенком сочувствия, своего начальника называли), несколько успокоился: случай получил объяснение.

...Я завершу эту главку несколькими словами о Сергее Хрущёве. После перехода ВЦ под начало Хейфеца мои деловые контакты с Сергеем Никитовичем прекратились. Мы продолжали приветливо здороваться, встречаясь в коридорах. Иногда он вежливо спрашивал меня про наши дела. Как-то я обратился к Сергею, когда заболела моя сотрудница Хасана Насруллаева, и ей было назначено редкое лекарство, которого в городских аптеках не было. Сергей немедленно использовал свой доступ в Кремлёвскую аптеку и просьбу выполнил.

Когда Хрущёв был смещён, Челомей Сергея предал без зазрения совести. Сперва и немедленно он выполнил ритуальное отлучение Сергея от главной регалии фаворита: лишил его права въезжать на территорию ОКБ на автомобиле, которым Сергей управлял сам. Этот автомобиль Хрущёв-Отец получил в подарок от Эйзенхауэра или от Аденауэра во время одной из своих заграничных поездок. После того, как Сергей стал оставлять своего заграничного красавца на стоянке перед въездом на территорию — рядом с машинами других сотрудников, Челомей оказался единственным обладателем такой привилегии. А ещё через несколько месяцев Сергей был из ОКБ-52 уволен.

...Потом он много лет подряд занимал пост заведующего лабораторией и отделом в Институте Электронных Управляющих Машин, и я продолжал слышать о нём хорошие отзывы. Хорошо и человечно выступил он на келейных похоронах своего отца, который, хоть и совершил много злодейств и глупостей — как в те времена, что был прислужником Сталина, так и в пору своего верховного правления, — всё же стал велик, ибо осмелился дать толчок ходу истории нашего Отечества в нужном направлении. Это Сергей пригласил скульптора Неизвестного, ошельмованного покойным на известной выставке в Манеже, поставить на могиле Никиты Сергеевича двухцветный памятник.

В начале девяностых годов Сергей Хрущёв стал жить за рубежом. Он занял профессорскую должность в одном из американских университетов. Несколько раз я видел его по телевизору: его выступления касались историко-политических тем, были разумны и сдержанны. Он являл резкий контраст с Сергеем Лаврентьевичем Берия, тоже начавшим выступать по телевизору. Этот папенькин сынок производил отталкивающее впечатление своим нелепым стремлением обелить своего мерзкого отца и представить его борцом с жестокостями сталинского режима...

ДОБАВЛЕНИЕ 4

Семён Исаакович Шварцбурд. Реутовская школа. Помощь замминистра А. И. Маркушевича. Сашино поступление на мехмат. Стремление покинуть фирму Челоменя. Квартирный вопрос. Переезд в квартиру 66. Перспективы. Поиски новой работы. Предложение Лёвы Атанасяна. Лагерь врага — ЦНИИКА. Проект «Арзамас-16». Колода Володи Сраговича. НИИ ЦСУ. ВЦ Госплана. Встреча с Кириллом Кузьминым. Ковалёв. Саша Фридман зажигает красный свет. Срагович выкладывает козыря — ЦЭМИ. Юрий Александрович Олейник. Евгений Иванович Яковлев. Снова К. А. Семендяев. Конференция в Академгородке Новосибирска. Я стал сотрудником ЦЭМИ. Постперестроечная эволюция ЦЭМИ.

В самом начале шестидесятых годов по инициативе учителя математики одной из московских школ Семёна Исааковича Шварцбурда в его школе были открыты специальные математические классы. Дело было так.

В те годы — годы трезвых и разумных, тупых и нелепых начинаний Хрущёва — возникло решение вводить в средних школах «производственное обучение». В соответствии с ним выпускники средних школ получали одновременно с универсальным средним образованием ещё и рабочие специальности и могли сразу после общеобразовательной школы идти работать, зарабатывать деньги и вести самостоятельную жизнь. Предполагалось, что такая реформа будет полезна не только для молодых людей, но и для народного хозяйства: сократит время и средства на подготовку квалифицированных рабочих кадров

И вот в школьные учебные программы стали включать уроки и практику по столярному, слесарному, портновскому и иным ремёслам. В те школы, в которых производственное обучение вводилось, добавлялся одиннадцатый класс. Предмет производственного обучения в каждой конкретной школе выбирался с оглядкой на потребности в трудовых ресурсах расположенных в окрестности школы производств и их возможности обеспечивать школы производственной практикой. Реформа была направлена на обучение рабочим профессиям. Но было и (редкое) исключение: в некоторых школах обучали делопроизводству, в частности, машинописи. Школьницы, прошедшие такое производственное обучение, могли сразу же начинать работать секретаршами.

Увлечением властей идеей производственного обучения воспользовался Семён Исаакович, который давно вынашивал свою собственную идею — поднять уровень математического образования в средней школе, в частности, знакомить молодых людей с возможностями и способами использования нового технического и культурного инструмента человечества — с ЭВМ. В те годы особая сфера цивилизации, вскоре получившая название «Информатика», ещё не была вполне осознана, и программирование для ЭВМ относили к математике.

Семён Исаакович уговорил руководителей Министерства Просвещения включить в список специальностей, которым обучали в рамках программы

производственного обучения в школе, новую и становящуюся модной профессию программиста. И министерство на это пошло. Начиная с очередного 1960/61-го учебного года и в последующие годы один из параллельных девярых классов в его школе становился «математическим». Это означало: 1) обучение математики в таком классе велось по углублённой программе, включая программирование; 2) класс оставался математическим при его переходе в десятый и одиннадцатый.

Школа, в которой работал Шварцбурд, была расположена на Большой Семёновской улице, недалеко от станции метро «Электрозаводская». У Семёна Исааковича были трудности с передвижением вследствие перенесённой в детстве болезни. Этот физический недостаток был для него — особенно при его тучности — большой помехой. Но, несмотря на это, Семён Исаакович был прекрасным педагогом и очень активным в своей профессии человеком. Его настолько ценило районное школьное начальство, что сумело выделить ему квартиру при школе. Б. Семёновскую улицу ученики Шварцбурда и их родители иначе, как Большой Семёнисааковской не называли.

Я сошёлся с Семёном Исааковичем по нескольким линиям. Знакомство началось с того, что в его первый математический девятый класс в сентябре 1960 г. пошёл учиться мой сын Саша, перейдя туда после восьми лет учёбы в 59-й школе в Староконюшенном: я стал встречаться с Семёном Исааковичем в качестве отца его ученика. Во-вторых, Маша подруга детских лет Жёня Веллер через четыре года после того, как Маша вышла замуж за меня, вышла замуж за Витю Шварцбурда, племянника, как оказалось, Семёна Исааковича. Семён Исаакович на паях с Витиным отцом Борисом Исааковичем купили машину. Они давали её пользоваться и Вите, а Витя за это возил Семёна Исааковича по разным делам.

После того, как я познакомился со Шварцбурдом и его деятельностью, я решил пойти его путём: моя цель состояла в том, чтобы в Реутовской средней школе открылись математические классы, а наш ВЦ взял над ними шефство. Директор школы Ефим Наумович Золотовицкий мою идею подхватил и получил от местного РОНО (Районный Отдел Народного Образования) разрешение на этот эксперимент. Я, в свою очередь, получил поддержку Хейфеца и с его помощью «выбил» у С. Л. Попка — зама Генерального по административным и хозяйственным делам — две дополнительные ставки в наш ВЦ. Эти ставки были не Бог весть какие денежные, но, во всяком случае, они были более высокими, чем обычный оклад школьного учителя. На эти две ставки я пригласил двоих молодых математиков.

Первым был Анатолий Гедальевич Гальперин — рекомендация Машиного сослуживца. Вторым была Муся (Мария Константиновна) Синельникова. Её рекомендовала сотрудница ВЦ Алла Абрамовна Сорокина, которую за пару лет до того я взял на работу по рекомендации другой Машиной сослуживицы.

Эти новые сотрудники ВЦ должны были заниматься, в основном, делами школы, т. е. преподавать там математику по повышенной программе (в школе они тоже получали деньги, кажется, почасовую оплату) и — по силе возможности — работать по темам нашего ВЦ. Муся, помнится, нашей тематикой не занималась вовсе, а Толя увлёкся задачами оптимального управления и кое-каких результатов в этой области достиг... Программирование в математическом классе Реутовской школе преподавала Алла Сорокина. С нового 1962-го учебного года математический класс набрал учеников и стал функционировать.

Тщательно выписанные мной в предыдущих абзацах относящихся к появлению математических классов в Реутовской школе имени-отчества могут быть использованы желающими в их исследованиях о роли евреев в развитии русской культуры.

С Гальпериным вышли некоторые сложности. Вдруг выяснилось, что в наше КБ он был принят нашим отделом кадров, загнипотизированным могущественным Попком, незаконно: каким-то образом Гальперин сумел уклониться от выполнения решения комиссии по распределению Государственного Педагогического Института, который он в год зачисления к нам окончил, и следы этого своего поступка из своих документов изъять. Отдел кадров нашей фирмы, получив грозную бумагу из Министерства Просвещения РСФСР, с удовольствием приготовился еврея Гальперина уволить.

Тогда негибачаемые евреи Золотовицкий и Геронимус записались на приём к замминистра Просвещения. Этим замом был профессор мехмата, довольно известный специалист по теории функций комплексного переменного Алексей Иванович Маркушевич. Во времена моей учёбы на мехмате я с этим профессором не соприкасался — я шёл по другой научной линии. Только здоровался при встрече в коридорах. Он стал министерским чиновником уже после того, как я окончил мехмат.

И вот через пару дней после записи на приём Маркушевич нас принял. Для Золотовицкого эта встреча была очень значимой: он оказался в столь высоком кабинете, минуя два административных уровня: районное и областное начальство. Мы рассказали Маркушевичу о том, какую положительную роль играет спорный Гальперин в деле распространения идей Шварцбурда (о нём Маркушевич знал) в Реутове. Маркушевич сделал вид, что помнит меня по мехмату. В результате Маркушевич отдал по внутреннему телефону распоряжение отделу кадров Министерства дать ему, Маркушевичу, на подпись приказ об отсрочке распределения выпускника Педагогического института Гальперина на два года.

Маркушевич, положив трубку, сказал нам: «Вы слышали — Гальперин получит отсрочку на два года. Но даю вам честное слово коммуниста, что через два года он будет работать по распределению». Толя остался у нас, и, насколько мне известно, он вскоре после моего ухода от Челомея тоже эту фирму оставил, и его долг перед Министерством Просвещения, который Маркушевич ему, как сказали бы сейчас, реструктурировал, забьлся всеми сторонами радикально. С честным словом коммуниста вышло тоже что-то непредвиденное.

Саха окончил математическую школу Шварцбурда и подал бумаги на мехмат. Но поступление Саши на мехмат сопровождалось осложнениями. В тот 63-й год действовало странное правило приёма в вузы (его ввели чуть до и отменили чуть после). Балл абитуриента, учитывавшийся при вступительном конкурсе, складывался из суммы отметок, полученных им на приёмных экзаменах в вуз и из среднего балла из отметок в аттестате зрелости. Вот этот средний балл аттестата был у Саши чуть меньше, чем у его конкурентов — из-за не безукоризненной (не 5, а 4) Сашиной успеваемости по некоторым второстепенным предметам — вроде физкультуры и черчения. В результате оказалось, что после сдачи всех вступительных экзаменов у Саши было на 0,1 меньше проходного балла, и он не прошёл. Было бы у Саши по хотя бы одному из злополучных (ставших вдруг первостепенными!) предметов не 4, а 5, проблемы бы не возникло.

Надо было срочно переключаться на заочный мехмат, для поступления на который Сашиного балла хватало. Но на заочный мехмат брали только работавших. Вернее, тех, кто представлял справку с места работы. Саша, натурально, нигде не работал. Я бросился к тем мехматским чиновницам, с которыми я имел дело, когда в течение двух—трёх предшествующих лет выполнял авторитетную роль в заседаниях комиссии по распределению — в качестве работодателя от могущественной фирмы Челомея. Тогда эти чиновницы со мной весьма считались. Но теперь, когда я пришёл к ним в роли просителя за сына, а просьба состояла в том, чтобы Сашу приняли на вечернее отделение без справки с места работы — они мне отвечали, что помочь мне в моей проблеме не могут. Возможно, действительно, очень желали, но — не могли.

Я пошёл другим путём, а именно — ведущим к Золотвицкому. Ефим Наумович, не колеблясь ни секунды, дал справку о том, что мой Саша работает в их школе лаборантом и на эту должность его зачислил. Эта справка решила дело, и Саша стал студентом вечернего отделения. Саша приступил к работе лаборантом и одновременно стал заниматься на вечернем отделении.

Но не успев толком ни поработать у Золотовицкого, ни поучиться на вечернем отделении, Саша заболел мононуклеозом и месяц провёл в постели. За это время академик Колмогоров по настойчивым просьбам преподавателей мехмата, знавших Сашу по его участию в примехматских школьных кружках, убедил тогдашнего ректора МГУ И. Г. Петровского перевести Сашу с вечернего отделения на стационарное.

Ефим Наумович вздохнул с облегчением: с его плеч свалились проблемы, обычно сопутствующие не совсем чистым поступкам. В частности, он говорил мне о трудностях, связанных с тем, что он должен был платить лаборанту школы какую-то зарплату и создавать для этого фальшивый табель, а потом — оплатить больничный лист.

По счастью, скользкий период длился совсем мало. Саша написал Золотвицкому заявление об увольнении и передал его своему директору через меня. Я рискованного по тем временам поступка Ефима Наумовича, совершённого ради моего сына, не забуду.

...Мы оставались с Золотовицким в уважительных отношениях и после моего увольнения из фирмы Челомея. Вскоре после приёма и увольнения Саши Ефим Наумович вышел на пенсию. Мы регулярно время от времени разговаривали с ним по телефону. Я дарил ему мои вышедшие книги с авторскими посвящениями, мы обменивались новогодними поздравлениями. Несколько лет назад Ефим Наумович скончался...

Ещё в тот год, когда Сашин класс стал одиннадцатым, основная деятельность Семёна Исааковича и его математические классы переместились в 444-ю школу, расположенную рядом с ЦНИИКА (Центральным Научно-Исследовательским Институтом Комплексной Автоматизации).

Начальником ВЦ в этом институте был Макс Симою — еврей румынского или молдавского происхождения. Этот человек проникся педагогическими идеями Семёна Исааковича и добился того, чтобы соседняя 444-я школа стала полностью математической. Шварцбург с командой перешёл туда, а ЦНИИКА взял над ней шефство в разных аспектах: давал время на ЭВМ для практики учеников, сотрудники ВЦ преподавали в школе и пр.

...Из гнезда Шварцбургдова вылетели в числе первых птенцов и те, для кого математика стала профессией — мой Саша и его будущая жена Лида Гончарова, а также выдающийся математик школы Гельфанда профессор Иосиф Бернштейн.

Саша окончил мехмат, защитил кандидатскую диссертацию по алгебраической геометрии и несколько лет после этого проработал в Институте Экономики АН, где успешно занимался применением математики к экономике.

В конце семидесятых годов Саша резко сменил область своей деятельности: он оставил математику и стал православным священником. В этом решении он нашёл полную поддержку своей жены Лиды (Лидии Васильевны). Она окончила вместе с Сашей мехмат и защитила диссертацию по тематике, близкой к Сашиной. Теперь Лида заведует учебной частью и преподаёт математику в одной из частных московских гимназий.

Мне неизвестна судьба математического класса Реутовской школы. Надеюсь, что основы, заложенные в первые два года его существования, позволили ему выжить и после того, как постепенно уходили — из фирмы Челомея, а то и из жизни — первопроходцы: Гальперин, Синельникова, Геронимус, Золотовицкий...

Необходимость покинуть фирму Челомея я осознал незадолго до того, как стал непосредственным объектом самодурства Генерального. Главной причиной, побуждавшей меня искать другие варианты продолжения моей профессиональной деятельности, был известный квартирный вопрос, которому Булгаков не зря придавал особое значение.

Мы с Машей и маленькой дочкой Катей жили в коммунальной квартире номер 66 всё того же дома 35 на Арбате. Мы переехали в эту квартиру из 24-й осенью 1959-го года в результате обмена. Нам предложила поменяться пара — мать и дочь Успенские. Я этих людей знал с раннего детства и писал о них в главе 2.

Уже после войны, когда Софья Николаевна и её дочери вернулись из эвакуации, зять Софьи Николаевны продолжал третировать свою тещу. Этого антисемита раздражало и то, что дряхлая Софья Николаевна, переставшая быть губернаторшей, но продолжавшая быть еврейкой, живёт одна в отдельной комнате 35-й квартиры, и он свою травлю усилил. В какой-то момент незамужняя дочь старушки Евгения, жившая в квартире 66, взяла мать к себе. Но там была соседка по фамилии Карямина — стерва и антисемитка. Софья Николаевна её боялась и отказывалась выходить из комнаты.

Иван Михайлович стал настаивать на выгодном для себя размене. В обмен была вовлечена комнатка его тещи в 35-й. В этот же размен был вовлечён и я. Была осень пятьдесят девятого, и мне было тридцать шесть. В комнате в квартире 24, где жили мы с Машей и маленькой Катенькой, продолжал протекать потолок.

В результате обмена, спланированного Иваном Михайловичем, он с женой Любой получал за свою комнату и комнату Софьи Николаевны в 35-й что-то очень для них заманчивое, Евгения Августиновна с матерью получили нашу протекающую комнату в двадцать четвёртой: Евгения Августиновна стремилась избавить свою мать от ежедневных антисемитских травм любой ценой, а в нашей 24-й антисемитов не было. Антисемитка моего детства Александра Матвеевна Тихонова успела состариться, сильно помягчела, и её Софья Николаевна не боялась. Впрочем, вскоре после этого размена Софья Николаевна скончалась...

Ну а мы с Машей и Катенькой получали комнату Евгении Августиновны в 66-й. Перманентно протекавший с 1930-го года потолок был для нас страшной антисемитизма. Евгения Августиновна клялась нам, что в их комнате в 66-й не течёт. Эта квартира была тоже на последнем

этаже, дело было осенью, потолок был побелён, но главная течь, если она есть, предстояла в первую оттепель зимой. Нам в клятвы Евгении Августиновны верилось с трудом.

Маша спросила насчёт течи одну из наших будущих соседок — старую женщину Наталью Константиновну Соколову. Она, добрая душа, оказалась в трудном положении. Говоря правду, она могла сорвать обмен, а ей было очень жаль Софью Николаевну. Но и солгать в глаза нам, хоть и незнакомым людям, Наталья Константиновна тоже не решилась. Поэтому на Машин вопрос она забормотала: «Мало течёт. Совсем мало течёт».

Мы всё поняли. Но мы сами были рады обманываться: в нашей комнате в 24-й потолок протекал катастрофически, а в 66-й, надеялись мы, протекать будет не так сильно. Первую зиму в новой комнате текло чуть слабее чем в 24-й, но потом стало хлестать ещё почище, и я с чердака не слезал.

Наталья же Константиновна (Баба Таля) оказалась, действительно, милейшей женщиной. Она жила в большой семье, в которую входили её далеко не молодая дочь Ася с двумя сыновьями-подростками и её сильно пожилой сын дядя Толя с женой и с молодыми дочерью и сыном. Это была прекрасная и очень дружественная нам семья. У них были две смежные комнаты.

Соколовы были людьми простыми, очень добрыми и порядочными. Образование светило только младшему поколению. Первое впечатление от Бабы Тали, как о добрейшей женщине слегка не от мира сего подтверждалось. Как-то Маша кипятила на кухне молоко, задумалась, и молоко убежало. Маша что-то досадливо вскрикнула. А за соседним столиком со своей стряпнёй возилась Баба Таля. Вникнув в Машино событие, она умиротворённо сказала: «Да не огорчайтесь. Я на свете живу уже восемь десятков, и не разу не было, чтоб я кипятила молоко, а оно не убежало».

Антисемитка Карямина, допёкшая бедную Софью Николаевну, по отношению к нам агрессивной почему-то не была. Она нас как бы и не замечала. На нас там нашлась другая антисемитка. Но не только потолок и осточертевшая нам коммунальная кухня подталкивали нас к поиску путей сменить 66-ю. Там у одной из наших соседок — матери-одиночки — подрастал сын Алик, года на три—четыре старше нашей Катеньки. Сперва мы увидели очаровательного и красивого мальчика. Но скоро в Алике стали проявляться наследственные черты его отца, который в тот момент отбывал срок за какое-то серьёзное преступление.

Появилась реальная угроза того, что ещё чуть-чуть — и Катина жизнь окажется в опасности. И действительно, прошло не очень много времени после нашего выезда из 66-й, и мы узнали, что Алик сидит за участие в убийстве. В общем, каждой из причин (а их был целый букет), побуждавших нас менять наши жилищные условия, было достаточно, чтобы стремиться к нашей цели всеми силами.

В самом начале 60-х многие сотрудники Челомея получали жилплощадь в Москве. Но количество отдельных квартир было маловато, и администрация не сумела удовлетворить всех нуждающихся — даже из числа приближённых к шефу сотрудников. Многие, находившиеся в отчаянных обстоятельствах, соглашались вселяться в хорошие, но смежные две комнаты четырёхкомнатных квартир в хороших районах города (например, в начале Кутузовского проспекта), деля таким образом, эту квартиру с семьёй сослуживца, получившего две другие комнаты.

Нам с Машей такой вариант не нравился. На все мои обращения к руководству фирмой по поводу квартиры, поддержанные, естественно, Вадимом и Хейфецом, Попок (именно он управлял жилищным фондом фирмы) отвечал, что в Москве фирма больше квартир не получит, и что я реально могу рассчитывать только на квартиру в Реутове. Это предложение нам тоже не понравилось. Прими мы его, исчезли бы мои транспортные проблемы при поездке на работу и обратно, но создавались бы одноимённые проблемы для Маши, и, кроме того, Реутовский вариант отдалял нас от многочисленных родных и друзей, сосредоточенных, естественно, в Москве, и от культурной столичной жизни.

В принципе, был ещё один путь — покупка кооперативной квартиры. Жилищно-строительные кооперативы (ЖСК) возникали тогда в Москве в большом количестве. Но желающих вступать в ЖСК было ещё больше, и дефицит быстро образовался. При вступлении в кооператив пайщик должен был а) обязаться сдать свою государственную площадь (впрочем, если на этой площади оставалась родственная пайщику, но самостоятельная семья, то требование о сдаче государственной площади снималось); б) внести и — наличными 40% стоимости квартиры; в) обязаться выплачивать оставшиеся 60% стоимости квартиры в течение 15-ти лет.

Вступая в ЖСК, пайщик знакомился с архитектурным проектом строящегося дома, узнавал его адрес и узнавал номер квартиры, в которую он въедет. Процедура выбора номера квартиры в разных ЖСК бывала разной. Обычно влиятельные члены правления ЖСК, а ими были люди, инициировавшие создание ЖСК, имевшие связи в Моссовете или в Райсовете, которые помогали получить разрешение на строительство в хорошем районе, по хорошему проекту, силами хорошей строительной организации и пр., получали право выбора квартир для себя первыми. Остальные пайщики номера квартир разыгрывали. Пайщики, вступавшие в ЖСК для получения однокомнатных квартир, тянули жребий из шапки с номерами однокомнатных и т. д. После окончания строительства пайщик въезжал в свою квартиру и начинал погашать оставшиеся 60 процентов стоимости.

Гражданин, приняв принципиальное решение покончить с жизнью в коммуналке и заплатить свои деньги, прежде всего выбирал ЖСК, соизмеряя местоположение будущего дома, его качество (этажность, материал — кирпичный, блочный, панельный), цены квартир, качество их отделки, их планировку и пр. и срок, оставшийся до окончания строительства дома.

Кооперативная квартира была заманчивым вариантом. Но денег для вступления в какой-нибудь подходящий ЖСК у нас с Машей не было. В принципе, возможность решить денежную проблему у нас была: деньги для вступительного взноса в кооператив мы берём в долг, вступаем в кооператив и (обычный срок) через полтора—два года получаем квартиру. Одновременно с получением займа я заключаю договор с издательством на книгу по программированию, и из гонорара за эту книгу мы возвращаем долг.

Два пункта этого плана виделись вполне реальными. Одолжить нам деньги — речь шла о двух с половиной тысячах рублей — со всей душой готовы были Эдя с Тамарой. Эдя был очень активным, очень популярным и очень исполняемым композитором. Он хорошо зарабатывал, и дать нам займы сумму, в которой мы нуждались, он мог без большого напряжения для нужд собственной семьи. Эдя мог не только дать нам в долг нужную сумму, но и помочь нам вступить в хороший кооператив, т. е. такой, который

строил дом в сравнительно хорошем районе города не из стандартных блоков, а из кирпича. Некоторые такие ЖСК отдавали по несколько квартир в распоряжение Музфонда Союза Композиторов (видимо, за сходные услуги). У Маши был простой способ оценивать качество района. Она считала район хорошим, если знала его название с детства.

Заключение договора со мной на книгу брался обеспечить Юра Гастев, работавший тогда в математической редакции издательства «Просвещение». Не очень-то реальным было само написание книги. Как правило, я каждый день — и целый день — проводил на работе в Реутове. Там у меня было много дел, и тратить какую-то часть дня для писания книги я смог бы далеко не всегда. При таких обстоятельствах я не мог рисковать и заключать договор на книгу, а следовательно, и брать в долг деньги для вступительного взноса.

Кроме квартирной проблемы, были и другие, толкавшие меня в том же направлении, а именно к уходу из фирмы. Мне стало жалко тратить столько сил и времени на почти ежедневные поездки из Москвы в Реутово и назад.

Чтобы добраться с Арбата до проходной, я должен был дойти до станции метро, доехать до Курского вокзала, потом на электричке, которая шла 25 минут, доехать до станции Реутово, и, наконец, по асфальтированной дорожке в толпе других сотрудников дойти пешком минут за десять до проходной. Эта езда дополнительно отнимала время и силы от гипотетического написания книги.

Первое время работы в Реутове я пользовался для поездок казённым автобусом. Таких автобусов фирма содержала десятка полтора. Соответственно, в Москве было десятка полтора точек, в каждую из которых по утрам подавался автобус и доставлял наполнявших его сотрудников фирмы, живших близко (или относительно близко) от этой точки, к воротам фирмы — к 8.45. Кроме того, каждым таким автобусом могли пользоваться сотрудники, жившие вблизи его маршрута; водитель таких знал в лицо и подсаживал по дороге. К моменту окончания рабочего дня автобусы, утром доставившие своих пассажиров к проходной, были готовы везти их домой. Выйдя после работы из проходной, надо было найти свой автобус, и он скоро отправлялся в Москву к своей точке, ссаживая часть своих пассажиров по дороге. За автобус надо было небольшие деньги раз в месяц платить.

Я пользовался автобусом, отправлявшимся откуда-то из конца Кутузовского проспекта. Его маршрут проходил по Арбату, и он подхватывал меня прямо около дома 35. Чтобы не пропустить его, я выходил из дому минут за пятнадцать до обычного момента его проезда мимо моего дома. Около конечного пункта и на отрезке маршруте автобуса до Арбата жило очень много сотрудников фирмы, и сидячего места для меня уже не было. Но я соглашался ехать стоя. Меня это не тяготило: я всегда любил во время поездки в любом транспорте смотреть в окно, а не читать, как многие другие. Вопрос об усталости от положения стоя в том моём возрасте не возникал. Автобус ехал через Центр, Солянку, Землянку (Ульяновскую), Тулинскую, Рогожскую заставу (пл. Ильича) — было что смотреть.

...Я вспоминаю об этих реутовских автобусах часто — всякий раз, когда здесь, в Израиле, вижу, как утром какой-нибудь школьный автобус (их легко узнать: они ярко-жёлтые) останавливается в том или ином определённом месте и забирает группку маленьких детей, присоединяя её к детям, уже подхваченным раньше. А после окончания школьного дня эти жёлтые автобусы в этих же пунктах детей группками высаживают, и дети разбегаются по домам...

Бывали дни, когда я задерживался на работе: в те времена, да и при таком шефе это было нередким. В такие вечера я ездил на электричке. В общем, настал момент, когда я решил, что ведомственный автобус для меня — обуза, и что лучше ездить на поезде. Дополнительным побудительным мотивом для перехода с автобуса на электричку было то, что по каким-то, теперь мною забытым, причинам автобусом не пользовался или перестал пользоваться Александр Борисович. До Курского мы доезжали независимо, а потом встречались в раз навсегда условленном вагоне, удобном для вступления на пешеходную дорожку, ведущую к фирме, и до ворот фирмы добирались вместе, проводя всё это время в дружеской беседе.

Ну и специфическая причина. Диктаторский характер Челомея хоть и редко затрагивал меня лично, но, как всякий сильный по тем или иным причинам диктатор, Челомей создал во всей фирме особый рабочий режим. В этом режиме вес сотрудника определялся не только его талантами и прилежностью и даже не его должностью. Серьёзным компонентом влияния сотрудника в фирме и его фактического положения в административно-технической иерархии был уровень расположенности к нему Шефа. Я уже говорил, что к своим старым сотрудникам, начинавшим с ним или присоединившимся к нему в начале пути, Челомей был расположен чаще, чем к пришлым, вроде Хейфеца или Бугайского. Конечно, и старые особые сотрудники, хоть и были отмечены человеческими взаимоотношениями с Челомеем, были с ним — по крайней мере, на людях — крайне почтительны. Зато они бывали крайне резки и надменны с другими.

Типичный пример — упоминавшийся выше Володя (кому Володя, а кому и Владимир Александрович) Модестов. Бедный Наум Абрамович Хейфец был преисполнен почтения и льстив по отношению к Генеральному, даже беседа со мной с глазу на глаз в своём собственном кабинете. С подчинёнными Наум Абрамович был мягок. Да он и не смог бы быть другим, даже если б хотел.

В результате сложения всех векторов Модестов, отдел которого входил в группу подразделений, находившихся под началом Хейфеца, был в ОКБ значительно влиятельнее своего непосредственного начальника, и гораздо чаще, чем Хейфец, был приглашаем в кабинет Генерального.

Челомей пользовался неограниченной поддержкой государственных чиновников очень высоких рангов. Сперва, давая зелёную улицу фирме, в которой работал Хрущёв-Сын, они лишь стремились угодить Хрущёву-Отцу. Но, как выяснилось после падения Никиты Хрущёва, высшие чиновники успели оценить по заслугам и собственные качества Челомея и сохранили за ним его позиции. Возможно, в сохранении за Челомеем после отставки Хрущёва того статуса, которого он достиг раньше, известную роль играло нежелание нового руководства демонстрировать неприличную причину своего особого отношения к Челомею во времена Хрущёва — лизоблюдство.

В середине 64-го я созрел для ухода из фирмы. Смею заверить, это было непростое решение. И не только потому что — риск, но и потому, что к месту работы привыкаешь, оно становится как суровая и властная мать — непереносимым, но неотторжимым. Созрев для ухода, я стал искать куда. С одной стороны, выбор был довольно велик. С другой стороны, моё еврейство продолжало быть отрицательным фактором в оценке моёй кандидатуры в учреждениях, куда я склонен был бы обращаться. Вес этого фактора был очень неопределённым. Он зависел не только от

личных вкусов руководителя учреждения, но и от установок его райкомовского или ведомственного начальства или от того, сколько евреев уже работает на руководящих должностях в этом учреждении, и как к этому количеству относится местный руководитель парторганизации. Конечно, отношение к этому моему недостатку в годы Хрущёвской оттепели было гораздо терпимее, чем за несколько лет до её наступления.

Для меня, естественно, имело значение, чем я буду заниматься. Больше всего мне хотелось бы заниматься системным программированием, т. е. созданием программ, образующих удобную среду для работы на ЭВМ пользователям с разными потребностями. Менее привлекательной была для меня перспектива входить в проблемы решения на ЭВМ задач из какой-либо узко очерченной сферы. От решения конкретных задач из области космических полётов, характерных для фирмы Челомея, мне уйти удалось. И мне не хотелось бы влезать в аналогичную другую профессионально-ориентированную сферу.

Мне небезразличен был уровень трудовой дисциплины в том месте, куда я собирался поступать. Должен ли я буду ездить точно к началу рабочего дня? Какой будет степень моей свободы в поездках на семинары, в библиотеки, в посещениях моих коллег, работающих в других учреждениях? Далеко ли от моего дома будет место моей будущей работы? Каков будет мой статус? Наконец, мне небезразличной была зарплата. Хотя в этом вопросе большого разнообразия не предвиделось.

Старший научный сотрудник, кандидат наук во всех институтах первой категории получал — в зависимости от стажа — до 300 рублей в месяц. Заведующий отделом, сектором или лабораторией — 400. Доцент в высшем учебном заведении (я, будучи кандидатом, на должность профессора претендовать не мог) получал 280. В некоторых институтах, ОКБ, СКБ и т. п., занятых прикладной наукой, проектированием и конструированием давали периодические устойчивые премии, являвшиеся, естественно, добавкой к основному окладу. Между размером и стабильностью премий и степенью секретности учреждения была очевидная корреляция: чем секретней, тем лучше с премиями. В несекретных учреждениях, вроде вузов и академических институтов, добавок к основному окладу в виде премий не было совсем.

У Челомея премию давали регулярно, поэтому я, фактически получал не тот оклад, который Хейфец и Вадим неудачно попытались увеличить (речь шла о чём-то вроде повышения с 260 до 280 рублей), а в среднем 330 рублей в месяц. Мне не хотелось бы получать меньше — по крайней мере, без быстрой компенсации потери в зарплате другими скорыми и несомненными выгодами. Например — немного меньшая зарплата, но много свободного времени, которое позволяло бы мне использовать несколько часов в день для быстрого написания книги, а следовательно, давало бы возможность взять деньги в долг, вступить в жилищный кооператив, а там, быть может, попытаться затеять новый переход на более высокооплачиваемую работу. Вот в какое море с его перечисленными не полностью видами рифов я кинулся в поисках новой работы. Я расскажу лишь о некоторых эпизодах из всего множества событий, имевших место в этой связи.

Зная о моём желании сменить место, Абрам Миронович связал меня с Лёвой Атанасяном, своим бывшим аспирантом, с которым мы тесно дружили семьями во второй половине сороковых годов, когда нашему с Галей Сашеньке и Лёвиному с Верой Серёженьке было совсем малое, примерно одинаковое количество годов. Теперь, в середине 63-го, сорокалетний, как

и я, Лёва был уже проректором Ленинского педагогического Института, из которого за пятнадцать лет до того выгнали профессора Лопшица из-за его преступного покровительства арестованной Органами Наташе Гайстер. Все эти годы Лёва продолжал сочувственно и уважительно относиться к своему учителю, но близость, некогда выходявшая далеко за пределы профессиональных и научных отношений, поубавилась. Причинами этому отдалению были, я предполагаю, стремительная административная карьера Лёвы, которому Абрам Миронович предсказывал когда-то стремительный, но не административный, а научный взлёт, а также и развод Лёвы с Верой Мартинович, которую все Лопшицы-Шестопалы очень любили.

Я пришёл на приём к Лёве в назначенный им по телефону час в здание института на Девичьем Поле. Секретарша сказала мне: «Левон Сергеевич Вас ждёт». Мы не виделись чуть более пятнадцати лет. Из-за тяжёлого стола в полутёмном почему-то кабинете приподнялся очень погруженный Лёва с по-прежнему красивым породистым армянским лицом. Он улыбнулся мне без сантиментов, и мы сразу приступили к делу. На нашу встречу Лёва пригласил молодого преподавателя физмата С. Гиндикина, незадолго до того окончившего аспирантуру и защитившего диссертацию. Выяснилось, что ЭВМ у института пока нет, и что первые шаги поручены Гиндикину.

Меня звали на роль руководителя будущего ВЦ, задуманного для практических занятий студентов при изучении курса программирования, который планировалось ввести в учебный план института. Было не очень понятно, когда и какую именно машину получит институт, каков будет штат ВЦ и будет ли он достаточным для выполнения тех функций, которых от ВЦ ждут.

Я один раз — работая у Челомея — уже стоял у истоков ВЦ и был бы не прочь, обогащённый прошлым опытом, повторить процесс. Но очень уж много было неопределённостей. Да и деньги были небольшие — доцентские 280: ничего более подходящего в штатной сетке института не было. Перспективы на свободное для писания книги время, похоже, были. Я пообещал дать ответ через два—три дня. Мы распрощались с Лёвой, и я вышел от него вместе с милым молодым Гиндикиным.

Хлынул сильный июньский тёплый дождь. Мы спрятались под какой-то козырёк вблизи входа в институт, немного поговорили о характере предлагаемой мне работы, потом поболтали на общие темы. Дождь перестал, мы расстались, я доехал до Арбатской на пятнадцатом троллейбусе за пятнадцать минут, и это располагало к тому, чтобы предложение Лёвы принять. Однако после совещания с Машей я решил вариант с Ленинским педагогическим отклонить: потери в деньгах были уж очень значительными. О чём я Лёве вскоре и позвонил.

...Описанная моя встреча с Лёвой была предпоследней в моей жизни. Последняя состоялась ещё через двадцать лет — на похоронах дорогого нам обоим Абрама Мироновича...

Было у меня сходное предложение, исходившее от кафедры математики Горного Института. Приглашал меня профессор Семён Абрамович Тумаркин, брат мехматовского Льва Тумаркина. Он был уже очень пожилым человеком. Там тоже собирались приобрести ЭВМ, кажется, Урал-2 или «Минск». Но пока ничего и никого (кроме дамы-доцента по фамилии Евтушенко) не было. Да и деньги там были малые, доцентские, бесперспективные.

Ходил я устраиваться и в ВЦ ЦНИИКА. Напомню, что директором этого ВЦ был Макс Симою, поспособствовавший преобразованию подшефной 444-й школы в математическую и переходу в неё Шварцбурда. Собственно говоря, я ещё до визита к Симою понимал, что мне там работать не захочется. Коллективом программистов в этом ВЦ руководил мой сокурсник Паша Резниковский. А он принадлежал к уже упоминавшейся мной программистской Кронродовской секте, которую я на дух не переносил. Собственно говоря, о ничем не примечательной и ни к чему путному не приведшей моей встрече с Пашкой я упомянул здесь только из-за этого обстоятельства и из желания вспомнить об этом программистском расколе.

Я познакомился с Симою, который произвёл не меня вполне приятное впечатление. Он знал обо мне от Семёна Исааковича. Сима пригласил Пашу и познакомил нас, хотя в этом необходимости не было. Паша увёл меня в своё логово — логово апологета еретического программирования в содержательных обозначениях. Жизнь в ВЦ кипела. По дороге в Пашкин кабинетик сновали еретики с умными лицами и прехорошенькие еретички. Внешняя обстановка очень походила на нашу Реутовскую: свою ересь Пашины сотрудники прятали глубоко.

Паша стал рассказывать мне о предстоящей мне работе. Речь шла о должности старшего научного сотрудника с окладом 300 плюс хорошие премии (ЦНИИКА был институтом первой категории). О содержании предлагавшейся мне работы я сейчас помню только, что заманчивым оно мне не показалось и совершенно не перевешивало автоматической необходимости — переходить в презируемую мной программистскую ересь. Добираться от нашего дома на Арбате до ЦНИИКА, располагавшегося в сердцевине Измайлова, было почти так же хлопотно, как до Реутова. Я попрощался с Пашей, сказав, что подумаю, подумал и через пару дней позвонил Паше с отказом.

Между тем, Абрам Миронович со свойственной ему привычкой держать в голове проблемы людей из очень широкого круга, к которому я продолжал принадлежать, помнил о моём желании сменить работу и помнил, что мой главный вопрос — квартирный. После того, как вариант с Лёвой Атанасяном не прошёл, Абрам Миронович мою проблему из виду не упускал. И вот ему пришёл в голову новый вариант.

Абрам Миронович, напомню, с 49-го года после ареста Наташи Гайстер и последовавшего за ним вынужденного ухода из Московского Ленинского пединститута работал в Ярославском пединституте. В Ярославле у Абрама Мироновича всегда было несколько аспирантов, большинство которых успешно защищало кандидатские диссертации. Одним из таких молодых кандидатов, возвращённых Абрамом Мироновичем, был Володя Загускин. Став кандидатом, он уехал работать в секретный город «Арзамас-16» — один из центров советской атомной науки.

Этим кодом называли старый город Саров Горьковской области, сделав одновременно всех жителей этого древнего русского городка людьми секретными. Приезжать в Арзамас-16 и, тем более, селиться и работать в этом городе можно было только по специальным пропускам, выдававшимся органами КГБ после строжайших анкетных проверок.

В течение несколько лет в старом Сарове были построены многочисленные здания для научных лабораторий и производственных надобностей. Были построены и жилые дома для научных сотрудников, рабочих и служащих атомного центра, переезжавших туда из Москвы и из других крупных городов страны. Каким-то образом на работу в Арзамасе попал и молодой учёный Загускин.

К тому времени, как я стал искать работу, и Абрам Миронович оказался в курсе этих моих дел, Володя работал в Арзамасе уже два—три года и стал там видным сотрудником. Он довольно часто бывал по служебным делам в Москве и всякий раз навещал Абрама Мироновича. Как-то Абрам Миронович рассказал Володе о моих поисках, и Володя спросил, не заинтересует ли меня работа и жизнь в Арзамасе. Работа там, по мнению Володи, меня ждала интересная, а квартиру моей семье там дали бы немедленно. Абрам Миронович тут же созвонился со мной, и через полчаса Володя был у нас.

Он, разумеется, не имел официальных полномочий вести переговоры со мной. Он рассказал, что он работает в большом теоретическом отделе руководителем подразделения, занимающегося разработкой вычислительных методов для решения задач по тематике Арзамаса-16, что в этом же или в смежном отделе есть большой вычислительный центр, что в нём, по его, Володиным, сведениям, есть постоянная нужда в высококвалифицированных сотрудниках моей специальности. Он сказал, что моей семье, безусловно, сразу же дадут двухкомнатную квартиру.

Мы с Машей отвечали Володе, что, в принципе, обрисованный им вариант нас интересует, но что непременным условием нашего переезда в Арзамас является работа не только для меня, но и для Маши. Володя попросил у меня мой (неформальный) краткий послужной список и краткую характеристику моей научной направленности. Такие же сведения он попросил от Маши. Мы расстались на том, что он расскажет начальству о состоявшихся предварительных переговорах, и если начальство вариантом заинтересуется, то переговоры продолжатся.

Володя уехал в Арзамас, а недели через две нам позвонил профессор Цуккерман, имени которого мы до тех пор не знали. Это был возможный будущий начальник Маши. Он был в Москве в очередной командировке и пригласил Машу приехать для разговора в его московскую квартиру. Они с Машей встретились. Цуккерман руководил в Арзамасе-16 разработками каких-то специальных приборов. Оказалось, что Машины знания и опыт были Цуккерману очень кстати.

Маша работала тогда в НИИЭСе (Научно-исследовательский Институт Электровакуумного Стекла) и специализировалась по разработке стеклометаллических спаев. Машина разработка была принята в производство, и для промышленного выпуска разработанного ею цемента была налажена технологическая линия на заводе в Костополе. Кинескопы с использованием этого цемента выпускались многими телевизионными заводами. В частности, Московским «Хроматроном». Цуккерман предложил Маше работу как раз по стеклометаллическим спаям. Поэтому перспектива работы с Цуккерманом показалась Маше заманчивой.

Ещё через несколько дней в Москву в очередной раз приехал Загускин. Он побывал у нас дома и сообщил, что Аразамасское главное начальство, основываясь на сообщениях Загускина и Цуккермана, наши с Машей кандидатуры одобряет и даёт согласие на продолжение переговоров. Но теперь уже продолжать переговоры был смысл только после того, как Органы допустят меня и Машу до работы в Арзамасе.

Добавлю, что основой наших переговоров были Арзамазские правила, регулирующие бытовые вопросы. В соответствии с ними в случае нашего поступления на работу и переезда в Арзамас наша московская квартира была бы за нами забронирована, и на весь срок нашего пребывания вне Москвы за нами сохранялась бы московская прописка — пункт нештуч-

ный. Володя подтвердил, что мы получим двухкомнатную квартиру. По тогдашним нормам это было вполне недурно. Катеньке гарантировалось место в детском саду — предел мечтаний.

Ещё через небольшое время меня по телефону пригласили явиться для заполнения анкеты к представителям Первого отдела учреждения, в котором мне предстояло работать. По телефону мне растолковали, как их найти. Я пришёл в маленькое полуподвальное помещение большого дома 3, фасад которого выходил на Кузнецкий Мост. В нём тогда размещался большой писчебумажный магазин. О полуподвальной дворовой жизни этого большого дома покупатели магазина не догадывались.

В помещении сидело двое или трое чиновников. Мне выдали бланки анкеты для меня и для Маши, и мы должны были их заполнить и через пару дней отдать моим новым знакомым (приложив к ним, разумеется, фотографии нужного формата). Вечер мы с Машей потратили на заполнение анкет.

Мне, заполнившему к этому времени много десятков разных анкет, стиль и уровень дотошности вопросов только что полученных страничек были знакомы. Для Маши это был новый уровень любознательности Органов, но тоже ничего особенного. Я вот уже как несколько лет написал, чтобы не входить в противоречие с самим собой, канонический текст моей автобиографии, и при заполнении каждой очередной анкеты его туда переписывал. По мере надобности и течения времени я в канонический текст добавлял по паре строк. Я отвёз заполненные нами анкеты нашим новым друзьям, и мы с Машей стали ждать результата. Мне сказали, что речь идёт о трёх—четырёх месяцах. Это было осенью 1964-го.

Отдав анкеты Вельзевулу, я решил не прекращать поисков других, не столь экзотичных вариантов. Посещая семинар Моисеева и встречаясь там с Володей Сраговичем, я, естественно, рассказал ему о моих планах от Челомея уйти. Впрочем, рассказал я ему это под большим секретом: я опасался, что если молва о моих намерениях дойдёт до уха Челомея или его ближних бояр, то я вполне могу стать объектом разных гадостей со стороны этого мстительного и непредсказуемого руководителя. Володя принял моё сообщение сочувственно и активно. Он стал советовать мне при смене места работы сменить и область приложения моих знаний и опыта. А именно, Володя посоветовал мне заинтересоваться применением математики и вычислительной техники к экономике.

Я и до разговоров с Володей знал из появлявшихся в печати сообщений о том, что некоторые советские прогрессивные экономисты задумали привнести в засорузлую марксистскую экономическую науку современные экономико-математические методы. Между строк в статьях сторонников новых методов проглядывалась надежда на то, что привнесение в экономику настоящей науки вместо бессмысленных марксистских формул само по себе будет способствовать выходу из ямы, в которую всё безнадежней сползала советская экономика.

С тем, что появились новые математические методы, позволяющие не только учитывать результаты экономической деятельности (счетоводство, бухгалтерия, статистика), но и принимать научно обоснованные планы и другие экономические решения, я был знаком ещё с пятидесятых годов из книг по математической теории игр.

Я использовал излагавшиеся там подходы и результаты к проектированию и применению самонаводящихся бомб, но не мог не заметить основополагающей книги Неймана и Моргенштерна. Книга эта называется

«Теория игр и экономическое поведение». Держа эту книгу в руках, я заглядывал и в главы, относящиеся ко второй части заголовка.

Но в практическом личном плане я о работе в сфере применения математики и вычислительной техники в экономике не думал, а вот Володя сказал, что подумать стоит. Он взялся за разработку этого направления моей будущей профессиональной жизни.

У Володи была целая колода вариантов, и он вытаскивал карты одну за другой. Первое предложение Володи было связано с НИИ ЦСУ (Центральное Статистическое Управление) СССР. Володя сказал, что дирекция НИИ ищет руководителя какого-то программистского отдела Вычислительного Центра, и что его знакомства позволяют ему составить мне первоначальную протекцию. Вскоро меня пригласил на переговоры один из заместителей директора этого института. НИИ ЦСУ размещался на первом этаже одного из наиболее примечательных строений Москвы, в знаменитом «Доме Корбюзье» на Мясницкой улице.

Переговоры с дирекцией института (а они заняли несколько встреч) разочаровали меня: и техническая база у этого НИИ была бедновата, и круг задач тяготел к не слишком изощрённой логической и статистической обработке числовых данных, и зарплата не обещала быть завидной, и свободное время для написания книги (заработок денег на кооперативную квартиру!) не предвиделось. Правда, при поступлении на эту работу очень облегчилась бы транспортировка Катеньки в детский сад и обратно: от Дома Корбюзье до высотки у Красных ворот (а именно там размещался детский сад, в который мы с трудом и с использованием знакомств незадолго до того затолкали Катю) рукой подать. Но ведь через два года Катеньке надо было идти в школу, и единственное привлекательное качество работы в НИИ ЦСУ исчезло бы естественным путём. Хотя мои контакты с руководством НИИ ЦСУ кончились ничем, но они развлекли меня возможностью походить по интерьерам оригинального здания. Там, например, не было лестниц со ступеньками, а только спиралевидный пандус, по которому можно было попасть на любой этаж.

НИИ ЦСУ отпал. Неудача этого сводничества не обескуражила Володю. На мехмате Володя учился на курс моложе меня — вместе с Кириллом Кузьминым. В студенческие годы я с Кириллом, как и с Володей, был знаком шапочно. Впрочем, кое-какая связь между нами была. Одновременно со мной диплом у Плеснера писала бойкая еврейская девушка Клара Темко. Вскоре я узнал, что она вышла замуж за Кирилла. Но за последний год я с Володей сблизился, а мои отношения с Кузьминым остались на прежнем уровне. Иногда я встречал Кирилла на программистских конференциях, но и там мы здоровались лишь издали, и я о его работе не знал ничего. Володя рассказал мне, что Кирилл занимает какую-то руководящую должность в ВЦ Госплана СССР, собирается оттуда уходить, ищет себе замену, и что он обрадовался, когда услышал от Володи, что и я меняю место работы и могу такой заменой ему стать.

Володя дал мне домашний телефон Кузьмина. Позвонив ему в один из ближайших вечеров, я сперва услышал голос Клары. Хоть с момента нашего последнего разговора или встречи прошло что-то вроде пятнадцати лет, Калька (так её называли друзья и родственники) заговорила со мной так, как если б наш предыдущий разговор был неделю назад. Она была очень экстравертной личностью, в отличие от интравертного мужа, которому она после десятиминутного разговора со мной на житейские темы передала телефонную трубку.

Кирилл сказал мне, что работа — довольно интересная, но ряд причин (позже я узнал главную) побуждает его с этой работы уйти, что он не хотел бы оставлять после себя недобрый след и договорился с начальником ВЦ Николаем Ивановичем Ковалёвым, что он отложит свой уход до появления подходящей кандидатуры на своё место. Я стал расспрашивать Кирилла о работе, об окружении, о начальстве, но Кирилл на мои вопросы почти не отвечал. Он сказал, что если я заинтересован в этом варианте, то он на другой же день расскажет обо мне Ковалёву. Если и Ковалёв проявит к моей кандидатуре интерес, то все вопросы сторон друг другу будет сподручнее прояснить при личной встрече. Я согласие на начало процесса дал.

Через небольшое время Кирилл сообщил, что Ковалёв заинтересовался и предложил встречу. Мы договорились с Кириллом, что я приеду на час раньше назначенного Ковалёвым времени, и мы поговорим о деталях, которые в начальственном кабинете обсуждать будет неуместно.

ВЦ Госплана размещался весьма тесно — в полуподвале и ещё на первом этаже здания, которое входило в группу домов, известных большинству москвичей. Но известных не по архитектурной примечательности, а по иной. Эта группа домов обрамляла (обрамляет?) узкий пешеходный проезд, отходящий от Театрального проезда между Неглинной и Рождественкой. Этот проезд вёл во двор, где стояли корпуса Центральных бань. Знакомое москвичам достопримечательное место! Так что, приблизившись к месту встречи с моим возможным будущим начальником, я обнаружил, что в корпусах, теснившихся во втором ряду за Театральным проездом не только ублажают москвичей бассейном, шайками, парилками и венниками, но и решают важные экономические проблемы страны.

Я нашёл среди подъездов, ведущих в разные разряды бань, тот, который вёл в одну из извилин экономического мозга страны. На этот скромный вход в полуподвал я при предшествующих посещениях этого двора и внимания не обращал. Я обнаружил Кирилла в маленьком кабинетике. Наш разговор было бы трудно назвать оживлённым. По своей инициативе Кирилл не сообщил мне ничего: весь разговор состоял из моих вопросов и его предельно кратких, но вполне ясных и определённых ответов.

По ходу беседы выяснялось, что я должен буду руководить программистским отделом в несколько десятков сотрудников, что до сих пор большинство задач имело учётно-статистический характер, но в последнее время ВЦ пробует решать и задачи составления межотраслевых и межпродуктовых балансов и даже — оптимального планирования.

Я узнал, какие отделы Госплана являются их заказчиками и как строятся взаимоотношения с ними. Я спросил, с какими ЭВМ их Центр работает, какая методология программирования у них принята, и ответы на эти вопросы были вполне благоприятными. Я узнал, что порядки в ВЦ, особенно для сотрудников того ранга, который, быть может, займу я — либеральные. Я выяснил, что буду подчиняться непосредственно Ковалёву.

После этого мы поднялись в более благоустроенную часть помещения, в которой находился кабинет Ковалёва. Николай Иванович принял нас с Кириллом очень любезно. Кирилл, впрочем, скоро нас оставил. Ковалёв производил довольно приятное впечатление. Он говорил с каким-то лёгким выговором, что-то вроде вятского. В дополнение к тому, что сказал мне Кирилл, Ковалёв назвал мне мою будущую зарплату. Вместе с устойчивыми премиями это выходило немного больше, чем я получал тогда у Челомея.

Ковалёв сказал, что я буду прикреплен к ведомственной поликлинике и что каждый год к отпуску я буду получать, как и все руководящие сотрудники Госплана, специальные «деньги на лечение», равные обычному месячному окладу. Отпуск мне полагался месячный (ведь этот ВЦ не считался НИИ). Что касается квартиры, то Николай Иванович не мог мне обещать её немедленное получение, но сказал, что мои шансы на её получение в течение двух—трёх лет высоки.

В целом, вариант показался мне и Маше привлекательным, и я заполнил очередную анкету. Ковалёв сказал мне, что приём сотрудника того ранга, который мне предлагался, предусматривает встречу кандидата с более высоким начальством, который может мою кандидатуру одобрить или отклонить и к которому меня вскорости пригласят.

Через несколько дней мне, действительно, назначил приём какой-то высокий чин. В тот период высшее руководство производило структурные манипуляции. Госплан был разделён на две части. За первой осталось название «Госплан», и этот орган должен был заниматься текущим планированием, а вторая получила название «Экономсовет», и ей предписывалось заниматься перспективным планированием. ВЦ Ковалёва, хоть все его называли по-старому — «ВЦ Госплана», был при разделении отнесён к ведению Экономсовета, а Значительное Лицо, к которому мне надлежало явиться, был начальником Главного Управления Кадров этого правительственного учреждения.

Но за то время, которое прошло от моей встречи с Кузьминым и с Ковалёвым, появилась новая информация. Моя бывшая жена Галя рассказала мне о том, что в ВЦ Госплана работает её знакомый, математик Саша Фридман. Так вот, узнав от Гали, что кто-то из её знакомых (т. е. я) ведёт переговоры с Ковалёвым на предмет устройства на работу в ВЦ, Саша Фридман замахал руками и сказал, что он и его коллега Кузьмин собираются, наоборот, от Ковалёва уходить из-за того, что Ковалёв — невежда, хам и самодур. Возможно, Саша не знал о завлекающих разговорах, которые со мной вёл Кузьмин, а может, просто считал, что джентльменское намерение Кузьмина не бросать Ковалёва, не приислав ему своего преемника — вздор, и что обращаться с Ковалёвым по-джентльменски совершенно не стоит.

В общем, Саша Фридман, не будучи тогда ещё со мной знакомым, открыл мне глаза, за что я ему крайне благодарен. Я от своего попользования работать у Ковалёва отказался и сказал об этом Володе Сраговичу. Не знаю, был ли Володя в курсе неблагоприятной задумки Кузьмина. Во всяком случае, мой отказ его не удивил и не раздражил. Он спокойно сказал, что продолжит поиски.

Между тем, пришёл момент, назначенный для моей встречи со Значительным Лицом в Экономсовете. Несмотря на то, что под влиянием информации от Саши Фридмана я решил от поступления в ВЦ Ковалёва отказаться, я на встречу со Значительным пошёл — на всякий пожарный случай. Этот руководитель принимал меня в огромном шикарном кабинете. Высокий чиновник был со мною любезен. Он задал несколько вопросов, среди которых были два не очень для меня удобные.

Во-первых, он спросил меня (естественно) о причинах моего желания уйти от Челомея. Я назвал большое расстояние от работы до дома. Чиновника это объяснение удивило. Он стал мне рассказывать, в каких он сам хороших отношениях с Владимиром Николаевичем. Эта декларируемая близость меня немного смутила: я стал опасаться, что это — реальная

опасность того, что моё желание покинуть фирму может дойти до ушей её ревнивого и мстительного шефа. Но — не дошло. Либо мой собеседник преувеличил в разговоре со мной частоту и теплоту своих встреч с Владимиром Николаевичем, либо счёл мой случай не заслуживающим того, чтобы стать темой разговора двух больших людей, либо проявил по отношению ко мне джентельменские качества, что, впрочем, маловероятно.

Во-вторых, высокий чиновник задал мне вопрос, который ни до, ни после этой беседы мне никто из начальства никогда не задавал. Он спросил, почему я не член Партии. Я использовал стандартный ответ, которому меня научили другие беспартийные, которым такой вопрос задавали. Я отвечал, что пока не чувствую себя достойным для того, чтобы взять на себя те высокие обязанности и ответственность, которые предполагаются членством в партии. Хозяин кабинета был моим ответом удовлетворён не вполне. Он сказал, что в случае, если я буду работать в ВЦ, мы к этому вопросу ещё вернёмся. Мы попрощались вполне сердечно. Через несколько дней мне позвонил Ковалёв с известием, что он получил право принять меня, и я был вынужден сказать ему, что нет, мои планы изменились.

Володя Срагович заговорил со мной ещё об одной возможности. Он сказал, что раньше не упоминал о ней, потому что она означает потерю в зарплате. Володя имел в виду Центральный Экономико-Математический Институт (ЦЭМИ) Академии Наук. Я слышал ещё за пару лет до того о создании этого института, но о возможности работать в нём и не помышлял, потому что знал, что в Академию Наук еврею устроиться было особенно трудно — что до, что после смерти Сталина. Володя сказал, что на должность старшего научного сотрудника с окладом 300 (вместо 330 с премиями у Челомея) я рассчитывать мог бы.

В ответ на мои сомнения, связанные с тем, что я всё ещё еврей, Володя отвечал, что директор этого института, академик Федоренко, с одной стороны имеет большой авторитет в ЦК и в Президиуме АН, а с другой — совершенно не антисемит, а наоборот, охотно берёт евреев на самые высокие должности. Я мог бы, по мнению Володи, рассчитывать и на должность заведующего лабораторией (оклад 400!), но что он, Володя, во-первых, не уверен, что сейчас для этого в институте есть подходящая вакансия, а во-вторых, он не думает, что дирекция ЦЭМИ сразу предложит такую должность недостаточно известному ей человеку.

Я узнал от Володи, что правая рука и единственный заместитель Федоренко — Володин приятель Юрий Александрович Олейник, который до назначения на пост замдиректора ЦЭМИ был старшим научным сотрудником ВЦ АН. Володя сказал, что Олейник не только не антисемит, но к тому же ещё и беспартийный. О том, что бывают беспартийные члены дирекции, я до сих пор не слыхивал. Мне казалось, что высший предел карьеры для беспартийного — заведующий лабораторией, отделом или сектором.

Переход Олейника со скромной должности в ВЦ АН на высокую должность в ЦЭМИ Володя объяснял не только совпадением научных интересов Олейника (линейное программирование, теория игр, оптимальное планирование) с тематикой ЦЭМИ, но и тем, что Олейник был племянником академика А. А. Дородницына (который когда-то был заведующим лабораторией в ЦАГИ, и я имел с ним дела при продувках моделей нашего «Краба»). Когда академику Федоренко поручили создание ЦЭМИ, он обратился к компетентному коллеге Дородницыну с просьбой рекомендовать ему толкового и активного заместителя, и тот, будучи человеком простым, рекомендовал ему именно Олейника.

По словам Сраговича, Федоренко дал Юре Олейнику *carte blanche* в приёме сотрудников всех рангов и весьма прислушивается к его предложениям о переводе старших научных на должности заведующих лабораториями и отделами. «Стоит тебе пожелать, а я тебе советую это сделать, несмотря на потерю в деньгах», — сказал Володя, — «И я позволю Юре, и дело будет в шляпе».

Мы с Машей стали советоваться. Против этого варианта была только потеря в зарплате: 30 рублей в месяц. В пользу — интересная работа, престижное положение старшего научного сотрудника академического института и большая свобода в режиме работы, которой славились академические институты. Эта свобода была особенно привлекательной в свете моих планов заработать на кооперативную квартиру, написав книгу по программированию, которую брался издать Юра Гастев. Наш (и Юры Гастева) друг Илья Шмаин очень советовал нам предложением Сраговича не пренебрегать — особенно из-за последнего аргумента. Он говорил: «Юра! Поступай! Представь только — кто-то спрашивает тебя по телефону в понедельник в три часа дня, а ему отвечают, что мол нет, Геронимус сегодня уже был; теперь он будет только в четверг». Потом мы с Машей, рассказывая друзьям историю моего поступления в ЦЭМИ, всегда говорили, что решающим аргументом была именно эта картина, нарисованная Илюшей.

Я сказал Володе «да». Через день Володя сообщил, что Олейник ждёт моего звонка. Я позвонил, договорился и вскоре в первую часть солнечного октябряского дня 1964-го года вышел из метро на станции «Октябрьская», чтобы дальше двинуться по Ленинскому проспекту в сторону ЦЭМИ. О! Это был исторический день! Не только для меня (он дал моей жизни новое направление). Но и для всей страны, а может, и для всего Мира. Едучи в метро, я успел прочесть на первой полосе вынутой дома из почтового ящика газеты стандартно выделенное большими жирными буквами информационное сообщение о Пленуме ЦК КПСС. Большею частью такие сообщения содержали не слишком значимую информацию. Что-нибудь вроде постановления о развитии производства товаров для детей. Иногда — сообщения о перемещениях в высших эшелонах власти: кого-то из кандидатов в члены Политбюро перевели в члены и т. п. На этот раз информационное сообщение жирного шрифта заслуживало.

В нём сообщалось о смещении Хрущёва. Мне оставалось всего полперегона на то, чтобы перечесть сообщение и начать скрести в затылке. Выйдя на поверхность, я обнаружил, что автобусы и троллейбусы по Ленинскому почему-то не ходят, и поэтому отправился в нужном направлении пешком, тревожась, что рискуя на предстоящее мне свидание опоздать (какое опоздание в виду значения этого свидания было бы крайне нежелательным).

Двигаясь к моей цели, я, естественно, продолжал затылок скрести. Но тут я увидел направляющуюся мне навстречу и занявшую всю ширину проезжей части улицы процессию медленно ехавших машин. Вот почему наземный транспорт был приостановлен! В первой машине стояли двое космонавтов, вернувшихся за день или за два до этого из очередного космического полёта, а сегодня прилетевших из Байконура во Внуково и триумфально двигавшихся в Кремль, где их ожидал торжественный, как это ещё практиковалось в те годы, правительственный приём. Ситуация была трагикомическая. В Космос те космонавты улетали, сопровождаемые напутственной телеграммой Хрущёва, а встречал их новый властитель. Вот какие мысли перемежались в моей голове с мыслями о предстоящей через полчаса встрече с Олейником.

Институт, в который я направлялся, был расположен недалеко от здания Президиума АН СССР (д. 14). Собственно Президиум был размещён в Нескучном Дворце, а его подсобные отделы — в дворцовых пристройках, разбросанных по довольно большой площади между Ленинским проспектом и Нескучным Садам. И дворец, и пристройки представляли собой образец классической архитектуры XVIII века. Здания были жёлтые, а колонны и наличники окон — белые.

ЦЭМИ размещался в бывших (при владельцах Нескучного Дворца) конюшнях. Это было вытянутое двухэтажное здание. Впоследствии я узнал, что в этом здании находится не весь институт, а его дирекция, отдел кадров, канцелярия и несколько лабораторий. Остальные лаборатории были разбросаны по Москве весьма хаотично. К этому зданию удобнее было попадать не от центрального здания Президиума, а поворотом с Ленинского проспекта направо в проход около дома 20. Этот проход вёл к корпусу ЦЭМИ (его официальный адрес был д. 14, корпус 7) и к красивой металлической ограде и воротам в Нескучный Сад. Между этими воротами и Пушкинской набережной Москва-реки стоит ротонда, из которой впоследствии стали вести телепрограмму «Что? Где? Когда?».

Кабинеты Олейника и Федоренко находились на втором — последнем — этаже этого здания. Они выходили в общую приёмную, в которой сидела их общая секретарша.

...Эта секретарша Анна Ивановна была первым сотрудником ЦЭМИ, которого я увидел и с которой поздоровался. Она оставалась на своей должности и после того, как через 28 лет я уволился из ЦЭМИ в связи с отъездом в Израиль. Она была совершенно не похожа на высокомерных секретарш начальников, с которыми судьба сводила меня до того момента. Она была любезна, доброжелательна, знала по именам большинство сотрудников института и умело способствовала организации их контактов с высшим руководством этого учреждения...

Анна Ивановна знала о моём предстоящем появлении и сразу пригласила меня в кабинет Олейника. Кабинет был не очень большим. Он вмещал письменный стол и не очень длинный перпендикулярный стол для посетителей и участников совещаний. Олейник был молодой энергичный мужчина (вскоре я узнал, что ему было 34 года — на 8 лет меньше, чем было тогда мне), невысокий, коренастый, с открытым лицом и кудлатой шевелюрой. У него была прекрасная речь, склонность к шутке, он совершенно не строил из себя большого начальника.

В кабинете Олейника уже сидел (Олейник нас познакомил) заведующий математическим отделом и одновременно лабораторией линейного программирования Евгений Григорьевич Гольштейн: в Академии Наук, по крайней мере, в ЦЭМИ, было принято, что заведующий отделом совмещает эту должность с заведованием одной из лабораторий своего отдела. Он принял участие в нашей беседе. Гольштейн тоже был моложе меня. После двух минут разговора (за это время я успел заметить, что Олейник и Гольштейн называют друг друга по именам и на «ты») моим хозяевам стало понятно, чем я занимаюсь, и они решили позвать ещё одного заведующего отделом, который, по их мнению, нуждается в сотрудниках именно моего профиля. Олейник позвонил по телефону и сказал: «Женя, ты не мог бы зайти ко мне: я беседую с Юрием Вениаминовичем Геронимусом. Возможно, тебе тоже будет интересно с ним поговорить».

Через минуту в кабинет вошёл невысокий худощавый лысоватый человек с очень приятным лицом и изящными манерами. Олейник представил нас друг другу. Про своего коллегу он сказал: «Евгений Иванович Яковлев, заведующий отделом математического обеспечения ЭВМ». Несколько минут разговор продолжался с участием нового собеседника, а потом Олейник сказал Яковлеву, что ему есть смысл продолжить разговор со мной отдельно, и что если мы договоримся, то он, Олейник, мою кандидатуру в дирекции поддержит.

Кабинет Яковлева был на первом этаже. Это была простая комната, и только окно старинной архитектуры выдавало, что эта комната находится в дворцовом помещении. Из разговора с Евгением Ивановичем я понял, что собственной ЭВМ у института пока нет. Да и наработанных программ пока тоже почти нет. Те, что есть, можно в известных пределах решать на машинах ВЦ АН. Но что своя машина у ЦЭМИ обязательно будет. Скорее всего, создание парка машин ЦЭМИ начнётся с Урала-14. К выпуску этой машины приступает Пензенский завод, который за последние несколько лет уже выпустил известный мне Урал-1, а потом и гораздо более производительный Урал-2 (именно его я когда-то робко рекомендовал Сергею Хрущёву просить для ОКБ Челомея, но чиновник Госплана тогда «поправил» меня и сразу расщедрился на М-20).

Яковлев сказал, что Урал-14 вполне современная машина, но с матобеспечением для неё дело обстоит неважно, и что есть — пока неписанная — договорённость с Главным конструктором Пензенского завода Рамеевым, что ЦЭМИ примет участие в разработке трансляторов с алгоритмических языков и операционных систем (повторяю, тогда говорили «диспетчер») как для Урала-14, так и для очередной проектируемой модификации Пензенской серии — ЭВМ Урал-16. Я понял, что в этой связи Яковлева заинтересовал мой рассказ о разработанном нами простом диспетчере для М-20.

Яковлев рассказал мне, что организация использования ЭВМ в институте уже начинает складываться. Общезначимые алгоритмы (например, алгоритмы решения задачи линейного программирования и его частных случаев (например, транспортной задачи), математической статистики и пр., а также реализующие их программы для ЭВМ разрабатываются в отделе Гольштейна. В других отделах института, занимающихся применением математических методов в разных разделах экономической науки (перспективное и текущее планирование и управление на уровне государства, на уровне отрасли, на уровне региона, на уровне отдельного предприятия, автоматизированные системы управления снабжением, транспортом, финансами и т.п.) разрабатываются соответствующие специальные алгоритмы и реализующие их программы для ЭВМ.

В ходе разговора Яковлев производил на меня всё более хорошее человеческое впечатление, но я при этом укреплялся в предположении, что программирование — не его специальность. Это предположение находилось в согласии и с тем обстоятельством, что я видел его впервые: ни на каких программистских семинарах и конференциях я его раньше не встречал. Ответы Яковлева на мои осторожные вопросы мою догадку подтверждали. Он сказал, что в ЦЭМИ он работает недавно, а до этого работал в ВЦ Госплана (!) и что он перешёл сюда вместе с ещё некоторыми сотрудниками этого ВЦ. Служебная биография Яковлева до Госплана оставалась в тумане, это было что-то инженерное, и Яковлев (как и я) был кандидатом технических наук.

Яковлев сказал, что в его отделе сейчас имеется три лаборатории: — его собственная, в которой почти нет сотрудников и которая готовится к работе над операционными системами; в случае моего поступления он предполагает ввести меня именно в эту лабораторию;

— лаборатория алгоритмических языков, которой руководит пришедший в ЦЭМИ вместе с ним из ВЦ Госплана Кирилл Сергеевич Кузьмин;

— лаборатория программ для статистической обработки результатов экономических наблюдений, которой руководит кандидат наук Ирина Павловна Френкина.

Яковлев добавил, что лаборатория Френкиной в профиль отдела не вписывается, но что она была переведена в ЦЭМИ как единое целое из какого-то другого академического института, и что Дирекции по каким-то причинам было удобно включить её не в отдел Гольдштейна, что было бы логично, а именно в его отдел, пообещав, что это будет временно (лаборатория Френкиной оставалась в этом отделе ещё лет пятнадцать).

Узнав, что я знаком с Кузьминым, что собирался переходить к Ковалёву, но раздумал (я рассказал о причинах) Яковлев обрадовался, подтвердил скверную характеристику Ковалёва и сказал, что и Фридман теперь в ЦЭМИ и заведует лабораторией дискретного линейного программирования в отделе Гольдштейна.

В заключение нашей беседы Яковлев пригласил меня на должность старшего научного в свою лабораторию, а я отвечал, что мне нужно подумать, и что я мой ответ сообщу без лишней задержки. После этого Яковлев попрощался со мной, выразив надежду на мой положительный ответ, но перед самым расставанием привёл меня в соседнюю комнату, в которой сидел Кузьмин и его немногочисленный штат.

Яковлев ушёл, а я стал задавать разные естественные вопросы Кузьмину. Но теперь уже не об обстановке в ВЦ Госплана — с этим всё было ясно — а об обстановке в ЦЭМИ. О перспективе моей работы Кузьмин высказался вполне лояльно. О его странном сватовстве в процессе моих переговоров с Ковалёвым ни я, ни он не упоминали. Одна странность: прервав мою очередную фразу, в которой содержалось естественное для меня со студенческих времён обращение к Кузьмину по имени и на «ты», Кузьмин сказал, что считает более уместным использовать в нашем дальнейшем общении обращение на «Вы» и с употреблением имён-отчеств. Я оторопел, но подчинился: было бы странно, если б я ему говорил «ты» в ответ на его официальное «Вы». С тех пор мы всегда общались с Кузьминым только чопорно, а при наших редких разговорах с его женой Калькой Темко — только в прежнем фамильярном студенческом стиле. Но по существу Кузьмин был доброжелателен и посоветовал мне соглашаться.

Вечером мы обсудили с Машей все аспекты и последствия моих встреч, которые у меня в тот день были, и решили, что этот шанс упускать нельзя, и что стоит рискнуть потерей в окладе. На другой день я позвонил Яковлеву и сказал о моём согласии. В ответ на это Яковлев сказал: «Поздравляю Вас с правильным решением». Эта формула нам с Машей запомнилась, и мы с тех пор всегда употребляем её в подходящих случаях.

Речь Евгения Ивановича, вообще, была нетривиальной. С одной стороны, он не был склонен к прикрасам и к вычурным оборотам, а с другой — всегда находил простые обороты для точного выражения своей мысли, и — самое главное — эта мысль, была ли она прогнозом или оценкой ситуации или личности, всегда была верной.

Ещё через день я пришёл к Яковлеву и написал заявление. Яковлев поставил на нём свою визу, тут же сходил к Олейнику и получил и его подпись. Яковлев объяснил мне, что в отделе кадров подготовят моё дело, в которое, кроме моего заявления с резолюцией Федоренко и моей анкеты, добавят ещё письмо академика Федоренко в Управление Кадров Президиума АН с просьбой разрешить принять меня на должность и. о. старшего научного сотрудника с последующим прохождением по конкурсу.

С формальной точки зрения такое разрешение Президиума требовалось потому, что меня собирались принять на работу не по конкурсу, как этого требовали правила, а до. Это была обычная практика: собирать конкурсную комиссию ради одного человека было непрактично. Обычно конкурсная комиссия заседала раза два в год и рассматривала все накопившиеся к заседанию дела. Но я не исключаю, что правило, в соответствии с которым для принятия на должность и. о. директор института нуждался в разрешении Президиума АН, было элементом механизма надзора Президиума за кадровой политикой директоров академических институтов.

Начальником отдела кадров ЦЭМИ оказалась любезная и вполне культурная дама лет пятидесяти, которую звали Эстер Матвеевна. Это имя и внешность дамы вполне подкрепляли совершенно невероятную в отношении начальника отдела кадров гипотезу о её еврейском происхождении. Я заполнил под тёплым руководством Эстер Матвеевны нехитрую короткую анкету и узнал от неё, что обычный срок рассмотрения дел такого рода в Президиуме — четыре—пять месяцев.

Этот внушительный срок был в пользу предположения о большой работе, которую Управление Кадров Президиума намерено провести в исследованиях пригодности моей кандидатуры. Но молва о том, что Федоренко любит принимать евреев и что это ему удаётся, согревала. Был конец октября 1964-го года. Я вернулся к Яковлеву, и мы договорились, что он меня о результате прохождения моего дела в Президиуме известит.

Был ещё один вариант. Константин Адольфович Семендяев к тому времени из Академии Наук ушёл и был заведующим ВЦ крупного учреждения под странным названием «Мировой метеоцентр». Название имело буквальный смысл. В конце пятидесятых возникла международная кооперация метеослужб. Её главная цель состояла в налаживании оперативного обмена информацией о погоде и состоянии атмосферы в разных точках земного шара, необходимой для правильных прогнозов погоды. Национальные метеоцентры нескольких десятков стран были связаны между собой информационными каналами, разрабатывали общие методики метеонаблюдений и обработки их результатов. Эти выделенные национальные центры и получили название «Мировых».

В СССР статус Мирового получил, естественно, Государственный Метеоцентр. Я спросил Константина Адольфовича о перспективах моей работы в руководимом им отделе. Семендяев пригласил меня на переговоры. Статус и содержание работы, обрисованные Семендяевым на этой встрече, были вполне доброкачественными. Квартирные перспективы были близки к нулю. Уверенности в том, что Мировая дирекция примет на высокую должность еврея, у Кости не было.

Я рассказал Семендяеву о моих переговорах с ЦЭМИ, и Константин Адольфович сразу признал, что ЦЭМИ кажется ему более привлекательным для меня, чем его ВЦ. Мы договорились, что зондаж в своей дирекции Семендяев начнёт только в случае, если Президиум АН мне в поступлении в ЦЭМИ откажет, и если моя заинтересованность в работе у него определится в положительном направлении.

Наступил январь 1965-го года. И наступил, как это часто бывает, долгожданный и в то же время неожиданный момент: представительство Арзамаса в Москве известило меня о том, что я и Маша допуск для работы на Объекте получили! Скоро в Москве оказался Загускин и захотел договориться о моём приезде в Арзамас для выступления с докладом на семинаре тамошнего ВЦ (такой там был принят порядок знакомства с кандидатом в новые сотрудники) и для встречи с высоким начальством для окончательного решения существенных вопросов: о моей должности, о получении квартиры и пр.

Мне пришлось признаться Загускину, что я начал контакты с ЦЭМИ и нахожусь в ожидании. Да и обращаться к Хейфецу с просьбой разрешить мою командировку в Арзамас-16 мне не больно хотелось. Сказать ему об истинном значении этой командировки для меня было невозможно, а таиться от добрейшего Наума Абрамовича было негоже. Я попросил Загускина отложить предлагавшиеся им встречи в Арзамасе и из-за неопределённости моих дел и из-за того, что через несколько дней начиналась большая Всесоюзная конференция по программированию, проводившаяся в Институте Математики Сибирского Отделения АН в Академгородке в Новосибирске. Я уехал на конференцию и встретился со многими программистами — руководителями и коллегами, с которыми крутил служебные романы одновременно.

Ещё в аэропорте Толмачёво при выходе из самолёта я увидел среди выходящих и садящихся в академический автобус мою самую серьёзную привязанность: Яковлева. С ним вместе был Кузьмин. В течение жизни в Академгородке мы с Яковлевым общались немного. В частности, потому, что Оргкомитет конференции выделил места в гостинице Академгородка только для участников, имевших учёные степени. Остальных поселяли в студенческом общежитии. Там было много свободных мест, потому что конференцию устроили в дни студенческих каникул, и многие студенты разъехались. А у Кузьмина степени не было.

...Как я узнал потом, это обстоятельство время от времени создавало трудности для дирекции ЦЭМИ. Заведующий лабораторией без степени для академического института — нонсенс. Например, Кузьмин получал в ЦЭМИ не стандартный оклад заведующего лабораторией, т. е. 400 рублей, а персональный в 350, который дирекция должна была периодически выхлопывать в Президиуме. Кирилл проработал в ЦЭМИ почти 30 лет и наработал на несколько кандидатских, а может, и докторских диссертаций, но в силу ряда особенностей своего характера писать диссертацию и защищать её с целью получения степени так и не стал...

Так вот члены Оргкомитета не сообразили сделать для Кирилла исключение и дать ему место в гостинице, и он — в соответствии с его формальным положением — получил место в общежитии. А кандидат наук Яковлев, имевший на гостиницу право, поселился с Кузьминым в общежитии из солидарности с товарищем.

Я жил на одном этаже гостиницы — через номер — с Семендяевым. В эти дни мы с ним весьма интенсивно общались. Один раз в лютый мороз поехали в Новосибирск, гуляли по заиндевевшему городу и обедали в ресторане какой-то центральной гостиницы, заказав фирменное «Мясо по-монастырски».

Как-то перед началом одного из заседаний ко мне подошла группа из пяти—шести молодых людей и дам. Они сказали, что они из ВЦ Арзамаса, что они слышали о моём предстоящем поступлении к ним на работу, что они этому очень рады. Они спрашивали, когда я приеду к ним для прочтения

доклада и пр. Мне пришлось отвечать им что-то вежливое и невнятное в том смысле, что я пока не могу указать им точный срок моего к ним приезда.

Накануне закрытия конференции её организаторы устроили банкет. В отличие от обеда в ресторане, я не помню, что мы на этом банкете ели, но тост, произнесённый Семендяевым, помню. Он предложил выпить за некое уникальное переживание, знакомое только программистам. Это переживание — облегчение, которое испытывает автор программы, обнаружив, наконец, в ней ту ошибку, из-за которой в процессе отладки (т. е. пробных запусков программы), программа давала несуразные или явно неверные результаты.

Действительно, не знаю, как сейчас (я давно отошёл от непосредственного написания программ), а в те годы львиную долю времени и умственных сил при создании новой программы составляло не придумывание концепции и не написание текста программы, а вылавливание вкрапившихся в неё ошибок. Программ, не содержащих в начальный момент их жизни ошибок, не бывает. Специфика программирования состоит в том, что, получив при пробном прогоне программы явно неверный эффект, программист не может понять, является ли он следствием концептуальной ошибки или простой описки. Это выясняется после того, как ошибка найдена.

Устранив найденную ошибку, программист снова запускает программу и натывается на новую ошибку. Недаром процесс поиска ошибок в программе, выражаемый в русском языке ординарным термином «отладка», в английском языке получил название *debugging* (вылавливание блох). Этот процесс перемежается периодами отчаяния и моментами острого счастья.

Поиск ошибки в неверно работающей программе отличается от поиска неисправности в, скажем, погасшей лампе тем, что в лампе обрыв провода или другой механический дефект сразу виден глазами, а в тексте программы ошибка или описка в глаза явно не бросается. Бывает и так, что программа начинает работать нормально, и её начинают использовать для дела, и вдруг через несколько лет её благополучной успешной эксплуатации в каком либо её куске обнаруживается ошибка. Причина: до этого момента данные, которые обрабатывала программа, не приводили к необходимости выполнять этот её дефектный кусок.

...Семендяев дожил до глубокой старости и до последних своих лет аккуратно ходил на все вечера в Доме Учёных, в программу которых входили танцы, приглашал молодых дам и самозабвенно кружился с ними в вальсе или отплясывал что-нибудь и более современное...

В первых числах марта Яковлев позвонил и сказал, что разрешение Президиума получено, и что если я не передумал, то могу начинать процедуру увольнения из Реутова. Я держал Вадима всё время в курсе моих планов и поисков. Он был, естественно, первым, кому я сказал, что подаю заявление об уходе. С заявлением и визой Вадима я двинулся к Хейфецу.

Хейфец, которого Челомей имел обыкновение третировать, узнав о моём намерении, вскричал укоризненно и крайне взволнованно: «Юрий Вениаминович, но ведь это значит, что Вы не уважаете Владимира Николаевича!». Это моё гипотетическое неуважение к гениальному шефу казалось несчастному Хейфецу кощунственным. Я заверил Наума Абрамовича, что уважаю, но что мои личные обстоятельства побуждают меня сделать столь непонятный ему шаг. Более высокое, чем Хейфец, началь-

ство моим уходом не заинтересовалось, и через пару недель я получил на руки мою трудовую книжку.

...Наум Абрамович Хейфец, человек высококвалифицированный, интеллигентный и мягкий, через год или два после моего ухода от Челомей не выдержал и ушёл на высокую должность в НИИ-88 при ОКБ Королёва в Подлипках. Но на этой комфортной работе Хейфец задержался недолго. Он умер от сердечного приступа в примерно пятидесятилетнем возрасте. Я ездил на гражданскую панихиду в МАИ, где повстречался с грустным Эйдисом и торопящимся Попком. Челомей жертву своего хамского нрава хоронить не пришёл...

С Вадимом мы простились крайне дружески, и эта отдалённая, но прочная дружба сохранилась навсегда. Она не ослабла и от того, что в течение первых же месяцев моей работы в ЦЭМИ я увлёк за собой пять сотрудников — двух программисток, Марту Исаеву и Аллу Сорокину, и трёх электронщиков, т. е. прямых подчинённых Вадима — Мишу Ильменского, Лору Капранову и Андрея Кузнецова.

...Миша Ильменский стал вскоре заведующим ВЦ ЦЭМИ, а Лора — ведущим инженером. Марта через несколько лет защитила диссертацию и стала одним из ведущих научных сотрудников ЦЭМИ. Миша, Лора и Марта продолжали работать в ЦЭМИ и после моего отъезда в Израиль. Алла Сорокина и Андрей проработали в институте по несколько лет, а потом ушли искать счастья в другие места.

Мои связи с Реутовым сразу не порвались. Я продолжал дружить с Александром Борисовичем, перезванивался и встречался на семинарах с коллегами программистами. В середине семидесятых мне понадобилось решить одну задачу, которую «Уралу-14», имевшемуся тогда в ЦЭМИ, решить было не под силу — не хватало памяти и быстродействия. Я знал, что в Реутове тогда уже была БЭСМ-6 — тогдашний чемпион советской вычислительной техники. Я обратился к Вадиму, и он разрешил реализовать мой алгоритм на реутовской БЭСМ-6, не ставя, разумеется, в известность своё начальство (Хейфеца к тому уже не было) об этой любезности. При этом Вадим разрешил моему старому, продолжавшему работать у Вадима, сотруднику Илье Герцовичу Книжнику отвлечься на превращение моего алгоритма в программу. А задача эта, к слову сказать, не имела никакого отношения к тематике ЦЭМИ, а относилась к проблемам английской лингвистики и нужна была одной нашей с Машей приятельнице для включения результатов расчётов в её диссертацию, защищавшуюся в Педагогическом Институте Иностранных языков...

На другой день после увольнения из Реутова я пришёл к Яковлеву, а от него — к Эстер Матвеевне, которая при внимательном рассмотрении оказалась не еврейкой, а — Челобянец. Она сказала мне, что для оформления приказа о моём зачислении ей понадобится два дня. 23-го марта 1965-го года я стал и. о. старшего научного сотрудника ЦЭМИ.

Мы сразу очень сработались и сдружились с Яковлевым, быстро решили с ним на ты и стали обращаться по именам. К концу года, когда подошло время проходить мне по конкурсу, Женя и Олейник сумели реорганизовать отдел Яковлева, образовать в ней лабораторию операционных систем — «под меня» — и я подал на конкурс и прошёл не на старшего, а на завлаба.

...Я проработал в этом институте ровно 28 лет — с 23.03.65 до 01.04.93 — т. е. вплоть до самого последнего момента перед нашим отъездом в Израиль.

Судьба Евгения Ивановича трагична. В конце 60-х годов три лаборатории отдела Яковлева, в том числе и моя, тесно сотрудничали с группой норвежских учёных (Кристен Нигард и др.) в области компьютерной имитации. Разработанные норвежцами программные средства мы предполагали использовать для создания и исследования на ЭВМ моделей функционирования социально-экономических систем.

Группа Нигарда несколько раз надолго приезжала в Москву. Несколько раз в длительные командировки дирекция нашего института посылала в Норвегию Яковлева. Других «выездных» в нашем отделе не было. Потом Яковлева для работы по этой же теме стали посылать в Англию. После вторжения наших войск в Прагу в 1968 г. норвежцы в знак протеста свои поездки к нам прекратили. Поездки Яковлева в Англию продолжались.

За несколько дней до выезда в свою последнюю заграничную командировку — в 1971 г. — Евгений Иванович уехал на своём «Москвиче» на 60-й километр Минского шоссе и вскрыл себе вены. Предсмертной записке, в которой ничего не было сказано о причинах самоубийства, а содержалась лишь стандартная просьба никого не винить в его смерти, мы, его сотрудники, не поверили. Впрочем, мы этой записки и не видели.

Мы предположили, что, санкционируя командировку Яковлева за границу, КГБ настойчиво вербовал его для шпионской деятельности. Но роль шпиона была для Яковлева невыносимой. Другого, менее ужасного, способа найти решение в создавшейся ситуации, бедный Евгений Иванович не нашёл.

За некоторое время до кончины Евгений Иванович заключил договор с издательством «Прогресс» на подготовку и издание книги «Машинная имитация». М. К. Исаева и я доработали и отредактировали оставшуюся после Евгения Ивановича рукопись, и эта книга вышла в свет. Вечная Евгению Ивановичу память и благодарность.

...К сожалению, начиная с середины 90-х годов ЦЭМИ утратил свою бывшую репутацию проводника передовых идей в области экономической реформы в России. Разработчики этих идей — Данилов-Данильян, Ясин и его ученики — Алексашенко, Вавилов, Мащиц и многие другие — из ЦЭМИ ушли и заняли видные посты в государственных учреждениях и в бизнесе, многие учёные эмигрировали в Штаты, Глазьев стал красно-коричневым политиком, Шаталин умер, и некогда славное и энергичное научное учреждение увяло...

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ	3
ВСТУПЛЕНИЕ	5
ГЛАВА 1	21
Начало. Происхождение родителей. Бабки, деды, родня. Тётя Броня и Дядя Гриша. Мои тёзки: Юра Оксман и Юра Барштейн. Встреча и брак родителей. О родителях. Дом на Арбате. Наша квартира. Благая роль дома 35 во всей моей жизни. Коммунальная квартира. Домработницы. Первые летние месяцы. Проказы. Мебель в комнате. Круг чтения. Книжный базар в Лубяном проезде. Гуляние в окрестностях. Уличные игры. Китайцы и цыгане на Гоголевском бульваре. Храм Христа Спасителя.	
ГЛАВА 2	48
Соседи. Смирновы и их животные. Щеночек Дэвик. Матрёна. Шелагуровы. Ерыкаловы. Замужество Матрёны. Юра Смирнов. Кирилл Раменский. Губернаторша Сарра. Колмановские. Залманзоны. Частная немецкая детская группа. Преступная филателия. Шофёры дяди Давида. Музыка и театр в детстве Эди. Чтение. Раиса Наумовна и её родня. Дядя Яша. Даня. Миша и Лиза. Трайнины-Певзнеры. Лиза из Германии. «Wie ist Hitler!?!». Анна Любошиц. Шерешевский. Эсер Блюмкин, оппозиционер Зиновьев и управдом Агрест.	
ГЛАВА 3	78
Гоголевский бульвар. Самоволка. Торгсин. Трамваи. Извозчики. Ломовики. Автомобили. Беспризорники. Молочницы. Старьёвщики. Угольщики. Утюги. Стекольщики. Точильщики. Смоленский рынок. Полотёры. Маляры. Клопы и др. Чистильщик сапог дядя Ваня. По одежке... Спектр услуг дяди Вани. Фонарщики. Дворники. Коньки. Мечты о профессии. Лето в Краскове: велосипед, купанье в Пехорке, хозяйева дачи. Московский зоопарк. Радиоточка. Дошкольное чтение. Газовая колонка. Железная дорога. Ростов и станция Славянская. Середняки и кулаки. Дангауровка. Салтыковка.	
ГЛАВА 4	108
Солянка. Путь с Арбата на Солянку на трамвае. Бабуся, тётки, квартирант Лёва. Соседи. Майечка и Витуська. Карточные игры. Коммунальная жизнь. Печка. Лёвины баяны и патефон. Вечеринки под патефон. «О, Донна Клара!», «Румба», «Риорита», Утёсов. Классическая музыка. Прогулки с папой. Тёткины ухажёры. Сладости. Гоголь-моголь и его продолжение. Эммануил Казакевич. Чтение. Има Левин. Судьбы солянских родных.	
ГЛАВА 5	130
Первые школьные годы. Лидия Викторовна. Методика обучения. Пост старосты класса. Октябрята. Подписка на журналы. Олег Микк. Пионерский лагерь Интуриста. Вступление в пионеры. Переход в класс «А». Надежда Касьяновна. Тамара Майзель. Боря Кулес. Дядя Коля. Курорт Ермоловское и австрийцы. Тайнинка. Третий класс. Тамара Корнильевна. Александр Михайлович Астафьев. Има Левин. Викторина Самсона Глязера. Варвара Васильевна. Вика Левин. Майя Туровлина. Политехнический музей. Тётя Нюра и её дочери.	

ГЛАВА 6

154

Первые взрослые коньки. Парк Горького зимой и летом. Учительницы: Александра Николаевна (Гусыня) и Евгения Александровна. Врач Анна Ивановна. Библиотекарь Елизавета Борисовна. Кассиль и Гашек. Общественная жизнь. Линейка. Шура Завадь. Политические взгляды. Лето в Истре. Убийство Кирова. Политические сомнения. Жёня Агранович. Весенние каникулы у папы в Сталиногорске. Лето в Алексине. Потапов. Лошадь. Чехи. «Колёса». Роковой град.

ГЛАВА 7

177

Пятый класс. Цитовский. Моя болезнь. Доктор Боссэ. Смерть Цитовского. Радиоточка. Детские передачи. Трансляции опер и концертов. Чтение. Юровецкие. Модель подводной лодки. Возвращение папы к работе в Москве. Теплоцентрали. Удаление гланд. Лето в Краскове. Процесс над Зиновьевым и Каменевым. Смерть Горького. Солнечное затмение. Ёлка у Тамары Майзель. Возвращение в школу — в шестой класс. Анна Дмитриевна Соколова. Пушкинские дни. Княжна Шаховская. Мадмуазель Жюли Монтаньяр. Надежда Всеволодовна Дмитриева. История Искры Голенищевой-Кутузовой. Лето в Звенигороде. Пароходное путешествие в Уфу. Седьмой класс. Учителя: Наталья Арсеньевна, Александр Михайлович, Анна Николаевна. «У Синего фиорда». Разговоры с норвежцами в шестидесятых. Арест Давида. Судьба Вавы. Натан Агрест. Моя аспирантка Ира Ульрих. «Над всей Испанией безоблачно небо». Майя Левидова. Прогулки с Майей. Её родители. Писатель Михаил Левидов. Мама поступает на работу в Военно-Политическую академию, а папа — в ГУЛАГ НКВД СССР. Пароходное путешествие в Астрахань. Елатьма.

ГЛАВА 8

213

Восьмой класс. Гуманитарные позиции Майи Левидовой. Герман Карлович. Мои обеды. Майя приобщает меня к искусству. Конкурс дирижёров. Залманзоны. Несколько свидетельств очевидцев: о лучах его превосходительства Рентгена, о незаметной Октябрьской революции, о дебюте Сталина в роли генсека. Жёня Веллер. Новый 1939 г. Футбол. Лето в Святошине. Юра и Юра. Бригада Маяковского. Новый 1940 г. Зимние каникулы в Звенигороде. Эдино письмо. О поэзии Маяковского. Зигаги вкусов Майи. Жизнь Бригады. Лёня Большаков. Н. Асеев. Вечер в Политехническом. Клуб НКВД. Его члены соглашались, что человек звучит гордо. Асеев в клубе НКВД. В. Перцов. В. Яхонтов. Французская поэзия. Снова Жёня Агранович.

ГЛАВА 9

246

Три дня в Ленинграде у Юры Оксман. Дом отдыха в Луге. Отдыхающие охранники. Таня и Хлебников. Молодая компания. Люся и Лида. Дангауровка. Десятый класс в 73-й школе. Снова Герман Карлович. Мария Спиридоновна. Пётр Яковлевич. Ирма Робертовна и её ассистентки. Библиотека клуба НКВД. Эдя помогает Шостаковичу. Концерты в Москве. Предвоенные настроения. Вечер немецкой поэзии в школе. Несостоявшийся конкурс и моё вступление в ВЛКСМ. Сталин с генералами за мир не пьёт. Моя ссора с классом. О Володе Кяо.

ГЛАВА 10

262

Война. Выступления Бригады на вокзалах. Уход в Народное ополчение. Арест Михаила Левидова. Переход в Истребительный батальон и совместная служба с папой. Бомба в театр Вахтангова. Контингент истребительного батальона. Наряды. Депортация «немцев». Судьбы Германа Карловича и Ирмы Робертовны. Эвакуация завода «Борец». Разведка. Выступление на позиции. Дом ВЦСПС. Конец истребительного батальона. Раменки. Возвращение в Москву. Мехмат. Роберт Виноград. Арон Муркес. Бегство к маме в Белебей.

ГЛАВА 11	294
Белебей. Я — лаборант. Я — агент по снабжению. Оркестр. Коллеги. Приезд Софы. Спиртовой завод. Яйца. Приезд Шостаковича. Адское избобрение инженера Златина. Мобилизация в комендантский взвод. Демобилизация. Командировка в Уфу. Гауптвахта. Я годен к физтруду. Уфимский военкомат. Путь в Гурьев. Бондарно-ящичный завод. Домерщикова. Я не годен и к физтруду. Вызов из МГУ и возвращение в Москву.	
ГЛАВА 12	328
Возвращение в Москву. Снова мехмат. Майя Левидова. Приезд Эди. Новые друзья. Профессура мехмата. Художник Митурич. Творчество Хлебникова. Планыпредседателя Мигурича. Возвращение Колмановских из Свердловска. Известие о гибели Дани. Экзамен у Шмидта. Посадка картошки с сотрудниками ГУЛАГа. Красновидовские заботы. Пленные немцы. Судьба Арона Муркеса. Юра Абов. Друзья-физики. Имочка Шноль. День рождения Имочки. Лесная прогулка с Галей Шестопап.	
ГЛАВА 13	367
Начало второго курса. Расширение знакомств с физиками. Историческая вечеринка. Женитьба на Гале Шестопап. Лопшицы-Шестопапы. Параллели между моими и Галиными родителями. Галя знакомится с моими школьными друзьями. Нравы в доме Лопшицев. Продуктовые карточки и магазины. Дрова. Дровяные склады. Лимит электричества. Посещения бань. Родственники Лопшицев. Новое появление Юры Оксман. Профессор Дубнов.	
ГЛАВА 14	400
Великий Гельфанд. Экзамен по линейной алгебре и предложение Гельфанда. Алик Вольпин. Вечер Пастернака в МГУ. Лёва Чудов. Неудача моей попытки стать учеником Гельфанда. Кабинет математики. Меньшов. Ягломы. Варёный Курочкин и Надя Евдокимова. День Победы. Мечь Ландсберга. Воскресение Дани. Хиля Ройтерштейн. Ольга Грабарь. Арест Юры Гастева и Лёвы Малкина. Горестный приход к нам Софы Абрамовны Гастевой. Сомнительная версия Иосифа Шкловского о причинах ареста Юры. Рождение Сашеньки. Фильм «Без вины виноватые». Саша Лизаревич. Браки сверстников. Предпочтения С. Э. Хайкина.	
ГЛАВА 15	428
Старшие курсы. Возвращение папы. Политэконом Санина. Приобщение к научно-литературной работе. Второе Красновидово. Приезд Бабы Нины в Москву. Профессор Л. А. Люстерник. Экзамен в машине. Переводы. Лето на хлебах за дифуры. Профессор А. И. Плеснер. «Абрам! Ты забыл дома калоши!». Отмена карточек. Облава на антисемитов. Миркины и Семендяевы. Звенигород с Миркиным. Гайстеры. Появление Наталки. Работа у Абрама Лясса. Распределение. Юра Коренев. Госэкзамены.	
ГЛАВА 16	458
Последние каникулы: Кексгольм. Мне и Гале дают допуски к секретной работе. Фирма. Отдел кадров. Первая встреча с Первым отделом. Сборник секретных сведений. Тематика фирмы. Томашевич. Распорядок дня. Александр Борисович Липшиц. Автор — ЦЕКА. Свечарник. Провал аспирантуры в ИТМ. Моя работа и карьера. О методах математического исследования траекторий полёта. Галя работает у Берии сына. Счётная фабрика в Кирпичном. Неожиданное увольнение Гали. Немецкий тренажёр. Лесечко, СКБ-245 и тренажёр для Щуки. Александр Борисович: английский, музыка, шахматы, идея о заговорщике Саше Кронроде, семейная жизнь. Лётные испытания Fritz-X.	

ГЛАВА 17	492
Смерть мамы. Первые годы папиной жизни без мамы. Переезд Бабы Нины на Арбат. Папина женитьба на Елене Сергеевне Ломоносовой. Судьба нашей комнаты. Арест Наталки. Изгнание Абрама Мироновича из Ленинского пединститута и устройство на работу в Ярославле. Эда в Радиокomitee. «Юные ленинцы». Маша Калмановская становится студенткой. Майя Левидова и Фальк. Рая Разумова. Корнелий Зелинский. Абрам Миронович — спорщик. Спор с политработником Адей. Спор с С. А. Яновской. Маленький Сашенька. Ещё о Лопшицах.	
ГЛАВА 18	521
Рыжик и Градштейн. Реорганизации в фирме. Д. В. Свечарник. Краб. Библиотека Иностранной литературы. ОКБ Антипова. СКБ-589. ОКБ Туполева. Тепловая головка — Геништа. Заказчики из ВВС. ЦАГИ. ВВИА им. Жуковского. Смерть Сталина. Генерал В. С. Пугачёв. Военно-воздушный марксизм. Алик Рабинович-Митта. Начало моего увлечения живописью. Смерть Бабы Нины.	
ГЛАВА 19	551
Натурные испытания. Ногинск. Подполковник Шатровский. Резвость Краба. Капъяр-Владимировка. Бытовые стороны командировок. Увар Дмитриевич. Коллеги. Майор Берман. На мотоцикле в степь. Евреи в оборонке и в Вооружённых силах. Как во Владимировке соблюдалась секретность. Лётное испытание образца. Старательные штурманы. Подполковник Литвинов. Обработка результатов испытаний. Отдых с водкой и раками. Ещё о качестве офицерского корпуса.	
ГЛАВА 20	570
Директор Крупнов. Лестное предложение. Сдача кандидатского по марксизму. Конец Краба. Крах моей карьеры. Ссылка Краба в Челябинск. Вольная жизнь. Семинар А. А. Ляпунова. Н. В. Тимофеев-Ресовский. Первые встречи с программированием. XX съезд. Освобождение «Юных Ленинцев». Сусанна Печуро. Рост известности Эди. Кончина Александра Марковича Колмановского. Попытка органов завербовать меня в стукачи. Защита диссертации. Мой нокаут вербовщикам. Конец моего брака с Галей и начало моей жизни с Машей Калмановской. Кончина Якова Семёновича Дубнова. Взгляд из сегодняшнего дня.	
ДОБАВЛЕНИЯ	602
ДОБАВЛЕНИЕ 1	603
Толя Якобсон, Майя Улановская, Саня Якобсон. Ирэна Аргинская. Саша Тимофеевский. Сусанна Печуро и её неожиданно проявившиеся качества. Юра Гастев узнаёт о дыхании Чейн—Стокса. Ляся Гастев. Профессиональная жизнь Юрика. Выход в свет его книжки «Гомоморфизмы и модели». Движение в защиту Алика Вольпина. Академик Новиков. Последствия для Гали Шестопаля. Высылка Юры Гастева. Ещё об Алике Вольпине. Лёва Малкин.	
ДОБАВЛЕНИЕ 2	611
Я начинаю обучаться живописи у Майи Левидовой. Педагогические установки Фалька и Майи. Переход к более сложной натуре. Я начинаю писать маслом. Студия в квартире Наталки Гайстер. Вместе с Аликом Рабиновичем-Миттой. Обнажённая натура. Похвала Фалька. Мастерская на входной лестнице. Мастерская в 24-й. Лето 69-го. Мастерская в Костянском. Портрет и психология. Голый король. Встреча с Майей в Израиле.	

Наконец — встреча с ЭВМ. Школа лаборантов. У Челомея. Служебное повышение. Сергей Хрущёв. Нравы Челомея. Слабость грозного Челомея к тишайшему Липшицу. Раиса Крепс. Володя Модестов. Подъём на вершину: М-20. Приток молодых специалистов. Имперализм Челомея. Мою лабораторию переводят в Реутово. Возведение в ранг ВЦ. Рокировка. Отношение Челомея к своим замам. Склонность Челомея к евреям. Наум Абрамович Хейфец. Моя личная работа. Марта Исаева, Алла Сорокина и др. Научно-общественная жизнь советских программистов. Шура-Бура. Алгоритмические языки и еретик Саша Кронрод. Н. Н. Моисеев. В гостях у Эдгара в Вильнюсе. Челомей и крутильные колебания. Не высовывайся! Ещё о Сергее Хрущёве.

Семён Исаакович Шварцбурд. Реутовская школа. Помощь замминистра А. И. Маркушевича. Сашино поступление на мехмат. Стремление покинуть фирму Челомея. Квартирный вопрос. Переезд в квартиру 66. Перспективы. Поиски новой работы. Предложение Лёвы Атанасяна. Лагерь врага — ЦНИИКА. Проект «Арзамас-16». Колода Володи Сраговича. НИИ ЦСУ. ВЦ Госплана. Встреча с Кириллом Кузьминым. Ковалёв. Саша Фридман зажигает красный свет. Срагович выкладывает козыря — ЦЭМИ. Юрий Александрович Олейник. Евгений Иванович Яковлев. Снова К. А. Семендяев. Конференция в Академгородке Новосибирска. Я стал сотрудником ЦЭМИ. Постперестроечная эволюция ЦЭМИ.

Юрий Венеминович Геронимус.

В МОЛОДЫЕ ГОДЫ
(автобиографические записки).

Редактор *Р. О. Алексеев.*
Техн. редактор *М. Ю. Панов.*

Лицензия № 01335 от 24/III 2000 года.
Подписано в печать 00/IX 2004 года.
Формат 70×100/16. Объём 43,00 физ. печ.
л. = 55,74 усл. печ. л. = 57,50 уч.-изд. л.
Бумага офсетная № 1. Печать офсетная.
Гарнитура школьная. Тираж 300 экз.
Заказ 0000.

Издательство Московского центра
непрерывного математического образования.
119002, Москва, Г-2,
Бол. Власьевский пер., 11.

Отпечатано с готовых диапозитивов
в ГУП «Облиздат».
248640, Калуга, пл. Старый Торг, 5.

ISBN 5-94057-172-7



9 785940 571728